Петр Проскурин

судьба

Петр Проскурин Судьба





Петр Проскурин

судьба

ДИЛОГИЯ

РОМАН ПЕРВЫЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р7
П82

Иллюстрации художника
В. СМИРНОВА

Оформление художника
Е. ЕНЕНКО

П $\frac{4702010200-279}{028(01)-88}$ **без объявл.**

ISBN 5—280—00428—6 (Т. 1)
ISBN 5—280—00427—8

Книга первая

Адамов корень



Часть первая

1

Ночь выдалась тяжелая и долгая, все шел дождь, и раскисшая дорога тонула во тьме; уж каким чудом находила дорогу эта измученная баба, было непостижимо; она не чувствовала ни мокрых лохмотьев, прилипших к телу, ни отяжелевшего от дождя холщового мешка за спиной; давно превратились в густую кашу куски хлеба, собранные перед вечером в большой деревне; она не знала ни названия этой деревни, ни того, как она туда пришла, но ей все время помнилось: высокая, худая старуха, в длинной серой юбке под самые груди, вынесла ей чуть не полковриги душистого ржаного хлеба и ломоть желтого, старого сала; у старухи были спокойные, выцветшие глаза, такие глаза встречаются у людей, много поживших и узнавших. Нищенка не приняла ее жалости к себе, взяла хлеб и сало, опустила их в мешок и пошла своей дорогой, неразборчиво пробормотав застывшими губами «спасибо» и не сказав ни слова больше, и старуха, отделяя ее от себя, обмахнулась привычным крестом; истовое, застывшее лицо старухи и теперь было перед ней, строгое, из нездешнего, потустороннего мира. И еще все время свежо пахло, несмотря на дождь, размокшим хлебом, этот запах окружал ее, и ноздри шевелились от его сытости, и голова мутилась; она не хотела есть сейчас, но этот хлебный запах жизни не могла переносить спокойно и жалела пропадавший от дождя хлеб. И хотя она не чувствовала застывшего, продрогшего тела, она все время чувствовала свой тяжелый, опустившийся к коленям живот. Он мешал ей идти, и в самые трудные минуты она поддерживала его руками и через руки слышала ту странную жизнь в себе, что с этого вечера уже становилась чужой, отдельной от нее. На ногах у нее было подобие высоких

цыганских ботинок с давно отвалившимися подошвами, и она терпеливо морщилась, если ей под пальцы попадало что-нибудь твердое или острое; ноги задубели, она уже не чувствовала боли. Пожалуй, она бы давно упала и осталась лежать, если бы не появившееся в последние часы какое-то почти животное чувство страха; она не обращала внимания ни на дождь, ни на грязь и лишь все время прислушивалась к себе; просто нельзя было остановиться, боль усиливалась и даже в промежутки между схватками не исчезала совсем, а оставалась, притаившись, в теле; женщина двигалась наедине с болью, в мире, наполненном сырым мраком; у нее сейчас не было ни прошлого, ни настоящего, лишь она и боль; и когда боль становилась нестерпимой, женщина, прихватывая зубами затвердевшие, холодные губы, издавала глухие утробные звуки, похожие на вой. Боль шла от живота; когда под руками у нее начиналось постороннее живое шевеление и толчки, словно облегчение наступало в теле, в глазах прояснялось, легче было вытаскивать ноги из грязи, и ей всякий раз мерещились огоньки; сгребая с лица воду, она всматривалась во мрак и опять ничего не видела.

Ветер, не меняясь, дул ей в правый бок, и она шла косо, выставив вперед плечо и слегка отвернув лицо, и от этого шея затекла; в память пришла какая-то молитва или еще что-то, рассказанное в детстве полуслепым дедушкой Мокием о потопе и конце света, в котором перемешались птицы, звери и люди, и, словно с потемневшей иконы, из кромешной тьмы мелькнули пустынные, отрешенные от всего земного глаза, и ей показалось, что она оглохла. Уже ни ветра, ни дождя она не слышала, стояла в голове тяжелая немота, и только запах раскисшего в мешке хлеба становился все сильнее, и от его сытости опять поднялась тошнота; она выставила вперед руки, чтобы упасть на них и переждать, и, нащупав какие-то намокшие, скользкие ветви, цепко схватилась за них, тяжело, всем ртом дыша; чутье подсказало ей, что дальше идти она не сможет, ноги в минуту ослабели, и она впервые за последние часы почувствовала их, и от тоски, от страха перед ночью она беззвучно, как скотина, заплакала, одними глазами, все еще борясь и удерживаясь на ногах. Если бы она села, она бы уж не могла встать, и она начала молиться богу; в ее представлении он был чем-то огромным, как тьма вокруг и как боль в ней

самой, как эта беспросветная земля, бесконечные потоки дождя, которые захлестывали ее, и она молилась ему без слов и жалоб; он должен был услышать ее немой крик, она верила, у нее ничего не оставалось больше, она знала, что он должен помочь ей, и когда до нее донесся какой-то живой, прозвучавший, как благовест, голос, она подумала, что это он отозвался; голос повторился опять и опять, и к нему присоединились такие же, и она стояла и слушала, она не могла вспомнить, что это такое, хотя чувствовала что-то знакомое и теплое; что-то мешало ей вспомнить, она где-то раньше слышала такие же звуки, и не раз, и когда они послышались снова, она ахнула. Да це журавли, журавушки, видно, сели ночевать в поле да и перегугукиваются, оце ж, милые, спасибо вам, птушечки, ро́дные.

Нищенка пошла дальше, и ей казалось, что идти теперь легче и живот не так тянет книзу, и она больше не думала, что заблудилась и жилья может и не быть еще двадцать верст; что-то переменилось в мире, и он показался ей иным, ближе и понятней; она словно вечно вот так шла по жгучей земле в покойном и теплом сне; она поймала себя на том, что засыпает на ходу, идет и засыпает, и пробормотала что-то неразборчивое, лишь бы услышать свой голос; час прошел или больше после журавлей, она не знала; в ноздри ей ударил запах прелого навоза и мокрого дыма, и, словно ожидая именно этой минуты, боль полоснула по низу живота и кинула ее на дорогу, она глухо завыла, прикусила губу, поползла, с трудом переставляя трясущиеся руки, и платок сбился ей на глаза; каким-то бессознательным чутьем она угадывала дорогу, и под ее руками зашелестело наконец сухое сено; она стала выдергивать его из слежавшегося стожка, корчась от муки, от боли. По телу волной разливался жар. Не дай бог, собаки учуют, подумала она неясно, или хозяин услышит, и, чтобы не кричать, ткнулась лицом в пахучее сено, забирая его оскаленным ртом, и задавила крик, какая-то сила тотчас перебросила ее на спину, и тело ее словно разделилось, и сразу наступило облегчение. Она почувствовала в ногах горячее и живое движение, стала непослушными руками натаскивать на себя сено; больше она уже не могла и стала засыпать, хотя все время знала, что спать нельзя и надо что-то делать; несколько раз опять подымалась боль, и то, что было в ногах у нее, двигалось и принималось пищать; изловчившись, она освободила

из-под ног тяжелый и беспокойный комок и, сделав все, что могла, что подсказывал ей инстинкт и разум, как бы почувствовала на это короткое время прилив сил и, развернув рваную, намокшую свитку, расстегнув кофту, приложила *его* к набухшей груди, чтобы хоть немного согреть; она прижала *это* к себе, к своему телу, и *оно* затихло, и ее сразу отпустили и боль и страх; она лишь чувствовала усилившуюся слабость, перед глазами стоял туман; остатки сил уходили от нее, и она подумала, что это ей уже снится, и с благодарностью к теплому сену, к журавлям, к тому огромному богу, что услышал ее и послал ей живой крик и сухое тепло, она шевельнула высохшими губами и с трудом выпростала из расшитого ворота рубахи закаменевшую, тяжелую грудь, постаралась дать сосок *ему*, но это было уже не осознанное желание, а инстинкт,— она затихла, уходя от всего, и ее набухшую, болезненную грудь теперь грело *оно*. И это, уже чужое, но все-таки *свое* тепло еще продолжало некоторое время держать ее, но даже и это ощущение слабело больше и больше, и, когда под утро хозяин избы, молодой, высокий мужик, вышел надергать корове и овцам сена и наткнулся на нее, она уже ничего не чувствовала, и лишь сладко пахло холодной кровью. Почти полузадушенного младенца мужского пола не сразу смогли вызволить из ее задубевших рук и вместе с ней внесли в избу, а когда положили на лавку и отвели с ее лица густые ссохшиеся волосы, увидели белое лицо в застывшей, успокоенной красоте; она глядела, как живая, и от чадившей керосиновой лампы в мертвых глазах у нее дрожали тени, и жена хозяина Ефросинья, державшая у груди голозадого сосунка, ахнула и попятилась; а Захар, ее муж, растерянно почесал волосатую грудь, озадаченно выдохнул: «Ну, не было мороки»,— и всей натруженной ладонью от лба к губам провел по твердому лицу мертвой, закрывая ей глаза.

По-прежнему шел дождь, и рассвет был гнилой и тяжелый; покойницу похоронили к вечеру; шестеро мужиков вырыли могилу на самом краю погоста, опустили неструганый гроб в успевшую набежать мутную глинистую воду, торопливо завалили в шесть лопат яму и, злые, недовольные лишней, неизвестно откуда подвернувшейся работой, сложив лопаты на телегу, уехали погреться самогоном; Захар Дерюгин, один из них, пытался закурить, но газета расползалась под мокрыми пальцами. В предвкушении самогона и горячей еды

мужики перед самым селом повеселели и, уже сидя в просторной теплой избе за столом, стали обсуждать происшествие и гадать, что за человека к ним занесло, и Захар, принимая стакан из рук хозяина, Акима Поливанова, мужика в хорошем достатке, покосился в сторону крутогрудой хозяйской дочки, выставившейся в дверях горницы, затем отвел глаза на стакан; у самых краев дрожала огнисто-синеватая чертова влага.

— Приспело вам зря гадать,— сказал Поливанов хмуро.— С хохлатчины никак баба забрела. У них в этом году неразбериха какая-то, мор, слышно. Хлеб, какой был, государству пошел, вот они и бредут во все стороны.— Захар опять покосился в сторону девки, еще больше изогнувшейся прелестной частью под его взглядом, недовольно нахмурился, чувствуя в теле тягостную дурноту. Поливанов, ничего не упускавший, добавил чуть торопливей: — Ну, так что, подняли, мужики, давай за упокой, какой-никакой, а человек, дите принесла. Пусть лежит, земля, она одна, что у них, что у нас,— расейская, советская.

— Земля-то советская, да разговорчики у иных, у тебя вон сейчас, дерьмом начинены.— Захар жестко нацелился куда-то в переносье Поливанова.— Гляди, загремишь ненароком, только брызги пойдут.

Хозяин, сверкнув острым глазом из волосяных зарослей в сторону дочери, крякнул, выплеснул, как в таз, в темный зубатый рот самогон из стакана и сказал неожиданно ласково, довольно шлепая толстыми губами:

— Зря ты на меня, сосед, мы люди темные. Услыхал и брякнул — век открыто перед людьми жил. А ты, Маня, не стой зря, скажи матке яишницу изжарить поболе, пусть не жалеет. Сходи в подвал, яблочков моченых набери. Хороши у меня ноне яблочки-то, Захар Тарасович, ох хороши, сроду так не удавались. Не плод от земли, янтарь заморский, так и светятся.

Он глядел прямо в глаза Дерюгину с какой-то поощрительной усмешкой, словно не о яблоках говорил, а о дочери, и у Захара опять сладко занемели ноги, и он вытянул их под столом; хороша поднялась девка у Поливанова, вся за последний год налилась, тронь, так и брызнет соком, и глаза бесстыжие ждут. Видать, и сам Поливанов заметил, что всякий раз, задерживая взгляд на девке, он, Захар, неловко, с деланным безразличием отворачивается, да и не надо было к Поливанову идти после похорон пить, расползутся по селу слухи.

— Кажись, и правда из хохлов забрела, сорочка вся петушками расшита,— говорил теперь Микита Бобок, подергивая взлохмаченной бородкой.— И я так слышал, Захар. Оттуда много теперь — мужики, дети бредут. Неладно, слышно, у них. Кожа к костям присохла, торкает, торкает по дороге, ляжет — и готов. А перед самым концом дурной водой наливается, разносит его. Кто говорит, недород на Украине хватил, а кто... Вон моя мать о конце света убивается, ночи не спит, антихриста поджидает.

— Ты мне, Бобок, эти речи брось, по-волчьи на всякую приманку не кидайся,— неожиданно сказал Захар, невольно привлекая и громкостью голоса, и злостью слов общее внимание за столом.— Не наши речи, это вот он хочет, чтоб его самогон дерьмом заедали. На-кось, Аким, съешь! — Он выставил в сторону Поливанова тяжелую дулю, и тот, не принимая серьезного тона, с мирной усмешкой отвел его руку, опять разлил из пузатого старого штофа самогон, и Захар Дерюгин опять почувствовал сбоку на себе все тот же откровенный и жадный взгляд; он не хотел больше пить, но под этим взглядом взял стакан, поглядел на горящую над столом семилинейную лампу, в которой сильно потрескивал от нечистого керосина фитиль, и, дождавшись, когда все выпили, выпил и сам; хозяин пододвинул к нему тарелку с желтоватым салом, как бы ненароком покосившись в сторону двери, сказал:

— Будя, иди спать, Маня, в другую половину, нас ты не пережлешь. Окошки погляди, запри, теперь шпаны набрело, от всякого греха подале положишь, поближе найдешь.

Тяжело привстав, выпячивая тугой, сытый живот, Поливанов потянулся кверху; выкрутил фитиль в лампе поярче; от его крепких сапог, начинавших просыхать в тепле, тек приятный запах дегтя. «Для меня все выделывает, старый кобель»,— тут же подумал Захар; самогон на этот раз почти не пьянил его, лишь тело становилось жестче и собраннее, в глазах стояла крутобедрая девка с высокой ждущей грудью, и как-то сразу отошли все дела и заботы, и был он насторожен и гибок, словно молодой зверь, учуяв где-то рядом дразнящий запах. Вместо дочери пришла мать, высокая хмурая Лукерья, налила всем жирных, с мясом, щей в глубокие глиняные миски, разложила каждому расписные деревянные ложки и, пристроившись у лежанки, стала спо-

ро и ловко чесать лен; на пряжу ладит, усмехнулся про себя Захар, оглядывая лохматые головы мужиков, их знакомые, затемневшие лица, ставшие от самогона и обильной еды другими; Микита Бобок, первый на селе песенник, которого приглашали на все свадьбы и гулянки, потому что умел он играть на гармонике и вдобавок и песни любил заводить красивым, басовитым голосом, блаженно щурился и молчал по случаю похорон; несмотря на молодость, он, под стать солидным мужикам, отпустил маленькую русую бородку и от этого был похож своим чистым лицом на заезжего студента или какого другого городского человека, но чувствовалось, что ему так и хочется что-нибудь выкинуть. Рядом с ним черпал ложкой яичницу Володька Григорьев, по прозвищу Володька Рыжий, мужик телом объемистый и молчаливый, на селе боялись его жены Варечки, черной как смоль бабы; старуха Салтычиха, известная богомолка и праведница, божилась, что с год назад видела ее на троицу на лугу в одной исподней рубахе, с голыми ногами да с распущенными до подколенья волосами, будто бы собирала она березовым веником перед солнцем росу в ведро, приманивала своей корове молоко. Напротив Захара сидел его крестный, Игнат Кузьмич Свиридов, мужик в хорошей силе (в прошлую осень перевалило за пятьдесят), единственный в селе водил он пасеку и бегло умел и читать и писать, и знал псалтырь и Библию; по его настоянию, с его помощью и Захар закончил три класса церковноприходской школы и считался на селе грамотным; крестный, человек набожный, водки не пил и укоряюще-грустно глядел сейчас на Захара, опрокидывавшего в себя стакан за стаканом, хмурился; хозяин щедро выставил на стол еще одну четверть, заткнутую кукурузной кочерыжкой, обмотанной тряпицей; крестный встал и напомнил, что пора по домам расходиться, всего зелья не перепьешь.

— Погоди, крестный,— заупрямился Захар,— знаешь хорошо, на улице одна мгла, скука по своим углам тараканами сидеть.

— Дождик — божье дело,— отозвался Игнат Кузьмич, недовольно опустился на лавку, не желая оставлять Захара без своего глазу.— Он может и неделю и две поливать, так на такой срок ни водки, ни нутра не хватит. И что-то такое ты, Аким, раскошелился ноне, к добру ли?

— Да что ж, Игнат, человек каждый — гость на земле, покойницу вот зарыли, а она живую душу в мир принесла. Пойдет та душа теперь по миру мыкаться, ежели ее доля такая. Потому и пьем, путь ей подмасливаем.

— А куда ей мыкаться-то? — спросил Захар, чувствуя в словах у Поливанова потаенную, злившую его глубь.— Есть трое, ну, четверо будет, времена-то новые пошли, не пропадем.

За столом при его словах затих разговор, мужики дружно уставились на него; хозяйка у печи, отодвинув от себя гребень с куделью, приоткрыла рот, озадаченно протянула:

— Мужик завсегда прыток, не ему пеленки-то в прорубь таскать, по ночам болагучиться.

— Дело решенное с моей бабой Ефросиньей Павловной,— сказал Захар твердо, довольный всеобщим вниманием и даже молчаливым осуждением, хотя ни слова об этом он с женой не сказал и знал, что дома теперь неспокойно и тяжело, и, может, потому он не хотел так скоро уходить из-за этого широкого дубового стола, гладко и чисто выскобленного и уставленного обильной едой; Игнат Кузьмич в ответ на эти речи долго пялился куда-то в угол, затем натужно кашлянул.

— Послушай-ка, Захар, не егозись так-то,— сказал он.— Лишний рот — это тебе не лишний раз к бабе подвалиться, это тебе на всю жизнь тягость и суета. Тебе самому тридцать, сил тебе, понятная осьмина, не занимать, да тебе и жить еще захочется. Может, его в город, по начальству доставить, ребеночка-то?

Выслушав его с тайным уважением, как человека старше себя и умного, Захар невесело засмеялся.

— Ты бы уж, крестный, так и рубил,— сказал он,— может, его нужно было в могилу с маткой опустить, а?

Игнат Кузьмич перекрестился, и лицо у него пошло пятнами; говорить он ничего больше не стал, и разговор сам собою затих; в Захаре весь этот вечер копилась какая-то особая тоска — от дождя, от самогона, от своей молодости, уже накрепко связанной по рукам и ногам детьми, и оттого, что Поливанов егозит перед ним и Захар знает, почему он егозит, и крестный знает, оттого не уходит.

— Давай, мужики, по последней,— сказал Захар.— Пора, засиделись. Хозяйка вон носом клюет. Аким, погоди, а где это батька твой?

— А где же ему быть, на печи лежит, ты разве не видел, Захар Тарасыч, при тебе полез. Корму скотине давал и продрог. Эй, батя,— позвал он, поворачивая голову.— Ты бы к нам сошел, погрелся, эт-то покрепче-то будет.— Его широкая темная ладонь с глухим шлепком опустилась на широкое горло четверти.— Слезай, батя, право,— продолжал Поливанов,— экий ты, не допросишься.

С печи, выставляя тощий зад, слез юркий, белый, ширококостный старик в холщовой длинной рубахе, в таких же портках, сунул босые ноги в отрезанные от изношенных валенок головки.

— Брось, дедушка Макар, хмурость-то напускать,— сказал ему Захар весело,— давай садись, выпей, расскажи нам что-нибудь про турков, а то как тебя женил-то барин Авдеев... а...

Перекрестившись на божницу, дед Макар хмуро глянул в сторону невестки, приказал:

— Лукерья, лампаду зажги... человека похоронили... безбожие в мир-то вломилось... зарыли, вроде так и надо... Не собака же, крещеная душа...

Ни слова не говоря, хозяйка подставила к божнице табуретку, сняла стекло, зажгла от лампы лучину и перенесла огонек на медную лампадку; когда она встала на табуретку и потянулась с огнем вверх, Захар, увидев ее полные белые икры, тотчас безразлично перенес взгляд выше. Серая тьма переднего угла, шевельнувшись, чуть развеялась от слабого, тайного огонька, проступили строгие лики святых, проглянули откуда-то из непроницаемой черноты глаза, и позолота на окладах смутно замерцала; дед Макар, за ним и Игнат Кузьмич перекрестились.

— Эх, Захарка,— огорчился дед Макар, беря в жилистую, непомерно длинную и еще сильную руку стакан с самогоном,— сами вы ноне все турки. Православный крест с церкви стянули, нехристи, батюшку выслали, а чем он вам, опричникам, мешал?

— Ну, ну, дед! — сказал Захар примирительно, но в то же время со строгостью в голосе к такому случаю.— Поп — это классовый враг на селе, от него разные вражеские слухи и ползли. Ты вон всю жизнь горбом своим детей растил, посмотри, руки землей взялись, а он, долгогривый? Вошь у него в гриве водилась и кубышка в доме пухла,— прибавил он больше от озорства.

— Ты не очень-то на стариков нукай, не запряг пока. А у батюшки дело такое, божеское,— обиженно сказал дед Макар, намеренно не замечая Захарова богохульства.— Он моей мужицкой темноте праздником был. А счас что? Душу негде отвести, пакость одна.— Подслеповато прищурившись на стакан, дед Макар вздохнул: — Выпить аль нет проклятую? У меня от нее теперя цветы какие-то с узорами в глазах являются. Даже чудно, первый-то раз увидел прошлым годом, в Гараськину свадьбу. Так прямо живмя цветут.

— Выпей, батя,— поторопил Поливанов: старик любил поговорить, мог и на всякую ненужность наткнуться.— Поцветут да отвянут, поспишь подоле: завтра сам скоту сена намечу.

Все с интересом наблюдали за тем, как старик, задрав жиденькую, сваляннную в лежании на печи бородку, уже приготовился пить и стакан поднес ко рту, но, вспомнив, по какому случаю, сначала привстал, помолился на иконы и только тогда, сказав «ну, за упокой души, заблудшей во мраке мирском», выпил до дна, огладил бороду и стал со стариковской обстоятельностью жевать сало.

— У тебя еще, дедушка Макар, зубов полон рот,— сказал Захар с невольным восхищением.—Крепок же дуб!

— А чего, мне и восьми десятков нету,— сказал дед Макар с еле приметным неудовольствием на Захара за этот разговор.— Мой батюшка сто двенадцать отсчитал один к одному, меня шестым десятком родил. Такая порода поливановская, без гнили. Мы с испокон веку у земли да в солдатах, это вот ты теперь начальство, говорят, а у начальства всегда иной срок богом отмерен, сладко едят, много спят, вот оно и того... не гнездится.

— Сами же вы меня в начальство-то упекли,— хмуро пошутил Захар, стараясь не думать, что дома теперь Фрося возится с найденышем, и еще о том, что рядом, в другой половине избы, поставленной по достатку через сени, спит здоровая, горячая девка в самой поре, и оттого ей спится неспокойно и душно.

— Начальствуй, Захарка, начальствуй, вон на днях свояк приезжал из города, сказывает, мол, мужиков-то покрепче на Соловки куда-то гонят, что ж, и у нас такое ждется-то али как?

По дрогнувшему лицу Поливанова Захар тотчас понял, что такой разговор заходит в этой избе не первый

раз; и тут же понял, по какому случаю выставлено такое богатое угощение и почему именно к себе настоятельно звал с погоста Аким Поливанов; сознание своей силы и значительности невольно переменило лицо Захара, сделало его еще более размашистым, но в неожиданной складке на лбу проступила веселая злость.

— Да уж и у нас такие найдутся,— сказал он равнодушно и этим равнодушием как бы показывая, что разговор этот особый, от него не зависящий и затеяли его не к месту.

— Вроде особых богатеев на селе не заметно,— осторожно вставил Поливанов, бросив на осоловевшего отца злой взгляд.

— Это как сказать,— не удержался Захар.— Хотя бы вон Макашины да Черепановы. Вишь, как складно, Макашины да Черепановы, справно пожили. Соки-то из народа тянули по-паучьи, втихаря.— Понимающая усмешка мелькнула на лице Захара.— Моли своего бога, Аким, в свой час ты остановился, а одно время ты после гражданской-то за ними резво приударил,— Захар, поймав быстрый, как удар ружья, взгляд Поливанова, задавил усмешку. Он намеренно сказал о Макашиных — «пожили», словно все у них было кончено на этом свете, и Поливанов отяжелел, спрятал глаза, чтобы Захар и другие как-нибудь не догадались о ненависти в нем. Как был, так и остался кобылятником, думал Поливанов, не в силах отделаться от Захаровой кривой усмешки, засветившейся перед ним.

Он спокойно потянулся к четверти, налил себе, Захару, передал четверть в руки Володьки Рыжего.

— Пей, мужики,— теперь уж откровенно подзуживал Захар,— раз хозяин нонче размахнулся. В другой раз с него не сорвешь много.

— Бог с тобой, Захар, мы же соседи,— с неприятным смешком дохнул ему куда-то в ухо Поливанов.— Ну, Черепановы, может, и богатеи, не знаю, а уж мы-то... Двух сынов в последнее время год за годом отделил... Опять же, у Буденного они за советскую власть были, да и в артель первым заявлению отнес, двух коней отвел, ну и всю сбрую на них, как значится, если надо, остатное берите. Молотилка у меня конная лежит, так ты знаешь, не моя она, а ваша... Мы тоже закон знаем...

— Ладно, ладно, Аким,— Захар опустил глаза,— я не велика шишка. Я-то знаю, хозяин ты хороший, да о тебе и разговору нету, а каждому рот не зажмешь.

— Вот хороших-то вы всех на Соловки и упекаете,— опять с деловой готовностью встрял дед Макар.— А с голытьбы-то жира богато не наскоблишь. Они, голодранцы, только жрать и умеют, а поработать...

— Замолчи, батя! — с сердцем прикрикнул на него Поливанов.— Если спать хочешь, полезай, полезай назад, поздно...

— Не хочу я спать,— возмутился дед Макар, шибко двигая косматыми бровями.— Акимка, что ты родного отца гонишь из-за стола, сукин сын? Туретчина-то какая, крест скинули, к старым почету, как к черту... Господи, прости меня, грешного, в полночь, в нечистый час язык осквернил.

Поливанов ничего больше не сказал отцу и, дождавшись, пока старик сам угомонится и замолчит, словно ненароком вставил:

— Недаром вчера до чего чудной сон видел.— Его жена, продолжавшая мыкать кудель, сразу насторожилась и опустила руки.— Выхожу во двор, а жеребец, тот, что свели на общий двор, навстречу вышагивает и скалится, подлый, точь-в-точь человек. Потом привстал на задние копыта да как жахнет в меня из обреза, аж пороховая вонища пошла. А сам глядит и все скалится.

— Жалко коня, оно и грезится,— сказал Захар и стал подниматься.— Ну, мне пора, спасибо хозяйке с хозяином.

— Сиди, Захар Тарасович,— почти в один голос сказали Поливановы, муж и жена.— Ночи-то ноне с коломенскую версту, ворочаешься, ворочаешься, а все конца нет.— Поливанов взглянул на тикающие, густо усиженные мухами за лето ходики.— Десятый час.

— Сам вижу, что десятый час,— сказал Захар, но оставаться не стал и, распрощавшись со всеми, вышел за крестным. За ним выбрались из-за стола отяжелевшие от сытной еды и самогона Микита Бобок с Володькой Рыжим; на крыльце они, провожаемые хозяином, еще потолклись, покурили, приглядываясь к черной тьме вокруг, прислушиваясь к успевшему стать привычным шелесту дождя; в поливановском саду от сильного ветра стоял непрерывный стон, на улице не светилось больше ни одного огонька, и только с другого конца

села донесся короткий перебор гармошки, и опять были только ветер и дождь. Нырнул с крыльца в темноту с веселым, бабьим вскриком Микитка Бобок; за ним тяжело зашлепал по лужам большими лаптями Володька Рыжий; крестный, которому было по пути, пошел рядом с Захаром и на повороте, у большой, выгнившей с середины ракиты, придержал Захара за плечо.

— Знаешь, Захарка, Поливанов обхаживает тебя, смотри, крестничек, не зацепись за эту кошку-то[1]. Крючья навострены до блеска, вмиг пронзит.

— Боится, вот и обхаживает,— неприятно хохотнул Захар и тотчас замолк, прижимаясь к раките мокрой спиной, но холода не чувствуя.— А ты, крестный, погляжу, вроде и подтолкнуть его готов, а?

— Слышал я, Захар, его тоже к высылке назначили,— сказал, помедлив, крестный.— Вот я и задумался, когда ты согласился к нему заскочить после похорон. Смотри не промахнись, мир тебе, молодому, доверие оказал, а споткнешься — трудно будет очиститься, грязь, она липучая.

— Мир, крестный, миром, власть — властью. Дед Макар хорошее слово сказал: земле-то жадный до нее хозяин нужен, да и какие Поливановы богачи? Лишняя лошадь у Акима завелась? Работает мужик за четверых, помнишь, крышу-то ставили на конном дворе? Я, к примеру, такого разговора не слышал, а люди наговорят. Ни по каким статьям Аким не подходит на выселение.

— Смотри, смотри, тебе виднее,— опять с деланным безразличием отозвался крестный.— Коли так, хорошо. Я к тебе завтра забегу, так вот и занесу медку. Что такое у старшего?

— Заходи, крестный. Бегает в мокроте́, простуду и подхватил, по ночам кашлем спать не дает. Как распогодится, хочу в город свозить к доктору.

Крестный больше ничего не сказал и ушел, и Захар некоторое время стоял под гудевшей ракитой один; в свою душную и тесную избу, где теперь прибавился еще один рот, возвращаться не хотелось, и все сильнее оживала в нем какая-то звенящая тоска; от выпитой водки изнутри грело, плещущий мрак кругом, придавленное им, безмолвное, даже без собачьей брехни, затаившееся, утонувшее в потоках воды село вызвали жела-

---

[1] Кошка *(местное)* — приспособление для вылавливания из колодца упущенного ведра.

ние громко, во всю мочь ругаться; что-то словно давило на плечи. «Распаскудная такая жизнь,— подумал Захар в минутном отупении,— в городе небось огни горят и бабы красивые бегают по улицам, где-то море есть, а тут всего-навсего речка Густь в непролазных болотах, да лес, да поле; на святки волки подходят, воют на все лады, мороз и на печи прохватывает от такой волчьей жути. Дома обносившиеся, сопатые ребятишки, сердитая от вечной работы мать и замученная, с красными от недосыпания глазами баба; бросить бы все и податься куда глаза глядят, чтобы и конца-краю не было; идти бы да глядеть людскую жизнь, в одном месте отдохнул, в другом заночевал, в Киев бы или в Москву вломиться...»

Он решительно свернул в сторону от своей невидимой во мраке дождя избы, перелез через низенький плетень и, чавкая сапогами в раскисшей земле огорода, пробрался задами в сад Поливанова, ко второй половине его избы, выходящей окнами к раскидистым старым яблоням. В саду земля была густо устлана опавшими листьями, они мягко вдавливались под ногами; он подумал, что не сегодня, так завтра все равно этому быть, и, больше не стараясь удержаться и не думая ни о чем, нащупал окно в мокрой, с оплывающей глиной стене и, несколько раз стукнув костяшками пальцев в переплет рамы, отодвинулся по завалине за стену. Он чутьем услышал, как она подошла к окну и затаилась; неловко вытянув руку, он опять стукнул, и окно приоткрылось.

— Ты, Захар? — спросила Маня испуганным шепотом и в то же время почти обрадованно, и эта ее ответная радость предрешила остальное; он молча перекинул ноги через подоконник, осторожно, без малейшего стука, прикрыл за собой окно и тут же нашел ее прижавшейся к стене, на ней была короткая льняная сорочка и руки до плеч голые.

— Весь мокрый,— прошептала Маня.— Сапоги небось в грязи.

— Замерз насмерть, Маня,— сказал он, дрожа не от холода, а от предчувствия того, что должно было произойти.— Сюда никто не заглянет?

— Я на ночь запираюсь,— прошептала она, отстраняясь от него, и он тут же снял, на ощупь положил на подоконник набрякший пиджак, стянул сапоги, жадно вдыхая в себя густой яблочный дух; он ничего не видел

и, однако, сразу нашел ее и лег рядом на теплую перину, и едва успел дотронуться до ее разгоревшейся груди, как уже больше ничего не помнил; слабо попытавшись оттолкнуть его, она тут же затихла; он лишь почувствовал, как по ее телу прошла дурманящая боль; жадно дыша ему в лицо, она затем почти в забытьи шепнула: «Больно, Захар!», и он поцеловал ее в губы; в его дыхании смешивались горечь самогона и махорки.

— Потерпи,— шепнул он коротко, совсем не думая о том, что говорит, и потом и ему и ей казалось, что в мире больше ничего не осталось, они падали в горячий, сумасшедший ветер, и только пронзительно пахло спелыми, лежалыми яблоками.

— Я тебя еще парнем любила,— призналась Маня потом, оглаживая его несмелой рукой, словно узнавая его тело.

— Чудеса ты рассказываешь, тебе тогда лет двенадцать всего и было,— отозвался Захар, прихватывая вспотевшей подмышкой ее прохладные пальцы.

— Может, двенадцать... На твоей свадьбе под окном простояла, глядела на вас с Фроськой, голосить ушла. Ох, как я тогда голосила...

— Не надо об этом думать, Маня,— сказал он и благодарно ткнулся жесткими горячими губами куда-то ей в шею.— У меня детей целая куча...

— Детям надо радоваться... У меня тоже может дите быть. Захар, а Захар...

— Что? — не сразу отозвался он, и она почувствовала, как он насторожился.

— Ты только приходи ко мне, больше ничего не надо,— попросила Маня горячим шепотом.— Когда хочешь, приходи, ждать буду.

Ничего не сказав, Захар сильно сдавил ее, прижал к себе; ясно и близко, словно рядом, прокричал петух, раз, другой, третий, и снова все затихло, по-прежнему шел дождь, и деревья потихоньку сбрасывали намокшую, отяжелевшую листву; сырые осенние просторы раскинулись над тихими полями, над дремучими болотами, над грустной тишиной лесов; угасающим румянцем светились пятна клена или осины; поднялись выводки волков, уже начинал готовиться к линьке заяц-русак, и тяжело осыпались в опавшие листья полновесные от заключенной в себе силы столетий желуди...

2

Ссыльных, пять семей, повезли в город по первому снегу, на санях, уже на рассвете, хотя особым уполномоченным вывозка была назначена на два часа ночи; путаница произошла из-за семьи Поливановых, все-таки оказавшейся каким-то образом в списке уполномоченного, хотя раньше об этом разговора не заходило и Поливанов с семьей по-прежнему состоял в колхозе.

Захар несколько раз подступал к уполномоченному по Густищинскому кусту, говорил о беззаконии, но тот, определенно показывая, что ему понятны старания и тревоги Захара Дерюгина о семье Поливанова, лишь отмахивался, а под конец, взорвавшись, наговорил такого, что Захар, побледнев до пепельной серости на губах, замолчал и больше не вмешивался.

Старухи сидели, закутанные до бровей в тяжелые, с бахромой шали, с неподвижными, отрешенными лицами, детей матери держали в полах полушубков; когда всех их собрали к сельсовету, прибежавшая деревенская дурочка Феклуша, запыхавшись, стала одаривать детей арбузными семечками, она доставала их откуда-то из-за пазухи и, рассыпая, совала детям и женщинам в руки, мужиков обходила испуганно и все говорила: «Это вам слезок, родименькие, на дорожку, больших слезок. Дорога длинная, длинная, а в конце спасение ждет». Феклушу, как всякую дурочку или дурачка, особенно старухи, считали божьим человеком и при ее словах крестились и потихоньку плакали; милиционер из города, бывший тут же у подвод, прикрикнул на Феклушу, и она испуганно сорвалась с места и пошла прочь своей стремительной походкой; откинув голову, она размахивала одной рукой и летела, словно подбитая, время от времени оглядываясь. Сын Михаила Гавриловича Макашина, Федька, с багровым синяком под правым глазом, неженатый еще, молодой красивый парень с нависшими на лоб густыми русыми волосами, сидевший в отдельных санях связанным, смачно сплюнул в сторону милиционера.

— Справился, сука! — сказал он громко и в бессильной злобе выматерился.— Тебе, б..., только с бабами и справляться!

Милиционер, расхаживавший вдоль подвод, ничего не ответил, лишь нервно поправил ремень с наганом; из сельсовета, пригнувшись в дверях, вышагнул Захар,

лохматый, без фуражки, заросший недельной бородкой, не глядя в сторону подвод, все тянул голову куда-то вбок, со стороны казалось, что его интересовало пустое небо над обескрещенной церковью; подали команду, и сани тронулись. Через три дня семью Акима Поливанова вернули назад, и, конечно, как-то это событие сразу стало в центре внимания и обсуждения всего села, одни одобряли решение властей, считали его правильным, говорили о сыновьях-буденовцах Акима Поливанова и что есть тому специальный указ, другие вспомнили, чего прежде совсем не замечали и не вспоминали: и то, что Захар Дерюгин в соседях живет с Поливановыми, и то, что он поручил Поливанову возглавлять плотницкую артель, и то, что Поливанова дочка задаста и ни с кем из парней не водится. Вдруг вспомнили, как в ненастье Захару Дерюгину подкинули дите и что, мол, все это с похоронами вроде бы бездомной роженицы, все это для отвода глаз; уже рассказывали, что сам Володька, мужик Варечки, говорил, будто в гробу ничего не было — так, землицы насыпано было малость для виду. И выкопали между Поливановыми и Дерюгиными какое-то дальнее родство; более рассудительные осторожно намекали, что у Поливанова рука в самом городе, не говоря уж о сельсовете или колхозе; одним словом, было все то, что бывает, когда случается нечто привлекающее к себе всеобщее внимание и когда тотчас начинает стихийно вырабатываться народное мнение, стремительно и густо, как снежный ком, обрастающее часто придуманными подробностями, управляемое и подчиняющееся одному-единственному, трудно объяснимому закону общей массы народа, который в конце концов точно и безошибочно устанавливает истину, но так как все это происходит стихийно, то и до конечного результата вся эта громоздкая машина проходит большой и сложный путь.

В Густищах перебирали случай с семьей Поливановых, сравнивали с ними тех, кого отправили на выселку в какие-то неведомые, страшные Соловки, где были, по слухам, одни леса да монастыри, долго и много; то, что до революции Поливанов был так, захудалый мужичишка, уже никто не вспоминал, а вот того, что вошел он в силу уже после гражданской, в нэп, до колхоза, забыть не могли, потому что из села почти в три сотни дворов вошли в силу только двое: Поливанов и Пырьев, остальные три *богатых* двора, в том числе и Макаши-

ных, сложились в Густищах еще до революции — приторговывали или держали извоз, а вот братья Граткины даже брали подряды на заготовку дубовой и ольховой коры на кожевенный завод в самом губернском городе Холмске. Но то, что только Поливановы и Пырьевы стали после революции с достатком, в представлении многих говорило отнюдь не в пользу Поливановых; значит, эти два двора занимались каким-то тайным мошенничеством, а потому заметно вперед и вырвались. Не многие в Густищах говорили о том, что Поливановы и Пырьевы просто оказались более работящими и более жадными до тех возможностей, что возникли в годы перед организацией колхоза; и тут уж, в народном мнении, именно эти два двора, несмотря на многие различия и в характерах их хозяев, и особенно в их отношении к советской власти и колхозному движению, как-то незаметно прочно переплелись и оказались на одной доске, а там одно начинало накладываться на другое, затвердевать в смесь; и хотя сам Захар Дерюгин лишь досадливо отмахивался от этой сумятицы, твердо уверенный в непричастности Поливановых к кулацкому сословию, он тоже иногда думал об этом и начинал чувствовать некоторую встревоженность именно потому, что с Маней узел затягивался все туже. «Эк языками чешут,— думал он, когда мать или жена пересказывали ему по вечерам различные новости,— ну чего им дался этот Поливанов? Ну, сам он, может, и насолил кому, а как быть с двумя его сынами, что, их тоже высылать? Но они к высылке никак не подходят, оба участники гражданской и служили у Буденного, один из них, Митрей, и вообще пошел не в поливановскую породу, хозяйство содержит кое-как и все больше *мудрствует* — по определению густищинских мужиков; по всякому случаю рад посидеть зубы поточить да язык почесать. И жена его, несчастная баба, говорили густищинские старухи, то и дело обметает подолом порог у свекровки, выпрашивая то одно, то другое». Рассуждая подобным образом вполне обоснованно и правильно, Захар Дерюгин все же никогда не забывал о своей связи с Маней и о том, что людям не закажешь говорить, чего им заблагорассудится, и поэтому, когда поступил из города наказ выслать подводу за семьей Поливанова, везти ее назад в колхоз, он, памятуя о чужих ушах, погромче почертыхался и в конторе и на конюшне по этому поводу, но лошадь приказал отправить в город

тотчас, и на другой день, увидев пришедшего в контору Акима Поливанова, встретил его сдержанно, с еле заметной усмешкой в глазах. Пожалуй, и на губах Акима мелькнуло растерянное, язвительное выражение, и Захар Дерюгин на минуту задумался, затем наказал Поливанову тут же браться за начатое неделей раньше дело, достраивать скотный двор; амбар тоже надо было до весны, до начала полевой страды, отделать, заметил он, и для того с документом от колхоза нужно Поливанову съездить на лесопилку за сорок верст и по наряду из города договориться, когда им станут пилить доски и много ли мужиков нужно выслать в помощь. И опять на губах Акима заметил Захар Дерюгин какое-то незнакомое язвительное выражение, но тут же с деланным безразличием отвернулся и заговорил со счетоводом, словно и не было больше Акима Поливанова в мире. И Аким про себя подивился тому, как быстро научились люди меняться, давно ли был бесштанный Захарка, а теперь для всех — Захар Тарасович и держит себя комиссаром каким, откуда и гонор взялся. И с девкой потихоньку озорует, делает вид, что ничего и нет; он, Аким, был бы не Аким, если бы не знал, что у него в семье делается, да и не только в семье, во всем селе; что ж, девку, конечно, жалко, и замуж ей только за какого вдовца, но ведь и то сказать, другие теперь обогреваться будут где-то на Соловках, посередь ветров да злых людей, а он вот может и на печь забраться, а то вот и на лесопилку съездить, там у него кум есть, а девка, что ж девка, для привлечения глазу на свет и является. Как сердце чуяло, попал же он каким-то манером в эту катавасию, спасибо и Захар перед уполномоченным не оробел, за правду стал, и сыновья, Кирьян и Митрей, тотчас вслед в город примчались, бумагами своими потрясли, где надо. Ничего, можно и помолчать, время такое, что обиду свою лучше подальше загнать, дело покажет. Аким Поливанов вспомнил свою молодость, подумал, что и она не без греха прошмыгнула, и пошел собираться по председательскому приказу на Богучарскую лесопилку, а Захар, стоя у окна, глядел ему вслед. Захару нравились люди такой породы, умные, умевшие стерпеть, когда надо, и вставить словечко вовремя, но у самого у него на душе было сумрачно, какой-то неизвестный ему ранее разлад вошел в жизнь, словно подрубили в нем хоть и не становую, но тоже необходимую жилу. Он хмурился, разговаривая с же-

ной или с матерью, иногда ловил себя на том, что с удивлением разглядывает собственных детей, словно в первый раз их увидел, и только тот самый осенний подкидыш, лежавший в люльке валетом со своим молочным братцем, вызывал в нем острый интерес; он рос не похожим на дерюгинских исключительно сероглазых детей, глаза у него были вначале черные, затем в них проступили карие оттенки; и назвали его после непродолжительного домашнего совета Егорушкой, Егором; пришлось в сельсовете записать в метрике на свою, дерюгинскую, фамилию и отчество свое дать. Захар видел, как мать иногда подходила к Егорушке и стояла над ним, присматриваясь и думая о чем-то; старуха вроде бы и привыкла к лишнему рту и перестала ворчать на сы́на и на невестку за их неразумный шаг. Старшая дочка Дерюгиных, шустрая Аленка, сразу же привязалась к спокойному подкидышу; в том, как он появился в дерюгинской избе, был свой элемент игры, и, может быть, потому Аленка относилась к Егорушке, как к живой, принадлежавшей только ей забавной игрушке, таскала его, обхватив поперек тела за живот, строила для него шалаши и домики и, когда отлучалась по домашнему делу или начинала купать его, в ответ на его протестующий рев весело смеялась. Аленка и засыпая не забывала о Егорушке; родного брата, Кольку, она любила меньше, и Захар пошучивал, замечая недовольное лицо Ефросиньи: так все это по закону, говорил он серьезно, что же она родного брата любить будет, она его любить не будет, ни к чему это ей.

«Ой, бесстыжий,— сокрушалась Ефросинья,— хоть бы подумал, что мелешь языком своим, о собственных детях — грех такое молоть».

Ефросинья не часто видела теперь мужа дома и все присматривалась исподтишка к нему, так как чувствовала в нем за последнее время какие-то перемены, а определить их суть сразу не могла, и это ее пугало. Что-то непонятное происходило в их жизни, все шло вперекосяк, и шло от Захара; и с детьми он иным каким-то стал, и с нею, когда бывал, тоже в чем-то не такой, как раньше. В первую очередь она, как всякая женщина, подумала, не завелась ли у него другая и хорошо бы узнать, кто именно, но непременного желания узнать что-то у нее не было; он как уйдет по своим председательским делам (новое слово «председатель» уже входило в постоянный обиход), да так и до вечера,

а то и к полночи только вернется, когда ему, у нее же на руках четверо и постоянная крестьянская работа по дому. Она засыпала, едва коснувшись головой подушки (да и спать-то она умела как-то особенно, именно в то время, когда никому не была нужна), но стоило заворочаться ребенку или забеспокоиться скотине во дворе, она тотчас открывала глаза, хотя спать ей хотелось всегда, в любое время дня и ночи. Не до мужика ей было, и если начинало покалывать от досады и ревности, она тут же сама себя и успокаивала; пусть, утешалась она, пусть, его не убудет, здоров да жаден на это дело, малость хоть облегчение какое выпадет. И все-таки, когда бабы, сестры Матюшинки, две вековухи, намекнули ей при встрече, что председатель-то, мужик ее Захар Тарасович, заглядывает к Поливанову в избу уж совсем не по колхозным делам, потому как по общественным заботам за полночь ходить на чужое подворье нечего, Ефросинья стала приглядываться к соседской Маньке и тотчас безошибочно почувствовала беду себе — на селе без огня не заговорят, так оно в точности и есть, у Захара рыльце-то в пушку.

— Что-то Манька Поливаниха мимо-мимо прямо царицей проплывает,— сказала она Захару однажды утром; собираясь в контору на наряд, он скоблил щеки бритвой перед тусклым осколком зеркала.— Раньше, бывало, за три версты норовила «здравствуй» сказать, а сейчас все нос набок.

— Что же я, еще в этом деле разбираться должен? — спросил Захар, густо краснея и потому становясь к ней боком и с раздражением дергая ворот рубахи, на котором не оказалось верхней пуговицы.— Лучше пуговку пришей,— сказал он,— а то мне на людях бывать.

— Укорил, пришить недолго,— засмеялась Ефросинья, довольная собой и тем, что так ловко обо всем поговорила, и после недолгого молчания опять засмеялась чему-то.— Смотри, Захар, на людей чаще оглядывайся. Это тебе не я, вмиг зубы покажут. Только один раз споткнуться... И без того чего только не наслушаешься...

— Ладно, ладно,— повысил он голос, оставляя за собой последнее слово и тем самым стараясь придать всему разговору характер обычной семейной перебранки.— Лучше подумай, о чем я тебе вчера говорил. Приглядись, найди еще двух баб почище, надо ясли откры-

вать, хоть продых какой по женской части получится. Ребятня вон совсем уморила мать, который раз жалуется.

— Не понесут у нас детей в твои ясли,— словно про себя подумала Ефросинья.— Сроду у нас такого не бывало.

— Почему же не понесут? Не бывало, так будет.— Разговаривая, Захар кончил бриться, завернул бритву и помазок в сухую суконку и сунул на место, за большую продолговатую икону в переднем углу.

— Говорят, в ясли отдашь, потом и не увидишь детишек. Заберут, в одну колонию со всего району сволокут. Чтоб они ни отца, ни матери не знали, а только власть.

— Доберусь до этих языков, кто поповские слухи пущает, не поздоровится.

— От Варечки слыхала...

— Ну и дура! Вот неразумное помело! — вскипел Захар.— Вот я ее в город куда надо разок сгоняю, какого-нибудь парня посмелей проводить верхом пошлю, сразу язык укоротит-то, ведьма брехливая!

— А ты не очень-то заносись, Захар,— подняла на него глаза Ефросинья.— Нам не один год с народом жить, детям твоим еще придется.

Поглядев на жену, Захар внезапно коснулся ладонью ее затылка, провел по плечу и быстро ушел; Ефросинья придвинулась к окну и проводила его взглядом; ну что ж, она любила его той нерассуждающей бабьей привязанностью, когда все, что он делает, хорошо и нужно зачем-то; она отошла от окна успокоенная, но Захар, которому в этот день предстояла поездка в город с кучей всяких вопросов, вовсе уж не был спокоен, как показалось Ефросинье. Он меньше всего думал о себе и о дочери Поливанова, в его глазах это было делом житейским и простым, никого больше, кроме его бабы, не касающимся; он по-прежнему мучился потому, что в селе все упорнее ползли слухи о другом. Кто-то намеренно мутил воду, сеял слух, что в ссылку вместе со всеми должны были идти старики Поливановы с семьей, что послабление им выпало от Захара, и выпало не случайно, а Пырьевы, мол, должны были остаться в селе, а все получилось не так, как должно было получиться, и причиной всему называли председателя, спутавшегося с дочкой Поливанова и жрущего у него самогон и сало.

Захар не раз принимался перебирать в уме всех, кто мог бы по злу на него заниматься таким паскудным делом. Захар знал, что долго все это в узком кругу села не удержится и перехлестнет дальше, в район, и лучше уж самому сделать первый шаг и все по-своему объяснить. От этого решения он повеселел и, разговаривая в душной конторе с мужиками о том, на какое поле нужно прежде всего валить навоз, под пшеницу или под коноплю, он все таил под рыжими усиками, отпущенными последний месяц для солидности, тихонькую усмешку. «Что ж вы, черти бородатые,— думал он,— глядите на меня, как на висельника, ничего я у вас не отнял, никого не обидел, а вот темной злобы у вас на меня хоть отбавляй. И все потому, что промыкали жизнь по своим углам пугливыми тараканами, только с собой да с бабой, да и то кулак к носу — не проговорись по бабьему своему уму». Он поглядел в глубоко запрятанные глаза бригадира Юрки Левши, с которым вот уже битый час толковал, сколько возов навоза положить в норму на день, и, согласившись именно на десяти, хотя раньше настаивал на двенадцати, надел полушубок, взял кнут и рукавицы и, сказав, что едет в город по вызову к начальству, вышел из конторы, завалился в козыри — легкие санки со спинкой, специально для праздничных выездов; молодой жеребчик по кличке Чалый, отобранный у богачей Макашиных, красиво выгнул длинную шею и, легонько всхрапнув, с места взял размашистой рысью, бросая из-под копыт комья сдавленного снега. Контора находилась в дальнем краю села, и Захару пришлось проехать чуть ли не по всей улице, за ним увязалась чья-то рыжая собака, со звонким лаем она проводила его далеко за село, норовя бежать на уровне с мордой Чалого; Захар посмеивался и подсвистывал, дразня; но собака, притомившись и высунув язык, отстала.

Вдоль дороги, особенно в низких местах, возле мостов, стояли старые, густые даже без листвы, ракиты; уж никто и не помнил, когда их посадили. Снегу успело намести много, у зарослей кустов сугробы лежали косо и отливали под низким солнцем стеклянной прозрачной синью; в двух или трех местах Захар заметил заячьи следы, а километрах в пяти от села дорогу перешла волчья стая; Захар попридержал Чалого и внимательно посмотрел след. Захар ехал, ни о чем определенном не думая, в полушубке и валенках было тепло, хотя мороз

стоял звонкий, даже глаза стыли. Кончался декабрь, и Захар подумал об этом как-то вскользь; пройдет несколько дней, начнется еще один год, новые планы и заботы. Он заехал в райземотдел, отдал бумаги, подготовленные счетоводом Мартьяновичем, часа три походил по разным присутственным местам, договорился о гвоздях и скобах, о конных сеялках и двухлемешных плугах и сразу заторопился к Брюханову, секретарю райкома, человеку, которого он хорошо знал, уважал и молчаливо, по-мужски, любил. Разнуздав Чалого, привязав его к коновязи и бросив ему охапку душистого клевера, он вошел в знакомые двери; было уже двенадцать часов, и он подумал, что потом надо сходить в столовку; в приемной ему пришлось с полчаса подождать, и он сидел на стуле, расстегнув полушубок и стащив шапку, и курил; помощник Брюханова, сидевший тут же и что-то писавший, сквозь очки выразил молчаливое недовольство и, раза два покосившись на Захара, даже покашлял, отмахиваясь от наползавшего дыма. Захар, беззлобно посмеиваясь про себя, докурил до поры, пока уже нельзя было держать цигарку, и только потом приоткрыл дверцу топившейся голландки, бросил в нее окурок и опять стал слушать смутный, неясный говор голосов за клеенчатой дверью; можно было, конечно, уйти, никакого специального дела к Брюханову у него не было, но уходить он не хотел, его давно тянуло повидать Тихона, потолковать с ним без помех, на свободе, а то и посидеть за бутылкой горькой, вспомнить прошлое, шутка ли, мальчишками ходили в Крым бить барона Врангеля. Для такого просторного разговора недостанет у Тихона времени, с легким сожалением решил он, мужика в большую гору повело, первый хозяин в районе, и выше никого тебя нет. А ведь уж он его всяким видал, если припомнить...

Потихоньку беспокоил Захара и дошедший до него недавно слух, что Тихона посылают в Москву учиться; об этом надобно бы расспросить подробнее. Захар сощурился в усмешке; и помощник Брюханова задумчиво взглянул на него поверх очков; в это время клеенчатая дверь гулко распахнулась, и оттуда стали выходить люди; почти никого из них Захар не знал. Затем вышел и сам Брюханов, увидев Захара, шагнул к нему, протягивая руку.

— А-а, здравствуй, председатель. Говорят, не бывает предчувствия, а ведь я о тебе почему-то вспо-

минал сегодня,— сказал Брюханов, привычно и ловко расправляя под широким ремнем сбившиеся складки гимнастерки.— Только я тебя с утра ждал. Пообедаем у меня. Еще минут двадцать выдержишь?

— Выдержу, товарищ Брюханов,— сказал Захар, и Брюханов довольно хохотнул на его обращение и повернулся к помощнику.

— Давай дела на подпись, Гаврилыч,— сказал он и опять скрылся за клеенчатой дверью; ровно через полчаса они действительно сидели за столом в теплой и просторной комнате, и мать Брюханова, еще не старая на вид женщина, наливала им душистый домашний борщ; селедка, обложенная луком и кусочками соленых огурцов, уже стояла на столе, и Брюханов, подумав, махнул рукой, принес бутылку водки из другой комнаты.

— Знаешь, Захар,— сказал он, наливая в зеленоватые толстые стаканы,— у меня сегодня двойной праздник, во-первых, стукнуло двадцать девять, во-вторых, проведу сев и укачу учиться, решено. В Москву, брат! Так что ты не гляди на меня, мол, пьет Тихон. Причина!

— Вот и здорово, раз причина, с мороза погреться.— Захар взял стакан, пригладил другой рукой спутанные волосы и, покосившись в сторону матери Брюханова, спросил негромко: — Слушай, Тихон, какого рожна не женишься? Тебе баб не хватает, что ли? Что ж ты закоренелым вдовцом ходишь, четыре года скоро? Так? Наташе твоей пятый год пошел, как похоронили... Ну, а матка помрет, что будешь делать? Сколько можно учиться, до гробовой доски, что ли?

— Давай выпьем, Захар.— Брюханов глядел на гостя, смеясь глазами.— Двадцать девять — не такой уж поздний срок, успею, Захар, время-то для нас какое наступило.— Он уклонился от ответа, ему не нравилось, когда так легко, между прочим, говорили о его умершей жене.— Живи только с умом, не распыляйся. На все хватит, Захар, должно хватить. Дело-то в ином развороте, тянет меня на завод куда-нибудь, к металлу, видишь вон, какими я книгами обложился,— Брюханов повел головою, указывая.— Я же инженер, по ленинскому декрету институт кончал. Тогда нас, студентов, отозвали из Красной Армии доучиваться. Три года у Петрова просился на завод и выпросился,— засмеялся Брюханов,— в Свердловку, в Москву.

— Захар-то правду говорит,— неожиданно вмешалась Полина Степановна.— Ты, Тиша, заблуждаешься, никто еще не определил своей наивысшей точки расцвета. Иной думает, что он еще растет да мужает, а уж угасание-то давно подступило, не прожди своего часа, горько будет. И Наташа тебе то же самое бы сказала. Она чудесной женой была, но судьбу не обойдешь, не объедешь. Живым о живом и заботиться надо. Неужели теперь не женишься, пока учебу не кончишь?

— Ничего, мама,— бодро отозвался Брюханов, принимаясь за борщ, и потому, как он ел, было видно, что он действительно молод, счастлив и здоров, собой и своими делами вполне доволен; Полина Степановна сзади насмешливо поворошила ему волосы на затылке и вышла.

— Хорошая у тебя мамаша, Тихон,— сказал Захар, и Брюханов согласно кивнул, затем, намазывая еще один кусок хлеба горчицей, сказал: — Выкладывай новости. Ничего не стряслось?

Захар молча доел борщ, отодвинул тарелку и только потом стал рассказывать; вначале на лице у Брюханова держалась неясная усмешка, затем глаза у него стали холодными и отчужденными. Захар больше не глядел в его сторону; он по-прежнему не чувствовал особой своей вины; ему лишь было неловко рассказывать обо всем Тихону, человеку, которого он уважал и с мнением которого считался, а с другой стороны, кому же еще рассказывать, как не ему, дружку по гражданской; отчаянный был пулеметчик Тихон Брюханов, он же его и к книжкам приохотил.

— Так,— сказал Брюханов, помолчал, словно чего-то еще ожидая.— Значит, говоришь, советскую власть на... променял?

— Знаешь, Тихон...

— Я тебе не Тихон в подобном разговоре, а секретарь райкома,— жестко и коротко сказал Брюханов, по-прежнему не повышая голоса.— Мы только-только на ноги пытаемся стать, а такие, как ты, тут же под корень ее, любую новую идею, в глазах крестьянина... За это расстреливать надо...

— Ну, расстреляй.— Захар откинул голову, невольно улыбаясь, показалось забавным, что об этом непримиримо говорит Тихон Брюханов; он-то должен помнить двух сестер под Киевом, вместе тогда хорошую

ночку провели, и вообще друг без друга куска не могли проглотить.— А я тебе одно скажу, товарищ секретарь, хочешь — верь, хочешь — как хочешь. Будь правда, никаких Поливановых бы не пожалел, сам бы к тебе требовать пришел. Давай по-мужицки рассуждать, какой в этих разговорах резон? Кто-то на меня злобится, вот все никак не докопаюсь, а Поливанов тут ни при какой стороне. Черт разберет, как он в список угораздил. Хозяин настоящий, может, что на уме и есть, а делом себя хорошо показывает. Кто-то орудует в селе, разговорчики идут. Для советской власти, может, это и мелочь незаметная, а для нашего села все-таки непорядок, вот где подрыв-то советской власти. Потом, был бы он в самом деле враг, вредил бы, а то ломит мужик, как вол, второй год в артели, а ты заедь как-нибудь, погляди, что он со старым-то поместьем авдеевским сделал. Конный двор отгрохал — залюбуешься. А все он — Аким Поливанов. Опять же сыновья у него — буденовцы. Теперь такой поворот: кто Поливанова из района назад отослал? Особая тройка, и правильно сделала, значит, и ты самолично к этому руку приложил. Я тут при любом разборе непричастен, хотя и ругался с уполномоченным. Видать, умный человек в этой тройке случился! Так чего мне самого-то себя наказывать? А касательно девки... не знаю, ну, случилась беда, что же делать. И ты бы не удержался, как было удержаться, коли она сама хотела? Дело живое. Сам не рад, что так вышло.

— Жена у тебя хорошая, Захар, дети.

— Брось, Тихон,— опять забылся Захар в грубой мужской откровенности,— мужик ты или как? И жене хватает, жена-то ухайдакается. к вечеру, ты ее хоть выжми, трое детей, теперь бог четвертого подкинул. Мне вот на четвертый десяток перевалило, да и ты уж к тридцати подбираешься. Не поверишь, Тихон,— понизил голос Захар,— сам никак не разберусь, отколь на меня нанесло с Маней, как самогону ведро выжрал, голову застлало, да и теперь, как подумаю, все дрогнет...

Брюханов молча отодвинулся от стола, поднялся и, забыв про обед, стал ходить по комнате; он был раздосадован до крайней степени и не скрывал этого. У него появилось и окрепло какое-то брезгливое чувство к Захару. Разумеется, со стороны его собственная жизнь кажется многим завидной, сам себе хозяин, делай что

хочешь, весь район в твоем подчинении, а вот тому же Захару захотелось — и спит себе с девкой, надоест — еще одну найдет. А ты этого себе не позволишь, хотя иногда и бывают сумасшедшие мысли, еще какая дичь распирает! Да ведь тебе твое положение не позволяет не то что переступить на один шаг дальше узаконенного, даже высказаться вслух по этому поводу; да и стыдно становиться в один ряд с тем же Захаром, животному в себе волю давать, а ведь в каждом оно шевелится, только послабление дай. Брюханов с невольной улыбкой посторонился, увидев перед собой мать, сосредоточенно несшую в кастрюле второе — баранину с чесноком и тушеную картошку; Брюханов придвинул подставку под горячую кастрюлю, засмеялся.

— Ждала, ждала,— сказала Полина Степановна,— решила без всякого зова жаркое подавать, застывает все, наверное, думаю, в разговорах о еде забыли.

— У нас разговор горячий в самом деле,— сказал Брюханов, садясь на свое место к столу и понемногу успокаиваясь.— Вот у Захара осенью возле избы неизвестная женщина умерла. Шла и умерла ночью, ребенок остался, родила только что. Взял он его, своих трое, этот четвертый... Почему бы в детдом его не отдать? — внезапно спросил он у Захара.— Трудно ведь с такой оравой.

— Как его отдашь,— возразил Захар с легкой улыбкой.— Я и то привык к нему, не говоря уж о бабе. Дала грудь и присохла, порода у них такая, бабья. Присушливая. Ничего, где трое есть, четвертый помехой не будет.

Накладывая ему в тарелку побольше, Полина Степановна все старалась не глядеть на сына, он бы мог угадать, о чем она думала в этот момент, и это было бы нехорошо.

— Хороший вы, Захар,— вздохнула Полина Степановна,— я вот почти не знаю вас, только со слов Тихона. Вы заходите к нам. Как приедете, так и заходите, буду всегда вам рада. Вы очень хороший.

— Как же, палец в рот не клади, по локоть могу отхватить,— смутился Захар и стал есть душистую баранину.— Знаете, мамаша Полина Степановна,— он поднял глаза от тарелки,— сейчас недосуг хорошим быть, времени не хватает. Не знаю, у кого как, а у мужика новая-то жизнь не сразу выходит, наизнанку его ненароком выворачивает. Вот ваш сын — начальник,

секретарь, много можно ему рассказать. Трудно мужику с непривычки-то, непривычно как-то. Мужик любит на сходах, на гульбищах с другими пошуметь, да ведь горе в жизни он веревочкой завивать сам с собой привык, без постороннего глазу. А его сейчас нутро заставляют наружу перед всеми выложить — к такому-то сразу не привыкнешь, Тихон.

Брюханов промолчал, хотя Захар специально остановился в ожидании услышать ответ хозяина на эти его слова; Брюханов сосредоточенно жевал баранину, обдумывая слова Захара, видя его сейчас в новом свете. Они не часто встречались, редко виделись вот так наедине, и совместное боевое прошлое, нить, связывающая их, слабела; но Брюханова сейчас вывел из равновесия не столько сам поступок Захара, сколько свой предвзято-рассудочный холодок; пожалуй, это и было самое неприятное, откуда бы, казалось, взяться равнодушию в горячем, живом деле? О старости говорить не приходится, значит, в самом тебе завелась червоточина; вот и гнетет, хочешь не хочешь, а разбираться все-таки придется, прав Захар Дерюгин или нет. Дело такое щепетильное, можно повернуть как угодно, может, лучше всего просто не заметить, пройти мимо как ни в чем не бывало, дать во времени всему само собой отстояться. Захар человек молодой, ему нужно опомниться, пусть сама жизнь подтвердит его или опровергнет.

— Девка-то хоть хороша в самом деле? — спросил Брюханов, дождавшись, когда мать вышла на кухню, унося посуду.

Захар отвел глаза, помедлил.

— Знаешь, Тихон, каждый раз даю зарок, ну вот сегодня схожу, и баста. День-два пройдет, подумаю и не могу, опять к ней, да что хочешь...

— Ну, ты вот что, Захар,— сказал Брюханов, усмехнувшись и показывая, что он понимает Захара, хотя есть вещи неизмеримо важнее и значительнее.— Ты канитель с этой любовью кончай, кулацкая она дочка или нет, в самый короткий срок. Случается, что и партийный билет выложишь, не говоря уже о других последствиях.

И он снова поймал хмельной, неспокойный взгляд Захара, и тот ясно понял то, чего Брюханов не сказал и не хотел говорить, а именно, что в жизни существуют жесткие нормы поведения и нельзя одному только тащить на себе всю тяжесть жизни, а другому только

пользоваться благами и жить в свое удовольствие. Привыкая к неожиданному отчуждению к Захару и стараясь пересилить его, Брюханов прошелся по скрипучим половицам и опять сел.

— Хорошо, Захар, мы еще договорим об этом,— сказал он.— Теперь о деле. Слушай меня внимательно,— продолжал он, подчеркивая своими словами значение и важность предстоящего разговора.— В середине февраля должен состояться Первый Всесоюзный съезд колхозников, в Москве, разумеется. Побывать на нем тебе, председателю одного из самых больших колхозов в районе, было бы очень полезно. Препятствий не вижу, с семенным фондом у тебя порядок, колхоз к севу готов. Вытряхни из себя дурь, укрепись. Поезжай, Захар, почувствуешь масштаб затеянного, шутка ли, деревню перекореживаем. Такого еще мир не видел — простой мужик выдвигается во главу угла. Не думай, я не ради тебя стараюсь, масштаб страны увидишь, ох, как хочется растрясти вас, а то каждый за свою бабу да за свой горшок со щами держится. Кончай свою любовь, Захар, собирайся новую Россию строить. На таких, как ты, новое село подняться только может, другой опоры нет. Собирайся,— коротко закончил он.— Присматривайся там к людям, слушай, на ус наматывай. У тебя жизнь долгая, надо учиться, надо,— добавил он, заметив растерянность в сумеречных глазах Захара.

— Оглушил ты меня, Тихон.— Захар повертел стакан, осторожно отодвинул его подальше.— Там, гляди, правительство будет.

— Вот и посмотришь на правительство. Свое ведь — рабоче-крестьянское. В широкий разворот вступает страна, Захар, народ сам собирается, чтобы долю свою обсудить, дать ей ход, на быстрину вытолкнуть. Я иногда задумываюсь, честно признаюсь, жутковато станет — удивительное, непостижимое время! А у тебя на уме одни бабы,— ох, заблудился ты, Захар.— Заметив досадливое движение Захара, Брюханов выпил залпом остывший чай.— Хорошо, хорошо, не буду. Только запомни наш разговор, так, как я тебя понял, никто тебя не поймет, а осудит каждый, пойми и ты, Захар, человек на виду у других ко многому обязан, и прежде всего к чистоте!

— Эк далась вам всем эта история.

Захар больше ничего не сказал, под конец они оба еще раз выпили, и с тем Захар уехал. Отдохнувший

Чалый всю дорогу до дома шел ходко и легко, но часть пути пришлась все же на темноту; мороз к вечеру окреп, стал суше, и в груди покалывало от обжигающего воздуха; несмотря на ругань Брюханова, Захар чувствовал себя хорошо и уверенно и неотступно думал о предстоящей поездке на съезд в Москву; два или три раза Чалый, вскидывая голову, тревожно всхрапывал, и до слуха Захара дошел далекий вой волков. В совершенно чистом безветренном небе густо проступали звезды, и полозья саней скрипели пронзительно и чисто; перед самым селом Захар задремал, и конь привез его не на колхозную конюшню, а ко двору бывшего своего хозяина, раскулаченного и выселенного теперь на Соловки Михаила Макашина; Чалый остановился прямо у крыльца, и Захар, оторопело открыв глаза и не сразу поняв, куда его привез конь, про себя подивился памятливости и привязанности животины. Большая, под железом, изба Макашиных стояла пустая, с забитыми дверьми и окнами; сельсовет намечает открыть в ней к весне клуб, а сам Захар надеялся отвоевать помещение под ясли и детский сад: в избе на две половины вполне хватило бы места, Захар вспомнил об этом както мимолетно. Чалый с чуткой неподвижностью стоял перед широкими тесовыми воротами, наполовину занесенными снегом, ожидая, когда наконец хозяин откроет их, и Захар, все больше подпадавший под настроение вечерней тишины и пустынного, настывшего дома, старался не шевелиться в козырях, не шуршать сеном; с особой остротой он почувствовал обступившие его тени, на какое-то мгновение ему вновь почудилось мятущееся движение в избе, воющие голоса баб...

Он дернул вожжами, и Чалый, неохотно тронувшись, вывернул на улицу; из сторожки у конюшни вышел ночной конюх Володька Рыжий и, хрипло, спросонья поздоровавшись с Захаром, стал распрягать, пространно рассуждая о необходимости наглухо огородить племенного жеребца. Захар, захватив фонарь, прошелся по конюшне; лошади в станках поворачивали к нему головы, и свет фонаря отражался в их больших блестящих глазах; Захар побродил, побродил по конюшне, с удовольствием похлопывая по сытым крупам лошадей, вспомнил, что сегодня в избе-читальне учеба, решил сходить посмотреть, и скоро, приоткрыв разбухшую дверь избы-читальни, сразу охваченный духотой, стащил шапку, присел на скамейку у самой двери,

рядом с ведром, накрытым деревянным донцем. Елизавета Андреевна, объяснявшая в это время образование слов и для большей убедительности показывавшая указкой разрисованные картинки и писавшая мелом на доске, оглянулась на него, чуть приметно кивнула и продолжала свое дело; Захар с затылка узнал Юрку Левшу, Микиту Бобка, вообще собравшиеся здесь двадцать человек (Захар успел пересчитать их) были все хорошо знакомы с детства; Захар прислушался к объяснению Елизаветы Андреевны, думая о ней тепло и радостно, и она, почувствовав его взгляд, опять приветливо оглянулась, и он тотчас перекинул глаза на большой плакат, где говорилось, что «на газеты нет расходу, гривна в месяц не расход, за шесть гривен на полгода, за рубль двадцать целый год». Этот стишок, списанный с плаката на почте в районе, Захару очень нравился, так же, как и плакат, нарисованный неровными большими буквами и висевший на самом видном месте, он бросался в глаза прямо на пороге: «Расхититель общественного добра — враг государства, колхозного двора».

Устраиваясь удобнее, Захар стал следить за учительницей; Елизавета Андреевна писала на некрашеной доске мелом слоги, растягивая, несколько раз громко повторяла их, затем все с сопением принимались записывать их в неровно сшитые из серой грубой бумаги тетради (с бумагой было туго, и эту еле добыли с помощью Брюханова), даже по лохматому затылку Микиты Бобка Захар видел, как тому почти невыносимо трудно выводить буквы, и посмеивался про себя.

Он оглядел обстановку просторного помещения бывшей избы высланного Афанасия Горохова, мужика могучего, с черной густой бородой, прокусывавшего на спор пятиалтынный: могутный был мужик, да и потомство, четверо сынов, под стать ему. Жалко, жаден был да зол, как черт, за копейку мог душу невинную загубить. А теперь вот в его избе стол, самодельные полки с книгами и газетами, немудрящий, его же, Афанасия, шкаф, тоже с книжками, сквозь зеленоватые стекла которого виднеется и гармоника. Прислушавшись, Захар покосился на квадратные ходики, громко и хромо тикавшие; шестнадцатилинейная лампа над столом светила довольно ярко, и Захар хорошо различал прищур Калинина на портрете. Должен был быть еще в избе-

читальне патефон, подаренный колхозу от Холмского паровозоремонтного завода, но его что-то не было видно; Захар задумался, на лбу у него и у глаз появились морщины, все-таки непривычное, то и дело трогающее грудь холодком творилось в мире, вот словно взял кто и перемешал небеса с землей, и теперь не разобрать ни верха, ни низа. Ну да, ему перед другими приходится держаться козырем, все ему понятно и ясно, а ночью проснется в неловкий час, и хоть глаз коли. Вот те же кулаки, а ведь некоторые из них кулаками стали после революции, в ту же советскую власть, после раздела авдеевской земли. Подстегивая других, с глазом таким загребущим, двужильными оказались, за то их, приподняв, и шлепнуло, перенесло куда-то в иные края. Правда и то, что с ними никакого тебе совместного хозяйства не получилось бы, больно до своего охочи, да и то сказать: работящи были, и другого вусмерть загонит, и сам, коль надо, на обыгонке подохнет. А вот теперь мужики сидят, как малые дети, буквы учат, тоже диво; видано ли, здоровый мужик вместо привычной мужицкой работы пальцем в бумагу тычет по нескольку часов, ведь это чем-то возместить должно, а так ведь до какого еще удивленья новые пути их доведут? До поганства и беспутства, как говорит дед Макар, или до всеобщего счастья, по словам Тихона Брюханова?

Захар начинает путаться в мыслях, встряхивает головой. Самому ему давно ясно, что, кроме колхоза, другого пути теперь нет и не будет, из райкома, из области торопят и торопят по поголовному вовлечению в колхоз; сколько их еще в Густищах осталось, единоличников? Семьдесят шесть семей из трехсот, и эти хоть и хорохорятся, но теперь уже присматриваются к колхозу по-другому. Позавчера еще трое подали заявления, а доведись решать на его, Захара, голову, он бы силком никого не тащил, дал бы оглядеться тугодумам, жизнь сама и показала бы, что к чему.

Занятия в избе-читальне закончились часам к девяти, и многие сконфуженно зевали; по вечной крестьянской привычке они в это время уже досматривали бы вторые сны; но расходились оживленно. Пока Елизавета Андреевна собиралась, Захар вышел на крыльцо покурить с мужиками, рассказал, что в районе намечено в следующем месяце протянуть в Густищи радио, и Микита Бобок в ответ раскатисто хохотнул.

— Во жизня привалила! Ты с бабой в кроватях

пировать будешь, а в головах радиво. Так и так, товарищ дорогой, советский колхозник Бобок, чего ты хочешь прислать тебе, шоколаду германского или русской водки? Хо-хо! — опять загремел он, довольный своей шуткой, но в это время в дверях появилась Елизавета Андреевна, и он умолк.

— Рада вас видеть, Захар Тарасович,— сказала она.— Понравились вам наши занятия? Пойдемте, нам в одну сторону, проводите меня.

Микита Бобок и Юрка Левша остались стоять, причем Бобок, в деланном изумлении, довольно увесисто саданул Юрку в бок, а Захар, неловко и широко шагая стоптанными валенками, пошел рядом с Елизаветой Андреевной, закутанной до бровей в большой теплый платок. От звонкого мороза дыхание вырывалось серым, неровным паром, хорошо различимым в лунном свете, и Елизавета Андреевна прикрывала рот варежкой: с неделю тому она подстыла и теперь время от времени глухо покашливала. Она спросила у Захара, как ему съездилось в город и что там нового, и Захар задумался; ему хотелось поделиться именно с этой женщиной новостью о поездке в Москву на съезд, и в то же время что-то мешало.

— Для нас, сиволапых, на каждой версте новое,— сказал он.— Что ни увидишь, то и внове.

— Это вы зря, зачем прибедняться, Захар Тарасович? У нас в деревне очень способные люди, в этом я давно убедилась.— Елизавета Андреевна, не замечая того сама и конфузя Захара, взяла его под руку.— Я вам уже говорила, надо организовать коллективную поездку в город, посмотреть кино. Многие знают об этом лишь понаслышке. Очень нужны сейчас в народе знания, Захар Тарасович, ради этого все можно отдать.

Чувствуя и сквозь кожу полушубка ее тонкую непривычную руку, Захар потихоньку косился в ее сторону, и когда она поднимала на него глаза, он видел их неспокойный блеск от луны и чувствовал какое-то глухое волнение.

— Не знаю, как кому, Лизавета Андреевна,— сказал тихо Захар,— а меня порой жуть так и сосет. Это ж надо, все на дыбы вздернуть, живого места не оставить от вековой жизни! Она-то была, вон как из нее кровища хлещет, а ведь с дохлого она не потекет. Вот и жуть.

— Любопытный вы человек,— Елизавета Андреевна старалась увидеть выражение лица Захара.— Вы сильный человек, Захар Тарасович, только пропастей в вас, пожалуй, многовато...

— Какие там пропасти! — удивился Захар.— Вот говорите — знание. А на что оно мужику, это знание? — словно поддразнивая Елизавету Андреевну, спросил он.— Мужику главное — работать надо, а так получается ерунда. Все сядут бумаги писать, потеха начнется.— Захар засмеялся, притиснул сильнее руку Елизаветы Андреевны.

— Застарелый взгляд, Захар Тарасович,— приостановилась Елизавета Андреевна.— Тот, кто знает, ради чего трудится, работает лучше, веселее, осознаннее. Вы от таких мыслей не страдайте, Захар Тарасович, жизнь новые формы выдвинет. Спокойной ночи.

— Будьте здоровы,— отозвался Захар, глядя вслед невысокой, непривычно тонкой фигурке учительницы, одиноко идущей по узкой тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Захар еще постоял, скручивая цигарку и думая о последних словах Елизаветы Андреевны. Хитро в жизни устроено, ищешь одно, а находишь другое и только руками разведешь.

Придя домой, он заснул быстро и спокойно; но утром сразу вспомнил разговор с учительницей, и теперь ее мысль съездить в Зежск колхозом все больше нравилась Захару, и недели через три такой выезд состоялся. Сорок саней, запряженных ухоженными, сытыми конями, выехали из села в третьем часу дня с шумом и весельем, впереди хлопал красный флаг и отчаянно заливалась гармонь. На улицу высыпали старухи и дети смотреть, по обе стороны дороги мчались ватаги деревенских собак, захваченных общим возбуждением, заливались лаем; кое-кто из молодых мужиков и парней ехали навеселе, и скоро сразу в нескольких местах запели; солнце садилось на мороз, раскаленное, в яркий алый огонь, и полозья саней весело повизгивали. Совсем перед выездом на конный двор пришли председатель сельсовета Анисимов с Елизаветой Андреевной, и теперь они сидели в одних санях с Захаром. Через день все трое увидели себя в центре густищинцев на фотографии в районной газете «Зежская коммуна», а через неделю этот же снимок появился в «Холмском рабочем» и в «Огоньке»; Анисимов повесил их в сельсо-

вете на видном месте и всякому приезжему из района или области с гордостью показывал, добавляя, что такие выезды стали в Густищинском сельсовете традицией по инициативе его жены.

Первый этот выезд и картина «Златые горы» запомнились густищинцам надолго; многие были в кино вообще впервые и сначала с боязливым недоумением следили за метавшимися перед ними совсем по-взаправдашнему людьми, а в иные моменты, когда Петру, крестьянскому сыну и оттого особенно близкому и понятному, становилось туго, сморкались; выйдя на морозную улицу, густищинцы тотчас окружили Елизавету Андреевну, требуя от нее объяснений; почти никто из женщин читать не умел, и учительницу засыпали вопросами.

— Мы, товарищи, об этом у себя поговорим,—пообещала Елизавета Андреевна.— В картине очень интересно рассказывается о судьбе крестьянского парня, о том, как у него сознание пробуждается.

— Андреевна, Андреевна, ох, разъясни ты нам, темным,— протиснулась вперед Варечка, жена Володьки Рыжего.— Головушка кругом, это как же они по белой-то стенке бегают, и кони и люди?

— Это как на фотографии, только в непрерывном движении.

— Ну, ахти тебе,— на потеху молодым парням и девкам самозабвенно удивилась Варечка, вкладывая в свое удивление изрядную долю природного ехидства, вспыхивающего в ней всякий раз в столкновении с непонятным.— Вон оно и видно, когда из деревни-то человек, город ему на погибель,— перекрестилась Варечка,— Не знаю, не знаю, Андреевна,— тут же добавила она,— может, и так по-ученому, а небось после этого надо святой водой окропиться. Антихрист один на гладкой стене и удержится, а человек православный как?

Улыбнувшись, Елизавета Андреевна стала объяснять Варечке, но в это время мужики закричали садиться и ехать, и все бросились с веселыми возгласами и смехом отыскивать свои сани. Застоявшиеся, продрогшие лошади беспокойно просили ходу; на главной улице Зежска одиноко горели несколько электрических фонарей, и совсем где-то неподалеку неровно, захлебываясь, через силу работал движок.

3

Время до отъезда в Москву прошло для Захара неимоверно быстро; он пытался подсмеиваться над собой, но после разговора с Брюхановым в нем словно что сместилось; Брюханов был прав, одно дело жить самому по себе, совершенно другое — быть председателем колхоза, жить под прицелом чужих взглядов, словно под ярким лучом фонаря, когда каждую брызгу на тебе можно разглядеть и обговорить; и это вновь и вновь заставляло Захара обращаться в мыслях к своей жене, к далеко зашедшим отношениям с Маней и к тому важному вопросу вообще о семье Поливановых. Тут надо вопрос напрямик ставить, не раз думал Захар, или с Маней напрочь обрывать, или по-честному, на первом же собрании отказаться от председательства; и тот и другой случай Захар много раз перебирал в уме и никак не мог решиться. Маню он оставить не мог, это нужно было оторвать от себя половину души и жить дальше калекой; отказываться от председательства не хватало решимости. Нужно было объяснять причины, сколько ни изворачивайся, правда выплывет, да и не мог он уйти, бросить горячее дело; и в старой семье жизни больше не будет, Фроську да и мать не проведешь. «Вот такие пироги»,— говорил себе Захар, всматриваясь по ночам в душную темноту избы и вслушиваясь в разнокалиберный сап спящих детей; к нему иногда подступало чувство полнейшего одиночества, все труднее становилось справляться именно с самим собою, нужно было рвать со старым, но и на это он не мог решиться, было жалко детей. Это непривычное для его здоровой натуры раздвоение особенно усилилось в дни подготовки к съезду, всколыхнувшей, судя по газетам и по самым противоречивым слухам, всю страну, и приглушило остроту собственного положения. Захар понимал, что положение с хлебом, с семенами в стране сложилось тяжелое, особо на юге, на Украине и на Волге, и что борьба за семена достигла болезненной остроты; повсюду кипели массовые чистки, и Захар почти физически ощущал вставшие стеной на стену противоборствующие силы. Он сам теперь изумлялся собственной предусмотрительности и радовался, что не спасовал с осени перед напором мужиков и правленцев, настоял выдать на трудодень на два фунта меньше; семенами колхоз был обеспечен с большим излишком,

и теперь Захар боялся одного, как бы амбар с семенами не подожгли, и потому часто среди ночи срывался проверять сторожей; все могло случиться в эту пору взметнувшегося ожесточения, свои, может, и не осмелятся, зато со стороны чего угодно могут, земля ведь слухами полнится. Рядом, в иных соседних колхозах, в семенных закромах не густо, с любого боку может подступить.

Между тем время шло, на колхозном собрании, после шумного обсуждения письма безенчукских колхозников, его охотно и даже радостно выбрали делегатом на съезд, без всяких лишних рассуждений; Брюханов, приезжавший на собрание, поздравил Захара от имени всего района; а спустя несколько дней, особенно хлопотных, Захар в числе других делегатов уже сходил на московский перрон Брянского вокзала, несколько растерянный шумной, торжественной встречей и музыкой духового оркестра. Незнакомые люди тотчас завладели приехавшими делегатами. Их фотографировали, репортеры растаскивали по разным углам и, не отрываясь от блокнота, требовали рассказывать о своей жизни, о работе, об организации колхозов и, самое главное, требовали новых интересных случаев о борьбе с кулаками.

Уже в одном из залов вокзала перед Захаром, оттеснив его от стола с огромным меднопузым самоваром и бутербродами в больших красивых мисках, вертелся бритый молодой человек, с холодными узкими стеклышками очков на глазах, с карандашом и растрепанным блокнотом; Захар несколько оробел от его натиска, он с гораздо большим удовольствием посидел бы за столом и попил горячего чая; вначале он попытался отделаться от бойкого газетчика, строя из себя простачка: в ответ на вопросы неопределенно подергивал плечами, но очкастый не отставал, он почувствовал в Захаре глухое сопротивление и пытался его сломить. Захара, в свою очередь, тоже заинтересовал очкастый малый своей напористостью, каким-то безоговорочным чувством собственного права лезть к нему, Захару, в душу. Внимательно слушая его вопросы и пространные рассуждения и объяснения, Захар с извечной мужицкой хитростью поддакивал, пытаясь определить, нет ли здесь какой-нибудь подковырки, но постепенно от искреннего возбуждения газетчика, глядя в его открытое и озабоченное лицо, почувствовал себя увереннее.

— Слушай, спрашивай скорее да отпусти поесть, пока дают, голодный ведь останусь.

— Быстро, быстро, товарищ Дерюгин.— Очкастый газетчик, довольный победой, зашелестел блокнотом, приготовляясь писать.— Всего два вопроса. Как вы подняли колхоз до лучшего в районе, даже в области, и как у вас обстоит дело с кулацким вопросом на современном этапе строительства?

— Собственным горбом,— тотчас отозвался Захар.— Тут иначе и не выкрутишься. Нашлось человек тридцать согласных мужиков, дули в одну дуду, вот и получилось, вытянули, хотя лаялись отчаянно. Трудно верующим стать, а с верой и помирать легче. С бригадирами повезло, вот уже второй год два толковых мужика взялись и держат бригады, особенно Левашов. Другие бригады распадаются, а к этому просятся. Пчела всегда на хороший цветок летит.

Репортер стащил с себя очки, деловито протер их, поморгал на Захара светло-голубыми глазами в длинных ресницах, дрогнул в живой усмешке, пробормотал что-то про себя и стал бойко записывать.

— С кулаком управились тоже собственным горбом, дорогой товарищ.— Захар поглядывал на длинные столы, на которых блюда все пустели, торопясь поскорее развязаться.— А теперь какой кулак, теперь он притих, если остался где, только исподтишка и рыкнет.

— Тем он, очевидно, и опаснее? — блеснул газетчик стеклами очков.

— Скрытая хвороба всегда опаснее.— Захар согласно кивнул, и газетчик, с благодарностью тиснув ему руку, кинулся к кому-то еще, давно уже намеченному, а Захар, перебирая в уме, не ляпнул ли чего лишнего, направился к столу; вспоминая узкие очки газетчика и свои убогие рассуждения, Захар недовольно хмурился. Вот ведь, думал он, теперь его мужицкая доля интересна и нужна всей державе, а уж коли такой оборот приняло дело, ни одного темного пятнышка в себе не скроешь, в таком резком свете они лишь резче проступят. Его никто не мог убедить, что Аким Поливанов должен был быть с семьей высланным; он мог бы это десять раз доказать при любом народе, но ведь каждому рта не заткнешь, свой ум не вставишь, и всегда найдутся говоруны от скрытой злобы или просто от супротивного характера. И в их словах будет своя правда; он сам знает, что по соседству в селах высылали мужиков

и победнее Акима, да тут опять немаловажный вопрос: каких мужиков, с каким нутром, одно дело Поливанов, другое — Макашины, тут он за свою правду может голову под топор положить.

Вокруг много и настойчиво говорили о внутренних врагах, газеты ежедневно писали о кулацкой хитрости, коварстве и жестокости. По ночам Захар вновь и вновь начинал думать о Мане, ища в себе силы разрубить этот узел. Кипучая жизнь съезда подстегнула его, подчас ему начинало казаться, что вина его необычно велика и нужно прямо пойти и рассказать об этом какому-нибудь ответственному товарищу. Он бы так и поступил, касайся дело только его, удерживал страх за Маню. В обострившемся накале никто бы не стал разбираться в ее судьбе, в этих смятенных толпах один человек был немощной песчинкой; нет, он один в ответе, ему и нести на загривке главный груз. А может, Брюханов и прав, и лечиться надо принародно, вот он и вытолкнул его сюда, в шумное кипение; тут-то уж своими болячками заниматься некогда — страна перед тобою, ее доля и труд. Вот она, общая судьба, намечается, выстраивается, думал Захар, с жадностью вслушиваясь в долгие споры в общежитии, особенно пристально приглядываясь к взявшим над ними шефство рабочим. Своим медлительным мужицким умом он многого не мог осмыслить сразу, однако в одном он уверялся все больше и больше: в необходимости хозяйствовать на земле сообща, владеть ею вместе, уж больно яро прорастает злоба на частых хозяйских межах, а они бы с каждым годом становились все гуще; нельзя же землю из края в край засеять ненавистью и кровью.

В эти серые февральские дни в Москве было оживленно и весело, часто можно было встретить на ее улицах и площадях, в Планетарии и театрах разномастные группы крестьян — делегатов съезда; северяне выделялись рыжими бородами, лохматыми тулупами, лазурной детскостью глаз; у южан глаза были темными, теплыми; сивоусые и медлительные в оценках, они присматривались ко всему с недоверчивой осторожностью; прорвавшиеся в Москву из самого средоточия борьбы за хлеб и за колхозы, сквозь многочисленные в ту пору снежные заносы на дорогах, они больше прочих чувствовали остроту происходящего и потому не очень верили иным слишком прямым и трескучим речам некоторых бойких ораторов; за каждым пудом се-

мян, запасаемых к весне с трудом и ожесточением, стояли пот, кровь, проклятия. Прибыли на съезд и шустрые москвичи, и рязанцы, и смоляне, привыкшие еще с дедовских времен иметь дело с Москвою и потому державшие себя с подвижной бойкостью; в группах делегатов живописно выделялись женщины из республик Средней Азии, недавно снявшие и сжегшие паранджу; и теперь еще стесняясь открытости лица, они держались кучно и при взглядах мужчин застывали в беспокойном напряжении. Захар цепко присматривался к происходящему; и опять-таки, невольно для себя, в нем все время шла оценка своего собственного внутреннего состояния. В день открытия съезда помещение Большого театра стало наполняться сдержанным гулом мужицких голосов, все теми же разговорами о семенах, хлебе, кулацких обрезах; торжественную тяжелую позолоту лож и ярусов перечеркнули лозунги с простыми и понятными словами о хлебе, о земле, о севе, о хорошей работе.

Холмская делегация пришла, когда уже собралось довольно много народу; показав свой мандат и бережно запрятав его назад, во внутренний карман, Захар застегнул вдобавок карман изнутри булавкой, которой перед отъездом, в страхе перед московскими жуликами, снабдила его бабка Авдотья для убережения денег. Никогда не видавший такого сверкающего великолепия, Захар стал беззастенчиво рассматривать люстры, золоченую резьбу в ярусах, бархат кресел. «Гляди, сколько бы штанов ребятне было»,— озорно подумал он, сознавая в то же время, что эта шутейная мысль его глупа и ради бесштанной, беспризорной ребятни вряд ли стоило обдирать дорогие сиденья. До начала он успел отыскать свое место (делегаты из Холмской области располагались рядом с большой делегацией из Западной); он шел по проходу, когда его громко окликнули из другого ряда кресел. Павел Савельев, бригадир из соседнего, Добрыжского, района, молодой, одних годов с Захаром мужик, с которым в общежитии они спали рядом, сияя чисто выскобленным, пахнущим одеколоном лицом, стал рассказывать Захару, как они всей делегацией ходили в парикмахерскую и как там его брил, удивляясь железной стойкости щетины, сухонький старичок и все расспрашивал, много ли в деревне осталось людей, не все ли еще разбежались.

— Хотел ему в морду напомаженную заехать,— гудел смешливо Савельев,— глянул, жалко стало. И морды-то нет, печеный желвак. «Не лезь, говорю, папаша, под горячую руку, Россия, говорю, сейчас заново на дыбы встала, разбираться, кто под копыта сунется, некогда».

— Ну, а он? — поинтересовался Захар, устраиваясь в удобном кресле.

— С ядом старичок,— тотчас отозвался, словно радуясь, Савельев.— «Жалко мне вас, говорит, тьма и грязь сожрут вашу новую Россию, без бога и без совести человек — зверь, только о зверином помышляет». Опосля перепугался, стал от денег отказываться, я, говорит, сочувствующий новой деревне.

— Контра,— коротко определил Захар; ему не хотелось сейчас, накануне торжественного момента, думать о каком-то недобитке, но Савельев, наоборот, от полноты чувств испытывал острое желание поделиться.

— Контра и есть, такие сочувствующие по дорогам с обрезами посиживают,— подтвердил он.— Как ты ушел, Захар, после обеда-то, знаешь, кто к нам в общежитие заходил? Петров Константин Леонтьевич, в Москву, говорил, сегодня приехал, очень съездом интересуется. Спрашивал, как устроились, про тебя спросил — надо же, каждого по батюшке величает.

— На этом деле посажен, должен знать,— заметил Захар, припоминая худое лицо первого секретаря обкома Петрова во время беседы с делегатами съезда накануне их отъезда в Москву. Он тогда со всеми поздоровался и у Захара спросил о хозяйстве, о том, что говорят колхозники и что он сам думает о новых нормах натуроплаты за работы МТС. Изменившиеся нормы только что стали известны, и Захар всерьез взглянул на них уже здесь, в Москве; пожалуй, если иметь достаточно рабочих лошадей, от многих видов работ МТС можно было отказаться; лошадь вполне выгодное дело, от нее прибыток двойной. Лучше конского навоза для земли не найдешь, работы здоровый конь переворачивает горы. С другого боку — трактор он трактор, сена ему не надо, он тебе валит и валит, только горючее давай. Пахота глубокая, хоть в колено ставь...

Задумавшись, Захар не очень внимательно слушал своего соседа; тот, не замечая, толковал о дворцах, о царях, по-крестьянски дотошно подсчитывал, сколько

на все это денег из мужика вытянули; гул оваций поднял Захара с места.

— Вишь, начинается! — прогудел ему в ухо Савельев, и Захар кивнул, отмахиваясь; каждую минуту Захар ждал чего-то еще более важного, более значительного, того, что должно было сообщить ему самую главную уверенность, избавить от сомнений, придать законченность неосознанно бродившему в нем чувству свободы, полета, и теперь ему казалось, что это вот-вот должно случиться. Председатель лучшего на Средней Волге колхоза Матвей Пакс глуховато разносящимся голосом, пожалуй, от непривычного волнения, чересчур тщательно выговаривает фамилии из списка президиума, а затем, выждав, предлагает избрать почетный президиум съезда; Захар ловит знакомые имена, и ему кажется, что долгожданный момент вот-вот наступит и случится что-то, в один миг перевернет жизнь и станет просторно и радостно на душе.

В президиум, во главе со Сталиным, соблюдая негласный, но раз и навсегда установившийся порядок, выходят Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев, Косиор, Постышев, Микоян. Захар видит их как-то всех сразу и в то же время, ни на мгновение не отрываясь от Сталина, подчиняется общему настроению, едино взметнувшемуся в огромном, заполненном людьми зале порыву; рядом с ним глухо шлепают большие ладони Савельева.

— Да здравствует товарищ Сталин! — гремит в зале.— Ура!

И Захар напрягает голос и словно на себе улавливает взгляд Сталина, молча и привычно хлопающего навстречу залу, и взгляд этот неподвижен и тяжел. Захар сейчас многое бы отдал, чтобы узнать, о чем думает этот человек; впрочем, вопрос один и ответ один: народу необходимо жить лучше, зажиточнее, культурнее, народ заслужил хорошую жизнь, вот и весь ответ, и все этому подчинено. Через зал к президиуму прошли приветствовать съезд ударники Москвы со знаменами, и Захара с этого момента словно подхватил и закружил вихрь огненных, непримиримых речей, выступлений, схваток в перерывах между заседаниями или по ночам в делегатских общежитиях. Захар хоть и старался больше слушать, невольно втягивался в эти стихийно возникавшие обсуждения, споры и сам говорил до хрипоты, а однажды схватился с председателем одного из колхозов Поволжья, который пространно до-

казывал, что через пять-шесть лет лошадь в колхозном хозяйстве совсем будет не нужна.

— Сто тысяч тракторов уже есть, десять тысяч комбайнов тоже,— возбужденно говорил он, размахивая дымящейся папиросой и поворачиваясь то к одному, то к другому.— Еще сто тысяч, и...

— И что? — неожиданно спросил Захар насмешливо.

— А то, кони станут ни к чему, сам их переведешь, чтобы зря не кормить.

— А что говорит товарищ Буденный, ты слышал? Нет плохой лошади, есть плохой хозяин. Видели мы таких резвых, рванет на пять верст, а там и дрожит ногами, плетется. У тебя много из этих ста тысяч сегодня на поле?

— Ну, я вообще, в мировом развороте...

— Рабочему сейчас есть надо, вон видел, с пяти утра стоят в очередях за куском хлеба по карточкам. Ты лучше лишнюю десятину тем же конем засей.

— Видать, окромя лишней десятинки, и свету не видишь...

— Это не у вас, вчера говорили, кулак активисту губу откусил? — громко спросил Захар, сразу привлекая к себе внимание.

— Нет, не у нас,— растерялся поволжский председатель.— Рядом, в соседнем колхозе. А что? Ты чего подначиваешь? — обидчиво вскинулся он.

Ночью Захару опять вспомнились слова поволжского председателя и его обиженное лицо; затем мысли перескочили на другое. Захар почему-то не раз думал о Сталине и даже пытался представить себе, что бы он стал делать, если бы Сталин захотел поговорить с ним, бывали, говорят, такие случаи; эта мысль сразу обволокла сердце обжигающим холодком и в то же время заставила задуматься о себе глубже, и он с внезапной твердостью решил вернуться домой и круто перестроить свою жизнь, и хотя он еще не представлял себе конкретной перестройки, он хорошо понимал и чувствовал, что жизнь его будет отныне честной и чистой, после всего здесь услышанного и увиденного. Незаметно для себя, словно стремясь затеряться в привычном кругу, он перешел на колхозные дела; семенное зерно не успел перевесить, вспоминал он, что-то уж последнее время кладовщик с подозрительно веселыми глазами похаживает. Соседнему колхозу «Высокая гора» отказался

помочь семенами, а можно было бы пшенички наскрести пудов триста, надо будет как-нибудь уломать упрямых правленцев. Пора и самому за учебу серьезно браться, а то ведь скоро собственный сын смеяться начнет; ворочаясь, он вздыхал, затем встал покурить.

Савельев похрапывал во сне, и Захар, накинув на себя полушубок, вышел в коридор, подсел к сонному дежурному-комсомольцу по делегатскому общежитию.

— Ну как, братишка, жизнь-то? — спросил он дежурного, и тот, ошалело поморгав, зевнул.

— Иди-ка ты спать, товарищ делегат,— посоветовал он, опять опуская голову на стол. Захару захотелось положить ладонь на его круглую, коротко стриженную голову; какая-то сквозящая ясность появилась внутри черного клубка, что ворочался в нем все эти дни, и то, что казалось ему раньше тяжкой виной, осветилось неожиданно и верно, и он впервые почувствовал острую радость от Москвы, от съезда, от того, что именно он в числе немногих попал на съезд. Сейчас он с отчетливостью и остротой ощутил себя в самом центре круговерти; он знал, что прошлое утратило над ним силу и теперь он свободен решать, как дальше поступить окончательно.

Наутро, в предпоследний день съезда, случилось и еще одно событие, усилившее и укрепившее в нем приподнятое, праздничное настроение: и он, и Павел Савельев, и все делегаты от Холмской области знали еще с вечера, что назавтра им предстоит посетить Мавзолей Ленина, затем сфотографироваться у Кремлевской стены на память, об этом много говорили; Савельев даже обиделся на Захара, потому что тот все недоверчиво посмеивался, когда Савельев начинал рассказывать о каком-то своем дальнем родственнике, служившем в охране Кремля в двадцатом году, и о том, что он якобы два или три раза разговаривал с Лениным о жизни в деревне; шагая рядом с Савельевым к Мавзолею, Захар жадно вбирал в себя скупой и мягкий свет серого февральского дня, пропархивающий редкий снежок, островерхие крыши кремлевских башен и высокие, казалось, под самыми облаками, купола соборов; он никогда не видел и не слышал живого Ленина, но сейчас он шел к нему словно к живому, всегда знакомому и любимому человеку; это чувство нетерпеливого ожидания встречи с Лениным все сильнее охватывало Захара, и он, лишь мельком взглянув на часовых, вернее, на

неподвижное острие штыка у одного из них, вслед за Павлом Савельевым, стащив с себя шапку, стал спускаться по ступеням вниз, ощущая лицом прохладный воздух, плывущий навстречу.

Лицо Ленина, которое он увидел из-за плеча остановившегося Савельева, поразило, почти испугало его, неожиданная боль в горле перехватила дыхание; он будто понял, проник к самым истокам самого себя и внезапно обнажившимся и беспомощным откровением сердца прикоснулся к самому важному в себе, и это важное было то, что он жив и должен жить и идти дальше. Он осторожно перевел дыхание; лицо Ленина в его вечной успокоенности словно дрогнуло и приблизилось к нему, и теперь Захар мучительно видел в нем самые малейшие черточки, и в то же время другим, внутренним зрением, через удивительную глубину этого *образа живого лица* Ленина, покоившегося в непреодолимом удалении от его жизни, увидел свою жизнь, от первого ощущения сильных и теплых материнских рук до холодка конных атак и горьковатого, пахнувшего кровью и смертью ковыля степей Приазовья, до мужицких, пропитанных табаком и потом сходок, решавших судьбу земли, судьбу тяжелого мужицкого счастья... Вдруг какой-то белый, необозримый снежный простор плеснулся Захару в глаза, он различил в нем знакомые поля и перелески; сзади кто-то торопливым, недовольным шепотом сказал, чтобы он двигался дальше, и он пошел с тем же сквозящим движением знакомых пространств и дел в душе и, оказавшись вновь под низким февральским небом, не слышал и не хотел слышать слов Павла Савельева, возбужденно говорившего ему что-то. Редкий косой снег летел в лицо, и суматошный, сердитый на погоду фотограф с громоздким аппаратом долго пытался расположить их группу перед Кремлевской стеной в соответствии с каким-то своим планом и наконец все-таки сфотографировал.

Кругом высился, менялся, шумел, куда-то спешил ставший еще ближе и необходимее огромный, непостижимый город, и Захар чувствовал его жизнь в горячем волнении и беге своей собственной крови; и снег летел сплошными белыми хлопьями.

Приобщение Захара Дерюгина душой к чему-то более высокому и значительному в жизни было не случайно, поскольку любой человек всегда был и будет накрепко привязанным к своему времени, к его тревогам

и переменам видимыми и невидимыми связями; напряженность в непрерывном поиске огромной страны, ее твердое желание встать прочно на ноги и не зависеть от чужих милостей, которые приходилось слишком дорого оплачивать, объединяло в одном стремлении множество различных людей, от того же Захара Дерюгина, председателя одного из двухсот тысяч с лишним колхозов, в короткий срок выросших на пространствах страны, до Сталина, Генерального секретаря партии, само положение которого как бы стягивало к нему в один фокус нити острейших международных противоречий и коллизий внутренней жизни страны — этой чувствительнейшей ткани, мгновенно реагирующей на малейшие изменения; именно внутренняя жизнь страны все ощутимее становилась важнейшей, определяющей в движении вперед, и только по ней можно было бы судить об успехах и подсчитывать потери.

К моменту съезда ему было пятьдесят три года, у него за спиной оставался большой трудный путь подпольной борьбы, ссылок, побегов и ленинская школа жизни и руководства партией. Это была могучая сила, с ее помощью удалось идейно разгромить Троцкого с его разномастной школой последователей, каждый из которых втайне, а иногда и открыто считал себя гением, а народ, массы безгласным материалом, годным лишь для возведения подножия к собственному монументу в вечность. Сталин со свойственной ему резкостью и беспощадностью ума не раз саркастически обличал потуги пигмеев-политиканов проскочить за счет народа в вечность. С прозорливостью крупного политика он видел *реальные* причины и силы, заставляющие именно так, а не иначе поступать того или иного врага; и эти реальные, сиюминутно действующие силы были для него важны; от них зависел исход любого успеха.

Народ был многолик, и приходилось всегда помнить об этом и преодолевать в себе раздражение против этого изменчивого, сложного многоличья; народная стихия, вышедшая из вековых, прочных берегов, противоположно сместившая социальные полюса, должна была войти в иной правопорядок, и это должно было произойти как можно скорее. Где только мог, Сталин стремился подтолкнуть этот рост; безжалостной рукой отсекая лишние, по его мнению, ветви с невиданного еще в мире дерева, он хотел еще и сам увидеть цвет и плоды его и в то же время безошибочным чутьем все того же

опытного и умного политика понимал, что любой неверный шаг в сторону от Ленина, вольный или невольный, может оказаться роковым. Не кто иной, как именно Ленин, предопределил и предугадал путь и развитие народа, сам дух этого развития; Ленин глядел из самой души народа, и здесь не могло быть места даже хорошей дружеской зависти; это была все та же реальная, *сиюминутно* и *вечно* действующая истина; зерно, из которого все равно, сколь ни тяжки будут бури и удары, вырастет заложенный в нем изначальный образ, вырастет и созреет в единственно свой срок. Было два пути: или ждать неизвестно сколько, или стимулировать этот рост пусть жестокими, но необходимыми мерами. Эпоха перевернулась, огромная отсталая страна утвердилась в самом острие социальной эволюции мира, и Сталин все больше склонялся ко второму пути, хотя народ по-прежнему оставался многоликим, да иначе и быть не могло, в его недрах по-прежнему шли свои циклы и бури, и их нельзя было сбрасывать со счетов. Сталин твердо знал, что пока он сам в себе сохраняет, а тем более укрепляет революционность, пока он подталкивает революционное движение, основные массы будут идти за ним, потому что революция и сам он слиты воедино.

Для Захара Дерюгина и для миллионов ему подобных съезд имел большое значение в укреплении нравственного заряда, он не только приобщал его к общему движению, но и мог влиять на всю последующую жизнь с ее привычными категориями счастья, успехов, привычек; для Сталина этот съезд был тоже важнейшим, но все-таки эпизодом в огромной, ведущейся на всех возможных направлениях борьбе, где одно зависело от другого и предопределяло третье. Широко развернувшееся строительство заводов, шахт, дорог требовало привлечения все нового и нового количества рабочей силы, и именно из сельских местностей (больше взять было неоткуда), где она находилась на собственном обеспечении хлебом; хлеб был нужен для рабочих, для развивающейся промышленности, для армии, наконец, для приобретения необходимого оборудования и машин. Если у того же Захара Дерюгина все внимание в эти дни было приковано к съезду, то сама необходимость заставляла Сталина держать в поле своего зрения, кроме проходящего в Москве съезда колхозников, огромное множество дел и событий и внутри страны, и за ее

пределами, включая положение в Германии, где Гитлер со своим национал-социализмом уже стал основной политической силой, и реакцию руководящих кругов США на готовящееся, по сведениям разведки, нападение Японии на Китай, и создание собственной авиации и танковых частей.

Во время работы съезда у Сталина были самые различные встречи и заседания, решалось множество неотложных вопросов; ему доложили, что Петров Константин Леонтьевич, секретарь Холмского обкома, просит принять его. Сталин последнее время много думал о возможных перемещениях на важнейших постах в партии и стране, о тех, кто их занимает, и о тех, кто мог бы заменить неподходящих, и этот вопрос тотчас связался у него с именем Петрова, тем более что Сталин не раз и не два останавливался на его кандидатуре. Петрова Сталин знал еще по царским ссылкам и подходил к нему с иными мерками, чем ко многим другим; на минуту задумавшись, он велел тотчас найти Петрова и пригласить, а вечером, когда намеченная программа иссякла, увез за город, по дороге лишь изредка кое о чем спрашивая и присматриваясь к нему; и тот, отметив внимание к себе Сталина, стал сдержаннее. Уже в доме, наблюдая за тяжеловатой, уверенной фигурой Сталина, размеренно и четко движущейся по небольшой комнате с простой, удобной обстановкой, Петров еще раз перечислил про себя все, о чем было необходимо сказать. Сталин пригласил Петрова к небольшому столику, на котором стояли подвявшие фрукты, вино, и с добрым прищуром внезапно потеплевших глаз, отчего и толстые его усы приняли какой-то домашний, добрый вид, повторил приглашение сесть. Они были ровесники, Петров на несколько месяцев старше; и оттого, что они хорошо знали друг друга, знали возможности и способности друг друга (разумеется, разные по уровню и по масштабам), встречаясь, они всегда отдыхали, но сейчас Петров чувствовал себя скованно. Он не думал, что на этот раз Сталин найдет время встретиться с ним, и легкость случившегося заставляла его все время быть настороже; он знал, что Сталин не имел возможности, не любил и не мог тратить времени попусту, и эти мысли и ожидание как бы обострили у него само восприятие Сталина; Петров невольно пытался определить для себя то новое, что появилось в Сталине совсем недавно, за последний год. И еще одно

не оставляло Петрова: Сталину зачем-то нужна была встреча с ним, и если бы он сам не подвернулся ему, встреча эта в самом скором времени все равно состоялась бы. Он смотрел на Сталина, слушал его размышления о съезде, сам говорил, но его все время не отпускала какая-то неосознанная тревога; какая-то существенная перемена наметилась в Сталине, он не мог уловить, в чем именно, он лишь знал, что она случилась и она ему активно не нравится.

— Прошу, товарищ Петров,— сказал со своим характерным акцентом Сталин, наливая вино, сразу запахшее возбуждающе и резко; Петров придвинул к себе большую, высокую рюмку.— Очень похудел, товарищ Петров,— опять сказал Сталин.— Мы виделись в последний раз с год назад, очень похудел. Вы здоровы? Пожалуй, надо лечь в больницу, пусть доктора осмотрят.

— Спасибо, товарищ Сталин, не сейчас, не время по больницам валяться.— Петров отпил из своей рюмки и усмехнулся в ответ на укоризненно-понимающий взгляд Сталина.— Простите, Иосиф Виссарионович, я знаю, вам нравится, когда я вас называю по-старому... сколько лет, и каких! И мне нравится больше... Диалектика, все движется и меняется.— И в ответ на требовательный теперь взгляд Сталина добавил: — Не в болезни дело, пройдет. Честное слово, вполне нормален и здоров, так... обыкновенная усталость, Иосиф Виссарионович. Работы чертовы горы, иногда кажется, не пробьешься, задушит этот непроходимый пласт.

— Пробьемся, товарищ Петров,— сказал Сталин, подливая вина в рюмки.— Надо только верить... в народ, в энергию масс.— Сталин, сосредоточиваясь, казалось, забыл о присутствии Петрова, о разговоре; неяркий, приглушенный свет в помещении скупо отражался у него в глазах.— Я знаю, вы сейчас думаете, зачем я вас вызвал,— неожиданно сказал Сталин, подомашнему привычно разглаживая усы чубуком трубки; Петров поднял голову, удивился.

— И — об этом тоже, Иосиф Виссарионович.

— А еще о чем?

— Вспоминается прошлое, было проще, яснее. И легче, да, легче, Иосиф Виссарионович,— повторил Петров.— А вот перед нами практика, практика, для меня именно в этом смысл всей моей работы. Очень все непросто, оказывается. Трудно, многие крестьяне пси-

хологически не подготовлены, очевидно, предстоит тяжкая ломка.

— Сейчас — да, но на данном моменте не останавливается, тем более не заканчивается история,— немного резче, чем надо бы для старых друзей, сказал Сталин; он коротко и с сожалением взглянул на Петрова, как бы недоумевая, что тот, человек умный и острый, поднимает вопрос, давно решенный и определившийся; Сталин тотчас понял, что Петров ведет какую-то свою линию в разговоре, и потому продолжал развивать мысль дальше: — И, пересаживая что-нибудь, срезая, необходимо точнее придерживаться социальных швов, хотя травмы, кровоизлияния в соседствующие ткани неизбежны. Да, всяческих проблем масса, вот вам еще одна. Огромное крестьянское население сосредоточено в основном в центральных районах. А нам жизненно необходимо поднимать окраины, нужно осваивать месторождения угля, руд, золота. Нужен лес, нужны машины, многое нужно.

— Разумеется, все это необходимо, Иосиф Виссарионович. Поймут ли нас? Такая трудная ломка! — Петров думал о повороте в истории целой страны, повороте смелом и рискованном, когда она могла выжить исторически, лишь круто перестроив самую свою основу; должна была или строить, или откатиться еще дальше назад.

Ощутив на себе испытующий взгляд Сталина, Петров слегка улыбнулся ему; он понимал, что вопрос, затронутый им, для Сталина совершенно ясен и решен, но именно этот вопрос все больше беспокоил его самого, и он не мог отделаться от чувства необходимости высказать свои сомнения именно Сталину и в какой-то слабой, бессознательной надежде нащупать в разговоре с ним нужную именно ему, Петрову, ясность.

— Да, повороты истории иногда жестоки,— сказал Петров негромко, словно рассуждая с самим собою.

— Это жестокость революции, она необходима, чтобы выжить,— нахмурился Сталин, своими запоздавшими словами словно подтверждая мысли Петрова.— Да, выжить.— Он поднял голову и тяжело, в упор посмотрел в лицо Петрову, и тому было это неприятно.— Верно,—тотчас сказал Сталин после мгновенной, но ощутимой паузы,— либералы всевозможных мастей обрушатся, да уже и обрушились на нас.— Сталин опять сделал паузу, и на лице у него появилась холодная

усмешка.— Жестокость? Нет, товарищ Петров, необходимость, железная необходимость. Но мы готовы и всегда должны быть готовы к тому, что нас не поймут и не смогут понять до конца. Перераспределение национальных богатств должно осуществиться полностью и до конца. Остановиться на полпути — значит тотчас вызвать обратное движение. Этому нас учил Ленин, этому учит история.

— Ничего готового никому не достается,— со свойственной ему, казалось бы, вялостью подтвердил Петров, но Сталин хорошо знал характер Петрова и лишь еще больше насторожился.— И это мы узнали на собственном примере. Вы хорошо сказали о социальных швах, Иосиф Виссарионович, несомненно, чтобы поставить на ноги колхозы, нам необходимо было надеть на кулака намордник. Мы это сделали, но вот здесь-то и вырисовывается это самое «от и до». Социальные швы — дело весьма в народе усложненное. С кулаком в основном покончено. Сложность положения ныне в ином. Мне кажется, мы ориентируем массы не всегда точно, нельзя не учитывать иные, непрерывно действующие категории. Я часто думаю об этом. И кроме того, мы принадлежим к народу с великой духовной культурой, и здесь, в конце концов, проявится смысл и цель революции, и здесь революция обязана будет выдержать истинную проверку.

— Она ее выдержит,— тотчас принял скрытый вызов Сталин, отмечая неожиданный переход мысли Петрова в иную плоскость.— Была великая духовная культура для избранных — с этим я согласен. А народ? Именно революция обязана дать и даст многомиллионным массам культуру, привьет чувство человеческого достоинства. Именно коммунист не имеет права отрываться от реального положения вещей, это смертельно. Что, товарищ Петров, вы со мной в чем-то не согласны?

— Вы знаете, Иосиф Виссарионович, я верю вам,— сказал Петров, взволнованный редкой искренностью Сталина, какой-то наглухо закрытой страстью в его размеренном голосе.— Знаю вашу решительность, непримиримость, знаю тяжесть вашего места. Я всегда был вам верным соратником, и это, думаю, дает мне право говорить правду.

— Какую правду хотите сказать, товарищ Петров? — прищурившись, Сталин стал закуривать.— Говорите.

— Я многого не понимаю, Иосиф Виссарионович.— Холодок, прозвучавший в голосе Сталина, укрепил в Петрове чувство, что идет он по самому краю, одно лишнее движение, и все будет кончено. Внутреннее чутье, обостренное сейчас до предела, подсказало ему единственно правильную интонацию предельной искренности. Дружеского разговора не получилось, и на мгновение у Петрова сжалось сердце.— Разумеется, теория безболезненного вживания кулака в социализм — чепуха, но ведь это, простите, повторяюсь, пройденный этап,— он пожал плечами.— Тридцать третий год — это не тридцатый и даже не тридцать второй. Перед нами совершенно иные трудности и вопросы; мне кажется, на съезде неправомерно много внимания уделяется именно кулацкому влиянию на сложившееся в деревне положение. По твердому моему убеждению, это не так, главная трудность в другом, в невозможности мгновенной перестройки психологии целого класса, самого многочисленного и самого отсталого в стране. Именно в этом кроется многое, именно об этом необходимо прямее и откровеннее говорить.

— Вот, вот, товарищ Петров,— Сталин утвердительно и согласно указал чубуком зажатой в руке трубки в сторону Петрова.— Как раз в этом и основное значение съезда. Дать почувствовать крестьянину необходимость новой деревни. Показать ему, что он находится на виду у всей страны, показать ему и помочь укрепиться в мысли, что жизнь в одиночку кончилась навсегда. Вот центральная мысль, вы ее правильно уловили. И зря недооцениваете опасность всевозможных скрытых влияний в деревне, зря недооцениваете опасность именно психологии накопительства, она живуча в крестьянине, мы боролись с ней и будем бороться до конца, до ее полного исчезновения. Одно дело разгром и искоренение кулака как класса в классе и совершенно другое — борьба с элементами этой психологии в самом крестьянине.

Петров с напряженным вниманием слушал Сталина; он старался представить себя на его месте и понять изнутри, но наряду с этим где-то глубоко в нем шла своя, особая работа мысли, она шла где-то рядом и в то же время отдельно от слов и рассуждений Сталина и во многом была вызвана категоричностью и окончательностью его суждений; Петров сделал над собой усилие, подавляя это ненужное и неуместное сейчас недовольст-

во. «Ну что ж,— думал он,— что же здесь плохого? Это хорошо, что он видит и представляет все так ясно, его слова о зачатках собственнической психологии вообще в крестьянине — правда. Она, эта психология, вырабатывалась веками. Мне не нравится в нем другое,— думал потом Петров глухими бессонными ночами,— нехорошо то, что он не хочет пресечь это безудержное славословие в отношении себя и, кажется, уже не тяготится, не отделяет себя от этого славословия, вот что непостижимо при такой силе характера и ума. Этого я не пойму и хочу об этом сказать именно ему, но сказать этого нельзя, и это очень плохо. Перераспределение до конца, разумеется, основополагающий признак и условие нашей революции, это жизненно необходимо, но есть же и определенные, устоявшиеся веками некие моральные нормы человеческого общежития, они обязательны во все времена и для любых формаций».

— Да, время, время. Ничего ведь не забудется, ни одной нашей ошибки,— неожиданно проговорил Петров, и Сталин приостановился в противоположном конце комнаты; он понял, что Петров в этот момент не слушал его, и неприятно удивился. Петров тут же попытался исправить возникшую неловкость, безошибочно чувствуя, что Сталин не простит этого невнимания к себе, но Сталин взглядом и замедленным, словно на полпути прерванным движением руки остановил его.

— Еще вина? — спросил он с отвердевшим и любезным лицом и позднее, за ужином, был так же внимателен к гостю и прост, но в продолжение всего остального вечера больше молчал и слушал подробный рассказ Петрова о положении дел в области, и Петрову было трудно и нехорошо рядом с ним. Он уже знал, что Сталин в эти короткие минуты окончательно определил ему место в каких-то своих расчетах и планах; Петров ничего не решился спросить или сказать в свое оправдание, но ему, от ощущения чего-то грозного, неумолимо надвигающегося, хотелось что-то немедленно сделать. Лично сам он ничего не боялся, в нем лишь подымался протест. Куда бы его ни послала партия волей сидящего напротив человека, он не отступит от своих принципов и убеждений ни на один шаг, самое главное — нужно было сохранить эти принципы и убеждения для самого себя и остаться самим собой, несмотря ни на что, ведь только в подобном случае он может идти к людям с открытым сердцем.

— Вот именно,—отвечая на какие-то свои мысли, жестко сказал Сталин, задерживаясь взглядом на лице Петрова и все время чувствуя недовольство своей ошибкой; Петров уже оставался где-то далеко внизу и не оправдывал ожиданий; и Сталин, считая вопрос решенным, со свойственной ему грубоватой прямотой и резкостью усмехнулся.— Сколько угодно можно рассуждать, кликушествовать, товарищ Петров, а живая жизнь имеет особенность выдвигать свои неожиданности и повороты. Не за этим же вы у меня.

— Я был в Совнаркоме, товарищ Сталин, мне не удалось доказать необходимость строительства моторного завода не в самом Холмске, а в Зежском районе, в глубине области, где обеспеченность рабочей силой, продуктами, строительным лесом в два-три раза выше. Вопросы обороны также диктуют такое решение.

— С Орджоникидзе говорили?

— Григорий Константинович согласен выйти на Политбюро с этим вопросом.

— Согласен, говорите? — Сталин прищурился.— Придется ему съездить на место самому, требуется полная ясность.

— Григорий Константинович именно так и собирается сделать. Мы примерно договорились, в начале — середине мая.

— С моторным затягивать нельзя, нам нужны авиация и танки сегодня, сейчас.— Обдумывая, Сталин прошелся по комнате.— Политбюро специально обсуждало вопрос о моторном заводе, дело жизненно необходимое. Я поговорю с товарищем Орджоникидзе. Оборудование с конца следующего года начнет поступать, немецкое. Хорошо, товарищ Петров.— Сталин остановился перед Петровым и, неожиданно поворачивая разговор, казалось бы мимоходом, спросил: — Что думаете о положении в Германии?

— Думаю, Гитлер скоро созреет для войны.— Петров приподнял узкие плечи, понимая, что Сталин спросил о том, что его больше всего волновало сейчас.— Самое большее, лет десять, судя по всему, слишком у него много благодетелей.

— Десять,— повторил Сталин, делая неопределенный жест крепко зажатой в руке дымящейся трубкой.— Если бы десять! Для нас выиграть десять лет — выиграть войну, возможно, избежать ее совсем. Мы должны опередить, любыми усилиями, любой ценой, вот за

это история с нас спросит сполна. Каждый новый завод такого рода, как ваш моторный, это выигранное сражение, возможно, всего лишь через несколько лет. Опередить!

Размеренный, по привычке часто говорить на людях, глуховатый голос снова захватил Петрова силой убеждения и редкой искренностью; Петров, как никогда, ощущал неимоверную тяжесть и своей собственной ноши.

4

Захар вернулся домой все в том же приподнятом настроении, с желанием тотчас сделать что-то необходимое и хорошее; особенно его взволновала встреча с Буденным, с прославленным командармом; Буденный принял их, группу бывших конников, и Захару в душу словно опять ударил солоноватый ветер Приазовья. Перед отъездом Захар купил детям в гостинец бубликов и конфет, матери теплый клетчатый полушалок, Ефросинье четыре метра красивого бордового сатина на платье; поколебавшись, Мане он выбрал простенькие сережки с синими, в цвет глаз, камушками и, завязав в платок, спрятал во внутренний карман пиджака. Дома он роздал подарки; и покатилась прежняя, привычная жизнь, только теперь его донимали расспросами о Москве.

Почти весь февраль и первую половину марта были сильные снегопады; села заваливало под самые крыши, и ребятишки затаскивали самодельные салазки до печных труб и скатывались оттуда, как с горок. Вплоть до весны и Захар, и Анисимов, и другие правленцы и партийцы без устали мотались по хуторам и отрубам, уговаривая вступивших в колхоз хозяев по весне перевозить свои избы в Густищи, в одно место; все они сулили жавшимся мужикам всяческие выгоды, обещали помощь в переселении, и некоторые, недоверчиво и угрюмо слушая, в конце концов начинали верить и соглашались. Густищинские хутора были за четыре, и за пять, и за шесть верст от села, располагались в самых неожиданных местах, и к ним порой не только не было никакой дороги, их приходилось угадывать под снежными заносами по дыму из труб, по мычанию скотины или привычному собачьему бреху. Всякий раз Заха-

ру ставили угощение; он пил немного, для приличия, чтобы не обижать хозяев, шутил с бабами и упрямо гнул свое; он ездил по отрубам, и уже не директивы РИКа о сселении, а собственное разумение убеждало его. Работать вместе и жить вразброс друг от друга было нельзя, и, как-то выбрав свободный день, Захар решил еще раз объехать самых упрямых хозяев закрепленных за ним отрубов за Соловьиным логом. Еще с прошлой недели мело, и в этот день переливчато игравшее с утра солнце указывало на ненастье вскорости; Захар пощурился на него, взял из рук Володьки Рыжего вожжи и ввалился в набитые духмяным сеном козыри; председательский Чалый, щедро подкармливаемый конюхами из-за своего особого положения, игриво выгнул шею, мгновение чутко прислушиваясь к вожжам, и с места рванул в размашистый плавный бег. Встречный ветер ударил Захару в лицо, улица с бабами, детьми и журавлями колодцев понеслась навстречу, но уже через несколько минут открылись белые, слепящие под солнцем поля, и лёт Чалого еще убыстрился. У Захара, подхватившегося, как всегда, с первыми петухами и невыспавшегося, угрюмость быстро улетучилась; он всматривался в холодную голубоватую даль, и острое чувство радости и тревоги стиснуло грудь; куда-то спешит, стремится в обжигающем холоде, а никто не знает конца. Сегодня, через год? Чем ему сейчас плохо жить? Хорошо, только вместе с книжками да раздольем просыпается нежданная тоска. Он уж и сам не знает, какой ему еще добавки от жизни...

Несколько километров до первого хутора пролетело, как одна минута; в просторной горнице с множеством икон и с не меньшим числом детей Захар степенно поговорил с сытым хозяином, заросшим густой бородкой; тот отводил глаза в сторону, неохотно соглашался, угрюмо почесывая у себя под бородой.

— Ты, Антип, не гребись,— повысил голос Захар, теряя терпение.— Прямо говори, согласен или нет, в разные танцы ладить с тобой недосуг, не затем приехал.

— Так я что, Захар.— Хозяин упрямо глядел куда-то мимо.— Я — согласный, в колхоз первый зявление относил. Вот только Фомка Куделя надысь про сады говорил. Правдать, тут сады развели, и жалко. У меня добрый сад, с Густищ за наливом приходят.

— А-а, Фомка! Я так и знал! — сказал Захар с невольной угрозой в лице.— Вот я до него доберусь, узнаю, какую он агитацию паучью развел. Ты бы его не слушал, Антип, такого зловредного мужика во всем селе не встретишь. Он дозлобится, попадет под обух, за милую душу из колхоза выметут: вот и будет Фомке простор, пусть свой язык точит.

— Чего там, Захар, точить, одни воши в хозяйстве остались,— моргнул хозяин запрятанным глубоко синим глазом и опять стал глядеть мимо.— В нашей жисти всяко жди, и в Петров день снегом заметет.

— Воши, а туда ж! В добром бы деле сказывался таким рьяным!— окончательно вспыхнул Захар и через час уже был у Фомы Куделина, прозванного в селе Куделей, мужика непонятного и хорохористого, как говорили в Густищах, черта корявого, маленького ростом, но злого и ехидного. Захар шумно вошел, остукивая у порога валенки от снега; сидя на лавке перед окном, Куделин плел лапти, споро постукивая свайкой; вокруг него валялись обрезки лык; из-под лежанки в прорез дверцы торчала голова теленка.

— А-а, красный сват пожаловал,— насмешливо протянул Куделин, поплевал зачем-то на пальцы, вытер руку о замасленные холщовые штаны и с готовностью протянул Захару.— Здорово, председатель, садись. Счас добью, можа, и повесельше станет. Садись, садись, в ногах правды нету.

Захар расстегнул жаркий полушубок, раскинул полы и, опустившись на лавку, полез за кисетом, хмурое лицо Куделина было как раз перед ним. «Ничего, ничего, позлись, потерпи,— думал Захар, скручивая цигарку и припаливая ее.— Ишь ты, не терпится ему, горит, хоть яйца у него за пазухой пеки».

— Во-о,— сказал Куделин хмуро.— Начальство от спички припаливает, а тут все пальцы о кресало расшиб, вот тебе и ровня-то в колхозниках.

— О спичках потом порассуждаем, Фома, ты и без спичек поджигать горазд,— отозвался Захар, втягивая в себя зеленовато-ядовитый дым и выпуская обратно длинной струей в сторону теленка.—Ты вот лучше скажи, советская власть помогла тебе коровенкой обзавестись? Что рано так отелилась?

— Отелилась, зараза, у ней, как и у бабы, не заткнешь, считали, вроде на месяц позже должна...

— Не удержишь,— согласился Захар, оглядывая давно не мазанный, шишковатый земляной пол.—К чему ее в таком деле держать? Вот самого тебя надо бы остепенить, а то ненароком до беды докличешься.

Куделин не успел ответить, лишь недоверчиво приподнял брови; в избу с мороза вошла хозяйка с детьми; разрумяненную девочку лет четырех она несла на руках, закутанную в разное тряпье и оттого похожую на куль; малец лет девяти с длинно вылезшими соплями, увидев чужого, тотчас хотел юркнуть назад в сени; мать перехватила его движение и сказала лезть на печь; он, как был, прижимаясь спиной к стенам, чтобы быть подальше от Захара, прошел к лежанке и мигом исчез на печи и только там стал раздеваться.

— Здравствуй, Захар Тарасыч,— сказала хозяйка, раскутала дочку и сунула ее на печь к брату.— Пособи Таньке-то,— крикнула она сыну и повернулась к Захару.— К матери ходила, помирать чегось бабка вздумала. А уж морозяка жгет, так и опаливает, насилу дошла. Этот черт,— она метнула в сторону мужа недобрый взгляд,— хучь бы встреть вышел! Куды! Черт!

— Ништо, не кисейные,— дернул головой Куделин, поплевывая на конец свайки, чтобы шла легче.— Эк вас, баб, рассыропила советская власть, скоро екипаж вам на три версты ходу подавай! Екипажей на всех не хватит!

— Екипаж, екипаж! — визгливо закричала хозяйка, беспорядочно размахивая в сторону мужа руками.— Не надо мне твой екипаж, надо в село, к людям, перестраиваться, иссохла на этом отрубе, в тридцать лет старуха!

— Во, Фома,— засмеялся Захар, с явным одобрением и удовольствием глядя на хозяйку.— Разумные речи и послушать любо. Слышь, Нюр, а он говорит: не буду перебираться,— что ж вы играете не в лад? Я ему и так, и сяк, и помощь всякую, говорю...

— Я ему дам — не буду, я ему все селезенки источу, заразе корявому! Дети дичками растут, сущие волки, людей пужаются. Летом, как кто чужой, сразу в бурьян, оттель их и пряником не выманишь. А как на работу итить, с кем их оставить?

— Замолчи, Нюр. Чего-то ты подолом перед ним метешь, его дело — начальское, он, говорят, в Москвах с самим Сталиным за ручку здоровкался, стаканами с ним дрынчал. А нам что? Наше дело земельное, нам на каждый брех отзываться неколи, с голоду подохнем.

Я тебе муж и голова, нечего всяких слухать,— сказал Куделин угрюмо, не обращая на Захара никакого внимания.— Прибью, потом не хнычь.

— А это еще кто кого! — тотчас отозвалась мало что понявшая из мужниных рассуждений хозяйка, выпячивая вперед толстую грудь и тесня мужа.— Теперь вам, вшивым хуторянам, советская власть, кончилась ваша дикость. Попробуй тронь, я тебе ночью чугунок-то твой дырявый враз снесу топором!

Захар с веселым изумлением поглядел на хозяйку, на сопевшего Куделина, зло ковырявшего свайкой лапоть, и, попрощавшись, вышел, усмехаясь и думая, что эта Нюрка, старшая сестра Юрки Левши, баба бедовая и все одно допечет Фому перестраиваться, вот только непонятно, что это она за такого замуж выскочила и почему это такого взбалмошного несерьезного мужика слушают соседи по отрубам; этого Захар понять не мог и удивлялся про себя. «Понятно, на отрубах и скотине попросторнее, и куражься вволю — никто не увидит, не услышит. Только ведь кончились старые времена, как этого люди не понимают,— думал Захар,— хочешь не хочешь, а все тебе стронулось, несется половодьем, в своих заторах и круговоротах на пути. Надо будет хуторян поголовно на собрание вытащить,— решил Захар, отвязывая Чалого, тихонько ржавшего от нетерпенья.— Не пойдут добром, хитростью взять, сами потом спасибо скажут; что ж, нам всем делать окромя нечего, только их уговаривать?»

Чалый с места взял в разгон, выбрасывая из-под копыт ошметки снега, пространство опять рвалось навстречу, и по особо чистому голубому сверканию далей, по внезапно вспыхивающей темноте в глазах чувствовалось близкое стояние весны.

Снег стал быстро спадать; весна обещала рухнуть в одночасье, бурно, да так оно и оказалось; едва проступили вершины холмов, появились, заполняя низкие места, подснежные воды, широко разлились по лугам, лощинам, в долинах рек; вода день и ночь гремела в оврагах и логах, а солнце пригревало сильнее, и голубоватые, хрустальные сияния играли над полями, на них было больно взглянуть. В эту весну в Густищах у многих затопило погреба, и приходилось отливать воду; звали на помощь родных и соседей, картошку

и кадушки с солеными огурцами, помидорами и капустой перетаскивали в избы, в сени, и все дивились силе и обилию воды. Давно уже такого не помнили старики, и потому, очевидно, ползли различные недобрые слухи; говорили, что на куполе густищинской церкви по ночам появляется огненный крест, но кажется он не всем, а только людям праведным, угодным богу, и по ночам, особенно люди постарше, выходили взглянуть в сторону пустого храма. Поговаривали, что в полуразрушенной помещичьей усадьбе, среди каменных стен с обугленными гнездами для балок, каждую среду в полночь бродит старый барин Авдеев, сгоревший во время пожара еще в семнадцатом году, и будто бы бродит он в белой рубахе до пят, часто останавливается и тяжело вздыхает, что-то бормоча; как бы там ни было, но ходить туда в темноте боялись. Густищинские парни как-то даже выставили четверть самогонки тому, кто переночует ночью со среды на четверг в барских развалинах; самогонку выиграл сельский кузнец, человек без роду и племени, но отличный мастер (густищинцы до колхоза содержали его за счет общества), правда, многие потом говорили, что кузнец провел ночь не на барских развалинах, а у солдатской вдовы Шурки Казеры на пуховой перине, но, что бы там ни говорили, парни, отряженные следить за кузнецом и сидевшие на мосту через небольшую речку Густь, отделявшую бывшую барскую усадьбу от села, видели, что кузнец на рассвете подошел к мосту со стороны усадьбы, сразу потребовал четверть и тут же, на мосту, присев на бревенчатые перила, отпил из нее добрую треть и после этого действительно отправился к Шурке Казере и проспал у нее до самого вечера, хотя накануне договорился со многими в это время ковать лошадей.

Но что бы ни думали и ни говорили люди, что бы они ни делали, весна шла своим порядком; теплые густые ветры быстро съели последний, грязноватый снег, отгремели, оставив в полях новые разводья оврагов, талые воды и схлынули, в лугах по мелководью зацвела калужница; пошли теплые дожди — на зорях в небе часто слышался лебединый клик; косяки гусей и стаи уток шли в эту весну густо, и малая живность не запоздала, появились первые жаворонки, а в голом совершенно лесу, всем на удивление, ударила однажды кукушка; из края в край пари́ла напитавшаяся весенней влагой земля. В Густищах сыграли девять свадеб,

как-то в одно и то же время, и село на неделю опьянело, потонуло в песнях и плясках, свахи и сваты, приплясывая под гармошки, носили всем на обозрение рубахи да простыни, верные свидетельства соблюденной до положенного часа девичьей чести, и на всех свадьбах, как дорогому гостю, пришлось побывать и Захару Дерюгину с женой, и не только бывать, но и напутствовать молодых после отца и матери. Голова у него гудела, не пить за здоровье молодых нельзя было, это приравнивалось к смертельной обиде. Захар считал, что пока еще можно было и выпить, не приспело время выходить в поле, почему бы людям не выпить и не повеселиться. Но всему есть предел, и хотя и сегодня его три раза приходили звать на догостевание, он наотрез отказался, весь день просидел в конторе, проглядывая бумаги, которые то и дело придвигал к нему счетовод Мартьянович — лысый, с большим вислым носом мужик, бывший до революции писарем в волостной управе. Захар еще раз перед началом сева решил все проверить и уточнить, перевесить семенное зерно, и поэтому в конторе день напролет было людно. Собрались тут все четыре бригадира, кладовщик, небольшой мужичонка с хитроватыми, подслеповатыми глазами, отчего его лицо всегда казалось невыспавшимся, его все почему-то звали ключником; перед самым вечером нагрянул из Зежска предрика Кошев и при всех распек Захара, требуя быстрее продвигать дело по сселению хуторов, пригрозил выставить на райком и, сказав много грозных и обидных слов, уехал, а Захар остался со своим активом лицом к лицу, глядя то на одного, то на другого, какое-то время он молчал, что-то обдумывая, и Юрка Левша заметил, что у председателя проскакивают в угрюмых глазах искорки.

— Ну, так что с премированием? — спросил Захар, возвращаясь к прерванному приездом предрика вопросу.— Приобретаем сто метров сатина бабам на юбки? После покоса и проведем награждение лучших. А то ведь у нас как, молчком да к празднику. Сунем значок втихомолку в конторе: бери и уходи. Сладость не та. На этот раз управимся с покосом, соберем пошире. Принимаем?

— Дело, председатель, стоящее,— кивнул Юрка Левша.— Захочет кобылка овса, вывезет в гору. И мужикам надо бы что-то, от новой рубахи никто не откажется.

— Ладно, обсудим, Мартьяныч, запиши. Вот еще что, мужики,— понизил голос Захар, рукой приглашая всех придвинуться ближе.— Самый злостный вредитель колхозной власти в хуторянском вопросе есть Фома Куделин. Он по хуторам ходит и всех злонамеренно смущает и разлагает, назад нас тянет. Вон григориопольский колхоз докатился из-за таких до голой точки. На съезде принародно предложили снять с него имя Ленина. Все по дворам у себя хранили: подсолнух, картошку, зерно семенное. Дохранились до пустой сумы, сеять нечем. И у нас такие охотнички имеются до колхозного добра, дай только волю. Ты, Мартьяныч, не хмыкай, тот же Фома хоть и числится в колхозе, а между им и колхозом межа в колено. Я к нему ездил, говорил. Вчера, слышно, опять грозился сам не переселяться и другим не давать. Он твой зять, Левашов, ты нам на это скажи слово.

— По мне, тут дело яснее ясного, недавно сестра прибегала, плачется.— Юрка Левша шевельнул плечами.— Дерутся напропалую, детишки по такому делу страдают, я сам хотел в сельсовет итить.

— Ну, Фомку Куделю не уговоришь,— подал голос Мартьянович и крупно, со стороны на сторону повел носом, вспоминая слово поученее.— Данного субъекта надо силком брать, за ним, гляди, другие стронутся.

— Коли надо, возьмем,— загорелся Юрка Левша.— Нечего на него, черта корявого, богу молиться. Баба его, сестра то есть моя,— словно этого никто не знал, пояснил он, вызывая усмешки,— давно согласна, спит и во сне видит с хутора убраться. В зиму племянник Митяй, старший-то их, едва не застыл, в метель заблудился из школы. Мое слово одно: дикость такую ломать надо, а как это сделать?

Заговорили разом; Захар слушал, молча прикидывая; то, что предлагал Юрка, было несколько непривычным, но, с другой стороны, Захару до смерти надоело возиться с этим дуболомом Куделиным и то и дело слышать на каждом шагу куделинское ехидство: на народе бахвалится, что никто с ним ничего не сделает, а на председателя он плюет, мол, с церкви, никто ему не указ.

— Нас здесь почти все правление,— сказал Захар.— Предлагаю постановить Фому Куделина, члена нашего колхоза, перевезти на жительство в село Густищи без всякого его согласия. Ты, Мартьяныч, запиши,

а как это мы сделаем, сейчас сообща в одну голову подумаем. Откладывать нечего, посевная на носу.

Некоторое время в конторе, заполненной от полу до потолка сизым махорочным дымом, раздавались взрывы хохота, перемежаясь временами тишиной; возбужденно бубнили прокуренные мужицкие голоса, и через день случилось то самое дело, получившее известность по всей округе, не говоря уж о Зежске, за него Захар Дерюгин через месяц на райкомовском активе выдержал хорошую нахлобучку и затем, приходя в себя, долго и зло курил в коридоре, огрызаясь на ехидные шутки.

На хутор к Куделину заявился верхом Юрка Левша и, войдя в избу, степенно поздоровался с сестрой, племянником, придавил нос меньшой и с добродушной насмешкой в глазах подсел к самому хозяину, доплетавшему в эту неделю десятую пару лаптей и подбивавшему их для прочности пеньковыми веревками.

— Здорово бываешь, зятек,— сказал он Фоме приветливо; тот, покосившись, шумно отодвинулся вместе с сиденьем, отрезанным от сухой березы кругляшом, подальше; своего занозистого, спорого и на слова и на руку шурина Фома не очень-то долюбливал.

— Здравствуй, коли не шутишь.

— Чтой-то ты на лапти остервенился,— Юрка взял в руки, внимательно рассматривая готовый, правый.— Торговать задумал, в купцы метишь?

— А хучь бы и так, тебе какое любопытство?

— Никакого. Я тут землю на Соловьином осматривал, к тебе по пути, родня как-никак. Мать на завтра в гости приглашает, воскресенье-то, поминки по батьке устраивает. Ровно год старому, коль охота, приходи всей семьей, не припозднись, с утра на погост сходим.

— А кто же дома-то останется? — спросил Фома, подозрительно скользнув взглядом по лицу шурина; тот, блеснув ровными мелкими зубами, равнодушно зевнул.

— Дома у тебя закрома червонцев? Кобель вон побудет, на неделю, что ль? А там гляди, сам себе хозяин, тебе, Нюра, с детьми мать наказала обязательно быть,— сказал он сестре.

— Прибегу,— тотчас отозвалась Нюра, рубившая свеклу корове.— Что ж я, бусурманка какая, к родному

отцу на поминки откажусь? Пусть оно тут синим огнем с донного до говенного полыхнет, я ему не цепная караулить вшивые хоромы. Спасибо, брат, прибегу.

— А я что, у бога теленка съел? — заворочался Куделин, тряся кудлатой головой, поглядывая то на жену, то на деверя; Юрка Левша не стал дожидаться окончания вспыхнувшей перебранки и, еще раз пригласив заходить, пощекотал племяннице шею, отчего она зашлась в смехе, и уехал, довольно ухмыляясь, уверенный в успехе. Он не ошибся, назавтра, едва мать выметала пироги в раскаленную печь, пришла Нюра, волоча детей, отдышалась и тотчас стала помогать; вскоре явился приодевшийся в чистую рубаху, выскобливший ради такого случая щеки и подбородок зять Фома. Хлопотавшие бабы собрали на стол и вскоре, перед тем как отправиться на погост, сели позавтракать. Юрка налил себе и зятю по стакану крепчайшего первака, матери и сестре поменьше; молча, памятуя дело, выпили, стали есть холодец с хлебом; себе и зятю Юрка тут же налил еще вровень до краев стаканов из узкогорлой четверти, и Куделин, растроганный такой необычной щедростью шурина и даже несколько потрясенный, тотчас стал предлагать в дар Юрке австрийский револьвер, принесенный с войны, и лез к шурину с широкой доброй улыбкой целоваться, и слюнявил его мокрыми, обветренными губами. Мать, сухая, высокая старуха, коротко напомнила о главном, пока мужики совсем не перепились; собрались и вышли, впереди дети, затем мать с Нюрой, а последними мужики; Юрка нес узелок с закуской, самогонку и два стакана, чтобы помянуть отца над могилой; земля почти везде уже подсохла и покрывалась первой дымчатой зеленью, казалось просвечивающей изнутри земли, солнце грело хорошо, по-весеннему. По всему селу весело орали петухи и сбегались, чтобы померяться брачной силой в весенней дурманящей яри.

Большой старый погост в трех верстах от села в старых дубах и кленах был таинственным и пугающим местом, особенно для детей, сюда они приходили лишь со старшими и держались непривычно скованно, без беготни и криков. Не одно поколение густищинцев нашло себе на этом клочке земли успокоение от трудов и страстей. Куда бы ни забросила судьба густищинца в поисках лучшей доли, умирать возвращался и тот, кому повезло, и тот, кто всю жизнь нищенствовал,

и в этом была какая-то своя, особая, равняющая всех сила старого сельского погоста. А в шестнадцатом году, перед революцией, по завещанию, из Сибири привезли цинковый гроб какого-то золотопромышленника Фокина, ушедшего из Густищ двенадцатилетним сиротой, привезли и зарыли на густищинском погосте, а общество получило десять тысяч рублей. На этот капитал хотели построить школу, да не успели; даже старики сразу не смогли установить дальний корень этого золотопромышленника Семки Фокина, по батюшке Александровича, по невиданно щедрой отходной которого село даже в винную нужду и бесхлебицу справляло трехдневные поминки, а на бедном сельском погосте, густо утыканном простыми дубовыми крестами, появилась мраморная фигура ангела, скорбно приспустившего крылья над прахом золотопромышленника; этот горестный каменный ангел лишь подчеркивал тщету богатства и всего мирского.

Пока Юрка с матерью и с семейством Куделина дошли до погоста, пока бабы повыли над могилой в голос, стараясь перекричать друг друга, а мужики приличествующе помолчали, затем степенно и с достоинством повспоминали покойника, солнце подкатилось повыше; Юрка развернул узелок и тут же рядом с могилой отца разложил хлеб, вареные яйца, нарезанное крупно старое сало, ототкнул литровую бутылку с самогоном. Племянникам он дал по куску хлеба и по яйцу и сказал, чтобы они съели это за вечный упокой своего деда, а крошки высыпали на могилку. Мать снова часто заморгала, перекрестилась, с удовольствием вытерла глаза.

— Дети, анделы божьи, грехов не нажили, злоб не накопили.

— Ладно, мать, ладно, анделы так анделы, это хорошо,— сказал Юрка насмешливо, и они выпили с зятем, оставив в стаканах на донышке вылить на могилу, дать понять покойнику о своей памяти и уважении к нему.

Тем временем в селе задуманное дело шло своим чередом; из Густищ в направлении Соловьиного лога выехал обоз из десяти подвод, на каждой сидело по два-три человека. У припавшей к земле избы Фомы Куделина обоз остановился; Захар, соскочив с первой подводы, пошел к мечущемуся, приседавшему на задние лапы от невыносимой злобы желто-бурому кобелю ростом в до-

брого теленка; точно уловив момент, когда кобель должен был прыгнуть на него, Захар слегка откачнулся, взвизгнул длинный кнут, опоясывая кобеля, и тотчас все переменилось. Кобель с рычанием отскочил в сторону, затем и совсем отбежал от избы к просевшему колодцу и неуверенно взвыл теперь оттуда; мужики, бросив лошадям сена, сгрудились перед избой, переговаривались. Захар подошел к двери, поддел небольшим ломиком пробой и выдернул его вместе с замком.

— Давай, мужики, за работу. Первым делом имущество сохранить в целости, выноси, что ни есть в избе, и складывай в кучу. Скот в сарае оставляй.

На ходу прикинув, Захар быстро распределил людей, и через несколько минут работа закипела. Одни раскрывали крышу, складывая иструхлевшую солому в кучу, другие метили бревна в стенах и простенках, выносили скудное имущество семейства Куделиных. Охватившее людей в первые минуты смущение перед необычным делом вскоре растворилось; работали споро и ловко, с шутками, и часа через два десять подвод заскрипели по направлению к селу, увозя почти полностью избу Куделина к новой, третьей и еще не существующей улице в Густищах, предназначенной для сселенцев с хуторов и отрубов. Там уж ждала артель плотников из десяти человек; они тотчас все привезенное разобрали и, заменив совершенно сгнившие, негодные бревна, стали собирать сруб; вторым заходом привезли кирпич от печи, гнилые стояки из-под избы, сарай и все остальное; за последней подводой, время от времени упираясь, натягивая веревку, брела привязанная за рога худая по весне рыжая коровенка, болтая из стороны в сторону вислым выменем, за нею на отдельной подводе везли теленка и кур в большом хоботном лукошке, и все это к вечеру водворилось на свои места. Сказался лишь один убыток: улетел в лог петух и скрылся куда-то от невыносимого страха кобель. К вечеру изба была сложена, стены проконопачены, крыша накрыта, три печника сложили печь, вывели трубу и для проверки сожгли куль соломы: тяга была отличная. Под конец теленка засунули под лежанку, кур высыпали в закрытый сарай, и Захар от правления колхоза всем работающим сказал спасибо, пригласил выпить и закусить с устали; и тут же на улице нажарили яичницы, сала, нарезали хлеба и долго, дотемна, сидели, вспоминая, сближенные прожитым днем.

Зарею Фома Куделин проснулся от ощущения какой-то новизны: вокруг на большом пространстве орали петухи, в голове стояли непривычные шумы, а в затылке ломило и постанывало; горло пересохло, и он несколько раз глухо кашлянул. «Эк меня развезло,— подумал Куделин,— хоть наизнанку выверни, ничего не помню. Видать, нагрузился по завяз у тещи и заснул. А Нюрка с детишками к себе ушла, теперь опять будет неделю в печенки язвить — не баба, слепень, все кишки пронижет».

Куделин поворочался с боку на бок и уже по каким-то почти неприметным ощущениям понял, что спит он на собственной скрипучей кровати; Нюрки рядом не было, значит, она ушла от него, пьяного, на печь, может, на лежанку. В следующий момент он и в самом деле услышал посапывание жены и, окончательно успокаиваясь, решил слазить в погреб и достать огуречного рассолу; в сорокаведерной кадушке огурцов еще оставалось достаточно. Он ощупью нашел у порога на лавке жестяную кружку, тихонько открыл дверь, вышел в сени, оттуда во двор.

В рассветной мгле смутно прорезывалась крыша сарая, и в ленивой тиши было отчетливо слышно, как пережевывала жвачку корова. Он отодвинул решетчатые воротца, сунулся туда, сюда и в недоумении замер: погреба на привычном месте не было. Он нагнулся и с каким-то чувством замирающего холодка в спине пошарил руками по земле, выпрямился и стал озираться по сторонам. Да нет, все в старом обличии у хаты, привычный тын от сарая к углу избы... но погреба не было, даже земля на том месте, где стоял когда-то погреб, была ровной. Внезапно чего-то пугаясь, Куделин вернулся в избу, сел на кровать и поджал босые ноги. Под лежанкой заворочался теленок и стал лизаться; Куделин, крадучись, подошел к детям, спавшим в противоположном углу на широких полатях, затем к теленку, просунувшему голову в отверстие дверцы, и почесал ему под шеей. Теленок от удовольствия вытянул голову и, в свою очередь, стал лизать длинным розовым языком Куделину рубаху, и тот, сразу почувствовав мокрое и теплое, отстранился. Постояв в тягостном сомнении, почему-то боясь разбудить жену, он осторожно вышел, теперь уже на улицу, и тотчас отшатнулся назад. Неподалеку, ну совсем рядом, ему ударил в глаза ряд уже хорошо различимых хат, крыши, вер-

хушки ракит, легкий весенний ветерок посвистывал в застрехе; стоял гуд в небе. Куделин со страхом зажмурился, задом попятился в сени и захлопнул дверь. «Допился»,— сказал он себе, разожмуриваясь и пялясь в сырую темень сеней. Опомнившись, он рванулся в избу, разбудил жену, та села, белея холщовой рубахой, стала собирать рассыпавшиеся волосы.

— Нюрка, слышь,— торопливо говорил Куделин, дыша ей близко в лицо перегаром.— Хотел рассолу напиться, погреб пропал, на улицу вышел, в глазах двоится...

— Чегой-то двоится, идол,— сонно сказала жена,— ничего не двоится, на местах стоит. Господи помилуй,— зевнула она недовольно.— Выжрал вчера у матери страсть, а все тещеньку лаешь. Рань несусветная, полежать можно, иди — заместо рассолу вон водицы хлебни...

— Хе-хе,— боязливо хихикнул Фома Куделин, незаметно отступая к двери и все время непроизвольно покашливая.— Эка чудесия в башке, с улицы крыши мерещутся, вроде хата наша, прежняя, а вроде в селе стоит, а, Нюр...

— В селе и стоит, а где же ей стоять? — опять зевнула жена равнодушно.— Недоспал, что ль, так иди ложись.

— Мы вроде на хуторе стояли, в особицу,— Куделин напомнил об этом тихо, с осторожностью и оглядкой и тотчас от слов жены присел, словно врос в земляной пол.

— Да ты ай с ума сошел, мужик? — удивилась она, таращя на него взблескивающие глаза.— Когдай-то мы на хуторе жили?

— Ну, корова, ну, корова,— задушенно изумился Куделин, вытянул руку, указывая на жену.— Гля на нее, ну, ведьма, ну, ведьма,— сказал он и, подступив к двери, выскочил на улицу, остановился от сильной одышки и стал трясти головою, открывая и закрывая глаза. Нет, в самом деле, рядом проступал в сереющей мгле порядок каких-то изб, ракиты обозначились ясно и кое-где слышались в утренней чуткости людские голоса.

— Серко! Серко! — вполголоса позвал Куделин кобеля и, не услышав ни малейшего шороха в ответ, оторвал спину, словно влипшую в стену, и побрел, не зная сам куда, тихонько подхихикивая и озираясь,

и в это время откуда-то из темноты, из проулка к нему под ноги выкатились игравшие друг с другом собаки; он шарахнулся в сторону и затем долго стоял, не в силах унять подскакивающее до самого горла сердце, и шепотком матерился; большая, длинная тень опять метнулась к нему, и он резво рванулся в сторону, ожидая уже теперь чего угодно, хоть и конца света, но на этот раз стремительная тень превратилась в его кобеля; Серко от полноты жизни прыгал и шлепал Куделина горячим языком в лицо; больше Куделин ничего не мог принимать на веру и к собачьей преданной любви отнесся с глубоким презрением.

— Черт знает, может, это и не ты,— бормотал он, отпихиваясь от прыгающего кобеля локтями.— Эк, скотина, чего радуешься, сатана! Пошел, пошел, не дразнись, зануда... Не жизнь пошла, короста, эк перевернуло, сам не знаешь, гдей-то очутился.

Куделин, рассуждая, сам не заметил, как ноги вынесли его из села, и он теперь брел полем, в привычном направлении к Соловьиному логу; ранний сквозящий туман, готовый исчезнуть с первыми лучами солнца, растекался над полем, из-под ног у Куделина то и дело взлетали жаворонки, каждый раз заставляя его вздрагивать и останавливаться.

В колхозной конторе заседало правление; о Фоме Куделине и его переселении позубоскалили с утра и забыли; накатывались дела более важные, земля вот-вот входила в готовность принять семя. Под вечер пришел крестный Захара Игнат Свиридов и, послушав невразумительный спор бригадиров, с достоинством вставил свое слово, сказал, что дня через три можно выезжать пахать на правобережные песчаные земли и лучше всего тягло туда бросить сразу; Юрка Левша скрутил цигарку, вывернул пожарче огонь в десятилинейной лампе, висевшей на проволоке над столом председателя, прикурил и сел на свое место.

— Для чего ж мы на бригады делились, если гуртом выезжать? — спросил он недовольно.— Что-то ты, дядька Игнат, не то говоришь. А работу как замерять будем?

— Поле большое, по бригадам надо разбить, на всех хватит,— сказал Свиридов, разгоняя перед собой табачный дым; он взглянул на сидевшего в стороне и почти все время молчавшего Акима Поливанова, хотел что-то

добавить, но не стал; все ждали слова Захара, но и он промолчал на этот раз, и Свиридов пересел подальше от стола, на лавку рядом с Поливановым. «Захар по молодости еще и не хозяйствовал как следует и бригадиров выбрал себе таких же, взять хотя бы Юрку Левшу, парню двадцать, а вылез вперед, горлом кого хочешь переборет, и вообще первый похабник на селе, девкам и молодым бабам проходу от него нет,— думал Свиридов.— Матери родной слезы от такого супостата; сколько раз хотели оженить, одни пересмешки в ответ, не уженишь жеребца. Срам всенародный пришел, молодые никого не боятся. А Захар, крестничек-то, чем лучше, вон бабы подряд говорят? Манька-то Поливанова с брюхом, оттого второй месяц глаз на народ не кажет, а отцу ее каково от такого позора?»

Свиридов покосился в сторону Акима Поливанова, тот безразлично смотрел прямо перед собой, и Свиридов искренне восхитился. «Столб, истинно столб каменный,— подумал он опять,— если уж матку-правду говорить насчет его сговора с Захаром-то, крестничком, так немалую он за это цену заплатил, собственной девкой, а может, оно все и не так. Бывало, и раньше женатые мужики с девками сходились, семьи бросали, это уж дело особое, тут не укажешь. А теперь и подавно, все смешалось на земле, совсем диковинно народ начинает жить; бабы вон говорят, что через года два-три и бабы с мужиками будут общими, какая-то монашка об этом в святой книге пророческое указание усмотрела».

Еще Свиридов дивился про себя тому обстоятельству, что совершенно разные мужики собрались вместе, каких-нибудь два года тому у каждого был свой надел, свои полоски, они бы жались по своим углам, а тут собрались и вместе о чем-то думают. «Чудно, чудно»,— говорил себе Свиридов. Ему пришли на ум пчелы, со всех концов несущие взяток в один улей, и он завозился, устраиваясь удобнее, потому что нехорошие и злые мысли одолевали его совершенно; не верилось ему и в это мужицкое согласие, испокон веков нерушимо держалась привычка жить отдельно, подальше от чужих глаз, а при случае вцепиться друг другу в загривок покрепче, до хруста в позвоночнике; и ясное дело, не имевшим никакой охоты до хозяйства колхоз по душе, много ли, мало ты внес в улей меду, лопать будешь наравне со всеми. В глубине души Свиридов уверен, что этот самый невидимый колхоз в конце концов сожрет

сам себя и все вернется назад, и потому он с какой-то недоверчивостью и насмешкой прислушивался к горячившимся мужикам, засидевшимся в горьком табачном дыму за полночь, и не уходил лишь от любопытства; мужик он был дотошный в жизни и медлительный на какие-нибудь смелые решения и поступки, слыл на селе крепким головою, а потому пользовался и всеобщим уважением (к нему часто приходили посоветоваться по разным делам); теперь ему мешало подспудное чувство все того же недоумения. Что бы он ни думал про себя, он знал, что чего-то самого главного не улавливает, барахтается где-то поверху, а до дна дотянуться не может. Вот дерево понятно, для чего пробивает землю и поднимается, и почему скотина в свой срок обгуливается, и почему перед концом человек тоскует и обирается. Все имело свой резон и поддавалось пониманию, но то, что происходило сейчас с людьми, никак не укладывается в привычные рамки, и Свиридов по этому случаю вспомнил, что с неделю назад видел в небе как бы разделившееся солнце. Вышел рано утром во двор по нужде и остолбенел: в небе над лесом ровно на одной черте, разделенные друг от друга какими-нибудь двумя вершками, мутно стояли два совершенно одинаковых солнца; от неожиданности он перекрестился несколько раз и все пялился в небо, пока из глаз от напряжения не поползли невольные слезы. Он не стал никому говорить об этом, тем более что оба солнца вскоре сошлись в одно, да так, будто ничего и не было, и он подумал, что уж не померещилось ли ему такое чудо от неожиданной болезни, и он дня два после ходил в подавленном настроении и сторонился людей, опасаясь, что кто-нибудь обязательно обнаружит в нем скрытую хворобу.

Последнее время его одолевали непривычные мысли, их распутать до конца у него не было возможности; Свиридов вздохнул про себя и стал опять глядеть на Захара, тот в это время снял лампу с проволоки и поставил на стол перед собой. От табака и бумаг у него стучало в висках, цифры, мелко выведенные счетоводом, ломко прыгали; нужно, не откладывая, непременно распределить и раскрепить по бригадам сбрую, плуги и бороны, вон Юрка Левша каким-то путем вполовину больше других бригадиров себе оттяпал и теперь упорно и ревностно следил за председательским карандашом, выводящим на бумаге закорючки; Захар угрюмо поко-

сился в сторону ловкого бригадира, хотя где-то в душе и был им доволен.

— Пишешь ты, Мартьяныч,— повернулся он к счетоводу, бросая карандаш и с неприязнью оглядывая влажную от духоты, с прихлопнутым посередине ранним комаром лысину счетовода.— Никакой поп без подзорной трубы не разберет. Бумаги тебе жалко? Прямо рачья икра, а не арифметика.

За окном громыхнуло неожиданно; тонкий, пронзительный взвизг многим уже послышался в темноте, стекло на лампе брызнуло мельчайшими осколками, и свет погас; Захар с силой откинулся от стола, больно стукнулся головой о стену и зажмурился; тотчас вспомнив, он метнулся к окну, оттолкнув кого-то с дороги, и успел увидеть в лунном свете темную фигуру, бежавшую в поле; Свиридов, выскочив в сени, не смог открыть дверь и закричал об этом, и тогда Захар, не раздумывая, ударом ноги вышиб раму и выметнулся из окна; за ним прыгнул Юрка Левша, сильно стукнувшись головой о притолоку и оттого на минуту совершенно обалдев.

— Вот куда дернул! — крикнул Захар на ходу и, не ожидая никого, кинулся в поле; временами он еще ясно различал бегущего человека, пригнувшегося к земле и споро уходившего к ближайшему осиновому леску; Захар взял ему наперерез; за ним, тяжело топая, спешили мужики, но если бы он был и один, то поступил бы точно так же; он сразу понял, что пуля предназначалась ему, лишь в пустой случайности она хлопнула в лампу, какой-нибудь вершок — и лежать бы ему с продырявленным котелком, и эта мысль заставила забыть об осторожности. Он бежал легко и свободно, чувствуя разгоряченным лицом расступавшийся теплый воздух. Неожиданно попалась лощина, залитая водой, он круто взял в сторону, земля тут еще не отошла от воды, и бежать стало тяжело; он уже ясно видел темную фигуру перед собой и, постепенно настигая, больше не упускал ее из виду. И неожиданно она пропала. Захар тотчас бросился в сторону на землю, увидел метрах в двадцати от себя короткий взблеск, и характерный шелест пули по-над землей тоже словно сверкнул мимо. «Из обреза, стерва, жарит»,— определил Захар, погружая пальцы в сырую, податливую землю. На какой-то миг мысль, что он один на один неизвестно с каким зверем и что ему, возможно, влепят

пулю в лоб, вдавила его еще больше в землю, но уже в следующую минуту он двинулся вперед ползком; грохнул второй выстрел. Захар не услышал пули и понял, что его противник бьет наугад; теперь мужики непременно обходят его сзади, зря, дурак, стреляет, подумал Захар, подтаскивая тело на руках, он увидел впереди, шагах в пятнадцати, смутную тень; тот, *чужак,* встал на колени и прислушивался, и будь у Захара хоть какая-нибудь поганая штука, он без труда свалил бы его. Стояла странная пустая тишь, лишь со стороны села слышались встревоженные голоса и крики. Захар теперь ясно видел своего противника; если бы кто-нибудь из мужиков догадался шумнуть от леса, он бы успел перескочить несколько метров и навалиться на стрелявшего; это, несомненно, был кто-то свой, и сейчас Захару больше всего хотелось узнать, кто это. Он протянул руку вперед, готовясь продвинуться еще, и замер; совершенно ясно в стороне послышался голос Юрки Левши; неизвестный тотчас припал к земле и сразу выстрелил. «Четвертый патрон,— отметил Захар.— Пальнет еще, будь что будет, рвану». Он еще не успел подумать об этом, хлопнул выстрел, и неожиданно для себя подхватился, рванулся вперед, не скрываясь; неизвестный успел повернуться к нему, замахнулся, и Захар всем телом ударился в него, и оба покатились по земле; под руки Захару попался грязный скользкий сапог, он рванул его к себе и, сам приподнимаясь, перевалился вперед; он видел перед собой заросшее до самых глаз лицо, глаза, пространство между ними было столь невелико, что нельзя было размахнуться для хорошего удара; они держали друг друга за руки и месили тягучую чавкающую землю, стараясь не упустить подходящего момента; теперь, когда они намертво сковали друг другу руки, можно было действовать только ногами, но каждый из них ждал именно этого. Захар слышал совсем недалеко мужиков, они что-то оглушительно кричали.

— Ну, падла, попался,— сказал Захар, задыхаясь, он не ждал ответа и на мгновение затаился, услышав чей-то смутно и далеко знакомый голос, вздрагивающий от напряжения и злобы.

— Не радуйся раньше времени, гад,— услышал Захар, чувствуя лицом разгоряченное дыхание своего противника.— Жизнь, она длинная... по-всякому виляет... за ней не уследишь.

И тотчас этот неизвестный выкинул вперед ногу, целясь Захару в низ живота; в какую-то долю секунды Захар успел, не выпуская противника, прянуть в сторону, рванул тяжелое, исходившее едким потом тело на себя, стараясь в падении вывернуться наверх, но свалились они рядом, опять же лицом к лицу и близко; опять можно было только давить друг друга. И Захар почувствовал у себя на горле скользкие мокрые пальцы, разом сдавившие хрустнувший хрящ, и сразу ударила по всему телу боль; преодолевая мутную, застилавшую глаза слабость, Захар рванулся, и тут к ним подбежали сначала Юрка Левша, затем Поливанов, еще кто-то, и в несколько секунд все было кончено. Неизвестному заломили руки назад, связали чьим-то ремнем, и Юрка Левша стал ощупью искать обрез; Захар сидел на земле и мял болевшее горло, время от времени тряся головой и морщась; задушил бы, гад, подумал он и, преодолевая слабость в ногах, поднялся; перед ним сразу расступились.

— Мужики, засвети кто-нибудь спичку,— попросил он хрипло.— Поглядеть надо в рожу-то, что за бандит попал.

Они стояли друг против друга, и, когда чиркнула спичка, Захар увидел застывшее в кривой усмешке лицо с темными проваливающимися глазами и придвинулся ближе.

— Вот оно что,— протянул он с тем трудным спокойствием, которое порождается слишком большой неожиданностью и желанием не выказать своей растерянности.— Убить меня хотел, Федька? На гулянки вместе ходили... сволочь ты.

— А ты, когда на Соловки людей с малыми детьми отгружал в скотские вагоны, про гулянки поминал? — спросил Макашин и со скованной ненавистью повел плечами.— Пустите не убегу, связанный, вон вас собралось, кровососов беспорточных волчье семя...

— Не пугай, видели и не таких. А ты как хотел? Вас туда порода ваша утянула, на нее и пеняй,— перебил его Захар.— Дурак... пробыл бы там сколько надо, гляди, возвернули бы в свой срок, а теперь...

— Теперь не твое собачье дело. Пожалел, сволочь, кобылятник! Хоть знать буду, за что мерзлоту-то долбить, и то ладно. Погоди, власть попервуначалу добрая, сначала нас, а потом и вас прихлопнет, и до вас доберется, она от мира по частям откалывает. Жизнь

покажет, чья правда, сегодня я под низом, а завтра ты будешь.

— А ты меня с советской властью не разделяй. Твоя история кончена, Федор,— сказал Захар, все еще чувствуя от напряжения боль под ключицами.— Закрыли мы ее, твою историю, придавили надгробным камнем, не стронешь.

— Закрыли? — отплевываясь от попавшей в рот земли, хрипло и насмешливо спросил Макашин.— Что, не начинали — и уже торговать нечем? Погоди, не знаю, у нас с тобой по-всякому может быть, а так оно, полымя, только занимается. В жизни оно завсегда так: один строит да сеет, а другой навар собирает. Глаза ему застелет от жадности, вот и рубит собственный сук...

— Молчи, кулацкая хайла! — закричал, внезапно появляясь и держа за дуло перед собой вываленный в грязи обрез, Юрка Левша.— Ты чего тут контру разводишь! Тебя бы по-хорошему придушить немедля да прилопатить, моли бога, разной канители не хочется. Вот она,— Юрка ловко подкинул вверх перевернувшийся в один раз обрез, снова поймал за укороченный приклад,— вот она, твоя натура; прет, сразу за горло схватить. Ты-то и есть голодный волк, тебе законное место в тайгах бродить да на луну морду драть.

Макашин стоял молча и безразлично, неудача обессилила его; сотни верст пробираться ночами для этой вот, оказывается, минуты, трястись на платформах с углем и лесом, зарываться в шлак; он пошел на это, несмотря на уговоры отца и вой матери; сейчас он всякий раз переступал с ноги на ногу, слыша голос Захара Дерюгина или Акима Поливанова, который, по твердому убеждению высланных, только благодаря Захару остался с семейством на месте, а вот их, Макашиных, привыкших держать этих голодранцев в кулаке, угнали в первую голову, тупо думал он, и все это дело рук Захара, скобелившегося с Манькой Поливановой; слепая нерассуждающая ненависть вела его последние два месяца, и в последний момент промахнуться почти в трех шагах! Этого он не мог себе простить, опять и опять переживая последний, решающий момент: он подкрался к ярко освещенному окну, увидел знакомые лица, увидел сбоку голову Захара и, отступив слегка, щелкнул затвором. Он метил прямо в середину черепа, в ухо, и ни минуты не сомневался в успехе; оконное стекло виновато, бывают такие порченые стекла, перекашива-

ет. Он знал, если теперь не поставят к стенке, десятку строгача влепят обязательно; от этой определенности ему стало легче.

Подошел тяжело сопевший Юрка Левша, тщательно облапал Макашина со всех сторон, тот стерпел, стараясь не шевельнуться; ничего не обнаружив, Юрка с досадой сунул ему кулаком в жесткие ребра; Макашин опять стерпел, делая вид, что ничего не заметил; его, придерживая за руки, привели в контору; где чадила кем-то зажженная лампа, теперь без стекла, и силком посадили на лавку. Захар приказал лишним разойтись, оставил лишь Юрку Левшу и крестного, сторожу сказал закрыть ставни от любопытных, позвать председателя сельсовета и стал собирать бумаги на столе; Макашин исподлобья следил за ним, прислонившись затылком к стене, сузив бешеные светлые глаза; Захар подошел к нему близко и остановился напротив, Макашин посмотрел ему в переносье, на его заросшем, исхудавшем лице зажглась презрительная, ненавидящая усмешка, звериное ощущение загнанности короткой судорогой свело плечи, но он не выдал себя ни одним словом; он видел, что Захар ошарашен его поступком и никак не может прийти в себя; если бы обрез в руки, повторись у него, у Макашина, малейшая возможность, он, не задумываясь, прикончил бы Захара Дерюгина; для него именно в Захаре Дерюгине сосредоточилась сейчас та непримиримая сила, что поднялась, перегородила весь дальнейший ход жизни.

Они глядели в глаза друг другу всего несколько мгновений, и этого было достаточно; пути их еще раз пересеклись и захлестнулись смертным узлом; и лицо Макашина словно проступило резче, можно было еще раз попытаться и вцепиться Захару в горло, но это было бы глупостью, он жил всего двадцать семь лет, и этот шаг мог стать для него последним. Он не хотел умирать напрасно, он знал, что Захар — сильнее и даже один на один не даст себя задушить. Полуприкрыв глаза, тяжело откинувшись на спину, Макашин старался опомниться от неудачи; густые отросшие волосы упали ему на глаза. Напряжение в теле не ослабевало, и он был готов вскочить на ноги в любой момент; его настороженность передавалась другим.

Прикрыв глаза, стараясь забыться и не думать, Федор вспоминал, как лет пять назад, еще до колхоза, шел в ряду косарей на лугу под Слепым Бродом, кото-

рый на сходке было решено смахнуть сообща и уже затем делить в копнах; он до мельчайшей подробности, до ощущения жаркого солнца в глазах, до ощущения легкости и ловкости руки при взмахе косой вспомнил тот далекий день. Он шел тогда вслед за Захаром и, отрывая иногда глаза от травы, видел его крупный затылок, широкие, влажно блестевшие от пота плечи. Стоило только поразмашистее шагнуть вперед, и можно было одним взмахом перехватить кишки... но это было давно, еще до колхоза.

Он не чувствовал, что его горящие из-под спутанных косм глаза неотрывно следуют за Захаром, и так тяжел и ощутим был этот взгляд, что Захар резко обернулся.

— Зря злобствуешь, Макашин. Твоя песня кончена. Жизнь, она по-своему рассудила,— сказал он в ответной непримиримости, и Макашин с трудом отвернулся и опять постарался забыться. Почему-то вспомнился теперь старый цепной кобель Жилка, застреленный милиционером во время раскулачивания; Федор сейчас словно наяву видел густо запекшуюся на подмерзшей земле собачью кровь и искусанный, вывалившийся из пасти язык.

Появился запыхавшийся от быстрой ходьбы Анисимов, председатель сельсовета, щурясь с темноты, долго молча рассматривал Макашина; затем с какой-то странной полуулыбкой повернулся к Захару.

— Повезло тебе, Тарасович. Матерого зверя взял.

Пододвинув табуретку, Анисимов сел прямо против Макашина, их колени чуть-чуть не касались, и закурил; Макашин, сведя брови, спокойно, с невольным ожиданием глядел на него.

— Чего ж это ты бегаешь от закона? — с явным интересом спросил наконец Анисимов, напряженно шевеля бровями и сдвигая кожу большого лба.— Нехорошо получается, гражданин Макашин, очень нехорошо. Вот тебя Захар Дерюгин как контрреволюционного элемента накрыл и правильно сделал, не будь дураком, нечего бегать.

Впервые взглянув прямо в глаза Анисимова, Макашин с трудом сдержался, чтобы не перемениться в лице; что-то невероятное, то, чему он не мог поверить, послышалось ему в словах Анисимова; но тот уже встал, повернулся к Захару.

— Кончать надо эту канитель, кого назначить в город сопровождающими? Или милиционера дождаться?

— Распутица, сейчас не дождешься...— сказал Захар.— Нечего ему тут делать. Народ мутить. Сам его переправлю вот с Юркой Левшой. Надежнее будет. Давай акт пиши, Родион, сбегаю переоденусь, лошадь запрягу. На рассвете двинемся, поменьше глаза пялить будут, ни к чему это.

— Тоже дело, пожалуй, твоя правда,— помедлив минутку, согласился Анисимов.— Только смотри, через Слепой Брод переправляться рассвета ждите; мост там, говорят, цел, по нему лишь вода идет на полметра, собьет.

— Проскочим, не в первый раз,— уверенно сказал Захар.— Люди вчера переезжали, вроде падает вода. Надо же, стекло на лампе разбил, теперь черта с два достанешь.

— Ты считаешь, лучше бы твою голову? Под счастливой звездой родился,— неопределенно возразил Анисимов, и Захар согласно кивнул головой, но Анисимов, выставив широкие уши, уже склонился над столом, разглаживая бумагу. Отдав необходимые распоряжения, Захар вышел; часа через два, стоя перед разлившейся водой и тревожно посматривая на еле-еле торчавшие из бегущей воды в предрассветном полумраке шаткие, из неструганых решеток перила моста, он вспомнил слова Анисимова о Слепом Броде; взяв лошадь под уздцы и подтянув голенища сапог, он пошел в воду; лошадь уперлась, он со злостью рванул за узду, и она, всхрапнув, подчинилась, метров двадцать Захар чувствовал под ногами раскисшую, скользкую землю, затем начался настил, и он облегченно вздохнул — хотя вода бежала поверху, сам мост был цел, и они благополучно переправились; дорога сразу пошла лесом. Стараясь согреться, Захар крикнул на лошадь: «Ну, труси, труси!», и, когда она перешла на мелкую рысцу, он побежал следом; все-таки вода набралась в сапоги, потом надо будет переобуться.

Тяжелый, стремительный удар в голову сбоку вырвал у него из-под ног землю; он успел услышать высокий крик Юрки Левши, треск ломавшихся от вставшей на дыбы лошади оглобель, потом еще чей-то крик; гулко ударил выстрел, и все исчезло, словно провалилось в сырой мрак. Он очнулся не скоро, уже солнце было над лесом, и первым делом увидел лицо Юрки Левши, услышал жидкий свист ветра в голых ветках деревьев и раскатистое движение неподалеку.

— Ушел, гад,— с глухим недоумением сказал Юрка Левша.— Нас здесь ждали: понимаешь, кто-то нас здесь ждал. Вот тебе, председатель, какие пироги! — С трудом приходя в себя, он соскочил с телеги.— Их двое или трое было, а может, один, а? — тут же засомневался он.— Тогда как же он нас двоих махом сшиб? И меня оглушило, ты гляди, темя вспухло. Очнулся, никого, ты себе валяешься, я — себе.

Юрка Левша выматерился, а Захар закрыл глаза; он лежал на телеге. Лошади не было, он подумал об этом, спросил, тяжело поводя головой; Юрка Левша опять стал ругаться и сказал, что и лошади нет, сломала оглобли и была такова, может, сама ушла, может, увели. Перед глазами Захара, вверху, чуть покачивались узловатые ветви дуба; обрывочные мысли текли, и ни одна из них не могла оправдать такого промаха.

5

Через полмесяца Захара Дерюгина, настойчиво рвавшегося на волю, выписали из больницы (у него оказалось тяжелое сотрясение мозга); земля уже просохла, и с неделю шел сев яровых; Захар посидел дня два дома, повозился с ребятишками, и хотя временами перед глазами у него все начинало вертеться, подергиваться черным туманом и к горлу поднималось противное сосущее чувство тошноты, он на третий день не выдержал и вышел на работу, никого не предупредив; в конторе его весело и, как ему показалось, по-доброму встретил Мартьянович; бригадиры разошлись по делам. У Мартьяновича, склонившегося над столом, привычно поблескивала лысина, точно он намазал ее постным маслом; заслышав шаги председателя, он поднял голову, встал и вышел из-за стола.

— А-а, вот и очухался! — Всем своим видом Мартьянович выказывал искреннюю радость и оживление.— Ну, с выздоровлением тебя, Захар Тарасович, пора, пора за дело браться.

Захар пожал протянутую руку; ему была приятна радость Мартьяновича, мужика скучного и нелюдимого, попивающего в одиночку, втайне, всегда умевшего найти в другом что-нибудь плохое, скрытное. Мартьянович дал ему подписать несколько бумаг, попутно рассказывая о севе, о нормах на пахоту в бригадах и другие

самые главные по его, Мартьяновича, мнению новости на селе; особо он выделил то, как в его, Захара, отсутствие мужики, объединившись из трех бригад, запахали поле, назначенное под тракторную пахоту, и трактор из МТС укатил назад не солоно хлебавши, и по этому случаю приезжали из района разбираться; натуроплаты теперь пришлют меньше, на всякий случай сдержанно порадовался Мартьянович. Захар несколько раз что-то неразборчиво проворчал; слушая, с трудом разбирая муравьиную скоропись Мартьяновича, он сразу почувствовал тяжесть в голове; подписав бумаги, Захар ушел и весь день пробыл в бригадах; вечером завернул на огонек к председателю сельсовета, жившему вместе с женой там же, в пристройке. Отчего-то именно в больнице Захар задумался об Анисимове как об умном, осторожном человеке, припоминая, когда тот впервые появился в Густищах со своей женой, и решил сразу же по возвращении из больницы потолковать с ним, и вот, свернув к дому в легких весенних сумерках, Захар увидел огонек в пристройке к зданию сельсовета; в ответ на его стук знакомый голос весело пригласил войти, и он, толкнув дверь, увидел Анисимова и его жену, они ужинали. На столе друг против друга стояло два прибора, нарезанный хлеб в какой-то стеклянной штуковине; стол был застлан белой скатертью; в той тщательности, с какой был накрыт стол, чувствовался чужой, городской уклад; Елизавета Андреевна, словно не замечая мелькнувшей на лице мужа хмурости, приветливо поднялась навстречу Захару.

— Здравствуйте, Захар Тарасович,— сказала она, стягивая края тонкого пухового платка у себя на груди.— Проходите, садитесь, к ужину поспели. Садитесь, я вам сейчас прибор дам.

— Спасибо, Елизавета Андреевна,— сказал Захар, осторожно снимая тяжелую от пыли фуражку и вешая ее возле двери на гвоздь.— Вы вечеряйте, я к Родиону на минутку.

— Ну как же так, Захар,— протестующе сказал Анисимов, крепко пожимая протянутую ему Захаром руку.— Садись, поужинаем, заодно и поговорим.

— Такой редкий гость, у меня как раз пирог с грибами,— сказала Елизавета Андреевна.— Садитесь, Захар Тарасович, отказаться от стола обида для хозяйки.

Соглашаясь, Захар сделал неловкий жест руками, означавший, что можно и закусить, отчего же, если

приглашают, и сел рядом с Анисимовым; за весь день в поле он в бригаде у Юрки Левши перехватил хлеба с салом и луком, но зато много курил, и есть ему не хотелось; Елизавета Андреевна поставила перед ним полную тарелку янтарного красного борща, жирный парок ударил Захару в ноздри; такого борща у них в селе бабы не умели варить, его можно было поесть только в городе, в ресторане.

— Так что, Захар, может, по рюмочке за выздоровление? — предложил Анисимов в заметном оживлении.— Все-таки повод. Лиза, подай, пожалуйста, графинчик из шкафчика.

Покосившись на тонконогую красивую рюмку, появившуюся перед ним как-то незаметно, Захар промолчал; он и раньше иногда сидел за этим столом, спорил, обсуждая всякие колхозные дела; бывало, и выпивали понемногу; здесь от хозяина и его жены узнавал немало нового. Питерский рабочий, направленный из окружкома на советскую работу в деревню, Анисимов с женой так и прижились в Густищах. Елизавета Андреевна сначала заправляла в избе-читальне, затем учительствовала в густищинской семилетке, преподавала русский и географию, и ее признавали не только в школе, но и на селе; она любила серьезные книги и детей, не могла спокойно переносить, когда видела, что кто-то не знает того, что необходимо знать, и всегда испытывала острое желание тут же восполнить упущенное; если сам Анисимов мог, распалившись, обозвать «неучем» и «невеждой», она мучительно краснела, обнаруживая незнание самых элементарных вещей о том мире, в котором человек родился и живет. Так, долго и настойчиво она пыталась в свое время втолковать Захару различные гипотезы строения вселенной, подбирала ему литературу для чтения. Сейчас она улыбнулась про себя, когда Захар, чокнувшись с мужем, выпил водку, неумело и осторожно придерживая рюмку, и стал есть, низко наклонившись над тарелкой; она засмотрелась на него и подумала, что он красив какой-то диковатой азиатской красотой, глаза у него были большие, серые, но если он долго на что-то смотрел, они начинали слегка косить, у них был характерный длинный разрез, оставленный славянам веками монгольского владычества, когда степная азиатская кровь пошла гулять, своевольничая, по Руси; при совершенно серых глазах Захар был темно-рус, и характер у него стремительный, не-

ровный, анархическая степная вольница чувствовалась в каждом движении. Елизавета Андреевна, еще молодая, тридцатилетняя женщина, загляни в себя пристрастнее, могла бы понять, что в ее внимании к Захару есть нечто большее, чем просто любопытство к красивому, талантливому, разбуженному зверю (как часто называл Захара Анисимов), поражающему какими-то совершенно ясными детскими чертами и неожиданными глубинами.

Отодвигая тарелку, Анисимов, поймав на себе взгляд Захара, сыто и благодушно улыбнулся.

— Послушай, Захар,— сказал он.— Это, понятно, пустяк, просто запало в память. Давно хотел спросить, почему тебя за глаза кобылятником зовут?

— Дело давнее,— охотно отозвался Захар, скользнув взглядом по остановившейся в дверях и приготовившейся слушать Елизавете Андреевне.— С гражданской мне довелось вернуться верхом. Кобыла была — Машкой звал. Бывало, собакой на свист шла, на шаг не отходила. Привязал я ее у плетня, а мать через порог навстречу ног не перенесет, распухли они у нее бревнами от голодухи. В хате шаром покати. Мышей и тех унесло! Ну вот, походил я, походил, завязал своей Машке глаза, отвел за угол сарая, хлопнул из винтовки в ухо. Мать недели две ела, я ей сказал, что в город ездил, говядины выменял на золотые часы: меня тогда за одно дело командарм наградил. Поверила, потом узнала, чуть со свету не сжила. Ну вот с тех пор и пошло: кобылятник да кобылятник... Было, как же.

Убрав со стола, Елизавета Андреевна, оставив мужчин курить, молча ушла к себе готовиться к завтрашним занятиям; Анисимов предложил выпить еще, но Захар отказался, у него опять застлало голову, и он решительно отодвинул от себя рюмку.

— Ну ничего, пройдет,— дружески сказал ему Анисимов.— А я еще выпью. Хороший ты малый, Захар, Елизавета Андреевна часто тебя вспоминала, пока ты в больнице был.

— Зря ты, Родион, что́ меня вспоминать,— нахмурился Захар.— Сиволапый мужик, обо мне не поговоришь. Как по-твоему, кто это меня так ловко причастил? — Захар потер шов, схвативший кожу в двух местах, возле правого уха и ближе к затылку.— Ведь смотри-ка, организованно все получилось. Мы берем Макашина, вдвоем с Юркой Левшой везем в город, кто-то, как по уговору, опережает нас. Определенно знал,

что через Слепой Брод едем, значит, кто-то свой был рядом, слышал, паразит классовый.

— В город другая дорога есть? — Анисимов, пристально разглядывая цигарку у себя в руке, откинулся на стуле.— Дураку известно, по другой дороге в половодье в город не попадешь. Здесь следователь с неделю вертелся, так ни с чем и укатил. Вчера из милиции звонили, ни за что не могут зацепиться. А ты что интересуешься, боишься?

— Бояться вроде и не боюсь,— сказал Захар.—Просто зло разбирает, непонятного в этой истории много. Мне это не дает покоя, в своем доме — и на тебе!

— Э-э, брат,— поморщился Анисимов.— Жизнь вообще непонятна. Ты только вот начинаешь задумываться, все еще впереди. Ничего, справимся, контра, она долго свою отрыжку давать будет. Просто взбудоражем всего не объяснишь. Вот как ты весь вскинулся, от пробуждения до зрелости своя дистанция... и классового паразита не так сразу раскусишь.

— Подожди, Родион,— оборвал Захар,— давай серьезно. Давай вспомним, кто был в конторе... Ты сидел, акт писал, я что-то только двоих и помню: счетовода и Поливанова.

— Ну как же! Ты был, я был, Юрка Левша, сторож, как его там... дед Михей, еще человек десять мужиков под окнами бродило... бригадиры — второй и первой. А баб любопытных сколько мимо шмыгало? Видишь, с размаху не укажешь.

— Все вроде бы свои,— обронил Захар, осторожно стряхивая пепел в плоскую пепельницу.

— Кроме меня,— засмеялся Анисимов, словно поддразнивая Захара.— Вы здесь все свои, грибы из одного куста, но ты же на меня не подумаешь?

— А почему бы и не подумать? — озлился Захар от тона превосходства и скрытой, почти неуловимой издевки; Захар уловил ответный явный интерес в глазах Анисимова.

— Ого,— сказал Анисимов.— Раньше за такие слова просто в морду рукояткой браунинга били, а теперь ведь не ударишь,— в его голосе Захару послышалось сожаление.— Не те времена.

— Ну ладно, братец Родион, не смейся над чужой сестрицей, своя в девицах.

— А я, Захар, и не смеюсь, зря ты. Все мы, разумеется, не белые голуби. В человеке, Захар, много от зверя

осталось, полыхают в нем подчас протуберанцы доисторических времен. Поймешь это, к человеку добрее относиться станешь.— Анисимов замолчал, тщательно свертывая новую козью ножку.

— Валяй дальше, Родион, просвещай темноту, что же ты замолчал? — опять подзадорил Анисимова Захар.

— Значит, просвещай, говоришь?

— Я же тебе сказал — валяй... Сейчас недошурупили, разберемся, час выйдет. Я тебе, Родион, как на духу скажу,— качнулся к нему Захар ближе.— Мерещится мне, что в этом деле,— Захар коснулся пальцами шва у себя на голове, близко и доверительно глянул Анисимову в глаза,— не обошлось, Родион, без своих. Вот увидишь,— внезапно оборвал он себя, крепко переплетая и стискивая пальцы.

Анисимов задумался, глубоко затянулся из козьей ножки, бумага, обугливаясь по краям, затрещала.

— Да, проморгали Макашина мы с тобой, больше никто. Поосторожнее впредь нужно быть. Никто не виноват, сами недосмотрели, прохлопали. Ты здесь каждого знаешь, сызмальства, лучше меня, вот и раскинь мозгами, кто еще мог затаиться... Конечно, кто-то свой.

— Погоди, Родион...

— Что мне годить, нам и к себе чуть построже надо быть, ты себя поглубже копни, может, думаешь, никто не замечает твои шашни с Поливановым? Ну хорошо, мне ты можешь не объяснять, я все понял, я могу понять и увлечение женщиной и то, что ты в самом деле прав: Поливановы — фамилия на селе работящая и честная. А другие поймут? Не думаю, вон какую паутину вокруг наплели, не разгребешь. Это к тому, чтобы и к себе мы относились с должной требовательностью.

— Я товарищу Брюханову объяснил все как есть, без утайки,— сказал Захар, бледнея и отыскивая взглядом фуражку на стене; невыносимо стало ломить в висках, на глаза набежали слезы.

— Брюханов тоже не последняя инстанция в этом мире,— услышал он ровный голос Анисимова,— Брюханов, разумеется, тебя поймет, вместе воевали. Только на земле не один Брюханов живет, злые языки пострашнее любого Брюханова, вот ведь в чем дело. А ты сам на съезде присутствовал, слышал об усилении классовой борьбы... о ее беспощадности... там зря никто ничего говорить не станет.

— Добро! — Голос Захара отвердел, стена снова прочно заняла свое место.— Только ты попа с яишницей не путай. Где надо, разберутся. А контру затаившуюся сыщем, я ее из-под земли достану; мы всяких видали — и крашеных и перекрашенных, а потом их в расход водили, за нами не заржавеет.— Он нашарил на стене фуражку, сдернул ее, и рот у него с правой стороны передернуло тиком.

— Смотри-ка,— сочувственно сказал Анисимов,— болезнь-то дает еще себя знать; видать, рано, Захар, тебя из больницы выписали. Смотри, белый как мел стал. Просто я к тому говорю, что во всем необходимо разбираться тщательно, терпеливо, без злобы. А тебя вон как на дыбы дерет силушка.

— Пойду,— сказал Захар, чувствуя все увеличивающуюся тяжесть в голове.— Спасибо за хлеб-соль.— Он скупо усмехнулся.— Спать пора, как-нибудь в другой раз договорим, Родион. И про терпение мужика кстати... Его зря испытывать тоже не надо, хотя кое-кому и хотелось бы видеть его в ангельском терпении, в расписной рубахе да с гармонью. То, что его в темноте держали, не его вина. Когда надо, он и без всяких наук экономии жег. Про вилы с топором не забывай, Родион, бывало, в ход шли, только гуд по земле. Так что ты меня моей силой не кори, сорваться могу, похмелье нехорошее будет.

Он вышел, плотно, без стука закрыв за собой дверь; Анисимов хотел что-то сказать, не успел; оглянувшись, увидел перед собой жену и по ее взгляду понял, что она слышала весь случившийся разговор; он презрительно и грубо сморщил лицо, как делал всегда, если был недоволен собою.

— Зачем, Родион? — сказала она быстро и жалко.—Я боюсь — как у тебя не хватает выдержки, становишься на одну доску с теми, кому до тебя еще тянуться.

— Тише, тише,— остановил ее Анисимов.— Сама не очень-то осторожна.— Он приоткрыл дверь, вышел и, шагнув в темноту, остановился, прислушиваясь; где-то скрипела гармоника и горланили частушки, высоко, в перелив выводил припев девичий голос; стараясь успокоиться, Анисимов дождался частого перебора гармоники, вернулся назад, закрыл одну и вторую дверь на засовы.

— Я больше не могу так,— бессильно пожалова-

лась Елизавета Андреевна.— Все время по острию. Надо же наконец понять, Родион, назад дорога заказана, навсегда, наглухо... боже мой...

Анисимов молча ходил перед нею, и каждый раз, когда он четко, по-военному поворачивался, она видела его неспокойные, точно ищущие что-то, узкие, сильные кисти рук, которые по старой привычке он заложил назад, за спину.

— Пора ложиться спать,— перебил Анисимов, боясь долгих объяснений, время от времени с Елизаветой Андреевной это случалось.— Нужно придерживаться обычаев окружающей среды, раз уж в ней выпало жить и переждать непогоду.

— Не забывай, пожалуйста, Родион, я учительница. Даже в самом отсталом селе знают, что учитель поздно ложится.— Елизавета Андреевна подошла к мужу и, положив руки ему на плечи, пыталась заглянуть в глаза.— Меня угнетает, Родион, твоя бесконечная ложь. Теперь я понимаю, ты просто обманул меня тогда... Клялся, что все кончено, забыто... Ты по-прежнему все ненавидишь, все, что нас окружает, ты даже скрыть этого не можешь порой! Как вот сейчас с Захаром. Продолжаешь надеяться, что-то делаешь... один, в темноте... Какая бессмыслица.

— С ума сошла! — Он осторожно отвел ее руки.—Не вижу, Лиза, надобности так волноваться.

— Бредем вслепую, в каком-то бесконечном тумане,— сказала она.— Мне было понятно, когда все решалось. Я гордилась тобой, твоей смелостью, неуступчивостью. Тогда еще неизвестно было, за кем пойдет Россия, но сейчас, сейчас... Одна партия, одна власть... один народ, Родион. Чего же ты хочешь?

Он быстро глянул на нее, тотчас отвернулся, борясь с собою; он любил ее по-прежнему, если не сильнее; порывисто подошел, взял ее ладони и сильно сжал в своих, в глазах у нее дрожали влажные искры.

— Это я виноват,— сказал он быстро, с трудом заставляя себя улыбаться.— Это я не настоял тогда, в восемнадцатом... упустить такую возможность. Я не знаю, как бы все было сейчас, но неужели два умных человека не приспособились бы, не смогли прижиться?.. Франция, Англия, Турция, боже мой, сколько на земле места, где можно было пересидеть, переждать...

— Молчи,— остановила его она, это была запретная

тема, и они старались не касаться ее.— Молчи, не надо. Это только моя вина, Родион, ты тут ни при чем. Я тебя не пустила. Остаться без родины, без России...

— Ну и как отблагодарила тебя за твое мученичество Россия? — зло сощурился на жену Анисимов.

— Родион, ты знаешь, я благодарности не жду, мне ее не надо,— бессильно опустила плечи Елизавета Андреевна.— Если бы ты мог смириться, быть просто спокойным, я бы ничего больше не просила от бога.

— Смириться и похоронить себя в этом дерьме, навозной куче? Никогда! Ты первая стала бы меня презирать, Лиза. Нет, Лиза, мы еще повоюем, Россия не погибла, нет! Только бы выжить, не сорваться. Ну же, Лиза, улыбнись. Вот так. От тебя многое зависит. Я тебя помню другую. Гордую, недосягаемую. Лиза, помнишь тот концерт Вертинского в шестнадцатом? — спросил Анисимов с просветлевшим взглядом.— Помнишь, я вырвался на десять суток из пекла, с передовой. Ты, тоненькая, в бархатном платье, в кружевной пелеринке, кончила Бестужевские курсы... боже мой, мне хотелось умереть, так я был счастлив. После вшей и глины окопов, после позора нашего отступления — вдруг ты, с алмазным крестиком, точно ангел. И Вертинский на сцене в костюме Пьеро, такой нереальный, отрешенный, публика, я помню, бесновалась... Так странно было видеть эти выдуманные страсти после фронта и окопов. Как я тебя любил, ревновал даже к Вертинскому, хотя я не раз и замечал в твоих глазах иронию. Ведь я знаю, что ты не принимала его всерьез...

— Молчи, Родион, молчи.— Елизавета Андреевна прижала крупную голову мужа к груди.— Не может быть, чтобы все было кончено для нас, ведь мы еще не жили... Бог услышит нас, нужно быть милосердным... Злобой и кровью ничего не переменишь, нет. Уже пытались. Нужно что-то другое... а что, я не знаю, не умею тебя научить.

— Ты только не мешай мне, Лиза,— сказал Анисимов тихо, пересаживаясь на деревянный крашеный диванчик.— Что толку теперь терзаться? В одном ты не права, нельзя совершенно замуроваться и ждать смерти. Нельзя, Лиза, считать борьбу конченой, надо выжить, Лиза, сейчас единственное — выжить. Партия у них одна, да люди в ней разные. Все одинаково думать не могут. Ха-ха! Страной управляет чернь... а те, кому

это больше всего подходило, по рождению, воспитанию, разум и сила нации, вынуждены долбить в Сибири руду, копать золото, спасаться по заграницам, вот так, как мы с тобой, отсиживаться по тараканьим щелям. Эксперимент этот и через сто лет будет выходить России боком. Сейчас главное выжить, выжить, выжить...

— А когда же жить, Родион? — спросила Елизавета Андреевна, и в ее голосе Анисимову послышалась горькая насмешка.

— Это не я переменился,— сказал он с обидой,— это ты, Лиза, сама того не замечая, переменилась неузнаваемо. Как ты смотрела на этого дикаря Захара Дерюгина... Тебя тянет к нему.

— Ужасно! — засмеялась она невесело.— Даже в ревность способен еще играть, Родион, не ожидала. А не кажется ли тебе, что ты этому Захару Дерюгину просто завидуешь? Он-то живет, а мы с тобой только усами из щели шевелим да вздрагиваем от каждого шороха.

— Отчего же ты тогда со мной, не уходишь? — спросил Анисимов, наливая в рюмку водки.— Я тебе кажусь фальшивым, да, я сам чувствую... Для меня нет другой жизни. За границу бежать поздно, граница на замке, как утверждают господа-товарищи.— Он выпил водку и, не закусывая, стал закуривать.— А ты — другое дело. Я тебя не держу. Иди, двери открыты, ты еще достаточно молода, привлекательна, иди.

— Побойся бога, Родион, как тебе не надоело об одном и том же,— отмахнулась она.— Ты ли это? Опускаешься, пьешь в одиночку. Вот тебе еще одно... подожди, подожди, отвечу, скажу тебе, как думаю. Никакой ты не герой, и я не героиня. Сами себя обманываем — обыкновенные испуганные обыватели, хотели сытой жизни, не получилось, прикарманили чужие имена, забились в щель поглубже и живем. Прикрываемся громкими фразами и рады, что живем, уцелели в этой неразберихе. Нас не тронь, мы никого не тронем, хотя в тебе и погуливают прежние ветерки. Вот как сегодня с Захаром Дерюгиным...

Анисимов рассмеялся, перебивая ее, смех был искренним и веселым.

— Вполне вероятно, многое из твоих слов правда, но неужели ты всерьез думаешь, что я так низко пал? — спросил он, наливая еще водки.— Конечно, выхожу в одиночку на большую дорогу и проламываю черепа...

Искренне говорю: не знаю, кто ему башку прошиб. Это же грубо, я еще не опустился так.

Он подошел к ней и сел рядом, держа рюмку на отлете, чтобы водка не плеснулась.

— Лиза, а если нам придется уехать куда-нибудь на новое место? Увидеть Сибирь или Дальний Восток? И самое трудное решается просто. Пожалуй, ты права, мы связаны крепче, чем я думал, проросли друг в друга, и разъединить уже невозможно. Только разрубить с кровью. Я, кажется, начинаю уставать, Лиза...

— Не трогай Захара,— неожиданно четко и враждебно сказала она и увидела перед собой его белое лицо и сжатые кулаки.— Я тебя очень прошу, не трогай Захара, иначе...

— Договаривай...

— Я тебе все сказала, Родион. Твое основное оружие не пуля и не нож из-за угла, твое оружие без улик — растлеваешь незаметно... Паутина слов, и не выберешься, в капкане. Уж я это по себе знаю. Дерюгина не тронь, считай, что это моя прихоть, каприз, как хочешь... Пусть идет своим путем этот большой ребенок. Если ты в этом деле завязнешь, нам конец. Я боюсь, Родион... Один неверный, неосторожный шаг, и все может открыться. Боюсь, смертельно боюсь этого, Родион. Я начала привыкать, кто знает, так ли мы уж правы в своей ненависти. Как видишь, складываются какие-то новые формы, страна живет...

— Ребенок,— зло засмеялся, обрывая жену, Анисимов.— Ребенок, в свою очередь строгающий детей одного за другим, дело, оказывается, в навозе. Прости, тебя интересуют именно эти его способности?

— По́шло, Родион, ты, как всегда, уходишь от главного,— Елизавета Андреевна встала, зазвенела посудой, убирая ее со стола.— Ты можешь сколько угодно фиглярствовать, если тебе не противно, но я знаю, у каждого свой крест. Я должна быть рядом, должна помочь тебе в чем-то очень главном... Ты этого все равно не поймешь. Но пока я рядом, с тобой не случится плохого. Действительно, уже пора спать, Родион, поздно, мне завтра рано вставать.

Оставшись один, Анисимов свернул козью ножку, прикурил и, погасив лампу, открыл окно. В комнату поползла весенняя тяжелая сырость; стояла тишина, и только одиноко поскрипывал колодезный журавль неподалеку. Что ж, жена, может быть, и права, может,

она поставлена провидением защищать его от чего-то плохого, страшного, чему названия нет, подумал Анисимов, и, вспоминая ее последние слова, он сильно потер подбородок. С Захаром Дерюгиным сейчас он выбрал правильную линию — просчет допущен гораздо раньше, во время раскулачивания, в деле с семьей Поливанова; вот когда нужно было схватить его за руку и, не ожидая иного случая, сбить с ног, окончательно забрать в свои руки, а он, в расчете на какие-то далеко идущие планы, промолчал, сделал благопристойный вид, внешне даже встал на защиту Дерюгина. Хотя, впрочем, к этому всегда можно вернуться, здесь арифметика несложная; и очень хорошо, что у Захара с Поливановой дело зашло так далеко, только потому семья Поливанова и оказалась вовлечена в самый центр событий. Хорошо, что он тогда промолчал, взял сторону Захара и, хотя отлично знал, что Захар здесь ни при чем, даже намекнул ему, что тот прав, сохраняя для колхоза несколько работящих мужиков, кроме того, он помнил всегда, что секретарь райкома Брюханов и Захар Дерюгин вместе воевали в гражданскую, следовательно, были друзьями. Это серьезный довод.

Анисимов затушил окурок, прикрыл окно и стал раздеваться; спал он в маленькой комнате, отдельно, и привык к своей узкой солдатской кровати с удобной, туго натянутой сеткой; налив холодной воды в стакан и поставив рядом с изголовьем, он лег. Пожалуй, он переоценил свою выдержку, жить под чужой личиной непросто, ну что ж, впредь он будет осторожнее, нервы начинают сдавать. Да и есть от чего, весь ход дела в послереволюционной России никак не оправдывал его расчетов и ожиданий, все слишком затянулось, каждый раз он надеялся и каждый раз после нового разгрома очередного оппозиционного крыла впадал в отчаяние, приходилось напрягать всю свою волю и ловкость, чтобы как-то заново пристроиться и не быть совершенно уж отброшенным в сторону. Анисимов отпил воды, поправил простыню. Пять лет работы на Путиловском прикрыли его броневым щитом; но если быть совершенно честным, то нужно сказать, что друзья очень кстати и, главное, вовремя тогда направили его на работу в окружком; это был как раз тот момент, когда нужно было затеряться где-то в глубинах, подальше от центра, и это было единственно правильное решение. Из всей своей запутанной одиссеи он вынес ценную истину: поможет

выстоять только одно — терпение. Оправдывая себя, он подумал, что иногда необходима и разрядка, вроде сегодняшней, иначе можно вообще утратить к жизни всякий вкус и перестать считать себя личностью. Да и незачем недооценивать такого противника, как Захар Дерюгин; они ведь всерьез преисполнены уважения к собственной значимости, они теперь выдвинуты историей руководить и строить новое общество. Колхозы, пятилетки, осоавиахимы — все равны, как в муравейнике...

Пардон, запнулся он, нащупывая и сжимая пальцами настывшие железные поперечины кровати. Даже в муравейнике функции распределены, сама природа не терпит равенства, эволюция есть не что иное, как естественный отбор. Пусть другие смиряются, он же твердо уверен, что это всего лишь безобразный нарост на пути человечества. Пусть он не доживет до того времени, когда этот эксперимент рухнет, потонет в небывалой крови, в хаосе и ожесточении, но он знает, что так будет, потому что в природе нет и не может быть никакого равенства. Позиция Захара в отношении Поливановых — еще одно подтверждение незыблемости порядка вещей, где о равенстве всех и каждого не может быть и речи. Он не станет трогать сейчас Захара, у того тоже должно хватить инстинкта самосохранения; они проживут рядом долго, их совместный путь только начинается. Еще не все потеряно, при умелом обращении Захар может пригодиться, стать необходимым материалом, а в случае, если взбрыкнет,— под рукой любопытные факты, вполне хватит на добрую комиссию, и не на одну, сам он будет всего лишь сторонним свидетелем, сокрушенно разведет руками, что ж, проглядел, с каждым может случиться.

Анисимов поморщился; он уже до того вжился в свою личину, что порой и сам затруднялся определить, где кончается он прежний и начинается новый, теперешний; он даже испытывал порою какое-то горькое наслаждение от этого своего состояния двойственности.

6

Летом дни долгие, как говорят в народе, от утренней зари до вечерней на хорошем коне можно полсвета обскакать, но зато и от работы некогда костям отойти. В Густищах не успели отсеяться, как уже зазвенели

косы в лугах; бабы и девки достали свои самые красивые наряды; в покос парни, собираясь по осени играть свадьбы, еще раз могут присмотреться и оценить свой выбор; молчаливо соперничая, выхваляясь одна перед другой статью и ловкостью, идут по лугам бабы и девки в косых рядах, вороша и подгребая сено, складывая его в копны; дав им постоять недельку, еще более просохнуть и слежаться сену, копны ловко цепляют подростки на лошадях веревками и стягивают к расчатым стогам; на стоговании все работают споро, не жалея себя. Погода в сенокос обманчивая, с утра вовсю печет солнце, а к полудню, глядишь, ярче засинеет небо с какой-нибудь стороны, в нагретый, густой от спелых запахов воздух над лугами войдет первое, слабое беспокойство; вздрогнут кусты и деревья, и даже не вздрогнут, а как бы встревожатся на одно мгновение, шевельнутся листья и опять повиснут, расслабленные долгим зноем; мужики, выкладывая стог, потные и с головы до ног обсыпанные по голому телу колючей сенной трухой, немедленно, как по неслышной команде, повернутся в ту сторону, откуда почувствуется прохлада, подставляя короткой свежести разгоряченные работой лица, но уже в следующую минуту начинается еще более скорая работа, сверху со стогов покрикивают на подавальщиков и возчиков, торопят.

В ярко-синей стороне неба начинает проступать прочернь, и слабый гул распространяется по земле, уже ясно обрисовывается огромная иссиня-зелено-черная туча, с белесым толстым валом впереди, непрерывно меняющим очертания; зной становится нестерпимым, жгучим, взмокшие лошади начинают пахнуть особенно остро; по земле, по скошенным лугам, по полям колосящейся мягкой озими непрерывно идет ветерок: тихий и душный, почти горчащий вначале, он все крепнет и крепнет, свежеет; стога начинают вершить независимо от того, насколько они выложены. Уже вовсю гремит гром, и туча разрастается вполнеба; сверкает особо рогатая, от середины неба до самого края земли, синевато-зловещая молния, и раздается такой сверхъестественный обвальный треск, что люди глохнут, бабы и девки, приседая, прикрывают головы и визжат. Наконец с шумным азартным шлепком падает первая капля, и тотчас рушится косая, с веселой пронзительной свежестью, еще светлая стена дождя; луга пустеют, все бросаются к шалашам, под кусты, под стога и копны;

туча уже закрыла солнце, тень от нее распространилась по земле, все помрачнело, лишь бушует ветер, рвет дождь в клочья и непрерывно грохочет гром. Ветер, словно по команде, стихает, и на землю падает крупный, спокойный, густой ливень, листья на деревьях становятся упругими и сильными, травы поднимаются. Гроза проходит так же быстро, как и возникает; на земле остаются солнечные лужи, и люди отдыхают, ждут, пока просохнет земля и сено.

В один из таких дней гроза надвинулась под самый вечер и как-то совершенно неожиданно, без ветра; было часов пять, и Захар Дерюгин направился к расчатому, возов на двести, большому стогу; под сапогами приятно похрустывала оставшаяся от буйной и сочной травы короткая и ровная щетина; уже низкое солнце палило прямо в лицо, и Захар шел, весело прищурившись; работа спорилась, и он уже знал, что сена хватит на зиму с большим избытком. Он остановился, проверяя в уме свои предположения. До него донеслись тревожные крики, он оглянулся и увидел у самого горизонта невероятно быстро, на глазах пухнувшее и наливавшееся тяжелой синью облачко. Захар быстро окинул взглядом луг; приближение грозы подстегнуло всех, ребята, подтаскивавшие копны, гнали лошадей бегом, мужики на стогах везде начинали вершить, и бабы веселыми криками по всему лугу подгоняли друг друга. Духота усиливалась с минуты на минуту, хотя солнце стояло уже низко; взмокшее под одеждой тело словно разогревалось изнутри, и кожа зудела. Захар напрасно пытался уловить хоть малейшее движение воздуха; все обвисло и замерло в неподвижности, и только хорошо было видно иссиня-черное теперь облако, расходившееся по горизонту в стороне, противоположной солнцу, и воздух от этого противостояния на всем пространстве приобретал какой-то тугой блеск; в немереных высотах шла своя борьба и свое движение. Захар помедлил, стянул с потного тела рубаху и затопал к стогу.

— Давай, давай, председатель! — закричали ему бабы, метавшие сено вверх.— Пособляй, буря большая валит!

Взяв вилы у одной из них, у черноволосой Варечки, Захар стал бросать сено на помост метрах в четырех от земли, откуда его перекидывали еще выше, на самый стог; уже с первых же размашистых усилий Захар вошел во вкус привычной работы и только нутряно,

шумно ахал, поднимая на вилах каждый раз чуть ли не целую копну, а когда сено кончилось и наступил короткий перерыв, он сгреб подвернувшуюся Варечку и, смеясь, подкинул ее на помост, утопая ладонями в ее сдобных бедрах; раскрасневшись, Варечка весело отбивалась от схвативших ее там мужиков.

— Вот сатана! Вот сатана! — кричала Варечка, с визгом съезжая по сену вниз, придерживая заголившуюся юбку и стараясь натянуть ее на круглые колени.— А еще говорили, болеет председатель! Да такому хворому только попадись в руки! — У Варечки глаза блестели от удовольствия; Захар, смеясь, глядел на нее, пока она оправляла одежду и отряхивалась от сенной трухи.

— Гляди, Варвара Кузьминична, не заигрывай, Володька узнает,— сказал Захар, хотя хорошо знал, что Володька Рыжий, муж Варечки, стоит на этом же стогу; стряхивая с головы сенную труху, Захар взъерошил короткие, еще не отросшие после больницы волосы, потрогал шрам.— Давай, давай, бабоньки, смотри, прет, вражина!

В это время подтащили еще копны, и Захар стал бросать сено на помост, забыв о Варечке; сильный, неожиданный порыв ветра сорвал у него с вил полкопны сена, понес по лугу, и тотчас послышался первый, еще далекий, но уже грозный раскат грома. Захар огляделся. Облако давно превратилось в тучу, закрывшую добрую половину неба; солнце у другого горизонта светило ясно и ровно, и от этого туча казалась особенно зловещей и буйной. Уже хорошо различался катившийся впереди нее толстый неровный вал облаков, и уже хорошо было видно, какие немереные силы заложены в них; на глазах облака свивались в тугие жгуты, клубились, то и дело пронизываемые бледными, длинными молниями.

Захар закричал на подтаскивавших копны парней, торопя их, стог рос на глазах, но уже ветер со свежими запахами близкого дождя потянул из-под тучи и больше не прекращался, подавать сено стало труднее, ветер срывал его с вил, разносил по лугу, в одну минуту потемневшему: край тучи накатился на солнце. Гром теперь гремел сильно и часто, где-то совсем рядом, но уже никто не обращал на это внимания; Захар, напрягаясь, играя всеми мускулами, метал и метал сено вверх, не замечая времени, горячий пот полз по телу, и кони,

несмотря на предгрозовую свежесть и прохладу, тоже взмокли. Наконец сверху закричали, что хватит сена, и потребовали подать решеток укрепить стог, и минут через пятнадцать все было закончено; по веревке, перекинутой через стог, спустился последним Микита Бобок и, оглядывая Захара, одобрительно пощелкал языком.

— Хорош, хорош работничек! — сказал он, и Захар засмеялся, увидев его метнувшееся вниз изумленно-землистое лицо; оглушительно рассыпавшийся удар грома растекся по земле, и тотчас весело и неотвратимо надвинулась стена дождя; зажмурившись, Захар подставил потокам воды голову. Кто-то позвал его, и он, помедлив, наслаждаясь свежестью чистого, омытого тела, забрался под стог с наветренной стороны, где укрылись от дождя человек двадцать; лошади, тоже освобожденные дождем от работы и слепней, шумно встряхиваясь время от времени, жадно щипали траву; их почти не было видно в потоках дождя.

Когда гроза кончилась, Захару не захотелось ехать со всеми вместе в село, и он возвращался один, довольный; стог закончили вовремя, и Захар шел медленно (свою разъездную лошадь он отдал для работы в лугах), с той приятной усталостью, когда и мыслей-то никаких нет, а просто хорошо вот так пройтись после удачного, нелегкого дня по сырым, богатым полям. Он отвык от тяжелой мужицкой работы, и сейчас ломило в плечах и ноги были слабыми; споткнувшись на ровном месте, Захар подумал, что еще не совсем окреп после больницы. Земля уже успела впитать воду, и чувствовалось слабое теплое испарение; Захар нагнулся, захватил горсть земли, помял ее, почти с наслаждением ощущая ее спокойную, уверенную податливость, и пошел дальше; он заметил сейчас, что улыбается без всякой причины, невольно свел брови, разжав пальцы, высыпал землю. Впервые с тех пор, как он стал председателем колхоза, его поразила и даже испугала неожиданная мысль именно о себе, о том своем новом положении, когда он, молодой еще мужик, должен распоряжаться жизнью большого села, и от него во многом зависели теперь порядок и слаженность жизни стольких людей.

Такие мысли пришли к нему впервые, и он стал думать, как же это случилось, и вспомнил разговор с Брюхановым перед самой организацией колхоза; в от-

вет на его отнекивания и неуверенность Брюханов с непривычной жесткостью сказал, что есть партия, его, Захара Дерюгина, партия (Захар вспомнил сейчас даже интонацию Брюханова, его пристальный затемневший взгляд), и что именно бывшим красным фронтовикам необходимо встать во главе колхозов, и нет такого права у членов партии отказываться и бояться. Захар еще вспомнил, как Брюханов через месяц прислал ему несколько связок книг с коротким указанием читать и набираться разума, и добродушно засмеялся. Читать приходилось только ночами, день уходил на дела, нужно было и в конторе посидеть, и в бригады наведаться, а по вечерам обступала собственная семья, тоже святым духом не проживешь — там дрова кончились, там хлев разваливался, детишки тоже не желали упускать свое. Но книга, он чувствовал, уже начинала затягивать его; дождавшись, когда все улягутся и в избе наступит покой, он подолгу сидел, привернув фитиль лампы и перечитывая многие страницы по нескольку раз подряд. Брюханов прислал ему в числе других книг громоздкое, с золотым тиснением издание «Этюдов о природе человека» Мечникова, и Захар долго не мог оторваться от этой книги, именно она положила начало изумлению Захара перед таинством жизни; читая о человеческом организме, о сложном взаимодействии его частей, о его инстинктах и отклонениях, о продолжении рода как главной обязанности всего живого, о смерти как естественном завершении любой жизни, он поражался, до чего все просто и объяснимо. Он теперь ловил себя на том, что пристально рассматривает кого-нибудь из детей, жену или мать уже с той ступеньки знания, на которую сам только что взобрался не без труда, а они оставались прежними и ни о чем не догадывались. Прочитанное схватывалось крепко и откладывалось куда-то глубоко на дно, про запас.

Захар Дерюгин уродился не в отца Тараса, мужика великой физической силы (тот мог поднять зубами с пола куль соли в десять пудов и одним движением головы, держа руки за спиной, легко перекинуть его через себя), но недалекого и неграмотного, считавшего гривенники по пальцам. И не в деда Василия уродился Захар, говаривали на селе, видя одинокий огонь в избе Захара в ночную пору; тот был хоть и хитер, и промышлял, случалось, в извозе, тоже ни читать, ни писать не

умел, правда, горазд был рассказывать о чужих городах, о встреченных в пути людях.

Подходя к своей избе, Захар еще издали увидел темные окна, значит, баба, намаявшись за день, уже легла и дети спят, а ужин, какой есть, стоит на столе, накрытый чистым рушником. Захар наведался во двор, послушал, как жует жвачку и шумно вздыхает корова в сарае, достал из условного места проволоку, согнутую в виде крючка, просунув ее в паз между бревнами, легко и привычно отодвинул щеколду, толкнул дверь в сени. Дверь в хату оказалась открытой, значит, мать не ложилась еще; достав спички, стараясь не шуметь, Захар зажег лампу. И жена, и дети спали за ситцевым выцветшим занавесом, разделявшим избу на две половины; он приподнял рушник на столе, увидел остывшую жареную картошку на щербатой с выгоревшими краями сковороде, большую глиняную кружку молока; взяв ведро воды и рушник и выйдя на улицу, стянул с себя пропотевшую рубаху, в темноте вымылся до пояса. По всей деревне слышались веселые голоса возвращавшихся с покоса людей, кое-где тревожно ревели недоеные коровы и брехали собаки; Захар вытерся, оделся и, вернувшись в хату, сразу сел к столу, пододвинул к себе захрясшую картошку и стал есть. Из-за занавески послышался плач не то Кольки, не то Егорушки, спавших вместе в люльке; жена что-то пробормотала, успокаивая, и все опять стихло; лишь бились, проснувшись от света, мухи в окне. Доедая картошку, Захар услышал оханье и движение на печке: показались сначала жилистые худые ноги матери, затем и вся она, в холщовой рубахе с длинными рукавами и в широкой домотканой юбке. Она слезла сначала на лежанку, затем на пол и, подойдя к столу, перекрестившись на темные лики икон, села на лавку.

— Говори уж сразу, мамаш,— тихо попросил Захар.— Чего не спишь?

— С вами поспишь,— также не в полный голос, поглядев на ситцевую занавеску, отозвалась бабка Авдотья с непонятным Захару осуждением и злостью.— Слыхал, ноне в обед Манька-то Поливанова родила парня, здоровый, фунтов на десять. Срам-то, господи,— сморщилась бабка Авдотья, стараясь заплакать, но не смогла, и оттого, сделавшись еще угрюмее, отвернулась.— Бога забыли, распутство в миру одно. Варечка-то Черная только перед тобой прямо с покоса заскочила,

как нюхом ей перенеслось. Ну до чего же, поет, стерва, на председателя нашего похож, две вылитых капли, носик, бровки. Ее выпроваживают, она за стенки цепляется, прямо вся оплывает от смаку, ох, ох, ты горюшко, горюшко...

Бабка Авдотья наконец и в самом деле заплакала от собственных слов, от жалости к себе за непутевого сына, и, сразу сделавшись меньше, угнувшись по-зверушечьи, утерлась жесткой, в черных трещинах ладонью, и Захар, еще продолжавший машинально жевать картошку и хлеб, отложил от себя вилку с деревянным черенком. Он ждал этого, и все-таки его охватило чувство полной беспомощности. Он давно, уже месяца три, не встречался с Маней; стесняясь своей полноты, она заказала ему не то что приходить, но и думать о ней, и сейчас первым его желанием было пойти, сказать о своей радости, просто увидеть ее; о младенце, как о чем-то живом, имеющем право на знимание, он пока не думал. Прикурив от лампы, он накинул на плечи пиджак.

— Пойду на улицу, покурю, а то не продохнешь тут потом.

— Гляди, идол, не вздумай к ней,— торопливо-испуганно зашептала мать.— Погоди, обувку найду, с тобой выйду.

— Ну что ты, мать,— некрасиво, страдальчески поморщился Захар, но она, не слушая его, вышла следом, в стоптанных опорках на босу ногу и в своем стареньком, с аккуратными заплатами на локтях пиджаке, перешедшем к ней от сына, села рядом с Захаром на завалинку; от неловкости перед нею, от ее осуждающего молчания он отодвинулся, вздохнул про себя.

— Гроза чуть не прихватила, насилу стог завершили, расчали мужики возов на двести,— сказал он.— Вот еще бы была морока растягивать, обратно сушить. Мамаш, а мамаш, а как Ефросинья? — неожиданно спросил Захар, назвав жену не «Фроськой», как обычно, а полным именем, словно вкладывая в это уважение и невольное почтение к жене за какое-то непонятное ее поведение, за очень уж непривычный характер.

— Золотая баба тебе, дураку, попалась,— сказала бабка Авдотья,— другая бы давно глаза тебе выпалила или мот на себя накинула. Тогда и гуляй с четырьмя ртами на горбу. Ты, кобель, набегал. А еще председателем тебя выбрали,— с горечью вспомнила она, потому что втайне очень гордилась должностью сына, хотя всем

подряд не уставала напоминать, что председательство одна обуза и беспокойство.— Вот теперь скажут, посмотришь, скажут. Кто тебя, такого, в начальстве держать станет?

— Сегодня на потолок спать пойду,— угрюмо уклонился от ответа Захар, думавший именно о том, что слышал от матери.— Ефросинью будить не хочу, ей и без того достается.

— Еще бы хотел!— с сердцем подхватила бабка Авдотья.— Варечка-то, змея подколодная, всюду успела, ты, говорит, Фрося, новость не слыхала?.. Выложила ей все как есть, и про нос да бровки.

— Ну, а Ефросинья?— через силу спросил Захар, стараясь поскорее освободиться от шепотка матери и остаться наедине с самим собой.

— Ефросинья, что ж Ефросинья, чуть тронулась в лице и смеется. Что ж, говорит, кума Варвара, похожих носов да глаз на белом свете много наберется, а рыжих и подавно, к Володьке своему обратись, при чем здесь мой Захар? Поверишь, Варечка, стерва, рот раскрыла, Ефросинья не стала ее слушать, на двор ушла. У меня, говорит, делов невпроворот, ты одна, кума, а у меня вон их четверо, некогда языком чесать. Мученица она, Фроська твоя.— Бабка Авдотья снова всхлипнула и умолкла.

Зябко запахнув на груди пиджак и придерживая его изнутри бортов, бабка Авдотья, переведя дух, хотела добавить, что теперь на люди не покажешься, будешь с заплеванными глазами ходить, но, покосившись на Захара, пожалела его и, вздохнув, промолчала.

— Видно, судьба у тебя такая, Захар,— сказала она с неожиданной мягкостью.— Всего не переговоришь, одно скажу. Я матка родная, я тебе и скажу. Беспутно идешь, Захар, такого у нас в роду и не слышно было. Засеешь поле дурным семенем, доброго колосу не жди. Поглядел бы ты на бабу свою, как Варечка ей новость принесла. Вроде и смеется, а в глазах что-то дергается, как ножиками ее в сердце колют.

— На потолке спать буду.— Захар притер окурок подошвой сапога и, ничего больше не говоря, прошел в сени, нащупал в темноте лестницу и, привычно поднявшись по ней вверх, сел у трубы на сухие, затрещавшие под ним листья, сдернул сапоги, разделся и лег, натянув на себя дерюжку. Пахло свежим сеном и еще сухой глиной; в застрехах слегка шевелился ветер;

Захар вытянулся и замер, прислушиваясь. Громко вздохнула внизу мать, запирая дверь; он слышал, как она в сердцах двинула щеколдой, затем скрипнула дверь в хату, и все стихло; он облегченно вздохнул. Почему-то ему все время мешало присутствие матери рядом, и теперь, по мере того как он успокаивался, все сильнее чувствовалась усталость, ломило ноги и спину. Шум ветра отодвинулся, и Захар понемногу задремал.

Он открыл глаза, словно от толчка, и приподнялся, и сразу послышался шум ветра в застрехах, какие-то неясные ночные звуки; время от времени шумно и тяжело вздыхала корова в хлеву; далеко в поле били перепела, и все это звонкое ночное звучание время от времени прерывалось сонной тишиной. Должно быть, луна выкатилась, подумал Захар, и в памяти всплыло назойливо ярко, как описывали имущество у Макашиных, нашли две тысячи яиц и литров сто самогонки в больших стеклянных бутылях, и Анисимов вызывал на другой день из города милицию на буйствующих мужиков. Фома Куделин с Володькой Рыжим отплясывали на морозе, выкрикивая всякую похабщину; у Володьки Рыжего огненно вспыхивала голова под низким косым солнцем. Три дня село пьяно гудело, мужики кричали громить кулацкие дворы. Он вспомнил озверевшего, заплывшего Фому Куделина с саженным колом в руках, прущего прямо на него, широко раскрытый темный провал ревущей глотки. «Все к... матери снесем! — тягуче выл Фома Куделин. — Отойди, председатель, наш престол пришел! Новое, свое построим!» — «Ну, бей, гад, — сказал он тогда Куделину, бледнея и стараясь не глядеть на занесенный дубовый кол. — Ты всю жизнь новой хаты не мог себе сделать, портки от кирпича до красноты натер! На себя погляди, зверь ты или человек? Еще шаг сделаешь, арестую и в город к такой матери угоню, покормишь клопов в каталажке. Стой!» Выхватив наган, он уперся дулом в грудь побледневшего Фомы, стал теснить его шаг за шагом; тот так и отходил с поднятым над головой колом, и только потом уже, когда Захар оторвался от него, хрястнул изо всех сил колом о землю и долго вполголоса матерился, а скрывшись за остальных, тоненько кричал, что вот пришла пора, с наганом к грудям лезут, а дальше и вовсе перестреляют людей, как собак.

Захар прислушался к шуршанию ветра в застрехах, от него на чердаке был уютный негромкий гул, глаза

опять начали слипаться; Захар словно проваливался в этот отвлекающий от мыслей гул, отрешался от себя, от своих забот, но заснуть никак не удавалось: расслабленный усталостью, подступавшей дремотой, он любил сейчас весь мир — и тихую, безответную Ефросинью, всю жизнь загруженную детьми, и самих детей, и мать, больше всего боявшуюся за него, и своего крестного. Даже об Анисимове, явно ему неприятном, он думал сейчас без прежней злобы; что-то непонятное стояло за этим смутным человеком, уж очень ловко он языком работает. Но больше всего Захар любил (хотя и боялся признаться себе в этом открыто) Маню; мучительных усилий стоило ему не вскочить и не пойти к Поливановым; он представлял сейчас, как она лежит с пересмягшими губами и думает о нем (что она думает о нем, он не сомневался), и хорошо бы просто побыть возле нее, ей сейчас не отец с матерью нужны рядом, а он.

Захар перевернулся лицом вниз, в подушку, затих; непонятно складывается жизнь, и ничего нельзя сразу придумать, словно окольцованный глухой стеной, он не видел выхода. В этой летней ночи легко было заплутаться, горевший где-то в кромешной тьме огонек, сколько ни спеши к нему, будет все так же далеко, Захар это хорошо знал по себе, еще по далекому детству, когда он, возвращаясь из Зежска с отцом с последней осенней ярмарки, заблудился в непролазных дорогах и, наконец, остановил измученную лошадь в холодном лесу; плача, он долго тряс храпящего отца за твердые громадные плечи. Потом он узнал, что нужно всего лишь отпустить вожжи и дать лошади полную волю.

7

Аленка обычно пробуждалась сразу после бабки Авдотьи, с которой они и спали рядом на печи, ногами в глухую стенку, головой на воздух. Рядом с Аленкой спал Иван, второй после Аленки по возрасту; Коля и Егорушка укладывались в подвешенную к потолку специально сделанную дядей Игнатом люльку; ночью мать в любой момент могла дотянуться до нее рукой. Аленка знала, что мать, не открывая глаз, могла взяться за перекладину люльки и покачивать ее, если слышала плач и хныканье просыпавшихся мальцов. Иван был уже большой, всего на год моложе самой Аленки, и ма-

ло интересовал ее; она и вообще его недолюбливала за драчливый, неспокойный норов и старалась поменьше оставаться рядом с ним, а вот младших братьев Аленка любила, и особенно курчавого толстощекого Егорушку; она с готовностью возилась с ними, таскала их на пузе, выгнувшись назад, с лавки к порогу и сажала на ржавое ведро без дужки; когда они чуть подросли, могла и накормить их мятой картошкой с молоком, уложить спать. Она любила играть с ними, строить из щепочек или песка домики, распределять их для жилья на всю семью, не забывая и себя с маленькими братьями. Аленка во всем старалась походить на мать, но больше всего она любила бабку Авдотью и отца; отца она и побаивалась, он был огромный и всегда с колючим лицом; в свободные минуты, случалось, он затаскивал ее на колени, и она вся сжималась от счастья, сидела, боясь шевельнуться; от отца пахло табаком, и у него были твердые, как лавка, ладони.

День начинался со вздохов и покашливания бабки Авдотьи; Аленка тотчас открывала глаза, отодвигалась от бабки Авдотьи к Ивану и переворачивалась навзничь; изба была полна таинственной тьмы и не менее таинственных шорохов и глухих звуков; в спертом от множества людей воздухе всегда главенствовало дыхание спящего отца, оно раздавалось редко и ясно и сразу успокаивало Аленку; значит, все хорошо и ничего страшного; так было всегда.

— Бабуш, а бабуш,— спрашивала Аленка шепотом,— чудо тебе сегодня снилось?

Зевая и крестясь, бабка Авдотья некоторое время читала молитвы, Аленке слышалось лишь хлопанье ее губ и свистящий сухой шепот, похожий на какие-то вздохи из тьмы, затем бабка опять крестилась и затихала.

— Снилось,— говорила она вполголоса неожиданно ясно.— Много всякого снилось, знать, конец близится-то, близится, внуча, сырой землей шибает.

Повизгивая от какого-то восторга, что ночь прошла окончательно, раз бабка Авдотья заговорила, Аленка прижималась к бабкиному боку, обхватывая ее рукой за морщинистую шею, и затихала, а бабка Авдотья, поглаживая детский локоток у себя на груди, рассказывала, и сны у нее были всегда разные и жуткие: то она блуждала где-то в непроходимых лесах и ей указывала дорогу назад колдовская птица зорянка, то слушала малино-

вые звоны в божьем подземном храме, с окнами и дверьми из литого золота, а то находила в поле зайчонка с перебитой лапой, начинала его лечить и кормить, а вокруг высоко в траве прыгала зайчиха-мать, плакала в человечий голос.

— Бабуш, бабуш,— замирая, просила Аленка,— только конец добрый, спаси ее господи, жутко-то как.

Бабка Авдотья с суровым просветлением перед детской доверчивостью и незащищенностью придумывала добрый конец, гладила Аленку по голове и вздыхала.

— Ну вот, а теперь пора и за печь браться, Ефросинью надо будить. Ох, горюшко-горе, надоела печка, руки за век отсушила.

— Тебе помочь хочу, бабуш,— предлагала Аленка, торопливо натягивая на себя одежду.— Картохи начистить?

— Да спи ты, спи, беспокойная,— говорила бабка Авдотья,— придет твое время, натопчешься. Вот вырастешь, да выскочишь замуж, да дети пойдут,— вздыхала бабка Авдотья.— А пока спросу нет, ты и не спеши. Вон на тот год хочет тебя батька в школы послать, будешь с книжками да тетрадками водиться, грамотной станешь, только барышни раньше так жили.

— Я не хочу грамотной. Я с тобой хочу,— тянула Аленка, шире раскрывая глаза, и в то же время представляла себя важно идущей по селу с холщовой сумкой сбоку через плечо.

— А что ж, грамотной плохо тебе?— спрашивала бабка Авдотья.

— А то хорошо?

— Дура ты, дура, Аленка,— ласково говорила бабка Авдотья.— Человек с грамотой, он, к примеру, сундук с деньгами. Сидит себе за столом, по бумаге и шмыгает, и шмыгает, не надо ему ни поле пахать, ни дрова возить, в лесу мерзнуть, животом надрываться. Другие ему привезут, еще и печь истопят. Небось еще и в город замуж возьмут, покупай себе в лавках все готовенькое. Мужик-то чистенький, сама чистенькая. А тут вон постой-ка у печки, попадется какой злыдень, и в шею будет заглядывать, и детей куча! Иди, иди, Аленка, в школы, грамоту одолевай. Что вот твоей матке за судьба, возится в грязи весь свой век.

Аленка любила бабку Авдотью и верила ей; бабка Авдотья каждое утро начинала молитвой, становясь на

колени перед иконами в переднем углу, поминая живых во здравие, мертвых за упокой; в это время ей нельзя было мешать, Аленка знала. У нее тоже была своя забота, она проверяла, все ли на месте в избе, заглядывала к младшим братьям, вот и на этот раз они лежали головами в разные стороны, и у Егорушки свесилась голая толстая нога; Аленка поправила ее, заботливо прикрыла братца дерюжкой и вернулась к бабке Авдотье, стала внимательно наблюдать, как она растапливает печь, почти всовываясь по пояс в устье, натужно кашляя, дует на огонек под дровами. Бабка была босая, и Аленка видела ее голые в толстых, узловатых жилах ноги и переживала: дрова за ночь не высохли и не разгорались. Аленке тоже захотелось что-нибудь делать, ее томило какое-то скрытое беспокойство в избе, и она стала вертеть головою во все стороны; кажется, все было на месте, и старая кошка Пегуля, с вечно обвисшим животом, терлась, закрывая хитрые глаза, о ее ноги.

— Подожи, Пегуля,— со взрослой строгостью в голосе сказала ей Аленка.— Мамка еще не вставала корову-то доить.

Оттолкнув тершуюся в ногах с нежным мурлыканьем кошку, она пошла искать какой-то неизвестный ей беспорядок в избе, опять заглянула к младшим братьям за занавеску и сразу поняла. Мать, сидя на кровати с неподвижно-сосредоточенным лицом, убирала волосы, а больше на кровати никого не было. Аленка даже подошла поближе, проверить, не ошиблась ли, затем вернулась к бабке Авдотье.

— Бабуш,— спросила она тихо, с неосознанной детской чуткостью опасаясь матери,— папаня где? Неужто успел уйти?

— На потолке он сегодня лег,— недовольно и не сразу отозвалась бабка Авдотья, оглядываясь на полог.— Вчера поздно вернулся, все уже спали, вот и полез на потолок.

— Бабуш, правда, папаню тот бандит мог совсем убить?— спросила Аленка опять.— Мне вчерась Колька Бобок говорил, чуть-чуть, говорит, промахнулся, зарыли бы твоего батьку на погосте.

— Убить любого можно,— сказала бабка Авдотья и подумала вслух: — Человек, он только с виду вечный, стукни половчее, и нету его.

— Бабуш, почему это мертвяков зарывают?

— Ну, куда же их девать? — изумилась бабка Авдотья, отходя от печи; дрова наконец занялись упорным, сильным огнем.— На то он и покойник, из земли взошел, в землю и возвернулся. Земля только все и скрывает, а так бы один срам был.

— Бабуш,— дрогнувшим голосом спросила Аленка,— и я тоже из земли?

— Отвяжись, неугомонная,— засмеялась бабка Авдотья.— Откуда ж ты, если все оттоль? Человек, хоть царь, хоть пастух,— одинаково из земли, а душа — божеское дело, душа в небо улетает, потому как душа человеку от бога, а тело от земли. В теле потому всякая грязь и собирается, его сатана к себе тянет.— Бабка Авдотья, замолчав, села чистить картошку.

Хотя начинался всего лишь пятый час, в окнах хорошо рассвело, и Аленка вышла на улицу, пробежалась с наслаждением по вымокшему в росе и посвежевшему за ночь мурогу, на середине улицы поглядела в оба конца, вот-вот должно было показаться солнце и пастухи погонят коров. В обязанности Аленки входило не пропустить пастухов, и она деловито к этому относилась и в дождь, и в грязь; она любила подгонять неповоротливую Белуху хворостинкой, но чтобы не больно, неосознанно подражая матери, она говорила ей: «Иди, иди, в воротах и накладешь блинов-то, потом откидывай их!»

Еще далеко, почти на краю села, услышала Аленка раскатистый возглас Михея-пастуха: «Эге-гей!», и гулко ударила плеть; в ту же минуту и солнце показалось; Аленка выбрала местечко, смотрела на солнце не мигая, пока оно не подпрыгнуло от края земли вверх; повисев над землей пустым тусклым кругом, разгораясь, солнце брызнуло теплом и светом во все пространство, слепя Аленке глаза.

— Ма! — закричала Аленка, крепко, с наслаждением зажмуриваясь.— Михей уже вышел, солнце заиграло. Скорее дои, выгонять пора.

8

На селе потихоньку поговаривали о Захаровом везении на сыновей, и в тот год, когда в сенокос появился в семье Поливановых горластый младенец, нареченный Ильей, появился вразрез со всяческими, веками уста-

новленными на селе правилами, и на следующий, пока он рос, учился ходить, говорить, постигал первые премудрости жизни, в Густищах собирали недюжинные урожаи. В хлебах отдачу считали в сам-двадцать и больше, во льну бабы утопали до плеч, вывороченная на межах картошка белела в добрый лапоть; одним словом, дела шли хорошо; Захара часто поминали в районе и в области. За первые годы председательства он заметно заматерел, вошел в полную мужскую силу, хотя внешне не изменился: все те же горячие, с легким раскосом глаза, та же копна спутанных буйных темных волос, под рубахой бугрились от излишка силы плечи: случай с Макашиным хоть и подбил его маленько, но и многое ему дал; он теперь стал зорче и осторожнее с людьми.

За последнее время в колхоз пришли почти поголовно все; из трехсот хозяйств в единоличниках оставалось восемнадцать, да и то троих из них колхозники сами не принимали. Жизнь для Захара Дерюгина вошла в ровный, не дающий остановиться и обдуматься поток. Работы всегда было много, и он любил ее; ему нравилось вскакивать затемно, бежать на конный двор на наряд, мотаться по большому хозяйству, везде успевая в самый нужный час, за что его уважали; у него не оставалось времени на себя, и все же он постоянно носил в себе глубоко запрятанную от других искру. То, что он вот уже в течение почти двух лет вынужден был крадучись ходить к Мане в ночную звериную темень, мешало ему жить в полную меру; тлеющая искорка порой ни с того ни с сего вспыхивала, обжигая душу до самых краев, и он старался реже показываться на людях, которые молчали лишь до первой оплошки с его стороны или по пословице: не пойман — не вор. Уж как-то Маня и сама предлагала развязать ему руки, предлагала, правда, с голодной тоской в глазах, и он, с вечным мужским эгоизмом и ненасытным тщеславием, ответил ей лишь коротким смешком; он не мог по-другому, не мог пересилить свою породу. Отступиться было ему не под силу, и если долго не удавалось побывать у Мани, он становился угрюмым, нелюдимым, начинал с подозрением присматриваться, не нашла ли она ему замену, и был снова готов на любое безрассудство. Где-то глубоко в нем дремала, просыпалась временами слепая, звериная сила, он и сам был ей не рад, ни книги, ни радио, протянутое в Густищи на диво и перешептывание бабам

(потом ничего, привыкли), ни районная колхозная школа, в которой Захар побывал в одну из этих зим, не могли освободить его от привязанности к Мане, и он стыдился себя лишь временами, уходя от нее крадучись, да и то недолго. Захар ни от рождения, ни по характеру не был тонкокож, наоборот, в жизни он был по-мужицки жесток, хотя с некоторыми вещами в себе сладить не мог, как не мог, к примеру, бросить ходить к Мане Поливановой, а злился больше на нее, чем на себя; она должна была оборвать решительнее, просто указать ему от ворот поворот, она же не делала этого, и когда он однажды спросил, она, помолчав, рассмеялась в темноте.

— Голый кукиш мне тогда в жизни останется,— призналась Маня, и Захар долго потом не мог забыть ее голоса, понимая горячую правду сказанных в сердцах слов. Ей, одинокой бабе, деваться было некуда, даже плохонького козырька уже не выпадет, кроме попреков да битья, замуж только по беде разве выскочит за какого-нибудь вдовца, и тот станет попрекать сыном. Захар чувствовал себя виноватым за судьбу Мани, он отвечал за нее, хотя знал, что изменить ничего не может, только вот так украдкой вырваться к ней на часок, на два; и тяжела была такая жизнь, особенно для нее.

Он теперь вполне сознательно много читал, читал где попало: дома, в конторе, в поле, если выпадала к тому минута, а таких минут набиралось скудно, и он оставался в конторе далеко за полночь; дома, в тесной избе, читать по ночам ему теперь никак нельзя было; рано ложились спать, и вся изба от порога до переднего кута была занята на ночь, дети росли и уже не умещались на старых местах. Ефросинья с матерью уже не раз и не два заводили разговор о новой избе, о пятистенке, и он сам видел, новая изба нужна, в тесной старой халупе просто уже и воздуха недоставало, особенно с наглухо заделанными окнами на зиму. И однако все это были только разговоры; затеять строиться у него не хватало времени, хотя никто в селе не стал бы корить за это; старая хата у него была чуть ли не хуже всех в Густищах. Анисимов, заметно округлившийся за последние год-полтора, встречаясь, всякий раз напоминал, что пора бы председателю большого, передового в районе и в области колхоза начать жить по-человечески, по-советски, а то ведь и неудобно перед всякими наезжими корреспондентами, и особенно перед начальством: раз

сам председатель в такой затрапезности живет, о каком движении вперед может идти речь. Захар слушал Анисимова и посмеивался, отговаривался, что не красна изба углами. Работали они согласно и были в районе на виду; Анисимов, конечно, не знал, что с тех самых пор, как у них с Захаром Дерюгиным вышла крутая стычка ночью, Захар нет-нет да и вспоминал то чувство опасности, которое возникло у него тогда и полностью уже не могло исчезнуть. То он вспомнит об этом в самое неподходящее время, среди работы, а иногда среди бессонной ночи, словно кто увесисто сунет в бок хороший тычок.

Не шел из головы и тот, вроде случайный, разговор с Анисимовым; да, в деле с Макашиным не обошлось без своих, без густищинцев, а выяснить так ничего и не удалось. Почему же он сам тогда не поехал в район, не потребовал от того же Брюханова прислать более опытного следователя? Опять он побоялся стороннего взгляда, пересудов о них с Маней, которые могли докатиться до следователя; вот этого ты испугался, говорил Захар самому себе, а теперь висит это гирей на вороте, тянет в омут. Вовремя не нашлось рядом умного человека, он тогда обиделся на Анисимова, хотя, если разобраться, что тот мог присоветовать? Именно с той поры и начался у них с Анисимовым негласный раздор; вроде и все в порядке, а друг друга чуждаются, все кажется, что Родион ждет удобного момента сунуть подножку, и особенно это ощущение враждебности со стороны Анисимова усилилось после довольно откровенного разговора с месяц назад, когда тот, уже без околичностей, заявил, что Захар должен прекратить всякие отношения с Маней, что так дальше продолжаться не может, и он, Захар, в ответ на это после недолгого молчания грубо обматерил Анисимова, посоветовал ему не лезть в чужое дело и хлопнул дверью. Чуть поостыв, он понял, что Анисимов, пожалуй, впервые откровенно показал ему когти и что это не случайно; теперь он старался поменьше встречаться с Анисимовым; по характеру своему открытый и жизнелюбивый, привыкший в дурном и хорошем идти до конца, он тяготился чувством своей вины и запутанностью всего и который уж раз намечал себе точный срок ехать к Брюханову и откровенно поговорить, но всякий раз откладывал; а потом Брюханов и сам уехал учиться в Москву и появлялся в районе лишь летом на короткое время, когда работы было невпроворот. Захар так и не вырвался к Брюхано-

ву, хотя тот давно уже прошел свои курсы и, вернувшись назад, опять начальствовал в Зежске. В отношениях с Анисимовым у Захара установилась определенная граница, и ее старался не перешагивать ни тот, ни другой; и однако Захар непрерывно, словно кожей, чувствовал настороженное, пристальное внимание Анисимова. Он был зачем-то необходим Анисимову именно таким вот, в душевной неустроенности, раздерганности, но все это были лишь его догадки и предположения; на деле же Анисимов, по общему мнению, жил с Захаром, как говорится, в мире и согласии, он не отвязался от него, пока не настоял на своем и Захар не дал ему согласия строить новую избу; Анисимов тотчас выписал ему лес, сам принес нужные бумаги и, выкладывая их на стол перед Захаром, весело сказал:

— Ставь магарыч, Захар.— Анисимов подмигнул Мартьяновичу; в его словах Захару уже с застарелой болезненностью почудился иной смысл; ну вот, видишь, вот и здесь я тебя припер.

— Не ко времени затея,— хмуро пробормотал Захар, и Анисимов тотчас словно еще больше обрадовался, всем своим видом показывая, что не принимает всерьез недовольства Захара; он и в самом деле не верил ему. «Ловко, ловко научился мужик свое нутро скрывать,— думал он, похаживая по тесной конторке перед председательским столом, делал вид, что слушает доводы Захара.— Видите ли, *о себе*, *о своем* он уже и не думает, он *о других* печется, ему колхозный фунт дороже собственного благополучия. Ловок мужик, ишь легенду о себе в селе и районе сложил; так меня ведь не проведешь, я тебя насквозь вижу, ты меня потому и ненавидишь, что я в тебе самую сокровенную сущность вижу, заставляю тебя самим собою стать, вот в чем причина нашей с тобой скрытой неприязни. Игра, разумеется, мелкая, но она нужна, не дает совершенно закиснуть».

Обрывая Захара, Анисимов резко остановился перед его столом:

— Жить в твоей развалюхе дальше можно? Нельзя. Так чего ты блаженненького из себя строишь?

Заметив набежавшую на лицо Захара тень, Анисимов понизил голос, свел брови.

— Послушай, чудак человек,— сказал он,— чего ты упираешься? Ты же на виду, не за себя одного отвечаешь, это уже не твое только дело — наш общий, народный интерес.

— Брось, Родион, не у меня одного теснотища такая. Возьми Бобка, Журавлевых шестеро, один на одном сидят.

— Ты — Захар Тарасович Дерюгин, председатель видного в районе колхоза, к тебе люди ездят. Здесь совсем иное, до Журавлевых в свой час тоже очередь дойдет...

Анисимов внимательно следил за лицом Захара, он не хотел новых осложнений, можно и переиграть. Он сухо распрощался и вышел из конторы, но и в сельсовете, и дома он не мог отделаться от мыслей о Захаре, и он еще и еще раз старался проследить размашистые, не поддающиеся никакой логике поступки Захара, хотя бы его непрекращающуюся связь с дочкой Поливанова, ведь все об этом на селе знали и говорили. Можно было понять и объяснить первый срыв, мужик здоровый, молодой, девка подоспела, ну и сорвался, этого Анисимов не осуждал. Но Захар, имея семью, продолжает таскаться к дочке Поливанова, это уже чересчур, перехлестывает допустимые нормы, в какую-то мужицкую любовь Анисимов не верил.

В последнее время привычка Захара слушать и усмехаться про себя, не отводя взгляда, начала всерьез бесить Анисимова, и он не раз перебирал свои отношения с Захаром. За исключением разговора, когда бежал Макашин, он нигде не переступил дозволенной границы, да и тот разговор, хоть и вышел несколько резковатым, не переходил границ дозволенного. Нужно честно признаться, из его планов с Захаром ничего не вышло, не на тот характер нарвался, не тот человеческий материал. Анисимов морщил лоб, припоминая, что его в самом начале привлекло в Захаре, что он так горячо поддержал его на пост председателя колхоза? Казался податливым куском глины, горячей мужской плоти, что хочешь лепи, дикость первозданная, двух слов не свяжет, к каждому по имени-отчеству, задушевно, снизу вверх, понимаем, мол, наше невежество, хоть и выбирают нас и назначают, а руководить-то все равно вам, там, вверху, а нам здесь подчиняться, по-другому и быть не может.

Впрочем, поддерживай или не поддерживай он тогда Захара, все равно тот был бы председателем; так хотел Брюханов, и если честно, то он, Анисимов, боролся в Захаре именно с ним, с Брюхановым. Сколько раз приходилось и приходится рассыпаться перед ним, то-

же мудрец, строит из себя стратега новой жизни, фамилия одна чего стоит — Брюханов!

Анисимов стиснул зубы, всех бы вас одной петлей! Что ж, он сейчас маленький человек, многого не может, но Захару из этой паутины не выбраться, увяз.

Анисимов скользнул взглядом по фигуре жены, склонившейся над тетрадками; близился вечер, пора было зажигать лампу. Анисимов шевельнулся и остался лежать; в последнее время и жена отходит от него все дальше, и это, пожалуй, основная причина его неровного настроения. Лиза умеет приспособиться к любой обстановке, у женщин сверхъестественно развит инстинкт самосохранения, они лучше защищены. Видите ли, она устала, ей надоело мотаться по свету и она здесь привыкла, видите ли, ее ценят здесь, она готова осесть даже в этой навозной куче. А не потому ли ей хорошо, что этот мужик Захар Дерюгин рядом?

— Отдохни, Лиза,— сказал он ей неожиданно мягко и, почувствовав ее мгновенную настороженность, не удержался.— Сегодня опять с Дерюгиным... Не хочет строиться, уперся, как бык, а мне красней перед властями.

— Оставь ты Дерюгина в покое, Родион. Пусть живет, как хочет,— как-то уж слишком поспешно, словно того и ждала, повернулась к нему Елизавета Андреевна, но он не поверил ни ее искренности, ни страдальческому выражению лица. Лежал и слушал. Неожиданно она стала с наболевшей горечью говорить о том, что мучило и его, он даже растерялся. Оказывается, у нее была своя теория их жизни, подумал он, она все разложила по полочкам и только ждала его согласия. Оказывается, это он, Анисимов, должен оставить раз и навсегда Захара Дерюгина, подчиниться обстоятельствам (что делать, если они опоздали родиться!) и жить наконец по-человечески, не вскакивая судорожно навстречу каждому шороху.

— Никогда!— По давней привычке сдерживая себя, не выдавая своей ярости, Анисимов понизил голос до шепота.— Я все равно переработаю этот малосъедобный кусок, все равно сломлю его, слышишь ты!— Он рывком вскочил на ноги, заметался перед нею.— Это мое, слышишь? Раз и навсегда запомни — мое!

Лицо у него мучительно передернулось, и Елизавета Андреевна резко, вместе со стулом, отодвинулась.

— По какой это, прости, шкале он, кусок дерьма, должен быть вверху! Неделю назад выучил счет по пальцам! Какое у него право? — спрашивал, кружась по комнате и временами останавливаясь перед женой, Анисимов.— Какая такая первородная основа? Сама знаешь, чушь, никакой первородной основы нет, есть сила! Сила характера, ума, интеллекта, просто сила мускулов!

— И сила обстоятельств, Родион! — не выдержала Елизавета Андреевна, стараясь говорить спокойно.— Научись наконец держать себя в руках. Бывают же обстоятельства, в которых сопротивление бессмысленно, бесполезно!

— Да,— устало согласился Анисимов,— ты права. Иногда нужно и отступить. Но не с Дерюгиным. Ему только дай почувствовать слабину — скрутит в бараний рог и подомнет. У нас с ним свои счеты, свои путы, хочешь не хочешь, а здесь — кто кого.

Неприятный разговор сам собою затих, но каждый остался при своем, это Анисимов хорошо чувствовал. Он достал спички, зажег лампу, задернул занавески на окнах. «Отдаляемся, отгораживаемся друг от друга, и любая попытка к сближению ни к чему не приводит»,— безнадежно подумала Елизавета Андреевна, придвигая к себе тетрадки и словно отделяя себя этим от мужа. Анисимов искоса посмотрел на нее; в конце концов, у каждого своя навязчивая идея, и пусть она думает, что способствует процветанию человечества, пусть возится со своими тетрадками.

Анисимов вышел на кухню, растопил плиту и долго сидел перед огнем; он, разумеется, понимал правоту жены, оставь он Захара в покое, ему самому стало бы проще и покойнее, но он не мог этого сделать, это было бы равносильно капитуляции перед самим собой. Он знал крупную борьбу, и, хотя уже больше десяти лет длилось удушающее затишье, он полагал, что это всего лишь передышка, остановка в пути и нельзя дать себе окостенеть, окончательно смириться, нужна хотя бы слабая ниточка в руках, но живая, живая; Лиза не могла понять, что судьбой определено именно Захару Дерюгину стать такой путеводной нитью, и он, Анисимов, никому не позволит ее обрубить, она не дает затихнуть инстинктам жизни, а это главное.

Сухие березовые поленья горели дружно и весело. «Вот так и жизнь человеческая сгорает,— думал Аниси-

мов, не отрываясь от огня,— не успеешь оглянуться, одна зола и прах». Перед ним, словно тени, возникали и тут же рушились, оплывая, картины прошлого, он хорошо помнил и отца с матерью, и каменный дом с выбитыми по цокольному этажу барельефами, и деда-армянина, державшего в Питере аптеку и трех учеников. Дед часто брал в аптеку внука, хотя тот вечно во все совался и мешал. Дед любил единственного внука от единственной дочери, и любовь его полностью уравнивалась почти открытой ненавистью к зятю — незаметному, третьестепенному чиновнику горного департамента. Дед почему-то был убежден, что этот суконный голодранец вскружил голову его дочери с единственной целью заполучить его, аптекаря, деньги; не такой партии желал он для своей красавицы дочери — какой-то обедневший дворянчик Бурганов! Чиновник, протри он тысячу пар штанов, ничего в жизни и благополучии семьи не изменит и богатства не прибавит; сам Анисимов, тогда послушный большеглазый мальчик в бархатных штанишках, не мог понять, почему дед ненавидит его отца, и очень мучился этим. Анисимов помнил отца высоким молодым человеком с черной, щегольски подстриженной бородкой и усами; он помнил, что глаза его всегда оставались грустными, если он даже смеялся. И еще он помнил совершенно дикую ссору между ним и матерью (Анисимов так и не узнал, из-за чего была та ссора), когда он в первый и единственный раз видел отца вдохновенно пьяным и красивым. Сейчас он понимает, почему мать жила с ним вопреки воле деда, но тогда, забившись в угол за высокое кресло с гнутой спинкой, ему казалось, что дед прав, что с таким пьяницей и разбойником, в наследство которому от некогда обширных поместий Биргановых остался шиш, нельзя жить. Он изо всех сил заткнул пальцами уши, чтобы не слышать злых, безжалостных слов отца, оскорблявшего мать, кричавшего что-то о деньгах, о том, что теперь все равно жизнь пропала. И тогда мать сказала, что он низкий человек, что он никогда не сможет составить счастье семьи и что папа прав, тысячу раз прав, и лучше ей сразу утопиться в Неве, чем жить в такой мерзости и лжи.

Вот тогда-то сын и задрожал, услышав незнакомый отцовский голос, какой-то яростный и вместе с тем жалкий; подняв голову, он увидел, как тревожно дрогнули хрустальные подвески в люстре.

— Я убью тебя, Вера! — сказал отец этим ужасным голосом, и сын, не сомневаясь, знал, что так и будет, и он с отчаянным криком бросился к ним. Бурганов-старший увидел сына, и глаза у него расширились.

— Почему ты здесь? — спросил он сухо и брезгливо, дергая одной стороной рта. — Ступай к себе, тебе давно спать пора.

Анисимов до сих пор не может понять, что с ним произошло тогда. У отца в голосе была брезгливость, он и собственного сына относил к ним, к семейству жены, где его ненавидели, он, очевидно, подумал, что сын подслушивает, подличает, что и он против него. Анисимов не помнил, как выскочил тогда из своего угла, припал к сухим горячим рукам отца и судорожно заплакал, выговаривая одно мучительно рвущееся слово: «Папа... папочка... папа...» Он задыхался от рыданий, от любви к этому одинокому несчастному человеку, к его бессильным сейчас рукам, к запаху дорогого табака, вообще ко всему тому, чем он был для всего его маленького существа, и отец, кажется, понял его.

— Ладно, Александр, ладно, — глухо сказал отец, положив ему на затылок свою узкую горячую ладонь. — Иди, мальчик, иди, все будет хорошо. Тебя надо воспитать иначе, чтобы были и рога и когти. К сожалению, иначе не проживешь, человек должен уметь защищаться.

Прошло время, и он, Родион Анисимов, выучился не только защищаться, но и нападать, бить, если требуется, насмерть, без жалости. Жизнь многому научила когда-то тихого, болезненного мальчика.

Полено в плите синевато стрельнуло искрой, заставив Анисимова вздрогнуть, даже в мыслях он уже боялся называть себя настоящим именем. К чему сейчас все эти сантименты? При чем здесь жалость, если вопрос стоит — кто кого? Разве он не шел на компромисс с Захаром Дерюгиным, пусть бы топал себе потихоньку, обоим места хватило бы под солнцем, а то ведь вообразил, что он и в самом деле хозяин жизни, что он кому-то полезен, что все на свете его кровное дело; нет, братец, пора тебе понять, что в мире есть кое-что еще, кроме братства серпа и молота. Одним словом, пора кончать, сказал себе Анисимов, черт знает, что ему может еще взбрести в голову. Лишний раз обезопасить себя не помешает, у него, у Анисимова, есть свои причины быть бдительным, стоять на страже интересов родной совет-

ской власти. И даже если он торопится и Захар Дерюгин ничего существенного и в мыслях не имеет против него, Анисимова, в таких случаях лучше поспешить, чем опоздать. И еще одно подстегивало: вчерашнее письмо из Питера от старого дружка, и по этому письму Анисимов сразу определил запах жареного, да еще какого! Аромат так и щекочет ноздри, пора и со своей стороны подбросить несколько поленьев в костер; пусть Лиза остается в неведении и возится со своими тетрадками, усмехнулся Анисимов; он, конечно, не преувеличивает своего значения и понимает, что уже не дотянется до вершин и никакая он не героическая личность, блистательность взлета не получилась; но вот полено-другое в костерик добавить — в его силах, это тоже занимательно и любопытно, щекочет нервы.

Анисимов подбросил дров; пора ужинать, вспомнил он и двинулся к двери позвать жену; она в этот момент сама распахнула дверь.

— Ужинать пора, Лиза,— сказал Анисимов, с пытливой и доброй усмешкой отыскивая в ее лице признаки примирения.

Елизавета Андреевна на мгновение прислонилась к косяку. «Ох, как ты обмелел, Родион, уже и залысины и не та молодцеватость, сдали мы оба»,— подумала она про себя без горечи, с привычным сожалением.

— Да, пора, десятый час,— сказала она вслух, проходя к шкафчику с посудой.

Катилось лето девятьсот тридцать четвертого года.

9

Захара Дерюгина вызвали на бюро райкома в Зежск в конце июля; он точно помнил, они перед этим обсуждали на правлении порядок уборки поздних яровых. Особенно уродились гречиха и просо, и старики намечали намолотить пудов по сто с десятины. Такое редко случалось на густищинских землях, и особенно с капризной гречихой, и, прослышав об этом, дед Макар сам ходил в поля проверять, он никому больше из этих колхозных безбожников, в том числе и родному сыну, не верил. Взял палку и пошел бродить по полям, присаживался в удобном месте, отдыхал и снова шел дальше, забыто принюхиваясь к знойному ветру. Дед Макар постепенно убеждался, что на этот раз люди не брехали,

с проса, с гречи при хозяйском досмотре могли, пожалуй, взять и больше. Старик стал среди поля уже забуревшей гречихи, лениво перекатывающей под солнечным ветром темно-красные волны, и задумался о жизни, и о боге, и о близком конце, потому что ничего вечного нет на земле и пора уходить. Он снова почувствовал тихий зов из какой-то прохладной дали, он доходил до сердца холодноватым прикосновением; пора, пора, сказал себе дед Макар и подумал еще, что зажился на свете и не понимает новой жизни, пусть теперь Захарка Дерюгин да этот горлопан Юрка Левша хозяйствуют, вон у них машины на колесьях ходят, землю подымают. Господи, слаб и хил стал человек, слаб и хил, раз уж сам не может с землею управиться, машину вонючую на нее напустил.

И как раз в это время, когда дед Макар стоял посредине поля и теплые ветерки бегали в его бороде, в Зежске в просторном кабинете Брюханова в полном составе собралось бюро райкома партии обсудить и вынести решение по делу коммуниста Захара Тарасовича Дерюгина (тысяча девятьсот второго года рождения), председателя колхоза «Красная долина» в селе Густищи, к слову сказать — одного из передовых не только в районе, но и в области. Кроме секретаря райкома были и предрика, и прокурор, и военком, был и товарищ из области, редактор областной газеты и член бюро обкома партии Семен Емельянович Пекарев, с явственно наметившейся от лба к затылку широкой лысиной, ему, кажется, и поручалось проконтролировать это дело, раз оно уже коснулось множества самых различных людей. Во-первых, из Зежского района в область, в НКВД, было послано анонимное письмо, составленное довольно грамотно и убедительно, и в нем обращалось внимание областных властей и «коммунистов, призванных следить за социалистическим порядком», на положение дел с руководящими кадрами в Зежском районе. В качестве факта приводился председатель густищинского колхоза, человек морально нечистоплотный, политически незрелый; была в поразительно богатых подробностях описана его связь с Марией Поливановой, «дочерью кулака, посредством данной грязи избегнувшего законной ссылки, потому что у Захара Дерюгина оказались дружки и в районе». Эти дружки по имени не назывались, но этого было достаточно, чтобы комиссар НКВД вполне обоснованно доложил о своих тревогах по

начальству в область, а там сообщили обо всем в обком кому следует и предложили провести расследование сразу по двум каналам. Кроме того, и в райком на имя Брюханова поступило письмо от председателя густищинского сельсовета Анисимова Р. Г., тот просил образумить председателя густищинского колхоза Дерюгина З. Т. «...в непрекращающемся сожительстве с Марией Поливановой, имея при том законную жену и находясь с нею под одной крышей. И такой прискорбный факт, замечается, дурно влияет на остальную массу колхозников». Прочтя письмо, Брюханов внутренне заледенел; на другой день ему с утра позвонили об этом же деле из Холмска и высказали, мягко говоря, свое недоумение. По времени это совпало с переводом Брюханова в область; первый секретарь обкома Петров любил Брюханова и в недавнем разговоре высказал ему свое желание работать вместе; Брюханов знал, что это пахнет скорым переводом в область. Влезать в работу областного масштаба предстояло с головой, впрягаться и тащить, так что Брюханов подчищал концы у себя в районе и не имел свободной минуты; вдобавок с неделю назад Брюханов едва не женился, и только случайность, кстати, все разрубила.

Все было банально, объяснялось просто, и, главное, он никуда не уезжал, неделю просидел безвылазно в Зежске, стараясь как можно безболезненнее подготовить свой уход на другую работу. Ей было двадцать пять лет, и работала она в банке; всего год назад она закончила в Холмске финансово-кредитный техникум, выделялась броской, почти вызывающей внешностью. Она была не на месте в своем банке, и Брюханов это чувствовал и, честно говоря, побаивался ее броской красоты. Ее звали Соня, и Брюханов был очень увлечен, он не терял головы потому лишь, что был страшно загружен, да и природная застенчивость в отношениях с женщинами мешала ему переступить последнюю черту. Ему казалось, что особенно с Соней нельзя было этого сделать просто так. Одним словом, он пришел не в субботу, как обычно, а в четверг, на два дня раньше, он решил ей все сказать, предложить стать его женой; ему казалось, что она в чем-то похожа на Наташу.

Она жила чуть ли не на окраине Зежска, в собственном домике, оставленном ей отцом, умершим два года назад. Брюханов из-за нее полюбил и этот домик, и тихую улицу, выходящую к зеленому обрыву, покрытую

во всю ширину травой, лишь возле самых домов были вытоптаны неровные, узкие дорожки. Брюханов прошел в калитку, прикрыл ее и с той же счастливой уравновешенностью вошел в дом; он нес ей самый щедрый подарок, на который был способен, и остолбенел в коридоре перед открытой дверью. Нужно было отвернуться и тотчас выйти незаметно; Брюханов не смог этого сделать, он был слишком поражен. Соня полулежала в кресле, запрокинув голову, в объятиях молодого, изрядно подержанного субъекта в синих галифе. Брюханов сбоку видел его лицо с подтянутой щекой, он завороженно следил за настойчивыми, умелыми руками, отлично знавшими, что им нужно делать. Чувствуя себя страшно неловко, Брюханов хотел повернуться и уйти, как в этот момент Соня открыла глаза и увидела его; она быстро и решительно высвободилась, привела себя в порядок, и Брюханова больше всего поразило ее лицо; оно оставалось совершенно спокойным, хотя в нем на минуту промелькнуло сожаление, но затем оно снова стало царственно-холодным и неприступным.

— А, вы, Тихон Иванович,— небрежно сказала Соня и повернулась к молодому человеку; тот заинтересованно рассматривал что-то за окном и при этом равнодушно насвистывал; руками он вполне независимо держался за подоконник.— Не свисти, Михаил, в доме,— сказала Соня строго.— Плохая примета, вон, пожалуйста, ступай в сад и свисти на здоровье, мне, кстати, с Тихоном Ивановичем поговорить наедине надобно. Мы недолго,— добавила она, вероятно почувствовав, что ее просьба не очень-то пришлась по душе обоим.

— Можно и погулять,— сказал Михаил в галифе и с тем же независимым молодцеватым видом прошел другой дверью в сад, на прощанье ощупав Брюханова любопытно-наглым взглядом.

— Садитесь, Тихон Иванович,— пригласила Соня, поправляя вышитую салфетку на круглом столе.—Давно хотела поговорить с вами, кажется, пришла пора. Очень хорошо, само собой случилось, не терплю долгих объяснений.

— Все хорошо, Соня, ничего не нужно объяснять,— сказал Брюханов, выдавливая из себя улыбку, нужно было повернуться и молча выйти, но он упустил момент.— Это, конечно, ваш брат?

— Нет, почему же брат.— Соня подняла аккуратно подведенные брови.— Видите ли, Тихон Иванович,

я буду с вами откровенна, вы мне нравитесь, но мне двадцать пять, вам за тридцать... я еще не видела жизни и с вами, простите, не увижу, вы очень серьезный, уважаемый человек, я вам не подхожу, да вы и сами видите,— беспомощно развела она круглыми, в ямочках руками.

— Вижу, Соня. Спасибо за прямоту. Прощайте, Соня.

— Ах, будь вы чуть-чуть настойчивее!— Она с внезапным волнением чувственно потянулась к нему всем телом.— Будь вы чуть-чуть настойчивее, Тихон Иванович!.. У вас такой цветущий возраст... а женщина... что может она сама? Женщина ведь сплошные условности... Не поминайте лихом.

— Ну, полно, полно, Соня,— примиряюще, вполне по-братски сказал Брюханов.

— Уж какая есть,— тряхнула Соня густой волной волос, улыбаясь всеми своими ямочками.— Дайте я вас поцелую на прощание, Тихон Иванович, будет что вспомнить мне в Сибири. Не поминайте лихом.

Он не успел опомниться, как она налетела на него со всеми своими воланами, оборочками, рассыпанными по плечам локонами, обхватила за шею, прижалась к его губам с неожиданной силой.

— Прощайте, прощайте, Брюханов.— Она сердито отвернулась, точно он был во всем виноват.— Не спугните там в саду моего жениха и прощайте. Дай вам бог встретить женщину серьезную, положительную, по себе, а я никогда не дотянусь до вас. Михаил мой старый поклонник, он сейчас из Сибири, с большого строительства. Он за мной, и я решилась наконец, не век же мне киснуть в Зежске.

— Прощайте, Соня. Сибирь вам понравится, там такие сорвиголовы ко двору. Прощайте,— сказал он с улыбкой, действительно не испытывая в эту минуту к ней ни малейшей злости, только досаду, на нее решительно невозможно было сердиться.

Идя знакомыми улицами домой, Брюханов улыбался самому себе и неожиданному обороту событий. Дома он с полчаса походил бесцельно из угла в угол и, войдя к матери, все ей рассказал.

— Вот уж не вижу ничего смешного,— с сердцем сказала Полина Степановна, глядя на улыбающегося сына.— Смотри, Тихон, тебе не двадцать лет.

— Ох, мать, зачем же так серьезно? Ну, останусь в старых девах, самое страшное, что может случиться.

— Кто тебя знает, в девах или как... Не нравится мне все это, Тиша,— пожаловалась она ему по-старушечьи ворчливо.— Не понимаю тебя, Тиша. Ну хорошо, пока я рядом, да ведь я не вечна, уйду в срок. В пустом доме одиноко, всякие бесы начинают звонить. Прошлое тут не в счет.

Брюханов рассмеялся, хотя знал, что этим обижает мать, поцеловал ее сверху в голову, молчаливо прося прощения за свой смех, и ушел к себе и просидел долго на диване, не зажигая света. Теперь, когда нервная растерянность прошла, он мог серьезно обдумать случившееся; ему было стыдно, что в этой смазливой девчонке он мог находить какое-то, пусть самое отдаленное, сходство с Наташей, это ведь оскорбляло даже память о ней. Поистине, у страсти ум слеп. Он необыкновенно отчетливо вспомнил Наташу и то, как она умерла при родах, в его отсутствие: мотался по уезду, тогда еще был уезд. Его разыскал нарочный, а потом он видел обескровленное, пугающей белизны, лицо Наташи, и врач, теребя острую, клинышком, бороду, говорил и говорил что-то в свое оправдание. Брюханову в память врезалось, что ребенок (это был мальчик) был богатырем и убил мать; Брюханову не было никакого дела до ребенка, ребенок умер; он лишь видел белое, мертвое лицо жены в его далекой и равнодушной ко всему живому успокоенности; врач говорил, что она умерла в твердой уверенности, что ее ребенок, сын любимого человека, останется жить.

Потом он никогда не разрешал себе много думать о том моменте — наедине с мертвой Наташей, доктора ему удалось тогда выпроводить; и сейчас, словно сработала в нем тайная, глубоко спрятанная пружина, не стараясь больше анализировать свое решение, Брюханов окончательно закрепился мыслью на переселении в Холмск; ему в один момент стал невыносим тихий, хотя и родной городишко со своим мещанско-купеческим укладом; сколько ни старайся его переделать, он только слегка сменит окраску, а сердцевина останется та же.

В таком настроении Брюханов и узнал о деле Захара Дерюгина; он подробно ознакомился с материалом, присланным из обкома, и в первый момент хотел немедленно вызвать Дерюгина и поговорить с ним наедине, он

уже снял было трубку, чтобы вызвать Дерюгина из Густищ, затем бросил трубку на рычаги. Ну нет, хватит, решил он, один раз надо его серьезно проучить, от разговора со мной мало толку. Он ведь привык к нашим с ним особым отношениям, на это и надеется, здесь все понять можно. Пусть с другими лицом к лицу постоит, влепить выговор, ничего, прошибет и его. Видишь ли, справиться с собой не может, обыкновенная распущенность. Ведь говорил уже с ним об этом, говорил не шутя; и время сейчас, если вдуматься, далеко не шутейное. Так, походя, нельзя помочь человеку, который сам этого не хочет; значит, ничего не понял, не хочет понять или вконец испорчен и ты своими уговорами ему не поможешь. Есть в таком случае своя особая оскомина: друг, вместе по фронтам мотались, но ведь жизнь идет, меняется, один растет, другой отстает, опять заставил себя вернуться Брюханов к неприятной мысли, все больше убеждаясь в правильности решения хорошенько проработать Захара на бюро.

Брюханов смотрел перед собой, цепь доказательств выстраивалась неумолимо, жестоко, не оставляя ни одного хода в сторону; он подумал, что ему хочется именно такого поворота, был момент, когда он засомневался, опять приподнял трубку и тут же неслышно опустил ее; чтобы зря не мучиться, не поддаться слабости, он вышел из кабинета, сказал, что едет на крахмальный завод и вернется лишь к вечеру.

Ему не надо было ни на какой крахмальный завод, просто все случившееся выбило его из равновесия, с самого дна поднялись старые воспоминания, и он хотел успокоиться окончательно, все твердо взвесить и определить для себя. Выбравшись за город, он пошел в поле травянистой мягкой тропинкой наугад; ему еще никогда не доводилось судить когда-то близкого ему человека таким нелицеприятным судом, и он был растерян. Да, он предупреждал Захара, предупреждал в дружеском разговоре, и совесть его перед ним чиста. Но в то же время Захар Дерюгин был ему другом (вкусна, ах вкусна была пригоревшая каша из одного котелка!), и Брюханов не мог подойти к нему с общепринятых, пусть даже с самых правильных партийных позиций; Захар Дерюгин имел право на иное отношение с его стороны, оно определяется не уставами и параграфами, не различием в общественном положении, а чем-то иным, может быть, более зыбким, но прочным.

Трава мягко била его по ногам, он уходил все дальше в поле, поросшее клевером; Брюханов уже понял, что не станет приглашать Захара Дерюгина для отдельного разговора, а предоставит делу идти своим естественным путем; он решил, что так будет лучше, ведь Захар Дерюгин, по старой памяти, опять не извлечет из их разговора наедине никакого урока для себя; пусть ему укажут другие, их он скорее послушает, а так ведь и опуститься и пропасть недолго.

Приняв решение, Брюханов вернулся к текущим делам; он не знал еще, что дело примет оборот совершенно неожиданный и даже при сильном желании ничем нельзя будет помочь ни себе, ни Захару Дерюгину.

Бюро собралось в третьем часу, после обеда, последними пришли прокурор и представитель обкома Пекарев, обедавшие вместе; они были старыми друзьями, ездили друг к другу в отпуск, ходили на волков, и все весело переглянулись, глядя на их довольные, размягченные лица; только Брюханов, сидя за своим столом и просматривая бумаги, молчал и хмурился. Не отрывая глаз от стола, Брюханов ни на минуту не забывал о присутствии Захара Дерюгина; тот сидел в углу в простеньком в крупную полоску пиджаке, в сапогах, фуражку он держал на коленях; хотя дело еще не разбиралось, но вокруг него уже образовалась своеобразная полоса пустоты.

Захар хорошо знал всех этих людей, много раз встречался и разговаривал с ними, и происходящее казалось ему сейчас ненатуральным; сначала он глядел на Брюханова, стараясь поймать его взгляд; тот упорно не смотрел в сторону Захара, и улыбка прошла по губам Захара Дерюгина, знать, плохи были дела. Захар перебирал свои грехи и не находил ничего серьезного, как раз Тихону известно о нем все. Сегодня и Анисимов был вызван в райком, но отчего-то его не было видно, Захар не связывал свое дело с Анисимовым и поэтому тут же отбросил мысль о нем; перебирая в уме события последнего года, он по-прежнему ничего не мог припомнить, но переменившееся отношение окружающих не сулило хорошего; можно было, правда, подойти к Брюханову и прямо спросить, в чем дело, но присутствие посторонних мешало, и он решил пересидеть их; отчетливо враждебная атмосфера вокруг заставляла крепиться и ждать; правда, временами хотелось встать, зашуметь,

хлопнуть Брюханова посильнее по плечу, заставить оторваться наконец от бумажек; вместо этого Захар достал папиросу, не спрашивая разрешения, закурил, закинув ногу на ногу, сел удобнее.

Захар курил, не вслушиваясь в оживленный разговор Пекарева с Брюхановым и не обращая внимания на их оживленные лица; Брюханов предложил начинать, быстро, точно ввел собравшихся в суть дела. Захар удивленно поглядел на него, но не стал возражать, он со все большим интересом слушал, точно речь шла не о нем, точно он угадывал какого-то своего давнего знакомого и тот, о ком говорил Брюханов, действительно был не он, Захар Дерюгин, а кто-то другой. Теперь Захар глядел на Брюханова с жестким недоверием, ему казалось, что и Брюханов это не тот Брюханов, которого он хорошо знал и уважал. «Ну понятно,— думал Захар,— Анисимов не выдержал, настрочил бумагу, но как Брюханов мог серьезно к этому отнестись, ведь он знает его столько лет? Почему они все с умным видом слушают, холодно поглядывая в сторону, уже считая, что он на скамье подсудимых, и, самое главное, оправдывая такое положение? Ну, давайте, давайте,— думал он с горьким чувством невольной обиды,— он ни от чего не может полностью отказаться — вывернуть наизнанку любого можно».

Брюханов кончил читать и заявление Анисимова, и анонимное письмо, пересланное в Зежск из области; в наступившей тишине неожиданно хмыкнул прокурор, прочищая горло, и, достав большой клетчатый платок, шумно прокашлялся.

— Может быть, товарищи, самого Захара Тарасовича выслушать для начала?— сказал он, пристально рассматривая свой платок, затем аккуратно сложил его и спрятал в карман пиджака.— И еще у меня вопрос... Приглашен ли Анисимов-то на бюро, ведь он не только председатель Густищинского сельсовета, но и коммунист.

— Приглашен, Александр Парамонович,— так же коротко отозвался Брюханов, не поднимая головы и наскоро делая какие-то пометки у себя на бумагах.— Товарища Анисимова пригласили на бюро, и он должен был приехать. Час назад выяснилось, он лежит с острым приступом радикулита, быть сегодня не может, отложить обсуждение этого дела мы уже не можем:

обком требует. В конце концов, Анисимов изложил в своем письме все, что думает по этому поводу.

Прокурор что-то проворчал, покосился на Пекарева; тот сидел с подтянутыми щеками, не шевелясь и полуприкрыв глаза; устраиваясь для долгого сидения, прокурор повозился на своем месте, словно бы нечаянно подталкивая Пекарева в бок, и тот, не открывая глаз, вежливо подвинулся.

— Предлагаю провести разбор дела сейчас,— без всякого выражения сказал Брюханов.— Тем более сам Дерюгин здесь.

— Думаю, правильно,— подал наконец голос и Пекарев.— В любом случае больной вопрос лучше прояснить скорее. Это будет ко всеобщей пользе, поддерживаю Тихона Ивановича. Пусть товарищ Дерюгин сам разъяснит нам оглашенные документы... или, как вы считаете, Тихон Иванович, возможно, стоит вначале выслушать мнение товарищей?

— Пусть Дерюгин говорит,— недовольно прогудел прокурор.— Как можно судить о сути на основании анонимной бумаги... да одного письма, мало ли что за этим стоит! Я вношу предложение выслушать Захара Тарасовича, потом видно будет, как дальше жить.

Он поглядел в сторону Захара, с явной доброжелательностью кивнул ему, говоря своим видом, что ничему плохому о Захаре Дерюгине он не верит и не хочет верить и было бы лучше заняться действительно полезными делами.

Захар слушал молча, и у него росло растерянно-озлобленное ощущение собственной беспомощности; прихлынуло чувство полнейшей беззащитности перед силой этих десяти человек; он сейчас не думал об их праве выворачивать наизнанку его жизнь (он признавал за ними это право без всякого раздумья и сомнения), но никак не мог согласиться, что их действия в отношении его справедливы. Он ничего плохого не делал, он вспомнил время, когда Брюханов уговаривал его стать председателем колхоза, а затем и приказал, с тех пор ему ни разу не удавалось выспаться вволю, недавно его вообще едва не отправил на тот свет Макашин; и еще он вспомнил тесную, набитую детишками избу. С зари до зари пропадаешь по колхозным делам, спасибо ни от кого не дождешься, другие втихомолку смеются над его хибарой; он было поверил Анисимову — развез про новую избу, только уши развешивай, недаром сердце щемило,

змеиное жало и тогда угадывалось. Вот здесь от него требуют объяснения, а что он может им рассказать, о Мане он им ничего не скажет, это, может, единственная его радость в жизни и есть. Маню он им не выдаст, не дождутся. Какое их собачье дело до того, что у них с Маней, он же хорошо работает, у него по работе никаких долгов, ни больших, ни малых, так что же им надо?

Ладони вспотели, стали липкими, лица людей словно отделило сеткой, отодвинуло от него, он почувствовал, что держится на каком-то раскаленном острие, от острого головокружения его неудержимо тянуло в одну сторону; после больницы такое иногда случалось с ним, и даже в очень тяжелой форме; перед глазами все начинало плыть и дробиться, расползалось в одну серую массу. Один, без людей, он просто ложился на землю, на пол, там, где *это* его заставало; он боялся упасть и расшибиться, он знал, что ему нельзя показывать сейчас свою слабость, нужно выиграть хотя бы еще две-три минуты, и он остался сидеть, слыша голоса глухо, будто за какой-то стеной.

— Ну, так что же, товарищ Дерюгин,— сказал в это время Брюханов, пристально рассматривая свои руки.— Давай, объясни бюро ситуацию. Ничего не поделаешь, было время, мы с тобой с глазу на глаз об этом говорили, теперь дело слишком далеко зашло. Прошу, у нас на сегодня работы достаточно.

— Ничего я не буду объяснять, товарищ Брюханов,— уронил Захар тяжело, вжимаясь в спинку стула, и все истолковали это движение не в его пользу; Брюханов поднял глаза и впервые прямо и пристально посмотрел в лицо Захара.

— Ты нездоров, Дерюгин?— спросил он тихо, выжидающе, и Захар, ненавидя его сейчас больше всех остальных в этой комнате, опять сделал невольное движение, словно старался вдвинуться в спинку стула.

— Не беспокойтесь,— отозвался Захар почти внятно.— За заботу спасибо, у меня нутро крепкое, переварю.

— Мы сюда собрались совершенно по конкретному вопросу,— жестким голосом сказал Брюханов, и все заметили набрякшие у его рта тяжелые складки.— На повестке дня вопрос: жизнь и поведение коммуниста Дерюгина, которому партией доверено большое и ответственное дело. И партия вправе знать, как это дело выполняется, в чьи руки оно попало.

— Дерюгин, кажется, надумал ввести в норму нашу с ним игру в бирюльки до седой бороды,— проворчал председатель райисполкома, высокий мужчина с гладко, до синевы выбритой головой и серыми глазами.— Вечно у него выкрутасы, один почище другого.

Захар покосился в его сторону, поморщился, он не любил Кошева, умевшего раздуть любой пустяк, и пользовался той же откровенной ответной неприязнью; с безошибочностью он мог определить отношение к себе любого из присутствующих и невольно выбрал двоих — прокурора и его дружка из области, Пекарева, в них он ощущал поддержку и старался как-нибудь не взглянуть в их сторону; все это происходило при том же почти обморочном состоянии, хотя чернота уже отпускала помаленьку и он мог бы теперь встать и говорить стоя. Но он этого не сделал; он внутренне перешагнул через какой-то барьер; неудержимо надвигалась пропасть, и он не мог, главное, не хотел сделать усилие и остановиться, повернуть, его почти сковало цепенящее чувство стремительного, бесконечного падения, так и надо, так и надо, думал он, наступает час, и приходится решаться, безразлично, что будет через день или хотя бы через час, будь что будет. Пусть говорят, если так, он свободен от них, они добросовестно собрались и теряют из-за него время, но кто их просит? Он никого не убил, не ограбил, честно зарабатывает свой хлеб, кормит детей, что же им еще от него надо? Поверили каким-то бумажкам, ну и черт с ними, он не даст раздеть себя догола, потешиться.

— Ну, так что же мне вам рассказывать?— спросил он, не замечая, что губы у него прыгают.— Вы меня не спрашивали, когда я в семнадцать лет исколесил с шашкой в руках пол-России... Когда в меня из обрезов били, тоже не спрашивали, а я все хлеб собирал для советской власти. Конечно, зачем вам тогда было спрашивать?

— Опять. Дерюгин, не о том здесь речь,— в твоем прошлом сомнений нет.— Брюханов говорил тихо и внятно, все с теми же жесткими складками у рта.— Пойми, наконец, ты обязан и будешь отвечать перед партией за свою жизнь и поведение всегда, в любой момент. Что ты козыряешь революционным временем? Это же черт знает что... Огромное дело поднимаем, можно сказать, еще одну революцию заварили, а ты не можешь справиться со своими инстинктами, с минутой

не можешь сладить. Партия тебя всегда поддерживала и помогала, посылала учиться, в Москве был на съезде...

— Ни хрена ты в жизни не разбираешься, Тихон. Для кого, может, и минута, для меня весь век.— Захар видел вздернутые плечи Брюханова, но остановиться уже не мог.

— И все-таки нам придется разбирать дело с Марией Поливановой,— почти спокойно сказал Брюханов,— хочешь ты этого или нет. Слишком далеко оно зашло, Дерюгин. Ты на особом положении, партия не может проходить мимо подобного факта. Действительно ли товарищ Дерюгин, сожительствуя с Марией Поливановой, забыл о чистоте имени коммуниста? Ты, товарищ Дерюгин, поступил и продолжаешь вести себя совершенно безответственно, ведь враги только и ждут момента, чтобы коммунист оступился. Райком разобрался в вопросе с семьей Поливановых, кулацкой эту семью считать нельзя, но кашу ты заварил густую, а ее могло и не быть, ни к чему она. У нас достаточно и других трудностей. Кроме того, у меня к тебе еще один вопрос. Ты должен хорошенько подковаться в кулацком вопросе вообще. Ты знаком с речью товарища Сталина на конференции аграрников? Что там говорится о кулаке? Прямо говорится, кулака в колхоз пускать нельзя, он является заклятым врагом советской власти, а ты в этом вопросе определенно плаваешь.— Брюханов потарабанил пальцами по столу, где-то про себя отмечая, что от раздражения говорит длинно и витиевато, и улавливая возраставшее недоброжелательство к Захару из-за вызывающего тона. Корабль выходил из повиновения, и Брюханов сейчас физически чувствовал выворачиваемый из рук неизвестной силой непослушный руль, хотя все еще можно было спасти и нужно лишь нечеловеческое усилие удержать. И главной противодействующей силой был сам Захар. Брюханов не знал и не мог знать, что именно в этот момент, от которого все зависело, Захар тщетно старается справиться с темным провальным мерцанием в глазах; в ответ на вопросы Брюханова он лишь скривил губы, тяжело взглянул Брюханову в глаза, молча говоря ему, что он стал изрядной сволочью, что о Мане Брюханову известно, он сам лично ему рассказывал, но тогда ведь об этом никто в верхах не знал, а теперь вон как дело повернул, от него, Захара, и от того, к кому он бегает по ночам, видишь, судьба мировой революции зависит.

Не отводя взгляда и почувствовав гадливое презрение к себе со стороны Захара, Брюханов побледнел; будь они одни, разговор бы мог с этого момента круто повернуться и привести совершенно к иному исходу, но на людях Брюханов переломить себя не мог и, еще заметнее бледнея от молчаливого унижения, причину которого знали только они двое, стал настаивать на объяснении всего дела самим Захаром; он освободил руки, и беспризорный корабль сразу замотало из стороны в сторону.

— Я тебе уже рассказывал, товарищ Брюханов, этот вопрос как председателю тройки, тебе это известно лучше других,— от своей победы Захар на минуту успокоился,— а больше мне добавить нечего. Такое слово товарища Сталина читал еще в тридцатом, хорошо помню. К семье Поливановых это ни с какого боку не относится. Можете еще раз направить комиссию, проверить. А я говорил и на своем стою — хорошая, работящая семья, время только подтвердило мою правду. Аким Поливанов — нужный в колхозе человек, хозяин, работает за троих, и сыновья у Буденного служили. Именно это, а не девка, понудило меня тогда приветствовать решение районной тройки. А злые языки, а может, и вражьи, еще и не такого могут наплести.

— Ну, конечно, как просто у тебя, Дерюгин, все получается,— с нескрываемым ехидством протянул предрика, вытирая вспотевшую голову.— Очень просто на дураков, а мы тут не все дураки. По старым временам тебя бы за всю эту мешанину самого из колхоза вычистить и раскулачить, да вместе с твоим Поливановым, сразу бы спокойнее стало. В дальние края — ума прибавилось бы.

— Ну уж у тебя, Кошев, этого товару взаймы не разживешься, у самого острая нехватка...

— Видите! Видите!— Кошев вскочил, опять сел, решив, что стоять ему против Захара оскорбительно.— Я давно говорил, занесся Дерюгин! Он себя из-под критики партии выводит!

— Какая же критика? Бойня и есть. Ты чего сепетишь-то?— спросил Захар, всем своим видом показывая, что этого человека он не уважает и что уважать его нельзя.

— Молчать!— закричал Кошев, заставив неловко поморщиться и Пекарева, и Брюханова.— Сопляк! Не-

доучка! Тебе бы не препираться тут надо, как на базаре, а хорошенько задуматься.

— Давай, давай, Пал Семеныч,— почти миролюбиво поощрил Захар.— Гляди, килу наорешь, потеха-то будет, баба выгонит, а дело того не стоит. Вы спрашиваете, отвечаю, не верите, что ж делать. Работящего мужика нюхом видно, его и малое дите учует. Уж меня ты никак никуда не вычистишь, с любого бока не подхожу под такую статью.

— У тебя сын от Марии Поливановой?— красный от переполнявшего его возмущения, спросил Кошев, досадуя, что выскочил поперек других, изменил золотому правилу держаться в тени.

— Растет мальчишка,— сказал Захар, что-то трудно перед этим проглотив.

— Тебя спрашивают не о том. Сын он тебе или нет?

— Сын, Ильей зовут, может, еще что сказать?— Захар с ненавистью поглядел в глаза Кошеву, и тот с тем же бычьим упорством не отвел своих в сторону, лишь еще больше побагровела его коренастая шея.

— А ты на меня не смотри по-волчьи, Дерюгин,— медленно и зло сказал он.— Я это не для своего удовольствия делаю. Ты и сейчас продолжаешь жить с ней?— Кошев подался в сторону Захара, у него мучительно звенел каждый мускул в ожидании посрамления упрямого, закусившего удила мужика.

Захар привстал, совершенно бледный, с крупными каплями пота на лбу; все напряженно следили за ним; за обитой войлоком дверью разлаженно и сухо трещала машинка; Кошев раздвинул губы в улыбке, показывая всем, что заранее не верит ни одному слову Захара Дерюгина.

— А этого я тебе не скажу.— Захар бы мог сейчас перескочить прямиком пространство в две сажени и одним замахом перебить толстую багровую шею.— Ишь ты, знать захотел, завидки берут, Пал Семеныч?—спросил он внезапно прорезавшимся высоким голосом и, понимая, что несет чепуху, не мог остановиться.— Не стесняйся, прямо скажи, я и тебе устрою... Я не жадный, девок и на тебя хватит... Мой совет — коновала вызвать, кастрируйте меня здесь прилюдно, вам будет потеха и партийному делу польза!

Прокурор не выдержал первым, смущенно заморгал, басовито гукнул в кулак, за ним засмеялся Пекарев; Захар употребил ученое слово «кастрировать», и оно

прозвучало особенно грубо и вызывающе. На какую-то минуту от нечеловеческого напряжения Захар потерял способность говорить, вместо лица Брюханова он видел застывшее белое пятно; что-то странное и далекое ворвалось сейчас в душную, прокуренную комнату. Стены словно опали и рассыпались в прах; Захар видел кровавое от пожарищ солнце у края сухой степи; выполняя приказ, уносился от белых эскадрон, затягивая их в мешок. И, сбитый шальной пулей, все больше и больше валился на бок Тихон Брюханов, деревянно цепляясь за шею коня непослушными пальцами; конь бешено забирал в сторону от пути эскадрона. На всем скаку Захар разворачивает коня назад. Ударил чей-то истошный крик: «Назад, назад, стой, дурак, мать твою!», но какое там назад, смертный восторг захлестнул его, сквозь красную, светящуюся пыль он видел одного лишь Тихона, лучшего своего друга и земляка. Навстречу — рев накатывающейся вражеской лавы; несколько пуль взвизгнуло мимо, коротким ожогом рвануло плечо поверху; только бы не сусличья нора, мелькнула мысль, тогда конец. Он успел доскакать вовремя; визжа, чертом вертелся вокруг бессильно повисшего на шее коня Тихона, отмахиваясь от кричавших, скалившихся казаков; придерживая коней, они явно подзуживали, потешались над ним; густо мелькали со всех сторон чужие лица.

— Вот бес! — восхищались громко казаки. — Брат его, что ль?

— Не тронь! Не тронь! — визжал Захар. — Зару-у-ублю-у-у!

Проснувшимся в последний момент шестым чувством Захар знал, идет последняя его минута на белом свете, казакам прискучит, и они тотчас шутя зарубят или пристрелят его, но этого момента он не мог забыть никогда. Он и сейчас не мог разобраться в тех минутах толково и обстоятельно; перед ним плясало черноусое, с оскаленным ртом лицо; в следующее мгновение, взвизгнув, серебристой змеей блеснула в воздухе шашка...

В этот момент и хватила картечь, раз и другой, сшибая людей и лошадей; в один миг вокруг Захара и Тихона никого не осталось, только билось в последних конвульсиях несколько человек и кружилась среди них с человеческим стоном в каком-то нелепом движении, пытаясь укусить себя за развороченный окровавленный круп, лошадь в белых чулках до колен...

— Дерюгин! — словно из густого тумана выплыл к нему голос Брюханова. — Немедленно прекрати хулиганить! Я требую!

— А чего с ним разговаривать? — раздраженно подал голос Кошев, с темными пятнами на толстых, вздрагивающих щеках. — Отобрать у него партбилет, и пусть катится! Он же никого слушать не хочет!

— Сядь, Кошев, — тяжко уронил Брюханов, поворачиваясь к Захару.

— А, ты, Тишка! — обрадовался Захар, вскочив на ноги, и, не отрывая от Брюханова бешеных глаз, шагнул к столу. — Вот к чему ведешь, науськал цепняка? Значит, вам мой партбилет нужен? Вон он, на, если ты вправе, возьми, а издеваться над собою не дам. Помни, товарищ Брюханов, тебе мой партбилет долго помниться будет. Запанел, Тишка, революция-то тебе не в тот бок кинулась. В обратную сторону. Раз правду-матку режешь, так и мне дозволь. Без Мани нету мне жизни, не могу без нее, а ты думай как хочешь. На моей беде ты советскую власть не упрочишь, хлебные горы не сгребешь! Бери, Тихон, твоя воля.

Захар еще шагнул к столу и во всеобщей тишине осторожно положил на стол перед взъерошенным Брюхановым красную, затемневшую от времени книжицу, никто ничего не успел сказать.

— Не годится, товарищ! — крикнул, протягивая руку, Пекарев, приподнимаясь на своем месте. — Немедленно возьмите обратно. Не колхозный инвентарь, вам должно быть стыдно!

Захар не слышал его; от напряжения он снова почти ослеп, но помнил, где находится дверь; повернув от стола, слегка выставляя вперед руку, он двинулся к выходу, неверно ступая; ему что-то говорили, ему показалось, что Брюханов крикнул ему вернуться, он лишь дернулся всем телом; по коридору он уже шел быстрее, а на улице, хватая воздух пересохшим ртом, торопливо поправил сбрую, подтянул подпругу, в слепой, нерассуждающей злобе пнул локтем в морду играючи потянувшегося к нему мягкими губами Чалого, путаясь, разобрал вожжи и, прыгнув в дрожки, в бешенстве чмокнул: «Пошел! Пошел!» Он знал, из окон райкома на него смотрят, знал, что его больше не окликнут и не позовут, и на него рухнуло облегчение. Он хотел лишь поскорее выбраться из города, в голове непрерывно, надоедливо звенело; твердое лицо Брюха-

нова с жесткими набрякшими складками у рта неотступно стояло перед ним. Все было кончено, он уже никогда не вернется, не станет просить за себя. «Сволочи, все припомнили,— бормотал он с ненавистью.— Все припомнили, Москву и учебу... подсчитали...»

Пыльная дорога звенела под колесами, солнце садилось. Сильно дуло с запада, хвост розоватой от солнца пыли относило в сторону, в поле; последние окраинные домишки Зежска остались позади, мелькнули мимо низкие, под дранку крыши сушилок кирпичного завода; начиналась низинная равнина, по обочинам стояли столетние ракиты, причудливо искривленные, насквозь изъеденные трухлявыми дуплами; несколько веков назад по дну этой равнины бежала, очевидно, большая река, оставляя высокие размывы, теперь же здесь струился небольшой ручеек, называемый Сосницей; в жаркую пору лета он пересыхал, только в колдобинах, в густой липкой грязи как-то ухитрялись выживать верткие, старые вьюны, похожие на змей, и ребятишки с корзинами ходили их выгребать; будучи парнем, Захар и сам любил это занятие.

Колеса дрожек гулко простучали по бревенчатому настилу моста через Сосницу; Захар замычал. В висках болело, и, хотя он привык пересиливать боль, ему захотелось остановиться; попридержав коня, пошатываясь, он сошел с дрожек и долго сидел под ракитой, привалившись к ней спиной. Все было кончено, он еще раз понял это, глядя на тускло освещенную низким солнцем листву, но он не мог иначе, он это тоже понял, ну что ж, и пора, до смерти надоело тяжелое, немужицкое дело: подписывать бумаги и распоряжаться другими людьми, и, может, впервые шевельнулась в нем глухая тоска. «А ведь все обман, все неправда,— думал он,— ничего нет в мире крепче силы зерна, и его слабый, немощный росток оказывается сильнее самого твердого камня». Он поднял глаза, густая рожь стояла, начиная обвисать тяжелевшим колосом к земле; нужно было что-то сделать, подобравшись, он прыгнул в дрожки и, прихватывая вожжи, ожег Чалого кнутом, выворачивая его в поле, в рожь; последовал сумасшедший бросок жеребчика, едва не выскочившего из оглобель, в лицо Захара ударил густой теплый ветер, и безмолвное, неоглядное поле рванулось навстречу. Захар привстал на колени, покачиваясь, выбирал устойчивое положение, еще раз перетянул коня кнутом.

— По-ошел! — Чалый прижал уши от стонущего звериного крика, понесся непрерывными скачками.

Темнело; у самых горизонтов, разрезая просторы полей, вставали леса с их прохладой и сумеречностью.

10

Оставив в один раз опавшего в теле коня ночному сторожу Володьке Рыжему, Захар, не сказав ни слова в ответ на его молчаливое осуждение, побрел по селу, время от времени похлопывая черенком кнута по голенищу; ему тошно было возвращаться домой, хотелось к Мане, а ноги словно сами собой несли в сторону сельсовета; он остановился перед ярко освещенными окнами квартиры Анисимова. В замысловатые разводья переплела судьба их жизни, ох и переплела, глаз сломаешь, не разберешь. От желания посидеть и потолковать сейчас с Анисимовым, именно потолковать, по телу Захара пробежал глубокий болезненный трепет; увидев перед собой чистого, в свежем белье и с влажными редкими волосами, точно из бани, Анисимова, Захар облегченно вздохнул — могло не оказаться дома, не всякий откроет в такой поздний час.

— Здорово, здорово, Тарасыч, что это так поздно? — спросил Анисимов, жестом приглашая проходить и присаживаться, и тотчас пожаловался: — Понимаешь, Елизавета Андреевна сильно прихворнула, ангина посреди лета. Говорит, захотела холодной воды прямо из колодца. Извини, выйти не может хозяйка-то. И у самого поясницу прихватило, ступить не могу...

Он говорил, глядя на Захара спокойно и выжидающе; Захар грузно сел, усмехнулся в лицо Анисимову.

— Ну так что, Родион, теперь доволен? — спросил он, как всегда наталкиваясь на насмешливо-приветливую настороженность этого человека, с голосом искренним и проникновенным, и опять, уже в который раз, чувствуя перед собой глухую стену, через которую никак нельзя было пробиться; Анисимов внимательно взглянул на него.

— Ты, Тарасыч, говори прямо, не кружи около.— Анисимов сразу, едва увидев перед собой Захара, понял причину его позднего прихода; он ждал этой минуты и уже давно не испытывал такого острого наслаждения. Лиза, конечно, завела бы свою песню про обмельчание,

конечно, он согласен, о значении человека необходимо судить по масштабам его врагов; в данном же случае нечто иное, здесь не в политике дело, если хочешь, дорогая женушка, приятно одержать верх над этой бунтующей протоплазмой. К глухому, задавленному чувству классовой непримиримости примешивалось нечто иное, и если разобраться, копнуть глубже, он, Родион Анисимов, любил Захара Дерюгина нежнейшей любовью, что бы он делал без Захара Дерюгина здесь, в этом болоте? Заживо гнил, Захар ведь его вторая половина, его изнаночное «я», и пусто и беспросветно было бы ему в жизни без этой противоборствующей силы.

Не упуская ни малейшего движения в лице Захара, Анисимов, проверяя свою догадку, не спешил торжествовать победу, он любил сейчас Захара Дерюгина как свою собственность и готов был искренне обидеться за него.

— О чем ты, Тарасыч, с таким возмущением? — повторил он, ласково поглядывая на Захара.— Садись, садись, сейчас кое-что схлопочу, разговоры потом, слава богу, жара свалила, ну, веришь ли, весь потом изошел.

Говоря, он достал бутылку водки их шкафчика, внутри шкафчик был застлан красиво вырезанной по краям плотной белой бумагой, два стакана, поставил тарелку с хлебом и вареное мясо, малосольные огурцы.

— Жизнь, Захар, истина со многими неизвестными, никто их не отменит. Я тебе сочувствую, ишь почернел за последние дни. Однако вот в чем разница: ты считаешь это злыми кознями других, а я — объективной закономерностью,— говорил между делом Анисимов, вытирая полотенцем вспотевшую шею и лицо.— Не огорчайся, прими философски спокойно.— Он еще понизил голос, оглянулся на дверь.— Вот живет, живет человек, ищет, борется, трепыхается, а придавит его несчастьем, и конец. Хотя о чем я? — Он взялся рукой за поясницу, сморщился.— Что там на бюро? Хорошенько прочистили?

Захар взял в руку чуть не полный стакан с водкой, вздохнул; негромкий, убаюкивающий голос Анисимова опутывал сырой пеленой, хотелось закрыть глаза и задремать; Захар тряхнул головой, густые волосы упали ему на лоб, взглянул на Анисимова заблестевшими глазами, отмечая каждое его движение, улавливая и за-

поминая каждую новую интонацию; в свою очередь он восхищался им. Анисимов, не дождавшись ответа, кончил хлопоты, аккуратно расправил и повесил полотенце на свое место и сел за стол, приподнял стакан.

— Будь здоров, Тарасыч, привык я к тебе, друг без друга скучно нам станет. Давай за счастье Лизы,— Анисимов кивнул на закрытую дверь во вторую комнату.— Между прочим, она тебе очень симпатизирует, Лиза, везет тебе, я гляжу, в жизни. В газетах о тебе пишут, в Москву посылают, на всех активах хвалят... а голова, того, слабая еще, закружилась... Возгордился, а это недопустимо для коммуниста. Я тебя не раз предупреждал, Захар. Ну, будь здоров!

Они выпили, Захар с хрустом откусил огурец, огурцы были вкусные, нежного посола, смотри-ка, Лизавета Андреевна городская, а выучилась.

— Много говоришь, Родион, не в смех ведь говоришь, всерьез, суетишься чего? — От жгучести водки отмякал, распускался судорожный ком, леденевший в Захаре всю дорогу от Зежска до Густищ.

Анисимов усердно придвигал закуску, не забывая и себя, мясо было вкусное, нарезано по-городскому, тонкими ломтями. Анисимов молча ел, он мог и подождать, какой бы оборот ни приняло там, в Зежске, дело, ему равно интересно; ошибиться он не мог, Захар Дерюгин сходит с беговой дорожки именно в нужный момент, по желанию его, Родиона Анисимова, и тут ничего не поделаешь, это объективная истина; жалко, разумеется, Захара, деловой мужик, но что он в колоссальных социальных водоворотах истории? И сам он, Родион Анисимов, песчинка в этих водоворотах, но он умеет мыслить и наслаждаться, а наслаждение необходимо организовывать, создавать; в этом отличие интеллекта от грубых, примитивных сил. Анисимов разлил остатки водки по стаканам и, закурив, сел удобнее, боком к столу. А вообще-то, отметил он про себя выдержку Захара, пообтесался мужичок за последние два-три года, научился сдерживать необузданные порывы плоти, тоже, кажется, наслаждается своей выдержкой, наблюдает, и между ними сама собой завязывалась детская борьба, кто кого переглядит.

— Да, говорить ты не горазд, Тарасыч, таких, как ты, молчунов — поискать.— Анисимов глубоко затянулся, наслаждаясь табаком, теплотой водки, присут-

ствием Захара, ощущая во всем этом живительную горчинку — раскуси, и во рту разольется огонь.

— Не выдержал,— довольно засмеялся Захар.— Да говорить-то о чем? Хотел, Родион, просто узнать, теперь тебе легче? Да и сам вижу — легче, рад.

— Легче, Тарасыч,— охотно согласился Анисимов, отбрасывая всяческое прикрытие, не находя нужным больше крутить около.— И тебе должно стать легче, Захар. Кому-то надо было этот нарыв вскрывать, раз у самого духа не хватило.

— Ладно, и так можно повернуть,— на лбу Захара набрякли крупные, одна на другую наползшие складки,— одного я не пойму, Родион, твоего куша.

Анисимов хотел было сказать, что он и сам этого не понимает, но успел остановить себя; разговор шел начистоту, и нужно играть честно, в критических положениях он любил честную игру.

— Не поймешь, Тарасыч,— с ласковым сожалением, отделяя себя от Захара, сказал он,— хотя за эти годы и вырос, отряхнул с себя землицу-матушку. А я бы хотел, чтобы ты это как следует понял.

— А ты попробуй разъясни,— весело попросил Захар, сдерживая голос.— Может, пойму и не зря старания твои пропадут.

— Пустяки, Тарасыч,— весело отмахнулся Анисимов.— Вот ты на меня сейчас зверем смотришь, а я лишь, в конце концов, выполнил свой долг, жалею, что поздновато. Раньше тебя надо было остановить, вот такой встречи у нас и не состоялось бы. Если ты умный человек, ты меня поймешь и потом когда-нибудь добрым словом помянешь.

— Понимаю, Родион, отчего же не понять. Туговато, но понимаю, бес тебя точит, а куша твоего не вижу, Родион!

— Нет, Тарасыч, ничего ты не понял, тебе же добра хотел,— отозвался Анисимов, дружески притрагиваясь к остро выступавшему плечу Захара.— Ну да ладно, на том свете сочтемся...

— Ну, ну, Родион, рано ты Лазаря запел — я-то еще живой,— с натужным, отчаянным весельем перебил его Захар, отодвигаясь.— Зря меня хоронишь, Родион, гляди, подавишься таким мослом.

— Подожду, Тарасыч, подожду,— дружелюбно и так же охотно согласился Анисимов,— давно жду, когда ты одумаешься, ты же горы можешь своротить,

если захочешь. Под бабьим подолом живьем себя хоронить... Эх, чем у тебя только голова набита! — с искренней горечью выдохнул Анисимов.

— Ладно, Родион, разговор у нас вышел серьезный,— не сразу отозвался Захар.— Твой верх взял... Может, так оно и надо сегодня, ну да посмотрим, куда кривая моей жизни вывезет. Сбил ты меня с ног, Родион, да ведь не тот борец, кто поборол, а кто вывернулся.

— Опять ты за свое. Вывезет! Это же малодушие, ты коммунист, мужик, сам должен своею жизнью управлять, должен бороться,— перебил его Анисимов с темными запавшими глазами.— Бороться, понимаешь, результат не так уж и важен. Допьем водку, что ли?

— Допьем,— согласился Захар, легче ему не стало, зря он пришел к этому человеку, и сидит с ним среди ночи, пьет, и точно погружается в зыбучую топкую трясину, еще немного, и опять разольется удушливая чернота; свербит внутри какая-то порча, тянет в трясину, а встать нету сил. «Допьем,— повторил он про себя, сейчас он встанет, сбросит с себя этот дурман.— Ладно, Родион, поговорили. Подрастут мои сыны, они за меня скажут. Вот я им и передам все недоделанное. Не хотелось бы им столько погани-то из рук в руки, только другого выхода не придумаешь, время, видать, не приспело. Говори не говори, бог есть, Родион, не поповский... а что у каждого в душе...»

Не слушая больше Анисимова, захлестывающегося торопливыми словами, точно внутри у него что-то стонало и булькало, Захар вышел на улицу, так ни разу и не уловив присутствия Елизаветы Андреевны в доме; в памяти остались темные провалы глаз Анисимова, его усмешка. Захар покачнулся, в ноздри ему ударила свежая прохлада ночи; что теперь раздумывать, жизнь его одолела. Знать, заел какой-то нехороший перекос, о котором говорили сегодня на бюро. Анисимова, что ж, Анисимова понять он мог. Бумажная душа... И спорить с ним нечего, тут все налицо. Можно, конечно, переломить себя, пойти к тому же Брюханову, сказать ему, что Анисимов больше о своей шкуре думал, тот потребует доказательств, а доказательств-то и нет, вот Брюханов и сведет разговор к личной обиде, крыть нечем.

Пройдя немного, Захар опять остановился, земля окончательно уплывала из-под ног; он поднял голову, звезды в небе пошли в стремительный круговорот, сливаясь в один мягкий блеск; он вздохнул и, чувствуя, как

размякают колени, скользнул к земле, находя тихое наслаждение в этом спасительном движении и в твердости под собой.

От легкого обморока он очнулся скоро, с трудом добрался домой в каком-то полусне-полубреду и уже часа в три опять был на ногах и по укоренившейся за эти годы привычке отправился на конюшню, куда сходились люди получать наряд. Солнце готово было показаться, по всему селу топились печи, играл в рожок пастух на околице, поторапливая опоздавших хозяек, коров выгоняли за ворота. С Захаром со всех сторон здоровались, не останавливаясь, он отчужденно кивал.

Перед избой Володьки Рыжего Захар остановился, полюбовался на длиннохвостого красавца петуха; тотчас показалась Варечка с долбленым корытцем в руках, вынесла корм — перемешанную с отрубями вареную картошку. Варечка поздоровалась с Захаром, поставила корытце на землю и стала пронзительным голосом сзывать кур. Первым прибежал длиннохвостый, весь золотой с чернью петух и тоже стал подманивать кур, они, разномастные, суетливо бежали к нему, вытягивая шеи.

— Петух у тебя, Варвара,— с похвалой сказал Захар, желая сделать хозяйке приятное,— весь в золоте, чисто турецкий султан. Гляди, как его бабий полк слушается, вот подлец!

Варечка незаметно поплевала, боясь дурного глаза.

— Зараза никудышная петух! Чего уж тебе завидовать! — недовольно сказала она.— Один только хвост и есть, на курей совсем не глядит, не несутся.

— Не греши, Варвара, напраслину возводишь на свою животину...

— Случаем, случаем, Тарасыч,— тотчас перебила его Варечка.— Больше за весь день ни-ни, хоть от хвоста до зоба пшеницей его набей. Думаю хвост обрезать, уж не хвост ли ему помехой?

— Какой петух без хвоста, придумаешь, Варвара! — засмеялся Захар, давно поняв Варечку.— Матери скажу, она у тебя яиц с десяточек под курицу возьмет, больно важен петух, сукин сын.

— Да уж какие там яйца, Тарасыч? — совсем испугалась Варечка.— Только корму перевод, жрут, глашенные, а не несутся, хоть плачь. Самой-то вот как яичка хочется.

Захар пошел дальше, ему словно бы и стало веселее,

но и весь день не покидало чувство обреченности, отчужденности. И люди это чувствовали и старались по своим делам обращаться к кому-нибудь другому.

...Колхозное собрание состоялось недели через две, в первую пятницу августа, и прошло оно при многочисленном народе, с долгой и горячей руганью и далеко не гладко. Из Зежска приехал представитель — предрика Павел Семенович Кошев, по одной только атмосфере в колхозной конторе, по тому, как с ним здоровались люди, он понял, что дело ему предстоит нелегкое, и главное, неблагодарное. Все-таки в глубине души он уважал Захара Дерюгина, и ему было жаль его, хотели проутюжить как следует, а оно вон как отрыгнулось. «Дикий мужик»,— сумрачно думал Кошев с некоторой оскоминой в душе; можно было, разумеется, словчить, пусть бы Брюханов послал другого или сам ехал, но не в характере Кошева было перекладывать свою тяжесть на чужие плечи...

На закрытом правлении, беря быка за рога, Кошев голосом, не допускающим возражения, потребовал освободить Захара Дерюгина от должности председателя колхоза не только по рекомендации райкома и райисполкома, но и по собственному желанию Дерюгина; и в продолжение всего правления, затем и на общем собрании Захар сидел молча и, казалось, безучастно; перед ним белели неровные ряды знакомых лиц, он их сейчас не различал. Где-то в глубине помещения, у самых дверей, мелькнуло знакомое лицо, и он, присмотревшись, с удивлением узнал жену; раньше она никогда не ходила на собрания. Захар стал думать о ней; ее появление дало толчок в сторону, и он не слышал и не видел ничего вокруг, вспоминая жениховскую пору после гражданской, длиннополую, бьющую по ногам шинель...

Не кого-нибудь, именно ее выбрал, шестнадцатилетнюю сироту, выросшую у тетки, первые годы жили счастливо и согласно, и потом у них никогда не случалось ругани; забытые мелочи в одночасье встряхнули память и казались сейчас особенно важными и необходимыми. Жена всегда держалась ровно, и он подчас тешил себя спасительной мыслью, что она в заботах ничего не замечает; ему этого хотелось, и он прятался за эту мысль; но она-то покойной была оттого, что ей некуда было деваться, и старела на глазах, неожидан-

ный стыд почти выдавил на глаза слезы, и Захар почувствовал загоревшуюся кожу лица; ему захотелось подойти к жене и увести ее отсюда, нечего ей слушать, как его будут совестить, и так ей горько; все происходящее показалось ненужным, было похоже, будто дети затеяли игру и еще в самом начале заскучали. Он тоскливо огляделся. В тот же миг раздался громкий голос крестного, Захар вздрогнул; крестный, стоя у полутемной стены и подняв руку с зажатой в ней фуражкой, негромко, но так, что было слышно всем, сказал, обращаясь к председателю райисполкома:

— По какой такой надобности, товарищ начальник, мы должны Захара Дерюгина с председательства долой? А может, мы без вашего подробного разъяснения не желаем этого?

— Не жела-ам! — прогудел кто-то у самой двери, и Захар не разобрал кто, показалось, Микита Бобок; вслед за этим сердитым возгласом «не жела-ам!» клуб, довольно просторное помещение, сложенное из двух кулацких изб, наполнился гулом голосов; вскочив на ноги, люди размахивали руками и кричали, и в неясно усилившемся гуле голосов, перенесшемся и за дверь, и на улицу, где стояли не вместившиеся в помещение, пробивалось недовольство и недоумение народа. Сильно застучавший кулаком по столу Кошев понял, что начал собрание с неверной ноты, выпрямился, напрягши скулы, пережидая нараставшую волну человеческих голосов.

— Не жела-ам!

— Отчего это наш председатель не по нутру начальству?

— Эй, рик! Чего загорелся-то, не нравится?

— Не согласны Захара снимать!

— Нет нашего согласия! Это что ж за советская власть — народ неволить. Не согласны!

— Расходись, мужики, по домам, нечего воду толочь! Земля наша артельная — воля общая, не согласны на замену головы!

— Постой, постой, ты за себя одного балакай, за все обчество неча! — подхватился со своей скамьи Фома Куделин, задрав заросший редкой щетиной подбородок и всем своим петушиным, взъерошенным видом показывая, что час его пробил и сейчас он скажет о Захаре одному ему известную правду.— А у меня вот другое... дорогой товарищ из району. Захара надо не только

с председателев свалить, а из колхозу тоже вычистить и вместе со всей семьей выскоблить по етапу в Сибирь подале. Вот мое разумение. А если вы его доподлинно снимете, могу больше сказать.

Примолкшее ненадолго собрание взорвалось негодующим гулом и криком. Куделина со всех сторон дергали, рвали, принуждая сесть; ворочая белыми от страсти глазами, он тоже кричал и отбивался; Кошев, сознавая, что делает нехорошо, но что необходимо ухватиться хотя бы за эту кстати подвернувшуюся соломинку, подняв руку, не без труда перекрыл общий гвалт своим густым громогласным голосом:

— Молчать! Молчать! Каждый имеет право высказать свое мнение, на то и общее собрание. Продолжайте, пожалуйста, товарищ... ваша фамилия?

— Мы — Куделин,— скромно сказал Фома, оправляя на себе растерзанную свитку и продлевая значительность минуты.— Мы правду, товарищ начальник, говорим. Захар Дерюгин — какой он председатель? Бандит он сущий, по договору с нашим шурином Юркой Левшой нас пьяными напоил, а за это время, пока мы спали, нашу хату с хутора на село переставил. С тех пор мы трохи в голове тронутые, по ночам спать боимся, как бы куда не унесли, а от этого работать не можем, ослабли до конца. И его прихлебателя из подкулачников, Акимку Поливанова, надо вместе с Захаром из колхоза вычистить немедля, а то они...— Договорить Куделину не дали, заорали, затопали, засвистели.

— Лодырь ты! — взорвалось собрание.

— Боковушник, пролежни нажил! В шею его отседова!

— Тебя в Сибирь и отправить, там хоть бы работать заставили! Ишь себя величает: мы да нас! Черт кудлатый! Лежебока!

— Тю-ю! — отбивался Фома Куделин и, увидев пробиравшуюся к нему из другого угла свою бабу с недобрым румянцем на щеках, поскорее сел, угнул голову, стараясь стать незаметнее.

Мягко и трудно сдавило в груди у Захара, он почувствовал, что вот-вот осрамится перед всеми, пустит дурную слезу: уже жжет глаза, и лицо застилает сухой мглой; в этот момент к нему выплыло лицо Анисимова, глядевшего с деланным сочувствием, и Захара с этого момента взяла и повела через омуты и дебри безошибочная обостренная интуиция; Анисимову нужен был праз-

дник на людях, ему немногого не хватало до высшей точки. Ладно, потерпит, решил Захар с ожесточением, сойдет для него и так. Возмущаться и бить себя в грудь он не станет, не станет орать и подлаживаться под недовольство людей. Можно было бы наплевать на Анисимова и на его радостное ожидание, главный корень в другом, беду исправить уже нельзя. И Анисимов это знал и ждал лишь одного: еще большего своего верха через его, Захара Дерюгина, всенародное унижение.

Собравшись и приготовившись сердцем, Захар сутуло поднялся, выбрался из-за стола, и сразу кончилась скованность и неуютность; стряхивая с себя излишний груз, он посмотрел на ряды знакомых лиц; люди затихали под его взглядом.

— Подожди, крестный,— остановил Захар Свиридова, пытавшегося высказаться вторично.— Дайте же и мне самому слово. Слушайте, земляки и землячки. На погост вы меня отволокли? Не надо, я живой и долго жить думаю. Напрасно расшумелись на товарища Кошева из района, он правильно ведет дело, виноват тут не он, а я сам. Он только выполняет свой долг честного большевика и должен выполнить его до конца.

— А ты, выходит, большевик нечестный? — закричал Юрка Левша, торчком выскакивая из общей массы.— Объясни нам, коль мы такие неграмотные. Кругом-то вертеться проку мало, давай в самую середку жарь, выдюжим, не бумажные.

Захар выслушал, спокойно глядя на него, затем засмеялся:

— Успокойся, Левашов, успокойся, объясню. Был большевиком, большевиком и останусь и за советскую власть жизнь положу, коли придется, потому что наша власть, родная, нами сделанная. В остальные тонкости вдаваться недосуг, сами дойдете. А с председателей прошу меня освободить, товарищи дорогие, прошу поддержать мою просьбу, освободить меня от председательских обязанностей. Устал я, сколько лет без передыху. А что умею пахать да косить, всякую мужицкую работу делать, не мне вам говорить, работу я обещаю вам хорошо исполнять. Насчет Акима Поливанова говорили, по моему пониманию, чтоб побольнее меня укусить. Напрасно мужик страдает. Поливановы — хорошая, работящая семья, вредно отлучать ее от колхоза. А я что ж... постоял — и хватит, надо и другому пробу сделать, может, справнее меня обчеству послужит.

Захар забыл об Анисимове, говорил всем, и ему было радостно говорить, и был он весь звенящий; той же обостренной сейчас до предела внутренней силой он за какие-нибудь пять минут вновь поднялся выше Родиона Анисимова, их внутреннее несогласие друг с другом не имело больше значения и смысла; Захар широко и ярко улыбнулся навстречу Анисимову.

— Ну вот, Родион, думаю, поддержишь, потому больше других старался и опять же при должности состоишь, твоя обязанность поддержать, все тонкости в моем деле не один раз прощупал, тебе и козыри.

Он говорил и улыбался, и Анисимов, сидевший на первой скамье, справа, встал, одернул гимнастерку.

— Незачем отговаривать человека, видите, твердо решил — сам себе большой. Не совру здесь, высказав перед собранием свое мнение. Захар Тарасыч был хорошим председателем, отлично вел хозяйство. У любого может случиться заскок, в данный политически важный момент нехорошая, несоветская муха ужалила Захара Дерюгина. Говорят, семь раз отмерь, один отрежь, недаром говорят. Надо бы и Захару Тарасовичу крепенько подумать, мало ли кто не оступается, важно вовремя из колдобины вышагнуть на ровную дорогу.

— Не согласны! — бухнул Микита Бобок и растерянно замолчал, часто моргая и оглядываясь в ожидании поддержки; Анисимов, повернув к нему голову, ласково переспросил:

— С чем не согласен, товарищ Бобок?

— Оставить Захара головой! — оглушающе выдохнул Бобок из задних рядов, напрягаясь в лице.— Он обчеству самый раз по душе!

— Кто хочет высказаться, прошу сюда, к столу,— зло оборвал Кошев; время было позднее, а дело не двигалось с места.

Микита Бобок обиделся и сел на свое место, все уже одурели; Кошев, зелено-бледный от ядреного дыма самосада, то и дело вытирал платком влажную шею и не знал, как свернуть собрание и свести концы с концами. Сколько он ни настаивал закончить дело враз, собрание пришлось переносить; люди расходились недовольные, доругиваясь на ходу; летняя теплая ночь подходила к концу, ярко, в полную силу горели звезды, начинала чувствоваться предрассветная влажность, и по всему селу кричали первые петухи. На другой день по рекомендации районных инстанций колхозное собрание из-

брало председателем одного из членов правления — бывшего красногвардейца Куликова Тимофея Васильевича, он был лет на пять старше Захара Дерюгина и слыл по природе своей работящим мужиком и молчуном. Услышав его кандидатуру, многие густищинцы вначале переспрашивали, кто же это такой, но проголосовали за него довольно дружно, и Кошев перевел дух. С уважением поглядывал он в сторону Захара; тот, с чувством прямо физического облегчения, перестав наконец быть центром внимания, разговоров и пересудов, тут же при всех отдал печать колхоза новому председателю; помедлив, повернулся к Анисимову, оживленно говорившему с председателем райисполкома, оба замолкли.

— Ну, что? — спросил Захар.— Айда, Родион, Павел Семенович, отметим? Так и быть, поставлю пару бутылок на радостях, нового голову прихватим. Пойдешь, Тимофей?

В голосе Захара звучала какая-то бесшабашная веселость. Анисимов и Кошев с молчаливой неловкостью слушали, ожидая срыва или какого-нибудь неожиданного выпада, а Куликов, чувствуя общую неловкость, примиряюще сказал:

— Погодим, не тот коленкор, Захар, брось брыкаться. Мы это дело как-нибудь по-людски обладим, на чужой глаз коросту выставлять не годится. Эх, Захар, в закрытый роток муха не влетит.

— Дурной у тебя норов, Дерюгин,— повернулся к нему и Кошев.— Зря ты грудью на весь свет кинулся. Один и есть один. Зря,— закончил он с каким-то сожалением.

Захар покривил губы, молча повернулся и вышел; он победил, но ему сейчас было тяжело такое знание, и он шел по улице, сгорбившись, отмечая по пути любой встречный взгляд односельчан. Каждый норовил остановиться, поговорить. «Раньше надо было доброту высказывать,— беззлобно и безразлично подумал Захар.— Впустую махать руками дело нехитрое». Он был спокоен, его лишь давила мысль о том, что он свалял большого дурака и зря он тешит себя какой-то надеждой. «Родился человек в селе, от отца крестьянина,— думал он,— значит, его вечный удел — земля, пашня и пажить, пастбища и топор плотника его удел, пока должен быть на земле хлеб, никто не может отнять, и в этом сила пахаря и сеятеля».

Навстречу ему выскочили сыновья-однолетки: черноголовый толстый Егорушка и белесый, тонкий, как прутик, Колька; Егорушка косолапил, нетвердо ступая толстыми ножками, и сухая пыль брызгала из-под них в сторону, а Колька все старался и не мог его обогнать и тяжело сопел; Захар остановился и с улыбкой подхватил на руки сопевшего Кольку.

11

Вечером того же дня, когда Захар Дерюгин выложил на стол свой партийный билет, Пекарев долго расспрашивал Брюханова о Захаре, он не один раз слышал на пленумах обкома его фамилию, и в газете его частенько упоминали и хвалили; внутренне смущенный поступком председателя густищинского колхоза, Пекарев и с Брюхановым чувствовал натянутость в разговоре, тем более сам Брюханов, подавленный случившимся, не очень-то шел на откровенность, часть вины Захара Дерюгина он молчаливо перекладывал, и не без основания, на себя. В глубине души он даже отмечал смелость Захара, сам на такую прямоту он уже не был способен, и, однако, поступок Захара, его фронтового дружка (ничего, удружил дружку!), нельзя оправдать и замолчать теперь уже, когда все вышло наружу; нужно признаться, переоценил он свои возможности, такие выбрыки со стороны Захара — полная неожиданность. Брюханову было неловко перед Пекаревым; какое он теперь вынесет впечатление в область, совпало же, переезд в Холмск на носу, все-таки редактор областной газеты, член бюро обкома, вообще человек, проработавший в области чуть ли не всю жизнь. Брюханов привык оценивать людей с первого раза (кстати, это качество в нем отмечали и другие) и верил себе и сейчас, несмотря на невыгоду своего положения, пытался составить определенное представление о Пекареве.

Пекарев понравился Брюханову, хотя с первой же минуты общения с ним Брюханов почувствовал, что близко они не сойдутся; Пекарев был старше всего на три года, но Брюханов выглядел здоровее своего гостя, и цвет лица у него был ровнее и гуще, и голос звучал глубже, звучнее; Пекарев же с висков уже начинал лысеть, белесые, цвета свежей соломы, волосы заметно отступили, открывая высокий лоб, и глаза у него были

светлыми, даже какими-то жидкими, подчас они надолго останавливались на одном предмете, тогда его крупные рыжие руки словно что-то перебирали перед собою.

— Мужик попался занозистый,— вежливо посочувствовал Пекарев, имея в виду Захара Дерюгина, который определенно понравился ему.— У вас все здесь такие?

— Есть,— неопределенно отозвался Брюханов, скрывая возбуждение.— Данный случай, конечно, особый, признаться, никак не ожидал. Именно от Захара Дерюгина. Вместе у Котовского служили, в одном эскадроне, рядом спали, кони рядом стояли. Казалось, знаем друг друга.— Брюханов посмотрел прямо в глаза Пекареву.— Тут другое, Семен Емельянович, в отношении Дерюгина я всегда оказывался в положении старшего. Не по возрасту, оба безусыми еще были, он всего на год старше, а по образованию, по жизненному опыту, что ли, а потом и по положению. Такая начальная картина. Очень неприятное дело, меня совесть мучает, не так все пошло, он товарищ верный, характер иногда подводит.

— М-да, сейчас не время для сантиментов,— не сразу отозвался Пекарев откуда-то издалека, продумывая свою, занимавшую его мысль.— Кому какое дело сейчас до наших характеров?

Брюханову хотелось сказать, что все это чепуха: сантименты, характеры и прочая словесная мишура, а вот что ему плохо сейчас — реальность; потом он не мог точно определить, почему проникся к Пекареву доверием; казалось бы, ни с того ни с сего он стал рассказывать о себе и о Захаре Дерюгине, начал издалека, с незапамятных времен, словно с наслаждением выкапывая какие-то забытые случаи; пожалуй, так оно и было, и он, не надеясь на собственную беспристрастность, хотел еще раз вынести все случившееся между ним и Захаром Дерюгиным на суд третьего и тем облегчить себе душу. Пекарев слушал внимательно, ему действительно хотелось понять; однако, слушая сбивчивый рассказ Брюханова, он испытывал двойственное чувство: с одной стороны, ему хотелось как можно ближе настроиться к Брюханову, чтобы понять его до конца, а с другой — его не оставляло ощущение, что Брюханову почему-то нельзя и не хочется решать окончательно судьбу Дерюгина самому и он ищет, на кого можно было бы

переложить решение, и этим третьим оказался он, Пекарев, подвернулся в нужный момент. А ведь этот третий мог и ошибиться в своих выводах, ему действительно сложно было решать судьбу незнакомого ему человека, и если он не ошибается и верно определил характер Брюханова, то тот сейчас больше переживает как партработник — не смог справиться с характером, недоглядел. Для Брюханова это лишь эпизод, пусть неприятный, с осложнениями, но эпизод, все это для него скоро перетрется и забудется, новые дела отодвинут и заслонят случившееся, а для Дерюгина это катастрофа, конец, может и не подняться. Жалко мужика.

Пекарева все больше занимал Захар Дерюгин, человек фактически ему незнакомый; дело в том, что Пекарев давно пробовал писать, его интересовали характеры яркие, самобытные, но писать времени не оставалось. Газета забирала все силы, еще и семье нужно было время уделять, дочь росла, у жены характер нелегкий, и все-таки вечерами Пекарев выкраивал час-другой, в предвкушении блаженных минут доставал стопку бумаг и перед началом таинства в волнении закуривал, нервно ходил по комнате.

У них была большая четырехкомнатная квартира, и он никому не мешал, но ровно в двенадцать появлялась жена, в халате, с собранными в пышную косу на ночь волосами, звала его спать; он торопливо прикрывал исписанные листки какой-нибудь версткой, специально хранившейся для этого под рукой; его литературные занятия она считала пустой тратой сил и всеми силами стремилась отвлечь его и вернуть на землю и в этом достаточно преуспела. Ее женская фантазия насчет его вечерних занятий была неистощима, и он часто недосчитывался написанных страниц, хотя Клавдия вместе с ним рылась на полках, безуспешно разыскивая исчезнувшие страницы; одним словом, рукописи он стал запирать у себя на работе, в сейфе, и ключи от сейфа всегда держал при себе. Много сил уходило на эту негласную борьбу, она выматывала обоих. Отводил душу Пекарев, когда жена уезжала к матери в Новосибирск. Тянули к себе Пекарева характеры сильные, противоречивые; а писал он о детях и для детей, может быть, потому, что по природе своей был человеком мягким; в редакции его любовно звали «наш старик».

Брюханов, закончив, внутренне потух, как-то весь опал, он чувствовал себя не в своей тарелке, хотя ста-

рался не подавать вида. Глаза Пекарева сейчас были далекими, слушая исповедь Брюханова, он думал о том, другом человеке с копной буйных непокорных волос, видел его руку, неверно нащупывающую вожжи, слепую скачку по булыжнику мостовой; пытался представить себе, что тот, другой, а не этот, облеченный властью, сейчас делает и что он, Пекарев, делал бы на его месте.

— Значит, говорите, Дерюгин усыновил от умершей нищенки младенца? — Голос Пекарева был мягко-раздумчивым и удивленным.— Ведь своих же трое, факт из ряда вон выходящий, в мужестве вашему Дерюгину не откажешь.

— Да, вот при такой доброте — такие срывы, как сегодня на бюро. И это в присутствии посторонних людей, при всем кворуме. А представьте его в своей вольнице да без узды, каких он дел натворить может! Впрочем, здесь и моей вины достаточно,— неожиданно вырвалось у Брюханова с досадой.— Нужно было в самом начале потверже с ним, а у меня тоже прошлое сработало,— все с тем же выражением досады на лице, отражавшим недовольство собой, говорил Брюханов.— Я не знаю теперь, как можно исправить. Село есть село, там любая мелочь на виду, а это не мелочь.

— Что ж, анархизм у нашего крестьянина — не такая уж редкая черта.— Пекарев постарался перевести разговор в иную плоскость.— Все же, согласитесь, очень любопытный характер, сильная, цельная натура. Конечно, клякса получилась, что-то сделать нужно, такие партии необходимы. Человек — не глина, согласитесь, не весь человеческий материал легко поддается обработке, нужно терпение и время. Его нам и не хватило, вы знаете, мне ваш предрика не понравился, неумный у него азарт в этом деле был.

— Я сделал все возможное, Семен Емельянович,— сказал Брюханов после раздумья.— По-моему, он на этой бабе свихнулся, мне самому хотелось разобраться, представьте, ездил в Густищи, видел эту Маню.

— Ну? — с любопытством спросил Пекарев.

— Красивая женщина, глазищи в пол-лица, д-да, такой огонь под полой не спрячешь, очень хороша,— сказал Брюханов с едва заметной усмешкой.— Знаете, по-мужски вам скажу, понять его можно.

Пекарев впервые за время разговора простодушно и по-детски засмеялся, подумав о своей жене.

— Определенно можно, Тихон Иванович, вам, человеку холостому, этот вопрос еще не вполне ясен. А я во-от как его уяснил,— стукнул себя по загривку Пекарев.

— Поэтому и не спешу, Семен Емельянович,— улыбнулся Брюханов.— Захар к легкому привык, еще зеленый был, на него девки вешались, вот и не выработал твердой линии в этом вопросе.

И хотя Брюханов говорил шутливо и доброжелательно, Пекарев со свойственной нервной натуре чуткостью уловил в его голосе скрытое раздражение. Как бы они оба к нему ни относились, судьба Захара была предрешена, оба не сомневались в этом, но продолжали говорить о Дерюгине, прощая себе легкое лицемерие. Случай не мог пройти без серьезных последствий, честно говоря, если бы они и очень захотели помочь Захару Дерюгину, нужно было сначала нащупать подходы.

— Я слышал, вы в обком переводитесь,— неожиданно переменил разговор Пекарев.— О вас Константин Леонтьевич хорошо отзывался.

— В отдел сельского хозяйства переводят.

— Надо думать, в отделе долго не засидитесь, большое строительство в области разворачивается, пару крупных объектов к нам привязывают.

— Послушайте, Семен Емельянович, пора бы и перехватить, а! считаете? — спросил Брюханов, уходя от ненужной сейчас определенности в разговоре.— Знаете, с утра не ел.

— Что ж, Тихон Иванович, не возражаю.— Пекарев тоже проголодался, только стеснялся прервать исповедь Брюханова; он оживился, рассовал в портфель бумаги, растрепанные блокноты, карандаши, которых возил с собой множество, потому что часто терял, щелкнул замком. «А может,— подумал он,— Брюханов и отличный мужик, жестковатый немного, так ведь слюнтяев само время перемалывает. Так что сойтись с Брюхановым покороче, узнать его ближе, раз уж придется вместе, считай, работать, не лишнее».

— Понимаете, Семен Емельянович, у меня мать в больнице вторую неделю, стенокардия, приходится промышлять на стороне. У нас ничего готовят, перекусить можно, тут недалеко.

Они вышли из райкома, попрощавшись с высокой худой уборщицей тетей Стешей, давно уже недовольно гремевшей ведром — они мешали ей убирать; городок к вечеру совсем спекся от жары, листья лопуха вдоль

заборов свернулись и обвисли; на улицах почти никого не было; люди отсиживались по домам или в садах, пропадали на речке. Пекарев любил такие спокойные, сонные городки с их удивительно размеренным бытом, с их немудрящими новостями. Эти маленькие старинные городки, ставшие районными центрами, втайне гордились своей горбатой брусчаткой, вековой кладки старинными дворянскими и купеческими особняками, зубчатыми стенами древних монастырей, дешевой жизнью. С Брюхановым почтительно раскланивались редкие прохожие, и Пекарев постепенно впал в какую-то размягченную добрую созерцательность, да, именно так, все главные жизненные процессы проверяются здесь, и только здесь, в этих глубинных, казалось бы на первый взгляд не подверженных особым переменам местах; отсюда бьют студеные ключи, разливаются широкие водоемы.

12

В первые дни Захар думал, что боль от случившегося уже отошла от него и теперь он сам себе полный хозяин, не будет подхватываться опрометью по каждому шороху в ночь и за полночь; на людях он был весел, с постоянной усмешкой в глазах, дома же ни с кем не разговаривал, старался поесть от семьи отдельно. Что-то темное, дикое зрело в нем, и он успокаивался только возле Мани; теперь он открыто жил с Маней, чуть не каждую ночь уходил к ней, возвращаясь домой на рассвете, не таясь больше ни от жены, ни от соседей; Ефросинья пыталась раза два затеять разговор, он бледнел от близкого гнева, глаза у него становились бешеными, и она отступалась; где-то в глубине души она жалела его, чувствуя, что мужик дошел до крайности. Больше всего Ефросинья страдала от его безразличия, нежелания хотя бы попытаться скрыть свой и ее срам от людей; в хозяйстве все валилось, и если бы не упорство бабки Авдотьи, давно бы распались последние основы.

Работать Захар ходил по наряду, стараясь поменьше быть на людях, а если и приходилось оказаться где-то в самой гуще, он большей частью молчал, и его, словно понимая, не задевали и не трогали. К концу августа управились с хлебами; на полях гудели молотилки, шла

скирдовка; Захар любил подвозить снопы или стоять на скирде, пропуская через руки непрерывный поток золотистых, утяжеленных с одного конца зерном снопов; в сухую, знойную погоду подбрасываемые снизу на длинных вилах снопы жгуче брызгались зерном; Захар ловил их на лету, укладывая под ноги себе ровными рядами; скирды он выкладывал и вершил, несмотря на свою сравнительную молодость, мастерски, крытая остью крыша получалась ровная, словно литая, и Захару удивлялись даже многомудрые старики; скирды Захара стояли, словно храмы в равнинах, полные скрытой и могущественной жизни, и никакая непогодь не могла прошибить их; они могли стоять и год, и два, и три в полной сохранности от непогоды, и только мыши под этой благополучной, непроницаемой для сырости крышей вели непрерывную разрушительную работу, размножаясь неимоверно в тепле и сытости.

В редкие минуты затишья Захар любил отдыхать, с высоты оглядывая далеко синеющие горизонты; в такие минуты он, оберегая свое одиночество, даже не спускался вниз покурить, какая-то беспричинная тоска рождалась и жила в нем, жестокая и радостная мука сердца делала его зорче к другим и беспощаднее к себе, но он по-прежнему не мог бы ясно определить и выразить свои ощущения и чувства. Спасением от жизни и от себя была для него Маня; оказываясь рядом с нею, он забывал все свои невзгоды и беды, он жил, ничего больше не замечая и не думая.

И как-то в самый разгар скирдовки (работа закончилась затемно, пала первая роса) Захар, возвращаясь полем домой с острым, томительным чувством желания быть сегодня с Маней, увидеть Илюшку, притронуться к его шелковистой головенке, разогревался шаг от шагу; натруженные за долгий день работы ладони привычно отяжелели, и он чувствовал их гудящую, усталую силу. Идти было почти от самого Соловьиного лога, версты четыре. Теплая, душная, темная, хоть глаз коли, ночь еще не остыла от летнего зноя; порывы густого августовского ветра наносили запахи то ли уже усыхающего жнивья, то ли новой зелени, успевшей прорасти из осыпавшегося на землю во время жатвы зерна. Захар шел один, тяжело шурша жнивьем, и раза два из-под ног у него срывались перепела с резким чуфыканьем в крыльях; Захар вздрагивал, придерживая шаг, и пытался рассмотреть уносящихся во тьме

птиц; скорая ходьба не остудила его, и приближение села лишь усиливало желание видеть Маню. Он заметил ее сегодня утром в толпе баб, по-девичьи повязанную яркой, цветастой косынкой, и сразу же отвел глаза к переполненной мужиками телеге, нехотя покашлял. Он думал о ней весь день, и непривычная, расслабляющая жалость за ее изломанную жизнь мешала ему; не однажды в последнее время он предлагал ей бросить все, уехать, и ее молчаливое сопротивление вызывало в нем досаду и недоумение; она говорила о детях, на чужом горе счастья, мол, еще никто не сыскал; под бабьей покорностью и податливостью, словно кость, проступило упорство, с удивлением он отметил ее твердость, злясь, садился на край кровати курить; одним прикосновением она опять поворачивала его к себе.

— Ни один черт не хочет меня понять,— сказал он ей, чувствуя, что только здесь он может обмякнуть и отдохнуть.— Баба ты, Маня, у меня душу скрутило в три погибели, каждый дурак рожи показывает. А самой тебе какой прок? Мало ревела по углам? Там люди чужие, до нас им дела не будет, жизнь сызнова начнется.

— От живых-то детей, Захар,— слабо шевельнулась она рядом.

— Помогать буду, что я им здесь? Чужой как есть, нельзя мне больше так, Маня, совсем нечеловеком стану.

— Нескладный ты мой,— пожалела она и подумала вслух, выдавая свои сокровенные, смятенные мысли: — Хорошему человеку всегда так, одни обсевки достаются. Терпеть надо... Судьба от бога.

— Бабье твое рассуждение, Маня.— Он задавил вздох, хотелось опять курить.— Судьба, может, и от бога, только черт ею крутит.

Он шел сейчас безмолвным ночным полем с его скрытой жизнью и бесповоротно решил именно сегодня в ночь переломить судьбу, заставить Маню согласиться с ним, непременно уехать из села; он пойдет на работу, хотя бы землекопом, потом и Маня устроится, пусть хоть Илюшка в городе человеком станет, выучится, может, на инженера.

Захар разволновался и не заметил, как дошел до огородов; рыхлые неровности в межах картошки остановили его, и он, отступив назад, нащупав жнивье, устало двинулся дальше, угадывая, чей огород проходит. Удар сзади по голове вырвал у него землю из-под ног; он еще успел услышать приглушенное, утробистое

«а-ах!», словно кто всадил в неподатливый, суковатый пень колун; в короткое мгновение, еще просветленно брызжущим в нем ясным сознанием, он, кажется, уловил, кому принадлежало это хриплое, задавленное «а-ах!», и, падая в темень, к земле, нашел в себе силы рвануться назад на новый взмах решетки, выломанной из ближайшей изгороди, и тем спас себя; новый удар, предназначенный в голову, в затылок, не состоялся, решетка свистнула мимо, и Захар изо всей силы, дробя пальцы о зубы, ударил в светлевший в оскале рот и отскочил в сторону; теперь он по зверовато угнутой голове узнал старшего брата Мани — Кирьяна Поливанова; Кирьян был не один, с младшим братом Митреем, и ничего хорошего Захару ожидать не приходилось. Избы начинались недалеко, метрах в двухстах, но никакая сила не заставила бы Захара закричать и позвать на помощь; мертво стиснув зубы, перехватив у Кирьяна решетку, размахивая ею, он, отбиваясь от нападавших на него братьев, медленно пятился в глубь огородов, к садам и избам.

— А-а, шкура! — услышал он задавленный слепой ненавистью голос Кирьяна.— У нас не вывернешься, ори караул, ори, никто не выбежит. Не на председательстве тебе, живоглот!

Приладившись, Захар торчком пнул ему решеткой в бок. Кирьян с низким воем согнулся, и Захар двинулся на Митрея; тот стоял, припав на полусогнутых ногах, выставив вперед руки со сжатыми кулаками; во всей его позе чувствовались уверенность, напряжение, готовность в любой момент рвануться вперед. Захар был оглушен неожиданным ударом по голове, и сейчас им руководила лишь горячая, тяжкая ярость, она, заставляя замирать сердце, в то же время словно давала ему второе видение; он теперь совершенно ясно различал во тьме своих противников; ему нельзя было оглянуться, оторваться хоть на мгновение от происходящего, он не мог увидеть бледный полукруг луны, вылезший в небе, и заметить разительно переменившиеся поля кругом. Он шел к Митрею, уверенный, что Кирьян пока не оправится от жестокого удара в бок и нужное время покорежится; подняв кол, он сторожил каждое движение Митрея, тихо придвигаясь к нему, он сейчас ясно видел его лицо, блестевшие глаза. Митрей рванулся к нему и закричал; Захар успел опустить кол на выброшенную руку Митрея. Жалея бить колом вторично,

теперь уже наверняка и по голове, выпустил кол и коротким движением подхватил корчившегося Митрея, выпрямив его, тычком ударил в лицо кулаком; сдавленно хрустнуло, Захар почувствовал боль в пальцах. Он забыл на мгновение о Кирьяне, но, как ему показалось, тотчас вспомнил и прянул в сторону, но было поздно. Вторичный удар сзади по голове чем-то тяжелым сшиб его с ног, и, падая, он уже знал, что не встанет, он скрючился, защищая живот и голову, и лишь глухо стонал от ударов ногами; его били в бока, в живот, били долго и беспощадно, и он глухо, почти в беспамятье, стонал; он успел разобрать голос, говоривший, чтобы он бросил таскаться к Маньке, и уже больше ничего не слышал и не чувствовал.

— Стой, стой, Митрей! — тяжело ворочая разбитыми и распухшими губами, держал озверевшего брата Кирьян.— Стой, сволочь, засудят в Сибирь!

Отталкивая брата, пытавшегося еще раз дотянуться до бесчувственно распластавшегося по земле Захара, Кирьян матерился, затем одним коротким ударом сбоку в ухо свалил Митрея на землю. Тот неловко ткнулся перебитой рукой в землю, застонал.

— Расходись,— тотчас сдавленно выдохнул Кирьян,— чтоб твово духу в селе до света не осталось. В Бродни лупи, к Калику, там отлеживайся. А этому хватит, не до баб ему теперь будет, суке. Пошли, ну? — прикрикнул он, и они, пригнувшись, вороватыми тенями шмыгнули в разные стороны.

Захар остался лежать с изуродованным лицом, нижняя губа у него лопнула, глаза запухли, кровь шла изо рта и из ушей, но все меньше; привлеченный запахом крови, откуда-то выскочил пес Фомы Куделина, дыбил шерсть на загривке, рыча, метрах в пяти от Захара осел на задние лапы, настороженно вытянул острую морду вперед; пес не решался подойти ближе, и поэтому можно было определить, что Захар изредка шевелился; пес то переходил с места на место, то неподвижно сидел, иногда ложился, словно решившись караулить Захара, затем вставал и бегал помочиться к изгороди неподалеку, из которой и был выломан кол, валявшийся тут же, недалеко от Захара. Пес дождался рассвета; половина луны еще висела, незаметно бледнея над горизонтом, когда в противоположной от нее стороне начала разгораться заря; за ночь пала обильная роса, и это помогло Захару, он стал приходить в себя. Он увидел

светлевшее небо в какую-то крохотную щель; не в силах что-либо вспомнить, он пытался шевельнуть головою, в ней остро вспыхивала боль, опять бросая его в беспамятство, и все-таки еще через час, когда уже и солнце вышло, он смог сесть, тяжело поворачивая чугунной головой, с трудом выталкивая языком изо рта сгустки запекшейся крови. Мир кругом был для него чужд и страшен, он словно остался в этом мире совершенно один, и его пугали отсыревшие за ночь от росы поля, поднимавшееся в огне солнце, село, темневшее в стороне мокрыми крышами. Словно познабливающим сквозняком, от всего тянуло ненавистью, и, когда он поворачивал заплывшие глаза к солнцу, немыслимый ярко-красный огонь жег его и он чувствовал, как рвется кожа. Встать и идти он не мог, он знал это, звать на помощь не хотел, он сейчас боролся не только со своей немощью и унижением; против него разгорался этот ядовитый ярко-красный огонь, не оставалось больше ни отца, ни матери, ни детей; и он должен был встать и наконец с трудом, мыча от боли, взгромоздился на нетвердые, подламывающиеся ноги. Он должен был кому-то доказать свое право идти и сказать всем, что плюет на них, они должны были увидеть сделанное, и он встал и, путаясь ногами в земле, передвинулся на шаг, неловко держа голову. Он встал, и в сердце его плеснулось злое торжество; только так он мог отплатить, победить себя и всех остальных. С каждым шагом Захар становился увереннее, и боль словно освобождала его, падающие, изломанные очертания выравнивались и утверждались на своих местах, не плясали больше в глазах; он одолел огороды, вышел на околицу и, осилив ее, еще больше укрепившись, пошел главной улицей Густищ, вбок светящему через крыши и утренние дымы солнцу; и в груди у него стонало и рвалось от победы. Ему казалось, что идет он свободно и легко, но со стороны он едва двигал ногами, волоча их по дороге, загребая пыль, первая встретившаяся ему баба с полными ведрами на коромысле глухо охнула и попятилась с дороги на обочину; ее страх лишь подбавил ему мстительной радости; он шел, распространяя по пути, по всему селу тяжелые, притягивающие к нему волны, и скоро возле палисадников появились люди, негромко и испуганно переговариваясь, тянули вслед ему головы, а некоторые и перебегали вслед, но никто не решался подойти ближе или окликнуть; старухи шептали

и крестились, мужики, встречаясь глазами, отворачивались друг от друга, бабы утирали фартуком глаза, и только деревенская дурочка Феклуша, вывернувшись откуда-то, двигалась следом в небольшом отдалении от него, по-ребячьи быстро перебирая босыми грязными ногами. Происходило то, чего никто не мог понять и осмыслить; потом почти полгода об этом велись разговоры в Густищах, от избы к избе передавались старухами подробности и предположения; баба Володьки Рыжего, Варечка, вспоминая, всякий раз принималась плакаться о потрескавшихся в это время от недосмотра в печи двух новых чугунах, всякий раз добавляя о недоброй примете, не уставая при этом вздыхать о людском бесстыдстве. Скромно поджимая губы, она добавляла, что и другие грешат, да срам свой не выставляют напоказ всему свету, а уж тут и язык немеет.

По улице шел Захар Дерюгин, изуродованный, не похожий сам на себя, что-то огромное, темное наполняло его и, каждый чувствовал, делало хорошо знакомого Захара Дерюгина непонятным, пугающим. Ему было плохо, все это знали, необъяснимая особая сила его движения удерживала в отдалении; к нему сейчас никто не отважился бы подойти, остановить, чем-нибудь помочь. И еще приковывала всех к месту необычность. В селе, случалось, били безжалостным звериным боем за девок, по иной какой вражде, но никто вот так не решился бы пойти посреди белого дня по улице изуродованным, с распухшим, перекошенным лицом. Битый — значит опозоренный, неправый — старая деревенская истина говорила отчасти в глазевших на Захара людях, и то, что он шел по улице, ни на кого не обращая внимания, опрокидывало все привычные представления; происходившее сейчас напоминало похороны, хотя посередине улицы шел живой человек, шел, отделив себя от остальных невидимой, в то же время непреодолимой преградой.

Первым опомнился крестный Захара Игнат Кузьмич, двинулся было рядом, стал что-то говорить; Захар прошел мимо тем же неверным, медленным шагом, не обращая внимания; Игнат Кузьмич растерянно отстал, выражая всей своей фигурой горестное недоумение. И вот в момент наивысшего любопытства, достигшего у некоторых степени потрясения и столбняка, навстречу Захару показалась Маня. Вначале она шла к нему, как завороженная, затем со сбившимся на плечи плат-

ком, концы которого болтались у нее за спиной, бросилась к нему и, схватив за плечи, дрожа от страха, забыв обо всем на свете, прижалась к нему лицом и тут же, отстранившись, во всей силе своей больной, неизбывной тоски, ничего не помня и ни о чем не думая, кроме него, каким-то просветлением любви определив неотложный необходимый момент, чтобы остановить и привести его в себя, замерла перед ним, готовая скорее погибнуть, чем отступиться. Он не видел ее, просто перед ним встало чье-то лицо, залитое слезами; он лишь ощутил перегородившую ему дорогу силу, и она была не меньше распиравшей его изнутри; он удивился и, чувствуя близкий запах чего-то знакомого, волнующего, словно выныривая из густого тумана, стал различать кроме дороги перед собой еще и людей у плетней и палисадников; его внимание сосредоточилось на Мане, на ее лице, в котором светились трепетной жизнью огромные, полные любви, боли, страха яркие синие глаза; и он словно опал, вернулся из какой-то неизвестности и снова стал обыкновенным Захаром Дерюгиным. Он почувствовал боль и разлад во всем теле; Маня осторожно обняла его, все с тем же синим огнем в глазах медленно опустилась перед ним на колени и стала целовать распухшие, изуродованные руки, густо запекшуюся на пальцах кровь.

— Захар, родной,— выталкивала она из себя сквозь душившие ее слезы.— Кто же это, звери... господи!

— Братья твои, Маня,— неразборчиво выдохнул он откуда-то сверху (разбитые, распухшие губы не шевелились); никто бы не мог услышать, тем более понять, но Маня поняла; мгновенная бледность залила ей лицо, и она лишь чаще и сильнее, причиняя ему боль, стала целовать ему руки, стоя по-прежнему на коленях, и все село с оцепенелым любопытством и обмиранием глядело на них.

— Дождались, волки,— шептала Маня, ни на мгновенье не засомневавшись, что Захар перенесет свою обиду и на нее.— Выждали времечко, проклятые... Родной, родной... Ну, ужо отольется им!

— Люди кругом,— Захар пытался поднять ее с земли, но сил у него не было, и пальцы лишь бессильно скользили по ее плечам.— Поднимайся, Маня, поднимайся,— сказал он со злом.— Все село собралось... Стыдоба!

— Ты мне хоть какой искалеченный люб, Захар.— Он увидел в ее глазах тихую решимость и смертельную любовь к нему и каким-то иным, чем до сих пор, чувством понял ее; вынесенное им из-за Мани ничто по сравнению с ее мукой и счастьем; это прояснило его.

— Что теперь моей бесстыдной головушке,— бессвязно говорила Маня.— Весь мир смотри: ты моя мука, а коли бросишь, забудешь,— ни слова не скажу. Только знай, Захар: разлюбишь, тут же и смерть моя, ходить буду и смеяться, а внутри труха одна да черви.

— Встань, Маня,— попросил он тихо, и она, подчиняясь этой тишине в его голосе, поднялась с колен, и в тот же миг оба они увидели, что к ним наискосок через улицу бегут две тонкие фигурки; Маня тотчас признала старших детей Захара, Ивана и Аленку; они набежали на Захара с Маней, и Маня от неожиданности отшатнулась назад. Не увидев, скорее почувствовав в толпе застывшее лицо Ефросиньи, Маня молча, не говоря ни слова, с бледным, решительным лицом и все с теми же отблесками только что пережитого безумного счастья самоотречения (она не могла знать или думать об этом, просто испытывала какое-то чувство обессиливающей радости за свой поступок, и ей хотелось плакать), отодвинулась от Захара и ушла; люди молча расступились перед нею, и Ефросинья, провожая ее глазами и видя только ее, тоже поняла Маню, и поняла, что проиграла окончательно. Ей хотелось кинуться к Мане, вцепиться ей в волосы, хоть один раз выместить на ней все обиды, пусть бы набежали люди, стали бы их растаскивать; ей хотелось биться в чужих сильных руках и так же, как Маня несколько минут назад, всенародно, на всю деревню каяться и признаваться в своей проклятой слепой бабьей любви к Захару, что-то кричать и кому-то грозить, но рядом были дети. И Захар косо, вторым зрением видел лицо Аленки, своей дочери, лицо, на котором в полудетской гримасе смешались страх, стыд, отвращение и жадное любопытство; и это оказалось лишней каплей, хлынуло через край; он облегченно вздохнул и рухнул в темень, податливо и готовно расступившуюся перед ним.

Маня, разбитая и оглушенная случившимся, никуда не выходила и весь день пролежала на своей половине лицом вниз в полубеспамятстве. Заглядывала Лукерья,

бестолково совалась из угла в угол; робко просовывал в дверь голову Илюша; у нее недоставало сил поглядеть на него и успокоить; лежа без движения, она и сама не замечала, как все больше обретает единственно возможное и правильное решение, а когда ясно осознала и осмыслила это обретение, подумала, что дальше ей нечем будет жить и теперь она мертвец, без тепла и радости в сердце.

К вечеру, не выдержав, Лукерья, повертевшись и повздыхав у большого, красиво окованного медным узорочьем сундука с Маниным приданым, так и лежавшим без толку, остановилась над дочкой, заплакала.

— Господи, непутевая,— запричитала она в отчаянье.— За какие грехи свалилась ты на мою головушку. Стыдобушка, на люди не выйдешь... к чужому мужику выскочила всему селу на дивованье... Счас же подымайся,— потребовала Лукерья, меняя и голос, и выражение лица.— Пожри встань, в гроб себя вколотить хочешь? Ребенка на кого оставишь, кому он, круглая сирота, нужен? Дед с бабкой не век протянут...

Маня слушала мать, не находя силы шелохнуться; долго сдерживаемая, потаенная сила прорвалась в ней сегодня помимо ее воли и желания; при виде бредущего одиноко по селу Захара, отъединенного от всего мира какой-то особой силой, она забыла все на свете — стыд, суд людей; любимый, единственно родной человек на глазах уходил, не останови, и он уже никогда не вернется; она бросилась ему навстречу, спасая единственное свое горькое счастье в жизни. Она не думала ни о чем, она спасала его и одним отчаянным усилием разрубила все установившиеся на селе законы и обычаи. Мать говорила о людях — она же больше не боялась их, она могла встать и пойти по селу с тем же вызовом, как утром шел Захар, она уже это сделала, и теперь ей нужно было побыть одной, и она лишь стискивала зубы и молчала в ответ на увещевания матери.

Вечером, в сумерках, к отцу пришел Кирьян, воровски проскользнул в избу; Лукерья как раз собирала на стол, дед Макар возился с Илюшей, а сам хозяин, ожидая ужина, сидел под окнами в непривычном для него сумрачном бездействии. Увидев старшего сына, Лукерья засуетилась еще больше.

— Садись, садись, Кирьян,— сказала она сыну.— Вечерять будем, а то ты и дорогу в батькин дом забыл.

— Работа, продохнуть неколи,— сказал Кирьян, здороваясь с отцом, затем с дедом Макаром и осторожно, словно опасаясь повредить лавку, присаживаясь наискось от стола.— Вишь какое диво вышло, кто-то, видать, по старой злобе бывшего председателя причастил.

Встретив зоркий, враждебный взгляд отца, Кирьян перекинул глаза на деда Макара; тот собирался что-то сказать. Поливанов перебил его.

— Где Митрей? — тяжело спросил он, ощупывая взглядом плотную, заматеревшую фигуру сына, и тот под отцовским взглядом постарался усесться посвободнее, развернул плечи.

— Не знаю,— сказал он в деланном простодушии.— Митрей сказывал вчерась, у бригадира отпросился в Бродни сходить, к Калику. Дела у него какие-то объявились...

— Значит, дела,— в легкой раздумчивости, как бы сам с собой проговорил Поливанов.— Хорошо, коли дела. Калик — мужик с головой, присоветует по-хозяйски.

Лукерья стала опасливо ставить миски с жирными, перетомившимися щами на стол, и в это время, пугая деда Макара с Илюшей и Лукерью, Поливанов увесисто грохнул по тяжелому столу кулаком; в миске заплескалось.

— Дурьи головы! — хрипло взревел Поливанов, тряся перед собой отшибленной рукой.— Сколько раз вам говорено не трогать Захара! Кровь наша с ейной смешалась, теперь не расцепишь! — Поливанов сверкнул глазами на Илюшу; тот, спрятавшись за деда Макара, зажмурился от громового голоса, а Поливанов, вскочив, едва не опрокинув стол, закрутился по избе, затем выхватил из ступы в углу толкач и хрястнул им по деревянной бадье с водой у порога; та распалась враз, разлетелась на клепки, и на полу широкой лужей потекла вода.

— Ахти мне! — жалобно охнула Лукерья, волчком кружась вокруг мужа и не решаясь подсунуться ближе.— Батюшко, батюшко! — крестила она его издали.— С нами крестная сила! Батюшко! Хату развалишь, батюшко!

— Да ты что, батя! — подал наконец голос и Кирьян.— Нехристи мы или как? Неужто на нас подумал?

— Цыц, дурак! — проревел Поливанов, тыча дубовым вековым толкачом в трещавшие под ударами доски

потолка.— Своего ума не нажил, у других бы пришел подзанять! Сестру опозорил на весь свет, отца!

Дед Макар, бесстрашно семеня через всю хату, приблизился к нему, взял толкач, и Поливанов непонимающе уставился сверху вниз в сухое лицо старика, словно впервые увидел его.

— Ты, Акимка, не того,— строго сказал дед Макар.— Не сигай козлом. А ну, пусти, нехристь,— дернул он толкач к себе, и Поливанов неожиданно легко выпустил из рук свое увесистое оружие; дед Макар пошел и поставил толкач назад в ступу; Поливанов медленно повернулся, увидел в дверях Маню, вернее, он различил в первый момент белое пятно ее лица с неподвижными глазами и, чувствуя начало самого неприятного и тяжелого, решил немедля притушить готовый вспыхнуть взрыв, повернулся к Лукерье:

— Чего взъерошилась, ворона? Век прожила, а все у тебя бьется да валится. Подбирай свои черепки, давай вечерять, ночь на дворе!

— Господи, да я что ж,— изумленно охнула Лукерья, бросаясь наводить порядок в избе.— Садись, батюшко, счас, счас,— говорила она, подбирая тряпкой воду с пола.— С кем не бывает, грохнулось и рассыпалось... руки уж не держут, заморилась на работе... новую купим в городе, эта давно течь начала... Все недосуг, сказать хотела...

Медленно, не обращая внимания на мать, Маня прошла мимо отца и деда Макара; Кирьян, сжимаясь под ее взглядом, словно становился меньше и, когда Маня оказалась у самого стола, рядом с ним, с трудом удержал себя на месте, и в его глазах зажглась ответная ненависть.

— Выбрали, значит, свой час, братики,— сказала Маня, трудно и медленно шевеля губами.— За что ж вы его, душегубцы, он же вам теперь по крови родня...

Не выдержав ее тихой, бесконечной всплывшей боли, Кирьян вскочил на ноги и, подавшись вперед, почти застонал от застарелой, густой, как деготь, злобы.

— Молчать бы тебе, срам свой от людей подальше хоронить, а ты как божья матерь выставилась. Глядите! Вон какая у Поливановых! Не отстанет твой кобелина, до конца забьем, вот те крест свят! — Кирьян неумело обмахнул широкую, мослатую грудь крестом, пытаясь в то же время подчинить себе, соответственно моменту, передергивающееся лицо.

— Что ж он тебе, Кирьян, в горле поперек стал? — спросила Маня, из последних сил сдерживая ворочавшуюся, разрывающую ее изнутри беду; она еще помнила, что где-то здесь рядом мог быть Илюша, мог слышать и видеть все происходящее, но тупая, темная злоба, вставшая перед нею в лице брата, вскоре стерла и эту последнюю грань.

— Забьешь, Кирька? А помнишь, как ты меня спьяну на пасху лапал, еле отбилась? Может, ты за это забьешь, Кирька? Али в шутку было? Погляди матери с отцом в глаза, а на меня нечего белки пучить! — почти кричала она вздрагивающим от избытка стремительной силы голосом.— Знай, антихрист косоротый,— она увидела, как брат побелел от детского прозвища «антихрист косоротый», и мстительная радость захлестнула ее,— тут и моему родству с тобой да с Митреем конец. Сама на плаху пойду и вам головы порублю. Я вам говорила: не троньте меня с Захаром! Давно подбирались! Дождались разбойного часа, прозвонил! А какой ты мне брат? Какой? — бросала она Кирьяну наболевшие давно и теперь словно сами собой рождавшиеся слова.— Не брат ты мне, раз судьбу мою до конца изувечить решил. Так вот знай, плетью обуха не перешибешь, а судьбу руками не разведешь! Ладно, Кирьян! Ты на кровь пошел, и я ни на что не погляжу! — Маня стремительно отступила от онемевшего Кирьяна, легко поклонилась ему в пояс и бросилась к дверям; здесь ее, растопырившись и расставив руки, с решительным и грозным лицом встретила Лукерья.

— Пусти, маменька! — прошипела Маня, намереваясь хоть силой прорваться в дверь.

Лукерья стояла не шевелясь, охваченная тем редким приступом гнева, когда и сам глава семьи смирялся и благоразумно отходил от нее. Но именно в этот момент со стороны было особенно ясно видно, насколько схожи мать с дочерью, схожи той, обычно неприметной, силой характера; Лукерья стояла медведицей у потревоженного гнезда, заслонив собой двери; она не знала, что будет дальше делать, но чувство беды, грозившей в один момент разметать и уничтожить ее привычный и налаженный мир, привело ее в редкостное состояние решимости: она была готова хотя бы и своим телом загасить вспыхнувший пожар.

— Куда это ты сбираешься, доченька, стерва бусурманская? — спросила она у тяжело дышавшей Ма-

ни, протягивая к ней руки и этим неловким жестом как бы приглашая к примирению; Маня не приняла ни ее рук, ни голоса.

— В город! В милицию! — кричала она.— Я вас на весь свет ославлю, а этих бандюг,— она метнулась лицом на Кирьяна,— за решетку. Нету такого закону — человека убивать по злобе! Пусть власть разберется! Пусти меня, старая, ты свое отлюбила, мне поперек дороги не становись!

В избе, казалось, была одна Маня, звучал один ее голос; дед Макар ничего не мог понять, сам Поливанов в неподдельном изумлении, словно видел впервые, глядел на жену с дочерью, и так как вмешаться в их поединок не было возможности, он молчал, чувствуя тягостное, ненужное присутствие старшего сына все большим злом; он уважал Захара, даже по-родственному привык к нему через внука, и случившееся никак не вязалось в его представлении с пользой. Раз сам черт связал, богу не рассудить; именно эта в некоторой степени житейски мудрая мысль удерживала его в отношении дочери в спасительном равновесии, и самовольное вмешательство сыновей, Кирьяна и Митрея, было никак не на пользу и хозяйству, и дому, и фамилии. По новым временам он ничего не мог сделать сыну, разве попытаться побить его; трезвый Кирьян бы стерпел от отца, а так тоже бугай, враз его не прошибешь.

Пока эти и множество других мыслей мелькали и путались в возбужденном, разгоряченном мозгу Поливанова, Маня попыталась прорваться мимо матери; Лукерья, обхватив ее короткими сильными руками за плечи, не подалась, и Поливанов, совсем не к месту, увидел кипящий тарарам в избе совершенно иными, чем до сих пор, глазами. Эк их разбирают черти, думал он, оглядывая перекошенные, злые лица близких; по своему полувековому опыту он знал, что все людские дела и страсти — тлен, все проходит — ненасытность в бабе, богатство, красота, сила; вроде бы без всякой на то причины ему захотелось захлопать себя ладонями по ляжкам, не может быть, чтобы все его домашние посходили с ума, и даже дед Макар, проявляя признаки возбуждения, время от времени начинал звать сноху, выкрикивать резко и неприятно одно и то же: «Лукерья! Лукерья! Подь сюда, оглашенная!» Но Лукерья не обращала на него внимания, напуганная дочерью, она не слышала голоса свекра; глаза у Мани лихорадоч-

но горели, голос рвался; она пошла было напролом, но не нашла в себе решимости оттолкнуть мать.

— Руки на себя наложу, проклятые! — почти бессознательно выкрикивала она.— Все одно перед людьми ославлю! Мне теперь одна дорога — в петлю! А вы живите! Живите!

— Аким! — закричала в испуге Лукерья, напрасно пытаясь удержать сползавшую по стене на пол дочь.— Не стой гнилым пнем, беги за фельдшером. Ахти мне! Маня, доченька! Доченька! — кричала она, в то же время с трудом удерживая безжизненно обвисавшую на ее руках Маню.

— Давай сбегаю,— вызвался Кирьян, до сих пор державшийся незаметно и теперь запоздало и смутно пожалевший о случившемся; он больше всего хотел сейчас как-нибудь скрыться; увидев его перед собой и словно вспомнив о нем, Поливанов опять пришел в неистовство, затопал, и со стороны казалось, что он нечаянно ступил на горячее железо босыми подошвами.

— Вон! — выдохнул он в сладком упоении, растягивая и срывая голос, так, что конца слов нельзя было разобрать.— Во-он, бандитская рожа! Ноги твоей чтоб не было тут! Духу твово не хочу слышать!

— Очумел старый,— пятился от него Кирьян и, когда до двери оставалось немного, выкрикнул: — Сбесились вы тут все от этой...

Еще не слыша, но угадав, что Кирьян скажет что-то постыдное и скверное, заглушая его, Поливанов рванул за жирный край с загнетки чугун-ведерник, наполовину с горячими щами, и, размахнувшись, ахнул им, целясь в Кирьяна. Кирьян успел шмыгнуть в дверь, и чугун, с глухим кряканьем угодив в косяк, расселся; Поливанов затряс обожженной рукой, ворочая глазами; Лукерья, испуганно прикрыв лицо, в то же время инстинктивно защищала собой полусидевшую на полу Маню; все услышали опрокинувшуюся и как-то в один момент устоявшуюся тишину. Словно черный вихрь наскочил, потряс до основ избу Поливановых и умчался бесследно, оставляя за собой оглушенных людей, ребристый остов крыши, провалы рам с торчавшими кое-где осколками стекол — и тишину.

Маня и очнулась от этой черной, глубокой тишины, знакомый, волнующий голос звенел над ней, и она всей душой потянулась, еще слепая, на этот голос; с трудом приоткрыв глаза, различила над собой мокрые, испуган-

ные глазенки Илюшки, увидела его прыгающие в плаче губы.

— Мамань! Мамань! — теребил ее Илюша, неловко отталкивая от себя руки Лукерьи, пытавшейся оттащить его от матери, и по-детски беспомощно размазывая слезы по лицу; тугой огненный жгут перекрутил сердце Мани, оно словно остановилось от ослепительно счастливой боли за эту рвущуюся к ней и зависимую только от нее во всем жизнь, доставшуюся в такой муке. Ее охватило чувство стыда, и она подняла слабую еще, словно ватную руку, стараясь пригладить спутавшиеся волосы, по-прежнему не в силах оторваться от испуганных, вопрошающих глаз сына. Эти косоватые, диковатой красоты глаза (иногда она даже вздрагивала, встречая их,— сам Захар в пугающей ощутимости проглядывал из глаз сына) не только прощали, но и оправдывали, и Маня приподнялась, взяла теплую, податливую головку сына и прижала ее к груди; радостное потрясение не оставляло ее, жить было можно, хотя зрела и крепла одна неумолимая мысль, единственно правильная и холодящая сердце жестокостью.

Почти три месяца провалялся Захар в отчуждении со стороны всей своей семьи, и даже младшие, Колька с Егором, избегали подходить к нему, хотя его редкие просьбы подать воды они тут же и охотно выполняли; Аленка с Иваном вообще не приближались к отцу, как и сама Ефросинья, и от этого Захару становилось нехорошо и больно. Лишь мать, бабка Авдотья, еще связывала его с семьей, но и эта пуповина начинала усыхать и перетираться; Захар все меньше и меньше ощущал зависимость от Ефросиньи и детей и теперь часто глядел на них издалека; они отвергли его, а он не мог жить по их хотению, наступил конец одной жизни, и начиналась другая, совершенно новая, хотя еще и неизвестно какая, в ней думалось найти спасение и выход. Ефросинья больше его не держала, дети не могли того понять; выход был рядом, и не надо было искать и метаться столько лет, оставалось лишь собраться с силами и сделать последний необходимый шаг. Случись это раньше, сколько бы отпало ненужного; и стычки с братьями Мани, Кирьяном и Митреем, не было бы.

Захар как-то смутно, неуверенно помнил последний момент, он очнулся в собственной избе и на своей кровати, значит, кто-то его привел и уложил; впервые в жизни с такой прямотой и откровенностью он пошел до

конца, взял на себя все с Маней, освобождая ее от ехидных пересудов и усмешек; он был доволен собой и оправдывал себя. И однако он почему-то часто возвращался в мыслях к двум суткам беспамятства после подробного осмотра и ощупывания приведенным бабкой Авдотьей стариком фельдшером, дорабатывавшим в Густищах второй десяток лет (сама Ефросинья в порыве последнего отчаяния и стыда заявила, что пусть «он» на глазах у нее сдохнет, она и пальцем не шевельнет); Захару все время теперь вспоминались именно эти ее слова, каким-то чудом запавшие в сознание, и они укрепляли его в появившемся, все более твердевшем решении; теперь уже волей-неволей приходилось идти до конца, и он был рад; именно эта определенность на дальнейшую жизнь помогала ему скорее стать на ноги, а не примочки, прописанные фельдшером, и не отвары из трав и кореньев бабки Авдотьи.

Постепенно исчезали, жухли огромные сизые кровоподтеки на боках, на спине и груди; бабка Авдотья первой заметила в глазах у сына непривычное, почти детское (бесстыжее, как она определила про себя) просветление и молчаливо насторожилась, неосознанно усиливая свою нескончаемую старческую воркотню, изводящую Захара. Она еще думала добиться своего и восстановить в семье прежнее подобие мира; не трогая Ефросиньи, она то и дело посылала к Захару младших сыновей, жаловалась на собственные многочисленные немочи, в то же время с безошибочным чутьем, свойственным долго жившим, много перестрадавшим людям, сознавала, что ничто уже не поможет и близок конец всему привычному, и не могла избавиться от своей постоянной тревоги. В один из моментов она пыталась привлечь на помощь Ефросинью, та наотрез отказалась и близко подходить к мужу, и бабка Авдотья, обреченно вздохнув, покорилась; Захар уже ходил по дому, подолгу сидел под старой дедовской яблоней-китайкой, почти ежегодно усыпанной к осени небольшими краснобокими яблоками; эта яблоня была точно такой же еще в его детстве; голопузым сорванцом он лазил по ее сучьям, и хотя теперь она давно облетела и в изломах ее тонких ветвей резко свистел холодный ветер, Захар часто приходил к ней подымить цигаркой, безучастно разглядывая кур, гревшихся у дымившейся у сарая кучи старого навоза.

В последних числах ноября все чаще пропархивал

густой пронизывающий снежок, Захар крепился еще с неделю, и однажды, дождавшись сумерек, собрался, выскоблил щеки старой, со стершимся лезвием бритвой, прислушиваясь к сильнее разыгрывающейся метели, и, не говоря ни слова, ни от кого не таясь, пришел к Поливановым. На крыльце ему встретился Илюша в толстой стеганой телогрейке, в новеньких валеночках; Захар с затеплевшим сердцем прищурился на сына, ничего не сказал и сразу прошел в хозяйскую половину. Остановившись у порога, поздоровался. Вся поливановская семья, за исключением Мани, была в сборе, и при появлении Захара лущившая у окна фасоль Лукерья полуоткрыла рот, метнулась глазами к мужу; дед Макар подошел к порогу, рассматривая Захара.

— Захарка, ты? — словно с недоверием спросил он, оглядываясь на молчавшего сына.

— Я, дед,— ответил Захар спокойно и шагнул к Поливанову.— Аким Макарович,— сказал он с тем же спокойствием от бесповоротности принятого решения,—мне с Маней поговорить надо, ты ни о чем плохом не думай, жизнь так расписала, решил я кончать эту канитель.

— У себя она, на своей половине, иди,— после тяжелой паузы через силу сказал Поливанов, ничего больше не прибавив; с защемившим внезапно сердцем, чувствуя на себе испуганный взгляд Лукерьи, Захар вышел, в сенях помедлил, толкнул дверь и увидел Маню.

— Здравствуй,— сказал он с радостным чувством освобождения, владевшим им вот уже несколько дней подряд, уверенный именно в ее понимании и поддержке.— Здравствуй, Маня, я совсем к тебе. Не прогонишь?

— Ты, Захар?— Она словно с трудом верила собственным глазам.— Прогнать тебя? Захар!..

Она медленно-медленно выпрямилась, Захар застал ее за кройкой нижней рубахи отцу; она сильно похудела с тех пор, как он видел ее в последний раз; в ответ на его радость и ее лицо разгорелось, глаза, ставшие еще больше и светлее, притягивали, ласкали его, слепили, она подошла и, словно подломленная, ткнулась ему в грудь. Всю свою прежнюю жизнь он шел к ней, к этой минуте, и теперь вот пересохшим ртом мог пить сколько угодно, мог и не смел; все было слишком просто, и эта простота уже таила в себе новую, неизвестную угрозу.

Он взял ее за плечи, бережно, с усилием отстранил от себя, опустился на лавку.

— Ну вот, Маня, пришел я, насмерть загорелось,— проговорил он сосредоточенно.— Как ты тут без меня жила?

— Да так, Захар, и жила. Как я еще жить могу. Илюшка вон болел. Глотошная прихватила, в город возила, сейчас отошел, в хате не удержишь.

— А ты похудела, Маня, совсем прежняя...

Она обжигающе-коротко подняла на него глаза. Как и в то утро посреди села, они властно вбирали его в себя, вознаграждали за все утраты. И снова их нес горячий, неостановимый поток, и вся остальная, не относящаяся к этому мгновению жизнь мелькала мимо бесформенными клочьями.

Маня очнулась от дурмана первой, отодвинулась, натягивая на себя измятое покрывало из выбеленного холста, расшитое по краям цветами и петухами. Захар лежал навзничь, закрыв глаза, и расслабленная улыбка подрагивала у него на лице. Была уже ночь, и за стенами избы вовсю хозяйничал ветер; ни он, ни она не могли бы сказать, сколько прошло времени.

— Смотри, как метель расходилась,— прислушался к завыванию ветра Захар, и Маня, словно дожидалась, тотчас приподнялась на локоть, низко наклонилась к Захару, к самому его лицу, и он почувствовал ее тихое, теплое дыхание. Не открывая глаз, он притянул ее к себе; сопротивляясь, она отодвинулась.

— Кончилась наша с тобой песня, Захар,— не выдержав, она упала ему головой на плечо.— Наша с тобой песня кончилась. Все, Захар. Мы с тобой навсегда распрощались, мой был горючий час... за него меня бог не осудит, а люди...

Выскользнув у него из-под руки, не давая ему времени опомниться, стала торопливо одеваться.

— Что ты, Маня,— с благодушной уступчивостью проговорил он, пытаясь дотянуться до нее; она опять мягко отстранилась и вскоре уже стояла перед ним одетая, даже платок отыскала, накинула на голову; не обращая внимания на свою наготу, он подошел к ней, сутуловато свесив широкие плечи.

— Все, Захар, все, все,— словно в забытьи, повторяла она, удерживая слезы; Захар схватил ее за плечи, близко заглядывая в глаза, несколько раз с силой тряхнул.

— Разлюбила?— внезапно охрипшим голосом спросил он, готовый в минуту убить; его опустошенное сумасшедшим часом сердце разрывалось от новой идущей беды, он уже чувствовал стремительное падение в пропасть, еще секунда — и все будет кончено; вздрогнув, он отпустил Маню, сел на кровать, нащупал кисет с махоркой. В ставни слепо бился ветер. Не поднимая глаз, Маня молча стояла у стены, неподвижная, в наглухо повязанном до бровей платке.— Давно решила? — спросил он издалека, чужим, медленным голосом.

— Сразу, Захар,— тихо, как эхо, отозвалась она, стараясь казаться спокойной.— Сразу, как с тобой случилось... Ты на братьев, Кирьяна с Митреем, не таи злобы, дураки они... Мужики неотесанные, по-мужичьи и рассудить хотели...

Задохнувшись крепчайшим дымом самосада, Захар не в силах был заглушить растерянности.

— На твоих братьев мне наплевать,— слова падали медленно, как редкие капли,— нам с ними не жить... Об Илюшке подумала? О нас с тобой, обо мне подумала? Такие дела надо вместе решать.

— Лучше будет для всех, Захар. Рубить надо...

— Не пожалей, Маня, потом. Больше не приду... другого часа не будет.

— Захар, меня пожалей, не мучай... уходи.

Не проронив больше ни слова, Захар молча оделся, у двери задержался, не оглядываясь, и, задавив ненужное сейчас, не ко времени, желание подойти и обнять Маню, впервые с ясной отчетливостью понял, что в последний раз переступает этот порог.

— Не пожалей,— уронил он тяжело.— Живи, богатей...

Он спиной чувствовал ее решимость; она по-прежнему каменно молчала, и он, со злостью рванув дверь, долго не мог разобраться в темноте с запором, а когда справился, в лицо ему ветер ударил снегом, словно стараясь втолкнуть назад; защищая глаза, Захар отвернулся, увидел в рваном просвете неба молодой рогатый месяц, который тотчас закрылся, и лишь некоторое время дрожало в глазах далекое, светлое пятнышко. «Надолго разгулялось»,— машинально отметил про себя Захар, с трудом отходя от избы и останавливаясь на середине дороги, торопиться теперь некуда, подумал он коротко и жестко и пошел наугад, не разбирая дороги.

Ему трудно было понять и самого себя, и Маню, но все-таки где-то в самом сокровенном тайнике мерцала мысль о том, что все еще исправится, Маня помыкается-помыкается и опомнится, и вот тогда жизнь выльется в иную дорогу; он хотел, чтобы так и случилось, хотя знал, что Маню ему будет простить трудно. Поворачиваясь спиной к ветру и несущемуся стеной снегу, он время от времени отдыхал; старый, латаный-перелатаный полушубок пробивало насквозь, он двигался куда-то в белой, несущейся мгле, не думая о дороге; ни одного огня не было заметно, ни одного дерева или избы; он остановился, не зная, куда идти, и стал припоминать, откуда дул ветер в момент его прихода к Поливановым; мелькнула мысль о замерзавших вот в такую погоду в каких-нибудь десяти шагах от тепла. Нахлобучив шапку потуже, он, считая шаги, прошел, как ему казалось, в одном направлении саженей пятьдесят, ничего не встретил, повернул обратно, шел против ветра теперь, низко наклонив голову, выставив вперед плечо.

Налетел особо сильный порыв ветра, ударил вокруг, срывая с земли еще не улежавшийся, слабый покров снега; Захар, расставив ноги, удержался и, честя про себя всех баб и непогодь, побрел дальше, время от времени останавливаясь и оттирая застывшее лицо ладонями. Вот не было заботы, кажется, он умудрился сбиться с дороги; в небе опять пробился расплывчатым пятном свет от луны, и тут же мгла стерла его. Захар, приложив ладони ко рту, стараясь не поддаваться тревоге и неуверенности, крикнул протяжно:

— Э-эй!

Голос захлебнулся, увяз в снежном месиве, и Захар побрел дальше; сколько же сейчас времени, думал он, потеряв счет часам. Петухов не слышно, тут же отметил он, и мысль, что он давно бредет где-нибудь в поле, за селом, заставила его недоверчиво усмехнуться. Этого не может быть, решил он, как же он мог ни на один плетень не наткнуться? Хотя теперь все замело, можно и в колодец рухнуть, а колодцы в Густищах ого, пока до воды долетишь, помрешь от страху сорок раз.

Пробиваясь сквозь снег и ветер, он уже больше ни о чем не думал, и его лишь не оставляло ощущение, что его кружит кто-то всесильный, насмешливый; сейчас в мире остались всего двое, он сам, Захар, и тот, невидимый, неотступно следивший за ним, Захаром; прежде

чем окончательно сбить его с ног и кончить, он решил еще понасмешничать, покуражиться. Покарает тебя бог, Захарка, вспомнились ему слова матери в одном из недавних разговоров; накликала, старая, с усилием усмехнулся он, погруженный на время в напряженную тишину; ему показалось, что это передышка, и тотчас на него опять обрушился вой метели. Нет, не в поле я, решил Захар, напряженно прислушиваясь, на просторе по-другому гудит.

— Э-эй! — закричал он опять, стараясь бессознательно разорвать грохочущее вокруг, мечущееся пространство; но тотчас словно кто-то дернул и стянул петлю туже, и, несмотря на холод, он почувствовал потекший по спине горячий пот. Его охватило безотчетное озлобление именно к собственной слабости; узнай на селе, что из-за бабы в метель сгиб, все кости и на том свете просмеют, и мертвым спокойно не улежишь. Отчетливей становилась мысль, что он борется один на один с тем насмешливым, что кружит его из стороны в сторону с завязанными глазами; он заторопился, двинулся прямо навстречу снегу и ветру, зажмурил глаза, чтобы их не высекло бешено летящим снегом, и шел до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. «Замерзну», — мелькнуло у него впервые коротко и определенно, и в следующий момент он больно ткнулся грудью в твердое. С трудом подняв плохо слушающиеся руки, он стал ощупывать неожиданное препятствие: это был угол не то какой-то избы, не то амбара. «Ну вот, ну вот», — подумал он лихорадочно и, всем телом раздвигая навалившийся в затишь мягкий снег, стал пробираться вдоль стены и скоро обошел подвернувшееся строение без окон вокруг; это действительно оказался амбар, на двери висел пудовый холодный замок. «Да я ж где-то напротив сельсовета! — догадался Захар. — Векшенский амбар, надо же!» — изумился он тому, что бродил где-то в самой середине села. Он постоял в затишке, засунув руки за пазуху и отогревая их; не сразу приходя в себя, он теперь уже с насмешкой и даже с удовольствием вслушивался в снежную бурю кругом; гудело не только все вверху и вокруг; гул шел, казалось, из самой глубины потревоженной земли.

Ага, так и есть, напротив, шагах в двадцати от него, сельсовет; вправо, на той же стороне улицы, где находился приютивший его амбар, собственная хата через десять дворов. Он в уме пересчитал хозяев и обрадовал-

ся: точно, через десять дворов. Влево, через три двора, хата его дядьки по матери Григория Козева; пожалуй, к нему он и постучится, переночует. Он подумал, что дома теперь не спят ни мать, ни Ефросинья, выждал еще немного, отходя окончательно; от спасительной стены отрываться не хотелось. «Подожду немного»,—решил Захар и насторожился. До него долетел живой звук, и в первый момент ему показалось, что он наконец слышит петуха, но тут же засмеялся. «Ну, народ!» — подумал он и, пробиваясь через сугроб, пошел на звук песни; кто-то, видать, спьяна, во весь голос басовито выводил:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И как один умрем
В борьбе за это!

Голос то пропадал временами, то долетал до Захара в полную силу; он был где-то совсем рядом, и Захар двинулся на этот голос, пытаясь угадать, кто же это куролесит в такую ночь. Смутная человеческая фигура возникла перед ним неожиданно, Захар скорее угадал ее, чем увидел, и, протянув руку, дотронулся до нее; песня тут же оборвалась, человек рывком обернулся, и они тотчас узнали друг друга. Захар лицом чувствовал шумное, неровное от испуга дыхание Анисимова.

— Вот черт,— изумился Захар.— Это ты, Родион, распеваешь?

— А ты откуда взялся?— тотчас спросил Анисимов.— За полночь давно, я тебя застрелить мог, в последний момент удержался.— Он небрежно сунул в карман револьвер.— Думал, волк на плечи кинулся, все-таки счастливая у тебя судьба.— В голосе Анисимова, заглушаемом временами порывами бури, Захару послышались хорошо знакомые насмешливые нотки, и он как-то весь сразу внутренне подобрался.

— У дядьки, у Козева, засиделся,— сказал он.— Не остался ночевать, да вот не знаю, как до дома добраться.

— Доберешься,— ответил Анисимов почти криком, потому что в этот момент, казалось, грохот метели еще больше усилился; в скупом ответе Анисимова Захар уловил с трудом сдерживаемое возбуждение.— Слышишь, Захар,— сказал Анисимов,— Кирова вчера убили. Я только вот под вечер узнал, до сих пор не могу

в себя прийти. Не поверишь, плакал, малый ребенок, и только...

— Как — Кирова? — Захару мучительно захотелось увидеть глаза Анисимова, озноб пополз под полушубком по телу.

— Я ведь видел его, как тебя сейчас, несколько раз на митингах слушал. Великую потерю понес народ. — Голос Анисимова рвался, и какое-то время Захар не слышал его; перед глазами опять неслись длинные белые клочья; Анисимов говорил, возбужденно размахивая руками перед самым лицом Захара и думая в то же время, что зря он вовремя удержался и не всадил в него, Захара, всю обойму подряд. — В какой мощный набат ударила эпоха, — опять донесся до Захара возбужденный голос Анисимова. — Враги нашли удобный момент... В голове гудит. Эх, Захар! Что мы с тобой? Такой дуб свалился, по всей земле стон пошел. Не знаю, у кого как, а у меня сердце заходится от предчувствия.

— Кирова убили. — Захар стоял совершенно один в какой-то внутренней сосредоточенной тишине; до него только сейчас дошел смысл сказанного.

— Зайдем ко мне, — услышал он издалека настойчивый голос Анисимова. — Нехорошо сейчас одному, жена не поймет. Сердце, сердце жжет, — почти выкрикнул он, пересиливая ветер.

— Нет, Родион, нельзя, — вырвалось у Захара. — Меня совсем прошибло, до костей дошло. Домой надо, там теперь спать не будут.

— Зайдем, зря на меня обижаешься, Захар...

— Да это все уже быльем поросло.

Анисимов, качнувшись под ветром, словно растаял; сделав несколько шагов в сторону, Захар услышал зовущий его голос, но промолчал, и на другой день, на митинге у сельсовета, когда снежная буря еще не улеглась, стоя среди замотанных толстыми шалями баб и мужиков в нахлобученных шапках и слушая Анисимова, говорившего с крыльца в народ и то и дело выбрасывавшего вперед руку с зажатой в ней шапкой, Захар с щемящей тоской почувствовал, что все пережитое: и решение Мани, и предательство Анисимова, и отчужденность собственной семьи — было уже прошлым и отпадало от сердца отболевшей корой...

Скоро Захар действительно услышал, что Маня отпросилась из колхоза на строительство Зежского мото-

ростроительного завода и появлялась в Густищах редко, помыть, обстирать сына, повидаться с родными; она нигде не показывалась и уходила из села затемно, еще зарей.

Незаметно, в будничном однообразии, проскочила зима, и в конце марта рухнули снега и схлынула большая вода. В Соловьином логу, недалеко от бывшего подворья Фомы Куделина, густо покрылись золотистыми сережками старые ивы. Когда всходило солнце и тонкий туман стлался по земле, цветущие ивы выступали из него прозрачными куполами, они свободно и нетронуто высились в безлюдье весенних пространств, цвели, томимые извечной силой продолжения, не зависимой ни от каких иных законов и установлений

Часть вторая

1

Из полудворянского, а больше купеческого Холмска и за все послереволюционные, бурные годы не мог выветриться старый, устоявшийся дух; улицы, мощенные крепким булыжником, низкие, приземистые здания в один и два этажа, добротной старинной кладки из красного кирпича на хорошей известке, стояли нерушимо, их с трудом брал даже динамит. Город раскинулся на берегах когда-то большой, а теперь обмелевшей, с поднявшимися проплешинами пологого дна реки Оры; на высоком берегу была расположена основная часть города, почти весь его жилой массив, и называлась эта часть значительно и обещающе — Нагорная; на многочисленных же островах по реке, на левом, низком берегу разбросались заводики и фабрики, всякие хозяйственные склады; ютились наспех собранные рабочие поселки, и среди города, как кремль, раскинулся Старо-Спасский мужской монастырь в своей просторной, кое-где осыпавшейся ограде из желтого известняка. После революции многочисленные его обитатели бесследно рассеялись, оставив после себя темные кельи, гулкую сырость сводчатых помещений.

Когда-то Старо-Спасский монастырь и вошедшая в него позднее Воздвиженская церковь были гордостью Холмска, описание фресок Воздвиженской церкви вошло во все известные каталоги; сейчас в древнем монастыре разместилась детская трудовая колония имени Дзержинского, иконы и кресты сняли отовсюду и стащили в один из подвалов, росписи на стенах наскоро заштукатурили и забелили известкой, в трапезной разместились мастерские, у монастырских ворот и в дневное время дежурили парнишки и девчата в юнгштурмовках с повязкой на рукаве, с винтовкой. Над аркой

центральных ворот укрепили лозунг о счастливом детстве и грядущей победе мировой революции, и по вечерам, наводя тоску на богомольных старушек и зажиточных мещан, ставших мелкими советскими служащими, колонисты пели революционные песни, обыватели крестились и проверяли на ночь запоры ставен и дверей.

Жизнь губернского, а теперь областного города Холмска шла своим чередом: строились заводы и детские сады, собирались слеты передовых колхозников в областном театре, и школы ежегодно выпускали в жизнь сильных, энергично настроенных молодых людей, рвущихся к романтическим профессиям летчиков, полярников, геологов-первопроходцев; девушки охотно посещали занятия в оборонных кружках и с энтузиазмом прыгали с парашютной вышки на бывшем ипподроме богача и миллионера Трясогубова. По воскресеньям на отдаленных островах, поросших сосной и липой, собирались народные гулянья, проводившиеся под броскими лозунгами очередной кампании, регистрировались свадьбы, рождения и смерти, то есть шел известный круговорот бытия, и Клавдия, жена Пекарева, любила об этом порассуждать не только в разговорах с мужем, но и на работе (она заведовала городской музыкальной школой).

Характер у нее был горячий, неуступчивый, сибирский; вспыльчивая, она легко выходила из себя от непреодолимого желания быть первой в споре и оттого глупела, начинала нести всякий вздор, а потом, в упадке сил, зло плакала. Пекарев жалел ее в эти минуты и утешал, как слабого ребенка, он любил Клавдию, как и в первые годы, несмотря на одиннадцать лет совместной жизни и десятилетнюю дочь, и тайно ревновал ее. В хорошие времена Клавдия бывала отличной хозяйкой, и у нее все спорилось в руках.

Пекарев сидел на излюбленном своем месте в кухне у выложенной изразцами печки и, поглядывая на раскрасневшуюся у плиты жену, с привычным удовольствием вначале читал корректуру, просматривал почту, затем придвинул к себе кипу газет. Воскресный вечер был у него относительно свободным, да и густой летний вечер за распахнутыми окнами настраивал расслабленно и благодушно. Дочка давно спала, перед ужином они запустили наконец бумажного змея, и неизвестно, кто еще радовался больше, дочка или сам он; с наслаждением погружаясь в мир ее несложных забот и восторгов,

он на время забывал и о делах, и о возрасте, и потом в нем долго и сладко ныло ощущение собственного детства.

Вполуха слушая жену, Пекарев еще раз внимательно, без утренней спешки просмотрел центральные газеты, затем сложил их, небрежно бросил на полку, позевывая, обежал взглядом просторную кухню. На жарко разгоревшейся плите задержался, захотелось распахнуть дверцу и протянуть к огню руки, но лень было вставать, усталость давала себя чувствовать. Неделя выдалась трудная. Стой, что же было за эту неделю? Поездка по Оре с агитпароходом «Красный пахарь», они выпустили специальный номер об этой поездке. Пекарев только-только успел отчитаться в обкоме; слет ударников, встреча на активе с начальником строительства Чубаревым, ему все больше нравился этот человек, очень знающий специалист и мыслит крайне оригинально. Что же еще? Да, вот это, разговор с Петровым, после него остался осадок. С Петровым они последнее время что-то конфликтуют, *первый* ценил его как опытного редактора и, несмотря на властность характера, мирился со своеволием Пекарева, который чаще других мог позволить себе выступить на бюро с прямой критикой в адрес руководства, и к этому привыкли. Петров, разумеется, человек не только умный, но в известной степени властный, не терпящий непродуманных действий, и, конечно, у него, Пекарева, отношения с Петровым обострились весной после нашумевшей статьи Чубарева; но против обаяния и напористости начальника строительства трудно устоять.

Пекарев беспокойно заворочался, закинул руки за голову; в его намерения никак не входило вступать с *первым* в какой бы то ни было конфликт, хотя, если честно признаться, раскаиваться ему не в чем, статья Чубарева принципиальная и честная, другое дело, Петров кое в чем оказался с ней не согласен, на то он и хозяин в области, чтобы иметь свое особое мнение и понимать больше других. Петрова уважали многие, уважал его и он, Пекарев; такие, как Петров, с его фанатизмом, почти страдающий от малейших признаков лести, встречались не часто; пожалуй, если бы Пекареву предложили назвать как пример для подражания кого-нибудь из окружающих, он не задумываясь бы назвал именно его, Петрова. Он жил до того открыто, что порой не одному Пекареву становилось не по себе от этой его

почти детской открытости, но в то же время любой, пусть из самого близкого окружения Петрова, всегда чувствовал между собой и им определенную черту. Пекарев часто думал именно об этом свойстве Петрова, и ему каждый раз хотелось найти в себе смелость, решимость перешагнуть запретную границу; единственный, кому он по-хорошему завидовал, был именно Петров. Хотелось стать с ним вровень, и Пекарев не раз делал попытки сблизиться, и всякий раз видел, что Петров понимает его, но принимать в близкие и равные друзья не хочет, а видно, и не может, и от этого в Пекареве где-то неосознанно бродило подспудное желание обратить на себя внимание Петрова, хотя Пекарев отдавал себе отчет в том, что он не ровня человеку, лично знавшему Ленина, запросто, как говорили, ездившему к Сталину; человеку высокой внутренней культуры и скромности, подчас даже угнетавшей окружающих, человеку, умевшему на равных, без всякой натянутости общаться с самыми различными людьми, а то и с французскими писателями-коммунистами поговорить на их родном языке (чему Пекарев в прошлом году был сам свидетель).

Возможно, и статья Чубарева поначалу была в определенной мере протестом, желанием досадить Петрову, именно ему доказать, что не только он, Петров, умеет мыслить широко и самостоятельно, ни на кого не оглядываясь.

Чубарев тогда вошел в редакторский кабинет широко и просторно и, казалось, сразу заполнил собой и своим гулким голосом, который он не привык сдерживать, все пространство, заключенное в стенах. Уже в первую минуту, когда он шел от двери, в крепких яловых сапогах, в брезентовом плаще (дело было прошлой осенью), Пекарев проникся к этому человеку, хотя еще не знал и не видел его раньше, невольной симпатией; с первого взгляда был виден человек значительный, крупный — качество, втайне уважаемое Пекаревым в людях больше других, и он приветливо поднялся ему навстречу.

— Ну, вот, слава богу, отыскал наконец! — голубоглазо улыбнулся Чубарев.— Здравствуйте. Начальник строительства Зежского моторного — Чубарев.

— Семен Емельянович Пекарев,— представился, со своей стороны, и Пекарев.— Садитесь,— указал он на приземистое, широкое кресло, невольно отмечая, что гость выше его на целую голову и разговаривать стоя по

меньшей мере неудобно; опустившись на стул, он выжидательно посмотрел на Чубарева.

— Мой полный титул такой: Олег Максимович Чубарев,— словно не замечая минутной неловкости, добродушно отозвался Чубарев и тут же попросил разрешения курить (вернее, он выразил уверенность, что в редакциях не может быть разговора без папиросы, на что Пекарев утвердительно кивнул, встал и передвинул массивную мраморную пепельницу поближе к гостю); предложив Пекареву папиросу, от которой тот отказался, Чубарев поворочался, словно и в таком огромном кресле ему было тесно.

— Обо мне и здесь басни успели сложить,— сказал он.— Вы им не верьте, Семен Емельянович, это бич моей жизни, где ни появлюсь, тотчас обрастаю небылицами.

— Я ничего подобного не слышал.— Голос у Пекарева слегка потеплел; хоть он и старался сопротивляться первому, вполне вероятно, поспешному чувству, человек этот ему определенно нравился.

— У меня дело очень важное, можно сказать, государственное.— Чубарев погасил папиросу.— Я только что из обкома, был у Петрова. Он вам скажет, разумеется, но мне хотелось бы это дело всемерно ускорить. Нужна серия материалов в газете, пропагандистских, что ли. Необходимо привлечь на строительство завода как можно больше людей, и, что очень важно, из ближайших сел и районов. Я не буду вам объяснять, вы сами понимаете, что именно это позволило бы избежать множества трудностей с питанием, с жильем, следовательно, повлияло бы на ускорение темпов стройки.

Пока Чубарев говорил, Пекарев пытался определить характер этого человека, о котором, несмотря на его недавнее появление и еще не устоявшиеся связи с Холмской областью, многое слышал. Втайне он считал себя неплохим психологом и знатоком богатой человеческой породы и всякий раз, если человек начинал его интересовать, старался составить себе его внутренний портрет; не хотел он отступать от этого правила и теперь. «Сей муж,— отмечал он,— честолюбив, горяч и самоуверен, от своего отказываться не привык, и с ним нужно держаться осмотрительно»,— заключил он свои первые впечатления, намеренно обрывая себя, так как не хотел идти дальше и впадать в неточности; хорошо натренированным чутьем в беспрерывном общении с людьми

он уловил и отметил за казенными и стертыми словами Чубарева иные глубины и круговороты.

— Что ж, дело полезное и необходимое,— сказал он, когда Чубарев закончил.— Вот вам и начать такой разговор в газете, Олег Максимович. Понимаю,— тотчас добавил он, заметив несогласное движение Чубарева,— вам не до этого. Но эффект, эффект!

— Я не против, но хотелось бы вашего брата газетчика, позанозистее.

— Это само собой, но затравка нужна ваша.—Пекарев недовольно повернулся к приоткрывшейся в этот момент двери, в ней показалась чья-то всклокоченная голова с нетерпеливыми, несколько асимметрично расставленными глазами.— Потом, потом, Филимонов,— бросил он.— Сейчас я занят, занят я!

— Ну что ж,— быстро сказал Чубарев.— У всех у нас не хватает времени, не будем его красть друг у друга. Вот вам моя статья,— он чуть заметно усмехнулся, протягивая Пекареву несколько сложенных вчетверо листов.

— Вот как, ну что ж, тем лучше,— улыбнулся в ответ Пекарев, намереваясь тут же читать, но Чубарев сказал, что будет в Холмске через неделю, на бюро обкома, и обязательно зайдет, попрощался и ушел.

Пекарев не отрываясь пробежал его статью, написанную в общем-то аргументированно, с резкой критикой в адрес обкома, недостаточно уделяющего внимания нуждам важнейшей стройки пятилетки; статья Пекареву понравилась независимостью суждений. Нужно было ознакомить Петрова со статьей в первую очередь, но в Пекарева (это бывало с ним порой, и он любил эти острые моменты) словно вселился дух противоречия, какой-то озорной бес, захотелось проявить самостоятельность, дать почувствовать, и опять прежде всего Петрову, что и у него кровь еще не остыла и играет; два дня он ходил в сдержанной взволнованности и раздумье, а затем статья Чубарева под броским заголовком «Вперед!» появилась в газете, и типографская краска еще не успела просохнуть, как Пекарев уже сидел в кабинете Петрова и, стараясь успокоить руки, вслушивался в тихий, размеренный голос. Он знал, что поступил неосмотрительно, но то, что случилось, случилось, и нужно было не защищаться, а нападать.

Петров, по своему обыкновению, ходил, то и дело поворачиваясь к Пекареву узкой спиной; и это зна-

чило, что Петров сердит на него, Пекарев видел это, только ошибался, связывая его состояние лишь с напечатанной статьей в газете. Дело было гораздо проще, у Петрова перед утром случился приступ печени, и он старался больше ходить, чтобы успокоить отдающуюся в подреберье жгучую боль. Пекарев не мог угадать и другого, не менее существенного, относящегося уже лично к нему, Пекареву, момента в настроении Петрова; тот, хотя статья и была неожиданностью для него, одобрял Пекарева и думал о нем лучше, чем до сих пор, хотя и находил необходимым говорить несколько иначе, чем думал. Во всяком случае, Пекарев был обязан поставить его в известность о содержании статьи заранее.

— Статья полезна,— поморщившись, вторично остановил он пытавшегося что-то возразить Пекарева.— Напечатать ее было нужно, но я проанализировал положение и еще раз убедился в главном для себя. Обком исчерпал свои возможности и большего строительству моторного в настоящий момент дать не может. Чубарев видит одно строительство, требует подчинить заводу всю жизнь области. В его положении человека нового оно и понятно, в статье отчетливо прозвучало его незнание местных условий. Область целиком земледельческая, деревня перестраивается, идет ломка вековых устоев, мы не можем обескровить область. Ну, Чубарев человек приезжий, ему простительно. А нам?

— Константин Леонтьевич, я думал...

— Мне кажется, вы сначала делали, потом уже стали думать. Чубарева, повторяю, можно понять, похвалить за самостоятельность, принципиальность, но на вашем месте смелость должна быть осмотрительной.

Он резко повернулся к Пекареву, и тот не мог скрыть удивления — Петров подошел к нему вплотную и как-то доверительно и просто, точно делясь сокровенным, посоветовал:

— Зря вы затеяли, кто кого переупрямит. У нас общее дело, и его хватит не на одну нашу с вами жизнь, Семен Емельянович.

— Этого нет,— слабо возразил Пекарев, потому что Петров угодил в самое яблочко.— Ну, ей-богу, Константин Леонтьевич, вам показалось.

— Может быть и так, возможно, показалось.

Пекарев ушел от Петрова потерянный и подавленный; без всякого усилия и позы Петров обходил его,

оставляя далеко позади себя. С неделю Пекарев почти не вылезал из редакции; всех, кого можно было отправить в районы, разослал на посевную, организовал несколько броских материалов по строительству Зежского моторного, сам вычитывал все до последней строчки, а за освещение майских торжеств и парада красноармейских частей в городе Пекарева хвалили и в обкоме, и сам командующий войсками округа командарм первого ранга Уборин прислал в редакцию благодарственное письмо; одним словом, дело наладилось, и с Петровым Пекарев до вчерашнего дня встречался без прежней внутренней робости, а вот вчера опять все неожиданно сорвалось.

Осторожно покосившись в сторону жены, Пекарев про себя вздохнул, жалея ее. Она ничего не знала, а завтра утром опять может вспыхнуть пожар. А может, и нет, тут же подумал он, чувствуя, что в нем просыпается все тот же знакомый бес; он почти физически ощутил, как в машине течет бесконечная бумажная лента, на которой в положенных ей рамках оттискивается еще одна статья того же Чубарева. Рано утром почтальоны разнесут газету по Холмску...

Пекарев сидел все в той же позе у стены, закинув руки за голову; вторую статью Чубарева он сам выправил, убрал все резкие формулировки и после некоторого раздумья понес ее Петрову. Теперь он твердо знал, что это был неверный шаг с его стороны, именно с этого момента и вспыхнул в нем вновь дух противоречия. Ну хорошо, думал Пекарев, *первый* не стал читать статью и дал ясно понять, что он, Пекарев, стоит во главе газеты, ему самому и надо решать. В быстрых, живых глазах Петрова Пекарев на мгновение уловил недовольство и даже легкую насмешку, и это тотчас было расценено им, Пекаревым, запальчиво и неверно. Вот теперь, одумавшись и еще раз перебрав в памяти все обстоятельства до мельчайших деталей, Пекарев понял ошибочность, несвоевременность своего решения, но что-либо переменить уже не мог, остановить текущую в машину бумажную ленту было невозможно. Да, он неправильно истолковал усмешку Петрова и его отказ прочесть статью; вот, мол, было достаточно легкого недовольства — и человек тотчас переменился и перестроился на все сто восемьдесят градусов; уже и обычное дело решить боится, так я, мол, и знал, что из него толку не будет.

Пекарев с безжалостной откровенностью в отношении себя перебирал все последующее, как он вернулся в кабинет, как сидел часа полтора в полном одиночестве, злой, взъерошенный, разогреваясь все новыми фантазиями, и как затем взял и, восстановив в статье Чубарева все до последней запятой, тут же подписал ее в следующий номер и даже прикрикнул на ответственного секретаря Филимонова, когда тот хотел что-то возразить, и вот теперь сидит и ждет, а бумажная лента течет непрерывно...

Искоса наблюдая за мужем, Клавдия, довольная удавшимся вареньем, подошла к нему.

— Чем ты так озабочен, Сеня? — спросила она бездумно, наклонилась, поцеловала его в начинавшую редеть макушку и засмеялась.— Ай-яй-яй, Сеня, уже просвечивает,— приятно, как ему показалось, удивилась она.— Такой симпатичный пятачок в наши лета.

— Можно подумать, ты этому радуешься,— сердито отозвался он, и Клавдия опять засмеялась, отошла и уже издали что-то ответила; Пекарев не понял, по-прежнему погруженный в свои мысли; он припомнил, что совсем недавно, с месяц тому назад, на активе много было критики в адрес газеты, и, возможно, до Петрова дошли самые резкие высказывания, ну, так ему плевать. Что, что страшного может случиться? Самое худшее, отберут газету, бог с ней, с газетой, хомут ему найдется. Ну, конечно, от жены придется потерпеть, некоторые станут здороваться менее почтительно, а ведь какая вольница настанет, и за повесть можно сесть вплотную. Пришел себе вечером — и свободен, посиди часок над рукописью, хочешь, иди с женой в кино или займись воспитанием дочки, совсем ведь он с дочерью не бывает, утешал он себя, удивительная вещь независимость, только ничего этого не будет, так, шалость, легкий мираж.

Клавдия, кончавшая переваривать на плите таз вишневого варенья, осторожно пробовала с ложечки, то и дело поглядывая на мужа; у нее была высокая девичья грудь, туго обтянутая ситцевым голубым фартуком, на голове того же цвета яркая, в желтый горох, косынка, и Пекареву сейчас хотелось подойти и поцеловать жену; она вернула его в то далекое время, когда была девушкой и они только что познакомились. Он не хотел ей мешать и был рад, что она так забылась, хлопоча по хозяйству; варенье отчего-то забродило в банках,

и нужно было его спасать; Клавдия подцепила ложкой пену, осторожно поднесла мужу.

— Попробуй, Сеня,— сказала она весело.— Теперь, кажется, в самый раз, что-то не разберу, до того напробовалась.

Пекарев осторожно проглотил ложку густого сочного варенья, с удовольствием пошлепал липкими губами; глаза жены смеялись, ей нравились вот такие домашние дела. Он улыбнулся ответно, думая о своем.

— Теперь правда хорошо. Пожалуй, загустеет, сахару много,— сказал он.— Зато до самой Олькиной свадьбы простоит.

— А я на это и рассчитывала, надоело возиться, каждый год одно и то же.— Клавдия неожиданно поцеловала мужа сладкими губами и отошла от плиты, доставая из шкафчика приготовленные с вечера банки, чтобы разливать остывшее варенье.— Послушай, Сеня,— сказала она оттуда,— а правда, что жена Брюханова умерла от родов?— Клавдия осторожно слизнула с ложки горячую пену.— Как долго он не женится. Видишь, а говорят, в наше время не умеют хранить верность...

— Да, Брюханов мужик интересный,— не сразу откликнулся Пекарев, отмечая про себя, что жена, как всегда, делала одно, а думала совершенно о другом.— Вас бы в его хомут, у него дел сейчас невпроворот — уборка, мотается по области, а у вас одно на уме, разумеется, никак женить его не можете...

— А что странного?— Клавдия засмеялась.— Вполне естественно, мужчина видный, в возрасте уже и один. Сколько несбывшихся надежд, Сеня.

Пекарев быстро взглянул на нее, она была так увлечена вареньем, и этот фартук и косынка очень красили ее.

— Брюханов — хороший мужик,— сказал Пекарев задумчиво и просто, вне всякой связи с прежним разговором.— У него нутро здоровое, и притом потомственный интеллигент. Дед был уездным врачом, отец в горном училище преподавал. Сам в революцию с четырнадцати лет пошел, по образованию — горный инженер, доменщик.

— То-то!— насмешливо сказала Клавдия.— Ты немногим старше его, а у тебя дочери десять. Почему же ты и свое, и его считаешь одинаково правильным, а, Сеня? Впрочем, что ж, ты прав, каждому свое, вот и еще

один год на пролете, боюсь, боюсь... Встанешь в одно утро, подойдешь к зеркалу и увидишь, брр, старуху.

Пекарев снова промолчал; он до сих пор не мог привыкнуть к разбросанности ее мыслей и часто сомневался, умна ли она; порой он поражался ее жизненной энергии и приспособленности и смутно чувствовал какую-то свою вину перед ней, точно не оправдал ее затаенных надежд, он знал, что в душе она вечно чем-нибудь недовольна и мучается и борется с собой, и он сам тоже мучился от этого, полагая виноватым прежде всего себя. Ведь и встреча их, и последующая свадьба были его, и только его, инициативой; на время он смог зажечь ее верой в себя, в свое большое будущее, и она пошла за ним, но чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что он взвалил ношу не по себе, крепенький оказался характер у этой хрупкой, словно бы сотканной из света и воздуха женщины; у нее были заурядные способности и дьявольское честолюбие.

Она едва выбилась, и то с его только помощью, в преподаватели холмской музыкальной школы, а теперь с уходом на покой старого директора даже получила место директрисы; но у Клавдии была завидная особенность — приписывать исключительно себе заслуги других и сохранять при этом достойно-снисходительный вид. Брала она выносливостью и неженской четкостью, деловая хватка и организаторские способности у нее были, и в школе дела пошли значительно лучше. Пекарев и гордился Клавдией, и в то же время понимал, что зря дает разрастаться ее неженскому честолюбию. Как бы там ни было, он оставался по-прежнему всего лишь начинающим журналистом областного масштаба и благодушно довольствовался этим и был счастлив, лишь бы ему давали писать его рассказы; родилась дочь, и переезд в Москву, туда, в сверкающий мир Большого зала консерватории и знаменитостей, опять пришлось отложить на неопределенное время. Он думал, что, став матерью, Клавдия успокоится, первородный инстинкт материнства возьмет свое; так оно в первые годы после рождения Оли и было. Жена исступленно привязалась к дочери, забросила свои дела и все надежды перенесла на ребенка, она с первых же недель решительно установила диктат в доме, пунктуально, минута в минуту, распределила время по уходу за девочкой, сверяясь с книгами, готовила и кормила, и Пекареву совсем было некуда деться в их комнате

с крошечной темной кухней без окна, тогда его только взяли в областную газету и он работал разъездным корреспондентом. Но, приезжая из командировок, чувствуя свою вину перед женой и дочкой (командировки случались длительные, а девочка росла болезненной и крикливой), Пекарев безропотно до полночи стирал и гладил распашонки и пеленки, мыл полы; потом, укачивая ребенка, напевал ей придуманные тут же песенки и рассказывал сказки, измученная Клавдия засыпала и во сне по-детски знакомо причмокивала губами.

Это были самые счастливые их годы. Потом дочка подросла и как-то незаметно усвоила эгоистические наклонности матери, а он в семье так и остался на подхвате, по всяким хозяйственным надобностям. Когда Оле исполнилось шесть лет и к ней впервые на именины пришла детвора, разные там пичуги и пичужки, и жена села за пианино и стала играть что-то торжественно-бравурное, кажется «Шествие гномов», она играла неровно, срывалась и начинала снова, и он глядел на ее вздрагивающие в такт рукам плечи, на тяжелые косы, уложенные в затейливый узел, и думал, что ей нужна хотя бы видимость своей значимости, хотя бы в глазах собственного мужа и ребенка, и ради этого она обманывала и будет обманывать себя и других, прятаться за видимость деятельности, за видимость творчества, отговариваясь занятостью, ребенком, мужем, чем угодно, только не отсутствием таланта. Он сказал ей об этом, как умел, мягко и посоветовал перейти на преподавательскую работу, до этого Клавдия все носилась с идеей подготовиться и поступить в консерваторию. Они поссорились, никогда ни до, ни после Пекарев не видел у жены таких затравленных и жалких глаз, она даже попыталась уйти от него, забрала Олю и уехала к матери, но он знал, что она мучается и ждет от него первого шага к примирению, и он, понимая, что этого делать нельзя, что необходимо выдержать характер, раз и навсегда поставить Клавдию на место, все-таки сделал этот ненужный шаг и даже просил прощения, и внутренне торжествующая, но прячущая свое торжество под маской смирения и жертвенности Клавдия благополучно вернулась в дом. Урок, правда, пошел ей на пользу, и она поступила работать в центральную городскую музыкальную школу, и он в этот год продвинулся по

службе, став сначала заместителем редактора, а затем и редактором областной газеты.

Теперь она уже редко заговаривала о своем призвании; у нее появилась другая идея — он сам. Она все время боялась, что он сделает какой-нибудь ложный шаг и благополучие семьи рухнет, и когда она открыла, что он всерьез занимается своими детскими книжками и считает эти детские фантазии чуть ли не основной своей профессией, то пришла в ужас, это было так несолидно, так не вязалось со всеми общепринятыми нормами и могло помешать тому продвижению вперед, что было для нее теперь главным в жизни, и опять начались тяжелые, мелочные сцены, взаимные попреки. Только Клавдия теперь сменила тактику, не устраивала бурных сцен, но подолгу дулась и не разговаривала, допекая Пекарева чистотою комнат и белизною салфеток к обеденным приборам и всем своим добровольно-мученическим видом показывая, что если она могла пожертвовать призванием ради семьи в свое время, то теперь его черед сделать то же самое, тем более что у него-то как раз никаких данных для сочинительства и нет, и то, что он пишет, плоско, неталантливо, серо и никому не нужно. Сильно ранимый, он перестал ей показывать написанное; Клавдия еще больше затаилась, оскорбилась и украдкой рылась в его бумагах. Пекарев стал хранить рукописи на работе, а ей сказал, что все забросил. Она промолчала, кажется, не поверила, но в доме воцарилось временное затишье. Пекарев остался доволен, потому что в их изнурительную борьбу постоянно оказывалась втянутой и дочь, а дочь он любил, несмотря на то, что она усвоила дурные привычки матери и ее истерический, неровный характер.

Пекарев глядел на жену,— странно, что именно сегодня, в такой спокойный вечер, вспоминается неприятное; он мысленно повторил все доводы в разговоре с *первым*, вот пойдет и выложит их начистоту; бояться каких-либо осложнений для себя он не боялся, просто неприятно, если хорошее, полезное начинание будет расценено как его личный выпад, он ведь ничего предосудительного не совершил, и отмалчиваться ему нечего.

— Сеня, хватит витать в облаках,— услышал он мягкий, настойчиво-осторожный голос жены.— Я сейчас закончу, уберу банки с вареньем, и будем ложиться.

— Банки?— переспросил Пекарев.— Да, да, конечно, сейчас иду, Клаша, захвати там огурчик малосольненький, у меня оскомина от твоего варенья. Перебить соленым.

На столе под мягким зеленым абажуром горела лампа, и в комнате было прохладно от свежевымытых полов. Хорошо бы сейчас посидеть часок-другой над рукописью в тишине, без редакционной суеты и сутолоки, повестушка о ребятах-колонистах вроде бы хорошо пошла, стронулась с мертвой точки. Тревожное письмо в редакцию из детской колонии имени Дзержинского послужило толчком, теперь он там свой человек — вот недавно его председателем конфликтной комиссии избрали. Приятно, разумеется, замечательные там ребята есть. Он незаметно втянулся в их нелегкую, бурную и увлекательную жизнь.

Взглянув на свежие простыни и преодолевая желание раздеться и лечь в прохладную постель, Пекарев прошел в кабинет, забитый книгами, и остановился перед столом; что ж, Клавдия опять надуется, конечно, не хотелось бы лишаться с таким трудом налаженного мира в доме, но что поделаешь. Он сказал себе, что дальше в таком раздвоении жить нельзя и нужно либо бросить газету, либо оставить, по выражению жены, ненужную писанину, с горечью, в который раз, он пожалел, что нет времени, совершенно нет времени писать.

За дверью раз и второй нарочито шумно прошла жена; он усмехнулся, забавно, он хочет написать всего лишь интересную детскую книжку и должен прятаться от жены; а газета забирает всего тебя целиком; еще хорошо бы пройти с рюкзаком по родным местам, верст бы триста махнуть по самой глубинке, он вот уже второй год думает съездить в Зежский район, встретиться и поговорить по душам с тем мужиком — Захаром Дерюгиным, крепко запавшим ему в память, но так до сих пор и не выбрался.

В то же время он уже не мог без редакционной бестолковщины и суеты, без летучек, беспрерывных звонков, без захлестывающих одна другую кампаний, выплескивающихся на газетные полосы бодрыми, деятельными передовицами и броскими шапками, сумятицей сводок; он любил пору, когда нужно было чуть ли не всю редакцию посылать по районам в посевную или уборочную, в связи с новым займом или очередной

диверсией классовых врагов. Ему нравилось быть и активно действовать в этом нервном, мгновенно отзывающемся на малейшие изменения и перемены организме, чувствовать его тончайшие движения, но тем не менее выход газеты всегда казался ему неким чудом и отвлеченностью, не имеющими к нему никакого отношения. Разворачивая очередной, пахнущий краской и машиной номер, он с жадностью прочитывал его наново, хотя все эти материалы прошли через него не один раз... Сколько времени и сил он отдал делу, с утра до ночи пропадал в редакции, знал область как свои пять пальцев. И работу свою любит, и работать хочется, вот только порой подступает к сердцу этакий разинский зуд; взять и шарахнуть передовую о комчванстве или еще что-нибудь в таком духе, пусть бы потом к ответу, зато была бы минута торжества и победы над собой. Но и это в сторону, минутное честолюбие пробивается откуда-то из-под материковой коры, но с этим, жена-то права, необходимо уметь справиться, отшумит вал и прокатится далее, нужно ставить в основу главное, вон какой штурм в стране, оглядываться на кочки и шероховатости нет времени.

Минутное честолюбие и минутные победы сейчас не главное для души, для внутреннего равновесия, остановил себя Пекарев, нельзя уходить в сторону и нужно именно для себя определить, чем ты недоволен и что тебе мешает жить и работать спокойно. Когда это началось с Петровым? С какой трещины? Почему у него не исчезает все-таки ощущение неуверенности, собственной неправоты?

В петлявших одна за другой мыслях не было последовательности и логики, самое зерно оставалось по-прежнему за семью замками; он бродил возле него, придвигаясь ближе и ближе, и уже только боязнь ожога не давала ступить в самую сердцевину; Пекарев смотрел в темноту окна. Все равно этого не миновать, он замер, прислушиваясь к самому себе.

Жена Петьки Актюбина, его друга со школьной скамьи, вошла к нему в кабинет неожиданно, и он, едва завидев ее в дверях, приветливо поднялся навстречу; Пекарев уважал эту смуглую высокую женщину с темными продолговатыми глазами и всегда любовался ею; на его лице потом так и осталась эта полуулыбка, слов-

но приклеенная маска, и он еще и сейчас, после нескольких дней, порой чувствовал ее и невольно проводил по лицу рукою, словно что-то стирая.

— Семен Емельянович,— сказала она, подходя к широкому, заваленному бумагами редакторскому столу,— Петра арестовали. Сегодня, часа в три ночи,— добавила она, и вот тогда-то Пекарев и попытался убрать с лица ненужную приветливую улыбку, и никак не мог, и потому чувствовал кожей лица какое-то жжение.

— Я не знаю, зачем пришла,— продолжала она, опустившись в дубовое кресло и поставив сумочку себе на колени.— Подумала, что должна куда-то пойти, что-то сделать, помочь Петру, одна я больше не могу. Вы так хорошо относились друг к другу... Вот, рассказала, и, кажется, легче... простите, я сейчас пойду, я ведь знаю, ни вы, ни кто другой помочь не смогут.

Справившись с собою, Пекарев вышел из-за стола, сел в кресло напротив нее.

— Мужайся, Кира,— сказал он первые подвернувшиеся на язык плоские, затертые и потому ненужные слова.— Я думаю, это недоразумение, досадная ошибка. Все разъяснится, уверяю тебя, я постараюсь выяснить.

— Я давно это чувствовала,— сказала она, глядя откуда-то издали, из глубины, в которую Пекарев не мог проникнуть.— У него в институте никогда не было врагов... он ведь, ты сам это знаешь, талантливый математик, острый, блестящий ум. Его любили!

— Ну вот видишь, Кира, все обязательно разъяснится,— вырвалось у Пекарева; он говорил ей что-то о справедливости, не в силах справиться с другим, противоположным потоком мысли, который так и кипел в нем; он тут же, со свойственной ему горячностью, стал было звонить, но чего-нибудь вразумительного добиться не мог; чувствуя, что это как-то неожиданно унижает его перед этой женщиной, которую он искренне уважал, он тут же хотел идти, доказывать, спорить. Она сама его остановила.

— Погоди, Сеня, погоди, не надо ничего делать сгоряча,— сказала она.— Ты все такой же донкихот, нисколько не меняешься...

— Не вижу в этом плохого,— возразил он, сердясь на себя за мальчишескую несдержанность и торопливость. Действительно, сгоряча можно было только все усугубить. Следовало навести все справки, и уж конечно не в присутствии Киры. Он проводил ее по всем

коридорам и вывел на улицу; здравый смысл был в тот час ни при чем.

— Ты, Сеня, смелый,— сказала Кира, прощаясь.— Соседи меня уже не узнают.

Пекарев пожал ей руку, все время ощущая спиной любопытные взгляды сотрудников и сердясь на себя; сейчас, стоя у окна и вспоминая все свои последующие и в общем-то неудачные действия по делу Актюбина, когда ему довольно мягко, но определенно дали понять, чтобы он не лез, куда его не просят, он совсем расстроился и то и дело сердито фыркал носом, и звук получался энергический и возмущенный.

2

Клавдия, как всякая женщина, была уверена в своем неоспоримом превосходстве над мужем ладить с людьми и распознавать природу человеческих характеров, считая, что только благодаря ее старанию и такту к ним в жизнь наконец пришел относительный достаток и благополучие и что без ее незаметного руководства муж не стал бы редактором областной газеты и членом бюро обкома, да и вообще никем бы не стал, а так бы и пробавлялся мелкой писаниной в газете. Клавдия инстинктом почувствовала опасность, когда узнала, что муж кроме своей непосредственной работы, дающей хлеб и положение в обществе, еще мечтает о какой-то там литературной деятельности; она никак не могла припомнить сколько-нибудь серьезных причин для их теперешней отчужденности и с горечью думала, что муж не понимает ее. Скорее всего в этом и заключается причина, он так и не смог понять ее нутра; а ведь для себя ей ничего не нужно, она желала большего лишь для него, все ее честолюбие теперь сосредоточилось в нем, и ради болезненной своей мысли о его дальнейшем продвижении она не жалела ни себя, ни его, но ведь это было естественно для всякой умной женщины, трезво сознающей свое положение и свои возможности. Ничего не поделаешь, она пыталась и здесь пересилить себя, но ей необходимо уважать человека, с которым она связала свою жизнь и будущее дочери и ради которого она отказалась от собственного «я».

В дверь постучали, она недоуменно пожала плечами и пошла открывать, зная, что муж, запершийся у себя

в кабинете, не выйдет; за ней, как всегда, увязалась общая любимица в семье — большая сибирская кошка Жужа, обмахнув себя пушистым хвостом, она притаилась у двери. Клавдия увидела перед собой Брюханова, сильного, с обветренным, оживленным лицом; он весело поздоровался с нею и поинтересовался, как у нее идут дела на работе, и она знала, что спрашивает он не из дежурного любопытства и приличия, он всегда с интересом и подолгу разговаривал с ней о ее служебных делах, с подчеркнутым вниманием относился к ней на людях. Вот и сейчас Брюханов слушал, не сводя с нее оживленного взгляда. Клавдия чувствовала, что нравится Брюханову, и этот тайный, глубоко запрятанный интерес к ней как-то сразу словно зажег ее. В ней появилась милая беспомощность, что так нравится мужчинам; да, вот такого, как Брюханов, и нужно было ей в спутники, вот такому она доверилась бы полностью, *такому* было бы приятно просто подчиниться.

— Я, Клавдия Георгиевна, к Семену Емельяновичу на минуту,— сказал Брюханов и тут увидел Пекарева, вышедшего в коридор, и протянул ему руку.— Ты что, Семен, хмур? — удивился он насмешливо.— Гостю не рад, так я ненадолго.

— Гостю мы рады, а незваному вдвойне, люди как-никак русские. Проходи, Тихон, мы сегодня как раз тебя вспоминали, вот,— Пекарев кивком указал на жену,— все заботится, вот, говорит, без женского присмотра человек. Проходи,— пригласил Пекарев, сторонясь, пропуская Брюханова к себе в комнату.

Клавдия, блестя глазами, принялась готовить чай и закуски с особенной тщательностью, обдумывая каждую деталь в сервировке стола; мельком оглядев себя в зеркало, Клавдия подумала, что она еще все-таки хороша, хотя начинать что-либо сызнова уже поздно, но ей к лицу сиреневый цвет и жоржет приятно холодил шею.

Она никогда не кокетничала с Брюхановым, зная, что может этим безвозвратно уронить себя в его глазах, и совершенно неосознанно, но безошибочно подчеркивала в себе самые выгодные стороны, оставаясь при этом естественной и задушевно-простой. Это и была та самая манера, которая больше всего шла ей. И она, откровенно подумав об этом, слегка заволновалась, тут же одернула себя и с еще большей тщательностью принялась резать сыр.

Брюханов между тем рылся на книжных полках у Пекарева в кабинете. У Пекарева была одна из лучших библиотек в городе, осталась от отца, и случайным образом сохранился весь Шиллер на немецком языке в великолепном старинном издании. Брюханов уже несколько лет изучал немецкий и давненько грозился забрать Шиллера в обмен на что-нибудь другое. Вот по этому поводу и шел у них оживленный разговор, к которому напряженно прислушивалась Клавдия, накрывая чай в столовой. Брюханов у них в доме был редким гостем, и Клавдии не хотелось ударить лицом в грязь. Но и за столом они говорили больше о делах, энергично ели, не обращая внимания на изысканность сервировки, громко смеялись каким-то своим шуткам; и небрежно открытые ноты на пианино так и остались незамеченными; Клавдии не удалось щегольнуть недавно разученной фугой Баха, она так кстати пришлась бы к разговору о Шиллере. Напившись чаю, Брюханов ушел, аккуратно увязав бечевкой книги, Клавдия вскоре после его ухода легла, сославшись на ранний педсовет; и Пекарев в одиночестве, на свободе еще раз с удовольствием напился чаю с тминным хлебом и домашней колбасой, разогретой им на сковородке. Поесть на свободе вечерком он любил, несмотря на незаметно подкравшуюся полноту и категорические запреты жены. Запах горячей бараньей колбасы, чуть приправленной перцем и пряностями, напоминал ему детство и дом отца, в котором любили и умели готовить.

Было это двадцать шесть лет назад, когда ему сравнялось десять и он был влюблен в отца, да и мало сказать — влюблен, он был преисполнен какого-то судорожного восторга перед ним и ревновал его ко всем, в том числе и к матери и к старшему брату Анатолию. В тяжеловатый душный августовский день, день его рождения, девятнадцатого августа, был накрыт просторный стол и уже пришли товарищи и две девочки в пушистых юбочках; это были дочери папиного друга, доктора Кугурлицкого; дети танцевали под граммофон, и было весело и шумно. Анатолий, готовившийся к поступлению в университет, зашел на минуту, поцеловал его по-взрослому в голову и снова ушел к себе; Сеня мучительно покраснел. Он все время ждал отца и то и дело прислушивался и тянул голову к двери; мать

понимающе поглядывала на него, затем подошла, как-то мягко и незаметно скользнула по голове теплой, легкой ладонью.

— Он придет,— сказала мать тихо, с понимающей улыбкой на губах.— Он обязательно придет, Сеня, он тебя любит.

И он как-то успокоился и пошел танцевать с другими детьми; потом в шестом часу началась очень сильная гроза, и потом говорили, что громом убило в городе двух человек: бабу торговку и звонаря Воздвиженской церкви, тот якобы был сильно пьян, от перепития впал в белую горячку, и нелегкая понесла его в грозу на колокольню, сам себя и угробил. Но когда началась гроза, никто еще ничего не знал, и дети в доме доктора Пекарева бросили танцевать и весело побежали к потемневшим окнам смотреть; на улице сделалось совершенно темно, и темнота часто разрывалась вспышками молний, из окон было видно, как вскипают большие лужи; девочки в пушистых юбочках испуганно и слабо попискивали; взрослые плотно закрыли окна на все задвижки и приказали детям вернуться к столу и танцам; опять завели граммофон. Сеня, дергая шеей в тесном воротнике, украдкой пробрался к себе в комнату и прижался лицом к прохладному стеклу; окно выходило в небольшой ухоженный садик, и теперь от дождя, наверное, падали яблоки; Сеня набрался смелости и распахнул окно, и в комнату вместе с мерным тяжелым шумом большого дождя хлынул тревожный гул и свежесть; в лицо ему полетели мелкие брызги. Сеня стоял и думал, что, как только кончится дождь, обязательно вернется отец, и кожаный верх пролетки будет весь мокрый и блестящий; широкая, иссиня-пронзительная молния высветила залитый дождем сад, и был какой-то совершенно особенный удар грома, словно земля раскололась пополам и все, что было на ней, ухнуло вниз, в пропасть; Сеня отшатнулся от окна и побледнел. В комнату ворвался тяжелый отзвук из сада, и забились занавеси, и пол задрожал, и в самом сердце словно появилась ответная дрожь; Сене захотелось выскочить на улицу и куда-то побежать, а скорее всего полететь туда, где жили и бились большие холодные молнии; это было как предчувствие иной, незнакомой, но неодолимо надвигающейся жизни, и ему стало трудно дышать. Он чувствовал, что не сможет преодолеть искушения и все-таки выскочит на улицу; он уже влез на подоконник

и стал, громко смеясь, ловить руками толстые струи воды, падавшей с крыши; он бы сейчас мог при всех поцеловать ту младшую из девочек, с которой все время хотелось быть рядом, а он стыдился. Он должен был прыгнуть под дождь в своем нарядном костюмчике и знал, что обязательно сделает это. «Вот сейчас появится рогатая молния,— говорил он себе,— как она появится, так я и прыгну, и все будут удивлены моей храбростью, и младшая Таня удивится, а я ничего никому не стану говорить, даже маме, потому что она не поймет. Вот если бы был отец, он бы обязательно все понял, он бы все объяснил без лишних слов». Сеня ждал, и когда рогатая молния вспыхнула над садом, Сеня зажмурился и подался вперед. «Нет,— тут же сказал он себе,— незачем так торопиться, пусть она ударит еще раз, и тогда я прыгну обязательно». Он широко открыл глаза и ждал, что-то заставило его оглянуться, и он увидел далекое и белое лицо матери; она подошла, и он ткнулся ей в руки и счастливо засмеялся. Он смеялся и все чувствовал, что никак не может остановиться.

— Что с тобой, Сеня?— спросила мать испуганно, щупая ему лоб, и прикосновение ее узкой прохладной ладони привело его в себя.

— Ничего, мамочка,— сказал он, смаргивая крупные слезы, появившиеся от напряженного ожидания.

— Пойдем к гостям, Сеня,— сказала мать строго.— Нехорошо оставлять гостей надолго одних.

— Да, пойдем,— согласился он, и они вернулись в веселую и шумную компанию; гроза прошла, и почти сразу появилось солнце. Оно было уже низко, но от земли, от крыш, от зелени сразу заструился тонкий парок; вскоре пришли из больницы и сообщили, что доктор Емельян Ростиславович уехал за тридцать верст в деревню, где два мужика вилами попоролись, и просил передать, чтобы не беспокоились дома; посыльный, находясь в передней, говорил громко, на весь дом, и Сеня теперь нисколько не опечалился, что отца так и не будет сегодня на его празднике; он чувствовал, что мать встревожена за него и незаметно следит, и оттого ему было щекотно и весело.

Когда все разошлись и он лег спать, мать еще посидела рядом, о чем-то рассказывая; он слушал ее убаюкивающий мягкий голос и все думал о том, почему ему сегодня так необычно и все чего-то хочется; он закрыл

глаза и сделал вид, что заснул; мать помедлила и ушла, коснувшись его лба теплой ладонью. Стало темно, и только в стеклах окон что-то шевелилось; Сеня напряженно прислушивался, и ему опять было беспокойно-хорошо и не хотелось спать; он опять долго стоял у окна в одной рубашке, прохладный пол приятно холодил ноги. Он заснул под утро и уже во сне понял, что вернулся отец, он хотел проснуться и не мог; он слышал, как отец, тяжело ступая на носках, подошел к его кровати, наклонился, поцеловал; мать что-то сказала счастливым шепотом, и Сеня улыбнулся во сне; ему было так хорошо; мать с отцом ушли, и он знал, что мать была легкая и прозрачная, в длинном шелковом халате. Что, что, что же это происходило с ним такое хорошее и важное? Он хотел остановить отца и спросить, но не сделал этого, а еще крепче зажмурился, перевернулся на бок и провалился в счастливый сон.

3

На другой день Пекарева разбудил рано утром телефонный звонок; он спросонья чертыхнулся и, не в силах сразу раскрыть глаз, вслепую нащупал трубку и потянул ее к уху.

— Пекарев, Пекарев слушает,— сипло сказал он, и тотчас неосознанная тревога охватила его; он быстро сел, просыпаясь окончательно.

— Напутали мы тут, напутали,— ударил ему в ухо из трубки чей-то знакомый голос, и все-таки он не мог точно определить, чей, и оторопело спросил:

— В чем напутали?

— Да в статье Чубарева, черт бы его побрал. Понимаете, Семен Емельянович, надо же, два абзаца перескочили, получается совершенная чепуха... Здесь есть слово «империализм», да вот теперь из-за того, что абзацы перескочили, вполне может показаться, что Чубарев относится к этому самому империализму несколько лояльно, а редакция с ним несколько согласна... Нарочно не придумаешь.

— Да чего напутали-то, что перескочили? Откуда вы говорите?

— Из редакции, мне как принесли газету утром, я сразу сюда.

Теперь Пекарев узнал ответственного секретаря Андрея Сидоровича, помолчал, собираясь с мыслями.

— Я сейчас буду, ничего страшного не вижу,— сказал он в трубку, бросил ее на рычаги; ворча, стал одеваться, ругая Филимонова. «Наверное, какой-нибудь пустяк,— думал он,— а в панику ударился, до чего трусливый человек, ума не приложить». Но с каждой минутой он начинал все больше торопиться, потому что, как бы ни был труслив и осторожен Филимонов, он из-за пустяка не стал бы тащить его из постели в такую рань, да и сам бы не прибежал в редакцию; что-то чрезвычайно важное случилось, тем более раз это связано со статьей Чубарева. Жена и дочь, конечно, еще спали, он вышел, беззвучно притворив за собой двери, не хотелось будить их, и как только увидел в коридоре редакции бросившееся ему навстречу расстроенное лицо Филимонова в больших роговых очках (худенький, в просторном кителе, с асимметричным подслеповатым лицом, Филимонов вызвал сейчас и досаду, и острое чувство жалости), Пекарев молча взял газету из рук Филимонова. Сначала он никак не мог ухватить какого-либо непорядка; шли тягостные минуты, и он все беспомощно бегал и бегал по одной-единственной строчке, затем лицо его потемнело, и он недоумевающе поднял глаза.

— Когда только успели,— сказал он с искренним удивлением.— Это же просто безобразие и безответственность... Надо же так пересобачить!

— Пересобачили крепенько, Семен Емельянович,— попытался сочувственно хохотнуть Филимонов.— Недолго и голову свернуть.

Некоторое время Пекарев, забывшись, глядел мимо него в пространство, но очки Филимонова все время были перед ним, и Пекарев впервые осознал удивительную способность Филимонова быть одновременно в разных местах. Проверяя эту мысль, Пекарев вышел в пустынную еще приемную, поднял глаза и удовлетворенно хмыкнул — очки Филимонова были перед ним. Пекарев направился в коридор и увидел перед собой удаляющуюся спину Филимонова; стараясь не думать о своем открытии, Пекарев внимательно пробежал доску лучших материалов за неделю и вернулся назад в кабинет: Филимонов, примостившись на диване, сличал гранки с номером, стараясь всячески выказать свою озабоченность и сочувствие. Пекарев с досадой отвернулся. «Од-

нако дело скверное»,— подумал он коротко; теперь очки на лице Филимонова были перекошены еще заметнее и лицо все больше приобретало землистый цвет.

— Метаморфоза, Семен Емельянович, исключительная,— пробормотал Филимонов беспомощно, словно пытаясь движением руки впереди себя в воздухе изобразить какую-то одному ему ведомую фигуру.

— Метаморфоза тем более исключительная, что проскочила именно в этой статье.

— А может, пронесет?— неуверенно предположил Филимонов, по-прежнему что-то выделывая перед собой руками.— Почему все должны обратить внимание? Хотя что я говорю, все-таки двусмысленность именно политическая в определении понятия «империализм» налицо. Мы теряем время, Семен Емельянович, нужно что-то предпринимать.

— Поздно, братец, гроза надвинулась,— круто свел брови Пекарев.— Вот погоди, сейчас звонки начнутся.

Оба они одновременно покосились на телефоны на столе, и хотя в просторном, хорошо проветренном редакторском кабинете было прохладно, Филимонов достал платок и, скомкав его, вытер шею и лоб; Пекарев полистал календарь, щелкнул замком сейфа, стараясь занять руки.

— Уж как нехорошо все это, как нехорошо!— вырвалось у него, хотя он понимал, что перед Филимоновым не стоит раздеваться, тот и так дрожит как осиновый лист: мало ли с ним было стычек и недоразумений, а как близко к сердцу принял, в беде-то человек и раскрывается, вот тебе и Филимонов.

Постепенно стрелки приближались к девяти, скоро повсюду в учреждениях служащие займут свои места и начнется работа; но перед этим все или почти все развернут свою родную газету «Холмский рабочий», и два-три человека обязательно заметят непорядок, и пойдет расти лавина; Пекарев вздохнул, подумал было сесть и снова заходил по кабинету. Филимонов, потоптавшись еще немного около двери и пробормотав что-то, вышел, и Пекарев остался на некоторое время в полной тишине и одиночестве, ни о чем не думая и ничего не предпринимая; резко зазвонил телефон, и недовольный голос жены спросил сердито, в чем дело и почему он уходит из дому ни свет ни заря, не сказавшись. Пекарев отговорился занятостью и положил трубку, но телефон сразу же зазвенел опять, и голос

жены строго спросил, когда он перестанет хамить и бросать трубку. И тут же зазвенел внутренний телефон, и он тотчас понял, что это из обкома. Помедлив, Пекарев положил одну трубку и взял другую, и сразу же раздался напряженный и требовательный голос.

— Это ты, Пекарев?— громко говорили на той стороне провода.— Будь добр, зайди ко мне, хорошо? Ты почему молчишь, почему молчишь? Пекарев, алло, Пекарев? А ну поднимайся ко мне, сейчас же, чем только у вас мозги забиты!

— Да ты посмотри, абзацы как-то перескочили, переставь их на свои места...

— Кому какое дело, что у тебя перескочило? Поднимайся сейчас же ко мне!

— Хорошо, иду, кричать-то зачем, Петр?

Пекарев положил трубку, тщательно причесался и проверил бумаги на столе, щелкнул ключом сейфа и вышел; в редакции все уже знали, виновато опускали глаза и здоровались тише обычного. Он шел по коридорам, почти не различая лиц; потом как-то вяло и безразлично выслушал ругань секретаря обкома по пропаганде Сергеева Петра Нефедовича, и Сергеева поразило это каменное равнодушие Пекарева, и, по близорукости близко поднося к глазам, закрытым толстыми выпуклыми линзами очков, злосчастный номер, он все пытался доискаться, как это случилось? И Пекарев, видя его встревоженные и добрые близорукие глаза и чувствуя его неспокойное дыхание, никак не мог встряхнуться и сбросить с себя странное оцепенение, понимая, что подвел и Сергеева, и тот в своем положении должен говорить все то, что он говорил, и отчитывать его, и он на его месте делал бы то же самое, но куда-то вдруг исчезло чувство многолетней симпатии и взаимной поддержки, связывавшее их. Сергеев словно прочел эти мысли и другим, домашним голосом сказал, отпуская:

— Ладно, иди, Семен. Может, пронесет как-нибудь, обидно, ведь глупость же, нелепость...

— Пойду, Петр,— сказал Пекарев, по-прежнему глядя мимо Сергеева.— Пойду соберусь немного с мыслями, бывай, Петр.

Сергеев вскоре сам был вызван к *первому*; тот, против ожидания, был спокоен и даже будто недоволен явной растерянностью окружающих, ждавших его реакции; увидев Сергеева, он поздоровался, пригласил садиться.

— Не понимаю, чем у вас люди занимаются...

— Константин Леонтьевич, я говорил с Пекаревым, он совершенно убит, мы пытались сориентироваться, найти выход.

— Выход один — серьезнее относиться к своему делу, вот и весь выход.

В кабинет Петрова сходились люди, через десять минут уже должно было начаться бюро. Пришел Брюханов в глухом, закрытом костюме; Петров подозвал его и стал о чем-то быстро и энергично говорить; было видно, что они близко знают друг друга и хорошо друг к другу относятся, никто не пытался вмешаться в их разговор, все делали вид, что заняты оживленной беседой. Пришел Пекарев, молча, одним движением головы поздоровался со всеми, подошел к краю большого стола для заседания и сел, как раз нарушив дистанцию, которая негласно поддерживалась остальными; и тотчас шум голосов смолк.

— Вон он, наш герой,— казалось, бесстрастно сказал Петров в тишине.— Я думаю, не будем долго задерживаться на нем. Объявим ему выговор, пожалуй, даже строгий выговор с опубликованием в завтрашнем номере газеты, и этим ограничимся. Пусть народ знает, народ умнее нас с вами, он все поймет как надо и сделает выводы. Никто, товарищи, не возражает? Пожалуй, для объективности следует отметить, что статья товарища Чубарева, не будь этой накладки, содержит правдивую информацию о ходе стройки, хотя преждевременна и на этот раз. Силами одной области нельзя построить предприятие общесоюзного значения. В статье и на этот раз не обошлось без излишней резкости и категоричности.— Петров помолчал, поглядывая хмуро на вставшего перед ним Пекарева.— Да вы садитесь, Пекарев, в ногах правды нет. Значит, товарищ Пекарев не учел критики в свой адрес. Газета областного комитета партии — не телега, куда хочу, туда поворочу. У меня еще один вопрос к вам, Пекарев.— Петров быстро взглянул в сторону Брюханова, притушил мелькнувшую усмешку.— Здесь по всему городу ходят неприличные слухи. Говорят, будто наши товарищи привозят из командировок по колхозам всякую снедь, вплоть до кабанчиков и прочей живности. Ты бы не смог, Пекарев, помочь нам в этом деле разобраться?

— Я так и знал, что Горшенин болтун и сплетник,— пробормотал Пекарев, густо краснея,— вот вам доказа-

тельство. Не успел я пошутить, а он уже целое досье сочинил.

— Плохие шутки, товарищ Пекарев,— резко остановил его Петров.— За такие шутки впору исключать из партии. Хороши шуточки между членами партии. Думаю, вы извлечете урок из сказанного, сделаете соответствующие выводы. Ваша детская резвость, простите, непонятна и непростительна в вашем возрасте,— он еще раз окинул цепким взглядом фигуру редактора и перешел к повестке дня.— Приступим к основному вопросу — положение дел на машиностроительном и реконструкция цементного завода. Особенно мне хотелось бы остановиться на цементном,— голос Петрова звучал так же ровно и бесстрастно, как если бы ничего не случилось,—это сейчас гвоздевой вопрос, из-за этого много сложностей и со строительством моторного. Необходимо как можно оперативнее решать с цементным.

Пекарев не слышал, о чем говорили, и его больше не трогали, точно забыли о его присутствии; все как будто обошлось, с какой-то едкой насмешкой к себе думал он, просто завтра в газете сообщат о выговоре ему, и потом он будет ходить оплеванный и будет неловко взглянуть даже на уборщицу; так вот и будет тлеть чахоткой. Нет, больше не подняться, думал Пекарев в монотонном жужжании голосов, вот до чего дожил, а с Горшениным еще один урок, надо уметь сдерживаться и не оттачивать остроумие на дураках, дураки этого не прощают, хотя, разумеется, с Горшениным это мелочь; дело в самой сути статьи Чубарева, вот истинная причина недовольства Петрова. Нужно было давать выправленный вариант, черт толкнул не вовремя под руку, уж он-то больше других знает, что Петров прав. А ведь Петров мог бы с ним и не либеральничать больше, случай из ряда вон выходящий, нет, этот человек непостижим.

Назавтра Пекарев нарочно задержался дома до десяти часов, чтобы жена успела просмотреть газету, где на первой полосе была информация о том, что бюро обкома объявляет ему строгий выговор за допущенную небрежность и невнимательность в работе, приведшую к грубой ошибке; он как раз брился, когда вошла жена с газетой в руках и осторожным, робким движением притронулась сзади к его плечу:

— Ничего, Сеня, могло быть хуже, переживем.

От неожиданности он замер и спазма перехватила горло, черт возьми, от этой женщины всегда можно ждать чего угодно...

— Я знаю, Сеня, я часто виновата, делаю тебе больно, но я ведь хочу добра. Ничего, Сеня,— насильно обнимала она его узкие плечи,— ничего.

Ночью она несколько раз вставала к нему и смотрела, как он спит, он спал, лежа на спине, и дыхание у него было чистым и бесшумным, как у намучившегося и выздоровевшего наконец ребенка, в полумраке комнаты (шторы были задернуты) лицо его чуть-чуть угадывалось. Если бы все недоброе ушло от него во сне и вообще если бы можно было проснуться и начать все сначала...

Утром она заглянула к дочери, та одевалась в школу, разглядывая себя перед зеркалом совершенно по-взрослому, осторожно трогая пальцами темные, как у матери, длинные брови.

— А папа разве еще не вставал? — удивилась Оля, привыкшая садиться за стол вместе с отцом и потому избавленная от неприятной обязанности собирать посуду и разогревать с вечера приготовленный матерью завтрак.— Что же он, не идет сегодня на работу?

— Может, и не пойдет,— сказала Клавдия.—Ему нездоровится, Оля. Сама поешь и поспеши, опоздаешь.

Оля с недоумением взглянула на мать, но, не решаясь спорить, молча побежала на кухню; Клавдия подошла к окну и увидела, что идет дождь, на стеклах окон рябили мелкие брызги, и она некоторое время с пристальным интересом наблюдала за ежесекундными изменениями на стекле; это тоже была жизнь, что-то соединялось, что-то распадалось. Вскоре дочь ушла, чмокнув ее на прощанье, на ходу застегивая портфель; конечно, будет нестись через три ступеньки и обязательно опоздает. Клавдия подобрала разбросанные Олей вещи, застелила ее постель, досадливо морщась; нехорошо, почти взрослая девушка и такая неряха, не хочет даже прибрать за собой, навести элементарный порядок у себя в комнате, давно пора обратить на это внимание, если сейчас в девочке не пересилить эту небрежность, перейдет в характер и ей трудно придется в жизни. Войдя в комнату к мужу, она широко раскрыла глаза; в первый момент она хотела расхохотаться, но удержалась. Пекарев стоял на четвереньках перед выгнувшей

горб кошкой и шикал на нее, кошка в ответ воинственно шипела и отбивалась лапой.

— Ну хватит, Семен!— сказала Клавдия, в сердцах шлепая кошку мокрой тряпкой.— Ты что, совсем в детство впадаешь?

— Нет, Клаша,— ответил Пекарев, поднимая к жене огорченное лицо.— Понимаешь, никто меня не боится, даже собственная кошка. Ты посмотри, какая наглая скотина, хвост трубой и морду отворачивает, точно Горшенин.

— Сеня, Сеня, когда ты станешь взрослым, поумнеешь?— Клавдия не знала, то ли ей расплакаться, то ли рассмеяться.— Надо же себя уважать, наконец! Пока ты себя не научишься уважать, никто не будет принимать тебя всерьез, пойми ты это!

— Да брось ты свою демагогию, Клавушка, просто ты промахнулась, я оказался далеко не из самых сильных, как тебе этого хотелось.

— Ах, Сеня, Сеня, мне хочется так мало, чтобы ты оставался самим собой и был как все люди, знал свое место, но умел и постоять за себя, когда надо. Почему, почему ты никак не можешь остановиться с Петровым? Да, да, я не устану это повторять. Ну что ты ему хочешь доказать? Из кожи вон лезешь, доказываешь, что ты его достоин. А получается смешно. Пойми, не может он стать с тобой на одну ногу, не хочет, не надо ему этого.

— Отчего же это не может? Сейчас все равны.

— Ах ты боже мой, что за наказание!— всплеснула Клавдия руками, и Пекарев, сразу как-то сгорбившись, подошел к гардеробу и стал одеваться; можно было продолжить давнюю игру, сказать жене что-нибудь ласковое, разуверить; он даже знал, что это необходимо для собственного спокойствия, но не мог преодолеть раздражения против нее.

— Мне нечего тебе сказать, Клашенька,— поднял он глаза на жену, и оттого, что он назвал ее так ласково, как называл в первые годы их счастливой жизни, она растерялась и, чтобы не расплакаться, крепко сжала губы.— Как видно, неудачник я, хочется сделать что-нибудь большое, яркое, чтобы вокруг ахнули... А видишь, все наизнанку выходит.

— Стержня тебе не хватает крепкого, Семен,—сказала она после минутного молчания и тут же по его поднявшимся бровям поняла, что говорит не то, но остановиться не могла, торопилась, глотая подступив-

шие слезы.— Вся беда в этом, Семен. Как бы можно было жить, пересиль ты себя хоть немного. Ты ведь можешь, все можешь, я же тебя лучше знаю. Не хочешь, считаешь, что газета тебя заедает. Отсюда все твои фокусы. А если причина во мне, давай разойдемся, зачем же себя насиловать.

— Можно и так,— повторил Пекарев мирно, и в глазах у него мелькнули и пропали насмешливые искорки.— Все можно, правильно заметила. Только мы уже однажды пробовали, сама знаешь, что из этого получилось.

— Ты меня доведешь, Семен,— пригрозила Клавдия решительно.— Смотри, поздно будет.

4

После этого разговора Клавдия все пыталась восстановить тот момент, когда в жизни мужа наметился и произошел сдвиг, который она просмотрела; что ж, он большой ребенок, она во всем винила себя и все больше приходила к одной определенной мысли. Сама она справиться не могла, сколько ни старалась, нужно было обратиться к силам иным, более действенным, чем ее собственные, и она наконец решила пойти к Константину Леонтьевичу Петрову. Она понимала серьезность этого шага; он мог окончательно развести все мосты между нею и мужем, но в случае удачи он бы сблизил их, а главное, остановил разрастание в душе мужа этой непонятной червоточины; она верила в удачу. В конце концов, муж должен был понять, что она это делает ради него, ради семьи и будущего дочери; наконец, она просто не могла допустить, чтобы вся ее жизнь обернулась несправедливостью и кончилась крахом; она бы этого не перенесла.

Несколько дней она ходила сосредоточенная и молчаливая, взвешивая все «за» и «против»; в своем праве на разговор с Петровым, в его понимании и добром отношении она не сомневалась и лишь хотела себя подготовить получше. Она написала все то, что думала сказать, в тетради, промучилась над этим почти два дня и ходила замкнутая, непроницаемая, с домашними почти не разговаривала. В доме воцарилась напряженная тишина; даже Оля, наполнявшая квартиру шумом и беготней, притихла, понимая, что между отцом и матерью

что-то происходит. Несколько раз Оля видела на глазах у матери слезы, но спросить не посмела. Во вторник утром Клавдия решила, что час настал, и, дождавшись, когда муж уйдет на работу, а дочь — в школу, прошла в кабинет мужа и, словно видя все впервые, огляделась. Комната была просторной и светлой, с массивным письменным столом на дубовых выточенных ножках, в окружении нескольких стульев; у одной стены снизу доверху — книги на полках, у другой — широкий диван в чехле, на полу ковер крупного, размытого рисунка; все это она сама устраивала, и все могло рухнуть. Она еле удержалась, чтобы не заплакать; дожидаясь, пока телефонистка соединит ее, и услышав наконец твердый мужской голос, попросила:

— Александр Михайлович, мне товарищ Петров нужен, хоть на три минуты. Это я, Пекарева.

— Я вас узнал, Клавдия Георгиевна,— помедлив, отозвался помощник Петрова.— Что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего особенного,— сказала она, стараясь говорить ровнее.— У меня сугубо личный вопрос.

Хорошо, я вас соединяю. Говорите, Клавдия Георгиевна.

Услышав в трубке тихий голос *первого*, она некоторое время не могла начать говорить; глотала и глотала какие-то вязкие комья.

— Здравствуйте, здравствуйте, Клавдия Георгиевна,— пришел ей на помощь Петров со свойственными ему мягкими интонациями в голосе, особенно если он говорил с женщиной.— Рад вас слышать.

— Товарищ Петров, очень мне неудобно, но я бы хотела с вами увидеться, хотя бы несколько минут.

— В чем же дело?— Клавдия почувствовала, что Петров на другом конце провода улыбнулся.— Ну хорошо, приходите. Приходите сегодня в четыре часа, Клавдия Георгиевна,— уточнил он,— я рад буду видеть вас. Договорились?

— Спасибо, Константин Леонтьевич, я приду.—Она слышала, как он положил трубку, и еще некоторое время находилась в оцепенении; перед ней в окне сеялся мелкий, спорый дождь, и дом напротив расплывался в глазах, она несколько минут глядела на окна, перебегая взглядом с одного на другое; ей казалось, что там, за туманными стеклами, не такая несчастная жизнь, как у нее, и люди свободнее и красивее.

Она была у Петрова ровно в назначенный час, попрежнему углубленная в себя и молчаливая; интуиция подсказала ей, как одеться, и она действительно была хороша в зеленом костюме строгого, облегающего покроя; волосы, высоко собранные в тугой узел на затылке, оттягивали ее голову немного назад, в зеленых продолговатых глазах как бы отражались две крошечные топазовые капли серег, придавая ее лицу несколько холодноватое и высокомерное выражение.

Петров пошел к ней из-за стола с приветливым и вежливым лицом, она видела, что ее приход не вызвал в нем ни малейшего душевного движения; вот с таким же спокойным приветливым лицом и холодными глазами он встретил бы и встречает любого другого.

— Прошу вас, садитесь, Клавдия Георгиевна,—сказал Петров, указывая на широкое кресло у стены и каким-то осторожным движением беря ее руку и слегка пожимая.— Вы садитесь, а я похожу, весь день сегодня за столом.

Петров ходил перед нею по большому продолговатому кабинету, на стене висел портрет Ленина с удивительно углубленно-сосредоточенным и в то же время мягким выражением лица, с рельефно выступающим бугристым лбом и грустными глазами: Клавдия раньше не видела такого портрета.

— Константин Леонтьевич,— сказала Клавдия, выждав и решив, что момент для разговора наступил,— вам, возможно, покажется, что это мелочи.

— Зачем же предварять?— поднял брови Петров, останавливаясь перед ней и прихватив рукой борт пиджака, и Клавдия опять машинально отметила худобу его тонких и длинных, как карандаш, пальцев.

— Я не могу, Константин Леонтьевич, все это держать в себе,— сказала она с выражением решимости на лице, и хотя сразу же почувствовала, что взяла слишком высокую ноту, остановиться не могла и продолжала в том же тоне: — У меня на глазах гибнет человек, мой муж. Прошу у вас если не помощи, то хотя бы совета, у нас дочь растет, я не хочу, не могу допустить, чтобы все эти неурядицы сказались на ее характере...

Клавдия, не останавливаясь, точно кинулась в холодную воду, высказывала все наболевшее одно за другим, и Петров внимательно слушал, шагая перед нею по кабинету, не произнося ни слова и лишь изредка вскидывая на свою собеседницу чуть оттаявшие от обычной

холодности, повеселевшие глаза. Он долго молчал и после того, как Клавдия окончила; пожалуй, он меньше всего думал сейчас о Пекареве, о том, что он хороший коммунист и что ему трудно, и мысль его приняла несколько неожиданный поворот; он думал о сыне, которого давно не видел, время напряженное, на границе не спокойно, последний раз они встречались в Москве во время всероссийских сборов красных командиров. Сын загорел, возмужал, форма ему была очень к лицу. В конце концов, реки начинаются где-то с маленьких родничков, с капель; тревога Пекаревой вполне объяснима.

— Дети — это хорошо, Клавдия Георгиевна,— Петров наконец заговорил, и ей сразу стало спокойнее,—хорошо, что вы пришли и все рассказали. Мы обошлись с Пекаревым круто, но он — коммунист, стоит во главе важнейшего партийного дела, мы не можем прощать и соринки, партия будет особенно строго взыскивать с тех, кому доверяет. Поймите, Клавдия Георгиевна,—остановил он хотевшую что-то возразить Клавдию и угадав, что именно она хотела сказать.— Поймите, в ответственности за судьбы революции и государства все равны. Неважно, какой кто пост занимает. В непонимании этого таится громадная опасность! Громадная! — подчеркнул Петров, уже больше рассуждая сам с собой, чем обращаясь к Клавдии.— Люди моего поколения привыкли к личной ответственности за все, для них это так же естественно и непреложно, как дышать. Они во всем полномочны, если того требует дело, интересы народа. В самые тяжкие моменты они не боялись взвалить на себя бремя — быть самостоятельными и отвечать за эту свою самостоятельность. С коммуниста никто не снимал и никогда не снимет такую ответственность, на этом стояла и стоять будет партия. Это относится и к вашему мужу, и к нашему с вами разговору, Клавдия Георгиевна.

— Константин Леонтьевич, не мне судить о таких больших делах.— Клавдия стиснула руки, в которых она все время держала сумочку.— Я только женщина, могу с вами говорить об одном конкретном, близком мне человеке. Его я знаю, хотя совершенно не понимаю, что с ним сейчас происходит. Я вам верю, Константин Леонтьевич, я пришла к вам, как к отцу или старшему брату. Нужно что-то сделать, может, просто поговорить

с ним, поговорить начистоту. Может, этого вполне будет достаточно, Константин Леонтьевич.

— Хорошо,— просто сказал Петров, останавливаясь перед Клавдией.— Обещаю вам это.

— Константин Леонтьевич, мне очень плохо,— пожаловалась Клавдия совсем непоследовательно, вне всякой связи с разговором, по-женски, напряженно выпрямившись и глядя куда-то мимо Петрова.— Сказать, что я взбалмошная, вздорная баба, нельзя, это была бы неправда. Но иногда у меня просто опускаются руки, я не умею с ним сладить, у него столько фантазий, он ведь пишет, Константин Леонтьевич! У меня с собой дневник мужа, так называемый «Дневник времени». Я прошу вас хотя бы полистать его, и вы поймете, что это человек глубоко честный и чистый...

Она щелкнула замком сумочки, достала из нее толстую клеенчатую тетрадь с потертой обложкой и порывисто протянула Петрову; и сразу увидела, как брезгливо сложились и опустились уголками вниз его крупные губы.

— Читать чужой дневник без ведома его автора я не могу и не вправе.— Петров говорил в одной ровной интонации, не повышая голоса.

— Вы меня не так поняли, Константин Леонтьевич! — Клавдия стояла перед ним побледневшая и решительная.— У коммуниста не может быть тайных мыслей!

— Я понимаю ваши чувства, Клавдия Георгиевна, и все-таки надо держать себя в руках, не теряйте голову. Уважайте ваше чувство, ваше отношение к мужу. Это самое главное для каждого из вас. Я считал и считаю вашего мужа человеком, вполне способным возглавлять газету, честным коммунистом.

— Спасибо, Константин Леонтьевич.— Клавдия стремительно поднялась; толстая потрепанная тетрадь, которую она держала в руках и все старалась свернуть в трубку, сделать как-нибудь незаметнее, мешала ей; Клавдия даже не могла предположить, что ее поступок будет расценен подобным образом, и сейчас никак не могла скрыть чувства мучительного стыда.— До свидания, Константин Леонтьевич, простите за беспокойство и не взыщите, я ведь всего только женщина...— говорила она сбивчиво, чувствуя, что ее так эффектно задуманный разговор с Петровым неожиданно принял нежелательный и даже унизительный для нее характер. Ей

казалось, что Петров намеренно обижает ее, переносит на нее свое отношение к мужу, она еще что-то говорила, стараясь дать ему понять, что раскаивается в своей излишней искренности. Петров вежливо слушал, но Клавдия безошибочно чувствовала, что у него свое впечатление от их разговора, и не в ее пользу, он подвел черту и думает уже о чем-то своем, далеком от ее беды и боли; она упустила подходящий момент и теперь не находила в себе решимости уйти.

— Знаете, Клавдия Георгиевна.— Петров остановился против нее и некоторое время смотрел каким-то мягким, смущающим взглядом.— Вы зря так ринулись на защиту мужа, поверьте, его никто не хочет здесь обидеть. А за порученное дело будем спрашивать со всей строгостью.

— Простите, я голову потеряла, так все вдруг... Константин Леонтьевич, не говорите ничего, пожалуйста, мужу,— попросила она, чувствуя охваченное жаром лицо.

— Понимаю и обещаю твердо, Клавдия Георгиевна, до свидания.— Он простился с нею, чуть наклонив голову, и некоторое время стоял посредине кабинета, покачиваясь на носках; он долго не мог войти в ритм рабочего дня, нет-нет и вспоминал Клавдию и ее красивые руки, беспокойно свертывающие в трубку клеенчатую тетрадь. Какое она имела право так скверно думать о нем, Петрове? — спрашивал он себя и невольно проникался сочувствием к Пекареву; с такой женой, пожалуй, не развернешься, уж очень энергична, пожалуй, это просто донос.

До вечера Клавдия отлеживалась с сильной головной болью; пришел муж, она услышала его кашель в кухне; она встала, вышла — он вяло жевал холодное мясо, велел ей лежать и скрылся в своей комнате. Клавдия вздохнула, так всегда, хочешь сделать лучше, а получается наоборот; еще несколько дней она отмалчивалась, следя за мужем тоскующими покорными глазами; она не знала, разговаривал ли с ним Петров и какой оборот приняло дело. Клавдия решила выждать, все объяснится само собой; она лишь встревожилась, когда муж однажды не пришел в обычное время домой, и долго сидела у телефона, в редакции его тоже не было; она так и заснула, не раздеваясь. Именно в этот день у Пекарева произошел откровенный разговор с Петровым и наметился перелом в добрую сторону, и, созво-

нившись со своим старшим братом Анатолием, Пекарев поехал к нему, что делал весьма редко, в самых исключительных случаях, потому что и сейчас, в зрелом возрасте, у него сохранилось к брату почтительное уважение, которое он перенес в свое время с отца на него.

Анатолий Емельянович Пекарев, главный врач психиатрической больницы, жил за городом, в доме рядом со своим заведением, занимал на третьем, верхнем, этаже квартиру из двух смежных комнат. Пекарев-младший поднялся по знакомой лестнице, неистребимо пропахшей кошками и заставленной на площадках деревянными ларями с разнокалиберными висячими замками, позвонил; за филенчатой дубовой дверью послышались шаркающие шаги, глухое бормотание; открыла Аглая Михеевна, их старая няня, жившая с братом уже больше двадцати лет. При виде ее доброго, в пухлых морщинах лица Пекарев почувствовал облегчение, как будто он безостановочно шел и шел, выбиваясь из сил, и наконец ступил на знакомый порог, и привычное с детства тепло все больше охватывало его; прищурившись на Пекарева и по-прежнему нерушимо стоя в дверях, старуха словно твердо намеревалась не пускать ни его, ни кого-либо другого в дом, но, узнав, щербато заулыбалась.

— Ты, Сеня,— сказала она, сторонясь.— Заходи, заходи, давно тебя не видела и помереть могла. Емельяныча еще нету, все со своими блаженными возится, возится. Ну, рассказывай, как дома, что Клавдия-то? Здорова?

— Здорова.— Пекарев снял пальто, повесил на старинную, знакомую с детства круглую вешалку.— С чего ей болеть, еще молода,— добавил он с усмешкой.— И дочка, Аглая Михеевна, здорова, учится.

— И слава богу.— Аглая Михеевна прошла вслед за Пекаревым к столу, села, расправляя фартук на коленях.— Как со здоровьем, так ты и людям и богу угоден, а нет — не нужен никому. Вот сейчас ужин разогрею, самовар поставлю, есть хочешь, поди? Вместе с Емельянычем и поужинаешь. Ты с ним-то договаривался?

— Как же, звонил, в полвосьмого дома обещал быть.

Аглая Михеевна стала хлопотать у плиты, время от времени возобновляя свои расспросы; Пекарев односложно отвечал и, сидя у стола, о чем-то упорно думал,

перебирая пальцами по льняной скатерти и рассматривая вышитые по ее краям узоры петухов, стоящих парами друг к другу грудью. Пекарев отдыхал, испытывая физическое наслаждение от вида уютной, сгорбленной фигуры старухи, хлопотавшей у плиты, от запаха жарившегося мяса, от ожидания прихода брата, которого он любил и с которым можно будет посидеть и поговорить обо всем, что накипело на душе.

— Ты бы, Сеня, в другую комнату прошел, там книжки лежат, погляди.— Аглая Михеевна сняла со стола скатерть, аккуратно сложила ее и стала накрывать на стол.— Утром Емельяныч говаривал, какого-то буйного привезли, господи помилуй! Надо же, такой на себя хомут накинул, да брось, говорю, ее к шутам, должность твою, выучись на другое. Смеется. Так какой-нибудь и удавит, вцепится когтями — и конец. Господи помилуй! — опять сказала старуха, сама смутившись своих слов.— Что это я, старая дура, по-сычиному-то завела?

Управившись, она села напротив Пекарева и, подпершись ладонью, смотрела, как он лениво перелистывает «Огонек»; она соскучилась по собеседнику и все говорила и говорила, вспоминая важные, по ее мнению, новости; Пекарев слушал ее вполуха, полистав журнал, он отложил его в сторону и, откинувшись на спинку дивана, полузакрыв глаза, с наслаждением дремал.

Анатолий Емельянович вернулся в девятом часу; Аглая Михеевна, едва впустив его через порог, засуетилась, засновала колобком по комнате, ворча, что он ради своих блаженных себя с голоду уморит и что даже с единственным братом у него нет времени посидеть и по-хорошему поговорить, в кои-то веки выбрался проведать...

— Ладно, ладно, Аглаюшка, не ворчи впустую,— отговаривался Анатолий Емельянович, раздеваясь и расчесывая остатки когда-то густых каштановых волос на затылке.— Прости, Сеня, понимаешь, только хотел уйти, привезли больного, свежий случай, дежурный врач молодой, кончает ординатуру, растерялся.

— Понимаю, понимаю,— засмеялся Пекарев-младший.— Отец всегда перед матерью оправдывался, помнишь?

Анатолий Емельянович ничего не ответил, вымыл руки, потом подошел к брату, слегка обнял его.

— Рад, очень рад видеть тебя, Сеня,— сказал он, напряженно глядя сквозь толстые очки.— Живем рядом, в одном городе, а видимся раз в году. Никак не могу понять, то ли жизнь убыстрилась, то ли мы стареем. Вернее, я,— поправился он, рассматривая лицо брата.— Тебе еще рано о старости думать. А вот вид у тебя неважный. Садись, садись... Ты нам, может, сегодня разрешишь, старая? — Анатолий Емельянович энергично потер ладони, он все больше с годами становился похож на отца.— Там у тебя где-то должна быть бутылица со святой водой...

— Не греши, не греши, Емельяныч,— тотчас остановила его Аглая Михеевна.— На свете всему своя кличка, вот и не греши.

Продолжая ворчать, что все застыло, и по десять раз греть приходится, и ноги у нее не казенные день-деньской топать, Аглая Михеевна принесла бутылку с водкой, маленькие старинного цветного стекла стаканчики, подала закуску: соленые грибы, помидоры, поставила, чтобы меньше вставать потом, на край стола широкую сковородку с грибной солянкой. Анатолий Емельянович согласно кивал в ответ на воркотню; он сочувствовал веселому оживлению старухи, любившей к случаю пропустить рюмочку и потом всласть поговорить, вспомнить былое, завести старинную песню, но по озабоченному лицу брата видел, что ее ожиданию сегодня не суждено сбыться; он спросил у брата о семье, о работе и налил водку в стаканчики; Аглая Михеевна тотчас взяла свой, обвела братьев взглядом.

— Да уж за вас, два семечка вас из одной дольки на белом свете,— сказала она жалостливо.— Да и то, один-то без всякого росточка... ох, Емельяныч, Емельяныч...

— За здоровье, Аглаюшка,— перебил ее причитания Анатолий Емельянович.— За твое здоровье. Уж и не знаю, что бы я без тебя и делал.

— Уж нашел бы — что! — ответила Аглая Михеевна, поджимая губы.

Она выпила, закусила хлебным мякишем с солью и еще больше подобрела, стала накладывать в тарелки братьям закуски и солянку, вкусно заправленную грибами, от второго и третьего стаканчиков Аглая Михеевна отказалась; Анатолий Емельянович ценил в ней это свойство: поворчать, поворчать и в нужный момент остановиться, стать незаметной, как бы отодвинуться в тень. А момент этот как раз и наступил, когда Пека-

рев-младший, глядя на стаканчик с остатками водки, предложил выпить за отца с матерью.

— Добре, Сеня, давай выпьем,— отозвался Анатолий Емельянович, внимательно глядя в лицо Семену сквозь очки и словно пытаясь просмотреть его насквозь.

— Давай за них выпьем, Толя, они нам жизнь дали, мы должны память о них хранить,— сказал Пекарев-младший с оживлением.— Ведь даже нельзя поверить, что когда-то мы с тобой были мальчишками и все у нас было впереди.

— Что с тобой, Сеня? Что-нибудь случилось? — спросил Анатолий Емельянович.

— Ничего особенного, Толя, я думал, будет хуже,— сказал Пекарев-младший.— Сам виноват. Прокол случился, как говорят шоферы. А я ли не любил газету! Не отдавал ей всего себя! Сегодня начальство приняло решение послать меня в Москву годика на два, подучиться. Через несколько дней я с вами распрощаюсь... Кончено, брат, начинаю жизнь сначала.

У Анатолия Емельяновича, внимательно слушавшего брата, в глазах появилась веселая насмешка, он слегка развел руками.

— Подожди, я сам сколько раз от тебя слышал, что эта газетная карусель до чертиков тебе надоела...

— Мало ли что я говорил! — возразил Пекарев-младший досадливо.— Каждый из нас подчас выматывается, что хочешь наговорит. Вот ты врач, чудесно! А у меня что за профессия? В мои-то годы на студенческую скамью! — Пекарев-младший возмущенно пофыркал, затих.

— Прекрасно, Сеня, начать жизнь сначала. Не вижу причин раскисать. Мало кто может позволить себе роскошь начать все сызнова.

— Ты, Толя, умный человек, ну чему в моем возрасте можно научиться? Абсурд! Впрочем, так мне и надо, сам виноват. Петров — удивительный человек, понимаешь, у него свои методы в работе с людьми, он любит самостоятельность предоставлять, чтобы человек в процессе самостоятельного роста креп и мужал. Ну, а я не потянул, кишка оказалась тонка для этой самостоятельности.

Анатолий Емельянович оторвал от настенного календаря листок, внимательно просмотрел и положил на стол, справа от себя; в последнее время он сильно уста-

вал, потому что двое врачей были в отпуску, даже на чтение не оставалось времени; с братом они виделись редко, и то накоротке; Клавдия не очень жаловала своего деверя (Анатолий Емельянович помедлил, вчитываясь в смысл заметки о значении новых астрономических открытий), и он редко бывал в доме младшего брата. Правда, на племянницу он перенес всю неистраченность отцовских чувств, и Оленька платила ему страстной привязанностью, а уж Аглая кудахтала вокруг девочки, как потревоженная наседка, вся их жизнь озарялась, когда приходила эта угловатая, большеротая девочка.

Вот не завел детей, приходится теперь греться у чужого огонька, а Оленька, что ж, славная девочка, характер пока неровный, но в его доме, странное дело, переставала капризничать, слушалась Аглаю с первого слова, та потихоньку приспосабливала ее к хозяйству, учила вязать, смешно было видеть, как старый и малый сидят чинно на диване, поблескивают спицами и считают шепотком петли. Д-да, время бежит, на рыбалке не был уже полгода; сегодня на экспертизу привозили двоих арестованных. Это были симулянты, чтобы понять это, старому врачу достаточно было десяти минут, но порядок есть порядок, и комиссия во главе с Анатолием Емельяновичем полдня занималась ими. Анатолий Емельянович никак не мог забыть одного из них; он в который раз словно заглянул в одну из бездонных пропастей жизни и унес на себе ее нечистое дыхание; ненавидящий взгляд подследственного словно оставил невидимую паутину у него на лице, но он не мог поступиться своей совестью врача и, слушая брата, все время думал об этом.

— Не надо опрощать, Толя, ты же мудрец, только...

— Слушай, Сеня,— перебил его Анатолий Емельянович нарочито скучным, будничным тоном.— Будешь в Москве, первым делом в Большой. И за меня. У музыки есть одно бесценное свойство — выхватить человека из собственной трясины и распахнуть перед ним необозримую красочность, трагическую радость бытия.

Пекарев-младший иронически поклонился брату, налил водки, и они еще выпили; Анатолий Емельянович стал расспрашивать о своей племяннице и обещал в первое же свободное воскресенье сводить ее в театр на «Тиля Уленшпигеля».

Аглая Михеевна, с шумом тянувшая с блюдечка чай морщинистыми губами и любовно-радостно смотревшая на сошедшихся наконец за одним столом братьев, решительно отставила блюдце, подтянула концы ситцевого платка и, подпершись, строго и выжидающе поглядела на братьев. «Петь собирается»,— подмигнул брату Анатолий Емельянович. И вправду, морщинки на лице Аглаи Михеевны разгладились, глаза засветились детской голубизной, вся она обмякла и еще больше подобрела.

— «Да што цвели-то, цвели»,— вывела она тонко верную, чистую ноту.

Цвели в поле цветики,
Цвели да споляли, цвели да споляли,
Вот споляли...

— «Да што любил-то, люби-ил»,— вступил негромко хрипловатый басок Анатолия Емельяновича, и у Пекарева-младшего мягко сжало сердце и благодарная горячая волна прилила к груди.

Любил парень девушку,
Любил да спокинул, любил да спокинул,
Вот спокинул,—

уже пели они втроем, и жидкий тенор Семена Емельяновича замирал, взбираясь на высокие ноты, крепко сплетаясь там с фальцетом Аглаи Михеевны, их подпирал глухо басивший голос Пекарева-старшего:

Без зори-то красно солнышко,
Без зори не восходит,
Без зори не восходит, без зори не восходит.
Ах, не восходит.

А без зову-то добрый молодец
К девушке не зайдет,
К девушке не зайдет, к девушке не зайдет,
Вот не зайдет.

Пекарев-младший ушел от брата в необычайно тихом настроении; любимая песня словно промыла, очистила его, такое же настроение у него оставалось всю последнюю неделю до отъезда, пока он сдавал дела новому редактору и собирался.

5

Из длительной трехнедельной поездки по районам области Брюханов вернулся в самом расчудесном настроении; дороги под конец уже прихватило морозцем, и слякотная погода кончилась, вообще-то дела в области были хорошие, урожай собрали добрый, и с картофелем управились, молодежь незаметно подрастала, с охотой ехала на стройки пятилетки на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, многих ребят и девчат приходилось ему провожать и напутствовать. Постепенно поднимался и собственный крупный оборонный завод, возводившийся неподалеку от Холмска, укрепила значение области и новая мощная электростанция на торфе; и целый ряд других промышленных объектов на подходе; все нынче радовало Брюханова. На второй же день после своего возвращения он зашел к Петрову и стал рассказывать о том, как активно подписываются на заем и что все районы, за исключением Добрыжского, произвели на него самое хорошее впечатление. А в Добрыжском районе райком не сумел взять инициативу в этом вопросе в свои руки.

— Судить поспешно не стоит, но мне кажется, Холдонов там слишком либерален,— весело сказал Брюханов.— Вид у него какой-то замученный. Спрашивал, нет, говорит, здоров. И в одежде небрежен очень, рановато ему, уж очень заношенный вид. На людей действует. От чего бы ему уставать в его годы? Время-то, время! — говорил Брюханов, размашисто расхаживая по кабинету, и Петров следил за ним прищуренными глазами, с удовольствием отмечая его молодость и силу, здоровье, его большое, в самом мужском расцвете тело, его твердое убеждение, что все идет так, как должно идти, что он везде нужен и всегда прав. Петрову нравились его напористость, убежденность, непоколебимая уверенность в необходимости своего «я», именно то, чего не хватало порой ему самому; несмотря на кажущуюся непреклонность и даже жесткость, он часто терзался собственными несовершенствами, соотнося их с тем огромным количеством людей и дел, которыми приходилось ворочать. Всякий раз не без труда он преодолевал в себе минутную слабость и собирал всю волю в кулак, и именно в эти минуты казался особенно жестким и неспособным к компромиссу.

Петрову не всегда нравились безапелляционные и резкие суждения Брюханова о людях, то, как с размаху он перечеркивал человека; Петрову частенько приходилось ставить Брюханова на место. Брюханов в таких случаях не обижался, и в черных горячих глазах его Петров читал искреннее раскаяние и желание быть достойным его, Петрова, доверия и товарищеской близости. После очередного разноса Брюханов какое-то время особенно внимательно присматривался, прислушивался к манере Петрова разговаривать с людьми, вести бюро и заседания; видя это, Петров про себя посмеивался, но под взглядом горячих умных глаз Брюханова и сам внутренне подбирался, стараясь быть щедрее и проще с окружавшими его людьми, и случалось, в эти дни к нему приходили самые мудрые и простые решения.

Ну ничего, ничего, пусть кипит, отвод пару тоже нужен; да, впрочем, раз так откровенно высказывается, значит, убежден, даже если ошибается. Ничего, поправить можно, лишь бы не фальшивил в главном, сам с собой, не приспосабливался. А то ведь попадаются и такие, ужом вьется и в глаза засматривает, лишь бы угадать наперед твое суждение, из кожи своей выпрыгнуть готов, лишь бы его мнение с мнением начальства не разошлось. Таких людей Петров безжалостно убирал из своего аппарата, брезгуя выслушивать оправдания, но, к его удивлению, они тихо и незаметно росли, как грибы, не требуя поливки и специального ухода, заражая собой здоровую поросль. Да и в Москве Петрову приходилось наблюдать то же самое явление.

Ну что ж, в отдельном случае с Холдоновым, возможно, Брюханов и прав, надо присмотреться, что-то у него всегда такой вид, словно в повинности тяжкой ходит; в Добрыжский район проехаться лишний раз не мешает и вызвать Холдонова на ковер (Петров сделал у себя пометку в блокноте). А вообще-то хочешь не хочешь, а молодая поросль растет, здесь и перехлестов хватает; молодое часто не ждет, особенно не вникает в суть вещей, что ж, процесс вполне закономерный, естественный; что-то в сокровенных глубинах еще только вызревает, оформляется, а по поверхности уже валы идут, попробуй своевременно не понять их — опрокинут, сомнут и покатятся дальше.

Петров подумал, что не слушает Брюханова, и тут же в правом боку и подреберье уловил знакомую, неприятно сосущую боль, незаметно поднял руку и поло-

жил ладонь на ноющее место, движение это было настолько естественным и небрежным, что Брюханов ничего не заметил, продолжал увлеченно излагать свои впечатления; и, с другой стороны, Петров хотя и судил о Брюханове в общем-то правильно, но в данном случае не подозревал, что Брюханов находится далеко не в обычном для себя завидном равновесии. Докладывая *первому* о ходе займа, об успешном строительстве в области, митингах протеста, резко осуждавших троцкистов, о добровольцах, готовых бригадами ехать на стройки пятилетки, Брюханов никак не мог решиться перевести разговор на то, о чем он в настоящую минуту думал. Было нехорошо заставлять другого человека разрешать свои собственные сомнения, но мысль о Пекареве засела в нем крепко, хотя, с другой стороны, он знал некоторых хозяйственников, недавно исключенных из партии и снятых с работы.

— Что же решили все-таки с Пекаревым, Константин Леонтьевич? — спросил он с мягкой полуулыбкой на лице, и Петров, отняв руку от болевшего места, недовольно нахмурился.

— Пусть поучится, политически дозреет, горяч больно, а в атмосфере и без него слишком много электричества,— сказал Петров после раздумья.— Человек он импульсивный, непосредственный, кажется, к художеству, к сочинительству тяготеет, а времени для этого, скорее всего, ему не хватает. Пора ему в самом себе разобраться. И с женой у него не ладится, женщина, в противоположность ему, совершенно реалистическая. Вот решили послать его в Москву, на курсы в Свердловку. Как следует оснаститься для дальнейшего плавания.— Петров прищурился, глядя мимо Брюханова, словно обдумывая свои слова.— Ничего, все правильно, оботрется, почву под ногами почувствует.

— А не мотовство ли это, Константин Леонтьевич? Учить можно и на месте. Не накладно ли будет?

— Мотовство как раз тратить время на бесполезные словопрения,— резко перебил Брюханова Петров, прижимая ладонь к ноющему месту.— Строить заводы, заводы — вот главное! Идеи революции облекать в материальную плоть, в железо, в сталь. Добреньких революций, Тихон, не бывает. Накладно или нет, там увидим,— улыбка набежала на худое лицо Петрова.— Вы, я вижу, в боевом состоянии сегодня, это хорошо, вот и давайте займемся конкретными делами. Посмотрите,

перед нами на столе еще восемьдесят три судьбы; все апелляции в обком после чистки. Решил посмотреть до парткомиссии, а вы, между прочим, будете у Вальцева, поговорите с ним по этому поводу. Пусть разбираются тщательнее, из Зежского района с десяток заявлений есть. И вы давайте взгляните,— Петров кивнул на стул рядом.

Брюханов читал апелляции, порой поднимая глаза на Петрова, но тот, не обращая внимания, занимался своим, и Брюханов скоро забыл о нем, полностью погрузившись в сложный водоворот человеческих судеб; трое из Зежского района, апеллировавшие в обком лично на имя Петрова, были ему хорошо знакомы, и партбилеты у них, по его твердому убеждению, были отобраны незаконно; особенно это было ясно из заявления одной старой учительницы, и Брюханов, возмущаясь, еще раз перечитал все от начала до конца. Он почувствовал на себе тяжелый взгляд и, повернув голову, увидел, что Петров пересел в затененное шторой кресло, тяжело ссутулившись и прижав локоть к правому боку; Брюханов шагнул к нему, но тотчас увидел, как, останавливая его, вперед протянулась желтая узкая ладонь.

— Ты иди, Брюханов,— услышал он глухой, тихий голос,— усталость, бессонница, вторую неделю со снотворным засыпаю. Осенью у меня каждый раз такая петрушка с печенью. Иди, все на сегодня.

— Я вам больше не нужен?

— Иди, иди,— сказал с ноткой нетерпения Петров.— Возьми списки с собой. Ознакомься, подумай. На парткомиссии выскажешь свое мнение. Иди, Брюханов, иди, у меня еще дел на сегодня много. Придет и твое время, вручат ключи, хочешь ты этого или нет.

— Константин Леонтьевич, у меня еще только одно... можно?

— Ну давай,— недовольно поморщился Петров.— Что там еще у тебя, ну и денек сегодня выдался.

— Константин Леонтьевич,— начал Брюханов нерешительно, натянуто улыбаясь; Петров глянул на него искоса,— давно хотел спросить вас, вы не ошибаетесь, что выбрали именно меня? Ничего выдающегося, примечательного за собой не знаю, самый рядовой. Больше того, признаюсь, коли на то пошло, с вами рядом трудно, тяжело, все время тянешься, стоишь на цыпочках, чтобы быть повыше, а ведь на цыпочках долго не удержишься... А если привыкнешь, если это и есть потолок?

Все жду, вдруг обнаружите именно это несоответствие. Тут сто раз прикинешь, та ли дорога светит.

Петров некоторое время молчал, хотя слова Брюханова не были для него чем-то неожиданным; он и сам думал об этом не раз. Отвечать нужно было абсолютно честно, Брюханов уловил бы сейчас малейшую фальшь.

— Любое проявление человеческого характера — уже характер,— Петров как бы додумывал вслух выношенную мысль.— Твой последний вопрос — новая сумма и величина плюс, это уже неплохо. Посмотрим. У меня одна неясность в отношении тебя, никак не возьму в толк, что у вас тогда с Дерюгиным произошло? Ты к нему в этот раз не наведался?

— Нет,— сказал Брюханов, и это «нет» от неожиданного поворота в разговоре прозвучало отрывисто и резко.— Дело о Дерюгине утверждалось в обкоме, я думал, вы в курсе...

— Разумеется,— неопределенно протянул Петров, и Брюханов понял, что не этого ответа ждал от него Петров.— Хорошо, иди, Тихон.

— До свидания, Константин Леонтьевич,— быстро сказал Брюханов, он даже стиснул зубы от напряжения, он устал от разговора, его почти физически тяготил сейчас этот человек, и, хотя это было мгновенное чувство, Брюханов вздохнул с облегчением, закрыв за собою высокую массивную дверь кабинета. Ему не хотелось сразу домой, и он пошел пешком, через весь город; был ясный, легкий морозец, и в небе держалась холодная ветреная синь, люди на улицах были оживленны и веселы. Углубившись в свои мысли, Брюханов шел быстрым шагом кружным путем через весь город, затем ехал в стареньком дребезжащем трамвайчике; глаз цепко схватывал любую мелочь: броскую трамовскую афишу (театр рабочей молодежи анонсировал новую премьеру), закрытый в неурочное время газетный киоск, текучую толпу возле горсада,— здесь приторговывали из-под полы дефицитным товаром, милиционера со свистком во рту и бабу с широким лицом, вороватo выплескивающую ведро с помоями за ворота.

Было ветрено, бледно-желтый закат окрасил легкие, прозрачные занавеси в квартире Пекаревых в золотисто-лимонный цвет, и Брюханов, подходя к своему дому, машинально взглянул на них и неожиданно решил зайти к жене Пекарева на полчаса, справиться о здоровье, полистать старые издания, Брюханов толь-

ко-только начинал заводить собственную библиотеку, все раньше было недосуг.

Брюханов позвонил, и, когда открылась дверь, он не узнал Клавдию; перед ним стояла женщина с тревожно озаренным лицом, и лицо ее при виде его еще больше вспыхнуло и преобразилось; сдержанное нетерпение дрожало в зеленых, оттянутых слегка к вискам глазах, и щеки разгорелись, ярче проступила смуглая бархатистость кожи. Брюханов невольно задержался на пороге, и Клавдия Георгиевна отступила от дверей.

— Входите же, входите, Тихон Иванович,— пригласила она сдержанно, не скрывая удивления.— Вот нежданно-негаданно! Да проходите же, холодом тянет, закрывайте дверь. Раздевайтесь, прошу вас сюда. Здесь вам будет удобнее.

— Да, редко мы видимся, это правда, обезоруживающе улыбнулся Брюханов и, подчиняясь ее молчаливому требованию, сел в глубокое, покойное кресло.— Я порадовался за Семена, оторваться от всех забот, это же словно в молодость вторично! Москва ему пойдет на пользу. По-хорошему завидую.

— Конечно, конечно! Я бога молить готова, что именно так повернулось все... Меня другое мучит, Тихон Иванович. Виновата я перед ним, недосмотрела, не уберегла что-то и в нем, и в себе,— пропадающим голосом заговорила вдруг откровенно Клавдия Георгиевна, не сдержалась и отвернулась с задергавшимися губами.

Брюханов молча глядел на ее затылок с высоко заколотым золотившимся тяжелым узлом волос и не знал, что сказать и как держать себя в ответ на это неожиданное проявление откровенности.

— Простите, Брюханов, бабья слабость, расхлюпалась,— Клавдия Георгиевна повернулась к нему, взяв себя в руки.— Я недостойна его, вы никто Сеню не знаете, он большой ребенок, совершенно беззащитен, такой уж уродился. А как часто я его мучила. Он ничего не сказал и ничего никогда не скажет, молчит, молчит, но я-то знаю, я плохая жена, не поняла вовремя, не смогла поддержать... Он талантливый, это задавленное самолюбие, я все время ждала срыва и не уберегла.

— Успокойтесь, Клавдия Георгиевна,— сказал Брюханов, предупреждая новую вспышку.— Ну что страшного? Никуда не денется ваш Семен. Вернется, все между вами в норму войдет, посмотрите.

— Хотите сказать, что все еще переменить можно? — спросила Клавдия Георгиевна с потухшим лицом и сразу старея.— Вы думаете, можно надеяться? Дай бог...— продолжала она горячо и сосредоточенно, точно самой себе давая обет.— Поздно нам журавлей искать, мы же с ним как одно целое, любая царапина мешает. Простите, так уж нашло на меня, говорю, говорю, а удержаться не могу. Не сердитесь, Тихон Иванович,— просяще улыбнулась она, и он в ответ на ее улыбку смущенно махнул рукой.

— Валяйте, чего там, выкладывайте уж разом все, что у вас набралось, я разом и отпущу все грехи, и ваши, и Семена,— отшутился он, не принимая ее мученического тона и грубоватой шуткой стараясь отвлечь. Клавдия нравилась ему, и, сопротивляясь больше всего именно этому, он старался настроиться на снисходительно-иронический лад. В то же время ее волнение и исповедь тронули его, но он не мог отделаться от чисто мужского взгляда на нее, внутренне стыдясь и негодуя на себя; в свои тридцать она была очень хороша и свежа, особенно сейчас, в минуту душевной открытости и незащищенности; она не замечала его иронии, одержимая навязчивым желанием высказаться до конца, на щеках у нее проступили горячечные пятна, они сделали лицо моложе и в то же время человечески теплее и ближе.

— Тихон Иванович, вы ничего не знаете, Тихон Иванович.— Клавдия Георгиевна провела кончиками пальцев по лицу, как бы стирая с него неприличное волнение, и коротко, сухо засмеялась.— Женщине всегда трудно говорить напрямик с мужчиной, вы друг Семена и честный человек, я знаю, я не считаю вас посторонним, бывает ведь так, бывает? — продолжала она торопливо, не дожидаясь утвердительного кивка со стороны Брюханова, и, заметив, что руки ее чересчур беспокойны, стиснула, переплела пальцы.— Не обращайте внимания, я уже успокоилась. Может, я только сейчас поняла мое главное назначение в жизни, но поверит ли этому Семен? Встретилась я с ним совершенной девочкой, а это уже был сложившийся характер. Нам говорят: закономерности, закономерности, а в жизни все от случая. У моего батюшки... Вы ведь слышали, верно, я сама сибирячка, в Красноярске родилась и выросла... А старший братишка в Холмске жил, вот мы к нему в гости и поехали. Долго собирались,

а тут батюшка говорит решительно: едем, Клавдия, и все. Мать не хочет, пусть, а мы с тобой едем, я нутром чую, недолго мне осталось. Хочется мне родные места повидать, тоской отойти перед концом, не могу больше томиться. Вот так я и попала в Холмск, добирались мы со страшным трудом, все еще разбито, не отошло от гражданской, как раз нэп в разгаре. Дело, разумеется, не в этом, а в том, как я свою жизнь дальше представляла. Я ведь в ней ничего не смыслила тогда, мне мерещилось что-то необычное, романтическое, я героиней страны становилась, как Жанна д'Арк, и сладко мне было от этих мыслей, страшно. Лежу, бывало, ночью и вся горю от предчувствия. Вам это тоже, конечно, знакомо, это с каждым в молодости происходит.

Клавдия Георгиевна говорила сейчас с легким придыханием; и Брюханов, улавливая смены ее настроения, отчетливо понимал, как нелегко приходилось с ней Пекареву в жизни, но почему-то не мог настроиться против и осудить.

— Я таким мужа себе представляла, что он должен быть сильнее всех,— раздумывая вслух, продолжала Клавдия.— Очевидно, от отцовского характера это ко мне перешло, отец у нас крепкий был орешек, я тогда не могла предположить, что это за тяжкая ноша быть в семье за самого сильного. Сильнее человек, и ответственность его больше, а женщине над мужчиной быть и совсем ни к чему, это я теперь только поняла. Просто это противоестественно, женщина должна направлять мужчину исподволь, незаметно для него... Так много кричали о равенстве полов! Какая все-таки вредная чушь! Не может быть равенства в семье без духовной подготовленности мужчины и женщины, да и не нужно оно, понимаете, не нужно. Природой не предусмотрено, Тихон Иванович, здесь равенство на иных весах необходимо взвешивать. Первое-то время, как мы познакомились, ничего такого между нами и в помине не было, любили мы друг друга по-настоящему, сильно. И познакомились удивительно, собак я с детства боюсь, ко мне какая-то бродячая собака привязалась и не отстает. Я уже ее заметила, оглядываюсь, как сейчас помню, рыжая, облезлая, я быстрее иду, и она за мной трусит, я остановлюсь, и она сядет, ждет. Бывают же такие случаи в жизни, прямо налетела на своего Пекарева, глядит на меня, молодой, глаза восторженные. «Простите, говорю, меня, я нечаянно».— «А чего и прощать,

говорит, мне приятно». Вот так бывает в жизни, Тихон Иванович, сошлись мы потом, как мой батюшка ногами ни топал, ни бранился и как-то даже побил сгоряча; пришлось ему в свой Красноярск одному возвращаться. А я с тех пор в Холмске, правда, три года тому назад ездила к матери в гости, дочку показала. Звала маму сюда, не хочет, здесь, говорит, могилка отцова, здесь и мне лежать. Умер батюшка молча, говорит, здоровый совсем ходил, и сразу дубом рухнул, в три дня кончился.— Клавдия Георгиевна взглянула на Брюханова, хрустнула пальцами.— О чем это я? — спохватилась она.— Ах, да, знаете, Тихон Иванович, сама не ведала, что творила. В какой-то момент начало мне казаться, что моего Пекарева затирают, обходят, начала я его подкручивать, а он только смешочки в ответ! Ведь вы знаете, мы расходились, год врозь жили.

Как будто бы совсем забыв о Брюханове, она, задумавшись, вертела топазовое кольцо на указательном пальце, поворачивая его камнем внутрь.

— Не надо, не расстраивайтесь так,— осторожно вставил Брюханов,— напрасно вы себя одну вините. Человек не всегда свободен в своих поступках, Клавдия Георгиевна.

— Не успокаивайте меня, Тихон Иванович. По сути дела, не закон, не суд людей определяет меру вины и наказания, а каждый сам для себя это делает.

— Разумеется, не спорю, и однако, Клавдия Георгиевна, иногда излишнее раскаяние мешает человеку судить верно. Очевидно, и Семен в не меньшей степени виноват. Дыма без огня не бывает.

— Если бы можно было определить, откуда — огонь, откуда — дым. Вы понимаете, Тихон Иванович, во мне надломилось что-то. Ничего плохого не случилось, а все-таки какие-то надежды рухнули.— Клавдия остановилась взглядом на Брюханове, спуталась в мыслях, заторопились.— Что вы мне посоветуете, Тихон Иванович? Может быть, мне в Москву съездить, поговорить с ним, помогите, Тихон Иванович, ах, да, что я говорю, что-то не то говорю.

— Успокойтесь, успокойтесь, ну вот опять, Клавдия Георгиевна,— торопливо сказал Брюханов, чувствуя, что она снова заплачет.— Нужно единственное: время и терпение, и все само собой образуется. Я уверен, что все у вас наладится, вот посмотрите.

Она ничего не ответила, опять заторопилась, боясь, что Брюханов сейчас встанет и уйдет.

— Вот забыла совсем,— перебила она его,— я же не расспросила, как вы съездили? Что хорошего, нового видели?

— Много хорошего, Клавдия Георгиевна. Везде ломка идет, деревня перестраивается, интересно. Все дело в том, что идеи-то наши близки, необходимы народу, вот когда выявляется в полную меру сила этих бродильных дрожжей. Не понимаю я людей с кислятиной в физиономии... да, впрочем, что я, простите,— спохватился Брюханов.

— Сама виновата, Тихон Иванович, все о себе да о себе, вам же скука со мной. Столько важного, большого кругом...

— Вот это верно, Клавдия Георгиевна.— Брюханов опять оживился.— Именно большого. Давайте-ка выбирайтесь из своей скорлупы, у вас дочь растет, жизнь такая широкая, грешно в самом себе замуровываться.— Он говорил искренне и с неожиданной горячностью; энергия переполняла Брюханова, ему, казалось, было тесно в комнате, и Клавдия невольно залюбовалась его крепко сбитой фигурой.

— А где дочка, Клавдия Георгиевна? — спросил Брюханов, останавливаясь у книжных полок и листая какую-то книгу.

— К брату Семена ушла... Аглая забрала ее на несколько дней. Няня их старая у Анатолия Емельяновича вот уже который десяток лет живет. Теперь Ольгу балует, спасу с ней нет. Вы разве Пекарева-старшего не знаете, главный врач психиатрической больницы,—сказала она.— Очень любопытный человек, девочка к нему привязалась.

— Как же, с месяц назад приходил ко мне, напористый товарищ,— Брюханов улыбнулся.— Вынь и положь ему новый корпус.

— Очевидно, надо, вы прислушайтесь, он редко просит, он в этой больнице со дня основания. Все там на нем держится.— Клавдии легче было говорить о постороннем, и в голосе ее зазвучали уверенные грудные ноты.— Вот не женился только... Давно хотела вас спросить. Почему вы один? Простите, мужчины не любят отвечать на такие прямые вопросы.

— Пожалуй, на этот вопрос прямо трудно ответить,— отозвался Брюханов, отгораживаясь от ее напо-

ристого любопытства и в то же время внутренне закипая, не следовало приходить сюда, его тянет к Клавдии, Пекарев здесь совершенно ни при чем.

Клавдия с неуловимой, мягкой насмешкой глядела на него, словно ободряя, ну же, смелее, смелее, Брюханов, читал он ее невысказанные мысли, откровенность за откровенность, что же вы? Она ждала его признания, и Брюханов поразился ее внутренней нечуткости и тому, как легко она переходила из одного настроения в другое; неожиданно он снова с досадой подумал о Пекареве, н-да, с такой женщиной не очень-то крылья расправишь. Но ведь хороша, и знает это.

Словно угадывая его мысли, Клавдия засмеялась, влажно блестя плотными, слитыми зубами.

— Знаю, знаю, Брюханов, уже и осудить готовы. Как мы самих себя боимся, естества своего, ходим точно в броне, попробуй достучись до сердца. Вы момента боитесь, Брюханов, а условности для истязания друг друга всего лишь люди придумали.

Черт возьми, действительно, рядом с ней исчезали всякие условности, это ощущение возникло в нем с самого начала, когда он впервые увидел Клавдию; в нем шевельнулась тогда неосознанная тревога, острый холодок; приятно, когда нравишься красивой женщине и знаешь, что женщина не станет долго противиться... Мысль эта, как разлагающее зерно, запала в него и тлела, то затухая, то разгораясь, и вот теперь... почти вплотную со своим лицом он видел ее глаза. «Не надо, не надо, только не будь грубым, не оттолкни, не обидь меня, а больше мне ничего не надо,— со стыдом и болью молили эти глаза.— Больше и в самом деле мне ничего не нужно. Просто мне давно хочется прислониться к кому-нибудь сильному, здоровому и ни о чем не думать, ничего не бояться, ты не оттолкнешь, не обидишь меня, я знаю, я так давно ждала тебя»,— говорили ему эти глаза, и Брюханов больше ни о чем не думал; и Клавдия безудержно, безраздельно отдалась на милость подхватившего и понесшего ее течения; бессвязные, лихорадочные мысли рвались, ведь это только один момент слабости, и больше ничего, ни о чем не думать, прочь, прочь, все потом, после, хоть на мгновение раствориться в этом несущемся потоке...

Несколько дней Клавдия провела точно в лихорадке, не замечая ни отсутствия дочери, ни беспорядка в квартире и втайне ожидая прихода Брюханова и боясь этого.

Она бесцельно ходила из угла в угол, останавливаясь и прислушиваясь к каждому шороху, к каждому звуку на лестнице. Брюханов не приходил. Вот и хорошо, хорошо, думала она, в жизни только что произошел обвал, какая-то грозная лавина копилась год от году, а затем взяла и рухнула, и в душе словно не осталось тяжести, грязь и злобу унесло, и все очистилось; вместе с тем прорезалось и росло чувство непоправимости, потери очень дорогого, необходимого, и Клавдия твердо знала, что ничего ей не вернуть. В то же время она ни о чем не жалела, и доведись ей прожить снова эти минуты, она бы не колебалась; стоило ей закрыть глаза, как прикосновение тяжелых, властных, незнакомых рук заставляло ее вздрагивать и зажигать свет; тяжело дыша, она тоскливо прислушивалась; одиноко, как в глухом подвале, из крана капала вода.

В четверг утром Клавдия встала, по своему обыкновению, рано, вымылась, тщательно уложила волосы в высокую прическу и принялась за уборку квартиры (вечером должна была вернуться дочь), методично убирая комнату за комнатой и не пропуская ни одной щели; в кабинете мужа хлестнула мокрой тряпкой кошку, попавшуюся ей под руку, кошка от неожиданности опрометью метнулась прочь, а Клавдия, сдерживая слезы, опять принялась орудовать тряпкой.

Брюханов в это время был далеко от Холмска; трясясь в стареньком газике на заднем сиденье, он перебирал в памяти события последних дней. О Клавдии он запретил себе думать, слишком неожиданно все произошло, и он теперь оценивал пережитое посторонними, беспощадными глазами. Он чувствовал глубокую потребность беспощадно взглянуть на все и в другом, тяжком для себя деле.

Оттягивать дальше уже невозможно, нынче он поедет к Захару Дерюгину; при мысли о Захаре всегда появлялась тупая боль и кожу охватывало жаром, точно ему в лицо швырнули пригоршню грязи. Машину сильно тряхнуло, Брюханов стукнулся головой и поморщился. Переплела их судьба с Захаром, никуда не денешься, мог бы и раньше выбраться, но, видно, время не приспело. «Ну хорошо, попытаемся идти от логики, хорошо,— сказал он себе,— допустим, я был не прав. Но кто и когда предрешил, чтобы один человек всю жизнь отвечал за поступки другого, уже взрослого, отца четверых детей? Где записано, что он, секретарь райко-

ма, с массой забот и дел, должен был уговаривать и доказывать Захару, что тот поступает нехорошо, не по совести, при живой жене живет с другой у всех на виду, будучи председателем колхоза? И эта история с партбилетом!»

Он взглянул в затылок шоферу, распахнул полы пальто, в машине было душно; мысль о Клавдии заставила его еще более помрачнеть, он полез за папиросами и долго чиркал спичкой, прикуривая, надо будет позвонить ей из Зежска. «Глупо, глупо,— подумал он,— не хватило тогда у меня с Захаром обыкновенной житейской мудрости, терпимости не хватило». Хотя почему он должен все брать на себя? Как он мог удержать Захара от опрометчивого шага с партийным билетом? Откуда он мог знать, что тому вожжа под хвост попадет; разумеется, у каждого есть нервы и каждый может сорваться, но почему за это должен отвечать кто-то другой? Только потому, что они с Захаром Дерюгиным в молодости тряслись в седлах рядом и рядом же, захлебываясь встречным ветром, ходили в атаку! «И потому, потому,— одернул Брюханов самого себя,— но не только потому. Ты же сам знаешь, что удели ты Захару Дерюгину чуть-чуть больше внимания (а это было в твоей власти), и не было бы такого срыва, не было бы этой знобящей трещины в собственной душе. Ты мог и должен был это сделать,— повторил он с угрюмым озлоблением к себе,— ты не в состоянии был уследить за каждым в отдельности в районе, но Захар Дерюгин — это не каждый».

Он болезненно ярко вспомнил, как уходил Захар в последний раз из его кабинета, вспомнил, как встретились их глаза и как он не выдержал, отвел свои, вспомнил и опять почувствовал охваченное жаром лицо; не по этой ли причине он не видел с тех пор Захара? И собрание в Густищи ездил проводить предрика, и позже он ни разу не выбрался в Густищи, объезжал стороной... Было бы так, если бы он чувствовал себя полностью правым? Да только ли Захар? Довольно, стоп, с усилием задавил он в себе мысль о Клавдии. Она женщина, и какая женщина, ее винить нечего, поддалась минуте, своему одиночеству, отчаянию, порыву, да, черт, не каменный же и он, в конце концов?

Решение ехать в Зежск и видеть Захара Дерюгина пришло внезапно, твердо и безоговорочно, и он, выбрав момент, зашел к Петрову, тот только что отпустил

делегацию работниц со швейной фабрики, Брюханову казалось, что Петров вообще не выходит из своего кабинета; совсем болен, подумал с шевельнувшейся тревогой Брюханов, опускаясь в кресло.

— Кури, Тихон Иванович, московские, сын прислал, в Москве проездом был, вот не сумел вырваться, три только дня они в столице и были, их летную часть комплектовали,— с сожалением махнул Петров рукой.

— И куда он теперь? Надолго?

— Загранкомандировка. По телефону много не скажешь. Обещал написать, а так хотелось увидеться.

Преодолевая волнение, Петров сосредоточился на лежащей перед ним бумаге; Брюханов видел его желтые худые ладони и мучился желанием высказать то, что сейчас чувствует сам, что они все понимают, что значит для них Петров, и на что они готовы для него... Но Петров не допускал ни малейших знаков сочувствия и сантиментов в свой адрес, и сейчас, словно угадывая мысли Брюханова, он оторвался от бумаг и посмотрел в упор.

— Ну, что у тебя, Тихон Иванович? Давай, жду товарищей из Смоленска.

— Хочу, Константин Леонтьевич, съездить в Зежск на моторный. На недельку, присмотрюсь, возможно, удастся прощупать какие-нибудь узлы, лихорадит стройку.

— Что ты думаешь о Чубареве?

— Тут особенно думать не приходится, им Москва распоряжается, не наша епархия.— Подчиняясь досадливому жесту Петрова, Брюханов задумался.

— Не наша-то не наша, но нас никто не освобождал от ответственности. Сигналы все время поступают, прорыв за прорывом. Стройку лихорадит, на Чубарева пишут, считают именно его всему виной. Нам тоже присмотреться попристальней необходимо.

— Слушаю, Константин Леонтьевич.

— Вот давай-ка съезди. И вот что, поменьше ты слушай этих шептунов, сам вглядись, не торопись с выводами. Чубарев крупный специалист, таких у нас, к сожалению, пока немного, одержимый человек, самобытный характер. Когда бываю у него, любуюсь. Размах, немереная энергия, эрудиция. Его печатные труды за рубежом известны широко. Старый специалист, начинал до революции. На него уже поступило больше двух десятков заявлений и в партийные и в иные ин-

станции. Сюда и в Москву строчат. Потом эта дурацкая накладка в статье... Пекарев, вероятно, так и не понял, какую медвежью услугу оказал Чубареву. Я с тобой откровенен, меня тревожит Чубарев, вся эта возня вокруг него. Кажется, давление подбирается к критической черте, о взрыве мы с тобой можем узнать в последнюю очередь. Очень хорошо, что ты сам это почувствовал, Чубарева надо подпереть, помочь ему, нащупать слабые узлы и решать в рабочем порядке. Всем, если это будет зависеть от нас, ему необходимо помочь.

— Одна из важнейших строек пятилетки! — сердито пробормотал Брюханов, закуривая, он был рад, что его мнение о начальнике строительства совпадает с точкой зрения Петрова, что Чубарев ему по-хорошему не безразличен. Теперь и с Пекаревым все проступило совершенно отчетливо, и Брюханов только удивлялся, как он этого не видел раньше.

— Понял, Константин Леонтьевич; еще на денек заскочу в Зежск, родина как-никак. Давно не был.

— Давай. Держи меня в курсе, сообщай, что и как. Счастливо.

Сидя в машине, Брюханов первое время следил за взлетавшими с дороги то и дело галками. Эти крикливые, суматошные птицы не любили одиночества; подерутся, нашумят — и опять вместе. Примитивные, разумеется, истины, а вот в разговоре с Петровым сам он так и не смог сказать о Захаре Дерюгине всего, что думал, и сейчас запоздало жалел. Увидеться с Захаром необходимо, тем более что для этого несколько свободных часов всегда отыщется, и он, коротко переговорив в Зежске с секретарем райкома Вальцевым, своим преемником, и отказавшись от обеда, сразу же отправился в Густищи, мельком сказав секретарю райкома, что на обратном пути задержится, затем уедет на моторный. Он заметил в глазах Вальцева напряжение, заторопился; самого не так уж и давно трясло областное начальство и в сердце таял острый холодок, и сейчас ничего лишнего ни в себе, ни в том же Вальцеве не хотелось.

Был легкий, острый морозец, и голые поля просматривались далеко. Чувствовалась близость зимы, дорога и поля кругом отзывались гулкой пустотой, и только в двух местах на лугах промелькнули стада коров — скармливалась последняя, уже высохшая, побуревшая трава. Обкомовский шофер, молчун Веселейчиков, привычно и цепко глядел вперед; Брюханов чувствовал, что

шофер его недолюбливает, и не набивался на разговоры. Когда въехали в Густищи и, разгоняя с дороги юрких кур и медлительных, гогочущих гусей, остановились у избы Захара Дерюгина, Брюханов снова, в который уже раз, со всей остротой почувствовал, как ему трудно было решиться на этот шаг; в нем на минуту даже шевельнулось желание приказать Веселейчикову тут же ехать назад, но он вышел из машины и жадно огляделся.

Рядом со старой избой Захара, покосившейся както сразу во все стороны, блестел новый, вместительный сруб-пятистенка, доведенный уже до матиц; двое мужиков тесали бревна, несмотря на холод, они были в одних рубахах, Брюханов вышел из машины, они глянули на него, но дела не прекратили; Брюханов увидел у сруба Захара, без шапки, длиннорукого, в длинной рубахе, свободно выпущенной из пояса; Захар щурился на Брюханова, как бы не узнавая, и тот, перешагнув через лежащие наискось бревна, одно и второе, подошел к нему; горько и пряно пахло свежей щепой. Брюханов шлепнул ладонью по углу сруба, не отрываясь от сузившихся глаз Захара; перехватило горло. Он видел, что Захар в одно мгновение понял, зачем он здесь, и точно после долгой изнурительной ходьбы перевел дух.

— Значит, строишься? — спросил Брюханов, зачем-то опять похлопывая по углу сруба, отмечая про себя добротность отобранных в стены бревен.

— Строюсь,— сказал Захар, морща худое, заветренное лицо, спокойно выжидая и не пытаясь даже скрыть своего недовольства приездом нежданного гостя.

— Ну, здравствуй,— Брюханов протянул руку; Захар медлил, и Брюханов это явно почувствовал, на скулах у него вспыхнуло два темных пятна; но Захар коротко и скупо пожал протянутую ему руку и тотчас отпустил.

— Здравствуй, если не шутишь, товарищ Брюханов.

— Я, собственно, к тебе завернул, ехал вот тут по делам и завернул...

— Ну что ж, гостям всегда рады,— сказал Захар, нагнулся, взял домотканую свитку и накинул ее на плечи.— Работаешь — жарко, а без работы сразу тебя охватит... Крестный! — повысил он голос, обращаясь к одному из мужиков.— Давай передых устроим, вот товарищ из самого Холмска... Новости расскажет, что

там в большом миру деется, как там в Испании, может, еще где война началась или как...

Мужики бросили тесать бревно, ловко воткнули в него топоры, точно, как и Захар, накинув на плечи одежки, подошли ближе. Брюханов поздоровался с ними, по очереди пожал твердые, словно суковатые ладони.

— Крестный мой, Игнат Кузьмич Свиридов,— кивнул Захар на мужика с умными глазами, чем-то неуловимо похожего на самого Захара,— а это вот Володька Рыжий... Рыжий — по-уличному, а так — Григорьев.— Исподлобья взглянув на Брюханова, Захар достал свой кисет, но Брюханов щелкнул портсигаром.

— Может, моих попробуем? — спросил он; у него взял папиросу лишь Володька Рыжий, Захар свернул цигарку, а Свиридов, некурящий и вообще не любивший табаку, сказал, что пойдет выпить квасу; Брюханов посмотрел ему вслед.

— Что ж, правильно,— засмеялся Захар,— здоровье надо беречь, махры надерешься, из нутра одна чернота прет. А папиросы, они дюже пользительны, кури, Владимир Парфеныч, затягивайся начальственными.— Он говорил и весело глядел на Володьку Рыжего, но Брюханов знал, что говорит он именно ему, и, несмотря на веселость, в словах его была горечь, и Брюханов почувствовал ее.

— А я, собственно, к тебе, Захар,— сказал он.— Поговорить бы надо.

— Оно бы давно надо, Тихон Иваныч... Долго же ты собирался.— Захар двинул бровью, отчего лицо его, густо обсыпанное сизой щетиной, приобрело оттенок какой-то диковатой красоты.— Иди, Володь,— повернулся он к Володьке Рыжему,— попей кваску, у бабы на этот раз удался, как медовая брага.

Он подождал, пока Володька Рыжий отойдет, и повернулся к Брюханову.

— Зря трудился, Тихон, говорить-то нам с тобой, кажись, и не о чем. Все и без того понятно. Видишь, не пропал, даже хату вот новую ставлю. Мужика-то работой не убьешь, она у него в крови...

— Подожди, подожди, Захар, не горячись. Давай не будем прежних ошибок повторять. Ты меня пойми, не мог я не приехать, нам нужно это дело для самих себя закончить. Понимаешь?

— Нет, не понимаю. Вашим ученостям не обучен, да и зачем они мне? На кой шут сдались?

— Ну хорошо, виноват я перед тобой, виноват — тебе стало легче? — Брюханова начинало бесить явное нежелание Захара говорить серьезно, чего-чего, а прикинуться простачком Захар любил.— Что же теперь, нам и поговорить с тобой нельзя по-человечески? Не ершись ты, дело ведь серьезное. Я...

— Вот, вот, Тихон! Ты когда-нибудь прислушайся, как ты говоришь. «Я»! «Я»! Ты потому приехал, тебе это как заноза, спать сладко не можешь. А у меня другие заботы, вот строиться надо, у меня четверо ребят, а если посчитать, так все пятеро,— он потряс раскрытой пятерней.— Видишь? Они сами по себе не растут, им хлебушка подавай. Хоть черного, да много, животы набить. Ты вон в какое начальство вышел, как-нибудь и без меня обойдешься, без сиволапого. Каждому на этом свете своя межа положена, не переступишь. Какая-то привязка сзади держит.

— Хорошо, Захар, я тебя понимаю. Но ты разве прав был, что партбилет на стол выбросил! Ну, я плохой, допустим, второй, третий, а партия здесь при чем?

— Вот тогда бы и спросил, что ж ты сидел молчком, а теперь чего спрашивать. Дело сделано. Видишь, контру нашли: здоровый мужик к девке ходит, спит с нею. Великое преступление! А что вы мне кулацкую подкладку пристегивали, не принимаю и не приму. Поливанов никогда не был врагом советской власти и не будет, а за человека надо уметь и головой поручиться, коль веришь. На то я и в партию вступал и кровь за нее проливал.

— Никто тебе контру не пристегивал, не мельчи.

— А если человек, по-вашему, по-ученому, мелочь, Тихон Иванович, зачем же ехал сюда, себя беспокоил?

— С тобой невозможно разговаривать, так и лезешь на ссору, Захар! Ведь и на бюро рубил направо-налево, как на учениях в эскадроне. Невозможный у тебя характер! — взорвался наконец Брюханов.— Вот я к тебе сам пришел, давно этим мучаюсь, чего же ты наскакиваешь, лезешь на рожон? Знаю,— перебил он Захара,— знаю, что никакой это не подвиг, скажу одно, Захар: случись сейчас, все было бы иначе. Вот это я хотел тебе сказать, а теперь поеду. Давай руку, Захар, как в прежние добрые времена. Может, помочь тебе в чем, а? От сердца говорю. У самого у меня, знаешь, детей нет, заботиться не о ком, я вот гостинцев ребятишкам привез.

— Не надо, спасибо за беспокойство. Голые не ходят. Хлеб есть, чего еще? Спасибо, Тихон. Пора бы и тебе завести какого-нибудь крикуна. За тридцать ведь?

— Нам-то с тобой подсчитывать года рано, не женщины,— в тон ему отшутился Брюханов.— Пока не получается с крикуном, понимаешь, подходящей как-то на пути не попадается, а самому искать времени нет.

— Эка дурь, прости за грубое слово. Все при тебе, мужик ты видный. Блажь какую-то напустил на себя, а ты к бабе понахальней приступай, их брат нахальство в первый черед ценит, понимает, стерва, что с таким в жизни не пропадешь.

— Умираешь, а веры не покидаешь,— засмеялся Брюханов, с прежним теплым чувством всматриваясь в диковато красивое лицо Захара.— Женщина ведь тоже человек, а ты о ней как о вещи.

— Сразу видно, плохо ты баб знаешь. Бабе — мужик для жизни еще более надобен, чем она мужику, вот в чем загвоздка. Она-то без мужика как раз и усыхает. Так что ты ее не жалей в такой передовой позиции, эта твоя жалость для нее как раз и мука горькая, она тебе этого век не забудет. Давай заходи в хату, нехорошо без обеда уезжать. Живем не хуже других, и к обеду что надо найдется.

Брюханов увидел оттаявшие и вместе с тем настороженно ожидающие глаза Захара и согласно кивнул; вслед за хозяином он, пригнувшись в низких дверях, вошел в сени, с любопытством осматриваясь, у Захара раньше он бывал не раз и сейчас отмечал малейшую подробность. Он знал, что Захар Дерюгин умен, и понимал, что с первой встречи в их отношениях мало что изменится, слишком велика обида, но начало было положено, и застарелая болячка отвалилась; он радовался, что сумел наконец преодолеть в себе этот барьер.

6

В сенях он увидел развешанные по стенам пучки каких-то трав и много связок смутно желтевших кукурузных початков; красный с черным петух, со свалившимся на один глаз малиновым гребнем, сердито

забормотал и недовольно отбежал в сторону к двум, такой же расцветки, курам, о чем-то сердито судача с ними. С порога Брюханову поклонилась сухая, высокая старуха — мать Захара, которая давно уже увидела его в окошко и расспросила о нем пришедших попить квасу плотников и теперь знала, с кем так долго разговаривал о чем-то ее сын; впрочем, она и сама помнила Брюханова, только не знала, как величать его теперь, по-старому, Тихоном, или по батюшке, со всем уважением.

— Здравствуй, здравствуй, Тихон Иваныч,— сказала она в ответ на его приветствие.— Давно ты к нам не наведывался. Снимай свою одежку, проходи, садись.

Она пошла впереди Брюханова, обмела чистым рушником лавку у стола, у переднего угла. Плотники, сидевшие на такой же лавке у порога и с любопытством приглядывавшиеся к Брюханову, встали.

— Знаете, мужики, давайте на сегодня пошабашим, что ли,— сказал им Захар.— Мне вот с товарищем Брюхановым потолковать надо.

— Ты себе говори,— спокойно возразил ему Свиридов,— а нам к чему шабашить приспичило? Время-то идет себе да идет, мы еще постучим. Пошли, Володька, пошли, нечего лодыря гонять.

Они вышли, и Брюханов, сняв пальто, которое тотчас забрала и унесла повесить в чистом месте старуха, сел на лавку; он увидел, что с печи на него смотрят две пары любопытных глаз, черные и светлые, и понял, что это младшие сыновья Захара; он передал привезенные гостинцы старухе. «Эх, надо было из платьишка что-нибудь привезти, ситца какого-нибудь,— поругал Брюханов себя,— ведь в самом деле, до того засох, что забыл, как сам был маленьким, сколько всего нужно, а ведь их четверо; вон как смотрят». Брюханов тотчас сообразил, какой из них приемыш; в светлоглазом мальце ясно проступали черты самого Захара, черноглазый же резко отличался от всей захаровской семьи, и брови у него были сведены теснее, и высокие скулы не те, что у кровных детей Захара. В избе появилась высокая, молчаливая Аленка,— исподлобья глянула на Брюханова, застенчиво сказала «здравствуйте» и сразу же вышла с большим глиняным кувшином, и Брюханову надолго врезались в память ее серые, огромные, как у братьев, глаза; года через два-три эта девочка станет

красавицей, тут же замуж выскочит; такие долго не засиживаются.

Пока Брюханов оглядывал избу и детей, сам хозяин вымыл руки над ряшкой (младший сынишка Захара, черноглазый Егорка, слез с печи полить отцу и стоял, перебирая босыми ногами, потому что по земляному полу сильно тянуло холодом). На столе как-то незаметно появилась сразу запотевшая с мороза бутылка водки и сытная деревенская закуска: крупно нарезанное сало, квашеный кочан капусты, свежие, пахнущие душистым сеном яблоки и вареные яйца; Захар сам нарезал хлеб из большого, вполобхвата, каравая, прижимая его к груди.

— Может, твоего кучера позвать поесть? — спросил Захар, кивая в сторону двери.— Поди, тоже проголодался.

— Не надо, успеется,— остановил его Брюханов.— Посидим, поговорим вдвоем.

Бабка Авдотья подала Брюханову чистый рушник, расшитый большими красными петухами на концах.

— Накрой-ка коленки,— сказала она с привычным доброжелательством к гостю.— Накапаешь, жалко будет, сукно-то хорошее.

Брюханов взял рушник, положил его на колени.

— А хозяйка сама где? — спросил он у Захара, невольно подстраиваясь под обстановку и чувствуя себя здесь удивительно привычно и легко.

— Работает, где же ей быть,— отозвался Захар, отбивая ножом сургуч с бутылки.— На работе, навоз возит, трудодень заколачивает.

— Время летит,— думая о своем, задумчиво произнес Брюханов, вспоминая почему-то серые глаза дочери Захара.— Когда же Аленка так успела вымахать, а, Захар?

— Растут на воле, как грибы, что им сделается, нам думать некогда, вот и успеваем,— усмехнулся Захар и стал разливать водку; этим резким «нам» он не только отделил себя от Брюханова, но и отождествил себя с каким-то множеством других, не известных Брюханову людей, что делают основное в жизни — сеют хлеб и строят, рожают детей и растят их; в его голосе прозвучало превосходство старшего, Брюханов с горечью отметил это про себя. Он без отказа взял придвинутый к нему стакан, выпил и стал закусывать пахучим солоноватым салом; и хлеб был хороший, свежий. Старуха

разожгла на загнетке угли и стала жарить глазунью в большой черной сковороде. Брюханов сказал было Захару, что не надо ничего делать ради него, но Захар не дослушал, опять на лице у него появилась незнакомая Брюханову усмешка.

— Почему же только ради тебя? — спросил он, наливая еще водки.— Гость гостем, да мы и себя не обижаем. Ну, давай, что ли, за былое, а? У нас раньше лучшие времена бывали, вот давай за них, что ли.

— Давай, Захар,— в тон ему кивнул Брюханов, поднимая стакан.

Захар подождал, пока Брюханов выпьет, выпил сам, но закусывать не стал, свернул цигарку и густо задымил; обычно курить мать гнала его из хаты, но сейчас ничего не сказала. Захар взглянул сбоку на ее каменно-спокойное лицо, про себя похвалил ее, умела, старая, когда надо, смолчать.

— Хочешь начистоту, Тихон? — внезапно спросил он, пристально заглядывая ему в глаза.— Нужно было скукожиться, затаить дух, перемочь. Удержись я в этот момент, никто бы меня не осилил.— Он говорил все с тем же веселым выражением глаз, и нельзя было понять, припоминает он свои выношенные мысли так, к случаю, или говорит от гложущей по-прежнему обиды.— Знаю, не враг ты мне, оттого и горше. Просто у тебя времени на меня не хватило, я понимаю. От врага-то легче было бы стерпеть, тот просто взял бы и придавил.

У Брюханова сразу отяжелело лицо, но он не опустил глаз, достал свой, хорошо знакомый Захару, тяжелый, отделанный тисненой кожей портсигар и закурил.

— Да ты не вскидывайся, это я уже так говорю, без зла. А тогда я на весь белый свет озлился, и больше всего на тебя, Тихон, озверел. Через тебя и бросил партбилет, словно какой поморок на меня нашел. Не должен был, а бросил, бросил! А потом уж понесло меня... А кому польза от этого вышла? Ни тебе, ни мне. Может, Родиону Анисимову да таким, как он.

Брюханов машинально засек произнесенное Захаром имя; да, был только один путь: сказать все друг другу начистоту, определить не формальную сторону дела, формальная сторона дела давно разделила их, нужно было каждому вынести простую и честную оценку себе, как когда-то во время бешеных атак, грудью на грудь, и сейчас ничто не могло помешать этому. Да,

много воды утекло с тех давних пор, какой-то комок горькой радости подступил к сердцу оттого, что они сидят вместе, как когда-то, за одним столом и говорят друг другу самую затаенную горькую правду. От водки и духоты тесной избы Брюханова заморило, и он с размягченной нежностью смотрел на Захара, чувствуя, что молодые годы все-таки связывают их, несмотря ни на что, пусть нет прежней душевной близости, которая была когда-то между ними в гражданскую, и возраст не тот, и разница в положении, в интересах слишком большая. И все-таки ему было хорошо в этой темной бедной избе; словно прорвался давний наболевший нарыв и покой после постоянной, ноющей боли сморил; даже разговаривать не хотелось. Он с горечью отмечал про себя бедность обстановки и стесненность, проглядывающую в каждой мелочи, изумляясь невольно, как в этой тесноте могли жить четверо детей и трое взрослых; кровать за чистым ситцевым пологом была придвинута вплотную к лежанке, под которой содержался в зимнюю пору теленок, и оставалось лишь место для стола и лавок, на которых днем сидели, а ночью спали. Дети, двое мальчуганов, по-прежнему лежали на печи и в две пары глаз беззастенчиво рассматривали Брюханова; и вновь тихая тоска сдавила грудь Брюханову. В этой тесноте и бедности было что-то такое необходимое для жизни, чего недоставало ему самому. Захар сидел и курил, стряхивая пепел в какую-то жестянку и раздумывая, ставить ли ему на стол еще бутылку первака, водки в доме больше не было; если появление Брюханова он встретил откровенно враждебно, то теперь его враждебность схлынула, что ж, и Тихон — человек, думал он, и его можно понять, если по-хорошему.

Он все-таки решил выставить бутылку самогонки, и Брюханов, увидев ее на столе, нерешительно замялся, сказал, что, пожалуй, не стоит больше: Захар только засмеялся и уже наливал.

— Ладно,— сказал он,— когда нам еще с тобой такой случай выпадет? Подумать, и мы были когда-то безусые, а теперь вот своя гвардия подросла, Ивану-то моему, старшему, двенадцать скоро.

— Вот давай за них, Захар, жизнь у них будет другая, ясная.— Брюханов уже не чувствовал вкуса самогона и выпил стакан до дна, как воду.— Говоришь, двенадцать? Не успеешь оглянуться, как надо будет определять парнишку.

— Вырастут, сами определятся.

— Вырастут-то вырастут, да на то ты и отец, чтобы подсказать, направить. Давай его в Холмск, Захар, как школу закончит. Филиал машиностроительного открываем. Инженером будет. Чувствуешь, Захар?

— Дожить еще надо, Тихон. Там видно будет, это верно, дороги им все открыты, была бы голова на плечах. Что ж, сам так и не собрался бабой обзавестись? Или зазноба какая присушила? — снова подступил к нему Захар, свертывая цигарку.

— Невеста еще не подросла,— бездумно отозвался Брюханов.

— При твоем-то высоком чине на сторону не очень вильнешь, а, Тихон? Ты все-таки женись, Тихон. Все пройдет, и деньги, чины, а вот оно,— Захар кивнул на печь, на сыновей,— вот оно останется.

— Ладно, ладно, что ты затрубил, женюсь,— принужденно засмеялся Брюханов и, ломая разговор, спросил: — Что ты недавно Анисимова вспомнил? К чему? Радоваться-то ему в нашем дурацком промахе зачем?

— Ничего я тебе точно не могу разъяснить, Тихон,— быстро, словно ожидая этого вопроса, сказал Захар.— Не знаю, мутный он человек, сколько я с ним вместе проработал, а так и не разобрался, какая у него начинка.

— Ну, это не довод.— Брюханов отодвинул недопитый стакан.— Анкетные данные припоминаются... все как будто в порядке, рабочий, питерец.

— Все-то оно так, Тихон, от характера пошло, не выносили мы с ним один другого. Характерами схлестнулись. На отдалении вроде и ничего, а как впритык сойдемся — терпеть нет силы, дух у нас разный, вот он меня и подцепил. После я сколько раз задумывался, чего это у нас с ним не сладилось? Я тебе это дружески, по-близкому. Вроде и мужик он толковый; власть любит, привык свой верх держать. Вот и не сработались. Теперь чего об этом, он у нас в районе сейчас райторгом ворочает, недавно о нем в газете писали; что и говорить, голова у него в порядке. Ну, что, давай посошок?

— Нет, хватит, спасибо. И без того перебрали мы с тобой. Время позднее, в Зежске хочу заночевать. Тянет, все-таки родная сторонка,— словно пожаловался Брюханов.

— А ты оставайся, квартира найдется, с периной, поохотились бы, а, Тихон? Небось давно ружьишка в руках не держал?

— В другой раз, Захар, обязательно, а сейчас некогда, поверь, времени — во-от! — резанул воздух Брюханов, в эту минуту с необычайной ясностью видя перед собой запрокинутое лицо Клавдии.

— Смотри, пожалеешь, охота тебе в гостинице клопов кормить.

Они глядели друг на друга, смеясь глазами, накатило что-то далекое, забытое; плюнуть бы на все дела, отпустить шофера, остаться ночевать у какой-нибудь крепкой молодой бабы и провести угарную ночь, как когда-то, в двадцатом, на Украине. Тогда он был молод, а сейчас бы ее, эту ночь, истратить и бережнее и щедрее.

Захар смотрел на него с доброй насмешкой.

— Чудной ты человек, Тихон, все давишь, давишь себя, а жизнь-то одна, другой не будет.

— Ну ладно, философ, оставь свои доводы на другой раз. Давай приезжай в Холмск с ребятами, хозяйкой. В театр их сводишь. Мать будет рада, место всем найдется. Ну, будь.— Брюханов запахнул полы кожаного, подбитого мехом пальто.— Где Авдотья Васильевна? Попрощаться бы, пора мне.— В последний момент он внезапно притянул Захара за плечи, меряясь с ним силой, как когда-то, и тут же, морщась, отпустил.

— Ну, брат, из железа ты, что ли? — спросил он с прежней открытостью, помахал сыновьям Захара, велел Веселейчикову принести остальные пакеты с провизией (там были колбаса, консервы, копченая рыба), пообещал в другой раз привезти детишкам какой-нибудь мануфактуры и цветных карандашей; бабки Авдотьи с Ефросиньей все не было, и он, натянув шапку, вышел, вслед за ним вышел и Захар.

Уже близился скорый осенний вечер, легкая померклость начиналась в небе; плотники, Володька Рыжий и крестный Захара Игнат Кузьмич, еще работали; они продолжали стучать топорами и тогда, когда машина отъехала и, подскакивая на неровностях дороги, разгоняя кур, скрылась. Захар проводил ее, прищурив неспокойные глаза, и, выбрав место за наваленными в кучу бревнами, где его никто не мог видеть, сел; неожиданный приезд Брюханова разбередил дремавшую, застарелую обиду, и все-таки ему стало легче. Раньше, в тоскливые одинокие вечера, думая о том, что произошло

между ним и Брюхановым, он не мог пересилить обиду; вслушиваясь в спорый перестук топоров, он с неожиданной горечью подумал о своей неудачливой жизни, о Брюханове, о братьях Мани, едва не отправивших его на тот свет, о том, что и Маню он потерял теперь, а все тоскует по ней, хоть уже и стал привыкать к мысли, что она отошла от него навсегда, да и сам он укрепился в этой мысли, строит вот новую избу. Сейчас он думает об этом спокойно, а ведь был момент, когда он ненавидел Маню, считал, что она нанесла ему последний удар и жить дальше незачем. Но дети росли и требовали свое, в конце концов и Маня была только бабой, ее нужно поставить на свое место, пусть видит, что он без нее может обойтись.

И с каждым новым днем Захар, томясь уязвленной гордостью, утверждался в своем решении доказать людям, что его не переехало колесом напрочь, и лишь становился все неразговорчивее и замкнутее.

7

Брюханов решил никого не беспокоить в Зежске, переночевал в Доме колхозника; его тотчас узнала дежурная, потрясенная радостным открытием, что это произошло именно в ее дежурство, ахнула про себя, дерзко и весело обежав плотную фигуру Брюханова глазами, позвонила, набравшись по такому случаю смелости, заведующему, вскоре об этом узнал и преемник Брюханова в Зежске, и многие другие. Распорядившись насчет шофера, Брюханов, выслушав дробную скороговорку дежурной о том, что дом битком набит приехавшими на стройку людьми, но что у них всегда есть один свободный номерок для таких людей, поблагодарил дежурную, попросил ее показать этот самый номер для «таких людей» с чистой узкой кроватью и тумбочкой, и когда она провела его, разделся, лег и почти сразу же крепко заснул, но спал он, как ему показалось, недолго.

Он прислушался к тишине и остался лежать, чувствуя, что утро еще не скоро. Он помнил разговор с Захаром Дерюгиным почти дословно, лишь что-то незначительное выпало из памяти, и теперь вслушивался в сонную, с неясными шорохами тишину. Да, жизнь идет, у Захара уже четверо детей, и какие замечатель-

ные хлопцы, а дочка — прямо красавица; почему он сам, Брюханов, не может освободиться от какого-то чувства зависимости от Захара? И что он такое сам, Брюханов, детей не нажил, привязанностей в жизни не имеет. Зачем он? Впрочем, пора кончать с этим самоедством, завтра трудный день, в шести километрах от этой тишины и заскорузлости мощнейшая, одна из самых крупных в стране строек; из Москвы все время запрашивают, недовольны темпами, календарные графики срываются; необходимо разобраться, поживет здесь, сколько нужно будет, присмотрится.

У Захара в каком-то горячечном настроении он слишком много выпил, но за дорогу хмель выветрился, и спать не хотелось. Было далеко за полночь, городок спал, и всю ночь Брюханову мерещилось запрокинутое, в густой волне золотисто-медных волос женское лицо, он наконец сел в постели, вполголоса выругался. Это она, Клавдия, томила его всю ночь; зря он снова, в который уже раз, давил себя, как выразился Захар, хотя бы позвонил ей перед отъездом. Подумаешь, сверхчеловек, оскорбил женщину невниманием, жестокостью. Телефона в номере, конечно, нет, он бы немедля позвонил ей. Он чертыхнулся и, чувствуя, что теперь ему окончательно не заснуть, торопливо оделся, вышел в коридор. Он хотел незаметно выбраться на улицу, но дежурная услышала, тотчас выглянула из своей конторки, заспанная и недовольная; увидев перед собой Брюханова, протерла глаза, заулыбалась.

— В такую-то рань, товарищ Брюханов,— польстила она ему своим удивлением и тут же стянула у шеи разошедшийся ворот кофточки.— А может, вас что-нибудь тревожило? — спросила она, внезапно пугаясь.— Так у нас вроде вредных насекомых не водится, с месяц назад всего побелку делали, всякое вредное насекомое известкой выело.

— Полно тебе, Галина Никитична.— Брюханов, улыбаясь, тронул ее за руку повыше локтя.— Что ты со мной так, с хорошим старым знакомым.

— Вы теперь вон какое начальство, из-под ладони и то не углядишь,— дежурная приставила ладонь козырьком ко лбу, уставила глаза вверх, словно и в самом деле пыталась рассмотреть что-то против солнца, и вздохнула.— И боязно, Тихон Иванович, что скрывать.

— Место у тебя генеральское, действительно потерять жалко,— Брюханов засмеялся.— Расскажи лучше,

как вы тут живете-то без меня.— Брюханов оглянулся, сел на деревянную скамью с высокой спинкой, достал папиросы, повертел их и сунул обратно в карман.— Садись, Никитична,— указал он на место рядом,— что ты такая робкая стала?

У дежурной было круглое, доброе лицо, уже в первых едва заметных морщинах; Брюханов вспомнил, что лет пять назад она была комсомольской активисткой и, принимая участие в коллективизации, почти не жила дома; из-за этого и с мужем разошлась, даже самому пришлось разбирать это дело.

— Хворать стала, Тихон Иванович,— дежурная вздохнула, осторожно опустилась рядом на скамью.— А так, что же, так — ничего. Народу у нас понаехало невпроворот, как строительство объявилось. Бараки до самой речки додвинулись, говорят, скоро каменные дома строить начнут, гостиницу в четыре этажа. На базаре за дорогие деньги ничего не найдешь, все, как метлой, подметают. Шалостей стало больше, а так и веселей, молодежи веселей, каждую субботу в горсаду танцы под духовой: Зежск наш в данной точке к заводу приставлен.

Брюханов, послушав нехитрые зежские новости и посмеявшись с дежурной, вышел на свежий воздух и долго ходил по пустынным и темным еще улицам, вызывая злобный собачий лай; собак в Зежске, как и прежде, водилось много, их держали почти в каждом дворе; да, время никого не щадит, сильно сдала и Никитична, как-то уж очень переменилась и потускнела со времени их первого знакомства, осела в землю, а какой была комсомолкой — огонь, в самые бандитские логова забиралась. Ну что ж, думал Брюханов, очевидно, каждым силам есть предел; он направился к почте, но она, как и следовало, была закрыта, и нетерпение Брюханова все усиливалось.

Городок медленно стряхивал с себя дремоту, ветер дул с севера пронизывающий, и Брюханов прозяб. Как только открылась почта, он дал телеграмму Клавдии без подписи, всего из нескольких слов: «Я в Зежске, приезжай немедленно». Девушка в низко повязанной косынке равнодушно отсчитала ему сдачу с тридцати рублей, и он успокоился. Вот все, что нужно было сделать, подумалось ему, и он направился в райком; он был уверен, что Клавдия к вечеру приедет в Зежск; так надо, убеждал он себя, кому какое дело до его отношений именно с этой женщиной?

Толкнув дверь, он размашисто вошел в свой прежний кабинет и крепко пожал руку вставшему навстречу Вальцеву; у Вальцева лицо было крепкое, обветренное, но точно невыспавшееся, с теневыми мешками у глаз; Брюханов сел, обежал глазами кабинет, в котором совершенно ничего не изменилось.

— Ты нездоров, Геннадий Михайлович? — спросил он Вальцева.— Чего такой кислый?

— Замучился с этой стройкой, как чума рухнула, все подчистую слизывает, оставляет после себя сплошную пустыню. Накормить такую прорву, расселить... Тут партобмен в самом разгаре, ежедневно с двух до шести сам беседую... Черт знает, сколько еще всякого дерьма выявляется...— Вальцев глядел на свои руки на столе, быстро и энергично сжимая и разжимая пальцы, надеясь выяснить отношение к своим словам Брюханова, но тот с сочувствующей улыбкой молчал.

— Начальника строительства на голову мне посадили, хуже всякой чумы,— сказал Вальцев, стараясь удержать на лице бодрое выражение.— Кругом ободрал... не человек, живодер самый настоящий. Про него частушку поют, что-то вроде того: «Чубарь ты мой, Чубарь, разменяй-ка руболь...»

— Лихая у него фамилия, верно,— подтвердил Брюханов.— А вот по партобмену разговор отдельный. Перегибаешь палку, Вальцев, есть сигналы.— Вальцев вопросительно поднял глаза, но по какому-то движению в лице Брюханова сразу определил, что спорить бесполезно, смолчал и опять заговорил о Чубареве.

— Если бы только одна фамилия, а характер-то? — спросил он.— Вы слышали, как он появился, в первый раз прошлой осенью? Прямо на аэроплане на низину посредине стройки сел и сразу по баракам. Вокруг бараков грязь непролазная, в болотных сапогах на работу ходили. В бараках одеяла разворовали. Тут же выгнал коменданта и начснаба. После обеда взял машину — и сюда, в райком. Машина затопла, ее трактором тягали, он пешим добрался, в кабинет ввалился в одной калоше, другую в грязи потерял. Ну, Тихон Иванович, много мы с вами видели, но такого сроду не приходилось, как он тут гремел.— Вальцев, вспоминая, возбужденно дернул плечами, засмеялся: — За две недели дорогу насыпали. А то еще случай был недавно: знамя наркомата своей волей забрал, на двух пьяных на стройучастке механического наткнулся, спали вповал-

ку. Зверь! А я что против него? Мошка, комар, с ним, пожалуй, и обкому не справиться.

— Не прибедняйся, Геннадий Михайлович, любишь ты сиротой казанской прикинуться. Ты его в любой момент можешь к ответу призвать.

— Он же Москве непосредственно подчиняется,— развел руками Вальцев.

— А ты хозяин в районе,— заметив в глазах Вальцева недоверие, Брюханов покачал головой.—Не согласен, ну ладно, разберемся. Главное ты рассказал. Делить вам нечего, дело общее.

— Я и не делю,— сказал Вальцев и, подняв руку, стал загибать пальцы один за другим.— У меня еще и район — раз, триста с лишним колхозов — два, совхозы — три, леспромхоз... Вы лучше меня район знаете... Этот моторный мне все дыбом поставил, костью в горле стоит. А Чубарев-то, черт беспартийный, по головам шагает, вынь ему да положь. Замучился я с ним, не знаю, куда от него сбежать, могучий человечище, таран. Да вот он, радуйтесь, и сам пожаловал, грозился вчера по телефону.

И действительно, Брюханов услышал рокочущий бас, пробивавшийся, казалось, сквозь стены и окна; Брюханов заметил, как Вальцев цепко оглядел стол, быстро передвинул какие-то бумаги, придавив их массивным пресс-папье.

— Эк его разбирает,— недовольно, но с оттенком уважения сказал он.— Что у него там опять стряслось, сам леший не угадает заранее.

Брюханов отошел в угол, устроился на диванчике; он мало знал Чубарева, приехавшего на стройку всего с год назад, еще не приходилось сталкиваться с ним лично; он знал, что Чубарев огромного роста, еще выше его, Брюханова, на целых полголовы; но, увидев его перед собою, опять от души восхитился этим громадным, красивым и подвижным, как ртуть, человеком. Чубарев тотчас узнал его и от Вальцева шагнул прямо к дивану.

— Повезло! — пророкотал он, размашисто протягивая Брюханову широкую, теплую ладонь.— Рабочий привет обкомовскому начальству!

— Здравствуйте, Олег Максимович.— Брюханов почти физически ощущал ту неуемную энергию, что беспокойно бурлила и ворочалась в стоящем перед ним человеке.— Как она, жизнь-то, идет?

— Не идет, товарищ Брюханов, а ползет, отвратительно ползет на брюхе,— тотчас с вызовом отозвался Чубарев, и Брюханов внутренне весь подобрался, почувствовав перед собой достойного собеседника, способного к тому же на любой резкий выпад.

— А вам, Олег Максимович, тотчас крылья подавай?

— Крылья не крылья, а насколько это будет в моих силах, я не допущу из важнейшего для страны строительства выпускать потихоньку дух... в пролетную трубу.

— Хоть вы и считаете себя единственным патриотом стройки,— возразил в тон ему Брюханов, откровенно принимая вызов,— но до вашего разорения путь далекий, а точнее — неосуществимый. И все-таки хотелось бы выяснить, чем это вы так раздосадованы?

— Простите, дорогой Тихон Иванович.— Чубарев охотно принял чуть иронический тон, заданный Брюхановым, но, как старший по возрасту и старший по опыту, говорил с легким оттенком превосходства, с особым, свойственным старому интеллигенту, неуловимым изяществом интонаций.— Мне кажется, вы несколько отвлеченно представляете себе весь разворот нашей с вами стройки. У меня сейчас восемь тысяч рабочих, а мне надо вдвое больше, уложиться в срок необходимо. Из них сезонников половина. А срок полтора года, полтора! Даже в Америке нет таких сроков, не наблюдалось за последние полтораста лет, Тихон Иванович.— Он слегка наклонил голову вправо, словно с явным удовольствием прислушиваясь к собственным словам, помолчал.— У меня не хватает рабочих рук, можно сказать, нет экскаваторов, нет тракторов... Стыдно признать, недостает грабарок! По разнарядке гужповинности, по договорам с колхозами сюда стекаются сотни подвод, но они работают всего месяц, затем меняются, на пересменки впустую уходит драгоценное время, а нам необходимо переместить с места на место горы земли. До пуска первых цехов должно отсыпать плотину: нужны запасы воды, без этого завод не пойдет. Нужно делать насыпь, заканчивать ветку, строить бараки, кормить, одевать, веселить, а главное, учить работать. Научить крестьянина непривычной работе — основная сила на стройке он, именно он. Нужно организовывать курсы каменщиков, плотников, бурильщиков, взрывников, бетонщиков. Ну, есть у нас курсы повыше-

ния квалификации — это же капля в море! Нужно обучать молодежь уже сейчас основным профессиям, которые потребуются через год, к нам идет новейшая техника. Нужно утрясать связи поставок... Тяжпром задерживает кредиты и отпуск оборудования. До сих пор не утвержден инженер по технике безопасности, отдел экономики труда некем комплектовать. А обком проявляет нежелание или, мягко сказать, неумение в регулировании реальными силами в области. Я дважды писал об этом в областной газете. И на партактиве выступлю. Что, хороша речь?

— Речь хороша, Олег Максимович.— Брюханов прошел к столу, сел, жестом предлагая сесть и Чубареву, тот или не заметил, или не захотел, продолжая ходить, едва не касаясь свисавшей с потолка люстры в прозрачных леденцовых сосульках и всякий раз недовольно склоняя голову набок.— И все-таки хотелось бы уяснить конкретное положение на сегодня, Олег Максимович, узловые моменты. Почему вы здесь с утра, у Вальцева?

— Вальцева не опередишь, он чуть свет на ногах.—Чубарев чуть поклонился в сторону Вальцева, как бы приглашая его присоединиться к разговору, тот в ответ сердито свел брови.— Не хватает гужтранспорта для земляных работ, вот и явился на поклон, это единственное, что нас может выволочь. А где? В Холмской области, где деревня на деревне гнездится. По разнарядке мне не хватает, понимаете, мало, мало! Я не охотник расходовать народные деньги, но пришлось бросить клич: один конедень, разумеется, с выполнением установленных норм, пять рублей, поверьте, цена очень и очень скудная. И тем не менее это тотчас разошлось по соседним районам, это было, заметьте себе, рассчитано на единоличника, в основном на лесные северные районы области, где процент единоличника высок и до сих пор. И что же? Гужтранспорт пошел, неделю, вторую, а вчера узнаю, что наложен запрет. Где же смычка с деревней? Председатели сельсоветов, колхозов и прочая местная власть силой не разрешают желающим ехать! Вот вам и конкретная нужда и текущий момент.— Словно подчеркивая свою просьбу, Чубарев остановился перед Брюхановым; Брюханов слегка кивнул в ответ, показывая, что он понимает и то, что сказал Чубарев, и то, что осталось невысказанным.

— Единоличника необходимо поголовно вовлечь в колхозы,— сердито заметил Вальцев.— А ваш этот клич, товарищ Чубарев, здорово шатнет его в сторону.

— В какую еще сторону, ерунда, Россия — традиционно крестьянская страна, и если мы хотим по-настоящему поставить промышленность, а мы без этого, заметьте себе, товарищ Вальцев, мы без этого просто не выживем, то без значительной перекачки рабочей силы в промышленность из села с места не сдвинемся. Какая разница, сразу ли единоличник перекуется в рабочего или пройдя через колхоз?

Слушая его и прикидывая, с какого бока приступить к решению этого щекотливого вопроса, Брюханов попытался представить себе, с чего бы начал Петров; спокойный, методичный, никогда не торопящийся Петров задавал своему окружению немыслимый, изматывающий ритм, хотя почему Петров, тотчас поправился Брюханов, сама жизнь задавала такой ритм. С тех пор как он переехал в Холмск на новую работу, у него не было ни одного свободного дня; то он был на заводах, на стройках, где пытался нащупать слабые места, как-то подтолкнуть застопорившиеся дела, выявить скрытые резервы; то обязательно наворачивались иные, житейские, но не менее важные заботы. Жилье для рабочих, питание, организация столовых и клубов, школы, больницы; жизнь неумолимо затягивала в свой круговорот, несмотря на смену дня и ночи, времен года, непогоду и жару. Даже в короткие часы сна он теперь часто просыпался с чувством неожиданного решения какого-то острого, важного вопроса.

— Что? — не понял, вернее, не расслышал Брюханов.

— Спрашиваю, что делать будем, Тихон Иванович?

— Думаю, надо решать этот вопрос в рабочем порядке, без излишнего шума. Как твое мнение, Геннадий Михайлович? — спросил Брюханов, и Вальцев неопределенно пожал плечами.— И все-таки в этом вопросе с единоличным гужтранспортом вы правы, Олег Максимович. Надо сегодня же разослать в сельсоветы соответствующие указания. Так, Вальцев? — переспросил он и засмеялся.— Человек вы безжалостный и неотвратимый, Чубарев, нелегко приходится с вами секретарю райкома, видите, исхудал, в чем душа держится.

— Ну, не скажите, у Геннадия Михайловича где сядешь, там и слезешь, товарищ не очень податливый.

Понять должно одно: или мы запряжем вместо коняги мотор, или страна начнет задыхаться. Значит, решено? Вот это по-нашему, по-деловому. Надолго к нам, если не секрет?

— Недели на две, и именно к вам, Олег Максимович.— Брюханов закурил, предложил Чубареву и Вальцеву, но они оба отказались; Чубарев натощак не курил, а Вальцева мучил кашель, и он едва его сдерживал.— Надо поосновательнее вжиться в дела, областные ресурсы почти исчерпаны для ускорения темпов строительства, будем изыскивать резервы на месте... Приехал кое-что посчитать, Олег Максимович...

— В добрый час,— пророкотал Чубарев.— Рад, душевно рад, милости прошу, сегодня же и приступайте. Со мной поедете или отдельно, а?

— Своим ходом, своим оно вернее.

Первоначально, до встречи с Чубаревым, Брюханов решил познакомиться детально со стройкой, поговорить с людьми, а уж потом только обо всем откровенно потолковать с самим Чубаревым; но сейчас, ощутив на себе обаяние личности этого человека, он решил, что лучше всего поступить наоборот. В конце концов, после случая с Захаром Дерюгиным он положил себе за правило идти прямо и начинать с трудного, нельзя даже в малом плутать по закоулкам.

— Подождите, Олег Максимович,— сказал он тихо.— Хорошо бы нам с вами поговорить. Найдете часок?

— Разумеется,— тотчас отозвался Чубарев и пристально, точно впервые увидел, вгляделся в Брюханова.— И час и два, сколько вам будет угодно, я в вашем распоряжении, только позвоню.

Дождавшись, пока Чубарев позвонит и отдаст необходимые распоряжения, приказывая кому-то немедленно послать триста человек на разгрузку цемента, Брюханов предложил Чубареву пройтись по городу.

— А ты, Геннадий Михайлович, занимайся своими делами,— сказал он Вальцеву,— мы тебе мешать не будем. С гужтранспортом придется поворачивать оглобли именно в сторону строительства. Я загляну к тебе попозже.

День стоял солнечный, и крыши, с ночи тронутые изморозью, сейчас мокро блестели на солнце, было непривычно людно в маленьком городке, старый мещанский уклад трещал по швам, в своей прежней успокоенности и уездной дреме городок доживал последние

недели, и это чувство напрягшихся мускулов перед прыжком, казалось, присутствовало в самом воздухе.

— Вы, кажется, из этих мест, Тихон Иванович?

— Да, здесь я родился и вырос, закончил гимназию,— отозвался Брюханов негромко,— меня здесь всегда охватывает чувство начала, словно все еще впереди. Редко только вырваться удается сюда.

— Года через два вы свой Зежск не узнаете,— Чубарев, забываясь, шагал широко и все время невольно обгонял Брюханова.— Вырастет промышленный центр этак тысяч на двести — триста жителей, через месяц-другой обещают выдать генеральный план. День какой, а? Дышится легко. Знаете, когда дело хорошо идет, то и настроение близко к счастливому.

Некоторое время они шли молча и на базарной площади перед старым собором остановились; окна в соборе были заделаны фанерой и досками.

— Опять наши с Вальцевым серьезные разногласия,— Чубарев кивнул на собор.— Прошу отдать под техническое училище, пока своим зданием обзаведемся, борода вырастет... А райком категорически — нет, и все тебе, говорят, памятник, пятнадцатый век. А что, собственно, этому памятнику сделается? Не лошадей ведь будем содержать.

— Олег Максимович, я некомпетентен в этом вопросе, нужно обратиться к специалистам. Давайте не все сразу, по порядку.— Брюханов отметил про себя несколько скачущее направление мысли собеседника.— Честно вам скажу, в этом вопросе вас не поддержу, Троицкий собор действительно очень ценный памятник... Нельзя же даже в случае крайней нужды, в поисках желудей, подсекать корни. Но это к слову. Меня сейчас интересует другое. Дело касается в основном вас, я с вами буду предельно откровенен, Олег Максимович. Не знаю, почему и как, на вас поступило много заявлений.— Брюханов приостановился, закуривая и прикрывая ладонями огонек спички и в то же время обдумывая, какой характер придать разговору; Чубарев ему понравился, и он, сам того не желая, заговорил слишком обнаженно и прямо. Он взглянул на Чубарева, но тот уже успел взять себя в руки; опустив тяжелые веки, он слушал внимательно, не перебивая.— Время сейчас напряженное, Олег Максимович, мне кажется, вам нужно самому все серьезно проанализировать, ведь прежде

всего полнота ответственности на вас лежит. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Время напряженное.

Чубарев, так же не поднимая век, слушал, ничем не выражая своего отношения к словам собеседника. Лицо его было спокойно, хотя сейчас сильно чувствовался его возраст, под глазами обозначились резкие морщины.

— Я старше вас, Тихон Иванович, много строил, во всех концах страны оставил свой росчерк, не ради денег, Брюханов, не ради честолюбия, все это — не важно. Ради России. Когда я понял, что большевики — это могучий рычаг для нового скачка России, я безоговорочно пошел за новой властью. Ради России. Нет, вы моложе, вам меня не понять... Ну сколько же перед иностранцами можно шапку ломать? Народ-то наш необычайно талантлив. А вас я сейчас отлично понимаю. Спасибо за откровенность, я знаю, чего вы не сказали и никогда не скажете. Разумеется, легче всего сесть и написать бумагу — причины удалиться на покой, в отставку, всегда сыщутся... М-да. И все-таки не могу. Не могу. Вильнуть по-заячьи в кусты не могу и не хочу. Непригоден я для этих прыжков. Совесть моя чиста, по мере сил делал необходимое, нужное народу. И неплохо делал, да. Мне нечего стыдиться. Нет, нет, Тихон Иванович, я верю в правоту чистых рук, а руки мои чисты,—давайте забудем этот разговор. Спасибо за прямоту.

— Поймите меня правильно, Олег Максимович, вы нам нужны, вы крупный специалист, у нас таких не слишком много...

— Это пока время не приспело, привыкли ведь по старинке, киркой да лопатой, а как к горлу подступит, сразу появятся специалисты. Жизнь — мудрая распорядительница, напрасно мы ей мало доверяем. Вы, я слышал, по образованию тоже инженер, не думаю, что вы на моем месте приняли бы иное решение. И потом, понимаете,— он скользнул потеплевшими от ребячьей, почти бездумной улыбки глазами мимо Брюханова,—главное, успеть дело сделать. Испытать чувство полета, а там... вдребезги или как, не имеет значения. Не верите? Стоит мне убедиться, что то или иное дело по плечу, как я сразу поворачиваюсь к нему спиной. Уже не то, не то!

— Я рад, что наконец познакомился с вами ближе,— признался Брюханов.— Желаю вам полета и удачного приземления. А я... какой я теперь инже-

цер,— перевел он разговор на другое.— Горный институт окончил, а теперь что же... И в нашем деле специалисты нужны. Вон вы на какие горизонты замахнулись, успевай только за вами. Почитывать приходится кое-что, следить за литературой, чтобы ориентироваться, знать уровень мировых стандартов. А так, видно, не судьба... К металлургам когда попадаю — праздник.

Чубарев слушал по-прежнему очень внимательно, не пропуская ни одного слова, ни одной интонации; Брюханов определенно нравился ему.

— Скажите, Олег Максимович, а вы каких-нибудь промашек, ну мелких, второстепенных, за собой не замечали?

— Прямых промахов, Тихон Иванович, не замечал, кроме этой досадной путаницы в моей статье. Ну, разумеется, нужен объективный взгляд со стороны, я рад вашему приезду, вам и карты в руки. Вы сегодня завтракали?

— Нет еще.

— И я нет. Кофейку перехватил. Дела делами, а желудок тоже не последнее дело. Едемте на стройку, там заодно и позавтракаем и пообедаем, здесь всего шесть километров. Кроме того, у нас сегодня аврал, комсомол решил отработать в ночь на котловане сборочного и на отсыпке плотины сверхурочно: на два метра углубить котлован и на метр поднять плотину. Ночка предстоит, скажу я вам! Но ничего не поделаешь, надо тянуться. Молодежь везде тон задает.

— Раз так, едем, не будем терять времени,— согласился Брюханов, и скоро они уже тряслись на ухабах в машине Чубарева, потому что у Веселейчикова разладилось зажигание, сконфуженный Веселейчиков, виновато разводя руками и обещая тотчас нагнать, остался копаться в моторе, а Чубарев с Брюхановым, отъехав примерно с километр от города, натолкнулись на несколько застрявших машин с кирпичом; шоферы хотели проскочить обочь неровной дороги, и колеса, продавив верхний мерзлый слой, размесили землю в жидкую грязь. Чубарев тотчас приказал своему шоферу остановиться, вышел, застучал по кабине задней машины ладонью.

— Ну и какого черта вас мимо дороги понесло? — спросил он подошедшего молодого, светлоглазого, с ног до головы заляпанного грязью шофера.

— Хотели поровнее проехать, Олег Максимович,—сказал виновато шофер.— А оно вон как, не застыло еще как следует. Волобуйко уже ездил на попутной на стройку трактор просить, не дают, а так не вылезть, на брюхо сели.

— Вам бы штраф закатить, семь машин стоят! Который час стоите?

— Часа полтора, Олег Максимович.

— Полтора! За это время можно было дважды обернуться. Видите, вас на лошадях обгоняют, вы же мне авторитет техники подрываете! Ей-ей, безобразие!

Мимо по дороге, объезжая полуторку, тянулся обоз с кирпичом подвод в сорок; мужики громко насмешничали над шоферами; завидев Чубарева, они умолкали, стаскивали шапки, кланялись, и Брюханов невольно отметил, что начальника строительства здесь все знают в лицо.

— Эй, ребята, стой! — замахал Чубарев рукой, останавливая мужиков.— Давай сюда, давай, давай, таким миром можно паровоз на рельсы поставить, не то что паршивые полуторки!

Он подождал, пока возчики со смехом и шутками облепили со всех сторон переднюю машину, сам уперся плечом в грязный борт и крикнул выглядывавшему из кабины шоферу:

— Давай разом! Разом! Ну, взяли! Ну, взяли!

Брюханову было неловко стоять в стороне, но из-за множества людей к бортам машины пробиться было нельзя, и он по примеру других, которым тоже не досталось места, принялся подталкивать кого-то в широкую спину, туго обтянутую овчиной; минут через пятнадцать машина стронулась, медленно выползла на дорогу, и хотя пришлось еще провозиться около часа, дело пошло, и когда последняя машина выбралась на твердое и мужики-возчики, утирая шапками мокрые лбы, разошлись к своим подводам, Брюханов почувствовал, что тоже хорошо разогрелся; Чубарев, очищая какой-то щепкой сапоги от грязи, ворчал, что с дорогами беда, шоферы неопытны, мальчишки, только с курсов, еще и азбуку в своем деле не совсем твердо знают.

— Тоже единоличники? - кивнул Брюханов в сторону мужиков-возчиков; Чубарев неопределенно хмыкнул, покосился на сапоги Брюханова, ноги по колена были заляпаны грязью; Брюханов засмеялся, поискал

глазами, тоже нашел щепку, стал соскабливать жирную, глинистую грязь с сапог и с пальто.

— Вряд ли стоит относиться к этому народу с иронией, Тихон Иванович. У меня сейчас в конном обозе подвод около шестисот, и их все прибавляется. В основном мужик свои дела кончил, осень, самое время ему подработать. Представляете, сколько они в день перемещают земли, камня, сколько завозят леса? Вот и сегодня в ночь им предстоит поработать, правда, расшевелить их трудновато.

Они вернулись в свою машину; Брюханов, откинувшись на спинку сиденья, внимательно всматривался во все, что летело им навстречу: в новые телеграфные столбы вдоль дороги и кучи щебенки и булыжника, приготовленного для покрытия, в длинные ряды бараков, неожиданно открывшиеся взгляду с пригорка, и в огромную стройку, похожую на развороченный, шевелящийся муравейник; да, конечно, этакая махина изменит не только лицо одного района, она втянет в свою орбиту и область полностью, наложит на все свой отпечаток.

— Когда-нибудь наше время будут рассматривать с изумлением,— сказал Чубарев громко; он вообще привык из-за постоянного шума разговаривать громко.— С двадцать второго года на четвертом таком строительстве, человек я, смею надеяться, поднаторелый, красавец будет завод. Люблю такую кутерьму, без нее кисну, места себе не нахожу на своем Скарятинском,— жена на меня рукой махнула, сидит себе в Москве, в проектном институте, воспитывает детей. У меня их двое. Дочке пятнадцать. Умница, отличница. А сын лоботряс. Семнадцатый год, а от материнской юбки ни на шаг. Пробовал взять его с собой, в Сибирь, куда-а! Сбежал на второй месяц. Вот до собственных детей руки не доходят.

Машина остановилась, как показалось Брюханову, в самом средоточии раскардаша, шума и скрежета, и Чубарев, прежде чем выйти, не торопясь, по-хозяйски огляделся кругом.

— Симфония! Ей-богу, люблю! — прокричал он с удовольствием, косясь на Брюханова, и тут же заторопился, повел гостя кормиться; у входа в длинную приземистую столовую Брюханов задержался перед фанерным щитом. Ему в глаза бросились огромные черные цифры — 159 783, и он уже потом прочитал, что это счет ВЦСПС, на который следует отправлять средства

в помощь республиканской Испании; Чубарев невидяще скользнул глазами по давно заученному наизусть плакату.

— И как?

В ординарном сочетании цифр, выставленных в самом центре стройки, звучал особый смысл, связующий собой не-подвластную никакому учету множественность происходящего.

— Непостижимое время,— коротко отозвался Чубарев.— Сам видел женщин из бригады землекопов, женщин, представьте себе! Не нужно быть слишком прозорливым, чтобы понимать значение каждого рубля для них, когда у них одна шерстяная юбка на бригаду да по ситцевой кофтенке. И вот они всей бригадой постановили отдавать десять процентов своего месячного заработка в фонд Испании, при мне вносили... И тут же заем третьего года пятилетки... А ведь у них семьи, дети. Не знаю, есть ли душа у каждого человека, а вот у народа она непременно есть.

В итээровской столовой они поели густого пшенного супа, съели по котлете со сладкой, уже подмороженной картошкой, и Чубарев повел Брюханова знакомиться со стройкой; для Чубарева это был еще один обычный рабочий день, он обходил объект за объектом, побывал в котловане двух цехов, у растущей плотины, на ходу распоряжаясь, подписывая документы и накладывая резолюции, решая что-то с десятниками, инженерами, бригадирами, кого-то хваля, кого-то тут же ругая, и от этого потока к концу дня у Брюханова отяжелела голова; он с непривычки устал, а Чубарев все так же легко и стремительно двигался, а вечером, все в той же итээровской столовой, приминая в тарелке рассыпчатую гречневую кашу, неожиданно поднял на Брюханова светлые, тихие глаза.

— Знаете, Тихон Иванович,— сказал он ему с доверительной теплотой, уже как своему,— человечество тысячи лет искало приложения своим страстям, своей силе, в какие только области не забиралось! Тоска о бессмертии! Бессмертие, для кого и для чего? Для одного человека? Очень не хочется уходить... все только начинается. Какой непочатый край дерзости, работы, движения.

— Вам-то рановато тосковать о бессмертии, Олег Максимович,— искренне засмеялся Брюханов, припоминая прожитый день — на ногах, почти в непрерыв-

ной ходьбе.— Опомниться не могу от сегодняшней разминки.

— Не гребень-то голову чешет — время,— сказал Чубарев и, меняя тему разговора, спросил, где думает Брюханов ночевать, в Зежск вернется, в гостиницу, или останется здесь.

— Не хотелось бы вас стеснять,— коротко отозвался Брюханов,— но на комсомол ваш взглянуть бы не мешало.

— Что стеснять, у меня часто ночуют,— сказал Чубарев, и было видно, что он рад Брюханову.— Специально для этого мягкий диван поставил в своих апартаментах.

— Спасибо, вряд ли понадобится диванчик сегодня, Олег Максимович.

Увидев стройку, Брюханов почувствовал, что с налету в самой сути происходящего не разберешься, как раз главное и упустишь; они пошли дальше, Чубареву нужно было к каменщикам, на строительство механического цеха, там нежданно-негаданно просел большой участок стены, под которым изыскатели прохлопали плывун. Нужно было уладить дело с особистами, которые тотчас вмешались и не разрешали разбирать кладку до полного выяснения дела; Чубарев не без хитрости повел Брюханова именно на этот объект, на ходу объясняя положение. Каждый упущенный час грозил, по его словам, самыми тяжелыми последствиями для всего строительства; остановившись как раз напротив просевшего участка кладки метров в десять, Чубарев подождал, пока к нему подойдет прораб, рыхлый пожилой мужчина с быстрыми глазами.

— Ну что, Стрельников, чего вы ждете? — спросил Чубарев, нахмурившись при виде его, и Брюханов с любопытством оглядел сбоку его изменившееся, построжавшее лицо.— Я еще вчера приказал разобрать кладку,— он кивнул на просевший участок,— углубить фундамент, закрепить его ниже агрессивного слоя. Сколько времени прошло?

Прораб достал из кармана часы на длинном ремешке.

— Ровно сутки, Олег Максимович. Что же я могу? Товарищ Ларионов запретил...

— Ну так вот, Стрельников,— тихо и внятно, так, что раздельно слышалось каждое слово, прервал прораба Чубарев.— Сейчас же разобрать осевшую стену и на-

чать работы по усилению фундамента. Не то можешь считать себя уволенным, сейчас и ни одной секундой позже.

— Да уж не знаю, что хуже,— пожал плечами прораб.— У Ларионова тоже не залежится. Хотя что же, я хоть сейчас сюда пару бригад брошу. Эй, Кузьмич,— тотчас крикнул он, слегка приподняв лицо, обращаясь к кому-то вверху, на лесах,— поди-ка сюда. Позови соседа Воронина.

Брюханов, о котором совершенно забыли, уже через несколько минут видел, как просевшую часть стены облепили люди и она словно стала таять под их руками; еще не схватившийся раствор поддавался легко, и кирпичи снимались слой за слоем; женщины-подсобницы передавали их из рук в руки, обивали раствор молотками и мастерком и складывали неподалеку в штабеля. Метрах в пяти от Брюханова работала Маня Поливанова, в брезентовой куртке и штанах, забрызганных раствором; он видел ее однажды мельком и, конечно, теперь не узнал в рабочей одежде, хотя с минуту любовался ее уверенными, отличающимися какой-то неуловимой плавностью и законченностью движениями; она брала кирпич, подбрасываемый в кучу к ее ногам, обивала от раствора и, нагибаясь, складывала уже в другом месте. Но сама Маня, случайно взглянув еще с лесов, где она подавала каменщикам-мастерам раствор и кирпич, тотчас признала Брюханова и, оказавшись почти рядом с ним, больше всего боялась, что он ее узнает; она работала, пряча от него лицо, но мысль о том, что рядом находится человек, знающий о ней с Захаром, держала ее в напряжении и скрытом беспокойстве.

Пока Брюханов стоял, присматриваясь и раздумывая, как бы он сам поступил в подобном случае на месте Чубарева, работа уже развернулась полным ходом; взламывая негодную стену, каменщики пошучивали, что времена теперь хороши, строй — деньги в карман, ломай — тоже в убытке не останешься; а Чубарев, убедившись, что его приказ будет теперь выполнен, уже отдавал прорабу распоряжения иным, доверительно-деловым тоном.

В день встречи с Брюхановым Маня долго не могла успокоиться, она уже свыклась со своим новым положением, работа была ей не в тягость; когда Чубарев с Брюхановым ушли, она все так же продолжала выби-

рать из кучи кирпичи, обивать их от затвердевшего раствора и аккуратно складывать в штабель. Было ясно, что Брюханов ее не приметил, но зато сама она хорошо помнила, сколь много значил в жизни Захара в свое время этот человек (Захар рассказывал ей о Брюханове), а потому и в ее жизни. Но думала она о нем недолго; не ей было судить об отношениях между Брюхановым и Захаром; Брюханов был лишь толчком, от которого она словно покатилась куда-то назад, в свою прошлую жизнь. С Захаром у них все было покончено, она твердо знала это, хотя забыть его не могла, и подступали, бывало, такие минуты, когда ей хотелось все бросить, найти Захара и сказать, что она больше не может без него, что она согласна идти с ним хоть на край света; она и на строительство-то ушла потому, что рядом с ним все равно бы не выдержала, и вот теперь черт принес этого Брюханова; до смерти захотелось домой, в Густищи, прижать к себе Илюшу, хотя бы издали увидеть высокую фигуру Захара.

Маня привычным движением положила очищенный кирпич в штабель, взяла следующий; поврежденную стену уже доламывали; она слышала, как прораб Стрельников, после разговора с Чубаревым не отходивший от места работы, говорил Кузьмичу, бригадиру, что с фундаментом будет теперь мороки, и послал заранее двух подсобниц за ломами в инструменталку. «Хотя бы скорее день-то кончался»,— думала Маня, занятая однообразной и монотонной работой, прислушиваясь к разговорам ломавших стену каменщиков и ворчанию Кузьмича, который уже третий раз начинал выговаривать Стрельникову, что соревноваться с Будановым не согласен таким макаром, чтобы сначала складывать, а затем рушить из-за дурости разных там недоучек или еще кого похуже, и что он завтра об этом куда следует подаст бумагу.

Когда стену разобрали и фундамент выломали, Маня тоже подошла вместе с другими поглядеть в широкую и глубокую яму, на дно которой уже успела насочиться вода, и каменщики вокруг говорили, что придется брать глубже метра на полтора, а то и на два; кто-то к случаю опять вспомнил нехорошие разговорчики насчет вредителей, что вообще-то все строительство на болоте идет. Маня, кое-как очистив одежду, пошла в барак со своей напарницей, веснушчатой Танюхой Ковылиной, круглой, как арбуз, мимо которой ни один

мужик не мог пройти равнодушно: или какую-нибудь шутку отмочит, или непременно попытается ущипнуть; нужно было успеть в столовую, пока там не остались одни объедки, а вечером они собирались сходить в клуб: еще вчера обещали крутить кино.

Идти до женского барака было недалеко, и Танюха всю дорогу жаловалась Мане, как ей трудно жить и терпеть приставания мужиков; Маня шла и думала о своем. Она привыкла и к новой работе, и к новым людям; они все больше казались ей добрее и приветливее деревенских, она тайком всерьез начинала подумывать о курсах токарей при заводе; как ее товарки по бригаде говорят, никакой особой трудности там нет. Мысли Мани шли и дальше — придет время, может, и жилье дадут, Илюшу к себе забрать, чтобы на глазах рос, хоть и родные дед с бабкой, все не родная мать. Не успеешь оглянуться, парнишке в школу пора; одним словом, потаенный план своей дальнейшей жизни был у Мани готов, и где-то в глубине души она была уверена, что этот ее план непременно сбудется, как раньше сбылось ее горькое решение уйти из Густищ, подальше от Захара.

Длинный дощатый барак, разделенный фанерными перегородками на общежития по тридцать человек, гудел, как потревоженный улей, приходили с работы, шли умываться, шептались с соседками, обсуждая новости; иногда в этом бабьем царстве раздавался мужской голос — кто-нибудь приходил звать девок в клуб на танцы или в кино. По сразу установившемуся, неписаному закону ни один мужчина не имел права ступить в женский барак ногой; если какой-нибудь смельчак пренебрегал этим правилом и, подмигнув посмеивавшимся товарищам, натянув фуражку поглубже, нырял в дверь, больше минуты он не задерживался и выскакивал оттуда красный, встрепанный; вслед ему тотчас вылетала фуражка или другая часть одежды, конфискованная женскими руками; даже если дело принимало серьезный оборот и доходило до свадьбы, мужчине все равно не разрешалось входить в общежитие; он лишь мог вызвать свою Настю или Машу с порога. Такое правило завела с самого начала комендантша женских бараков Матрена Тимофеевна, комиссарша в гражданскую войну, и неукоснительно его поддерживала.

Маня боялась Матрены Тимофеевны пуще огня, когда она, в гимнастерке под тугим ремнем, в сапогах, с худым обветренным лицом, появлялась в бараке и ме-

тодично обходила комнату за комнатой, наводя порядок. Впрочем, если другие были недовольны строгостью комендантши, Мане это было безразлично; после работы она, кроме столовой, почти никуда не ходила, хотя ее не раз и не два звали в клуб; давно она уже приметила на себе оценивающие взгляды молодого белесого каменщика, ласкового, видать, характером Федота Трегубова; знала от той же пронырливой Танюхи, что он выведывал о ней стороной. Танюха уже не раз на работе подталкивала локтем Маню, шептала, что Трегубов опять на нее пялится, и удивлялась бесчувственности подруги.

— Да ты ай каменная, мать? — простодушно спрашивала она.— Такого ладного мужчину уж я бы не упустила...

Маня отмалчивалась, Федота Трегубова старалась обходить далеко стороной. Сегодня же, после Брюханова, в ней что-то переменилось; как всегда, она умылась, переоделась и, поглядывая, как девки собираются в клуб, вертятся по очереди перед небольшим настенным зеркалом, все упорнее думала, что надо ей записаться на курсы; в Густищи назад ей дорога заказана, а здесь вон как все обстраивается; говорят, придет время, целый город вырастет.

Танюха, словно угадав ее настроение, из столовой, где они поели разваренной в кисель пшенной каши с горчившим маслом, потянула ее в клуб; Маня для виду поупиралась; Танюха тотчас наговорила ей с десять коробов, и вскоре они уже пробирались сквозь плотную толпу куривших у входа мужиков; с ними заговаривали, шутили, и Танюха привычно отбивалась, Маня шла молча, опустив глаза, но уже у самой двери ее кто-то сильно, по-свойски прихватил за руку; она сердито отдернула рукав, оглянулась и тут же радостно заулыбалась: перед ней стоял подпоясанный по короткому нагольному полушубку толстой веревкой Фома Куделин.

— Фома Алексеевич! — удивилась Маня.— Да ты как здесь?

— Здорово, землячка, то-то мне верно подсказали, где тебя укараулить,— Фома с достоинством потряс ее руку.— Мы ить нынче в обед из колхозу в двадцать подвод сюда на месяц, по договору, слышь, Лукерья тебе харчей прислала, да я никак не мог сыскать тебя в этом крошеве. Счас неколи, ставят нас седне в ночь на работу, а завтра ты меня ищи в западных бараках,

в крайнем к конюшням, там наши остановились. Мужики-то тебе все знакомые, правда, Захара нет — строиться затеял,— добавил Фома простодушно, заметив враз закаменевшее лицо Мани.— Ну, я побег, будь здорова. Слышь, за ночную работу-то самому передовому начальство патехвоном грозилось, так я непременно этот патехвон Нюрке хочу приволочь. Вот чуда будет! Вот тебе, скажут, и Фома!

Последние слова он уже договаривал на ходу, весело скаля зубы, а Маня с Танюхой, которая во время разговора нетерпеливо дергала Маню за рукав, протиснулись в клуб. На одной из скамеек знакомые девушки сдвинулись, и они тоже пристроились; Маня тотчас почувствовала на себе упорный, знакомый уже взгляд и, не видя, поняла, что Трегубов здесь, сидит недалеко сбоку и смотрит на нее. Танюха сообщила, что сначала будет лекция, а потом кино. Но лекция почему-то задерживалась, и объявили танцы. Тотчас все зашумели, повставали с мест и начали составлять скамьи к стенам; со всех сторон толкались, Трегубов, вытягивая шею в толпе, придвигался к Мане все ближе и ближе; Маня вначале пожалела о своем решении идти в клуб, но встреча с Брюхановым, а теперь вот и с Фомой Куделиным взбудоражила ее; да что ей теперь Захар, думала она, со злостью видя, как Трегубов все ближе и ближе подвигался к ней в толпе. Правы девки, та же Танюха, для кого я себя берегу? Эка дура, вот уже двадцать четвертый застучал, а бабьего веку, как известно, сорок лет. Что ж ей теперь ждать, жизнь одна, пролетит — и не увидишь; Захар давно ее забыл, вишь, строится, у них, у мужиков, за этим не станет. Эка дура, корила она себя нещадно, да что на нем, белый свет сошелся? Вон какие кругом, только моргни. И чем дальше думала Маня, тем смелее и просторнее становились ее мысли и тем горше делалось на душе. Гармошка заиграла камаринскую, какая-то пара вышла плясать, и знакомая девка с батистовым платочком в руках (эк трепыхается огоньком, подумала Маня, невольно отмечая женским своим видением, что эта пара давно уже ведет любовную игру и что они пока души не чают друг в друге); имя этой девки Маня никак не могла вспомнить, хотя видела ее не раз и даже разговаривала с нею. Трегубов уже стоял рядом, и Маня, чувствуя его за спиной, продолжала следить за плясавшей девкой, но тут же, рассердившись на себя за свой невольный страх,

резко повернула голову и, смело взглянув на Трегубова, увидев его неожиданное смущение, насмешливо, с вызовом засмеялась.

Танюха, все видевшая и примечавшая, одобрительно подтолкнула ее в бок локтем и независимо отвернулась.

— Чего это ты за мной ходишь? — спросила Маня у Трегубова с холодной непримиримостью, но мужским инстинктом он тотчас уловил поощрение, ту извечную игру женщины перед небезразличным ей мужчиной и, не подавая виду, что понял это, внутренне осмелел.

— Чего уж ты такая строгая? — спросил он, еще придвинувшись и став наконец рядом и вместе с нею глядя на плясавшую девку, которая нравилась Мане и почему-то тревожила своей статью и дерзостью.— Я тебе плохого не хочу.

Словно не слыша, все с тем же выражением лица Маня продолжала глядеть, но вместо плясавших видела теперь чуть подрагивающую, тусклую лампочку под потолком. Вот поскачет, задрав хвост, как про Илюшку узнает, думала она, все вы сначала соловьем; она хотела ему сказать, что у нее сын и пусть ищет себе другую, но не могла осилить этих трудных сейчас для себя слов.

— Ничего тебе не отломится,— сказала она ему с неожиданной грубостью.— Не ходи за мной, зря ноги обтреплешь.

— Ну, это не твоя забота, Маня! — Трегубов говорил с мягкой улыбкой, сделавшей его лицо определеннее и тверже.— Уж мне самому знать, за кем ходить, а за кем нет.

— Надоест, сам бросишь...

— Поглядим,— пообещал он ей уже без улыбки и таким голосом, что у нее сладко сжалось сердце; эк поднесло его, рассердилась она на себя и обрадовалась, услышав чей-то громкий голос, сказавший прекратить танцы и расставить скамейки на место; Трегубов отодвинулся вместе с толпой, и она увидела его круглый стриженый затылок ряда через три от себя, когда на невысокой сцене появился начальник строительства Чубарев и выжидательно смотрел в пространство перед собой, расстегнув куртку; в зале постепенно устанавливалась тишина.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал Чубарев.—Сегодня по плану мое сообщение о ходе пятилетки в нашей стране, но обстоятельства, от меня, также и от вас мало зависящие, заставили меня опоздать. Сегодня

у нас день особый, сегодня комсомол нашей стройки решил отработать в ночь вторую смену, и я не буду задерживать ни вас, ни себя. Коротко остановлюсь на следующем. В последние два дня среди рабочих поползли слухи о вредителях, якобы просочившихся на строительство. Случай с просевшей кладкой на механическом тоже приписывается делу рук вредителей, якобы и все строительство ведется на гнилом месте и со временем завод просядет в болото. Вы сами понимаете, что эти слухи и есть как раз дело рук недоброжелателей советской власти и трудового народа. Изыскатели и проектировщики могли ошибиться в какой-то частности, но в целом место для завода выбрано отличное, и я заявляю, что со своей стороны буду решительно пресекать всяческие провокационные кулацкие выдумки. Строительство наше — государственной важности, нам нельзя дальше зависеть от прихотей капиталистов, и мы должны все необходимое для жизни и развития страны научиться делать у себя сами — это и дешевле, в конце концов, и разумнее. Если знаешь, ради чего трудишься, работа идет легче, и вы не позволите скрытому врагу лишить вас хотя бы частицы уверенности и силы, которая прежде всего необходима вся до капли строительству, а следовательно — народу, нам с вами, товарищи.

Чубарев говорил негромко, но в установившейся тишине его хорошо слышали в самых дальних углах; Маня тоже во все глаза глядела на него; она раньше видела Чубарева только издали и теперь впервые слышала его так близко от себя, в пяти шагах; ей даже показалось, что Чубарев просто пришел поговорить с рабочими, в том числе и с нею; она сдвинула платок с головы на плечи, чтобы ничего не упустить.

— Не нравится-то начальству,— уловила она приглушенный шепот у себя за спиной.— Белая кость, все одно своих не выдаст. Вот сколько труда пропало, пойди пойми, кто виноват, раз начальство глаз у народа вбок отводит.

— Все мы знаем наши трудности и недостатки, и всех нас можно разделить на две категории: одни, их немного, но они есть, злорадствуют, а другие, большинство, честно и самоотверженно отдают все свои силы преодолению этих трудностей. Разница очевидна. Мы не против борьбы мнений, но драка драке рознь. Если львы дерутся, так они дерутся со львиным рыканьем,

а если кошки — совсем другое, в темноте, с отвратительным визгом,— говорил Чубарев, стоя все в том же положении у самого края сколоченной на скорую руку из неструганых досок сцены.

Мане казалось, что этот высокий большелобый человек, о котором чего только она не наслышалась на стройке, но которого несомненно боялись и уважали, как будто все время с кем-то борется и что этот его неприятель сидит тут же в зале; Маню подмывало оглянуться. И хотя она не понимала этой скрытой борьбы, она была на стороне Чубарева; она была его защитницей от сердца, которое почему-то говорило, что этот человек перед народом хороший, не злой, раз он так стремится добиться от людей ответной волны, она ему нужна, такая волна. Вот, наверно, у него баба-то счастливая, подумала почему-то Маня.

Она сразу же ушла, как только Чубарев кончил отвечать на вопросы и еще раз призвал всех желающих принять участие в комсомольском почине, предупредив, что каменщики, бетонщики, плотники, электросварщики от участия в ночной работе категорически освобождаются. Маня ложилась спать рано, по-крестьянски, но в этот раз она долго стояла за навалом бревен недалеко от клуба, вслушивалась в ночные разноголосые шумы стройки и долго глядела на полыхающее море костров; она видела, что Трегубов, искавший ее глазами, пошел записываться в ночную смену.

В ту ночь ей приснился Захар. Шел, как наяву, посредине Густищ, с разбитым лицом, тяжело и медленно передвигая ослабевшие ноги, и каждый его шаг слепой болью отдавался у нее в сердце, и чем ближе подходил Захар, тем нестерпимее становилась боль; Маня заметалась головой по подушке, глухо застонала и проснулась.

— О господи,— сказала она, опять закрывая глаза.— Всю душу измотал, откуда ты на мою голову навязался, окаянный...

Вздрогнув, Маня теперь уже совсем проснулась; вчерашнее опять прихлынуло к ней, и, словно жалея о своем освобождении, она затаилась и замерла; так не могут долго свыкнуться и примириться с дорогой и горькой утратой и в какой-то тайной надежде, уже зная, что возвращения не будет, все ждут и медлят ускорить развязку.

Брюханов оказался втянутым в дела стройки совсем не так, как он представлял себе вначале; он долго разговаривал с парторгом стройки, худощавым, несмотря на возраст (ему было пятьдесят восемь), подвижным Вахромейко; Брюханов едва поспевал следом, все новые и новые лица мелькали перед ним; одних Вахромейко с тайным удовольствием и гордостью представлял Брюханову, с другими наскоро перекидывался двумя-тремя словами и шел дальше. Приглядываясь к нему, Брюханов видел, что Вахромейко ведет свою сегодняшнюю работу в прямой связи с предстоящим в ночь комсомольским штурмом; уже перед самым вечером в парткоме собралось человек тридцать партийцев и комсомольцев, тут же решено было выпустить боевые листки, широко оповещать о результатах соревнования бригад, отдельных шоферов, возчиков, землекопов. Кто-то предложил, чтобы всю ночь гармошка играла революционные и трудовые песни, но Вахромейко, подумав, не согласился.

— Ну что, что это! — сказал он живо.— Для гармошки другое время выберем, да и где набраться музыкантов? Итак, ребята, надо в первую очередь оповестить народ о премиях; бригаде-победительнице вручается почетный красный вымпел, лучшему возчику из колхозов — патефон с набором русских народных песен, победителю-возчику из единоличников — десять метров сатина; землекопу — именные часы от начальника строительства. Обязательно выделить людей, регулирующих движение на дорогах, чтобы не было заторов и машины с подводами не мешали друг другу. В столовых установить проверочные посты, чтобы дополнительное питание получили все участники; Стукалов, без всяких там махинаций, проследи! Полюшкин,— тут же обратился Вахромейко к курносому невысокому пареньку,— не забудь про точила, чтобы землекоп в любой момент мог лопату подправить. Лопата сегодня в ночь — главное оружие, экскаваторы вряд ли машины успеют обеспечить.

— Хорошо, Василь Сидорыч,— отозвался паренек.— Точила из мастерской уже прямо на место работ вывезли.

— Добре,— подхватил Вахромейко, и по его взгляду, вскользь брошенному в сторону паренька, Брюханов определил, что Вахромейко любит этого курносого, с задорно торчащим рыжим чубом Полюшкина особо, верит

ему и опекает. После торопливого ужина с Вахромейко, Чубаревым, с десятком инженеров и прорабов, выделенных для руководства ночными работами, Брюханов вообще потерял ощущение времени. Переодевшись в рабочее, он в числе других шагал спустя полчаса в брезентовой куртке и тяжелых, просторноватых сапогах рядом с Вахромейко по основательно прихваченной морозцем земле к сборочному.

Вдали двумя озерами полыхали костры, вокруг которых смутно угадывались мелькавшие тени людей; тусклые фонари на длинных рядах столбов были не в силах перебороть темноту подступившей ночи, но все же они давали достаточно света, чтобы различать, а вернее, угадывать неустанное движение на развороченной вокруг местности. От бараков, облепивших строительство с двух сторон, от палаточного городка шли и шли к котловану и плотине комсомольские бригады, многие шли с песнями и наскоро написанными на красных полотнищах плакатами — «Даешь сборочный!»; где-то недалеко ржали лошади, скрипели колеса телег, гудели машины, приглушенным, низким гулом давала о себе знать электростанция. Полузабытое, горчащее полынным ветром, стремительной лавиной накатывающее ощущение атаки охватило Брюханова; вот так же, как здесь сейчас, в сотнях мест страны, в глухой тайге и по берегам диких рек, в пустыне и у Полярного круга на вечной мерзлоте, шло наступление, росли города и поднимались заводы, и поднимают их вот такие неостановимые человеческие потоки.

От костров небо взялось еще большей темью, придвинулось к земле; слабое искрение звезд в разрывах туч едва угадывалось; ветер дул с северо-востока, холодный и резкий.

Мимо Вахромейко с Брюхановым прошел отряд человек в тридцать, с лопатами и ломами на плечах и с красным, гулко хлопающим от ветра транспарантом; кто-то громко, с хохотом, крикнул, очевидно подшучивая над товарищем, что уж в эту ночь Нюрку обязательно уведут. Брюханов улыбнулся, стараясь не потерять из виду Вахромейко. Парторг ни секунды не стоял на одном месте, и Брюханов удивлялся, как в постоянном передвижении по территории строительства Вахромейко ухитрялись находить все новые и новые люди. Вахромейко то и дело теребили, о чем-то спрашивали, что-то докладывали, чего-то добивались, и уже спустя пол-

часа после хриплого, несильного гудка, донесшегося с электростанции, и частых, гулких ударов в рельс на котловане и плотине работа кипела. Брюханов чувствовал, что стесняет Вахромейко, который нет-нет да и вспоминал о нем, спохватываясь и начиная что-то объяснять и показывать, отвлекаясь от своих многочисленных дел и обязанностей; Брюханов начинал жалеть, что увязался с ним. У четко обозначенного кострами будущего котлована под сборочный цех Вахромейко с Брюхановым остановились. Работа уже шла вовсю, землю здесь вывозили на подводах; они въезжали двумя непрерывными потоками, ловко расползались с одной стороны по котловану, разделенному между бригадами землекопов, и, загрузившись, выезжали с другой; шум стоял неимоверный, возчики кричали на лошадей, лошади ржали, но все пространство будущего котлована уже было изъедено ямами; люди с ломами и лопатами уже разделись до рубах, и Брюханов вначале видел одни спины и лохматые затылки.

— Через три дня мы должны заложить фундамент сборочного,— сказал Вахромейко, ища кого-то глазами.— Хорошо начали, здесь у нас двенадцать бригад профессиональных землекопов. Пошли, Тихон Иванович, надо сказать, чтобы бочки с водой подвезли сюда — жарко будет.

Кто-то рядом в костер подбросил толстых саженных поленьев, и в небо с шорохом взвился жаркий искристый столб; Брюханов, заслоняясь, отступил в сторону и тут же увидел перед собой высокую, сутуловатую фигуру с мускулистой грудью; темные, широко расставленные глаза мимоходом, но цепко скользнули по лицу Брюханова.

— Василь Сидорыч, слышь,— сказал человек, обращаясь к Вахромейко,— у меня одного не хватает. Люшкин намедни захворал, а мы по четверо разбились. Четверо на подводу. Прораба никак не найду... пособи, Сидорыч, хоть бы кого прислали.

— Пришлю, Терентьев, сейчас же пришлю.— Вахромейко заторопился, но Брюханов неожиданно для Вахромейко, а еще больше для самого себя шагнул к Терентьеву и спросил:

— Лопата есть?

— Лопата найдется,— бросил Терентьев, уже собираясь шагнуть в котлован, который в этом месте неизвестно когда и как уже был выбран на полметра.

— Ну так я буду за четвертого,— предложил Брюханов и, опережая Вахромейко, боясь, что тот помешает и все испортит, повернул к нему лицо, неровно озаренное отблеском костра.— Ты иди, Василий Сидорович, по своим делам,— сказал он,— я тебе только мешать буду. Иди, иди, позднее я тебя отыщу.

Не ожидая ответа, Брюханов спрыгнул в котлован и вслед за Терентьевым стал пробираться к месту работы, сдерживая нетерпение и смущаясь своей решительности; молодец Вахромейко, кажется, все понял правильно и не стал мешать.

— Как кликать-то? — на ходу спросил Терентьев, оборачиваясь.

— Тихоном крестили,— весело отозвался Брюханов, обходя вслед за Терентьевым нагруженную землей подводу; лошадь никак не могла стронуть с места, и невысокий, в полушубке, мужик дергал вожжи, чмокал, кричал, хватался за колесо руками, стараясь помочь.

— Наш! Ты что, Куделин, посуху застрял? — спросил Терентьев, заходя с другого бока и хватаясь за борт.— А ну нажми,— неожиданно резко прикрикнул он на Брюханова, и тот неловко и суетливо стал подталкивать телегу сзади; Фома Куделин в это время ожег лошадь кнутом; невысокий упитанный мерин, выгибаясь всем телом, с ходу рванул, и Брюханов едва удержался на ногах.

— Не отставай, не отставай,— опять прикрикнул на него Терентьев уже издали, и Брюханов заспешил вслед, нагнал, ловко обходя работающих людей и подводы, и тут Брюханов сразу понял, что в котловане все четко распределено и размечено; он даже почувствовал особый, размеренный ритм идущей работы; еще больше он ощутил этот ритм, когда в руках у него оказалась лопата и он вместе с другими тремя землекопами, среди которых был и Терентьев, стал раз за разом брать землю под собой и бросать ее в ящик телеги, и скоро спина у него взмокла. Он выпрямился, стащил с себя куртку, оглянулся, куда бы ее пристроить.

— Эй, Сучок, отнеси, положи к своим! — приказал Терентьев; высокий плечистый парень взял куртку у Брюханова, нырнул куда-то и тут же появился снова; Брюханов по привычке кивнул, благодаря, и опять стал беспрерывно и ритмично бросать землю в ящик телеги, стараясь не отставать от других и захватывать лопатой

полновесно, и вскоре ему пришлось снять с себя и пиджак. В котловане, уже заметно обозначившемся в виде огромного прямоугольника, стоял дружный, напряженный гул, в котором тонули и терялись отдельные, даже резкие, голоса и крики; но Брюханов начинал все больше и больше слышать только свою собственную лопату; ее лезвие с каким-то приглушенным быстрым потрескиванием входило в землю, и затем, после размашистого, свободного движения всего тела, земля с лопаты с мягким шорохом соскальзывала в ящик телеги. В этом был свой особый, затягивающий ритм, своя музыка, и, вслушиваясь в нее, Брюханов старался не упускать из поля зрения весь разворот гигантской стройки. Со скрежетом грызли промерзлый грунт два малосильных экскаватора, рычали машины, и все это, вплоть до одиночной лопаты землекопа, до экскаватора, с металлическим жирным лязгом ворочавшего пласты земли где-то неподалеку, вплетало свой голос в единое напряжение большой работы.

С самого начала Брюханов бессознательно выбрал себе в соперники Терентьева, и хотя тот, сунув Брюханову лопату, больше не обращал на него никакого внимания, Брюханову не хотелось отставать именно от этого высокого, видимо, очень сильного и спокойного человека, а то, что Терентьев совершенно не замечал стараний Брюханова, его раздражало и все больше и больше раззадоривало. Вначале он только усмехнулся этому неожиданному чувству; но время шло, руки и спина немели, в плечах при каждом движении начинала отдаваться боль, а нога то и дело бессильно соскальзывала с лопаты. Так как подводы подъезжали непрерывно, Брюханову начинало казаться, что перед ним с самого начала стоит один и тот же бездонный продолговатый ящик, который невозможно наполнить, сколько ни старайся; и время от времени возле этого чертова ящика появлялся невысокий суматошный мужик в коротком полушубке, подпоясанный толстой веревкой, хватал откуда-то лопату и начинал вместе со всеми бросать землю в ящик на колесах. Это был Фома Куделин, и так как он подъезжал чаще других возчиков, Брюханов запомнил и отмечал только его одного, тем более что только он среди возчиков, появляясь, тотчас хватался за лопату, и потому, очевидно, землекопы всякий раз встречали его дружеским приветствием, с одобрением.

— Давай, давай, Фома! — поторапливали они.—Патефон непременно твой!

— Да кто их знаить,— торопливо отвечал Фома Куделин.— Там стоить эта, с повязкой, по бумаге чиркает, а кто ее знаить, чего она чиркает. Поймешь разве, кто ей полюбу предстанет, а то возьмет и мимо-то брызнет карандашиком-то. Родные, ребятушки,— просил Фома Куделин,— поживей, поживей!

— Ничего, ничего, Фома, у нас так-то не водится, все по закону. Комсомолия, она на честность лютая, где надо, там тебе и брызнет!

Фома Куделин успокаивался ненадолго, принимаясь споро и ловко швырять землю в ящик телеги, и опять гнал своего всхрапывающего от непривычной ночной работы мерина, чтобы немного погодя снова появиться со своими сомнениями. Ему наваливали земли, и он, не успевая выговориться, хватал вожжи, не забывая, однако, на всякий случай прихватить и свою лопату.

К полночи, когда напряжение в работе, казалось, достигло наивысшего предела, Брюханов почувствовал, что спина немеет, на ладонях вздулись водянистые волдыри, черенок то и дело выскальзывал из горящих ладоней; и вот в этот-то миг он почувствовал на себе внимание Терентьева, который все так же споро, как и вначале, без видимых усилий, не сбавляя ритма, продолжал брать землю и швырять ее в ящики телег. Брюханов не видел в ползучей, неверной мгле, потревоженной частыми кострами, глаз Терентьева, но чувствовал, что у того на лице хоть и беззлобное, но насмешливое выражение и что это насмешливое выражение относится именно к нему, Брюханову. Он постарался тут же задавить всплеснувшуюся обиду; да что ж этот Терентьев, не из железа же он, дело в тебе самом, видишь, не выдержал, вот сейчас охнешь, опустишься на землю, и вчетвером тебя не разогнуть. Будешь знать, никто тебя не просил... вот тебе и диалектика.

Несмотря на холодный ветер, резво гулявший в котловане из конца в конец, лицо заливал пот, холодно скатывался по шее за ворот; напротив сумрачно в отблеске костра блеснули глаза Терентьева, и тут же послышался его голос:

— Эй, Тихон, покурим!

— Не хочу,— с плохо скрытой неприязнью отозвался Брюханов, хотя ему больше всего хотелось бросить лопату и тянуло к земле, но он, пересиливая себя,

продолжал рывками бросать землю в телегу опять подкатившего Фомы Куделина; теперь он держался только на все более и более разгоравшейся в нем веселой злости, и постепенно тело опять приобретало послушность и гибкость; он уже не помнил, сколько прошло времени, ему все виделись насмешливо взблескивающие глаза Терентьева, и он как-то безотчетно отвечал ему таким же насмешливым вызовом и твердил про себя: на тебе, выкуси, не поддамся, что хочешь делай, не поддамся; и когда резкий, частый звон ударов в рельс где-то совсем рядом возвестил об окончании работы, он вначале ничего не мог понять; с трудом распрямившись, одеревенело оперся на лопату, глядя на все сильнее раскачивающиеся тени, и понял, что это его самого шатает из стороны в сторону; он тряхнул головой, лицо Терентьева тотчас вынырнуло откуда-то из темноты.

— Ну, брат, силен! — услышал он глухо, словно сквозь забившую уши вату.— Ну, молодец! Вот не думал! Да ты сам откуда?

— Из Зежска,— сказал он в тон Терентьеву, неожиданно остро радуясь похвале и раздвигая одеревеневшие губы в непослушной улыбке.

— Пошли на митинг, давай лопату. Там, возле конторы, премии счас будут вручать... Пошли, бери твою куртку-то, в момент ознобом охватит.

— Идите, идите, я сейчас,— сказал Брюханов, с трудом накидывая на плечи куртку, и в потоке людей, льющихся из котлована, пошатываясь и спотыкаясь, с трудом одолел подъем. Один бы он не нашел конторы, но все тот же поток людей, усталых, с потными и разгоряченными лицами, привел его; он стоял в общей массе и вскоре увидел за множеством голов на каком-то помосте, освещенном двумя фонарями, Чубарева, Вахромейко, еще человек трех; кто-то из них поднял руку, требуя тишины, затем прокричал в рупор, объявляя начало митинга.

Поблагодарив всех участников ночной работы, Вахромейко тут же стал называть бригады-победительницы, лучших землекопов и возчиков. Сквозь сдержанный гул, встречавший каждую новую фамилию, Брюханов уловил имя Фомы Алексеевича Куделина, приподнялся на носки, чтобы слышать лучше, но не услышал, а увидел Фому Куделина на помосте рядом с Чубаревым; Фома прижимал к груди какой-то ящик и растерянно кланялся во все стороны, а вокруг него кричали «ура»,

хлопали и смеялись. «Да это же у него патефон!» — обрадовался Брюханов и тотчас стал выбираться из толпы, до встречи с Чубаревым и Вахромейко нужно было успеть переодеться, привести себя в порядок; кажется, он обещал Чубареву быть завтра на утренней планерке, но теперь это отпадает, в первую очередь необходимо хотя бы выспаться.

Он беспрепятственно прошел в кабинет Чубарева, переоделся, по правде говоря, ему сейчас не хотелось ни с кем видеться и разговаривать, но он, дождавшись Чубарева и Вахромейко, поговорил с ними наскоро, перекинулся шуткой, поздравил с удачной работой.

— Между прочим, ваша машина здесь, Тихон Иванович.— Вахромейко разговаривал теперь с ним и глядел иначе; Брюханов от этого сделался сердит на него и на себя.— Я вам сейчас покажу, где шофер спит, я подходил.

— Спасибо, найду, Василий Сидорович. Не прощаюсь, к вечеру буду у вас опять.

— Рад, если понравилось, милости просим,— пробасил Чубарев, широко и гостеприимно разводя руки, точно собираясь всех немедленно заключить в объятия; Брюханов кивнул ему, Вахромейко и вышел, вдохнул резкий, морозный ветерок. Ночь кончалась, и в темном небе проступала серая бледность; тут же, у конторы, несколько человек горячо спорили, и один высокий и резкий голос выделялся среди других и все напирал, что часы Терентьеву не по закону достались, а потому, что он у начальства в особой милости, и что решено в бригаде Терентьева носить эти часы всем по очереди. Брюханов послушал, усмехнулся, хотел закурить, но припухшие пальцы не слушались; он не смог выловить папиросу из коробки и пошел искать свою машину.

В эту ночь Чубарев тоже не ложился, а когда наконец выпроводил всех из кабинета и взглянул на часы, только пожал плечами. Было семь, через час начиналась планерка. Он сходил за перегородку, вымылся до пояса холодной водой, пофыркал, пошлепал себя руками, разминаясь, и вернулся к столу. Можно было просто посидеть на диване, покурить и немного отдохнуть; скоро должна появиться степенная и исполнительная Варвара Андреевна, она, как всегда, сварит кофе.

С полчаса Чубарев сидел, откинувшись на жесткую спинку дивана, в полудреме свесив с подлокотника руку с погасшей папироской; какие-то неясные, путаные мысли бродили в нем; он на секунду вспомнил Брюханова, разговор с ним. «Интересный человек,— подумал он,— нужно будет сойтись с ним как-нибудь поближе». Вспомнились жена, дети; захотелось их увидеть, очутиться у себя на Скарятинском, в московской просторной, со вкусом обставленной квартире. Черт возьми, сейчас даже не верилось, что он всегда так рвался из Москвы, впрочем, так оно и было — без привычного ярма через неделю-другую он начинал тосковать, киснуть, жаловаться на сердце, а спустя еще неделю уже утешал где-нибудь на вокзале жену, обещая ей, что это уже в самый наипоследний раз, просил ее потерпеть годик; она любяще и прощающе глядела на него и слабо отшучивалась.

— Через месяц жду, Верочка! — кричал он, уже стоя на подножке; она шла в толпе, махая ему вслед, потом она приезжала, жила у него с полмесяца, но у нее была другая натура, и как он не мог без вольных просторов, жестких ритмов строек, бессонных ночей, так она не могла без Москвы, без своего женотдела, без своего устоявшегося круга друзей и привычек, да и детей нельзя было надолго оставлять с его матерью,- та часто болела; но всякий раз именно он должен был настаивать на ее возвращении. Так уж повелось. Чубарев мягко улыбался; жена сопротивлялась его доводам все слабее, наконец соглашалась и уезжала с искренними слезами благодарности на глазах, обещая скоро вернуться уже насовсем.

— Что нас только держит друг около друга? — удивлялся Чубарев в минуты откровенности.— Непостижимо, из двадцати лет нашей супружеской жизни вряд ли насчитаешь года два-три, когда мы действительно были рядом, вместе.

— Ты удивительный человек, Олежек,— говорила она.— Если тебя попросят взвалить на себя земной шар, ты ведь не откажешься. В самое неподходящее время появиться в наркомате, выложить перед наркомом сумку с этой дрянью, цементом, и наговорить бог знает что... Я бы от страха умерла. Ты, Олежек, подавляешь людей, это я по себе чувствую, если я долго с тобой, у меня тотчас начинается кризис, перестаю верить и в себя и в свое дело. Не обижаешься? — спрашивала она, лас-

каясь.— Ты где сейчас, на разгрузке или в своих котлованах?

— С тобой, с тобой,— смеялся Чубарев.— Но ты, как всегда, угадала, мне пора, опять неурядицы, цемент поступает препаршивый, зола, с таким цементом при наших темпах далеко не ускачешь. Больной вопрос, его и наркому не так просто решить.

Забывшись в легкой, приятной полудремоте, он сразу же встал, как только в приемной, в «предбаннике», как называли ее, хлопнула дверь и послышались осторожные шаги Варвары Андреевны; он выглянул, поздоровался, попросил сварить кофе (отказаться от этой своей застарелой привычки он так и не смог), с наслаждением, торопливыми глотками выпил большую чашку душистой, горячей жидкости без сахара и через несколько минут уже сидел за своим широким столом, отмечая про себя запоздавших.

Ведомости он пробежал заранее, требовательно оглядел собравшихся: прорабы, инженеры, снабженцы — около тридцати человек, мозг стройки, призванный работать в тесной, четкой согласованности.

— Итак, товарищи, положение на сегодняший день вам ясно,— сказал он, выслушав короткие, лаконичные сообщения начальников стройучастков, иногда переспрашивая и уточняя и тут же что-то помечая в разложенных перед ним сводках.— С котлована третьего все, подчеркиваю — все, перебрасываются на четвертый и отсыпку плотины. Приказ подписан. Второе: первый и третий гужевые отряды с этого дня переводятся исключительно на вывозку леса, я беру это под свой контроль. По бригадам и участкам в двухдневный срок составить списки ударников, к Октябрьской годовщине будем широко отмечать и награждать достойных. Ни один честно работающий человек не должен быть забыт. Сегодня в шесть совместное заседание партстройкома и профстройкома. Начальников стройучастков прошу быть обязательно. На сегодня у меня все, товарищи, а вас, Галиев, я еще раз очень прошу обратить внимание на консистенцию цемента. Займитесь этим лично, вы несете ответственность за доброкачественность цемента, от всего остального я вас освобождаю. Дайте в фундаменты усиленную крепость, черт с ним, с перерасходом, и пожалуйста, никаких «но».

Оставшись один, Чубарев еще раз, уже внимательно, просмотрел сводки о поступлении и разгрузке материа-

лов за вчерашние сутки, сразу прикидывая, что на какой объект необходимо направить, нервное возбуждение после бессонной ночи давало себя знать. Он вызвал диспетчера, отдал необходимые распоряжения по распределению стройматериалов; не глядя в ведомости, почти машинально называя участки и количество тонн и кубометров. Усталость мешала войти в привычный ритм начинавшегося дня.

Когда диспетчер ушел, он приказал Варваре Андреевне никого к себе не пускать, нужно было сосредоточиться, отъединиться от предстоящих дел и забот. Он еще раз проанализировал разговор с Брюхановым, весь до последнего слова, и тут же рассердился на себя; в первый раз, что ли, на него пишут заявления? Экая ерунда, что это она вдруг ему в голову запала? Имея дело с таким горячим и взрывным материалом, как человеческие характеры, без столкновения мнений, сложностей и борьбы обойтись невозможно, а что касается его жизни, так она вся на виду — заводы, стройки, оборонные объекты; в ней просто физически недостало бы времени на всякую словесную галиматью и казуистику, он по самой натуре своей прирожденный практик, рационалист, если хотите, и всегда считал и считает, что победу одержит не словесная демагогия, а воплощение идей в материальных категориях, в тех же заводах и станках. Возможно, именно в этом перехлест его «я»; жизнь, разумеется, агрессивна, и ее формы прорастают одна в другую самым неожиданным образом. Любое горизонтальное пространство можно раздробить и заключить в определенный объем, весь вопрос в целесообразности сей операции, сказал бы его любимый учитель профессор Штоколов по этому поводу. И еще бы добавил, что природа определила человека для широких пространств и тем самым внесла неразрешимое противоречие между пространством и человеком, с заложенной в нем тягой сосредоточиться в самом себе; старик любил витиеватость выражений, запустит ежа под череп, сидишь потом, вот такой словесный ребус решаешь.

«Почему это сегодня никто не приходит? — подумал Чубарев, усилием воли останавливая сумбурный поток мысли и чувствуя себя словно под непроницаемым глухим колпаком.— Почему бы это? Ах, да, я сам велел никого не пускать...» Чубарев широко распахнул дверь к секретарше.

— Ну что, Варвара Андреевна? — весело спросил он в ответ на ее вопросительный взгляд.— Никого пока? Весьма кстати. Потребуется, ищите на четвертом, через час буду на плотине. Вы что-то бледны сегодня, уж не муж ли ко мне ревнует? Скажите ему, у Чубарева времени мало, а то бы обязательно отбил.

Пожилая круглолицая секретарша, с ямочками, в обычной своей жестко накрахмаленной белоснежной пикейной блузке, отшутилась тем, что ее мужа давно бы пора ревностью взбодрить; Чубарев, на ходу натягивая меховую куртку, засмеялся.

День был спокойный, небо в редких, низких облаках; Чубарева сразу заметили, и к четвертому объекту он шел уже в окружении нескольких человек, выслушивая то одного, то другого; на полпути его перехватил запыхавшийся кадровик с телеграммой из наркомата о скором прибытии на стройку трехсот пятидесяти комсомольцев из Ленинграда и Киева.

— Ну так что? — спросил Чубарев, недовольный задержкой.— Прибудут, встретим, оркестр на станцию, делегацию.

— Жилья-то, жилья, Олег Максимович...

— Я уже дал задание Верещапину выхлопотать зимние палатки. Это дело решенное, наркомат обещал помочь. Так, Верещапин? — повернулся он к снабженцу, и тот с готовностью выдвинулся вперед, тускло сверкнул передними золотыми зубами, подтверждая слова Чубарева.

— Сделал, Олег Максимович, пришлось, правда, лиха хватить. В наркомате бессменно неделю сидел, надоел всем, как бельмо, но для меня ваш приказ — закон...

— Хорошо, хорошо,— отмахнулся Чубарев.— К чему это улыбчивое многословие?

— Зима на носу, в палатках не продержишься, Олег Максимович,— опять беспокойно вмешался кадровик.

— До сильных морозов успеем бараки поставить, главное — лес завезти. Пусть едут. Комсомол морозом не испугаешь. Их же на строительство бараков и откомандируем.

Привычный поток захватил Чубарева и понес; в воздухе пропархивал редкий колючий снежок, но в общем-то день обещал быть таким же, как десятки других, вчера, неделю или месяц назад; он, как кирпич, плотно уляжется на свое место, и его уже нельзя будет вынуть оттуда никакой силой.

Брюханов, несмотря на усталость, решил все-таки возвратиться в Зежск и пройтись немного пешком, он отпустил Веселейчикова, который действительно пригнал машину и всю ночь мирно проспал в ней. Брюханову хотелось остаться одному, он был перенасыщен впечатлениями, ему требовалась разрядка.

На расстоянии его еще больше поразил вид стройки, разбросанные костры, начинавшие тускнеть от приближения утра, и раскачивающиеся под ветром редкие фонари; неровное освещение вырывало из тьмы штабеля леса и груды кирпича, фигурки людей, продолжавших в громадных зевах котлованов возводить опоры, набивающих бетоном опалубку фундаментов; повсюду ползали, прорезая светом фар ветреное небо, машины с грузом, и в воздухе стоял непрерывный, дрожащий гул. Брюханов поднялся на насыпь в стороне от глубоко продавленной, застывшей теперь в камень колеи дороги и с наслаждением вдыхал морозный воздух.

Небо полностью очистилось, и облаков не было, звезды бледнели, резкий ветер доносил дымную гарь костров. И Брюханов сейчас почти с тупой болью в сердце чувствовал этот неохватный простор, не подвластный никому и ничему, неостановимое движение времени, и эти слабые костры человека, его непрерывные попытки пробиться к небу, к пронзительным в резком ветре звездам,— за все это нужно было, стоило бороться, прав Чубарев. Сегодня к Брюханову пришло чувство конкретности, вещности сделанного, которого так недоставало в его многочисленных служебных заботах и обязанностях. Может быть, именно поэтому он так тосковал по кислому запаху металла в мартене. «Все дело в движении, прав Чубарев, главное — успеть сделать свое»,— подумал он с чувством приобретения, необходимости и важности своего «я».

Внезапно он вспомнил о Клавдии и застыл ошеломленный. А что, если она в самом деле приехала? Ну да, приехала и ждет, подумал он не без страха и заторопился. Он не заметил, как добрался до окраинных улочек, даже здесь чувствовались перемены; несмотря на ранний час, встречалось много людей; видимо, шли в утреннюю смену, да, с транспортом плоховато; Брюханов ускорил шаги, дежурная была на этот раз незнакома ему, но ее предупредили, она тотчас поднялась навстречу.

— Товарищ Брюханов? — спросила она с мягким оканьем.— Здравствуйте, к вам тут вчера два раза Геннадий Михайлович из райкома присылал.

— Спасибо. Больше меня никто не спрашивал?

— Нет, весь день тут, никого не было.

— Хорошо,— сказал он с облегчением.— Я сегодня ночь не спал, вы часа три, пожалуйста, не будите, не пускайте никого.

— Ладно, товарищ Брюханов,— сказала дежурная, протягивая ему ключ; он сразу же пошел к себе; на него навалилась свинцовая усталость, сбросив пиджак и сапоги, он с наслаждением вытянулся на кровати и тут же уснул.

Он открыл глаза ближе к обеду, словно от толчка, и долго лежал, прислушиваясь к громким голосам в коридоре. Все тело, охваченное приятной ломотой, отяжелело, руки и ноги были словно чугунные, о Клавдии он думал сейчас как о чем-то второстепенном, это была ненужная вспышка с его стороны, бесполезное проявление эмоций. Потом, права мать, нужно думать о серьезном, не заметишь, как состаришься, полетят белые мухи, и конец, нельзя всю жизнь одному, отвезут на кладбище с оркестром и речами и забудут, и не было в мире никакого Брюханова. Если бы не умерла Наташа, у него уже был бы сейчас почти взрослый сын... Ты сам убивал и видел на войне, как умирали, и хорошо знаешь, что со смертью кончается все. Нет, он не хочет, чтобы с ним кончилось все и все его мысли и дела так и остались незавершенными. У него обязательно будет сын, крепкий, лобастый мальчонка, в тридцать три жизнь далеко не кончена. Тот, кто хочет, на своем поставит, и ты можешь еще сейчас перебороть Петрова и вернуться на завод к домне, снова ощутить запах кипящего металла. Если года три-четыре назад это твое желание действительно упиралось в глухую непроницаемую стену, то сейчас все зависит только от тебя самого, ты сам идешь только до определенной точки, до определенной черты, а все потому, что уже привык к своему положению и где-то в самой потаенной глубине не хочешь, вернее, побаиваешься перемен. И потом, тебя уже затянула твоя работа, многоликость человеческих отношений.

Каждый отдельный случай — это судьба, например, Чубарев, попробуй разберись в нем: Петров ему определенного ничего не поручал, не приказывал, и сам он,

Брюханов, говорил с Чубаревым, может быть, чересчур откровенно, но никогда об этом не пожалеет. И вчерашний день, затраченный, казалось бы, на частности, многому его научил. Он ближе узнал Чубарева и убежден, что такой человек вправе сам решать свою жизнь, вот что он скажет Петрову. Он, конечно, пробудет здесь, сколько нужно будет, всю стройку по кирпичику разложит и все, что требуется от него, сделает; так уж с ним бывало; главное на этот момент и в этом деле для него определилось, и он ничего вразрез совести предпринимать не станет. Нельзя же, в конце концов, отречься от своей сути, от того, что, собственно, и составляет опору и смысл жизни, без чего вообще теряется личность. Он вспомнил Терентьева и Фому с патефоном, и опять чувство приобретения, вещности сделанного зазвучало в нем; пересиливая тяжесть и ломоту во всем теле, он вскочил, попытался сделать несколько гимнастических упражнений, болезненно охнул и, взглянув на свои ладони в кровавых волдырях, успевших побагроветь, все-таки несколько раз присел, разогнулся и стал одеваться.

Он побрился, умылся, мысленно прикинул, что ему на сегодня нужно успеть сделать, и пошел в райком. Несколько дней в Зежске, захваченный жестким ритмом строительства, он не замечал времени; побывал на всех главных объектах стройки, в столовых и бараках, на планерках и земляных работах, на заседаниях профстройкома и у комсомольцев, дважды выступал перед рабочими с сообщением о международном положении, попутно объясняя оборонное и государственное значение стройки. В дощатом холодном сарае, временно заменявшем клуб, тепло от двух непрерывно гудевших «буржуек» мгновенно улетучивалось сквозь стены и крышу, и под потолком, застилая и без того тусклый свет, колыхалось облако пара. Брюханов, вглядываясь в молодые, пожилые, совсем юные, доверчиво распахнутые и замкнутые лица, как никогда, ощущал себя вместе со всеми в стремительном, неоглядном броске страны вперед, и эта стройка, и десятки других, подобных ей, были материальным выражением глубинных процессов, идущих в самом народе. Ленин назвал это освобожденной энергией масс, что тысячу раз справедливо. Без необходимости коренных сдвигов, обусловленных состоянием всего народа, невозможно было бы повернуть исконно земледельческую страну на рельсы индустриализации.

Об этом Брюханов говорил на митинге рабочим, этими же примерно мыслями поделился с Чубаревым накануне своего отъезда в Холмск; Чубарев задумался, с любопытством обежал Брюханова взглядом.

— Ну, тут я с вами не совсем согласен. Разумеется, важнейшие процессы диктуются объективными, непреложными причинами, но далеко не всегда такой громадной, находящейся в постоянном движении субстанцией, как народ. Не знаю, прав ли я, но народ всегда казался мне неуправляемой стихией, Тихон Иванович. Процессы, вызревающие в его глубинах, вот именно, глубинах, трудноуправляемы.

— Ого, какие у вас омуты в голове, уважаемый Олег Максимович. Жаль, что диалектикой мы с вами поздненько занялись. Марксизм учит другому. Ну, при первом же удобном случае доспорим, на подъем я легкий. Да и вы засиживаться долго не дадите.

— Не дам, Тихон Иванович, не волен. На днях в Москву лечу, вызывают. Приходится помнить одну истину. Мы с вами пользуемся готовыми законами, а там, вверху, их еще и формируют.

— Ну что же, удачи вам, Олег Максимович, и нас не обходите при случае,— в тон ему отозвался Брюханов.

— Нет, нет, за этим дело не станет,— засмеялся Чубарев, скрывая легкую грусть, по правде говоря, он привязался к Брюханову; ему нравились такие уравновешенные, сильные люди, с крепкой психикой и умением слушать и вникать в суть дела; на этот раз больно было бы ошибиться. Вспомнив недавний ночной штурм котлована и плотины, Чубарев улыбнулся и крепко пожал протянутую ему руку.

8

Слова Захара об Анисимове крепко засели Брюханову в голову; и с Родионом Густавовичем он встретился после обеда, проведя совещание с пропагандистами. Вначале он думал вызвать Анисимова в райком, затем решил сам заглянуть в контору райторга; с любопытством оглядел просторную приемную, солидные черные стулья вдоль стены, в углу на высокой подставке, обтянутой кумачом, бюст Сталина. Возле двери в кабинет Анисимова за приземистым крепким столом стучала на старенькой машинке курносая, лет двадцати, девушка

с чудесной русой косой. Когда Брюханов вошел, девушка вопросительно подняла глаза, и Брюханов поздоровался с нею, любуясь ее свежим лицом, ровными белыми зубами, задорно приподнятым носиком (он с утра сегодня был в отличном настроении).

— Здравствуйте, товарищ,— сказала девушка, со своей стороны отмечая его кожаное пальто, высокий рост и то, что пришедший в хорошем настроении.— Вы к кому?

— Мне Анисимова,— ответил Брюханов, улыбаясь ее серьезному тону, и вспомнил давно бытующее утверждение, что по секретарю можно определить характер хозяина.— У себя? — спросил он, расстегивая крючки пальто и тем самым показывая, что с Анисимовым он намерен встретиться обязательно; девушка помолчала.

— Родион Густавович очень занят,— сообщила она с легким сомнением в голосе и вежливой улыбкой.

— А вы все-таки доложите, скажите, Брюханов хотел бы его видеть.

Девушка, покачивая красивыми сильными бедрами, вошла в кабинет к Анисимову; Брюханов впервые обратил внимание на дверь, разделявшую приемную и кабинет; она была обита по толстому слою войлока добротной яловой кожей, и Брюханов подивился человеческой тщеславности. Из этой обивки можно было сшить целую дюжину прекрасных сапог, если не больше, а гвозди-то каким замысловатым узором набиты, прямо что-то из древней вязи. Анисимов вышел ему навстречу энергичным шагом, затянутый в защитного цвета френч, помолодевший. Следом за ним с тихой виноватой улыбкой бесшумно скользнула на свое место секретарша. В первый миг в глазах Анисимова, как показалось Брюханову, мелькнула неприязнь, но всем своим видом и словами он выказывал радость. Родион Густавович торопливой мыслью, словно метлой, прошелся внутри себя, все проверяя и подчищая и стараясь припомнить хоть какую-нибудь оплошность со своей стороны; он знал, что такие высокие гости, как Брюханов, ни с того ни с сего не заходят вот так запросто к заурядному торгашу районного масштаба, а имея лишь на то свои, особые причины и предзнаменования. И та метла, коей он мгновенно и тщательно прошелся внутри себя, не задела ни за одну шероховатость, это несколько успокоило его и сделало еще более приветливым; со сдержанной

радостью он пожал протянутую Брюхановым руку, посторонился, приглашая гостя пройти.

— Вот уж не мог ждать, хотя, разумеется, наслышан о вашем пребывании,— сказал он.— Рад, рад, проходите, Тихон Иванович, у меня разденетесь.

— Ну, спасибо, спасибо,— Брюханов снял кожанку, повесил на вешалку, где уже висело тяжелое пальто с воротником из серого каракуля и каракулевая шапка Анисимова; Брюханов отметил плотную рельефную шелковистость каракуля и повернулся к хозяину, ждущему посредине кабинета.

— Очень я рад, Родион Густавович, что удалось наконец-то в Зежск заглянуть, понимаете, тянет все-таки родная сторона.— Брюханов причесался, откидывая назад темно-каштановые густые волосы, пытливо взглянул в лицо Анисимову.— Цветешь, Родион Густавович, цветешь, еще лет на десять помолодел с тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись.

— Пустоцвет все это осенний, Тихон Иванович, хотя, разумеется, стареть некогда и незачем,— тотчас принимая доверительно-дружеский тон, отозвался Анисимов.— Не хотелось бы поддаваться... Садитесь, Тихон Иванович.

Брюханов кивнул, продолжая ходить по кабинету, и Анисимов тоже остался стоять; Брюханов с легкой улыбкой ему сказал:

— Слушай, Родион Густавович, будем без церемоний. Сидеть приходится много, так что давай друг друга не стеснять. Вид у тебя из окна хороший. Сколько лет мы уже знакомы?

— С двадцать девятого, вот уже больше семи лет,— сказал Анисимов с улыбкой и все с той же внутренней настороженностью к своему неожиданному гостю.— Направили меня сюда тридцати двух лет, а сейчас уже сорок первый, сорок — и прозвенело, Тихон Иванович. Э-э, да что годы считать,— засмеялся он, выпрямляясь и напрягая тело, довольный ощущением собственной бодрости и силы.— Кажется, еще немало предстоит нашему с вами поколению, а, Тихон Иванович?

— Как работается на новом месте, Родион Густавович? — спросил вместо ответа Брюханов.— Признаться, узнал о переменах в вашей жизни, удивился.

— Я и сам удивился, Тихон Иванович,— сказал Анисимов таким голосом, словно оглядываясь.— А потом привык, надо, значит, надо. Мой предшествен-

ник проворовался основательно, это уже после вас обнаружилось, у него на семьдесят три тысячи оказалось.

— Это Провзоров? Вот прохвост-то! — сердито повысил голос Брюханов, вспоминая Провзорова, его острый птичий нос и словно навсегда приклеенное к его лицу любезно-жизнерадостное выражение.— Как же мы его проглядели? Да и нас бы с ним заодно нужно было прищучить хорошенько.

В голосе Брюханова прозвучала досада, и Анисимов, откровенно не соглашаясь, засмеялся...

— Мы с вами можем говорить без обиняков. Торговля — дело государственное, люди, осуществляющие ее, имеют дело с дефицитным товаром, которого зачастую недостаточно, с деньгами, которые по-прежнему остаются для большинства самой действенной силой. В этой трещине мошенники и растут, как грибы. Велик искус в делах торговых! — Анисимов развел руками и, заметив, что Брюханов внимательно слушает его, продолжал: — Представьте себе, Тихон Иванович, здесь искушений, как нигде, много, только протяни руку — и поешь послаще, и поспишь помягче. Не всякий справится с собой. Я сначала этого ничего не знал, Тихон Иванович, грязная работа. Потом привык, человек ко всему привыкает, работать кому-то надо! У нас с началом строительства шумно стало, народу раза в три прибавилось, городище скоро разрастется — загляденье. Другими масштабами заживем.

— Квартиру получил?

— Это не проблема; вы, может быть, не знаете, мы ведь вдвоем с женой, много ли нам надо. Она у меня учительница, ей, разумеется, такой поворот событий по душе. Сейчас в средней школе преподает. А жилье получили, конечно, по улице Отрадной. Может, помните, владения колбасника Носова? Один из его домишек в две комнаты отдали. Дворик отдельный, вот только крыс много, кота на той неделе съели.

Брюханов с веселой насмешкой глядел на Анисимова; он отлично знал и улицу Отрадную, расположенную на окраине Зежска, которую опоясывала почти пересыхавшая к концу лета речушка Селья, один из притоков Оры; знал и владения колбасника Носова, самому пришлось их реквизировать в свое время; он даже этот домик с отдельным двориком смутно помнил, поговаривали, что именно в этом домике колбасник держал,

время от времени меняя, своих многочисленных любовниц; вот и Соня Прохорова жила на этой улице Отрадной, только в другом ее конце. Брюханов чуть сдвинул брови, это едва заметное изменение в лице Брюханова тревогой отозвалось в сердце Анисимова, но в глазах Брюханова уже опять стояла веселая усмешка; он вспомнил о Соне, случайно, мимоходом. Его насмешил рассказ Анисимова о крысах, уж как-то не вязался этот здоровый сильный мужчина при должности и солидном кабинете с той войной, которую он вел с крысами у себя дома.

— Вчера один знакомый совет дал насчет крыс,— сказал Анисимов.— Говорит, нужно одну поймать, облить керосином, поджечь и пустить под пол, все, говорит, в один час уйдут.

— Жестокий рецепт.— Брюханов опустился наконец в кресло, и Анисимов тоже мог теперь сесть, он еще помедлил для приличия.

— А что с ними делать? Жена измучилась, спать не может.

— Родион Густавович, я на той неделе у Захара Дерюгина был,— сказал Брюханов, взглянув на Анисимова.— Новый дом ставит, посидели, поговорили.

Анисимов, спокойно слушавший Брюханова, вопросительно поднял глаза и не опустил их, хотя что-то неприметно дрогнуло в нем; он понял, ради чего здесь у него Брюханов, и Брюханов понял, что его собеседник это почувствовал, и, откинувшись на спинку кресла, не скрываясь, в упор рассматривал теперь Анисимова, и тот, открыто и простодушно встретив прямой взгляд Брюханова, ждал, не выскажется ли Брюханов более определенно.

— Много он мне крови попортил,— сказал Анисимов в задумчивости.— Это мужик с замком, не с каким-нибудь, а пудовым, без скважины и без ключа. Его кувалдой только и можно расколотить.

— Характер у него есть,— согласился Брюханов.— Вот только не пойму, какой зверь между вами проскочил.

— Почему же только между нами, Тихон Иванович? — спросил Анисимов, не скрывая, что готов говорить о своих отношениях с Захаром начистоту.—Я с вами откровенен, как, впрочем, и всегда был откровенен,— тотчас поправился он.— Вы, очевидно, для этого разговора и завернули ко мне, так ведь?

Брюханов ничего не ответил, достал папиросы и закурил; Анисимов придвинул ему поближе пепельницу, взял папиросу из протянутого портсигара, прошелся по кабинету.

— Не сошлись мы с ним с самого начала, крестьянская стихия, крестьянин вообще не терпит в своей среде чужаков. Захар Дерюгин не исключение, наоборот. В нем земля его прадедами на сотню лет в глубину кричит: раз со стороны — значит, захребетник, только и годный чужой хлеб жрать. У мужика с землей своя особая, нутряная связь, никакому горожанину недоступная, тут уж никто не виноват.

— Все так, разумеется, Родион Густавович, в общем-то мы все оттуда, из одной колыбели — от пастуха и пахаря, ну а если конкретнее?

— Вы считаете, я не думал о своих отношениях с Захаром Дерюгиным? Думал и сейчас думаю, мне самому интересно разобраться, я ему только добра хотел. Откуда же с его стороны такая враждебность? И с самого начала, заметьте, не прошибить ее ничем.

— А пробовал, Родион Густавович?

— Сколько раз! Ну хорошо, спутался он с этой девкой, сказал я ему, остерег, а раньше-то, раньше? Не терпит ничьего верху. Да вы-то знаете, Тихон Иванович, Захара лучше другого, воевали вместе, вам, как говорится, и карты в руки. А передо мной он как закрытый сейф, с какой стороны ни зайди — железо, плотность. Слышал я стороной, что и с дочкой Поливанова у него разладилось. Знаете, Тихон Иванович,— Анисимов снова задумался, глянул в заиндевелое окно,— даже жаль, неужели все перегорает и вечного ничего нет, такая у них любовь была. Вполне вероятно, что все мы тогда, в том числе и я, осуждая Дерюгина, не правы были... Все-таки это что-то большое, редкое было, ни на что не похожее... Впрочем, Захар все равно счастливчик,— неожиданно вырвалось у Анисимова.— Сыновьями, Тихон Иванович,— и Брюханов кивнул.— Будь у меня хотя бы один, не знаю, как бы я счастлив был, все, что в силах, даже сверх того сделал бы — дал бы ему большую судьбу. В наше время это возможно.

— За чем же остановка? — уловив наконец в голосе хозяина горячую заинтересованность, Брюханов оживился.— Впрочем, это я к слову. Да-да, каждый наделен своим пониманием счастья, и голову чужую насильно

не приставишь.— Брюханова заинтересовали мгновенные реакции хозяина и несколько непривычный строй его речи; он раньше мало обращал внимания на Анисимова, но ему помнилось, что раньше Анисимов был проще, что ж, пообтесался в городе; скорее всего, предположения Захара — следствие поваливших одна за другой неурядиц в его нескладной жизни. Бывает и так, сойдутся два совершенно незнакомых человека и сразу почувствуют друг к другу резкую неприязнь, наблюдается в человеческих отношениях такая несовместимость, собственно, и Захар этого не отрицает, и он зашел сюда так, из любопытства. То, что он услышал от Анисимова, было толково, разумно, логично, но как-то уж очень гладко; поговорив с Анисимовым еще о том о сем, Брюханов, к слову, спросил его об отце; Анисимов остро блеснул глазами, и тотчас добродушная улыбка набежала на его лицо.

— Вас, Тихон Иванович, отчество мое смущает,— сказал он.— Оно многих смущает, немецкое. Отец у меня потомственный рабочий, кузнецом всю жизнь, оглох под конец совсем старик. Умирал, все услышать голоса наши хотел, перед самой революцией скончался. А вот дед у немца-колбасника работал в Питере, в угоду и назвал первенца Густавом, по имени хозяина. Видите, через поколение отзывается... факт, как говорится, исключительно социальный.

Брюханов ушел от Анисимова засветло и часа полтора бродил по знакомым улочкам и даже выбрался на вытоптанный коровами и гусиными стадами небольшой лужок, долго стоял на берегу Сельи в хорошо знакомом с детства месте, где издавна было ребячье купалище. Обрыв, как и у многих речушек в этой местности, был небольшой, метра в два, а противоположный пологий берег переходил в равнину; Брюханов впервые за последние месяцы чувствовал тихое отъединение от всех дел и забот, он выбрал место, сел и закурил; воды в Селье было сейчас много, у берегов кое-где уже начал лепиться тонкий ледок, движение шло слабо, еле заметно, и только набегавшая иногда от ветра рябь оживляла темный, текучий мир воды.

Что ж, все логично, Захар Дерюгин видит и ощущает в жизни одно пространство, Анисимов — другое, сам он, Брюханов, третье; и каждый по-своему прав; да, поездка в Густищи освободила его от тяжелого, непо-

сильного груза, пожалуй, слишком долго он тащил на себе эту тяжесть и не мог сбросить, несмотря на жгучее желание сделать это побыстрее.

Темнело, нужно было возвращаться, Брюханов бездумно глядел на черную дымящуюся поверхность Сельи, через неделю или две она вся покроется льдом; хрупкий, звонкий ледок упрочится понемногу, и новые мальчишки, совершенно незнакомые, с веселыми криками зазвенят коньками. Оглянувшись, Брюханов увидел большую рыжую корову с тупыми короткими рогами; она подошла незаметно почти вплотную и, наставив уши вперед, глядела на него большими глазами. Брюханов засмеялся.

— Дура,— ласково поддразнил он корову,— ну, чего смотришь?

Корова обиженно мотнула головой, а Брюханов быстро зашагал к городу; через несколько часов он был уже в Холмске и, когда машина, мягко тормозя, пошла с возвышенности, напряженно всматривался в темные улицы, город спал, и прохожие были редки, в домах один за другим гасли огни. Ни одно окно не вспыхнуло радостно ему навстречу. «Ну что же, не приехала — и дело с концом, когда-нибудь поблагодаришь судьбу за это, Тихон Иванович,—сказал сам себе Брюханов.— Теперь — домой, в горячую ванну, и спать, спать; завтра утром с докладом к Петрову. Хочешь не хочешь, придется обращаться в правительство; бо́льшего строительству область дать не может, и надо этот вопрос ставить на бюро».

Вымытый, выбритый, в хорошо отутюженном костюме, с мыслями о строительстве и предстоящем разговоре с Петровым, Брюханов вышел назавтра из дому; довольно сильный утренник в яркую хрупкую белизну разукрасил деревья и провода, и Брюханов чувствовал бодрую легкость; кто-то догонял его, и он, оглянувшись, увидел Клавдию.

— Счастливая встреча, Брюханов,— сказала она, разрумяненная, запыхавшаяся от быстрого хода и морозца, в меховой шапочке, надвинутой на самые брови.— Вы уже, оказывается, вернулись. Что же не заглядываете?

— Только ночью вернулся... Приветствую вас, Клавдия Георгиевна,— Брюханов слегка поклонился, не глядя в ее оживленное лицо.— Кажется, сегодня мороз обещали? Что, не слушали сводку?

Они шли рядом, свободно друг от друга; от странных слов Брюханова Клавдия приостановилась, и он увидел ее зеленые глаза, в которых затаилась легкая насмешка.

— Злитесь, что я сломя голову не ринулась по первому вашему зову в омут, Брюханов? Не сожгла корабли?

— О чем вы, Клавдия Георгиевна, не пойму? Слишком сложно для меня и красиво.— Брюханов слегка притронулся к фуражке.— Простите, Клавдия Георгиевна, я очень спешу, через четверть часа совещание.

— Как вы со мной разговариваете, Тихон Иванович.— Из-под меховой опушки на Брюханова глянули мягкие, понимающие глаза.— Я вас не задерживаю. Что вы стоите? Идите же! — Она круто повернулась и пошла в обратную сторону; Брюханов все время помнил, что ему нужно удержаться, не оглядываться, и не оглянулся, хотя совершенно не понимал этой устроенной самим над собой экзекуции.

В обкоме он подробно, стараясь не упустить ни одной мелочи, доложил о своей поездке в Зежск внимательно слушавшему Петрову. Отдельно остановился на Чубареве, сжато и коротко отмечая его энергичность и работоспособность, подчеркивая, что положение дел на строительстве в значительной степени держится усилиями и волей самого Чубарева; Петров еще долго его не отпускал. Остальную часть дня Брюханов знакомился у себя с накопившимися в его отсутствие делами. Рабочий день кончился, и, оставшись наконец один, Брюханов вспомнил Клавдию. «К черту,— разозлился он на самого себя,— хватит; надо присмотреть хорошую девушку и жениться без всякой долгой волокиты. Что ж, работа, она теперь навечно, но надо же и о себе подумать, матери, наконец, покой дать».

Эта мысль ему понравилась, он стал тщательнее и щеголеватее одеваться, бреясь по утрам, поглядывал в зеркало дольше обычного, а на улицах незаметно для себя присматривался к встречным женским лицам; одним словом, идея жениться во что бы то ни стало и как можно скорее запала в него крепко.

Петров вызвал его спустя недели две, коротко бросив «садись», хмурясь, раздраженно искал что-то у себя на столе, затем в ящиках, с грохотом выдвигая их и заталкивая назад один за другим; Брюханов терпеливо ждал.

— Видите ли, Брюханов,— сказал наконец Петров, выпрямившись, с уставшим, постаревшим лицом,—вчера арестован Чубарев. Ваши выводы противоречат реальному положению дел.

Брюханов ожидал любого поворота, но этот удар застал его врасплох, он оттянул ворот рубашки; вода в графине, конечно, теплая, сейчас бы ледяного квасу, как у матери Захара.

— Да, Константин Леонтьевич, первый в совете — первый в ответе. Но свои выводы я готов отстаивать где угодно.

— Ну, конечно, хороши у меня работнички, пошли Митрофана, за Митрофаном болвана, за болваном еще умника, он тебе так наворочает... Да и я хорош, успокоился... Трех спецов прихватили во главе с Чубаревым,— отчужденно сказал Петров.— Вы сравнительно молодой человек, да, молодой, и лишний раз подтвердили это...

— Константин Леонтьевич, зачем вы прячетесь за слова? — неожиданно для себя и для Петрова вспыхнул Брюханов.— Дело не в моей молодости, любой на моем месте сделал бы то же самое, я не увидел ничего плохого, что же бить тревогу? Чубарев честный человек, он просто замечательный человек! Да вы же сами в этом убеждены, иначе не послали бы меня туда... Я...— Распаленный, как ему казалось, несправедливостью в отношении себя, Брюханов оборвал на полуслове, встретив темный, в упор, взгляд Петрова.— Я никогда не боялся ответственности,— нарушил тягостное молчание Брюханов.— Если вы находите нужным, находите, что я не справляюсь...

— В кусты, Брюханов? Нет, ты будешь работать. Тяжко? Да, тяжко. А на чьи плечи ты хочешь переложить эту тяжесть? На мои? Сергеева? Третьего? Или позволить занять твое место тому же Горшенину или Холдонову? — Петров назвал знакомые имена с несвойственным ему резким ожесточением, таким беспощадным Брюханов его не видел и, пытаясь что-нибудь вставить, всякий раз умолкал на полуслове от жесткого взмаха сухой руки, рубящей воздух.

— Думаешь, Петров струсил, стрелочника ищет. А я одного хочу, чтобы ты раз и навсегда уяснил себе истинное значение своего места. В нашей работе стандарта нет и никогда не будет. Десятки, сотни тысяч людей олицетворяют в тебе партию, изволь соответство-

вать... Ну да ладно,— Петров оборвал на полуслове.—Думаю, все это прояснится в скором времени. А тебе, вместо того, чтобы землю копать, надо было своим непосредственным конкретным делом заниматься!

— Какую землю? — переспросил Брюханов, чувствуя, что безудержно краснеет.

— Обыкновенную, в котловане, лопатой!

— А я считаю это что ни на есть конкретным и нужным делом. Почаще бы нам, Константин Леонтьевич, от бумажек отрываться,— с вызовом, жестко сказал Брюханов,— людей вокруг себя видеть, а не их анкетные данные. Тут я, Константин Леонтьевич, ни при чем, трудовой энтузиазм масс захватил,— уже мягче добавил Брюханов, видя, что и глаза Петрова сощурились в доброй усмешке.— А что вы думаете, именно энтузиазм,— повторил Брюханов упрямо.— И потом, вы ведь знаете, Константин Леонтьевич, я смолоду вплотную с людьми привык в мартене, кипящий металл шуток не любит; а здесь, в этих палатах, мне порой воздуху не хватает. Так иногда стиснет, хочется поглубже нырнуть. Два года у вас назад в мартен прошусь, именно вы-то должны понять.

Петров ничего не ответил, и хотя он стоял к Брюханову спиной, Брюханов отчетливо представил себе выражение его лица; объяснение пришлось Петрову по душе, и они снова надолго замолчали.

— Что же теперь, Константин Леонтьевич? — спросил Брюханов, но Петров не отозвался, и когда Брюханов вновь увидел его лицо, перед ним был прежний, до мельчайших черточек знакомый Петров, глаза у него остыли, успокоились.

— Его сразу же увезли в Москву,— сказал Петров, возвращаясь к столу.— Я уже звонил в ЦК, разрешение выехать в Москву мне пока не дали. Тут вот еще что... меня поставили в известность: многое, связанное со строительством нашего моторного, вплоть до некоторых, совершенно секретных, данных стало известно в Германии... а Чубарев, вероятно, в самом деле слишком доверчив, неосторожный человек, он и у меня несколько раз был, да и раньше я его знал, приходилось встречаться в Тяжпроме, простить себе не могу...

— Вы хотите к самому, к товарищу Сталину? — спросил Брюханов и тотчас понял, что допустил глупость.

— К сожалению, ошибки, как видно, неизбежны.— Петров тяжело опустился на свое место.

— Константин Леонтьевич,— почти попросил его Брюханов,— я не улавливаю в происходящем закономерностей, логических связей. Я виноват, не справился с порученным вами, очевидно, очень важным делом, блестяще его провалил. Разрешите, я сам поеду в ЦК...

— Никуда ты не поедешь, садись, Брюханов, и не ожидай от меня слишком многого. У каждого свои горизонты, прорываться сквозь них не так просто. Садись, садись, нам лучше побыть вместе, Тихон Иванович.

Прошел час, прошел другой, разговор у Петрова с Брюхановым давно уже перехлестнул за какие-то конкретные грани, но оба чувствовали, что разговор этот, если они хотели и дальше работать вместе, необходим. Рассуждения Петрова были похожи больше на вопросы и к самому себе и к Брюханову.

— Что такое абсолютная свобода? Возьмем Великого Инквизитора Достоевского и его понимание свободы. Прав ли он, рассуждая об абсолютной свободе? Нет, не прав, потому что абсолютной свободы в человеческой природе вообще не существует. Свободу человеку даст одно только знание, оно поможет перешагнуть бездны в самом себе, от которых шарахались и шарахаются раньше и теперь.— Узкая ладонь Петрова притиснула лежащие перед ним бумаги.— Любая истина изменчива и текуча во времени, даже самый гениальный человек не может вместить всего. В одном я убежден: знание теперь открыто народу, и это, возможно, главный итог нашей революции. А теперь... давайте ближе к земле, Тихон Иванович.

— Ближе к земле, значит, я просто исполнитель,— настаивал на своем Брюханов, не в силах справиться с вселившимся в него духом противоречия.— Как просто! Верую, и все! Верую! А если я сердцем чувствую, что Чубарев никакой не враг, безошибочно знаю?

— В работе с людьми, в нашей с тобой работе, Тихон, к сердцу надо приложить еще и голову.— Петров дернул плечом, как бы удивляясь несерьезности слов Брюханова.— Я не о Чубареве сейчас, смешно, я, как школяру, должен говорить тебе общеизвестные вещи. В Германии разгул фашизма, Испания в огне, опять же фашизм... Троцкизм, пятая колонна. Впереди

у нас не одна схватка с мировым капиталом, может быть, война... Ты уверен, что у нас внутри страны стерильно чисто? Вот видишь, нет, я — тоже. Это противоречило бы всяческой логике... Почему не допустить, что это закономерная обостренная реакция на происходящее вокруг, на разгул черных сил в мире? Как мера собственной безопасности в масштабах страны. Вот лично мои мысли, Брюханов, если это так важно для тебя.

— Важно, очень.— Брюханов устал, и в нем все мелькало разорванно — Испания... фашистский мятеж... поджог рейхстага... речь Димитрова... Троцкий.

— Чубарев — беспартийный,— прервал Петров лихорадочные мысли Брюханова,— это дополнительно усложняет дело. Черт возьми, как это ты прохлопал, Тихон Иванович, ни малейшего ощущения тревоги не вынес. Такого крупного специалиста потерять.

Брюханову хотелось пить, но идти через кабинет к столику с водой, он чувствовал, сейчас нельзя было, не с руки.

В наступившей тишине отчетливо доносились шумы города: звон трамваев, гудки автомобилей; на главной улице и площади, примыкавшей к зданию обкома, зажглись фонари.

— Пешком надо больше ходить, Тихон Иванович,— сказал Петров, присматриваясь к осунувшемуся за день Брюханову.— Готовься, доложишь о ходе дел на моторном на бюро во вторник. А сейчас на воздух, за город куда-нибудь, в лесочек.

— А вы, Константин Леонтьевич?

— И я следом, вот только посмотрю тассовки.— Он со злостью отбросил какие-то бумаги.— Читаешь, любо-дорого. Выжимка, самая суть и никакой воды. А наши голубчики — трактаты пишут вместо диаграмм и отчетов.— Он потряс пухлой папкой.— Дюма отец и сын вместе. И кто пишет-то? Инженеры, язви их в душу.

— Да, это верно, эпитеты присутствуют у нас в излишестве... Константин Леонтьевич, помните, мне с группой наших специалистов удалось у Круппа в загранкомандировке побывать... Вот где четкость, доведенная до степени автоматизма, неодушевленности. Но поучиться есть чему. Я как металлург там больше всего положением сменного мастера в мартене интересовался. Понимаете, у Круппа инженер, допустим, начальник

смены обязательно ведет запланированную научную работу. Это входит и в его оклад, и в круг обязанностей перед фирмой. Результатами, разумеется, пользуется завод, а точнее, хозяин, но от этого факт не перестает быть фактом. А у нас, как только инженер выбивается в сменные мастера, тут его и потолок, отсюда и начинается деквалификация. Дергают его в разные стороны, вплоть до установки унитазов, и никаких условий для роста. Стоило бы и нам задуматься и по возможности кое-что позаимствовать, Константин Леонтьевич. Дисциплинированный народ — немцы, я после поездки даже немецкий язык стал изучать. Ну ладно, пойду, Константин Леонтьевич.

Петров кивнул, жестом отпустил Брюханова, что-то черкнул у себя в блокноте, звоны трамваев доносились все глуше; просторная площадь перед зданием обкома совсем опустела; маленькие елочки чернели четким прямоугольником, их посадили недавно, в день открытия памятника жертвам революции.

Петров опустил штору и с тихой улыбкой, которая появляется у человека лишь наедине с самим собою, развернул письмо сына, полученное сегодня утром, и все с той же неисчезающей тихой улыбкой стал его перечитывать. «Вот так,— думал он с щемящей, теплой грустью,— сын уже взрослый, военный летчик, женился, летает где-то на самом краю страны». Петров никогда не был на Дальнем Востоке, но из длинных, подробных писем сына он представлял угрюмую бесконечность тайги, дикое нагромождение сопок, необычное для средней полосы летнее половодье рек; косяки странных рыб, возвращающихся на нерест в родные реки из океана; все-таки как щедра и многообразна жизнь, сколько в ней неистраченных резервов.

Если бы не эта постоянная, не отпускающая ни на минуту загруженность, можно было бы съездить с женой к сыну. Девять суток вдвоем через всю страну в мягком купе без телефонов, ночных вызовов, сбросить с себя этот груз хотя бы на две недели и поехать, вот была бы радость жене, очень уж сильно тоскует по сыну.

Сложив письмо, Петров бережно спрятал его во внутренний карман, короткая минута отдыха кончилась, но именно теперь он и принял решение по самому важному для себя вопросу, необходимо было действовать, не теряя ни одной минуты.

Просидев во главе специально созданной им парткомиссии на Зежском моторном несколько дней, собрав необходимый материал, аргументацию и лишний раз уверившись в своей правоте, Петров выехал в Москву, пробыл там недели две и, возвратившись, на попытки Брюханова повести разговор в определенном направлении коротко ответил:

— Да чего уж там, Тихон Иванович, не виляй вокруг да около, пришлось мне, как говорится, хлебнуть лиха... Дней через семь будет твой Чубарев на месте, его теперь жена одного не пускает, увольняется с работы, вот поди же, пойми после этого женщин, даже мебель распродает.

Не эти слова, а сам голос Петрова, какой-то намеренно ровный, бесстрастный, будничное выражение его лица удержало Брюханова от выявления чувств и дальнейших расспросов; что-то разделяло их, чему Брюханов не мог найти определения, но что хорошо чувствовал; он кивнул и хотел выйти, но Петров рассмеялся по-доброму, понимающе.

— Как-то я с Владимиром Ильичем в восемнадцатом разговаривал, трудная была пора. Меня на юг посылали, помню, он тогда сказал, что в критических обстоятельствах необходимо уметь действовать молниеносно... Н-да, молниеносно, и все-таки этих дней я никогда не забуду. Права все-таки народная мудрость: не топора бойся — огня. Ну хорошо, иди, Брюханов.

9

Сидя за столом и время от времени легонько притрагиваясь к вискам, Елизавета Андреевна читала сочинения своих учеников; ей хотелось потереть глаза, но она боялась новых морщин, они уже предательски наметились именно у глаз. Едва взглянув на обложку тетради и увидев ту или иную фамилию, она уже знала, о чем и в какой манере будет написано сочинение, и радовалась, если угадывала; она увлеклась и не заметила прихода мужа; услышав за спиной его громкий голос, она вздрогнула, оглянулась.

— Опять, Родион,— сказала она недовольно,— зачем ты культивируешь в себе это? Словно мальчишка, подкрасться, испугать...

Анисимов сзади обнял ее за плечи, поцеловал в голову.

— Ну так что ж,— сказал он, смеясь,— всякий мужчина всего лишь выросший мальчишка. Ты знаешь, Лиза, какой у меня сегодня гость был? Ни за что не угадаешь. Сам Брюханов Тихон Иванович!

— Что же, был, значит, был,— Елизавета Андреевна с любопытством взглянула на мужа.— Есть хочешь, Родион? Я тоже еще не ужинала, пойду разогрею.

— Поужинать всегда приятно, особенно с любимой женщиной.— Анисимов щелкнул замком большого кожаного портфеля, достал из него несколько свертков, колбасу, сыр и хлеб, затем, поколебавшись, вынул бутылку водки, покосился на жену.— Сегодня такой случай, нельзя не отметить,— сказал он, опережая ее возражения.— Не всякий день наносит нам визит высокое начальство.

— Вот-вот, главное — желание, предлог всегда сыщется,— Елизавета Андреевна скользнула мимо мужа прозрачными, отчужденными глазами, морщась от его ненатурального взвинченного тона.

Анисимов двинулся следом за ней на кухню, растопил плиту и, когда пламя над сухими дровами занялось, остался сидеть на корточках, грея лицо и руки.

— О чем же вы говорили с Брюхановым? — спросила Елизавета Андреевна, накрывая на стол и раскладывая приборы; она не любила садиться за стол кое-как и сердилась, если муж в ее отсутствие позволял себе небрежность. По одной ей заметным признакам она видела, что муж встревожен и озадачен неожиданным приходом Брюханова, и накрывала стол особенно тщательно, давая мужу время отойти, собраться с мыслями и несколько успокоиться. Она даже принесла и положила праздничные тонкие салфетки.

— Понимаешь, Лиза, разговор шел о Захаре Дерюгине и о наших с ним отношениях.— Анисимов оторвался наконец от огня, отстегнул часы и положил их на этажерку.— Разумеется, Брюханов — штучка тонкая, говорили о том о сем, но цель, ради которой он пришел, яснее ясного. Ему, видите ли, захотелось понять, отчего у меня с Дерюгиным не сложились отношения. А что я мог сказать? Я знаю не больше, чем кто-нибудь другой,— улыбнулся Анисимов, желая поддразнить жену.— Правда, ты нравилась Захару, но он,

конечно, на успех не надеялся, вот и злился, а переносил все на меня. Может быть и такая версия.

— Ты так и объяснил Брюханову?

— Ну, Лиза, за кого ты меня принимаешь? Я допускаю подобный ход, и только! Я не так прост, как тебе кажется.

— Мой руки и садись за стол,— сдержанно попросила Елизавета Андреевна, в голосе ее прозвучало облегчение.

Анисимов прошел за перегородку, и Елизавета Андреевна, слушая его плескание и пофыркивание, обдумывала услышанное, в то же время не переставая делать свое дело: поставила на огонь чайник, заварила свежий чай, разогрела баранину, выложила из стеклянной банки в салатницу розовые соленые помидоры. То, что сказал ей муж, было, как всегда, ложью, и оба знали, что это ложь, но все их прошлое было ложью и не имело теперь никакого значения, ничто в ее жизни теперь не имело значения; она хотела только одного, чтобы ее оставили в покое, не трогали; у нее было свое место в жизни, любимая профессия, а до остального ей дела нет. Прошлое мужа было тесно связано с нею, и она не могла отряхнуться и уйти навсегда, в ее судьбу намертво вплелась другая судьба; для того чтобы разорвать раз и навсегда, она была слишком безвольна, инертна. Она давно уже жила только на дозволенной части негласно разграниченного между ними поля и, когда муж нарушал эту зыбкую границу, страдала. Они проросли друг в друга, и муж (она это знала) не мог без нее, она была частью его прежней жизни и даже в своей слабости и беспомощности оставалась ему единственной опорой, не давала окончательно опуститься. Он попрежнему жил ожиданием перемен, она больше не верила ни в какие перемены и не хотела никаких перемен, она перестала верить в них именно после случая с Захаром Дерюгиным; объяснить этого она не умела, но всякий раз, когда муж пытался сломить призрачное разграничение в их жизни, становилась непримиримой, и теперь, едва дождавшись, когда муж сядет за стол, перехватила его руку, потянувшуюся за бутылкой, отвела в сторону.

— Подожди, пожалуйста, Родион. Ну, прошу тебя.

— Лизанька, почему? Есть хочу, можно немного выпить трудовому человеку, простому советскому служащему?

— Зачем ты все время фиглярничаешь, Родион? — Елизавета Андреевна смотрела, как он налил в стакан, выпил и стал закусывать, аккуратно разрезав на тарелке помидор на четыре дольки.— Зачем ты лжешь, Родион, даже самому себе, тебя ведь никто не слышит. Ты все время лжешь, но у тебя завидная память. Зачем ты это делаешь, Родион? Ведь не я причина ваших расхождений с Захаром Дерюгиным. Занеси нас судьба в любое другое место, и там нашелся бы свой Захар. Ты никак не поймешь — это масса. Захар Дерюгин здесь ни при чем, один он ничего бы не значил. Твой опыт не удался, Родион.

Анисимов еще раз молча выпил и продолжал так же методично, со вкусом есть, зная, что своим спокойствием бесит жену, она с трудом сдерживалась.

— Лиза, Лиза, перестань,— миролюбиво притронулся он к ее руке, ему не хотелось ссоры.— Ты не права. Посмотри, что кругом делается, мы-то не должны обманываться всей этой патриотической шумихой! На той неделе, говорят, на строительстве завода у нас тут под Зежском кое-кого взяли. На собрании объявили врагами народа, и поминай как звали. Вроде бы даже начальника строительства прихватили, да вот я слышал сегодня, что он просто в Москву по делам укатил... Черт сам не разберет. Времени у них не хватает, вот в чем загвоздка, а коровку-то надо доить равномерно, не рвать все с выменем. Подумай-ка, сейчас все, у кого ликвидирована неграмотность, кстати, твоя капля тоже в этом есть,— он сощурил глаза,— взялись каждый на свой лад строить прожекты, как скорее к всеобщему процветанию подступиться. А кроме процветания и равенства, кусáть еще каждому нужно. Да пожирнее, послаще. Вот иной в чрезмерном усердии и доносик сочинит.

— И ты в том числе...

— Лиза! — укоризненно остановил ее Анисимов.— Хотя почему бы не подлить масла в огонек? Интересно ведь...

— Оттого, что я буду молчать, действительность не изменится, а логика жизни приведет тебя к их правде, Родион. Мне больно, силы твоего ума, интеллект уходят впустую. До каких же пор так, вслепую... Я ведь часто замечаю: прячешь что-то, прячешь... Как только я войду, прячешь.

— Это могут быть и любовные письма,— попытался отшутиться Анисимов, стараясь не глядеть на жену

и стискивая за спиной вздрагивающие пальцы.— А если бы и писал? — Он еле сдерживался, чтобы не сорваться в крик.— Время такое, ты не напишешь, на тебя напишут, оглянуться не дадут, щелк... и там, за решеткой... Ну что ты? Не надо,— сразу обмяк он, увидев, что Елизавета Андреевна плачет с неподвижным лицом, комкая в руках батистовый платочек.— Я просто привязываю тебя к себе, Лиза,— сказал он тихо, не решаясь прикоснуться к ней.— Не хочу, не могу остаться один. Ты все время отдаляешься от меня, а я не могу с этим примириться, и какая же это ложь? Ложь во спасение того, во что веришь? Ты следишь за газетами и знаешь, что творится в мире, все выше и выше захлестывает, я иногда ночью подхвачусь и чувствую: уже над головой этот вал стоит, вот-вот рухнет. Вот об этом подумай, Лиза, тогда и для тебя все на свои места встанет. Все эти беспосадочные перелеты да всякие там троцкисты от страха придуманы. Борьба есть борьба.

— Они борются, а ты просто двуличный человек. Нет, пустые надежды, Родион.— Елизавета Андреевна отодвинула от себя тарелку, к которой не притронулась.— Какой там вал... Больше всего на свете мне покоя хочется, неужели тебе не надоело? Вспомню весь ужас, кровь на мостовых, мертвых, холерные карантины,— как же ты не понимаешь, Родион, что этого больше нельзя! Каждому поколению — своя мера страданий, и наше с тобой давно превысило допустимые нормы. И потом, это наша земля, отсюда мы вышли, какая бы ни была у нас судьба, мы должны пройти ее вместе с Россией, другой ведь нет и не будет. У меня сегодня трудный день был, Родион, ты прости, я пораньше лягу... Пожалуйста, убери со стола сам.

Елизавета Андреевна коснулась губами его затылка и затворила за собой дверь, он не стал ее удерживать и все так же сидел, тяжело положив руки на стол; он понимал ее, и прощал, и по-своему любил; ему доставляло какое-то тайное наслаждение говорить ей все, в чем он должен был таиться от посторонних, в этих откровенных разговорах приходило недолгое успокоение. Но не на этот раз; он еще выпил, сейчас она раздевается, и ложится, и расчесывает свои густые волосы в свете ночника, и хорошо было бы пойти и лечь с нею, и забыться, ни о чем больше не думать, но время шло, а он все сидел, не меняя позы. Встревоженность от разговора с Брюхановым не проходила, и в голове,

отяжелевшей от водки, стоял легкий шум; он заметил его появление впервые года три назад, рановато, конечно, впрочем, все равно, он теперь привык и не обращал внимания.

Тишина становилась глуше, домик стоял в глубине двора, зараставшего летом у заборов лопухами, а зимой после каждого снега приходилось расчищать дорожки до калитки и сарайчика с дровами, он любил эту веселую, бездумную работу. Скоро уже начнется настоящая зима, повалит снег, говорят, снежная будет зима, старики по каким-то своим приметам предсказывают.

Рядом, в небольшой зимней пристройке, служившей для хранения всяких хозяйственных запасов, что-то сильно загрохотало, заставив Анисимова вздрогнуть и выругаться. Он вспомнил о крысах и, толчком распахнув дверь в пристройку, зажег свет; несколько расплывчатых теней мелькнуло в углах и молниеносно исчезло, но он сразу заметил, что в привязанной крысоловке в дальнем углу есть добыча. Остромордый противный зверек с длинным голым хвостом яростно грыз железные прутья и бился о них, крыса попалась только что и металась по клетке в бешенстве, и Анисимов, закрыв дверь на кухню, подошел к ней, присел на корточки, рассматривая. Это была матерая, жирная тварь; несколько раз она слепо бросалась в сторону Анисимова, сотрясая свою тяжелую западню, и от ее бессильной ярости Анисимова захватило какое-то странное болезненное чувство; это была всего лишь крыса, но она металась и билась яростно и сильно, и морда была у нее в крови, один острый, как сапожный гвоздь, зуб сломан. Анисимов принес жестяную банку с керосином, сверху, не жалея, облил крысу, стараясь не попасть ей на голову, и чиркнув спичкой, осторожно поднес огонь к полу крысоловки, к потекшей струйке керосина, оглядевшись по сторонам и убрав все легко воспламеняющееся. Огонь охватил крысу сразу, и Анисимов быстро распахнул дверку клетки, визжащая крыса метнулась вон прямо в ноги ему, и он невольно весь сжался, когда в ботинки ему шлепнулся огненный ком, но клубок рассыпавшегося огня уже мелькал где-то в дальнем углу, затем пропал в какой-то дыре, и только в щелях деревянного пола то тут, то там просвечивал неверный свет и, наконец, совсем исчез где-то под домом.

Анисимов, стараясь ни до чего не касаться, прошел на кухню, в столовую, просматривая щели пола, но слышал лишь глухое, быстрое движение; вскоре и оно затихло.

Елизавета Андреевна спала; Анисимов вернулся на кухню и долго, с отвращением мыл руки, тер их мылом и щеткой, обливал одеколоном и опять принимался тереть, и в течение нескольких дней у него держалось ощущение чего-то нечистого, гадкого на руках, хотя крысы с тех пор действительно совсем исчезли из дома и больше не пугали Елизавету Андреевну. Она обрадованно рассказала об этом мужу; несколько дней в доме держался неприятный запах, несмотря на открытые форточки; Елизавета Андреевна болезненно морщилась и чаще обычного мыла полы; глядя на нее, Анисимов улыбался; все-таки он любил эту нерешительную, мягкую женщину, с ней ему было хорошо.

10

Захар Дерюгин ставил новый дом, и все Густищи, привыкнув и обсудив досконально весь его поворот в жизни с Маней, а следовательно, потеряв к этому интерес, теперь говорили о том, что мужик, слава богу, перебесился, взялся за ум, а то, что он стал строиться, уже не будучи председателем колхоза, вызывало к нему и к его делу доброе отношение всего села, и не было никаких завистливых и недоброжелательных толков и пересудов. Когда его сняли с должности председателя колхоза, неожиданно открылось, что, несмотря на молодость, он успел завоевать на селе уважение у многих, и почти все в Густищах считали, что сняли его с председателей незаконно, и нет-нет да и велся об этом разговор на бревнах у сельсовета, и, пожалуй, именно сам Захар теперь меньше всего вспоминал о том, что был когда-то председателем. Он как-то естественно, хотя и далеко не просто, особенно после разрыва с Маней, вернулся к тому извечному, чем занимались его дед и отец и он сам.

Вместе с другими он выходил пахать или сеять, косить, метать стога или складывать скирды, но больше всего он любил работать на молотилке, толкать в ее железную грохочущую пасть снопы, которые с двух сторон подсовывали ему, перерезая перевязь серпами,

две помощницы,— это была тяжелая и веселая работа, в жару сухая рожь или пшеница легче вымолачивались. По всему телу стекали струйки пота, и Захар часто сходил вниз, поручив дело помощницам, и жадно, подолгу пил прямо из ведра, с удовольствием выплескивая воду себе на горячую грудь; бабы не успевали, и полупустая молотилка начинала звонко гудеть; Захар спешил на свое место, и его высокая, полусогнутая фигура опять маячила у ревущего барабана, и только лопатки под мокрой рубахой неустанно размеренно шевелились.

Он работал споро, с веселой злинкой к себе и к другим, одинаково хорошо работал всюду, куда его ни посылали, но с тех самых пор, как его сняли с председателей, он почти не ходил на собрания, а если приходил, то позубоскалить с мужиками о разных житейских разностях; словно раз и навсегда он перестал интересоваться общественными делами, как напрочь отсек топором. Первое время, особенно когда Куликов о чем-либо спрашивал, советуясь, и звал его на правление, Захар разводил руками, отнекивался, отделывался каким-нибудь предлогом или шуточкой, и его постепенно оставили в покое.

Нельзя сказать, чтобы все эти процессы протекали легко и гладко для самого Захара; жена его Ефросинья, тоже начавшая потихоньку привыкать к последним переменам в муже, замечала, что с ним случались какие-то внезапные и быстро проходящие приступы злобы и раздражительности, он кричал на детей или неделями не замечал их, и дети это чувствовали и не подходили к нему, и только на приемыша Егорку почему-то не распространялась Захарова тоска. Именно в эти минуты Захар брал Егорку к себе на колени и с лаской вслушивался в лопотание черноголового шаловливого мальчугана. Пожалуй, одна Ефросинья угадывала своим бабьим сердцем состояние Захара, но молчала, хотя ей и хотелось подчас приступить к нему и облегчить свою застарелую боль воем и криком, и только бабка Авдотья, по праву матери, не стеснялась в такое время в обращении с Захаром.

Она гнала его работать по хозяйству, привезти дров или почистить в хлеву; бабка Авдотья ревновала приемыша Егорку из-за родных внуков, в моменты глухой отцовской тоски старавшихся не показываться ему на глаза и исчезавших из хаты в теплое время года или жавшихся по углам в зимние холода, когда одежи

и обувки на всех не хватало и волей-неволей приходилось отсиживаться дома. Всякий раз, увидев Захара с Егоркой на коленях, бабка Авдотья отыскивала какие-нибудь несуществующие заботы, разговаривая громко и ворчливо, и у нее сразу находилось множество дел, и она звала старших внуков Ивана и Аленку, заставляла тут же посреди избы Ивана драть лучину на растопку, а Аленку чесать лен, приставала к молчаливой Ефросинье, попрекая ее ведерными чугунами, которые приходилось ворочать и толкать в печь, а затем подступала к сыну, сидевшему где-нибудь на лавке с Егоркой.

— Ну а ты что, сыночек, сидишь? — спрашивала она тихо и ласково.— Что ж, неможется, так я травки отварю, у тебя какая хворь подступила, а, сыночек?

— Отвяжись, старая, ну чего тебе надо? Здоров я,— хмуро отзывался Захар, тоскливо косился на двери, оглядывая свое многочисленное семейство.— Посидеть минуты не дадут, неймется тебе, мать...

Бабка Авдотья умолкала на минуту, но лишь для того, чтобы зайти с другого бока и придумать что-нибудь еще позанозистее.

— Дед Макар-то, сосед наш,— говорила она,— с утра нынче полозья на салазки парит да гнет. Малец этот, Илюшка, с ним, кругом вертится. Лукерья кричала через плетень, в базар торговать поедут, салазки-то хорошо идут. Ты бы, Захар, тоже приловчился, а то вон у Аленки верхняя одежа совсем проносилась, в школу-то стыдно бегать, тринадцатый год девке. Экий ты неловкий родитель! Да и Ивану обувку какую надо, другие давно лапти не носят, а он все в лаптях да в лаптях, стыдно ему, поди, перед другими.

Захар угрюмо молчал, и бабка Авдотья притворно вздыхала.

— Не хотел хорошей жизни на председательстве, сынок, теперь и посмирнее-то надо быть перед людьми да перед собой, можно и травкой постелиться, ничего, от поклона не переломишься.— Бабка Авдотья шла все дальше и становилась безжалостнее.— Поклониться для дела не грех, хата вот валится, гляди, угол над печкой совсем просел, а на потолок и лезть страшно, того и гляди задавит. Сходил бы в сельсовет, к Михею, попросил бы лесу — кум он тебе, гляди, и не откажет, слава богу, теперь не этот городской бес сидит (старуха имела в виду Анисимова), сам мужик, нашу мужицкую

голь-нужду и поймет. Кулик, председатель, на той неделе встретился, сам о том разговор завел — строиться вам, говорит, бабка Авдотья, надо, пусть бы Захар зашел потолковать.

Захар молча снимал Егорку с колен, легонько отталкивал его от себя и, захватив топор, уходил во двор; ему становилось не по себе от разговоров матери, тем более что ничего ей нельзя возразить, права была старуха: и дети хуже других на селе ходили, светили латками да дырами, штаны передавались от одного к другому, от самого Захара к Ивану, затем укорачивались на младших, и под конец уже не было на них живого места, да и хату надо было ставить. Каждую зиму, несмотря на защиту из кулей соломы, которыми он плотно обкладывал ветхие, глухие стены, ветер гулял по избе, и дети непрерывно кашляли, и то и дело приходилось таскать их к фельдшеру, особенно слабосильного Николая; Захар затравленно шатался по двору, отыскивая себе дело, и уже совсем звериная тоска охватывала его.

А с полгода назад, в марте, когда уже к полудню появились у крыльца лужи и куры дружно пили из них, Захар, после очередного, особенно въедливого разговора с матерью, потому что картошка в погребе, главная еда в семье, кончилась, а он все отказывался идти к Куликову просить помощи, выскочил во двор в слепой ярости, ударил несколько раз тяжелым кулаком в угол избы и увидел, что торец бревна на глазах разъехался и выпал истлевшими, источенными червем кусками; он поглядел на них в недоумении, втоптал в грязный снег и заскочил в сарай, где за перегородкой шумно перетирала жвачку Белуха с обвисшим животом, принесшая уже двенадцать телят и готовившаяся к появлению очередного. Впервые беспросветное отчаяние охватило Захара, тяжкие и дрянные мысли шевелились и рвались в разгоряченной голове. «Да что же я, да в чем же я виноват? — думал он, притиснувшись лбом к суковатой решетке.— Можно было сдержаться тогда в райкоме, теперь знаю, надо было сдержаться, хоть язык прокусить, да смолчать; нечего с собой в жмурки играть, не в полный размах своих сил приходится жить, не сдержался тогда, теперь винить некого. Что ж теперь делать? И молчание бабы своей выносить больше не могу, не могу и Маню забыть, Илюшка больше всех остальных детей дорог, в сердце врос, а сыном не назовешь, только издали и увидишь». Он вспомнил, как с месяц

назад, возвращаясь в воскресенье с крестин у Микиты Бобка (Ефросинья приболела, и он ходил к Бобку один), он не выдержал, среди ночи пробрался в сад Поливановых и долго, стыдясь себя, торчал под окнами той половины, где жила Маня, и наконец заявил о себе особым стуком в глухое окошко, выходившее в сад; долго стоял у задней двери на пронизывающем ветру, и когда за дверью послышался живой шорох и дверь приоткрылась, он проскользнул в темноту сеней, и тотчас руки его натолкнулись на теплые под шалью плечи Мани.

Она тихо отступила, затем вытеснила его из сеней.

— Уходи, Захар,— вздрагивающим, незнакомым голосом сказала она.— Что же мне теперь, и домой с завода из-за тебя не показываться? Чего ты за мной следишь, чего следишь? Я — слабая баба,— поддаться могу... А ты? Ты? Чего тебе надо, окаянный? Хочешь, чтоб я мот на себя накинула?

— Маня, брось, да ты что?

— Уходи, я тебя рядом вынесть не могу, опостылел, мне зарей назад, на завод надо. Дай дух перевести.

Он отступил назад, в темень, чувствуя, как глухо и сильно колотится сердце; хорошенько бы стукнуть бабу, чесались руки отчаянно. До этого он держался больше чем полгода, но теперь хорошо сделал, что пришел к ней, вот теперь-то и настал полный конец всему между ними.

Было время, и оба они, утомленные и счастливые, стояли над кроваткой спавшего сына, и Маня говорила и говорила, что она и без того самая счастливая на свете, говорила и плакала от радости, что рядом с ее сыном стоит его отец, с безграничной мужской властью над ней, над ее жизнью, и что ей больше ничего не надо, а то все в ее жизни рухнет и смешается. Вот так оно и случилось, подумалось ему, вот и угадай, отчего все так перепуталось и где чему начало и конец. Нету за ним больше никакой вины, а жить труднее и труднее; вернувшись в ту ночь к себе, он разделся и впервые за последний год лег к жене, с трудом выдавив привычное «подвинься».

— Ты что, ты что? — спросила она испуганно, пытаясь в первые минуты освободиться от его рук, потом они лежали рядом молча, по-прежнему чужие и далекие друг другу.

Захар оторвался от решетки и, освобождаясь от воспоминаний, посветлевшими глазами поглядел на вздыхавшую от распиравшей ее изнутри новой жизни корову, затем со спокойной, звенящей тишиной внутри себя отыскал пеньковые вожжи в углу сарая, развязывая их, примерился к расстоянию от балки до земли; он помедлил, решая, хватит или нет, но для верности прикинул это расстояние каким-то обломком, подвернувшимся под руку, и опять убедился, что *хватит*! Он делал все размеренно и спокойно. Принес со двора обрубок, на котором он сам и Иван рубили дрова, установил его под балкой торчком, затем внимательно осмотрел веревку. Веревка была поношенная, и он, сильно подергав, постепенно разматывая ее, убедился в ее крепости. Он уже хотел перекинуть ее через балку и завязать и в этот момент услышал легкий, осторожный скрип двери сзади; он подумал, что ее шевельнул ветер, но тут же резко оглянулся; в просвете двери перед ним стоял его старший сын Иван, длинный, тонкий, уже дотягивался до его плеча (Ивану в то время шел двенадцатый год), и Захар почему-то сначала увидел его ноги, лапти, дерюжки, длинные ноги мальчика, и только потом его лицо, темные длинные брови, пухлый рот, но где-то именно в этих губах и у глаз уже зрела, проступала мужская жесткость и сила.

— Что тебе? — зло крикнул Захар, чувствуя в затылке мучительно подступивший нестерпимый зуд.

— Поговорить хотел с тобой, батя,— сказал Иван, глядя ясно и прямо; он вошел в сарай, оставив дверь приоткрытой, и в эту узкую полоску рвалось мартовское солнце, Захару больно было смотреть в ту сторону.

— Говори, раз приспичило,— напряженно согласился Захар, присаживаясь на чурбак и не спуская с сына ищущего взгляда, и глаза у него были непривычными и пустыми.— О чем ты говорить-то хочешь? Может, мать заставила? — спросил Захар с той, иногда бездумной жестокостью взрослого, которая приоткрывается в тяжелые моменты от пропущенной и неожиданно заявившей о себе жизни; Захар словно в первый раз увидел зардевшееся лицо сына, уловил его робкое, вынужденное движение к себе и сам смутился; подумал, что совсем не знает парня, не знает, как он растет, и что думает, и чем занимается, и о чем хочет говорить с ним,

и новая волна хлынула в него, растапливая ту ледяную стену, что встала вначале между ним и сыном.

— Нет, мамаша не просила,— сказал Иван по-взрослому, тихо и спокойно, и по-прежнему почему-то продолжая глядеть на веревку, которую отец машинально комкал в руках.— Я вот о чем, батя... Петька Бобок в городе в воскресенье был, его отец взял, говорит, что объявление на заборе читал, в четыре военных училища в Холмске ребят берут. Мне недолго осталось...

— Подожди, подожди, как это — недолго. Ну что ж, давай поговорим,— отозвался Захар, со смутным волнением и интересом присматриваясь к сыну и замечая в нем все новое и новое, неизвестное для себя, и стараясь припомнить хоть что-нибудь из прошлого, что както связывало бы их, и не мог этого припомнить. Он подумал, что сын конечно же знает и о нем, и о его отношениях с Маней, в его годы и он обо всем таком уже знал, и наконец опустил глаза, засуетился, стал собирать веревку в кольцо, связал ее и отбросил в угол.—Хотел вот кое-что поправить тут,— неразборчиво пробормотал он,— ладно, найдется время... Строиться начнем с весны,— неожиданно хрипло от волнения сказал он,— завтра пойду в сельсовет, о лесе потолкую с Михалем... А что в училище куда... так что ж, это хорошая думка, давай, Ванька, давай расти... Да ты послушай, это же хорошо, в училище, а примут?

— Примут, Бобок говорит, с восьми классов объявлено,— сказал Иван, в свою очередь глядя на отца во все глаза и неосознанно жалея его сейчас за какую-то неизвестную слабость и суетливость.— Ты, батя, не думай ничего такого, я ведь так, я ничего,— неожиданно вырвалось у Ивана, и он мучительно ярко покраснел, потому что увидел неожиданно благодарные, какие-то светящиеся глаза отца, устремленные к нему в смятении.

— Ты о чем это, о чем? — пробормотал Захар и встал, сутулый и сильный, неловко затоптался на месте.— Ты о чем это, Иван?

— Да ни о чем, батя, я так, так, понимаешь, мне показалось... вроде ты как виноватый глядишь, а я ничего.

— Ты это потом поймешь, Иван,— напряженно, как взрослому и равному, не опуская благодарных глаз с сына, сказал Захар, все время боясь, что сын отвернется, но Иван глядел смело, и пришел момент, когда все

рухнуло и смешалось; Захар, как-то косо, словно его душило, повел головой, задавил звериный всхлип, заплакал и затем, не стыдясь горячих слез, ползущих по заросшим щекам, помимо воли, шагнул к сыну, притянул его к себе и прижал во всю силу, и Иван, подняв к нему изумленное, надломленное лицо, тоже заплакал от какого-то прошедшего по всему его телу счастья и, стыдясь своих слез, не мог оторваться от отца, впервые на его памяти обхватившего его руками.

— К весне мы тебе как-нибудь сапоги соорудим,— сказал Захар, положив ладонь на лохматый затылок сына и больно прижимая его щекой к плечу, потому что он не хотел в этот момент, чтобы сын увидел его лицо.— Знаешь, такие жениховские, гармошкой, идешь по улице — поскрипывают...

— Лучше матери что-нибудь,— отозвался Иван глухо, со взрослой рассудительностью.— Аленке надо, девка... А мне зачем сапоги-то, до училища дохожу, там в казенные обуют...

— Все будет, Иван, и им хватит, в этом году трудодень будет хорош,— сказал Захар Дерюгин хрипловато, в подъеме ожесточения и радости перед каким-то еще небывалым и еще не вполне ясным ему прозрением.— Ты на меня сейчас не гляди, у каждого слабина может подступить. А род наш, Иван, дубовый, в землю на версту кореньями прошел, главный корень пропадет — ничего, другие в свой черед ветвиться начнут, матереть. И так, пока земля стоять будет, Иван, и все это во тьме, без громкого шума да голосу. Земля, Иван, великую силу имеет. Гордость свою под ноги никому не кидай, люди, они тоже разные, бывает кому сладко раздавить да на подошвах разнести, вот о чем всю свою жизнь помни, Иван! Нам бояться нечего.— Захар говорил, и слова к нему приходили какие-то дорогие и складные, и понимал он их сейчас сердцем, и хорошо и больно ему было, что рядом — сын, стоит, замер: пусть он всего не поймет, дело не в этом.— Тебе, сынок, еще топать да топать, шлях твой в зарождении. Встретится и такое дело, будешь любить его больше себя, никому чужому не давай в середку влезть... Друзья найдутся, сынок, души будешь не чаять в них, а при первом трудном деле они тебя легонько да незаметно не в ту сторону и толкнут... в грязь да в болото. Выбирай себе друзей не по выгоде, по сердцу выбирай, Иван! Враги будут у тебя,

не жмурься, бей прямо, не жди, не ударишь первым, самому в провал лететь, сынок...

Захар отодвинул от себя сына, потому что мог теперь спокойно и прямо глядеть в лицо ему; пронзительный взгляд отца смутил Ивана, и он промолчал.

Они вышли из сарая, рыжее мартовское солнце понемногу топило старый, слежавшийся снег, наполняя глаза густым сияющим светом, и оба они, и отец и сын, почувствовали первое, тяжкое дыхание близкой весны.

11

В ту же самую весну, когда строительство большого завода под Зежском набирало силу и держало в напряжении всю округу, Аким Поливанов как-то в разговоре со своей женой Лукерьей в раздражении попрекнул ее беспутной дочкой, чего Лукерья, баба покладистая, но горячая («с затинком» — говорили о таких в Густищах), стерпеть не могла.

— А ты чего меня коришь? — спросила она голосом, близким к большому крику.— Чего, чего, батюшко? Ты ей отец али как? Али ее ветром надуло? Ты меня какую взял, забыл уже по старости али как? Я тебя после венца только подпустила, хоть и раньше головушку у меня мутило от тебя, кудластый идол! Вспомни, как мучился, облапишь, бывало, сожмешь, белый свет колесом. Ан нет, ан нет, ничего у тебя не вышло, чего же ты в укор? А может, от вашей это породы у нее?

— Как это — от нашей? — оторопел Поливанов.— Мели, мели, баба, да удерж знай. Ты — мать, приглядывать было надо, а не лясы точить у горожи!

— Приглядишь за девкой, коль она сама за собой не доглядит.— Лукерья сморщилась, на всякий случай заплакала, утираясь ладонью.— Знать, доля ее такая несчастная вышла, все под богом. Что он назначил, тому и быть.

— Бог! Бог! — рассвирепел Поливанов, выкатил глаза.— Ваше бабское окаянное племя что хочешь богом заткнет. Чего ей, скажи, не пойти за Волкова, ну, вдовец он, двое детей, ладно, а чего ей-то ждать? Мужик в силе, тридцать семь лет, он со всей душой к ней, видно же, не слепые. Что она тебе говорит?

— Неразумную девку, батюшко, слушать — попусту воду мутить,— отозвалась Лукерья, жалобно сморка-

ясь.— Не пойду, вякает, и все, а неволить станете, заберу Илюшку, навсегда, говорит, на завод подамся, не без добрых людей, проживу.

— Илью она, блядина дочь, не получит ни в какие разы! — закричал Поливанов, любивший именно этого внука с какой-то болезненной, затаенной страстью.— Илюшка в любом разе при мне останется, сама пусть хоть на все четыре стороны блуд свой срамной волочит!

— Тише, тише, батюшко,— перекрестилась Лукерья.— Что ты! Ить своя кровь, родная! Греха не боишься? Так хоть меня пожалей, я с тобой жизнь промыкала с пятнадцати, считай, лет,— она опять заплакала, теперь уже вовсю, а Поливанов забегал взад-вперед, от печи к переднему углу, приглядываясь, на чем бы окончательно сорвать зло.

— Ну будя, будя тебе! — сказал он в раздражении.— Что воды-то пустила, пол прогноишь. Сам с ней разговор поведу.

— Боюсь, Аким, не взъярился бы, ты тихонечко с ней, поласковей, у ней и без нас душа стылая, окаменела. Кому, как не нам с тобой, пожалеть?

— Я ее пожалею,— буркнул Поливанов, и, видя, что гнев у него схлынул, Лукерья облегченно вздохнула про себя, помолилась благодарно в душе и опять захлопотала по бесконечному бабьему хозяйству, а Поливанов, взгромоздившись на лавку, насупился, обдумывая предстоящий разговор с дочкой.

Мужик он был спокойный и рассудительный, но сейчас ничего не шло в голову, и он злился; когда с улицы прибежал Илюша, красный от гнева, и стал жаловаться бабке на сыновей Захара Егорку и Николая, чем-то обидевших его, Поливанов цыкнул на него, и Лукерья торопливо увела внука на вторую половину. Поливанова это раздосадовало еще больше; он принес из сеней пару хомутов, вар, дратву, шило, надел холщовый фартук и принялся чинить хомуты; за работой он понемногу успокоился и уже жалел, что цыкнул на внука и обидел его, надо купить ему на базаре конфет и какую-нибудь свистульку, ребенок-то ни в чем не был виноват, мать с отцом он себе не выбирал и в карты не выиграл, а раз появился он на свет от родной дочери, значит, он, Аким Поливанов, и в ответе за его жизнь, и ни бог, если он есть, ни люди не освободят его от этой ноши. Да и не надо ему такого освобождения. И тут он смутно и откуда-то издалека почувствовал и свою вину

за судьбу дочери и даже крякнул от досады; уже который раз он вспоминал, как все началось (а думал он об этом часто, хотя не признался бы в своих мыслях никому на свете); он отложил хомут и сидел, незряче уставив глаза на лавку со скорняжным инструментом; что ж, коли по-божески, так он сам себе кару и сотворил. Он-то видел, к чему дело клонится, да ведь и сам он не из железа, дрогнул в то смутное время, сквозь пальцы и глядел на дочку с Захаром, когда тот в председателях ходил. Никто не знает, как ему было люто, он бы этого Захара мог в темном углу топором зарубить и не охнуть. Силы-то хватило выстоять, да вот теперь колом в горле застряла обида, хоть другие и в Соловках где-то заживо гниют.

Вернулся со двора, где он прибирал, дед Макар, перекрестился на иконы и, не замечая сына, бормоча что-то себе в бороду, стал стягивать, сопя и охая, полушубок, подошел, сел на лавку рядом; Поливанов недовольно подвинулся.

— Весна ныне рано грозится,— заметил дед Макар.— Снег запа́х, и гуси греть сели. Гляжу, гусак недовольный ходит, кричит, овдовевши, холера. И конопатины высыпали у Илюшки по морде-то, хоть подбирай ягодой в решето. А ты, Аким, отяжелел, случай какой, что ль?

— Да ничего, ничего, батя.— Не поднимая глаз, Поливанов повысил голос, чтобы отец слышал; видимо, от присутствия рядом старого, почти древнего человека, который в свое время дал ему начало и что за давностью времени представить себе было невозможно, Поливанов опять взволновался.— Жизнь пошла какая-то в круговертях, все тебе в ноги норовит садануть, оземь ударить. Все чего-то строють, строють, а жить и недосуг.

— Говори, говори... Не рад будет, кто до тебя и дотронется,— с ворчливой откровенностью не согласился дед Макар.— Все у тебя справно, на ладу, внуков да внучек горохом насыпано, растут, к солнышку тянутся, не удержишь. Не гневи бога, Аким, гляди, услышит.

— А Манька-то, Манька? — спросил Поливанов, скашивая на отца пасмурный, диковатый глаз.— Одна девка горбом наросла у отца на спине, тянет книзу, людям в глаза срамно глядеть. Что ж она, так всю жизнь и будет на своем заводе? Мотается туда-сюда, сегодня пришла, глянул, одна кожа, того и гляди кость продерет... Куда это такое дело годится?

— Манька, она, понятно, того,— согласился дед Макар неопределенно.— Манька — она баба хорошая, в работе за доброго мужика потянет. Грех с ней такой приключился, оно, того... Присохла она к этому голоштаннику по-бабьи... того... Я его, было дело, срамил, да ведь и сам был молодым, и ты, Аким, мужицкое дело прошел... оно того... Удержа-то и не осилить в самый сок. Тяжелое дело... здоровое, тут, поди, и суди...

В устранении от всяких человеческих страстей и радостей, в ожидании смерти (о ней дед Макар теперь говорил охотно и помногу), старик поневоле рассуждал как бы со стороны ко всему и не кривя душой, с ним было трудно не согласиться. Поливанов, точно, по себе знал о той безудержной, слепой тяге к приглянувшейся бабе, но сейчас ему были не по сердцу слова отца; он жмурился и молчал и опять принялся чинить хомут, привычно пахнувший застарелым конским потом, и ноздри у него раздувались от невольных воспоминаний молодости, от тайного согласия с рассуждениями отца; много дум ворочалось в голове у Поливанова, и он почти не слышал отцовского голоса, еще долго толковавшего ему о чем-то.

На половину дочери он пришел в сумерки, когда уже горела лампа, и тут же выпроводил Илюшку к бабке; Маня шила сыну рубашку из тонкого льняного холста, и перед ней стояла на столе старая швейная машинка, лет десять тому назад Поливанов купил ее дочери в приданое. Поливанов подошел к топившейся печи, столбом сложенной специально для обогрева, покосился на широкую застланную постель, и дочь еще ниже угнула голову над шитьем. Поливанов поправил свободную у стола табуретку и сел.

— Слышь, дочка,— сказал он, кашлянув.— Пришел я поговорить с тобой.

— О чем, батюшка? — тихо спросила Маня, и Поливанов невольно залюбовался ее чистым, свежим лицом; Маня была красива, широкой кости, и Поливанов гордился этим.

— Есть нам о чем поговорить, дочка,— сказал Поливанов,— вот хоть бы о том, как ты дальше жить думаешь, мать-то с отцом не вечны, а тебе и двадцати четырех нету. Вот и скажи мне, на какого ты бога надеешься, каким манером ты свой век мыкать решила.

— Живу, батюшка, как-нибудь и дальше жить буду, мальчонка растет,— чуть слышно сказала Маня и под-

няла сумеречные, наполненные тихим светом глаза.— Не надо, батюшка, нехороший у нас разговор может случиться, мне и без того тяжко. Не от добра на завод кинулась, а теперь вроде и привыкла, люди там хорошие...

— Вот потому и пришел,— Поливанов потянулся погладить дочь по голове, да тут же отдернул руку.— Оттого и пришел, надо же с тобой что-то решать, Маня, баба ты молодая, видная, неужто весь век без мужика будешь? Или на Захара еще надеешься? Понять тебя хочу, тебе тяжело, а отцу с матерью вдвое... Ну тот же Волков Петр, чего ж ты от него воротишься? На том же заводе, что ж, и человека там хорошего нету?

— Человека найти и можно, и есть такой, да, батюшка, душа не лежит... хоть и к хорошим. Да и попрекать станет, батюшка, сейчас ходит гладко, в глаза засматривает, а как в лапы возьмет, до костей иссушит попреками... Никого я не хочу, уж лучше одна буду, а коли надо из дому совсем уйти, скажи, я уйду. А Захар, что ж, с Захаром у нас покончено.

Поливанов сжался при ее последних словах, до того они были просты и откровенны.

— Ладно, ладно,— сказал он торопливо и без прежней решимости.— Никто тебя гнать из родного дома не собирается. Другое я, дочка, вижу, хоть ты и говоришь, а никак ты с Захаром не развяжешься, нехорошо это. Что ж, у тебя и гордости никакой? Тут черт клубком все смотал, рубить надо, Маня. Кровь сочит, а ты руби, мне этот наш разговор костью в горле.

— Я Захара не виню, сама виноватая, батюшка... На меня это за какое-то прегрешение послано. Ненавижу его, и темно без него, как подумаю...

Недоговорив, она отошла в угол, в сумрак, Поливанов тоже начинал понемногу ощущать в груди густевший, трудный ком.

— Зря я, видать, тогда удержал твоих братьев, дочка,— сказал он.— Давно бы его и кости сгнили в глине на погосте.

— А за что, за что? — глухо спросила Маня.— Не пойму я, чем это Захар вам поперек дороги встал?

— Да за тебя, за срам наш семейный, вот за что,— с сердцем бросил Поливанов, тотчас уловив скрытый смысл ее слов и опуская голову под пристальным, горячим взглядом дочери.— И братьям обидно, дочка, одна сестра, а с ней все наперекосяк. Зря, Маня, если

бы надлежала нам судьбой какая беда, никакой Захар не помог бы.

— Не помог! Не егози, батюшка, перед собой-то, может, тянуло меня к Захару, когда я еще в девках ходила, да если бы не ты, не случилось бы того... Ты меня на то молчком благословил! Без слов благословил, батюшка! Не в обиде я на тебя, и теперь могу в ноги поклониться, присохла я к нему, забыть не могу окаянного, на всю жизнь присохла! Илюшке он отец! Да скажи я слово, сейчас он у меня будет, ни на шаг не отойдет. Давно добивается сняться с места, уехать куда-нибудь, это я не хочу! У него четыре души детей останутся, да мать-старуха, да Ефросинья — она ему больше моего отдала, состарилась в детях, как же ему в мир глядеть после этого? Нету моей вины ни перед кем, дайте мне жить, как я хочу, отступитесь от меня, ради бога! А то отпустил бы ты меня с Илюшкой, вон куда-то вербуют, в Сибири разные, вот и кончится вся канитель, а сердце поболит да привыкнет. Ты не хмурься: такая уж неладная зародилась у тебя, батюшка. И себя не точи червем, батюшка, что же делать, если счастье мое с воробьиный нос оказалось, да ведь счастливей меня не было. И теперь мне покойно; сама себе голова и хозяин!

Облегчающее смутное чувство чего-то неиспытанного, прошедшего в собственной жизни мимо нахлынуло на Поливанова, он бы не мог выразить этого словами, лишь смутно ощущал свое бессилие понять горькое счастье дочери, но теперь знал, что оно есть, есть, именно оно ставит дочь высоко над ним и над его страхами; по его разумению, Захар давно уже должен был выветриться у нее из сердца.

Он боялся встретиться с дочерью глазами; ему уже хотелось сказать: да бог с тобой, Маня, живи как знаешь, связал вас сатана с Захаром, затянул в узел, так уж и быть тому; людям такой узелок не осилить. Но по мужицкому здравому разумению Поливанов не мог высказать этого; он знал по своему опыту, что с годами уходит самая горячая дурь и остаются, если все складывалось хорошо, совместные заботы о детях и хлебе, остается хорошее и ровное согласие.

— Вот что, Маня, хочу я тебе сказать.— Поливанов тяжело заворочался на табуретке, поглядел на свои широкие, лопатами, ладони.— Послушай, дочка. Я Петра Волкова и его семью давно знаю, работящий, умный мужик. Ничего тебе не говорю, пораскинь в голове,

годы-то пройдут, на мой погляд, ваша с Захаром дурость кончилась. Поверь, дочка, все уходит в жизни. Илюшка вырастет, только ты его и увидишь, а век одной коротать — горькая доля. Подумай и о том, Маня, на заводе — не бабьи работы.

— Ладно, батюшка,— отозвалась Маня, но по ее лицу и голосу Поливанов понял, что ни о чем таком она думать не станет и продолжать разговор бесполезно; было уже поздно; перед тем как идти спать, Поливанов посидел на крыльце, накинув на плечи старый полушубок; вечерний заморозок давно схватил подтаявший за день снег, и по всему селу брехали собаки и слышались молодые веселые голоса — где-то собиралась гулянка. Окна светились редко и тускло, тихо легла весенняя ночь.

Лукерья с крыльца позвала мужа вечерять; Поливанов пришел в избу, когда за столом уже собралась вся семья; Илюшка сидел рядом с дедом Макаром и, чувствуя настроение взрослых, вяло ковырял ложкой кашу и обиженно сопел.

12

Возить лес Захар Дерюгин начал до воды, пока еще держались дороги и снег в лесу, а мужики были свободны от больших работ на земле. В этом деле приняло участие чуть не все село; когда Захар стал сзывать толоку вырезать и вывезти сорок пять кубометров леса, выписанных ему сельсоветом, собралось человек сорок с пилами и топорами, колхоз выделил пятнадцать лошадей, и лес в три дня оказался перед селитьбой Дерюгиных в аккуратных штабелях: осина и сосна отдельно, дуб отдельно; помочь пришел и Микита Бобок, и крестный Игнат Кузьмич Свиридов, и Григорий Козев, второй дядька Захара по матери, и Володька Рыжий, и Юрка Левша. Когда дело было сделано, на третий день вечером Захар угостил мужиков, выпили много водки и оживленно обсуждали, как Захару ставить избу, во весь разворот к улице или меньшей стенкой, боком, и во сколько венцов класть сруб, «в угол» рубить или «в лапу», и сколько потребуется для этого капиталу.

— Уж чего-нибудь из родни прикинем,— негромко, но с той степенной вескостью, когда даже тихий голос слышен всем на самом шумном сборище, сказал Свири-

дов, видя напряженное от трудных расчетов лицо Захара, и недовольно покосился в сторону шумевшего Юрки Левши; Микита Бобок, зажав в огромной ручище стакан, в ответ на слова Свиридова придвинулся к нему ближе.

— Отчего же это только родня, Кузьмич? И другие, которые в родстве не состоят, могут. Капитал капиталом, а как строиться, она, работа, главный капитал и есть. А пособить Захару никто не откажет. Да мы ему за один-два месяца любую хоромину сварганим,— сказал Микита Бобок с той уверенностью русского человека в приличном подпитии, когда все ему кажется возможным и легким и когда все планы в его сознании разрешаются с удивительной легкостью, как бы сами собой.— Завтра же и начнем,— добавил Микита Бобок.— Вот мне только топор направить надо.

Он допил остатки водки из стакана; Свиридов, никогда не пивший и не куривший, не стал вести серьезный разговор с охмелевшим человеком; да он и не мог по причине своей рассудительности думать так, как Микита Бобок; построиться было делом трудным и долгим, так оно вышло и на этот раз, хотя Захару приходили помогать охотно и многие.

По весне ему удалось только зарыть обожженные стояки да заложить дубовый фундамент, и уже только с осени, по окончании всех основных работ в поле, стали складывать сруб; как раз в разгар этого дела Брюханов наведался в Густищи к Захару Дерюгину, и если Брюханов уехал после откровенного разговора с Захаром в чем-то успокоенный и освобожденный от давней тяжести, то и Захара этот разговор упрочил и приподнял.

Брюханов уезжал из Густищ поздно; проводив гостя, Захар долго еще ходил в темноте вокруг сруба, поднявшегося до матиц, жадно вдыхая приглушенный легким морозцем запах свежей коры и щепы; завтра надо будет собрать мужиков, закатить матицы да заодно и стропила поставить, обрешетить крышу, а на той неделе, если погода подержится, можно и толоку собрать, накрыть хату, насыпать подпол да проконопатить стены; мох, солома запасены, земли подвод в десять можно за день навозить достаточно; а там, если хорошо пойдет дело, к Михайлову дню перебраться в новое жилье.

На крыльцо вышла Ефросинья, позвала его, не видя в темноте; он решил сначала не отзываться, но затем пошел к ней, высоко перенося ноги через кучи щепок и обрубки бревен и думая попутно, что нужно завтра заставить детвору собрать все в порядок, в одну кучу.

— Иди вечерять, Захар,— сказала Ефросинья, когда он подошел ближе,— все уже за столом, тебя ждут.

— Только что ел,— сказал Захар, стараясь в темноте рассмотреть лицо жены.— Ешьте сами, я вот тут думаю, что через недельку можно будет и толоку собрать. Завтра с крестным обговорю, дядьке Гришке скажу — пора уже и готовить толоку-то. В один раз ее не осилишь — народу-то человек пятьдесят надо, отмучился, и готово. По стакану — вот тебе уже и десять литров, а по другому да третьему — и тридцать. Крестный обещал борова на это дело завалить — пудов на восемь, говорит, вытянет.

Ефросинья стояла перед ним в одной кофте, зябко сдвинув плечи и поеживаясь; кость у нее была крупная, и от постоянной тяжелой работы фигура уплотнилась, но стать была прежняя, и лицо ее с широкими шелковистыми бровями нет-нет да и притягивало к себе взгляды мужиков.

После разговора с Брюхановым и выпитой водки Захар был весел, возбужден и говорлив, и Ефросинья вышла звать его к ужину неспроста; пожалуй, только дети да беспрестанная работа, не оставлявшие сил больше ни на что, еще делали возможной их совместную жизнь с Захаром, но как бы он ни таился, она всегда угадывала, если он начинал тосковать о другой, это было безошибочное бабье чутье, и она в такие дни старалась не разговаривать с ним и забиралась спать к бабке Авдотье на печь. Она знала одно: Захара в семье можно удержать только вот таким своим поведением, делая вид, что она ничего не замечает, а если и замечает, то относится к этому спокойно и с насмешкой; и на злословия баб она не обращала внимания; но где-то в самой потаенной глубине у нее тлел, не затухая, какой-то бесовский огонь; втихомолку она несколько раз бегала на Авдеев хутор, к бабке Илюте, носила ей то денег, то курицу, то кусок сала и тонкого беленого холста десять аршин, и древняя, с провалившимся ртом старушка ласково выпроваживала на это время жившего у ней с малых лет племянника Митьку, ставшего теперь уже парнем; бабка Илюта подробно выслушива-

ла Ефросинью, давала разные советы и всякие зелья, которые она потом примешивала Захару в еду, и порой ей начинало казаться, что дело идет на поправку, вдруг в муже просыпалось прежнее чувство к ней, и она тогда пугалась самой себя, снова открывая в себе нерастраченный запас любви и слепой бабьей страсти; и лицом она преображалась и становилась моложе, и в сумрачных серых глазах начинал играть затаенный свет. Проходило время, и она опять угадывала, что Захар душой не с ней, и опять чугунная тяжесть сковывала ее, в один из таких моментов она твердо решила не мучиться больше и сказать ему, чтобы он совсем ушел, но так и не хватило для этого духу.

Когда Захар Дерюгин решился ставить новую хату, словно бы все окончательно очистилось в отношениях между ним и Ефросиньей, да и в семью пришло согласие; даже маленькие Егорушка и Николай видели, что жить дальше в старой завалюхе нельзя. Бабка Авдотья экономила в пище и все сокрушалась, что это не семья, а прорва, картошки одной уходит по пудовому лукошку в день да хлеба два каравая; если прикинуть на толоку, и совсем можно по миру пойти.

Вернувшись с работы и узнав от свекрови, что у них был Брюханов и что Захар выпивал с ним, Ефросинья ничего не сказала Авдотье, но как-то сразу осунулась и помрачнела; она уже успела заметить, что, выпив, Захар начинал тосковать, и знала причину этой тоски, она ненавидела его в это время лютой бабьей ненавистью, и в ней сразу зашевелилось, проснулось все застаревшее. «Ведь все равно не выдержит,— год пройдет или два»,— подумала она горько, помогая свекрови собирать на стол; она вышла позвать его ужинать сама, стыдясь послать кого-нибудь из детей; она была твердо уверена, что его и след простыл, и, услышав голос Захара, как-то вся обмякла. Он подошел и что-то говорил, она его не слышала, ей сейчас было все безразлично: и новая хата, и слова Захара, да и сам он.

— Поговорить бы нам надо с тобой, Захар,— неожиданно твердо сказала она.— Ивану до жениховства уже недолго, Аленка к невестам подбирается, надо бы и нам поговорить.

— Придумала на ночь глядя,— не сразу отозвался Захар.

— Есть о чем, Захар,— с непривычной настойчивостью глядела она на него, и он, с удивлением вслушива-

ясь в ее голос, как-то сразу понял, что поговорить им придется.

— Иди поешь,— согласился он,— поешь и выходи, ждать буду. Покурю пока тут.

Ничего не сказав, Ефросинья повернулась и ушла; Захар сел тут же на приступок, достал кисет и долго скручивал цигарку, редко и низко над землей светились окна, недалеко, видать, возле клуба, девки голосили песни, и балалайка вызванивала; хмель проходил, и Захар все больше удивлялся неожиданному повороту и своему положению. Жена его озадачила, сколько лет молчала и тут решила заговорить! «Да о чем это мы будем с ней толковать среди ночи,— подумал он,— нужно было не соглашаться». Он стал вспоминать подобное из прежней жизни и не смог вспомнить, но настроение изменилось; какая-то щемящая тоска прихлынула к сердцу. «Жизнь, если без дураков, надо считать, прошла, а что хорошего он видел? Да и она,— подумал он о жене,— кроме детей и работы, тоже мало что имела; первые года два-три и посветлее было, а затем и вспомнить нечего. Замечал ее только ночью, когда глаз не было видно, а затем выбрали председателем, и вовсе колесом покатилось; а вот сейчас, словно камень или дубовая колода, лежавшая у завалины с незапамятных времен, заговорила; даже какая-то оторопь прошла по телу». Захар подумал, что боится предстоящего разговора, и, подбадривая себя, скрутил новую цигарку, но зажечь не успел; стукнула дверь, и на пороге показалась Ефросинья уже в своей всегдашней короткой кацавейке, в платке; Захар встал и молча ждал.

— Пойдем где-нибудь на бревнах посидим,— сказала Ефросинья по-прежнему с той твердой ноткой в голосе, так его поразившей недавно.

Опустив плечи, она пошла вперед, не оглядываясь, сама выбрала место на лежавшей возле нового сруба неошкуренной сосне, предназначенной на матицу, и первой села; Захар опустился рядом.

— Цвела, цвела черемуха, Захар, облетела, ветром ударило,— с задавленным вздохом начала она.— Пора пристала, надо нам что-то решать. Я тоже не каменная, ждала, ждала, да и ждать перестала, первым ты этого не осилишь, хоть и мужик. А может, тебе так ловчее кажется, может, ты и на все время решил на два двора...

— Подожди, подожди, Фрось, с чего ты это? — запротестовал он.— Был грех...

— Был, говоришь? Ладно, Захар, я ругаться с тобой в крик не хочу, такой уж, видать, уродилась. Я бы, может, и делила тебя пополам, уж недолго оно и осталось. Дети вот выросли, пока ты куражился, они и поднялись. Не знаю, как тебе, а мне в глаза им показаться срамно, большие, понимать стали. Иван в парни выходит, об Аленке не говорю... Надо тебе решать, порешишь уходить, богом тебя заклинаю... Твоя жизнь тоже не сладкая, что ж нам мучиться друг подле друга? Уходи и ты на строительство. Вон о нем только и разговору на селе. Деньги там, жизнь легкая. А мы проживем, пробьется в тебе искорка божья, поможешь когда, а нет, и не надо, не старое время, с голоду на миру сдохнуть не дадут. Поезжай, уехать тебе надо, а то нехорошо выходит. Вроде с недавнего времени и дома ты, да по-чужому ты дома. Души в тебе прежней хозяйской не осталось, заместо ее один лед. Не могу я так, Захар, больше,— призналась она.— Износилась, остарела, а она — молодая, отец с матерью в белом теле выдержали, мне не угнаться. Не хочу и гнаться, заморилась я от такой жизни, Захар.

— Тебе, значит, дети дороги, а мне — нет, Фрося,—сказал Захар с невольной обидой, хотя отлично понимал, что обижаться ему не на что и нельзя.— Вот как ты вопрос поворачиваешь, Фрося. Не знаю, что тебе сказать. Давай мы так договоримся: избу надо в первую очередь поставить, в старой развалине ребятам никак дальше жить нельзя. Когда-нибудь возьмет и задавит все наше потомство. Не молоденькие мы с тобой, Фрося, горячку пороть не приходится. Виноват я перед тобой, это верно, отрекаться не буду.— Захар говорил, проникаясь все более острой жалостью и к жене, и к себе, и эта жалость не была осознанием какой-то своей вины; вины за собой он никакой не чувствовал и не мог чувствовать; он любил и продолжал любить Маню, хотя теперь не знал точно, любит он ее больше или ненавидит, но он не мог именно теперь расстаться и со старой семьей, он бы стал вполовину беднее; он глядел иногда на тянувшихся, словно вперегонки догонявших друг друга сыновей, и ни с чем не сравнимое чувство гордости и грусти охватывало его; пусть он не сделал на земле больших дел, повезет им, вот этим, горластым и драчливым, уже умеющим постоять за себя, не может быть так, чтобы хоть одному из них не выпал на долю козырной туз, а это и будет ответ на его

неудавшуюся, пошедшую в витой перекосяк жизнь. Фрося не могла и не должна была понять его, баба и есть баба, а ему подчас хотелось заполнить собой весь мир, казалось, что его хватило бы не то что на двух — на всех, и никому в отдельности не в убыток.

Захар подвинулся к жене, слегка обнял ее за плечи; она сидела не шелохнувшись; хотела сказать мужу большое и важное для них обоих и для детей, да так ничего у нее и не получилось, и от своего бессилия она устала больше, чем от тяжелой дневной работы; она понимала, что все останется по-прежнему, есть в жизни непонятное, какая-то своя правда была на стороне Захара, и он не волен переменить или нарушить ее.

— Пойдем спать, Фрося,— попросил Захар, поднимаясь.— Ты сейчас ни о чем не думай. Все у нас с тобой есть. А дальше дело будет видно.

— Пойдем,— вздохнула Ефросинья,— только попомни мои слова нонче. Я тоже тебе не каменная, подломиться могу. Как на духу признаюсь, нечистый порой одолевает, зарезать или еще как сгубить тебя готова.

— Дожился мужик! — остановил ее Захар коротким смешком, и опять мгновенная мысль, что до этого часа он не знал ее, сверкнула в нем.

— А ничего, ничего, Захар,— Ефросинья тоже встала, шагнула к нему.— Помнишь, как Макашина Федьку в город повез, помнишь? Кто-то голову тебе тогда проломил. Прости господь, молила я его, чтобы совсем он тебя прибрал. Знать, от злобы моей не дошла молитва, а могла бы, не разорвись душа надвое. А то одна половинка одно кричит, а другая — супротив: спаси его, господи, спаси, какой ни есть, отец он детей моих, сиротами измыкаются. Вот так, Захар,— закончила она каким-то сорвавшимся, зазвеневшим от затаенной силы голосом.— Делить тебя на две половинки я больше не буду. Все, Захар, не та я теперь, сила какая-то разрослась внутрях, не стерплю, не сладить мне с ней.

Задавив подступившее рыданье, она пошла к избе; полная темнота и тишь охватили село, смутные голоса и шорохи пронизывали эту тишь: в укромных местах затаились молодые пары, нет-нет да и выдавая себя тихим, сторожким смехом; Захар стоял, оглушенный последними словами Ефросиньи; баба, она что кошка, думал он, как хворост вспыхивает, когти наружу.

А притронься чуть к шерсти, тут же и замурлыкает, тереться станет.

И все-таки какая-то невольная дрожь еще и еще раз прошла в нем, холодя, когда он думал о словах жены, слишком откровенно, из какой-то пугающей глуби они прозвучали.

День выпал удачный, с легким морозцем поутру, с ясным, к полдню вовсю разгоревшимся солнцем; еще в седьмом часу, когда только начало рассветать, к Захару пришли крестный и второй дядька Григорий Васильевич Козев; сразу порешили, что крестный будет распоряжаться всей толокой и расставлять людей по работам; Григорий Васильевич, у которого была просторная изба на две половины и у которого готовились гулять после толоки, взялся руководить приготовлением обеда; сам Захар тоже должен был следить за порядком на работе, чтобы люди не стояли, и определенной обязанности ему не назначалось. Едва они успели переговорить, Захар сразу послал Ивана на конюшню, узнать, запрягают ли уже мужики лошадей; не успел Захар окончательно договориться обо всем с крестным, как послышались веселые крики и громкий стук колес по мерзлой земле; первым подкатил Юрка Левша, стоя на полусогнутых ногах в телеге и крутя концами вожжей над головой. Он с ходу резко осадил, лошадь припала на задние ноги, и хомут почти наскочил ей на уши. Юрка спрыгнул, поправил сбрую и пошел к Захару.

— Здорово, хозяин! — крикнул он еще издали.

— Чего фордыбачишь с конем? — недовольно спросил Захар.— Машина и та уважения требует, здесь тебе живая тварь.

— Попробуй его, черта, уломать, отстоялся, не удержишь. Эх, будет сегодня потеха, ты смотри, жарят.

К селитьбе Дерюгиных сразу подкатило несколько подвод, стали сходиться люди с ведрами, лопатами и топорами, и с этого часа Захар завертелся как в колесе, везде нужно было успеть, распорядиться, чтобы люди зря не томились, а делали нужное дело. К селитьбе Дерюгиных сошлось чуть ли не все село, и вокруг нового сруба было тесно от людей и подвод. Четырех баб Захар поставил конопатить стены, затем добавил к ним еще двух, остальные таскали воду из колодца, грели ее в железной бочке и готовились месить глину;

желтую жирную глину уже начали подвозить и ссыпать в кучу на ровном, расчищенном специально для этого месте; к десяти часам работа кипела уже вовсю; одни подвозили землю, другие тут же скидывали ее через проемы окон в сруб, поставленный непривычно высоко, и земли для насыпки было нужно много; тут же во всякой посуде таскали из бочки воду для замески глины, молодые бабы, несмотря на холод, разувшись, подоткнув подолы широких юбок выше колен, месили глину ногами, подсыпая в нее рубленой соломы, Микита Бобок и Володька Рыжий, считавшиеся по кровлям первыми мастерами в Густищах, крыли крышу, проложили снизу доверху зачинок и пошли от него в разные стороны, соперничая друг с другом в ловкости и мастерстве; крыли они отборной, цепами обмолоченной соломой, под глинку, и двое баб длинными вилами подавали им с земли.

Сруб на глазах преображался, обрастал крышей, к оконным проемам то и дело подъезжали подводы с землей, мужики лопатами споро и ловко швыряли ее в сруб, насыпали пол; одновременно бабы ведрами таскали глину на потолок, обмазывали его сверху; когда пол насыпали, Аким Поливанов принялся прилаживать рамы; бабы, делавшие очередной замес, мелькали белыми голыми ногами, глину поливали теплой водой, и Анюта Малкина, красивая, сильная не по годам девка, разгоревшаяся в работе, попыталась сплясать, выдергивая ноги из вязкой массы; бабы дружно закричали на нее, замахали руками; кивая в сторону Акима Поливанова, они пересмеивались и перешептывались. К ним подошел дед Макар, поглядел, как они месят глину; бабы замолкли, затем Настасья Плющихина, отличавшаяся, по мнению густищинцев, ехидным норовом, сказала:

— Здравствуй, дед. Чего без работы стоишь-то? Давай скидывай чуни, заворачивай портки повыше.

— Свое отработал, баба, и в портках и без порток,— мирно отозвался дед Макар.— Гляжу, соломки-то побольше в глину надо бы вам, а? Соломка, она лучше держит после.

— Тебе-то, дед, чего? — прищурилась Настасья, ни на минуту не прекращая работу, поднимая и опуская круглые, полные коленки; некоторое время дед Макар глядел молча на ее ноги, и все с интересом ждали, что же будет дальше, и со стороны было похоже, словно Настасья пляшет перед дедом.

— Настюх ты, Настюх, поди, баба и есть баба, ума так и не нажила,— сказал дед Макар, поднимая тусклые от старости, умные глаза.— Я помру, ты, придет час, руки сложишь, а работа, она и есть работа, через нее-то все передается друг к дружке. Ну, возьми такое, ты замесишь глину плохо — первый дождик ее и обобьет. Чего ты тогда лытками блестишь, пот нагоняешь? Работа есть первое дело.

Бабы, слушавшие длинное рассуждение старика, неизвестно почему рассмеялись, и дед Макар сердито отвернулся от них, пошел глядеть, как обмазывают стены и ладят завалинку. Вокруг стучали топоры, сверкали лопаты, раздавался веселый смех и соленые мужицкие шутки, работа шла весело, споро и ровно. Дед Макар толкнулся туда-сюда; на куче щепы сидели сыновья Захара — Егор и Николай, они стаскивали щепу отовсюду в одну кучу и теперь сели отдохнуть, потому что работа вокруг полностью захватила их и они во всем старались походить на взрослых; увидев подходившего деда Макара, они заулыбались разом, дети любили старика, всегда говорившего с ними всерьез и не отличавшего их от взрослых.

— Ну, здравствуйте,— сказал он, останавливаясь.— Чего это вы сидите?

— Отдыхаем, дедушка Макар,— тотчас отозвался Егор и за себя и за брата.— Видишь, какую кучу наволокли, работаем.

— Куча большая,— согласился дед Макар, остановив глаза на ворохе щепы.— Рады небось в новой избе пожить? Просторно будет, и дух переменится.

— Рады, рады! — опять сказал Егор.— Батя говорил, кровати нам сделает. Ваньке и Аленке отдельно, а нам с Колькой, пока подрастем, одну вместях.

— Ладно, сидите,— согласился дед Макар,— а мне еще надо сходить поглядеть. Потом вы еще щепок потаскайте, много кругом валяется, затопчут добро, ни к чему.

Солнце вышло вполнеба, к селитьбе Дерюгиных пришли и старухи, собрались на противоположной стороне улицы, расселись на старой длинной колоде в ряд и смотрели, как идет работа, попутно покрикивая на шнырявших мимо ребятишек и подробно обсуждая, кто лучше ведет крышу, Бобок или Володька Рыжий; потом одна из них, маленькая и набожная Салтычиха, поджа-

ла тонкие губы, указала на Акима Поливанова, подтесывавшего в это время паз оконного косяка.

— Старается-то Акимушка, как свое. То-то хорошо, большая родня кругом, как у татарина. Говорят, по семь баб у одного, а вся родня в помощь идет.

— Кума, кума,— тут же повернулась к ней ее подруга, высокая и сухая Чертычиха.— Без греха на свете не бывает. Захар-то мужик видный, не всякая девка устоит. Вишь, бес, как лебедь, не осуди, глаголет слово богово, не осужден будешь. Нам о божеском думать поболе надо, скоро в землицу.

— Меня-то уж не за что корить, хоть на солнышко просвети, ни пятнышка,— скромно поджала губы Салтычиха.— Вот уж прожила, прямо по чистой стежке прошла.

— Ладно, ладно, кума, не хвались, любую копни, так что-нибудь и отскребется.

— Помилуй бог,— истово перекрестилась Салтычиха.

— Что ж ты гневишь-то господа, зря, кума,— засмеялась Чертычиха, показывая беззубый, птичий рот.— А мой-то Аникей-покойник, а? Может, ты и позабыла...

Салтычиха, как-то вся переменившись, стала еще меньше и словно выставила вокруг себя мелкие колючки, но тотчас лицо ее приняло благостное выражение.

— А что ж твой Аникей? — почти пропела она, не спеша перебирая пальцами по пуговицам своей праздничной одежки.

— Да ладно, кума, что уж ты на старости лет... Мне Аникей сам признался, смертушку почуял и признался, был грех, говорит, старуха, вот народ правду и говорит: то не кума, что под кумом не была.

— Навет, навет! — Салтычиха несколько раз мелко и торопливо перекрестилась, воротя голову в сторону церковной маковки, словно призывая ее в свидетели.— Покойничку, видать, померещилось, ну бог с ним, пухом ему земля, все там будем.

Старухи дружно рассмеялись и примолкли; одна из них ласковым голосом вспомнила, что в тихом болоте всегда черти водятся, да редко добрым людям на глаза кажутся; Салтычиха хотела обидеться, не успела, увидев идущую к ним через улицу бабку Авдотью, в теплом толстом платке в широкую клетку и новой кацавейке.

— Ишь вырядилась-то Авдюха,— неодобрительно сказала Салтычиха,— как на пасху тебе. Нос-то задира-

ет теперь, таким миром чего и хоромы не поставить, все дармовое!

— Язва ты нутряная, кума,— сказала ей Чертычиха,— нет чтобы порадоваться чужому счастью. Авдюхе ничего не надо, вот у Захара четверо, вот кому надо. Здравствуй, здравствуй, Авдюх! — повернулась она к бабке Авдотье, действительно гордой и важной от происходящего.— Ну и радость у тебя, сердце заходится. Да и то сказать, с миру по нитке, голому рубаха,— не удержалась Чертычиха, чтобы не впустить в свою медоточивую речь чуточку горчинки, но бабка Авдотья, охваченная иным настроением, ничего не заметила и вместе со своими старыми подругами стала любоваться на веселую и дружную работу, на то, как новенький сруб на глазах принимает вид жилого, богатого дома.

— Плющихина-то, Плющихина Настюха, ой здорова, ох кобыла, всего в позапрошлом году была-то как кол, ни спереду тебе, ни сзаду,— с невольной завистью заметила Салтычиха.— Мужика-то себе выбрала плюгавенького, и как-то он с нею справляется, Митек? Советовала я ему, племянничку-то, разве послушает... А теперь встречу, губы-то аж черные стали, изъездила за два года до поморoков.

— Да ведь Митяй молодой еще, для мужика девятнадцать годов — это вовсе ничего. А вот в мужицкий сок войдет, ему десять таких Настюх мало будет. Да ребят зачнет рожать,— э-э, кума, бабья доля — маков цвет, три дня ей красоваться.

К старухам незаметной тенью подошла дурочка Феклуша, в растоптанных калошах на босу ногу, легко примостилась с краю колоды; глядела на работу и что-то бормотала. Старухи при ее появлении перестали переговариваться и все вместе с жалостью и некоторым почтением перенесли свое внимание на нее; Феклуша до сих пор жила где попало, где день, где ночь, в теплое время она и вообще невесть куда пропадала из села.

Феклуша порылась у себя в узелке, который всегда таскала с собой, достала какую-то тряпицу и, вскочив с колоды, сунула тряпицу в руки бабки Авдотьи.

— На радость... на радость...— сказала она с детским счастьем в глазах.— Святая ты, бабушка, на радость... посади, посади — золотая грушня вырастет...

Внезапно наклонившись, Феклуша поцеловала бабку Авдотью в плечо и побежала прочь, только замелька-

ли ее сухие, легкие ноги в разношенных калошах; бабка Авдотья запоздало перекрестилась. Остальные заинтересованно, не зная, что и сказать, рассматривали оставленную Феклушей тряпицу.

— Покажи, что там,— не выдержала вконец Салтычиха, и, когда бабка Авдотья размотала тряпки, все увидели засохшую корку хлеба и горсть арбузных семечек и переглянулись.

— Господи помилуй,— сказала бабка Авдотья, задумываясь и не слушая различных толкований кругом.— Что с нее спрашивать — блаженная и есть.

— Хлеб — завсегда к хорошему,— Салтычиха замотала тряпицу.— Ты его в новой хате на божницу за икону божьей матери положи, добрый знак от Феклуши.

— Побегу я,— заторопилась бабка Авдотья, невольно подчеркивая, что сегодня она не ровня своим подругам, что они только праздные соглядатаи, а она — хозяйка и непременно соучастник всему, что творится.— Надо мужикам сказать, завалину бы не обнизили, подпол промерзать станет.

Ей ничего не ответили, и она пошла, необычно прямо держа длинную спину.

— И день-то, как стеклышко, на диво,— вздохнула Салтычиха, словно этот ясный день и солнце, уже повернувшее с полнеба, были чем-то ей неприятны.

13

В то время, когда людей на толоке пробирал уже седьмой пот, в просторной избе Козева из распахнутых дверей валил сытый дух, раскрасневшиеся, распаренные бабы готовили большой обед для толоки, да и в двух избах по соседству целый день дымили печи, пекли пироги с горохом и яблоками, в двухведерных чугунах, еле пролезавших в устья печей, томились жирные щи и разные каши. Козев с помощью ребятни сразу после полудня стал сносить в свою избу столы и лавки от соседей, собирать посуду, людей ожидалось человек пятьдесят, и жена Козева Пелагея Евстафьевна все суетилась и ахала, что ни места, ни еды на всех не хватит, и Козев, мужик вообще молчаливый и неразговорчивый, кивал ей, бормотал, что хватит, еще и останется, и шел по своим делам дальше. Но уже часа в три,

когда Пелагея Евстафьевна сказала, что Ефросинья чего-то не в себе, зашел бы он к ней, Козев остановился.

— Чего там? — спросил он.

— Заглянула я, а она уронилась на стол, плечи трясутся. Не стала я подходить, Гриш...

— А ты бы подошла.

— Сам сходи, боязно мне за нее — с самого утра сама не своя. То смеяться примется, то слова не добьешься, студень разбирала, глядеть-то на нее больно. Так всю и дергает.

— Дергает! Дергает! Эка слабая баба пошла! — с тем же неудовольствием в голосе сказал Козев и пошел на вторую половину своей избы, где Ефросинья в это время, вывалив в деревянное корыто вареное мясо, укладывала его на противни, чтобы слегка обжарить с луком. От корыта шел сытый пар, и Козев, подойдя, отщипнул кусочек мяса, положил в рот и стал жевать; он как-то сразу вспомнил, что с самого утра ничего не ел. Ефросинья молча продолжала свое дело, и Козев, повертевшись вокруг нее, поправил сдвинутые в ряд столы, лавки, заглянул в дышавшую жаром печь, где алела гора углей. Ефросинья, чувствуя, что топчется он возле нее не зря, стала двигаться медленнее, настороженнее; она хоть и плакала перед этим, свалившись грудью на стол, но успела заметить, как в избу заглядывала Пелагея Евстафьевна, и теперь, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам Козева, опять разволновалась и еле сдерживала судорожные всхлипы, застрявшие в горле; из всех своих родственников она выделяла именно Козева и была настроена к нему всегда с теплотой и сердечностью. Между ними установились свои, особые отношения, и, видя друг друга, они всякий раз обменивались не просто словами, между ними сразу же возникала незаметная для посторонних, но хорошо понятная им, теплая и сердечная связь; они понимали и чувствовали друг друга как люди одной судьбы и одного настроя, и Козев часто думал, что вот хороша была бы для него жена, будь он моложе и встреться она ему в свой срок; но теперь в нем говорила привязанность отца к дочери с не слишком-то счастливой судьбой. И поэтому, когда Козев вошел в избу и стал ходить, Ефросинья все поняла и почувствовала; и оттого она опять не выдержала и заплакала, обсыпая куски мяса мелко нарезанным луком, но тотчас подняла голову.

— Лук-то глаза выел, проклятый,— сказала Ефросинья, силясь успокоиться, отвернулась, и Козев понял ее.

— Зато изба новая,— сказал он.— Аленка пробегала куда-то, крикнула, что почти все готово, гляди, через часок-другой кончат. Просторно будет тебе, весело.

— Ах, господи, на кой они черт мне, хоромы, теперь! — вырвалось у Ефросиньи, и лицо ее сделалось напряженным.— Коль доли нет, так ничего уже и не надо.

— А ты терпи! — строго повысил голос Козев.— У тебя дети подрастают, им в люди выходить надо. И на Захара не серчай больно, таким он уродился. Словно и не дерюгинского роду, все с шумом норовит да с грохотом, а ведь не скажешь, что и умом обидели. Какая-то в нем боль свербит, вот что.

— Какая там боль, какая боль! Кобель — и вся боль. Ни от матери, ни от детей стыда нет. Аким Поливанов пришел рамы вделывать — да тут бы другой на Захаровом месте как-нибудь отослал бы назад тихонько, народу ему другого в селе мало, что ли? И тот, старый кулачище, тоже без господа в душе, взял и приперся, а зачем?

— Ты ладно, ладно, Фрося,— остановил ее Козев.— Жизнь, она вся вперемешку. Аким — плотник первой руки на все село, хоть рамы намертво посадит. Вот у тебя самой дочка на выросте, ты и угадай, какой она может крендель отмочить?

Ефросинья швырком, с сердцем пошуровала уголья в печи, затем вдвинула в нее противни с мясом и закрыла заслонкой.

— Я ей все косы бесстыжие выдеру, ежели что такое,— сказала она со злой непримиримостью.— Я ее из конца в конец через село за волосья потащу людно...

— Эх, Фрося, Фрося, от своей бабьей боли говоришь, прикидываешь. Не потащишь, косы целыми останутся. Вот что я тебе скажу, мне грешить языком нечего, за пятый десяток, думал много на своем веку, мудрствования разные читал. Скажу тебе, Фрося, одно: в человеке завсегда тайна сидит, от этой невыносимости ему и жить интересно, так и с Захаром... Мужик-то и есть мужик, Фрося, вот Захар твой и споткнулся. И все-таки он лучше многих нас, свету от него с избытком, от Захара-то. Ты меня понимаешь?

Она слушала внимательно, но ничего не ответила; пришли бабы собирать столы. Ефросинья увидела Аленку и окинула ее неожиданно чужим, холодным взглядом.

— Ты чего, мам? — спросила та, острогрудая, не совсем еще складная в свои неполные тринадцать лет, но уже в той первой яркости, когда дух занимается от нее, затаенно и стремительно рвущейся к свету жизни; тревога охватила Ефросинью, она впервые заметила, что дочь почти догнала ее в росте.

— Поди, Аленка, ложек с вилками еще добудь, к Прокошиным сбегай, к Самохиным,— сказала она изменившимся голосом; какая-то неожиданная боль к себе и к своей судьбе поразила ее, но была в этом ее чувстве и какая-то сатанинская гордость; да что и терпеть, думала она, вспоминая слова Козева, натерпелась, хватит. Теперь по-другому жить буду, решила Ефросинья, хотя и представить себе не могла другой жизни; просто решила, и все, но уже некогда было думать об этом — прибежали ребятишки с вестью, что толока кончилась и сейчас начнут сходиться люди; на двух половинах избы Козева закипела еще более шумная и веселая работа, а на столах появились нарезанный хлеб и студень, водка в четвертях, вареные яйца и мясо, всякие соленья и квашенья, раскрасневшаяся Аленка бегала вокруг столов, раскладывая ложки и вилки, потом ей сказали расставить миски под щи, по одной на двух-трех человек; в начавшихся сумерках перед крыльцом стали собираться мужики, еще не остывшие от работы, они с веселым возбуждением громко смеялись, шутили, вспоминали какие-то давние истории друг о друге. Стали собираться и бабы кругом Анюты Малкиной, успевшей принарядиться и вызывавшей зависть своими козловыми сапожками на высоком каблуке и большим шелковым цветастым платком. Бабы, хотя не в первый раз видели ее в этом платке, терли в пальцах тяжелую, холодную бахрому и цокали языками от восхищения.

Пришел Микита Бобок с потертой трехрядкой и, выбрав место у горожи на толстом дубовом кряже, заиграл; Анюта Малкина тотчас повела глазами, сказала бабам расступиться и, отставив руку, а другой упершись в бок, пошла по кругу и, остановившись перед Юркой Левшой, приглашая его в круг, притопнула и, покачавшись из стороны в сторону, пропела:

Милый Юра, твои кони
Под горою воду пьют,
Милый Юра, твои глазки
Мне спокою не дают.

Юрка поморгал зелеными продолговатыми глазами, посмеялся, затем бросил недокуренную цигарку, гикнул дико, по-цыгански, сдвинул фуражку на лоб и пошел вокруг Анюты вприсядку; все сдвинулись в тесный круг и смотрели пляску, Черная Варечка, жена Володьки Рыжего, пробилась и стала впереди всех и все старалась подметить, нет ли чего особенного в пляске между Анютой и Юркой, и оттого, что ничего особого не могла подметить, злилась и вертела головой, поглядывая со стороны в сторону, как бы приглашая соседей рядом разделить ее волнение и повозмущаться вместе. Ишь, ишь, что делают, ни стыда, ни совести, одна девка еще, у другого баба тут же, а они выделывают кренделя, ни людей, ни бога не боятся.

В кооперации купила
Я на блузку кружева.
Неужели я не буду
Бригадирова жена?

Припевка Анюты прозвучала озорно и насмешливо и в то же время с высокой и чистой девичьей страстью, которая не имела никакого отношения ни к Юрке Левше, ни к кому-либо еще из собравшихся, свободная и светлая девичья тоска всплеснулась над толпой и со вздохом растаяла где-то в безграничных просторах неба и земли, и все хорошо почувствовали этот сдержанный, полный просыпающейся силы вздох; дед Макар, раздвигая концом палки баб, высунулся посмотреть, и в тот же миг Анюта рассыпалась перед ним мелкой дробью, так, что ее гибкое сильное тело как бы все заструилось в трепетном, неостановимом движении.

А наш дедушка Макар —
Радиолюбитель,
Прицепил сзади к штанам
Громкоговоритель!

Дед Макар пригрозил ей палкой, но Анюта уже неслась по кругу, ловко, как бы шутя уворачиваясь от Юркиных наскоков.

Незаметно появился Тимофей Куликов, Кулик, как его все за глаза звали, председатель колхоза, поглядел через головы на танцующих и одобрительно покивал. Козев увидел его из окна, подошел, поздоровался.

— Здравствуй, здравствуй, Григорий,— сказал Куликов.— Хорошо, черти, пляшут.

— Чего им, кровь молодая, бурлит. Никакая работа не берет, сами такие были.

Куликов отвернул полу брезентового плаща, достал городские папиросы и закурил. Козев отметил это про себя; увидев Захара, показавшегося на крыльце, Куликов направился к нему.

— Ну как, доволен? — спросил он, оглядывая сутуловатую, поджарую фигуру Захара.

— Все готово, начинать бы... Ты сказал бы что-нибудь народу, Тимофей.

— Сказать, говоришь? Ну что ж, можно,— Куликов взошел на верхнюю ступеньку, подождал, любуясь и Анютой и Юркой, которые никак не хотели уступить друг другу и все жарче выплясывали; Куликов поднял руку:

— Эй, Микита, давай кончай!

Микита Бобок тряхнул головой и разом свернул мехи, скинул ремень с плеча и встал; народ придвинулся к крыльцу и постепенно затих.

— Товарищи, дорогие! — начал Куликов и, недовольный неожиданным шумом, сдвинул брови.— Сегодня у нас с вами хоть и не праздник, а все-таки хороший день. Сделали мы с вами доброе дело. Миром справились за день, а одному пришлось бы и год потеть, вот вам что такое колхоз. Тише! Тише! — повысил он голос в ответ на поднявшийся шумок.— Знаю, и раньше собирались мы на толоку, хороший этот закон — сообща помочь одному. Только вот не заметили шумливые, что и лес государством был отпущен Захару Дерюгину с большой скидкой, и вывезли его колхозом. Да и работали люди без задней думки, от души, не оглядываясь, что им за это потом перепадет. Ну что, не так?

— Так, так, председатель,— послышались в ответ ему веселые голоса.— Только соловья баснями не кормят!

— А я и хочу теперь предоставить слово Захару,— нашелся Куликов.— Я свое сказал!

Захар выступил вперед, поведя то ли от волнения, то ли от холода сутулыми плечами, обтянутыми новой сатиновой рубашкой.

— Мое слово короткое: всем спасибо,— сказал он, обводя прямым взглядом знакомых, внимательно, но поразному слушавших его людей.— Прошу, дорогие сельчане, к столу, чем богаты, тем и рады. Заходите,— посторонился он, пропуская мимо себя и Микиту Бобка с Настасьей Плющихиной, и Володьку Рыжего, и его жену Варечку с каким-то узлом, и Юрку Левшу.

— Давай, давай, заходи, Тимофей,— сказал он внезапно осипшим голосом Куликову.— Ты что, увильнуть хочешь?

— Не работал я сам,— Куликов замялся,— вот, скажут...

— Ничего не скажут, пошли, пошли...

Взобрался на крыльцо и дед Макар, отдаляя от себя теснившихся людей остро выставленными локтями и тяжело сопя.

— Вот люди, вот люди,— твердил он на ходу.— Нет, чтобы старому человеку дорогу дать...

— Ишь, дед,— засмеялся Куликов, сторонясь.

— Хороший старик... Пошли, пошли, Тимофей, никуда я тебя не отпущу.

14

В этот вечер, выпив водки, всем на удивленье, плясала и Ефросинья Дерюгина, плясала вдохновенно и отчаянно, ни на кого не глядя, и Черная Варечка от искреннего изумления полуоткрыла рот, и все остальные мужики и бабы притихли; хороша и необычна была в этом танце Ефросинья и с минуты на минуту молодела и наливалась тревожным каким-то светом, словно год за годом трудной жизни и работы сбрасывала с себя, и был тот момент, когда душа, хочешь ты или нет, раскрывается навстречу обжигающему и ясному дыханию жизни, и жжет этот ветерок, и холодит и крутит, и замирает от него сердце. Не было у нее сейчас ни детей, ни мужа, ни земли, ни неба, не было и людей, а была одна сжигающая страсть и желание освободиться от себя, от всего на свете, и когда это случилось, глаза Захара, зажатого и затаившегося в толпе, загорелись; надрывные, сумасшедшие переборы гармони Ми-

киты Бобка куда-то отхлынули, и мучительный, искрящий свет ударил в него, и как-то само собой случилось, что люди отодвинулись и он остался лицом к лицу с Ефросиньей, со своей и уже не своей женой; он принял вызов и ступил в круг, через ту черту, где все начинается сначала и нужно завоевывать все заново.

Тихо было в набитой народом избе, сумрачно светили от табачного дыма три керосиновых лампы под потолком; Ефросинья, кажется, и не заметила, что перед ней оказался Захар, она ни разу не коснулась его даже случайно, и все почувствовали ее недоступность и ее великую гордость; как-то в один момент схлестнулись и перемешались две разных жизни, и у Варечки Черной потекла из сердца к глазам расслабляющая теплота; она заморгала, по-ребячьи перекосила рот и потянула к глазам конец головного платка.

У самой печки, у двери, стояла Аленка и во все глаза глядела на мать с отцом, и она тоже словно в первый раз увидела их и незаметно для себя все больше прижималась к боку брата Ивана, стоявшего рядом, который был одинакового с ней роста; она словно хотела защититься этим от того чужого и страшного, что было сейчас в матери с отцом, не выдержав, приглушенно всхлипнула.

— Молчи, дура! — сказал ей Иван ломким шепотом, и она сверкнула на него мокрыми, в слезах, глазами.

— Сам ты дурак,— перехваченным голосом огрызнулась она и боком, боком пробралась в сени, выметнулась во двор и там, забежав за сарай, долго и безутешно ревела, сама не зная почему; а в это время, вволю наговорившись и наспорившись о жизни, о том, лучше ли в колхозе быть или в город, на то же строительство завода, подаваться, в другой половине избы Козева гогочущие мужики сгрудились вокруг подвыпившего деда Макара, тот рассказывал, как женил его в первый раз барин Авдеев на своей воспитаннице Стешке, и равнодушно чесал у себя всей пятерней под разлохмаченной бородкой; историю эту, многим знакомую, все с удовольствием слушали еще раз, и дед Макар, довольный всеобщим вниманием, удобно расположившись на лавке, несмотря на взрывы хохота кругом, даже не улыбнулся ни разу и только однажды в ответ на колкое замечание Юрки Левши укоризненно покачал головой, вздохнул.

— В голове у тебя не все установилось на места,—сказал дед Макар.— Что ты можешь понимать в жизни? То-то, ничего ты не можешь разуметь. Вот так оно и было,— продолжал он после недолгого молчания.—Иду я, значит, мимо усадьбы, а он, Федор Анисимович, барин Авдеев, сидит под зеленью на открытом месте, вино из красивых бутылок дует. Во-о, рожа красная, гладкая, усы на пол-аршина торчат, в дорогом халате по голому телу, шерсть на грудине клочьями пучится. Привидел же бог его узреть да не пропустить меня, уж и забыл, по какому это я делу мимо его хором проходил, не припомню, голову замутило. Выскакивает денщик авдеевский, значит, хвать меня за шиворот и к барину, стою я перед ним, на лапти себе гляжу, а коленки одна об другую стукаются. Ну, думаю, что же это, будто и провинностей за мной никаких, пропал. Мне тогда пятнадцать сровнялось, такой длинный вымахал, как лозина. Глядел, глядел на меня Федор Анисимович, а сам рюмку за рюмкой дует, только от заморских каменьев на пальцах блеск расходится. Глаза у него смурные, тяжелые, а сам вздыхает после каждой рюмки. А потом встал, а я-то выше его оказался — такой плюгавенький был баринок Федор Анисимович, только в ширину — как хороший бочонок. Ходит кругом меня и все оглядывает с разных концов, как лошадь на ярманке. «Чей же ты будешь? — спрашивает потом.— Не Кости ли Рыжухина?» — «Нет,— говорю,— Петра Поливанова малый старшой, Макаром звать».— «Макаром,— говорит,— это хорошо,— сам хохочет.— Думаю я тебя, Макар, оженить тотчас, и бабу я тебе подобрал великолепную». Так и сказал — «великолепную», барин-то, а сам опять давай хохотать. «Как,— спрашивает,— Макар, справишься?» — «Да чего же,— ответствую,— справиться можно, дак батька не даст жениться, молодой я еще».— «Ну, говорит, с батькой другой разговор, я ему двух коров и коня в придачу дам, только ты согласись». До той поры думал я, что шутит барин-то, а как сказал он про скотину, враз-то я и понял, что никакой тут шутки. Бедно в то время мы жили, одна коровенка на дворе, да и у той кострецы облезли. Вот как, не о бабе я подумал сразу, а о богачестве, что барин посулил. «Согласен?» — спрашивает он, а я, уже без раздумки, согласен, говорю, кто от такого откажется, разве недоумок.

Хлопнул он тут в ладоши, услал денщика куда-то и наливает мне рюмку вина — до сих пор помню, зеленое да злое зелье. Проглотил я его, а он мне закусь на вилке подает — сроду такого не видел, в желтой кожище, круглое, кислое. Взял я его и ворочаю во рту, а в ту пору денщик девку приводит, глянул я и обомлел, воспитанница то была барская, Стешка, лет семнадцати девка, вся в шелках, и духами от нее разит. Лицо, как мука, белейшее, глаза черные, горят, с великой мукой на Федора-то Анисимовича уставилась, а он словно ничего не замечает, сидит, ногою дрыгает, видать, жалко ему под самый завяз стало такую кралю сопатому отдавать. Да и не отдал бы, пожалуй, молчи она. «Все равно,— говорит эта Стеша,— ненавижу я вас, и лучше у него вот,— показывает на меня,— чугуны буду мыть. Мерзкий вы человек!» Тут уж барин и не выдержал. «А-а,— кричит,— ненавидишь! Ну так делай, Иван (это он своему денщику), делай все, как велено было, и чтоб к вечеру мне свадьба, в церкви их окрутить немедля!» Покричал и ушел, а я уж и не знаю, что тут за сумять началась в селе. За попом поскакали, моего батю приволокли, двух коров ему шведских и коня выдали, припасы всякие, вино повезли в нашу хату, по всей усадьбе двери гремят, барин мне велел сапоги дать и одежу, начиная с исподников,— это он чтобы еще больше ударить Стешку. А тут прискакали, поп, говорят, в белой горячке лежит с перепою, троица как раз прошла. А барин Федор-то Анисимович ничего знать не хочет, кричит — под венец их потом, а сейчас свадьбу играть, да глядите, чтобы все как след было, а не то душу выпущу!

Дед Макар устал от долгого разговора, замолчал, Юрка Левша подал ему полстакана водки и моченое яблоко закусить.

— Повезло же человеку! — в который уже раз удивился Юрка Левша.— Ну, давай, дед, говори, дале, дале — как?

— Погодь,— осадил его дед Макар.— День потом прошел, а нам в амбаре постелили, к двери стражника велел барин приставить. Я уж не знаю, как этот день и прошел. Мать ревет, а отец у меня смешливый, веселый, самому-то ему в ту пору лет за тридцать и было. Молодой. Улучил момент и говорит, ты, мол, Макар, коли сам не справишься, меня покличь, вдвоем в самый раз осилим.

Грохот, рванувший в избе, заставил забиться пламя в лампах, хохотали дружно и смачно, а дед Макар сидел и ждал.

— Ладно, говорю, позову, батя, как что. А он мне опять на ухо, чтобы я не пужался, а сразу изловчился бы в самую точку, а где там не испужаться? Как легли-то в постелю, я к ней коснуться боюсь, на ней одна рубашка кисейная, и вся она огнем горит. Я молчу, и она молчит, а потом как пустит слезу! Тут я рукой по голове ее погладил, ладно, мол, говорю, чего уж ты. У нас семья добрая, веселая, будем жить как-нибудь, Стеша. Вот тут она и придвинулась ко мне, всего меня слезами измочила, плачет да целуется, губы вострые, в самую середку прошибают, аж тошно мне стало, во, думаю, ведьма! Уговариваю ее, а она и того пуще, а под конец и меня спалила, весь дрожмя дрожу, а что дальше делать, не знаю.

Юрка Левша от искреннего горячего волнения вскочил, хотел что-то сказать, опять сел и тотчас замолк; дед Макар строго на него поглядел.

— Уж как-то само собой у нас и получилось, только слышу, стон она закусила, а затем и сам в беспамятство рухнул. Ведь вот жизнь потом прожил, а такой сладости более и не привелось узнать...

— Так это потому, дед, что в первый раз! — опять не выдержал Юрка Левша.

— Помолчал бы ты, Юрка...

— Ладно, ладно, дед Макар, а что ж потом?

— А ничего. Всю ночь у нас то же самое и было, уж так меня захватило. А под утро уговорила она меня доставить ее в город тайком, на станцию, ох, братцы, и жалко было мне это делать, да не смог-то я противиться ей, дурак еще был. Правда, еще ночь одну были мы вместе, пока барин караула не снял, и будто показалось мне, что она и полюбила меня, а там отвез я ее на железку тайком ото всех. Вот там-то, как она садилась в этот вагон, словно в груди ножом-то у меня и ковырнуло; уж понимать-то я стал, какую красоту от себя отпускаю. Да и то, разве удержишь, коли она сама не хочет, тоскует? Махает она рукой, и глаза-то, глаза... Года два я потом сох, пока батя уж сам насильно не оженил меня, да уж так не то... не то...

— Размазня ты, дед! — в сердцах сказал Юрка Левша, встопорщившись.— Баба, она такая штучка, она бы ко всему обвыклась.

— Может, и размазня,— согласился дед Макар, окончательно устав и насупившись.— А ты мне разъяснишь, что она такое за штука, жизня наша? То-то же, никто не знает. Не наш она человек была, ссохла бы, да и все, девка эта. Ничего она работать не умела, ложку держит как-то чудно, рука как есть у ребенка малого, чистая, хилая. А коровы-то шведские на другой год отбились от стада, волки их под Слепней задрали, вот тут тебе и резон.

Новая изба Захара Дерюгина поднялась крышей выше всех на селе, стояла ровно и уверенно, а когда под утро показался месяц, забелела новыми рамами. Долго в эту ночь не могли успокоиться Густищи, почти до рассвета пиликала гармонь и парни ходили по селу и горланили песни, слышались приглушенные взвизги девок, и похрустывал, проваливаясь, свежий ледок под каблуками. И далеко во все стороны тянулись залитые мутным сиянием просторные поля, опустевшие к долгой зиме, и только перед самым рассветом у леса на овсяное незапаханное жнивье просыпалась большая, почему-то запоздавшая стая диких гусей, сторожкие птицы шелестели носами в жнивье; скоро их спугнула вышедшая из кустов огненно-рыжая лиса, и они, снявшись с поля, с долгим тревожным гоготом исчезали в небе, а лиса долго ходила по полю, принюхиваясь к волнующим, уже остывавшим запахам.

Книга вторая

Не отринь



Часть третья

1

Высокое, почти безоблачное небо, наполненное солнечным блеском, сквозило голубизной, с лугов наносило густые запахи перестоявших трав. В этот жаркий июльский день тысяча девятьсот сорок первого года, всего через неделю после того, как Захара Дерюгина призвали в армию, в смятенном мире произошло неисчислимое множество событий: были сожжены и уничтожены десятки сел и городов, убиты, расстреляны, замучены десятки тысяч людей; в этот день завязывались сложнейшие узлы дипломатических, политических, военных противоборствий и движений, которые потом должны были переплетаться и действовать в течение длительного времени. И одним из многих событий этого дня явился короткий, по-военному четкий, но с явным оттенком дружеской фамильярности разговор между командующим 2-й танковой группой генералом Гудерианом и командиром 29-й механизированной дивизии генералом Фромераем.

— Смоленск, генерал, былая мечта викингов,— сказал Гудериан, слегка прикасаясь к плечу Фромерая.— Вы — их достойный потомок. Поздравляю вас с должностью коменданта Смоленска, генерал. Вручаю вам город как первую награду за Восточный поход.

Без излишней скромности принимая столь щедрый дар, генерал Фромерай коротко склонил голову; глаза его слегка потеплели при воспоминании о том, как его прославленная дивизия под звуки фанфар и победную медь оркестров вступала в Париж.

Был жаркий июльский день, и каждая секунда этого дня принадлежала истории; два прославленных немецких генерала отчетливо представляли себе неотразимые танковые клещи, которые охватят в ближайшие дни древний город с таким, в отличие от германских горо-

дов, женственно мягким названием «Смоленск», а вместе с ним и все основные, еще оставшиеся у большевиков, регулярные армии на этом центральном направлении; затем и последует молниеносный рывок на Москву и далее, к великой реке, русской Волге.

В глазах Гудериана, затененных козырьком фуражки, легкая озабоченность, но лицо непроницаемое; Россия остается Россией, и неожиданностей, вроде Бреста, не избежать, по всей вероятности, и впредь; именно в этот момент он еще раз проверяет себя; первоклассный мастер танковых прорывов, рассекающих клиньев, неожиданных комбинаций, он не может не видеть преимущества стремительного рывка южнее Смоленска — к Ельне, к Рославлю и Вязьме, но беззащитность старого города волнует железное сердце танкового генерала, и прямоугольная щетка усов на его продолговатом лице выделяется сейчас резче обычного. Он не новичок в этой стране, учился в Казани и убежден, что русских можно разгромить лишь молниеносно, но тылы, как всегда, отстают, Смоленск беззащитен, и кто удержится от соблазна сорвать мимоходом доспевший, доверчиво золотящийся в мягком предвечернем закате заманчивый плод?

Разумеется, в этот момент генерал Гудериан и не предполагал, что, поздравляя генерала Фромерая с должностью коменданта Смоленска и делая столь величественный, царственно-небрежный жест, он невольно совершает акт великого исторического значения, кладет, по сути дела, начало Смоленскому сражению, и оно продлится больше двух месяцев, втянет в свою огненную воронку и погасит в ней наступательную мощь движения группы армий «Центр», перемелет отборнейшие германские дивизии и тем самым приведет к не поддающимся никакому предвидению последствиям, которые в корне изменят детальнейше отработанные планы всей Восточной кампании, и в этих планах в дальнейшем уже никогда не будет той четкости и отрепетированности, что вначале. Именно создание целого резервного фронта и затем два с лишним месяца упорных боев дадут возможность советскому руководству выдвинуть из глубин страны под Смоленск необходимые воинские резервы и вводить их в дело немедленно в самые кризисные моменты Смоленского сражения; кроме того, из обширной прифронтовой зоны за это время будет вывезено за Волгу, на Урал, в Сибирь

множество заводов и других предприятий. И, быть может, самым главным итогом этого жесточайшего сражения начального периода войны, в котором потери немецкой стороны достигнут двухсот пятидесяти тысяч человек, явится тот факт, что, оставив, в конце концов, обугленную местность немцам, советские войска выиграют это сражение, перечеркнув самый фактор молниеносности недавних побед немецкого оружия во многих странах Европы. И как бы потом ни спорили, обвиняя друг друга, немецкие генералы, в том числе и сам Гудериан и Гот, по поводу отдельных этапов Смоленского сражения, дело было не в этапах, а в главном итоге, в том, что именно в этом сражении и с той и с другой стороны были напряжены все силы и что нравственный перевес оказался за советским народом, прилив сил которого к Смоленску, ключевому узлу прежних иноземных нашествий, перехлестнул и не мог не перехлестнуть возможностей и сил немецких регулярных армий на данном направлении. И не передовой мотоциклетный полк из дивизии Фромерая, в беспечном движении на Смоленск раздавленный из засады танкистами полковника Мишулина на старой смоленской дороге в районе Гусино, явился причиной всего дальнейшего. Просто это была та болевая для советского народа точка, та степень ожесточения правоты и готовности стоять до конца, когда все это не могло не произойти. Смоленское сражение исторически, физически и логически было подготовлено всем ходом предыдущего и закончилось так, как оно и должно было закончиться при наличии на данный момент определенных и конкретных противоборствующих сил; и раз было готово новое оружие — «эрэсы», те самые прославленные потом «катюши», то оно и было пущено в ход впервые именно под Оршей и Рудней, и ни в каком ином месте, четырнадцатого и пятнадцатого июля; и нельзя считать чудом, что начальник гарнизона полковник Малышев в самый критический момент взорвал в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июля мосты через Днепр в Смоленске; просто он не мог в данной обстановке поступить иначе и поступил как советский патриот и русский человек; и еще меньшим чудом было то, что командующему обороной Смоленска генералу Лукину в этот же самый критический момент, когда совершенно нечем было прикрыть северный берег Днепра в самом Смоленске, неожиданно подвернулся гене-

рал Городнянский, отходивший со своей 129-й стрелковой дивизией из-под Витебска; просто такая дивизия должна была появиться, и она появилась и вела потом в течение недели ожесточенные уличные бои.

Генерал Гудериан, поздравляя генерала Фромерая и приказывая соблюсти древний обычай прусских завоевателей — отдать на три дня захваченный город в распоряжение солдат, не думал и не мог думать о том грандиозном сражении, что разыграется через несколько дней на смоленской земле, и, следовательно, не мог предполагать, что в дело окажутся втянутыми наряду с регулярными войсками Красной Армии самые глубинные силы советского народа и что тотчас появятся десятки партизанских групп и отрядов, вчерашние рабочие, колхозники, учителя, инженеры и школьники окажутся в первых рядах защитников Смоленска, и эти ряды будут непрестанно пополняться; и этого уже нельзя будет остановить. Смоленск не раз являлся камнем преткновения и на пути прежних иноземных нашествий к сердцу страны, к Москве, и обращался в пепел и руины; но при этом о его стены разбивалась самая мощная и стремительная первая волна нашествия, чему и была частично свидетелем старая крепостная стена с мемориальными досками прославленных русских полков, стоявших насмерть в Смоленске в 1812 году, и бюст Кутузова, установленный перед этой стеной. Единственным своим глазом великий полководец как бы следил не за рядом мемориальных бронзовых досок, а за строем живых, готовых прийти в движение новых боевых полков.

...Захара Дерюгина вместе с тремя десятками мужиков его возраста из Густищ в составе, по сути дела, тут же, в Зежске, сформированного батальона срочно направили на пополнение в стрелковую бригаду, стоявшую, по слухам, где-то между Орлом и Брянском, но так как двигались они пешим ходом, то и не смогли добраться до нужного места вовремя. Вместе с Захаром в одной колонне шли два брата Поливановы, Кирьян и Митрей, Микита Бобок, Фома Куделин, лучшие на все село плотники Астапенков Василий да Демид Крашенов, Густей Родионов, Авксентий Почипенко, Емельян Редькин, да всех не перечислишь: шли мужики в восковой силе; сдвинулась с места самая хребтина России, испокон веков именно на ней держалось хозяйство

и молодой, буйной порослью поднимались дети, и если бы кто мог в эти дни хоть накоротке окинуть бесчисленные дороги России, не по себе стало бы ему от этого непрерывного повсеместного движения, даже в самой кажущейся хаотичности которого проступало нечто грозное, не поддающееся определению и исчислению.

Хотя о войне все больше поговаривали, она и для Захара оказалась неожиданностью, и когда он узнал, сердце тоскливо заныло и метнулось куда-то; давно отошла острота того времени, когда он был председателем колхоза и ему подчинялось целое село; он привык к простой и спокойной работе, к своей новой избе и каждый день что-нибудь добавлял к ней: то петуха выточит и прибьет на крыльцо к коньку, то смастерит причудливые наличники на окна, то решит сделать красивый палисадник; ему нравилась его просторная, светлая изба, и дух в ней стоял чистый, не то что в старой, где в полном сборе семьи нельзя было повернуться и с первых же теплых дней и сам Захар, и сыновья уходили спать на потолок.

Шагая по пыльным дорогам в неровных, то и дело сбивавшихся рядах мужиков, одетых по извечной крестьянской бережливости во что похуже, Захар потихоньку привыкал к новому своему положению, присматривался к людям; это была еще далеко не армия, но уже не гражданский народ, не беспорядочная масса; стоило всем этим мужчинам сбросить свои разномастные пиджаки, штаны и обувь и натянуть на себя форму, получить оружие, и картина мгновенно переменилась бы, потому что уже были командиры и вся жизнь шла по приказам, и уже воинское единение сплачивало этих людей в колонне. Все прежнее как-то отпало и было только воспоминанием, и дети, и жены, и всякие мирные заботы о хозяйстве; всю вчерашнюю жизнь словно отрезало разом и отодвинуло навсегда, и хотя об этом неотвязно думалось, все понимали, и знали, и готовились к совершению иной жизни, и все знали, что эта новая жизнь уже началась и будет труднее прежней. Подспудное движение этой новой жизни каждый уже чувствовал в себе, и поэтому, несмотря на огромные дневные, а то и ночные переходы, на неровный паек (правда, держались пока больше на домашних, прихваченных с собой харчах), силы не отбавлялось, а, напротив, прибывало.

Захар старался не думать, как его провожали в селе,— всякий раз при этом он видел перед собой светлые, без слез, глаза Ефросиньи; и она, и все его близкие, собравшиеся на проводины, понимали, почему он оглядывается.

Незадолго до ухода Захара в армию во время бомбежки завода Маню контузило, и она вот уже с неделю жила дома; Захар издали несколько раз видел ее, и теперь Маня непременно должна была быть тут, в этой же партии уходили ее братья, одногодки Захара, но он никак не мог отыскать ее. Толпа перед сельсоветом непрерывно двигалась, и, лишь когда мобилизованные стали садиться на подводы, Захар увидел ее; люди отхлынули и разбились на кучки вокруг подвод, каждый стремился подольше побыть около своего, и Маня осталась на время одна в голом пространстве; он думал, что после пяти лет, как они окончательно расстались, можно спокойно подойти и попрощаться с Маней и сыном, и не ожидал, что такая горячая, щемящая боль стиснет грудь, словно кто прямо в обнаженное сердце швырнул горсть раскаленного песку. Он побледнел, с торопливой неловкостью перецеловал детей, мать, Ефросинью.

— Ну, Иван,— сказал он сыну,— остаешься за голову дома. Гляди помогай матери, теперь ты за мужика... Сестру на твои руки оставляю. Не рвись зря на войну-то, подойдет и твой черед. А теперь простите меня, нельзя мне по-другому в такой раз.— Скользнув невидящим взглядом по лицам родных, по неподвижному лицу Ефросиньи, он с неутихающим ознобом в сердце, почему-то все время думая о старшем сыне, об Иване, в твердой уверенности, что именно он не осудит и поймет, пошел к Мане, не слыша напряженного, стонущего шума на площади; на него глядели с вытянувшейся цепочки подвод, уже готовых тронуться, много голов повернулось в его сторону; Маня стояла не двигаясь, прижав к себе маленький белый узелок, Илюшка, сбычив голову, медленно, медленно попятился, спрятался за мать. Захар видел его голые пыльные ноги со свежими царапинами; земля была сухая, потрескавшаяся от зноя; Захар подходил, не упуская молящие, благодарные, полные слез глаза Мани, сиявшие ему навстречу своим особым лучистым синим светом, и ее подрагивающий подбородок.

— Прощай, Маня,— сказал он первые подвернувшиеся слова,— вот и пришла пора. Все было промежду нас, а теперь когда и увидимся. Ну, как ты? Сильно тебя прихватило?

— Ничего, отошла, вот голова только еще чугунная, каждый день прилетали бомбить.— Маня взяла сына за плечо, неосознанно, как заслон, выставляя его впереди себя, но Илюшка не подчинился.

— Что же это будет, Захар? Говорят, завод скоро увозить начнут...

Она слабо шевельнула губами, и Захар попрощался с ней за руку, затем властно и горько поцеловал, по-прежнему чувствуя на себе множество взглядов; он присел, извлек Илюшку из-за спины Мани, и какая-то новая боль от вида этого детского, по-взрослому страдающего, нахмуренного лица чуть не опрокинула его; мальчик упирался, из его рассерженных глаз светилось родное, знакомое.

— Прощай, сынок,— сдавленным задохнувшимся голосом проговорил Захар,— расти и мамку слушайся, она у тебя хорошая. И ты, Маня, прости меня, коли что, береги парня-то,— сказал он, не поднимая головы, уже не различая ничего от набежавших слез.— Не таи зла, а я тебя до́ смерти не забуду.

— Горе ты мое горькое,— услышал он обрывающийся шепот сверху.— Возьми, возьми образок от меня, там Илюшкины каракули, он тебе письмо написал... сам писал... да на Кирьяна не злобись, дурохлест он сызмальства.

Захар зажал в заледеневшую ладонь что-то завернутое в белый платочек и, не оборачиваясь, бегом бросился догонять свою подводу; все уже тронулись, и от летнего зноя пахло конским потом; огромное, из конца в конец, небо темнело у горизонта на востоке, но Захар ничего не видел, жадно хватал ртом теплый воздух; оттолкнув бабу Микиты Бобка с распухшими губами, воющую в голос и все старавшуюся бежать рядом с подводой, на которой уезжал ее муж, Захар схватился за леску и, тяжело прыгнув, сел, кто-то хлопнул его по плечу, и он, увидев потное красное лицо Микиты Бобка, не узнал его.

— Да ступай ты домой, Степанида, от людей срамно! — гудел у Захара над ухом Микита Бобок, стыдясь и страдая, что его баба гонится за подводами дальше всех и воет, но и это не привело Захара в себя; не-

сколько дней непривычное, щемящее ощущение какого-то счастья владело им, и он был молчалив и тих и, сколько с ним ни пытались заговаривать, отмалчивался.

Первые дни на марше свои держались вместе, кучно, на коротких, торопливых привалах собирались в кружок, каждое село отдельно, но постепенно все стало перемешиваться; только Микита Бобок, словно привязанный, с самого начала ни на шаг не отставал от Захара, спал и ел рядом и беспокойно приподнимал голову, если Захар куда-нибудь отходил; у Бобка была врожденная особенность подмечать за другими что-нибудь смешное в поведении или облике, и Захар почти не видел его серьезным или задумчивым; могло даже показаться, что он рад утомительным, бесконечным переходам, тревожным командам «Воздух!», тому, как рассыпалась неуклюже длинная колонна по обочинам дороги.

Пока все сходило благополучно, и немецкие самолеты пролетали мимо, но с каждым днем становилось горячее: никто не знал, куда следует колонна, и к тому же маршрут то и дело менялся; двигались лесами, перелесками и просто полями, сокрушаясь зревшему и, видать, обреченному на гибель в этом году богатому урожаю.

Оружия еще ни у кого не было, домашние мешки постепенно пустели, но всю их колонну в девятьсот с лишним человек уже именовали 214-м отдельным стрелковым батальоном; появились откуда-то и начальник штаба, и комиссар с печатью части, которого по этой причине постоянно искали; наконец, на какой-то железнодорожной станции прямо из вагонов выдали первый воинский паек на неделю, по килограмму сухой колбасы, по две буханки черствого хлеба, сахар, по четыре банки жидких мясных консервов и, ко всеобщему ликованию, по десять пачек махорки; здесь же на каждый взвод досталось по двадцать винтовок и по двести патронов к ним.

Был объявлен суточный отдых, новобранцы устроились прямо в еловом лесу возле станции; кроме самого станционного здания и с десятка маленьких домиков возле, жилья больше не было. Этим же вечером пошел слух, что здесь же будут обмундировывать и дальше отправят под Смоленск эшелоном; командиры на другой день провели строевые занятия и тем, кто первый раз

держал в руках винтовку, объяснили, как нужно целиться и стрелять.

В продолжение дня во всех концах глухо погромыхивало; перед вечером поезда через станцию пошли один за другим, с короткими интервалами, не останавливаясь, без огней, а перед утром один их них задержался, и от него отцепили шесть вагонов. Пятьдесят человек, поднятых среди ночи, затолкали их в тупик, а утром действительно стали выдавать обмундирование, хотя обмоток и ботинок не хватило на всех и часть людей осталась в своей домашней обуви. Не было пока шинелей, зато командиры взводов и отделений получили новые полевые сумки и носили их теперь через плечо; щеголял такой сумкой и Захар Дерюгин после назначения командиром 2-го взвода первой роты: Микита Бобок сказал, что по этому случаю нужно было бы распить четверть.

У Захара в подчинении оказалось сорок восемь человек, и это как бы сразу разделило бывших односельчан; еще с того времени, когда Захар был председателем, Микита Бобок и другие привыкли относиться к нему, как младшие к старшему, и новое назначение встретили как должное, не удивляясь; к вечеру ближе, после строевых занятий, объявленных по батальону (Захар, вначале посмеиваясь, довольно быстро вошел во вкус дела и, срывая голос, подавал команды своему взводу), Захар сел, привалившись к старому дубу, перекурить. «Хороший сегодня день выдался,— думал он, присматриваясь к отдыхавшим солдатам.— Получили паек, повеселели». Где-то совсем рядом запиликала гармошка, и Захар пересел так, чтобы видеть. Вокруг худого лопоухого гармониста, одетого в новую, еще не обносившуюся и оттого топорщившуюся во все стороны военную одежду, уже собралось человек десять; он неумело терзал потрепанную трехрядку, беспорядочно переходя от одной мелодии к другой, не останавливаясь ни на чем, и всякая новая его неудача встречалась густейшими взрывами хохота, ехидными советами и мужицкими соленостями, в которых сказывалось неуважение к тому, кто берется не за свое дело.

— Ты ей пуговки-то сдобри ружейной мазью,— советовали гармонисту.— Слышь, хрипит.

— Да не,— говорит другой.— В ней духу лишек, в ей дырья надо пробить для облегченья, ты ее ножич-

ком пырни-ка, паря... У тебя ножик есть? Пырни, пырни! Эк она заголосит!

— Ты лучше себя пырни...— огрызнулся гармонист, называя место, куда именно пырнуть; все дружно одобрили его находчивость, громким хохотом собирая вокруг еще больше людей. Захар тоже подошел и стал слушать; за спиной у гармониста он увидел Микиту Бобка, таившего на широком лице ухмылку и снисходительно наблюдавшего за усилиями гармониста; Бобок выбирал соответствующую минуту, и Захар, заранее торжествуя, не мог оставаться безучастным и ожидающе улыбался вместе с Бобком. Военная форма переменила того неузнаваемо, и если бы Захар не видел его широкого лица, он со спины ни за что бы не признал Микиту.

Люди все подходили, и недовольство неумелым гармонистом нарастало; теперь уже язвительные замечания и советы сыпались со всех сторон непрерывно, хотя гармонист, с малиново раскаленными ушами, как ни в чем не бывало продолжал терзать трехрядку, перескакивая с мотива на мотив.

Микита Бобок выступил у него из-за спины, опустил куцепалую пятерню на гармонь.

— Дай-ка, паря, народ повеселить,— сказал он спокойно в ответ на сердито взблеснувший взгляд гармониста.— Эк ты развел зануду, прокисли все.

Казалось, трехрядка была еще в руках прежнего гармониста и только-только готовилась к перемещению, но именно в этот неопределенный момент она, как девка от неожиданной щекотки, визгнула, захлебнулась в дробном смехе, заставив всех кругом сразу умолкнуть, и, не переводя дыхания, повела такой сумасшедший перепляс, и все это при невозмутимо спокойном лице Микиты Бобка, что тут не выдержал бы и мертвый.

— Ай, артист! — восхищенно выкрикнул отстраненный от гармони парень и, выпрямившись, закидывая каждый раз руки за голову, пошел перебирать ногами.

— Вот, тут на свою жилу попал! — одобряюще крикнул кто-то.— А ну — круг! Давай, давай, что сгрудились! Дай место!

К некоторому удивлению Захара, в кругу оказался вторым Кирьян Поливанов, забухал ногами в землю, неожиданно остановился, запрокинув голову, и тоненько, по-бабьи проголосил:

Тучка по небу плывет,
Качается ветка.
Как на зорьке позову,
Выходи, суседка.

Эта пара плясала долго и истово, не уступая места другим; Кирьян, поводя плечами, довел присказки о соседке до рискованного места; в тот самый момент, когда он готовился одолеть упиравшуюся соседку полным манером, над собравшимися раскатисто, с долгим треском громыхнуло: из набежавшей незаметно тучи тотчас брызнул светлый и быстрый дождик и почти без переходной границы, как это бывает обычно, ахнул спорый, стеной, ливень; солдаты с криками и смехом побежали под деревья, и Захар, укрывшись под старым дубом, неожиданно подумал, что никакой войны нет, кто-то выдумал ее в шутку, просто люди живут, как жили, и будут так жить всегда.

Начинался июль, и травы и лес входили в полную силу; после неожиданно налетевшей грозы было приказано построить наскоро шалаши. В тот же вечер командиров вызвали к капитану Васильеву; Васильев, колючий, насмешливый человек двадцати восьми лет, внимательно оглядел собравшихся, проверяя, все ли пришли, и, покосившись на батальонного комиссара Лаврухина, с красивым, полным лицом, за скромность и тихость прозванного почему-то «пышечкой», отметил что-то у себя в бумагах и, сунув их назад в планшет, встал. Захар внимательно всматривался в него, пытаясь вспомнить, кого он ему так напоминает; эта мысль привязалась к Захару несколько дней назад, с тех пор, когда он увидел сверкнувшую белозубую улыбку удовольствия на сосредоточенном не по годам лице капитана, мывшегося в попутном ручье; Захар настойчиво пытался вспомнить, где он его видел раньше, но так и не мог; и вот теперь эта навязчивая мысль опять появилась; к удивлению сидевших рядом на бревне, он хлопнул себя по лбу и засмеялся.

— Что с вами, Дерюгин! Вы в каком измерении, простите, пребываете? — раздался голос Васильева; вскочив на ноги, Захар вытянулся.

— Ничего, товарищ капитан! — четко отозвался он с простодушной улыбкой.— Вспомнилось кое-что...

— Найдите более подходящее время для лирики! — хмурясь, оборвал его Васильев, коротко приказал сесть;

Захар вспомнил наконец, на кого похож Васильев. Это же Тихон Брюханов в молодости, как две капли воды, похож, думал Захар, даже чуб назад откидывает точь-в-точь, как Тихон; постой, постой, спохватился он, по годам не выходило, Тихон Брюханов никоим образом не мог явиться отцом Васильева; не переставая удивляться столь разительному сходству двух ничего не знавших друг о друге людей, Захар стал слушать внимательней, проникаясь к Васильеву совершенно иным чувством, чем до сих пор.

— Так вот, товарищи, вкратце изложу создавшуюся обстановку,— говорил тем временем Васильев, задерживаясь взглядом на Захаре.— Ясно одно: немецкие армии рвутся к Смоленску, а следовательно, главная их цель, товарищи, это Москва. Объяснять тут нечего, чрезвычайная важность положения понятна и без того. Завтра батальон будет приведен к воинской присяге. Прошу подготовить к этому личный состав со всей серьезностью и ответственностью. В силу ряда причин первоначальный план следования в расположение учебного полка в корне меняется. Необходимо приступить к обучению бойцов, занятия проводить всю светлую часть суток, с короткими перерывами на прием пищи. В первую очередь учить действию винтовкой, пулеметом и ручной гранатой. Очевидно, на днях сюда прибудет большая воинская часть, в нее мы и вольемся, а пока на нас возлагается задача охранять станцию. С этого часа усилить ночные посты вдвое, я сам буду каждую ночь проверять. Завтра у нас торжественный день, товарищи, мы становимся регулярной воинской частью Красной Армии, а теперь прошу разойтись, политрукам, командирам рот и взводов провести в своих подразделениях беседы. Среди личного состава последнее время распространяются слухи насчет окружения. Всех командиров прошу обратить на это особое внимание, к распространителям злостных слухов будут применены самые строгие меры военного времени, вплоть до расстрела. И еще одно: вчера ночью замечено нарушение светомаскировки, с этого часа нарушение светомаскировки будет приравниваться к измене.— Васильев говорил спокойно и ровно, и оттого вескость его слов усиливалась; и впервые отчетливая тревога охватила людей, в том числе и Захара; до сих пор все пробавлялись противоречивыми слухами, обрывками устных сведений, а теперь коротко и четко было сказано, что немец

рвется к Смоленску, и каждому было ясно, что это значит; сидели притихшие, с резкими лицами.

— Все, товарищи,— опять раздался голос Васильева.— У тебя, комиссар, ничего нет? Тогда все свободны. А вы, Дерюгин, задержитесь.

Захар встал и, ожидая, прислонился к столбу навеса; Васильев вполголоса переговорил о чем-то с комиссаром, затем шагнул к Захару.

— Ну вот,— сказал он, думая, очевидно, о чем-то своем, никакого отношения к Захару не имеющем, и только увидев его перед собой в последних сумерках дня, остановился.— Слушайте, Дерюгин, как настроение во взводе? Вы что-то сказать хотели?

— Напомнили вы мне одного человека, товарищ капитан, сходство ударило, стал года считать, уж не сын ли вы ему.

— Интересно. Кто же этот человек?

— Дружок у меня был, Тихон Иванович Брюханов. Мы с ним в гражданскую помотались по белу свету, в одном эскадроне были. Да потом посчитал, никак по годам не выходит, товарищ капитан.

Васильев коротко засмеялся, озабоченно прислушиваясь к далекому гулу; и Захар чувствовал этот идущий от земли частой россыпью гул.

— Ну вот, опять где-то бомбят,— сказал Васильев.— Нет, Дерюгин, из Москвы я, отец и мать — ильичевцы, кадровые рабочие, завод есть в Москве такой — имени Ильича. Слыхали?

— Не слыхал, товарищ капитан, врать не хочу,— говоря, Захар тревожно прислушивался к гулу.— А настроение во взводе,— быстро перевел Захар разговор на другое, так как понимал, что Васильеву не до его воспоминаний,— неважные настроения, худо. Блудить в потемках кому ж в радость. План должен быть и на войне, а вслепую что ж...

— Ладно, Дерюгин,— остановил его Васильев.— Ты мужик рассудительный, ребят придерживай, нечего попусту языкам волю давать, друг друга бередить. Идите, Дерюгин.

— Есть, товарищ капитан! — неловко козырнул Захар; то, что капитан заговорил с ним запросто о своих родных, несколько согрело и успокоило Захара, хотя тревога не проходила, уже после полуночи, открыв глаза, он не смог больше заснуть; солдаты спали одетыми, сняв лишь ботинки или сапоги; сапоги были у одно-

го-двух во взводе, остальные — в ботинках и обмотках. при любой ловкости и привычке на них уходило слишком много времени, и солдаты не уставали по такому поводу беззлобно поругиваться и насмешничать. Начинало светать; вход в шалаш обозначился в серой мгле, и по тяжелой, почти ощутимой густоте воздуха Захар понял, что в лесу стоит туман; он намотал пропитанные сыростью портянки, надернул сапоги и выбрался из шалаша. Сразу же, как ему показалось, возник в чуткой предрассветной тиши наплывающий далекий гул множества самолетов; он подождал, и скоро в той стороне, где был капитан Васильев, кто-то громко прокричал: «Тревога!», «Подъем!», и тут же после минутной паузы по всему расположению батальона уже слышались крики и движение; солдаты выскакивали из шалашей, наскоро обувались; по старательной, злой матерщине Захар узнал Микиту Бобка.

— Ты, Бобок? — крикнул Захар; густой волной гул самолетов наползал все ближе.

— Запутался в этих кишках, мать их! Да ты куда, харя слепая, прешь, ноги все оттоптал!

— Не растопыривайся! — угадал Захар и раздраженный выкрик Фомы Куделина.— Не у бабы в постелях разметался, тут тебе мировая война!

Услышав команду строиться, Захар крикнул своим становиться; вокруг него стал собираться взвод; в темноте едва проступали серые, казавшиеся одинаковыми лица, разговоров почти не было слышно, короткое время занятий уже успело сделать свое, батальон после недолгого замешательства был построен со всем имеющимся у него оружием.

Васильев приказал раздать патроны и гранаты во взводы, и так как их было немного, то их тотчас и распределили. Волна самолетов уже шла над ельником, и в это время в полукилометре от ельника и от станции над большим полем ржи ударили две ракеты — зеленая и белая, и тотчас гул самолетов как бы притих; было безветренно, и Васильев, и командиры рот и взводов возле него следили за догоравшими, густо сыпавшими искры ракетами; гул моторов в небе словно остановился и повис над ржаным полем.

— Выкидывают десант! — сказал кто-то высоким от волнения голосом.— Товарищ капитан, десант!

— Стой! Смирно! — заорал Васильев, напрягаясь, чувствуя общее замешательство и опережая тот момент,

когда начнется паника.— Командиры рот, разворачиваться к полю. Миронин — от станции, Панкратов — от леса на север! Третья рота — на опушку ельника, к полю, в цепь. Сигнал начала боя — красная ракета, дважды, одна за другой. Я в роте Миронина, если что — через связных.

Васильев с минуту ждал, прислушиваясь к тяжелому, спотыкающемуся топоту расходившихся рот, что-то еще нужно сделать немедленно, ах, да, вспомнил он, оглянулся; его связной Егоршин стоял тут же, и он приказал ему немедленно мчаться на станцию к коменданту сказать о десанте, и чтобы тот передал об этом кому следует в обе стороны дороги; виляя худым задом, Егоршин убежал. Тут Васильев увидел комиссара, начальника штаба и писаря; комиссар торопливо ушел вслед за первой ротой, на ходу бросив Васильеву несколько невразумительных слов о том, что нужно вцепиться в землю зубами и задержать десант. Васильев и сам знал это и, приказав остальным следовать за собой, побежал догонять первую роту; бойцы уже рассредоточились в редкую цепь от станции, и Васильеву сказали, что командир роты где-то возле водокачки, и Васильев действительно нашел его возле водокачки.

— Ну как? — спросил он, тяжело дыша, напряженно всматриваясь в серое, гулкое небо перед собой; уже четко проступал темной громадой лес в другом конце поля, и высоко в небе различались тени нескольких десятков самолетов, ходивших над полем большой каруселью. Васильев, стараясь унять неприятную нервную дрожь во всем теле, переступил с ноги на ногу; он был рад, что его не застали врасплох нагрянувшие события, и тяготился тем, что вынужден действовать самостоятельно.

События разворачивались и нарастали обвалом; две тройки «мессершмиттов» низко вынырнули откуда-то с противоположной стороны, ударили из пулеметов по станционным постройкам раз и другой; в ответ земля могильно молчала; «мессершмитты» прошли над станцией еще раз, атаковали дымящийся и уже брошенный паровоз, из пробитого котла вырывались тугие нарастающие струи пара, Васильев отчетливо слышал его свист.

— Началось,— спокойно сказал командир первой роты Миронин, и Васильев кивнул; они стояли под разросшимся кустом бузины, ее длинные ветви прогиба-

лись под тяжестью густых кистей зеленых, твердых ягод. Васильев держал в руках ракетницу. «Да, началось»,— сказал он себе, пытаясь хотя бы примерно определить численность десанта, который выбрасывался с пятидесяти, а может, и более самолетов.

С рассветного серого неба, казалось, садилась, разрастаясь, большая белая туча; ветер тянул потихоньку от станции к лесу; самолеты тоже сместились и кружили теперь над самой станцией, высыпая из себя все новый и новый груз; дробные облачка парашютов густой рябью вспыхивали в небе, а на земле по-прежнему стояла мертвая тишина, и Васильев нервничал теперь оттого, что кто-нибудь не выдержит и, не дождавшись сигнала, начнет стрелять. Самолеты, опорожнившись, развернулись и пошли назад; над ними чуть сзади и выше пристроилась эскадрилья истребителей; проводив их напряженным взглядом, Васильев еле приметно передохнул. Теперь уже все роты заняли позиции и ждут; от безмолвно замершей станции шел ядовитый запах мазута, отсыревших отходов из топок паровозов; Васильев пустил ракету, когда первые парашютисты были метрах в пятистах от земли, торопясь, затолкнул в ствол вторую, поднял руку и выстрелил, и тотчас с крыши водокачки ударил пулемет станционной охраны, беспорядочно затрещали винтовки. Васильева охватило мучительное и тревожное чувство бессилия: дальше ничем нельзя было управлять. Парашютисты, преодолев растерянность первой минуты, стали отстреливаться прямо с воздуха, какой-то особый гул наполнил теперь уже и небо; пулемет с водокачки рубил опускающуюся массу парашютистов лихорадочными длинными очередями, и Васильев решил узнать после, кто это за пулеметом такой ловкий и умелый, и тут же мелькнула мысль о самолетах — хорошо, что они улетели, подумал он. Батальон расстреливал десант с земли, с трех сторон, но парашютисты уже начали сыпаться на поле, живые и мертвые вперемежку, многие приземлялись на лес и на станцию, и тут же образовывались свои водовороты; падая, парашютисты путались в стропах, кричали, на них наваливались притаившиеся в самых разных местах рабочие станции, потом говорили, что Надюха-стрелочница двух автоматчиков уложила из-за угла ломиком, ухватила у одного из них автомат, повертела в руках и, по-мужски тяжело обругав непонятную штуковину, бросила, опять взялась за привычное железо.

О немцах раньше говорили и думали с затаенным страхом, а теперь оказалось, что их спокойно можно отправлять на тот свет самым обыкновенным способом.

Бой нарастал по всему пространству — на самой станции и по всему полю, в ельнике и в большом лесу, вернее, бой распался на множество отдельных схваток, часто рукопашных, белые пятна парашютов выдавали немцев, но многие из них уже успели расползтись по ржи.

Захар со своим взводом действовал со стороны большого леса, как только началась стрельба, он сразу понял, что бой предстоит беспорядочный, и приказал отделениям выдвинуться в поле, поближе к основной опускавшейся массе парашютистов; у самого него было двадцать пять патронов, и он, завалившись в рожь на спину, быстро расстрелял их и несколько раз попал, затем, вскочив на ноги и путаясь в густой ржи, еще незрелой, с зеленоватым отливом в стеблях, бросился к опускавшемуся косо и стремительно парашютисту. В небе стоял стрекот автоматов, немцы стреляли сверху, прошивая землю; тяжелые ящики и тюки с боеприпасами на спаренных и строенных парашютах были выброшены с самолетов позже солдат и медленно покачивались высоко над ними. Длинноногого, в кованых ботинках, парашютиста волокло прямо на Захара, и немец никак не мог приладиться ударить из автомата. Захар успел отшатнуться, когда немец тяжело, всем телом ткнулся о землю рядом с ним, Захару даже показалось, что внутри немца что-то крякнуло, и тут же, рванувшись вперед, Захар ударил его прикладом в висок; парашютист засучил ногами, затихая. Захар рванул у него из рук автомат и, присев рядом, дернул затвор, нажал на гашетку, тотчас последовала непривычная частая очередь, и Захар, оставив винтовку, наскоро заприметив место, чтобы потом вернуться за ней, бросился дальше в поле, где опускались основные силы десанта; припав на одно колено, он стрелял по парашютистам в упор. Пилотку он где-то потерял; краем глаза отмечая мелькавшие то тут, то там во ржи зеленые гимнастерки солдат своей роты, он находился в холодном, расчетливом возбуждении; чутье подсказывало ему, что этот первый бой с немцами закончится успешно; неожиданно оказавшись в самом центре скопления опавшего шелка, перепутанных стропов, каких-то длинных ящиков и трупов, Захар мог действовать только

сам, от его умения, ловкости во многом зависела и сама его жизнь; рядом, срезанные пулями, то и дело падали стебли ржи. Стреляли и кричали со всех сторон; парашютисты, рассыпавшись длинной цепью, бежали к лесу, и словно ледок хрустнул и растаял у Захара под сердцем; стало жарко. Он торопливо пригнулся, пополз по житу, патроны кончились, но он почти сразу наткнулся на мертвого немца с автоматом и, отстегнув у него запасной рожок, тут же свалился лицом вниз, замер. Немцы протопали совсем близко, и он тотчас вскочил на колени и ударил им вслед; двое или трое свалились, остальные продолжали бежать.

Захар тоже побежал и на бегу наткнулся на парашютиста, тот сидел к нему спиной, и кровь стекала с головы, густо заливала ему шею; немец слепо и непрерывно строчил перед собой из автомата; подобравшись, Захар добил парашютиста выстрелом в упор. «Подыхает, а никак не уймется»,— мелькнула в нем короткая, злая мысль, и он, стараясь не терять из виду общую картину боя, тотчас уловил какие-то новые изменения в обстановке; большой группе парашютистов удалось собраться в одном месте, и она с боем, отстреливаясь, отходила к лесу; на нее со всех сторон наседали; и Захар с бойцами своего взвода продвигался к основному очагу боя.

— Захар, а Захар,— тяжело плюхнувшись рядом, попросил Микита Бобок торопливым шепотом, задыхаясь и слегка придерживая немецкий автомат,— покажь, каким разом из этой рогатой стервы стрелять. Уж как я ее ни вертел... ты, вижу, сразу приспособился.

— Да вот так, так.— Привстав на колено, Захар посылал короткие очереди в мелькавшие по измятой ржи пятнистые фигуры, перемещавшиеся ближе и ближе к лесу.— Ну что тут непонятного?

— Тю-ю,— изумился Микита Бобок, широко, снизу вверх утирая лицо рукавом.— А я дергал, дергал — молчит.

Захар зло посоветовал ему дернуть самого себя за то самое, что имело прямое отношение к продолжению всего Микитиного рода, и, выждав момент, перебежал вперед; Микита Бобок бросился вслед за ним, крепко сжимая автомат в коротопалых руках; он не успел вовремя лечь и проскочил свою цепь.

— Куда-а? Ложись! — закричал ему Васильев, оказавшийся тут же, но с Микитой Бобком что-то случи-

лось, ноги не слушались и несли его огромными прыжками дальше и дальше, прямо к немцам, дикий густой рев рвался из него.

«Ну, пропал! Свалиться, свалиться надо!» Неловко выставив вперед автомат, Микита Бобок на ходу выпустил весь заряд и только тогда, нелепо и высоко подскочив, рухнул в рожь; уже лежа, он увидел припавшего к земле парашютиста; немец и Бобок лежали почти рядом, в каких-нибудь двух метрах, испуганно-похоже глядя друг на друга; рука немца медленно тянулась к ножу в чехле, прикрепленному слева на поясе; патроны и у него кончились. Оставалась какая-то секунда, и Микита Бобок с неожиданной силой бросился на немца, но тот на глазах изумленного Бобка успел проворно вскочить и понесся к лесу, к тому месту, откуда часто взлетали зеленые ракеты, обозначавшие, очевидно, условленный сигнал сбора основных сил десанта. «Нашарахал я его, гляди-ка, остановиться не может,—еще больше изумился Микита Бобок уже с некоторой ноткой превосходства в отношении себя.— На сигнал лупит!» С этой приятной мыслью Бобок опять включился в общую неразбериху, находя в ней теперь некоторое даже удовольствие; бой перемещался в направлении взлетавших над лесом зеленых ракет; остатки десанта отходили в лес беспорядочными группами и в одиночку, рота, посланная вдогонку за ними, вернулась не солоно хлебавши, немцев потеряли.

Жаркое летнее солнце давно выкатилось в небо и сильно грело, и к одиннадцати часам утра короткий, стремительный бой в основном закончился. До самого позднего вечера по всему полю собирали раненых и убитых, стаскивали в одно место оружие и парашюты; к заходу солнца на станцию запоздало прибыл бронепоезд, его команда с ходу включилась в общую работу. Уже поздно вечером стало известно, что батальон Васильева потерял двести семнадцать убитыми, примерно столько же было ранено и двадцать человек исчезли неизвестно куда; враг оставил на поле около четырехсот трупов, пятьдесят семь немцев было взято в плен, и они теперь сидели запертые в каменный пристанционный сарай, и бойцы бегали туда, чтобы убедиться самим и поглядеть пленных. Батальон захватил большое количество автоматов, пулеметов и минометов, две походные радиостанции, много патронов и мин.

Уже во время боя над полем и над станцией несколько раз появлялся и долго кружил в небе «костыль», и под вечер станцию бомбили. Бронепоезд, стоявший под парами, торопливо выбрался со станции и уполз к лесу, три «юнкерса» погнались было за ним, но скоро отстали и, сделав крутой разворот, улетели назад.

Наступила ночь. Путейцы торопливо чинили развороченное в нескольких местах полотно, после полуночи притащился откуда-то паровозик с десятком вагонов, в него погрузили раненых и пленных, и он ушел в направлении Брянска; уже в темноте в четырех братских могилах похоронили убитых, а затем, выставив вокруг усиленные посты, Васильев приказал поредевшему батальону отдыхать. Сам он забылся лишь на час перед рассветом; он был слишком возбужден боем; половины батальона больше не существовало, но и немцев понащелкали немало; он понимал, что это не его заслуга, а сочетание удачных обстоятельств, но все же его грела мысль о собственном значении в успешном исходе боя с немецким десантом. Он впервые и как-то неожиданно почувствовал неумолимую логику и власть войны над жизнью и смертью сотен и тысяч людей; во время похорон с чувством скорби и растерянности он всматривался в длинные ряды лиц убитых, одинаково холодных и неподвижных; с таким количеством убитых он, кадровый военный, сталкивался впервые; глядя вверх, в клочок звездного неба, светившегося сквозь щель в шалаше, он думал, что это потому, что он ни разу не был на войне, вся его служба прошла сначала в училище, затем в учебных полках, и вот теперь ему пришлось вступить в войну с необстрелянными, не знавшими самых элементарных навыков военного дела людьми; вряд ли теперь он скоро узнает, как там сложилось с женой и дочками, успели ли они уехать в Алма-Ату к родным, и что вообще будет дальше с ним, с его батальоном. Он хорошо понимал, что стоит за скупыми сводками газет и радио, и знал, что война — это ежеминутное изменение обстановки. Наутро эта маленькая, затерянная среди болот и лесов станция, в окрестностях которой он сам и его батальон приняли огненное крещение, могла превратиться в груду развалин; может быть, именно в этом направлении нацелен очередной прорыв немцев, и, разумеется, остатками батальона их здесь не удержать, а никакого пополнения и приготовлений к оборо-

не не было заметно, и порой ему начинало казаться, что он попал куда-то в безлюдную пустоту; он один должен был решать, что предпринимать дальше. Он ждал утра, оно должно было принести что-то новое.

С не меньшей остротой пережил этот первый бой и Захар Дерюгин, и он вместе с густищинцами приходил попрощаться с семью односельчанами, которым не суждено было идти дальше этой маленькой станции, во время похорон к Захару все время жались Фома Куделин и Бобок; Кирьян Поливанов стоял поодаль, в том самом месте длинной, с неровными краями могилы, где был положен его брат Митрей, и, казалось, безучастно смотрел на бойцов, торопливо забрасывавших могилу. Бобок показал на него Захару.

— Вишь, стоит,— вздохнул он.— Братана-то заваливают, только вчера с ним толковали, по бабе, говорит, тоска заедает... вот ему вся и тоска.

Кроме как по служебной надобности Захар в эти дни ни с Кирьяном, ни с его братом не разговаривал, а вот сейчас словно что толкнуло его; как-никак братья Мани и друг друга сызмальства знают, по одним стежкам бесштанными бегали.

Кирьян повернул голову к подошедшим односельчанам, но глядел, казалось, на одного Захара, небольшими, как горошины, темными глазами.

— Пропал братан,— сказал он медленно, словно не веря своим словам.— Так ему затылок накось и сорвало... Надо ж, такая силища на человека... А ему много ли надо?

— Вот и нам пришел почин, главная работа,—сказал Захар, потому что именно ему нужно было хоть что-нибудь сказать в эту минуту.— Вот оно где главная пружина жизни развернулась. Ну, хватит, пошли, мужики, зовут зачем-то. Продукт, что ль, получать.

— Трофейный, от немца,— предположил Микита Бобок с заметным оживлением.— Эй, Фома, ты чего?

— Надо ж, как дрова,— потрясенно сказал Куделин, глядя на погибших, уложенных в ямы ровными рядами и кое-где уже скрывавшихся под сыпучей землей, непрерывно скидываемой сверху; возвращаясь к шалашам, он отозвал Захара в сторону, тот недовольно шагнул за ним.

— Чего тебе приспичило?

— Ты вот что, Захар, ты за старое-то на меня злобы не таи.— Фома Куделин глядел в землю.— Прости,

ошалел я тогда на собрании, выпивши был... Помнишь, колодцы как раз чистили. Анисимов нам от сельсовета по красненькой заплатил.

— Анисимов? — искренне изумился Захар и притянул к себе коротенького Куделина, по-ястребиному глянул ему сверху вниз в глаза.— Говоришь, Родион Анисимов?

— Он, чего я тебе сейчас, что ль, брехать буду? — Куделин, сделав истовое лицо, хотел перекреститься, Захар отвел его руку.

— Ладно, пошли, какие там обиды,— сказал Захар тихо и, догоняя остальных, широко зашагал впереди; весь остаток дня он был мрачнее обычного и ни с кем не разговаривал.

Приказ погрузиться в первый же эшелон и срочно двигаться к Смоленску на пополнение одной из дивизий 16-й армии запоздал; ровно в пять часов утра немецкие бомбардировщики тремя волнами снесли станцию, и, конечно, никакого состава теперь ждать не приходилось; Васильев повел батальон к Смоленску маршем.

2

Захар Дерюгин в составе своего батальона попал под Смоленск именно в те дни, когда гитлеровская военная машина, во всей мощи и жестокости непрерывных побед, впервые стала серьезно пробуксовывать, как раз завязались ожесточенные уличные бои в самом Смоленске и в самых различных направлениях вокруг него; обескровленные дивизии 16-й армии при острой нехватке снарядов, при почти полном отсутствии авиации и танков начинали выводить из себя Гудериана своей настойчивостью переправиться через Днепр и выбить противника из южной части Смоленска. В бои за Смоленск оказался втянутым и весь 47-й моторизованный корпус его группы в составе двух танковых и двух мотодивизий и несколько дивизий группы генерала Гота. Отражая стремительные, вопреки всяческой военной логике, контратаки русских, немцы вводят в дело огнеметные танки, усиливают действие авиации; русские жгут танки обыкновенными бутылками с горючей смесью «КС», контратакуют ночами; каждый день, каждый час задержки в движении на восток уже начинают ощутимо сказываться на всем огромном театре

военных действий, воздушная разведка непрерывно доносит о подходе и сосредоточении в районах Ельни, Ржева, Осташкова новых масс русских войск, которых ни по каким прогнозам прежних разведданных не могло было быть.

Уже недалеко, километрах в сорока от Смоленска, батальон Васильева, двигаясь к Днепру, рано утром напоролся на немецкие танки и, рассредоточившись, а вернее закрепившись на обрывистом берегу Днепра, держался до темноты. На глазах у Захара танк раздавил капитана Васильева с гранатой в руке, но и сам боком завалился с обрыва; что-то долго громыхало и переваливалось в его чреве, и несколько бойцов, оседлав его, стали стрелять в упор из винтовок и автоматов во всевозможные щели. Захар со своего места не успел крикнуть бойцам, чтобы они бросили заниматься ерундой; танк взорвался; сорванная чудовищной силой башня отскочила в сторону, кого-то раздавив, и тотчас повалил густой черный дым.

«Доигрались, черти»,— ошарашенно подумал Захар, но этот неожиданный взрыв и чадный, черный дым, потянувшийся над Днепром, вероятно, и явился спасением; остальные восемь машин, пятясь от обрыва, до самого вечера редко постреливали издали. Перед самым заходом солнца послышался гул моторов, и уже в темноте, отбив последними патронами атаку роты автоматчиков, остатки батальона почти без оружия перебрались на правый берег Днепра, и дальше к Смоленску несколько десятков уцелевших человек повел Дерюгин, но через час или чуть больше его небольшую группу вобрала в свое движение какая-то воинская часть; с шестью орудиями на конной тяге она двигалась тоже к Смоленску, и в ее составе было много людей в гражданском, но с винтовками и гранатами. Тут уже открыто говорили, что бои в Смоленске идут по Днепру и южную часть города немцы захватили, да это становилось очевидно и без разговоров. Смоленск горел, шла артиллерийская стрельба, и в небе то и дело появлялись немецкие самолеты; и от этого дня, когда немцы несколько раз принимались бомбить движущиеся к Смоленску войска, и от двух последующих, когда солдат, в том числе и оставшихся от батальона Васильева, беспорядочно перебрасывали то в одно, то в другое место, в памяти Захара почти ничего не осталось.

Его, в числе трехсот с лишним человек, направили на пополнение в 129-ю стрелковую дивизию, и он облегченно вздохнул, увидев себя рано утром на кладбище, среди высившихся кругом памятников, крестов и могильных плит, теперь ему не нужно было отвечать за других, в нем появилось и окрепло успокаивающее чувство привычной работы среди равных себе людей. Микиту Бобка, Фому Куделина и всех остальных густищинцев Захар потерял еще в то время, когда батальон попал под танки, и теперь он не знал, жив ли кто из них, да и думать об этом было некогда. Дробя камень и высоко взбрасывая сухую слежавшуюся землю, непрерывно рвались снаряды и мины. С высокого кладбищенского берега далеко просматривался горящий город, в дымной, солнечной мгле возносились купола Успенского собора; людей по обоим берегам Днепра не было видно, они прятались в укрытиях и уцелевших каменных зданиях, и только взорванные, искореженные пролеты моста через Днепр настойчиво напоминали о разделенности.

Захар оказался среди совершенно незнакомых людей; в провонявших потом, побелевших от соли гимнастерках, днем они отбивали упорные попытки немцев переправиться через Днепр, а ночью спускались вниз запастись водой, выпадал час-другой и поспать, смыть кровь и пот. Все время не хватало снарядов, гранат, патронов; Захара занесли в какие-то списки, и больше никто не обращал на него внимания, от него требовалось делать только то, что делали другие, он просто стал одним из миллионов солдат, короткий земной путь которого, хотел он этого или нет, перекрестился во времени с путями больших замыслов и расчетов, с путями истории. Ему было указано место за старым, замшелым надгробием какой-то супруги и любимой матери Надежды Агафоновны Семимясовой, жены купца первой гильдии. За этой плитой их укрылось трое; ночью, торопясь и обливаясь потом, они вырыли окоп в полпояса; на большее не хватало ни сил, ни времени; плита надежно прикрывала их от пуль с того берега, довольно часто щелкавших в камень, и был у них один ручной пулемет и две винтовки. Все трое сразу сдружились и привыкли друг другу и спали, если случалось, по очереди, два-три часа в сутки. Кроме Захара, потомственного крестьянина, один был москвич, рабочий, слесарь автомобильного завода, молодой двадцатилет-

ний парнишка по фамилии Ручьев, но так он значился только в списках, все звали его по имени — Вася. И Захару нравилось звать его просто Васей. Ручьев виртуозно управлялся со своим неуклюжим «дегтярем», и это тоже вызывало к нему уважение со стороны Захара. Второй, числившийся помощником у Ручьева, тоже молодой, двадцати восьми лет, человек, в недавней мирной жизни был историком. Ручьев называл его по имени-отчеству — Степан Ильич, а Захар запросто — Корниловым. Справа и слева от них по всему Тихвинскому кладбищу и дальше по взгорбленному берегу Днепра держали оборону такие же люди, и то, что многие из них сошлись вместе в последнюю неделю, не имело никакого значения; здесь, на этой черте, они узнавали друг друга тотчас, без всяких анкет, справок и приглядывания. К Корнилову, худющему, с большими, глубоко запавшими задумчивыми глазами, Захар относился с первого же часа, как и к Васе, с затаенной снисходительностью и даже нежностью, потому что тот, как и Вася, не знал еще жизни и не был женат; Вася Ручьев просто не успел, а Корнилов не обзавелся семьей по причине своей увлеченности наукой, и женщины мало его интересовали; у него осталась где-то в Рогачеве старая мать шестидесяти лет; своего единственного сына она родила уже на четвертом десятке, едва не отдав богу душу. Корнилов в первые дни войны записался в ополчение, с сожалением оставив незаконченную диссертацию «Новые толкования причин «Смуты» в истории государства Российского, ее значение и последствия» и специфический запах больших архивных папок с документами Военно-исторического архива, где он в последнее время работал. Несмотря на его кажущуюся слабость, Захар ни разу не слышал от него недовольного слова, да он и вообще был неразговорчив; но стоило оказаться с ним рядом, лицом к лицу, как сразу начинала ощущаться его наполненность чем-то своим, глубоким, отъединенным от реального мира; в хрупкой оболочке интеллигента начинали смутно проступать скрытые страсти этого молодого, восторженного, а может, и честолюбивого сердца. Была у Корнилова одна мысль: написать историю России, написать полно и объективно, но эту дерзкую мысль он держал в тайне; Захар иногда ловил на себе его далекий взгляд и обходился с ним в эти моменты особенно бережно; за последнее время перед Захаром промелькнуло множество

людей, для которых главным стала война, Корнилов от всех отличался.

Рано утром под прикрытием тумана немцы силою двух батальонов снова, в который уже раз, попытались высадиться на левый берег и зацепиться за Тихвинское кладбище, и вскоре горячечная, беспорядочная стрельба перешла в рукопашную схватку; Захар в этой дикой каше почему-то больше всего боялся за Корнилова и старался не терять его из виду, и был такой момент, когда Корнилов, вместо того чтобы всадить штык в замахнувшегося на него, как дубиной, гранатой на длинной ручке немца, посерев, отшатнулся в сторону, и если бы Захар сбоку не пропорол немца наискось, на всю длину штыка, этот момент был бы для Корнилова последним.

Немцы скатились к Днепру вперемешку с русскими, и тотчас по кладбищу ударили минометы и артиллерия; дрались и в самой воде; мало кто из двух батальонов доплыл до правого берега, но зато немцы потом два часа долбили кладбище до проседания могил, Захар сам видел в одном месте вывернутый полуистлевший гроб и ссыпавшиеся из него кости и остатки праха.

Наступил один из редких моментов передышки.

— Голова гудит,— пожаловался Вася, стряхивая с колен сухую землю; он сидел в углу окопа, скрючившись, и, когда гул в небе затих, недоверчиво приподнялся.— Сейчас опять полезут.

— Ну, теперь прямо так не полезут, на сегодня с них хватит,— прочищая забитые пылью ноздри, Захар недовольно пофыркал; солнце палило в отвес, дерево, раньше прикрывавшее их сверху, было почти под самой кроной обрублено, и теперь остались на нем три жидких ветки с обитыми рваными листьями.

— А ты, Корнилов, ты чего не колол? — спросил Захар сердито, глядя на историка, пытавшегося подолом гимнастерки стереть землю с потного лица.— На тот свет захотел? Так он бы тебя в один миг и отправил туда! Тут тебе не кабинет, тут арифметика простая — или ты его, или он тебя! Крови нельзя здесь бояться, это тебе не на машинке стукать, Корнилов.

— Пожрать бы чего сейчас,— Вася страдальчески сморщил короткий вздернутый нос.— Видать, старшину где-нибудь придавило. Эй, соседи,— повысил он го-

лос, слегка высовываясь под прикрытием плиты из окопа.— К вам харч не поступал, случаем?

— Говорят, старшину и весь запас накрыло! — донесся скорый ответ; Вася вяло поругался, опять сел на свое место и сказал:

— Ты на него, Тарасыч, не кричи, бывает, рука дрогнет. Они, ученые, такие, издали он тебе во всю ивановскую распишет, что и как, а тут вблизи надо бы попросту, штыком в пузо, вот и осечка. А ты его здорово, Тарасыч, укараулил.

— Пусть не лезет, сволочь,— проворчал Захар, извлекая из карманов кисет с остатками махорки и мятый обрывок газеты.

— Подожди, Тарасыч, немецкой штучкой угощу за добрую работенку,— сказал Вася.— В суматохе успел сигаретами с зажигалкой обзавестись — вот.

Захар взял нерасчатую пачку сигарет, повертел, попрежнему думая о Корнилове и сердясь на него.

— Не по-нашему, черт, написано,— сказал он, вскрывая пачку и от тонкого запаха табака сразу веселея.— На, Вася, давай зажигалку. Закури, Корнилов,— покосился Захар в сторону историка.

— Не хочу, спасибо. Это румынские, в Бухаресте фабрика. Не сердитесь на меня, Дерюгин, понимаете, не смог я штыком. Тысячи лет человечество гуманизм по крупице накапливает, раба из себя каплю за каплей выдавливает — и опять штыком, опять штыком! Я понимаю,— смущаясь, заторопился Корнилов под хмурым взглядом Захара.— Понимаю, и не смог! Не смог!

Вася и Захар курили, разгоняя дым у самой земли; после рева почти непрерывно рвавшихся бомб и снарядов редкое трескучее хлопание мин, которые немцы время от времени швыряли на кладбище, почти не воспринималось, и стояла благодатная тишина передышки.

— Смотрю, человек ведь, человек передо мной...

— Да какой это человек? — перебивая, с сердцем сплюнул Захар.— Штыком! А чем же еще? Хватит уже, жалели, жалели и дожалелись на свою голову! Ну а если бы этот, как ты говоришь, человек меня или вон его штыком колол, ты бы тоже совестился? Красная девка. Вон погляди, что этот твой человек делает,— кивнул Захар в сторону Днепра, на густо нависший смрадный дым над городом.— Ему тысячу лет, сам говорил, строили, строили... Он нас танками на той

неделе давил, гляжу, голову под гусеницу затягивает, а там она, как гнилой кавун, лопается. А ты знаешь, что было в той голове?

— Воды теперь до темноты не достать,— опять посетовал Вася, стараясь не глядеть на бледное, измученное лицо историка и меняя разговор.— Пожрать раньше вечера не удастся ни за что. Вот житуха! У меня всего два диска осталось, хоть бы поднесли. Послушай, Тарасыч, сползаю-ка я, разузнаю, а? Что это? Кажется, взводный...

Они увидели смуглое, с грязными подтеками лицо лейтенанта Салима Ахметова, тот ловко соскользнул в окоп и присел на корточки рядом с Захаром.

— У вас табак, ребята, а? — спросил он с надеждой, уловив еще не улетучившийся запах хорошего табака. Вася, довольный, покрутил головой, словно приглашая остальных подивиться чутью взводного, с готовностью достал сигареты.

— Есть, товарищ лейтенант, один фриц отказал по отходной. Угощайтесь.

— Вот спасибо, Ручьев, табачок чудеса творит.— Ахметов жадно затянулся и, сразу повеселев, оглядел всех подряд.— Ну, как тут у вас? Молодцы, вижу — порядок, потерь, значит, нет. А, ребята? Как он, сволочь такая, пёр! Ну молодцы, молодцы, смотрите, говорят, ночью опять ждать надо. Может, у кого письма есть?

— Не успели.— Захар, видевший Ахметова второй или третий раз, откровенно рассматривал его.— Выпадет минута, потом напишем.

— Жрать хочется, товарищ лейтенант,— сказал Вася со вздохом.— Помните, вы нам про курдак-то рассказывали? Сейчас бы я один кобылу съел за милую душу.

— Ай, курдак, курдак! — мечтательно затряс головой Ахметов, присаживаясь рядом с Корниловым на дно окопа на корточки.— Нет, Вася, ты не понимаешь настоящий курдак! Ты знаешь, что такое незамужняя кобыла-трехлетка? Не понимаешь, Вася. Перед самой войной я к отцу в кочевье поехал, отпуск получил, род мой степной, большой род, отец для меня кобылу берег, ай, красавица, волосинка к волосинке, и на каждой волосинке светлая искра дрожит. Как она на аркане билась, а потом упала, нож широкий, длинный, кровь чистая, алая, ничем не замутненная... Понимаешь, Вася, ну все красивое на земле вместе с нею в эту минуту умерло, почернело, я даже зажмурился, отвернулся...

Отец заметил, ничего не сказал... Все ели, такой вкусный курдак был, Вася, а я не мог, понимаешь, Вася... Потом ничего, привык.

— Ладно, не бередите кишки, товарищ лейтенант, в голодный обморок грохнусь,— сказал Вася после недолгой паузы.— Вон даже Корнилов отвернулся, невмочь.

— Ничего,— Ахметов засмеялся, сверкнув плотными зубами.— Курдак подождет. Я вас после войны всех к себе повезу, отец на весь мир курдак устроит. Наш мулла еще до муаллима Корнилова говорил: «О аллах, береги русского в лесу, а казаха в степи». А теперь я скажу, пусть нас всех побережет аллах в Смоленске.— Вытерев пилоткой смуглое лицо, Ахметов, не оглядываясь, легко и ловко выскользнул из окопа.

— Дождались, пожрали,— Вася мрачно сплюнул себе под ноги.— Какой там курдак, сухарь бы в зубы! Слушай, Тарасыч, битых-то вон сколько, а у них всякий запас с собою. Ну что ты глядишь, сползаю-ка я, другие небось не теряются.

— Потерпеть не можешь? — спросил Захар.— Лучше закури.

— А чего зря терпеть-то? Ладно, кто тут за старшего, я или ты? — Вася строго свел выгоревшие добела брови.— Вот я вам и приказываю остаться тут за меня, товарищ Дерюгин, а я ненадолго отлучусь. Я есть кадровый солдат, меня, как говорит наш командир дивизии товарищ генерал-майор Городнянский, бабушка от смерти заговорила.

— Это что, он тебе сам толковал? — усмехнулся Захар.

— А что, он меня лично знает, мы вместе вон какую боевую дорогу прошли,— тотчас сказал Вася.— Под Витебском я по его заданию с группой в разведку ходил, двух фрицев приволокли. Вот такие пироги с горохом. А вы с Корниловым, можно сказать, еще мало пороха нюхали, хоть ты, Дерюгин, и годишься мне в батьки, ну, ну, ладно — в дядьки... Корнилов — тот и вовсе ополченец...

— Ладно, ладно,— проворчал Захар добродушно.— Шустрый, тоже мне, гляди, нарвешься, поздно будет.

Вася сморщил обветренный короткий нос, поправил гимнастерку под ремнем, проверил обмотки и бесшумно выбрался из окопа.

— Чертенок, приспичило ему.— Захар осторожно из-за края плиты наблюдал за вражеской стороной, за молчавшими каменными стенами, готовыми в любой момент загрохотать огнем; он видел часть берега, разорванные и еще целые крыши, дым, висевший, казалось, неподвижно над городом, и в этом дыму гордо и резко высился Успенский собор. По ту сторону Днепра шла своя, особая, скрытая каменными стенами вражеская жизнь; Захар, не видя, чувствовал за ними непрерывное, напряженное движение; он еще посмотрел, прислушиваясь к шелесту мины, взорвавшейся где-то далеко сбоку, сзади, и опять сел на свое место.

— Пропал город,— тихо вздохнул Захар,— ведь вот раньше, говорят, не так воевали. Сойдутся в поле да и лупят друг друга чем придется, а города стоят.

— Смоленск горел и разрушался десятки раз, Захар Тарасович.— Корнилов вытянул затекшие ноги, и Захар с удивлением отметил спокойную задумчивость его взгляда.— На протяжении всех последних веков Смоленск был городом-замко́м Русского государства. Один из самых славных городов страны, он и на этот раз выполнит свое назначение. Смоленск еще себя покажет. Основан Смоленск как главный город самого большого славянского племени кривичей, о нем упоминается в летописи еще в восемьсот шестьдесят третьем году. «Велик и мног людьми», понимаете, Дерюгин, «мног людьми», это еще в то время! «Кривичи же седять на верх Волги, и на верх Двины, и на верх Днепра, их же град есть Смоленск». За Смоленск шла ожесточенная борьба на протяжении многих веков. Ключ-город, как его называли всегда, и основан на семи холмах.— Худое лицо Корнилова разгоралось, оживало от непонятного Захару волнения, он сейчас невольно пытался пересилить недовольство Захара против себя.— Жители Смоленщины называли себя белянами, сюда не докатилось нашествие хана Батыя. Удивительное, прекрасное дело — история, Захар Тарасович. Смоляне относились к московским людям с известной долей иронии, а то и презрения, говорили, что Москва и ее жители подвержены «плюгавству», то есть двоедушию, мелочности... а еще в десятом веке и само место, занятое сейчас Москвой, входило в Смоленское княжество. Вон Успенский собор чуть наискосок от нас, он возведен на месте храма Мономаха. В тысяча восемьсот двенадцатом году в Успенском соборе, говорят, Наполеон долго

стоял, думал... Еще в этом соборе венчался Кутузов Михаил Илларионович.

— Ишь ты как,— с невольным уважением сказал Захар, напряженно прислушиваясь к характерному пропадающему гулу немецких самолетов; он еще не смог выработать в себе необходимое спокойствие к гудящему небу, всякий раз тревожился.— Летят, черти. Васька-то...

— Они, вероятно, не сюда...

— Сюда, как не сюда.— Захар приподнял голову и тихо позвал: — Ручьев, эй, Ручьев! Дьявол...

Ему никто не ответил, а через минуту и Захар и Корнилов лежали на дне окопа, лицом вниз, прикрывая голову руками; Захару мешал Васькин пулемет, который он успел предусмотрительно стащить вниз. Вой бомбы начинался высоко в небе, нарастая, превращался в цепенящий визг, и при взрыве земля подпрыгивала и шевелилась; бомбы рвались сериями, и на спину Захара несколько раз что-то тяжело шлепнулось; сила, не зависящая от него, притискивала его к земле, и он сейчас ни о чем не мог думать, кроме этого рушащегося воя бомб; на них сверху, матерясь и отхаркиваясь, свалился кулем Вася, Захар лишь еще более сжался, освобождая ему место. Он увидел засыпанное землей лицо Васи рядом, глаза в глаза.

— Чуть не накрыл! — прокричал радостно и возбужденно Вася, и Захар увидел близко его крепкие, ровные зубы.— Ох, гад, ну, думаю, мимо пролетит, а он как раз в точку! А я ведь каких-то банок набрал, хлеба в бумаге, они с продуктом перли, насовсем. Растерял половину, тут недалеко, надо потом слазить!

— Да ты чего кричишь? — перебил его Захар.— Тише.

— Кричу? — удивился Вася и, растягивая рот, засмеялся неожиданно.—Меня о крест шибануло спиной, чугунный, в голове круги завертелись. Чудо! Вставайте, вставайте, улетают, разбрюхатились, гады. Пилотку изза них потерял, найди теперь попробуй.

Вася вскочил на колени, глянул в одну, в другую сторону, проверяя, целы ли соседи; над кладбищем медленно оседала едкая густая пыль.

— Ничего,— сказал Вася,— давай отряхивайся, заправляться будем фрицевским продуктом. Пусть лучше они с голоду подыхают, нам ни к чему. Слышали взводного? Быть в ночь жаркому делу.

Отряхнувшись от каменной пыли и земли и приведя все в порядок в окопе, Захар тщательно разделил принесенную Васей булку пресного хлеба и две плоские банки консервов с растопившимся от летней духоты жиром.

Следя за его неторопливыми, обстоятельными руками, Корнилов смущенно улыбнулся.

— Знаете, Захар Тарасович,— сказал он тихо,— я заметил, с вами рядом почему-то не страшно, надежно как-то.

— Ну, ты придумаешь,— сдвинул брови Захар в ответ на его неожиданное признание.— На вот, ешь.

— Спасибо...

— Это ты его благодари,— Захар кивнул на Васю.— Видишь, дитенок, цацек натащил и радуется.

Вася засмеялся, подбросил вверх несколько зажигалок, поймал их в сомкнутые ладони.

— А мы там с Пашкой Птицыным из соседнего взвода промышляли. Чего ты ворчишь, Тарасыч, я и вам по одной дарю... Я там автомат у самой воды приметил, не подступишься, надо ночью попробовать. Вон еще сигарет припер, кури — не хочу! Вот ведь какой подлый человек фашист — все у него есть, все мало,— говорил Вася, живо расправляясь со своим куском хлеба и консервами.— Как за чужое хватается, гад, до окончательной своей смерти.

— Понимать тут нечего,— сказал Захар, раскрывая пачку сигарет и закуривая.— Да, брат, не желает он с тобой в равных быть, ему надо над тобой возноситься, окарачить тебя и гнать до издыхания. Так понимаю, что это за штука, знаком.

— А хрена с редькой он не желает? — возразил Вася, в свою очередь закурив и перебрасывая на колени Захару и Корнилову по зажигалке.— Я к себе на загорбок никого сажать не намерен. Кури, Корнилов, табачок нежный.

— Спасибо, Вася.— Корнилов повертел, рассматривая, зажигалку, щелкнул ею, посмотрел на бледный язычок пламени и, подув на него, сунул зажигалку в карман.

— Немца-то битого разносит, жара,— все так же весело и бездумно сказал Вася, находясь еще в той степени возбуждения, когда смерть нежданно-негаданно проскочила мимо, но могла бы и не проскочить.— Пухлые такие лежат, как бабы.

— Зачем вы так, Вася? — спросил Корнилов, слегка морщась.— Смерть есть смерть, нехорошо.

— А что? У меня одна такая толстая была перед самой службой. Лет на пятнадцать старше, а уж работала горячо, на совесть, эх, сейчас бы к ней подвалиться перед этой самой смертью...

Захар, прислонившись спиной к стене окопа, в полудреме задвигался, устраиваясь удобнее, и уже больше не слышал говора Васи и ответов Корнилова. Солнце закрылось в дыму, и стало прохладнее, Захара Вася разбудил только часа через три, ближе к вечеру; солнце, опустившись, подсвечивало дым над чадящим городом. Невесть откуда разнесся слух, что к Смоленску на помощь движутся наши части; по Днепру же, вниз, непрерывно несло трупы, выше шел бой; и в ответ на возбужденно-радостные слова Васи о близкой помощи Захар промолчал.

3

Немцы попытались форсировать Днепр в районе Тихвинского кладбища, и опять же рано утром, на рассвете, и вновь были сбиты с берега контратакой; перестрелка не прекращалась весь день, и раненых нельзя было вынести в тылы; от неприбранных трупов воздух был очень тяжел.

Солнце стояло в зените и жарило вовсю, в окопе обливались потом; Корнилов не выдержал, неловко высунулся и в то же мгновение, судорожно дернувшись всем телом, осел на дно окопа; пуля «дум-дум» рванула на выходе из правой лопатки, и впервые на глазах Захара потерявший самообладание Вася заметался; прикрикнув на него, Захар собрал весь перевязочный материал, попытался остановить хлещущую из рваной, величиной в ладонь, раны кровь; бинты мгновенно намокали, и тогда Захар пустил в дело свою нижнюю рубаху, туго перетянул изуродованное плечо Корнилова. Он старался не глядеть на его серое, поросшее мягкой русой бородкой лицо; из носу и сквозь зубы Корнилова при каждом вздохе начала пробиваться розовая пузыристая пена, но он еще жил. Вася и Захар знали, что живет он последние минуты, а может, часы, и до вечера, до темноты, когда можно будет вынести его в тыл, не дотянет. Вася напрасно пытался напоить его

степлившейся водой и наконец отстал, отвернулся; Корнилов открыл глаза и вполне осмысленно поглядел на сухую, потрескавшуюся стену окопа и на Захара с Васей. Придерживая голову Корнилова, Захар дал ему воды из своей алюминиевой ложки; Корнилов, чуть заметно шевеля губами, попросил поднять его из окопа наверх.

— Чепухи всякой не придумывай,— грубо сказал Захар и, в тот же миг встретившись с глазами Корнилова, почувствовал, как ознобом охватило его под гимнастеркой. Это уже был не рядовой Корнилов, а нечто такое, что больше не подвластно ни приказам, ни обязанностям, не подсудно ни человеку, ни государству; и, подчиняясь, Захар с Васей изловчились и положили Корнилова у края окопа на левый бок, лицом к городу, как он сам того хотел; он был теперь прикрыт со стороны немцев только могильной, высоко выступившей вверх плитой. Распластавшись на краю окопа, Захар подсунул ему под голову свернутую плащ-палатку, и Корнилов даже не заметил этого; он лишь мимолетно удивился огромности разметнувшегося над ним неба; он привык к нему из окопа, тесному, враждебному, именно оттуда с воем валились снаряды и бомбы, но теперь, когда все границы в нем стронулись и сместились, небо прорвалось к нему и обступило со всех сторон во всей своей мощности и беспредельности и затопило его иным светом. Перед ним огненным видением устремлялся ввысь Успенский собор, и глаза Корнилова расширились в радостном изумлении. «Это же Смоленск! Смоленск!» — подумал он, и его подхватило новое движение, понесло; жизнь в нем свершила какой-то свой законченный круг, повернулась на оси, и звон колоколов рванулся ему в уши; купола Успенского собора зашатались, распадаясь, и ему показалось, что они падают прямо на него. Какая-то болевая сила подбросила его; для других, для Захара Дерюгина с Васей, он остался лежать, но сам он уже торопливо полз, толчками перебрасывая с места на место сильное упругое тело.

Тучи длинных свистящих стрел взвились и пронеслись над ним, дробно застучали о камень; он неловко повернул голову, многоголосый, гулкий рев толпы бился в узорчатом, стрельчатом окне; великая смута и раздор вот уже много лет царили на Русской земле, в братоубийственных распрях горели и рушились старые города. Поднялись и литовцы, и поляки, и шведы,

двинулись и с полудня и с севера на Русскую землю, и многие нити этих движений сходились в далеком Риме, в беспощадной папской руке. Вот уже иноземцы после двухлетней осады ворвались и в Смоленск. В бессильной ярости раненый Белавин, ощупывая на себе изодранный кафтан, слепо нашарил тяжелый меч и, без шапки, мотая густыми, слипшимися от крови волосами, привстал. Очевидно, его посчитали мертвым, и, судя по времени, пролежал он в беспамятстве вчерашний остаток дня среди мертвых и всю ночь, да и другого дня прихватил; солнце-то подбиралось к полдню и тусклым пятном светило сквозь густой дым, закрывший небо из конца в конец. Он лежал обочь улицы, среди поломанных обвявших сиреней; как раз напротив солдаты в коротких кафтанах и железных шлемах в розовато-дымном мареве гнали перед собой по улице, вниз к Днепру, толпу растерзанных горожан, мелькали короткие мечи, поражая всех без разбору, и детей, и отроков, и женщин, и стариков, и у Белавина остро вспыхнула кровь; он отполз еще дальше в сторону и задами, огородами пробрался, задыхаясь от стелившегося едкого дыма, к берегу Днепра, усеянному мечущимся народом. Затаившись в кустах, он с колотившимся сердцем наблюдал картину разрушения и смерти; враги бросали со всех сторон ядра и бомбы в Мономахов собор и, очевидно, готовились к его решительному штурму, на берегу Днепра и по всему городу шло избиение жителей, и ноги хмельных от убийства солдат разъезжались в густой липкой крови, покрывавшей улицы и стекавшей в Днепр. Недалеко от него молодая баба с искаженным в крике лицом непрерывно опускала в Днепр обгоревшего младенца; ребенок визжал. Он видел, к женщине медленно подошел солдат и, не торопясь, коротким широким мечом ударил ей в спину, ребенок тотчас выпал у женщины из рук, камнем исчез в воде; умевшие плавать бросались в реку, и солдаты, стоя на берегу, пускали в них стрелы, в Днепре живые перемешались с мертвыми, и вода рябила от человеческих тел и голов. И смертная тоска подступала у Белавина к сердцу, скоро должен был пасть и Мономахов собор, последний оплот осажденных; он видел, что враги тащат к стенам под прикрытием сплетенных ивовых щитов лестницы, и ненависть, и дикая гордость вошла в его сердце. Встал он, мещанин Белавин, потомок славного племени кривичей, чистый белянин и любимец воеводы

Шеина; теперь уже не у кого было просить совета, и воевода или убит, или в полоне, и митрополита Филарета не сыскать; жесток и кровав враг и не пощадит никого. «Так вот же тебе,— сказал Белавин,— до конца не отдам я тебе, проклятый супостат, Смоленска, и клочка целого ты его не получишь, не осквернить тебе и божьего храма». С такими мыслями Белавин отполз поглубже в кусты, решив дождаться первой темноты, сейчас и самому близкому другу он не мог доверить задуманное дело. Он лег на землю, стиснул уши ладонями, стараясь не слышать воплей убиваемого народа и стона уничтожаемого города, но буханье осадных пушек было и в самой земле. Белавин отнял руки от головы, сильно болевшей от тяжелого удара бердышом, и стал читать молитвы, чтобы упрочиться еще больше в своей мысли; у него ничего не должно остаться из земного — ни дома, ни семьи, ни желания славы и богатства, ни корней и ни побегов; голым он пришел на землю, голым и уходит в нее.

Белавин глядел вверх сквозь листья и ветки, шевелящиеся под ветром; дымное черное небо ползло за Днепр. Белавин лежал до тех пор, пока не почувствовал, что солнце садится. Ну, господи благослови, сказал он себе потихоньку, час настал! Пора.

Трижды перекрестившись, он добрался в сумерках до воды; по всему берегу полыхали костры, солдаты сволакивали в Днепр убитых горожан — боялись чумы или холеры и торопились очистить город от трупов. Зловещие отсветы падали на бегущий Днепр, а Мономахов собор стоял в дыму, в отблесках пламени, в грохоте; ядра дробили стены и кромсали прославленный купол, и по редкой ответной пальбе со стен, из бойниц собора было видно, что силы его защитников убывают.

Белавин заторопился, снял обувь и кафтан, привязал покрепче меч и вошел в Днепр, а затем и поплыл, стараясь держаться вблизи берега, и плыл он до тех пор, пока купол собора не оказался как раз перед ним. Он подгреб к берегу, тщательно сверился со своими приметами и, сделав по воде всего четыре шага, почувствовал, что ноги потеряли дно, оно обрывом ушло вниз. Он поглубже вздохнул, нырнул и поплыл под водой, считая про себя до тридцати, затем нащупал ступени и стал осторожно подниматься вверх и скоро опять оказался на поверхности, теперь уже в непроницаемой тьме. Правая рука его наткнулась на оползав-

шую неровную кладку, и он, примериваясь по стене, поднимавшейся вверх, скоро выбрался из воды, сел на сырую ступень и прислушался. И сюда, в потаенный ход из подземелий собора к Днепру, доходил отдаленный слабый гул, каменные стены и низкий свод были покрыты холодной слизью, и Белавин почувствовал занемевшими руками дрожь земли. После минутного отдыха он встал и, осторожно ощупывая ногами склизкие ступени, пошел, согнувшись, во тьму; иногда ход обнажался и под ногами хлюпала жидкая грязь. Белавин не чувствовал мокрой одежды, наоборот, жег его изнутри какой-то огонь; сейчас он не чувствовал тяжести этого огня, смерть нес он в себе. Он был должен совершить задуманное — велик был мрак перед ним. Затем пошли ответвления потаенных пещер, в них покоились кости святых и предков; Белавина обдало трепетом, и земля заколебалась под ним, и стон ее отдался в сердце Белавина. На пути его в каком-то неясном свете угадывались то кисть руки усопшего, то чье-то истонченное, обтянутое кожей лицо проступало перед ним, словно перст грозящий и указующий, и, объятый все тем же смертным восторгом, спешил Белавин к назначенному месту. Как-то в один момент он почувствовал, что еще молод и тело его полно суетного желания жить и радоваться и оставить после себя семя свое; он приник к камню, прежде чем двинуться дальше.

Одолев ход и повернув на оси тяжелую каменную плиту, Белавин вошел в глухое сводчатое подземелье, и грохот сразу усилился. Миновав несколько низких и темных переходов, Белавин поднялся выше, в обширные соборные подвалы-хранилища, не встретив ни души. У входа в пороховой погреб горел смоляной факел и стоял караульный; у него была перебита правая рука, и когда Белавин оказался перед ним, караульный суетливо схватился здоровой рукой за саблю.

— Тише, тише, дядя,— сердито сказал Белавин, отмечая про себя, что караульный еле стоит на ногах от слабости.— Белавин я, от воеводы. Что там наверху?

— Держимся,— сказал караульный, торчком вздергивая вверх взлохмаченную бороденку.— А помога от воеводы будет ли?

— Будет, будет,— коротко успокоил его Белавин.— Я наверх пойду, к полковнику, надо ему воеводин указ передать держаться.

— Мы и без того тот указ блюдем,— заметил караульный и всем туловищем прислонился к стене.— Мочи нет больше, одолевает вражья сила, черной холерой навалилась.

Белавин, не дослушав его, поднялся наверх, в собор, грохот ядер и крики оборонявшихся, отчетливо различимые наверху, сразу отодвинулись, затихли; в битком набитом детьми и женщинами соборе шел молебен, гремел хор и блистала позолота икон, чадили свечи, и священник, высокий, с черной лопатистой бородой до живота, с худыми плечами, обтянутыми дорогой парчой, густым басом нараспев читал молитву, и, подхватывая его слова, гремел хор.

Белавин охватил взглядом сотни склонившихся голов; он стоял у врат, и никто не обращал на него внимания, он слушал голос священника, читавшего псалом, и скорбь проникала в него. «Боже мой! — не с божеским смирением просил, а требовал, грозил голос, гудевший над склоненным народом.— Да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром. Как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим, приведи их в смятение». «Спаси, господи, спаси, господи»,— гремел хор в яростном отчаянии, и Белавин слышал, как в толстые стены собора били, раскалываясь, ядра; он еще раз оглядел склоненные головы, и не было у него больше жалости, шевельнувшейся вначале, и опять он почувствовал, как разгорается в нем огонь и поднимается выше и выше.

Белавин вышел на соборный двор; рев и стоны ночной битвы рухнули на него; вокруг на бревенчатых помостах, поднятых чуть ли не до верхнего уровня стен, стояли пушки, и последние защитники собора отбивались копьями, мечами, топорами и кипятком от лезших на стены врагов. Штурм уже начался, и никто не подбирал раненых и искалеченных, они сыпались с помостов, расползаясь по двору. Белавин боялся отдаляться от входа в собор; в последний момент ему захотелось еще раз увидеть поверженный родной город, и он, скоро поднявшись на звонницу, с бессильной тоской взирал отсюда на великое разорение и опустошение в ночи. Он стоял на площадке в полвысоты звонницы, и не было видно от дымных пожарищ звезд в небе; мимо него и тут сновали защитники собора, к чему-то готовясь, и кто-то в сердцах закричал на него, но он уже ни на кого не обращал внимания. Он думал сейчас о разгово-

ре, случившемся однажды у воеводы Шеина, о том, что, коли бы русские бояре да князья не рвались жить в особицу, по-волчьи, по-иному могло и под Смоленском дело быть. Белавин повел головою, отгоняя от себя ненужные уже думы; и чей-то голос в нем сказал «пора», и он спустился со звонницы и опять долго стоял в соборных вратах, прощально глядя на стены, освещенные неверным пламенем горевших по всему двору костров; он опять ждал. И вот уже почти перед ним часть стены затрещала и с грохотом осыпалась. К пролому прихлынули с обеих сторон и защитники собора, и осаждавшие его; Белавин попятился внутрь храма, перешагивая через молящихся и не обращая внимания на грозно протянутую к нему в гневе руку священника, знакомым боковым переходом опустился в подземелье. Все тот же караульный, морщась от боли в руке, дремал на корточках у порохового погреба.

— Ну как там? — с угрюмой надеждой спросил он. — Что-то за припасом не было людей долго...

Белавин пристально поглядел ему в глаза, мгновенным, привычным движением выхватил меч и вонзил его в грудь караульному. Тот захлебнулся криком и сполз, скаля зубы, по стене на каменный пол. Белавин прошептал: «Прости, друже», отодвинул его вздрагивающие ноги и вошел в пороховой погреб, внес горящий факел и, вставив его в гнездо у выхода, закрыл на все засовы тяжелую, окованную с двух сторон железом дверь. В обширном сводчатом погребе поддерживалась сухость, лари, бочки и мешки с порохом заполняли погреб больше чем наполовину, пороху оставалось еще много сотен пудов, и Белавин стал распарывать мешки окровавленным мечом и высыпать порох под бочки и лари. В этот момент стали бить в дверь погреба, и Белавин заторопился; слабость напала на него, и хотелось сесть или лечь, но этого нельзя было; он знал, что враги уже затопили весь соборный двор, и битва идет теперь за сам собор, и все меньше остается его защитников, и скоро начнется последняя расправа с женщинами и детьми, и оборвется молитва.

С усилием он поднимал и высыпал мешки с порохом, ходил по этому горючему зелью, утопая в нем по колено; рот раздирала горечь. Хватит, решил Белавин, задыхаясь, пороховая пыль начинала разъедать глаза и кожу, и все тело чесалось. С трудом переставляя ноги, Белавин побрел к двери, выдернул из гнезда горевший

факел. В дверь теперь бухали чем-то тяжелым; Белавин, напрягаясь, прислушался и ясно различил чужую речь. И еще до него донесся слабый гул набата; очевидно, забравшись на звонницу, последние защитники Смоленска били во все колокола, оповещая Русскую землю окрест о великой беде и порухе. И перед глазами Белавина словно раздвинулись мрачные вековые своды, и во всей своей красе и силе встала Русская земля, несмотря на гнойные пожарища, истерзанных и поруганных ее жен и детей, и Днепр, замутненный кровью, и небо, затянутое гарью. В дрогнувшем сердце опять затеплился слабый, все более крепший огонь, и Белавин шагнул в глубину подвала, чувствуя, что силы совсем оставляют его, закричал от смертной тоски и рухнул вперед лицом вниз, не выпуская факела.

Огненно раскололась ночь над Днепром, над поверженным городом, и сквозь рассевшиеся стены и купол Мономахова собора высоко в небо ударил дивный, невиданный огонь, и каменья от древних стен разлетались далеко вокруг, и звезды померкли, и испуганные вопли людей смешались с криками ночных птиц. По Днепру смутными призраками плыли тяжелые дубовые распятия на помостах, отягченные людской плотью, и к рассвету подала голос вещая птица Див, кричала долго и тяжко, и на том месте, где недавно высился светоносный храм Мономаха, встал огненный черный крест, уперся верхом в кровавые тучи, и смутное изумление и страх охватили живых.

— Захар Тарасыч, послушай, кажется, Корнилов кончается,— подавленно сказал Вася, с боязнью кося глазами наверх.

Захар осторожно высунулся из окопа; Корнилов лежал боком, лицом к Днепру, с открытыми глазами. Захар осторожно повернул голову, посмотрел туда, куда были устремлены глаза мертвого, и в острых лучах солнца увидел рвущийся в небо, в волны сизого дыма, Успенский собор, и еще выше над ним, казалось, беззвучно шла девятка «юнкерсов», вокруг которой выписывали петли два «мессершмитта»; Захар ссутулился, опустился на дно окопа и машинально стянул с головы проржавевшую пóтом пилотку. Вася поглядел на него, ничего не спросил, что-то дернулось в его отвердевшем лице.

— Прикрыть надо,— немного погодя сказал Захар, долго искал какой-нибудь лоскут и, ничего не придумав, уже по привычке соблюдая осторожность, достал у Корнилова из-под головы плащ-палатку и накрыл его, привалил по краям комьями сухой земли и опять опустился на дно окопа; Вася, незряче уставившись перед собой, сидел напротив, неровно приподняв острые от худобы плечи, и Захар от неожиданной его похожести на старшего сына Ивана сразу почувствовал усталость и страх.

— Слышь, Корнилов говорил, что в этом соборе сам Наполеон стоял,— вытирая пот, сказал Захар в попытке отвлечь Васю.— Молиться заходил после боя или еще зачем...

— Как же так? Как же так? — вскинул глаза Вася.— Сил больше нет, сейчас возьму гранаты и один пойду, встану и пойду...

Слепо шаря руками в небольшой нише, он действительно нащупал гранату, зажал ее побелевшими пальцами. «Вот он подымается,— подумал Захар машинально в безразличном отупении от нелепой смерти Корнилова и от адской жары в окопе,— а что, пойдет, и этого тут же хлопнут, одним меньше или больше, вот дела...»

— Стой! — рванулся он из своего провала, когда Вася с решимостью готовился выскочить из окопа; Захар перехватил самое последнее движение, пригнул Васю вниз и, выворачивая ему руку, отнял гранату; Вася вырывался, что-то кричал; не обращая внимания, Захар безжалостно, до хруста в костях, притиснул его коленом к земле.

— Подставить себя успеешь, дурак,— бормотал Захар, ожидая, и, когда Вася обмяк и перестал дергаться, отпустил его.— Твое время приспеет, а на дуролом... Придумал, садовая голова, нашел чем немца тешить.

Вася лежал пластом на дне окопа, затем зашевелился, сел, пряча воспаленно блестевшие глаза; Захар пытался заговорить с ним и, не получив ответа, замолчал.

Немцы опять стали швырять через Днепр на кладбище мины, и Захар, сжавшись в углу окопа, думал; никто не знал, что будет с ним через минуту, не говоря уже о часах, днях или неделях, он много раз за свою жизнь видел умиравших людей, но к этому нельзя было привыкнуть; Захар нахохлился и, хотя можно было подре-

мать, все дымил и дымил сигаретами и думал о судьбе; жалко ему было Корнилова почему-то особенно, вроде и знали друг друга недолго, а вот словно брата потерял. Помучившись, памятуя о предстоящем, Захар попытался заснуть, и хорошо сделал, потому что в ночь с Тихвинского кладбища была предпринята попытка переправиться через Днепр на его правый берег; бойцы бесшумно снесли к воде заранее припасенные лодки, плоты, бревна, установили на лодках и плотах пулеметы, и ровно в час ночи началось молчаливое общее движение, и только в самом конце, уже у вражеского берега, над Днепром вспыхнули и зависли осветительные ракеты, и весь берег ощетинился огнем, в небе то и дело сверкающими веерами разлетались трассирующие.

И Захар Дерюгин, и Вася со своим пулеметом были на одном из плотов; Вася изловчился и стал стрелять по вспыхивающим пулеметным точкам немцев, Захар, согнувшись, рвал воду, торопливо махая наскоро выструганным, неудобным веслом: по Днепру густо ложились снаряды и мины, в трепетном мертвенно-зловещем свете ракет Захар видел, как развалился один плот, второй, перевернуло лодку. Прикрывая атакующих, по южной части города жидко ударила своя артиллерия, несколько взрывов пришлось по самому берегу. «А мы доплывем,— тягуче думал Захар, стискивая зубы,— черта с два, вон все-таки и огоньком поддерживают». И, словно в ответ на эти его мысли, уже почти у цели перед ним высоко взметнулась вода, Захара подняло и швырнуло, но он не потерял сознания полностью и почти сразу же стал выгребать наверх; ревущий, шевелящийся от частых взрывов, мелькания мечущихся людей берег словно опрокинулся на него и оглушил; он припал к земле, пытаясь сообразить, что же ему теперь делать с голыми руками; в тот же момент кто-то перепрыгнул через него, и он выделил из всего гама и рева одинокий тяжкий шум борьбы рядом, у самой воды, и тотчас стал продвигаться к нему; он знал, что где-то здесь, если ему повезло, должен был находиться Вася Ручьев, и он не ошибся; при мгновенном взблеске очередного взрыва Захар увидел белое, заломленное назад лицо Васи и душившего его немца со спутанными, словно вспыхнувшими в свете взрыва волосами. Какая-то сила отделила Захара от земли и бросила вперед, он ударился в немца всем весом своего тела, раскровенил ему лицо, но и не-

мец попался молодой и дюжий, Захару все никак не удавалось добраться до его горла; обхватив Захара насмерть, немец рвал зубами кожу сбоку у него на шее, хрипел. Близость, ощущение зубастого, горячего рта совсем разъярили Захара; изловчившись, выждав, когда немец окажется сверху, он ухватил его пятерней за лицо и, не обращая внимания на впившиеся в край ладони зубы, рванул голову в сторону и назад, ломая шейные позвонки: он тотчас сбросил с себя чужое, обмякшее тело, кинулся к Васе и стащил его к воде; и эта атака вот-вот должна была захлебнуться. Захар услышал крик лейтенанта Ахметова и бросился к нему. В сером трепещущем полумраке из-за угла какого-то здания выполз приземистый танк непривычных очертаний, Ахметов метрах в восьми от него взмахнул рукой и тотчас, словно переломившись, осел на землю; в ту же самую секунду с танка широкой, крутящейся полосой ударило длинное, обжигающее наискосок весь берег, слепящее пламя, и все это произошло в какую-то долю секунды. Захар метнулся к Ахметову, выхватил у него из рук бутылку с горящим фитилем и, сбоку, быстро рванувшись к танку, уже начинавшему пятиться в укрытие, почти вплотную разбил бутылку о решетку моторного отсека. У него зашлось сердце, когда он увидел потекшее по броне неровное пламя; тотчас, сорвав с пояса связку гранат, он метнул ее под танк и сам уткнулся в землю; горячая волна перекатилась через него поверху; Захар глянул одним глазом: танк горел, неуклюже дергаясь на одной гусенице. «Ну вот, так-то лучше!» — подумал он, отползая, пытаясь определить, где свои, где чужие.

За какую-нибудь минуту после сигнала отходить Захар словно успел прожить несколько жизней. Из-под одного из убитых немцев он попутно выдернул автомат, метнулся в поисках Ахметова, не нашел его, но зато сразу же натолкнулся на Васю; тот все еще лежал неподвижно и, когда Захар затормошил его, слабо застонал. Зачерпнув пригоршнями воду, Захар выплеснул ее на голову Васи; берег, обволакиваемый смрадом обугленного мяса, был усеян трупами и ранеными, попрежнему неестественно, по-живому, шевелился и стонал, но Захару всего важнее было привести в себя именно вот этого паренька, и когда это случилось и Вася открыл мутные, бессмысленные глаза, Захар чуть не задохнулся от радости.

— Отходят наши, вон что-то болтается на воде... Удержишься? Цепляйся, цепляйся,— торопил он его.— Плыви, говорят тебе, я следом...

Скользнув в воду вслед за Васей, он то и дело оглядывался назад, плыл, слегка придерживаясь рукой за обломок бревна с Васей и подталкивая его; немного погодя он пристроил на бревне и автомат и теперь мог действовать свободнее; Вася был еще слаб и, поневоле стараясь держаться на воде в удобном положении, только шевелил ногами. Ни Захар, ни Вася, занятые собой, не замечали поистине трагического звучания ночи, в которое иногда жгуче вливался предсмертный человеческий вопль; кто-то захлебывался, тонул, кто-то молил помочь, а то Захару чудилось, что над кипящей от непрерывных взрывов водой разносится чей-то бездумный, счастливый смех. «Э-э, черт,— выругался Захар,—кажется, начинаю потихоньку с ума сходить...»

— Вась! Слышь? — позвал он негромко, и Вася тотчас завертел головою. «Слышит»,— удовлетворенно подумал Захар, оглядываясь назад, на пляшущий в резких всполохах огней берег; они уже отплыли довольно далеко, и Захар стал надеяться. И, как бы в ответ на его мысли, Захару показалось, прямо над ним вспыхнула и повисла осветительная ракета; такого чудовищного, ядовито проникающего, казалось, до самых кишок света Захар еще не встречал, он хотел нырнуть, мысль о Васе оставила его, и в тот же момент, дробя в клочья белую поверхность реки, глухо и надсадно ухнуло, вода расступилась, и Захар провалился куда-то вниз, чувствуя, как над ним смыкается с ревом тяжелая, подвижная масса; он рванулся вверх, и ему удалось всплыть. Было темно, и он понял, что пробыл под водой долго. Отдышавшись, он несколько раз вполголоса окликнул Васю; никто не отозвался; вода гулко гремела, и тяжелые сапоги тянули книзу, и, когда Захар, отфыркавшись и отдышавшись, попытался освободиться от них, он обнаружил, что левая рука у него плохо слушается и в плече появилась боль. Вода по-прежнему кипела от взрывов, и Захар старался теперь лишь удержаться на поверхности, медленно загребая здоровой рукой; ему удалось освободиться от пояса с подсумком, а самое главное, от сапог, и сразу стало легче. Оба берега были, казалось, одинаково далеко, но течение относило к правому; некоторое время он попытался пересилить, но

скоро прекратил эту бессмысленную борьбу, с одной рукой было не вытянуть.

По всей линии фронта шла ожесточенная артиллерийская перестрелка. Его вынесло за черту города, и огонь ослабел; Захар с обнаженной ясностью подумал, что тут ему и каюк — непреодолимо тянуло книзу, и он с трудом удерживался на плаву, и уже несколько раз окунулся с головой; он еще никогда не испытывал такого острого, звериного желания жить, захлебнуться теплой грязной водой — это уже совсем никуда не годится, подумал он.

Он не помнил, сколько прошло времени с тех пор, как его оторвало от Васи, час или два; последние силы уходили, и он теперь лежал на спине, лишь слегка двигая руками и ногами, и, словно в яму, еще раз неожиданно провалился; вода хлынула в нос, в рот, заполнила горло; острая боль резанула по всей груди, и он понял, что больше ему не выскочить. И в этот же самый момент, почувствовав под ногами дно, он с силой бессознательно оттолкнулся от него и вылетел на поверхность, задыхаясь, схватил воздуха, опять ушел под воду и опять почувствовал дно и вскоре уже брел к берегу, сдерживая тошноту и почти не соображая, что с ним и где он. Сразу он не сумел одолеть невысокий берег — свалился у самой воды и потерял сознание, а когда очнулся, стал тихонько отползать от воды, в кусты.

Начинался рассвет, и где-то в стороне, на западе, все гремел бой, ноги, словно ватные, не слушались, подламывались, и он мог передвигаться лишь на четвереньках. Хватаясь здоровой рукой за песок и за корни, он забился в кусты и, не чувствуя тотчас облепивших его комаров, мгновенно уснул.

Его разбудило жгущее голову солнце, и первым делом он увидел показавшийся ему огромным сапог, вот он, этот сапог, приподнялся, сверкнули частые шипы на подошве; Захар глянул вверх. Над ним стоял длинный, в мундире с расстегнутым воротом, длиннорукий молодой немец с автоматом и радостно щурился в добродушной усмешке, но когда Захар сел, он отскочил назад, и глаза его стали настороженными и холодными, дуло автомата нацелилось прямо в грудь Захару. По знаку немца Захар, стараясь особо не показывать своей силы, встал и пошел, непривычно шлепая босыми подошвами. Он зорко всматривался в местность, по стоявшему в не-

бе дыму пытался определить, далеко ли занесло от Смоленска. Он решил, что километров за пять — восемь; под ногами похрустывал наносный песок, редко поросший ивняком с блестящими чистыми листьями; Захар намеренно стал забирать в сторону, но его тотчас остановил недовольный окрик конвоира; Захар тихонько приподнял поврежденную руку, попытался согнуть ее в локте и поморщился от боли. «Одной рукой я его не одолею,— подумал он,— вот если бы чем тяжелым оглушить, а так — нет, не одолею, ослаб». И все-таки он жадно и зорко оглядывался кругом, отыскивая малейшую возможность к освобождению, и чем дальше отходил от берега, тем свободнее и крепче становилось его тело; он уже начал думать, что, если немца неожиданно сбить с ног и навалиться на него, тот ни крикнуть, ни выстрелить не успеет, Захар в этом был уверен. Но что-либо сделать ему не удалось, кусты расступились, и Захар увидел немецкие танки, пушки, понтоны и множество всяких машин, тщательно замаскированных, и еще солдат-саперов, сколачивающих звенья переправы; очевидно, немцы готовились в этом месте к новому броску через Днепр. Конвоир провел Захара стороной мимо этого скопления, и Захар видел, что редко кто обращает на него внимание; все были заняты своим делом, да и вообще его уже не считали и не числили на этом свете, так что сведения Захара не могли теперь пригодиться. Скоро Захар оказался в низине, обнесенной невысокой изгородью из колючей проволоки в один ряд; там уже собралось человек двести пленных, и все приводили и приводили новых. Воды не было, и весь день стояла жара; Захар попросил оказавшегося рядом рыжеватого молодого парня посмотреть, что у него с плечом, и тот, завернув ему гимнастерку на голову, помолчал и сказал:

— Лопатку у тебя зацепило, вздулась синюхой. Ушиб, видать. Раны не видно.

— Ладно, присохнет, не такое случалось. Ну что нам делать теперь?

— Здесь второй день отдыхаем, говорят, завтра утром отправят куда-то...

— Из какой дивизии?

Парень зло посмотрел на Захара.

— Сволочи, воды им жалко. Второй день ни пить, ни есть. А вода-то рядом, вон за сто метров ключ бьет.

— Подожди, то ли дальше будет,— неопределенно отозвался Захар.— Они нас за скот считают, видно же.

— Скот тоже кормить надо, а так какой от него толк?

Сильно растирая заросший подбородок, Захар все оглядывал и оглядывал местность кругом, непрочные колья изгороди, на которой была слабо натянута проволока, часовых с автоматами по сторонам изгороди; пожалуй, они совсем не обращали внимания на пленных, курили, сходились по двое, часто слышался их здоровый, веселый хохот. Если кто из пленных приближался к изгороди, слышался окрик, а то и автоматная очередь поверх головы, но все пока шло вполне терпимо, а к вечеру немцы разрешили двум пленным принести воды, дали им для этого какие-то железные бидоны. Воды выпили много, хотя она и пахла керосином, и все тотчас ослабели, еще сильнее захотелось есть; Захар незаметно присматривался к рыжему парню. Тот большей частью сидел или лежал неподвижно, уставившись в небо, и на все попытки Захара заговорить отворачивался. «Молодой,— думал Захар,— смерти боится, а чего ее бояться, если уж на то пошло? Так-то хуже смерти, сиди, как скотина в загоне, жди, а чего ждать — неизвестно. Может, тебя завтра пристрелят, а может, какое черное дело заставят выполнять, вот и жди».

— Сволочи! — неожиданно выругался, переворачиваясь лицом вниз, рыжий парень, и Захар глянул в его сторону, затем положил руку на его вздрагивающий затылок и с неожиданной для себя теплотой в голосе спросил:

— Не нравится, браток?

Рыжий поднял голову, резко стряхнул с себя руку Захара.

— Отстань, дядя, не твое собачье дело.

— Оно-то, может, и не мое, да ведь на людях легче,— примиряюще заметил Захар.— Вот что я тебе скажу,— понизил он голос до шепота.— Вырваться отсюда надо, ночь, она всех укроет.

Рыжий посмотрел на Захара, словно на сумасшедшего, и засмеялся в ответ коротко и хрипло.

— Бежать? — переспросил он с издевкой, губы у него дергались.— А куда и зачем, ты мне, дядя, скажешь? Видать, пришел последний час, кончилась Россия. Не пойму я никак, продали, что ли?

— Не-ет, парень, ошибаешься, народ не купишь, не продашь, это вещь не базарная. Он, народ-то, еще покажет свой разворот, рано хоронишь Россию-матушку, долго нужна будет, не тебе, так внукам и правнукам твоим. Нехорошо ты сказал, парень.

— Наставников в моей жизни хватало, у каждого своя голова. Куда побежишь, немцы, говорят, со дня на день Москву возьмут.

— Говорят! — Захар все с возраставшим ожесточением прислушивался к словам рыжего.— Ты же молодой, что ты их слушаешь, им другого говорить нельзя, они к нам полезли.

— Убьют ведь,— дрогнувшим голосом пробормотал рыжий.

— Ага! — обрадовался Захар.— Вот она, короста, к тебе и прилипла, за себя только и боишься! Ну и убьют тебя, меня убьют, всех-то нельзя убить. Вот в том-то она и Россия, ни убить, ни пройти ее, рыжий! Что с тобой толковать, сердце овечье...

Захар поглядел на грязную стриженую голову парня уже без злобы, с жалостью, и рыжий беспокойно заворочался под его взглядом.

— Сердце у нас подбили на лету,— услышал Захар равнодушный голос рыжего, словно рассуждающего с самим собой.— Ну, выбежим, а потом?

Захар намеренно бодро плюнул себе под ноги, хотя и у него копилась и ныла под сердцем тягучая тоска.

— Эх, черт, недоделанный ты какой-то, рыжий,— сказал он.— На тебя юбку нацепить, в самую пору было бы. Куда! Да кто знает — куда? Само покажет — куда, на то и ноги, да еще кое-что в придачу,— Захар шлепнул себя ладонью по лбу, чувствуя почти непреодолимое желание выместить на ком-нибудь всю накопившуюся горечь; сузив потемневшие глаза, он остановил себя.— А может, и прав ты, рыжий,— неожиданно сказал он, перехватив блеснувший не то догадкой, не то решением взгляд рыжего.— А может, ты и прав, гад,— уже не в силах справиться со своей ненавистью повторил он.— Ну, так вставай, иди, испытай сам, как оно продавать, уверишься...

Он надвигался на рыжего, и тот суетливо ползком пятился; огромные, раздавленные постоянной работой руки тянулись к нему, и он знал, что от этих рук не уйти, пощады не будет, но не мог крикнуть, голос пропал. Мутный страх в глазах рыжего остановил Захара,

и он несколько минут оцепенело сидел, ничего не видя и не слыша, затем повернул голову и опять увидел те же, еще полные смертельной тоски и растерянности светлые глаза.

— Ладно,— трудно сказал Захар.— Черт с тобой, живи. Только помни этот момент... близко от тебя было...

Отходя от нечеловеческого напряжения, он встал, походил в разрешенном квадрате, через силу прислушиваясь к далекому гулу сражения, продолжая присматриваться к людям, которым выпала одинаковая с ним участь оказаться за колючей проволокой. Он еще раньше выделил небольшую группу пленных, человек в семнадцать, она ничем не отличалась от остальной массы и все же держалась как-то особняком; очевидно, это были люди из одного подразделения и знали друг друга; Захар наметанным глазом определил в ней старшего — высокого белобрысого парня лет двадцати пяти в солдатской гимнастерке и обмотках; и говорил он как-то иначе, чем другие, и слушали его иначе. Покрутившись на месте, Захар незаметно смешался с ними и подсел поближе к высокому, сказав вслух, будто самому себе, что вот и местечко вроде бы ничего, посидеть можно. На него тотчас недовольно поглядели несколько человек, и высокий, равнодушно скользнув взглядом по его лицу, опять занялся своим делом: продолжал старательно зашивать оторванный рукав гимнастерки, неловко прицеливаясь иглой. «Вот и хорошо, и ладно,— подумалось Захару,— значит, жить думает, надо к ним держаться поближе; его непрошеным вторжением недовольны, не беда, сдаваться и отступать он не собирался»,— и, выждав немного, обратился прямо к высокому:

— Не возражаешь?

Высокий повернул голову, равнодушно оглядел Захара большими, детской чистоты глазами.

— Сиди,— медлительно сказал высокий.— Земля общая, где нравится, там и сиди.

— Ребята,— попросил Захар,— может, у кого отыщется затянуться хоть раз?

Вокруг засмеялись, и Захар, подлаживаясь, сконфуженно ухмыльнулся; высокий спросил:

— Ты, дядя, откуда родом будешь?

— Я-то — близко, холмский. Соседняя губерния, а что?

— Ничего особого. Значит, здешние места знать должен.

— Отчего же не знать, одно время Зежский район и к Западной области отходил. В Смоленск, было дело, наведывались.

— А я сибиряк, Петром звать. С Иртыша, хорошая речка такая есть. Петр Федосеев.

— Захар Дерюгин.

На какой-то момент глаза Захара и высокого встретились, на этот раз уже без приглядки, испытующе и на равных. Федосеев перекусил нитку, бережно зашпилил иглу в подкладку пилотки, замотал ее остатком нитки и подвинулся к Захару.

— Слушай,— сказал Федосеев тихо,— раз ты здешний, может, скажешь, как лучше здесь фронт проскочить?

— В одной упряжке пойдем,— предложил Захар, прищуриваясь и поглаживая все сильнее нывшее к вечеру плечо.

— Отчего ж хорошего человека не взять? — в тон ему отозвался Федосеев.— Куда ты все голову воротишь? — поинтересовался он.

— Понимаешь, Петя, человек тут один, рыжий такой парень, не понравился,— сказал Захар.— Я с ним об этом самом деле разговорился, ну, и не понравился он мне. А теперь все мне кажется, наблюдение за мной ведет. Из виду его выпускать нельзя.

— Ладно, ты мне его покажешь. Теперь посмотри сюда, Дерюгин, вот видишь, Смоленск, а вот твоя Холмская губерния,— Федосеев быстро чертил по песку пальцем.— Так или нет?

— Вроде и так, вот тут завилюжено не туда маленько, так вернее будет,— Захар исправил одну из линий.— Сюда лучше и выходить, лесов много, болота, не сплошным же порядком немец по земле прет...

— Не сплошным, разумеется,— пробормотал Федосеев, всматриваясь в намеченную Дерюгиным линию и запоминая ее.— Ладно, спасибо, Дерюгин. Знаешь,— понизил он голос,— мы решили сегодня бежать. Темноты только дождаться. Вот в той стороне всем нашим незаметно собраться. Немцы пока непуганые, а что потом будет — неизвестно. Проволоку можно колом приподнять, я присматривался. Если кому веришь из своих, скажи...

— Нет здесь у меня знакомых.— Захар уставился перед собой.— Знаешь, Петя, можно бы и всем нава-

литься на проволоку разом, много ли постреляют? А остальным после что?

— Ну это ты зря, Дерюгин, здесь кругом войска. Задавят сразу. Человек двадцать — другое дело, без шуму обойдется, может, вообще ничего не заметят.

— На такое дело можно и скопом подняться, а кому суждено... Больше смерти-то ничего не будет.

— Брось, Дерюгин, осмотрительность не помешает,— откровенно сказал Федосеев.— Люди собраны разные, вчера немцы шестерых почему-то отобрали, увели. Почему именно их? Да и ты вот говоришь — какой-то рыжий...

Захар промолчал; несмотря на близость вечера, было по-прежнему жарко, хотелось пить, но никто об этом не говорил, все понимали, что до следующего дня воды не будет. Захар лег на бок, вытянул ноги; если бы удалось поспать часок-другой, хорошо было бы, подумал он, но, сколько ни ворочался, заснуть не мог. Немного прошло для него дней войны, а чего только не повидал, сотни людей на глазах убиты, искалечены, и сам он, как зверь, за проволоку попал; некстати вспомнился день прощания с родными и близкими, и он усмехнулся тогдашнему своему волнению и горю; все, бывшее с ним, и Маня, и Ефросинья, и даже свое неблагополучное председательство, казалось теперь далеким, мелким, вообще ненужным в жизни. Да и никто теперь не вспомнит и не подумает о своих старых болячках; пришла большая беда и затопила своим разливом житейские мелочи и обиды; вот только за детишек страшно, ведь и Аленка уже вытянулась, всякое может случиться; выскочит на глаза в недобрый момент, изгадит девку солдатня; вот как получилось, детей своих и то защитить не можешь, лучше об этом совсем не задумываться перед важным делом. Да и что можно знать в таком положении? Мало ли что говорят люди, немцы-то нарочно разные слухи пускают, им верь, они не только Москву взяли, до Тихого океана уже дошли!

Остаток дня тянулся для Захара нестерпимо долго, и когда солнце зашло и серые тени стали все гуще закрывать землю вокруг, он почувствовал облегчение; еще засветло группа Федосеева незаметно переместилась к западной стороне огороженного квадрата и теперь располагалась ближе остальных к проволоке; Захар хорошо различал в синих вечерних сумерках резкий силуэт часового с автоматом и ненавидел его

заранее. Звездная ночь накатывалась бесшумно, и легкий северо-западный ветер наносил запахи лета, доцветавших трав, воды, леса. На востоке по-прежнему шел бой; где-то совсем рядом непрерывно ревели моторы, слышались разговоры немцев. Захар подумал, что грамотному человеку сейчас хорошо, знал бы по-немецки, глядишь, легче бы стало; ведь говорят они о чем-то, ему, Захару, и другим рядом неведомом. Он думал и чутко прислушивался; Федосеев вот-вот должен дать знак. Две сотни человек лежали, спали или нет, неизвестно; немцы по ночам, стоило им заметить малейшее движение, стреляли без голоса, и все это хорошо усвоили, и поэтому никто не решался возбудить подозрение.

Чья-то тяжелая дружеская рука легла на плечо Захара, и он тотчас понял: пора. Приподняв чуть голову, он различил серые тени медленно ползущих к проволоке людей; это было почти незаметное передвижение, совершенно безмолвное, и, лишь напряженно прислушавшись, можно было уловить неясный шорох у самой земли. Захар не знал, кто ползет с ним рядом, лишь чувствовал единение с ним; у изгороди все замерли, затем, соблюдая действительно единое терпение и выдержку, стали по одному проскальзывать под проволоку, и первым, как было условлено, пролез Федосеев. Захар выбрался четвертым или пятым и теперь лежал рядом с Федосеевым, напряженно следя за неясным силуэтом часового, маячившего на углу огороженного проволокой квадрата; пока все шло благополучно, только время словно остановилось; скорей бы, скорей, думал Захар, ну что они там возятся, черти? В любую секунду часовой мог пойти в их сторону, и Захар, пододвинувшись к Федосееву, прошептал:

— Отползать надо потихоньку, давай команду.

— Сейчас, последние выбираются. Пора и отползать.

Через полчаса они добрались до оврага и, собравшись вместе, некоторое время прислушивались; стояла тишина, и только гремела далекая канонада; побега, кажется, не заметили, и нужно было торопиться отойти подальше, пока темно. Федосеев, по совету Захара, повел людей оврагом, затем они пересекли ячменное поле, на ходу срывая усатые колосья, шелуша их и поедая сладкие, еще не успевшие затвердеть зерна, набивая ими карманы про запас; под утро повеселевшие, возбужденные удачей, углубились в редкий дубовый лес и круто повернули прямо на восток, стремясь выйти

к Днепру. И как все произошло, никто потом не мог объяснить и понять; кто-то рядом с Федосеевым крикнул приглушенно: «Ребята, немцы!», и тотчас Федосеев приказал разбегаться; Захар прянул в сторону, побежал, пригнувшись; теперь уже все видели в неясном прорезывающемся тумане немецких солдат, окружавших их длинной цепью; ударили автоматы, и Захар свалился, пополз. «Не надо было из лесу выходить»,—лихорадочно билась в нем запоздалая мысль, и в следующий момент он увидел прямо перед собой немца и, сбив его с ног, покатился с ним вместе по земле; немец закричал, на Захара тотчас навалились сзади, и от удара прикладом в спину он ткнулся лицом в землю, застыл, а когда очнулся, увидел человек десять своих, сидевших на земле.

Всходило солнце, в небе трепетали жаворонки, радостные, переливчатые их голоса заполняли мир. Захар с трудом поднял налитую тяжестью голову, отыскивая Федосеева, того нигде не было, может, и повезло хорошему человеку, ушел. Рядом стояли трое немцев с автоматами; в голову пришла отчаянная мысль броситься на них и все разом оборвать, пожалуй, так и надо сделать, но еще теплилась искорка надежды, тлевшая в нем, мешала. «Может подвернуться еще какая-нибудь удача,— думал он,— зачем же паразитам на удовольствие самому на нож переть».

Он безучастно поднялся и пошел вместе с другими, им приказали встать и идти, но шли они недолго, часа полтора, и остановились на окраине какого-то большого села, расположившегося вдоль мелкой речушки. Их подвели к длинному сараю под соломенной крышей, приказали вынести из него пять железных борон и привязать к ним по две веревки; пленные пока ничего не понимали, не понимал и Захар, солдаты с автоматами, окружив пленных, погнали их в поле, приказав тащить бороны за собой.

— Опять придумали какой-нибудь гроб с музыкой, суки,— хрипло сказал худой высокий парень с оторванным рукавом гимнастерки, оказавшийся с Захаром в одной паре.

— Увидим,— отозвался Захар; перекинув веревку через здоровое плечо, он прихватил ее рукой и все старался как-нибудь не споткнуться и не упасть; едкий пот заливал глаза, борона, которую приходилось воло-

чить, с каждым шагом тяжелела, и без того болевшая голова словно наливалась свинцом.

Их остановили у края большого клеверного поля, и тут появился переводчик, молодой ефрейтор; с веселым, но уже привычным любопытством он оглядел пленных, снял фуражку, подставил густые, шелковые волосы легкому ветерку.

— Вы совершили тяжелое преступление,— сказал переводчик наконец, слегка улыбаясь.— Хотели бежать. Вас было двадцать два человека, двенадцать из них больше никогда не станут бегать. Немецкая армия непобедима, вас всех нужно было сразу расстрелять, но к вам отнеслись гуманно. Наша армия взяла Смоленск, скоро возьмет Москву. Вы должны хорошо чистить поле,— переводчик широким взмахом руки указал вокруг,— вот этими штуками,— переводчик указал на бороны,— тот из вас, кто будет жить, получит полную свободу, может идти, как у вас говорят, в четыре стороны. Не думайте убегать, везде стоит наш солдат, а с ним шутки нехорошо делать. Вы это своей кожей знаете. Вот и все, теперь работать, работать! Марш! Марш!

— Сбесились они, что ли,— опять услышал Захар голос напарника,— чего это старое клеверище скородить?

— Один момент,— опять сказал переводчик, очевидно вспомнив.— Друг от друга держаться в пятьдесят метров. Один, другой, третий, четвертый, пятый,— ткнул он в сторону каждой пары рукой.— Пошел, пошел!

Захар со своим напарником двинулись в третьей паре; клевер, очевидно, был стравлен раньше скотом и теперь еще не успел отрасти, поле простиралось в ширину саженей на двести, и все видели редко расставленных вокруг него солдат, их фигуры резко темнели в потоках солнечного света, щедро заливающего землю из конца в конец.

— Послушай, друг,— возбужденно сказал Захару напарник, когда они проволокли борону уж больше чем наполовину.— Земля-то заминирована!

— Сам вижу... А что делать?

— Пусть лучше сразу стреляют, что ж они издеваются, гады! Скот мы им бессловесный?

— Ты под ноги лучше гляди, мало ли,— прохрипел Захар, до боли всматриваясь в землю перед собой.— Давай вéревки отпустим.

— Не стянем длиньше-то...

— Осилим... Не скули, ненароком всякое может подвернуться... Вниз, вниз гляди, куда тебя черт пялит!

Они прошли поле до края, невольно стараясь ступать легче, их сразу же погнали обратно, и они опять дошли до середины, волоча борону, и тут оглушительно ударил первый взрыв, на глазах у Захара шедшая впереди пара исчезла, и волна, ударившая во все стороны, свалила Захара и его напарника с ног; полуоглушенный Захар все-таки слышал, как падают на землю обратно тяжелые, сырые куски; немцы вокруг поля кричали, подняв голову, Захар понял, что они приказывали пленным продолжать свое дело, угрожали стрелять, и один раз над Захаром и его напарником уже прошла автоматная очередь. Встав, Захар отряхнулся, протер глаза; ослепительно сияло солнце, выкатываясь в самую середину неба, и чугунная сила прилила к сердцу.

Четыре пары опять поползли по полю; Захар уже не чувствовал боли ни в плече, ни в голове, выхода не было, и нужно собраться с силами, умереть достойно, по-человечески. Еще немного, и он бросит веревку, выпрямится и пойдет прямо на немцев; он это почувствовал, словно его ударило током, и кровь пошла медленнее. Он увидел перед собой на земле оторванную кисть руки с торчащей, еще кровоточащей костью, грязные пальцы были судорожно скрючены; Захар покосился на своего напарника, у того лицо посерело, покрылось крупными каплями пота.

— Пошли, пошли,— прохрипел Захар, подбадривая изнемогавшего напарника, хотя у самого глаза застилало,— давай веревки отпустим...

— Лошадь я тебе... дух застилает... крест нам пришел, земляк...

— Не скули, сказано... Слушай, еще взорвет, падай и не шевелись... пусть стреляют, на мины побоятся лезть. А там и ночь, темень, луна к утру выходит. Ты себя в руки возьми, ну, разорвало людей, там рука, тут кишки — обыкновенное дело... Крест... Ты знаешь, что такое крест на крест, а? — спросил он, коротко смахивая с лица едкий пот.— Это поп на сестре милосердия, еще в гражданскую слышал. Ну вот, видишь, а ты дурью маешься. Жить-то еще можно.

Захар говорил и сам все больше верил своим словам; они опять дошли до края, повернули обратно. Зубья бороны рвали сухую землю, и Захар помимо воли при-

слушивался к их скрежету по комьям. Его напарник споткнулся, толкнул в падении Захара, и тот, выпустив из рук веревку, удержался, заодно подхватил с земли, поставил на ноги напарника. «Пошли, пошли»,— пробормотал он, налегая на веревку и стаскивая борону с места теперь уже один; его напарник шел, пошатываясь, и веревка его волочилась вслед, обвисая. И опять уже где-то к середине яркий взблеск взрыва впереди хлестнул по глазам, Захара приподняло и швырнуло волной назад, ударило поврежденным плечом о землю; еще дальше швырнуло его напарника, вокруг клеверища поднялась автоматная трескотня, потому что четверо пленных, оставшихся на ногах, сразу бросили бороны и, уже ничего не соображая, бросились бежать в разные стороны. «Ну вот и все,— с какой-то опустошительной легкостью в себе решил Захар,— вот и пришел конец, отпил, отъел, отлюбил. Да и что оно такое — смерть? Вот был человек, а потом от него ничего не осталось, там рука, там нога, разметало по всему полю». Он слышал крики немцев, стрельбу, но не обращал на это внимания, лежал, уткнувшись лицом в зеленый, низкорослый клевер; он сейчас ничего и не чувствовал: ни палящего солнца, ни того, что в него могли в любой момент попасть; автоматные очереди то и дело взбивали землю совсем рядом, один раз она брызнула, ударила ему в лицо, и он лишь сильнее сжал веки. «Вот она и закончилась, жизнь, работа, семья,— думал он,— бабы его любили, крепко любили, да и он их тоже, дети рожались, а теперь вот война, но кто-нибудь из его потомства обязательно останется и в свою очередь начнет шумный и долгий круг; а ему, верно, так уж на роду написано валяться на этом поле».

Что-то неясное и ласковое припомнилось Захару; он совсем отчетливо подумал, что был когда-то мальчишкой, как его Николка или Егор теперь; ведь как было хорошо сесть за чисто выскобленный стол и ждать, пока хмурый, неразговорчивый отец подаст знак приступить к еде; мать обязательно подложит украдкой на праздник кусок получше да побольше; сквозь судорожно сжатые веки просочилась неожиданная теплота и поползла вниз по лицу. «Немного все-таки надо человеку,— подумал Захар,— только поздно начинаешь это понимать».

Его вскользь рвануло за плечо, и уже только потом вспыхнула боль; мертво стиснув зубы, он не шевельнул-

ся и остался лежать, и солнце жгло, и чуть слышно ходили у земли душные ветерки, лишенные всякой прохлады, и во рту был привкус горечи; Захар улавливает дрожь и гул в земле и плотнее прижимается к ней; где-то недалеко орут и стреляют немцы, но для него все это безразлично; он должен выдержать до вечера, до темноты, если повезет. Даже в самые тяжелые моменты, когда в руках было оружие, а рядом — свои, он не осознавал того постоянного чувства своей правоты и силы перед врагом, нужно было как можно смелее держаться, и немец в конце концов побежит; немец не мог не побежать с чужой земли, с его, Захара Дерюгина, земли, будь он и в десять раз сильнее, но вот теперь, беспомощно раскинув руки под тяжким солнцем, он узнавал в себе нечто иное и готов был задохнуться от подступавшего к самому сердцу безжалостного острия; ведь если он, мужик в самой силе, ничего не мог, то что говорить о детишках, о бабах?

Он был сейчас беспомощен и слаб, в любую секунду жизнь его могла оборваться, но именно от этой смертельно тающей остроты в себе появилась, окрепла уверенность, что никакого успешного продвижения немцев к Москве нет и не может быть, что война вот теперь только начинает бушевать вовсю и что против разгоревшегося в ненависти сердца народа не может устоять никакая сила, и здесь не помогут ни танки, ни самолеты, ни сама смерть.

И он, выхваченный обстоятельствами из общего хода дел, с поразительной точностью действительно чувствовал, угадывал и осознавал значение и размах происходящего, потому что Смоленское сражение, втягивая в себя с обеих сторон все новые и новые массы войск, именно в эти дни начинало достигать наивысшего напряжения, и уже становилось ясно, что никакое движение немцев на Москву с ходу невозможно, и нервные токи этого сражения уже пронизывали огромные пространства земли и отдавались в самых различных ее местах. И вот уже сам Гитлер предлагает по радио господину Черчиллю, заявившему в парламенте, что Смоленск находился в руках Красной Армии, запросить командующего армией генерала Лукина, в чьих же руках действительно находится Смоленск? И Лукин, узнав об этом, тут же соединяется по телефону с командующим 129-й стрелковой дивизии Городнянским.

— Где ваш наблюдательный пункт, Алексей Михайлович? — спрашивает он с некоторой настороженностью и тревогой.

— Да все в том же каменном доме, где вы были вчера. Правофланговый полк ведет бои за городскую больницу.

— Ну, тогда все в порядке, спасибо, Алексей Михайлович,— говорит Лукин, кладет трубку и с минуту сидит молча и сосредоточенно; этот человек, которому выпало на долю со своей укомплектованной лишь по штатам мирного времени Забайкальской армией, почти без танков и совершенно без поддержки авиации, с острой нехваткой артиллерийских средств и снарядов выдержать с начала и до конца всю тяжесть борьбы за Смоленск, знает, что такое героизм. Он не может сказать это скупое «спасибо» каждому солдату в отдельности, не может сказать его десяткам тысяч погибших, несмотря на всю свою власть, он не имел и не мог иметь этого страшного права.

Он оглянулся, и адъютант, угадывая, подал ему котелок с теплой водой; необычайно тяжкая июльская жара сжигала в этом году смоленские земли.

4

День, вернее, ночь, когда стало известно, что немцы прорвались к северо-западным окраинам Холмской области, врезался в память Брюханова навсегда, как самый тяжелый рубеж; весь июль и первую половину августа Брюханов провел в непрестанном движении по обезмужиченным районам, организуя, насколько это было возможно, массовый угон скота, вывозку хлебных запасов, уборку, обмолот и опять же вывозку зерна; распоряжение Петрова немедленно вернуться перехватило его в Слепне, под вечер, и он тотчас, не заезжая в Зежск, где хотел сам проверить демонтаж и вывозку оборудования всего год назад пущенного моторного завода, приказал Веселейчикову гнать в Холмск. Тревога нарастала; в двух местах шло рытье противотанковых рвов, и машину всякий раз останавливали, проверяя документы; двумя неделями раньше этого не было — ни рвов, ни проверки, и Брюханов, хотя и торопился, каждый раз выходил из машины. Километрах в пятидесяти от Холмска машину задержали минут на

пятнадцать, откосы отрытого наполовину рва были густо усеяны работавшими женщинами, школьниками, стариками; темнота скрадывала движение, ночь была резкая, с крупными звездами в разрывах облаков; старший поста НКВД, шедший вдоль рва вслед за Брюхановым, шуршал брезентовым плащом и кашлял.

— Днем два раза прилетал бомбить,— говорил он простуженно.— Трех девушек убило, человек десять покалечило.

— Кто руководит работами? — спросил Брюханов, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь к звяканью лопат.

— Товарищ Демидов, Елизар Осипович, инженер из Москвы. Из обкома здесь был днем товарищ Сергеев.

Брюханов попрощался, вернулся в машину и приказал ехать быстрее; к десяти вечера он был у Петрова в кабинете, тот лишь на мгновение оторвал голову от стола, вокруг которого человек десять военных и гражданских (гражданских Брюханов почти всех знал) что-то обсуждали.

— Второй секретарь обкома Брюханов,— коротко бросил Петров.— Посиди минутку, Тихон,— кивнул он Брюханову и тотчас опять склонился над столом.— Продолжим, товарищи. Итак, из северных и западных районов немедленно вывозить курсы медсестер и сандружинниц, все мужское население от шестнадцати до пятидесяти пяти, подготовленные группы истребителей танков передаются воинским частям; на базе истребительных батальонов организуются партизанские отряды — директивы по этому поводу в райкомы разосланы. Приступить к массовой эвакуации промышленных объектов из Холмска; ополченцы и коммунисты отходят с армией, все подготовленные бронепоезда передаются армейскому командованию.

Брюханов подошел к столу, привстал, заглянул через головы; на столе лежала карта области, густо испещренная синими, зелеными, красными линиями и стрелами, и две из них, синие, зловещие, охватывающие Холмск с юга и северо-запада, тотчас объяснили Брюханову то, чего он еще не знал, но *все* в нем возмутилось против этого, и он в первые минуты слушал размеренный, усталый голос Петрова с нараставшим раздражением. «Драмтеатр, папиросная и кондитерская фабрики — Саратов,—отдавались где-то глубоко и боль-

но в нем, казалось, бессмысленные, не имеющие никакого отношения к происходящему слова.— Машиностроительный — Свердловск, Зежский моторный...»

На минуту погасло электричество, и сразу установилась тяжелая, душная тишина. Кто-то безуспешно чиркал спичкой, но свет тотчас вспыхнул, и все, как по команде, посмотрели вверх на плафоны.

Брюханов отошел в сторону, закурил; время от времени в кабинете появлялся помощник Петрова, молча подавал ему телеграммы и сообщения и уходил; тут же бегло просматривая их, Петров продолжал вести совещание; уже после того, как он всех отпустил и остался в кабинете вдвоем с Брюхановым, помощник с напряженным лицом опять появился в кабинете, точным, скупым движеним одернул сзади гимнастерку.

— Из ГКО, Константин Леонтьевич,— сказал он.

Петров, не поднимая взгляда, отпустил помощника, и уже в том, как он медленно читал телеграмму, слегка отодвинув ее от себя, Брюханов почувствовал новые осложнения.

— Плохо, Тихон,— сказал Петров,— очень плохо. С двадцать девятого на тридцатое июля Смоленск сдан, бои сейчас идут где-то в районе Ельни и Вязьмы. Не знаю, точны ли эти сведения, но факт остается фактом. Впрочем, ты с обстановкой познакомишься после, я тебя вызвал по другому поводу: вчера во время бомбежки совершенно нелепо погиб Сапожков.

От ночного приступа лицо у Петрова было желтым, подсохшим, во рту не проходило ощущение горечи, он не находил нужным скрывать свое состояние от Брюханова; стиснув зубы, Брюханов почувствовал, как вздрогнуло и отяжелело сердце.

— Час тому назад получено указание всемерно ускорить эвакуацию промышленных объектов, рабочих; подготовить к взрыву основные заводы, в том числе Зежский моторный. Мне кажется, Тихон, у нас в распоряжении не больше недели, а может, и того меньше.— Подойдя вплотную, Петров положил руку на плечо Брюханову; он был чуть ниже ростом, с глубокими складками на лбу и на щеках; как-то странно было видеть на этом лице совершенно молодые глаза.— На тебя возлагается дело Сапожкова. С минуты на минуту здесь должен быть Поздышев, насколько это будет возможно, он введет тебя в курс дела. А пока вот карта, знакомься.— Петров достал из сейфа подробную, всю испещ-

ренную условными обозначениями карту области.— От остального ты освобождаешься полностью.

— Хорошо.— Брюханов отошел в сторону к отдельному столику в углу; он представил себе, какой груз взваливает на себя, уже взвалил, поправился он. Происходящее волновало его не только и не столько в мировом масштабе; он мог понять, что немцы уже подошли к границам Холмской области, одной из самых центральных областей России, но он не мог так просто привыкнуть к этому; в нем происходили какие-то сложные и противоречивые смещения; если бы его несколько месяцев назад спросили, честный ли он человек, он, не раздумывая, сказал бы — «да», но теперь, когда смертельное острие уже проникло к самому сердцу, каждый советский человек должен был обратиться в себя, потому что именно в сокровении почти каждого из двух сотен миллионов и заключалась сейчас не только всеобщая беда народа, но и его спасение,— и он, человек, облеченный достаточно большой властью над другими, должен был бесстрастно глянуть правде в глаза и спросить самого себя: «Все ли ты сделал, чтобы этого не случилось? Нет, не все». «Ты умел идти прямо,—должен был он добавить еще,— но ты всегда знал, что чем прямее путь, тем он безжалостнее и жестче, тем больше жертв, потому что нет и не может быть идеи, одинаково отражающей интересы всех». И Брюханов, оставаясь с виду совершенно спокойным, но весь напряженный и собранный, продолжал в течение ночи намечать с Петровым кандидатуры для подполья, размещение баз продовольствия и снаряжения, вновь и вновь просматривал список предполагаемых командиров партизанских отрядов. Когда они почти все закончили, Петров отодвинул от себя карту области и, вытянувшись в кресле, упершись обеими руками в край стола, как бы отталкивая от себя это тяжелое дубовое сооружение, удобное для повседневной работы, но нелепое сейчас, когда все подвигалось, зажмурил глаза — резало веки, несмотря на затененный свет настольной лампы, но тут же опять взял трубку телефона, и Брюханов уловил мгновенную перемену в его лице.

— Что? Что? Повторите!— потребовал он.— Давайте его к телефону, немедленно!— Ожидая, Петров молча барабанил пальцами по столу.— А, Чубарев! Почему вы не выехали, как вам было приказано, вчера? Вы понимаете, чем это пахнет? Нет, нет, никаких оправда-

ний! Как это не сметь кричать? Какие станки? Я прикажу вас выпроводить под конвоем! Не имеет никакого значения, что у вас кто-то там исчез! Вы слышите, я требую, чтобы вы немедленно выехали в Москву! Я сейчас свяжусь с военными, вам дадут самолет, знайте, это приказ ЦК! Все!

Петров бросил трубку.

— Нет, это невозможно! — Петров сцепил худые нервные руки.— Никто не понимает серьезности происходящего, этот Чубарев ведет себя недопустимо, преступно, как мальчишка! И где же, наконец, Поздышев, черт бы его побрал?

— Успокойтесь, Константин Леонтьевич, придет,—сказал Брюханов,— я только что узнавал.

— Успокойтесь! У нас еще на территории области остается около двухсот тысяч голов скота, переправы забиты; дороги закупорены, днем по ним движение почти невозможно. Да, мы семьи и архив вчера отправили, твою мать тоже, она оставила тебе записку,— он порылся в боковом кармане, протянул Брюханову вырванный из тетради, сложенный вчетверо листок.

Телефоны звонили непрерывно, в кабинет молча входили и выходили, почти бегом, но без суеты, с бумагами и без бумаг, знакомые и незнакомые Брюханову люди; Петров уже опять кого-то ругал, прижимая трубку плечом и подписывая что-то, часто поминал Чубарева. Прикуривая, Брюханов отошел к окну, мельком взглянул во двор, где грузили в машины какие-то мешки и ящики. Зачем, зачем все это, подумал он с неожиданным озлоблением, все равно сейчас уже никто не сможет направить этот стихийный поток хоть в какое-то подобие русла; сейчас ведь каждому нужно понять самое простое, нужно собраться в кулак, отбросить все и собраться в кулак, а потом придет какая-то сила, и организуется свой, не подвластный никакому предвидению ход. Глядя на поднимавшийся вверх черный пепел от сжигаемых во дворе обкома бумаг, Брюханов почувствовал свинцовую тяжесть в ногах; звенело в голове, хотелось приткнуться куда-нибудь и хотя бы несколько минут подремать. Какая-то особая, почти давящая тишина за спиной заставила Брюханова оглянуться и быстро подойти к Петрову, который стоя читал очередную депешу, вернее, уже прочитал ее, но никак не мог оторваться от скупых, неровно наклеенных строчек.

— Что? Что там еще?— почти грубо спросил Брюханов, и Петров молча протянул ему серый бланк. Брюханов прочитал, вглядываясь в неровные строчки, по всему лицу у него проступили темные пятна.

— Спокойно, Тихон,— сказал Петров.— Спокойно. Очевидно, так надо, мы не можем знать всего, очевидно, это жестокая необходимость.

— Необходимость?— хрипло переспросил Брюханов.— Отдавать без боя? До каких пор? Что они там думают?

— Этого я не знаю. Не знаю. У нас нет времени. Помни об одном, Тихон, у народа всегда имеется нетронутый, неприкосновенный запас моральных, физических, биологических сил, на крайний случай, на самый крайний, если история ставит народ на грань жизни, есть она, такая грань, еще чуть-чуть, и начинается исчезновение. Мне кажется, настал такой момент. Запомни эту истину, сейчас в ней — все.

— Слова, высокие слова,— уронил Брюханов в каком-то медленном, холодном оцепенении.— Сколько мы их наговорили...

— Нет, это не слова,— оборвал Петров, нервно потер воспаленные глаза.— Слышишь, Тихон, это не слова. Или ты не веришь, боишься?— Он шагнул к Брюханову, совсем близко заглянул ему в лицо, в глаза, и тотчас между ними пробежала живительная искра, как это бывает между знающими и безоговорочно верящими друг другу людьми, и Брюханов с легким ознобом в сердце словно заглянул за непроницаемую броню, на мгновение приоткрывшую ему что-то такое близкое, понятное, дорогое; быть может, это и был тот самый потаенный, неприкосновенный запас, о котором только что говорил Петров, и горькое облегчение охватило Брюханова.

— Действовать, не теряя ни минуты.— Голос Петрова звучал почти ровно, без красок, но внятно и твердо.— Немедленно, сейчас. Где, наконец, Поздышев?— Он быстро вышел из кабинета, о чем-то раздельно и громко заговорил в приемной; через несколько минут в кабинет стали сходиться члены бюро обкома, начальники штабов, дружин, появились командиры истребительных бригад...

Брюханов взглянул на часы: было два часа пятнадцать минут ночи.

— Иди к себе,— неожиданно сказал ему Петров, оказавшись рядом.— Выпей кофе, поешь, я там сказал. Поздышев тебя ждет. Ну... вот мы и разделились, Тихон, иди. Через час тебе дадут список предприятий, подлежащих уничтожению, это тоже на твою долю, проследишь. Ну, я тебя благословляю, Тихон.

5

Все три дня до самого занятия Холмска немцами Брюханов, входя в курс дела, занимался организацией подполья, явок, партизанских баз и партизанских отрядов, поспешным изготовлением необходимых документов для оставшихся в подполье, и все это время был в возбужденном состоянии от своего откровения, полученного в случайном, по сути дела, разговоре с Петровым; больше ничто не мешало ему отдаться полностью одному делу и одной мысли, и даже торопливость и горячка встреч с Поздышевым, первым заместителем погибшего Сапожкова, и со многими другими людьми не переменили и не испортили его настроения; да и Поздышев, подтянутый, сильный мужик сорока пяти лет, повел себя энергично, по-деловому, сильно облегчив положение; даже на слова Брюханова о том, что план работы, намеченный и утвержденный ранее, придется кое в чем серьезно менять, кивнул, соглашаясь.

— Нам, Тихон, с тобой особенно дискутировать нечего,— сказал он уже на второй день.— Все потом само собой разъяснится, покажет, кто прав, кто поторопился. И ты не в раю останешься, и мне не в рай перебираться. По-моему, ты решил правильно, ты в северной части больше на месте. Ну и подведем черту. Вот тебе еще один список, это я уже без всяких инструкций сделал список тех, кто может оказаться заодно с немцами. Ну, разумеется, всех не учтешь.

Брюханов промолчал, глянул вскользь.

— У каждого, понятно, свой метод, и ты можешь бросить список в огонь, но мой тебе совет: не торопись, все-таки мы готовились с Сапожковым основательно.

Окончательно распределив обязанности, они расстались, коротко простившись; на следующий вечер, когда город уже словно вымер и в здании обкома оставался только Брюханов со своими людьми, начался и потек совершенно иной отсчет времени, и хотя Брюханов еще

продолжал отдавать приказы и распоряжения, он сам ощутил эту разительную, давящую перемену обстановки и физически страдал от тишины, все густевшей над городом. Каждый раз, слыша звонок телефона, он брал трубку с какой-то опаской; но в то же время и с тайной радостью — специальная группа связи еще работала, из ряда мест еще докладывали о положении; но восточные районы, через которые двигалось на юго-запад немецкое танковое острие, отсекавшее Холмск, отключались один за другим, и в двадцать три пятнадцать старший группы доложил, что связь на Москву и на Орел оборвалась. Задержав дыхание, Брюханов слегка отодвинул от себя трубку.

— Товарищ Тихонов! Товарищ Тихонов!— опять зазвучал в трубке ставший за последние дни хорошо знакомым голос.— Вы меня слышите?

— Я слушаю,— сказал Брюханов.— Все. Поставьте в известность второго и третьего, если возможно, и действуйте согласно последнему распоряжению.

— Есть, товарищ Тихонов!

— Спасибо девушкам и вам, желаю удачи...

— Есть, товарищ Тихонов! Желаем удачи и вам.

— Спасибо, товарищи, все.

Брюханов опустил трубку и, словно не решаясь оторвать от нее руки, подождал, затем потянул трубку к уху; глухая, глубокая тишина отозвалась в нем болезненным звоном. Связные молча ждали за его спиной, он осторожно положил трубку на рычаги и взглянул на часы: двадцать три часа тридцать одна минута. «Ну, вот теперь все,— подумал он,— невероятно, умерший город».

Молча выслушав очередное донесение о том, что к окраинам города сразу с двух сторон подошли и остановились, очевидно ожидая рассвета, немецкие танки и что автоматчики начинают входить в город, Брюханов отдал первый в этом своем новом отсчете времени приказ: взорвать ТЭЦ и затопить шахты недалеко от Холмска, в которых добывался бурый уголь; нужно было и самому уходить в заранее намеченное и подготовленное место, а именно — в лесное село Столбы, а он все никак не мог решиться, и только напряженное, ждущее покашливание за спиной сдвинуло его с места. Но его тут же остановил тяжелый топот за дверью. И Брюханов, и его связные схватились за оружие, один из них попятился в угол за дверью, взводя курок, и за-

тем все дальнейшее, уже много дней и месяцев спустя, когда он вспоминал, казалось какой-то мгновенной, прочно врезавшейся в память вспышкой. Поздышев, отвечающий за уничтожение оборонных объектов в области, ворвался в кабинет и стал кричать о безобразиях и неорганизованности, что он ни за что не может отвечать при такой неразберихе; Брюханов, уяснив наконец, что корпуса Зежского моторного, плотина и электростанция остались невзорванными, глядел на него, жестко сузив глаза; он словно перекинулся во времени назад, в восемнадцатый — девятнадцатый годы, и встречный ветер рванул ему в душу, сдирая с нее успевшую нарасти корку размеренности и собственной значимости; он даже покачнулся от этого неожиданного удара.

— Да ты что, что с тобой? Прежде приди в себя, Поздышев,— угрожающе сказал он.— Тихо! Тихо! Слушай! Времени у нас ни секунды. Если еще и шахты окажутся незатопленными, я отдам тебя под трибунал вместе со всеми твоими начальниками групп по законам военного времени. Немедленно туда! Я беру на себя Зежск. В машину,— кивнул он связному.

Не говоря больше ни слова, они затопали по лестницам, огромная пустая коробка с выбитыми от бомбежек окнами, со сквозняками, переворачивающими с места на место груды бумаг и пепла, гулко отзывалась на каждый их шаг; еще темнели кое-где портреты на стенах. Шофер, рослый, круглолицый, сменивший Веселейчикова, почти незнакомый Брюханову, переминаясь возле тихо работавшего мотора, нервничал; увидев Брюханова, он с облегчением перевел дух, бросился в машину; машина выскочила со двора обкома, запетляла по пустынным улицам, выбираясь из города, неотвратимо меняющегося с каждой минутой, словно натягивающего на себя невидимый серый полог, и это удушье почувствовал Брюханов, расстегнул верхние пуговицы косоворотки. В одном месте машина едва не налетела на немецкий танк, и сильно побледневший шофер на сумасшедшей скорости вильнул в какой-то переулок, проходным двором вынесся на другую улицу; машина запрыгала по грунтовой, в сплошных выбоинах дороге (основная магистраль на Зежск была отрезана), поднимая за собой густой хвост пыли; Брюханов покосился на шофера и украдкой передохнул. «Проскочили удачно, должно повезти и дальше,— думал Брюханов,—

скоро ночь, вполне можно успеть добраться до Зежска раньше немцев и выполнить намеченное, необходимое, а там дело покажет». Ему все равно нужно было в сторону Зежска и дальше, в леса. Так что лучше уж самому и проследить.

Брюханов снова ощутил свою совершенную оторванность от всего привычного, прежнего; теперь некому было приказывать, он один теперь должен отвечать за любой свой шаг и поступок, за сотни, тысячи человек, за неисчислимое количество самых разнообразных дел; и в этих своих мыслях он невольно отделялся от своего связного и шофера; на какое-то время, уже перед самым рассветом, он задремал, ни на минуту не переставая слышать гул ровно работавшего мотора и ощущать стремительное движение земли под собой; он тотчас открывал глаза, как только оно чуть замедлялось.

В три часа утра они проскочили Зежск и по широкой, покрытой асфальтом дороге выметнулись к заводу, здесь им навстречу кинулся какой-то паренек с длинной винтовкой наперевес; шофер затормозил, и Брюханов тотчас выскочил из машины, приседая от боли в затекших ногах.

— Кто такие?— с заученной строгостью спросил паренек, издали направляя винтовку на Брюханова, было видно, что он знаком с подобной штуковиной недавно, она чем-то неуловимо напоминала в его руках длинное полено; от проходной к ним бежал густо заросший щетиной невысокий человек, в котором Брюханов узнал Кошева, у него были растерянные, круглые, как показалось Брюханову, глаза, и у Брюханова нервным тиком передернуло лицо.

— Почему не взрываешь завод, Кошев?— спросил он.— Почему он еще стоит, я тебя спрашиваю? Для чего ты здесь оставлен? С минуты на минуту появятся немцы! Эй, Вавилов,— обернулся он к связному,— арестовать немедленно!

— Это у нас один секунд,— заторопился Вавилов, напрягая скулы и сноровисто выхватывая револьвер; паренек с винтовкой тотчас угрожающе шагнул вперед, заслоняя Кошева.

— А ну назад!— закричал он от взволнованности неожиданно звонко.— Кто такие? Стой, назад, говорю... стрелять буду!

— Брось, Ваня, делай свое дело,— недовольно отстранил его Кошев.— Минуту, товарищ Брюханов, мы

вот-вот только закончили минирование. Сейчас некогда, потом подробно доложу. К тому же у нас невероятное происшествие. Я отдал распоряжение взрывать...

— Так за чем дело?

— Да мы только что вечером этого черта Чубарева с последним составом вытолкали,— быстро сказал Кошев.— Он же никому не подчиняется, с ним и НКВД ничего не могло сделать. Пока какие-то, говорит, станки не погрузят, никуда не двинусь, каждый, говорит, из них сейчас дороже ста танков.

— Что же это такое за безобразие!— закричал Брюханов, еле сдерживаясь.— Он же обещал два дня назад улететь! Он один целого завода стоит!

— А что я мог?— пробормотал Кошев угрюмо.— Ты же его знаешь, он хоть и интеллигент, так матом всех нес — кирпичи в стенах шевелились. Тихон Иванович, мне нужно еще разок кое-где пробежать, я сейчас... Понимаешь... Тихон Иванович, только сегодня в ночь подвезли нужное количество взрывчатки. Убит начальник особой группы НКВД Самойлов. Видишь, я оказался здесь главным. Ты не представляешь, что здесь вчера творилось, пять налетов один за другим, завод, правда, почти не тронули, а дорогу расковыряли страшно. Да и распоряжение взрывать завод поступило всего два дня назад. Ну ладно, я пошел, Тихон Иванович... Нам еще с полчаса нужно.

— Подожди, я с тобой. Вавилов, отъедешь на холм к Зежску,— приказал Брюханов, старея лицом.— Следи лучше, заметишь немцев, сразу сюда. Дальше, как условились, действуй, меня не жди. А ты веди, сам за всем прослежу,— коротко бросил он Кошеву и шагнул вслед за ним в пустынную проходную; он торопил тяжело идущего впереди Кошева; пожалуй, впервые, вот здесь, посредине остановившегося гиганта, всего месяц назад полного жизнью, Брюханов осознал масштабы бушующего на земле разрушения. Было время, на этом самом месте широким морем полыхали костры; всю ночь напролет он тогда проработал здесь на рытье котлована, и вот только фамилии землекопа, от которого он никак не хотел отстать, не мог вспомнить, но то давнее состояние радости и силы, пробудившееся в душе, помогло ему.

Время сейчас сосредоточилось в каком-то одном зависшем коме; Брюханов физически чувствовал, как на него наматывается больше и больше, и ком этот с каждым шагом и каждой секундой тяжелеет; стиснув

зубы, он шагал вслед за торопившимся через силу Кошевым. Взошло солнце; Брюханов с болезненной сосредоточенностью отметил про себя и красную кирпичную трубу, при первых лучах солнца резко отодвинувшуюся в небо; и мрачные, пустые коробки корпусов, проступившие приветливее и оживленнее; казалось, из них вот-вот вырвутся веселые людские потоки; молодые березки и клены, высаженные вдоль дорожек и в скверики для отдыха, цветы на клумбах в засохшей земле — все это было для Брюханова частью уже не существующего, ушедшего мира.

Кошев, отдававший последние приказания, остановился перед широким приземистым бетонным зданием у объемистых ворот, под которые тянулись тронутые ржавчиной рельсы; в ворота свободно проходили под погрузку железнодорожные платформы. В массивных железных воротах чернела дверь с зарешеченным квадратным оконцем; Брюханов прижался к толстым прутьям, стараясь разглядеть что-либо внутри.

— Склад,— сказал Кошев.— Авиационные двигатели, их не успели вывезти, мы их тоже взрывчаткой начинили. Кажется, все в порядке.

Брюханов с досадой кивнул на ненужное уже сейчас объяснение Кошева, через каких-нибудь десять минут все это взлетит на воздух; из темноты помещения несло прохладой и застарелым запахом машинного масла.

— Все, Тихон Иванович, пошли,— поторопил Кошев.— Времени в обрез.

Брюханов снова почувствовал, каким огромным может быть мгновение и как трудно иногда выдержать и не дать победить в себе чему-то мелкому и трусливому. Перед ним по-прежнему стоял всего лишь Кошев, человек, хорошо и давно ему известный, он знал характер Кошева, тот прав, нужно было торопиться.

В это время у проходной поднялась суматоха, паренек, подняв в воздух винтовку, призывал их к себе, крик его не доходил отчетливо, и потому понять издали, что случилось, было нельзя. Брюханов, Кошев и еще двое из подчиненных Кошеву минеров быстро пошли к проходной. Кошев не одобрял неосмотрительности Брюханова, решившего оставаться до взрыва на заводе; разумеется, теперь за любой мелочью нужен глаз да глаз, и все-таки человек Тихон неуравновешенный, думал про себя Кошев, тяжело поспевая вслед,— до секретарей обкома дорос, а все те же неровности; уж он-то,

Кошев, знает Брюханова как облупленного, и он бы, Кошев, на его месте не стал так, сломя голову, рисковать собой. Всегда может выскочить какая-нибудь клякса, а отвечать-то все равно стрелочнику, в данном случае ему — все тому же Кошеву, председателю Зежского райисполкома. Уже и возраст, слава богу, за пятьдесят, и немочей всяких куча, а вот опять выпало ему — все тому же Кошеву. И молодых, проворных кругом предостаточно, а приказано ему остаться самолично проконтролировать, не иначе Тихон и постарался, всегда на него такие дела взваливал, вызнал характер на совместной работе,— уж, может, и без изящества будет сработано, зато основательно, прочно. Все эти мысли мелькнули в одно мгновение, Кошев был зол на Брюханова, и в то же время ему льстило, что Брюханов в трудный момент вновь вынужден был к нему обратиться. «Как самый незначительный промах — первым делом Кошеву голову мылить,— озабоченно и сердито думал Кошев,— а вот как пришлось искать человека для важного дела, мимо Кошева не проскочило. Эк черт, угораздило,— ругался Кошев, опять вспоминая о Чубареве.— Это тот виноват, до последнего часа дотянул, хотя, впрочем, при чем здесь Чубарев, он свое дело выполнял. Экая неразбериха, кто же ожидал такого оборота с немцем... Вон и со взрывчаткой тоже».

У проходной им сообщили, что немцы вступили в Зежск и скоро нужно ждать их здесь; над заводом уже дважды в паре проносились «мессершмитты», и нужно было спешить. С пригорка, поросшего молодым дубняком и дополнительно замаскированного свежими ветками, где были установлены взрывные механизмы, Брюханов в последний раз оглядел территорию завода; с этого же холма было особенно отчетливо заметно, как Зежск своими новыми улицами тянется к заводу, словно стараясь слиться с ним. Много построили за эти годы, мелькнула у Брюханова посторонняя мысль. Хороший город мог быть. Наступал последний момент; то и дело появлялись люди и докладывали о готовности к взрыву порученных им объектов; в то же время послышались торопливые, частые выстрелы, и, вглядевшись, Брюханов различил выползавшую из Зежска танковую колонну; машины отсюда были похожи на асимметричные спичечные коробки. Он отыскал глазами Кошева, и тот придвинулся к нему.

— Что ж, Павел Семенович, видать, пора приспела. Что там у нас на затравку, плотина? Они обязательно захотят осмотреть территорию, о строительстве моторного в свое время много писали в зарубежной печати,—растянул Брюханов в вынужденной улыбке серые губы, оглянулся на сапера, караулившего у электрических батарей, из которых змеились, уходя в землю, провода.

— Подождем несколько минут,— попросил Кошев, нервничая.— Еще не приходили от Болотина и Гарченко, механический цех и котельная... Чего они там возятся?

— Надо взрывать, что готово,— сдвинул брови Брюханов, скользнув невидящим взглядом по лицу Кошева в грязных потеках пота.— У вас тут ни черта, оказывается, не готово. Что вы ночь делали?

Кошев не ответил; даже две-три минуты сейчас было немало; он нахмурился, отвернулся от Брюханова и опять стал смотреть в сторону Зежска. Танки приближались, впереди них густо пылила мотоциклетная колонна; хвосты пыли от нее относило ветром в сторону ржаво переливающегося под солнцем поля. Брюханов представил себе все в действии. «Еще немного»,—сказал он себе, косясь в сторону Кошева и стараясь не выказать волнения; в этот момент он преодолел в себе некую критическую точку и твердо решил больше трех минут не ждать; словно в хорошо отстоявшейся воде, он видел самую суть, дно до мельчайших подробностей.

— Не верю, до сих пор не верю, что *они* здесь, как могли допустить!— сказал Кошев с тоскливым недоумением; времени уже не оставалось совершенно.

— Ничего, Кошев.— Брюханов с трудом удержал равновесие; он видел и чувствовал почти вслепую, одними обнаженными нервами, предательски кружилось в голове; лицо Кошева таяло бесформенным пятном. Он удержался, пошире расставив ноги; второй день во рту ни крохи не было, теперь бы просто кусок ржаного хлеба. Перед ним неловко и ожидающе топтался Кошев. «Пожалуй, именно ему тяжелее всех, каждый кирпич в районе — его детище»,— с неожиданной теплотой подумал Брюханов, едва удерживаясь от желания расцеловать это грязное, страдающее лицо.

— У тебя найдется кусок хлеба, Павел Семенович?— спросил Брюханов.— Умираю с голоду,— доба-

вил он в ответ на молчаливый вопрос Кошева,— кажется, дня два ничего не ел.

Кошев скрылся в землянке и тотчас вернулся с хлебом и большим куском колбасы; Брюханов стал есть, с наслаждением вдыхая запах свежего хлеба и мяса и стараясь удерживаться под посторонним взглядом от проснувшейся жадности; он съел немного и остаток бережно засунул в карман.

— Спасибо тебе, Павел Семенович,— сказал он спокойно, в сосредоточенной углубленности от предстоящего.

— За что?— недовольно спросил Кошев, по-прежнему уверенный, что Брюханов взял на себя права старшего в этом деле зря и что ему нужно как можно скорее убраться отсюда.

— Хороший ты мужик, Кошев,— сказал Брюханов.— Столько лет вместе трубили... Вот что, Павел Семенович, давай-ка своим команду — немедленно всем скрыться, чтоб ни одной души на виду. Плотину в первую очередь. А то получается слишком дорогая забава, пусть она и им обойдется не даром, они сейчас смелые, без боязни идут.

Кошев тут же отдал необходимые распоряжения, и пригорок опустел; закрытый кустами, один из минеров наблюдал в бинокль за продвижением танков, затем к нему подполз и лег рядом Брюханов, взял бинокль и поднес к глазам; заросший рыжей бородкой за несколько дней беспрерывной работы по подготовке взрыва минер, в предчувствии тяжкой минуты, словно проверяя, присутствует ли еще жизнь в нем, ерзал по земле. Брюханов оторвал бинокль от надвигающейся вереницы железных коробок, из люков которых виднелись танкисты, поглядел на рыжего минера.

— Тяжело, брат?— В воспаленных от долгой бессонницы глазах минера было то же, что и у Кошева, тоскливое непонимание происходящего.

— Ничего, брат, бывали у нас рубежи и пострашнее,— сказал Брюханов, обращенный уже полностью внутрь себя и того, что ему предстояло выполнить; он был по-рабочему собран, строг; в то же время он ощущал особую, непривычную отдаленность от затаившихся вместе с ним на холме людей, и эта отдаленность выражалась не в пренебрежении к ним и чувстве превосходства, а в осознании решающего момента собственной жизни; он словно приблизился к своей высшей

критической точке и знал это. Обостренным, вторым, все время присутствующим в нем в течение последних дней чутьем он уловил новое неприятное обстоятельство, только что возникшее. Это чувство новой опасности появилось в нем еще до того, как прибежал запыхавшийся боец из роты НКВД, находившейся в оцеплении, и сообщил, что группа немцев-автоматчиков появилась совершенно с неожиданной стороны и рота вряд ли долго продержится.

Торопливый и сбивчивый доклад бойца занял немного времени, но и этого хватило, чтобы пропустить через себя всю сложность происходящего; оторвавшись от приближавшейся со стороны Зежска массы немецких войск, в которых танковая колонна являлась всего лишь передовым отрядом и возглавляла движение артиллерии, пехоты на машинах, мотоциклетных частей, Брюханов обежал взглядом панораму обширной заводской территории; да, да, это был живой кусок и его трудной и радостной жизни, и нужно было вырвать его из общего и неразветвленного течения и обратить в прах. Движение намечено и началось, остановить его нельзя, важен конечный результат, важно себя до дна проверить, отыскать возможность жить дальше.

— Начинаем,— услышал он жаркий шепот Кошева.— Тут рядом развилок Кудинова яра, орешник, не продерешься. Нырнем — и поминай как звали. А уж те...

Брюханов задержал дыхание, дальше ждать было нельзя. Брюханов отложил бинокль, чувствуя немоту в руках.

— Давай команду, Кошев, давай,— с нарочитой будничностью сказал он и распластался по земле удобнее; Кошев исчез, а Брюханов повернул голову в сторону плотины, но время шло, намеченный момент давно минул; смахивая со лба крупные капли пота, Кошев почти сразу появился перед ним.

— Беда,— прошептал Кошев, и Брюханов понял, что он находится почти в невменяемом состоянии.— На плотину не замыкает, повреждение какое-то... Вот промах, вот промах! Надо взрывать цеха!

Брюханов слепо взглянул на него, чувствуя, как от лица отливает кровь; короткая, словно молния, мысль отдалась в нем. С первого же раза отступать было нельзя, и если ему что суждено, останется Поздышев.

Он принял решение и, ничего не говоря, словно наказывая Кошева молчанием, поднес к глазам бинокль.

Танки достигли завода, несколько машин, свернув в поле, выстроились в ряд, и тотчас в распахнутые железные ворота заводской территории въехало несколько мотоциклистов; группы солдат с автоматами останавливались у входа,— очевидно, двигаться в глубь заводской территории им было запрещено. Брюханов видел, что немцы сразу же заняли здание заводоуправления, но это его нисколько не встревожило; молодцы, дисциплинированный народ, верно, особую команду ждут.

Брюханов наблюдал за всем этим движением с интересом и некоторым удивлением перед невероятной будничностью происходящего: да, вот они, те самые страшные фашисты, у них там какие-то обыденные житейские дела, солдаты рады передышке, спешат хоть на время отделиться от пыльных, надоевших машин и, завидя воду, радостно хохочут, орут, бегут к пруду, но у завода остановилась лишь какая-то часть потока, остальные продолжают двигаться дальше, явно завидуя тем у пруда, уже успевшим раздеться догола и с наслаждением ныряющим с травянистого берега в теплую воду. Брюханов не уловил резкой перемены в самом себе, но он сразу почувствовал ее, и картина предстала перед ним истинной своей стороной, отступило все ненужное. Он сразу в полной мере ощутил все значение происходящего. «Это действительно *война*,— сказал он себе,— действительно *немцы* пришли. *Немцы* захватили уже Холмск, идет их движение на Москву, боже ты мой,— удивился он,— самая сердцевина страны, истоки России...»

И от этой невероятной мысли он почувствовал боль в сердце, оно дрогнуло и зашлось и вновь застучало в привычном ритме, только боль теперь распространилась по всему телу; с момента, когда Кошев сообщил ему, что на плотину не замыкает, мелькнули считанные секунды, но перемены и в себе, и перед глазами были настолько велики, что, казалось, прошел целый час или даже больше; Брюханов заторопился.

— Кто минировал плотину?— спросил он, вглядываясь в немецких солдат и танки.

— Сиволоб! Сиволоб!— торопливым шепотом застонал Кошев, и к ним из землянки тут же выполз усатый,

с виду совершенно равнодушный мужчина лет сорока; его лицо поразило Брюханова своей домашностью; он и на Брюханова сейчас глядел, как на надоевшую жену в ожидании очередной взбучки.

— Ты минировал плотину, Сиволоб? — спросил Брюханов.

— Ну я.

— В чем дело?

— Кто его знает... Видно, провода где оборвало. Недавно проверяли, нормально было.

Отяжелевший взгляд Брюханова остановил его.

— Можешь подобраться к зарядам, Сиволоб?

— Можно... Ночью бы, в темноте...

— Ждать нельзя, немцы могут обнаружить заряды.

Сиволоб неопределенно передернул плечами, минер, лежавший по другую сторону Брюханова и с самого начала внушавший полное доверие, тоже предложил ждать ночи, а Кошев стал было опять говорить о взрыве цехов.

— Вот что, Кошев,— сказал Брюханов.— Плотина в стороне от дороги, и немцев там еще нет. Бери Сиволоба, и ползите. Слышите, Сиволоб, поджигайте аварийные шнуры. Плотину взорвать необходимо, остальное доделается и без вас. Есть одно опасное место, нужно будет проскочить рядом с дорогой. Я с вами третьим, именно на этот случай. А ты, Третьяков, как только рухнет плотина, подрывай все, что можно.

— Надо выполнить реальное, уничтожить завод...

— Кошев, распоряжаюсь здесь я,— оборвал Брюханов,— именем советской власти. Мой приказ выполнять до конца. Кому посчастливится, сойдемся в логу к вечеру, а не повезет... Захватите все необходимое, и двинулись.

До них донеслась частая винтовочная и автоматная пальба, бухнуло несколько гранат, и все стихло окончательно.

Молчание было тягостным и коротким; Брюханов не дал ему разрастись, первым ползком двинулся с холма, раздвигая телом кусты; он слышал сопение Сиволоба и думал, что, как только они проскочат опасное место у дороги, самому ему нужно будет вернуться назад, на холм.

Минут через десять грохот тягачей и танков перерос в один сплошной, оглушающий рев, но Брюханов продолжал ползти; Кошев хриплым шепотом несколько раз

позвал его. У края узкой, метров в пятнадцать, лощинки, которую нужно было проскочить возле самой дороги, Брюханов остановился; натянутая в нем до предела струна словно оборвалась. По дороге, поднимая густую пыль, непрерывной лентой ползли машины с солдатами; пыль медленно относило в другую сторону, в этом тоже не повезло. Верткие мотоциклисты обгоняли машины по обочинам; незамеченно проскочить лощину, поросшую редким, низким ивняком, было нельзя, и каждая следующая минута могла погубить дело.

— Ну что ж, не пройдем, кажется.— Кошев вытер рукавом грязную, вспотевшую шею, и Брюханов уже не мог от него оторваться; Кошев недовольно моргнул, пробормотал что-то, и, хотя Брюханов все понял, помешать не успел; Кошев с торопливой неловкостью уже шел к дороге, в противоположную сторону от перегородившей путь лощины; у Брюханова, любившего когда-то побродить с ружьем, мелькнула мысль о куропатке, отводящей собаку от гнезда; во всем огромном мире осталась одна приземистая фигура Кошева, удалявшаяся в знойном, застывшем безмолвии; да и сам Кошев ничего больше не слышал, он лишь с каждым шагом словно становился легче. На нем сосредоточились сотни взглядов, и он шел, опутанный ими, как сетью, пронизанный насквозь; у самой дороги рядом с ним тотчас остановился мотоцикл с люлькой, затем второй, третий. Расторопный немец по приказу офицера в высокой, запыленной фуражке быстро ощупал его, что-то сказал; спокойно, с обстоятельной неторопливостью Кошев всматривался в обступивших его со всех сторон солдат, вслушивался в отрывистую непонятную речь, и в то же время в каком-то потаенном уголке его сознания завершалась своя работа. Вся масса двигавшихся мимо чужих солдат и офицеров невольно сосредоточила внимание именно на нем; был мимолетный повод встряхнуться в однообразии наскучившего движения, и солдаты весело пересмеивались, высказывая различные предположения, шутили; в этой стране вот такие, еще в полной силе мужчины не часто выходили к самой дороге, заполненной движущимися войсками.

— Только взгляни на рожу этого Ивана,— говорил один.— Сейчас достанет топор, бросится рубить танки.

— Первая линия обороны Москвы, ожесточенное сражение, наши войска с потерями отступают вперед,— комментировал второй, щеголяя студенческим остроу-

мием и явно показывая, что он недавно из самой Германии и в серьезном деле еще не бывал.

— Русский мужик вышел нас приветствовать! Добрый признак!

— Он впервые увидел машины, сейчас хлопнется от изумления на колени!

Машины проходили мимо в пыли и грохоте; летний зной усиливался, и Кошев, спокойно и без неприязни глядя на окружавших его немцев, очевидно чего-то ждущих, уже определенно знал, что Брюханов и Сиволоб проскочили; чуть сгорбившись, он давно стоял вполоборота к лощине и заметил легкое движение, две тени скользнули в низкорослом ивняке. Кошев с интересом разглядывал щеголеватого офицера в высокой фуражке, с множеством нашивок и блестящих на солнце крестов. Кошев сравнил про себя военных с женщинами — и тем и другим требовались чисто внешние украшения, мишура; очевидно, как это ни странно, есть какая-то связь между этими, казалось бы, резко противоположными категориями.

Уже наверное зная, что свои проскочили, Кошев с той же спокойной медлительностью и обстоятельностью принялся разглядывать подъехавшего переводчика, молодого, лет двадцати двух, парня, с красивыми, живыми глазами, отменно говорившего по-русски.

— Я — председатель Зежского райисполкома,— Кошев кивнул в сторону города,— Кошев, Павел Семенович.

Он заметил недоверие в светлых глазах переводчика и веселую улыбку щеголеватого офицера в высокой фуражке и повторил сказанное; в ответ на новые вопросы он тем же безразличным ровным голосом отвечал затверженные фразы, и его, наконец, посадили в люльку мотоцикла и привезли на завод, и тотчас новые лица замелькали перед ним. В помещении заводоуправления, куда его ввели и которое было знакомо ему до мельчайших подробностей, он увидел среди военных двух человек в гражданском, и один из них, не стесняясь немцев, подошел и стал усиленно жать руку, приветливо-изумленно улыбаясь и блестя золотыми зубами в правой стороне рта. Кошев тотчас вспомнил его именно по золотым зубам, да, теперь он знал, куда исчез с моторного полторы недели тому назад начснаб завода Верещапин. Недавнее прошлое перекрестилось с настоящим, и Кошев спокойно, без всякого выражения смот-

рел в оживленно встревоженное лицо бывшего начальника снабжения завода, и когда Верещапин картинно-сердечно протянул руку, он приветливо, без тени угодливости, заискивания или брезгливости пожал ее, думая в то же время, что теперь ни за что не выпутаться. И еще он подумал, что их всех в районе и на заводе, вплоть до Чубарева, надо было выгнать из партии и пересажать, раз в таком близком окружении оказался хоть один Верещапин, определенно свой у немцев человек.

— Павел Семенович!— возбужденно сказал Верещапин, блестя влажным старым золотом во рту.— Это же вы! Как вы здесь оказались? Почему?

— До того ли сейчас, Верещапин,— махнул рукой Кошев.— Потом расскажу. Еще в себя не пришел. Ну куда, думаю, деться?

Верещапин с сияющим лицом повернулся к военным и стал быстро говорить по-немецки, время от времени оглядываясь на Кошева; один из них, вероятно главный, шагнул к нему и, пожав руку, что-то раздельно и резко спросил.

— Вас спрашивают, почему вы решили добровольно отдаться в руки немецких властей?— переводил тотчас оказавшийся рядом Верещапин.— Вам обещают покровительство, Кошев, если приход ваш продиктован высокими побуждениями, великая Германия всегда умела и умеет ценить преданных, деловых людей.

Кошев согласно кивал, с растущей тревогой пропуская через себя каждую следующую секунду; вот сейчас, сейчас, ну, скорей же, скорей, почти молил он, стараясь не поддаться сомнениям; он что-то сказал, кажется к месту, насчет своего решения остаться в городе и опять повернулся к Верещапину; пол дернулся у него из-под ног, когда Верещапин говорил о почетной задаче каждого просвещенного человека в борьбе с большевизмом, и Кошев не смог удержаться от злорадной улыбки. Она словно застыла у него на лице; немцы, после секундного замешательства, толпой бросились к двери. Гул и грохот накатывался со всех сторон тугими волнами, и Кошев, выбравшись из заводоуправления, оказался в центре смятения, везде бегали и кричали солдаты, и слышался рев прорвавшейся воды. Мозг срабатывал мгновенно и остро. Кошев в общей суматохе смешался с бегущими зелеными фигурами, свернул за угол, к выходу с территории завода, и тотчас поймал

на себе цепкий, не отпускающий взгляд Верещапина. В железных воротах происходило что-то невообразимое; никто еще не знал, что именно случилось и откуда грозит опасность, и Кошев с той же отчетливостью и яркостью мысли понял, что из этой каши ему не выбраться. Он бросился не к воротам, а в глубь заводской территории, надеясь уже только на счастливую случайность и стараясь держаться подальше от основных цехов и сооружений. Он снова услышал за собой окрик — «Стой! Стой!» — и узнал голос Верещапина; сворачивая за угол котельной, он увидел ярко брызнувший широкий сноп взрыва, надвое разрубивший длинное приземистое здание механического цеха, он не услышал воя и свиста разлетавшихся кирпичей и обломков конструкций, один за другим рушились корпуса по всей обширной территории завода, и Кошев побежал от котельной, от двух ее труб, спокойно и стройно черневших в смятенном предвечернем небе. «Молодцы! Успели! Рвут! — ликующе стонало внутри у него; подмывало оглянуться и крикнуть Верещапину: — Что, съел, сукин сын?»

Кругом оседали цеха, разодранно распадался тот самый бетонный склад, у которого они совсем недавно стояли с Брюхановым, неслись в воздухе какие-то рваные куски и вихри. Кошев увидел перед собой белый, кипящий, надвигающийся вал, подмявший и поваливший забор, и, рванувшись назад, столкнулся лицом к лицу с Верещапиным; в руках у того плясал револьвер. Верещапин что-то кричал, широко сверкая золотыми зубами. Кошев свободно и радостно засмеялся ему в лицо, и в то же время в его застывших от какого-то смертного восторга глазах покачнулись и стали медленно скользить к земле переломившиеся где-то у самого основания стремительные тени безмолвных высоких труб, они падали почему-то в разные стороны, делясь на неравные куски, и в последний момент сердце Кошева сжала неведомая досель мучительная сладость разрушения.

Белое стремительное небо рухнуло в мгновенной вспышке, обрывая судорожно натянутую нить, и широкое солнце кровавым сгустком покатилось вбок, вбок и рассыпалось где-то у самой земли в непроницаемую, неподвижную черту.

6

Лицом к лицу Пекарев столкнулся с войной на шестой день после того, как он торопливо и невпопад, занятый предстоящей поездкой, расцеловался с женой и дочкой; уже на ходу его втянули в товарный вагон. Их состав, а вместе с ним и четыре вагона бумаг, упакованных в мешки и пронумерованных большими черными цифрами, где-то километрах в ста пятидесяти от Холмска загнали на запасный путь. Пекарев вместе с заведующим партархивом пошли к коменданту станции, но там царила такая суматоха, что лишь часа через два им наконец удалось поймать его в одном из станционных закутков; Пекарев с весьма решительным видом стал тыкать в него своим чрезвычайным обкомовским предписанием. Комендант, согласно кивая и вытирая мокрый лоб, попутно поправляя выбившиеся из-под фуражки редкие пряди, глядел затравленными, непонимающими глазами и боком, боком стал обходить Пекарева и заведующего партархивом, словно какое-нибудь неживое препятствие. Пока Пекарев опомнился, комендант проворно юркнул в первую попавшуюся дверь и захлопнул ее; Пекарев переглянулся со своим спутником, и они обреченно побрели назад к поезду, решив выждать более спокойной минуты.

Пути были забиты санитарными эшелонами, составами с эвакуируемыми заводами и учреждениями, всюду толклись военные; железнодорожные патрули часто проверяли документы, боялись диверсантов. За день станционная земля прогрелась и теперь сильно и ровно пахла мазутом; состав за составом лихорадочно отправлялись все в одну сторону — на восток, и в этой поспешности было что-то зловещее. Проверив пломбы и оставив на всякий случай заведующего партархивом в вагоне вместе с двумя охранниками, Пекарев вновь отправился разыскивать коменданта, и опять безуспешно; уже близился вечер, а за ним и напряженная ночная неразбериха, в которой могли бесследно утонуть не только четыре вагона. Пустой желудок подтянуло к ребрам, и Пекарев решил вернуться к своим перекусить. Пролезая под вагонами, он то и дело слышал оглушительное, резкое лязганье буферов, в одном месте пережидал санитарный поезд; на всех парах мимо промчался паровоз; к шуму напряженной жизни станции теперь отчетливо примешивался гул приближавшихся самоле-

тов, Пекарев уже различал их. Он бросился к своим вагонам и заметался перед мчавшимся мимо товарняком с наваленными на платформах как попало станками; в безоблачном предвечернем небе показалась первая тройка самолетов, от которой отваливался на крыло, переходя в пике, крайний слева. Пекарев ткнулся вниз, прижался к теплой шпале, прикрывая голову руками. Мерзкий, нарастающий сверху визг прибил его к вздрагивающим шпалам; затем земля толкнула его прочь, оглушенный, он вскочил, затравленно озираясь. По всей станции рвались бомбы, с треском разваливались и горели вагоны, кричали и бежали люди. Еще одна тройка «юнкерсов» высыпала бомбы на станцию, горячая, густая волна швырнула Пекарева, и он, не удержавшись на ногах, больно стукнулся о какой-то столб. Его все время мучила мысль о вагонах с бумагами, и он при первой возможности бросился к ним, но увидел лишь хвост уходящего состава. Холодея, он неловко побежал следом, уже понимая, что догнать задний вагон ему не удастся; подножка отдалялась все быстрее; он споткнулся и ударился всем телом, грудью, головой о землю и уже не слышал обрушившегося на станцию еще одного бомбового шквала. Очнувшись, он долго сидел, приходя в себя, затем, с трудом справляясь с болевшим телом, побрел среди дымящихся воронок и догоравших вагонов, вокруг которых суетились красноармейцы, отыскивать коменданта. Несли убитых и раненых в грязных, бурых от крови повязках; Пекарева кто-то грубо схватил за плечо и приказал идти помогать тушить горевшие пристанционные склады с зерном; он послушно пошел, все время помня, что ему нужно отыскать коменданта; а ведь к лучшему, что склады с зерном загорелись, как-то вяло и безразлично подумал он, через несколько дней их все равно придется жечь. Все стронулось с места по какой-то скользящей наклонной плоскости; Пекарев нос к носу столкнулся с бежавшим человеком и тотчас признал в нем коменданта станции, но уже без фуражки. Пекарев узнал его по редким свалявшимся волосам; бережливо и цепко придерживая неудержимо рвущегося куда-то коменданта за рукав, сказал, что его состав ушел и он не знает, что теперь делать, ведь именно ему было поручено сопровождать архив, и он просит безотлагательно навести справки и оказать необходимую помощь. Лицо коменданта, привыкшего за последние дни к коротким и од-

носложным приказам, от столь долгой речи стало несколько осмысленнее; он словно впервые увидел перед собой Пекарева.

— Бумаги! Бумаги! Сейчас не до бумаг, цепляйтесь за любой состав — и вдогонку, что я еще могу посоветовать?— комендант то и дело беспокойно оглядывал свое обширное хозяйство; Пекарев, задерживая его, начинал все больше чувствовать неловкость и конфуз своего положения и понимал, что обижаться нельзя.

— Через час-два починим полотно, начнем проталкивать составы, не зевайте,— сказал комендант уже мягче, присматриваясь к Пекареву и видя, что перед ним человек, окончательно растерявшийся в сумятице, да и вообще в жизни, видимо, не цепкий.— Если брать не будут, ищите меня, помогу.

— У вас на виске царапина или ушиб, кровь идет, перевязать надо,— сочувственно посоветовал Пекарев, и комендант, потрогав висок пальцами, сморщился и махнул рукой; его буквально вырвал кто-то из рук Пекарева, и Пекарев, проводив его взглядом, снова закачался среди снующих людей и дымящихся обломков. Солнце заходило, становилось прохладнее, можно было отдохнуть от жары и огня. Из разбитой водонапорной башни выливалась вода; Пекарев подошел и напился, подставляя потное, грязное лицо под пенистую, падающую сверху струю; затем он умылся, с наслаждением освобождаясь от грязи и пыли.

К полуразрушенному зданию станции сносили убитых и складывали в ряд прямо на землю в небольшом скверике под пирамидальными тополями; Пекарев подошел и смотрел застывшими глазами, не в силах оторваться от жестокого в невероятной своей будничности дела. Человек двадцать уже лежали в ряд, залитые кровью, неподвижные; принесли на брезенте туловище без головы, со срезанным плечом; высокий, худой мужчина с потным лицом закричал на Пекарева, чтобы он помогал, и он стал помогать. С какими-то незнакомыми людьми он сначала носил убитых, затем таскал шпалы и рельсы, разбирал завалы из разбитых обгорелых вагонов; он уже смутно чувствовал, что ушедший состав с архивом ему не отыскать на обезумевших дорогах. Он совершенно обессилел за день, но все время был наготове и ждал момента, когда наконец начнется движение, и с наступлением вечера подходил то к одному, то к другому паровозу и спрашивал у машинистов и коче-

гаров, всякий раз показывая свои документы. Идти к коменданту он больше не решался и, поверив, что поезда раньше полуночи не пойдут, присел передохнуть в пристанционном скверике, куда были снесены убитые. Чутко прислушиваясь, он некоторое время крепился и, невольно засыпая, испуганно вздрагивал. «Да чего же это я, времени еще много,— думал он,— вот еще подремлю с полчаса и пойду».

Спустя полчаса ему действительно показалось, что он, отдохнувший, поднялся и, перебравшись через пути, почему-то залитые бледноватым светом, удивляясь странной невесомости собственного тела, забрался на платформу и затаился между какими-то двумя железными махинами. Лязг буферов и сопение паровоза неподалеку отдались в нем острой радостью, с этим чувством радости он и заснул окончательно, но на заре подхватился от неожиданной тишины; он уже давно, еще во сне, отметил эту тишину как что-то опасное, нехорошее, и вот теперь, сидя все под тем же пыльно шелестящим пристанционным тополем ошеломленно озирался. Брошенная станция умерла, длинный ряд убитых людей лишь резче подчеркивал ее обреченность. Вскочив на ноги, затравленно озираясь, он поспешно пошел от станции прочь к березовому перелеску, сквозящему вдалеке, и уже оттуда наблюдал дальнейший разворот событий. Немцы ворвались на станцию на мотоциклах, зачем-то постреляли впустую, бросили вверх три белые ракеты. Через некоторое время Пекарев увидел несколько приземистых танков с молодыми, простоволосыми, без шлемов, танкистами в откинутых люках; танкисты вылезли из машин, разминаясь, стали бродить по станции. Наблюдая за всей этой картиной, Пекарев ни на минуту не забывал о своей брошенности; солнце давно взошло, но прохладная свежесть еще чувствовалась над землей; в тронутых яркой желтизной березах возились птицы. В синевшем небе не было ни облачка. «Неужели ни одного?» — подумал Пекарев, ему почему-то хотелось отыскать в небе хоть маленькую тень, но ее не было, и Пекарев опять лег. «Выход один,— лихорадочно думал он,— возвращаться в Холмск, а там дело покажет». Дня за три, ну, за четыре, кружным путем доберется, осмотрится, кто-нибудь, гляди, отыщется. Не может быть, чтобы никого не оставили для работы. Четверо суток вполне продержится, воды и ягод по

дороге сколько угодно, да и лесные поселки есть, немцы туда вряд ли сунутся.

Пригнувшись, Пекарев отполз подальше в березы и, больше не раздумывая, направился на запад, нещадно ругая себя за то, что не запасся на станции хоть какой-нибудь едой. Он еще больше жалел об этом на второй и на третий день; уже перед самым Холмском он допустил оплошность, не выждав и не осмотревшись как следует, пересек в одном месте дорогу открыто и буквально наткнулся на немцев, вынырнувших из-за поворота на мотоцикле; он бросился в кусты и не услышал стрекота автомата, лишь потом, отбежав от дороги с километр и почувствовав себя в относительной безопасности, ощутил боль в правой ноге. Морщась, он стянул отяжелевшие от крови штаны и долго, настороженно прислушиваясь к гулу леса, осматривал простреленную навылет ногу. Кровь уже перестала идти, при каждом движении начинала сочиться сукровица, и, пожалуй, двигаться можно было. Он разорвал нижнюю, пропахшую потом рубашку, как мог, перевязал рану, а через сутки, в ночь, с трудом взобравшись по лестнице на второй этаж, обессиленно остановился перед знакомой дверью. «Будь что будет»,— подумал он и постучал, и Аглая Михеевна, не сразу отворившая ему дверь, в первую минуту не узнала его и боязливо стояла, загораживая проход. Он прислонился плечом к косяку, через силу улыбнулся.

— Я, Аглая Михеевна,— сказал он.— Сеня. Неужели так пострашнел?

— Господи помилуй!— перекрестилась Аглая Михеевна.— Да откуда же ты будешь, Сенька — заячья шапка, германец-то кругом?

— Молчи, Михеевна, так получилось, поезд ушел, я остался. Затем и немцы подоспели, пришлось домой пробираться. Ранен я, в ногу,— поморщился он.— Как тут брат?

— Господи, да что за напасть!— охнула Аглая Михеевна, подхватила Пекарева, помогая ему дотащиться до дивана, затем поспешно заперла дверь.— Этот ирод и по ночам со своими блаженными возится, и за что мне господь послал такой крест? Кругом рушится да горит огнем, а он от них ни на шаг. Да как же так, Сеня, давай я тебе пособлю получше-то лечь, вот так, сейчас воды согрею, грязь-то смыть.

— Ничего, не страшно, мякоть пробило. Это потом, потом. Голоден, Аглая Михеевна, в глазах темно.— Пекарев со стоном вытянул раненую ногу; Аглая Михеевна тотчас стала его кормить, часто охая и суетливо сокрушаясь, и все порывалась бежать за Анатолием Емельяновичем; Пекарев отговорил ее. После еды он совершенно осоловел, глаза сами собой слипались, и он прилег на старый знакомый диван и забылся прерывистым сном, часто вздрагивая и отрывая голову от подушки; дождавшись, пока он забудется покрепче, Аглая Михеевна все-таки ушла, и когда Пекарев-младший, застонав во сне от боли, всполошенно вскинулся, он увидел над собой встревоженное лицо брата, тот уже успел с помощью старухи раздеть его.

— Потерпи, Сеня,— быстро сказал Анатолий Емельянович, ловко разрезая ножницами окровавленное тряпье и резко срывая его.— Ну вот, вот...

Пекарев-младший, до синевы бледнея, схватился руками за валик дивана у себя под головой.

— Все, все... Ерунда, неделя, не больше,— говорил Анатолий Емельянович.— Хорошо, что успел вовремя, воспалиться могло. Сейчас промою, перевяжу... Аглаюшка, спирт, пожалуйста... Ну вот, вот, так, хорошо.

Через полчаса Пекарев-младший лежал на кровати, укрытый одеялом; Анатолий Емельянович, потирая руки, чего раньше за ним не замечалось, молча выслушал брата.

— Твои успели проскочить в последнюю минуту,— сказал Анатолий Емельянович.— Их неделю назад эвакуировали, Олечка забегала прощаться. Клавдию не видел, сборами была занята, ничего, успели. Вот так-то, Сеня; мое заведение тоже намечалось к эвакуации... а вот какой поворот вышел.

Пекарев-младший не стал расспрашивать подробнее, хотя для него эти известия о семье были первыми.

— До чего же все нелепо,— вздохнул он.— Надо же мне было на немцев напороться, сейчас бы самое время отыскать кого-нибудь, понимаешь...

— Об этом не может быть и речи, пока рана не затянется, и потом, Сеня, ты известен в городе каждой собаке,— сказал Анатолий Емельянович, угадывая его мысли.— Не верю я в гуманизм новых властей, их писания в листовках отдают откровенной демагогией.

— А сам что думаешь делать?

— У меня есть заповедь Гиппократа.

— Чушь! Чушь!

Аглая Михеевна пробурчала недовольно, чтобы он не подымал голос на старшего брата, такое ни у какого народа не делается; Пекарев-младший, оставив ее слова без внимания, некоторое время лежал сосредоточенно, со страдальчески углубленным выражением лица.

— Кому и зачем они сейчас нужны, твои пациенты, Толя,— думая вслух, сказал он.— Не понимаю тебя, да и нельзя понять. Сейчас и здоровый разум в гонении. Давай как-нибудь уходить вместе, найдется и для нас берег. У тебя же, кажется, в хозяйстве были лошади?

Анатолий Емельянович подошел к зеркалу, взглянул на себя, пригладил жесткие волосы на затылке, улыбнулся своим мыслям; Сеня не мог понять его, да и никто не мог.

— Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гегией и Понакией,— все так же улыбаясь, начал он,— и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно своим силам и своему разуму, следующую присягу и письменное обязательство, считать научившего меня... слушай, слушай, Сеня!— приказал, повышая голос, Анатолий Емельянович,— ...научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком, и в случае надобности помочь ему в его нуждах... чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я пойду туда для пользы больного, буду далек от всего злонамеренного, неправедного и пагубного... Нет, Сеня,— Анатолий Емельянович осторожно подсел к брату,— вряд ли ты прав в отношении моих пациентов. Касательно разума, духа, так я и здесь склоняюсь к своей теории, ну, ты ее знаешь. Дух сам есть странная и необъяснимая болезнь материи. А посему прощаю тебе, Сеня, невольную попытку надломить во мне совесть врача, вряд ли ты со злого умысла.

— Всерьез говорю, Толя.— Пекарев-младший подвигал раненой ногой, после перевязки нога болела сильнее; не слишком прислушиваясь к словам брата, он повернулся к затянутому синей маскировочной бумагой окну.— Дня бы два-три надо на выяснение об-

становки. Вслепую нельзя, как некстати эта дурацкая пуля.

— Пустая палата найдется, нужно бы тебя свести сейчас, а не днем,— продолжал думать о своем вслух Анатолий Емельянович.— Да точно хорошо ли это будет? С неделю тебе придется полежать. Тут уж никто не волен.

— Лучше в палату, здесь в любую минуту могут взять. Михеевна меня накормила, двое суток могу теперь продержаться.

— Так долго не потребуется, Сеня, а лошадей, трех оставшихся, позавчера забили, надо же чем-то кормить больных.

Несмотря на протесты Аглаи Михеевны, решительно заявившей, что это безбожество и грех нормальному человеку в помешанном доме жить, Анатолий Емельянович той же ночью переправил брата в больницу; Пекарев-младший, оставшись наконец один в прохладной, узкой палате, растянулся на удобной больничной койке и тотчас крепко заснул, в твердой надежде, что завтра предпримет что-то важное и необходимое. Ночью стало хуже, залихорадило, но, когда Анатолий Емельянович зашел к нему наутро, он тотчас опять заговорил о необходимости немедленно уходить.

— Оставь, пожалуйста, Сеня,— мягко попросил Анатолий Емельянович, избегая смотреть в воспаленные глаза брата.— Ты сам знаешь, что это невозможно. Здесь безопасно, полежи, наберись сил...

От тихой, но крепкой уверенности в голосе брата Пекарев неловко заворочался.

— Странный ты человек, Толя,— сказал он.— Не пойму я тебя. Ты ведь и стрелять не умеешь. Ведь не умеешь, сознайся?

— Стрелять можно научиться,— поморщился Анатолий Емельянович, думая совершенно о другом; завтра ему нечем было кормить почти две сотни больных.— Стрелять можно научиться, Сеня, не горячись, не мальчик. Все-таки нога, куда ты на одной доберешься? Я же тебе обещал, что-нибудь определенное станет известно, сразу сообщу.

Они прислушались к далекому, непривычному гулу артиллерийской пальбы; казалось, он копился в толстых, старинной кладки каменных стенах, и от этого было еще тоскливее и неприятнее.

7

Танковые части немцев вошли в Холмск на рассвете, в самом конце августа, и бо́льшая часть из них, не задерживаясь, лишь слегка изменив направление, устремилась дальше, в юго-восточном направлении, в тылы оборонявшим Киев советским войскам; завязывалась сложная стратегическая игра, приводился в действие план, на котором настоял лично Гитлер и который должен был открыть путь к Москве и компенсировать потерю времени в Смоленском сражении. Уже давно стояло вёдро, днями было много солнца, а по ночам то там, то здесь набухали зарева и разносились утробные раскаты бомбежек; только перед самым вступлением немцев в Холмск ночью стояла неестественная тишина. Самолеты шли где-то далеко стороной, железнодорожные станции опустели, одинокий грузовик, появлявшийся на улицах, привлекал всеобщее внимание. Город был уже брошен, чувство обреченности висело в воздухе, и когда на рассвете город наполнился грохотом танковых моторов, это чувство лишь усилилось.

В «Ласточкином гнезде» среди оставшихся врачей и обслуживающего персонала царило глухое беспокойство; больные в основном продолжали оставаться в своем специфическом неведении и по-прежнему требовали ухода, но перестали поступать медикаменты и продовольствие; Анатолий Емельянович зашел к брату посоветоваться, и Пекарев-младший, едва только услышав о его плане обратиться за помощью к бургомистру, скинул здоровую ногу с кровати и сел.

— Ну нет, только ты мог до этого додуматься, Толя,— сказал он брату с сердцем.— Нужны какому-то фашистскому бургомистру, тем более самим немцам, твои заботы, как же, держи карман. Нет, ты это серьезно?

— Вполне.— Анатолий Емельянович, заложив руки за спину, обстоятельно пересчитывал решетчатые ячейки окна.— В таком трудном вопросе может помочь только власть, какая бы она ни была. Больные есть больные, их надо лечить, кормить. М-да, и все-таки я пойду, другого выхода нет, к сожалению,— тихо отозвался Анатолий Емельянович с тем хорошо знакомым Пекареву-младшему выражением внутренней сосредоточенности, когда возражать дальше бесполезно.

Анатолий Емельянович собрался, надел отутюженный парадный костюм, повязал галстук и, хотя его со слезами отговаривала и Аглая Михеевна, отправился на прием в горуправу, к бургомистру, который откуда-то и сразу же появился и уже издавал распоряжения, приказы, занимался какой-то деятельностью в городе. Старший Пекарев по роду своей профессии привык везде и всегда получать поддержку и помощь; он работал с людьми, живущими где-то по другую сторону реального, и это наложило на его мышление свой определенный, закономерный отпечаток; для него не было ничего серьезнее своей работы, и он шел к бургомистру с твердой убежденностью в своей правоте и необходимости, нужности этого шага.

Он шел по улицам родного города; здесь он родился, вырос, закончил гимназию и научился приносить пользу другим, и поэтому он не боялся немецких солдат, то и дело попадавшихся ему навстречу; они поглядывали на него с удивлением и насмешкой, но Анатолий Емельянович не обращал на это внимания. Если ему загораживали путь, он осторожно и уверенно обходил живое препятствие стороной, и эта уверенность помогла ему благополучно добраться до управы, адрес которой он узнал заранее. Постовой, взглянув в его документы, пропустил; Анатолий Емельянович не раз бывал в этом здании, и по делам у председателя облисполкома, и на различных совещаниях и заседаниях; ничем не выказывая настороженности, он попытался на секунду представить себе, что ничего в жизни не изменилось и нет никакой войны, никакого бургомистра, а пришел он на прием к Валентину Игнатьевичу Сидорову добиваться обещанного расширения больницы, окончательного утверждения сметы на строительство нового корпуса; он прошел прямо в бывший кабинет председателя облисполкома. В приемной ему навстречу поднялся молодой детина в добрую сажень ростом и потребовал документы; Пекарев-старший в бесстрашии знания взглянул ему в лицо, подал паспорт и удостоверение и коротко изложил, по какому делу ему необходимо видеть бургомистра.

— Господина бургомистра, товарищи-граждане кончились,— быстро поправил его детина и, прищурившись в усмешке, на минуту задумался; Анатолий Емельянович терпеливо ждал, посверкивая стеклами очков.— Ну хорошо, господин Пекарев,— подчеркнуто

вежливо и отчужденно сказал наконец детина.—Я спрошу господина бургомистра.

Как-то став меньше, он открыл дверь, исчез за ней, затем опять показался и молча пригласил войти. Анатолий Емельянович кашлянул, притронулся, проверяя, на месте ли узел галстука, и вошел в хорошо знакомый кабинет, где даже мебель осталась на прежних местах, и только напротив широкого окна висел большой портрет Гитлера, а рядом с ним — полотнище со свастикой; еще Анатолий Емельянович машинально отметил исчезновение бюста Ленина, очень талантливого исполнения; бюст всегда стоял в правом дальнем углу. За широким удобным столом сидел небольшой человек с острой головой и необычно бледным лицом; Анатолий Емельянович увидел в этом лице нетерпение и поклонился ему, именно не человеку, а ставшему сразу неприятным лицу, повторяя про себя, что нужно говорить «господин», и обрадовался, когда это у него получилось.

— Господин бургомистр,— начал он не спеша,— полагаю, вы уже знаете, кто я и по какому делу. Дело очень неотложное и важное, у меня сейчас сто семьдесят семь человек больных, вот смета... это все нужно хотя бы в таких количествах.— Анатолий Емельянович достал помятые бумаги из бокового кармана и, шагнув к столу, положил их перед бургомистром; тот продолжал сидеть, не шевелясь, пристально рассматривая Анатолия Емельяновича прозрачными, слегка асимметричными глазами, словно пытаясь понять, что это такое появилось перед ним, откуда и зачем.

— Вы, кажется, из старой интеллигентной семьи, господин Пекарев?— подал голос бургомистр, нервно выбрасывая на стол руки и барабаня по стеклу худыми, длинными пальцами; и это тотчас отметил Пекарев с профессиональным интересом, и в дальнейшем на протяжении всего разговора нервные пальцы бургомистра оказывали на Пекарева-старшего успокаивающее действие.

— Да, это так,— сказал Анатолий Емельянович,— но позвольте, господин бургомистр, какое это имеет значение? Я родился и вырос здесь, в Холмске, и не в силах пересмотреть сие обстоятельство. Да и зачем, господин бургомистр?

Бургомистр отрывисто и резко засмеялся и так же неожиданно умолк, глядя на посетителя в упор, перемена эта была разительной и мгновенной. «Несомненно,

у него есть идея,— подумал Анатолий Емельянович,— и если бы в нем покопаться, можно бы добраться до зачатков какой-нибудь паранойи».

— Так какое у вас ко мне дело, господин Пекарев?— спросил бургомистр, с остротой нервного человека болезненно улавливая интерес Пекарева именно к себе и недовольный этим.— Ах, да, да, я все понял, милосердие — рычаг нравственной основы просвещенного человечества. Но гуманизм столько раз ставил человечество на край гибели... А как же быть с богом? Но... оставьте свою смету, я распоряжусь. Возможное будет сделано, вот только как все-таки с богом?

Анатолий Емельянович давно уже молча поклонился, положил ведомости на стол и собирался идти; его остановил вопрос бургомистра, в общем-то неожиданный.

— Видите ли, господин бургомистр,— ответил он наконец,— я материалист. Какой может быть бог, если на земле такой непорядок? Не станете же вы возводить в догму запланированное уничтожение людей. И ради чего?

— Дорогой господин Пекарев, в революцию, в гражданскую войну тоже немало уничтожали. Тогда вы, пожалуй, не осуждали? И позвольте полюбопытствовать: каких людей?

— Неразумное, антигуманное я осуждал всегда,— Анатолий Емельянович чувствовал себя стеснительно и неловко, не понимая, чего, собственно, добивается от него бургомистр.— К сожалению, вы переоцениваете мои возможности, не в моих силах и не в силах одного человека чему-нибудь помешать.

— Все-таки у вас, у коммунистов, чувство солидарности развито гораздо крепче, чем у других племен. Следовательно, и связь ваша с богом должна быть сильнее. Вы же считаете своего бога самым главным.

— Господин бургомистр,— Анатолий Емельянович слегка пожал плечами,— я убежденный материалист, данное качество нерасторжимо с профессией врача. Мне приходилось рыться не только в желудке или сердце человека, но и в его голове. Не могу лгать, не привык, и сказать, где там может поместиться душа, весьма затрудняюсь. Поверьте, так и не обнаружил в своей очень длительной практике подходящего места для нее, господин бургомистр. В партии же не состою и не состоял.

— Душа бесплотна, зачем ей место, господин Пекарев?

— Не знаю, просто я убежден, все на свете имеет свои размеры и свое определенное место и назначение, следовательно, и душа должна занимать определенное отведенное ей пространство.

— Мысль забыли, доктор, музыку,— быстро перебил бургомистр, разговор теперь доставлял ему удовольствие, и Анатолий Емельянович тоже отметил это про себя.— Как видите, не все материально. К счастью, к счастью, повторяю я, некоторые категории бытия даже вашим Марксом и Лениным точно не узаконены.

— Полагаю так,— Анатолий Емельянович примиряюще посмотрел себе в ноги,— для верующего в бога и в душу пусть будет душа и бог. Вера так же, как и мысль, бесплотна, но и то, и другое не может возникнуть без материи и в свою очередь может разрушать и создавать материальные категории. Надеюсь, этого вы не станете оспаривать?

— Рад вашему согласию со мной, господин Пекарев.— Бургомистр энергично вышел из-за стола, пожал руку Анатолию Емельяновичу: он оказался на голову ниже.— До свидания, господин Пекарев, до свидания. Сделаю все возможное, я всегда любил врачей, это святые люди. В детстве один из них спас мне жизнь. До свидания, господин Пекарев. Да, а как, на ваш взгляд, господа немцы? Впрочем, еще рано судить, не так ли? Вы именно это хотели сказать, господин Пекарев? Я так и думал, господин Пекарев, что вы воздержитесь от оценок. Имею честь.

Анатолий Емельянович видел перед собой блестящие, по-мушиному зеркально-отсутствующие глаза бургомистра и понял, что ничего тот не сделает для его больных; Анатолий Емельянович с сожалением подумал о потерянном времени. Пока он решал, что ему делать дальше, бургомистр обошел его стороной и боком, словно боясь нечаянно прикоснуться, теснил его к двери, сохраняя на лице все то же вежливо-отсутствующее выражение.

У самой двери бургомистр еще раз энергично потряс руку Анатолия Емельяновича, и тот с трудом скрыл отвращение.

— Зря вы любите всяческие тайны, доктор,— сказал бургомистр.— Эта материя не для реалистов. Я бывший философ и давно понял одну истину, господин

Пекарев: человек не достоин благородного ореола, которым привык себя окружать, бросьте прятаться за фиговый листок. Не надо слов, идите работайте, вас не тронут. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. До свидания, господин Пекарев.

Анатолий Емельянович шел обратно по улицам Холмска, глядя прямо перед собой: тротуар, дома, саму улицу застилала сухая дымка. Он мог бы огорчиться, но он слишком устал от происходящего, от человеческой слабости, и сейчас ему не хотелось жить, этого раньше с ним не бывало. Он шел к своей больнице, которая была создана им; это было его единственное и дорогое детище; нечего скрывать, здесь он думал прославиться, нащупать и разработать новую методику лечения больных с астеноневротической реакцией, его всегда интересовали в первую очередь переходные формы до наступления органики, он одно время тщательно собирал и суммировал данные исторического характера о кликушах в Холмской и соседней с ней губерниях, обследовал самые отдаленные, глухие поселения, отыскивая причины и корни, терявшиеся во тьме времен, где-то в первооснове человека. К счастью, он вовремя понял, что слава ничто по сравнению с человеческим страданием; сейчас какой-то нереальный, словно выдуманный мир тек перед ним; привычный город, испуганные люди, нырявшие в подворотни, уверенно хохочущие молодые немцы в зеленых мундирах; жизнь перевернулась и бесстыдно выставила самые потаенные свои грани: страх, похоть, насилие; и сила обернулась своей изнанкой — отсутствием каких бы то ни было нравственных устоев. Из школ выбрасывались парты, доски, приборы прямо из окон на тротуары, у библиотек улицы были густо усыпаны растерзанными книгами, в одном месте Анатолий Емельянович наступил на томик стихов Пушкина, поднял его, бережно обтерев от пыли. Пожалуй, впервые его облил, именно облил мерзкий расслабляющий ужас, почти физическая боль прошла у него по телу. «Не надо излишних эмоций,— приказал он себе, осторожно обходя книги и стараясь как-нибудь не наступить на них случайно,— ведь это варварство не может продолжаться долго». Стараясь больше не видеть ни немцев, ни книг под ногами, он шел знакомой дорогой; он знал, что ему сейчас необходимо смотреть лишь в себя, иначе мог рухнуть мир вообще; только ценности, хранящиеся в нем самом, могли спасти его, но

смотреть в самого себя и не замечать ничего вокруг было непросто.

Вернувшись в «Ласточкино гнездо», пройдя по коридору мимо множества дверей, отделявших собой ту жизнь, которую вряд ли можно было назвать жизнью, он остановился у своего кабинета. Он никого не замечал, и ему никто не нужен сейчас, потом он опять начнет думать о хлебе и супе, о белье и медикаментах, а сейчас ему нужно побыть одному; лицо старика в женской кацавейке, мелькнувшее в одном из дворов, неотступно стояло перед ним; он вошел в привычный, обжитой за много лет кабинет и запер дверь.

В день *девятого сентября тысяча девятьсот сорок первого года* Анатолий Емельянович, как и всегда, ровно в десять часов утра по незыблемому распорядку начал врачебный обход. За ним тянулась свита: единственная оставшаяся из семи женщина-ординатор, медсестра и двое санитарок и, разумеется, баба Кланя — неизменный ординарец Анатолия Емельяновича на протяжении девятнадцати лет совместной работы, крепкая жилистая старуха, завхоз и душа всего сложного больничного хозяйства.

Внешне это был обычный для Анатолия Емельяновича обход; в каждой палате он внимательно осматривал больных, выслушивал их жалобы и короткий доклад сестры. Анатолий Емельянович приучал персонал к четкости и лаконичности. Никто не знал, каких усилий стоило Анатолию Емельяновичу сегодня собраться и быть, как всегда, ровно к девяти в клинике. Сегодня ночью к нему приходили домой и предлагали скрыться; ему точно сказали, что на днях особые команды будут собирать всех лиц еврейского происхождения, коммунистов и интеллигенцию в специальные лагеря; он отказался наотрез, тем более что брату было необходимо еще дня три-четыре побыть в больничных условиях. И когда от него ушли, он, погасив лампу, долго сидел в кресле, откинув маскировочную штору и глядя в узкий просвет окна, остро блестевший звездами. Он был одинок, и семьи у него не было, и он, готовый ко всему, ничего не хотел бояться. Во время ночного разговора он опять почувствовал невозможность оставить почти две сотни больных людей на произвол судьбы, без помощи и сострадания.

Анатолий Емельянович шел коридорами и переходами, и постепенно ему стало казаться, что из всего огромного мира только в этом доме идет нормальная, настоящая жизнь, а все вокруг ирреально, и от этой мысли он сразу вдруг успокоился; сопровождающие заметили у него на лице легкую улыбку, переглянулись, стараясь понять ее значение; и эта улыбка уже не сходила с его лица: именно здесь, здесь, думал он, все эти несчастные живут нормально, как им до́лжно жить, и он, общаясь с ними, счастливец, он знает, что на земле все-таки остался хоть кусочек нормальной жизни, созданный только его трудами, его плотью и кровью; он отдал этому дому жизнь, и не напрасно, оказывается. Как нельзя кстати сейчас этот его тихий остров среди мерзости и убийств, среди грабежа и смрада, час пробил, и безумие превратилось в свою противоположность, и наоборот, наоборот!

И может быть, именно поэтому он сегодня особенно тщательно побрился, пригладил щеткой остатки своих жестких седых волос, повязал любимый синий галстук, и когда его прямая сухощавая фигура появилась в длинных коридорах, словно кто сбрызнул живительной влагой приостановившийся механизм больницы, и каждый из окружения Анатолия Емельяновича, глядя на него, старался вести себя так же спокойно и не замечать хаоса, царившего за воротами, и делать то же, что делал он, то есть выполнять свой долг.

Обычно, подходя к очередной палате, Анатолий Емельянович помнил каждого больного, но внутренне сосредоточивался на одном-двух, самых тяжелых. В пятой палате таким был Возницкий, Анатолий Емельянович и сегодня начал обход с него; по своему правилу Анатолий Емельянович сел не на стул, а прямо на кровать больного.

— Ну-с, Степан Михайлович, здравствуй, голубчик. Как мы себя сегодня чувствуем?

Поняв, что вопрос полностью не дошел до сознания Возницкого (тот все так же приветливо и ровно, не изменяя выражения лица, смотрел врачу в переносицу), Анатолий Емельянович, посчитав пульс, ласково похлопал Возницкого по руке своей теплой сухой ладонью.

— Ну, так что же, Степан Михайлович, голубчик, утро сейчас или вечер, как вы думаете?

Больной молчал и все так же ровно, без всякого выражения улыбался.

— Ну вот, вас сейчас баба Кланя умыла, вот пощупайте — полотенце влажное, я начал обход, что сейчас, утро или вечер, а, Степан Михайлович?

Сестра доложила накануне, что Возницкий проснулся сегодня «мокрый». «М-да, вот и появилась «неопрятность» в постели, сказать бабе Клане, чтобы остригла Возницкому ногти, баба Кланя не забудет. М-да, этапный эпикриз Возницкого уже сложился, а надежда все еще не оставляет».

Отдав нужные распоряжения по Возницкому и внимательно осматривая остальных больных из пятой, тянувшихся к нему со всех коек, Анатолий Емельянович внутренне был уже не с ними; он все так же ласково задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы, делал назначения, но мысленно он уже отключался, думал о Дорофееве из следующей, шестой, палаты, собираясь с силами для разговора с ним. В особо тяжелых случаях, оставаясь с больным один на один, он должен был именно в эти минуты верить в возможность его исцеления, только тогда и можно было помочь; только верить чаще всего было нелегко, вот и приходилось собирать все свои мобилизационные возможности, как сейчас с Дорофеевым.

Большие часы в вестибюле больницы пробили *одиннадцать раз*; Анатолий Емельянович машинально достал свои золотые карманные, луковицей, с большими римскими цифрами, щелкнул крышкой и сверился, да, было ровно *одиннадцать*; именно в это время десять крытых машин остановились у «Ласточкина гнезда», высыпали солдаты, вытянулись в шеренгу, потом двое из них, с привычным азартом поколотив каблуками сапог в ворота и никого не дождавшись, перемахнули через забор, повозились с запором, и скоро тяжелые, с железными зубьями наверху створки ворот распахнулись. Солдаты побежали двумя длинными рядами во двор, затем машины въехали на территорию больницы; солдаты с любопытством оглядывались и пересмеивались не без смущения, говорили всякие сальности о шизофреничках и параноичках, с которыми хорошо было бы вступить в половое состязание; молодые, они о смерти почти не думали: ведь смерть каждый раз вырывала из рядов кого-то «другого», и жизнь не останавливалась, и чернели разрушенные города народа-раба, обре-

ченного на полное исчезновение. Возможность безнаказанно убивать и унижать тоже дразнила и туманила жадные от молодости сердца гитлеровских солдат, это ведь было одно из самых древних и самых порочных наслаждений; о последствиях не думали и не могли думать солдаты, для этого им еще предстояло много пережить и еще больше понять.

Приготовив автоматы, солдаты ждали, а тонкий высокий офицер с бледным лицом и спокойными глазами, в которых таилось простое любопытство, в сопровождении охраны из шести человек вошел внутрь здания; перед началом операции ему формально требовалось сказать несколько слов больничному начальству, чтобы сохранить хоть видимость приличия. Санитары, дежурившие у двери, давно заметили немцев, и один из них сбегал и испуганно крикнул об этом главному врачу; прервав обход, Анатолий Емельянович поспешил в вестибюль; здесь они встретились, группа солдат с молодым офицером впереди и Анатолий Емельянович с двумя врачами и санитарами, и это было после того, как большие часы пробили *одиннадцать*; еще дрожал ноюще, откуда-то изнутри души затухающий звон последнего удара, и Анатолий Емельянович прикованно прислушивался к нему.

Обер-лейтенант Людвиг Шницлер мгновенно остановил свой выбор на Анатолии Емельяновиче, бывшем чуть впереди группы в белых халатах, выражение его крупного лица было значительным и определяло в нем главного в больнице; обер-лейтенанту говорили об этом человеке как о хорошем и нужном специалисте, и он, вспомнив, с доброжелательным любопытством задержался на лице врача и встретился со старым, проницательным, все понимающим взглядом. Освобождаясь от неожиданной и неприятной власти этого взгляда, обер-лейтенант заговорил громче, чем привык, и от этого солдаты насторожились еще больше, и уже какая-то преграда разделила две группы, и это опять почувствовали и Шницлер и Анатолий Емельянович; обер-лейтенант, презирая себя за минутную слабость, которую он никак не мог забыть и которую он уже не мог простить, по-русски, довольно понятно, сообщил решение германских военных властей о перемещении больных в другое место.

— Господа! — сказал он по-военному четко, любуясь своим красивым, звучным голосом и подчеркивая безу-

коризненную выправку.— Вам оказывается большая честь: все здесь чистить для военный госпиталь для доблестный солдат армии фюрера. А русских больных мне приказано эвакуировать другой место.— Голос обер-лейтенанта Шницлера построжал, и слово «эвакуировать», произнесенное им с внутренней усмешкой, заставило людей в белом сдвинуться теснее; по всему помещению уже потек, распространяясь, страх, заметно тише и глуше становилось на всех трех этажах огромного здания.

— Позвольте, господин лейтенант, прошу вас, позвольте,— шагнул вперед Анатолий Емельянович, судорожным рывком протягивая руку и шевеля от напряжения пальцами, стараясь тем самым смягчить обстановку, но Шницлер руки не заметил и лишь брезгливо передернул уголком безвольного рта.— Позвольте вас спросить, лейтенант,— опять повторил Анатолий Емельянович, изо всех сил стараясь придерживаться рассудительного тона,— в какое место направляются больные? Невероятно... невероятно... Знают ли власти, что больные нуждаются в обслуживании специально подготовленного персонала?

— Не мой и не ваш забота,— возразил обер-лейтенант Людвиг Шницлер, постукивая крепкой подошвой сапога об истертый камень и высоко подняв светлые брови; в его голосе прозвучала досада от глупого непонимания Анатолием Емельяновичем происходящего.— Нам удобно сделать в здании госпиталь, зеленые деревья, цветы, птиц играет, далеко от город. Удивительно, господин доктор, жалеть отбросы общества. Мы привык здрав судить такой драгоценность.

— Позвольте, позвольте, лейтенант,— быстро сказал Анатолий Емельянович, чувствуя подхватывающий, уже знакомый ему мутный поток (такое же чувство он испытал, возвращаясь от бургомистра и натолкнувшись на выброшенные прямо в дорожную грязь книги: та же пустота в груди и то же легкое подташнивание); он старался перебороть себя, и лицо у него болезненно и неровно раскраснелось, толстые губы вздрагивали.— Вы только подумайте, вникните... Тысячелетия... нормы человеческой морали, господин офицер...— Анатолий Емельянович отчаянно цеплялся за то реальное, что ему удалось различить в образе этого молодого человека, и этим реальным было что-то происходящее глубоко в сознании Людвига Шницлера; Анатолий Емельянович

заметил борьбу в нем и понял, что ему неприятно делать сейчас то, что он делает. И Анатолий Емельянович изо всех сил старался удержать эту единственную ниточку, но она оказалась слишком слабой, он даже не заметил, когда она оборвалась, исчезла, он лишь почувствовал, что она растворилась, и его сразу же подхватил все тот же огромный, неостановимый поток и понес; стремительно и косо удалялись куда-то светлые глаза обер-лейтенанта.

— Что, что вы хотите делать? — спросил Анатолий Емельянович твердо, но лицо у него выдавало растерянность.— Я этого не позволю! Невиданная жестокость! За это не будет прощения ни от совести, ни от истории! Этого нельзя делать! Остановитесь! — повторил он отчаянно и, оглянувшись, увидел своих сотрудников, они как бы стали меньше, сжались, глядели в пол. Он привык им верить и хотел просить их помощи, но их тоже словно что-то отделило от него, они были рядом, и их уносило; раздался чей-то мучительный крик, и Анатолий Емельянович недоуменно оглянулся: часы опять били *одиннадцать раз,* их звон, резкий, пронзительный, разрывал голову. И по больнице, по всем трем этажам, уже шло необычное насильственное движение; везде оказалось много солдат, кого-то били, кого-то тащили волоком; Анатолий Емельянович понял лишь одно: началась та самая *эвакуация,* о которой упомянул красивый бледнолицый обер-лейтенант. Анатолий Емельянович выбежал на улицу, стал бросаться то к солдатам, заталкивающим больных в машины, то к обер-лейтенанту, вышедшему на крыльцо и теперь спокойно курившему сигарету.

— Стойте! Стойте! Вы не смеете! Есть ведь и над вами суд! — кричал он в каком-то беспамятстве, не сознавая того, кто перед ним, движимый лишь одним желанием остановить невиданное, преступное дело.— Это недопустимо! — говорил он умоляюще обер-лейтенанту, теперь уже твердо убежденный, что перед ним один из того же ненормального мира, где все сдвинулось и распадалось, и от него никак нельзя ждать разумных поступков.— Я к вашему начальству поеду! Есть же и на вас управа. Звери! Дикие звери лучше! О господи, да что же это?

Анатолий Емельянович потер лоб, пытаясь справиться с болезненно кривившимся лицом. «Да где это я, что со мной? — продолжал он думать, конвульсивно

двигая руками, они никак не хотели успокоиться, словно что-то перед собой расталкивали.— Немцы, немцы пришли,— рвались в нем несвязные мысли.— Так что ж такое, что немцы? а как же Сеня? Нет, это невозможно, этого им никто не мог позволить, это у него у самого просто бред, такого не может быть! Никакой бог этого не может допустить!»

— Идите, господин доктор,— не удержался обер-лейтенант.— Вам лучше идти... другой место...

— Какое невежество! Дикость! — тотчас оборвал Анатолий Емельянович гневно, уже больше не опасаясь ни его силы, ни его мести.— Вы пытаетесь даже саму границу между добром и злом стереть, вам этого никогда не осилить! Эту черту нельзя стереть, это значит человечество погубить, навечно в могилу его толкнуть и вечным камнем завалить!

Четко закончив свою мысль, которая показалась ему самому убедительной и веской, Анатолий Емельянович нервно выхватил их кармана платок, вытер потное лицо и хотел войти в вестибюль; один из солдат по знаку обер-лейтенанта довольно сильно оттолкнул его, и Анатолий Емельянович, освободившись от грубых рук, замер. Все было кончено, ни брату он теперь не сможет помочь, ни себе, ни своим больным; это чувство бессилия сдавило голову, перед глазами поплыла рваная дымка.

Он постарался потверже укрепиться на гранитных ступенях, подставив голову ветру, шапочки на нем больше не было, жесткие седые остатки волос за ушами и на затылке, бывшие до того в каком-то приблизительном порядке, сбил резкий, душный ветер с безбрежных просторов уходящих ко всем горизонтам полей. Мимо по-прежнему проводили озирающихся больных и заталкивали в машины; тех, кто сопротивлялся, глушили ударом приклада; волна дикого возбуждения захлестнула все вокруг. Казалось, ветер стал густым и горячим, он залеплял ноздри, и Анатолий Емельянович почувствовал близость обморока; он подался назад, привалился спиной к стене, от неподвластного ужаса тело взмокло. Обер-лейтенант отошел от него подальше, продолжая наблюдать за погрузкой со скучающим независимым видом, но Анатолий Емельянович почти физически чувствовал, как их сотрясает стонущее, мучительное движение изнутри. Мимо Анатолия Емельяновича больных вели, гнали, тащили волоком, и он их всех угадывал

и отмечал, кто из какой палаты. «Это из тридцать девятой, это вот из шестьдесят четвертой... третий этаж пошел, скоро конец». Он отметил это про себя чисто механически, не вдумываясь в смысл, странная, сладкая боль кружила в сердце. Уже вели последних, темный провал фургона машины глотал их одного за другим, вели уже последних, вели последних, стучало в мозгу... а Сеня, Сеня, где Сеня, почему он не видел его? Боже мой, это невыносимо, он же сам, своими руками перевез его в больницу, дома бы его никто не тронул... Остался бы под присмотром Аглаи... И тогда Анатолий Емельянович опять услышал яростный, торжествующий, вечный бой часов в вестибюле; опять они били *одиннадцать раз*. Ах, так вот в чем, оказывается, дело! Часы испортились! Часы испортились, и некому перевести стрелки, часы стали и завязли в песке, как грузовик на одном месте, на одном месте! Только песок летит!

Анатолий Емельянович радостно засмеялся, весь переменившись от муки, терзавшей его; он теперь знал, что делать. Он должен быть там, с ними, в этих машинах, потому что мир окончательно перевернулся и все его ценности противоположно сместились. Он должен быть там, с ними, в реальном и прочном мире, там, где нет границ и пространство огромно, именно им он нужен сейчас больше всего, а все остальное уже не дело. И лицо его от предчувствия чего-то неотвратимого и близкого осветилось. Людвиг Шницлер даже приоткрыл губы, увидев его; это было лицо человека, уже переступившего все границы и освободившегося теперь абсолютно от всего. И оно было прекрасным, это лицо врача, отрешенное от жизни, ее ураганов и бурь, и обер-лейтенант, несмотря на острую, захлестывающую ненависть, подумал именно об этом, отметил это, и какая-то леденящая призрачность появилась в нем. От страха перед этим новым чувством бесконечности он закричал на солдат, возившихся чересчур долго с каким-то буйным. К ним подскочил еще один и пустил в ход приклад, больной обмяк, затих, и его тоже затолкали в машину. Уже ничего не существовало для доктора Пекарева, он посмотрел в лицо Людвигу Шницлеру с чувством сострадания к его молодости и к его неведению, и так невыносима была эта жалость, что обер-лейтенант отступил от него и, опять не выдержав, заорал:

— И этого туда же! Туда же! Туда! Туда!

— Не кричите, молодой человек, я сам, как вы смеете! — строго и резко на хорошем немецком языке с еле уловимым акцентом оборвал его Анатолий Емельянович.— Нехорошо все-таки... некрасиво... я стар, не надо на меня кричать, не заслужил этого. Вас еще не было, а я закончил один из лучших германских университетов... да, еще до революции. Вы просто недозревший хам, лейтенант! Не смейте ко мне прикасаться!

Он отодвинулся от изумленного обер-лейтенанта и стал уходить со ступеней к открытому зеву фургона, с каждым шагом чувствуя жгучее облегчение; он боялся, что его остановят, и, озираясь, все убыстрял шаг, а последние метры бежал, нелепо размахивая длинными руками, он цеплялся за чью-то одежду, за скользкое прохладное железо двери; он карабкался в машину, и, когда очутился в ней, больные сразу успокоились и потянулись к нему со всех сторон, и он сразу забыл о Людвиге Шницлере, как будто его и не было. Массивная дверь захлопнулась за ним, отсекая и обер-лейтенанта, и все безумие мира, плескавшееся под невыносимо ярко светившим солнцем; в фургоне было тесно и душно, но Анатолий Емельянович был у себя, и больше ему ничего не требовалось.

А когда Анатолий Емельянович вышел из машины далеко за городом, в глубокой балке, он был уже как все остальные; он раздвоился, он мог бы сейчас и поставить самый точный диагноз, и вместе с тем он уже полностью перешел в тот мир, где не было болезней, и верил в это.

«Это немцы пришли,— сказал себе Пекарев-младший, как только в коридорах стали кричать и бегать.— Ну и что же, что они пришли?» — в первую минуту спросил он себя с каким-то равнодушием, но эта мысль словно обогнала его, и он, подхватившись с узкой железной койки, намертво прикрепленной к полу, припав на раненую ногу, сжал зубы. Приоткрыв дверь, он хотел прошмыгнуть в нее, но тотчас захлопнул и прижался к ней спиной. Тяжелые, уверенные шаги прозвучали мимо; Пекарев в который раз подумал, что опоздал, что надо было не слушаться брата и уходить, несмотря ни на что. Он растерялся и впервые почувствовал какой-то особенный, не похожий ни на что прежнее страх. «Вот

мерзость, вот мерзость»,— твердил он, не в силах еще раз выглянуть в коридор.

Время шло, и шум, крики приближались к нему, и он сумел пересилить, разорвать сжимавшие его путы; бросившись к окну, он подпрыгнул, повис на решетке и стал изо всех сил трясти ее; дверь позади него с треском распахнулась, оглянувшись, он увидел двух солдат, сполз со стены и стал оправлять на себе одежду. Его повели, придерживая за руки, и он, прихрамывая, шел молча и лишь в вестибюле попытался задержаться, отыскивая среди сбившихся в кучу врачей и санитаров брата, но тут же от сильного тычка дулом автомата в спину проскочил вперед в дверь — и сразу же попал в другие руки. Он содрогнулся от отвращения, когда его втолкнули в фургон машины, до отказа набитый разгоряченными, дурно пахнущими людьми, и постарался как-то отодвинуться, оградить себя от них, но этого нельзя было сделать, в машину все вдавливали новых; дверцы наконец захлопнулись, машина тронулась, и его стошнило, а когда движение кончилось и в фургон хлынул свежий воздух, он в самом деле потерял сознание, и это, очевидно, спасло его. Сверху его привалило трупом, и солдат, одуревший от крови, полоснул из автомата совсем рядом с его головой, косо, вскользь зацепив плечо, но и этого он не почувствовал, не очнулся; переступая через мертвых, солдаты торопливо походили, приглядываясь и постреливая в тех, кто шевелился или стонал, затем в спешке сели в машины и укатили, и остался овраг в резкой, неустоявшейся еще тишине, усыпанный убитыми, и предвечернее небо над ним; осиновый лес уже начинал багрянеть, и на березах снизу кое-где запестрела желтизна. Некошеные травы, вымахав в пояс, бурели, ложились, сохли на корню; медленно садилось тихое, жаркое солнце. Над оврагом долго кружили два острокрылых коршуна; они улетели, когда солнце коснулось нижней кромки земли и стало быстро темнеть. Чувствовалась сырость, к полуночи над оврагом встал густой осенний туман и неподалеку завыла, прерываясь и словно давясь хриплым коротким тявканьем, собака.

Пекарев очнулся от прохлады, а может, просто подошло для этого время. Он сразу услышал какой-то стонущий, далекий звук, и сначала ему показалось, что это мучается человек, но затем он понял, что это зверь воет, волк или собака. Он лежал боком, и у него занеме-

ла шея; попытавшись приподнять голову, Пекарев сразу все вспомнил. Холодное и тяжелое лежало на нем, давило, и он сразу понял, *что* это, и с содроганием свалил с себя мертвого. И словно ослепительной вспышкой ударило в глаза; вокруг были трупы, множество трупов, и дурно пахло кровью, и это был уже застаревший, прочный запах; у Пекарева начался озноб, он неловко сел, обхватил плечи руками, сжался. Все-таки стон пробился, и он, услышав его, постарался задавить в себе невольную дрожь. В темном ночном небе шли тучи, в их просветы иногда просматривались звезды. Стараясь согреть руками окоченевшее тело, Пекарев долго приходил в себя, истина случившегося доходила не сразу; вспомнились жена и дочь, ярко, резко на мгновение мелькнуло лицо Брюханова, и хлынул сплошной обвал, он почти раздавил Пекарева. «Жив, жив! Но как же это, как же это возможно после всего, что случилось? Невероятно! Нужно бежать, ползти, карабкаться из этого страшного, невыносимого места, на одной ноге надо было уходить. Хорошо, хорошо, все остальное потом, скорей, скорей, он жив, а все остальное потом; некогда, некогда сейчас,— прикрикнул он на себя,— выбираться отсюда и бежать, нельзя оставаться на этом месте, вот-вот утро, и сюда обязательно придут. Вот так курбет! — еще раз изумился он, окончательно стряхивая с себя оцепенение.— Клавдия-то говорила — невезучий, вот и верь после этого женщине, вот тебе и невезучий».

Было очень холодно, ему показалось, что у него начинается жар; стащив с первого же мертвого тела больничный халат, он натянул его на себя; вокруг были трупы, трупы, он не мог шагу сделать свободно, мертвые лежали грудами и в одиночку, и Пекарев, выбираясь, старался не наступить на кого-нибудь. Раненая нога сильно болела, но он, не обращая внимания, определив, в какой стороне находится город, и стараясь окончательно не поддаться чувству панического ужаса, захромал прочь. Он уже освоился в темноте и хорошо видел; ему показалось знакомым лицо одного из мертвых, и он боком, оберегая раненую ногу, присел рядом, стараясь угадать. «Все мертвые одинаковы,- подумал он почти равнодушно.— Э-э, да не все ли равно»

Он больше ни о чем не мог думать и ничего не хотел, и только все усиливавшаяся надежда освобождения билась в нем. Говорят, в тяжкий предрассветный час

больше всего умирает раненых и больных и больше всего рожают, это время ожесточенной схватки дня и ночи, повторяющейся каждые двадцать четыре часа; гигантские силы вступают в противоборство, и ни одна, ни другая сторона не одерживает победы, бой идет лишь за равновесие. Пекарев подумал об этом с редкостной просветленностью и испугался себя: до того ясна и беспомощна была мысль. Он глубоко, с облегчением вздохнул — нужно было идти, в конце концов мертвым все равно, где лежать, для них уже не существует ни добра, ни зла. Законов тоже для них нет, они выше всего, поэтому живые их и боятся.

В предрассветном сумраке белели лица убитых, и опять тягучий, непереносимый страх потек в груди: ему послышалось какое-то движение со стороны города, и он, пригибаясь, нырнул в низкую поросль дубняка, отдышался слегка, переждал и пошел дальше.

Разгоравшаяся заря все шире охватывала небо, сырые клочья тумана в логу начинали незаметно таять; ветра не было, в кустах по склонам лога, посвистывая, перепархивали с ветки на ветку верткие синицы, в одном месте невидимый крот выталкивал черную землю, весь его беспокойный, извилистый ход за ночь можно было проследить по рыхлым свежим шапкам земли метрах в двух друг от друга. Вместе с зарей появилось откуда-то несколько сорок, рассыпавшись по вершинам кустов, они время от времени тревожно и резко стрекотали, начинали перелетать с места на место. Неожиданно они снялись с кустов и, наискосок пересекая лог, исчезли; в клубящемся малиново-беззвучном огне показался бледный краешек солнца, и тотчас, неуловимо дрогнув, все переменилось и в небе и на земле; из кустов вышла старая Аглая, со сбившимся с седых, рассыпавшихся волос платком; старуха сверху увидела покрытый мертвыми лог, и в ее глазах плеснулся страх. Цепляясь за кусты, она спустилась вниз и стала медленно ходить среди убитых, часто останавливаясь и наклоняясь; она была в длинной юбке, в пиджаке с распахнутыми полами и напоминала большую раненую птицу в движении, припадавшую на одну сторону. «Да нет, нет,— всякий раз шептала она, встречая чужие, застывшие лица,— да их-то, здоровых, за что же? Люди наговорят, только слушай, язык-то без костей, налопочут в три короба...»

Она подняла блуждающие глаза, отдыхая, и тотчас судорожно и жалко дернулась в лице, но в первое мгновение пересилить оторопь не могла; в трех шагах от нее что-то смутно белело, она с коротким, глухим стоном опустилась на колени, поползла; глаза Анатолия Емельяновича были открыты в легком, словно удивленном прищуре, и лежал он как-то боком, запрокинув голову назад, и по халату почти от самого ворота и до пояса рыжело большое бесформенное пятно. Старая Аглая с трудом выпрямилась, какая-то главная, становая жила ее жизни оборвалась, и от тупой, охватившей всю ее, боли она долго не могла осилить себя и встать на ноги и лишь поправляла и поправляла разметавшиеся полы халата на Анатолии Емельяновиче, а затем застыла. Несколько больших серых птиц, в которых она не сразу признала ворон, обманутые ее неподвижностью, покружившись невысоко над логом, стали садиться одна за другой среди трупов; старая Аглая, неловко путаясь в юбке и помогая себе руками, кое-как взгромоздилась на ноги.

— Кш-ш, кш-ш, проклятые! — слабо погрозила она, поднимая руки, и птицы, с недовольным карканьем, медленно и важно подскакивая, поднялись в воздух и расселись по кустам в терпеливом ожидании; смутный страх перед их настойчивостью словно оживил старую Аглаю, она перекрестилась, нагнулась, взяла Анатолия Емельяновича под мышки и, с усилием оторвав от земли его голову и плечи, сдвинула с места, пятясь, поволокла к склону лога, от непомерной тяжести ее тотчас пробил пот и кровь гулко расшумелась в голове. Отдыхая, с усилием выпрямляя спину, она всякий раз боялась свалиться, потому что перед глазами все бралось черными, шелестящими пятнами.

— Кш-ш, кш-ш,— шептала она пересохшими губами, опять хватала свою ношу и волочила дальше, и когда наконец выбралась из лога и легкий ветер коснулся ее лица, она была совсем без сил, а надо было еще идти отыскивать второго, Сеньку-то, заячью шапку.

Старая Аглая опустилась рядом с мертвым на землю, стащила с себя платок и осторожно, кончиком, вытерла *ему* лицо, а затем, расправив платок, накрыла с головой.

Солнце было уже высоко, и гулкая тишина давила; Аглая, закрыв глаза, некоторое время отдыхала, слегка покачиваясь, бессильно уронив руки со вздувшимися

темными венами на землю, и ей казалось, что она покачивается вместе с землей, и от этого ощущения все время боялась задремать, но она так заморилась, что больше не могла бороться и, пригретая солнцем, уже не знала, что это с нею, сон или явь. Губы ее раздвинулись как бы сами собой, и тихая, щемящая жалоба вырвалась из сердца, вырвалась, неторопливо зазвучала над логом, над просторным полем, где-то в небе:

Да што цвели-то, цвели-и-и, цвели-ии
  во по-о-оле цве-ети-ики-и,
Цве-е-ели да спо-о-овя-яли,
Во-от спо-овя-яли... О-ох...

Старая Аглая выпрямила голову, прислушиваясь, глаза у нее слегка просветлели.

— О-ох,— повторила она протяжно и глухо, в неуемной тоске сердца, и со склонов лога отозвалось неясное, еле слышное эхо и, повторившись раз, другой, третий, слабея, растворилось в солнечной тишине мира. Старая Аглая, сдерживая дрожь лица, словно потянулась всем телом за этой умирающей тоской, и руки у нее шевельнулись, оторвались от земли, напряглись.

Без зака-ату красно со-олнышко
  за лес не захо-оди-ит... О-ох...

8

Первые недели после захвата немцами Холмска, а затем и всей области события разворачивались для многих людей совсем иначе, чем они представляли себе это раньше. О немцах много говорили, говорили, что они близко и вот-вот, со дня на день, должны прийти, и не верили этому, еще надеялись на чудо, но однажды Густищи проснулись задолго до рассвета от нескончаемого раскатистого гула моторов; почти четыре часа через село шли немецкие танки, и на дрожащих стенах изб трескалась и осыпалась глина; немцы шли, не останавливаясь, больше десяти дней, и в затихшем селе не было видно ни души; за немцами наблюдали из-за оконных занавесок и из-за плетней, и только на пятый день, когда танки пошли реже и с перерывами, самые смелые стали выглядывать на улицу. Первой, набравшись духу, не спеша прошествовала до колодца и обрат-

но с ведрами и коромыслом Настасья Плющихина, покачивая сдобными бедрами, и немецкие танкисты из экипажа машины, застрявшей для какого-то легкого ремонта в Густищах, проводили ее долгими жадными взглядами, затем стали о чем-то говорить друг с другом и смеяться. Явно поддразнивая их, Настасья Плющихина пошла за водой еще раз, и один из немцев, рослый, без шлема, встретил ее на обратном пути и, остановив, знаком попросил напиться. Настасья развернула к нему одно из ведер, потемневшими от любопытства и затаенного испуга глазами смотрела, как он пьет, просыпав в ведро густые русые волосы.

Немец по-мужичьи просто вытер губы тыльной стороной ладони, засмеялся и сказал что-то приветливое; он был молод, здоров и весел и, шагнув к Настасье ближе, похлопал ее по спине.

— Но, но, черт,— сказала она с легкой обидчивостью, живо отстраняясь от его большой и сильной руки.— Я тебе не лошадь, без твоей ласки обойдусь, не сдохну, гляди.

Широко раскинув руки, слегка приседая, немец сделал вид, что собирается поймать Настасью, но она тотчас пригоршней зачерпнула из ведра воды и плеснула в него; немец шумно и весело охнул, еще раз засмеялся и пошел к своим, вытирая лицо; потом Настасья рассказывала соседке, что мужик как мужик, только лопочет непонятно, да и рука у него горячая. «Вишь, черт, чего захотел! — хохотала Настасья, красуясь своей смелостью перед бабами.— Немец, немец, а туда же — хочется ему! Взял бы да и к своей немке возвернулся, с ней бы и заигрывал!»

Вышел как-то перед вечером на улицу и дед Макар, сел на старую, уже лет двадцать валявшуюся у амбара дубовую колоду и, поставив между легких от сухости колен палку, положил на нее руки. Сидел и внимательно наблюдал за немецкими машинами, то и дело поднимавшими длинные хвосты пыли на большаке. Солнце опустилось к синеющим лесам и светило деду Макару сбоку и в затылок. «Значит, вот они, германцы, пришли,— думал дед Макар.— Мужиков никого не осталось в селе, бабы да дети, солдатики свои из плена бегут, говорит Лукерья, по хатам у кого хоронятся. Дюже нехорошо, это что же,— думал дед Макар,— всех мужиков подчистую воевать с германцем забрали, а он, германец, знай себе пылит по большаку; вишь, машин

у него много, таких раньше сроду видеть не приходилось, страсть, какие чудные. Что же это такое, вроде царские времена возвернулись, Торобова-то Демидку определили в старосты, говорит Лукерья, а прежний председатель Кулик вроде ушел в последний час, как в воду канул. А еще Лукерья говорила, церкву вроде собираются открывать заново, батюшку вот только отыскать, а где ты его раскопаешь ноне? А хорошо было бы батюшку, глядишь, в праздник и сходил бы в церкву помолиться, пение послухать. А может, брешет баба?» — засомневался он.

Амбар, у которого расположился дед Макар, стоял еще и при его, Макара, отце, а потом сгнил снизу, захилился; помнится, как сам-то был еще в силе, годов сорок, а то и более назад, амбар заново перетряс, Акимка в ту пору сопатым бегал. Тогда же воткнул он на всех четырех углах амбара по ракитовому колу, полил их, и с тех пор из тонких кольев развились огромаднейшие ракиты, морем все небо застелили и обдуплились порядочно; воробьи кричат от зари до зари, их, поганцев, множество развелось в дырьях. Акимка теперь бог весть где, а в амбаре, как женился, спать их с Лукерьей клали. Да и сам он тут со Стешей тово, выпал козырной туз с барской сиротой, воспитанницей, спознаться, сколько же это в жизни всего довелось?

С интересом глядя на торопко пробегавшие мимо машины, слабо дивясь их множеству, дед Макар смутно припоминал гражданскую, когда воевали на конях, и вот он так же, тогда еще крепкий старик, все беспокоился об Акиме, бывшем, как оказалось, в германском плену; затем ему опять припомнилась и Стеша, и казалось, что ничего такого в жизни не было, а все привиделось, скорее, во сне или в каком-то недолгом мареве. Но сам-то он знал, что все было, он знал это по тому слабому волнению в теле, что всякий раз появлялось, когда он об этом думал.

Тени от ракит потихоньку удлинялись в сторону дороги, на улице, кроме машин и немцев, никого больше — ни курей, ни собак; дед Макар поразился именно такой перемене на вечно знакомой улице села. Он стал вертеть головой, высматривая что-нибудь привычное из живности, и только тяжело вздохнул; его заинтересовали пятеро русских солдат, бредущих по улице, обочь большака, каждый с подоткнутой под пояс белой тряпицей. Они шли, устало волоча ноги, взбивая носками

ботинок пыль, и немцы, проезжавшие в обратную сторону на машинах, их не трогали. «Да что они, очумелые какие? — с тревогой вскинулся дед Макар, задирая бородку, словно принюхиваясь.— Сами свободой идут?» Это встревожило и рассердило старика, и он впервые по-настоящему заволновался. Подняв палку, он хотел поругать проходящих мимо пленных, но в это время мимо проскочили две крытые машины, пленные утонули в пыльном облаке. Дед Макар сердито постучал палкой о землю. «Обормоты, обормоты,— проворчал он с досадой,— молодые, сами, своей охотой с белыми тряпками идут. Да как же тут воевать с германцем? Что за народ такой срамной народился?»

Пленные в это время уже поравнялись с новой избой Дерюгиных, и тут дед Макар увидел приемыша Захарова, Егорку, тот высунулся из-за горожи и тоненько крикнул:

— Дяденьки, эй, дяденьки! Там за селом в логу немцы пленных бьют, как пройдут, они жарят сзаду. Там прямо как в лог дорога, двое стоят, стреляют в спины.

Дед Макар услышал и про себя похвалил Егорку, видать, его старший, Иван, выслал сказать; дед Макар обрадовался и сел прямее.

— В огороды нырните, там конопля кругом! — снова раздался тоненький звонкий голос Егорки, и дед Макар увидел, что пленные умерили шаг, стали потихоньку забирать к горожам, видать побаиваясь, потому что им приказано было идти только обочь дороги. «Молодец-то, молодец Егорка»,— еще раз порадовался за мальца дед Макар, и в это время с большака к нему вильнула полуторка, нагруженная наполовину ящиками с водкой; в ее кузове стояло двое молодых немцев, и один из них, спрыгнув, подошел с бутылкой водки к деду Макару и стал внимательно рассматривать его, даже потер в пальцах конец бороды. Дед Макар спокойно сидел и смотрел на молодого немца. «Ишь ты какой голенастый,— думал он,— на развод в самый раз мужик, и глаза хитрые».

— Хи, хи,— невольно робея, сказал дед Макар, оправляя приведенную в беспорядок бороду.— Вот чудно-то, а... Ну и чего это ты на меня пялишься? Сижу себе и сижу, тебя не трогаю, нехорошо получается у вас-то... вот... Я тебе так сразу и скажу: не по-божески.

От немца несло разогретым мужичьим духом, видать, долго не был в бане; встретившись с холодным

любопытным взглядом немца, дед Макар подслеповато поморгал, и немец внезапно засмеялся, показывая крепкие зубы, поставил перед дедом Макаром бутылку водки, забрался в кузов, и машина вмиг укатила; дед Макар подождал, с кряхтением нагнулся и, неловко прихватив бутылку пальцами за прохладное горлышко, поднес ее к глазам. «Буквы-то русские,— решил он, приглядываясь к наклейке,— чего ж, оно чужого не жалко,— обиделся он.— А раз так, можно и взять, попользоваться, все равно ведь пропадать добру».

Из-за толстого корявого ствола ракиты несмело высунулся Илюша:

— Дед, а дед, бабушка сказала — домой тебе. Слышь, нечего тебе торчать, дед, перед анбаром, ступай в хату.

— Не хочу домой я,— отозвался дед Макар недовольно.— Я твоей бабке не малое дите, сам вполне соображаю, а ты что со мной, стервец, таким порядком рассуждаешь? Ишь насобачились. Мал еще.

Дед Макар остался сидеть, солнце уже ушло за Слепненские леса, и вокруг было хорошо и свободно; обвявшие от неистовой дневной жары листья выправились, стали понемногу источать слабые неслышные запахи, ночные цветы уже готовились развернуться, мимо деда Макара предвестником скорой ночи прогудел большой жук: дед Макар не успел заметить его, усиленно поморгал вслед, по гуду определяя, что это жук-рогач. Тут же, откуда-то из-под корней ракиты, вышла бородавчатая жаба, поволновалась разлапистым брюхом и, тяжело припадая к земле, прошлепала мимо деда Макара, словно мимо какой-то стены, и это показалось старику обидным; он неодобрительно проследил, как жаба скрылась за угол амбара, и стал думать о том, что на свете водится много всякой твари, вот эта жаба, к примеру, и каждой божьей твари определено свое, вот ей мошек и червяков глотать.

Земля отдыхала и отходила от долгого утомительного летнего зноя; обычно шумное в вечернюю пору село томилось молчаливо. «Коли бы не война, и стадо бы счас пригнали,— думал дед Макар,— и с работ разных ехали бы, а там и гуляние бы собралось, а так ничего, как вымерло все».

Дед Макар знал, что именно в это время растет в земле картошка, и овощ бугрит землю, и всякий плод увеличивается и матереет; старику не хотелось идти

в избу, и он все сидел и сидел; а в это время за селом, в другом конце, там, где большак спускался на время в широкий лог, изборожденный глубокими оврагами, стояли два немца с автоматами; до смены еще оставался целый час, и дорога в обе стороны была пустынна. Немцы скучали, играли по очереди на губной гармонике, а раз, заключив пари на две пачки сигарет, отложив автоматы, схватились бороться и долго катались по зеленому склону холма; ни одному, ни другому все никак не удавалось одолеть, и они наконец сели рядом друг с другом и, потные, с приятной легкой усталостью, закурили.

— Не нравится мне это,— сказал один из них, с продолговатым лицом и с длинными тонкими кистями рук в засохших царапинах.— Они без оружия идут, зачем их убивать?

Второй, светлоглазый, пониже ростом, плотнее и, видимо, старше, ничего не ответил, достал из кармана бумажник, стал рассматривать фотографии и старые письма.

— Помнишь, Вилли, ту, из больницы Штофа? Луизу помнишь, вместе за город ездили, танцевали?

— Знаю,— резко и враждебно отозвался Вилли.— Тебе здорово удавалось водить ее за нос, но зато с ее стороны все было наоборот. Старая песенка.

— Теперь не то что тогда, Вилли... Я был большим дураком, я теперь все чаще думаю... на Луизу можно положиться. Если мне повезет, в первый же отпуск поженимся.

— Если повезет...

— Восточная кампания скоро кончится. Наши взяли Смоленск, на очереди Москва. Обязательно будет заминка перед какой-нибудь новой кампанией... вот и воспользуюсь, капитан хорошо ко мне относится, да и к тебе тоже. Он вообще выделяет своих земляков.

— Не знаю,— опять резко, хотя уже несколько иным тоном отозвался Вилли.— Во всяком случае, желаю тебе скорой свадьбы и потомства. Поторопись. Это ведь, Фриц, Россия, страна в десять тысяч километров протяженностью,— кивнул он в сторону одного из оврагов.—Мне недавно насчет Смоленска говорили другое. Затяжные бои, тысячи убитых и раненых. Все оскотинились, мы даже друг с другом боимся говорить откровенно... и этот свой страх вымещаем на других. Французах, славянах...

— Скоро смена,— после недолгого молчания сказал второй, пониже, не желая вдаваться в такого рода рассуждения и в то же время рисуясь своим бесстрашием.— Я не хочу думать о том, чего не могу изменить, Вилли. И тебе советую то же! Ведь в числе других легко можно не досчитаться и самого себя.

— Разве это люди? Обыкновенное стадо, кнут и жратва — вот что им нужно.

В летних, довольно сильных сумерках густо полз из оврагов туман, белесые клубы его уже заполнили лог. В это время сверху бросилась какая-то стремительная тень, косо метнулась мимо, Вилли пригнул голову и схватился за пилотку.

— Мышь летучая,— засмеялся второй, пониже, выпрямился во весь рост, крепко расставив ноги, со сладким, звенящим от молодости и силы напряжением в теле.

— Сегодня за дежурство ни одного,— сказал Вилли, имея в виду пленных, и Фриц ясно различал в его голосе нотку облегчения.— Теперь поздно, уже не будет.

9

По-своему встретил приход немцев Родион Густавович Анисимов; ему вполне свободно можно было уехать, но он в самый последний момент затаился и остался, отмахиваясь от уговоров Елизаветы Андреевны; пожалуй, было глупо продолжать надоевшую игру, и, кроме того, уже сложилась какая-то привычка к домашним удобствам и уединению; он не намеревался отправляться в сомнительные странствия по разбитым, переполненным дорогам, под бомбежки и обстрелы.

Елизавета Андреевна торопливо складывала вещи, стараясь не думать и не присматриваться к мужу, бесстрастно изучающему сводки и словно не замечающему паники и неразберихи кругом. На все ее просьбы ускорить отъезд он досадливо отмахивался:

— Лизанька, ведь бог его знает, где этот еще немец? Подожди, успеется, надо же все подготовить как следует...

Анисимов тянул время и добился своего; накануне Елизавета Андреевна, руководимая предчувствием надвигающейся беды, пригрозила отправиться в эвакуацию одна, в чем есть, на первой подводе, кто-нибудь сжалит-

ся, подвезет. «Что ж, давление подобралось к критической точке, может и котел разнести»,— подумал Анисимов, и они без лишних пререканий собрались на следующее утро выезжать.

Елизавета Андреевна поднялась чуть свет, принялась вытаскивать узлы и баулы в тот самый час, когда колонна немецких танков вошла в Зежск; сотрясая стены грохотом моторов и наполняя чистый воздух гарью, она расползлась по его улицам; немцы останавливались в зеленом, уютном городке на короткий отдых. Об этом Елизавета Андреевна узнала от своей ученицы, жившей в соседнем дворе, и хотя она еще уговаривала мужа бросить все и тайком уйти самим, она уже понимала, что надежды рухнули, муж не согласится, а сама она слишком нерешительна и безвольна. Она никогда не находила в себе силы на последний шаг.

— Вот видишь, Лиза,— говорил Анисимов недовольно, втаскивая обратно в дом брошенные как попало вещи,— вот тебе те самые обстоятельства, против которых любой бессилен.

Танки постояли и ушли дальше; вслед за ними через Зежск, непрерывно сменяясь, шли немецкие части, и все оставшиеся в городе жители сидели по домам, тем более что немцы сразу же вывесили приказ о запрещении выходить из дому с шести вечера и до восьми утра. Елизавета Андреевна не обращала внимания на ежедневное, ежевечернее, еженощное пьянство мужа; она только сейчас узнала о существовании в погребе под домом сделанного мужем еще задолго до прихода немцев большого тайника. Анисимов исподволь загрузил его водкой и другими припасами и теперь чувствовал себя уверенно; наступал комендантский час, и он самолично (Елизавета Андреевна категорически отказалась даже знать о тайнике в подвале) доставал бутылку водки, консервы, сухую колбасу или копченую рыбу, за которой, кстати, приходилось лазать на чердак, и, тщательно проверив затемнение на окнах, садился за стол. Елизавета Андреевна уходила в другую комнату, брала какую-нибудь книгу и надолго застывала над нею, до боли в глазах вчитывалась в уже знакомые страницы, стараясь забыться, отгородиться от всего, что их теперь окружало; а однажды, недели через две после прихода немцев, после обеда, когда муж заснул, она достала коробку со старыми фотографиями. Она не решилась их сжечь, хотя все время смертельно боялась;

это была первая, светлая пора ее юности, и она в самые тягостные минуты жизни украдкой от мужа иногда открывала старинную коробку с серебряной монограммой и медленно перебирала пожелтевшие фотографии.

Елизавета Андреевна бережно положила на стол перед собой тронутую легкой желтизной маленькую фотографию, где была снята вся ее семья в их крошечном имении в селе Храпово. Она почти наяву ощутила тот тихий предвечерний час, на столе самовар, кувшинчик со сливками, по краю у него еще был затейливый узор синей глазурью, тонкие, синего фарфора чашки. Вот и сама она, застенчивая девочка в ситцевом открытом сарафане, дядя Антон, офицер в белой свитке, тощенький заборчик, а за ним небольшой, веселый лужок. Она послала тогда эту фотографию Александру Бурганову в Москву, он жил в меблированных комнатах на Сретенке.

Елизавета Андреевна перевернула фотографию: так и есть, адрес: Сретенка, меблированные комнаты Малюгина, № 58. И надпись: «На память и въ воспоминание о летнихъ дняхъ и вечерахъ, проведенныхъ в селе Храповъ. 1915 год».

А вот эта фотография особая, здесь они сняты вдвоем вскоре после свадьбы; правда, Александра тогда отозвали из отпуска в действующую армию. Перед отъездом Александр повел ее в Петрограде в фотографию Розентретера, она как сейчас помнит вывеску: «Имеется специальный кабинет фотографических увеличений». Боже, боже, сколько лет прошло, ну разве можно узнать ее сейчас в этой девочке с робким, умоляющим взглядом из-под высокой взрослой прически? И Александр здесь очень хорош, в парадном мундире, карие глаза слегка улыбаются; она чувствовала себя так надежно с ним рядом. Куда все это исчезло, почему?

Она собрала фотографии, отнесла и спрятала коробку на дно комода; на тумбочке рядом с кроватью мужа ей бросилась в глаза раскрытая книга. Это было нечто новое, и Елизавета Андреевна осторожно, чтобы не разбудить мужа, подошла и взяла книгу. Она скользнула взглядом по титульной странице и удивилась еще больше: это был второй выпуск «Белого дела» в 1927 году в Берлине, одним из редакторов которого значился барон Врангель; Елизавета Андреевна полистала книгу, с трудом разбирая воспроизведенные печатным способом рукописные короткие высказывания

генерала Деникина, адмирала Колчака и их подписи, и тут же захлопнула. Как никогда, ей стало ясно, что все эти тяжкие годы она лишь бессмысленно билась головой в глухую стену; вот ведь даже от нее такие вещи скрывал. Она неслышно вышла в другую комнату, растерянно присела; такого дурного состояния у себя она раньше не помнила. Нужно было что-то решать; она подступила к самому краю и на одну минуту даже прикрыла глаза; что-то черное, немое, бездонное раскрылось перед ней. Это был конец, и она продолжала неподвижно сидеть, вспоминая первые дни близости с мужем, смятенный Петроград, холодные, сквозные улицы, настывшие стены брошенных особняков, человеческие потоки, кровавые пятна лозунгов в человеческом море, всколыхнувшемся до самого дна. Ну что ж, и другие прошли через это, но сумели найти себя. Она ошиблась, слепо, на веру приняв его образ мысли за эталон жизни вообще, в который раз она начинала перебирать давние мелочи, всплывавшие неожиданно ясно, в новом значении. В ее жизни с Анисимовым, в том, как она сложилась, и сама она не безгрешна; начав вместе и дружно, она потом все дальше отходила от него, так и не сумев в нем ничего изменить. Да, разумеется, она ничего не смогла, и теперь последние надежды рухнули.

Весь следующий день, в длинном халате, непричесанная, сосредоточенная и молчаливая, она хмуро отмахивалась от встревоженного ее состоянием Анисимова, а под вечер, когда он прямо спросил, что случилось, она недоуменно подняла брови, как бы удивившись неожиданно возникшему перед собой препятствию.

— Ах, да,— сказала она, коротко и безразлично обежав его взглядом, как нечто досадное и постороннее.— Вот что, Родион, я ухожу, совсем ухожу,— добавила она быстро и плотнее запахнула халат.

— Как это — уходишь? Куда? — с неуловимой и доброй насмешкой в голосе спросил он, обнимая ее за плечи.— Сядь, пожалуйста...

— Ах, не надо, оставь,— отстранилась она, подумала и опустилась на диван.— Я мучительно устала, Родион, я не шучу сейчас, и уж если этот разговор необходим... Видишь ли, я решила освободить и тебя от себя, и себя. Не смотри на меня так, я не больна и вполне отвечаю за свои слова. Так, как ты живешь и хочешь жить, я больше не могу. Прости, Родион, ты сам знаешь, это давно началось...

— Да куда ты пойдешь, опомнись, Лиза! — Он взял ее за руки; Елизавета Андреевна не сопротивлялась, лишь лицо у нее оставалось по-прежнему холодным и отчужденным; он вскочил, озадаченно поглядывая на нее, стал ходить по скрипучим половицам.

— Нет, это безумие, сейчас люди, наоборот, держатся друг за друга, даже чужие, а мы с тобой и подавно, Лиза! Почему, с чего бы?

— Ты все отлично понимаешь...

— Я ничего не понимаю! — оборвал он резко.— И не хочу! Не могу понять тебя!

— Нам лучше расстаться по-хорошему, Родион.— И опять что-то в выражении ее лица испугало его; он снова сел рядом, взял ее руку, несколько раз поцеловал и осторожно, словно хрупкую, дорогую вещь, опустил себе на колено; какое-то светлое волнение мешало ему говорить, и хотелось заплакать, и это желание было столь внове, что он удивился новизне своего чувства.

— Я люблю тебя, Лиза,— все с тем же тихим удивлением и даже обидой сказал Анисимов.— Если я тебя потеряю, мне нечем будет жить, нужно, чтобы хоть один человек в мире верил тебе... твоему сокровенному, твоей сути, твоей идее...

— А я? — Звук ее голоса доносился откуда-то издалека.— А я? — повторила она настойчиво.— Все тебе, тебе... вот именно, пока я верила, я могла вынести любую каторгу, но пойми, я больше не верю. Женщина не может без веры в близкого человека, мне страшно себя, Родион, неужели ты не видишь, что все умерло, что рядом с тобой я уже ничего не чувствую?

— Лиза! — Его задушенный крик прозвучал дико, и она отшатнулась; Анисимов схватил ее руки, потянул к себе, и, не в силах сдержаться от приступа какого-то лихорадочного возбуждения, дрожа всем телом, стиснул ее.— Лиза, Лиза,— говорил он бессвязно,— ты сама не знаешь, что ты хочешь сделать. Убить? Убей, слова не скажу, убей. Я теперь сам вижу: это предел. Да мне самому больше невозможно, мне самому надо бы ткнуться в этот предел... ты только скажи... все надоело... что хочешь сделаю... Лиза... все заново начнем...

Он говорил, непрерывно целуя ее лицо, шею, испуганные глаза, она вначале пыталась оттолкнуть его, но, обессилев, затихла, голова кружилась, она отчетливо различала его нос, глаза, шевелящиеся губы совсем вплотную от себя; какая-то тьма металась рядом, и не-

льзя было вырваться, и нельзя было уступить, она знала, что умерла бы от этого тут же, сразу. И она, спасая в себе еще не окрепшие, только что пробившиеся слабые росточки, выбрала из всего, что металось и заполняло пространство вокруг, одно: знакомые, ясные, молящие глаза, она не отпускала их ни на минуту; ей не надо было слышать слов, она их и не слышала, ей нужны были только эти глаза,— и вот ее словно изнутри обжег горячий ясный свет, и она поняла, что наступил миг, ради которого она жила и мучилась, и это было выше ее сил, и она с чувством острой, колющей боли в сердце провалилась во тьму, и когда очнулась, увидела залитое слезами лицо мужа; он непрерывно и часто целовал ее руки.

— Сашенька,— шепнула она, поднимая руки и притягивая его голову к себе на грудь,— это правда?

— Правда,— задохнулся он глухо.— Я тебе самым дорогим клянусь...

— Не надо! — с испугом остановила она его, и потом они долго молчали и оттаивали в наступившей тишине, но и в этот вечер, и в следующие дни, встречаясь взглядами, они тотчас как-то по-особому понимающе улыбались друг другу, как люди, связанные большой и важной тайной; между ними установилось мгновенное и глубокое понимание друг друга, и Елизавета Андреевна не сердилась, если муж доставал из подполья новую бутылку водки; теперь она твердо знала, что и это со временем пройдет.

И Елизавета Андреевна, и сам Анисимов по-прежнему чутко и болезненно прислушивались к любым звукам, проникающим извне; оба они понимали, что временное затишье ненадолго, и ждали перемен со дня на день, и когда недели через две после прихода немцев в Зежск, часов в девять вечера, кто-то требовательно забарабанил в дверь их дома, Елизавета Андреевна слегка побледнела. «Началось»,— сказала она, успевая поглядеть на себя в зеркало, поправила волосы. Накинув на плечи платок, она заглянула в другую комнату к мужу, и он тотчас ушел открывать; с тревожным любопытством она ждала, кого это им послал бог. Она не знала вошедшего человека, слегка наклонила голову в ответ на его приветствие.

— Супруга моя,— сказал Анисимов, он уже успел изрядно выпить, Елизавета Андреевна видела это по его стеклянно блестевшим глазам.— Лиза, познакомьс[illegible], [illegible]-

жалуйста, это господин Макашин, Федор Михайлович. Так ведь, память мне не изменяет,— Федор Михайлович?

— Федор Михайлович,— подтвердил Макашин, сжимая в руках фуражку; Елизавета Андреевна отметила, что фуражка ему тесновата, на лбу осталась потная красноватая полоска.— Будем знакомы... Лизавета Андреевна. Из раскулаченных в Густищах, Федор Макашин.

Елизавета Андреевна действительно его вспомнила, хотя минутой раньше он казался ей совершенно незнакомым.

— Здравствуйте, Федор Михайлович,— сказала она, с любопытством и настороженностью приглядываясь к неожиданному гостю.

Перед ней стоял крепкий, еще молодой мужчина лет тридцати с лишним, с высокими скулами и твердыми, резко очерченными губами, если бы не какая-то жестокость в лице, он был бы даже по-своему красив; на нем был обыкновенный гражданский пиджак, но сапоги и брюки немецкие; Елизавета Андреевна поняла, что на поясе у него револьвер. Елизавета Андреевна рассматривала его, и это Макашину нравилось; он улыбнулся хозяйке и тотчас повернулся к Анисимову, с гостеприимным видом ожидавшему у стола с водкой и закусками.

— Я к тебе, Анисимов, поговорить...

— Прошу к столу, Федор Михайлович, за столом и поговорим. Видишь, я словно чувствовал, все готово. Садись... Или руки помыть? Прошу вот сюда. Лиза, ты, может, что-нибудь посущественней нам приготовишь?

— Простите, что же? — спросила Елизавета Андреевна, захваченная врасплох.— Есть телятина холодная, можно картофель отварить... А может быть, Федор Михайлович, вам борщ подогреть? Очень вкусный, свежий, со сметаной.

— Да вы не беспокойте себя, Лизавета... Андреевна? По батюшке так, кажется?

— Да.

— Какое беспокойство,— оживился Анисимов, потирая руки.— Можно и картошечки с дымком. Картошка — незаменимый продукт для русского желудка. Именно из нее возникали всякие бунтарские идеи, не надо нам на этот счет прибедняться. У меня там еще копченый окорочек висит, отрежу, не печалься, Лиза.

Окорочек доспел до лучшей кондиции, в меру сух, в меру сочен.

— Богато живете,— скупо похвалил Макашин, и хозяева не могли понять, с одобрением ли это было сказано.

«Вот чертова крестьянская натура, всегда она темный лес»,— подумал Анисимов и повел гостя вымыть руки, подал чистое, до хруста накрахмаленное полотенце, в то же время пытаясь догадаться, откуда появился здесь Макашин, как разыскал его, почему у него револьвер в кобуре. Садясь за стол, Макашин весело покосился на хозяина.

— Не гадай, Густавович, ворожба тут простая. Подвернулся вовремя, вот и назначен начальником полиции Зежского уезда.— Макашин расстегнул ворот тесноватой, врезавшейся ему в шею рубашки.— Ну, а что ты здесь остался, сразу доложено было, партийцев, каких успели, давно всех взяли, о тебе, Родион Густавович, особый разговор состоялся, вот и жил ты до часа в свое удовольствие.

— Подожди,— заторопился Анисимов.— Сейчас за окороком слазаю, ты вот с Лизой потолкуй. Лиза, займи гостя.

Елизавета Андреевна, низко склонив голову, чистила картошку, в эмалированной кастрюле закипала вода.

— Зря вы это затеяли, Лизавета Андреевна.— Макашин причесался на ощупь, подул на расческу и спрятал ее в карман; он был экономен и точен в движениях.— Я ненадолго, времени у меня мало.

— И вы не боитесь? — спросила Елизавета Андреевна, не поднимая головы.

— Страх, он до поры гложет,— не думая, отмахнулся Макашин, всматриваясь в ровный пробор в ее все еще густых каштановых волосах.— Мне других дорог не проложено, давно в незаконных состою.

— Может быть, вы по-своему правы, Федор Михайлович, и все же... Своя земля, несмотря на обиды, остается своей.

— Вы очень по-ученому, Лизавета Андреевна. Родная земля... Кому она родная мать, а кому и мачеха. В двадцать пять, в самый сок, я на Соловки высланный, потом беспризорной собакой почти десять лет в бегах, по всяким помойкам, под чужим величаньем, с крадеными, считай, бумагами. Только вот два последних года и приткнулся в Минске, грузчиком на склад. По магази-

нам всякие сласти развозил, жрали другие, со смаком жрали. Нет, Лизавета Андреевна, хоть запоздало, надо и мне свое взять, с чужих подачек сыт не будешь. Я за старыми долгами пришел, до последнего медяка за прошлое вытрясу.

Елизавета Андреевна быстро взглянула на него и опять опустила голову; и когда появился Анисимов с большим куском копченого окорока в руках, она облегченно вздохнула про себя.

— Кончай, Лиза, садись за стол,— сказал Анисимов, принимаясь нарезать окорок и с удовольствием, шумно принюхиваясь к острому запаху.— Картошка сама дойдет.

— Ты же знаешь, я никогда не пью водки.

— По такому случаю можно, Лиза. Понимаешь, Федор, за последнее время совсем одичал, один да один.— Говоря, он вскользь бросил на жену быстрый взгляд, она еле приметно выпрямилась, показывая ему, что все понимает и вполне спокойна.

— Подожди, Родион Густавович,— остановил Макашин.— У нас с тобой разговор серьезный.

— Хорошо, приветствую. Вот выпьем и поговорим.— Анисимов вытер руки, разлил водку в стаканы, еле заметно подмигнул в сторону жены.— Воспитание, брат, спиртного душа ее не выносит. Ничего, давай, давай, Макашин, во здравие, все точит меня, у женщины это в крови; значит, говоришь, начальник уездной полиции?

Они чокнулись, выпили; Анисимов пододвинул гостю тарелку с окороком, консервы, сам бросил в рот кусочек хлебного мякиша, густо посыпав его солью.

— Родным, забытым чем-то повеяло. Уезд... полиция... Что, и чин у тебя есть? Неужто кончено, и насовсем?

— Какой чин... просто начальник полиции.— Макашин держал вилку с некоторым даже изяществом, ел с аппетитом и аккуратно, не оставляя крошек на скатерти, изредка вскидывая глаза то на Елизавету Андреевну, то на Анисимова.— Не завидуй, Родион Густавович, я, может, тебе кое-что получше предложу.

Анисимов задумался, поморгал, налил еще раз, он еще не успел привыкнуть к неожиданному появлению Макашина и не знал, как себя держать и чего ждать от его прихода; он весь внутренне подобрался, движения его стали точнее и собраннее.

Они выпили вторично, и Анисимов, ожидая, пока гость закусывает, закурил. Елизавета Андреевна принесла холодную телятину и села в глубокое кресло ближе к огню. «Уж не во сне ли все»,— подумала она, глядя на жарко разгоревшееся пламя в плите. Не так много прошло времени, когда она принимала экзамены в седьмых классах и от души радовалась бойким, обстоятельным, вполне осмысленным ответам: во вчерашних подростках уже угадывалась готовность к иному, большому и тревожному счастью жизни. «С чем же он мог прийти к Родиону»,— думала Елизавета Андреевна, успевая следить и за закипавшей картошкой, и за пустевшими тарелками; как она ни была настроена против Макашина, ей невольно нравилось, что он полон сил и энергии и ест по-мужски жадно и много, и еще она знала, что этот человек, с чем бы он ни пришел, опоздал.

Макашин остановил хозяина, потянувшегося положить ему еще телятины, отодвинул от себя тарелку.

— Проголодался, бегаешь весь день, как собака, тоже хороша должность. Спасибо, Лизавета Андреевна, сыт. Вот что, Родион Густавович, вот такое дело... стал бы ты, Густавович, бургомистром? — Макашин взял стакан с остатком водки, поболтал.— Хозяин города, я со своей братией в твоей руке. Сколько отпущено нам сроку, поживем. То другие властвовали, а теперь мы похороводим. Чего молчишь, Густавович? Я-то тебя немного знаю, по рукам?

Анисимов ничем не выдал себя, даже нечто горькое и уничижительное проявилось в том, как он поковырял кусок мяса и беззвучно положил вилку. Сердиться на Макашина он не мог, у каждого ведь свои горизонты, и, разумеется, этот мужик знал его, именно, немного; он предлагает ему, Родиону Анисимову, по своему разумению, золотые горы, должность головы в уездном городишке, вот и весь уровень его страстей и бурь. «Немецкий бургомистр Зежска, ха-ха! Удружил, молодец, Макашин! А может, его сермяжная правда? Вцепиться зубами в свой кусок, раз его подбросила жизнь, забыть о кисельных берегах и молочных реках. Года два,три, пусть несколько месяцев или даже дней власти на военном положении. А потом, потом? — раздался в нем его второй — постоянный — взвешивающий и трезвый голос.— А не слишком ли затянулось ожидание этого сказочного «потом»?» — ответил он себе, стараясь зада-

вить этот второй, так некстати заговоривший в нем голос.

Встав, он прошелся по комнате, стараясь не смотреть на жену; ее присутствие сейчас мешало, хотя с начала серьезного разговора она не произнесла ни слова.

— Лиза,— попросил он, задерживаясь перед ней,— оставь нас одних.

— Картошка готова, Родион.— Елизавета Андреевна слегка улыбнулась ему, как бы говоря, что все будет хорошо и нужно лишь держаться и помнить, и вышла, прикрыв за собой дверь.

— Поговорим, Федор.— Анисимов был спокоен и трезв, на лбу резко пролегла поперечная морщина.— В ту ночь, когда ты попался, помнишь, Захар Дерюгин повез тебя в район. Я тогда спас тебя от стенки. Это наверняка. За покушение на председателя колхоза другого исхода ждать не приходилось.

— Так, Родион Густавович, помню все.

— Устал я за эти годы, Федор, устал, поиздержался. Права моя половина,— кивнул он в сторону двери,— я уже не тот Анисимов, которого ты знал. Сил прежних нет, я на свои Соловки силу ухлопал. Что я сейчас? Измочаленный веник, а тебе нужна метла стальная. Чтоб гнала подчистую, ни соринки не оставила от господ-товарищей.— Потемневшими, сузившимися глазами Анисимов всматривался в видимую только ему точку.— Не потяну я этого воза. Не трогай меня сейчас, Михайлович, я тебе еще сгожусь. Понимаю, понимаю,— торопливо добавил он, останавливая хотевшего что-то сказать Макашина,— здорового мужика в сорок пять лет в такое время все равно зацепят, но я на тебя надеюсь... Можно ведь что-нибудь сделать, документики какие состряпать о нетрудоспособности, другое что придумать. Я тебе таким больше пригожусь, Федор.

— Значит, не веришь в немцев-то, Родион Густавович,— криво усмехнулся Макашин и налил водки себе и хозяину.— Не знаю, твоя ли правда. Зачахнешь, Густавович, со стороны-то все облизываться, проигрыш свой прикидывать. Ладно, неволить не буду. Тебя не буду,— тут же уточнил он.— А мне посчитаться надо. Я только для этого жил, вот сейчас в Густищи стремлюсь попасть. Недосуг, дела много, не вырвешься никак.

— Что ж, у каждого свой пик есть, высшая точка. Видно, я свой перешел, под уклон покатило, сломился

где-то в середине. Да и годы у нас разные. У тебя натура здоровая, крепкая, тебе игра по плечу, Федор.— Анисимов, растревоженный разговором, погрустнел.— Дай бог вам добиться изменений в судьбах России. Мы вот не сумели. А на меня можешь, как на каменную гору, положиться, поверь, Федор, весь я у вас... Знаешь, бывает, обессилеет птица, отстанет от стаи, не догнать...

Анисимов махнул рукой как-то по-бабьи жалко, и Макашин впервые поверил, с искренним сочувствием потянулся к нему.

— Жалеешь? — остановил его Анисимов.— Подожди, дай мне отогреться, прийти в себя, водку пить брошу. В Африке, говорят, страна есть, там борьба не на ковре ведется, как обычно, а под ковром. Накроют борцов, а они там себе и возятся, только задушенных выбрасывают из-под ковра. Может быть, сказка... Больше двадцати лет и я под таким ковром пробарахтался... Впрочем, не слушай меня, делай свое дело, умеешь — и делай.

— Скажи прямо, Густавович, не веришь немцам? — спросил Макашин, резко щелкнул по стакану с водкой широким плоским ногтем.— Мы же русские люди, нас с тобой давно кровью связало, ни мне, ни тебе продавать друг друга не след.

— Не знаю, Федор,— все так же глядя перед собой остановившимся потемневшим взглядом, глухо отозвался Анисимов.— Боюсь, немцы, как всегда, переоценили свои возможности. Европа, разумеется, Европой, там они все разложили по полочкам, Федор, только Россию на полочку не уложишь: в последние два-три года я понял свое невежество. Не знаем мы страну, в которой родились! Одна только надежда, что ее не знают и те, кто управлял эти двадцать четыре года. Ах, какие еще могут быть протуберанцы, Федор, вот на что я надеюсь. Ради этого хотелось бы прожить еще с десяток лет. Чтобы самому увидеть и убедиться. Ну что такое сто лет для истории? Ни-че-го! — раздельно, с силой выговорил Анисимов, не обращая внимания на собеседника, неприятно засмеялся сам с собой, и Макашин поморщился, ощутив ненависть, прозвучавшую в голосе хозяина. «Ого,— подумал он невольно,—да ты еще тот замо́к, не так просто расковыряешь. Ты ждешь еще чего похлеще немцев. Что для тебя эти немцы или какой-то беглый Федька Макашин. У тебя замах покруче, да вот только

непонятно, чего ты ждешь? Да и самому-то тебе понятно это? Ну что ж, это неплохо, не так уж и мало...»

Добрея и обмякая, с какими-то ласковыми огоньками в глазах, Макашин теперь смотрел на хозяина совершенно иначе. «Черт с ним,— думал он,— пусть живет как хочет. Свой человек, ума ему не занимать, всегда можно в тяжкую минуту заручиться. Уемист хозяин-то, уемист, пусть сидит поглубже в сумерках, а придет час, сам выскочит на солнышко, уж он этого момента не упустит».

— Ладно, Густавович,— сказал Макашин с понимающей усмешкой.— Живи, никто тебя не тронет, покуда я здесь буду. Вот тебе крест.— Макашин усмехнулся.— Ты умный мужик, помога твоя нужна. Немцы докапываются все, думают, моторный завод свои, местные, рванули. Там их сто сорок семь человек пропало, этакая катавасия. Ты в Зежске каждую собаку наперечет знаешь. Комендант потребовал полные списки коммунистов, всяких там других активистов, их семей. Об этом ни одна живая душа, кроме нас с тобой, не пронюхает. Брось, чего помеловел? — И неожиданно зло добавил: — За покой тоже платить надо, Густавович, без этого каши мы с тобой не сварим. Ты подумай, прикинь, на днях загляну. Одно меня бесит, начальника милиции Савельева прохлопали, ушел гад. Говорят, в последнюю минуту ушел, жену с ребятишками не успел вывезти. Я было приказал ее взять, потом выпустил, вроде приманки на волка. Сейчас, конечно, рановато, пусть баба успокоится, повременю, через недельку-другую поставлю наблюдение. Думаю, заговорит же своя кровь.

Анисимов хотел сказать Макашину, что тот плохо знает людей такого сорта, как Савельев, но в последний момент сдержался и промолчал.

10

Направив уцелевших после взрыва завода людей по одному из адресов, Брюханов со своим связным Вавиловым, стройным молодым парнем двадцати четырех лет, добрался до Столбов, глухого окраинного села Зежского района, и остановился на заброшенной пасеке в пяти верстах от села, в глухой липовой роще, примыкавшей непосредственно к Слепненским лесам; пчел здесь давно уже не было, но омшаники, сарай и домик па-

сечника еще держались в сравнительной сохранности; Брюханов выбрал себе для временного жительства сарай, к задней стене которого вплотную подступали молодые заросли липы, так что можно было в любой момент через застреху скрыться в них.

В Столбах немцы еще не появлялись, и первые дни прошли спокойно; Брюханов томился от вынужденного безделья, ночами плохо спал и, вслушиваясь в далекое погрохатывание орудий, вновь и вновь продумывал планы, намеченные и разработанные заранее, с каждым днем яснее чувствуя, что все будет разворачиваться иначе, что придется на ходу перестраиваться, искать новых людей и новые возможности, явки. В самих Столбах у него было два человека: кривой почтальон, почтарь, как его звали все в Столбах, и старая учительница, но они ровным счетом ничего не могли еще знать, и трогать их раньше времени не имело смысла. Именно сюда, на старую пасеку, к Брюханову должен был прийти начальник зежской милиции Савельев, непосредственно устраивавший тайники и базы с оружием в Слепненских лесах; он же должен был передать Брюханову места явок и имена связных Зежского и соседних с ним районов. Здесь же было назначено место встречи еще нескольких человек; но Брюханов напрасно вскакивал по ночам на каждый шорох; на пятый день тягостного ожидания он почувствовал смутное беспокойство, тем более что в первый день его со связным никто не встретил на пасеке; и еще через два дня это беспокойство переросло в осознанную тревогу. Савельева по-прежнему не было, связной, отправленный Брюхановым в Зежск, на разведку, вернулся лишь на третьи сутки, ночью, Брюханов еще издали услышал его приближение и тотчас вышел из сарая, затаился под липой.

— Устал, Вавилов? — спросил он, когда связной проходил мимо, и тотчас, успокаивая его, вышел из-за ствола.— Заждался я тебя, здравствуй.

— Ничего утешительного, товарищ Тихонов.— Вавилов устало пожал протянутую Брюхановым руку.— Понимаете...

— Подожди, Валентин, есть хочешь? — остановил его Брюханов.— Иди, там на столе молоко и хлеб, мясо есть, я тебя вчера в ночь ждал.

— Я сейчас сюда принесу, товарищ Тихонов,—сказал связной и исчез в темных дверях сарая; через мину-

ту они сидели под липой, Брюханов курил, осторожно прикрывая огонек цигарки, а Вавилов жадно ел хлеб и мясо, все порываясь начать разговор, но Брюханов останавливал. Ему нравился связной все больше — и своей молодостью, и тем, что, пройдя специальную выучку, он хорошо знал свое дело и любил его.

— Выпей молока, Валентин,— сказал Брюханов, когда Вавилов, расправившись с хлебом и мясом, стал закуривать.— Нехорошо всухомятку, желудок надо беречь, это тоже наше оружие и надежда, правда, по молодости лет на это не обращают внимания.

Вавилов молча взял кувшин и выпил молока.

— Спасибо, товарищ Тихонов, сейчас, если не закурю, засну.

— У мастера был?

— Был, но дальше дело не пошло. В городе осталось всего два или три коммуниста, старики, из тех, кто помоложе, один Анисимов, бывший председатель райпотребсоюза. По сведениям мастера, перед самым приходом немцев Анисимов заболел, острый радикулит. С женой Савельева ничего не вышло, или она на самом деле не знает, или не хочет говорить. Я вынужден был упомянуть ваше имя, не помогло, но какое-то замешательство с ее стороны почувствовалось.

Выслушав Вавилова, кое-что переспросив, Брюханов отправил его отсыпаться; он все больше приходил к мысли, что ему необходимо пробраться в Зежск самому, и выверял, обдумывал свое решение. Трава была сырой от пробрызнувшего недавно дождя, и Брюханов чувствовал сырость даже через толстую и прочную кожу сапог. По приглушенному, но в то же время неуловимо обострившемуся запаху растительной гнили угадывался близкий рассвет; Брюханов перебрал в уме возможные варианты, порой останавливался, прислушивался к усилившемуся ветру; дело было важное, и определенный риск был необходим и оправдан; продумав все до мельчайших деталей, он пошел в сарай и лег на свое место, но заснуть так и не смог, и утром, у небольшого костра, на котором варился завтрак — пшенный суп с мясом и грелся котелок с чаем, он долго обсуждал все с Вавиловым. Под вечер тот ушел в Столбы за Сорокиным, а Брюханов остался с Андреем, тринадцатилетним внуком учительницы из Столбов, принесшим на пасеку ведро картошки, молока и ковригу хлеба; Андрей был высокий, угрюмый паренек, на этот

раз во время разговора Андрей откровенно прятал глаза, избегая смотреть на Брюханова, отвечал односложно, больше отмалчивался, но скоро не выдержал и в ответ на вопрос Брюханова о новостях в его зеленоватых, неспокойных глазах зажегся вызывающий огонек.

— А чего вы меня все пытаете? — спросил он с безотчетным вызовом.— Ну, вы хороший бабушкин знакомый, она вас любит за что-то... Вот вы какой здоровый, а от немцев в лесу захоронились, с ищейкой не найдешь. Воевать-то кому тогда? Вон, говорят, немцев тьму-тьмущую побило, они завод какой-то захватили, а он возьми и на воздух. Там, говорят, одних начальников важных человек двенадцать пропало, все генералы.

— Вот в чем, оказывается, дело,— протянул Брюханов, притягивая Андрея за плечи.— А больше ты ничего не слышал?

Освобождаясь от его рук, Андрей отодвинулся.

— Больше ничего,— сказал Андрей неуверенно, чувствуя какое-то непонятное ему, глубоко запрятанное волнение Брюханова.

— Бывает и так, не повезет,— сказал неожиданно Брюханов, и хотя Андрей понял, что слова эти не относятся к нему, он, отвечая на невольное движение сердца, смущенно улыбнулся, стыдясь прежнего своего отношения к Брюханову, стал рассказывать о снарядах, брошенных недалеко от Столбов отступающими частями. Брюханов внимательно слушал.

— У тебя отец в армии, Андрюша?

— Где же ему быть, с первых дней взяли.

— Мне нечего тебе сказать, Андрюша. Судьбы людей, борьба складываются по-разному. Когда-нибудь, если повезет, у нас может случиться и другой разговор. Тогда тебе не придется отводить глаза в сторону. А пока, что ж... спасибо, Андрюша. Верь своей бабушке, она меня знает еще с тех пор, когда мне было гораздо меньше, чем тебе сейчас.

На другой день Брюханов, дав соответствующие указания на случай появления немцев уже вернувшемуся Вавилову и дополнительно оговорив дни и место встречи, решил пробраться в Зежск.

— Останешься здесь за меня, Валентин, за пасекой нужно следить ежесуточно. Если кто явится, ждите моего возвращения здесь, десять дней ждите. Затем действуйте самостоятельно, за старшего оставишь здесь Сорокина, и сам в Троицк...

— Я все помню, товарищ Тихонов,— тотчас отозвался Вавилов, взглянув на почтаря, сидевшего тут же и слушавшего весь разговор явно неодобрительно.

— Не дело, Тихон Иванович,— неожиданно прогудел он, поправляя ремешок кожаной повязки на глазу.— Ежели хотите мое слово знать, я на это несогласный, не по чину вам в Зежск шастать. Давай я пойду, а тебя там каждая дворняга знает. Как у нас еще первый слет коммунистов был...

— Меня каждая собака знает, но и я каждую за версту отличу, об этом ты забыл, Прокофий Петрович. Кроме меня, некому разобраться, в чем дело...

— Да нет, послушайте его, добрые люди! — хлопнул себя по мослатым коленям Сорокин.— Что хочешь говори, не докажешь. Что же это такое? Подожди еще, придут люди, не истолок же их черт с горохом в ступе!

— Перестань, Сорокин, наш спор не ко времени, нужно идти,— повысил голос Брюханов.— Не забывай, с нас все начаться должно.

— А я говорю, нельзя! — упорствуя по-прежнему, пророкотал уже во всю силу своего прокуренного баса Сорокин.— Нечего тебе мотаться среди немчуры. Я хоть и невелика шишка теперь, да за меня сам Деникин тысячу золотых сулил, думаешь, так, запросто? Тут ты вон со своим парнем оставлен под мою руку, да как я потом, случись что? Пусть они сгинут, твои базы, новых наготовим. Вчера вон ребята две пушки в кустах нашли, откатили их на лошадях, подальше запрятали.

— Сорокин! — Брюханов встал, одернул пиджак, потоптался на месте, чувствуя подступившую к сердцу знакомую горячую волну.— Я тебя слишком хорошо знаю, потому ты и в разговоре, если что, Вавилову помоги. Ну что ты топорщишься, Петрович, послушай, Прокофий Петрович, ты же умный мужик, дальше нельзя. Именно мне надо идти.— Покосившись в сторону Вавилова, видя, что тот, слегка улыбаясь, молчит, Брюханов вздохнул.— Ночью в город пойду, ведь я там родился, вырос, каждую щель в заборе знаю. В одну ночь и управлюсь, под утро уйду.

— Человек гадает, а бог располагает,— сказал Сорокин в медлительной крестьянской рассудительности, стащил с головы фуражку, скомкал ее в широкой, лопатой, ладони.— Не лежит душа к такому делу, Иванович, то-то им радость будет козырного туза зацапать.

Говорят, в Слепненских лесах уже кто-то и без твоих баз есть,— земля слухом полнится. Какой-то Горобец, говорят, или Коробец, надо будет мужиков привычных послать, поразнюхать.

— Что ж, дело хорошее, вот и займись,— сказал Брюханов,— одно другому не помеха. Я пытаюсь понять, что случилось? Ведь не я их должен был ждать здесь в Столбах, а они меня. Нет, решил я твердо, Прокофий Петрович, и, думается, единственно правильно. Давай лучше подумаем, как мне быстрее управиться. До Густищ вы меня в ночь на лошади подбросите, дашь кого-нибудь в провожатые, коней назад приведет. А там я своим ходом доберусь, семнадцать километров чепуха — надо привыкать. Ну, добро?

Сорокин ушел, меньше чем когда-либо уверенный в правоте Брюханова; а часа через два Брюханов трясся в седле по дороге в Густищи. Проводником его оказался тот же Андрей, они ехали молча и быстро, не останавливаясь почти всю ночь, ловкую поджарую фигурку Андрея Брюханов все время видел впереди, и когда перед рассветом они расставались и Андрей держал в руке поводья коней, пытавшихся схватить пожухлой травы, Брюханову захотелось обнять мальчика, но он лишь, как взрослому, крепко пожал ему руку, скупо поблагодарил и, подождав, пока мальчик с конями скроется, пошел к Густищам полем полегшей густой пшеницы и, выбравшись к огородам, как раз в середине села, прислушался. Стояла чуткая предрассветная тишина, нарушаемая лишь жалкими, редкими криками петухов; в неспокойном предрассветном небе жидко проступили верхушки садов; Брюханов наконец различил поднимавшуюся выше других крышу избы и трубу. Едва он подошел к сараю, от его стены отделилась неясная фигура и шагнула навстречу; Брюханов облегченно перевел дух. Они прошли во двор, огороженный со всех сторон высоким тыном; небо отсюда показалось гуще и выше, звезды перед рассветом в чистой от туч западной стороне неба синевато искрились. Брюханов плохо помнил старшего сына Захара Дерюгина, встретившего его, но Сорокин из Столбов уверял, что парень в отца, умный и спокойный, и на него во всем можно положиться, и сейчас Брюханов отметил про себя, что в свои шестнадцать лет парнишка, пожалуй, уже вымахал с отца. Помнится, Захар говорил, что старший похож на

него как две капли воды, только вот по характеру в мать, тихий.

— Вы здесь подождите,— сказал в это время Иван,— я сейчас харч захвачу, затем отведу вас в Соловьиный лог, пока не развиднело. У нас оставаться на день опасно, немцы часто шарят, съестное ищут.

Беззвучно отворив дверь в сарай, он пропал в темноте, а минуты через две уже опять стоял перед Брюхановым с брезентовой сумкой в руках; у Брюханова сжалось сердце, Захар Дерюгин чуть старше, и у него, Брюханова, мог бы быть такой сын. А давно ли они сами были как вот этот рослый молчаливый парень? В свой час их пути с Захаром круто разошлись, и казалось, никогда больше не пересекутся; Брюханов усмехнулся, жизнь вела людей и распоряжалась ими по-своему, не обращая внимания на их желания и поступки. Кроме Ивана у Захара их еще трое; широко шагая вслед за крепким, плечистым парнем, Брюханов поймал себя на мысли, что даже в походке его неуловимо присутствует отцовская стать. Опять всплыла его невольная вина перед Захаром, хочешь не хочешь, она коснулась и этого парня, и остальных детей Дерюгина. Брюханов резко оборвал себя, не время было заниматься самоедством; он знал, что все последующие годы он старался не проходить мимо чужого горя.

Всю дорогу до Соловьиного лога, занявшую больше часа, они прошли без единого слова; Густищи остались позади и постепенно исчезли из глаз, словно опустились в землю; перебравшись через низкий, сырой лог с неширoким, виляющим ручьем посредине и с погоревшими полусухими травами в пояс, они совершенно вымокли. Занималась заря, из серого полумрака вырывались, громко хлопая крыльями, какие-то птицы и тут же, чуть отлетев в сторону, опускались; впереди уже ясно сместились на неяркой, все сильнее разгоравшейся полосе зари вершины старых дубов; местность поднималась, становилась суше. На самом краю большого, поросшего густым орешником и дубняком лога Иван опустил свою сумку на землю, сел; Брюханов огляделся, захваченный безлюдьем, широтой открывшихся просторов вокруг; вот-вот должно было встать солнце, его место над краем земли уже обозначилось огненным, готовым прорваться свечением; Брюханов дождался этой минуты и широко открытыми глазами немигающе смотрел на большой, слепой еще диск, подпрыгнувший

в небо, как показалось Брюханову, совершенно неожиданно; от него отделились и ринулись к земле потоки света, резко ударили по глазам; Брюханов отвернулся, напряженно заморгал.

— Сапоги стаскивайте, Тихон Иванович,— подсказал Иван, слегка приподнимая темные длинные брови.— Отдохнем, посушимся, солнце скоро пригреет. Поспать можно, места теперь безлюдные здесь, немцы сюда не сунутся, боятся.

Брюханов еще постоял и сел, освободился от разбухших сапог, размотал портянки и с наслаждением пошевелил отсыревшими пальцами.

— Дома-то знают? — спросил Брюханов, останавливаясь пытливым взглядом на лице Ивана с резко очерченными юношескими губами и отмечая, что сын действительно поразительно похож на отца в изломе темных бровей, в очертании лица и в выражении затаенных, угрюмых глаз.

— Мать кое-что знает, а другим незачем,— сказал Иван, чувствуя себя несколько неловко от чужого откровенного любопытства.— Поесть собрала, перекусим, поспать можно. А перед вечером двинемся, как раз к темноте и доберемся.

— Что ж, решено, по логам скрытно можно подойти.— Брюханов следил, как Иван достает из сумки хлеб, сало, вареную картошку.— Что в народе говорят, Ваня, насчет немцев?

— Ничего особого, Тихон Иванович. Плохо. Отбирают все подряд, коров посвели. Слышно, молодых скоро угонять начнут на работу. Не знаю... Я вот тоже не успел, думал через год в военное училище поступать, и батька советовал. А теперь не знаю.

— Отца хорошо проводили? — спросил Брюханов и тут же встретился с мгновенным, в упор, взглядом Ивана.

— Хорошо,— сказал он,— как всех, так и его. Проводили, а теперь неизвестно, жив ли, нет... Пододвигайтесь, мать и сольцы не забыла.

Широким и длинным складным ножом он резал хлеб и сало; это были уже руки мужчины, неторопливые, знающие свою силу.

— Мне-то что, подамся куда-нибудь в лес,— сказал Иван, хмурясь и двигая казавшимися резкими на лице бровями.— Мать за Аленку боится, девке семнадцать сровнялось в феврале. Один немец как-то уж гонялся,

в конопли успела стрекануть, два дня там сидела, пока эта часть из села не выкатилась. Я этого немца караулил у Настасьи Плющихиной избы, за углом в вишняке сидел, так, гад, и не вышел ни разу за всю ночь. А днем как ты его возьмешь, много их, и с оружием все.

— В этом деле осторожнее надо быть,— невольно вырвалось у Брюханова, и он, чтобы несколько сгладить свою горячность, добавил: — Молодым беречься надо. С этого дня ты, Ваня, считай себя на важнейшей службе, важнее этой службы для советской власти сейчас ничего нет В Густищах будешь нашими ушами и глазами, о сестренке тоже подумаем. Только чтобы ни один человек в мыслях не смог предположить. Понял?

— Понимаю,— выждав, не последует ли еще приказов, сказал Иван.— Что вы так глядите?

— Друзьями мы были с твоим отцом, Ваня, черт знает как ты на него похож. Ну ладно, давай есть.

Старое, вкусное сало с хорошим чесночным духом с хлебом и картошкой было еще вкуснее; плотно закусив, Иван достал из сумки литровую помятую кружку и сходил в лог, к роднику, известному в Густищах каждому мальчишке. Брюханов пил прозрачную, холодную до ломоты в зубах воду с легким привкусом мела и думал, что вот ведь даже этот шестнадцатилетний паренек приспособлен к жизни больше него — и про кружку не забыл, и сало принес.

— Колька с Егором у нас еще мальцы, за них бояться нечего,— сказал Иван, видимо чувствуя к Брюханову полное доверие.— А вот Аленка красивая девка, мать говорит, хоть бы кто подвернулся, замуж сразу бы отдала. Она ее, как на улицу идти, сажей каждый раз мазать заставляет...

Едва Брюханов, оставив Ивана в условленном месте, перебрался, раздевшись донага, через речку, попутно и поплескавшись в пронзительно холодной воде, в голове у него все четко и ясно определилось. До глухой юго-восточной окраины Зежска он добрался быстро, вскарабкался по заросшему бурьяном в человеческий рост обрыву и оказался на огородах, разделенных заборами, а то и просто рядами деревьев; Брюханову сейчас пригодилось знание родного городка, всех его дыр и проходных дворов, и он, стараясь двигаться бесшумно, пробрался садами к самому началу улицы Пресненской,

где стоял домик Савельева. Теперь нужно было только перескочить неширокую улицу, пройти один квартал огородами. Он еще и еще раз взвесил свое решение справиться с делом в одиночку и на явку к обрусевшему латышу Яну Клаузену, часовых дел мастеру, обратиться лишь в случае крайней нужды. На какое-то время он заколебался, но тотчас подумал, что дело слишком важное и выполнить его, если это было вообще возможно, мог он один. Он переложил пистолет в боковой карман пиджака и двинулся дальше; стояла тишина, и только где-то в центре городка рычали машины, можно было подумать, что никакой войны вообще нет и никогда не было, но именно это обманчивое ощущение тишины еще больше настораживало; когда он наконец достиг домика Савельева, он весь взмок. В доме могли оказаться и немцы, могло вообще никого не быть; Брюханов обошел дверь, стараясь держаться ближе к забору, выглянул на улицу, и его опять поразило совершеннейшее безлюдье, нигде ни огонька, город словно вымер, только в центре по-прежнему захлебывался мотор какой-то буксовавшей машины. Брюханов постучал в окно со двора; каким-то шестым чувством он ощутил, что дом обитаем, он уловил начавшееся за стеной движение и стукнул еще раз, увидел расплывчатое пятно лица за стеклом, тотчас окно распахнулось.

— Тихон Иванович, боже ты мой,— услышал он испуганный шепот.— Что ж ты стоишь, полезай в окно, у нас никого нет, я да дети. Скорее, скорее...

Брюханов, оглянувшись, нырнул в окно и оказался в просторной кухне.

— Здравствуйте, Дарья Максимовна,— сказал он тихо.— У меня мало времени, надо успеть вернуться затемно, ну, ну, успокойся, держаться надо.

— Где тут успокоиться, я уж думала, моего принесло. Все занемело. Что ж это такое, Тихон Иванович! — Дарья Максимовна тихо заплакала, села.

— Не надо, слезы нам сейчас не подспорье.— Брюханов подошел, притронулся к ее плечу.— Дарья Максимовна, я всегда уважал тебя за мужество, соберись с духом, об Андрее что знаешь?

— Долго рассказывать, Тихон Иванович, не успели проскочить, машину бомбой перевернуло у Глухого хутора, пошли было пешком, а там немцы. Пришлось возвращаться. Андрей как нас погрузил да отправил, так и сам исчез, не знаю, где и что с ним. Одно велел

запомнить, как расставались. Если, говорит, не так что будет, не проскочите, обязательно добирайся с ребятами до Демьяновского кордона, до Власа-лесника. А там он место определит.

— Демьяновского? — переспросил Брюханов.— Знаю Власа. Спасибо, Дарья Максимовна. Больше ничего?

— Ничего. Страшно, Тихон Иванович,— призналась она.— Не за себя, за ребят страшно. Меня уже с ними в тюрьму брали, три дня держали, ни воды, ни хлеба. Выпустили на четвертые сутки, да вот с тех пор поседела вся, жду. Неспроста выпустили.

— Ты что им говорила?

— Об Андрее допытывались. А что я могу сказать? Ничего ведь не слышно об Андрее, как в воду канул.

— Дарья Максимовна, что в городе?

— Боже мой, даже не верится, что это вы. Тут в городе сейчас какой-то Макашин орудует, из Густищ, говорят. Начальник немецкий теперь, он меня и сажал. Высокий такой, русый, глаза у него шальные. Ох, и орал на меня, думала, что конец пришел. Как это, говорит, не знаешь, где собственный муж находится? Моторный завод, это, говорит, без него не обошлось. А я сама-то об этом от ребят узнала, те услышали. Соседи сейчас не очень-то...— Дарья Максимовна помолчала.— Из наших, из коммунистов, двое еще не успели выбраться, Анисимов из райпотребсоюза, Девяткин — учитель. Тот старик совсем, восемьдесят лет в прошлом году отмечали. Сидят, никуда не показываются. Вроде их тоже пока не тронули. Да, слушай, Тихон Иванович, три дня тому назад у меня тут еще один был, об Андрее допытывался. Молодой такой. Стемнело уже, я-то в коридор за картошкой вышла, а он стоит, шкафчик там у нас старый. Как он туда попал, ума не приложу...

— Знаю, Дарья Максимовна, свой это был, ты уж не сердись.

Брюханов, слушая, уже составлял план дальнейших действий; фамилия «Макашин» вначале как-то проскочила мимо его внимания, но он через минуту, точно споткнувшись обо что-то, вернулся к ней, вспомнил и Захара Дерюгина, и Макашина, и всю эту давнюю историю. Прошлое, оказывается, возвращается, никто ни от чего не застрахован.

— Дай напиться,— попросил он хозяйку.— Жарко, пока добрался, горло пересохло.

Вода была степлившаяся, но Брюханов жадно выпил всю кружку, осторожно, чтобы не стукнуть, поставил ее на плиту рядом.

— Я сейчас уйду, Дарья Максимовна,— сказал он,— мне дольше нельзя. Вот тебе мой совет: как говорил Андрей, вместе с детьми добирайся до лесника в Демьяновке. Огородами в луга, через речку, а там и лес рядом. Торопись, сдается мне, нечисто здесь со стороны этого Макашина. Помочь тебе ничем не могу сейчас, сама понимаешь. Уводи детей, Макашин — зверь хитрый, не отстанет. Обещаешь?

Дарья Максимовна молча простилась; чувствуя ее страх и смятение, он слегка обнял ее вздрагивающие плечи, легонько прижал к себе, потом тем же порядком, через окно, выбрался во двор. В темноте он не мог увидеть, который час, а спичку засветить боялся; нужно было уходить из затаившегося, задавленного тишиной города, и уходить немедленно. Теперь в руках у него была нить, и он не имел права рисковать; он бесшумно двигался, а чувство тревоги нарастало, оно словно разливалось вокруг. Перед тем как перескочить улицу, он постоял у высокого дощатого забора, стараясь понять, откуда это гнетущее ощущение опасности, ведь все шло пока хорошо, и даже больше чем хорошо. «Вот что,— сказал он,— собак совсем не слышно, их в Зежске было видимо-невидимо, в каждом дворе держали, вот в чем причина. Немцы их, что ли, перестреляли? Рано нервы сдают,— сказал он себе,— нехорошо это — бояться пустоты».

Оклик «Стой!» застиг его на середине улицы; он лишь на мгновение застыл и тут же бросился к низкому забору, перемахнул через него; хлопнул выстрел, другой, и словно в один миг весь город ожил. «Значит, все-таки следили за домом Савельева»,— подумал он, торопливо отползая от забора в бузину; подождав немного, он стал перебегать от дерева к дереву, нужно было торопиться, квартал могли оцепить. Уже приближаясь к другой улице, к окраине, он услышал тяжелый топот ног. Не раздумывая, он тотчас метнулся в обратную сторону, пересек какой-то двор, улицу; ну это мы еще посмотрим, кто кого; одно страшно, лесник никому, кроме него, не поверит, не укажет тайники и базы. Рисковать собой он не имеет права; тем более если

Савельев погиб; Брюханов впервые так ясно почувствовал, что не принадлежит себе. Необходимо продумать малейший шанс, здравый смысл подсказывал, что надо укрыться где-нибудь и переждать тревогу; он перебрал знакомых, живших поблизости, и не вспомнил ни одного подходящего. Наверняка немцы перетряхнут весь городок, а почему, собственно, перетряхнут? Ведь не знают же, не могут знать, что это именно он, Брюханов, мало ли разных бродяг шатается теперь по ночам, все еще может и обойтись. Он затаился в зарослях малины; от улицы его отделял низкий частокол и несколько метров земли, сплошь заросшей малиной и смородиной (он хорошо чувствовал ее терпкий, резкий запах). Еще издали он услышал приближающиеся голоса, человека три-четыре шли, переругиваясь, время от времени подсвечивая карманными фонариками.

— Черт, чего уж из-за пустяка шум поднимать,— раздался густой, с хрипотцой голос.— Может, кто к бабе лазил. За каждым не нагоняешься, да и как ты его ночью найдешь, зелень все забила кругом. Как кот, присел где-нибудь, затаился, а то небось давно уже в постели похрапывает, а ты ходи тут, вынюхивай.

— Наше начальство умеет подзапустить ежа под кость,— ответил второй с веселой издевкой в голосе.— Будешь теперь ночь на обрывах торчать.

— Будешь, куда деться. Говорят, немцев роту подняли, у тех разговор короток: пуля в затылок — лежи. У меня бутылка была припрятана, спросонья забыл и захватить.

Голоса удалялись: Брюханов вдруг вспомнил, что через два дома всего живет Анисимов, но тут же отказался от своей мысли: искать убежища у коммуниста, о котором Макашин несомненно знает, безрассудство, хотя, с другой стороны, может, именно к нему и не сунутся; иногда нужно поступать от противного, именно дерзость и может помочь. До явки, в другом конце города, ему ни за что не добраться, раз уже вспыхнула тревога.

По улице прошла группа немцев строем: Брюханов понял это по негромкой команде и дружному гулу сапог; встревоженный город никак не утихомиривался; прострекотал мотоцикл по булыжнику мостовой, проползла тяжелая машина. Мелькнувшая случайно мысль об Анисимове крепла; именно так и необходимо поступить, сомнение охватило Брюханова лишь в момент,

когда он уже стоял перед Анисимовым и тот, преодолев первые минуты растерянности и страха, зажег лампу и все косился на завешенное непроницаемой шторой окно. При тусклом свете Брюханов видел бледное лицо хозяина и его вздрагивающие губы.

— Меня ищут по всему городу, Родион,— сказал он, не упуская ни малейшего движения Анисимова.— Можешь дать мне приют до следующей ночи? Сейчас из города засветло невозможно выбраться. Понимаю, у тебя и у самого положение незавидное... прямо говори.

— Тихон Иванович... Нет, невероятно... вы здесь! Черт знает что такое! Вы — здесь. О чем тут говорить! — Анисимов потер переносицу, через силу выдавил из себя улыбку и, еще затенив лампу, оставив еле заметный язычок огня, вышел в соседнюю комнату, предупредить жену, и почти сразу вернулся.

— Я знал, Родион, что ты на месте,— сказал Брюханов, подчеркивая иной, скрытый смысл своих слов.

— Не успел уйти, Тихон Иванович,— Анисимов как-то виновато, беспомощно моргнул.— Секрета тут нет, все знают: меня, как назло, перед самым приходом немцев скрутило, ногой двинуть не мог, радикулит проклятый. На каких только курортах ни лечился, на щите лежал, ничего не помогло. Да, было время, лечились, ездили на курорты. Что же это такое, Тихон Иванович? — Анисимов кивнул в сторону занавешенного окна, страдальчески сморщился.— И сейчас еще еле хожу, ногу тянет, у меня и справки есть. Блокаду пришлось делать, сам бы не поднялся...

— Решай, не до справок сейчас.— Отмечая излишнюю суетливость движений Анисимова и невольно испытывая к нему острую враждебность, Брюханов ругал себя за необдуманный поступок.

— О чем вы, Тихон Иванович? Решать мне нечего, там, в Питере, раз и навсегда решили, когда на штыки напролом шли,— со злом отозвался Анисимов.— В подвале под домом тайник, там и с собаками никто не найдет, возьмем одеяло, на ящиках как-нибудь устроитесь. Обернулись дела нехорошо, припрятал там коекакие запасы.— Анисимов прислушался.— Пора, не будем терять времени, Тихон Иванович, накрыть могут, нагрянут с обыском. А там вы будете в совершенной безопасности.

— В городе я не один, Родион, и где я сейчас, тоже известно. Смотри, Родион, если что, я к тебе мертвый приду.

— О чем вы, Тихон Иванович! — с досадой отозвался Анисимов.— Меня просто ошеломила неожиданность, вы посреди этого хаоса...

— Ладно, идем.

Вернувшись в затемненную комнату минут через десять, Анисимов тяжело опустился на стул, ему хотелось выпить, но он не мог сейчас двинуться с места, сидел, закрыв глаза, и только появление жены словно пробудило его. Он достал из шкафчика бутылку, налил чуть ли не целый стакан и, отмечая его успокаивающую тяжесть, быстро выпил, не закусывая и не хмелея.

— Родион,— спросила Елизавета Андреевна,— в самом деле Брюханов?

— Черт его принес на мою голову...

— Родион, помнишь наш последний разговор?

— Разве я не понимаю, Лиза,— понизил голос Анисимов.— Не считай меня идиотом. Невыносимо, Лиза, он еще и сегодня командует, пообещал прийти ко мне мертвым, в случае чего... врет, врет, *оттуда* уже никто не приходит.— Возбуждаясь, Анисимов быстро мерил комнату из угла в угол.—Властители, кругом властители! Сколько их было до нас и сколько будет? Непостижимо! И этот, наполеончик со своим игрушечным топориком! Все туда же, туда же.—Наслаждаясь своей откровенностью, возможностью высказаться, Анисимов зло встряхивал головой, словно находился на трибуне, под тысячами взглядов, как когда-то во взвихренном, пронизанном февральскими ветрами Петрограде.

— Родион, ты опять!

— Ненавижу, ненавижу, всех бы их в порошок!

— Что ты хочешь делать, Родион,— испугалась она,— опомнись, последнюю грань безнаказанно перешагнуть никому не дано...

— Что ты всполошилась, ладно, ладно,— вяло, уже без прежнего подъема согласился Анисимов.— Дай мне хоть выговориться, нельзя же все время одному. Уйдет целым и невредимым, ни один волос с его драгоценного черепа не упадет. За него бы дорого заплатили, только у меня свои расценки. Кто мог бы подумать, что у меня под полом запрятан золотой гусь. Чистейшей пробы. Попомните вы еще Родиона Анисимова, зря вы им пренебрегали. И потом, если уж я обещал... Об одном

тебя прошу: не мешай. Я и сам люблю крупные ставки, от них кровь быстрее в жилах бежит.

— Хорошо, Родион, я рада, что сама судьба ринулась нам на помощь, смотри, такой час не повторяется.— Елизавета Андреевна притронулась ладонями к своим впалым щекам, как-то издалека глядя на оживленного, в сильном волнении мужа.— На последнем круге тебе всегда везло.

— Не отрицаю, повезло.— Анисимов засмеялся коротко и неприятно.— И еще повезет, неправда, что везет дураку, в этой жизни везет только умному. Я оставлю этого золотого тельца для будущего, он слишком дорог для обыденного употребления. Эта пища для крайней минуты, когда ничего другого уже не осталось. Как ты умеешь смотреть! Сколько лет прожили с тобой, не привыкну.

— Не до шуток мне сейчас.— Елизавета Андреевна поморщилась, хотела сказать что-то еще, но Анисимов, возбужденный и помолодевший, прервал ее, прищелкивая пальцами.

— Шутки? Нет, нет, Лиза, тем более это уже не игра! Точный расчет, точный, заметь себе, и предвидение, основанное на этом расчете. Только так можно жить, обходя пропасти...

— Кажется, раньше ты говорил: не обходить пропасти, а заполнять их? Опять стреляют.— Елизавета Андреевна прикрутила фитиль в лампе, и беспокойные, резкие тени на стенах померкли.— Сегодня всю ночь напролет стреляют.

— Чутье ищеек!— Анисимов опять сухо пощелкал пальцами.— Пусть их... Лакомый зверь завалился в берлогу. Каждому хочется свой кусочек распробовать... но дураки давно перевелись! Им сегодня ничего не достанется.

— Смотри, Родион, прошу тебя, держи себя осмотрительней, ты, когда надо, все умеешь,— испугалась Елизавета Андреевна.— Сердце сегодня у меня не на месте, что ты задумал?

Анисимов отрешенно посмотрел на нее, нехорошо, одними губами улыбаясь; в голове у него рождались идеи, планы, один лучше другого; удача совершенно преобразила его, во всем облике проступила энергичность, снисходительность и даже прежняя значительность.

— Ну нет, Лиза, теперь уж мы с тобой не пропадем.

Через все огни пройдем, а жить будем, иссобачились, в том и спасение. Не бойся, не считай меня дураком, уж я наше не упущу.

— Душно, пойду прилягу, помни, Родион, я все равно не усну.

Елизавета Андреевна от двери пристально и долго смотрела на мужа, потом быстро подошла, поцеловала; он рассеянно кивнул, не замечая этого, как вообще последнее время не замечал многого вокруг. «И что удивительно, других он не берет во внимание — понятно, они не знают его таким, не знают его нутра, а вот со мной иначе. Как он тогда испугался, что я уйду от него и останется полнейшее одиночество,— неожиданно подумала она.— Конечно, он и теперь вывернется, когда-то он был сильной личностью, если бы не привык к потаенной жизни, мог бы давно совершить что-то доброе, необходимое людям». Она прилегла на кровать прямо в халате, поджав под себя ноги, она не могла спать; ощущение, что человек, которого она глубоко уважала и перед которым когда-то преклонялась, нуждается сейчас в ее поддержке, несколько успокаивало, наполняло ее жизнь новым смыслом. И ее жизнь могла быть иной, если бы такой человек, как Дерюгин, оказался с нею рядом. Нравилась же она когда-то ему, Захар, чувствуя за ней силу знаний, восхищался, тянулся к ней. И он ушел на фронт, как миллионы других честных людей, и воюет. Она не верила немцам, они не могли определить окончательно, быть или не быть советской власти; это убеждение Елизаветы Андреевны основывалось на каком-то внутреннем чутье; народ, в массе своей приобщившийся к знаниям и свободе, нельзя было обратить вспять. А появление Брюханова лишь укрепило ее в этой мысли, и она не спала, чутко прислушиваясь к малейшему шороху, а когда утром к мужу пришел Макашин, она все не хотела оставить их одних и, только убедившись, что этот неожиданный приход непосредственно не связан с появлением Брюханова, ушла к себе в комнату и взялась за вязание, но тут же опустила спицы, сидела, опершись на ручки кресла, бледная и решительная. И Макашин почувствовал что-то необычное в ее поведении и, едва за ней закрылась дверь, вопросительно взглянул на Анисимова.

— Хворает, что ли, хозяйка-то? — спросил он, потирая ладонью подбородок: его лицо после бессонной ночи припухло, и Анисимов, сразу же, как только увидел

Макашина, отметил это, повеселел, еще больше весь как-то подтянулся.

— Нервничает,— откровенно признался он.— Ночью стреляли, боится. Женщина есть женщина, сколько ты ее ни убеждай, у нее своя натура. Да и ты, я вижу, пообтрепался, глаза провалились.

— Налей водки, коли есть,— попросил Макашин и, выпив полстакана, не притронувшись к закуске, закурил.— Весь город перетряхнули — ничего. Может, часовому померещилось, собаку за человека принял, а комендант из себя выходит, злится, хоть кровь горлом, потребовал сегодня списки партийцев и прочих советчиков. Я к тебе по этому делу, Родион Густавович. Да чего ты сегодня веселый такой?

Анисимов отвел глаза и, сгоняя с лица действительно неуместную сейчас улыбку, но оставаясь внутренне все в том же радостном, приподнятом настроении, зашагал по комнате.

— Видит бог, Федор, не хотел я в таком деле изваляться, как свинья в грязи...

— Ладно, перед богом мы все равны, все не без пятнышка, ты лучше о себе подумай, я тоже не всесилен, есть и повыше меня. Как-никак, а тебя здесь все знают за активиста, партийца, попробуй докажи ей, новой власти. Слышно, скоро какая-то особая их команда заявится, тоже вроде их партийцы. Эс-эс по прозванию, те уж порядок свой наведут, нам упредить их надо. С тобой все на себя беру, вывернусь, давай не тяни...

Анисимов, оглянувшись на дверь в комнату жены, шагнул к Макашину, достал из кармана аккуратно сложенные вчетверо листки, исписанные мелким бисерным почерком.

— Вот, Федор, здесь всё, кого я мог вспомнить. Я и себя сюда вписал, посмотри.

— Ну, это ни к чему, тебя я выкину.— Макашин развернул листки, внимательно просмотрел список, затем достал огрызок химического карандаша и, послюнявив его, густо вычеркнул фамилию Анисимова, неодобрительно посмотрев на испорченную бумагу.— Отдам переписать. Рука у тебя — сам поп не разберет.

— Ты эту бумажку, как перепишешь, вернул бы мне, Федор...

— Я сам ее из рук не выпущу, с моих слов писарь перенесет. Спалю тут же, мне тебя терять расчету нет.

— Спасибо, Федор, вижу, мы с тобой друг друга понимаем. Это хорошо.

— Так, значит, семьдесят шесть, говоришь... Никого из них в городе нет. Ну, этого Савельева мы, пожалуй, раз баба с ребятами здесь, возьмем, а от остальных какой прок?

— Ты просил, я сделал,— Анисимов пожал плечами; он решил, что пора показать Макашину свое волнение.— Чего же ты от меня еще хочешь? Вполне естественно, что от немцев им ждать нечего было, кроме веревки на шею. Кое у кого только семьи и остались.

— Изругает меня комендант, зараза. Такой сухостойный, а голова злая, все вмиг видит.

— Обойдется, похитрее себя держи,— посоветовал Анисимов.— Ты, Федор, лучше скажи, какие там новости насчет фронта, сижу ведь, как мышь в норе.

— Не знаю, говорят, Москву скоро возьмут, вроде бы Сталин мир запросил, согласен Украину отдать по Днепр. А Гитлер вроде до Урала хочет.

— Интересно, почему не до Байкала? Такое чудесное море! У него губа не дура.— Анисимов засмеялся.— Только ведь и до Урала путь не близок, реки всякие, лес.

— Не пойму я тебя, Родион Густавович,— Макашин посмотрел на бутылку, но пить больше не стал, тяжело поднялся.— Пойду, спасибо за хлеб-соль, хозяин.

— Знай, Федор, в этом доме тебе всегда рады,— дружелюбно кивнул ему вслед Анисимов, но ожегшая сердце неожиданная мысль заставила его остановить Макашина; тот недовольно оглянулся.

— Постой, Федор, дело есть первой важности.— Он понизил голос: — Выйдем лучше, боюсь, жена как-нибудь услышит.

Они вышли в коридор; Анисимов закрыл за собою дверь, придавил ее спиной.

— У меня сегодня, Федор, встреча одна на Стрелецком пустыре назначена,— сказал он торопливым шепотом.— Может, это и провокация, если бы ты не пришел, я бы сам к тебе забрел. Какой-то малец сунул на ходу записку, я его и рассмотреть не успел. От имени райкома приказано быть на пустыре в два часа ночи, а записку тут же сжечь. Я, грешным делом, подумал, не ты ли проверяешь?— Анисимов пытливо заглянул в лицо Макашину.

— Сжег бумажку-то? — спросил Макашин простецки, и Анисимов почувствовал в его словах скрытую издевку.

— Что ж, мне беречь ее? Я не дурак. Послушай, Федор, может, не ходить?

Макашин достал из внутреннего кармана пиджака браунинг, подбросил на ладони и протянул Анисимову; тот сдержанно взял, помедлил, сунул в карман.

— Патроны другой раз занесу, или сам заскочишь.

— Спасибо, Федор... да ты смотри, если получится, обоих хватай, понимаешь, чтобы на меня подозрения не упало.

— Понимаю.

— Хорошо немцам нос утрешь в этом деле. Я после полуночи двинусь, не спугни, своим олухам растолкуй как следует.

В коридор сквозь узкое, густо запыленное окно косо пробивалось солнце, и глаза Анисимова диковато посвечивали; пряча усмешку, Макашин пытался понять, чего тот добивается; и Анисимов с присущей ему чуткостью насторожился.

— Не такой ты человек, Родион, чтобы зря стараться, — сказал Макашин. — Я в лужу плюхнуться тоже не очень-то тороплюсь. Говори начистоту, и по рукам — так уж и быть.

— Непонятно? — зло засмеялся Анисимов. — Ты их ненавидишь, а я, по-твоему, безмолвная овца, куда гонит пастух, туда и плетусь? Мне двадцать лет под их дудку плясать приходилось, они мною, как хотели, вертели, я у них за комнатного песика был, могу же я позволить себе усладу, хоть какое-то развлечение за двадцать-то лет? Да, могу! — Анисимов повысил голос, но тотчас опомнился. — Вот тебе и все, Федор, хочешь — верь, хочешь — нет, как хочешь.

— Когда б ты знал, кого будем брать, другое дело, — заметил Макашин, — а если не знаешь, какая ж тут сладость?

— Сладость есть, Федор, — Анисимов смотрел на Макашина с неприязненным веселым ожесточением. — Все они одинаковы, а вдруг и знакомый попадется? Вот что, Федор, последнее слово: будет дело?

— Будет, будет, Густавович, у меня характер отходчивый, хорошую потеху люблю, — Макашин весело потер руки. — Значит, после полуночи на Стрелецкой пустоши?

— Можно и пораньше на всякий случай.

— Сам буду, смотри не спутай, да если что, бросайся наземь, я уж к тебе на этом свете привык, жалко будет.

Они распрощались, Анисимов проводил Макашина до двери с сильно бьющимся сердцем и разгоревшимися щеками и, прежде чем пройти к жене, решил немного остыть; он закурил и, чувствуя мертвую усталость, присел к столу. «А ведь, кажется, поверил»,— думал он, и картины, одна заманчивее другой, замелькали, надвигаясь на него словно из какого-то марева; ему стало душно, и он рванул ворот, освобождаясь. Предстояли мучительные часы; он сейчас словно состоял из двух разных половин, тянувших резко в противоположные стороны; мучило желание хоть один раз освободиться полностью, сбросить ненавистную личину и дать полную волю душе, насладиться беспредельной свободой, не думая о последствиях. Сколько можно жрать мертвечину; какой-то серый туман плыл перед глазами. Лицо Брюханова с остановившимися, тяжелыми глазами прорвалось к нему.

— Вам мат, капитан Бурганов!— Волосатые, почему-то голые до плеч руки Брюханова медленно и неотвратимо тянулись к его, Анисимова, горлу; выхватив из кармана пистолет, не сдерживая себя, Анисимов изо всей силы ударил рукояткой пистолета по локтям Брюханову раз, другой.

— Застрелю, как собаку.— Анисимов ошалело, с коротким глухим стоном вскочил, озираясь; он был один в комнате. «Что же это такое»,— подумал он испуганно; ему невольно представилось, теперь уже не во сне, как он поведет Брюханова по улицам города в полицию, упираясь дулом револьвера в его ребра, ощущая через холодный металл ответную волну страха и ненависти. Он не верил в бесстрашие перед смертью, все это выдумки, басни, Брюханов из того же теста, что и все. Но прежде чем вести и отдать в чужие руки, он посадит его перед собой. «Вот теперь давай поговорим, Брюханов, с глазу на глаз,— скажет он,— поговорим о совести, о России, о войне, посчитаем долги. Много лет ждал я такой минуты — потолковать на равных, ты на револьвер не гляди, это я тебе всего лишь недоимку возвращаю. Хорошо, хорошо, у тебя, разумеется, руки были свободны в прежних разговорах со мною, но что от этого менялось? Ты мог приказывать, требовать, уни-

жать, тебе ничего не стоило любого, вроде меня, раздавить мимоходом, не глядя. Что, несладко? А-а, вон у тебя благородный-то лоб взмок! Страшно, Брюханов, знать, что уже ничего больше не будет!»

Распаляясь воображением, Анисимов с трудом преодолевал в себе слабость и, боясь опять задремать от этой неожиданной слабости, встал, торопливо забегал из угла в угол, взглянул на часы, спохватился, прошел к жене.

— Понимаешь, Лизанька, Гитлер себе территорию по Урал требует, вот это аппетит,— потирая руки, сказал он.— Сидит где-то человечек, требует себе территорию в три Европы, а миллионы бьются насмерть, гниют по обочинам дорог, и сколько их было, разных завоевателей? Удивительно, удивительно, как все повторяется! Я ничего не понимаю... Говорят, в леса невозможно сунуться, кишат партизанами. Какой-то парадокс, ведь эти колхозы и пятилетки должны были сработать иначе. А выходит, совершенно наоборот. Ну ничего, ничего, поглядим. Я думаю... Тебе опять нехорошо, Лизанька?— неожиданно спросил он, останавливаясь перед нею.— Не тужи, мы их всех проведем, вся мудрость в том, чтобы не хватать слишком много, нельзя давать людям повода к зависти. Вот мы с тобой сидим в тихом дворе, а ты чувствуешь, какие бушуют вокруг волны? Хорошо, хорошо, Лиза, молчу, ты была права, впрочем, как и всегда. Вот что, надо покормить нашего гостя, постарайся, пожалуйста. Вот такую власть я люблю, Лиза, здесь я в своей стихии.

Елизавета Андреевна устало прикрыла глаза, ее утомляли и раздражали эти бесконечные разглагольствования.

— Родион, опять ты за свое,— остановила она его,— опять как улитка, не надоело тебе панцирь на себе таскать?

— Какой панцирь?— переспросил он, багровея.— Какой, какой еще к черту панцирь?

— Улитку не знаешь? Она только в сырость рожки выставляет... У тебя время от времени точно так же.

— А ты все воспитываешь, все переделать меня стараешься,— сразу успокоился Анисимов.— Прости, Лиза, зря ты сердишься. Я же обещал тебе и все выполню, а женщина, даже самая умная... Не надо меня переделывать, я сам справлюсь, времени немного дай...

Елизавета Андреевна хотела сказать, что ей надоело постоянное фиглярничание, игра в театр перед един-

ственным безгласным зрителем, но пожалела его, поправила волосы и ушла на кухню; Анисимов тотчас переменился, застыл; перед ним опять было лицо Брюханова, оно словно пробивалось откуда-то изнутри его самого, и задавленная мука опять безжалостно подступила к сердцу.

11

Вторую половину июля да и почти весь август и начало сентября ветер в основном тянул с юго-востока, знойный, сухой степняк, он начинался к обеду и затихал к вечеру; а по ночам часто нагоняло шумные, правда недолгие, грозы... Уже в июле стало видно, что урожай будет хорош и обилен, яблоки обламывали ветки, помидоры густой краснотой усыпали кусты, а в августе перестоявшая пшеница начинала ложиться пышно взбитой периной; природа словно накидывала людям сверх обычной меры в тяжкий год лихолетья и страданий, но они все равно не могли осилить ее напрасный дар; яблоки осыпались, помидоры и арбузы расклевывались дикой птицей, полегшая пшеница после первых же дождей прорастала в колосьях, и появилось много одичавших, бездомных собак.

Брюханов понимал, что на огромных пространствах земли сходились и бились насмерть многочисленные армии, но он также понимал, что каждый сталкивается с чем-то определенным и не может судить с равной глубиной обо всем на свете; не забыв свою прежнюю работу с довольно крупным размахом, Брюханов и сейчас уже ощущал в себе потребность уловить и осмыслить общее; из единичных фактов вывести широкое заключение; вначале он пытался нарисовать себе дальнейший общий план жизни и работы, прикидывал, сколько можно будет организовать уже с этой осени партизанских отрядов, как их лучше расположить и какие наилучшие формы руководства ими принять; он знал, что его умозаключения могут не сойтись с жизнью и даже быть опровергнутыми ею, и все-таки продолжал прикидывать; затем он стал думать уже непосредственно о себе и о своем положении, об Анисимове; в середине дня тот принес ему поесть горячей картошки в кастрюле и большой кусок окорока, Брюханов жадно накинулся на еду; в слабом полумраке горевшей свечи,

прилепленной к одному из ящиков у стены, их лица казались одинаково землистыми.

— Тихон Иванович,— сказал Анисимов, опускаясь на корточки,— я вынужден кое о чем сообщить вам и просить указаний. Сегодня утром у меня был начальник полиции Макашин, он уже давно вокруг петляет, чувствую, не верит он моим объяснениям. Я еще до вас твердо решил уходить, Лизу жалко, но в конце концов есть высшая мера. Я с ней говорил, мы уже все подготовили. А сегодня он сразу за горло — составить список зежских коммунистов. Решил с вами посоветоваться.

Натягивая на плечи одеяло, Брюханов молчал.

— Дело очень щекотливое, Тихон Иванович, если бы не вы, я бы попытался сегодня с Лизой скрыться. А теперь не знаю, что и делать. Ну что я ему мог сказать, пришлось принимать решение на ходу. Обещал завтра к вечеру сделать, в случае отказа всякое могло случиться. Может, Тихон Иванович, нам вместе в ночь?— спросил Анисимов, не отводя темных, встревоженных глаз.— Иного выхода я не вижу.

— Погоди-ка, погоди,— нахмурился Брюханов.— В таком деле горячку пороть нечего. Время у нас есть, рассказывай подробно.

Анисимов ничем не выдал того обвала, что рухнул внутри у него, не говоря ни слова, он даже сумел дать понять, что обижен незаслуженным недоверием, но в то же время знает, что иначе и нельзя; тотчас, как всегда в минуты смертельной опасности, в нем сработал некий таинственный предохранитель, уже не раз выручавший его; внутренне он совершенно преобразился и был мгновенно готов к иной, влекуще-пугающей неизвестной борьбе и жизни, он тотчас учел, что именно с Брюхановым нужно быть как можно ближе к истине и что именно сейчас, если это удастся, он, быть может, одержит самую блистательную свою победу. Он искренне хотел этого, и потому рассказ о Макашине, еще с самого момента раскулачивания и затем его побега и случая с Захаром Дерюгиным, Брюханов выслушал без всякой настороженности; в меру волнуясь, Анисимов подробно пересказал о первом приходе Макашина, как тот хотел его арестовать и уже арестовал, что помогла все та же болезнь и что его пришлось бы в то время уносить на носилках, а потом в намерениях новых властей что-то изменилось, и в результате — это неожиданное предложение составить список коммунистов.

— Вот теперь, Тихон Иванович, и войдите в мое положение,— напряженно кашлянул Анисимов; все было правдоподобно и даже слишком, и, слушая, Брюханов испытывал двоякое чувство. С одной стороны, все вроде бы объяснялось достаточно убедительно, с другой же — его не оставляло сомнение, что Анисимов говорит не все и многое, возможно, самое важное, опускает, а выяснить, так ли это было, нельзя. «Ну что ж, и мы не дураки,— подумал Брюханов,— посмотрим, куда дело повернет». В том, что он наткнулся на Анисимова, он плохого не видел, да и выхода иного у него не было, а раз все так удачно складывается, отчего не воспользоваться?

— Вот что, Родион,— сказал Брюханов медленно.— Я думаю, ты все-таки список составь. Только смотри, чтобы из названных никого не было в городе... В конце концов, ты не паспортный стол, всех знать не обязан. Савельев — другой табак; его назови.

— Понятно, Тихон Иванович, грязное дело, но выбирать пока не из чего...

— Грязное? Не думаю. Меня сейчас больше занимает, готов ли ты. Ты уверен, что выдержишь такую игру, Родион?

— Уверен, Тихон Иванович, что же, вы меня первую минуту знаете?— быстро и горячо отозвался Анисимов.— Сколько лет вместе работали. Я понимаю, понимаю, черт бы побрал этот приступ, а потом... Честно сознаюсь, пал духом, ну, думаю, буду сидеть, кто больного тронет. Ну, а тронут, как все, так и я. За вас перепугался, конечно же...

— Хорошо, Родион... мне поспать немного надо перед ночью, а то сижу, как сыч, правда, в темноте ничего не вижу. Еще один вопрос: считаешь, что они тебе безоговорочно поверят? Тем более если окажется, что никого из названных тобою нет в городе.

— Это уж не наша с вами забота. Должны же они понимать, Тихон Иванович, кто из коммунистов будет сидеть и ждать, пока их к стенке поставят? Каждому понятно.

«Понятно или нет, посмотрим»,— подумалось Брюханову, но он ничего не сказал и, оставшись один, погасил догоревшую свечу: с закрытым лазом в тайнике и без того было душно. Именно сейчас он не имел права никому верить безоговорочно и потому вновь и вновь возвращался назад, перебирая свою жизнь, вдумываясь

в отношения с Захаром Дерюгиным, вспоминал слова Захара об Анисимове; что ж, не только Анисимов, он сам не мог вынести характера Захара, так что тут ничего предосудительного, вот как и когда он успел запасти эту гору продуктов? Разумеется, можно поверить и тому, что он хотел все это увезти с собой, машину он мог, будучи заведующим райпотребсоюзом, и оставить лично для себя, но опять-таки чести в этом мало. И такое объяснение: война войной, а кто из нас думал, что немец до Холмска дойдет? Он и запасался, мужик дошлый, продукты в собственной власти. В конце концов сейчас не то время, каждый человек дорог, лишь бы служил главному делу. Почему бы не поверить Анисимову? Или у него, как говорила мать, уже в характере недоверие к людям? Странно, почему он вспомнил именно эти материнские слова? Разумеется, насмешливо и с невольной грустью подумал он, жениться после смерти Наташи так и не смог вторично; мать страдала, один сын, и тот на людей не похож. А почему, собственно, он так и не обзавелся семьей? Как мужчина он себе цену знал, без женщины не обходилось, год за годом откладывал, а потом Соня подвела. Винить, кроме себя, некого, можно, конечно, подойти и с другой стороны: работа, стремление, отсекая все лишнее, побольше успеть, но что в порядке жизни считать лишним? Проходит время, и то, что вчера было второстепенным, незаметным, выдвигается на первый план. Нельзя подчинять себя обстоятельствам, а затем оправдываться ими, это нечестно, жизнь этого не прощает. Успею, успею, говорил ты себе, и вот не успел, а что, у тебя разве не нашлось бы времени, как у других? Нашлось бы, и хитрить тут нечего. Десятки, сотни человеческих судеб прошли через его жизнь за последние годы; умница все-таки Петров, вот она и подступила, крайняя грань, и сам народ, *народ*, повторил Брюханов, предъявил свои права на жизнь и смерть каждого, но где точная граница между нынешним и вчерашним? Спать, спать, приказал он себе, откидываясь на ящики и стараясь устроиться удобнее; какие-то глухие, неясные звуки, скорее, шорохи окружали его, и они не успокаивали, нет, скорее, будоражили, мешали.

Брюханов вытянул ноги, повернулся на бок; раньше замуровывали людей, убивали их неподвижностью; ко многому теперь придется привыкать. Пожалуй, скоро утро, теперь парнишка (он вспомнил Ивана Дерюгина)

нервничает, не знает, что делать; впрочем, парень, по всему видно, рассудительный, спокойный, у такого хватит ума поступить разумно.

От сырости и духоты в глухой подземной клетушке Брюханову не хватало воздуха; бессонная ночь сказывалась, и он закрыл глаза и различил какое-то слабое сухое потрескивание рядом. Он во сне подумал, что это мыши, и уже больше ничего не слышал; проспал он почти весь день, лишь изредка меняя позу; Анисимов пришел в девятом часу, принес поесть; той же вареной картошки, нарезанный окорок, несколько свежих огурцов и хлеб, и, пока Брюханов ел, неловко пристроился рядом на ящике, придерживая тусклый еле-еле светящий фонарь.

— Успокоилось?— спросил Брюханов, и Анисимов кивнул, соскабливая ногтем приставшую к стеклу фонаря грязь.

— Тихо. Еще потерпите, теперь недолго, и можно будет двигаться.— Анисимов, подождав, не скажет ли чего Брюханов, продолжил: — Через Стрелецкую пустошь, по-моему, надо; там сразу по оврагам и за реку. Я с вами пойду, Тихон Иванович.

— Зачем же,— возразил Брюханов.— Я и сам любую дыру здесь знаю, вырос в этих местах. Нет, Анисимов, ты останешься, мало ли что может случиться...

— Ни в коем случае!— горячо возразил Анисимов.— Я должен лично убедиться, что вы вышли из города, всю жизнь потом не прощу себе, и никто мне не простит... Нет, это невозможно.

— У нас еще есть время решить.— Брюханов замолчал, ему и в самом деле необходимо было выбраться из города как можно скорее, его ждали; теперь он один знал, где нужно искать базы; он должен выйти из города живым, Анисимов прав. Нельзя полностью попадать во власть подозрения — это плохое подспорье в такое время.

Передав Анисимову пустую посуду, Брюханов закурил; дым тотчас заполнил тесное, сырое помещение, и Брюханов, затянувшись раза два, бросил папиросу, затер подошвой сапога; пообещав тотчас, как только можно будет, вернуться, Анисимов выбрался из тайника, оставив его на этот раз открытым; Брюханов опять лежал, ворочаясь, весь измаявшись на ящиках; бока болели, Брюханов поругивал про себя Анисимова, находя в этом хоть некоторое утешение.

Выбравшись часа через два на волю, под открытое ночное небо, он несколько минут жадно дышал, словно запасался чистым воздухом, а затем они стали пробираться огородами и садами к окраине; первым улицы пересекал Анисимов; даже после полуночи было душновато, и полное безветрие усиливало тишину; Анисимов вел уверенно, но с осторожностью, и под конец, когда они уже пробрались к Стрелецкой пустоши, легким прикосновением к плечу остановил Брюханова.

— Постойте,— прошептал Анисимов ему на ухо.— Двигайтесь за мной шагах в десяти... Если что, сразу в сторону... не ждите. Тут как раз и может быть самое опасное... Патруль или пост притаился. Будьте здоровы, Тихон Иванович, в любом случае считайте меня действующей единицей.

— До свидания, Родион. Зарывайся глубже, а не сможешь или почувствуешь крайнюю опасность, немедленно уходи. Места определенного пока назвать не могу, дам со временем знать.

— Найду,— пообещал Анисимов, крепко пожимая протянутую руку.— Ну, пора...

Он пригнулся, вышел из-под тополей, росших двумя рядами от города вдоль всего Стрелецкого пустыря и, стараясь слишком не удаляться от деревьев, двинулся наискосок через пустырь; его фигура сначала была еле различима даже для привыкшего к темноте глаза, затем и вовсе исчезла. Брюханов уже хотел выходить, как до него донесся хриплый, прерывистый крик; Брюханов мог бы поклясться, что это полузадушенно кричал Анисимов, и, не раздумывая, метнулся на помощь, но не успел проскочить и пяти шагов, как увидел развернутую цепь человек в десять — пятнадцать. Он попятился, пригнувшись, стал перебегать от дерева к дереву, еще раз послышался голос Анисимова, но Брюханов был уже в другом конце пустыря, у берега речки; не раздеваясь, лишь подняв револьвер над головой, он перескочил ее и, выбравшись в поросший высокой травой луг, повалился отдышаться; все-таки Анисимов оказался прав, нужно было идти вдвоем, вот после этого и верь первому чувству.

Острая синеватая звезда стояла как раз над ним, и когда он, долго не отрываясь, глядел на нее, то, чувствуя впивавшийся в глаза луч, думал, что именно в эту минуту умирают тысячи и тысячи людей на земле,

надеявшиеся жить и любить и выполнить какие-то свои важные дела.

Городок тревожно затаился в темноте ночи, ни шума, ни голосов не доносилось, мокрая одежда начинала холодить тело; не задерживаясь, Брюханов пошел по некошеному мягкому лугу, густо устланному полегшей травой, напрямик к известковым оврагам. В это время, не в силах успокоиться, Анисимов наседал на Макашина, орал, что его подчиненные — непробудные олухи и все совершенно перепутали. То, что он тайно и страстно желал и чего не мог, не имел права допустить, и все только что случившееся сплавилось в нем в одно целое, и он был сейчас искренен в своем возмущении. Макашин высветил его лицо фонариком.

— Кто это был? — спросил он, по-звериному чуя что-то неладное в бешеной вспышке Анисимова, в его непривычно визгливом крике.

— Я тебе одному скажу.— Анисимов заслонился ладонью от бьющего в глаза света, и фонарик тотчас погас.— Такую добычу судьба, может, один раз и посылает.

— Но-но, Густавович.— Макашин сильно тряхнул Анисимова за плечи со смутным, все усиливающимся подозрением.— Ты в жмурки не играйся, шерсть осмолишь — вонища пойдет, нехорошо.

— Брось ты это, брось! — взорвался Анисимов.— Дурней своих тряси, чтоб быстрее поворачивались. Дай лучше закурить, обронил где-то портсигар.

Туман медленно полз к городу от речки, и в ночи, далеко в осоках и камышах, густо взявшихся по низким местам, гулко бухала ночная птица выпь.

12

Осень была солнечная, жаркая, обильная на урожай, но тихо, непривычно пустынно было в полях. Размашисто гуляли ветры, прибивая к земле, закручивая вихрами перестоявшие хлеба, и эти сиротские заброшенные житницы щемяще напоминали что-то старческое, уходящее; в мягких очертаниях осенних холмов резче проступили грусть и увядание. Там, где прошли немцы, почти весь урожай оставался в крестцах, редко в скирдах и чаще на корню; перелетная птица жирела от этого невиданного изобилия. В глухих, удаленных от дорог

деревнях бабы и дети уходили в поля, захватив мешки, пральники и дерюги для подстилки; в солнце они обмолачивали снопы и под вечер возвращались домой, сгибаясь в три погибели под тяжестью мешков со сладким, успевшим проклюнуться зерном, сушили его на горячих кирпичах печей и прятали затем в потаенные ямы. Темными осенними ночами на огромных пространствах земли уже зарождалось какое-то новое, не подвластное ни одному отдельно взятому человеку движение; оно тихо сочилось в разных направлениях, похожее на грунтовые воды, разрозненно прокладывающие себе пути и все равно собирающиеся в конце концов в один поток; движение это большей частью было скрытым и лишь изредка пробивалось на поверхность.

Прошел свой, такой отъединенный от других путь и Пекарев, после того как очнулся полумертвый под трупами. Пробираясь в сторону Слепненских лесов ночами, он избегал населенных мест, дорог и вообще людей, питался сырым проросшим зерном, выкапывал в брошенных полях свеклу и картошку. Первое время нога сильно болела, и он не мог долго идти; часто останавливался, подкладывал под грязные, истертые бинты прохладный дубовый лист или подорожник. Он очень боялся, что нога загноится, но к концу второй недели с удивлением обнаружил, что рана затянулась и даже краснота в этом месте прошла. Он обрадовался, бросил остатки бинтов под куст, рыжие муравьи сразу густо их облепили; а ночью с ним опять случился один из тех приступов страха, когда он словно наяву видел вокруг себя сумятицу искаженных лиц, слышал вопли и стоны; после таких вспышек обычно наступал упадок, он и на этот раз просидел до самого рассвета, сгорбившись и обхватив колени, вздрагивая от каждого шороха. Утром, наклонившись над лесной колдобиной напиться, увидел свое отражение и в невольном испуге отшатнулся.

Кончился сентябрь; дно колдобины было выстлано опавшими листьями в красивых, разноцветных прожилках, толщей прозрачной воды необычно укрупненными; с берез ветер рвал цепкие остатки яркой листвы. Пекарев глядел в низкое осеннее небо, на голые ветви, чувствуя себя совершенно одиноким в огромном враждебном мире, наполненном войной и смертью. Еще несколько дней он шел безостановочно, сколько хватало сил, в одном направлении, ел желуди, рябину, дикие лесные яблоки, груши, которые кое-где еще держались на го-

лых ветках. Идти было все труднее, и он почти терял сознание от голода и с каждым разом все медленнее приходил в себя; он отчаянно мерз, и даже непрерывное движение не согревало его; однажды под вечер, когда ветер нагнал с северо-запада тучи и стала сеяться мелкая холодная морось, он почувствовал, что идти больше не может. Забившись под какой-то голый куст, почти не защищавший от дождя, он ненадолго забылся; он уже мало что чувствовал, и лишь ветер заставил его слегка изменить положение. Вряд ли стоило радоваться спасению от смерти в овраге под Холмском, чтобы подохнуть здесь, в глухом лесу, в совершенном одиночестве; мозг уже работал как-то скупо, оцепенело, и не было никакого желания что-либо изменить. Он промок насквозь, дождь, казалось, пробивал присохшую к костям кожу и доходил до самого сердца; нужно было встать и идти,— это была даже не мысль, а далекий притупленный инстинкт, но он не мог преодолеть мерзкой слабости, в теле почти не осталось мускулов. Но вдруг что-то изменилось, и он, опершись на дрожащие, разъезжавшиеся по мокрой земле руки, поднял голову. До него дошел запах дыма, обыкновенного дыма, с чуткостью зверя он вдыхал этот живительный запах человеческого жилья; в нем присутствовали запахи пищи, великолепные запахи жизни, человека, и Пекарев заставил себя подняться и побрел на ветер, с трудом переставляя отекшие ноги. Последние три или четыре десятка метров до крайней избы глухого лесного хутора он волочил свое обессилевшее тело больше часа и, взобравшись на крыльцо, ткнулся лицом в грязные доски и больше не шевелился. Очнулся он уже под вечер, на широкой лавке, в тепле; рядом сидела приземистая старуха и, близко поднося к подслеповатым глазам спицы, вязала; при первом же движении Пекарева она отложила работу и склонилась к нему.

— Глазоньки-то и открылись,— сказала старуха с видимым удовольствием.— Я тебя в беспамятстве отваром поила. Господи, господи,— вздохнула она и перекрестилась.— Отощал ты, хуже дикого кота. А меня Кулиной крестили, так и кличь: бабка Кулина, а батюшка, почитай, годов пятьдесят на тот свет отошел, Филиппом звали.

Вполне довольная своим объяснением, прибавив еще, что батюшка ее был силач на весь уезд, да в бурю дубом его придавило, потому как на всякую силу другая

сила припасена, бабка Кулина тотчас стала споро и ловко передвигаться по избе на своих толстых ногах в грубых дерюжках; в минуту перед Пекаревым появилась снедь, всего понемногу, в том числе и бутылка, заткнутая чистой тряпицей, на треть наполненная мутным от старости самогоном, явно приправленным в свое время травами (бабка Кулина торжественно и уважительно называла самогон «вином» и говорила, что вина этого надо непременно выпить с полстакана, промыть брюхо от всякой нечисти). Пекарев послушался и, особо не приглядываясь, выпил четверть стакана крепкого бабкиного зелья, съел немного хлеба и картошки с салом и тотчас заснул с недоеденной коркой в руке; его сморило мгновенно, и бабка Кулина, приписывая это чудодейственному свойству своего вина, настоянного на лекарственных травах, довольно похихикала и опять взялась за вязанье. Худой, как скелет («шкелет» — говорила бабка Кулина), человек, обросший кустистой огненной бородой, в чем-то пришелся ей по душе, и она почти неделю не отходила от него, и Пекарев понемногу стал поправляться; из рассказов своей хозяйки он уже знал всю подноготную лесного, в восемь дворов, хутора, пробивавшегося в основном охотой, грибами, одним словом, лесом и его щедротами; бабка Кулина также обсказала ему, что в миру поднялась какаясь война, и опять с германцем, и что все исправные мужики в солдатах, а по дворам остались старые калеки и один разор, и что бог спас их от погибели, заслонив от мира хуторок дремучими лесами и болотами, германцу сюда вовек не добраться, разве только с неба прыгать начнут.

— Слышь, родненький,— бабка Кулина понизила голос,— три дни тому назад наши солдатики-то, русские, через хутор шли. И с ружьями, две пушки с собой тянули на коленях. Бают, из-под Смоленску вырвались, из окружения. Ох, бают, и страшный-то бой шел, там и наших, и германцев полегло — тьма-тьмущая, ступить некуда, битый на битом в том Смоленске.

В конце недели Пекарев смог встать; бабка Кулина дала ему пару белья, широкие штаны и рубаху, оставшиеся от покойного мужа, и он, шлепая по полу тяжелыми опорками (их бабка Кулина тоже где-то отыскала), выбрался на крыльцо, сел на лавочку; погода перед самыми морозами устоялась, и лишь дул резкий холодный ветер; бабка Кулина вышла вслед за Пекаревым, подала ему свитку из домотканого толстого сукна.

— Спасибо, Акулина Филипповна.— Пекарев рассматривал открывавшуюся перед ним улицу, четыре избы на противоположной стороне, стоявшие приземисто и плотно, старичка, чинившего изгородь, и рыжую корову с колокольчиком на шее, то и дело наклонявшую голову к земле.

— Наша жизня простая, хлебушек есть, и слава богу, что бог пошлет,— вздохнула бабка Кулина.— А там вот у нас погост.— Она махнула рукой, указывая.— Потопал, потопал свое, закрыл глаза, добрые люди снесут на отдых вечный и бесконечный.

Пекарев посмотрел на нее, застигнутый ее словами врасплох; она словно угадала его мысли.

— Мне бы побриться, Акулина Филипповна. Можно здесь у вас бритву раздобыть?

— Ишь чего захотел!— по-детски искренне удивилась бабка Кулина.— Нешто тебе с бородой хуже? Мой-то покойник сроду не скоблился, как зарос поначалу, так и в сыру землю с бородищей лег. А как она мешать начинала, он ее овечьими ножницами коротил. Постой,— сказала она, задумываясь.— У Маньки Исаевой мужик морду-то голил, они перед войной свадьбу сыграли. Схожу спытаю,— пообещала бабка Кулина.—А по мне, так с бородой важнее, сразу-то мужика различишь.

Она все-таки раздобыла где-то бритву с истертым до самого обушка лезвием, и Пекарев обрадовался. Теми же овечьими ножницами он откромсал себе бороду и тупой бритвой (оселка у бабки Кулины не оказалось) кое-как соскоблил щетину; увидев его в новом обличье, старуха изумилась.

— Совсем молодой!— сказала она, заливаясь веселым смехом, отчего глаза ее совершенно запрятались в морщинах.— Ах ты, Сеня, ты мой Сеня! А я, старая дура,— хитровато сощурилась она,— думала тебя-то навовсе в хозяйстве приспособить. Ахти мне!

Бабка Кулина смеялась, и Пекарев смеялся, вертя перед собой осколок позеленевшего зеркала и разглядывая в нем свое непривычное от худобы лицо.

— Превосходительно, соколик, теперь тебя и оженить впору.— Бабка Кулина, сморщившись во всю силу, хихикнула, довольная своими словами.— У нас хоть и восемь дворов, бабы, а то и девка найдется. Оно нехорошо, коль баба вхолостую прохаживает свою пору, порядок на земле от этого ломается. Мужиков нет, а как без них?

— Женат я, Акулина Филипповна, и дочка есть. Невеста почти, ей теперь уже пятнадцать.

— Где же они теперь, твои-то?

Пекарев ничего не ответил, и бабка Кулина, вздохнув, не стала переспрашивать. Все, что разделяло Пекарева с женой и делало их жизнь временами невыносимой, стерлось, лишь самое хорошее осталось в памяти; ему до смерти захотелось увидеть и жену и дочь, он не мог без содрогания подумать о том, что с ними случилось бы, застигни их война в городе,— ну, однако, Клавдия — женщина самостоятельная, энергичная, не могла она отстать от остальных и в эвакуации не пропадет.

Все последующие дни он осторожно прощупывал людей, подробно расспрашивал о слухах, и однажды ему указали на лесника Власа, жившего на лесном кордоне верст за сорок от хутора, и уже на третий день Пекарев подходил к Демьяновскому кордону, к просторной солнечной проплешине среди векового дубового леса, на которой с незапамятных времен укоренилась династия лесников Кружавиных; сын сменял отца, внук — деда, подрастая, брали жен из окрестных сел, лишние уходили в город, на производство, но корень этот на протяжении многих лет так и не переводился. Уже перед самой войной на кордоне в одиночестве остался старик Влас Кружавин; ему не повезло с сыновьями, был один, да и тот пошел по ученой части, а с дочерей прок недолог; все четыре девки, дождавшись поры, повыскакивали замуж; старуха умерла за год до начала войны. Ничего этого, конечно, не знал Пекарев, подходя к большому, мрачноватого вида дому, срубленному из дуба на века; чуть поодаль от жилья высились такие же массивные хозяйственные постройки, огороженные бревенчатым забором.

Красновато-бурая корова с колокольчиком на шее пошла ему навстречу, и он нерешительно остановился. Корова, вытянув морду и выставив вперед уши, шумно принюхивалась; Пекарев увидел, что от дома к нему мчатся в угрожающем молчании два огромных, почти в пояс, темных пса. Он ухватился за нижний сук дуба и неожиданно легко взметнулся вверх, и вовремя; один из псов был уже под дубом и, задрав морду, застыл; Пекарев сверху видел его черный острый нос, вывалившийся набок розовый язык и желтые клыки; второй пес, поменьше, сел рядом с первым, затем лег, вытянув передние лапы; похоже, они устроились под ду-

бом надолго. Собаки в представлении Пекарева всегда соседствовали с громким, бестолковым лаем, а тут он столкнулся с непонятным явлением; псы и не думали уходить, мирно лежали под дубом и только изредка поглядывали на Пекарева; корова давно уже щипала сухую траву на другом краю прогалины, а в доме по-прежнему не было слышно никаких признаков жизни.

Пекарев несколько раз слабо крикнул, призывая хоть чью-нибудь живую душу, собаки внизу было встревожились, одна из них даже встала, потянулась, зевая, и опять легла; Пекарев злился уже не на шутку, холодная ночь на дереве его никак не прельщала, а между тем близились сумерки и в вершине дуба все громче начинали плескаться на ветру остатки полувысохших ярких листьев.

— Какие же вы несносные твари,— в сердцах обратился Пекарев к собакам.— Вы должны охранять и уважать человека, а так что ж? Вот ты, с пригнутым ухом, ступай и приведи хозяина, есть же у тебя какой-нибудь хозяин? Я свой, понимаешь, свой... Ну, давай, собачка, давай, будь умницей.

Заслышав шорох, Пекарев оглянулся и увидел высокого старика. «Ну, что ж,— обрадовался он,— слово мое не пропало даром».

— Пошли, пошли.— По первому слову старика собаки бесшумно встали и вприпрыжку друг за другом бросились к дому.— Слезай,— обратился лесник к Пекареву, и тот, вытягивая занемевшие ноги, спрыгнул на землю, ойкнул и, прихрамывая, шагнул к леснику.

— Здравствуйте, хозяин,— поздоровался Пекарев, рассматривая изрезанное морщинами просторное лицо лесника.— Я к вам, поговорить надо.

— Ладно, пойдем, не на улице же нам разговор вести.— Лесник повернул к дому, не говоря больше ни слова, и Пекарев заторопился вслед; собаки сидели у большого, как танцевальный помост, крыльца с грязным, давно не мытым полом; когда Пекарев проходил мимо, одна из них на ходу, потянувшись мордой, деловито обнюхала его ноги. В большой сумеречной комнате, с русской печью в углу, вероятно давно не топленной, лесник, не раздеваясь, сел на лавку к столу, он лишь снял фуражку, и Пекарев отметил подстриженные по старинке, в кружок, волосы; дождавшись, когда Пекарев сядет тоже, лесник коротко приказал:

— Ну, говори.

— Я к вам из Волчьего хутора пришел, добрые люди посоветовали. Немцы кругом, куда податься?

— Что ко мне-то,— нехотя отозвался лесник,— у меня в глущобе какие вести? Говорят все, немцы кругом, а я их ни разу не видел. А ты кто такой будешь-то? Таких на хуторе не примечал, я там всех знаю. Приезжий, откуда?

— Из Холмска,— сказал Пекарев.— Давайте, наконец, познакомимся. Пекарев я, Семен Емельянович, газетчик, одно время в газете работал. Читали «Холмский рабочий»?

Лесник опять на это ничего не ответил; в доме было сумеречно, темнота в углах сгущалась. Сняв лампу с полки, лесник зажег ее, поставил на стол; Пекарев чувствовал, что к нему присматриваются.

— Читал, как не читать. Да ведь разговор разговором, а ты есть небось хочешь,— проговорил лесник между делом.— Давай-ка пойдем в другую половину; там у меня жилье и есть, а это так,— он махнул рукой на печь.— Эту махину, как один остался, я редко топлю, в зиму. А там печурка сложена... вот и пользуюсь.

Комната, в которую они прошли (лесник перенес с собой лампу), была просторнее первой, с тремя окнами, но обстановка ее была столь же неприхотлива. Две большие деревянные кровати, объемистый сундук, окованный по углам железом; на бревенчатых необмазанных стенах висело множество фотографий в рамках и в переднем углу одна темная икона; лесник задернул окна занавесками и стал не спеша разводить в плите огонь.

— А меня Власом зовут,— сказал он, поджигая сразу затрещавшую, жирно задымившуюся бересту,—Влас Корнилович. Сколько уж дней голоса человечьего не слыхал. То, бывало, глядишь, начальство наедет, мужики дров приходят просить, а теперь — один. Как же ты под немца попал, а, Семен Емельяныч?

— Пришлось, Влас Корнилович, один очень важный груз сопровождал. Вовремя не успели проскочить, под бомбежку попали... Одним словом, много всего было, вот и ранило в ногу...

Пересиливая себя, Пекарев коротко глянул в хмурое лицо лесника.

— Так-то вот пришлось, Влас Корнилович.

— Что ж это деется? Хвалились, хвалились, а как на гору повернуло... Тихона Ивановича знавал в Холмске?— неожиданно спросил лесник, закрывая дверцу плиты, за которой все сильнее занимался огонь.

— Брюханова?— очнулся Пекарев, сбрасывая с себя оцепенение.— Как же, приходилось и видеть Тихона Ивановича, знаю. Да вы-то откуда о нем слышали?

Лесник, не отвечая, поставил на плиту греть воду в щербатом, с обгоревшими краями чугуне, потом вышел, вернулся с большим куском мяса и опустил его вариться; затем принес краюху хлеба, соленых огурцов, капусты, достал из широкого ящика стола вилки, ножи, тарелки; в одной темной косоворотке лесник выглядел моложе, огромный, мосластый, с прямой, негнущейся спиной, он неслышно двигался по комнате, поглядывая теперь на гостя с явным сочувствием. Пекарев предложил свою помощь, лесник отказался, отрезал по большому куску хлеба и вышел покормить собак и загнать на ночь корову; когда он вернулся, мясо в чугуне вовсю кипело.

— Доходит, скоро и мы повечеряем,— сказал лесник, поставив еще варить картошку в мундире.— Значит, Семен Емельянович, такая с тобой оказия приключилась. Ну, бог даст, все наладится. Как же «Холмского рабочего» не знать, сами-то мы холмские,— внезапно пояснил он.— И Тихона Ивановича знал, нутряной мужик. Бывало, с ружьишком приезжал, бродили с ним. На зайцев любил ходить по первопутку. Такой человек, возьмет косого, а что дальше с ним делать, не знает. Все, бывало, я тушку обдирал; печеного он зайца любил.

Лесник говорил с каким-то тайным значением; после ужина они покурили и почти сразу стали укладываться спать, лесник указал Пекареву широкую дубовую кровать с высокими спинками.

— Ложись, отдыхай. Будет утро, гляди, и перемена какая проблеснет.

— Спасибо, Влас Корнилович,— поблагодарил Пекарев и, пожалуй, впервые за долгое время спал покойно; он прожил на кордоне почти неделю, кое-что еще рассказал о себе и сдружился с молчаливыми собаками лесника и с этими тихими местами; а в один из вечеров, увидев перед собой красивого высокого парня лет двадцати пяти, понял, что его время на кордоне кончилось, как кончается все на свете, ему на минутку стало жаль уходить отсюда.

— Вот тебе, Емельяныч, новый знакомец, Лексей Сокольцев,— сказал лесник с теплотой в голосе, которая указывала, что лесник давно знает парня и относится к нему с грубоватой нежностью.— Он тебя, Емельяныч, к людям перепроводит, ты ему без страха доверься.

Пекарев еще раз оглядел своего неразговорчивого проводника, молча кивнул, и вскоре они уже шли по пустынному голому лесу; в Пекареве крепло чувство нетерпения, словно он после долгого отсутствия возвращался домой, в привычный и необходимый мир, и бабка Кулина, и лесник Влас были уже прошлым, и поэтому, увидев на следующий день перед собой Брюханова, живого Брюханова, он даже не удивился: рядом с толстым неошкуренным осиновым бревном тот стоял перед ним в солдатской гимнастерке, сапогах, сильно похудевший и оттого, очевидно, непривычно молодой; ватная телогрейка была накинута у него на плечи.

Сокольцев опустился на землю поодаль, по-татарски скрестив ноги; темнели неровными рядами большие шалаши, и везде между деревьями виднелась кучами свеженарытая земля; ощущение родного дома, к которому он так долго продирался, захлестнуло Пекарева, и он почувствовал ватную слабость в ногах. Это были даже не слезы, что-то мутное, жгущее затянуло глаза, и он не пытался ни прикрыться, ни отвернуться; и Брюханов не стал ни удерживать его, ни утешать. Они сошлись каждый со своей ношей, и Брюханов тотчас почувствовал, что перед ним не тот Пекарев, которого он знал раньше и с которым работал; перед ним был человек, невольно выбитый взрывной волной из обычных категорий, которому пришлось увидеть то, что нехорошо и нельзя было видеть человеку, и вот, очевидно, это мешало, и они никак не могли начать разговор; сам Брюханов боялся попасть не в тон, и Пекарев никак не мог успокоиться, и хотя чувствовал, что для этого ему нужно как можно скорее заговорить, не мог выдавить из себя хотя бы один членораздельный звук.

— Привелось же так встретиться.— Брюханов чувствовал, что не те слова должен был сказать в первую минуту; они неловко обнялись.

— Ну вот, ну вот,— опять сказал Брюханов, смущенно хмыкая и скрывая свою слабость, Пекарев оглянулся, они были одни, Сокольцев исчез, и лишь в отдалении между деревьями мелькали человеческие фигуры.

— Я все знаю, Семен,— сказал Брюханов.—Семья твоя в порядке, эшелон с семьями успел проскочить, в самый последний момент. Эшелон ушел, точно знаю, Петров позже вылетел... Очень зло бомбили, почти беспрерывно, трое суток.

— Значит, проскочили!— обрадовался Пекарев.— Я боялся надеяться. Санитарные поезда и то бомбят, каких-нибудь две минуты... Как там теперь с братом...

Брюханов быстро взглянул на него, отвел глаза; вот именно двух-трех минут иногда вполне достаточно, чтобы походя разрушить усилия многих, многих сотен людей.

— Войне четвертый месяц, а сколько жертв,— сказал он, и на лбу у него жестко прорезалась поперечная морщина, отчего все лицо приняло отчужденное, далекое выражение.— Настанет срок, сосчитаемся.

— А ты, Тихон, с самого начала здесь?

— Всего несколько дней. Только начинаем разворачиваться. Я рад тебе, Семен. Люди нужны, людей не хватает.

Пекарев молча кивнул, он не знал, о чем еще говорить, и Брюханов почувствовал это.

— Ну вот, Семен, обживись, присматривайся и подключайся. Людей не хватает,— повторил Брюханов тихо.— Вот она-то, настоящая беда, встала перед каждым, и не обойдешь, не объедешь, только грудью на нее. Навалилась, как прессом, выжала мелочь — обиды, раздоры, зависть, всякую прочую гадость. Я здесь дня два еще буду, в этом отряде. Помнишь Горбаня из Троицка? Ну, первого секретаря райкома?

— Как, Василия Антоновича?

— Он самый, партизанский отряд здесь сколотил, видишь, кругом все свои.— Брюханов в первый раз позволил себе посмотреть на Пекарева прямо, с прежней требовательностью, словно они вчера расстались.— Знаешь, Семен Емельянович, мы как раз вчера говорили о газете, хоть листок надо выпустить...

— Нет, нет!— перебил его Пекарев.— Вот уж от этого — уволь... Нет, нет,— повторил он раздражительно и громко.— Помочь на первых порах помогу, а запрячь не удастся. Ну, пойми, Тихон, не могу... Не тем оружием рассчитаться должен... Тебе бойцы нужны?

Освободившись от своих многочисленных обязанностей и забот, к ним подошел Горбань; он дружески, тепло поздоровался с Пекаревым.

— В самом ведь деле ты, Семен Емельянович,— сказал Горбань.— Да ты же для нас теперь сущий клад, пропаганду поставим на высший уровень. Да ты что, Семен Емельянович?— Горбань взглянул на Брюханова.— Ну ладно, не будем сейчас об этом, дело тебе по душе всегда найдется. Главное — жив, у своих. Мне говорят — не верю. Да ты хоть помнишь, какую свинью мне подложили в тридцать пятом, с покосом-то? Меня Петров чуть живьем не слопал, не знаю, как и пронесло.

— Нам бы теперь те заботы,— пробормотал Пекарев, хорошо припоминая то, о чем говорил Горбань, и в то же время чувствуя неловкость; ему хотелось одного: чтобы его перестали замечать, и, отвечая как-то все невпопад, словно оправдываясь, он попросил Брюханова и Горбаня определить его куда-нибудь рядовым бойцом, туда, где потяжелее, и с ним молчаливо согласились, стараясь не замечать его горячности и сбивчивости. Никто не стал возражать, и Пекарев оказался зачисленным в отряд Горбаня, в третий взвод первой роты, и принялся прилежно, с редким тщанием поставившего перед собой желанную цель человека, осваивать военное дело, работать, равно со всеми стоять в нарядах, научился чинить себе одежду и даже обувь, и хотя первые недели приходилось трудно наравне с остальными, он всякий раз заставлял себя держаться до конца и опять-таки потаенно был горд и счастлив любой маленькой победе над самим собой, над своей физической слабостью и невыносливостью, уж он-то знал, что помочь ему никто не в силах, только он сам. Он никак не мог одолеть в себе унизительное, слепое чувство страха после перенесенного потрясения в оврагах под Холмском, и это его мучило, и спавшие рядом с ним часто будили его, ругаясь: он мешал им, скрипел зубами, кричал что-то во сне... Шли недели, и он жил согласно своему новому положению и месту, избегал попадаться на глаза Горбаню или Брюханову (когда тот раза два или три до Нового года наезжал откуда-то в отряд); он участвовал в ночных вылазках, вскакивал, одевался ощупью, валился в сани и вместе с другими несся сквозь темный лес в метель и обжигающий ветер. Они взламывали или взрывали рельсы, спиливали телефонные столбы, стреляя, врывались в села, занятые немцами, или подолгу стыли обочь дорог в засадах, и часто назад везли или несли на себе раненых; умерших оставляли в снегу, и все это были обычные парти-

занские будни. Он как-то быстро и естественно сходился с самыми разными людьми и втайне радовался этому; чем незаметнее он становился в общей массе, тем сильнее ощущал свою неразрывность с ней и свою безопасность. Иногда, в короткие минуты отдыха, над ним подшучивали, вернее, над его начинающей заметно захватывать затылок лысиной, невинно спрашивали, не наоборот ли он с бабами спал, но ничего обидного в этом он не чувствовал и хохотал со всеми вместе.

Зима выдалась снежная, с лютыми холодами и ветрами, свободно пробивавшими немудреную лесную одежонку; люди мерзли, и обладатели полушубков и валенок вызывали всеобщую зависть, хотя и их растелешивали, отправляя куда-нибудь на задание очередную группу, и часто можно было слышать, как по всему лагерю громогласно зовут в штаб какого-нибудь Степанычева или Назаренко, чтобы взять у него полушубок или валенки. На политинформациях и в беседах сообщали о положении на фронтах; но война все больше сосредоточивалась для Пекарева в кругу своих дел и обязанностей, в непосредственных отношениях с окружающими людьми, с теми, с кем он ел и спал, ходил на задания; он особо никого не выделял и лишь все большую тягу испытывал к Алеше Сокольцеву, и эта тяга была столь же бессознательной, сколь и сильной; встречаясь с ним, Пекарев невольно улыбался и всегда пытался как-нибудь разговорить молчаливого Сокольцева.

— Ты меня взял бы как-нибудь с собой, Алеша,— сказал он как-то перед вечером, встретив Сокольцева; тот, постукивая подошвами сапог о льдистую дорожку, разговаривал с незнакомым Пекареву высоким человеком.

— А, Семен Емельянович,— весело протянул Сокольцев.— Помоги нам один вопрос разрешить, вот тут у нас с Бехтеревым спор... О женщинах, разумеется. Он утверждает, что по положению женщины в обществе можно безошибочно судить о процветании народа. Все это понятно, а вот сейчас — как?

— Я должен на этот вопрос отвечать, исходя из личного опыта?

— Нет, нет, Семен Емельянович!— засмеялся Сокольцев.— Рассуждения общего плана, конкретности здесь не требуется.

Он не стал знакомить Пекарева со своим собеседником, и тот скоро ушел; Пекарев опять попросил Сокольцева как-нибудь взять его с собой.

— Стоит ли, Емельяныч? — дружески спросил Сокольцев. — У меня концы немереные, иногда верст по пятьдесят пробегаешь.

— Ничего, ничего, Алеша, — торопливо заговорил Пекарев, легонько придерживая Сокольцева за руку выше локтя. — Я серьезно, хочется в упряжку потруднее попасть. Понимаешь, Алеша, нужно мне...

— Хорошо, хорошо, Емельяныч, я не против, — сказал Сокольцев, кося веселым светлым глазом на хмурое, напряженное лицо Пекарева и думая, что на свете всякие чудаки бывают. — С этим надо к Горбаню, для наших походов он лично группы утверждает.

— С Горбанем я могу поговорить, — предложил Пекарев, — мы-то друг друга хорошо знаем не один год, — сам-то ты не против?

Горячность в его голосе несколько насторожила Сокольцева, но Пекарев, увлеченный своим желанием и мыслью, в тот же день подошел к Горбаню, едва ли не впервые со дня своего появления в отряде; и Горбань, внимательно выслушав его, пообещал при первой же необходимости послать с Сокольцевым на задание. Ночью, лежа на тесных нарах, Пекарев опять вспомнил Алешу, ему очень нравился Сокольцев, нравился своим лицом, фигурой, походкой, молодой, но уже привыкшей к сдержанности силой; его тянуло к этому парню.

В землянке спало человек двадцать; дневальный тихо, покашливая, время от времени подкладывал в железную печурку дров и опять начинал простуженно кашлять; сквозь промерзший, сырой накат Пекарев уловил крепнувший ветер и попытался угадать в темноте маленькое окошко рядом с командирским углом, отделенным от общих нар куском рваной парусины; под окном стоял сколоченный из неровно вытесанных досок стол, он сейчас не был виден в темноте. На нем остались лежать с вечера несколько затрепанных книжек, два тома сочинений Сталина в темно-красных переплетах, роман Островского «Как закалялась сталь» и почему-то «Тиль Уленшпигель».

Хотелось встать, зажечь свет и просто полистать книги в тишине и одиночестве, выхватывая отдельные слова и знакомые фразы; этого раньше не было, поэтому и сон не шел, и ближе к полуночи, когда в землянку

кто-то шумно ворвался и с радостной взбудораженностью крикнул во всю мочь: «Подъем! Выходи на митинг!» — Пекарев еще не спал; быстро собравшись, он в общей толчее схватил свой карабин и выскочил из землянки. Сплошная белая мгла металась перед глазами, лес стонал и гудел, и Пекареву тотчас затмило глаза. Он подождал, пока из землянки, встревоженно переговариваясь, выбрались остальные, и все, утопая в снегу, стали пробираться к штабу; было объявлено общее построение отряда. Снежная буря крутила, билась в деревьях, и Пекарев с трудом отыскал свое место в строю, ветер пронизывал до костей, и даже в овчинных рукавицах руки мерзли, но люди, сдвинувшись в плотные ряды спиной к ветру, сразу почувствовали себя увереннее, и Пекарев, притопывая валенками, неловко поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, стараясь разобрать, о чем переговариваются соседи; он не заметил в крутящихся снежных потоках, когда перед строем отряда появился Горбань, он лишь услышал его слабый, временами пропадающий голос, сообщавший о том, что немцы под Москвой разбиты и что их отступление переросло в бегство по всему фронту; в следующую минуту были слышны только буря и лес, это показалось великой тишиной, и Пекарев чувствовал лишь мучительное затаенное ожидание всего отряда; кто-то опять начал говорить, но всеобщий порыв смешал ряды, один радостный, большой крик прорвал непрерывный гул и грохот леса, и проник в самое сердце, и отозвался там с такой силой, что сразу стало больно и жарко. Пекарев чувствовал, что не в силах двинуться с места; перед ним метались с поднятыми руками какие-то неясные многочисленные тени; кто-то и на него налетел, обнял, тепло гаркнул в самое лицо «ура!» и исчез; слезы на щеках превращались в ледяную корку, и он, заметив это, отер лицо рукавицей, сердито фыркая носом и невольно оглядываясь.

Он тоже крикнул «ура!» и бросился куда-то бежать.

13

В середине марта дни заметно увеличились, и на дорогах и пригорках стало подтаивать; Сокольцев получил задание установить связь, найти двух-трех человек в селе Радогощь для наблюдения за железной

дорогой, проходившей там почти по огородам. Сокольцеву дали адрес явки, но, как оно часто и бывает, все получилось иначе; Сокольцеву пришлось двух своих человек, Пекарева и Костю Чемарина, оставить, не доходя до Радогощи трех километров, в хуторе из семи дворов и идти ночью в Радогощь одному; оказалось, что в Радогощи стоит немецкий гарнизон человек в сорок. Сокольцев поколебался, простая осторожность подсказывала ему, что туда лучше не ходить, но он все-таки пошел, благополучно пробрался к нужному дому. Было ветрено, топились печи, и пахло сырым дымом, в центре села порой поднимались голоса, но разобрать ничего нельзя было. На стук из избы выглянула молодая женщина в накинутой на плечи шали; обменявшись несколькими словами, они прошли в избу, хозяйка, не зажигая огня, собрала Сокольцеву поесть, навалила с верхом большую миску жаренной в чугуне картошки, принесла сала, соленых огурцов и все сокрушалась, что нельзя света зажечь, а в темноте любая еда в горло не лезет. Сокольцев положил рядом с собой на лавку автомат, снял телогрейку; хозяйка была молода, с красивым низким голосом, и это несколько смущало Сокольцева; за последний год он успел отвыкнуть от женщин и сейчас не знал, с чего начинать разговор. Выручила сама хозяйка.

— Ешь, ешь, после поговорим,— заботливо сказала она, в полумраке придвигая к нему миски и хлеб.— Сейчас мух нет, можно без опаски.

— Спасибо,— сдержанно отозвался Сокольцев.— Муха не фашист, вот руки бы мне ополоснуть, третий день не умывался.

Хозяйка повела его к порогу, сама полила, подала полотенце; Сокольцеву все больше хотелось увидеть ее лицо, почему-то казалось, что глаза у нее серые, с усмешкой. Сокольцев сел за стол и стал есть; хозяйка устроилась напротив и тихо рассказывала о том, что творится в селе и на железной дороге, как ведут себя немцы и что дядя Илья, нужный Сокольцеву, по-прежнему работает смазчиком на станции в пяти верстах от села, сегодня в ночь он на суточном дежурстве и будет только завтра к вечеру.

— Выше головы не прыгнешь,— сказал Сокольцев с легкой досадой.— Завтра вечером опять подойду, пусть ждет. За ужин спасибо, давно так сладко не ел, самое главное — досыта.

— Зачем же киселя хлебать лишний раз? — спросила хозяйка с каким-то затаенным ожиданием.— Оставайся, ложись в постель, завтра до вечера отоспишься, а там и дядька Илья подоспеет. Право,— добавила она, почувствовав колебание Сокольцева,— чего тебе мучиться? А как что, скажу в дом мужика взяла из пленных. Тебя Алексеем звать, а меня Полей. Поля Аверина я.

— Знаю,— в голосе Сокольцева послышалось замешательство; хорошо бы сейчас после сытного ужина, сразу отяжелев телом, и в самом деле забраться в теплую постель, отоспаться за сутки; глядишь, и хозяйка подвалится под бок, больно что-то активно хлопочет.

От этой откровенной мысли Сокольцев почувствовал приятную истому; в конце концов, что ж, ему не хочется хоть сутки по-человечески провести?

Вслед за хозяйкой он прошел на вторую половину избы, дождался, пока она постелет, и стал молча раздеваться. «Да что,— говорил он себе, словно оправдываясь,— и ее, молодую, оставшуюся в одиночестве, понять можно, и себя; ну, а если ничего и не будет, можно вволю выспаться».

Поля ушла на другую половину избы, тихо прикрыв за собой дверь; Сокольцев со странным ощущением неестественности лег, утонув в пуховых подушках и перине, и закрыл глаза; сон пришел сразу же, но продолжался недолго; Сокольцев приподнялся и напряженно прислушался. В избе было тихо, и он растерянно подумал, что, верно, долго спал; пожалуй, обиделась Поля, нехорошо. «Может, вышла куда,— подумал он, сел, привычным точным движением взял автомат и положил его на колени, дулом к окнам. Он сейчас был готов вскочить туго сжатой пружиной, развернуться в любой момент,— да нет, не может быть,— тут же подумал он, отгоняя мелькнувшее подозрение,— не мог я так ошибиться. Это было бы уже опасно, такой промах...»

Сокольцев хотел спрыгнуть с кровати и одеваться; тихий, сдержанный вздох, донесшийся из-за двери, остановил его.

— Поля,— тихо позвал он и повторил: — Поля...

Он услышал движение за дверью, коротко скрипнуло в петлях, и он увидел длинное светловатое пятно, приближавшееся к нему; он отодвинул от себя автомат и принял ее в руки и почувствовал теплоту ее слегка вздрагивающих плеч; он потянул ее к себе и уже ни

о чем больше не думал; он лишь помнил потом ее острые сухие губы у себя на груди и на шее, и от них ему было мучительно трудно и хорошо.

— Что же ты не сказала, Поля?— спросил он ее потом, лежа рядом, благодарный и успокоенный, и тихонько поглаживая ей грудь.

— Ну так что ж, что ж,— сказала она, словно оправдываясь и стыдясь.— Так получилось, не успела замуж, двадцать лет, а не успела. Все гордилась, а вот уже и гордиться не перед кем стало.

— Не жалеешь, Поля?— Сокольцев притянул ее к себе, поцеловал.— Ничего я тебе сказать не могу, время такое, вряд ли и встретимся...

— О чем жалеть... Только о том, что второй ночки такой не будет. Да уж я тебя помнить буду всю жизнь, увижу опять или нет. Спи, Алешенька, спи, родной, а я посижу с тобой, ты спи, спи, ни о чем не заботься, тебе завтра в ночь дорога дальняя, дальняя, но впереди у нас много-много всего... завтра до самого вечера, а может, и больше.

Он не заметил, как ее слова перешли в тихую, грустную песню, о том, как за рекой жила бедная сиротка и все думала о том, что придет ее суженый, и все в мире изменится, и небо расцветет, и горе пройдет, и будут литься дожди искристые да серебряные. Сокольцев заснул и уже во сне чувствовал ее тихие поцелуи, и ему было хорошо, и от этого все время хотелось проснуться. «Да я люблю ее,— думал он во сне счастливо и растроганно,— люблю эту случайную искру на пути. Нет, она не должна погаснуть, потому что я люблю ее и от всех ветров окружу собой, нет, я не дам ей угаснуть. Я останусь с ней навсегда»,— решил он, обнимая во сне теплое, доверчивое тело и чувствуя, как ему хорошо рядом; война, разумеется, кончится, и он уговорит ее учиться; он увезет ее к себе в Москву, потом на Волгу к родным, и по вечерам они будут ходить купаться.

Сокольцев проснулся внезапно; показалось, что кто-то сильно стучит в дверь, сотрясая избу, и тотчас к нему прорвались громкие, злые голоса, требующие немедленно открывать. Он различил голос Поли, тоже со злобой, высоким криком отвечавший, что по ночам она никому не открывает, а если кому приспичило, пусть днем, засветло, приходит.

Сокольцев схватил автомат, спрыгнул с кровати и в тот же момент услышал, как затрещала дверь, и По-

ля, полураздетая, заскочила в избу, но дверь за собой захлопнуть не успела, следом за нею ввалились двое или трое.

— Ложись! — закричал Сокольцев, срывая голос, и Поля, поняв его, бросилась плашмя на пол, и в тот же миг он коротко ударил из автомата; один сунулся головой в дверь и свалился рядом с Полей, в наступившей тишине Сокольцев слышал, как отбегают, ругаясь, от избы остальные, и автоматная очередь, одна, другая, полоснула по окнам, со звоном посыпались стекла; Сокольцев присел. «Кажется, крепко влип»,— подумал он, вытолкнув убитого за порог, в сени, лишь выдернул автомат у него из рук; захлопнув дверь, он закрыл ее на крючок.

— Поля, Поля,— позвал он вполголоса,— жива? Давай-ка одевайся, мне тащи одеться, ползком, ползком,— остановил он ее и в ту же секунду, схватив за руку, рванул на другую половину избы, за стену. Резкий, трескучий взрыв гранаты ударил сразу же, и рука Поли в его руке судорожно дернулась; острый мгновенный холод облил его. Поля падала, и он, обхватив ее за спину, сразу почувствовал мокрое.

— Поля, Поля, Поля,— звал он с ужасом, не слыша своего голоса, и тут же опустил ослабевшее, безмолвное тело на пол и бросился к окну; он скорее угадал, чем увидел, фигуру человека в окне и короткой очередью срезал его; тотчас и с улицы ударили, слабо хлопнула в воздухе, отлетев от стены, неудачно брошенная граната; у Сокольцева не было ни секунды, чтобы помочь Поле; в безотчетной ярости он метался от окна к окну, стрелял и вполголоса сосредоточенно матерился, а когда наконец дотянулся до Поли, все понял: она уже не дышала, и лицо у нее неприятно твердело. Словно мягкий отупляющий удар упал на Сокольцева; по-прежнему все мгновенно схватывая и держа в поле зрения все три окна, он чисто автоматически продолжал стрелять, но его ни на минуту теперь не оставляло сковывающее ощущение безысходности; какие-то тупые, рваные мысли вспыхивали и гасли; вот ее уже нет, патроны на исходе, кажется, конец.

Выбрав момент, Сокольцев надернул сапоги прямо на босу ногу; за окнами озарилось, трепетный свет отодвинул темноту далеко вокруг. Страха не было. «Избу подожгли, крыша горит,— равнодушно подумал Сокольцев,— узнать бы только, как это его выследили

и кто, а остальное уже неважно. Пожалуй, отсюда ему не выбраться, накрепко присох. Костя Чемарин знает, что делать, если он не вернется к утру, ничего. Но как же все-таки его застукали?»

В избу стал проникать дым, он ел глаза, и теперь Сокольцев слышал, как ревело вверху пламя, пожирая всяческую сушь на потолке. Взглянув в боковое окно, выходящее в огород, он заметил, что погода не так уж и хороша: сильный сырой ветер порывами прибивал дым к земле, но именно с этой стороны огонь уже охватил стену; Сокольцев видел багрово раскаленные стекла окна. Одним ударом ноги он вынес раму, пламя метнулось в избу, и Сокольцев, задыхаясь, отскочил. За треском и ревом огня он не мог разобрать, стреляли еще или уже перестали, бегло и так же безразлично, как о постороннем, он подумал, что мечется по избе в одной нижней рубахе и в сапогах на босу ногу и одеться уже не успеет. Он замер, прислушиваясь и стараясь продышаться; в огне корежились, шевелились стены избы, и сквозь потолок местами уже пробивался огонь; вот-вот все должно было кончиться.

В последнем усилии Сокольцев рванулся к кровати, набросил на себя толстое ватное одеяло и вывалился в боковое окно; почти сразу вслед за этим в избе рухнул потолок, и дым, и огонь, косо под сильным ветром выметнувшиеся далеко в сторону из горящей избы, накрыли Сокольцева. Он упал, вскочил и бросился дальше, стараясь не отстать от волны дыма, тянувшей в огороды, в поле; по ветру, вверху и рядом, обгоняя его, летали огромные искры, головни; он чувствовал, что теряет сознание; едкий дым душил, разрывал легкие, и он часто припадал к земле, стараясь схватить хоть частицу живого воздуха; скоро он почувствовал, что одеяло на нем горит, спину припекало, и Сокольцев отшвырнул от себя одеяло, сорвал тлевшую рубашку и оказался теперь совсем уж нагишом. Все-таки он успел отбежать в дыму метров за триста от горящей избы и был скрыт вдобавок теперь и темнотой; обожженная кое-где кожа на спине и плечах болела, его отчаянно мутило; пошатываясь, он пошел с гудящей тяжелой головой, еще плохо соображая, но скоро дым стал реже, и Сокольцева, раздирая грудь, долго и надрывно бил мучительный приступ кашля. Не должен он был на этот раз выкрутиться, и, однако, вокруг — темное снеговое поле, и на груди все больше настывал

автомат; а там осталась Поля; что же это такое, подумал он с тягучим отвращением к себе, война войной, разумеется, но вот даже невиновного человека не мог спасти, хотел и не мог; пошатываясь, Сокольцев брел по глубокому снегу; мороз был мартовский, несильный, но чувствовался; до хутора, где ожидали его Чемарин с Пекаревым, было километра четыре, и нужно было бежать, чтобы не окоченеть; он взял автомат в руки, тяжело затопал по снегу, время от времени оглядываясь; пожар слабел, и скоро в небе светлела всего лишь небольшая пропалинка; и опять болезненно ударила мысль, что он только что был с девушкой, был с нею первым, а теперь вот ее уже нет; с хрипом глотая холодный воздух, Сокольцев бежал все быстрее, стоило ему чуть задержаться, голое тело сразу сводило морозом. Когда его неожиданно увидели в распахнувшихся дверях Чемарин и Пекарев, совершенно голого, в грязи и копоти, с окровавленными, изрезанными о снег коленями, в первую минуту они остолбенели; а хозяйка избы, пожилая, лет под пятьдесят, баба, потом, вспоминая, смешливо фыркала в подол; и в отряде об этом случае долго говорили и зубоскалили, и Сокольцев всякий раз, сдерживаясь, бледнел; он доложил обо всем, кроме того, что у них случилось с Полей. В конце концов, ему с группой даже удалось выполнить задание, они отыскали нужных людей в Радогощи, и в отряде теперь постоянно знали, сколько и какие поезда идут по железной дороге; а Поли больше не было, она жила в нем лишь тихой, все удалявшейся болью; он знал, что и боль эта в конце концов исчезнет, и не хотел этого.

14

Уже не первый год на огромной территории Европы трещали и ломались фронты, умирали, были искалечены, пропадали без вести сотни тысяч людей; в правительствах и штабах самых различных стран подсчитывали потери, строили, казалось бы на реальных посылках, планы наступлений и контрударов, и миллионы и миллионы были заняты выполнением этих планов, которые часто в конечном счете обращались в свою противоположность.

В начале августа 1941 года Гитлер рассчитывал быть в Москве, и уже была дана директива «...после уничто-

жения русской армии в сражении под Смоленском перерезать железные дороги, ведущие к Волге, и овладеть всей территорией до этой реки», но на поверку вышло иначе, немцы не только не взяли Москвы, но были отброшены от нее далеко назад, оставляя в метровых снегах десятки тысяч убитых и раненых, сотни и сотни танков, орудий и машин; участь Москвы была решена не слабостью или неопытностью немецких армий, не снегами или сильными морозами, помешавшими в какой-то мере немцам применять машинную технику во всей ее мощи; они ее использовали по самым высоким ее возможностям. Участь Москвы, а следовательно, и первого этапа Восточной кампании Гитлера, была решена тем, что именно в этой точке сила противостояния советского народа достигла наивысшего предела и намного превысила наступательную силу захватчиков, уже давшую глубокие трещины на Смоленщине, где было сбито и стерто самое проникающее ее острие, ее превосходство, и это тотчас отозвалось на состоянии во всем мире и в каждом отдельном человеке.

Село Густищи Холмской области в первый же год войны оказалось в глубоком тылу у немцев; по закону народной войны, когда в одно целое связан весь без исключения народ, и здесь, в немецком тылу, чувствовалось каждое движение *там*, на фронтах, в верховных штабах; и здесь улавливалось и прослушивалось малейшее колебание противостоящих друг другу сил, потому что и такое обыкновенное, ничем не примечательное село Густищи, каких в стране и на оккупированной территории великое множество, было связано жизнью своих людей, рассеявшихся по стране, со всеми действиями времени. В самих Густищах тоже шла невидимая, негласная и, однако, напряженная и постоянная работа времени; еще с осени прошлого, сорок первого года, когда вокруг начали поговаривать о том, что под Москвой Гитлеру крепко намяли бока, все заметили, что староста Торобов Демид, назначенный в Густищи немцами и с момента их прихода в первое время выполнявший свои обязанности ревностно и даже с определенной жестокостью, стал к весне мягче и незаметнее, а его баба, толстая Антонина, опять, как и в старые, довоенные времена, запросто зачастила к соседкам и при каждом удобном случае вставляла со вздохом, что вот, мол, делать нечего, поставили в старосты силой, против нее не попрешь, худого Демид никому не делает,

а людям не угодишь, недовольны, а с чего? Охотно поддакивая старостихе, соседки прикидывали, к чему бы это она петлю на петлю нижет, знать, жареный петух в зад клюнул... Но открыто высказываться воздерживались, боялись попасть не туда. В Густищах с приходом немцев происходило много непонятного: так, например, один дядька Захара Дерюгина, Игнат Кузьмич, куда-то исчез, а второй дядька того же Захара Дерюгина — не менее уважаемый на селе Григорий Васильевич Козев, оказался в полицаях, под началом у старосты, и ходил по всему селу с белой повязкой на рукаве и с длинной старой винтовкой. Уж лучше бы не лезть ему не в свое дело, потихоньку говорили в Густищах, дождаться, чтобы все своим чередом объяснилось и раскрылось, да и года не те. Староста и его полицаи назначали людей в извоз, в команды по ремонту дорог, собирали теплую одежду по дворам, полушубки, валенки и овчинные рукавицы и все это отправляли в город; время придет, шептались густищинцы, свой расчет получит сполна каждый.

В семье Дерюгиных, как и раньше, верховодила Ефросинья: по-мужски толково она раз и навсегда распределила между детьми работу по дому; Аленку на всю зиму засадила прясть и редко выпускала из дому, несмотря на недовольство свекрухи; Иван таскал воду и колол дрова. Нашлась работа и меньшим, Егору и Николаю; они были приставлены к бабке Авдотье для всяких мелких поручений: подать, принести, подмести, откинуть от крыльца снег. С тех пор как в Густищах заговорили о том, что главным начальником над полицией в Зежске стал Федька Макашин, Ефросинья уже не могла избавиться от смутного и глубокого страха за детей; она теперь запоздало жалела, что согласилась с мужем поставить новый дом, уж больно он выпирал из общего ряда, и всякий заезжий с винтовкой норовил побывать именно в ее доме, самом нарядном и богатом по виду на селе. «Теперь бы нужно жить неприметнее, где-нибудь на задворках, подальше от чужого ненасытного глаза»,— думала Ефросинья бессонными, хоть глаз коли, ночами, прислушиваясь к спокойному дыханию детей. Сама за себя она и палец о палец не стукнула бы, да их ведь четверо на руках; вот и старший Иван что-то начинает хорониться, куда-то исчезнет и на день, и на два, и не допытаешься толком, буркнет что-либо несуразное, а сердце-то углем жжет. Если бы к девкам

(хотя, по-хорошему, рановато ему), она только бы обрадовалась, семнадцатый год парню от святок пошел, может, и поспел, вот и усы проглянули, лезут. Здоров в отца, и глаз такой же косоватый, насмешливый последнее время, гляди, в лето приберут к рукам, в полицию заграбастают или еще куда похуже. Окрутила проклятая доля; даже и с Манькой Поливановой они, бывает, и остановятся, поговорят по-хорошему; тянет их последнее время друг к другу, общая беда словно и взаправду сроднила.

Лежит Ефросинья на кровати в своем углу за занавесью, проснулась задолго перед светом, вставать рано нечего, ни скотины во дворе, ни птицы, все подчистую выгребли немцы. Под печью единственная живность — пара кроликов; Егорка еще с осени откуда-то принес, хозяйственный растет. Ефросинья думает о кроликах: «Вчера Егорка с Колькой говорили, будто крольчата уже есть, нехорошо, изроют подпол, еще хата осядет. Господи, господи,— думает Ефросинья тупо, так ничего определенного и не решив,— малые дети — малые заботы, большие — и заботы большие. За одну Аленку сердце вот иструпехло, стук какой — в груди тиснет. А девка, как назло, с каждым часом лучше да приметней становится, в горький час мир дразнит. Нашелся бы человек подходящий, не раздумывая замуж бы погнала». Лежит Ефросинья без сна; мысли перекидывает с одного на другое; трудно понять происходящее, и Григорий Васильевич, которого она всегда уважала и верила ему, ничего не может сказать; а крестный-то Захаров в воду канул, ни слуху от него, ни духу. Разве хорошо Григорию-то Васильевичу белую повязку на руке носить, дядька родной все-таки Захару, Иван на днях что-то такое буркнул насчет Григория Васильевича, да она не поняла, вот и остарела, уж и в толк трудно взять молодых.

Был близок рассвет, а Ефросинья все никак не могла встать; ломота пошла по костям, и она подумала, что надо бы летом попариться муравьями; она слышала, как ходила в передней комнате свекруха, бабка Авдотья, очевидно примериваясь, пора ли топить печь; Ефросинья еще полежала и поднялась. Дети всегда спали крепко, и она не боялась их разбудить; она оделась, сунула ноги в теплые опорки и тут услышала в передней комнате встревоженные, приглушенные голоса; на ходу закручивая в узел волосы, она вышла со

шпильками в зубах и увидела Маню Поливанову, Маня от порога бросилась к ней.

— Беда, беда, Фрось!— зашептала она торопливо и сбивчиво.— Аленку скорей буди, прячь, какая-то чужая команда нагрянула, девок забирают. Скорей, пусть хоть в поле выскочит, пока все обляжется!

Бабка Авдотья проскользнула мимо Ефросиньи и растолкала Аленку, тут же отыскивая ей одежу; та со сна ничего не понимала и лишь испуганно вертела головой и спрашивала, что такое стряслось. «Да одевайся ты, одевайся!— прикрикивала на нее бабка Авдотья.— Поспешай, поспешай, не копайся зря!»

Проснулся Иван, спросил, в чем дело, и, не получив толком ответа, быстро натянул давно тесноватые штаны, намотал портянки, надернул валенки и потопал ногами, проверяя, удачно ли. В этот момент и хлопнула дверь и ворвался чужой хриплый голос; в сенях забухали тяжелые шаги, кто-то споткнулся в темноте и громко выругался; к Дерюгиным явились двое.

— Давай, тетка, сюда свою девку,— тотчас приказал один из них, стаскивая с плеча карабин и стукая прикладом о пол, тем самым подчеркивая и показывая свою власть с тщанием маленького, потому особо усердного в жестокости человека.— Ну-ну, не мешкать мне, живо!— возвысил он голос, а второй, простуженно кашляя, тем временем прошел в горницу и скоро вывел оттуда Аленку, с явным удовольствием придерживая ее за плечо; Аленка вся сжалась и дрожала.

— Хороша девка,— залюбовался ею полицейский у порога.— Сам бы съел, да денег жалко.

— Богородица-дева, ты ай нехристь?— подступила к нему бабка Авдотья.— По какому такому праву девку мытаришь? Отпусти счас же девку, антихрист рогатый, ей и пятнадцати годов-то нету; куда ты ребенка ведешь?

— Ах, хорош ребеночек, ох, хорош!— с откровенной издевкой заржал маленький у двери.— Бабка, хватит галдеть, давай ей одежду, да харчей в управу на две недели принесете, сухарей поболе. В Германию ваша девка покатит, культурную жизнь изучать. Вернется после войны кралей, фрау гутен морген, а может, и не одна,— опять же не удержался полицейский от злой шутки; Ефросинья не выдержала, заплакала, рванулась к Аленке и, оттолкнув ее в угол, заслонила собой.

— Не отдам, убивайте меня сначала, а девку не дам,— кричала она, раскинув руки в стороны.— На,

стреляй, стреляй, кровопиец, стрельни в самую середку, вот кто-нибудь так в твою мать ударит...

Тускло горела на столе коптилка, изгибаясь и дымя острым язычком пламени; Аленка из-за плеча матери с ненавистью и страхом смотрела на медленно приближавшегося от порога человека и, подогнувшись, проскользнула под руку матери, стала впереди нее.

— Не надо, не надо, мам,— сказала она, задыхаясь от собственной решимости.— Я пойду, он же, смотри, убить может...

— Правильно, девка, молодец,— похвалил полицейский, останавливаясь перед нею.— Могу и убить. Не пропадет твоя телка, тетка,— обратился он к Ефросинье.— Погляди вон, какие телеса наела, пусть послужит хорошему делу.

Аленка, слепо пройдя мимо него к порогу, сняла с гвоздя полугейшу, оделась, повязалась. И бабка Авдотья, и Ефросинья, хотевшие опять броситься к ней, были остановлены; бабке Авдотье промеж сухих грудей, словно предупреждая, сунулось твердое дуло карабина, а Ефросинью просто осадили назад.

— Ну, ты, отведи эту,— сказал, удерживая новый приступ кашля, один полицейский другому,— а я еще по хатам пошарю, глядишь, лишних три десятки будет.

Аленку увели; и Ефросинья, и бабка Авдотья завыли в голос, кинулись к двери, но их опередил Иван; сунув руки в телогрейку, нахлобучив на голову шапку, он сразу же пропал; Ефросинье послышалось, что он что-то сказал на ходу, но она не разобрала, что именно. «Иван! Иван!» — закричала ему вслед Ефросинья, совсем ополоумев; она тоже хотела бежать, но ее удержала Маня; проснулись Николай с Егоркой, испуганно торчали со всклокоченными головами в дверях, поджимая ноги от холода и с трудом удерживая слезы от воя и вида бившейся на лавке матери.

— Не успела, чуток не успела,— кусала белые губы Маня, не зная, что делать и что еще сказать Ефросинье и бабке Авдотье.— Это какие-то чужие,— говорила Маня растерянно.— Ко мне Настя Плющиха прибегала, иди, говорит, Ефросинью скорей буди, пусть девку хоронит. Ее старостиха Антонина послала, чужие, говорит, из города нагрянули, девок в Германию берут. Горе горькое, и до чего же народ дожился, как скот в продажу...

Ефросинья встала с лавки с распухшими губами, с красным лицом, растрепанная, стала молча собираться.

— Куда, куда! — кинулась к ней бабка Авдотья, в широкой холщовой рубахе с узким, глухим воротом.

— Пойду, мамаш, может, упрошу катов-то, неужто у них сердца-то из железа?

— А как не упросишь? — резко спросила бабка Авдотья.— А как с самой что сделают, волки-то эти? Вон,— она кивнула на Николая с Егором,— у тебя еще двое. С ними что будет? На меня не надейся, мне недолго, сложу руки крестом на груди и готово. Я свое оттопала, надоело мне жить на таком страмном миру. Не ходи, Фрося, не надо. Ужо лучше мне, старой, пойти узнать, что да как, мне теперь никакой нечистик не страшон. А ты лучше печку растопи, картошку вари.

Одеваясь, бабка Авдотья все время думала о любимой и единственной внучке, представляя ее именно в этот момент в чужих руках так, что по коже проступал мороз и делалось дурно; Аленка же, в сопровождении одного из полицейских, еще не успела отойти слишком далеко от дома: было темновато, хотя все уже посерело вокруг. Аленка слышала сопевшего позади полицейского; неожиданно схватив за плечо, он остановил ее, приблизив жарко дышащий рот к самому ее лицу.

— Послушай, девка, хочешь, отпущу? Зайдем в какой-нибудь сарайчик, после валяй куда глаза глядят. Скажу — убегла.

Аленка с отвращением, молча отняла у него плечо, повернулась и пошла дальше.

— Дура,— с сердцем сказал он ей следом.— От тебя кусок не отвалится, на то девка и родится. Самой сладко будет, куда бережешь? Там, в Германии, наплачешься, это здесь сулят разного добра, а там наплачешься.

Раздался изумленный вскрик полицейского, Аленка оглянулась и тут же услышала прерывающийся голос Ивана, сбившего полицейского с ног и теперь пытавшегося вырвать у него карабин.

— Беги, Аленка, беги! — кричал Иван, барахтаясь сверху на полицейском и раскидывая ноги шире, чтобы удержаться.— В лог,— понизил он голос,— знаешь куда... там найдут... Скорей,— задыхаясь от усилия, заорал он, подняв залепленное снегом лицо и видя по-

прежнему стоявшую на месте сестру; Аленке показалось, что он тяжело, по-мужски выматерился; она метнулась в сторону, перескочила чей-то, кажется, Володьки Рыжего, покосившийся плетень и побежала в поле; дело близилось к середине марта, и слежавшийся, подтаивавший к полудню, а в ночь подмерзавший сверху снег хорошо держал ее. Сзади гулко ударил выстрел; она дернулась всем телом на ходу, споткнулась; только теперь ее пронял дикий страх; она бежала, задыхаясь и падая, и все думала о том, что Иван лежит теперь в луже крови и мать с бабкой воют над ним, распустив волосы; одно время она хотела вернуться, но тут же подумала, что ничем не поможет, только заберут и угонят в ту самую Германию, знакомую лишь по учебникам, газетам да по войне. А теперь, что же будет теперь?

Схватившись за грудь онемевшими пальцами, Аленка остановилась отдышаться; из села, бывшего уже далеко, доносились встревоженные голоса; рассветало, и нужно было спешить. Господи, она иногда недолюбливала Ивана, все как-то старался толкнуть, обидеть, все насмешничал, особенно перед самой войной, когда заметил, что на нее начинает засматривать Пашка Куликов, сын председателя. Пашка учился в Зежске на агронома и часто приезжал домой, почти каждое воскресенье, вот уж тут Иван поиздевался над ней, даже обидно. Она хоть и замечала, что Пашка Кулик (Куликом его звали по прозвищу отца) посматривает, но сама никак на это не отзывалась. Он был совсем взрослый парень, Пашка Кулик, а она соплюшка; да, впрочем, чего там, волновало и ее как-то по-новому это внимание со стороны взрослого, к тому же высокого, плечистого парня; а Иван-то под конец совсем освирепел, проходу не давал, а дома всякие смешочки. Она даже плакала не раз; вот ведь, думала, здоровый дурак, в военное училище собирается, а ничего не понимает, лезет не в свое дело. А потом и отца забрали, и Пашку Кулика забрали, и никого в селе не осталось. Иван сразу подобрел и перестал обращать на нее внимание... Да отчего он послал ее в Соловьиный лог, в ту ли полуразваленную избенку в самой глухомани, что принесло лет пять назад в половодье да и приткнуло, перекосив во все стороны, в логу? Так что ей там делать, кого ждать? Кто это за нею туда придет? А мать-то теперь...

Аленка снова остановилась в растерянности, испы-

тывая почти непреодолимое желание вернуться; чего уж им мучиться из-за меня, говорила она, уж лучше мне одной страдать, чем всем. Вот вернусь, и все. А там что же ей сидеть, в Соловьином логу; все говорят о партизанах, а где они, никто точно не знает. Она бы с закрытыми глазами ушла, и ничего ей больше не надо, что угодно делала бы, стирала, мыла, штопала, варила, лишь бы свои кругом; да ведь и она до войны девять классов закончила, тоже в Зежске на квартире стояла два года; отец и дрова привозил, и картошку, все твердил, чтобы училась, не баловалась, самому не пришлось учиться, так хоть дети за него наверстают.

К Соловьиному логу Аленка подошла уже засветло; села не было видно, а в логу, ей показалось, стоял морозный туман. Она стала присматриваться и скоро поняла, что ошиблась: кусты и лес на фоне снега к весне проступили резче; Аленка еще раз огляделась и стала спускаться по тропке, пробитой густищинцами, возившими последнее время дрова из лога на салазках. Она знала, где находится принесенная половодьем в Соловьиный лог развалюха, и через час примерно добралась до нее, с трудом открыла перекошенную дверь и заглянула вовнутрь. На нее пахнуло сыростью и холодом, в дальнем углу высился небольшой закопченный очажок; зимой здесь собирались погреться заготавливавшие хворост бабы, а летом разве только ребятня затеет вокруг какую-нибудь шумную игру. У Аленки с собой не было спичек, ни огня зажечь, ни обогреться, она еще раз беспомощно заглянула в темноту за дверь. В следующую минуту ей показалось, что совсем недавно здесь кто-то был, и Аленка, шагнув вовнутрь, внимательно осмотрелась: действительно, зола в очаге недавняя, свежая, отметила она, рядом устроено нечто вроде сиденья; в щели в стене торчала скомканная бумага. Аленка осторожно потянула ее, разгладила. Приглядевшись, она едва себе поверила, в руках у нее был измятый обрывок старого номера «Правды», и она долго в него вчитывалась. Присев перед холодным очагом, Аленка сжалась от холода; значит, Иван не зря ее сюда посылал, вот только выдержит ли она ждать, полугейша-то не греет, стара, еще мать раньше выносила. Засунув руки в рукава, она молча сидела; все-таки стены кругом, уютнее, и ветер меньше. А то он, слышно, опять поднимается. Если бы спичку, совсем хорошо,

разожгла бы огонек, погрела руки; можно было бы и день, и два сидеть, ничего страшного.

Совсем окоченев, Аленка, чтобы немного согреться, вышла собрать поблизости сухого хворосту, но прежде она высунула голову из двери и прислушалась. Было тихо, один лишь по-весеннему густой ветер гулял в логу; Аленка помедлила и, притопывая, размахивая руками, стала ходить вокруг развалюхи и ломать сухие сучья с орешника и дубняка; она натаскала в развалюху много сушья, сложила его у одной из стен. Хотелось есть, она старалась не думать о еде; кого-то нужно было ей дождаться, терпения хватит, хотя бы пришлось сидеть неделю. Конечно, прежние их ссоры и придирки со стороны Ивана были глупостью, просто он по-мальчишески злился, а может, и ревновал; он еще не привык, что сестра стала взрослой; это она сейчас вот вспомнила Пашку Кулика, а тогда она не обращала на него никакого внимания. А он в последний год учебы в Зежске в кино ее как-то приглашал; дура, надо было пойти, приятный парень, и лицо красивое, да и старше года на четыре всего, тогда она как о старике о нем думала, дура, дура. Аленка и о матери сейчас погрустила; она уже многое понимала из их отношений с отцом и всегда стыдилась встречаться с Маней Поливановой, а если все-таки и приходилось столкнуться, норовила проскочить мимо, глядя в землю, здоровалась лишь в ответ, да и то сквозь зубы...

Какая-то странная, никогда раньше не ведомая печаль, почти тоска пришла в этот час к Аленке, и себя ей было жалко, и всех знакомых, и незнакомых, и ничего для них она не могла сделать.

Ближе к вечеру самые глубокие места лога затемнели, ветер усилился, солнце скрылось за тяжелыми густыми облаками, Аленка услышала чьи-то шаги; похолодев еще больше, она вышла, притаилась за стеной развалюхи. Но это пришел Егорка, она издали узнала его и бросилась навстречу, обрадованная.

— Чего ж ты огня не запалишь? — первым делом спросил Егор, деловито и спокойно...— Ух, застыла небось, да тут же и дыма никто не увидит...

Аленка порывисто притянула голову брата к себе, поцеловала в жесткие густые вихры и заплакала; Егор отпихивался, и Аленка тут же вытерла слезы.

— Что с Иваном? — спросила она, пристально гля-

дя Егорке в глаза и боясь, что он не станет говорить ей правду.

— Поешь сначала, огонь разведу.— Егор отвернулся, стал искать в карманах; Аленка взяла его за плечи и повернула к себе.— В город Ивана уволокли,— шмыгнул носом Егор и заморгал в сторону.— Их двадцать три человека увели, мать бегала, хлеб носила. Хотели, говорит, Ивана пристрелить, да пожалели. Им за каждую голову по тридцать марок выдают, немецких денег таких, марками кличут. Мать хочет завтра в город сбегать к какому-то своему знакомому... Может, говорит, замолвит за Ивана слово, оставят, ведь молодой еще... Да ничего, ничего, может, вывернется как, слезы-то не помогут. Лучше огонь бы запалила.

— А чем? — спросила Аленка, обнимая брата за плечи.— Спички у меня, что ли? Давно бы зажгла, до костей прохватило, вон зубы-то вызванивают.

— Пойдем, поешь, мать хлеба с салом прислала и картошки вареной. А огонь сейчас разожгу, у меня кресало есть и трут. Тебе тоже надо поучиться, мало что девка...

Пока Егор чиркал кресалом, раздувал трут, выпячивая обветренные губы, и разводил огонь, Аленка, забыв о еде, глядела на него.

— Сюда тебя кто послал, Егорушка?

— Иван матери переказал, как она харч ему носила. Пусть, говорит, сидит там хоть день, хоть два, за ней придут...

— Да кто, кто придет?

— Кто-нибудь придет,— удивленно подняв брови, Егор исподлобья взглянул на нее.— Я почем знаю... Иван знает, раз говорит. Поешь, да не думай. Иван, погляди, убежит, это ты не смогла б, а он убежит, он почти как батя стал сильный, нас с Колькой вдвоем поднимал до потолка.

Умело и не спеша Егор наладил огонек в очажке; дым должен был уходить под стену, но проход оказался забит снегом. Егор приоткрыл дверь теперь можно было сидеть и дышать, и даже было тепло от хорошо и дружно горевшего огня.

— Видишь, Егорушка, у нас с тобой по-черному топится,— сказала Аленка, обогревая руки.— Спасибо тебе, я бы совсем застыла...

— Ничего, побегала бы... Давай, Алена, ешь,— поторопил Егор, хмуря свои короткие сильные брови,

и Аленка подумала, что вырастет Егорка, хорошим мужиком станет, Коля — тот другое дело, хилый, все покашливает, грудью слаб.

Попав на третий день в Зежск, Ефросинья первым делом направилась к Анисимову; она выбралась из дому еще затемно и в Зежске была уже к девяти утра, а в дверь дома Анисимова постучалась чуть позже и, увидев перед собой недовольное, припухшее ото сна лицо хозяина, испугалась, с занывшим сердцем попросилась войти. Анисимов сразу узнал ее; хотя ему и не хотелось, он тут же сделал приветливое лицо.

— Никак, ты, Ефросинья Павловна,— сказал он удивленно.— Кто же это, думаю, стучит в такую рань, а это ты. Ну, заходи, заходи, гостям рады, тем более таким.

— Беда у меня, Родион Густавович,— Ефросинья тяжело и четко выговорила его отчество; от сочувственных его слов у нее задрожали губы.

— Входи, входи, не в дверях же рассказывать,— поторопил Анисимов, успевая зорко окинуть двор и окна чужих домов, не смотрит ли кто. Отступив, он пропустил Ефросинью, закрыл дверь.

Вышла Елизавета Андреевна и тревожно поздоровалась с Ефросиньей, предложила раздеться, усадила и стала расспрашивать о детях, о том, что делается в селе и как вообще живется, какие новости; Ефросинья устало и скупо отвечала.

— Подожди, Лиза,— остановил жену Анисимов,— дай человеку в себя прийти. Вот чаем напои, покорми с дороги...

— Спасибо, спасибо, ничего не надо.— Ефросинья вздохнула.— Вы уж меня простите, Ивана у меня, старшего, забрали. В Германию, знать, на работу, вот я и пришла к тебе, Родион Густавович. Человек, думаю, свой, знает, вместе беду-горе мыкали, может, присоветует дело какое. С Захаром работал. Жалко парня, пропадет ни за что, квелый еще, шестнадцать годов всего.

Встретив взгляд жены, Анисимов отчужденно отвернулся и зашагал по комнате из угла в угол. «Ну это уж, видать, дело Макашина,— думал он,— а тот свою добычу так просто из когтей не выпустит. Да еще такую, столько лет рвался к ней, не станет ничего и слушать. А хорошо бы совершить акт милосердия, коронный

номер на будущее. Разумеется, всякий там гуманизм — чушь, не в этом дело; раньше он бы и сам с не меньшим удовольствием разогнал дерюгинскую семейку; он верил в породу, и Макашин по-своему прав: нечего жалеть, нужно избавляться от любой потенциальной враждебности; мы-то сами были слишком осторожны и, как следствие, потеряли Россию, развели всяких просветителей и демократов, как клопов в грязной избе, а нужно было просто вешать их, и вся недолга». Анисимов неожиданно вспомнил слова Захара о том, что если не он сам, Захар Дерюгин, так его сыновья вырастут и все на свои места расставят, и словно огонь ожег его изнутри. «Ну, где твои сыновья, Захар Дерюгин? — подумал он даже не с радостью, а с мудрым, жалостливым состраданием.— У меня их не было, у тебя трое и четвертая дочь, а какая сейчас между нами разница? Природа мудра, вот уже одного и нет, старшего... Как же его звали... ага, Иван, Ефросинья сказала, Ивана взяли. Ну вот сначала один, а потом и остальные исчезнут в этом огненном аду, вот и все надежды».

И все-таки, несмотря на все эти смягчающие и в общем-то тихие мысли, Анисимов не мог сейчас настроиться и искренне пожалеть Ефросинью, и даже не потому, что дело касалось сына Захара Дерюгина. Это было нечто большее, чем просто один человек; здесь на Анисимова пахнуло глубиной особой, не подвластной никакой его силе и храбрости, а сам Захар или его сын сейчас явились лишь напоминанием этой бесконечной глубины, дыхание которой, особенно после неожиданного появления Брюханова, заставляло его в холодном поту просыпаться по ночам, вскакивать и затем чувствовать, как припадают назад к коже волосы.

Он и сейчас пережил нечто подобное, помедлил, подошел к столу; женщины все так же молча ждали, наблюдая за его быстрыми, нервными движениями.

— Ефросинья Павловна,— сказал Анисимов, успокаиваясь окончательно.— Понимаешь, мы с женой рады тебя видеть. Но что я могу сделать? Сама знаешь, я сам на виду, еще каким-то чудом немцы не трогают... но долго ли? Что я тебе могу посоветовать... идти к Макашину? Другого пути нет. Макашин, по-видимому, этим делом как раз и ведает. Нет,— повторил он,— другого пути, хотя Макашин Захару вовек враг. А может, и не стоит так убиваться, Ефросинья Павловна? — Анисимов подошел, тяжело опустился рядом с ней на стул,

задумался.— Смотри, что делается... По таким сумасшедшим временам шестнадцать лет — взрослый срок, не сегодня завтра все равно придется определяться. Там он хоть работать будет, жив останется, а в другом качестве ему только в полицию под пули идти, а?

Ефросинья молча слушала, глядя на Анисимова потемневшими, строгими глазами; она уже поняла, что настроен он плохо, против: Анисимов улыбался, но она знала, что это все притворство, и руки у нее совсем опустились. Может, и взаправду боится, подумала Ефросинья, был в коммунистах и начальником работал, а жив почему-то и на свободе, а Ивана взяли. К Макашину и в самом деле не пойдешь, от греха, как говорят, подальше.

— Как же так? — спросила Ефросинья беспомощно, перебегая взглядом с Анисимова на Елизавету Андреевну.— Свой же ребенок, у какой матери грудь не заболит...

— Немцы давно забирают молодежь на работы.— Анисимов вздохнул.— Туго, видно, приходится. А как у тебя остальные-то ребята?

— Колька с Егоркой остались, чего им, малы еще.— Ефросинья сцепила тяжелые руки на коленях.— А девку-то хотели взять, да Иван, когда вели, вступился, отбил. Вот она и убегла, а его схватили. А ее и след простыл, не знаю, что и думать. Может, где в поле застыла.— Она говорила все так же, не меняя тона; в последний момент она почему-то не сказала Анисимову правду, хотя твердо знала, что и он все равно ей не верит, как она ему больше не верила.

Елизавета Андреевна стала расспрашивать, кто из ее знакомых живет в Густищах, и болезненно раскрывала глаза, выслушивая скупые ответы Ефросиньи; Елизавета Андреевна тоже не знала, что посоветовать: она впервые понимала мужа и не видела возможности помочь хотя бы словом.

Выпив чашку крепкого горячего чая, предложенную хозяевами, Ефросинья вытерла губы, поблагодарила скупо и ушла; ее не удерживали; когда за нею закрылась дверь, Анисимовы долго молчали, затем Елизавета Андреевна, оставив на столе все, как было, легла на диван и раскрыла томик стихов Надсона в старом, дореволюционном издании; Анисимов же почувствовал сильнейшее желание как-нибудь встряхнуться, водка отпадала, нужно было какое-то другое, более сильное

средство. И хотя раньше он старался не показываться на улицах, на этот раз он вышел побродить по городу; теперь, после встречи и разговора с Брюхановым, он имел право на это и даже был обязан время от времени им пользоваться. Немцев попадалось мало, встречались все больше настороженные, робкие, еще издали уступающие дорогу женщины и дети. Кто-то с ним издали почтительно поздоровался, он не заметил; он все ожидал, что его остановят, но и этого не случилось, и все-таки к вечеру он встретился с Макашиным. Мудрено было в таком городишке, как Зежск, пробродить почти весь день и не столкнуться с нужным человеком. Они не стали разговаривать на улице и скоро сидели у Макашина в его так называемой квартире из двух просторных светлых комнат, кухни и прихожей; старинный, мореного дуба, гарнитур, ковер на полу были из дорогих; высокий диван из резного дуба с мордами львов особенно бросался в глаза. «Стоящая работа»,— определил Анисимов, подробно рассматривая свирепое выражение оскаленных деревянных зверей, на которых удобно покоилось широкое, обитое потершейся кожей сиденье.

— Ну что, Густавович,— спросил Макашин, сбрасывая на диван шинель и поверх тяжелый ремень с пистолетом,— какая тебя беда из дому вытряхнула?

— Какая беда! Не могу больше тараканом, воздуху не хватает.

— А, помнишь, я тебе говорил! — обрадовался Макашин.

— Говорил! Говорил! Из всех щелей лезут! Понимаешь, ко мне сегодня жена Дерюгина Захара приходила, за сына просила...

Зрачки Макашина стали холодными и колючими, он тщательно расчесал густые волосы перед огромным, чуть ли не в полстены зеркалом в затейливой резной, тоже мореного дуба, раме (Анисимов все время пытался припомнить, где видел это зеркало до войны), косо взглянул на плохо притворенную дверь, но закрывать ее не стал, передумал.

— Дальше,— бросил он Анисимову.— Ты в заступу ходоком? Зря. Он у меня в полиции, я его сразу отсортировал. За нападение на полицейских я его под расход подведу, никакой ему спасительной Германии.

— Ну,— откровенно поморщился Анисимов,— грубо, по-мужицки. Нашел спасительную! Я от тебя боль-

шего ожидал, Федор. Ты думаешь так Захару насолить? Грубо, плоско. Шлепнуть его, ну и что? А вот когда его на рудник куда-нибудь, да там перетряхнуть в обратную сторону, вот где настоящая казнь. Для отца ничего нет страшнее, если его сын врагом станет... Под расход! Эка невидаль!

Анисимов старался говорить просто, понятно, приходится делать усилия и объяснять азбучные истины, да еще, убеждая, соглашаться с ними. «Узнай Лиза, опять скажет, что я мелок,— подумал он вместе с тем и о самом себе.— Ведь что тебе, казалось бы, теперь Захар Дерюгин, а тем более его семья; и самого Захара скорее всего черви точат, а в тебе все злость к нему живет, мучит тебя, мешает жить, наслаждаться своей властью». И Лиза не права, списав было его с лицевого счета, когда кое-что прояснилось, хорошо рассуждать, а было время и другое. Если не он Захара Дерюгина, так Захар его; здесь дело не в кровной мести, а просто в биологическом инстинкте самозащиты; есть же такие насекомые, которые поражают своих потенциальных врагов еще в яйце, и потом уже здорового развития потомства не бывает; человек, если разобраться, мало чем отличается. Почему он должен был считать собственным измельчанием естественное стремление в зародыше пресечь грозящую ему биологическую опасность, сыновья Захара — это сыновья Захара, и вырастут они, разумеется, ему подобными звереньшами; от китайца может родиться только китаец, поэтому единственно разумный путь был, где возможно, душить, приостанавливать, вбивать обратно в землю, да подальше, поглубже. Теперь, разумеется, иное, да ведь Макашин не отступится и до конца все равно ничего не поймет; пусть уж лучше Иван Дерюгин едет в Германию.

— Что замолчал, Густавович? — спросил Макашин, глядя на Анисимова и пряча усмешку.

— Вот о жизни задумался,— с готовностью повернулся к нему Анисимов.— Все-таки хорошо жить, Федор. И трудно, и больно,— а хорошо. Надо лишь тоньше, тоньше работать...

— Вот вы-то, грамотные, и переучились,— оборвал Макашин, особо не вдумываясь; его начинали раздражать поучения.— Где надо было за горло с налету взять, вы кланялись да учили, как ты сейчас, а вас тем временем к стенке. Ты вот дельную мысль подал, ну, а к чему нагородил столько? Говорить горазды, вы,

интеллигентные... Вот и хорошо, пусть катит себе в Германию; девка не попала — вот что бесит. Ее бы я не отпустил сразу, я бы Захару на ней все припомнил... Ужо ее-то я ждал, как божьей росы, да эти пентюхи с девкой не могли сладить. Ну и чего ты, Густавович, скалишься?

— Брось, Федор, не трать на пустяки энергию. Захочешь, девок кругом полно, любая твоя...

— Не бреши, Густавович,— опять грубо оборвал Макашин.— Мне одна нужна была, дочка Захара...

— А, чушь, опять чушь,— поморщился больше от грубости Анисимов.— Придет время, сам во многом разберешься. Ты вот что мне скажи, Федор, у тебя в бумагах я как-нибудь означен? — Анисимов заметил быструю, понимающую усмешку Макашина; не отвечая, тот вышел и скоро вернулся с водкой и гранеными стаканчиками, затем принес крупно нарезанное сало, кусок холодной курицы, тушенку. Молча налил, и они выпили; Анисимов не стал закусывать, закурил.

— Зря ты меня дураком, Густавович, считаешь,— сказал Макашин, поглядев на часы и откидываясь в кресло.— Не доведись мне без закона-то пошастать, может, я и не понял бы чего, а теперь... Я ведь тоже тебя берегу, на всякий случай, только вот сам себя не открой невзначай. Говорить ты любишь...

— Тоска,— сказал Анисимов, тускло глядя перед собой,— не могу больше один, иной раз от тишины и пустых стен хочется в петлю влезть, не могу, понимаешь.

— Потерпи, будет и тебе работа.— Макашин знал, что слова его бесят Анисимова, и, наслаждаясь минутой, хозяйственно отодвинул от края стола тяжелый чернильный прибор.— Не бог нас с тобой, Густавович, черт связал веревочкой, один дернет, другому режет.

Он говорил по-прежнему миролюбиво; Анисимов встал и по привычке засновал из угла в угол по комнате. «Вот свинья,— думал он о Макашине с бессильной злобой, в то же время не пропуская ни одного его слова,— на одну доску с собой ставит, безграмотный хам, порождение того же хаоса, что и Захар Дерюгин... Тот же хам наоборот. И все-таки у него практическая хватка, он прав, нужно быть осторожнее. Вот сегодня дал себе волю, нехорошо, стареешь, стареешь, голубчик,— сказал он себе.— Вот и нарвался, надо бы подождать, чем весь этот кавардак кончится, а может, и выпадет

еще и свое слово вставить, так ведь не выпустит из своих лап, не вырвешься».

Почувствовав на себе взгляд Макашина, он круто повернулся; минута была резкая и неприятная, должно было произойти что-то нехорошее. Анисимов подошел и сел напротив.

— Поедешь завтра со мной, Густавович,— тотчас сказал Макашин спокойно, как о деле давно решенном и обговоренном.— Недалеко, в спецлагерь в бараках моторного. Нам четырнадцать человек в службу дают, на выбор, они все согласные, вот ты мне и поможешь отобрать.

Сначала Анисимову показалось, что Макашин шутит, но он тут же, едва встретившись с ним глазами, зло вспыхнул; он слегка склонил голову набок, рассматривая Макашина.

— Что, решил понадежнее прикрутить? — спросил он с издевкой.

— Да нет, что ты, Густавович, ты это зря. Дело-то хозяйское, нам же с тобой покойнее будет, если людей понадежнее отберем. Если не хочешь, не надо, один справлюсь.

— Почему же, изволь, если ты так решил,— ответил Анисимов все с той же насмешкой и раздражением, опять принимаясь ходить; у стола он помедлил, как бы раздумывая, затем налил водки себе и Макашину.— Что ж, Федор, давай выпьем за доверие, должен ведь быть хоть один человек в мире, которому ты веришь. Ну, бывай, брат Федор.

— Выпьем, Густавович,— прищурился Макашин, поднимая стакан.— Оно верить, конечно, надо с оглядкой...

— С оглядкой? Понятно, понятно, ну, будь здоров, хоть и с оглядкой.

Анисимов запрокинул голову, проглотил водку и скоро ушел, злой на Макашина, а еще больше на себя: можно было отказаться. Его плохое настроение не прошло и назавтра, когда они вдвоем с Макашиным в сопровождении двух конных полицейских ехали в спецлагерь, и особенно оно усилилось на обратном пути; отобрав людей, и по документам, и после личного знакомства, они возвращались назад; добровольцы нестройно шли впереди, конные полицейские ехали по краям дороги вплотную за ними, а Макашин с Анисимовым, слегка отстав, тряслись в дрожках позади; раза два попытав-

шись вызвать Анисимова на разговор, Макашин повернулся к нему спиной и, перебирая ременные вожжи, молча курил. Анисимов был зол на Макашина, но где-то в душе одобрял его; на его месте он бы и сам действовал примерно так же.

Все дальнейшее произошло для Анисимова столь неожиданно, что он, уже в здании полиции, в длинном, с решеткой на высоком окне мрачном кабинете Макашина, даже пришел в хорошее расположение духа. Он сидел и молча наблюдал, как Макашин допрашивает невысокого скуластого парня, который попытался на полдороге из спецлагеря в Зежск нырнуть в овраг и был сбит с ног конным полицейским; парень явно упорствовал и врал, отвечая на вопросы Макашина, и тот начал выходить из себя; Анисимова это забавляло; он не спеша курил. «Хорошо,— думал он,— этот камешек спесь с него хамскую несколько собьет».

— Ну-ка, Родион, спроси ты,— приказал Макашин,— может, он тебе хочет ответить. Ну?!

Анисимов пожал плечами, медленно встал и шагнул к парню; сейчас возражать взбешенному Макашину было незачем, но Анисимов всем своим видом дал ему понять, что он, подчиняясь, все-таки недоволен и что Макашин в отношении его, Анисимова, ведет себя по-свински.

— Кого же ты провести хотел? — спросил он у парня, отмечая его разошедшиеся, неясные зрачки.— Зачем было записываться добровольно? Ведь тебя никто за язык не тянул? Так? Откуда родом, а?

Парень трудно шевельнул разбитыми, вспухшими губами, и Анисимов не успел отшатнуться, что-то теплое и густое залепило ему глаза и верхнюю часть лица, поползло ниже; взрыв ярости потряс его, и он опомнился лишь после того, как парень, хватая ртом воздух, царапая пальцами стену, стал сползать; Анисимов дико взглянул на вздрагивающий пистолет у себя в руке, стал совать его обратно в карман.

— Ты этого добивался, мерзавец? — повернулся он к Макашину и увидел серую летучую улыбку на его лице.— Этого, да, скотина? Так я и тебя заодно могу...

— Молодец, Густавович! — Макашин громко захохотал.— Ей-богу, молодец! Вот теперь другой табак... вот теперь...

— Скотина! Ах, какая мерзкая скотина! — Анисимов стиснул зубы и, не оглядываясь, выбежал; хохот

Макашина звенел в ушах, и Анисимов, не скрываясь, быстро шел по знакомым улицам, мысль о жене словно ударила его, и он вынужден был немного постоять, чтобы успокоить дыхание. Напротив с угла крыши свисала толстая и длинная сосулька, орали и дрались, чувствуя близкую весну, в голых ветках старой липы вездесущие воробьи; все то же самое, то же и вчера, и два дня назад, и завтра, и через десять дней, но все это уже напрасно...

Притупленно вслушиваясь в раздражающий, оскорбительный и бессмысленный сейчас шум, Анисимов понял, что он действительно хотел что-то изменить в своей жизни, и короткая судорога передернула его.

15

Грязная пристанционная площадь под просторным куском жидкого весеннего неба из конца в конец забита народом: женщины, чьи дети или родственники попали под отправку в Германию, собрались со всего Зежского района, принесли, как было велено, харчей на две недели, белья. Погрузкой распоряжался сам начальник полиции Макашин, он ходил по перрону в длинной шинели, временами исчезая в станционном здании погреться; делать ему особо было нечего, но он в этот день был непривычно собран, побрит, туго подпоясан; он твердо выполнил разнарядку, собрал для отправки в Германию двести сорок человек со своего уезда, мог бы собрать и еще столько же, но он уже давно усвоил мудрое правило — поперед батьки в пекло не лезть — и теперь был собой доволен. Почему-то его все время тянуло к тому месту, где находился в ожидании команды грузиться Иван Дерюгин; рассуждения Анисимова убедили его, но теперь вот, когда он увидел Ивана Дерюгина так близко, снова засомневался; знаем мы вашу белую кость, встречали таких, всю грязь вывозить чужими руками, за версту начинают нос воротить.

Вернувшись который раз к тому месту, где стоял Иван (он был почти на голову выше остальных и легко отыскивался), Макашин достал сигареты и закурил. Перед ним волновалась забитая людьми площадь, но он видел одного Ивана, сына Захара Дерюгина. Он давно, уже лет десять, не видел Захара, и теперь ему было трудно сладить с мыслью, что перед ним сын Захара, а не он сам; в один из моментов Иван почувствовал на

себе взгляд со стороны, повернул голову и стал искать и нашел. Они встретились глазами, и это длилось всего лишь несколько секунд, и, как иногда бывает, они узнали и *поняли* друг друга и успели один другого люто возненавидеть; в этом молчаливом поединке на расстоянии нельзя было выиграть, и Макашин рассвирепел; у него появилось дикое желание тут же выхватить Ивана из толпы и застрелить прямо на глазах у всех, к чему-нибудь придравшись; Макашин знал, что где-нибудь здесь, в толпе, притаилась и Ефросинья, нащенившая и пустившая в мир это колючее, жесткое семя; пусть бы повыла, сука, а он бы послушал. Анисимов со своей колокольни тоже прав — что такое секунда? Хлопнул выстрел, и готово, да ведь разве такой змееныш переделается? Одно верно: великая ему мука будет с таким волчьим норовом, железо станет грызть, зубы выкрошит, вот бы на него в ту пору полюбоваться. Гора с горой, говорят, не сходится, а человек с человеком всегда может...

Макашин повернулся и пошел. Иван следил за ним, пока мог; он едва стоял на ногах, и ему хотелось одного, чтобы все скорее кончилось. Он все время угадывал в толпе за деревянным частоколом лицо матери; они лишь на какую-то минуту оказались сегодня утром рядом, когда мать передавала ему мешок с харчами и чистым бельем. «Ваня! Ваня! — сказала мать, все пытаясь взять его за руку.— Ты уж скрепись, убьют, звери! О нас не думай, дома проживем потихоньку... Себя береги! Ваня!» Время их кончилось, очередь на передачи была длинной, и его уже относило в сторону; он не успел сказать матери ни одного слова, не нашелся, что сказать,— в свои шестнадцать лет вдруг почувствовал себя беззащитным и беспомощным, и сквозь жидкую пелену, застлавшую глаза, вокруг плыли такие же детские в своей растерянности лица; сейчас, перед самой отправкой, ему хотелось сказать матери, как он ее любит и как ему страшно, но он вместо этого попытался успокаивающе улыбнуться ей, не выдержал и по-детски жадно и жалко метнулся взглядом к ее лицу; и она поняла и услышала его немой стон. Она приподнялась на носки, потянулась к нему и, забыв обо всем на свете, расталкивая плотную, вязкую массу людей, безуспешно пыталась прорваться вперед.

— Пустите! Пустите, проклятые! — задыхалась она; ее сильно и безжалостно толкали, осаживая назад, некоторые расступались; она опять увидела родное, жалкое

в попытке сдержаться лицо сына, и глухой, перекрывший весь гул толпы стон вырвался из нее.

— Мама! Мама! — услышала она его отчаянный звонкий голос.— Не надо!

Она бессильно обвисла среди плотно сдавивших ее людей, но Иван теперь все время видел ее, и в оставшееся время одно очень верное чувство, что сейчас он должен быть сильнее ее, помочь ей, руководило им, и он все время старался показать ей, что спокоен.

Команда на посадку застала его врасплох, он раньше не заметил подкативших вагонов, и лишь взметнувшийся над станцией стон бабьих голосов прозвучал сигналом; только сейчас Иван обратил внимание на просторное небо, уже совсем была весна, под ногами хлюпало, густой запах мазута растекался вокруг, и почему-то глубокая небесная синь дрожала.

Ефросинья вернулась домой под вечер, едва живая, с черным закаменевшим лицом; она ничего не сказала ни детям, ни свекрови, села на лавку, вытянула гудевшие ноги в тяжелых, разношенных лаптях. Бабка Авдотья молча шмыгала перед нею и наконец не выдержала:

— Каменная, каменная ты, Фроська. Мы тоже, чай, родные ему. Слово скажешь, что, лихо с нас, горемычных свалится?

— Говорить нечего,— глухо уронила Ефросинья.— угнали Ванюшу, что ж тут говорить. Все его головку видела, стоит выше всех, и пока в эту клетку на колесах не загнали, все видела... тянулся ко мне...

Нагнувшись, Ефросинья развязала опорки, собрала их и задернула в узел у самых лаптей, размотала насыревшие тяжелые онучки; от оттаявших лаптей по полу двумя бесформенными пятнами расползалась сырость; Ефросинья чувствовала во всем теле вязкий озноб и полезла на печь; бабка Авдотья подала ей туда горячих щей и кусок хлеба с чесноком, и она, неловко согнувшись, прижавшись к теплому комелю спиной, безучастно хлебала из миски, чувствуя, как постепенно отогревается нутро. И бабка Авдотья, присев на лежанку, и Егорка с Колькой на лавке терпеливо ждали, пока она что-нибудь расскажет об Иване, и Ефросинья знала, что они ждут, и не могла заставить себя выдавить ни слова; ей представилось, как трясется теперь где-то в промозглом вагоне ее первенец, и она легла ничком на горячие кирпичи и долго плакала, сотрясаясь худыми лопатками. Ей никто не мешал, и она, затихнув, еще долго лежа-

ла в тепле, глядя горячими сухими глазами перед собой, и потихоньку задремала; только утром она все рассказала своим.

В просторной избе было непривычно тихо и чисто, и младшие сыновья в завтрак сидели за столом необычно чинно, как большие, ели вареную картошку с солеными огурцами; Ефросинья машинально про себя отметила, что Николай ест неохотно, давится, и опять подумала, что надо сходить к Варечке Черной, попросить у нее травы от глистов; после завтрака бабка Авдотья послала внуков наготовить хворосту, протопить печь в горнице, а сама стала обсуждать с Ефросиньей насчет пряжи, холста и как лучше поставить кросна; Ефросинья слушала и больше молчала, а сама думала, что за кросна пора давно садиться, пряжа есть, а все обносились, нижнего белья ни у старых, ни у малых, того и гляди вошь пойдет.

В это время в избу и ввалились староста Торобов и три немца, устоявшийся теплый воздух сразу наполнился крепкими солдатскими запахами; двое из немцев стали закуривать, весело о чем-то переговариваясь, а третий, не обращая внимания на бабку Авдотью и Ефросинью, пошел в грязных сапожищах вместе со старостой осматривать избу; у Ефросиньи сжалось сердце от страха.

К ней подошел староста, краснощекий, видать, уже приложился с утра пораньше к бутылке; Ефросинье пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выдать горькой и бессильной ненависти к нему, здоровому, молодому, с видимой охотой пошедшему работать к немцам.

— Слышь, Ефросинья, такое, значит, представление,— сказал Торобов торопливо, как о деле решенном и безоговорочном.— Хата им ваша приглянулась, будут у тебя на постое. Говорят, восемь или десять человек. Придется тебе, Ефросинья, своих-то переселить, может, Григорь Василич согласится?

— Может, и согласится,— ответила Ефросинья, глядя на свекровь и как бы спрашивая у нее совета.— Надолго они-то?

— Мне они не скажут, тебе тоже.— Торобов улыбнулся немцу в очках, внимательно вслушивающемуся в их разговор.— А тебе, Ефросинья, придется топить здесь, стирать, ну да ты баба привычная, тебя работой не пришибешь. Гляди, не без выгоды, у них паек хороший, да и мужики здоровые, в долгу не останутся.

Ефросинья молчала, и он счел разговор законченным и только приказал старуху и ребят выдворить из избы, навести порядок и чистоту, с тем и ушел вслед за немцами; бабка Авдотья начала было причитать, но Ефросинья послала ее к Григорию Васильевичу; тот тотчас пришел и с помощью племянников собрал и переволок к себе немудрящую ребячью амуницию да бабки Авдотьи сундучок, в котором в самом низу хранилось *смертёльное*; тайком переправили и замотанные в тряпье ребячьи книжки; кроликов не смогли поймать, те словно почувствовали неладное, так и не вылезли из норы, сколько ни караулил их Егорка, забравшись под печь. К вечеру Ефросинья вымыла и выскоблила избу, а на другое утро у нее на постой остановилась команда из восьми человек, приехавших на большой крытой машине; немцы тотчас принялись хозяйничать в избе, перевернули в ней все по-своему. В чистой горнице сколотили длинные нары, к стенам приделали всякие полочки, набили гвоздей, понавешали на них шинелей и автоматов; прикрепили над нарами картинки со срамными голыми бабами с торчащими грудями; глядя на весь этот кавардак, Ефросинья благодарила бога, что Аленка не дома, а где-то далеко в лесу, среди своих, да и за то, что ребята у Григория Васильевича. Тем временем трое солдат во дворе выдолбили яму и устроили новый нужник, огородив его с трех сторон; видать, старшой среди них, высокий, с какими-то нашивками, лет сорока, пришел, опробовал и остался доволен. Вернувшись в избу, он стал указывать Ефросинье на ведра и показывать себе сверх головы, и она поняла, что им нужно воды, и много. Она надела телогрейку, подпоясалась, взяла ведра и коромысло и долго носила воду из колодца, сливая ее в кадку у порога; немцы уже растопили печи — и большую русскую в передней, и вторую, столбом, на чистой половине, грели в чугунах воду и мылись по очереди над большим деревянным корытом, раздеваясь донага и нисколько не стыдясь Ефросиньи, и только когда она открывала дверь, впуская холодный воздух, они дружно и весело орали на нее, молодые, волосатые, в самой мужичьей силе, и она делала вид, что не видит и не замечает их наготы, и только где-то около сердца у нее появлялась и взбухала время от времени саднящая горошина. Она кончила таскать воду, и ее тотчас послали рубить дрова, а затем она убирала в избе и мыла посуду и к вечеру,

совсем измочаленная, пошла ночевать к Григорию Васильевичу.

— Уморили, проклятые,— сказала она, садясь на лавку и развязывая платок.— День-деньской на ногах, на минутку не присела. Боюсь, хату спалят, с самого утра гудит в печи, да и в грубке не перестает.

Бабка Авдотья, устраивавшаяся спать, заворочалась, заохала.

— Руки бы им поотсыхали, безъязыким идолам!

— Слышно, они тут старое авдеевское поместье будут в порядок приводить,— сказал Григорий Васильевич, сучивший при тусклом свете каганца дратву.— Какому-то важному генералу местечко-то вроде приглянулось, он и решил, пока расчухаются, сунуть за пазуху. Вот и пригнал команду, говорят, наше село к поместью приписали, с весны всех туда поголовно на работу. Ребята на второй половине,— сказал он, заметив беспокойный взгляд Ефросиньи.— Тебе тоже там постелили, иди ложись. Человек предполагает, а бог располагает, поглядим. Нам что ни поп, то батька, лишь бы вниз головой не ставил.

Повечеряв и еще больше разомлев, Ефросинья ушла спать, а наутро опять была на ногах, да так и пошло. Украдкой каждый день Ефросинья бросала под печь для кроликов немного сена, свеклы или хлебных корок; немцы, особенно их старшой, тот самый, длинный, с нашивками, совсем признал ее своей, и когда она оказывалась рядом, одобрительно хлопал ее по худым лопаткам, а то и пониже поясницы и добродушно хохотал, показывая большие неровные зубы. Один раз он вышел во двор, когда она рубила дрова, долго присматривался к ее работе, затем взял у нее топор, расстегнул верхние пуговицы мундира и совсем по-крестьянски стал споро и ловко сечь дрова, и делал он это с явным удовольствием, поглядывая время от времени на стоявшую рядом Ефросинью, словно ища у нее одобрения. А у нее и в самом деле на какое-то время мелькнуло чувство, что это Захар орудует с дровами; она даже вздрогнула, наткнувшись взглядом на чужой длинный затылок, и опустила глаза.

...Начавшаяся довольно дружно и бурно весна скоро обрушила снег; несколько дней с утра до ночи пространства над землей были затоплены потоками искристого света, и в одно солнечное, с морозцем утро на старых тополях появились грачи; Ефросиньины немцы, как их прозвали в Густищах, от безделья и сытой еды стали

потихоньку шалеть и плохо слушались своего долговязого унтера Карла Менцклера, фермера из-под Ганновера, часто писавшего жене и сыновьям длинные письма и пытавшегося руководить хозяйством хотя бы издали. Постоянно торчавший у избы Дерюгиных часовой стал временами, особенно днем, пропадать; немцы находили где-то водку и часто пели свои песни; затем в одну из ночей затащили к себе и изнасиловали двух девок; инженера по благоустройству бывшей помещичьей усадьбы все не было, и только когда сошел полностью снег и мало-мальски просохли дороги, из Зежска приехал маленький, верткий человечек и долго вместе с Карлом Менцклером ходил по бывшей помещичьей усадьбе, вокруг огромного запущенного сада. На другой день старосте Торобову было приказано вывести всех от пятнадцати до шестидесяти лет на работу — окапывать и белить яблони в саду, рыть вокруг него канаву и ставить четырехметровые дубовые столбы для изгороди. Ефросиньины немцы присматривали за людьми и подгоняли баб и подростков, а Володьку Рыжего, копавшего с тремя стариками ямы под столбы, один из немцев увесисто ткнул дулом автомата в спину; немцу показалось, что рыжебородый русский дед нарочито медленно поворачивается.

В этот вечер, возбужденные началом работы, освобожденные от безделья, немцы затеяли гулянку; за день Ефросинья умаялась, стирая заношенное солдатское белье, но ее не отпустили, заставили варить картошку и жарить ягненка, который каким-то образом попал к ним в руки в виде жалкой синей тушки; Ефросинья разделала его в корыте, отделила лопатки и окорочки, и когда мимо проходил унтер Карл Менцклер («ундер», как просто и коротко звала его Ефросинья), она с помощью жестов спросила, что ж ей делать с ягненком, и Менцклер тотчас показал ей на большую сковороду и на печь, затем потрепал ее по плечу, засмеялся, приблизив свое лицо вплотную к ее лицу, и она уловила легкий запах вина. По-прежнему смеясь, Менцклер сказал, что сегодня будет спать с нею, потому что русская матка чем-то очень сильно напоминает его жену. Ефросинья не поняла чужого языка, хотя в ней появилась и окрепла настороженность; что-то уж больно расходились немцы, водки откуда-то много натащили, а ночь еще впереди, как бы худа какого не случилось.

Ефросинья в третий раз за день растопила печь и стала жарить ягнятину; Менцклер принес в банке какого-то

студенистого жиру, и хотя Ефросинья так и не смогла определить, от какой животины получился такой бесцветный продукт, дело пошло лучше: ягнятина была совсем постной и прилипала к сковороде. Мясо было готово, Ефросинья сложила его в большую глиняную миску и отнесла на вторую половину; там за двумя сдвинутыми столами, уставленными бутылками и вскрытыми консервными банками, сидели все восемь ее постояльцев; появление Ефросиньи с блюдом ягнятины они встретили дружным приветственным хохотом, выхватили блюдо у нее из рук и насильно усадили с собой, налив в алюминиевую кружку водки из фляги. Один из них, круглолицый и белый, стал объяснять Ефросинье, что сегодня их унтер-офицеру исполнилось сорок лет; он четырежды поднял к лицу Ефросиньи сжатые кулаки, каждый раз с силой выбрасывая пальцы и кивая в сторону Менцклера. Ефросинья поняла, встала, поклонилась Менцклеру, пожелала ему на всякий случай здоровья и долгой жизни и, приложившись губами к водке, выбрав момент, вышла; ей дали пресного немецкого хлеба и кусок ягнятины, и она ушла к печи следить за доваривавшейся картошкой. Опустившись на лавку, она ждала; мелькнувшая за столом мысль испугала ее, и она все время пыталась отогнать ее; ну, уж это дело вовсе мужичье, вразумляла она себя, а у меня вон на руках двое ребят, старуха, мне о них прежде надо думать.

Между тем на другой половине веселье разгоралось; уже который раз солдаты дружно пили за Адольфа Гитлера и затем принимались петь марши; затем двое вышли и вскоре привели упиравшуюся, испуганную Настьку Плющихину. Увидев Ефросинью, Плющихина рванулась было к ней, но солдаты, хохоча, не пустили, протащили ее в горницу и вскоре там заиграли на губной гармонике, затопали. Сдерживая бьющееся сердце, Ефросинья вывалила из чугуна в миски дымящуюся картошку и понесла в горницу; солдаты уже не обращали внимания на еду, только Менцклер, основательно устроившись напротив миски с картошкой, долго, с видимым удовольствием ел, поглядывая на убиравшую посуду Ефросинью.

Сытые от безделья немцы в нерастраченной и томительной силе учили Плющихину танцевать по-своему, вертели ее, лапали, заставляли кружиться; один из них, с прилипшим ко лбу потным чубом, азартно притопывая ногами, дудел в губную гармошку и не отводил от

Плющихиной остановившегося взгляда; и сердце Ефросиньи опять оборвалось. Менцклер за столом встал, сильно постучал алюминиевой кружкой о стол; все стихли, и он приказал сесть и выпить за непобедимую Германию и за лучшего в мире немецкого солдата; солдаты выпили заодно уже и за здоровье унтера, и снова начались танцы. Немцы были совсем пьяны; трое из них спали на нарах, а остальные, кроме Менцклера, тискали уже истошно взвизгивавшую, с жалкими глазами и красным лицом Плющихину; наконец она как-то вырвалась, метнулась мимо Ефросиньи в сени. Немцы бросились было за ней, но Ефросинья успела закрыть дверь, загородив собой выход; один из пьяных рывком отшвырнул Ефросинью, она больно ударилась локтем и плечом о стену, вскрикнула, хотела было бежать вслед за немцами, помочь Плющихиной, но в это время увидела, что Менцклер пристально смотрит на нее и подзывает к себе пальцем. Она поправила ворот кофточки, подошла; Менцклер пощупал ей плечи и грудь, и теперь она поняла, чего он хотел от нее; он тоже приглашал ее куда-нибудь выйти, и она согласно кивнула, невольно от волнения молодея.

— Ладно, пойдем, черт безъязыкий,— сказала она и показала на кружки.— Сначала хлебнем, гляди, и стыда не будет.

Менцклер с готовностью налил; они поглядели друг другу в глаза, выпили, и Ефросинья от своей мысли опять осталась трезва. Менцклер потянул ее к себе, пальцы у него не слушались, по его состоянию она видела, что продержится он недолго; она опять уговорила его отхлебнуть из кружки, толкнула на нары, и он сразу завалился, правда, все еще шаря возле себя руками; в это время в обнимку, что-то распевая, вернулись четверо, уже без Настасьи Плющихиной; они окружили Ефросинью, взялись за руки и долго потешались, приплясывая; у двух из них штаны были застегнуты вперекос. Когда и эти угомонились и захрапели на нарах, Ефросинья заглянула мимоходом в печь, на жарко догоравшую груду угля. Она увидела, как из-под печи, водя усами, высунулась кроличья мордочка; испуганно шикнув, Ефросинья топнула ногой и вышла в сени, на крыльцо; на ступеньках, согнувшись, сидела, крупно вздрыгивая круглыми налитыми плечами, Плющихина; все сразу поняв, Ефросинья опустилась рядом.

— Ну, ничего,— сказала она тихо.— Сама того хо-

тела, все на улицу выскакивала, мясами своими трясла, вот и дотряслась. Молчи уж, девка... Думала, что глаз ни у кого нету? Он хоть немец, да все одно мужик, за версту чует... Наряжалась все... Ладно, ты никому не говори, а я не скажу. Как ничего и не было. Иди домой, поганое к чистому не пристанет.

— А как я понесу? — спросила Плющихина рвущимся голосом.— Господи, да за что же это мне? У меня ж дите растет... Что ж, в погребе теперь безвылазно сидеть?

— Ничего, к бабке Илюте сходишь. Дите, дите, что твоему дитю сделается,— опять тем же ровным твердым голосом сказала Ефросинья и поторопила: — Иди, некогда мне, иди, убраться надо, покуда эти не проснулись... Вишь, нажрались, даже сторожа сегодня не поставили,— добавила она и тотчас опять заторопила Плющихину идти скорее, и когда осталась одна и *почувствовала, что она одна*, едва сдержалась, чтобы не крикнуть и не вернуть Плющихину; слишком страшно было предстоящее. Несколько минут она стояла на крыльце, не в силах сдвинуться с места, точно вся жизнь, с тех пор как она себя помнила босоногой девчушкой на поденках у барина Авдеева и до сих пор, до последней минуты, прошла перед ней; и еще горше стало оттого, что показалось, будто никакой жизни не было. Как-то чужими стали не только Захар, но и рожденные в муках дети; словно она уже оторвалась от этого мира и стала одна в стороне от всего, и только нужно было сделать что-то последнее и *жуткое*, чтобы он, этот тяжкий мир, исчез окончательно. Много было в ее жизни унижения и боли — и от мужа, и от других; с немым, словно у скотины, изумлением она увидела, что за всю жизнь, за все свои тридцать шесть лет, она ни разу не подумала о себе; сначала хворая, умиравшая несколько лет на ее руках мать, потом Захар, которого она любила по-бабьи без памяти, беспрекословно, затем дети... Один, другой, третий. А там уже и прошло все, пролетело, даже эта изба, которой она так радовалась, тоже обернулась бедой, пришли эти безъязыкие, все до срамоты изгадили, Ваню, сыночка, загубили, теперь никаким теплом не согреешься. «Божья матерь, заступница ты наша бабья, укрепи!» — попросила она, и этот голос, родившийся в ней, оглушил ее; да что ж, до каких пор терпеть-то? Пришла пора и ей; хватало ей от своих терпеть, тут и чужие явились! Нет уж, с нее довольно;

больно в душе и мрак, теперь хоть и меду хлебни — горечью обожжет.

Ей послышались голоса, она заторопилась, обмерла, нет, все было тихо, и она облегченно вздохнула. При свете чадящего каганца она внимательно осмотрела своих спящих постояльцев; над «ундером», лежавшим навзничь, с шумным раскрытым губастым ртом, жалостливо постояла. Он как-то долго втолковывал ей, что в Германии у него двое сыновей, и она поняла. Все-таки он не обижал ее и заступался, если накидывались другие. Но все это она вспоминала как нечто постороннее, не имеющее никакого отношения к предстоящему делу. В последний раз остановилась посреди своей новой избы; вся семья радовалась, да и с Захаром постройка примирила. «Что было, то прошло,— сказала она себе сурово, вернее, это сказал кто-то другой, вселившийся в нее с час назад, мохнатый, беспощадный, твердо подсказывавший ей, что надо делать и как.— По весне бросают в землю зерно, а по осени жнут. Мое тоже погибнет здесь, что ж мне о чужом голосить».

И, все так же жалея своего «ундера», Ефросинья принесла из сеней канистру бензину, разлила ее по полу, по стенам и окнам, по ногам пьяных, а «ундера», чтобы меньше мучился, полила погуще до самой груди, и вдобавок прикрыла лицо ему краем солдатского одеяла. Второй канистры хватило, чтобы залить пол и лавки в первой комнате и сенях, затем она, чувствуя, как перехватило дух от едкости, поднимавшейся в воздух, с непонятным остервенением и мукой, словно одним взмахом напрочь отсекла всю свою несчастливую прежнюю жизнь, со двора швырнула горящий каганец в сени, и тотчас гахнуло по всей избе, и она вмиг наполнилась крутящимся белым ревом. С трудом подступившись, Ефросинья через силу захлопнула дверь, закрыла ее, застремив в петли крепкий дубовый колышек, чувствуя, какую бешеную огненную силу отделяет от нее лишь стена из бревен, особенно непрочная именно сейчас; быстро, огородами, Ефросинья побежала к Григорию Васильевичу. Руки пахли бензином, и она по пути хватала землю и терла ею руки; во дворе Григория Васильевича она прислонилась, задыхаясь, к углу сарая, и в этот момент ударил в небо столб пламени и по всему селу послышались тревожные голоса и крики; нырнув в сени, она заскочила на свою половину, торопливо срывая с себя на ходу одежду, забралась в по-

стель, гадая, спят ли Колька с Егором. Сейчас у нее не было ни страха, ни иного какого чувства к происшедшему; она лежала навзничь, стиснув на груди руки. Колька с Егором спокойно посапывали, и Ефросинья ненадолго успокоилась; тотчас удушливая жуть охватила ее с новой силой. «Запалила хату, сожгла живых людей, хоть и немцев, и этого губастого пьяного «ундера». Погубила живых людей огнем»,— думала она в первородном, непереносимом страхе, пытаясь то молиться, то плакать, но ни молитвы, ни слез не получилось; чутко улавливая любую перемену вокруг, она ждала, замирая, дальнейшего; кто-то бухнул в дверь.

— Фроська! Фроська! — раздался взволнованный голос Григория Васильевича.— Хата твоя горит! Скорей!

Ефросинья увидела за его плечом широкое лицо старосты Торобова; тот, отодвинув Григория Васильевича, шагнул к ней.

— Ты когда от них ушла? — спросил он, присматриваясь.— Беда, беда теперь всему селу! Ты когда ушла?

— Отвернись, ирод! — крикнула Ефросинья.—Темнеть стало, сразу и ушла, они там гулянку какую-то затеяли...

— Не шуми, баба, что задом наперед скачешь? Будет теперь тебе гулянка! — староста затряс головой и тотчас выскочил.

Накинув на себя юбку, Ефросинья, как была босиком, выбежала на улицу следом; кровавый отсвет пожара ударил навстречу. Она кинулась за остальными, подчиняясь теперь уже не своему страху или желанию, а бессознательному инстинкту; нужно было не отставать от других и выть в голос.

— Говорила, говорила, сожгут эти безъязыкие антихристы хату,— задыхаясь, надсадно кричала она.— Ох, батюшки, да что же теперь делать! Да как же я буду жить теперь по чужим углам с детьми! Сына угнали, теперь хату сожгли, да куда же теперь мы денемся! Да разнесчастная моя головушка! Да валится на нее без разбору!

Новая изба Дерюгиных, построенная всего четыре года назад, несмотря на старания сбежавшихся людей, сгорела дотла, сгорели и надворные постройки, и крытая немецкая машина, стоявшая неподалеку от крыльца. От огня занялся было сарай у Поливановых, но его удалось отстоять и только крышу растащили, так что деду Макару пришлось ее на следующей неделе ладить заново.

Часть четвертая

1

Ранней весной сорок второго года, когда, спасая Аленку от Германии, Игнат Кузьмич Свиридов увел ее в Слепненские леса, в отряд Горбаня, уже в то время большой, ей пошел восемнадцатый год, и в ней в полную меру обнаруживалась на редкость красивая девушка; в серых глазах ее как-то без всякой причины появится вдруг полугрусть, полуулыбка, затем тронет свежие, еще никем не целованные губы, и все присутствующие притихнут; Горбань, длинный, сутулый белорус со слабой грудью, увидев ее однажды зачем-то в штабе, задумался, недовольно бормоча себе под нос, что от такой девки в отряде надо ждать всяких крутелей, раздор один. Ее определили работать сначала на кухне, затем перевели в партизанский госпиталь, и она очень скоро и ловко научилась делать перевязки, уколы, разбиралась, что к чему, и во время операций могла без ошибок подавать тот или иной нужный хирургу инструмент. Первое время ее смущало, что приходилось видеть совершенно голых мужчин, но она росла среди братьев и с детства привыкла ухаживать за ними. Это помогло ей обвыкнуться и здесь, и потом, в искалеченном мужском теле, она подметила, словно исчезало все стыдное для взгляда и прикосновения; одни умирали, и их хоронили тут же на светлой полянке, окруженной старыми березами, засыпали землей, другие выздоравливали и уходили, и Аленка забывала их; но частая возня с беспомощным мужским телом сделала ее суше, жестче и сдержаннее, для нее это была каждодневная работа, но это была та необходимая и единственно важная работа, которая помогла ей подчинить и отдать все самое сильное и лучшее в себе общей беде. К одному она никак не могла привыкнуть — что человеческое тело можно кромсать

как угодно, оставляя от ног или рук самые безобразные култышки, и, часто убегая на поляну, всю в белых строгих березах, бессильно, зло плакала, на месте оперированного представляя отца или кого-нибудь из братьев.

Ее любили врачи и раненые, нередко заглядывались на нее, а для нее все они были на одно лицо, но вот уже в середине лета, когда давно пошли гриб и ягода и орех уже вошел в молочную спелость, ей пришлось переодевать раненого, которого только что доставили, пришлось разрезать узкие солдатские брюки, так как он был ранен в голень, другой осколок гранаты прошелся вскользь по ребрам с правой стороны, и вся его одежда задубела от крови. Он был красив и молод, и губы у него чуть пригорели от боли; легко повернув его на бок, стараясь не причинить лишнего страдания, Аленка ловко раздела его, нужно было смыть кровь по всему телу и когда она выбросила его одежду из палатки, она уже безошибочно почувствовала: что-то произошло. По-прежнему не оборачиваясь, она видела его тело со впалым юношеским животом, с широкой и правильной грудью, с длинными сильными ногами; ее пальцы вспомнили теплоту и упругость его кожи; помедлив, она оглянулась. Он смотрел на нее, и какая-то странная сила заставила ее мимоходом положить ему ладонь на глаза, но уже через минуту, еще более в непонятном состоянии, она опять встретилась с ним глазами, и сердце, сжавшись, заныло от предчувствия; они словно *узнали* друг друга через много-много лет; был какой-то секущий лица белый цвет, была тьма и метель, и они шли-шли, отдельно друг от друга, но знали, что должны встретиться, и вот наконец встретились, и Аленка узнала его сначала руками, кончиками пальцев она узнала его кожу, и когда это случилось, он в ответ взглянул на нее глубоко изнутри, из тяжкого, горячечного сна, как-то сразу вынырнул из него и задохнулся.

Это был Алексей Сокольцев, один из самых смелых и отчаянных разведчиков Горбаня; она успокоительно улыбнулась ему, обмыла его и стала переодевать, и он, выждав момент, прижался к ее руке горячими губами. Она ничего не сказала и лишь радостно вспыхнула; она заметила, что он словно остался недоволен своим порывом, но это уже не могло ничего изменить; Сокольцев успокоенно заснул, и она, переделав все дела, входившие в ее обязанность, сказала дежурному врачу, что

пойдет стирать бинты и белье, и, собрав в узел увесистую охапку окровавленного тряпья, пошла к знакомому месту у лесного ручья, где была жирная глина. У Аленки она шла в дело вместо мыла, ей казалось, что эта синеватая глина с резким серным запахом хорошо отбивает грязь; вначале она терла и полоскала бинты и развешивала их по кустам, выбирая солнечные с ветерком места, затем взялась за кальсоны и рубахи. Вода в ручье была холодная и текучая, Аленка видела иногда сторожких темных рыбок, выплывавших из травы, они, словно заостренные палочки, держались друг подле друга и при малейшей тревоге брызгали в разные стороны, прячась в подводной зелени.

До войны Аленка успела закончить девять классов, но главным ее образованием явилась жизнь, ее живой женский ум все мгновенно ухватывал, и там, где были пробелы и провалы, дорисовывал недостающее со свойственным ему воображением и эмоцией; полоща заношенные, в дырках мужские кальсоны, Аленка смущенно улыбалась; она видела и чистенький домик в цветущих вишнях (вишни должны быть обязательно!), и его, Алешу, она слышала о нем раньше, что он знает немецкий и закончил какой-то институт, в отряде о нем ходили легенды,— с помощью языка он проникал в недоступные для других места, но ей всегда хотелось, чтобы он просто орудовал топором, он и будет это делать, а перед домиком будет играть такой же светловолосый и светлоглазый мальчонка, их сын, обязательно похожий на отца, он вырастет у нее на глазах и поедет учиться в большой город... и неизвестно, до каких высот дошла Аленка в своих мечтаниях. Она отерла лоб и испугалась и того, о чем сейчас думала, и того, что вспомнилось смугловатое тело, и в таком виде, что ее тут же бросило в жар. Она смятенно прижалась к стволу старой ольхи, замерла: «Нехорошо, срам, как сказала бы бабка Авдотья, думать об этом; Ивана из-за нее увезли в Германию, как-то ему теперь? Дядька Игнат недавно ходил в село, говорил: хорошо, что еще никто не знает, где она, а то бы всю семью в тюрьму упекли. И мать от этого свалилась; стыдно, стыдно в такой беде думать о себе. Ведь вот он привязался, проклятый, так в глазах и стоит, а что в нем особого? Да ничего, парень как парень, мало ли их таких. Она когда по лагерю идет, не успевает оборачиваться, со всех сторон пялят-

ся. Ну конечно, конечно, допустим, больше она и не увидит его, ну и что?»

Почувствовав, как из-за этой мысли стало проваливаться, словно куда-то в бесконечную пропасть, сердце, Аленка вскочила, собираясь бежать, и тут же опять прижалась к ольхе. Странно ей стало и страшно за себя: она не могла ничего угадать наперед, горячее, безжалостное марево жизни пахнуло на нее, и она словно еще повзрослела, охваченная непонятным смятением и еще более непонятной радостью; она не знала, что будет с нею, но что-то должно было случиться, то, чего с ней еще не было; но и это была не мысль, а скорее далекое предчувствие; Аленка глубоко и трудно вдохнула воздух; лицо горело, и хотя ей нужно было идти, она, принуждая себя успокоиться, медлила.

Вернувшись к санитарным палаткам, она сразу заглянула к Сокольцеву и увидела, что тот спит, сердито сдвинув светлые длинные брови; Аленка вошла в палатку и постояла над ним, непривычно внимательно изучая его лицо. «Ну вот я и люблю его, что из этого получится, никто не знает»,— подумала она. Да и не нужно ей ничего знать, просто ей хорошо рядом с ним, а большего и не надо; она осторожно поправила на нем сбившуюся повязку, и он тотчас открыл глаза.

— А, это вы,— сказал он хрипло, с облегчением и с проступившей бледностью в лице опять задремал; он красиво спал, сжав губы и почти неслышно дыша, он слишком долго крепился, и теперь слабость давала знать; Аленка на цыпочках отошла.

С этого дня все для них и началось; раны у Сокольцева были не опасны, и он уже через неделю, с помощью удобной палки, стал похаживать по лесу, и как-то так случалось, что они часто оставались наедине — уже все за ними замечали и посмеивались этой извечной игре жизни, и все думали, что между ними уже все решено, но это было не так. Всякий раз, оказываясь с ним вдвоем, Аленка пугалась; Сокольцев старел на глазах, замыкался, та духовная близость, установившаяся между ними неизвестно когда и почему, позволяла им в присутствии друг друга молчать; Сокольцев не любил разговаривать, а все больше лежал на траве и глядел в небо, и еще он курил, он курил много и жадно, и если табак кончался, он становился раздражительным и явно страдал; Аленка заметила, что он никогда не просил закурить у других, как это делали все.

Однажды Сокольцев собирался уходить на очередное задание, по безошибочному предчувствию Аленки, очень тяжелое; день выдался легкий и солнечный, и они ушли на свое излюбленное место, на небольшую полянку у лесного ручья, где было светло и сухо, и вокруг стояли старые березы с обвисшими ветвями чуть ли не до земли, и эта их встреча кончилась тем, чем зачастую кончаются встречи, когда наедине остаются молодая девушка и сильный, здоровый парень и когда они все больше и больше нравятся друг другу. И уже лежа головой на его твердой, словно бы железной руке, Аленка ни о чем не думала, это, наверное, и было самое большое счастье на земле, и то, что она только что пережила, уже никогда больше не повторится, такого потрясения просто не может повториться, и оно позволило ей совсем иначе понять и принять его, мужчину.

— Мы уходим сегодня к вечеру,— сказал он, жалея ее и не решаясь говорить откровенно; он не чувствовал себя виноватым, он больше не мог, он и так проявлял столь не свойственное ему долгое благоразумие и героизм. А сейчас надо было переводить все в привычные рамки, нельзя позволить ей увлечься серьезно, он ведь не принадлежит себе.— Аленка,— сказал он, и непривычная робость прозвучала в его голосе,— Аленка, я ведь человек так себе, ненадежный. Ты это знай.

— У меня есть сигареты, целая пачка,— порадовалась она, не желая слышать его слов, охваченная каким-то нехорошим предчувствием и думая, что курить ему нечего, в отряде вообще третий день не было табаку.— Хочешь?

— Ты необыкновенная девушка, Аленка,— сказал Сокольцев, слегка касаясь пальцами ее бровей, любуясь ею и неосознанно тоскуя.— Когда-нибудь ты можешь пожалеть. Проклянешь и тот час, когда мы увиделись.

— Никогда! — сказала Аленка с ликованием в сердце, целуя его пальцы.— Этого никогда не случится.— Она поцеловала его раз и другой.— Ты много думаешь, Алеша, от этого можно с ума сойти. Говоришь сегодня — горечь пропекает. Не надо, Алеша, мне так хорошо, ни о чем думать не хочется.

И с ним что-то случилось, она сама почувствовала, что с ним что-то случилось, и мысль, что она его совершенно не знает, пришла неожиданно, пробудила в ней болезненное любопытство; и так же, как она раньше узнавала его тело, ей хотелось узнать сейчас его жизнь,

с того самого момента, как он родился, и она вспомнила своего младшего братишку Егорушку и опять подумала, что это не то, совершенно не то. Сокольцев же в это время думал, что он, кажется, и в самом деле любит эту порывистую девушку, любит совершенно иначе, чем других женщин до нее, он подумал, что с первого раза в нем уже была какая-то ненасытимость ею, и она становилась все сильнее; еще никогда и ни с кем ему не было так хорошо; уже была и определенная зависимость от нее, и это его злило, ведь ему нельзя позволить себе такую роскошь; он не имел права обещать ни ей, ни себе даже малости, он и сам давно забыл, что он сын донбасского инженера, погибшего еще в тридцать шестом году при обвале шахты; он никогда раньше не думал о тех, кто встречался ему на пути и кого приходилось потом бесследно оставлять, уходя дальше, и вот судьба свела его с Аленкой, хотя и сам господь бог, если бы он был, не мог бы назвать отмеренный ему, Сокольцеву, срок на этой земле; он не хотел именно ей, Аленке, зла. Таков уж мир — кто кого, а вообще-то бросить бы все это, взять ее и уехать куда глаза глядят, на берег какой-нибудь светлой тихой речки; ведь большинство людей, окружающих его сейчас, собирающихся еще долго жить и бороться, погибнут, но Аленку он никому не отдаст, ни немцам, ни своим; он договорится и ее отправят в тыл, ведь кончится же когда-то война... Очевидно, в нем проснулась древняя кровь Сокольцевых, может быть, именно та степная ее примесь, что заставила его деда, уже не первой молодости женатого человека, неоглядно ринуться за цыганкой из табора на край света. Так и сгинул дед где-то. Но что бы ни случилось, он не хотел и не хочет ей зла, он понимает, что все это глупость, любовь и прочее, но он ее, кажется, любит, она словно перевернула в нем какой-то механизм, и ему все чаще становилось не по себе. Он начинал думать о ее обязанностях, о том, что ее руки прикасаются и к другим, она их раздевает и моет, и видит их такими, как их мать родила; от этого в нем поднималась слепая красная мгла, и он был готов убить; ее руки должны принадлежать только ему, и это незнакомое раньше чувство, когда ему удавалось отойти чуть в сторону от себя, удивляло и пугало его. Сейчас он не разрешал себе этого; оставалось пять часов до вечера, и нельзя размагничиваться, думать о постороннем. У него свой путь, ему нравилось идти со смертельной острин-

кой в груди, когда любая неловкость могла приблизить ее прямо к сердцу, и самому ему казалось, что он движется словно в каком-то постоянно высвеченном пятне, и сплошная тьма закрывала все далеко вокруг, и лишь где-то за горизонтом чувствовалось далекое солнце; он знал, что все это не так, все грубее и проще и нет никакой тьмы, никакого шествия, а есть смертельная, не знающая малейшего сострадания борьба, но ему не хотелось так думать; сам для себя он шел независимый и отдельный от всего мира; ему ничего не было нужно, ни денег, ни власти, ему теперь часто хотелось просто мирной жизни, и понятие родины возникало в нем порой какой-то затаенной болью, и вот теперь, лежа рядом с Аленкой, он испугался.

Он никогда не боялся за себя, и все, знавшие его близко, удивлялись этому почти патологическому отсутствию страха у него, в нем словно постоянно действовал какой-то наркотик, та самая напоминающая о себе смертельная льдинка у сердца, она могла хрустнуть от любого неровного поворота, переместиться в последний раз, и его охватило незнакомое чувство беспомощности; сейчас его словно выдернули из привычной среды, и он с недоумением оглядывал белые березы вокруг, струящуюся зелень листьев, и рядом была лучшая девушка, которую он когда-либо встречал; впервые за свою жизнь он подумал, что это, собственно, и есть *русская* земля, о ней, вот о такой, в детстве пела и рассказывала ему мать.

Сокольцев попытался усмехнуться по-прежнему, но обычного, бездумного, несколько иронического настроения не получилось. И чувство перемены усилилось; чтобы войти в привычное состояние, он стал жадно целовать Аленку и на время забылся; под вечер то же пронзительное ощущение перемены опять повторилось в нем; они шли на задание вдвоем, но он все время думал, что вернется назад один, этот чудаковатый в своем рвении взвалить на себя побольше Пекарев останется где-то там, в неизвестности, и он вернется в отряд один, подведет под своей неожиданной лесной сказкой черту; план, составленный где-то там, в верхах, пришел в движение, и сам он, Сокольцев, уже потянул предназначенную ему нить в этой многоярусной паутине.

Когда они уходили, ему не удалось увидеть Аленку, вообще он никого не видел, и лес, опутанный теплым сырым туманом, недвижно высился вокруг, но тишины

не было; лес жил напряженно и глухо, слышались неразборчивые шорохи, у самой земли что-то перебегало и шумело.

«Полно, полно,— прикрикнул на себя Сокольцев сердито,— чего ты каркаешь, почему ты должен вернуться один? А почему не Пекарев, вот Пекарев возьмет и вернется, а ты останешься».

От такой невозможной мысли Сокольцев сорвал с осины листок и сунул его в рот, пожевал; горечь показалась даже приятной. «Нервы сдают,— подумал он,— а ведь ничего еще и не было, ерунда, пожалуй, следует успокоиться, так надолго не хватит».

2

Горбань, придерживая нывшее плечо, лежал, напряженно изучая крышу шалаша, и, чтобы сосредоточиться, в который раз принимался пересчитывать в ней березовые жерди; в последней операции он неудачно прыгнул в телегу, ударился о леску ключицей, и теперь вот уже вторую неделю ныло в плече и по всему позвоночнику; в эту ночь он ждал связного от Брюханова, наконец-то прояснится немного обстановка и можно принять нужное решение, скорее всего поступит приказ отправиться в рейд, к Минску и дальше, или южнее, в сторону Прикарпатья, по намеченному ранее плану, да и время самое подходящее, конец лета, фураж, продукты можно будет пополнять в дороге, вот только он ясно не понимал значения такого рейда, вернее, он понимал, но не принимал его по многим причинам. Немцы почти наверняка сильно потреплют отряд, а то и совсем прихлопнут; вооружение, как говорится, с бору по сосенке. И самое главное, нет ни Пекарева, ни Сокольцева, им давно пора вернуться, еще с неделю назад, от результатов их разведданных зависит многое: они должны положить начало невидимой цепочке, определяющей первый этап рейда, и во многом содействовать его успеху.

Горбань потянулся на своем жестком ложе из кое-как обструганных, неровных жердей; одна из них была слишком выгнута, и как бы он ни поворачивался, она все время мешала, эта неровная жердина, и он подумал, что надо ее подтесать. В большом, похожем на избу шалаше погуливал легкий ветерок и неуловимо пахло

растительной гнилью. Горбань последнее время мало спал, три-четыре часа в сутки, и сейчас у него было какое-то странное состояние: резало глаза, в голове стоял шум, но он никак не мог заснуть, хотел и не мог, и завидовал начальнику штаба и комиссару, крепко спавшим тут же, в противоположном углу; кто-то из них резко всхрапывал. Горбань знал, что он здоровый человек и бессонница у него от усталости и напряжения; он подумал, до чего не к месту подобные мысли, ничего не изменят, ничему не помогут; шла война, весь народ и каждый отдельный человек жили по иным совершенно законам, чем в обычное время, и даже самое непонятное и тяжкое — смерть — приобретало иную окраску; смерть в самую цветущую пору, в двадцать — тридцать лет, уже ни у кого не вызывала недоумения и страха, это было естественным на войне. Просто говорили, что убито двадцать, или сто, или несколько тысяч; живой, неповторимый человек растворялся в количестве просто убитых в таком-то месте и в такой-то день, на таком-то задании или в наступлении, и если раньше жизнь заботливо растила каждое человеческое существо, то теперь она слепо швыряла под непрерывный нож тысячи, десятки тысяч взращенных для счастья людей. В войне, пожалуй, больше всего обнажалась трагичность жизни вообще; в обычное время можно было объяснить распад и смерть всяческими мудрыми рассуждениями, необходимостью движения, сменяемостью; на войне этого сделать было нельзя.

Пока Горбань мучился бессонницей и такими абстрактными мыслями, в ста километрах от него, в большом районном селе Белополье, в одной из просторных изб шел допрос. Туго связанные сзади у локтей руки у Сокольцева отекли, он стоял у стены и все боялся, что его оттолкнут от нее; после трехдневного, с короткими перерывами, допроса ноги уже совсем не держали. Пекареву, более ослабевшему и уже несколько раз оседавшему на пол, подсунули стул, и он сидел, завалив голову вправо; стоять он больше не мог, и всякий раз, когда его пытались выпрямить, падал, теряя сознание. Сокольцев видел, что Пекарев измотан до последнего, но в то же время по неопределенным приметам он ощущал, что Пекарев каменно спокоен, это до какой-то степени успокаивало Сокольцева; взглянув заплывшими от синяков глазами на белесого офицерика с идеальным косым пробором в жиденьких волосах, он

почувствовал в припухлостях вокруг глаз боль, какой-то синеватый блеск на мгновение стал между ним и офицером, но это всего лишь получилось небольшое головокружение от голода и непрерывного битья в течение последних трех суток; он покачнулся, вспоминая, до чего же нелепо они попались, и новый прилив злости придал силы и ясности, возможно, еще удастся обмануть или сбежать, благо этот прилизанный стратег, кажется, намеревается их куда-то отправлять; несомненно, этот свой подвиг он подробно обрисует в письмах как главное событие войны. Да и вообще, кто бы мог предположить о существовании немцев в такой глуши? Черт их сюда занес, ведут себя как у тещи на блинах, расспрашивают о глупостях, скучно беднягам, все еще может быть. И держат их с Емельянычем по ночам в простом подвале, где пахнет проросшим старым картофелем, и даже часовых, кажется, не ставят, сколько раз они принимались стучать в дверь, никто не отзывался. Выяснить бы точно, зачем здесь оказались немцы, а то ведь посмотри-ка на этого господина, сидит, развалился, и переводчик со странностями, вроде как запанибрата с начальством держится, пересмеиваются; правда, время от времени оба приходят в ярость, начинают избивать, так это тоже от скуки и безделья. И староста здесь угрюмый, запуганный мужик, не смотрит в глаза, сидит на лавке у порога, зажав винтовку в коленях (а винтовка-то русская, трехлинейка), и, даже отвечая на вопросы офицера, таращится в пол, что-то не очень удобно он себя чувствует.

— Вот что, господа-товарищи,— говорит офицер через переводчика, рассматривая свои рыжеватые пальцы с аккуратно подрезанными ногтями, в голосе у него чувствуется насмешка.— Хватит нам друг друга водить за нос. Завтра может оказаться поздно, лучше признаться сейчас. Завтра нам станет известно, откуда вы и кто дал вам эти бумажки... мы послали в Солочь специально человека.

— Мы из Солочи,— устало, с заученным безразличием отвечает Сокольцев.— Ехали в город, для хозяйства надо было кое-что приобресть... Зря вы коня-то взяли... себе же убыток.

Офицер вопросительно смотрит на переводчика, затем на Сокольцева, и Сокольцев поясняет:

— Как не понять, пан офицер, вещь простая. В мужицком деле прибыток — и власти польза.

Выслушав переводчика, офицер весело смеется, кивая, и у него делается почти юное лицо. «Что-то хитрит этот азиат,— думает он весело,— так уж и заботят его нужды Германии, слишком уж преданностью сияет. Жулик, разбойник»,— думает офицер, но так как эти двое задержанных случайное для него дело, скорее, развлечение, чем обязанность, офицер спокоен. Ему хорошо в этой глухой деревеньке, вдали от начальства, где ему во главе небольшого отряда поручена охрана группы инженеров, обследующих разрушенные шахты неподалеку; завтра инженерная группа заканчивает свою работу, и нужно возвращаться в Смоленск; офицер не знал, что ему делать с этими двумя бродягами. Где-то в глубине души он твердо убежден, что никакие они не крестьяне, а из леса, с другой же стороны, могло быть и так, как они уверяли, и тащить их с собой двести километров в Смоленск, а потом выглядеть в глазах начальства идиотом не входило в его расчеты; пристрелить бы да тем и покончить. Он уже хотел распорядиться, но, взглянув на Пекарева, своим каменным тупым спокойствием внушавшего невольное уважение, заколебался и приказал запереть их еще на одну последнюю ночь в подвал, и вскоре молодой, с расстегнутым воротом солдат вывел их из избы. Сокольцев замешкался в дверях подвала, и солдат толкнул его в спину дулом автомата; оглянувшись, Сокольцев увидел его голую вспотевшую грудь, все-таки было жарко. На мгновение Сокольцев представил себе, как было бы хорошо ткнуть в эту грудь ножом, и немец, заметив этот момент, прежде чем захлопнуть тяжелую дубовую дверь, придержал ее. Сойдя ниже, Сокольцев сел, это был обыкновенный крестьянский подвал, погреб, как его здесь называли, с дубовым накатом и земляными стенами. Из-под двери пробивался свет, и, когда глаза привыкли, Сокольцев стал все довольно хорошо различать. Двумя или тремя ступеньками ниже его пристроился Пекарев, привалившись головой к стене; в прохладе ему стало лучше, и он отдыхал, Сокольцев видел его плечи и голову со впалым виском.

— Вот ведь, Емельяныч, дела,— пробормотал он почти беззлобно, так как знал, что все равно ничего не изменится.— По-моему, маскарад пора кончать...

Он встал и в который раз принялся исследовать каждый уголок; под руки попадались холодные древесные грибки, плесень; подвал был старый, дубовые

плашки, положенные в накат кое-где, наполовину иструхлявели, и если бы какую-нибудь железку... можно было найти слабое место и пробиться на волю. Однажды, когда их вели на очередной допрос, хозяйка избы вскользь посмотрела на них и как бы невзначай обронила, что погребок у нее хорош и на сухом месте стоит, да вот беда, дыроват от старости, а подновить война помешала. Сокольцев опасался, если будет обнаружена попытка к бегству, то тогда уже никто окончательно не поверит им, что они крестьяне из села Солочь; тут нужно было действовать наверняка. И вот сегодня, в последние минуты допроса, решение у него созрело, ждать больше нельзя; если им суждено дожить до ночи, то нужно будет во что бы то ни стало попытаться бежать; почему-то он был твердо уверен, что если их не убьют сегодня к вечеру, то завтра обязательно; и умереть от руки этого белесого, хлипкого, наслаждавшегося как-то по-мелкому расчетливо и жестоко своей властью над ними офицерика, с которым и свел-то их всего лишь слепой случай, казалось Сокольцеву обидным, и он медленно ощупывал руками стены и накат, где мог дотянуться, пядь за пядью, и в задней стене подвала наткнулся на углубление; здесь наката вообще и не оказалось, это небольшое пространство, по всей очевидности, было заложено полусгнившей доской и хворостом; Сокольцев стоял и тщательно ощупывал доску и плашки наката рядом; спустя полчаса к нему подполз отдышавшийся Пекарев, тоже пощупал и равнодушно сказал:

— Через эту дыру картошку осенью ссыпают в подвал... и для просушки, если бы не немцы, она давно была бы открыта.

— Надо попробовать... а?

— Надо. Кажется, нам каюк, наш дорогой ариец ни черта нам не верит.

— Ну что ж, правильно делает. Я бы на его месте тоже дураком не оказался. Там на выходе битый чугун, кажется, тащи-ка его, Емельяныч,— сказал Сокольцев, обретая твердую уверенность в успехе и от этого сразу становясь собраннее и сильнее; после того как они попали к немцам в руки, старшинство перешло к Пекареву, это определил сам момент; молодость и стремительность Сокольцева не могли быть в таких обстоятельствах главенствующими, основной силой на допросах с немцами был Пекарев, человек, многое пе-

реживший и увидевший и потому умевший сдерживаться и хитрить. Но теперь при необходимости действовать право первого слова и решения мгновенно опять вернулось к Сокольцеву, и когда Пекарев действительно нашел у выхода из подвала старый, прогоревший чугун, выставленный хозяевами туда, быть может, лет десять назад, он обрадовался. Он еще не мог понять точно, зачем Сокольцеву чугун, но, когда тот, разломив его своими железными руками, выбрал большой осколок и стал выцарапывать высохшую землю и выламывать поистлевший хворост и доску, закрывавшие дыру в подвал, Пекарев стал неумело помогать ему.

— Надо одному возле двери постоять,— сказал Сокольцев,— иди, побудь, Емельяныч, а то надумают еще раз поиздеваться до вечера, влопаешься.

— Мало, конечно, вероятно, но постоять надо,— тотчас согласился Пекарев.— А ты пока не очень старайся, до темноты еще часа три.

— К двум часам ночи нас и след простынет,— сказал Сокольцев уверенно, вспоминая Аленку и крепче сжимая разбитые и оттого болевшие губы; пожалуй, немцы и не думали, что они такие уж опасные люди, иначе не относились бы к ним с явной беспечностью. Да, очевидно, и не их это дело, потому все так легко идет, а что избили несколько раз — беда не большая, это особый счет.

Все совершилось легко и почти без всякого старания; протиснувшись в узкую дыру и очутившись на свободе в летнем шелестящем саду под звездным небом, и Сокольцев и Пекарев попали совершенно в иной мир, и недельное пребывание в сыром и темном подвале сразу отступило. Что-то большое и стремительное бесшумно пролетело мимо Сокольцева, где-то на уровне его лица, и воздух сильно шевельнулся; они осторожно отошли от подвала, присели под деревом. Обоим хотелось закурить; одуряюще пахло летней ночью, и Сокольцев с наслаждением сжал и разжал пальцы.

— Сердце разгорелось, Емельяныч,— сказал он, сильно втягивая воздух ноздрями.— Неужели уйдем, не пощекочем их маленько?

— Ты — старший, Алеша, тебе решать. По-моему, не стоит, не наше на этот раз дело.

— Всяко случается, можно и в сторону шагнуть, мало ли... Вот что, часового я берусь успокоить без лишнего писка, автомат и пара гранат нам не помеша-

ют. Остальное уже пустяк. Больно мне хочется того офицерика прибить... Дошел до тоски, скучно ему на этом свете.

— Дошел,— согласился Пекарев, невольно заражаясь идеей посчитаться, тут больше говорило не то, что те, которых они собирались отправить в мир иной, вообще немцы, враги, а то, что они определенные немцы, неделю подряд издевавшиеся именно над ними, над Сокольцевым и Пекаревым, просто не по-мужски было потихоньку и восвояси убраться.

— Пожрать на дорогу не помешало бы,— опять сказал Сокольцев, и Пекарев, уже во всем согласившись с ним, промолчал.— Ты помнишь, где у них часовой стоит?

— Помню, пошли.

Сокольцев помедлил.

— Поотстань от меня, Емельяныч, мне одному просторнее будет.

Они говорили шепотом, от небольшого, теплого ветра яблони в саду шелестели. Прислушиваясь, Сокольцев осторожно стал подкрадываться к темневшей избе, и Пекарев, подождав, двинулся следом; у них уже выработалась привычка угадывать движение друг друга даже в темноте, но сейчас Пекарев хорошо видел глухой силуэт Сокольцева. Подобравшись к избе со стороны двора, Сокольцев обошел ее по стене, все время чувствуя ногой завалину; выглянув из-за угла, он сразу увидел часового у крыльца, это был высокий и, очевидно, сильный человек; Сокольцев почувствовал напряжение в руках, во всем теле, и как-то снизу докатилась до груди веселая, мутная дрожь; он приказал Пекареву остаться на месте, а сам, полусогнувшись, стал приближаться к часовому. Пожалуй, вот так, голыми руками, он *этого* еще не делал, и нужно рассчитать все до секунды, до сантиметра. Фриц, кажется, без каски, да и спокойно себя чувствует, правда, от крыльца далеко не отходит, шагнет несколько раз — и назад, не по душе ему русская ночь, а хороша-то ведь, хороша, матушка, партизанская поительница и кормительница, как говорит у нас в отряде дед Евстигней, добродушно дергая толстыми усами. Кажется, темень, глаз выколешь, а вот какая-то ласковая сероватость есть, еле-еле, чтобы этого немца хотя бы ясно угадывать. И лягушки кричат, видимо, пруд недалеко, до чего же здорово орут, вроде бы и весна кончилась, а они орут.

Услышав неожиданно в стороне чужие голоса, Сокольцев припал к земле; вскоре он понял, что это от соседней избы, где размещались солдаты, шли менять часового, и удивился. «До чего же повезло этому фрицу,— подумал он,— бывают же такие чудеса в жизни, еще бы каких-нибудь пятнадцать минут, и отжился бы он; очевидно, и в самом деле судьба есть».

Переждав, пока часовой сменится, слыша все до последнего слова, Сокольцев в то же время думал о том, что в этой избе живет лишь обер-лейтенант со своим денщиком, а в другой половине, через сени, размещаются четверо инженеров, солдаты же стоят в двух соседних избах — справа и слева. Нужно было все окончательно рассчитать, вполне вероятно, что связываться и не стоило, но при одной мысли об этом он непроизвольно сжал кулаки. Отступать от задуманного нельзя, он не имеет права прежде всего перед самим собою; потом долго будешь думать, что мог сделать и не стал, струсил, а ведь если не споткнуться, дело верное, сорвется, только он один будет виноват. Сосредоточиваясь и забывая обо всем, Сокольцев заметил, что придвинулся почти вплотную к часовому; он хорошо видел его, слышал, как он время от времени сплевывает. Очевидно, ему хотелось курить, и нельзя было; уж словно кто-то другой провел за Сокольцева остальные расчеты, он привстал именно тогда, когда это было вернее всего, рванулся вперед как раз вовремя, когда часовой оказался к нему боком и спиной, и рубанул его наискось ребром ладони чуть ниже и сбоку уха, и руку до самого плеча обожгло болью, а немец стал падать, и еще не допустив его до земли, Сокольцев ударил его вторично, ниже груди, в живот, в то же время захватывая другой рукой автомат и сдергивая его с шеи немца. Добив часового ударом его же тесака, Сокольцев прислушался; по-прежнему не было ни звука; подошел Пекарев, снял у немца с пояса две гранаты, из карманов достал сигареты и зажигалку, портмоне, сорвал с шеи номерной знак и все это переложил в свои карманы. Дверь в избу была заперта, и Сокольцев соскользнул с крыльца.

— Давай в окно гранату ахнем, сразу делу конец,— угадал он шепот Пекарева.— Не надо судьбу искушать, Алеша.

— Подождем...

— Да... Это я сгоряча, не подумал, хозяев, конечно, жалко.

— Они же выселены, что ты, Емельяныч, вдруг? Хозяйка, насколько я понял, приходит лишь убирать.

— Все равно, а дом? — спросил Пекарев.— Дом-то больно хорош, такой скоро не поставишь. Впрочем...

Он достал зажигалку и сунул ее Сокольцеву.

— Держи, все-таки несколько офицеров...

— Ты, Емельяныч, на углу стань, тише, тише! У них часовой рядом, у солдатской избы должен торчать... Погоди, может, нам и его успокоить? Разделались бы по-настоящему.

— Давай,— загорелся внезапно всегда осторожный Пекарев.— Только ты и этого сам... у меня не получится. У тебя уж очень ловко выходит.

Сокольцев ничего больше не сказал, отдал автомат Пекареву, взял у него гранату на длинной ручке и двинулся к соседней избе. Он и на этот раз справился легко; высокого роста, почти на полголовы выше его, немец от сильного удара гранатой в голову оседал долго, как бы раздумывая; на мгновение Сокольцеву показалось, что он увидел его расширившиеся глаза. По-прежнему стояла тишина, и только слышен был шум в висках, и, от голода ли, от теплого ли запаха крови, сильно закружилась голова и замутило; теперь у них было два автомата; Сокольцев присел на колени, переждал, затем обыскал убитого; в карманах у немца он нашел шоколад и губную гармошку, и именно эта гармошка совершенно вывела его из себя, даже как-то дыхание перехватило и глаза застлало белым от бешенства; они одновременно подожгли избы со стороны сеней, так, чтобы через двери невозможно было выскочить, и когда немцы, проснувшись, стали лезть в окна, Сокольцев с Пекаревым преспокойно расстреливали их из темноты. Село проснулось, послышались громкие, испуганные крики; ветер, хоть и тихий, дул в сторону огородов, но уже было видно, что он с каждой минутой усиливается и меняется, небо налилось жгучей чернотой, придвинулось к пожару, и в нем появились рваные, быстрые облака, неровно подсвеченные; ночь разорвалась. Сокольцев заметил, что по нему откуда-то стреляют, и, как было заранее условлено с Пекаревым, стал отходить в огороды; в стороне Пекарева гулко бухнула граната. «Ого, не застрял бы Емельяныч ненароком,— подумал Сокольцев,— кажется, дело разгорается». Торопясь, он добрался до изгороди, отделявшей огороды от гусиного выгона, Пекарев был уже там; они торопли-

во перевалились через низенький покосившийся плетень, и решетка под ними с коротким хряском подломилась.

— Пришлось гранату швырнуть, красота,— на ходу задыхаясь, сказал Пекарев возбужденно.— Слишком их много из окон полезло, прут, прут!

Сокольцев ничего не ответил; то, что они были босиком, мешало бежать достаточно быстро, он подумал, что можно было догадаться и стащить у часовых сапоги, все равно они были им не нужны больше; он невольно все ускорял и ускорял шаг и торопил Пекарева; они уже пересекли большое пустующее поле, с трудом продрались через кочковатое, заросшее ивняком, болото; начинало светать, далекое зарево сзади исчезло, а Сокольцев все никак не хотел остановиться.

— Послушай, Лешка, побойся бога,— не выдержал наконец Пекарев,— я же старик. Мы уже часов пять лупим.

— Нам бы до Слепого Брода добраться, Емельяныч,— быстро отозвался Сокольцев,— а там плевать, там наши леса начинаются. Что-то неспокойно у меня на душе, никогда такого не было.

— Притомился, есть хочу... У меня в ребрах от голода боль стоит. Слушай, Алеша, давай передохнем.

— Верь в светлое будущее, Емельяныч, пострадай еще немного. Через часок присядем, там уж до Слепого Брода рукой подать.

— Не знаю, что тебя гонит, никаких особых причин для такого бегства не вижу,— слабо возразил Пекарев, послушно двигаясь дальше вслед за Сокольцевым, с усилием перенося с места на место разбитые ноги. «Чего ему,— думал он о Сокольцеве,— молод и здоров, и девчонка ждет, вот он и бежит, как конь, насмерть может загнать». Он еще не мог и предположить, что беспокойство Сокольцева оправданно; он и сам на одно время замер и стал прислушиваться, когда ему почудилась какая-то тревожность вокруг, но только чистое зеленое поле с редким, сквозящим перелеском было кругом, и он успокоился, опять пошел вслед за Сокольцевым; тот, приостановившись на минуту, сказал:

— Дождались крестного часа, Емельяныч, за нами собаки идут. До Слепого Брода доберемся, значит, еще светит нам цыганское счастье, а так...

У него почернели губы и глаза провалились; Пекареву в самом деле послышался отдаленный соба-

чий лай, словно отраженный стеклянной высотой неба; Пекарев в какой-то миг заметил, до чего же он высок и прозрачен, этот лучистый купол, и легкая, небывалая в своей пронзительности тоска коснулась его, и сразу нестерпимо заныли ноги, и руки, и все тело. «Какая мерзость,—сказал он себе,— нашел время. Зря мы, конечно, их расшевелили, да теперь что сделано, то сделано, война война и есть, но откуда у них собаки, да и вообще, мы же их, кажется, почти всех, сколько там было, перещелкали! Вот незадача, чего доброго, и не скроешься, остается единственное, успеть до Слепого Брода добежать, туда они с собаками не сунутся».

— Поднатужься, прибавь, Емельяныч! — закричал Сокольцев, оглядываясь, и Пекарев опять нашел в себе силы сделать шаг, и еще, и еще, а потом он уже шел и даже бежал, не чувствуя своего тела, не видя ничего больше, кроме высокой, слегка сутулой спины Сокольцева, все время уходящей, сейчас для него было самым главным не упустить ее из виду.

3

Это было великолепное место, невысокие холмы, опоясанные болотистой широкой луговиной и тихой, словно заколдованной, речкой Слепней; весной и в сильные дожди она разливалась, превращая луга у холмов в обширные болота; здесь всегда водилось множество пернатой дичи, а холмы, поросшие березой, ясенем, кленом, рябиной с густым подлеском из орешника, привлекали жителей окрестных сел обилием ореха, а еще там рубили клен на топорища да и на деревянные лопаты, которыми сажали хлебы в печь; шла еще кленовая доска на сундуки, ими тоже славились окрестные мастера. Но в основном леса на холмах у Слепни стояли нетронутыми; сейчас они служили как бы передним краем крепнущего партизанского движения, выходящим уступом в сторону степных местностей. Слепненские леса пользовались дурной славой у немцев, и их уже несколько раз намеревались поджечь; но по весне слишком много было влаги и в самой земле, и в зелени, и пожары тут же свертывались и угасали, немцы ждали конца лета. Слепненские леса стояли пока густые, непролазные, и вот к ним-то и спешили Сокольцев и Пекарев; теперь уже явно обозначилась погоня,

и они, встречая ручьи, старались запутать следы и каждый раз входили в воду и шли некоторое время по течению; в одном месте Сокольцев распорол ногу о сук, но кровь неожиданно быстро остановилась, и они, торопясь, пошли дальше. Немцы, человек двадцать пять, с двумя сильными псами настигли их у самой реки; поднявшись на пригорок, Пекарев оглянулся и увидел растянувшуюся цепочку солдат, и над ним сразу свистнули пули.

— Быстрей! — крикнул Сокольцев и, пригнувшись, побежал к реке, до которой оставалось с полкилометра; Пекарев двинулся было за ним, но тут же припал к земле; он увидел, как на гребень пригорка выкатились два стремительных продолговатых тела и понеслись вниз, он сразу понял, что речку перескочить не успеет. «Беги, беги, Алеша!» — крикнул он Сокольцеву, с острым страхом не за себя, а именно за него, за то, что весь их труд пропадет напрасно. И Сокольцев, услышав, остановился на мгновение и тут же бросился дальше; и Пекарев подумал, что кому-то из них обязательно нужно добраться до штаба отряда, что и он мог бы это сделать, но вот он оказался слабее и потому обязан остаться и дать уйти товарищу. И еще он подумал, что Сокольцев слишком легко принял это; от окончательного своего решения у Пекарева прервалось дыхание, и какая-то неизмеримая даль сверкнула в нем; два сильных зверя были уже близко, они шли, чуть отстав один от другого, Пекарев видел их пасти и морды; он помедлил и, прицелившись, дал короткую очередь; дураки эти немцы, подумал он, напрасно собак погубили, а хороши были звери, ох как хороши. Одна из собак каталась по холму, коротко и прерывисто воя, а вторая, припав к земле, настороженно ползла к нему; ах ты тварь, изумился он с холодком где-то между лопаток, ловя собаку на мушку, до чего же ее выдрессировали. Он не успел выстрелить, собака оторвалась в прыжке, и он увидел ее уже над землей, в полете, от испуга всадил в нее длинную очередь и не успел отскочить в сторону. Собака ударилась в него, и сразу завоняло псиной и кровью; по его руке пониже локтя скользко и бессильно проползли желтоватые клыки, и он с омерзением оттолкнул от себя мягкую собачью голову и побежал с мыслью, что Сокольцев теперь перебрался через речку, и с другого берега поддержит его. Он уже был почти у самой воды, когда Сокольцев стал стрелять по немцам, показавшим-

ся на пригорке; Пекарев шагнул с берега, утопая подошвой в мягкое илистое дно и в то же время ощутив легкий, почти нежный ожог в спине, в правой лопатке. Он успел повернуться, выбросить вперед автомат и упасть в высокую густую осоку на колени, и голова его еле-еле виднелась в шелестящей траве; Сокольцев, устроившись за деревом, вначале видел голову Пекарева, но потом ему показалось, что ветер усилился, трава на другом берегу зарябила сильнее; Сокольцев перебежал за другое дерево, вокруг стали уж очень сильно шлепать пули; немцы редкой цепью, вперебежку, все ближе придвигались к реке; кажется, двух или трех ему удалось срезать, но вот он снова поймал на мушку высокую зеленую фигуру, бегущую по-обезьяньи, пригнувшись как-то боком, и нервное напряжение кончилось: патронов больше не было. Сокольцев сел и стал наблюдать за немцами, прочесывающими противоположный берег; он глядел на них не отрываясь и представлял, как они наткнутся на Пекарева и что будет дальше; ему нужно было идти, но он не мог, он был в безопасности и знал это, немцы никогда не сунутся на холмы в лес. Он отошел от края подальше, выбрал дерево и, обрывая ногти на руках и ногах, забрался до самой вершины и стал наблюдать за противоположным берегом; ему нужно было знать, когда немцы уйдут, и он с высокого старого клена мог хорошо это видеть; пока он лез на дерево, он упустил из виду немцев и то, что они делали в это время, и уж совсем забыл место, где заметил последний раз Пекарева; ему казалось теперь, что он видел его то в одном, то в другом, совершенно ином, месте. Противоположный берег был весь в разливе луговых трав, немцы бродили в них почти до пояса; вернее они уже не бродили, а собирались в одно место, на склон холма, с которого Пекарев застрелил собак; туда же они перенесли трех убитых или раненых и долго что-то делали с ними; Сокольцев заметил среди них офицера и пожалел, что у него нет винтовки; от безоблачного, залитого солнцем неба в листьях клена было много света и легкого непрерывного ветра; птицы, не слышные раньше от стрельбы, теперь опять наполнили лес своими голосами. Сокольцев видел, как немцы, соорудив что-то наподобие носилок, положили на них раненых и убитых и пошли; двое из них еще задержались на пригорке, выжидая, но затем и они скрылись.

Сокольцев еще подождал, думая о том, что ранней весной, когда нет листьев, сок у клена сладкий и хорошо было бы сейчас напиться такого кленового соку; юркая лазоревка села на ветку совсем рядом с ним, тут же пискнула и пропала в зелени. Сокольцев слез на землю, перебрался на противоположный берег и стал бродить по высокой траве, порой останавливаясь и говоря: «Эй, Емельяныч? Где ты?» Сколько он ни прислушивался, никакого человеческого звука не было, и он начал волноваться. «Конец, наверное, Емельянычу,— подумал он.— А может, это его они с собой утащили?» Ведь не мог же он точно рассмотреть, кого они унесли на носилках.

— Емельяныч! — закричал он во весь голос, и опять никто не отозвался; Сокольцев постоял, опустился на траву и долго лежал на спине в полнейшей безучастности ко всему. Солнце рвалось в него через выгоревшие рыжеватые ресницы, и трава шелестела мягко и непрерывно. Это все ерунда, сказал он себе, и то, что я когда-то родился, и жил, и учился, и встречал женщин, а теперь вот встретил Аленку, это все ерунда, и сама жизнь удивительно нелогичная штука. Родиться для того только, чтобы состариться и уйти? Этого ведь не оправдать никакими философиями; вот сейчас, голодный и обессилевший, он вернее всего чувствует, что ничем не отличается ни от этой травы, которую убьет первый же мороз, ни от этого лягушонка, вспрыгнувшего ему на грудь.

Еще часа два он напрасно искал Пекарева, тот бесследно исчез, словно его никогда не было, и Сокольцев, напившись, пошел дальше один, думая о какой-то перемене в себе, он ее чувствовал; он понял, что боится за себя, если бы ему сейчас нужно было вновь переправиться через реку, он бы не смог; он даже шел, все время оглядываясь, и никак не мог перебороть себя. Что-то случилось с ним во время поисков Пекарева, и, пожалуй, в тот момент, когда он понял, что уже не найдет его, он вспомнил свое предчувствие. «Вот так и со мной может,— подумал он,— исчезну — и все, и останется одна трава, и вода, и небо».

«Да что же это такое?» — зло спросил он себя, неожиданно при виде шевельнувшегося от ветра куста бледнея и покрываясь потом и от этого обессилевая еще больше.

Ночь была чистая и тихая, как-то неожиданно ударил в глаза острый далекий блеск яркой синеватой звезды, названия которой он не знал; Пекарев увидел ее из своего особого мира, который уже отличался и от земли, и от воды, и вообще от всякой жизни, знакомой ему, той, которой он до этого жил; и он первым делом подумал об этом.

Он лежал, неловко и неудобно завалившись между двумя большими кочками, поросшими высокой и густой осокой, трава почти закрывала от него небо, и была видна всего лишь одна эта острая и далекая звезда. И он, едва взглянув на нее, по-животному сильно и полно почувствовал, что умирает, что и очнулся он, вероятно, лишь поэтому. Он лежал навзничь, под затылком и под спиной у него было сыро, и он попытался приподняться. Резкая, судорожная боль в спине ударила мутной волной, и хотя он на этот раз сознания не потерял, во рту появился металлический соленый привкус и затошнило, и еще он сразу понял, что нижняя половина туловища у него неподвижна, было такое ощущение, что у него ниже поясницы вообще ничего нет. Его охватил страх, и даже не страх, а ужас; его руки, ощупывающие все вокруг, натолкнулись на что-то твердое. Это был автомат, Пекарев подтащил его к себе на грудь и сразу успокоился, холодное, сырое железо рожка коснулось его подбородка, и он расслабленно и часто заморгал от неожиданной тишины, обрушившейся в него; он вспомнил лицо матери с большой родинкой у правого уха и словно услышал над собой ее шепот. «Ну что такое жизнь,— сказал он,— вот и пришел ей конец, а давно ли, кажется, был мальчишкой, болел непрестанно ангинами, и мать, измучившись, ночами сидела, как откроешь глаза, так и видишь ее... А впрочем, о чем это я стал думать и перескочил, о чем-то важном,— сказал он, затаскивая в рот языком жесткую травинку и откусывая ее.— О жизни я думал,— вспомнил он,— так вот, она кончилась, и теперь уже можно сказать, что она кончилась, это я хорошо знаю. Это уже во мне есть, чувство окончания всего, удивительно! — добавил он, чутко прислушиваясь к себе.— И оказывается, все в жизни бывает в первый раз, только вот многое потом повторяется, а вот *это* бывает однажды, хотя и в первый раз. И даже если бы меня кто-нибудь нашел и стал лечить, ничего бы уже не помогло. Я знаю, я не герой, никогда им не был, почему же я не боюсь? — удивился

он.— Раньше, когда я представлял себе смерть, дрожь так и прохватывала, а теперь я совершенно спокоен; я ведь сейчас в самом деле умираю, вот уже и холод от пояса выше передвинулся. Отвратительно, что здесь никогда никто не найдет, проклятое болото, раньше бы косить сюда пришли, а теперь кому это надо? Осенью трава опадет, а затем зима... Да вот не все ли равно, что с тобой потом будет? — попытался он подбодрить себя.— Ты ведь жизнь хорошо прожил, в трудные минуты у тебя хватало сил посмеяться над собой, отчего же сейчас раскис? Это ведь недолго будет, в одну минуту и кончится».

Он не стал больше думать об этом, все дальнейшее было слишком неприятно, даже мерзко, об этом ему нельзя было думать сейчас. Он заметил какое-то посветление в небе и с огромным трудом, уцепившись за кочки, стал вытаскивать себя, ему удалось приподнять верхнюю часть туловища, и он увидел у самого края неба огромную дымчато-тусклую луну. Стоило бы ему свалиться метрах в пяти от берега, и все было бы иначе, там и кочек нет, и воды; вот и надо туда перебраться, решил он, неужели пять метров не одолеть? Не может быть, чтобы Сокольцев его не искал, конечно, а может, и не искал, ведь тут немцы рядом были. А может, они и сейчас рядом, помнится, он одного или двух подстрелил, они должны были все здесь истоптать, если только не показалось им, что он на тот берег ушел.

Он на руках подтянулся, стараясь повернуться на бок, и после третьей попытки это ему удалось, и тело словно само выбрало положение; боль уменьшилась, он мог теперь держать голову повыше и видеть поверх травы. Мир, открывшийся ему, был таинствен и свеж, в совершенном безветрии темнели на другом берегу речки холмы, покрытые лесом, над которыми бледнело небо. Просторно было и светло, покой лежал на всем вокруг, и на травах и на деревьях копилась роса, тяжелая летняя роса, способная, по народным поверьям, выесть очи, пока солнце взойдет. Странный и тяжкий покой томил все вокруг, и Пекарев почувствовал, что уже связан навсегда с этой ночью, луной, росным покоем и не будет больше другой ночи. Вдавливая растопыренную ладонь в водянистую землю, он сделал усилие и продвинулся на вершок, а может, чуть больше, в намеченном направлении, и тут же еще и еще, и за ним, ниже пояса, волочилось что-то чужое и отвратительно

непослушное и тяжелое. Он вспомнил об автомате, подтянул его другой рукой к себе, и теперь, передвигаясь, все время помнил о том, что нужно перетаскивать вслед за собой и автомат; он не знал, зачем ему нужен теперь автомат, но не мог оставить его; от ощущения этого организованного куска железа рядом он не боялся ночи, своей беспомощности и непрерывно увеличивающейся слабости; когда он попытался перевернуться на живот, он опять потерял сознание и, очнувшись, долго не мог вспомнить, что с ним и где он. Где-то грубо и сильно прокричала кошка, ему показалось, что это кошка, но он тут же понял свою ошибку. Голос повторился, кричала выпь, она была поблизости, вольная ночная птица, и на этот раз ее голос упал скрежещуще, тягуче как-то, а может, это у него с ушами что случилось. Он собрался с силами и стал продвигаться дальше, и это продолжалось час или больше. Наконец он почувствовал, что становится суше, и резким движением заставил себя лечь на спину, он уже знал, что это самое удобное и безболезненное положение. Луна вышла в середину своего пути, и стоило ему скосить глаза, как он мог видеть проступавшие очертания чего-то темного на желтой лунной поверхности; он подумал, что хорошо было бы умереть в забытьи и хорошо, что с ним никого нет, и вообще человек должен умирать в одиночестве, ведь в смерти он отвратительно жалок, а человек никогда не должен быть жалким. В нем сейчас было какое-то отстранение от всего: и от тихой ночи, и от лунного света, и от свежего воздуха, который все труднее и труднее проходил в грудь, и от земли, на которой он лежал, и от самого себя; и все это случилось в один последний момент. Он почувствовал его по освобождению от всяких связей, от страха; если раньше в нем еще жила надежда, то теперь и она исчезла, и он был свободен абсолютно от всего, и это наполнило его холодным восторгом. Что-то прозрачное заслонило от него звезды, и он понял, что это слезы выступили ему на глаза; он подождал, отдыхая, пока перед ним прояснится.

«Зачем, зачем же мне умирать? — сказал он с тайным, мучительным страхом, который он и сейчас хотел пересилить.— Я же еще не так стар и могу жить, могу что-нибудь полезное делать, а умирать страшно и трудно»..

И опять гнетущий холод прошелся по сердцу, но он не дал этой вспышке побороть себя окончательно. «Не

думать, не думать»,— приказывал он себе, но не думать было нельзя, не получалось, и нужно было все повернуть как-то по-другому, он попытался отвлечься, опять стал вспоминать мать и отца, и на какое-то время ему удалось успокоиться.

«Вот и некуда больше идти,— сказал он,— и некуда и незачем. Все до этого момента было приятной, острой, захватывающей игрой, всего лишь игрой, а он-то думал! А самое серьезное, самое настоящее наступило для него сейчас». Он теперь понимал, что и жил-то ради этого вот момента и страдал и любил только вот ради этой необходимости лежать здесь в совершенном одиночестве и ждать. Конечно, он мог бы все это оборвать, автомат рядом и патроны еще есть, но он должен пройти все до конца, это было нужно ему, необходимо, ведь теперь он знал, что полностью никто и ничто не исчезает; просто тот, кто подходит к этому, перешагивает в иной — белый, слепящий мир; да, его не будет больше, но он не исчезнет совсем, не может исчезнуть; вот оно, со всех горизонтов приближается к нему это огромное небо, и он знал, что скоро, совсем скоро оно сойдется в нем в одну точку. И ему хотелось *знать*, хотелось, чтобы это случилось скорее; острое предчувствие последнего момента на миг даже остановило сердце, и была чернота перед глазами, но затем он опять увидел вокруг себя, далеко у самых горизонтов, мутную, неясную окружность; она все-таки придвигалась к нему, но медленно, так медленно, что он застонал. Это ожидание было даже больше и мучительнее, чем вся его жизнь; он скосил глаза в одну сторону, в другую и увидел, что небо как-то одним скачком приблизилось к нему почти наполовину, вплотную нависло над ним, и тогда он вспомнил, что недодумал чего-то самого основного; минутой назад он был близок к самому великому своему открытию жизни, а теперь ему не успеть, ни за что не успеть. И боль затихла в нем совершенно; с трудом отвернув от себя руку, он постарался набрать в горсть земли и долго скреб ее обессилевшими пальцами; наконец ему удалось зацепить немного, и он, словно зажав ее щепотью, поднес к лицу; отчего-то ему захотелось уловить ее запах, но никакого запаха он не почувствовал. И он понял, что все его мысли и переживания и теперь вот еще щепоть земли без запаха — всего лишь надежда, он еще надеялся. Да почему бы нет, почему нет? — пронеслось у него в мозгу. Всякое бывает, вер-

нется Сокольцев, отыщет его. Или кто-нибудь еще натолкнется. Жить потому и хорошо, что трудно. Он бы всем простил: и жене, и Петрову, который почему-то не любил его, он бы по-другому начал жить. Он ни о какой суете, ни о каком тщеславии не думал бы, просто жил бы где-нибудь у самых истоков всего, ну, у бабки Кулины, что ли... «Зачем? Зачем? Зачем? — отдалось в нем.— Я ведь жить хочу, я многое исправить хочу... А теперь вот нужно готовиться, никаких перемен не будет».

«Нужно готовиться»,— повторил он, как эхо, бездумно вначале, но тотчас простота и безмерное величие ударившей мысли захватили его. «Так легко и просто?» — удивился он, и в его удивление закралось чувство досады. Что-то поразительно чистое и прохладное коснулось его лица; он не смог открыть глаз и тотчас забыл о своем ощущении, но оно уже успело притаиться в слабевшем сердце, распространяя по всему телу покой и все то же тихое, непрекращавшееся удивление перед творившимся в нем таинством, и, вероятно, это придало ему силы. «Чудесно, чудесно»,— говорил какой-то тихий нежный голос в нем, и, вернее, не говорил, а словно жил, но до него самого эта жизнь доходила в привычных и вечных словах. «Так что же я должен понять? Вот я знаю, что смерть пришла, а мне не страшно, я не боюсь, я лишь *жду, жду* самого последнего момента, и это мешает мне».

И по-прежнему он пытался что-то вспомнить, необычно важное для себя; он не знал, почему важное, он лишь чувствовал это, да и вообще все, о чем он вспоминал, думал, недолго держалось в нем и расплывалось, подергиваясь какой-то тончайшей пеленой, и отдалялось от него, исчезало. Он уже и тело свое мало чувствовал, он с каждой минутой словно высвобождался из него, вот только вспыхивающая временами боль мешала, но он терпел. «Ах, да, да,— сказал он торопливо,— вот что я не мог вспомнить: *фата-моргана, мираж*». Ему с самого раннего детства, как он помнил себя, хотелось увидеть мираж, а теперь он знал, что это такое; у него на белом, бескровном лице с сохнувшей на губах и подбородке кровью, появился легкий, еле заметный румянец; довольный, он попытался улыбнуться. Он жил и будет жить во всех измерениях, миражи ведь возникают из ничего, как таинственное безумие материи, как ее смех; да ведь зачем он тогда родился, нужно немедлен-

но что-то предпринять, зацепиться за последний рубеж...

«Да вот я не поддамся,— подумал он еще,— ни за что не поддамся, назло всему ползти буду, пусть даже мне придется кровью блевать... Вот возьму и поползу!» И он судорожно и тяжело всхлипнул и дернулся; тягучая волна боли заставила его крепко стиснуть зубы; небо над ним начало темнеть, и он сразу понял, что это чудовищное, непостижимое *оно* придвинулось теперь вплотную и уже начинает смыкаться в нем в одну нестерпимо тяжкую точку. И уже в следующую минуту началось удушье. «Ухожу, ухожу»,— мелькнуло в нем отрешенно, он почувствовал странную, даже какую-то приятную горечь во рту, и потом показалось, что набухшая камнем грудь сейчас лопнет — до того стало тяжко, нечем дышать; удушье прошло по всему телу, и в груди действительно вспыхнуло и взорвалось; через минуту все было кончено; к рассвету луна закатилась и усилилась росная тяжесть трав, и скоро стали бить перепела.

А на следующий день к вечеру случилась гроза, и даже малые реки на короткое время вышли из берегов от проливного дождя, затопили луга вокруг; над лесом стоял приглушенный стон, часто рассекаемый треском грома; бушевала самая настоящая летняя гроза, такая, какие бывают часто в этой местности во время сенокосной страды.

В это время уже далеко среди необозримых пространств лесов, на полпути к цели, Сокольцев шел в искристых потоках дождя, и только в сердце его таилась и жила непрестанная тихая боль.

4

Отношения Алёнки и Алексея Сокольцева после его возвращения все более углублялись и вместе с тем запутывались. Они виделись слишком редко и не могли окончательно привыкнуть друг к другу, но именно это держало теперь Аленку в постоянном напряжении; Сокольцев часто уходил на задания, и она почти не могла спать, проводила ночи напролет, подложив руки под голову, глядела в черноту над собой. Ей казалось, что если она будет думать о нем постоянно, пока она с ним в мыслях, плохого ничего не случится. После смерти Пекарева, которого она очень уважала (в отряде тяжело

переживали его гибель), страх за Сокольцева не оставлял ее; поэтому и в их короткие встречи Аленка держалась неровно, почти угрюмо, заражая его своей нервозностью и тяжелым настроением. В бессонных своих мыслях она каждый раз ждала, когда кончится наконец ночь и начнутся дневные заботы и хлопоты, затем опять ночь, и, возможно, вернется Алеша, и когда он наконец появлялся — здоровый и невредимый, она, при первой возможности, старалась быть где-то недалеко от него, если нельзя было находиться совсем рядом. Ей было безразлично, как на это смотрят другие, она ничего не замечала, и чем больше проходило времени, тем сильнее привязывалась к нему; порой она ловила себя на том, что стоит и улыбается ему, именно ему, хотя он был где-нибудь километров за сто, а то и больше; вдруг иногда ей казалось, что он мелькнул в зелени, и она едва удерживала себя, чтобы не броситься за ним. «Ах, Алеша, Алеша,— говорила она, счастливая, изумленная,— ты только не дай себе умереть, погибнуть, ведь от этого и я пропаду, и от меня для жизни ничего не останется».

Возвратившись в отряд после того, как пропал Пекарев, Сокольцев получил два дня отдыха и первые сутки почти полностью спал; очнется, поест и опять засыпает; лишь на второй день, чисто выбрившись перед осколком зеркала, он пришел к шалашу, где жили женщины; ему сказали, что Аленка на дежурстве в санчасти, и тут же одна из женщин, Настя Огурцова, приземистая, крепкая, веселая, вся сбитая, похожая на антоновское яблоко в конце сентября, вызвалась ее подменить, если позволит начальство, и врач Иван Карлович, сухой, с вечно воспаленными от недосыпания глазами (оперировать приходилось почти непрерывно), тотчас отпустил Аленку. Минуя шумный партизанский лагерь, они прошли в лес, и как только деревья закрыли их, взялись за руки, поцеловались; потом было такое, что заставило их забыть о войне и о себе; только один раз Сокольцев подумал, что они еще совсем молоды и впереди много-много лет, но тут же суеверно поплевал; в памяти Аленки от этого дня остались солнечные пятна, синеватые стволы берез, серые, с сумасшедшими огоньками, глаза Сокольцева; ах, до чего хороша была земля, и зелень, и небо сквозь деревья; но уже тогда, сквозь этот зеленый, сладостный мрак, к Аленке прорвалось что-то тревожное; это была даже не мысль, а словно неясное ощущение неведомого опасного запаха, едва прикоснув-

шегося к ней; она почувствовала перемену в самом Сокольцеве; что-то в нем надломилось, и он боялся, вот и рухнуло на нее это неистовство, он словно хотел загородиться, уйти от самого себя, от того, что в нем произошло и происходит.

— Ты меня любишь, Алеша? — спросила Аленка, когда они лежали, отдыхая, на траве и оба глядели в небо, где текла вечная зеленая река.— Ты меня любишь? — повторила она, с трудом удерживаясь от неожиданно подступивших слез благодарности за эту жизнь, за этот зеленый свет и шелест, за то, что судьба послала ей этого человека и он был сейчас рядом; она сморгнула слезы, не сдвигая головы с места, увидела его слегка приоткрытые губы. «Да что ты,— сказала она себе,— человек ли это? Это так, что-то прекрасное и непонятное, даже страшное, так ведь человека нельзя любить».

— Чудесная ты девушка, Аленка, тебе счастья бы побольше,— сказал он в это время,— я ведь много горя могу принести.

— Чудак! — удивилась она, и в ее глазах по-прежнему текла зеленая бесконечная река.— Мне до этого нет дела. Ах, напугал... Ты лучше скажи, любишь?

— Не знаю... я тебя телом люблю... грешно люблю... впрочем, не знаю, как я тебя люблю. Какое это имеет значение?

— В самом деле,— согласилась Аленка,— я только одного хочу... Ты просто знай,— торопливо добавила она,— я теперь ничего не боюсь, у меня, Алеша, такое чувство, такое чувство... ничего лучше в жизни не будет. Ничего лучше в жизни уже не бывает, вот я ничего и не боюсь. Бросишь ты меня, ничего... потому что и с тобой уже лучше не будет.

Сокольцев молча закрыл глаза; дети и сумасшедшие всегда оказываются пророками, наверное, в этом есть своя логика. Ведь она высказала сейчас то, о чем он сам думал, он даже вздрогнул от этого про себя. Да с такой и нельзя долго быть рядом, порой она пугает своим проникновением в его мысли и настроение, и он беззащитен перед нею; если он совершит нечто подлое, недозволенное, она тотчас об этом догадается, и будет тяжело, и все рухнет.

— Пекарева убило бессмысленно, я внутренне всегда сопротивлялся, не хотел его брать. Беспомощный, совершенно мирный человек,— сказал Сокольцев ти-

хо.— Трава густая, в пояс, так и не смог найти потом. Неужели они стали бы тащить мертвого с собой? Или он был только ранен...

Аленка слушала его, и все то, о чем он говорил, было для нее чем-то нереальным и далеким. «Какой Пекарев,— думала она,— ах, да. Пекарев, умный такой, молчаливый, ходил с Алешей на задание». Она очень уважала Пекарева именно за ученость и всегдашнее мирное спокойствие, вспоминала его лысину и насмешливый, заставлявший иногда смущаться взгляд, а больше она ничего не помнит. И вот Пекарева больше нет, Алеша здесь рядом; что-то с ним такое произошло в этот раз. Он сам не свой и с ним трудно разговаривать; она подумала, что он завтра или послезавтра опять уйдет, и удивилась своему спокойствию. «Значит, с ним ничего не может случиться,— подумала она,— я в этом уверена. Отчего только это со мной, прямо диво. Да я просто засыпаю, пригрелась на солнце и засыпаю, и нет сил открыть глаза, наверное, все сон: и лес, и зеленое небо, и Алешка; он еще где-то далеко и не вернулся, ах, какой же хороший сон приснился, вот так бы век спать и не просыпаться, но ведь этот горький запах табака,— это же его живой запах... неужели и запах снится?»

Открыв глаза, Аленка увидела прямо над собой и совершенно близко губы Сокольцева и мягко улыбнулась, протягивая руки.

Назавтра он ушел, и она даже не смогла проводить его; он увел группу подрывников к железной дороге, к участку, где назначено было заложить мины и пустить с рельсов поезд; Аленка узнала об этом от своей подруги Насти Огурцовой, второй санитарки, и в первый момент растерялась.

— Ты беги, они вон только из лагеря-то вышли,— махнула рукой Настя Огурцова, указывая направление.— Вот туда пошли... Да ты беги, беги, тут их и нагонишь! Да покличь, он небось отзовется, варнак проклятый! — кричала она вслед Аленке, думая про себя, что все они, мужики, такие, мог бы, паразит, вспомнить, прийти попрощаться.

Аленка бежала в указанном направлении, косы выскользнули у нее из-под косынки; она миновала последние землянки и шалаши, кто-то удивленно остановился и поглядел ей вслед, кто-то крикнул, засмеялся, она не видела... неудачно поднырнув под низкую дубовую

ветку, она ушибла лицо, и от боли на глазах выступили слезы. Ее охватило сильное, почти смертельное чувство тоски, и она чуть не свалилась и, пересиливая себя, продолжала бежать, увертываясь от кустов и пней. Еще в то время, когда Настя Огурцова крикнула ей, что Сокольцев уходит, она едва не обмерла, она уже знала, что не догонит его, вообще больше никогда не увидит, и ноги у нее сделались неловкими, и хотя со стороны она бежала легко и красиво, в самом деле ей было почти невыносимо тяжко, хотелось сесть и заплакать. Откуда у нее взялось такое чувство, что она больше не увидит Сокольцева, она не могла бы сказать, но это было так; хотя самым страшным в этот час было для нее другое. «Нет, нет,— билось у нее в мозгу и в сердце,— я его теперь не догоню, сейчас не догоню, я его сейчас больше не увижу».

— Алеша-а-а! — закричала она отчаянно, теряя силы.— Алеша-а!

Часовой вышагнул ей навстречу из-под старой темной ели, и так как она продолжала бежать, он расставил руки, и она бессильно ткнулась ему прямо в грудь.

— Тю-ю! — послышался над нею густой и знакомый мужской голос.— Очумела девка. Куда тебя несет домовой?

Она узнала отцова дядю и крестного Игната Кузьмича, а попросту дедушку Игната, хотя он ни в чем не был похож на дедушку, несмотря на свои шестьдесят лет.

— Дедушка Игнат, а дедушка Игнат,— спросила Аленка жалобно,— здесь никто не проходил? Ну вот только что, вот сейчас...

— Никого не было, куда это ты разогналась? А ну постой! Стой, я тебе говорю, ошалелая!

— Тут должны были минеры пройти,— по-прежнему рвалась из его рук Аленка.— Их Алексей Сокольцев повел, мне его обязательно увидеть надо...

— Стой,— удержал ее Игнат Кузьмич, насильно заставляя сесть.— Тут дальше никому ходу не дозволяется, разве только пропуск знаешь.

— Никакого пропуска я не знаю,— вспыхнула Аленка,— да я же своя, дедушка, ну что ты!

— Девка-то и есть девка,— недовольно сказал Игнат Кузьмич.— На войне вот так своих не бывает. Поставлен я на пост и должен родного отца не пустить без пропуска. И не пущу, я старый солдат. А твой молодчик другим путем своих-то провел, у них, у секрет-

ных, свои стежки. Вот что, девка, я тебе скажу,— неожиданно посуровел он и, стянув замызганную фуражку с лакированным когда-то козырьком, поскреб в голове.— Я тебе вот что, Аленка, по-родственному скажу, был бы тут твой родитель, а мой крестничек Захар, так он бы не поглядел, что ты девкой стала, задрал бы тебе платью да лозой и всыпал бы по мягким местам. Срам, срам, люди воюют, а она за парнем бегает, кобелится. Брата у нее в Германию угнали, батька неизвестно где теперь, может, роса очи выела, матку за нее же полиция да немцы терзанию великому порешили, а она тут совсем очумела, за парнем мечется, аж ветер в ногах! Ох, говорю я тебе, Алена, не к добру это, от людей неужто тебе не зазорно?

Слушая его с напряженным вниманием и с какой-то жалкой полуулыбкой, Аленка при последних его словах перевернулась лицом вниз, уткнулась в землю; Игнат Кузьмич, думая, что она плачет, неловко нагнулся, хотел приласкать ее, погладить по вздрагивающим плечам, но она гибко вскочила, и глаза у нее недобро потемнели.

— А я люблю его! — крикнула она Игнату Кузьмичу.— Что мне люди, ну что мне люди? У меня без него дыхания нет, свету нет, мне темно без него! Что же мне теперь делать, деда? Повеситься, может, на этом суку? Так я повешусь, твоим же людям на потеху, мне все равно, если я его больше не увижу... а я его не увижу, я знаю, что не увижу!

— Да ты что, ошалела-то, девка? — изумился Свиридов окончательно.— Все мы были молодыми, да что ты, особливого какого устройства, а? Ух ты, дикая, в отца, что ль, вышла? Дурь это у тебя, выкинь ее из головы.

Он говорил и говорил нарочито сурово и грубо, но в то же время нечто светлое растопило его душу; он и себя вспомнил, и свою старуху в молодости, и показалось ему, что такого вот у него никогда не было, и от этого стало ему обидно. Жизнь прожил, а такого вот не встретил, а этому Алешке подвалило ни за что ни про что, да ведь и парень-то какой-то весь белорылый, насупленный. И Аленка слушала и не слушала его; конечно, где-то там был дом, мать, два маленьких еще братишки, Егорушка и Николка, а Ивана угнали в Германию еще в начале войны, батька тоже, может, сгинул где... Разве она об этом хоть на миг забывала? Только

все как-то отодвинулось и стерлось, когда она встретила Алешу; да, это было страшно, но брось на весы прошлое и его, то он сразу же перетянет; вот и теперь нет никаких сил встать и пойти назад. «Какое высокое небо, одна жуть,— сказала она, напрягаясь и словно каменея,—нет, я знаю, он больше не вернется». И все, все в словах деда Игната неправда, он ничего не понимает от старости, он уже все забыл, он же не знает, что она больше не увидит Алешу, и лучше бы ей сейчас закрыть глаза и никогда не просыпаться от этой боли, от этой тяжкой досады, когда все понимаешь и не можешь ничего изменить.

Трое суток до намеченного срока возвращения группы Сокольцева с задания Аленка почти не спала, при каждом постороннем шорохе вскакивала, и Настя Огурцова, не выдержав, уже начинала ее ругать и стыдить и грозилась пойти и доложить обо всем самому товарищу Горбаню, и уверяла, что все будет хорошо, такой, мол, отчаянный парень, как Алешка Сокольцев, в огне не сгорит и не потонет ни в каком болоте.

И вконец изнемогшая Аленка почти поверила ей; пришедшая утром Настя долго не решалась разбудить ее; косые, длинные лучи солнца уже пронизывали листву деревьев, и лес с каждой минутой все больше наполнялся звоном птиц, какой-то сказочной игрой воздуха, света и обильной росы.

Аленка сама открыла глаза, несколько мгновений глядела в лицо Насти, затем бесшумно, не касаясь руками низенького, узкого ложа из березовых жердей, села, подняла руки к груди, стягивая ворот мужской рубашки.

— Настенька, Настенька, ну говори же, не мучь,— прошептала она.

Настя неловко примостилась рядом с ней и молча заплакала, затем, сердясь на себя, отвернулась и сказала:

— Иди, Аленка... Принесли... Да уж лучше бы не приносили... Куда же ты, господи, расхристанная...

Деревянными руками набрасывая на себя одежду, Аленка вся мелко дрожала; Настя что-то оправляла и застегивала на ней, но она не чувствовала ее рук, и когда наконец выскользнула из шалаша, небо над ней словно взялось хрустальной, пронзительно нежной трещиной, и она недоуменно посмотрела туда, вверх, откуда раздался такой странный зловещий звук. Она вошла

под зеленый большой навес, защищенный с трех сторон чем-то вроде стен; вчера было семеро раненых, сейчас и восьмой топчан с краю занят, но это был не Сокольцев, она сразу поняла, хотя новый раненый лежал к ней спиной и был накрыт немецкой шинелью. Шагах в десяти от этого навеса располагался другой, поменьше, обтянутый парусиной, до сего времени пустующий, но теперь она безошибочно угадывала, что Сокольцев именно там, отдельно, и напрямик, захлестывая росу в тяжелые солдатские ботинки, кинулась туда. Сокольцев лежал один, и врач Иван Карлович попался ей на выходе; она ищуще, отчаянно скользнула по его лицу, стараясь хоть за что-нибудь зацепиться, но Иван Карлович стащил очки с разбитым правым стеклом, слепо сощурился на нее и, бросив какое-то указание, которое она не расслышала, прошел мимо; она пригнулась, шагнула под навес, наполненный от парусины зеленоватой утренней мглой, увидела Сокольцева и сразу все поняла. У него как-то поджалось и слегка удлинилось лицо, но самое главное было в глазах или даже где-то над глазами; он словно глядел теперь только вовнутрь, в себя, и оттого над ним угадывалась какая-то пустота. Только голова, плечи и руки были у него свободны, а все остальное — от подмышек и до самых ступней ног — запеленато и затянуто бинтами с проступившими там и сям ржавыми пятнами крови; Аленка, не решаясь приблизиться, стояла у входа; понемногу уловив прояснение и осмысленность в его глазах, подошла, опустилась на колени и взяла его руку, лежащую вдоль непривычно толстого спеленатого тела.

— Что же это такое, Алеша? — прошептала она, но ей лишь показалось, что она это прошептала, она ничего не сказала, любое слово вслух было бы сейчас неуместно и оскорбило бы, и прижалась к его слабой руке, и губами еще сильнее почувствовала, что он уходит. Он молчал, он, возможно, не узнавал ее, и она, подняв голову, опять увидела его лицо и глаза, теперь совершенно иные, и странный свет стоял в них. «Это солнце уже поднялось над лесом,— подумала она,— и освещает навес, он, кажется, не видит меня, не замечает». Но в этот миг рука Сокольцева шевельнулась; Аленка почувствовала слабое движение его пальцев.

— Как же так, Алеша? — спросила она.— Как же это могло случиться...

Он поглядел на нее словно издали, тяжело и равнодушно, и прикрыл глаза, говоря этим, что теперь уже все равно, как случилось; судорога прошла по его лицу, он до хруста сжал зубы, и лоб у него взмок; Аленка поняла, что пустые глаза у него от боли, оттого, что он все время старался не показать ее. И от бессилия чем-либо помочь она почувствовала себя жалкой и ненужной, и робко старалась поймать его глаза, и боялась этого. Он попытался успокоить ее вымученной улыбкой, но ничего не вышло, и, ощущая приближение боли, уже не раз бросавшей его в беспамятство, он опять шевельнул руками и строго сказал, недовольно морщась:

— Ты иди сейчас, Аленка... пожалуйста, оставь меня... ну иди, иди,— заторопился он, уже не видя ни ее, ни шелестящей парусины над собою, взявшейся расплавленной движущейся коркой: словно жгучая трепещущая пелена затянула глаза, и он бессильно дернул рукой, пытаясь закрыться от нее; боль вспыхнула сразу во всем теле, и он провалился в раскаленную добела красноватую мглу.

К железнодорожному полотну группа Сокольцева вышла на второй день к вечеру. Начинало темнеть, движение поездов уже было приостановлено, и нужно было ночевать. В полукилометре от полотна партизаны нашли удобное место и, пожевав всухомятку хлеба и сала, легли.

Пахло разогретой от солнца, не остывшей и в ночь сосной, от земли тоже шел свежий тихий запах; безветрие охватило лес после полуночи, и Сокольцев, заложив руки под голову, отдыхал после сорокакилометрового перехода. Густая старая сосна закрывала от него небо, в просветах между деревьями зеленовато и остро горели редкие, крупные звезды. Он как-то мимоходом вспомнил об Аленке, о том, как ему хорошо было с ней в последний раз; сейчас она представилась как нечто нереальное, да была ли вообще Аленка, подумал он, с наслаждением вытягивая гудевшие от многочасовой непрерывной ходьбы ноги. Ребята уже спали, это он точно знал по особой живой тишине, всегда окружавшей спящих людей; он различил дыхание Кости Чемарина, молодого парня, который должен завтра заложить мину, остальные пятеро будут его страховать. «Надо, конечно, нахалку ставить, оно вернее»,— подумал Со-

кольцев, все в уме предполагая и рассчитывая, но скоро заснул, решив, что все закончится удачно, и, проснувшись от какого-то постороннего звука, приподнял голову. Это шла дрезина, очевидно развозила первые посты по дороге, и надо думать, через час, полтора пустят поезда.

Сокольцев поежился, зевнул, прикрывая рот ладонью; пожалуй, ребята еще могли с полчаса поспать, подумал он, потянулся до хруста в плечах и встал. От насыревшей одежды знобило, он несколько раз быстро присел и опять прислушался. Шум дрезины удалялся, затихая, и лес опять наполнялся естественными и простыми звуками. Поднимался легкий ветерок, и где-то неподалеку все время равномерно и тягуче скрипело дерево; потом долго прошуршало в сером тумане, словно кто-то трудно, с наслаждением почесался. И птицы стали проявлять себя, тоненький посвист с мелодичными переливами поплыл в воздухе, подала чистый, похожий на звон серебра голос иволга, ударил, рассыпался высоким звоном со всевозможными выкрутасами и коленцами соловей, все остальное словно бы отодвинулось и остановилось. С каждой минутой в лесу светлело; наклонив слегка голову, Сокольцев с легкой и приятной бодростью в душе замер. Сейчас ему не хотелось думать о том, что будет через два или три часа, дело предстояло простое и теперь даже привычное, и хотелось постоять бездумно и послушать, посмотреть, как приходит день...

Вскоре он разбудил остальных, они позавтракали и, через час приблизившись к железнодорожному полотну, наблюдали из-за густых ореховых и дубовых кустов за двумя немцами-часовыми, обходящими по шпалам свой участок; оба они были с автоматами и сравнительно молоды; они шли друг за другом, было видно, что они напряжены; примерно в полукилометре от них виднелась еще одна пара. Сокольцев не думал о них сейчас как о конкретных людях, у которых есть где-то семьи, есть какие-то надежды и планы; он оценивал их лишь как враждебную силу, и еще он подумал о том, что в следующий раз надо для такого дела переодеваться в немецкую форму, можно было бы как-нибудь этих хлопнуть и ходить вместо них, хотя, очевидно, при встречах с соседским постом есть пароль и они знают друг друга. Но все равно, нужно было хотя бы двоих переодеть... Далекий шум поезда возник, казалось, неожиданно, тронул, наполнил лес, все усиливаясь, словно

притушил праздничные, радостные краски; в это время часовые повернули и стали возвращаться назад.

— Ишь прытко вышагивают как,— проворчал Костя Чемарин,— не терпится, видать, на тот свет прогуляться...

Ему никто не ответил, им нужен был первый поезд, сразу после десяти часов, а сейчас шел всего лишь восьмой час; Сокольцев благодушно перевернулся на спину. После десяти должен пройти состав с танками, игра стоящая, дорогая, ради нее можно и неделю комаров покормить. Хотя кто знает, в прошлом месяце подрывали вот так же состав с боеприпасами, а оказалось, что он почти целиком с продовольствием; Сокольцев почему-то был спокоен и уверен в успехе; мину нужно поставить буквально за десять — пятнадцать минут до подхода поезда, чтобы постовые не успели ее заметить и поднять тревогу; в случае чего придется попытаться бесшумно их убрать, но лучше обойтись без этого, если с часовыми свяжешься, никогда нельзя точно угадать, какой оборот примет дело. Сокольцев закрыл глаза, чувствуя на лице двигающуюся тень от куста, солнечный, хороший разгорался день, искупаться бы сейчас, полежать где-нибудь на песочке у воды совсем голому, а так ведь, несмотря на расслабленность, напряженность дает себя знать, в любую минуту готов вскочить и делать необходимое.

Он взглянул на часы и подосадовал, что время движется чересчур медленно; ждать, конечно, не беда, он знал и другое, наступит такой момент, и время побежит, даже не побежит, помчится, и все будет казаться, что не хватит одной-единственной секунды, и будешь задыхаться, рваться из последних сил и все равно не успеешь.

Ветер усиливался, в небе натягивало облака; Сокольцев следил за их бегом с северо-востока, такие облака, он уже успел заметить, наносили дожди; пошарив рукой в густой траве, он наткнулся на хрупкую буровато-розовую сыроежку, осторожно, под корешок, сорвал ее и тут же отбросил. Он безошибочно почувствовал *начало*; время преломилось в определенной точке и повернуло под гору, и под конец оно понесется с визжащей скоростью, вот оно уже начинает разматываться быстрее и быстрее; Сокольцев встал, тщательно проверил мину.

— Сработает,— сказал ему Костя Чемарин с уверенностью,— осечки не будет, наверняка делали.

Сокольцев ничего не ответил на это, лишь приказал всем приготовить автоматы и гранаты и в следующую минуту понял, что эшелон идет; он взглянул на часы, было без пяти десять. Значит, еще минут двенадцать — пятнадцать.

— Зинатулин и ты, Гаврусевич,— приказал Сокольцев,— давайте к часовым. Не отставайте, держитесь все время как можно ближе к ним. Остальные работают по намеченному плану, прикрываем непосредственно Чемарина.

После его слов люди тотчас разошлись в нужные, заранее определенные места. Все уже научились двигаться бесшумно и незаметно, и все произошло как во сне, словно бесплотные тени скользнули по зеленым сырым зарослям, и только Чемарин тяжело засопел над своим ящиком. Сокольцев выдвинулся к самой кромке кустов, чтобы лучше видеть полотно и часовых; теперь до рельсов оставалось ровно двадцать восемь шагов, он ночью сам дважды вымерил расстояние. В системе немецких постов здесь на железной дороге был изъян, и Сокольцев решил воспользоваться им, чтобы успеть поставить мину. Обход своих участков у немцев начинался в одной точке и шел затем в разные стороны, ровно на десять минут оставляя большой участок полотна совершенно без наблюдения, и мину нужно было заложить именно в этот промежуток времени на изгибе полотна.

Немецкие постовые только что разошлись, и гул поезда неотвратимо наплывал и усиливался; теперь секунды не шли, а срывались, торопясь, подгоняя друг друга.

«Пора»,— сказал себе Сокольцев, прикосновением руки приказывая Чемарину идти, и тот, повернув к нему широкое, веселое лицо, кивнул, подхватил свой тяжелый груз и, полусогнувшись, остерегаясь, пошел к насыпи; вслед за ним привычно пополз Скорин, они должны были вдвоем установить мину.

Состав ждали минут через десять — пятнадцать, и Сокольцеву казалось, что Чемарин и Скорин движутся слишком медленно, чересчур медленно; гул состава нарастал неумолимо, ежесекундно, и Сокольцев теперь не на шутку тревожился, что они не успеют. Но в то же время он уже знал, что состав не проскочит и операция будет удачной; он вдруг услышал над собой шелест листьев, пронизанных солнцем. «Что-то случилось»,—

сказал он себе, еще не понимая, он лишь увидел белое, теперь испуганное лицо Чемарина, повернутое назад. Чемарин неуклюже, стараясь обезопасить свой груз, медленно валился на бок; к нему бросился Скорин, перенял у него из рук мину, и оба они легли рядом на землю. Сокольцев крикнул, спрашивая, что у них там случилось, и Чемарин незнакомым вяжущим голосом и тоже громко ответил, что ногу, кажется, сломал. Сокольцев сразу рванулся вперед, хотя еще успел оглянуться и сказать, чтобы взяли Чемарина и оттащили подальше в лес. Остальное было уже как во сне; он сразу понял, определил, почувствовал, что мину не заложить, поезд грохотал где-то совсем рядом, дрожала земля, и густой волнистый дым стремительно надвигался из-за поворота. «Ну вот и все»,— с непривычной пустотой и ужасом подумал Сокольцев, решение пришло помимо его рассудка и желания, и он лишь должен был выполнить. Он подскочил к Чемарину, у того на лице держалась гримаса боли.

— Назад! — властно сказал он и Чемарину и Скорину, раз и навсегда отделяя себя от них и только однажды дозволенным человеку в жизни усилием перескакивая через бездонную пропасть.— Назад! Назад! — повторил он, чувствуя, что они колеблются.

Состав был уже совсем близко, только поворот и кусты скрывали их от глаз машиниста. Сокольцев подхватил мину, ползком поволок ее вслед за собой к полотну; автоматная очередь рассыпалась вокруг, брызнуло по гальке. «Да ведь все равно не попадете,— подумал он, весь внутренне дрожа от возбуждения,— все равно теперь поздно, паровоз в каких-нибудь пятидесяти метрах, не больше, ах ты, черт возьми, здорово, хорошо!»

Он поднялся во весь рост и, оползая ногами в щебенке насыпи, бросил мину под горячие крутящиеся, ревущие колеса, прямо на рельсы; и еще до взрыва он знал, что сделал свое дело и теперь уже ничего не поможет, но он все-таки в тот момент, когда швырнул тяжеленную мину под паровоз, откинулся всем телом назад. Он не успел коснуться земли, его подхватил никогда не слыханный ранее грохот, оторвал от земли и швырнул в сторону, и последнее, что осталось в нем, было чувство замирающего полета.

Он уже ничего не видел; паровоз, судорожно рванувшись, метнулся в сторону с насыпи, вскидывая кверху тендер, вагоны и платформы наскакивали и гро-

моздились друг на друга, под собственной тяжестью опрокидывались танки, потом что-то загорелось и стало взрываться; партизаны подожгли состав еще в двух или трех местах, горела даже земля вокруг, с глухим треском лопнул котел, и послышался жалобный, похожий на заячий, предсмертный визг, человеческий крик. На танках, на орудиях, на вагонах, тяжело и смрадно пузырясь, оплывала краска, и черный дым, скручиваясь в жгуты, поднимался все выше.

5

Сокольцев знал, что умирает, и боялся больше всего теперь показаться безобразным, немощным и жалким; пожалуй, он уже перешел через грань страха, страха исчезновения, ему только хотелось, чтобы *это* произошло быстрее, уж очень сильно мучила боль. Темные беспросветные провалы в сознании чередовались с разноцветными кусками удивительного бреда, когда он, казалось, жил в опрокинутом, ирреальном, мире. Лес рос корнями вверх, люди плавали в зеленом, пронизанном мглистым светом полумраке, в медленных водорослях шевелились невиданные красногубые существа с единственным глазом посредине тела; Сокольцев уже начинал думать, что его окружает тот мир, в который он вот-вот вступит, он должен был привыкнуть, приучить себя к нему. Ему сейчас никто не был нужен рядом, и он, открывая глаза и видя Аленку, сердился, его все время мучила мысль, что она видит его в бессознательном состоянии, она, живая, могла смотреть, чувствовать; она должна была понять и уйти, она ведь все равно не могла ему помочь. И потому он совершенно бессознательно испытывал к ней особую враждебность: он уходил, она оставалась, и между ними все больше увеличивалась полоса отчуждения и неприязни, да, да, он уходил, но зачем ей нужно видеть это? Этого нельзя было видеть, и незачем, пусть бы он ушел от нее сильным. «Зачем же так сделано в жизни, что она должна видеть, как мне не подчиняется собственное тело, одни лишь руки чуть шевелятся, да еще голову можно слегка поворачивать. И потом, эта боль убивает меня, я уже не могу ее больше терпеть, это жестоко с их стороны, они же знают, что я умираю, отчего же не оборвать сразу? И она видит, как я страдаю,— подумал он об Аленке,—

почему же она не догадается как-нибудь помочь? Впрочем, я, кажется, еще не сказал ей слова, но у меня и не хватит на это решимости, я почему-то боюсь ее сейчас. Если бы она поняла, что нужно помочь и уйти, попрощаться со мной и уйти, мне сразу стало бы легче». Он подумал, как ей показать это, но старое мучительное состояние, словно у него из тела вытаскивали все какими-то раскаленными щипцами, опять ударило в него; перед глазами ничего, кроме раскаленной прозелени, не осталось, его подняли громадные руки и совали в раскаленную рыжую пасть, он отбивался и кричал, затем все выключилось на время, и когда перед ним опять замелькали какие-то рваные куски, облака, возникло, укрепилось и долго держалось чувство полета. Ветки секли ему лицо, и он все пытался прикрыться от них; его быстро, безостановочно несли по лесу, и люди были чужие, ни одного знакомого, только Костя Чемарин все мелькал где-то в отдалении, его никак нельзя было надолго поймать глазами. Что-то опрокинулось над ним, мутная пелена закрывала небо из конца в конец, и он с невольным содроганием подумал о близком завершении всего, тяжко ему стало и нехорошо от этой мысли, и он очнулся совсем, и увидел над собой чье-то лицо. Он глядел на него с неприязнью, не узнавая, лицо расплывалось и дробилось в глазах; уже опять расползалась по всему телу боль. Он с огромным трудом поднял руку, отчего боль в нем еще увеличилась, только предельным напряжением он удержался в сознании, и от этого боль чуть-чуть отпустила; он слепо ощупал руками лицо Аленки, по-прежнему видя его недостаточно ясно, и получилось это как-то не по-мужски; и она с мучительным перебоем сердца поняла, что и руки у него уже умирают.

В это время он отчетливо позвал ее, она опустилась на колени, чтобы быть ближе; у нее уже тоже наступила примиренность с тем, что произошло и должно было еще произойти; между ними пролегла черта, за ней кончалось вмешательство и власть живого, и ей уже и самой хотелось уйти, оставить его одного, только странная уверенность, что этого нельзя делать, удерживала ее.

— Аленка,— сказал Сокольцев, и она впервые увидела его прояснившиеся глаза.— Я очень, очень люблю тебя, знай это всегда... Ты сейчас уходи... уходи,— повторял он, и она сразу поняла что это его желание

нельзя не выполнить; жалость к себе и нежность к нему заставила ее заплакать, и она взяла его руку и стала целовать горячими, мокрыми от слез губами, целовала и плакала, и он и она понимали, что это и есть последнее прощание.

— Как же, Алешка? — робко спросила она, сводя пушистые детские брови, и Сокольцев нахмурился от этого знакомого и уже ненужного напоминания.

— Не надо,— отчужденно попросил он,— ничего не надо...

Он хотел смягчить свои слова и сказать ей, чтобы она успокоилась теперь и не думала о нем много, а если посчастливится встретить хорошего человека и стать близкой с ним, как это было у них, пусть у нее обязательно родятся дети, вот только война бы окончилась, но он и этого не стал говорить. Все это случится и без его слов, и говорить об этом не стоит, и зря она плачет. Она почувствовала его враждебность, поднялась с колен, хотела выйти, но какая-то сила приковала ее к месту; его взгляд не отпускал, и она вначале не могла понять, о чем он просил и что требовал, и когда поняла, в ней, в ответ на его пристальный, глубокий и требовательный взгляд, лишь отдаленно напоминавший прежнего Алешу, которого она знала и любила, поднялась и затрепетала последняя и высшая мера любви, ей показалось, что она сейчас умрет; эту меру нельзя было переступить, но он требовал именно этого, в глазах его было то, чему нельзя было противиться. «Нет! Нет! Нет!» — немо и беспомощно запротестовала она, и все ее существо превратилось в один сплошной мучительный крик; не в силах оторваться, она следила за его что-то ощупывающими, бессильными руками, в них уже чувствовалось то безобразное и жалкое, что должно было окончательно раздавить его. «Милый, родной мой... прости»,— задохнулась она, не это было ему нужно сейчас, и она, помедлив, стремительно вышла, ей показалось, что это его посветлевший взгляд подхватил ее и вынес из-под навеса. Она не разрешила себе оглянуться; зелень и солнце, мягко шелестящий в листве ветер только резче напомнили ей, подчеркнули *его* отрезанность от всего живого; быстрыми шагами она прошла к палатке, где хранился весь партизанский запас медикаментов; Аленка не знала, зачем она хотела увидеть врача, и, подходя к палатке с закрытой сторо-

ны, услышав медленный, скрипучий голос Ивана Карловича, остановилась.

Разговаривали трое; Ивана Карловича и командира отряда Горбаня она узнала, но третьего так и не смогла угадать.

— Морфия у нас нет.— Голос Ивана Карловича, как всегда в трудные минуты, неприятно заскрипел.— Снять боль, дать ему хотя бы короткие передышки нечем. Мучается ужасно, что я могу, я тоже не бог, самый посредственный уездный лекарь.

— Сколько еще он может продержаться? — спросил Горбань после недолгой паузы.

— Сутки, не больше, адские для него сутки будут.

— Эк ты, доктор, каркаешь, каркаешь! — недовольно отозвался Горбань.— Все-таки сильный парень, гляди, может, у него и остался какой-нибудь запас...

— Человек, разумеется, система со многими неизвестными.— Иван Карлович помолчал.— Но на этот раз абсолютно исключено. Там возле него непрерывно девочка, Лена Дерюгина, если вы хотите с ним проститься, поспешите, Василий Антонович, он почти все время без сознания.

— Пойдем,— сказал после долгой паузы Горбань, и Аленка, слушавшая до сих пор замерев, нашла в себе силы скользнуть в молодую березовую заросль, затаиться. Услышанное не то чтобы явилось для нее новостью, она и сама знала, что Сокольцев умирает и умрет: другая мысль ее поразила. Она сколько времени сидела с ним рядом и мешала ему, он Мужчина и все время старался не показать ей своего страдания, а ведь, оказывается, Алеша прав, он хочет уйти сильным, вот теперь и поставлена последняя точка, уже не будет никого и ничего. Он был и останется для нее высшей наградой в жизни, она теперь знает, что и сама умрет, без него весь мир пуст и ненужен. Она еще может кое-что сделать для него... через ее руки прошли десятки и десятки раненых, и она знает, что такое боль и что такое смерть.

Аленка зашла в палатку Ивана Карловича; она знала здесь все, ее часто посылали сюда за лекарствами и перевязочными материалами; она приподняла на топчане подушку, набитую сухим лесным мхом, и взяла небольшой пистолет; Иван Карлович вечно бросал его и никогда не носил с собой. «Эта штука не очень тяжелая,— подумала она, пряча пистолет в карман юбки,— с ней легко справиться. Я обещала это сделать,—сказа-

ла она, заставляя себя не думать ни о чем постороннем,— совершенно безразлично, что будет после, я должна...»

Какая-то черная тень мелькнула перед нею; она прикрыла глаза, постояла, удерживая в себе поднявшуюся волну, и выбралась из палатки; она еще раз должна увидеть Алешку, без этого ей нельзя. Кто-то о чем-то ее спросил, она не ответила; подождав, пока от Сокольцева выйдут командир отряда и Иван Карлович, она проскользнула к нему; Сокольцев опять лежал в бреду, и лицо у него было бледное и влажное, невероятно густо заросшее светлой щетиной. Когда он на минуту затих, она неловко поцеловала его куда-то в висок и еще раз возле носа; жилы на шее и в висках у него взбухли. Аленка в последний раз, но уже отрешенно, окинула его лицо, внутри у нее все задеревенело, еще нужно было положить пистолет, выбрать место и положить так, чтобы *он* сразу увидел, как только очнется и сможет дотянуться. Она и в мыслях уже не могла назвать его Алешей или Сокольцевым, она теперь называла его отвлеченным и пугающим «он», как нечто, ничему и никому больше не подвластное. Та, что действовала в Аленке вместо нее самой, расчетливо и точно выбрала такое место и замирающей рукой положила пистолет Ивана Карловича прямо перед невидящими, широко открытыми глазами Сокольцева. *Он* сейчас должен очнуться, сказала та, вторая, что была в ней, вот, губы дрогнули и глаза проясняются, и тебе нужно уйти, тебе уже здесь делать нечего. И она вышла из палатки на негнущихся ногах и увидела перед собой Настю Огурцову, увидела как-то далеко, в каком-то красноватом тумане.

— Не ходи туда, не надо.— Строго посмотрев на подругу, Аленка остановилась, загораживая дорогу.— Туда сейчас нельзя, Настя.

— Меня Иван Карлович послал посидеть,— сказала Настя, пугаясь совершенно неподвижного белого лица Аленки и ее незнакомого, холодного голоса.— Мне Иван Карлович говорит, сходи, будь там, товарищ Огурцова...

— Там никому нельзя быть,— повторила Аленка так же строго и отчужденно, не допускающим возражения голосом, и Настя не выдержала, оглянулась.

Хлопнул выстрел, сухой, слабый, у Аленки так велико оказалось напряжение в нестерпимом ожидании

этого единственного в мире звука, что весь лес рухнул вокруг, и в совершенной черной глухоте она услышала пронзительную ноющую ноту, какой-то невыносимый, сбивающий с ног свист. Настя закричала, и Аленка стиснула уши ладонями и, покачиваясь, пошла прочь, мимо старых берез с облохматившейся корой, во многих местах содранной партизанами на растопку костров. Одним ударом столбы, державшие мир, были выбиты, и все рушилось вокруг нее; Аленка шла, и оттого, что на ее лице приклеилась улыбка, казалось, что она спешит по нужному и приятному делу; и все же чьи-то сильные руки схватили ее, и она слепо стала отбиваться. Потом поняла, что все это лишь мерещится ей, и она, потирая зашибленные кисти рук, пошла дальше; зеленый сумрачный мир тянул ее. Сзади послышались тревожные голоса, вразнобой выкрикивали ее имя, звали, а ей уже некуда и незачем было возвращаться. «Зачем они меня зовут,— подумала она,— такие чудные, ведь уже ничего нет, и все куда-то летит, летит, и ничего нельзя остановить». Да ведь не лес это, а просто зеленый, зеленый, зеленый сон, вот она во сне идет, и сама не знает куда. Но и идти она больше не может, ей нужно сесть или лечь, вот как раз и мох, ноги выше щиколотки тонут, точно перина, господи, до чего же просто, лечь и закрыть глаза, ничего не видеть, ни о чем не думать, ничего не знать. Кто она? Да никто, и зачем, зачем все это, зачем ее жизнь, когда уже ничего больше нет, и ее больше нет. Несчастный маленький комочек, ну, конечно, так оно и должно было быть, это наказание. Непомерно жесток кто-то, кто придумал такую муку в расплату за каплю радости, за одну кроху счастья...

Подняв голову, она прислушалась, затем вскочила, и лицо ее загорелось безумной надеждой; это все ведь неправда, сейчас она вернется в лагерь — и Алеша живой, и никакого выстрела не было. Не было! Не было! — протестовало в ней, просто ей привиделось, приснилось или она заболела; да и как она могла такое сделать, ведь он может остаться жить, выздоровеет, вот и Горбань говорил, что у Алеши еще остался запас, что он сильный, никак нельзя было этого делать. Что она, с ума сошла?

Аленка не помнила, как ударилась о землю, и, только очнувшись, сразу почувствовала сильно болевшее плечо, и ей очень хотелось заплакать.

Над ней высилась сосна, высокая, красноватая от рассеянного по лесу солнечного света; Аленка случайно взглянула туда, вверх, и ей впервые стало невыносимо страшно, но она все равно не могла заставить себя заплакать. Когда она на другой день появилась в лагере, навстречу ей первым делом попался молодой здоровый парень и сказал, может, по простоте душевной, а может, думая этим утешить, чтобы не очень-то она убивалась, что она еще молодая... и тут же споткнулся и отступил в кусты. Если бы у нее в руках что-нибудь было, она, не раздумывая, тут же застрелила бы его; ударить или что-либо сказать у нее не было сил; увидев перед собой Игната Кузьмича, она молча ткнулась в его бороду и забылась; он увел ее от любопытных взглядов, усадил на траву и сам приютился рядом и, помолчав, вздохнул.

— Ты, Аленка, главное пойми,— сказал он со свойственной ему медлительностью.— А главное — оно в том, что человек только гость на земле, пришел и ушел, а за ним другой, третий придет. Ты о себе сейчас не думай, нехорошо о себе подряд думать, ты малая птаха, крылышками потрепещешь, воздух возмутишь, а он, гляди, тут же и затихнет. Вот ты о чем подумай. Мы все равно идем, идем, и каждый о себе превосходительно думает, а в мире-то все равно тишина. И до нас тихо, и после нас тихо, ты прислушайся-ка, прислушайся... а?

— Не понимаю ничего я, дед,— сказала она, глотая подступившие слезы и чувствуя боль в горле.

— Тут понимать нечего,— задумчиво сказал Свиридов.— Он ушел, а тебе еще жить намечено, вот и живи. Тебе за него немцев хорошенько отдарить надо. Уж такая у вас бумага с печатью случилась, в разные стороны.

Несколько дней после этого разговора Аленка избегала Игната Кузьмича, и он, чувствуя это, не подходил к ней; Аленка была безразлична к жизни отряда, к себе и делала свою работу больше по привычке, как машина. Она уже много раз хотела пойти к Горбаню или к комиссару и сказать им, что это она виновата в смерти Сокольцева, и рассказать им все, как было, и в такие моменты задумывалась и, уронив руки, ничего не слышала и не видела, и Ивану Карловичу приходилось повышать голос, чтобы пробудить ее; Ивану Карловичу иногда хотелось подойти к ней и по-отцовски бережно

погладить по голове, так она была одинока в своем горе и отгорожена от всех, и однажды он так и сделал, и Аленка не отстранилась.

— Не надо, Лена,— сказал Иван Карлович, гладя ее мягкие волосы.— Жизнь и смерть идут рука об руку, война лишь усиливает эту трагическую нерасторжимость. Ты старайся не думать сейчас, это долго будет болеть, по себе знаю, привыкать ко всему придется заново. Я ведь, Лена, очень, очень старый, все понимаю. Одна беда, вы же знаете, говорю, мою старческую рассеянность, наверное, бросил там этот проклятый пистолет, забыл...

Аленка, немигающе глядя на него, все отодвигалась и отодвигалась; лес шумел молодо и зелено, торжествующий и вечный лес был вокруг, и это, как-то мгновенно отозвавшись и запечатлевшись в Аленке, родило нестерпимо пронзительную муку сердца; продолжая пятиться, загораживаясь от Ивана Карловича рукой, она умоляюще глядела на него. И он понял, что она просит его ничего не говорить ей больше и не подходить и что ей невыносимо не от его слов и участия, а оттого, что он по доброте душевной поспешил.

6

Брюханов приехал в расположение отряда Горбаня недели через две после смерти Сокольцева, нужно было уточнить маршруты предстоящего рейда на Украину, к самым границам Польши. Брюханов только что прилетел из Москвы, с совещания секретарей подпольных и партизанских обкомов, на совещании присутствовали Сталин, Калинин, Ворошилов, Пономаренко и были намечены дальнейшие пути усиления партизанской борьбы; Брюханов вернулся посвежевший, подтянутый; он наконец получил известие от матери, эвакуированной в Ташкент, но главное, в нем словно обновилась самая сердцевина; в Москве он почувствовал не только один свой край, а усилия всей страны, простершейся так огромно, что действительно только фанатик мог решиться сделать попытку поработить и захватить ее. Одним словом, несмотря на постоянные передвижения, на массу всяческих дел, в которых, хочешь или нет, приходилось участвовать, на хроническое недосыпание, Брюханов вернулся назад в приподнятом состоянии

и почти сразу же, не остыв от впечатлений, появился в отряде Горбаня, и сейчас, слушая этого подвижного и нервного белоруса, его категорические «нельзя» и «вообще немыслимо», он про себя как-то даже благодушно улыбался, сам он определенно знал, что все это можно и, самое главное, необходимо выполнить, и решение должно быть выработано еще сегодня до утра, до его встречи с более широким кругом людей. И Горбань скоро понял, что рейд отряда к границам Польши утвержден свыше; теперь, если было вообще возможно что-то определять и планировать вперед хотя бы на час войны, нужно было только отстоять более конкретный путь рейда, по его, Горбаня, мнению, более безопасный для отряда. Но еще тверже он знал другое: если сейчас полным хозяином положения является Брюханов, как секретарь обкома и представитель Главного партизанского штаба, то, уже выйдя в рейд, он, Горбань, станет свободным в случае острой необходимости принимать решения, даже противоположные тем, которые они утверждают здесь и рассчитывают. Рейд отряда намечался вначале на запад, с резким поворотом на юг, мимо Чернигова и Нежина; перерубая и выводя из строя все встречающиеся железнодорожные пути, нужно было выйти к старой границе СССР с Польшей и двинуться вдоль нее к северу и при первой необходимости уйти в белорусские леса и болота.

В разговоре принимал участие и комиссар отряда, секретарь Вырубежского райкома, тоже хорошо известный Брюханову по довоенной работе, Гаврила Тарасович Сидоренко,— с мягким, рокочущим басом, любивший свои родные украинские песни, особенно «Ой за гаэм, гаэм». Он был сейчас в форме батальонного комиссара, она была ему маловата и не шла, сильные кисти рук торчали из коротких рукавов; он отчаянно пытался скрыть зевоту, не спал ночь и устал от трудного ночного перехода; лошадь, на которой он возвращался с собрания в одном из сел, сломала ногу, ее пришлось пристрелить. Стараясь взбодрить себя махоркой, он почти непрерывно курил, от этого в лице у него начала проступать какая-то прозелень, и Горбань, несколько раз недовольно посмотрев в его сторону, оторвался от карты и сказал, чтобы он бросил курить и что от него уже горечью несет, рядом сидеть невозможно. Сидоренко ничего не ответил, затер окурок подошвой и вздохнул; он отлично знал мнение командира отряда

о рейде и поэтому представлял себе состояние Горбаня; но так же, как и Горбань, он понимал, что хотят они или не хотят, а им придется выполнять намеченное. Все устали, и голоса доносились как-то глухо, словно издалека.

— Вот что удивительно,— сказал Сидоренко, прислоняясь к широкому и уже затертому стволу старой липы, под которой он сидел.— Я на этом собрании впервые обратил внимание на детские лица. В первый раз с начала войны. Слушают старики, женщины, хорошо слушают, и среди них дети, и вдруг я вижу, что это совершенно другие дети. У них лица не детские. Хлопчики со взрослыми лицами. Вот как всех нас причастила война.

И Горбань и Брюханов одновременно подняли головы, и оба стали задумчивы и серьезны.

— Да, это верно,— после паузы сказал Брюханов, постукивая карандашом по планшету.— Человек так уж скроен, вероятно, трудно определить в нем точку равновесия между его бытом и его общественной, социальной деятельностью. У нас сейчас большие дела, думать о себе не приходится, а ведь так хочется иногда чего-то совершенно простого, ну посидеть где-нибудь в саду в расстегнутой рубашке, с папиросой и газетой. Никуда не спешить и чтобы музыка играла негромко так, приглушенно вальс «На сопках Маньчжурии»...

Брюханов, чувствуя, что говорит длинно и многословно, и чувствуя ненужность этого многословия здесь, все не мог остановиться; запнувшись на полуслове, он сдвинул брови. Нельзя было много говорить сейчас, в мир пришли иные измерения; он с облегчением вздохнул, когда, мельком взглянув в лица, не заметил в них ни затаенной усмешки, ни желания отвести глаза в сторону. Горбань подождал, не скажет ли Брюханов еще чего, и с сожалением пододвинул к себе бумаги; короткая передышка кончилась, он про себя уже подсчитывал, сколько чего необходимо будет взять с собой, сколько запасти хлеба и патронов, сколько нужно лошадей и повозок и как все увязать между собой; он опять склонился к столу, пробегая глазами списки.

— Как минимум, товарищ Тихонов,— обратился он к Брюханову, называя его подпольной кличкой и тем подчеркивая официальность своего обращения,— мне необходимо хотя бы еще сто подвод с лошадьми. Я при-

кинул, у меня годных для рейда наберется не больше семисот человек, давайте утрясать.

— Думаю, роту автоматчиков мы тебе подбросим, отберем в соседних отрядах лучших ребят.— Брюханов, возвращаясь к делу, с молчаливым одобрением отметил, что Горбань за последние месяцы во многом переменился, стал посуше, в нем появилась не сразу заметная внутренняя уверенность и значимость, столь необходимая в постоянной ответственности за жизнь людей.—Насчет подвод и лошадей, Василий Антонович, тоже решим, я думаю, лошадей сто пятьдесят добудем. Не без труда, правда... остальным отрядам в пределах Холмщины и соседних областей предстоит выполнить свое; начинаем не единичную и бессистемную, а повсеместную, одновременную и беспощадную войну по дорогам и коммуникациям врага. На данном этапе это главная наша задача. Идет крупнейшее немецкое наступление на юг и к Волге, немцы вышли в район Сталинграда...

Брюханов скользнул взглядом по лицам сосредоточенно слушавших его людей, хотел продолжить; какой-то шум невдалеке помешал ему, Горбань недовольно оглянулся. К ним подошли трое: молодой партизан, без фуражки, с кудрявой, давно не стриженной головой, Аленка, с бледным, жестко замкнувшимся лицом, и третий, командир роты Ковалев — мужчина лет сорока, туго застегнутый широким ремнем с медной бляхой и в хороших, вычищенных до блеска сапогах; кудрявый парень, заливаясь густым румянцем, опустил голову, и тогда Горбань недовольно спросил:

— По какому делу, Ковалев? Другого времени не могли найти?

— А я при чем, товарищ полковник? — быстрой скороговоркой зачастил Ковалев.— Она же его, друга сердечного, чуть-чуть не пришила, если бы я не вывернулся, тут бы ему и концы отдать.

— Подумаешь, краля, с ней и пошутить нельзя,— угрюмо сказал парень, встряхивая спутанными густыми кудрями и по-прежнему глядя в землю, явно уверенный в своей правоте.— Пущай в монастырь поступает...

— Я тебе покажу монастырь! Я тебе дам монастырь! — внезапно тоненько закричал Горбань, и кровь у него быстро подступила к щекам.— Стрекулист! Твои шутки известны, мне уже жаловались однажды. Здесь тебе не кобелиная свора. Хватит! — оборвал он, пре-

дупреждая малейшую попытку возражения.— Идите! А ты, Сидоренко,— повернул он сухую, легкую голову к комиссару,— займись ситуацией. Иди, Хмелев, после вызову.

Кудрявый парень еще потоптался на месте, нерешительно откозырял, сказал «есть», повернулся по-строевому и пошел, покачивая молодым, гибким телом; Брюханов проводил его глазами и опять стал смотреть на девушку, лицо которой показалось ему знакомым, даже беспокоящим, только он никак не мог припомнить, где он мог видеть ее.

Отпустив командира роты Ковалева, Горбань устало помолчал, с некоторой, неожиданной для себя неприязнью присматриваясь к отчужденно стоявшей в стороне Аленке.

— Садись, Дерюгина.— Он отодвинулся от края скамьи, и когда она безразлично села, сложив тонкие руки у себя на коленях, он понял, что все его слова бессильны, нелепы и не нужны для нее, но по нелепому же и необъяснимому закону он должен был что-то сказать.— Понимаешь, Дерюгина, война это война, она не спрашивает, кого убить, кого оставить. Хмелев, конечно, тупой парень, с другой стороны,— хороший партизан, ну, молодой, понимаешь... Ты на него не сердись, Дерюгина, не надо, он не виноват.

— Сейчас я уже не сержусь,— сказала она,— а еще полезет — застрелю. Ведь они дружками с Алешей были...

— Ну, это ты брось, Дерюгина.— Горбань придавил рукой зашелестевшие от ветра бумаги, собрал их, сложил и спрятал в сумку; он сейчас по-прежнему больше думал не о словах Аленки, а о предстоящем рейде, эту работу в голове уже нельзя было остановить.— Что делать,— опять сказал он,— каждому свой ум не вложишь, мы Хмелева сами накажем... Я понимаю, но жизнь-то, она...

— Не нужно, товарищ полковник, никого наказывать, хлопцы у нас хорошие, а кого надо, сама проучу,— отозвалась Аленка неохотно, и Брюханов мгновенно вспомнил Густищи и Захара Дерюгина и последний с ним разговор и глядел на Аленку удивленно встрепенувшимися глазами. «Точно,— говорил он себе,— именно ее я и видел несколько лет назад босоногой девчушкой у Захара, она как раз тащила куда-то голозадого мальца, а тот орал благим матом, сучил грязными

ножонками, и потом видел ее перед самой войной, уже сильно подросшей, когда Захар рубил себе новую избу». Это далекое воспоминание мелькнуло размазанно и неясно, и Брюханов с жалостью подумал, что в ее тихом, остановившемся лице жизнь словно бы никак не могла пробиться, хотя и была где-то совсем рядом, и почувствовал еще большее волнение, все-таки много воды утекло, если дети на глазах успели стать взрослыми.

— Простите,— сказал он, стараясь припомнить какие-нибудь памятные и ей подробности,— значит, вы Лена Дерюгина, дочь Захара...

В его словах не было ни вопроса, ни утверждения, и Аленка промолчала; ее почему-то раздражал этот свежий, высокий мужчина с хорошим чистым лицом; она-то вспомнила его с самого начала, едва увидев, вспомнила и опять забыла, как нечто ненужное, постороннее и мешающее.

— Вы, возможно, не помните меня,— сказал Брюханов, невольно стараясь понравиться ей.— Я к вашему отцу часто наезжал, особенно когда его председателем выбрали. Да-а, а я вот вас помню, на глазах выросли.

Чувствуя ее недоброжелательство, Брюханов внутренне невольно старался его преодолеть, у него даже голос помягчел; Аленка молчала, и было непонятно, слышит ли она его вообще.

— Мы с вашим отцом еще в гражданскую с белополяками да с врангелевцами рубились,— сказал Брюханов со странным чувством какой-то непреодолимой преграды перед собой, словно стучался в плотно закрытую, глухую дверь, стучался и не мог достучаться, хотя знал, что за этой дверью притаилась живая душа.— Вот в таком же примерно возрасте, как вы сейчас... Что-нибудь известно об отце?

При его последних словах Аленка точно очнулась, она в самом деле почти не слышала Брюханова; знает отца, и ладно, подумала она, с отчаянием удерживая слезы, что ж такого? Молчал бы себе, не лез, никто на свете не хочет ее понять.

Она некрасиво сморщилась, отвернулась, ей ни о чем не хотелось думать, и хотя отец представлялся таким же далеким и нереальным, как и остальные, между ней и Брюхановым все-таки установилась своя, особая, связь, не такая, как с другими; у Аленки и правда с самого начала появилась в отношении его какая-то непонятная враждебность, ей показалось, что она боль-

ше не в силах слышать его голос. «Зачем, зачем он мне все это говорит,— думала она,— отец, какие-то врангелевцы, какой-то колхоз». Да, но она должна себя пересилить, нехорошо, ведь это не они убили Алешу, не их вина, теперь многих убивают, они же не виноваты, что она еще живая, уж лучше бы и ей закрыть глаза и чтобы ничего больше не было.

Она встала, одернула гимнастерку, стараясь выровняться в плечах и груди.

— Товарищ полковник,— сказала Аленка, официально подчеркнуто обращаясь к Горбаню,— пошлите меня куда-нибудь на задание, не могу я тут больше...

Стиснув руки на груди, она хотела добавить что-то еще, но голос сорвался, и она, справившись с собой, лишь спросила, можно ли ей идти, и пошла, тонкая и высокая.

— Вот видишь, любила, значит,— сказал Сидоренко неизвестно кому и стал закуривать; Горбань молча склонился над картой, Брюханов, хмурясь, неожиданно предложил:

— Послушай, полковник, давай-ка Дерюгину к нам в штаб, надо ей сменить обстановку. На новом месте она скорее в себя придет, забудется, тут ей все парня-то этого будет напоминать.

Горбань на минуту замешкался, хотел возразить (Брюханов видел это по его лицу), потер горбинку носа; в сущности, сейчас один человек, любой человек, мало что значил, да и не время было думать о каждой отдельной судьбе; ему даже в некоторое удивление была слабость Брюханова, ну, несчастье, ну, дочь старого дружка, впрочем, все эти связи и есть самое главное, на них держится основное в жизни, внезапно подумал он, противореча себе же и с трудом пытаясь удержаться в сосредоточенности над картой, над тем хотя бы приблизительным представлением рейда, что выпал на долю его отряда, и поэтому в ответ на слова Брюханова о Дерюгиной он лишь кивнул согласно и тотчас, выпрямляя затекшую спину, вздохнул.

— Забыл сказать, Тихон Иванович, Пекарев погиб. Попросился с Сокольцевым в разведку, сколько ни отговаривали, не послушался.

— Стало быть, погиб, вот валится одно за другим,— неприятно поразился Брюханов не столько неожиданному известию, сколько тому факту, что он после своей короткой встречи с Пекаревым так и не выбрал времени

повидаться еще раз, хотя думал об этом, все спешка, все откладывал.— Как же случилось, когда?

— Месяца полтора.— Верно связывая растерянность Брюханова с прошлым в его отношениях с Пекаревым, Горбань опять жестко отметил про себя, что такая чувствительность сейчас ни к чему.— В Белополье их застукали, в тот раз Сокольцеву удалось вывернуться, а вот Семен Емельянович до места не дотянул. Уже перед Слепней подстрелили, гнались за ними с собаками. Сокольцев успел перескочить в лес, оттуда видел все. Говорит, немцы одни ушли, в плен никого не взяли, лишь своих раненых унесли, а вот Пекарев словно сгинул, Сокольцев почти сутки потом лазил в осоке... я Сокольцеву верю, необыкновенный был парень,— закончил Горбань, достал кисет и стал скручивать цигарку.

— И Пекарев с железинкой был, уже если что наметил, не повернешь,— пробормотал Брюханов.—Это он внешне вроде рыхловатый, а так...

Брюханов дал понять Горбаню и другим, чтобы они не обращали на него внимания, и отошел в сторонку; все затягивалось в узел, и, вспоминая то, что ему не хотелось вспоминать, от чего было сейчас стыдно, Брюханов (зная, что это хоть и неприятное, но ложное и ненужное чувство не должно быть примешано к известию о гибели Пекарева) все-таки ставил себе в укор давний проступок, тем более что в глубине души он остался почти спокойным и даже как бы равнодушным, и только увеличилась постоянная тяжесть усталости, которую нельзя было показывать. «Мужество, мужество, холодный расчет — вот что сейчас важнее всего,— сказал он себе, отсекая неожиданный раздражитель с решительностью человека, давно привыкшего к необходимости поворачиваться спиной к сугубо своему личному; он проделал этот маневр с собой бессознательно и, словно по самую шляпку вгоняя последний гвоздь, недовольно отошел от старой толстой сосны с растрескавшейся у самого комля корой. Сегодня еще многое нужно было успеть. Что ж,— сказал он, поглядывая на Горбаня, по-прежнему склоненного над картой,— вот человек, заслуживающий уважения. Эмоции на задний план, так и надо, война есть война, война как работа, сегодня Пекарев, завтра другой, может, ты сам; вот ведь и ему,— Брюханов опять взглянул на Горбаня,— не очень-то хочется сниматься с обжитого места,

идти в неизвестность, но он понимает, что ничего изменить нельзя; он работает».

Считать убитых на войне друзей — это тоже *работа*, решил Брюханов, и от этой мысли ему стало совсем скверно, и он спросил у Горбаня, принято ли в его отряде кормить гостей. Тот утвердительно кивнул и приказал накормить Брюханова, но ничего не получилось, так как неподалеку опять раздался беспокойный шум, и через минуту под навесом у Горбаня стоял быстроглазый, нетерпеливый от выпавшей ему на долю большой удачи партизан в сдвинутой на затылок кепке, с автоматом за спиной и двумя немецкими гранатами у пояса и докладывал, что его группа на шоссе Холмск — Смоленск уничтожила колонну из двенадцати немецких автомашин, среди них две бронированных, и захватила какого-то важного чинодрала с портфелем. Всю дорогу он кричал и, видать, бранился по-своему, и ребята хотели его пристукнуть, чтобы зря не возиться, едва-едва дотянули до места.

Ввели худого, длинновязого полковника без фуражки, грязная повязка выглядывала у него из-под расстегнутого мундира, и Брюханов остался из любопытства; размахивая здоровой рукой, переводя взгляд то на одного, то на другого и стараясь угадать старшего, полковник тотчас стал кричать, с явным возмущением указывая в сторону прославленного командира диверсионной группы Дмитрия Волкова, известного в народе просто под именем Митьки-партизана. Горбань отослал Волкова отдыхать, приказал немцу сесть, отвернулся от него и стал тихо говорить о чем-то с комиссаром; захваченный в плен полковник, вероятно впервые почувствовав свою истинную значимость в этом мире, еще раз с затухающим возбуждением медленно оглянулся и сел, брезгливо сложив губы, на указанное ему место: засаленный партизанскими задами кругляш, отпиленный от толстой сосны. Он заметил, что Брюханов наблюдает за ним, и, когда пришел переводчик с командиром разведки и начался допрос, полковник время от времени вызывающе глядел в сторону Брюханова, и все присутствующие это отмечали. Полковник оказался тыловиком, инженером-строителем, приехал из Смоленска наметить место нового аэродрома; он меньше всего хотел говорить о том, о чем его спрашивали, и непременно старался доказать, как плохо с ним обошлись взявшие его в плен партизаны, вначале даже глаза завязали

и заткнули рот; он вскочил со своего места и заявил, что такое обращение противоречит всем правилам; Брюханов мимолетно отметил, что у Горбаня потемнели и напряглись скулы, и подумал, что немец или не очень умен, или перенесенное потрясение несколько сместило в нем сдерживающие центры, а полковник, словно ободренный всеобщим молчанием, выпрямившись, резко поворачиваясь то к одному, то к другому, пытаясь не показать страха и от этого неосознанно играя и вызывая тем даже некоторую неловкость у слушавших, хорошо видевших его страх и его игру людей, долго говорил.

— Господа! — тут же пересказывал вполголоса, иногда сбиваясь, переводчик.— Господа партизаны! Только в такой варварской стране, как ваша большевистская Россия, возможно ведение войны на уже завоеванных территориях. Я хочу сделать заявление, господа, согласитесь, это — неправомерно. Согласитесь, большевистская Россия — это петля на шее у Европы, ее давно пора разрубить. Лучше всего всем вам, господа, понять, пока не поздно, необходимость подчинения высшей, во всех смыслах, силе...

Внезапно увидев перед собой Брюханова, он умолк, словно у него в горле неожиданно встал ком; он даже дернулся всем телом.

— Мы всегда были за откровенность, полковник фон Штриб, продолжайте,— сказал Брюханов по-немецки до того ровно и тихо, что и пленный, и все остальные под навесом теперь смотрели только на него.

— Простите, господа,— сказал полковник, притрагиваясь к мокрому длинному лбу вздрагивающими сухими пальцами.— Я сам не знаю, что говорю. У меня от случившегося нервное потрясение.

Он сел на кругляш, закрыл лицо узкой ладонью, длинные пальцы у него часто вздрагивали.

— Полковник фон Штриб, у вас действительно психическое потрясение, только далеко не нравственного порядка,— сказал Брюханов все тем же ровным, бесцветным и потому особенно выразительным голосом.— Ваши слова лишний раз подтверждают, что Европа действительно без России немыслима. Нет, фон Штриб, Россия не петля для Европы, скорее, ее самая прогрессивная ступень. Не вам судить Россию... не вам и не вашему фюреру с его слепой ненавистью понять Россию, ее огромность, ее судьбу, фон Штриб, ее значение для Европы.

Услышав родную речь, полковник фон Штриб давно уже поднял голову, но по его лицу, по блуждающим глазам и Брюханов и все остальные видели, что он не понимает ни слова из того, что ему говорят, вернее, не слышит; Брюханов с досадой оборвал себя; объяснять было бесполезно, давно пришла пора безжалостно, безоглядно бить.

— В Москву его! В Москву, Горбань! — неожиданно почти выкрикнул Брюханов изменившимся голосом и, встретив удивленный взгляд Горбаня, уже спокойно добавил: — В Москву! Пусть он ее посмотрит, заодно на что-нибудь пригодится. Первым же самолетом в Москву!

7

Выросшему значительно отряду Горбаня и многим другим десяткам партизанских отрядов и соединений, по общему замыслу командования, а вернее, по явной логике ведущейся не на жизнь, а на смерть борьбы, пришлось передвинуться в более глубокие немецкие тылы, тем самым отрываясь от основных скоплений регулярных немецких войск, делая борьбу с собой более трудной и отвлекая на себя дополнительные силы немецких регулярных войск. Как и всегда, размеры и последствия непредвиденного осложнения под Сталинградом никак не могли в первое время осознать полностью ни Гитлер, ни его ставка, ни его союзники. Сам Гитлер, сосредоточивший к тому времени в своих руках все стратегическое да и тактическое управление силами Германии и войсками ее союзников в Европе, из-за неуравновешенного, склонного к взрывным решениям характера уже был надломлен в своей уверенности в победе, хотя после неудачи под Москвой его решения приняли хаотический, импульсивный характер, гибельный в руководстве такими огромными количествами войск и тотальной войной; он беспрестанно сменял и назначал генералов, стараясь тем самым заранее определить и указать для всего света виновных в учащавшихся неудачах и отвести даже намек на собственную вину, и это хотя и усугубляло дальнейшее тяжелое положение немецких войск на Восточном фронте, все равно не являлось главным. И сам Гитлер, и его надломленное состояние лишь отражали перемещение центра тяжести войны и невозможность изменить располо-

жение его по своему желанию; и этот центр сместился не только во всем мире, но и в каждом отдельном человеке, если он даже и не знал пока об огненном противостоянии в Сталинграде. Это можно было бы сравнить с предгрозовой паузой в природе, когда человек, еще ничего не подозревая, уже начинает чувствовать беспокойство. Теперь любое предприятие Гитлера, даже самое логическое и продуманное, лишь ухудшало положение. Это было всеобщее предчувствие перемен политической и военной погоды, и, разумеется, каждый реагировал на это по-своему. И для Родиона Анисимова, и для Макашина, и для Аленки Дерюгиной, и тем более для Ефросиньи с оставшимися при ней детьми и бабкой Авдотьей переломные битвы прокатились где-то стороной, но это не значило, что они не затронули их; наоборот, каждому из них казалось, что война больнее всего затронула именно его жизнь, прошла всей своей тяжестью именно через его судьбу, и каждый из думавших так был по-своему прав.

Предчувствие близких перемен не раз охватывало и Брюханова в лето сорок второго года, в особенно ожесточенный период действий германских карательных сил против холмских партизан; он понимал, это отражало крайнюю степень напряжения и усталости от непрерывных боев, маршей, перемещений, когда неделями приходилось спать на ходу или отсиживаться в непролазных болотах; вот тогда появлялось и крепло ощущение, что война в основном проходит именно через него, через то, что он делал, хотя он отлично знал, что через него проходит всего лишь маленькая, ничтожная толика войны. Он не мог так просто справиться с этим чувством, хотя оно и мешало.

Еще в самый разгар лета 1942 года, правда, уже в середине августа, когда танки Паулюса утюжили степи между Доном и Волгой, словно специально для этого созданные, и железное удушье все теснее сжимало огромный город на правом высоком берегу Волги, неотвратимо, с кажущейся планомерностью превращавшийся в огромную каменную пустыню, Брюханова срочно, уже второй раз, вызвали в Москву, и он улетел на прославленном ПО-2, или «кукурузнике», оставив в небольшом лесном хуторе Подключном свой объединенный Холмский партизанский штаб с аэродромом в соседнем лесу, подземными госпиталями, пекарнями и всеми прочими учреждениями, которые незаметны

только тогда, когда они есть и действуют исправно. К этому времени связь с отрядом Горбаня, уже больше месяца бывшим в рейде, временно оборвалась, и Брюханов, улетая, в самый последний момент вспомнил именно об этом, и еще об Аленке, дочери Захара Дерюгина, которая теперь работала при центральном штабе и часто, Брюханов это знал, ходила на разные задания связной; а вообще-то по-прежнему, как и в отряде Горбаня, она в основном работала в большом партизанском госпитале; два или три раза Брюханов видел ее издали. Улетая, Брюханов вспомнил ее, очевидно, потому, что вообще часто думал последнее время об отряде Горбаня, действовавшем где-то на старой границе между СССР и Польшей.

Как только в летние сумерки самолет оторвался от земли и пошел над лесом, Брюханов забыл и об отряде Горбаня, и об Аленке; он посматривал на исчезавшую слева узкую полосу зари и пытался зря не думать о том, благополучно ли на этот раз проскочит самолет линию фронта и по какому делу вызвали его в Москву. Вполне вероятно, что предстояла какая-то важная операция и требовалось взаимодействие всех сил, возможно, собирают совещание по этому вопросу. Чутко прислушиваясь к ровному стрекоту мотора, Брюханов отметил, что темнеет очень быстро, теперь уже можно надеяться, что летящий низко самолет проскочит, и все же прорицать заранее не стоило, можно было верить или не верить приметам, но говорить *гоп* рановато. Он стал думать о перемещении центра тяжести, наметившемся сейчас в ходе последних событий. Он представил себе все полно и ясно, высота словно помогала ему восполнить ранее недостающие звенья, а отдельные факты, случаи, целые события и этапы сцеплялись в одно целое.

Самолет приземлился в двенадцатом часу ночи на одном из подмосковных аэродромов, и часа через два Брюханов уже был в особняке недалеко от площади Восстания, где временно размещался Холмский обком партии и другие областные учреждения; Брюханова сразу окружили, молча здоровались.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищи,— оживленно и быстро отвечал Брюханов; толстые стекла очков Сергеева привычно блеснули перед ним, ощущение тревоги и растерянности было в глазах Сергеева.

— В чем дело, Петр Нефедович? — спросил Брюханов, придерживая его за локоть; Сергеев привычным движением поправил очки.

— Умер Петров, в двадцать два тридцать, вы прилетели слишком поздно, Тихон Иванович. Прискорбно, очень прискорбно... до последнего часа на ногах, тот же ясный ум... До сих пор не знаем, как быть, категорически запретил в последний момент вызывать Анну Васильевну, у нее, говорит, с сердцем неважно, как-нибудь потом, полегче, не торопясь... Пусть, мол, сын лично. Все спрашивал о вас, думал дождаться...

Брюханов отпустил, как-то даже словно оттолкнул локоть Сергеева, пошел и, нервно, боком, сел в угол большого потертого кресла; Сергеев, словно привязанный, двинулся за ним.

— Уже состоялось решение обкома и ЦК об утверждении вас первым, Тихон Иванович,— сказал Сергеев; Брюханов непонимающе взглянул на него снизу вверх.

— Как это несправедливо,— вырвалось у него, и он стиснул подлокотник кресла; умер, умер, умер, отдалось в нем, почему именно он?

— Что — несправедливо? — спросил Сергеев.

— Так, ничего, ничего,— с досадливой жесткостью кинул Брюханов, и Сергеев, уже успевший привыкнуть к тому, что на Брюханова рухнуло неожиданно, отошел. Ну вот, еще один обрыв, еще одно звено выпало, и нужно взять себя в руки, нужно успокоиться, жить дальше; все эти люди ждут от него каких-то слов, а их нет сейчас, пусто в душе и темно.

С извиняющимся и неловким выражением на лице вновь появился Сергеев и сказал, что похороны завтра и сам товарищ Сталин приедет, и Брюханов опять остался один. «Вот, еще немного, и я привыкну к тому, что Петрова нет»,— подумалось ему, и тотчас стали припоминаться разные неясные слухи, ходившие в обкоме перед войной; говорили, что Петров мог бы давно быть в Москве, и на очень большой должности в ЦК, но не захотел, у него было по этому поводу тяжелое объяснение со Сталиным, но Петров настоял на своем и остался в Холмске, тогда же наметилось между ними отчуждение, бог весть, как далеко бы оно зашло, если бы не война. Многие откровенно боялись тогда за Петрова, но вот он, оказывается, дожил до своей собственной смерти, и сам Сталин приедет попрощаться с ним.

Брюханов так и не смог крепко заснуть в эту ночь, несмотря на крайнюю усталость; он лишь закрывал на несколько минут глаза и тут же торопливо, боясь проспать, поднимался и глядел на светящиеся в темноте стрелки циферблата. Он все не мог привыкнуть к мысли, что он в Москве, в совершенной безопасности, а вот Петров умер и лежит через комнату в гробу; Брюханов внезапно подумал, вправе ли он взваливать на себя огромную ответственность, почему-то определенную именно ему, и даже без его согласия. Разумеется, он коммунист, но ведь и другие есть; Брюханов стал перебирать возможные кандидатуры, и трех или четырех нашел лучше себя, деловитее, способнее; он тут же немножко обиделся за себя и стал сравнивать придирчивее; спал он в эту ночь от силы часа два, но встал совершенно свежий, с ясной головой и с каким-то болезненно обостренным восприятием всего вокруг. Уже было известно, что товарищ Сталин подтвердил свое намерение приехать, и все вокруг волновались, и оттого, что сам Сталин приедет прощаться с покойным, отношение к мертвому Петрову приобрело несколько иную окраску. Припоминали разные трогательные подробности о покойном, полузабытые, а то и совсем забытые случаи из совместной работы с ним, и все открывали в нем новые достоинства; о прежних обидах и тяжелых вспышках с его стороны как-то все забыли. Брюханов глядел на желтое, высохшее лицо в гробу, желтые руки, заострившийся нос, существующий словно бы отдельно от остального лица; на волосы, убранные, причесанные и приведенные в необходимый порядок, как бывает в нужный момент приведена в соответствующий порядок неживая вещь, и отчетливо думал, что придет минута, и с ним вот так же поступят, потому что это незыблемый ход жизни и ничто не в силах изменить его. И все-таки, хотя каждый в свое время начинает приближаться к постижению этой истины, она мало что изменяет в человеке, в его стремлении уйти от нее; несмотря на такие свои рассуждения и какую-то понятную в подобном случае и созвучно такому моменту отрешенность, Брюханов почувствовал подлинную, невыносимую оскомину жизни; именно в этот момент он особенно остро ощутил, что помимо желания выдвинут куда-то в самый первый ряд под обжигающий ветер и что теперь это надолго, может быть, навсегда.

Сталин приехал ровно к трем часам в сопровождении двух, показавшихся Брюханову одинаковыми, генералов; вместе с ними вошел невысокий молодой летчик с красивым, загорелым лицом, и Брюханов тотчас понял, что это сын Петрова, и это было, как ни странно, настолько неожиданно, что Брюханов первое время следил только за ним, за тем, как он медленно подошел к гробу и, еще помедлив, наклонившись, поцеловал покойного отца в лоб. Брюханов не упускал ни одного его движения; поцеловав отца, сын отступил в сторону, ближе к ногам покойного, и в его сдвинутых, как у отца в трудные минуты, широких и светлых бровях угадывалась сила петровского характера, он не хотел и не мог выказать на людях свое горе; он стоял по-военному четко, опустив руки и выпрямив лобастую голову; Сталин остановился с ним почти рядом, и Брюханов заметил, как он одно время задержался на сыне Петрова взглядом, и в этот момент в его большом лице проступила изнутри какая-то легкая теплота, но тотчас погасла, словно сразу же вытесненная чем-то другим, более важным и неотложным.

Брюханов ни разу не видел Сталина до этого близко, только на портретах и в кинохронике, разница между портретами и живым Сталиным была резкой и неприятной, и первое время Брюханову казалось, что это не Сталин в одной комнате с ним, а плохо загримированный актер, и Брюханов все боялся, что кто-нибудь догадается об этих его мыслях. Сильно занятый именно этой своей, поразившей его мыслью о портретах и реальном, живом Сталине, Брюханов не заметил, поздоровался ли Сталин, войдя, но скорее всего, что нет, нельзя было желать кому-либо здравствовать рядом с мéртвым, и эта мысль помогла Брюханову сосредоточиться.

Сталин медленно подошел к самому гробу, остановился перед неподвижным лицом Петрова, и лицо Сталина становилось все более неподвижным, словно между живым и умершим происходило какое-то тайное общение, уравновешивание; Брюханов ужаснулся этой мысли и отвел глаза, но долго не выдержал, он не мог позволить себе терять ни одной секунды времени из отпущенного ему для большого (он знал, именно большого) дела. Теперь Сталин стоял у гроба Петрова в резком одиночестве, один, потому что сын Петрова еще отступил назад, но и Брюханов, и остальные работники Холмского обкома, и вошедшие со Сталиным и оставшие-

ся у двери военные почувствовали его одиночество. Какая-то своя жизнь таилась между умершим, положенным в гроб, и живым, пришедшим, отложив все свои многочисленные дела, проститься, та жизнь, о которой никто из остальных не знал, не мог знать, но хорошо чувствовал; и уже не просто почтение к невысокому, с плотными усами человеку, в поступках и мыслях и даже в физическом облике и привычках которого все или почти все вокруг привыкли видеть саму историю, заставило остальных почувствовать уважение к происходящему, а просто сам факт человеческой близости в прошлом, и, вероятно, судя по стылой скорби живого, необычна была эта близость. Брюханов невольно, не желая того, сопротивляясь подавляющему все не относящееся к данному моменту току, идущему от Сталина, жил глубоко в себе, какой-то отдельной от всего жизнью; он уже не мог избавиться от того острого чувства *чистоты*, которое охватило его при первом же взгляде на покойного Петрова, хотя оно и притупилось в нем с появлением Сталина; какой-то прочный, цепкий мостик перекинулся от покойника и к нему, и он, как и сам Сталин (совершенно не подозревая о том), словно стоял в ослепительно ярком луче, возникшем где-то в прошлом и высветившем всю его жизнь, все, что в ней было и хорошего, и дурного, и в нем появилась боль от раскаяния за дурное в своей жизни, потому что теперь он знал, что этого дурного можно было избежать и что никакие оправдания и причины не помогут. Редкостное ощущение владело им; он словно освобождался от грязи и пошлости жизни, не задумываясь над тем, что и дурное, ничтожное растворяется во времени наравне с хорошим и великим и что невозможно пройти с начала и до конца только одной солнечной стороной.

Сталин стоял в фуражке, затем снял ее здоровой рукой и переложил в другую, и этот внешний знак уважения лишь подчеркнул необычную душевную размягченность железного для других человека, и Сталин сам, вероятно, это почувствовал, потому что оторвался наконец от лица Петрова и впервые коротко оглядел присутствующих; он знал, что здесь не было, не могло быть чужих, но ощущение присутствия здесь кого-то *чужого* сразу же возникло в нем, и он своим характерным тяжелым взглядом, от которого многим становилось неуютно, пробежал еще раз по незнакомым и знакомым лицам, но новая мысль о Петрове отвлекла его,

и он тотчас понял, что чувство присутствия кого-то *чужого* относится именно к умершему; того хорошо знакомого человека, который временами был остро необходим, как чистое зеркало, дающее без малейшей фальши отражение, больше не было, и вместо него было нечто загадочное, длинное, непривычное, *чужое.*

— Это был настоящий борец за дело революции,— медленно сказал Сталин, потому что и здесь пришло время что-то сказать и заняться иными делами, кроме смерти, нельзя было дать захлестнуть себя сомнительными эмоциями и хоть на секунду выйти из строя.— Да, это был замечательный коммунист и человек. Он мог бы еще расти и расти... он всегда выбирал самые трудные и незаметные участки нашей партийной работы. Он жил на передовой и умер в окопе. Партия и народ не забудут ни его, ни подобных ему.— Еле заметно склонив голову, попрощавшись с покойным, Сталин шагнул к двери, остановился.— Быть достойным — нелегкая задача. Как, товарищ Брюханов уже прилетел?

— Товарищ Сталин, я здесь,— выступил вперед Брюханов, и тотчас цепкий встречный взгляд словно охватил и потянул его к себе; Брюханов скрепился и удержался на месте и даже сумел сохранить спокойное, достойное выражение лица.

— Вы только что из Холмских лесов, как там? — спросил Сталин.

— Хорошо, товарищ Сталин.— Реакции Брюханова были мгновенными и точными, словно заранее отлаженными, и он сам этому удивлялся какой-то далекой стороной сознания.— Народ поднялся на борьбу массово, героизм невиданный, товарищ Сталин. Если бы в достаточном количестве...

— Оружия?

— Так точно, оружия.

— Оружие будет, товарищ Брюханов, к Пономаренко обратитесь, к Ворошилову. Много не дадим, выделим, что можно, вы же знаете, в Сталинграде очень тяжело.

— Знаю, товарищ Сталин.

— Мне вчера сообщили, как молодые солдаты, совсем мальчики, по семнадцать — восемнадцать лет, бросались под танки в Сталинграде. У одного из них были перебиты кисти рук, он бросился под танк с гранатами в зубах.— Сталин помолчал, цепко приглядываясь к Брюханову, думая о чем-то о своем, и было видно, что

лицо Брюханова ему понравилось.— Великий народ! И вести его достоин далеко не каждый. С гранатой в зубах под танк,— повторил он задумчиво и, оглянувшись назад, на гроб с покойником, задержался; медленно поворачивая голову, он остановился взглядом на сыне Петрова.

— Гордитесь вашим отцом, товарищ Петров,— сказал он, встретив прямой, немигающий, слегка напряженный взгляд.— Мне говорили, на вашем счету двенадцать вражеских самолетов?

— Так точно, двенадцать, товарищ Сталин,— быстро отозвался сын Петрова.— Семь — в сорок первом, в окрестностях Москвы...

— Думаю, счет неплохой, а сейчас вам надо увидеться с матерью. Она ведь в Алма-Ате?

— Так точно, товарищ Сталин, в Алма-Ате, я не успел ей ничего сообщить, только что прибыл с Брянского фронта.

— Вот и хорошо, ничего и не сообщайте. Поезжайте к ней сами. Разделяю с вами эту тяжелую и большую утрату, товарищ Петров,— сказал Сталин; сын Петрова слегка наклонил лобастую голову, и Сталин с кажущейся медлительностью шагнул к возвышению, на котором был установлен гроб. Разговаривая, он непрерывно чувствовал какую-то незавершенность и знал, что это идет от умершего Петрова, и даже не от него самого, а от последнего разговора с ним, очень тяжелого для него, Сталина; это чувство держалось в нем и особенно сильно заговорило сейчас, после короткой встречи с сыном покойного, и это чувство не имело никакого отношения ни к войне, ни к миру, пронизанному самыми разноречивыми идеями и действиями, в движении которых история отвела одну из первых ролей именно ему, Сталину. Это чувство, если подходить к делу с предельной честностью, было просто чувством поражения в разговоре с покойником, и пусть в жизни, в том, что происходило в мире, это был какой-то мимолетный блик, лишь незначительная деталь, именно это сейчас почему-то больше всего беспокоило и мешало. И разговор с Петровым, длившийся тогда чуть ли не всю ночь, теперь словно повторялся, только уже в несколько минут, и лицо Сталина опять словно застыло и окаменело, и все вокруг ждали. Сталин вспомнил и другое. Петрова он знал давно, тот был всегда смел и честен, еще в царском подполье близкие товарищи звали его любовно

и бережно Костей-сухариком; Сталин подумал, что бывают редкие, очевидно, люди, характер и суть которых вырабатывается однажды и уже не меняется, как бы от этого ни было неудобно другим, и Петров был из их железного племени. В любом деле, большом или малом, он оставался собой; разумеется, он не мог еще в начале тридцатых согласиться, чтобы его именем назвали один из колхозов, хотя и был явно не прав, повел себя вызывающе, учинил чуть ли не скандал, не мог он в свое время не ринуться на защиту одного из лучших теперь в стране директоров завода, как раз того самого Чубарева, что в сорок первом сумел за несколько месяцев наладить на Урале, на совершенно голом месте, производство авиационных моторов отличного качества, по отзывам летчиков, и теперь все увеличивает и увеличивает производство; здесь он оказался дальновиднее многих других, это нужно признать. Сталин подался было в сторону гроба, его приятно поразило то, что при всей его наполненности происходящим в мире память и душа его еще способны были удерживать такое большое количество воспоминаний, связанных с одним, отдельно взятым человеком. Сейчас он точно нечаянно коснулся давно омертвевшим участком кожи раскаленной поверхности металла и с удивлением рассматривал место ожога, которого ни по какой логике не должно было быть; он скользнул тяжелым взглядом по людям вокруг, ждуще склонившим головы. Он был недоволен собой, своей слабостью, сказавшейся в призраках прошлого, и тем, что, приоткрыв едва заметную щель, он сразу не остановил разъедающего берега потока; зря он подчинился минутному настроению и приехал. Но в то же время он знал, что не приехать не мог; именно со смертью Петрова завершался определенный круг, все больше уходило людей, знавших его близко, в глазах которых он все-таки оставался человеком; их сменяют новые, вот для них он только тот, жестко обозначенный и недосягаемый предел, за которым уже ничего нет выше и больше. Начиналась новая полоса, новое движение, и ради понимания этого необходимо было потерять час или два. И еще одна, более давняя встреча и разговор с Петровым всплыли в памяти; ничто не шевельнулось в лице Сталина, но его небольшая, крепкая фигура стала как-то еще более неподвижной; он всегда знал, что настанет срок, и ему опять и опять нужно будет пройти через ту *выжженную полосу*... но не перед ним

же, мертвым Петровым, держать ответ: только будущее в силах вынести приговор.

Пожалуй, этого человека Сталину всегда хотелось именно убедить; с некоторых пор противодействие, которое он чувствовал в Петрове, раздражало его при встречах, невольно заставляло вновь и вновь углубиться в *себя*; и вот теперь все оборвалось, к сожалению.

И потом Петров не знал и не мог знать того, что знал он, Сталин; об одном и том же они судили с разных позиций и не могли иначе; вот Петрова больше нет, но народ продолжает жить и бороться, история делает еще один свой виток, дело революции продолжается и, как здоровое, сильное дерево, закрывает натеками раны и ушибы.

Тревожное чувство, не относящееся ни к Петрову, ни к прошлому, появилось и окрепло настолько, что овладело Сталиным полностью; оно не было новым, оно лишь вернулось к нему, потому что последние недели возникало в нем все чаще; это было долгожданное чувство уравновешенности противостоящих, враждующих сил; сейчас было необходимо точно определить момент равновесия, этот солнцеворот; он физически ощущал сейчас это огромное, подвластное лишь самому себе движение народа, набиравшего силу, но, возможно, один лишь он в полной мере осознавал, какие сдвиги в жизни целой страны, равные эпохам, пришлось произвести, чтобы оно наступило, это спасительное равновесие в единоборстве с целой Европой, с идеально налаженной военной машиной Гитлера; он знает, что о нем говорят во всем мире, он знает, сколько у него непримиримых врагов в собственной стране. И никто из них никогда не подозревал, как ему невыносимо тяжело подчас быть гигантским стальным, именно стальным, обручем, стягивающим воедино колоссальные, часто разнородные силы; сколько раз казалось, что еще один последний момент — и уже никакие преграды не помогут. Да, с его именем идут на смерть, а он должен, как последний скряга, самолично учитывать и распределять каждый новый десяток танков, чуть ли не каждый новый самолет...

Ничего более не сказав, Сталин вышел, за ним вышли генералы, а Брюханов остался стоять, пытаясь представить себе, как это бросается человек под танк, держа гранату в зубах, потому что у него перебиты кисти рук; горящий город, непрерывный вой бомб,

рушащиеся дома и кровь с разбитых, изуродованных рук; Брюханов тихо вздохнул.

Последние слова Сталина, несколько неожиданные и для Брюханова и для других, как-то связали и включили умершего Петрова в широкий, почти необходимый круг событий, но никто из присутствующих, разумеется, не мог даже приблизительно представить и одной тысячной раскаленно бушующего ада у берегов Волги в эти дни, одной тысячной того нечеловеческого напряжения, сводящего с ума огненного мрака, клочьев разорванных, перемешанных с землей и каменным хаосом тел, потому что даже Вася Ручьев, тот самый молодой москвич-пулеметчик (с ним короткое время выпало воевать Захару Дерюгину в Смоленске, и запутанные пути войны затем забросили его после госпиталя в Сталинград), непосредственный рядовой участник Сталинградского сражения с самого его начала, не мог знать даже частично происходящего здесь. Он давно перестал чувствовать тяжесть и противоестественность сложившегося положения; огонь вокруг словно выжег у него из души чувство страха, и остались лишь одна тяжелая злоба и мертвое решение не уступить, не отойти. Отходить дальше было некуда; они, семнадцать человек, среди которых самому старшему, лейтенанту, было двадцать шесть, засели в двух каменных сообщающихся между собой подвалах у самого берега Волги; здание над ними давно превратилось в бесформенную осыпь, в навалы обломков, в которых оставалось несколько проходов, и они старались поддерживать их в постоянной исправности; они появлялись через них перед немецкими танками; еще был пробит из подвала ход в обрыв берега; по ночам они спускались по нему за водой и припасами, если их подвозили, и сносили вниз тяжелораненых; из разбитых резервуаров давно текла в Волгу и горела нефть, добавляя в небо гари и смрада, и по ночам казалось, что сама Волга горела, текла и горела.

Их было семнадцать, и они держались в подвалах десятый день (в оперативках это место так и называли «дом семнадцати»), но теперь их оставалось десятеро; третий день им не подвозили припасов и не забирали раненых, и двое из них уже умерли у самой воды; и вот опять наступало утро, и Вася Ручьев, затаившись в развалинах, пристально всматривался в светившийся мрак перед собой; он угадывал за ним какое-то угрожающее

затаенное движение. С левого берега по тылам немцев ударила тяжелая артиллерия; сейчас в Васе Ручьеве даже мать не сразу бы признала собственного сына; он обгорел не только снаружи, но и как бы изнутри, глаза и щеки у него ввалились, голова была обвязана темным окровавленным тряпьем; он выжил тогда в Смоленске, вышел из двойного окружения, а теперь, пожалуй, ему уже не суждено было вырваться из этого ада, и он как-то спокойно и вяло думал об этом, и только глаза, видевшие за этот год войны то, что человеку не надо, нельзя было видеть, выдавали, какая горечь скопилась в нем; он тесно лежал между двумя обломками стены; третий, изъеденный осколками, косо прикрывал его сверху; несмотря на постоянное недосыпание, спать ему не хотелось; он знал, что скоро опять начнется, и, не доверяя глазам, больше прислушивался к каждому шороху и звуку в чадной, дымной мгле впереди; он знал, гранат почти не осталось, хорошо, если удастся продержаться до вечера; кончались и патроны, а подвоза, как обещали, не было в ночь; о чем там, интересно, думают ребята внизу? Ждут, спят? Спят, конечно,— решил он,— да и думать нечего, позицию нельзя бросить, прямо за спиной обрыв и Волга, только благодаря им и еще один участок в излучине держится; они прикрывают друг друга с тыла. Видать, суждено им здесь всем положить головы. Вася стал думать о Москве, о своем заводе и о матери; с неделю назад удалось написать и отправить на тот берег несколько строк, а дойдет ли?

В воздухе, в земле, в нем самом стоял один непрерывный гул, не прекращавшийся вообще много дней подряд; но Вася еще слышал движение и звуки на участке перед собою отдельно, отличал их от всего остального, и когда в серой мгле перед ним прорезался вначале приглушенный рокот танковых моторов, Вася тотчас отполз назад и закричал в пролом, в подвал:

— Тревога! По местам! Опять коробки! Эй, лейтенант!

Увидев приближавшегося к нему из темноты подвала лейтенанта, Вася вернулся на свое место; ему передали связку гранат, и он некоторое время решал, куда безопаснее сунуть эту драгоценность. Он скоро почувствовал, что все десять человек заняли свои места в развалинах, и теперь наступило самое трудное время: нужно было ждать, пока развиднеется, и гадать, пронесет ли на этот раз... В трех шагах от Васи устраивался

Дармодехин, здоровый, рослый парень, всегда медлительный и ровный. Вася вполголоса попросил у него махорки и передвинулся к нему. Они выкурили одну цигарку, бережно передавая ее из руки в руку.

— Кажется, наш час подошел,— по-домашнему спокойно заметил Дармодехин.— У нас теперь на Алтае ветер, простор во все стороны.

— У тебя жена есть, Дармодехин? — спросил Вася, вытягивая из окурка последний дым и задерживая его в легких подольше.

— Какая жена? — простовато удивился Дармодехин.— Мне всего девятнадцать, у нас в селе такими молодыми редко кто женится.

— Мне двадцать три, в сентябре, десятого сентября, сровнялось,— уточнил Вася, глядя куда-то мимо лица Дармодехина.— Знаешь, а я баб любил, в городе оно раньше, что ли, начинается... Еще мне железо нравилось... берешь болванку, получается любая замысловатая штука...

В сером, все более светлевшем мраке белело лицо Дармодехина; оно было в самом деле молодым и даже после всех адских дней не утратило мальчишеской неясности; и Вася и Дармодехин в будничном и оттого еще больше сближавшем их разговоре отдыхали, отходили душой, невольно утверждаясь и в своей собственной ценности среди неподвластных им сил и событий; что-то смертельно враждебное копилось вокруг, готовилось рухнуть, стереть их и смешать с каменным хаосом, но у каждого из них был свой особый тыл: не обрывистый берег Волги, не широкая полоса текучей воды, которую можно было и пересечь в темноте, а нечто более прочное, совершенно уж нерушимое, и находилось оно, это *нечто*, сделавшее их не слепо обреченными, а мудро зрячими в своем тяжком бесстрашии, в них самих, в их душе и сердце. Разговор их о прежней своей жизни оттого и был прост.

— А ты знаешь, Ручьев,— сказал Дармодехин с легкой и несколько смущенной улыбкой,— я лейтенанту заявление отдал. В партию заявление... Насилу у Занина листок из блокнота выпросил, ну, говорит, ладно, ради такого дела...

— Думаешь, умирать легче будет?

— Ну ты не очень-то, не очень, Ручьев! — обиделся Дармодехин и тут же опять притих.— Язык у тебя, Ручьев, крапива, оно так бывает, ничего. Стоит себе,

а дотронешься — ожжет... а я сам не знаю, как оно будет, легче или как... только умирать я не думаю, Ручьев, не хочу, я вот после войны соберусь, в Москву поеду, у меня одна мечта есть... Вот я тогда к тебе в гости приду.

— Приходи,— разрешил Вася,— я тебя с девчатами познакомлю, у нас на танцах в клубе духовой оркестр шпарит, и с барабаном. Мы еще, конечно, поживем, Дармодехин,— добавил он, желая этого и заставляя себя думать именно так,— еще день продержимся...

— А я не паникую.— Дармодехин недовольно приподнял голову, поморгал красными, опухшими веками.— Слышишь? Опять пошли,— сказал он в сердечной досаде от помехи продолжить хороший разговор.— Ну, братья-славяне, держись, прет много!

Перескочив на свое место, Вася проверил автомат, осторожно приподнял голову.

— Много,— пробормотал он,— сотни полторы за коробками идут, надоело возиться... решили добить. Вот будет музыка.

Недалеко от Васи что-то надсадно прокричал лейтенант; Вася не расслышал, ничего нового он не мог сказать, ничего хорошего — тоже; нужно было держаться, как держались они и день, и неделю назад; уже было видно, как тяжело и неуклюже выползавшие из-за укрытий приземистые танки переваливаются на грудах развалин; насколько им позволяла площадь перед советскими позициями, прижатыми к самому берегу, они перестроились, выровнялись в одну линию и, сразу стреляя, рванулись вперед. За ночь немецкие саперы, видать, хорошо поработали; расчистили часть завалов; Васе казалось, что сразу две машины прут прямо на него, из автоматов и пулеметов бить по ним было бесполезно, оставалась одна надежда на гранаты. На ходу стреляя, танки приближались; идти им было не более ста метров; на половине расстояния они остановились, стали из пушек долбить развалины, в которых засели русские; в кирпиче снаряды рвались по-особому, с мучительным звоном, и постепенно воздух затягивался красноватой пылью; Вася лежал, слыша визжащий камень вокруг и чувствуя, как камень шевелится под ним. И еще, задерживая внимание, на глаза попала смятая в лепешку консервная банка; это был пустяк, но Вася то и дело начинал приглядываться к ней. Уже с самого начала обстрела подступила глухота. «Что, что они,

опять пикировщиков ждут? — мелькнула короткая мысль.— Тогда надо бы вниз успеть». Он взглянул на свои красные от кирпичной пыли руки (теперь уже хорошо было видно), попытался хоть немного разобраться в происходящем, но в тот же миг снаряд ударил прямо рядом с ним в обломок стены справа, и словно со звонким треском лопнула и полетела куда-то земля; когда он очнулся, горький вкус сгоревшей взрывчатки застилал горло, и он начал судорожно кашлять. Или он совершенно оглох, или стояла тишина; привычка действовать осторожно, не сразу, сработала и на этот раз. Он разгреб мешавшее, наваленное недавним взрывом крошево камня впереди и подумал, что ему снится; танки утюжили развалины на самом берегу, из-под гусениц летели каскады камня, и Вася увидел бегущих к развалинам немцев. Торопливо выставив вперед автомат, он стал стрелять короткими прицельными очередями; кто-то, вероятно, стрелял по ним и еще, немцы бежали, падали, опять бежали, но затем остановились, залегли в завалах намертво, и тут, возликовав душой последний раз, Вася невольно сжался в своем укрытии; совсем рядом, метрах в десяти, пробиваясь через каменный завал, судорожно ревел и дергался из стороны в сторону, расчищая себе дорогу, танк, его широкие гусеницы подбирали под себя, дробили кирпич; и сразу прорезался звук, и несмотря на дикий, обвальный грохот разгоревшегося повсеместно утреннего боя, Вася слышал омерзительный, невыносимый скрежет трущегося в крошево камня именно под гусеницами идущего на него танка; стрелять танк по засевшим в развалинах не мог, он шел на подъем, но его накатывающиеся гусеницы и без того делали свое дело. И вторично длинная дрожь прошла по телу Васи; он увидел сбоку танка неровно движущуюся ему навстречу в красновато-бурой пелене пыли рваную фигуру и тотчас узнал в ней Дармодехина. Но у Дармодехина, как Васе показалось, были странно короткие, словно обрубленные у кистей руки, и он, выставив вперед окровавленные измятые культи, зажав что-то ими, двигался к танку; и только тут Вася понял, что это танк пятится назад, а Дармодехин гонится за ним, неровно вихляя телом где-то в верхней его половине.Танк застрял, крутанулся на одном месте и рванулся в сторону Дармодехина, и последнее, что видел Вася, это темное, словно обожженное лицо Дармодехина, с резким, белым оскалом зубов, падающее

под гусеницу; Дармодехин вцепился зубами в гранаты, и только потом Вася понял, что Дармодехин выдернул зубами кольцо. Мгновенно взблеснувший из-под днища танка взрыв, разрубивший левую гусеницу, Вася не услышал в общем реве, охватившем теперь уже все пространство бывшего города на десятки километров, он лишь увидел беззвучный огненный всплеск и тотчас, почти слепой от потрясения и сжавшей дыхание ярости, помогая себе всем телом, выбрался из своей каменной норы, не забывая о бережливости в отношении единственной связки гранат; он присел, незаметный среди общей разрухи и движения, оглянулся, чувствуя, что еще минута — и он перейдет последнюю грань; прямо перед ним, метрах в пятнадцати, стоял боком второй танк и часто бил по какой-то цели; извиваясь, Вася пополз к нему, раздирая в кровь колени и руки и не чувствуя этого. Краем глаза Вася ухватил опять бегущих в атаку немцев, ловко и привычно повернулся и стал бить по ним, ни на мгновение не забывая о танке и не упуская его из виду. Еще из двух или трех нор по немцам открыли огонь, и они легли; Вася видел, как они отползают назад, прижимая зады к земле, оставляя мертвых и раненых. Вася опять занялся танком, отмечая, что вокруг непрерывно и густо щелкают пули; один раз каменная крошка до крови рубанула его по щеке; уже не думая ни о чем, Вася приподнялся и швырнул свои гранаты, и в тот же момент автоматная очередь прошила его, и он так и не узнал, не истратил ли драгоценную связку гранат напрасно, лишь в последнее мгновение памяти заструился, засверкал, пересыпаясь, золотой, горячий песок и ослепил его, и только через несколько часов, уже у самой воды, куда его стащили товарищи, он пришел в себя; оказывается, он швырнул свои гранаты очень удачно, танк взворвался, и вслед за тем немцы опять отошли, но теперь ребят в каменных норах осталось семеро, и всего три связки гранат да по нескольку патронов на брата. «Если в ночь не подвезут,— услышал Вася чей-то надорванный голос,— завтра конец. С ножами на автоматы не попрешь».— «Конец так конец,— отозвался второй, и его Вася тоже не узнал.— Мы свое по совести отстояли».— «Ну, давай, клади его, привязывай,— сказал первый.— Кто знает, авось...» — «В горящую нефть не попадет, все еще может случиться».— «Нет, вряд ли, слаб, не дотянет».— «Он уже свое дотянул... Ну ладно, хватит, чем привязать?» «Кого

же это класть и привязывать? — подумал Вася в последнем усилии.— Ах, это же меня,— обрадованно догадался он.— Привяжут к двум сколоченным бревнам, отпихнут от берега, и плыви в ночь, повезет, ниже кто-нибудь и подберет... А не повезет...» Он сам и вчера и два дня назад таким же образом отправлял в ночь своих тяжело раненных товарищей, и теперь вот ему плыть самому... Он почувствовал, как его взяли и приподняли, и тотчас тяжелое, в зарницах небо зашаталось вверху и исчезло, и вторично он очнулся уже через час или больше: он был привязан к бревнам так, что руки у него были свободны и он бы мог ослабить ремни у себя на груди и сесть, но он не стал и пытаться. Он лишь почувствовал, что одна рука его, свалившись с бревна, все время полоскалась в воде, и ему захотелось смочить лицо и напиться; он с трудом пошевелил рукою, но поднять ее не мог; и лишь с третьего или четвертого раза ему удалось поднести мокрый кулак к лицу, и он полизал пальцы высохшим жестким языком; скоро ему удалось влить в рот немного воды, потом вытереть мокрой ладонью лицо. Вода пахла гарью, отдавала керосином. Вася тяжело водил глазами, тупо рассматривая темное, кое-где в рваных просветах небо; на гул и грохот, не утихший на этот раз и в ночь, он не обращал внимания; покойно-то как, думалось ему сонно и вяло, даже не верится, и небо в зловещих сполохах, но это ничего, пока звезды не остановились, а они ползут, ползут все-таки, и о бревна непрерывно трется вода, он слышит ее слабый шорох. Вот и его пустили вниз по матушке-Волге; он сейчас не он, а вода, и течет вместе с нею.

Свыкаясь с положением беспомощности, Вася покачивался вместе с бревнами; всего год назад нечто подобное уже случалось, кипящая от обстрела белая река, гул, тогда ему повезло, удалось выскочить; рядом с ним оказался здоровый мужик с его крестьянской неторопливостью и рассудительностью; лицо Захара Дерюгина мелькнуло в тумане. «Да, все хорошо, хорошо,— думал Вася лихорадочно,— но когда же они виделись в последний раз, когда это было? Сперва пропал этот историк, Смоленск горел, вот-вот, а в ночь началась атака через Днепр...»

Сразу что-то дымное, грохочущее подступило к нему, и он почувствовал, что теряет сознание; ему опять помогли ныряющие в просветах дыма и туч звезды, он

теперь боялся думать или вспоминать и с тихой благодарностью старался не отрываться от звезд; а когда чуть отошел и успокоил дыхание, ему стало казаться, что с ним вместе течет земля, залитое тревожным рыжим огнем небо России, горящая вода, мир; все движется, и так оно и должно быть, и так было и будет всегда.

8

Николай с Егором, после того как не стало в доме старших, Ивана с Аленкой, сдружились еще больше; как-то незаметно однолетки подтянулись, и за полтора года войны в их лицах, особенно в лице Егора, стали все чаще проступать черточки взрослости. Они были разные по виду и характерам, и эта разность все резче выявлялась с возрастом; сами они этого не замечали, потому что еще не задумывались над этим. Но и Ефросинья и бабка Авдотья все чаще отмечали эту разность. «Вот что значит кровь»,— думала бабка Авдотья, и здесь ее размышления прекращались; все люди — все должны были жить на земле. Ефросинья же и вообще об этом не думала, она все старалась и тому и другому сунуть, отрывая от себя, лишний кусок, и прежде Николаю, и не потому, что сама родила его, а из-за его худобы и роста: он был слабее Егора, хотя выше на полголовы. В хорошее время они бы уже ходили в третий класс, а так Егор окончательно забыл и письмо, и чтение; Николай, тот, правда, не упускал удобного случая достать из тайника какую-нибудь книгу и, по-взрослому морща лоб, посидеть над ней, шевеля губами (книги еще оставались от Аленки и Ивана). Бабка Авдотья не раз заставала внука с книгой в руках, и в таком углублении в нее, что он не слышал ее зова; бабка Авдотья видела в этом определенный недуг и не раз наказывала Ефросинье сводить сына к бабке Илюте повышептать болезнь; Ефросинья все откладывала, да и боялась идти в глухой лесной хутор в пяти верстах от дому. На селе упорно поговаривали о том, что объявленная немцами награда в пять тысяч имперских марок за поимку одного из партизанских разведчиков связана как раз с племянником бабки Илюты — Митькой. Могли что угодно подумать и донести, а потом оправдывайся, доказывай. И ни бабка Авдотья, ни Ефросинья не могли понять

угрюмого, все более замыкавшегося в себе Николая; он был большеглаз, лицом почти повторял отца и старшего брата, и только глаза у него были расставлены шире и жили какой-то затаенной, медленно пробуждающейся красотой; бабка Авдотья часто гадала вслух, в кого он такой лобастый уродился, и никто из взрослых не представлял, как Николай, этот мальчишка, одинок в жизни и как ему нехорошо в ней. Спасался он книгами, тем непонятным и таинственным, что они ему преподносили; он быстро, еще в первом и втором классах школы, научился не только бегло читать,— у него все сильнее пробивалась способность возвращаться к прочитанному и осмысливать его теперь заново, по-своему; он мог сидеть и обдумывать часами заинтересовавший его поступок человека, а то просто какую-нибудь арифметическую задачу; он пристрастился к учебникам, оставшимся от Аленки и Ивана, потому что других книг почти не было, вначале он в них ничего не понимал, с удивительным упорством прочитывал одни и те же места по нескольку раз; он бы не мог даже примерно объяснить своего состояния; но он уже начинал чувствовать властное стремление преодолеть ту враждебную силу, которая всякий раз вставала между ним и тем неизвестным, к чему он хотел пробиться и не мог. Чувство беспомощности лишь подстегивало, в серых быстрых глазах его уже угадывался характер. Николай теперь определенно знал, что мир много больше их дома, их села, со всеми его людьми и делами, и иногда, забиваясь подальше от людей, он лежал и разглядывал медленные высокие облака, стараясь понять и представить себе этот далекий мир. Это был странный отпрыск дерюгинского семени, и Ефросинья часто думала о нем по ночам, она любила его, как и всех остальных, но помочь именно ему ничем не могла, и по доброму крестьянскому разумению, по вековому опыту, который жил у нее в крови, она старалась врачевать его, загружая всякой работой по дому. «Иди, иди, помоги Егорке дров напилить,— говорила она, застав его за книгой со злыми, далекими глазами.— Теперь не на кого надеяться, ни батьки, ни старших — никого, сами себе хозяева, да еще в чужом углу». Или тут же придумывала какую-нибудь иную работу; но бывало, когда и сам Николай, возненавидев окончательно непознаваемый для него мир книг, рвался к простой работе, таскал бабке воду, расчищал снег, копал глину на обмазку стен, да еще и Егора подгонял.

После обрушившегося на семью Дерюгиных несчастья с Иваном Николай стал бояться темноты, любую работу бросался делать сломя голову, и бабка Авдотья не могла нахвалиться младшим внуком.

В это лето Дерюгины кое-как всковыряли (впрочем, как и большинство других в Густищах) свой огород, наполовину засадив его картошкой, наполовину засеяв пшеницей; полевой участок, который им выделили, Ефросинья не пошла глядеть, ни вспахать его было нечем, ни обсеменить. Староста два раза с весны предупреждал Ефросинью, требовал сеять в поле, потом, подумав, поговорив со своей бабой, в мужицкой дальновидности махнул рукой, тем более что у Ефросиньи сгорела изба и ей приходилось ютиться с ребятами в чужом углу. От беды спасло густищинцев тогда то, что в тот вечер немцы своему унтеру день рождения отмечали и перепились вдрызг, за бабами по всему селу гонялись, об этом знало полсела, согласно говорили об этом на сыске. Тем и спасена была Ефросинья; дольше всех в этом году она с детьми провозилась и в огороде, припоздала. По натуре неразговорчивая, она теперь и вовсе замолчала, и только сыновья ловили порой на себе ее диковатый взгляд и смущались; она словно впервые видела их и часто думала, что совершенно не знает ни Егора, ни Кольки, особенно Кольки; что-то тревожное и затаенное прорезывалось в этом подраставшем человеке, и никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту. Так, когда осенью, после разных страхов, огород убрали и высыпали картошку в погреб, а часть закопали на всякий случай в яму, Николай часто стал говорить, что в этом году картошки мало и надо ее беречь, а в первые сильные заморозки, перед снегом, Николай с Егором (все из-за той же пробудившейся жадности у Николая) стали заготавливать на склонах Соловьиного лога хворост на дрова, в старый, настоящий лес ходить никому не разрешалось. Однажды братья поднялись затемно, позавтракали картошкой и по-мужски туго затянулись ремнями на телогрейках; Егор заткнул за пояс топор, и как только достаточно развиднелось, вышли из дому, от их недетской серьезности Ефросинью прошибла тихая слеза, и она благословила их вслед сердцем, долго сидела на лавке, уронив руки. Несмотря на раннее время, братьям встретился Илюшка Поливанов; все трое знали, что они по отцу родня, и потому относились друг к другу с чрез-

мерной мальчишеской независимостью. Илюшка посторонился, и Николай с Егором прошли молча, и, лишь отойдя на приличное расстояние, Егор, более непосредственный по характеру, возмутился.

— Чего Илюха всегда нос дерет! — сказал он, стараясь говорить не спеша, по-отцовски.— В прошлый раз я к деду Макару подошел, дедка сам меня подозвал, так этот Илюха засопел, в хату сразу ушел.

— Ну и пусть, тебе что?

— Ничего. Задаваться ему особо нечего. Хоть и брат нам по батьке, все одно подзаборник. Эта Манька батю зельем опоила, ну вот оно и получилось. Я слышал: бабушка куме Савельевне рассказывала.

Николай слушал внимательно, но отвечать не стал; оба они уже были в том возрасте, когда в жизни взрослых все меньше оставалось для них тайн; они давно знали, что детей находят не под капустным листом; на их глазах многократно повторяется это у скотины и птицы, и если Егор делился своими наблюдениями с Николаем, тот хоть и жадно слушал, но больше молчал, и если Егор мог и за девками подсмотреть во время купанья из-за кустов, то Николай лишь сопел и слушал потом все, что Егору удавалось подметить; Николай почему-то мучительно стыдился этих разговоров, впрочем, и разговоры подобные были редки; подрастая, братья заметно меньше делились друг с другом сведениями именно такого рода.

Дорога шла голым полем или в густом и высоком высохшем бурьяне; прихваченная морозцем земля звонко отзывалась на каждый шаг. В небе хмурилось, и с холодной стороны по ветру скоро несло низкие тучи.

— У нас уже воза на три хворосту будет.— Егор, шедший впереди, любил рассуждать вслух.— Еще возов семь надо. На зиму десяток возов — продержаться хватит. По первому снегу возить начнем, а может, дядька Гриша лошадь достанет у старосты. На себе ползимы будешь таскать — не напасешься.

— Ну и будешь,— проговорил Николай.— Да и десять возов хворосту мало, не хватит. Пятнадцать надо, это не те дубы, как батька с Иваном возили. Один кряж отпилишь — и на сутки хватит.

— Надо будет, и пятнадцать нарубим,— податливо согласился Егор.— В холодной хате сидеть — не долго просидишь, а дядька Гриша тоже не обязан нас отапливать. А как думаешь, что Иван сейчас?

— Не знаю...

Егор вздохнул, ни он, ни Николай не могли забыть большого и доброго Ивана; то, что его схватили и увели, словно скотину, выходило из любых их понятий о жизни, и, вспоминая Ивана, они каждый раз делались угрюмее и молчаливее. И на этот раз они молча проделали остаток пути до Соловьиного лога, молча, перед работой, посидели, отдыхая; худое лицо Николая с крупным ртом резко белело в сером воздухе; глаза его сейчас были почти неправдоподобно большими, с какой-то взрослой отрешенностью и болью; Егор, тот, наоборот, вглядываясь в дальние размывы лога, рассуждал, что здесь топлива всем Густищам на сто лет хватит; он подтянул голенища сапог, полюбовался ими (сапоги еще весной сшил им дядька Гриша, и ему и Николаю, и это были первые в их жизни сапоги), взглянул сбоку на Николая.

— Знаешь, Иван, он вывернется, ей-богу,— сказал Егор.— Мы как-нибудь будем спать, а утром глянем... Или в партизаны подастся. А ты знаешь, Колька,— Егор понизил голос,— я на нашем пожарище черепушку от унтера нашел. Копался, копался и нашел, помнишь зубатого унтера-то?

— Почему ты знаешь, унтера черепок или еще кого?

— Его, унтера. У него два зуба железных было спереди, так они и остались.

— Ладно, пойдем рубить,— сказал Николай и первый двинулся вниз по склону лога; потом, в течение трех или четырех часов, они молча работали, один рубил голые, давно уже без листьев кусты, а второй складывал их в охапки, вытаскивал наверх и громоздил в кучу; потом, зимой, легче с одного места возить и дорожку в снегу не надо будет каждый раз пробивать вновь.

Николай быстро уставал, таская охапки сырого, тяжелого хвороста наверх из лога, на ровное место; и после третьей, четвертой ходки начинал чаще спотыкаться, а то и падать, со злым лицом дергая за собой хворост; но сменить себя на этой работе он позволял брату лишь в установленном порядке и сам тогда брался за топор; рубить тонкий хворост было легче и приятней; одной рукой пригнул — и топором под корень — раз! раз! раз! Хворост ложился на землю податливо, как скошенный. На глазок они определили время обеда, поели холодной картошки, хлеба с луком и съели по

кусочку сала; бабка Авдотья снарядила их, как обычно снаряжают мужиков на трудную работу, и они наелись досыта, выпили две фляги, подобранные после пожара у себя в саду, еще теплого квасу и затем, отдыхая, полежали на хворосте навзничь. В небе попрежнему шли холодные, жидкие тучи; после этого работать им уже не хотелось, и они, подсчитав, что теперь запас хвороста увеличился не меньше чем воза на три, решили возвращаться домой, тем более что короткий день уже кончался и начинало темнеть; а пока они дошли до села, совершенно смерклось. Они весело погремели на крыльце, в сенях, прошли на свою половину; мать с лавки встретила их больным, кричащим взглядом и заплакала, не закрывая лицо руками; Пелагея Евстафьевна, сидевшая рядом, стала ее утешать, а Григорий Васильевич, говоривший о чем-то с невысоким мужиком в потрепанной немецкой шинели, но в обыкновенной шапке с бараньей опушкой, при виде племянников быстро повернулся к Ефросинье.

— Перестань, перестань, Фрося,— сказал он, опуская руку ей на плечо.— Разберутся и отпустят, а вы, ребята, смотрите, берегите мать,— оглянулся он на племянников, затем подошел и каждого поцеловал.— Друг за дружку держитесь, вы уже большие,— понизил он голос.— Чего не знаете, того не знаете, и шабаш.

Полицейский в немецкой шинели нетерпеливо постукал прикладом длинной винтовки в пол, приказал:

— Хватит, хватит, дождались чертенят, и ладно. У нас служба, начальство. Бери свое добро, баба, а ты, старая, дай им чего-нибудь, в дороге пожуют. Ничего, пусть привыкают,— сказал полицейский, и тут Николай увидел, что мать сидит одетая и у ее ног лежит узелок.— Ну, пошли, пошли,— опять сказал полицейский Ефросинье тихо, словно оправдываясь.— Нам приказано доставить вас в город, что ж нам... А там, может, ничего и не будет, разберешь теперь, кто где.

Бабка Авдотья сунула и Николаю и Егору по ломтю хлеба; в избе оказалось еще двое полицейских, подталкивая Ефросинью и братьев, они вывели их из дома, усадили в повозку, запряженную парой, уселись сами: один впереди, двое сзади, и тотчас повозка тронулась; ни Егор, ни Николай еще не успели опомниться, но тут выскочила, вырвавшись от Пелагеи Евстафьевны, бабка Авдотья.

— Куда меня бросили, антихристы! — закричала она дурным голосом, похожим на звериный вой.— Постойте, постойте, забирайте уж под корень, неужто у вас божьего креста в груди отродясь не светило! А-а! — тянула бабка Авдотья, хватаясь за задок повозки; на селе захлопали двери, послышались тревожные голоса.

— Гони! — крикнул один из полицейских, сидевших сзади, и в ту же минуту и Ефросинья, и ее сыновья услышали взвизгнувший над головами кнут; удар ожег бабку Авдотью, она вскрикнула. Повозка сорвалась в бешеный ход, стуча всеми четырьмя колесами и беспорядочно подпрыгивая; мелькнули крайние, словно притаившиеся под черными, полусгнившими крышами избы; мерзлая земля застучала под колесами.

Бабка Авдотья вначале бежала, затем, пошатываясь, шла, а потом, свалившись, ползла, обдирая худые колени в кровь, и тихо, утробно выла; по лицу справа багрово вспухал рубец от кнута. Скоро вокруг нее собрался народ; подняв с дороги, поддерживая, ее повели.

— Фроську с последними детьми в город... в город... ироды... с ними просилась... господи, господи, да есть ли у тебя жалость к сиротам! Прибери ты меня от такой муки!

9

Ефросинью с детьми Макашин приказал арестовать и привезти в город уже глубокой осенью, в начале ноября; он об этом думал давно, еще со времени разговора с Анисимовым о старшем сыне Захара Дерюгина — Иване, но все было недосуг, хлопот прибавлялось день ото дня; партизаны в лето 1942 года распространили свои действия по всем лесистым местам, угрожали не только Зежску, но беспокоили военного губернатора уже и в Холмске. В газетах для русских и по радио непрерывно твердили о победах и о скором окончательном разгроме мирового большевизма, однако чем больше, определеннее и настойчивее об этом кричали, тем туманнее и расплывчатее звучали формулировки, тем чаще упоминалось в них о боге и провидении; Макашину некогда было читать газеты и слушать радио: он инстинктивно чувствовал что-то неладное и метался по району (теперь уезду), выполняя всякие распоряжения

немецких военных и хозяйственных властей, искал новых людей для службы в полиции, вершил суд и расправу, собирал сведения о родственниках партизан, старался поддержать в городе спокойствие и порядок. И однако он все чаще оставался ночевать в своем кабинете, в здании полиции; постоянной сожительницы у него не было, но в разных концах города и по разным адресам его в любое время принимали по первому стуку; одну, совсем молодую, шестнадцатилетнюю Зиночку, он отличал больше других, чаще бывая у нее. Но опять-таки где-то в самой глубине его сознания жило тревожное ощущение непрочности, временности всего, что он имел в жизни; можно было взять много, брать без конца, и он торопился; всего, что можно взять, взять было не под силу, и это злило его. Он часто пил с Анисимовым, и его несколько отрезвляли и успокаивали эти встречи, но последний разговор оставил неприятный осадок. Они говорили о летнем наступлении немцев к Волге, об их новых успехах; и Анисимов — или по-настоящему напивался, или просто хотел вывести Макашина из себя — держался вызывающе, как-то особенно резанула Макашина оброненная Анисимовым фраза, что у Гитлера хоть рот широк, да велик кусок: Макашин приглядывался, приглядывался к нему и не выдержал. «Уж не на две ли стороны работаете, умная голова Родион Густавович? А если на две, то не боитесь ли выпустить синичку из рук и получить вместо нее пеньковый галстук на шею?»

Макашин после своего вопроса увидел вмиг протрезвевшие глаза Анисимова, они глянули издалека, чуждо, оценивающе.

— Ты что ж, Федор, как на одного поставил, так и тянешь, железный крест думаешь заработать? — спросил Анисимов, сгоняя с опухшего лица нехорошую, желчную усмешку.— Хорошо, допустим, все выйдет, как этот господин предопределил,— Анисимов неопределенно ткнул пальцем куда-то вверх.— Как-нибудь, плохо ли, бедно, будем жить. А если нет и все пойдет опять кувырком, а, Федор? История, Федор, знает множество тому примеров, начиная с самых незапамятных времен. Ходить далеко не будем, на советскую власть в гражданскую, хотя она и слаба была, как птенец в яйце, всем миром навалились, а задушить не смогли. Почему же сейчас верить, если мир надвое теперь расколотило, как две половинки арбуза? Может слу-

читься, ждешь на грудь железный, а над тобой просто березовый воткнут.

— Мне теперь все одно.— Макашин небрежно налил в стакан через край, продолжая напряженно вдумываться в слова Анисимова.— Мне все одно, мне другой стежки не будет.

— Тебе все равно, а мне нет,— резко возразил Анисимов.— Мой час еще не прозвонил, я ждать его должен и буду.

— Да какой час, какого ты еще бешеного часа ждешь?

— Не знаю, Федор,— через силу выдавил из себя смешок Анисимов.— Может, чтобы тебе еще раз руку протянуть, из болота выдернуть. Каждый по-своему с ума сходит, Федор. У тебя одно, у меня другое, не думай, мое не легче. Не легче, я вот с женой и так и сяк верчусь, а на поверку — чужие люди. Под одной крышей, а чужие, не о чем нам больше говорить, Федор.

Он не успел закончить на этот раз; совершенно ни с того ни с сего Макашин сгреб его за ворот на груди, прихватив дряблую, обвисавшую от лишнего жирка кожу, подтянул к себе, вверх; Анисимов увидел белые, скошенные в гневе глаза Макашина и почувствовал у себя на лице его близкое нечистое дыхание; Анисимов невольно отшатнулся, но освободиться не мог.

— Думаешь, умнее всех на земле? — выдохнул Макашин, наслаждаясь своей силой и подтягивая к себе Анисимова все теснее.— Не думай... Крыса... вот захочу и — конец тебе тут же придет в момент...

— А смысл, смысл? Зачем? — продохнул наконец Анисимов, окончательно трезвея и пытаясь на ходу сориентироваться в сложившейся ситуации.

— А так, без всякого смысла, для сугреву.— Макашин расслабил пальцы, и Анисимов тотчас выдернул из них свою одежду и отряхнулся.— Для такого дерьма, как ты, без смыслу — оно потешнее. Знаю, ненавидишь смертельно с тех пор, как того парня на допросе кокнул, руки замарал... Что посерел-то, в самую точку угодил? Не дрожи, как овечий хвост, я один про то дело знаю, а у меня не вырвешь.

— Лечиться надо, Федор, до белой горячки допьешься,— сказал Анисимов, помедлив, приводя в порядок растерзанный ворот и не выпуская из виду лица

Макашина и его пальцев.— Ну хорошо, я тебе друг, пойму любую твою выходку... А в другом месте?

— В каком другом? Другого у нас не будет. Зря гордишься, Густавович, человек, он, какой хочешь, на один лад устроен. Я тоже ни писать, ни читать не мог, а жизнь крутанула, читаю и пишу. Научился! И понимаю не меньше твоего, хоть в партиях не состоял, а судьбу твою в две минуты решить могу, и не пикнешь.

— Высшую материю тебе, Федор, пока не осилить. Ты со мной равенства души захотел? Так я не против, нас природа уравновесила. Ты мужик, и я тоже, тебе бабы нужны и мне, оба мы жрем. А вот к высокому равенству путь всегда лежал и лежать будет через неравенство, и никуда от этого не денешься. И зря ты надо мной попотешиться решил. Друг без друга нам будет не лучше, а хуже.

— Из седла ты давно вывалился, Густавович.— Макашин, успокаиваясь, опять сощурился в простецкой усмешке.— Двери тебе иной нет, а то бы ты на меня и плюнуть не захотел.

— Умному человеку дверь всегда найдется, Федор. С советской властью, если б я захотел, я бы по-царски жить мог и еще могу, заметь себе! Все революционеры на одном горели, и наши сгорят. На желании равенства для всех, а ведь это абсурд. Если до революции активный тонус жизни поддерживался золотом, деньгами, то теперь это делается с помощью обыкновенного кресла, должности. Жизнь опять обманула всякие там утопии, а потому, что ей необходимо движение, соперничество. Высоко можно подняться, вот так, Федор! Не открещивайся, возможно, мои наблюдения и тебе ко времени пригодятся.

— Ладно, умник, ты в разных креслах предостаточно зад тер, а не удержался, припекло,— сказал Макашин тяжело.— Живи как хочешь, только своего верху поменьше показывай, а то весь твой собачий расчет полетит. А так я тебя понял. Ну, ну, не серчай, лучше посоветуй, как мне с семьей дерюгинской быть, а, Густавович?

Макашин видел, как опять подобралось и стало суше лицо Анисимова, и про себя усмехнулся; трудный он ему вопросик подкинул, хотя сам уже определенно решил, как ему быть в данном деле.

— Какая там семья,— сказал Анисимов, не скрывая

своего истинного отношения, хотя отлично знал, чего ждет от него Макашин.— Глупая баба с двумя мальчишками да старуха. Зачем они тебе, Федор?

— Старуха и баба мне не нужны, пусть их доживают. А вот ребята... сыновья Захаровы...

— Один — Захаров,— напомнил Анисимов,— другой — приемыш, неизвестно чьей крови.

— Зато душа чья — известно! — Макашин встал, оперся о стол руками и наклонился к Анисимову.— Ты опять мне скажешь, что мелочь это в мировом океане, грязниться нечего. А мне больше той мелочишки в руки ничего не дадено, мне от этой мелочи жить слаще! Молчи, молчи, Густавович, молчи сейчас!

— Ничего, кажется, и не говорю,— развел руками Анисимов, впервые видя зверовато-сдержанного Макашина в таком состоянии.

Макашин много думал об этом последнем разговоре с Анисимовым и решил с семьей Дерюгиных поступить именно наоборот; Анисимов вел свою игру чересчур уж петляво, а ему, Макашину, может, и оставалось всего ничего, вот Сталинград-то у немца словно кость в горле поперек торчит, потом уж не отведешь душу, не потешишься. Когда ему доложили, что Ефросинью с двумя сыновьями доставили, Макашин приказал пока поместить их в тюрьме при полиции и держал там месяца полтора; он не знал, что с ними делать дальше, но то, что они были рядом и в полной его власти, успокаивало, тем более что вскорости после Нового года начали все упорнее и злее ходить слухи о немецкой неудаче на Волге; в Зежске заметно больше появилось раненых немцев, приказано было подыскать здание под большой госпиталь и срочно отремонтировать его, если нужно; к тому же из других верных источников Макашин теперь точно знал, что приказано немедленно приступить к строительству оборонительной линии, которая захватывала частично и Зежский уезд; еще было велено всемерно усилить борьбу с партизанами, и для этого ожидалось прибытие регулярных воинских частей; и, как назло, именно в это время в Зежске стали появляться листовки, написанные от руки и сообщавшие о катастрофическом разгроме немцев в Сталинграде: их срывали, соскабливали, замазывали, но они опять белели по заборам и стенам.

В один из метельных февральских дней Макашин приказал привести к себе на допрос Ефросинью Дерю-

гину, одну, без сыновей, и она вскоре стояла перед ним, отощавшая на казенном тюремном пайке, с запавшими глазами. Макашин сидел, дымя сигаретой, и смотрел на Ефросинью, безучастно щурившуюся от света в окне; она выглядела значительно старше своих лет, почти старуха; Макашин забыл о своих мстительных планах, и словно время перенесло его на два десятка лет назад, когда в селе только что разделили по душам и дворам почти две тысячи десятин пахотной авдеевской земли и тот, кто хотел работать, начал набирать силы не по дням, а по часам, когда все больше стало появляться скотины и парни с подростками гоняли в ночное лошадей; и что-то сдвинулось в душе Макашина и тихонько засветилось, словно и не было раскулачивания и ссылки и потом жизни под чужим именем, войны и убийства, крови и человеческих мук...

Макашин сидел, Ефросинья стояла, тяжело обвиснув руками, раздавленными непрерывной крестьянской работой.

— Садись, Фрося,— неожиданно уронил Макашин, кивая на стул перед столом.— Садись, садись,— повторил он настойчивее, видя, что Ефросинья испуганно отмахивается.

Ефросинья неуверенно ступила к столу раз, другой, несмело, бочком села на краешек стула, сложила руки на коленях и стала глядеть в пол перед собой.

— Здравствуй, Ефросинья,— сказал Макашин, закуривая новую сигарету и волнуясь.— Давно я тебя хотел увидеть, все недосуг было.

— Ну, здравствуй, Федор Михайлович,— тихо, не поднимая глаз, ответила Ефросинья.

— Ну что, плохо тебе? — спросил Макашин, подавшись вперед и не спуская жадных глаз с лица женщины; она подняла наконец голову, несмелая улыбка тронула уголки опущенных губ.

— Отчего плохо, Федор Михайлович... Ничего, терпеть можно.

— Можно? — жадно переспросил он.— Это как же — можно?

— Можно,— сказала она.— И раньше не сладко бывало, терпели же, можно и сейчас.

— А дети, дети? — спросил Макашин с какой-то тайной, болезненной надеждой.

— Они тоже пусть привыкают,— опять ответила

она в твердой уверенности.— Что ж им... им тоже не в ученых придется сидеть, пусть привыкают сызмальства...

Макашин не столько удивился, сколько неприятно поразился этой пронзительной цепкости жизни (о себе бы он не мог этого сказать) и взглянул на Ефросинью иначе.

— Ну, что ж мы будем делать дальше, землячка? — спросил он, и Ефросинья ничего не ответила, лишь глаза ее озирались тревожно; и от этого она внезапно помолодела и напомнила ему ту далекую красавицу Фросю, на которую он заглядывался и помнил из прежних времен, когда был подростком, помнил и позднее. Макашин ждал, и она, понимая теперь, что все ее несчастье с детьми — от одного Макашина, затравленно вздохнула.

— Прямо скажи, Федор Михайлович, что надо, что ж так кругом ходить, у тебя дела большие, тратиться зря не станешь.

— Совестливая баба, гляжу. Ладно, ты, Ефросинья, обо мне не заботься, работа моя такая. Скажи, где дочка, и дело с концом.

— Аленка с самой масленицы сгинула.— Ефросинья, стараясь говорить спокойно, глядела Макашину прямо в глаза.— Больше о ней ни слуху ни духу, небось косточки уже все побелели.

— Брешешь, баба,— спокойно засмеялся Макашин.— Не может быть того, чтобы матка о дочке ничего не знала. Зря, зря, Ефросинья, фордыбачишься. Властям хорошо известно: в лесу твоя девка, в партизанах. А по закону положено за такое дело всю остальную семью искоренять заподлицо.

— Если ты знаешь, Федор Михайлович,— пытать зря нечего,— ответила Ефросинья, чувствуя щемящую тяжесть в груди, словно там все затвердело в одно и продохнуть дальше нельзя.— Дочка, она товар до поры, может, кто и попользоваться захотел, увел да и держит тайком.

— Я тебя, Ефросинья, пугать не буду, помочь думал,— сказал Макашин, пропуская ее слова мимо ушей.— А помочь я тебе могу лишь от твоего чистосердечья. Расскажи все и пойдешь до дому... А так я и сам подневольный...

— Нечего мне рассказывать, ничего я не знаю.

— У тебя еще двое детей, я вас пока при себе дер-

жал, в полиции, ну, одумается баба, придет время, говорю. А долго тут тебя с ребятами беречь не осилю, надо будет вас в концлагерь переправлять. Там порядки свои: тебя отдельно к бабам, ребятишек отдельно. А через месяц опять сортировка: ты в одном краю света, а сыны — в другом, до конца жизни друг на друга не поглядите. Думаешь, про тот случай с погоревшими немцами забыли? Не поверишь, Ефросинья, я тебя тогда спас; детей твоих спас.

— Ежели спас,— земно тебе кланяюсь, Федор Михайлович.— Ефросинья в упор, не отводя глаз, глядела на Макашина.— Видит бог, обездолили они меня, по чужим углам теперь таскаться с детьми. Хоть и немцы, а мужики, нажрутся своего шнапсу и чего только не выделывают.

— Ладно, ладно,— подосадовал Макашин, когда она сморщилась и заплакала.— Ты бога моли, что обошлось, живой с детьми осталась.

Макашин по-прежнему говорил спокойно и рассудительно, но ненависть, ожегшая его изнутри, пахнула на Ефросинью, и она снова мучительно сжалась и закаменела, впервые так отчетливо почувствовав, что пощады здесь не будет и ждать ее нечего.

— Старших ты, Федор Михайлович, загубил,—сказала она с непокорной тоской,— пожалей хоть несмышленых. Зачем они тебе? Ну, с Захаром у тебя зуб за зуб зашел, дети-то при чем? Ты сам подумай, твоя бы вот так баба, в чем же она за твои-то дела виновата была б? Много вы слушаетесь нас, баб?

— Дура ты, Ефросинья.— Макашин с видимым усилием зевнул, прикрывая рот широкой ладонью.—Я к тебе по-хорошему, а ты... Твой мужик мог тогда меня от раскулачивания освободить? Не мог он этого, так и я теперь ничего не могу. Вот если б ты указала, где дочка, и разговор другой, и дочку твою никто не тронул бы; понятное дело, сама себя спасала, тут и с немцем как-то можно было бы столковаться...

— Не знаю, не знаю, Федор Михайлович,— твердила свое Ефросинья с пустым лицом.— Пусть меня бог накажет, коль неправду тебе...

— Ладно,— тяжело оборвал Макашин.— Две недели сроку, не опомнишься — себя виновать, Ефросинья. Я тоже не бог, надо мной тоже начальство. Коли бы твой мужик, Захар, на моем месте сидел, а на твоем месте моя баба?

— Что мужик! Что мужик! — зло скривила губы Ефросинья, окончательно одуревшая от долгого разговора.— Мне его добром поминать не за что, один от него позор в душе, в рванье вся грудь. Если и живой вернется, не стану с ним жить: отгорел он от меня, отвалился.

— Так уж и не будешь? — спросил Макашин с усмешкой и не спуская с Ефросиньи неспокойных глаз.

— Не буду, в этом не закажешь,— выдохнула она едино.— Меня никто не осудит, уж довольно он напился моей кровушки.

— Ну, баба, а хату кто спалил?

— Не знаю,— осеклась Ефросинья, зажимая руками зажегшийся ледяной ком под грудью.

— Брешешь, ты спалила, вон какое твое зверство, живых людей огнем,— теперь уже откровенно допрашивал Макашин.— Ты признавайся, сразу и отпущу, мне самому любопытно, как это ты смогла осмелеть.

— Что ж мне грех напрасно на душу брать,—отозвалась она, чувствуя, что холодные, волчьи глаза Макашина впиваются в нее, терзают.

И, теряя от этого силу, она, собравшись и выкатывая заслезившиеся глаза, чувствуя, что вот он и наступил в разговоре, главный момент, подалась вместе со стулом назад.

— Ну чего тебе надо, Федор? — спросила она визгливым криком.— Чего ты от меня добиться хочешь? Моей погибели с малыми детьми? Так ты и без того волен... души, режь, а я напраслины возводить на себя не стану. Думаешь, немцы тебя широкой полой от людского глазу скроют? Нет! Людской глаз любую крепость прожгет, до нутра доберется! Тут тебя ничем не прикрыть!

— Молчи, баба! — оборвал Макашин, стискивая сильными пальцами подлокотники удобного кресла.— Тут не твоего бабьего ума вопрос... Иди... Иди! — повысил он голос.— От вас таких добра не жди, вы его не понимаете!

— Лопай свое добро сам,— не могла уже теперь остановиться Ефросинья.— Чего меня в принуд гнешь? Эко добро, алтын — ведро.

Ефросинью увели назад в темную камеру с одним узким окном, перекрещенным толстыми, в руку, железными брусками, оно тускло светилось под самым потолком. Она вошла и сразу почувствовала, что детей нет, повернулась к двери, но полицейский, проводив-

ший ее, уже успел захлопнуть камеру, и тогда Ефросинья отошла в угол, опустилась на груду полусгнившей ветоши, какое-то тупое безразличие овладело ею; она смертельно устала, и не хотела больше думать, и даже вскоре забылась в тяжелом полусне; а тем временем Егор с Николаем сидели рядышком на стульях перед столом в кабинете у Макашина, и Макашин молча их разглядывал; и несмотря на то, что больше глядел на Егора и больше спрашивал именно его, все внимание он сосредоточил на Николае; этот худой, с восковым лицом от почти двухмесячного сидения в камере парнишка был ему зачем-то необходим, и он это остро почувствовал, как только увидел Николая перед собой. Он и держал Ефросинью с детьми при себе, пытаясь уяснить, зачем ему понадобился младший сын Захара и что он собирается с ним делать; теперь неясность в этом вопросе как-то рассеялась и проступило решение, невольно подсказанное ему в разговорах с Анисимовым. Младшего сына Захара Дерюгина он больше не отпустит от себя и сделает из него то, что ему захочется: это и будет, возможно, самое лучшее дело в его жизни. А Ефросинью с приемышем он в свое время или отпустит, или потихоньку уберет, так что и следов от прежней их жизни не останется, он лишь давал себе привыкнуть к этому своему решению и к самому Николаю, потому что пока парнишка, кроме злобы к себе, ничего в нем не вызывал. Иногда в свободный час, чаще всего ночью, Макашин все тверже убеждался, что решение его окончательное и почему-то совершенно необходимое; глядя на две лохматые головы перед собой, на черную и светло-русую, шелковистую, он и сейчас думал об этом; ведь отправь он их завтра в концлагерь, все будет кончено, оттуда не возвращаются, и Николай Дерюгин, этот парнишка с непримиримыми глазами, затеряется среди тысяч других, а этого нельзя было допустить прежде всего для него самого, Федора Макашина. Он уже предвидел новые изменения и дороги в своей жизни, и нужно было готовиться в путь. А сейчас переломить бы это ожесточение подростков, и, пожалуй, если он хочет успеть, пора начинать; Макашин вышел из-за стола, задержался у окна, поглядел на морозные росписи в углах стекол, на пустынную улицу за окном, вернулся к столу.

— Вы ребята уже большие,— сказал он братьям, опять-таки глядя на Егора, но карауля и видя каждое

движение Николая.— Мы с вашим отцом вместе росли, на улице вместе бегали. Между нами и драки и всякие другие дела случались — чего в жизни не бывает. Да ведь сколько можно плохое помнить! Не знаю, как он, а я все забыл. Теперь у нас одна беда. Я вас даже не ради него хочу спасти, хорошие вы ребята, вам и жить надо, потом, отчего вам гибнуть? — Не дождавшись ни слова в ответ, Макашин выдвинул ящик стола, достал продолговатую буханку хлеба, большой, в килограмм, кусок толстой колбасы; все это он порезал на столе большим складным ножом, завернул в бумагу и подозвал Егора. Тот встал, шагнул к столу.

— Вот, Егорка, бери,— сказал Макашин с легкой улыбкой.— Отнесешь в камеру, а там поедите, на нашем казенном пайке для арестантов — ноги протянешь. Да бери, бери, не бойся, матке скажешь, от Федора Михайловича.

Егор протянул руку, взял тяжелый сверток и прижал к себе; и тут Макашин перехватил ненавидящий взгляд Николая, перехватил, и они некоторое время не могли оторваться друг от друга; и пока Егор удобнее устраивал у себя под мышкой сверток с колбасой и хлебом, Николай все никак не мог спрятать своих глаз от Макашина; именно в этот момент решалось что-то важное в его судьбе, и он бессознательно чувствовал это; ненависть постепенно ушла из его глаз, он даже постарался улыбнуться Макашину и в конце концов разлепил слегка дрожащие губы.

— Ты хоть спасибо скажи, Егор,— бросил он брату; Макашин услышал «спасибо», кивнул, а когда братьев увели, он долго ходил по кабинету и все никак не мог отделаться от ощущения своего поражения в этой молчаливой схватке с младшим Дерюгиным. «Ах ты змееныш,— думал он,— погоди, жало я у тебя с кореньями вырву в первый же раз. Волчонок, волчонок,— говорил он себе со злобой и с восхищением,— а ведь учуял, что я его цепью-то захлестнул, учуял и уперся. Ну да ничего, обойдется, никуда он теперь от меня не вывернется, поздно».

Он опять остановился у окна, всматриваясь в пустынную улицу напротив, в старый купеческий дом в два этажа с резными наличниками; что ж, раз судьба не привела иметь собственный дом, собственных сынов, он возьмет готовое, разве не Захар отнял у него треть жизни, лишил его угла и семьи и заставил мыкаться

под чужим именем, как собаку? Он возьмет готовое, это будет только справедливо. Мир велик, найдется и ему уголок, подальше от ненужных глаз, а пока есть время, он потешится всласть. Он подержит Ефросинью с детьми еще месяца полтора-два, а там все само собой уладится; мальчишка в конце концов не выдержит и тогда можно будет делать с ним все, что захочешь; а Ефросинью с приемышем можно и другим порядком устранить, теперь уже все твердо решил Макашин, да так, что и не такому мальцу, как Николай, в голову не взойдет. Он распорядился выпускать Ефросинью с детьми на прогулки каждый день после работы, а потом отдал распоряжение чистить и прибирать ей с детьми двор в здании полиции; он уже привык к младшему Дерюгину внутренне и считал в душе своим, только ему принадлежащим. А между тем события развивались, уже для многих, хоть сколько-нибудь умеющих думать и анализировать, становилось ясно, что в Сталинграде произошла не простая случайность, не «рок судьбы и провидения», не временная неудача локальной кампании; невиданное по ожесточению и масштабам сражение на Волге обернулось для немцев огромным отступлением, продолжавшимся вплоть до апреля 1943 года, оно приостановилось лишь в болотах и реках Брянщины и Холмщины. В это же самое время Макашину пришлось заниматься еще одним делом, большого значения которому он бы не придал, если бы не особый следователь полиции, молодой, сметливый человек, присланный с тремя помощниками в Зежск из Холмска. Через тайных осведомителей в гестапо стало известно об организации в Зежске ячейки партии «Русского возрождения» из пяти человек, во главе которой встал преподаватель латинского и греческого языков в Зежской уездной гимназии Бронислав Николаевич Люсинский. Нити, оказывается, протянулись и в Холмск; в своей первоначальной программе Люсинский и его группа ставили задачей развернуть сеть ячеек своей партии по территории всей России; в гестапо особенно встревожились попытками Люсинского наладить контакты и совратить (кстати, уже давно и более сверхнадежно совращенного) генерала Власова обещанием предоставить ему после войны место военного министра в новом правительстве России.

Люсинского, несмотря на все уверения в преданности фюреру и «новому порядку», и его группу арестова-

ли в одну из февральских ночей и тут же на рассвете, не выясняя ни программы, ни конкретных целей новорожденной партии, всех, за исключением Люсинского, легко, словно в шутку, перестреляли за городом; Люсинского гестаповцы увезли в Холмск, а молодой следователь, щеголяя демократичностью и просвещением, объяснил Макашину, что такое эсеры, какова была их роль в подготовке революции в России и почему нельзя разрешить деятельность их партии даже под перекрашенной вывеской. Макашин недоверчиво слушал, наблюдая за короткими светлыми бровями следователя, то и дело озабоченно сходившимися в одну линию; Макашину все эти тонкости были глубоко безразличны. И только когда следователь высказал надежду, что в Холмске Люсинский заговорит и откроет настоящего руководителя организации, Макашин проявил некоторое любопытство.

— И самое интересное, что этот деятель остался здесь, у вас в Зежске,— сказал следователь.— Это интуиция, никаких, разумеется, фактов. Но он здесь, и я уверен, что через три-четыре дня нам его назовут из Холмска.

— Назовут так назовут,— проворчал Макашин, недовольный чересчур беспокойной деятельностью дошлого следователя, которого Макашин никак не мог разгадать, в самом ли он деле русский, сын эмигранта, или настоящий немец из холмского гестапо.— Арестуем, и дело с концом, такая чепуха! Лучше бы партизанами посерьезнее занялись, житья совсем не стало, из города невозможно носа показать.

— Господин начальник полиции, ваша непосредственная задача — борьба с партизанами,— напомнил следователь, полупочтительно, полуиронически улыбаясь.

— Знаю, моя.— Макашин остановился напротив подтянутого, свеженького следователя.— Вот только чем мне ее осилить, задачу такую? — Он сложил тяжелый кукиш, выставил его вперед.— Этой вот орудией, а, господин следователь?

Вечером на второй день Макашин наведался к Анисимову отвести душу да и посоветоваться с умным человеком. Разговор и в самом деле вышел горячий и интересный; ближайшим следствием его был уход Анисимова из Зежска в эту же ночь; едва выпроводив Макашина, Анисимов торопливо стал собираться, забе-

гал по дому, и Елизавета Андреевна наконец проснулась, полусонная, села на кровати; в душном воздухе комнаты слабо теплился ночник, и лицо мужа, метавшееся перед ней, никак не могло остановиться на месте. Оно то исчезало, то появлялось вновь, и Елизавета Андреевна поняла наконец, что муж просто собирается бежать. Придерживая сорочку, она встала, накинула халат, ощупью завязала пояс, долго не могла отыскать шлепанцы; мысли ее разбегались. «Ничего не понятно,— думала она,— куда уходить, зачем? Что случилось, пока она спала?»

Натягивая теплые сапоги, Анисимов сбивчиво высказывал жене свои соображения; он вскочил, потопал ногами, проверяя, удобно ли обулся, стал складывать в заплечный мешок уже приготовленные продукты.

— Решай, решай, Лиза, решай,— говорил он торопливо, как формальность или досадную обязанность, отчетливо зная, что это подлость, но в то же время понимая, что близок конец и поэтому она дозволительна, эта подлость.— У нас, Лиза, ни минуты лишней...

— Решать нечего, Родион,— оборвала Елизавета Андреевна хрипловатым голосом от неожиданно подступившего отвращения и ненависти к мужу.— Бывает всему конец, пришел конец и моему терпению. Я ведь тебе поверила после Брюханова... Но я уже давно... Иди! Иди, трус! Неужели ты хоть на минуту подумал, что я соглашусь тащиться с тобой? Разве я не вижу, что ты боишься моего «да»? Боишься, Родион! — остановила она пытавшегося что-то возразить мужа.— Не надо, и без того слишком плохо о тебе думаю. Зачем, какому идолу отдана жизнь? Боже, ради такого ничтожества! Если бы я не проснулась, ты бы молча ушел...

— Неподходящее время для истерики,— холодно и отстраненно уронил Анисимов.— Положение больше чем серьезно.

Немота стиснула горло Елизаветы Андреевны. Переждав секундное головокружение, она уже не обращала внимания на мужа; теперь, если бы его даже опускали перед ней в могилу, она бы не шевельнулась; с этого момента человек для нее умер, человек, которому она отдала свою жизнь и ради которого отказалась от всего. Это было страшнее, чем если бы она его и в самом деле похоронила; вот мечется какая-то серая тень без лица, а ей безразлично, ей все равно.

Елизавета Андреевна зажала прыгающие губы ладонью и так сидела минуту, другую; тень Анисимова все качалась перед нею.

— Родион,— сказала Елизавета Андреевна, ясно различая каждую черточку на лице мужа и смутно жалея его, потому что в этой точке времени пути их диаметрально расходились, а в его удачу без нее она не верила.— Родион,— повторила она,— ты знаешь, я умею стрелять. Одна остаюсь, дай мне, пожалуйста, пистолет, у тебя их два. Мало ли что может случиться,— опередила она его возражение, нужно было встать, но она не могла и лишь глядела на мужа. Анисимов, ни слова не говоря, чувствуя жаркий, давящий ворот рубашки, поерзал в нем шеей, молча положил рядом с женой на постель тяжелый вороненый браунинг и две запасные обоймы к нему, затем неловко встал перед Елизаветой Андреевной на колени, уткнулся головой в ее ноги. В этот момент и ему стало страшно отрываться от привычного, застарелого и спешить в неизвестность; совместные невзгоды связывали их намертво, и нужно было рвать с кровью.

— Прости меня, Лиза.— Анисимов с мукой в лице трудно отодвинулся от нее, встал.— Я не могу, знаю, должен был бы остаться, но не могу. Мы с тобой не гимназисты, красивыми жестами уже ничего не исправишь, думай обо мне что хочешь... Пусть я скотина, по-твоему, трус, но у меня не проходит уверенность... Я сейчас ничего не могу тебе сказать, но придет время... Что-то впереди должно высветить и для нас. Иначе зачем же мы были? Не поддавайся минуте, тебя никто не тронет, и верь мне, верь, с тобой я всегда был честен,— добавил он, наклонился, поцеловал ее в голову и, мучаясь, что она по-прежнему молчит, быстро вышел; Елизавета Андреевна еще долго прислушивалась к его шагам: это уходила ее неудавшаяся, никому не нужная жизнь, пустая, бесполезная, мерзкая... выливалась капля по капле, как разрушающий яд, и она чувствовала, что он вот-вот достанет до сердца, и крепко стиснула на груди руки.

Нужно было встать и закрыть дверь, но она тотчас сказала себе, что этого делать незачем, и осталась на месте; струился песок-зыбун, текло какое-то странное время и не трогало ее. Она вспоминала себя и Родиона молодыми, полными надежд и дерзости; они верили, без веры нельзя было вынести то, что они вынесли, и быть

вместе. Во что же они верили? И что оказалась их вера? Бог, родина? Вот теперь, когда остались одни лоскутья, она задает себе вопрос; спала, спала и проснулась, а ведь лучше бы и не просыпаться.

Ногам стало холодно, очевидно, Родион, торопясь, не захлопнул дверь. «Ушел, теперь навсегда,— подумала Елизавета Андреевна и поднялась закрыть. Пустота в доме действовала угнетающе, и Елизавета Андреевна, выйдя в настывший коридор, постояла у приоткрытой двери, вдыхая морозный воздух и присматриваясь к искристому небу.— Конечно, конечно,— проликовало в ней,— можно будет одуматься и жить по-своему дальше».

Стояла предрассветная тишина, по-особому настороженная, тугая, готовая в момент взорваться; Елизавета Андреевна, вздрогнув от холода плечами, заперла дверь и поскорее забралась в постель; браунинг и патроны, оставленные мужем, она спрятала под подушку. Нужно было погасить ночник, полусонное оцепенение, безразличие ко всему не дали ей встать, и она лежала с открытыми глазами — и не спала и не бодрствовала, лишь резче проступало в ней некое бессознательное ощущение пришедшей беды, и когда оно стало нестерпимо болевым, Елизавета Андреевна, пересиливая себя, оделась и стала в волнении ходить по дому, прислушиваясь к шорохам и звукам в углах и стенах. Она была одна в огромном и тесном мире и особенно остро чувствовала это сейчас — не оставалось на земле человека, к которому бы она могла прийти и все рассказать, и ощущение беды вспыхнуло в ней с новой силой. Елизавета Андреевна погасила ночник, освободила окна от тяжелых занавесок, начиналось серое, холодное утро, квадраты окон проступали из тьмы; самый тягостный предрассветный час кончился, и Елизавете Андреевне полегчало; светало, скоро стали исчезать тени в углах. Елизавета Андреевна не знала, куда себя деть, есть ей не хотелось, о завтраке она не думала; она села в старое продавленное кресло в углу, лицом к окнам, и закрыла глаза. На некоторое время задремала, но тотчас внутренняя настороженность и обостренность, не исчезавшие ни на секунду, заставили ее вскочить, и с этого момента все пошло по своим, уже не подвластным человеку путям, и свершилось то, что должно было свершиться, то, что Елизавета Андреевна чувствовала

со времени трусливого ухода мужа, лишь только не могла осмыслить и точно определить.

Они пришли впятером, трое немцев и двое русских из полиции; высокий худой офицер с витыми серебряными погонами оказался прямо перед Елизаветой Андреевной; рядом с ним стоял Макашин; на плечах у Елизаветы Андреевны была накинута большая шаль, под которой она скрывала руки и браунинг, схваченный перед тем, как пойти отпереть дверь, и теперь она не знала, что делать: цепкие глаза следили за каждым ее движением. И опять то самое чувство предрешенности, неизбежности происходящего, жившее в ней с этой ночи, успокоило ее; она прошла в дом, за ней, пригнув голову в дверях, шагнул офицер, следом Макашин и солдат с автоматом; Елизавета Андреевна слышала как-то по-особому движение у себя за спиной. Она остановилась и повернулась к пришедшим; нахмуренное, уставшее лицо Макашина бросилось ей в глаза.

— Нам хозяина, Анисимова,— сказал Макашин хмуро.— Что-то его не видно дома.

— Я проснулась, его нет,— чужим, посторонним голосом ответила Елизавета Андреевна.— Сама ничего сообразить не могу.

Она уловила недоверие в глазах офицера и прислонилась к стене.

— Ищите,— сказала она тихо,— может, вам и повезет. А мне что ж теперь... Говори не говори, никто не поверит, мне все равно.— Елизавета Андреевна замолчала под пристальным, неверящим взглядом высокого офицера; ей казалось, что если она перестанет говорить, то все тотчас догадаются про оружие у нее под платком; она знала, что самое лучшее для нее — это застрелить немца и Макашина, но страх и слабость стиснули ее намертво, и от собственной нерешительности она отодвинулась в сторону, опустилась на стул у стены и заплакала с неподвижным и оттого старым, некрасивым лицом.

Пока шел обыск, простукивали стены и взламывали полы, она сидела все так же неподвижно, в оцепенении, и все думала, что ей надо было раньше уйти от Анисимова, взять и уйти и никому ничего не объяснять. Все ждала какого-то просвета, вот и результат; ее попросили встать и перейти в другое место; она замерла в углу, словно в густеющем дыму различая происходящее.

К ней подошел Макашин и что-то громко сказал; она не поняла и, мучительно подняв брови, вопросительно глядела на него.

— Что уж ты так сильно переживаешь, Лизавета Андреевна,— повторил он.— Обойдется, время дурацкое, кто же может знать, каждый по-своему с ума сходит.

Елизавета Андреевна кивнула, закусив губу; ее мучило другое, собственное ничтожество и бессилие; какой-то скорбный, обжигающий голос жил в ней. Прошла жизнь, прошла бесследно и бездарно, и нечего обманывать себя всякими туманами. Не ей, даже уходя, хлопнуть дверью, характер не тот. Она мучительно испугалась за браунинг у себя и теперь все время чувствовала его; а когда обыск благополучно кончился и немцы с Макашиным ушли, оставив невообразимый беспорядок и непередаваемое ощущение какой-то загаженности и грязи, Елизавета Андреевна подождала, чувствуя, как понемногу отпускает вязкий страх, затем собралась, непрестанно раздумывая, куда бы ей бросить браунинг и патроны. Таким местом показалась уборная, но что-то удержало ее. Пошатываясь, с неясными, рвущимися мыслями она вернулась в развороченный дом. Несмотря на множество стронувшихся со своих привычных мест и потому бросившихся сейчас в глаза незаметных раньше вещей, ее оглушила мертвая пустота; далекий, полузабытый мотив прорезался в ней, и она, хватаясь за него, как за единственную реальность, стала торопливо припоминать, что это и где, когда она слышала. Она припоминала, и словно таял внутри лед, и она уже начинала улавливать слова. «Не отринь меня во время старости»,— все яростнее и яростнее гремело вокруг нее; какое-то сияющее, праздничное здание росло, заключив ее в себе; поднимаемая гремящим хором, она словно освобождалась от того немощного, унизительного, чем была до этой минуты, и она не выдержала. Она не могла удержать хлынувших слез и опустилась на пол почти в бессознательном состоянии.

10

Анисимов, намереваясь передневать в ближайшем селе Пяткино, а на другую ночь добраться и до Слепненских лесов, найти партизан, добиться встречи с Брюхановым, ушел в морозную и легкую ночь, близи-

лась весна, и под метровыми снежными наносами уже начинали жить вешние воды; задыхаясь с непривычки от быстрого шага, он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей о жене, о последнем постыдном разговоре с ней, думал о том, что скоро заревут потоки воды, устремляясь с полей в овраги, лога и реки вспухнут, засинеют и освободятся ото льда. И начнут пролетать журавли, нежные странные птицы на тонких ногах и с тоскующим голосом; он представил себе длинноногих грациозных журавлей среди лугового разнотравья (в бытность председателем сельсовета в Густищах он любовался этими птицами на слепненских лугах и болотах, где они устраивали свои гнездовья), и злая усмешка стиснула его губы; журавли журавлями, а пока приходится барахтаться в снегу, даже следующий час неизвестен.

Время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться лучше и не напороться на неожиданность, Анисимов шел без передышки до самого утра и наконец почувствовал жилье. Он с пригорка увидел мерцавшие во тьме крыши, это было Пяткино. Анисимов устал после перехода, длительное, почти двухлетнее, сидение без дела не прошло даром; приближаясь к селу и услышав окрик «Стой!», он с неожиданной энергией и прытью, пригнувшись, метнулся в поле, тяжело ломая слежавшийся хрустящий наст. Несколько раз по нему выстрелили, пуль он не слышал, но сердце стиснула звериная жуть, и он рвался, сам не зная куда, пока от изнеможения не осел в снег, и тотчас услышал тишину. Тонкая, острая полоска зари прорезывалась перед ним, и он сразу определил, в какую сторону необходимо идти; он еще посидел, затем встал и пошел, и когда совсем рассвело, устроился на день в глубоком заросшем дубом и забитом старым снегом логу; снег поверху остекленел, взялся ноздристостью, и это смутно напоминало Анисимову тепло, какую-то давно забытую жизнь. Обтопав снег у старого толстого дуба, Анисимов развел под самым стволом небольшой огонек; от сухих сучьев дыма почти не было, он исчезал, еще не доходя до вершины дерева, и Анисимов выпил немного водки и поел. В таком бесприютном положении он совсем не думал оказаться; он давно уже понял, что его надеждам не суждено сбыться и понемногу начинается обратное движение, немцы подвели. Он подумал, что подвели они многих, не один же он затаился в этом перевернутом мире, обозначаемом с некоторых пор всего четырьмя

согласными, но от этого не легче. И Гитлеру чего-то не хватило, неподатливость русской земли перечеркнула все его расчеты.

Анисимов почувствовал от таких мыслей даже успокоение и озлился на себя. Нужно было думать о другом — как выпутаться из тяжелейшего положения; надежда отыскать Брюханова — глупость; никто с ним сейчас возиться не станет, пока доберешься до хорошего товарища Брюханова и докажешь свое, успеешь десять раз получить пулю в лоб, и нужно искать другой путь. Он по опыту знал, что в моменты смуты для пущей безопасности необходимо забираться в самую гущу, в многолюдность, и затеряться именно там; исчезнуть, раствориться в громадных человеческих потоках, захлестнувших дороги, а документы у него хорошие (Макашин, молодец, помог), на любой случай имеются. В леса сейчас, конечно, не пробраться, упустил время, поздно; значит, путь один. Раз ничего не выходит, долой на время все и всяческие идеи, только идиоты могут сшибаться и убивать друг друга вот так, впрямую, умный пройдет между ними незамеченным, он посмеется и над теми, и над другими, хотя будет продолжать жить посвоему; в конце концов, именно так и можно определить истинную ценность и смысл жизни, а все иное отнести к несварению желудка у полусумасшедших философов.

Анисимов увидел диск солнца в небе, в ярком, неровном свечении повисший над краем лога; в нем играли иные краски, чем месяц или два назад, и Анисимов опять вспомнил о весне; от мыслей о близком тепле он несколько успокоился, заставил себя подремать у костра и затем уже стал действовать.

Больше недели в потоках машин и людей, с бесконечными проверками документов (каждый раз при этом сердце сжималось и словно смещалось в сторону), он добирался до Холмска, и когда в середине марта оказался на его улицах, сразу ощутил лихорадочные судороги взбудораженного города перед новой катастрофой. Жителей почти не было видно, везде ревели машины, и в трех местах Анисимов видел виселицы; на одной из них, под сильными порывами ветра, вырывающегося из холодного жерла улицы напротив, мертво покачивалась женщина в рваной кофте с широкими рукавами, и толстые ноги ее в лаптях нелепо и длинно вытянулись. Анисимов пошел дальше; он еще не знал, где будет ночевать, но то, что ему удалось благополучно добрать-

ся до Холмска, придало ему уверенности. Из домов вытаскивали тяжелые ящики, грузили на машины; прошла скорым шагом власовская рота; прогнали двух арестованных — заросшего мужчину лет сорока и парня, бессмысленно и бледно улыбавшегося на ходу. Затем Анисимов уткнулся в приказ, наклеенный на стену, который категорически запрещал русскому населению с десятого марта появляться на улицах Холмска без специальных пропусков и разрешений. «Какой устрашающий знак придумали»,— опять с неожиданной неприязнью подумал Анисимов, глядя на графически четкое изображение орла, державшего в когтях кольцо со свастикой; у него, Анисимова, спецдокументы были в порядке, и он пошел дальше. Растрепанные солдаты в одних мундирах тащили неподалеку из подъезда длинный неповоротливый ящик, очень тяжелый: восемь человек приседали от натуги. Анисимов подождал и свернул на другую улицу; он определил по форме ящика, что это обыкновенный рояль, и подивился людской жадности; это многих губило, и немцы развратились, ну и черт с ними. Нужно было думать о себе; он коротко вспомнил о Елизавете Андреевне, и так как это воспоминание было неприятным, обожгло его и ослабило, запретил себе думать о ней дальше, зло сжал губы. «Она-то переживет,— подумал он,— ей ничего не грозит, а вот ему придется теперь побродить, и чем дальше он окажется от Зежска, тем лучше для него. Это на безлюдье каждый новый человек приметен, а в скоплении все одинаковы, любой растворится и затеряется».

Анисимов шел, ничего не пропуская по пути, подмечая малейшую подробность вокруг; к вечеру ему удалось устроиться в отходящий в сторону Смоленска поезд, помогли и документы, и старинный отцовский золотой перстень с топазовой печаткой, Анисимов пронес его через все превратности и бури и расстался с этой фамильной побрякушкой не без сожаления. Стиснутый разгоряченными людьми, какими-то мешками и сумками, Анисимов устало думал, что жизнь дороже любых реликвий и условностей. Он с трудом заставил себя не спать, словно чего-то боялся; едва окурок начинал жечь руки, он скручивал новую цигарку. Рядом ворчали, но все это был российский люд, снявшийся с места по несчастью, и Анисимов не обращал на недовольных внимания. Колеса вагона уже не стучали, их ход перерос в сплошной стонущий звук, и Анисимов

подумал, что и машинист боится, гонит; вот так и верь слухам. Говорили, что немцы по ночам боятся ездить, а вон как летит.

Несмотря на быстрый бег, в вагонах держался тяжелый, дурманный воздух, и когда Анисимов привык и к этому, он задремал; тяжкий удар подхватил его и куда-то понес, он потом помнил лишь это разрывающее чувство падения в жгучую пропасть; что-то орущее и грохочущее двигалось переменчивой массой рядом, вокруг него; за него кто-то цеплялся и визжал у самого уха; Анисимов сунул в это омерзительное вопящее тесто кулаком, и его тотчас отбросило назад. Тянуло гарью, со всех сторон кричали, выли, стонали обезумевшие, искалеченные люди.

Нащупывая дорогу, Анисимов попал рукой во что-то липкое и теплое, и в этом липком и теплом еще не остановилось движение; он не сразу мог отдернуть руку, не хватало места; он уже знал, что он цел и невредим, что нужно только выбраться отсюда, из-под обломков вагона. Где-то совсем рядом горело, он начинал чувствовать правой стороной лица тепло. Извиваясь между смятых перегородок, остервенело расталкивая изувеченные, стонущие тела, тоже делающие отчаянные попытки куда-то двигаться, переползая через них, Анисимов одолел несколько метров и, почувствовав, что теперь он вполне может встать на четвереньки, тотчас приподнял голову. Прямо перед ним была узкая, неровно сплюснутая щель окна, кто-то уже тянулся к этому просвету, глухо постанывая; Анисимов оттолкнул его и протиснулся в этот просвет сам. Ему казалось, что если тот, другой, опередит его, просвет закроется навсегда; он с облегчением глотнул чистый морозный воздух и после некоторых усилий вывалился из искореженного, ставшего чуть ли не на дыбы вагона, схватил пригоршню снега и стал жадно его глотать. От свежего чистого воздуха, от такого легкого избавления он ослаб, некоторое время сидел на каком-то обломке, затем отполз подальше. Состав в двух местах горел, везде бегали люди, кричали, что-то пытались делать; ночь перед рассветом была особенно черна, и горевшие вагоны только сгущали темень. Заставив всех броситься в снег и замереть, с сухим звонким треском взорвался паровозный котел.

— Партизаны! Партизаны! — закричал кто-то высоким, далеко слышным голосом, полным тоски и страха;

Анисимов пополз в сторону от разбитых вагонов, к угадывавшемуся вдали лесу, но тотчас кто-то опять закричал о взрыве котла, и Анисимов остановился. От леса даже издали тянуло промозглой враждебностью, вот там наверняка затаились партизаны, был не тот момент, чтобы оказаться с ними лицом к лицу, и Анисимов вернулся к месту крушения и после некоторых усилий сумел извлечь из-под обломков свой мешок. Теперь он совершенно успокоился и стал ждать дальнейших событий; начинало светать, лес, вырубленный немцами в обе стороны от полотна дороги на двести метров, четко прорисовывался на фоне неба. Устроившись в сторонке, Анисимов достал из мешка хлеба и копченой рыбы и поел, время от времени брезгливо морщась от близко раздававшихся стонов; на него никто не обращал внимания, и сам он не торопился включаться в общую работу, и когда кто-нибудь проходил мимо, делал страдающее лицо и начинал поглаживать вытянутую ногу.

Анисимов не заметил, как прибыл вспомогательный состав, большая, человек в двести, команда русских пленных под конвоем немцев, окруживших место крушения, стала растаскивать завалы и чинить полотно; конвойные кричали и подгоняли пленных с ломами и кирками, а тем временем всех пострадавших начали собирать в одном месте; Анисимов тоже встал и, волоча мешок, старательно обходя линию конвоя позади, двинулся к месту сбора. Солнце взошло, и дым от догоравших вагонов высоко в небе казался белесо-золотистым; щурясь на него и чувствуя хоть на время освобождение от опасности, Анисимов уже подумывал, что на этот раз самое страшное пронесло мимо; он не замечал ни немцев с автоматами, ни пленных и внезапно, словно от толчка в грудь, замер. Первым его движением было наклонить голову пониже, проскочить мимо, но тотчас в нем сработало нечто иное, пересилившее и его желание, и его осторожность; перед ним в семи — десяти метрах стоял Захар Дерюгин. Нельзя было ошибиться, это был он, невероятно высохший, с заросшим лицом, в какой-то кургузой шинелишке с обмызганными полами, но Анисимов не мог ошибиться, это был Захар Дерюгин, какое-то время он глядел прямо на Анисимова, но было видно, что не узнавал его. Окрик конвойного заставил его нагнуться и снова начать стаскивать с полотна вместе с другими бесформенную груду, оставшуюся от вагона. Анисимов с трудом сдвинулся с места

и через несколько шагов не выдержал, в тот же миг и Захар снова поднял голову и поглядел на него. И Анисимову почти неудержимо захотелось отбросить всякую осторожность и подойти к Захару, взглянуть в глаза и засмеяться; на какое-то мгновение вновь свела их судьба, свела обоих в незавидном положении, одного, правда, на свободе, другого — изуродованного пленом, но и этого было достаточно, чтобы ожило и проснулось все прошлое, и между ними ударом тока плеснулась ненависть. «Да он не узнал меня, не мог узнать,— заметался Анисимов,— конечно, не узнал, я это чувствую. Он смотрит мне вслед, даже через одежду жжет, но он не узнал меня, не мог, не мог, да и что же я могу? Не в моих силах помочь, а я бы на всякий случай это сделал, несмотря ни на что». Нет больше ничего устоявшегося в мире, и он, Родион Анисимов, крохотная мятущаяся частица этой бури, так же, как и Захар Дерюгин, и миллионы других Иванов и Петров, сполна платит за первородный грех революции; это лишь крохотная часть процента,— полная расплата впереди, и ни у кого не хватит смелости даже представить эту страшную меру...

С лихорадочным, неостановимым ознобом в сердце Анисимов удалялся все дальше от места встречи с Захаром Дерюгиным и все думал и сокрушался о прежней вражде с ним, и ему казалось, что думает он вполне искренне; он не отличал и не отделял себя от других; за спиной у него, под окрики и угрозы конвойных, пленные, изнемогая от голода и бессилья, продолжали растаскивать завалы на дороге; солнце поднималось выше, березы в лесу с почти светящейся корой ярко выделялись даже на фоне нетронутого снега; скоро должна была на этот мир, залитый кровью, затопленный из края в край смертью, обрушиться еще одна весна.

Когда Анисимов оглянулся в третий раз, он уже не мог различить Захара Дерюгина и лишь видел серую, длинную и неровно копошащуюся массу; от напряжения в глазах у него появилась резь, он торопливо отвернулся, спасаясь от слепого чувства страха; в то же время какая-то сила заставила его выбраться из толпы и вернуться назад к месту крушения; можно было думать, что Захар Дерюгин не узнал его, и успокоиться, но Анисимов слишком хорошо понимал, что случайности часто подводят, он не любил оставлять возможных свидетелей у себя за спиной, он не знал, что можно

сделать и как, и хотел вначале всего лишь проверить самого себя. И сам он мог ошибиться, а если ему привиделось, что этот высокий пленный — Захар Дерюгин?

Острое морозное солнце показалось над лесом; от продолжавших гореть вагонов поднимался в безветрии широкий столб густого темного дыма; в еще не утихшей сумятице Анисимову удалось подобраться к месту, куда были снесены покалеченные и мертвые; он пристроился рядом, страдальчески вытягивая ногу и в то же время жадно вглядываясь в работавших неподалеку пленных. Светившее сбоку солнце, остро отражаясь в многочисленных осколках разбитых вагонных окон, мешало, и Анисимов, щурясь, припал на локоть около какого-то непрерывно стонущего человека со смерзшимися, в крови волосами и продолжал жадно вглядываться. Стоны рядом мешали, покосившись, он увидел залитое кровью, слепое лицо покалеченного, наполовину оторванное большое ухо; поморщившись, Анисимов отвернулся — и в тот же миг пригнулся к земле. Человек пятнадцать пленных несли мимо на железных ломах длинный рельс, и в первой паре Анисимов сразу увидел Захара Дерюгина; тот медленно шел, покачиваясь от тяжести, цепко охватив свой конец лома голыми руками; слегка опустив голову, Захар сосредоточенно глядел себе под ноги; чуть сбоку от пленных шагал немец-конвоир с автоматом на груди, в зимнем шлеме и в широкой пилотке поверх него; от напряжения на глазах у Анисимова выступили слезы; пленные с рельсом прошли, и минут через десять Анисимов опять увидел их; они, все с тем же конвоиром, возвращались назад порожняком, и у Захара Дерюгина, идущего впереди, короткий железный ломик покоился на плече; скрывая лицо, Анисимов опустил голову на нечистый, истоптанный снег. Он не знал, что можно было предпринять в его положении, и решил подождать еще; наметанным глазом он сразу отметил прибытие еще одной дорожной ремонтной команды, теперь уже исключительно немецкой; появилось три пары санитаров с носилками; в первую очередь они стали отбирать и уносить раненых и искалеченных солдат; и Анисимов, внешне ничем этого не выказывая, почувствовал себя довольно неуютно, но разволноваться окончательно не успел. В гулком шуме и треске работ, в криках конвойных и стонах раненых не различить было первых выстрелов, он лишь мгновенно отметил замершее везде движение, приподнялся на колени. Не

то испуганный, не то ликующий вопль «Партизаны!» резанул его внутри, и сразу же густой, почти слитый всплеск винтовочной, пулеметной и автоматной пальбы обрушился, казалось, со всех сторон, и Анисимов, не раздумывая, тотчас подхватил свой мешок и, пригнувшись, метнулся в ту сторону, куда минут за пять перед тем прошла группа пленных с Захаром, неся очередной рельс. Он и на этот раз крепко верил в удачу и, не обращая внимания на беспорядочную повсеместную стрельбу, проскочил, скрываясь за обломками вагонов, метров сто; он увидел Захара сбоку, когда тот, словно падая вперед, в отчаянном рывке опустил высоко занесенный над собой лом на голову стрелявшего в сторону леса конвоира; Анисимов ярко и болезненно уловил именно этот момент, просевшую на глазах круглую голову немца и рванувшегося прямо к нему, к Анисимову, Захара с развевающимися оборванными полами короткой шинели, с белым прыгающим лицом; за ним Анисимов различил еще несколько бегущих пленных и, вырвав из-за пазухи пистолет, выстрелил чуть ниже надвигающегося, заполнявшего все пространство лица Захара; он выстрелил несколько раз подряд, и когда неразборчивое, вызывавшее какой-то леденящий ужас лицо Захара, надломившись, метнулось вниз, исчезло, Анисимов отчаянным прыжком кинулся в сторону, забился под какие-то обломки и трясущимися руками стал перезаряжать пистолет. Он никак не мог вставить на место запасную обойму, горячий пот заливал глаза; шум боя кругом разрастался, в дело со стороны партизан вступили минометы, короткие, трескучие взрывы мин со звоном вспыхивали где-то совершенно рядом, и Анисимов всякий раз невольно втягивал голову в плечи. Его охватило изнурительное опустошение, и даже если бы кто-нибудь стал стрелять в него, он бы не смог шевельнуться, и все-таки, пересиливая себя, движимый отчетливым, вполне осознанным желанием поставить последнюю точку, он выбрался из своего укрытия и ползком добрался до того места, где упал Захар Дерюгин. Разрывы мин стали чаще, с тугим звоном осколки отскакивали от железа искореженных вагонов, и Анисимов, пряча голову, то и дело вжимался лицом в снег, но последние два-три метра одолел разом и тотчас невольно сунулся назад, пальцы выброшенной вперед руки судорожно дернулись, загребая смерзшуюся мазутную щебенку.

Худое лицо убитого с раскрытыми, уже льдистыми глазами оказалось прямо перед ним, но это было не лицо Захара Дерюгина, это был кто-то удивительно напоминавший его; карие глаза и черные, отливающие синью волосы, похожие сейчас на невиданную, мертвую траву, слабо шевельнувшуюся под низовым ветром, застывшие, слегка приоткрытые длинные губы, все то, чего он издали не заметил и не мог заметить, сейчас произвело на него непередаваемой силы действие; как неожиданный ожог, он почувствовал у себя на лице растерянную улыбку; тупая боль сжала виски, и дикая мысль, что Захара вообще нельзя, невозможно убить, пришла к нему. Он лежал и все никак не мог оторваться от совершенно чужого мертвого лица, и только когда где-то совсем рядом с пронзительным треском взорвалась мина и на него посыпались комья мерзлой земли, он мгновенно вскочил и, петляя, побежал, на ходу пытаясь сориентироваться.

11

Ближе к весне, к первым числам марта, и в Густищах начала явственно ощущаться тревога. Хотя село стояло в стороне от больших дорог, через него прошли в спешке венгерские части, солдаты ехали в кибитках, поставленных на полозья, и многие густищинцы вспоминали цыган. Потом на ночь село заполонила какая-то немецкая артиллерийская часть; немцы поставили пушки и машины поближе к избам, выселили жителей в погреба и сараи и съели в эту ночь в Густищах последних коров, коз, овец и свиней; наутро они исчезли, словно их и не было, и только рваные газеты, пустые консервные банки, обглоданные дочиста кости валялись по всему селу да кое-где на осевшем уже снегу темнели безобразные пятна мазута.

Эту ночь и Григорию Козеву, сельскому полицейскому с повязкой на рукаве, пришлось просидеть со своей старухой в подвале; и хотя там было тепло и дрожал огонек лампады перед темной глазастой иконой, Григорий Васильевич ежился в дремоте под домотканой попоной и, часто просыпаясь, прислушивался к железным звукам, всю ночь доносившимся снаружи; он уже знал об отступлении немцев из-под Харькова, затем из-под Курска; как раз накануне он получил приказ из леса

оставаться на своем месте до конца и наблюдать, и он остался.

Ему было уже за шестьдесят, бояться за себя теперь нечего было, но в ту ночь в подвале он все время думал о жене и детях Захара, которых Федька Макашин угнал в город, как говорили, в какой-то лагерь. Григорий Васильевич знал, что такое отступление на войне (сам в шестнадцатом участвовал в Брусиловском прорыве и отступлении), человеческая судьба на такой войне ничего не стоила, чуть не пропала баба с ребятами, многие говорят, что заключенных в лагерях и тюрьмах просто-напросто расстреливают и сжигают, зверь этот Макашин — ни детей, ни баб не жалеет, лютость в нем кипит. Да и что ему, раз во все тяжкие пустился, все одно ему теперь с немцем до конца двигаться, много крови пролил, и милости ждать ему не приходилось. Вот и Ивана, ирод, сгубил, пропадет теперь парень в неметчине. Хоть Аленку удалось спасти, так над младшими да над бабой поизмывался предостаточно, тяжко пришлось Ефросинье, ребята, те еще щенки, не понимают ничего.

Перед утром послышались голоса, затем рев моторов, лязг гусениц; Григорий Васильевич поднялся на три ступеньки лесенки и осторожно приподнял крышку. Только-только начинало светать, хотя и без этого от снега было видно достаточно хорошо; солдаты выволакивали на середину улицы пушки, собираясь двигаться дальше, и у них шли последние приготовления; кричали и ругались офицеры, бегали туда-обратно; Григорий Васильевич нащупал повязку на рукаве, поддернул ее, знать, скоро весь этот цирк окончится и можно полежать на печке в тепле; он попытался сосчитать машины с орудиями, но большую часть улицы заслоняла изгородь, и тогда он поднял крышку еще выше, укрепил ее подпоркой и, совсем выбравшись из погреба, пригибаясь, прошмыгнул к изгороди. Он насчитал сорок восемь тягачей с пушками; они все проползали и проползали мимо, без огней, и земля все время дрожала. Григорий Васильевич дождался, когда гул моторов стал слабее, послушал, как начинает оживать село; люди из погребов и сараев потянулись в избы, тут же начинали вытаскивать из них солому и сено, оставленные солдатами от ночевки, проверяя, что еще прихватили немцы с собой. Григорий Васильевич велел своей старухе выходить из погреба, прошел в избу, неся винтовку в одной руке.

Немцы попались спокойные и ничего не разбили, не унесли, только в сенях наделали грязи. Григорий Васильевич тотчас засветил каганец и принялся скоблить сени, приказав старухе затопить печь и сварить картошки на завтрак. Пелагея Евстафьевна, прежде чем браться за дело, стала молиться, тяжело опустилась на колени в переднем углу, зашептала, крестясь и кланяясь, лбом касаясь пола и помогая себе выпрямляться руками. «Вот и еще ночь прошла, слава тебе, господи, святой и всемогущий! — не то говорила, не то думала она, утомленная бессонной ночью и разными страхами.— Напусти ты на черного ворога мор лихой, да не найдет он себе ни хлеба, ни пристанища, растащат его кости звери лютые, не будет ему святой могилы!»

В избе ей сразу показалось неладно, и она невольно оглянулась, трудно кривя голову, и тут же упала на руки, неловко, как-то волоком повернувшись к порогу. Из подпечья, вытянув серебристую длинную шею, на глазах у нее выходил огненный петух. На минуту дух оборвался у Пелагеи Евстафьевны, и она только поглядела на это чудо, полуоткрыв рот, от метрового хвоста у петуха шло золотистое сияние. Петух вышел на середину избы, важно моргнул на Пелагею Евстафьевну, и, круто изгибая шею, с какой-то нарочитой медлительной торжественностью трижды прокричал «ку-ка-реку», и в застывшей тишине медленно исчез под печью, лишь в последний момент, заворотив голову назад, опять строго, совсем по-человечьи покосился на Пелагею Евстафьевну черным глазом. Пелагея Евстафьевна хотела прошептать молитву, но голос пропал, она была близка к тому, чтобы вообще грохнуться оземь без памяти, но тут же страх отпустил ее, и онемевшие было руки и ноги стали двигаться. Набравшись храбрости, она снова сотворила молитву, запалила пук соломы и заглянула под печку, тщательно высвечивая все темные закоулки и непрерывно крестя пространство перед собой. Нигде ничего не было; она выбралась назад и увидела мужа, с интересом уставившегося на нее.

— Ты чего, или немцы кинули что в подарок? — спросил Григорий Васильевич с доброй усмешкой.— Чего ты там нашла?

— Гриш,— сказала она,— а Гриш... нам знамение было... Огненный петух по земи гулял, из-под печки вышел — три раза прокричал.— Она указала на середину пола.— Вот здесь стоял. Не к добру это, Гриш, три

раза кукарекнул. По ожерелью огонь переливается, сроду такого не видала.

Григорий Васильевич помолчал, обдумывая; до этого времени он что-то не замечал за старухой ничего неладного и решил, что это у нее от тяжелой ночи в подвале; он принес дров посуше, и так как Пелагея Евстафьевна стояла столбом все в той же растерянности и было видно, что ей до смерти хочется сходить к соседкам поделиться новостью, Григорий Васильевич сурово велел ей разжигать быстрее печь и варить картошку, так как даже самым пророческим петушиным криком сыт не будешь. Пелагея Евстафьевна вздохнула и молча попросила господа простить мужа; она быстро начистила и сварила картошки, пошла во двор и достала из тайника кусок сала, замотанный в тряпицу, отрезала от него, поджарила на сковороде и, полив горячим золотистым жиром картошку, опять отнесла сало в тайник; в любой момент могли нагрянуть немцы или полицейские, и у Пелагеи Евстафьевны уж давно выработалась привычка ничего хорошего не держать в избе.

— Иди, Гриш, садись,— позвала она мужа, высыпая дымящуюся, вкусно пахнувшую картошку в глубокую глиняную миску, блестевшую изнутри глазурью.

Григорий Васильевич, прежде чем сесть, с наслаждением умылся у порога; умывался он по-солдатски, сняв верхнюю рубаху с косым воротом и засучив рукава нижней; он крепко растер шею и грудь, промыв заросшее бородой лицо, вытерся и, надев верхнюю рубаху. неловко нащупывая пуговицы на вороте толстыми пальцами, застегнулся. Садясь за стол, он глянул на иконы и перекрестился; Пелагея Евстафьевна, одобрительно поджав губы, тоже перекрестилась, спиной все время ощущая, что сзади у нее дверь, а рядом печь, и все время думая про недавнее чудо.

Они ели картошку, политую салом; Пелагея Евстафьевна отрезала хлеба, мужу побольше, себе чуть-чуть, налила по кружке крутого, белого кипятку, заправленного для запаха сушеной травой зверобоем; Григорий Васильевич бросил в кружку по привычке щепоть соли. Он повеселел от еды и, поглядывая на жену все с той же доброй усмешкой, наконец, спросил, что же она такое в самом деле увидела, не забыла ли.

— Так уж и забыла,— сердито отозвалась Пелагея Евстафьевна.— Зря ты меня пытаешь, все как есть тебе рассказала. А может, это и к добру... ох, нет, не может

к добру, сказано в Писании... Ты знаешь, Гриш, постой, постой...— Она отставила кружку с кипятком и даже побледнела от волнения.— Вот оно что, теперь я вспомнила. А то вот нет покоя, и все, а теперь вспомнила: петух-то только шею вытягивал, а голосу у него не было, вот что диковинно-то. Без голосу он кричал. Голосу не было, а слышно.

— Ну ладно, ладно,— примирительно сказал Григорий Васильевич, все больше сомневаясь в словах жены.— Тут вот что, я сейчас к старосте схожу, ко мне человек должен явиться, если скажет, что ко мне, пусть сидит ждет, я новости только узнаю — и назад. Может, и распоряжения какие будут от начальства-то,— усмехнулся Григорий Васильевич.— То-то небось это начальство теперь лыко дерет, бегут фрыцы-завоеватели, аж ноги у них гудут. Вот тебе к этому петух и казался, только ты ни одной живой душе ни слова об этом.

Успокоив таким образом жену и уверившись, что она теперь никуда не побежит и, следовательно, не пропустит нужного человека, Григорий Васильевич оделся, взял винтовку, поправил повязку на полушубке и отправился к старосте; детишки побольше и женщины от него сторонились, а он шел довольно независимо и лишь часто поправлял ремень винтовки; у дома старосты с высокими резными наличниками, с новым крыльцом от далекого ревущего гула он словно вмиг прирос к земле; он сразу понял, что это такое, это даже не бомбили, это была пушечная стрельба, она была легче по удару от земли и короче, но между ударами были всего лишь мгновенные промежутки; Григорий Васильевич стащил с плеча винтовку, установил ее перед собой прикладом в землю, прислушался; это уже был не какой-то отдельный залп, а самый настоящий бой, и Григорий Васильевич определил, что все это происходит верст за двадцать, не меньше, и хотел снять шапку и перекреститься, но вовремя вспомнил, что стоит перед избой старосты, мужика малопонятного, и поднялся на крыльцо, постукивая прикладом винтовки со ступеньки на ступеньку. Его встретила жена старосты — толстая, брюхатая, видать, баба лет тридцати пяти — и сказала, что мужа только-только вызвали в волость и он теперь там; Григорию Васильевичу показалось, что лицо у старостихи заревано и опухло, он заглянул как бы невзначай в другую комнату, в горницу, и увидел посредине ее нагромождение из узлов и ящиков.

— Эй, Петровна,— сказал он тихо,— ох, грех тяжкий,— вздохнул он,— моя-то старуха сегодня огненного петуха видела, говорит, вышел из-под печки и кричит на середине избы.

— Да вам-то что,— тотчас откликнулась старостиха,— у вас кругом вон дерюгинская родня. Ты, старик, как лис, никто тебя не поймет, в какую сторону мажешь.

— Господь с тобой, Петровна,— сказал Григорий Васильевич недовольно.— Не бери зря греха на душу. Чем же мне немец нехорош? Землицу мне вернули из колхоза, опять же начальство я.— Он хлопнул по винтовке.— Нет, я уж за немцем. А дерюгинские ко мне касательства не имеют,— они по себе, а я по себе.

Старостиха поглядела на него с издевкой, и он смешался и сделал вид, что раскашлялся.

— Вот, простыл, видать, сегодня в подвале,— пожаловался он.— Скажу бабке грудь на ночь нутряком растереть, помягчает.

— А небось в отступ с немцем-то не пойдешь? — спросила старостиха, часто выглядывая в окно и тем раздражая и смущая Григория Васильевича, потому что он все время старался разгадать, кого или чего она с таким нетерпением ожидает; он тоже подошел к окну, взглянул и, ничего особенного не заметив, повернулся к хозяйке.

— Бабий все-таки у тебя ум, Петровна,— сказал он, умышленно упуская имя.— Ну, подумай, разумное ли ты дело спрашиваешь? Вы с мужиком молодые еще, а мне куда с родной селитьбы сниматься? За шестьдесят годов уже перевалило, мне теперь сосновый дом светит; прочнее этого дома ничего не сыщешь, так уж лучше на своей земле. А так, у себя дома, почему и не послужить,— он взглянул в застывшее, злое лицо хозяйки,— если по душе, мне немец еще с германской знаком.

— Оно и видно, кто тебе лучше, старик! — Старостиха в раздумье присела на скамью отдохнуть, неловко двумя руками попридерживая живот.— И чем это советская власть присушила народ? Так зверем и смотрят. Всех разграбили, в холодные края повыгоняли... а поди ты! Прямо и руками и зубами за нее.

— Где там — всех, Петровна,— сказал Григорий Васильевич простодушно, но за этим его простодушием было нечто змеиное, и старостиха сразу почувствовала, подобрала, как можно было, живот.— Кабы всех, так и меня со старухой, и тебя с хозяином здесь бы не было.

Не дождавшись старосты, он заторопился домой, опять прислушиваясь к непрекращающемуся и даже как будто нарастающему артиллерийскому бою; Пелагея Евстафьевна была на месте, но сказала, что никто не приходил и что надо бы какие есть подушки, одеяла снести в погреб, если хата сгорит, то будет чем хоть в погребе накинуться. Он не хотел загадывать и промолчал, сел чинить к весне сапоги, и день пролетел как-то тихо и быстро, он только много думал, странные это были мысли, и вероятно потому, когда он лег спать и заснул, ему сразу привиделся сон. В самой середине неба появился какой-то непонятный предмет и, подрожав, стал низиться; никогда не видел такого неба Григорий Васильевич, было оно из края в край словно налито золотым огнем, тяжелое, как раскаленный кирпичный свод, было небо, но затем что-то случилось, и от середины неба пошли во все стороны легкие, стремительные круги, проглянула синь, стало легче дышать; вместо бесформенного и расплывчатого предмета появился огромный струящийся дом. Григорий Васильевич не мог припомнить такого дома с высокой золотой крышей; покачиваясь, он стал опускаться вниз, и вот уже вместо дома образовалась какая-то темная воронка. «Как *это* достигнет меня,— подумал Григорий Васильевич,— так и умру я». И у него уже было точное ощущение, что вместе с черным, опускающимся с неба и все втягивающим в себя вихрем жизнь уходит из него, и он весь замер и собрался, ожидая, когда *это* опустится и захватит его; он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой и ждал.

— Тяжко, тяжко,— прошептал он высохшим ртом и проснулся; долго ничего не понимая, он глядел перед собой в темный потолок и ясно, от начала до конца, припоминал свой сон; оказалось, что и Пелагея Евстафьевна не спит.

— Ушел бы ты, Гриша,— тотчас сказала она, как только он повернулся на бок и закашлялся.— Ушел бы дня на три к сватьям в Евлампьевку, что-то сердце мое не на месте.

— Сколько часов сейчас, не знаешь? — спросил Григорий Васильевич, по-прежнему не в силах забыть поразительной ясности своего сна.

— Должно, скоро и развиднеется,— сказала Пелагея Евстафьевна.— Соберу я тебя утром, и уходи в лес, Гриш, неспокойно, ох, неспокойно у меня на душе.

— Не каркай, не каркай, старуха,— рассердился Григорий Васильевич,— кому я нужен в таких годах, ты подумай. Зла за мной никакого не числится, что ж мне от людей глаза таить? Да и нельзя мне уходить, не лезь не в свое дело.

Он ничего не стал пояснять ей больше, не стал рассказывать ей о своем сне; было еще рано, и они лежали молча, затем Пелагея Евстафьевна не выдержала. Едва она успела набросить на себя юбку и затянуть шнурок, на улице послышались голоса и в дверь чем-то тяжелым забухали; Пелагея Евстафьевна ахнула, забегала по избе, бросилась к окну и, отодвинув занавеску, приложив ладони к черному стеклу, отшатнулась: кто-то с той стороны широкомордо глядел на нее через двойную раму.

— Сейчас, сейчас,— сказала она беззвучно, нашла кофту и, не попадая в рукава, стала натягивать ее. Григорий Васильевич, сопя, быстро одевался рядом. В дверь заколотили опять, и он, не успев надеть рубахи, сунул ноги в стоптанные валенки, вышел в сени; в застрехах шумел ветер.

— Кто там? — спросил он громко у двери на улицу.

— Открывай! — послышался незнакомый голос.— Открывай, Козев, из полиции.

Он отодвинул засов, и в сени тотчас ввалилось несколько человек, и кто-то начальническим голосом приказал идти в избу; он подумал, что голос ему знаком, но вспомнить не мог. Пелагея Евстафьевна уже успела засветить огонек, и Григорий Васильевич первым делом увидел Федора Макашина в добротном полушубке, в ремнях и с револьвером в руке; узнала Федора Макашина и Пелагея Евстафьевна; она бросилась из своего угла подать табуретку, обмахнула ее подолом юбки и придвинула к Макашину.

— Садись, Федор Михайлович,— суетилась она, стараясь улыбаться.— Господи, а что ж вы так-то, ночью, иль случилось что? Угостить чем вас, у меня только кусочек сальца и есть, бутылочку могу достать.

Макашин слушал ее с улыбкой на худом лице с крупным ртом и большими ушами; он расстегнул крючки полушубка, ремень, бросил все это на лавку и сел, небрежно и привычно сунув револьвер в карман брюк; трое пришедших вместе с ним молча стояли у двери, держа автоматы на груди; сапоги их начи-

нали оттаивать в тепле, вода натекала на пол.

— Ладно, бабка Палага,— сказал Макашин.— У тебя огонька другого нет, что ли?

— Ничего более нету, родненький, стекло от лампы в первом году войны треснуло, с тех пор вполглаза и светимся, где взять?

— Ребята, вы можете к старосте, к Торобову, идти,— сказал Макашин своим.— Демидов знает. Скажите, чтоб накормил, у него изба просторная. А мне надо вот,— он кивнул на Григория Васильевича,— с хозяином потолковать. Демидов, по очереди у этой избы быть, да смотрите, не моргать, тут до всякой пакости недолго.

Пока он говорил, Григорий Васильевич успел прикинуть по-всякому, но ничего определенного решить не мог; о Макашине ходили слухи самые дикие, говорили, что он собственноручно живьем сжег малых детей партизан, захваченных во время карательной экспедиции в Слепненские леса в прошлом году, и девок малолетних терзал и насильничал, и своих при первом колебании стрелял; сейчас Григорий Васильевич видел лишь уставшего немолодого человека; Макашин сидел, тяжело уставив руки в колени и сгорбившись, и пока Пелагея Евстафьевна бегала достать самогону и сала, он раза два взглянул на Григория Васильевича, и в этом его взгляде было нечто такое, что заставило старика подобраться; стараясь освободиться от этого состояния, Григорий Васильевич стронулся с места, принес миску с хлебом, положил на стол нож и вилку.

— А себе? — спросил Макашин и добавил, щегольнув культурным словечком: — Себе тоже поставь прибор-то, дед Гришака, один пить не уважаю, распоследнее дело.

Григорий Васильевич ничего не сказал, услышав незнакомое слово «прибор», но понял и приказ начальства исполнил, сдерживая невольную торопливость, достал еще одну вилку и поставил на стол два темных стакана, позеленевших от старости по граням; Макашин пододвинулся к столу, взял стакан, поднял его, рассматривая на свет.

— Ну, как жизнь, дед Гришака? — неожиданно спросил Макашин не глядя, продолжая внимательно изучать стакан, и Григорий Васильевич, вслушиваясь в его глухой, спокойный, какой-то мертвый голос, помедлил, прежде чем ответить.

— Что моя жизнь, Федор Михайлович,— сказал он наконец,— моя жизнь вся там,— неопределенно махнул он не то на печь, не то на дверь в сени.— Вытянуло ее сквозняком, так и не довелось видеть никакой жизни-то.

— Значит, говоришь, сквозняком? — задумчиво переспросил Макашин.— Бывает, и сквозняком. Послушай, дед Гришака, ты не знаешь, зачем я к тебе в гости заглянул?

— Откуда мне знать,— трудно шевельнулся Григорий Васильевич.— Зашел человек, я и рад, сидим тут в темноте, каждому рады.

— Погляжу я, вон каким ты грамотеем стал, дед Гришака,— устало и равнодушно определил Макашин.— В колхозе тебя поднатерли, ученым медведем на задние лапы вздыбился. Ну, как опять мордой-то в навоз угодишь?

Григорий Васильевич долго смотрел на него, ничего не ответил; вернулась Пелагея Евстафьевна с бутылкой самогонки; на ходу обмахнула ее фартуком, поставила на стол, и Макашин тотчас налил в стаканы; Пелагея Евстафьевна крупно нарезала сала и хлеба, поставила в глиняной миске соленые огурцы.

— Давай, дед Гришака, давай выпьем... бери, бери, а то нехорошо, словно ты и не рад встрече.

Макашин подождал, пока Григорий Васильевич выпьет, и сам выпил, опрокинув стакан как-то в один глоток; он посидел, взглянул на Григория Васильевича, довольный (самогон Пелагея Евстафьевна гнала крепкий, без запаха сырости), и стал закусывать хлебом и салом.

— Вот война кончится,— сказал он внезапно с неуловимой угрозой в голосе,— начну землю пахать. По-фермерски, как немцы, жить научимся... десятин двадцать пять тебе земли, посередине усадьба, и работай. А тебя на побегушки возьму, дед Гришака, будешь ворон пугать на вике.

— Да по стольку-то на всех и не хватит, по двадцать пять десятин,— с простоватой откровенностью усомнился Григорий Васильевич.— Народу много теперь развелось, хоть и война, да бабы простаивать не любят. Рожают себе потихоньку, такая у них порода.

— Народу много,— согласился Макашин.— Не всех же землей наделять, дед, земля тебе не колхоз, на земле ты сам должен быть и кладовщиком, и председателем, и трактористом, дед. А всем земли не дадим, они же

сами не захотели ее, дед, вот и пусть живут, как птицы небесные.

Григорий Васильевич горбился все больше; от выпитой самогонки он, как всегда, почувствовал себя оживленнее и моложе и поглядывал на Макашина зажигавшимися в глубине и от этого, казалось, хитроватыми глазами. Григория Васильевича так и подмывало сказать, что землю делить еще рано, нужно подождать конца войны, тогда и о земле начинать толк, но он понимал, что не ради этой душеспасительной беседы явился к нему начальник уездной полиции; он только всякий раз согласно кивал в ответ, когда Макашин глядел на него, и покусывал хрустящий соленый, пропахший укропом и смородинным листом огурец. Пелагея Евстафьевна стояла у печи, запрятав руки под фартук, и слушала мужиков; временами она подходила к окну, отворачивала край занавески и смотрела, не начало ли виднеть. Пора уже было затапливать печь, и она, не обращая больше на заговорившихся мужиков внимания, убрала заслонку, поправила сложенные в печи для просушки еще с вечера дрова, выдернув из пучка хранившуюся на комельке сухую сосновую лучину, запалила ее от каганца на столе, вернулась к печи, зажгла пук соломы и сунула ее под дрова, пристально, с привычным интересом наблюдая, как слабое золотистое пламя разливается по дровам снизу, мягко и цепко захватывая малейшие неровности и трещины; не счесть, сколько раз в жизни она разводила вот такой огонь в печи; дети родились, и выросли, и ушли, а она все глядит на этот огонь, и он все горит и горит в печи, словно никого и ничего никогда не было.

Очнувшись, Пелагея Евстафьевна выдвинула из-под лавки лукошко, налила в чугун воды и стала чистить картошку; очистки ползли из-под ножа и падали во второе лукошко, поменьше; когда-то была скотина, и все шло в дело, теперь очистки приходится выкидывать впустую; а то вон некоторые сушат их, ссыпают в мешки; потом, говорят, их можно молоть на муку и добавлять в хлеб; Пелагея Евстафьевна решила и сама теперь хорошенько мыть очистки и ссыпать их на печку; когда она, начистив чугунок картошки, вымыла ее и поставила варить, Макашин и Григорий Васильевич все еще сидели за столом и разговаривали.

Пелагея Евстафьевна оделась, повязала толстый платок и пошла принести воды; серое весеннее утро уже

наступало, в застрехах, в резко черневших деревьях голо свистел резкий морозный ветер; небо сплошь было в облаках, и они хотя еще не различались, а только угадывались, Пелагея Евстафьевна поняла это по утяжелившемуся своему дыханию; она оглянулась на окна своей избы и, быстро-быстро перебирая старческими ногами в сухих теплых опорках, пошла к колодцу, а в это время в избе за столом разговор принял несколько иной характер; это сразу почувствовал Григорий Васильевич и невольно насторожился. Макашин ровно разлил в стаканы остатки самогонки, и они выпили; Григорий Васильевич предложил послать старуху еще за бутылочкой, Макашин остановил его.

— Хватит, дед,— сказал он, весело сощурившись,— ты не торопись, дед, у нас впереди хватит времени. Мы еще с тобой толком не говорили, а я ведь по важному делу к тебе приехал.

Он говорил, растягивая ссыхавшиеся губы в улыбке; со стороны можно было подумать, что встретились после долгой разлуки два близких человека; Макашин теперь все время улыбался, и Григорий Васильевич в ответ ему часто показывал отсутствие доброй половины зубов, от которых остались лишь почерневшие крошившиеся пеньки на одном уровне с деснами; Григорий Васильевич был бы рад вести себя иначе, но он слишком хорошо знал макашинскую породу и начинал все больше и больше волноваться; что-то было не так в этом неожиданном приходе начальства.

— Ну, а как же Захара-то, племянничка твоего, семья, баба с детьми поживает? — спросил Макашин, и Григорий Васильевич внутренне дрогнул в этот момент; вначале у него мелькнула мысль, что Макашин действует наугад, но что-то в выражении лица Макашина, в его застывшей улыбке говорило о другом; вернулась Пелагея Евстафьевна, звякнула дужками ведра.

— Да вот тоже ни за что бабу с детьми забрали,— сказал Григорий Васильевич.— На прошлой неделе хотел что-нибудь узнать, в город поехал. Да разве добьешься? Слепое дело, никто там не услышит, уши заложило. Ты вот говоришь — семья... Какая там семья, одна старуха ополоумная, остальных по белу свету разметало...

— Значит, их так и нет дома,— удивился Макашин, пытливо всматриваясь в лицо Григория Васильевича;

у порога, стаскивая с себя телогрейку, всхлипнула Пелагея Евстафьевна.

— Помог бы, Федор Михайлович,— сказала она, подходя ближе к столу.— Дети зазря мучаются, они-то чем провинились?

— А я-то думал, что они дома,— сказал Макашин, по-прежнему обращаясь только к Григорию Васильевичу.— Ушла ведь Фроська, грузить их в вагоны стали, улизнула, сволочь, и выводок свой увела.

Григорий Васильевич слегка откинулся, но это его движение можно было истолковать по-разному; теперь он точно знал, почему у него в избе сидит Федька Макашин, и он сказал себе, что тут надо ждать самого плохого.

— Вот уж не знаю,— неуверенно и тревожно сказал Григорий Васильевич.— Куда же ей надолго укрыться с ребятишками, снег еще кругом.

— Я тоже так думаю,— отозвался Макашин.—Снег, в лесу или в поле не отсидишься, дай, думаю, наведаюсь к старым знакомцам, полюбопытствую.

Григорий Васильевич, опираясь руками на стол, поднялся, стараясь выдержать неотрывный, тяжелый взгляд Макашина.

— Зачем они тебе, Федька? — спросил он.— Они же дети неразумные, с каких это пор стали с бабами да ребятишками воевать, за их отцов такой платой возворачивать?

— А-а, понял,— удовлетворенно протянул Макашин.— Я давно говорю, обучила тебя грамоте советская власть. Садись, садись, дед, я тебе сейчас обскажу в самый раз, торопиться нам с тобой некуда.

Он подождал, пока Григорий Васильевич опустился на старое место, достал сигареты и прикурил от каганца, прищурив глаза.

— Я от тебя, дед, ничего не требую, ты только скажи, где ты их прячешь.

— Бог с тобой, Федька, я их с тех пор не только не видел, а и слуха никакого о них не имею. Да если бы и знал, не сказал бы.

— Во-первых, я тебе, дед Гришака, не Федька, а господин начальник полиции, а во-вторых, я знаю, чего хочу. Эй, бабка, ты куда? — повернул он голову к Пелагее Евстафьевне, которая торопливо набросила на себя шаль.— Ты уж, будь милостива, никуда больше не ходи, а то скучать тут одни будем.

Пелагея Евстафьевна опустила шаль с головы на плечи, тихонько села на лавке, поближе к порогу.

— Так-то лучше,— сказал Макашин.— Нехороший у тебя манер, баба Палага, гость за стол, а хозяйка со двора.

— Господь с тобой, Федор,— сказала Пелагея Евстафьевна, обиженно поджав губы.— Никогда такого сраму у нас, у Козевых, не было, зря обижаешь, Федор, мы с твоей покойной маткой в кумах ходили.

— Ходили, ходили, бабка Палага,— согласился Макашин,— потом все разошлись, каждый по отдельной стежке. У каждого своя доля, свой горб, бабка Палага.— Он повернулся к Григорию Васильевичу, словно мягко качнулся в его сторону.— Ну, так что, старик, где же волчица с волчатами Захаровыми? А?

Григорий Васильевич укоризненно повел головой, опустил глаза.

— Не дело, не дело говоришь такое о детях, Федор Михайлович. Была у вас вражда да злоба, промеж тобой с Захаром, а дети при чем?

— Они наших детей не жалели, когда на Соловки да на Урал в снега гнали,— тихо сказал Макашин, покачивая головой как бы в лад какой-то своей, одному ему слышной песне.— Они нас не жалели,— трудно выдохнул он, словно заранее прощая себя.— Ни детей наших, ни баб, ни нас самих, когда мы каналы долбили да золото мыли во льду да грязи по горло, что ты мне про жалость сейчас талдычишь, дед Гришака? Нету у меня никакой жалости, выгорела в разных тайгах.

— Захар-то, Захар тут с какого бока? — постарался как можно простодушнее изумиться Григорий Васильевич.— Он тебе, что ли, лютый враг? Ты же его сам тогда из обреза хотел успокоить, Федор, а ему что было и делать? У него четверо детей бегали, один другого меньше?

— Ладно, дед, ты мне брось молитвы читать, я неподатливый. Не он, что ли, был активистом в нашем сельсовете по высылке? Ты лучше скажи, где семья Захара?

— Свят бог, не ведаю,— перекрестился, вспомнив, Григорий Васильевич, в то же время хорошо зная, что Макашин ему не поверит.— Был председателем, приказали, никуда не денешься, власть — она...

— Брешешь, старый, все знаешь,— перебил его Макашин.— Ты не подумай ничего плохого, я ведь на службе. У меня тоже начальство, приказало, вот и при-

ходится бегать высунув язык. Ну, меня не будет, другого пошлют, такие семьи у немцев давно на учете. Да еще и хуже, отправят в трудовой лагерь, работать под плетками придется.

— Не знаю, не знаю,— опять стал уверять Григорий Васильевич.— Не стучались они ко мне, да и если бы в Густищах были, ты и сам знал бы прежде меня, донесли бы тебе. Нет их в Густищах, Федор Михайлович, отруби мне голову.

— Нужно будет, и отрубим, топор опустить недолго,— угрюмо проворчал Макашин и, упершись подбородком в круглый темный кулак, замолчал, и все затихло в избе; Пелагея Евстафьевна, которой наскучило сидеть без дела, встала, освободила окна от плотных занавесок, и в избе сразу стало светлее.

— Вот и утро, господи благослови,— тихонько сама себе сказала она, взяла ямки, вытащила из печи чугунок с картошкой и попробовала ножом, готова ли. Нож мягко прошел до самого дна; Пелагея Евстафьевна слила картошку, поставила ее к жару подсохнуть.— Может, картошки свежей насыпать, мужики? — спросила она, подхватывая чугунок тряпкой и высыпая горячую картошку в глубокую глиняную миску. Она легко, стараясь сделать приветливое лицо, поставила миску на стол, но ни Григорий Васильевич, ни Макашин даже не посмотрели на картошку, от которой шел, постепенно редея, густой, пахучий парок; Макашин думал о том, что он сейчас дорого дал бы за бабу и сынов Захара Дерюгина; у него даже немело внутри от какой-то сладостной боли, когда он думал о том, что сделает, попади ему в руки семья Захара Дерюгина, он уже не пытался остановить себя, трезво продумать, чем лично перед ним виноваты дети и женщина, их мать. Мужицким нутром он понимал, что на немцев расчет кончен, немцы бегут, а следовательно, и ему уготована та же судьба: бежать вместе с ними, быть убитым и сгнить где-нибудь на обочине; и сейчас, после побега Ефросиньи с детьми, он лишался последнего утешения; проворонил момент, нужно было перестрелять их раньше, а сейчас терзайся, все думал сосчитаться по-своему с Захаром через его сына или, на худой конец, хоть выманить из лесу каким-нибудь образом старшую — Аленку, но, ожидая одно, упустил и другое.

В последние дни особенно хорошо чувствовалось, как все уже расходится в трещинах, немцы увозили, что

могли осилить, увозили спешно; а у него за сорок с лишним лет ничего не было, и самое главное, ничего ему не нужно было, он с усмешкой иногда наблюдал, как озлобленные солдаты и заморенные пленные грузят на машины различные тюки и ящики с ценностями и добром. Вот только теперь видел он, из него сделали то, к чему кто-то долго и упорно его направлял, в этом *«кто-то»* для него олицетворялись все огромные, недобрые и непонятные силы, ближайшей частью которых был для него и Захар Дерюгин; теперь ему ничего не было нужно — ни земли, ни дома, ни вещей; лучшим его богатством было то, что у него ничего не было и что ему ничего не было надо. Он пришел к одной и очень важной для себя истине: имеющий в этом мире слишком несчастен и слишком связан, а тот, кто ничего не имеет, богат и свободен, у него никто ничего не сможет отнять, а потому он и не дрожит от страха. Он знал, что теперь он неизмеримо выше какого-нибудь Захара Дерюгина, и только в одном не мог с ним сравняться: у Захара росли дети, он бы, пожалуй, давно забыл о Захаре, не будь у того четверых детей, и пусть они теперь разбросаны по всему свету, все-таки они были и росли. Макашин боялся ночей, как только он ложился и тушил свет, он начинал думать о детях Захара. Он знал, что еще и у Маньки Поливановой сын от Захара; а ведь до раскулачивания он, Макашин, серьезно хотел ее сватать, уж больно хороша девка получилась, да Захар и тут дорогу ему перескочил, испортил девку загодя. Однажды он уже видел ее сына, мальчишку с лицом молодого Захара Дерюгина, с такими же серыми косоватыми глазами; откуда-то изнутри, из глаз этого мальчишки, глянул на него Захар Дерюгин, тот самый, с которым они бегали на вечеринки в соседние села, и застарелая ненависть оскоминой свела у Макашина скулы; он еще больше ненавидел Захара. В его детях он искал свою правоту, но ее не было; дети как дети, росли себе, занимались нехитрыми ребячьими делами, и никаких отношений Макашина с их отцом они просто не знали и не хотели знать. Он ложился спать и, как только наступала темнота, видел перед собой лицо Захара. Дерюгин двоился, троился в глазах Макашина, это уже было какое-то наваждение (в один из таких моментов Макашин и решил окончательно забрать себе Николая. Немцы отступали, и было самое время захватить мальчишку, кажется, из всех самого

похожего на отца); когда Ефросинья вместе с ребятами каким-то образом исчезла, он едва не сошел с ума, зверски избил двух охранников, а вечером напился. Чутье подсказывало ему, что Григорий Васильевич знает, где скрывается баба Захара с ребятами, и хотя он разговаривал со стариком спокойно, почти равнодушно, он ненавидел его все сильнее, из-за него рушился весь смысл его дальнейшей жизни, для продолжения которой ему нужен был именно младший сын Захара. Он не хотел думать над своим нерассуждающей силы желанием, сейчас в нем медленно, неуклонно просыпалась, росла слепая ярость; этот старик знает, где семья Захара, но будет отпираться, одна чертова кровь. Ему показалось, что стены избы задрожали и какой-то неровный далекий гул прошел в плотном нагретом воздухе избы; где-то убивали, ломалось движение, Макашин чувствовал это, но ему было наплевать на все неурядицы и катастрофы мира. Ему нужен был сын Захара Дерюгина, Колька, и тогда можно было бы еще жить; Макашин встал, перешел к Григорию Васильевичу на другую сторону стола и сел рядом с ним.

— Твое время кончилось, старик,— сказал он ему с тихой угрозой в голосе.— Просыпалось время-то житом из худого мешка, пора нам расходиться. Говори, где волчица с волчатами?

— Побойся бога, Федор, я же тебе не брешу, не знаю. С тех пор как их в город угнали, ни слухом, ни духом не слыхал.

— Лучше покорись, старик, не выводи меня из терпения.—Макашин достал и положил на стол перед собой черно поблескивающий тяжелый револьвер; Григорий Васильевич, покосившись на него, сумрачно усмехнулся.

— Зазря пугаешь, Федор,— вмешалась Пелагея Евстафьевна,— если человек не знает, с него много не возьмешь.

— Возьму, возьму,— сказал Макашин.— Иди, бабка Палага, не твое бабье дело. Ну чего торчишь,— неожиданно повысил он голос, стукнув рукояткой револьвера по столу; Пелагея Евстафьевна отошла к печи, тихонько плюнула под ноги и стала выгребать охваченные жаром уголья на загнетку; до войны они с мужиком любили посидеть за самоваром, а летом, бывало, выходили в сад, самовар рядом кипел да посвистывал, и ни шума тебе, ни грома. Она оглянулась и обомлела.

Макашин упер дуло револьвера к скуле Григория Васильевича, и они глядели друг другу прямо в глаза; Пелагея Евстафьевна хотела подбежать к ним, но ноги ослабли и зашатались; и притом она чувствовала, что сейчас нельзя усилить напряжение ни криком, ни движением.

— Ну, покоришься? — раздался наконец голос Макашина, у которого все больше белели губы и дергались веки. Ему давно хотелось пристрелить этих обоих, и старика, и старуху, и он, не задумываясь, сделал бы это, не будь у него определенного плана; все рушилось вокруг, и ничего твердого под ногами не оставалось, и он сейчас особенно сильно почувствовал, как необходим ему был Колька Дерюгин, но он знал, что этого Козева ничем не проймешь, и тупо продолжал твердить свой вопрос, все теснее прижимая дуло револьвера то к шее, то к уху Григория Васильевича, а тот упрямо говорил, что ничего не знает; затем взялся за дуло револьвера и отвел его от себя.

— Убери свою пушку, Федор,— попросил он тихо.— Я свое прожил, мне смерть не страшна. Хочешь стрелять, стреляй, а сказать тебе я ничего не скажу, ничего я не знаю. Да и тебе уже немало лет, тоже перед людьми придется ответ давать, а как ты им душу свою покажешь? На что тебе мальчишки Захара, самого найди, с ним и квитайся, вот это по-мужски будет, посолдатски. Нехорошо ты делаешь, Федор, ни бог, ни люди тебе не простят.

— Добра тебе хотел, старик,— сказал Макашин, понизив голос, и любой другой, находившийся в нормальном состоянии, поостерегся бы перечить ему, но Григорию Васильевичу до спокойного состояния было сейчас далеко; может быть, за всю его жизнь и было три-четыре случая, когда он вот так же бесстрашно мог шагнуть за последнюю черту, он почти не видел лица Макашина, словно задернутого серым горячим туманом, чуть ниже как раз должна была быть шея; Григорий Васильевич поднял руки, неожиданно рывком словно качнулся в сторону Макашина, и в ту же минуту сбоку, сухо хлопнул выстрел, и Макашин захохотал. Григорий Васильевич опять стал различать его лицо, оно выплыло из тумана; после минутного оцепенения закричала Пелагея Евстафьевна. Григорий Васильевич почувствовал, что у него по обеим щекам что-то ползет сверху вниз, что-то мокрое и теплое; он прикоснулся к щекам паль-

цами, поднес их к глазам и увидел кровь, и в ту же минуту во рту появилась боль; он хотел шевельнуть языком, но язык словно распух, и тогда он с усилием разжал зубы и прямо на пол сплюнул густую черную кровь.

— Сроку тебе до завтра,— услышал он голос Макашина и не повернул головы в его сторону.— Утром не скажешь, кончено все будет, а уйти не пытайся, тебя охранять будут похлеще генерала.

Макашин сдернул с гвоздя винтовку Григория Васильевича, висевшую на стене, и шагнул к двери мимо Пелагеи Евстафьевны, сжавшейся в комок с серым лицом; когда он проходил, она отшатнулась, а услышав стук захлопнувшейся двери, бросилась к мужу, подбито и бестолково засуетилась вокруг него.

— Господи, он же тебе щеки из конца в конец пронзил, зверь, прямо через рот пульнул; о господи, господи... сукровица... Гриш, а Гриш... да что же это такое?

Козев с трудом раздвинул распухшие и болевшие губы, хотел сказать ей «не шуми», но вместо этого получилось неразборчивое и трудное мычание; Григорий Васильевич махнул рукой, пошел и лег на кровать навзничь, тотчас на подушке появились следы крови. Пелагея Евстафьевна, суетясь, кое-как замотала ему щеки чистым полотенцем, принесла из сеней пучок зверобоя, чисто вымыла его, положила в чугун, залила водой и поставила в печь; ничего, зверобой сейчас заварится, и можно будет приостановить кровь, вот бы еще набраться духу и заглянуть мужу в рот, поглядеть, не задет ли язык; Григорий Васильевич по ее просьбе смог лишь чуть-чуть раздвинуть губы, и она ничего не увидела; он попросил пить, она скорее угадала, чем поняла, чего он хочет, и, набрав в чайник кипяченой воды, стала осторожно лить из носика ему в рот, и тотчас заметила, что вода вытекает из прострелов в щеках; глотать Григорию Васильевичу было трудно, и он стал приспосабливаться, стремясь принять такое положение, чтобы вода сама проходила в горло.

— Да чего ж он от тебя добивался? — спросила Пелагея Евстафьевна.— Разве ты знаешь, где Фроська с детьми?

Он чуть заметно сдвинул голову, посмотрел куда-то в сторону, и она, суетясь и охая, сразу забыла о своем вопросе; часа через три у Григория Васильевича начался жар, и Пелагея Евстафьевна сидела с ним рядом,

меняя мокрую холодную тряпку у него на лбу, смачивая ссохшиеся губы и обдумывая, как же и чем ей кормить теперь мужа; ничего твердого и сухого он есть не мог, и хорошо бы ему к утру сделать куриный бульон, только вот, пожалуй, ни одной курицы на селе больше не осталось. У Поливановых, говорят, спрятаны куры, да разве у них выпросишь, хотя попытать и можно. А что Макашин Федька приказал в избе сидеть, так это его дело грозиться; караул у них вон на улице стоит, а она не гордая, и задами доберется.

12

Макашин вышел от Козевых в сумерки, приказав часовому никого не выпускать из хаты, и, продавливая подмерзший к вечеру снег тяжелыми сапогами, напрямик выбрался на середину улицы; он не жалел о случившемся, он ни о чем больше не жалел, и лишь ощущал в себе тяжелую дрожь, и, однако, только в эту минуту понял, что все рухнуло окончательно и бесповоротно. Раньше он думал, что черта пройдена, но теперь он знал: он переступил ее вот в этот момент, и больше не было возврата назад, и нужно было сделать что-то еще более страшное, немедленно, иначе то, что происходило в нем, могло убить его; слишком много сил оставалось, и они душили; он распахнул полы полушубка, дышать стало немного легче; он пошел к старосте, все время думая о том, что это село нужно было бы спалить дотла и золу разбросать по полям; он ненавидел себя, землю, родившую его; тупая весенняя расслабленность ныла вокруг, несмотря на легкий вечерний морозец. Переступив порог избы старосты, он огляделся; при его появлении двое полицейских, его подчиненных, поднялись с оживленными и смущенными лицами и стали на ощупь застегиваться; он кивнул им, чтобы они сели; толстая старостиха повернула к нему раскрасневшееся лицо, рукой возле локтя утерла потный лоб, и он увидел ее темную подмышку. Сильно горела десятилинейная лампа над столом, старостиха щипала битых кур, бесформенной грудой лежавших в деревянном корыте, и в воздухе стоял запах свежего распаренного пера.

— Где хозяин? — спросил Макашин, стоя у порога.

— Да еще не приходил, Федор Михайлович,— отозвалась старостиха с немедленной готовностью.— Бес

его знает, носится по селу. Небось опять немцы таскают, их видимо-невидимо через село прет.

— Ты отбери-ка мне троечку, Антонина,— указывая на корыто, приказал Макашин, морща лоб в какой-то одному ему известной мысли.— Получше, получше, нечего сквалыжничать, я ночевать в другом месте буду.

Он тут же прихватил кур, торопливо замотанных старостихой в какую-то мешковину, и сразу вышел, и через полчаса уже был в избе Поливановых, и, разговаривая с Лукерьей, пытавшейся скрыть под приветливым оживлением невольный страх от его прихода, Макашин сел на лавку в переднем углу рядом с дедом Макаром, поглядывая то на Маню, то на ее сына, светлоглазого длинного мальчонку, и Лукерья пыталась загородить внука от его взгляда и все посылала его спать; Макашин понимал ее, но говорить ничего не говорил, и то, что его все, кроме деда Макара, боялись здесь, еще больше горячило его. Его внимание переключилось на Маню; он знал, что ей сейчас около тридцати, на селе говорили, что она так ни с кем и не сошлась после Захара, ни вдова, ни мужняя жена; она была хороша собой, Макашин сразу это отметил; стройная девичья грудь, тугие бедра, и в поясе перехвачена, как оса; и от неожиданного решения у него стало сохнуть во рту, он не обращал больше внимания ни на Лукерью, ни на мальчишку, ни на деда Макара, все старавшегося вызвать его на стариковски мудрый разговор о войне, о том, что немцы, похоже, в бега ударились. В комнате тускло светил каганец из консервной банки; Лукерья наконец затолкнула внука в угол, за полог, где стояла кровать, и о чем-то придушенно шепталась с ним; Макашин еще раз обвел избу взглядом, запоминая; он пришел сюда от пустоты, уже много лет он был один в мире, и теперь пришел сюда, как зверь, по старой памяти, но у него было еще слишком много сил, чтобы умирать; ему хотелось хоть немного человеческого добра, и если бы у Поливановых его встретили чуточку приветливее, без явно выказанного испуга, он, может, и отогрелся бы, он не стал бы делать ничего плохого; но его не могли встретить так, как он хотел, он понимал это и, повернувшись к деду Макару, долго и молча смотрел на него с неосознанной благодарностью за то, что он единственный не боялся непрошеного гостя и говорил с ним по-хорошему.

— Хочешь, дед, я тебе что-нибудь сделаю? — спросил он вдруг.— Что хочешь желай, в лепешку расшибусь, выполню.

— Ничего мне не надо, Федька, я свое отхотел.— После натужного понимания слов Макашина дед Макар сверкнул в волосах бороды крепкими ровными зубами.— Чудной ты, Федька,— удивился он.— Что же мне теперь надо?

— Ну, может, из жратвы чего надо,— сказал Макашин, просительно заглядывая старику в бесцветные отсутствующие глаза.— Я могу колбасы достать, хорошего хлеба...

— Господь с тобой, Федька, детишкам, коли есть, отдай. А мне какого ляда этакое добро переводить зазря, портить?

— Я тебе завтра водки принесу, дед,— обрадовался Макашин, и дед Макар, поняв, спешно и приветливо заулыбался.

— Водки можна,— сказал он со степенной согласностью.— Я бы под конец дней не отказался, от водки-то. Был бы Акимка дома, а то и того куда-то в самом начале вслед за молодыми мужиками забрали, с тех пор ни духу, ни слуху. Водки можна.

— Ну вот и хорошо,— выдохнул с трудом Макашин, чувствуя, что его распирает что-то непонятное и светлое, хоть опусти голову на стол и завой по-бабьи, по-волчьи.— Уморился я,— сказал он, глядя на Маню,— где бы ночь-то перебыть?

— А я мигом постелю,— вывернулась из-за занавески Лукерья.— Я тебе в чистой горнице постельку сподоблю, Федор Михайлович, перинку достану, тепленько, замучился ты, поди, со своей службой, вот и отоспишься.

— Нет уж, тетка Лукерья, спасибо.— Макашин медленно кивнул на Маню: — Пусть вот она постелет. А ты, тетка Лукерья, лучше курей зажарь, да не проспи, мне завтра рано уходить.

— Федор Михайлович...

— Молчи, мамаш,— вышла на середину избы Маня.— Не маленькая, справлюсь.— Она усмехнулась, отгораживая себя от матери.— Федору Михайловичу приятней так-то покажется.

Может, с минуту, а может, и больше они неотрывно глядели друг другу в глаза, затем Маня достала из-под загнетки второй каганец, зажгла его, оглянулась через

плечо на Макашина; тот встал и, проходя за нею в дверь, сдернул висевший у порога полушубок, бросил его на руку и, невольно глянув назад, увидел напряженно застывшее лицо Лукерьи, деда Макара, поднявшего голову и тихонько почесывающего у себя под бородой; не говоря ни слова, Макашин закрыл дверь, прошел через сени; тело наливалось томительной тяжестью, и уже в горнице, наблюдая за движениями Мани, привычно и ловко взбивавшей перину и подушки, он оперся плечом о косяк и ждал. Он не был пьян, чувствовал себя хорошо, и было что-то от зверя в том, как он наблюдал за Маней. Она кончила стелить, сказала ровным, спокойным голосом: «Ну вот и все» — и направилась к двери, не поднимая глаз.

— Ну нет, Маня,— засмеялся Макашин, накидывая крючок на петлю и загораживая собою дверь.— Только начало, Маня, у нас с тобой на сегодня.

— Мне выйти надо, Федор,— сказала она твердо.— Я вернусь, не бойся.

— А я не боюсь,— он отступил от двери, откинул крючок.— У тебя вон мальчишка спит, небось пожалеешь сыночка-то, чего мне бояться. Выходи.

Макашин видел, что она как-то враз побледнела и, помедлив, вышла; он стоял у двери и ждал, он знал, что Маня ненавидит его и все равно придет, она вернулась действительно скоро, даже не зашла в жилую половину избы (Макашин определил это по слуху). Войдя, она присела на какую-то лавку, Макашин опять закрыл дверь на крючок и прошел к широкой деревянной кровати в углу, на которой рыхло вспухали взбитая перина и подушки, с наслаждением стал раздеваться.

— У меня сегодня, может, одна ночь и осталась,— не то сказал, не то подумал он, сбрасывая с себя все до последней нитки, подальше отодвигая куда-то в угол сапоги и портянки, остро пахнущие потом.— Вот тебе, Маня, она, эта ночка, и достанется.— Он глянул в ее сторону.— Что ж ты отвернулась, сидишь? Иди сюда, ложись со мной, Маня, не пожалеешь.

Она повернула голову, он стоял совершенно голый перед ней, смутно белея длинным, сильным телом; она смело оглядела его.

— Зачем это тебе, Федор?— спросила она тихо.— Иль не человек ты, господи? Ты же когда-то бегал за мной, жениться хотел. Я же не скотина какая, Федор.

— А я скотина? — спросил он быстро и подошел к ней; на нее пахнуло разгоряченным мужским духом, но она продолжала глядеть на него, запрокинув голову, чтобы видеть только его лицо. — Брось, Маня, не выкобенивайся, ты не девка. Может, все его помнишь? — спросил он, имея в виду Захара, но не называя его по имени.

— Помню, — глухо отозвалась она, хотя не хотела этого. — И всегда помнить буду.

— Чем же это он такой особый? — усмехнулся Макашин, по-прежнему сдерживаясь, стараясь оставаться спокойным, хотя в нем уже росло, росло то неведомое, часто в последние дни подступавшее к глазам красным горячим трепетом, и тогда он старался уйти от людей подальше, валился лицом вниз и лежал, пока голова не освобождалась; сейчас он не мог допустить этого, сегодня была его ночь и его право.

— Ладно, Маня, спасибо и на том. Я не гордый, — сказал он. — А теперь раздевайся. Ты сегодня меня будешь ублажать, как своего родимого Захара ни разу не ублажала, да смотри! Не понравится, не видеть тебе больше твоего выблядка, мне теперь все равно. Я его с собой умыкну, не увидишь его больше, каким захочу, такой человек из него и будет.

— Знаю, — прошептала она в страхе; страх шел от него, и нельзя было с ним справиться. — Видела, как ты посмотрел на мальчонку, когда зашел, волк лютый, да и только.

Деревянными, негнущимися руками она расстегнула пуговицы, развязала пояс платья; Макашин стал помогать ей, и она отшатнулась.

— Сама, сама, — сказала она, торопясь, стараясь не думать о дальнейшем; она легла в постель, натянула одеяло до подбородка; Макашин тотчас лег рядом, и она почувствовала его литое, напряженное тело; он вытянулся и замер, ожидая, и так как она тоже лежала, не шевелясь, стараясь как-нибудь не отодвинуться к стене, он сказал с глухим смешком:

— Ну, Маня, помни мои слова.

— Помню, Федор, накажи тебя бог.

— Я сам себя давно наказал, ты за меня не кручинься...

Он почувствовал на груди ее руки; холодные, вздрагивающие, они робко блуждали у него по телу, и он видел в неверном свете коптилки ее остановившиеся,

пустые глаза; ее прикосновения заставили его сжать зубы и глухо застонать; он знал, что она ненавидела его, но она делала то, что он хотел, что заставил ее делать, и ему было хорошо; с закрытыми глазами, не в силах справиться с собою, он резко вывернулся, тяжело навалился на нее, и тотчас словно что оттолкнуло его, и он лег на свое место.

— Уходи,— сказал он глухо.— О своем... думаешь, сволочь.

Маня приподнялась на локоть, в лице у нее пробился слабый румянец, она глядела на него широко раскрытыми глазами, и он уловил в них усмешку.

— Дурак ты, Федор,— сказала она тихо, сдерживаясь.— Ни о ком я сейчас не думаю, много вас, кобелей, по белу свету бродит. Думать о всех сил не хватит. Мед да сахар мне Захар-то? Что он мне за жизнь устроил? Ненавижу и его, и тебя, я без мужика пробедствовала, считай, весь свой век, за что мне любить вас, проклятых?

— Поцелуй меня,— попросил он хрипло, думая в то же время, что она врет, и стараясь верить ей, ему в этот миг хотелось верить ей больше всего на свете; она прижалась к его губам сильно и сразу, и он почувствовал ее тугие прохладные груди, уловил в ее теле горячую дрожь; она целовала его теперь непрерывно зло, настойчиво, он больше ни о чем не помнил, он словно обезумел, давил и мял ее, и словно откуда-то из горячего, плотного тумана слышал ее слова, ему казалось, что она что-то говорит, и так прошло несколько часов, промелькнула ночь, он услышал далекий, слабый крик петуха и, пугаясь, опять потянул ее к себе, сжал так, словно хотел задушить, и будто провалился в забытье; он жарко дышал прямо в щеку Мани, но дыхание его постепенно замедлилось и успокоилось и руки ослабли; Маня подождала еще немного и, освободившись от него, отодвинулась. Макашин спал, это она знала, и тягостная беспощадная мысль, что его надо, необходимо убить, пришла к ней; и это должна была сделать она. Она вспомнила, что в углу, в горнице, набросаны всякие железяки, которые по старческой скаредности сносил туда дед Макар, в надежде, что они пригодятся когда-нибудь в хозяйстве. Она еще немного подождала, пробралась в нужный угол, стараясь ни о чем больше не думать, кроме того, что она сейчас найдет подходящую железяку и затем все пойдет легче и проще. Ей не было страшно, она словно вся застыла от своего решения, но

руки ее делали свое безошибочно и ловко, они сейчас словно жили отдельно от нее; вот они ощупали и осторожно подняли какой-то длинный продолговатый кусок железа; пальцы правой руки плотно охватили его, стронули с места; ничего не зашумело. Она выпрямилась и медленными, скользящими шагами вернулась к кровати. Она остановилась всего лишь на мгновение, чтобы проглотить немного воздуха, что-то зажглось внутри, и она сразу различила, увидела в темноте, что он не спит и пристально смотрит на нее, ей даже почудилась в его глазах холодная усмешка; в один момент она покрылась липким потом.

— Что ж, Маня, что ж ты стоишь? Бей,— сказал он с легкой хрипотцой.— Только уж наверняка давай, без муки чтоб... Смелей, Маня, смелей, может, ты мне лучшую услугу окажешь, может, на это у меня духу и не хватает.

Пока он говорил, она не сознавая, что делает, все выше и выше тянула руку с железом. «А вот и ударю,—тупо и монотонно думала она,— а вот и ударю». Она твердо знала, что должна была убить его, только так его и можно было остановить.

В какой-то самый последний миг она бессильно отшатнулась назад, и железо глухо стукнуло об пол; после того, что было у них, она не могла ударить по открытым глазам, и когда Макашин втащил ее в постель, она вся дрожала; и он все никак не мог согреть ее своим горячим телом и с новым неистовством стал мять и целовать ее, но скоро почувствовал, что больше ничего не может, сел; зыбкая тьма ходила перед глазами, он расслабленно опустил плечи, какая-то горечь стояла в горле, он боялся пошелохнуться. «Больше этого не будет»,— сказал он себе, и оттого, что эта ночь прошла так, как он хотел и задумал, ему стало еще тяжелее; эта ночь была тупиком, куда он забрел после беспросветного долгого пути, и он подумал, что не забыть бы утром принести деду Макару водки. У него больше не было сил ненавидеть, он ясно и безжалостно подумал о конце, и все в нем окончательно спуталось; он сидел и чувствовал, как по лицу ползут слезы, и боялся вытереть их, чтобы она не догадалась; но она поняла, и он почувствовал у себя на плече ее руку; она тихо, настойчиво заставила его лечь и ничего не спросила, и он подумал, что иногда подчиниться так просто и необходимо.

— Ну вот, видишь,— сказала она,— зла в тебе и поубавилось, Федор, только пожалеть, как мало нужно человеку. Слабая я баба, ничего не смогла, а жалостью злобы не остановить. Сразу надо было... этого мне вовек не забудется... Не трожь, не трожь меня больше, Федор,— говорила она словно в каком-то бреду; затем от перенесенного потрясения заплакала, и Макашин, подождав, стал гладить ее плечи и почувствовал ладонью, как она съежилась.

— Ничего ты не понимаешь, Маня,— отозвался он.— Думаешь, любо-дорого, когда́ от твоих глаз дети шарахаются?

— У каждого своя стежка, Федор, да не у каждого она такая, это ты правду сказал,— добавила она погодя.

— Слушай,— озаренный новой мыслью, он приподнялся на локоть.— Пойдешь со мной? Я же сильный, работать умею, мы где хочешь проживем, Маня. На немца наплевать, немца обойти можно. Любить тебя буду, словом не попрекну, всю жизнь тебе положу.

Он говорил, стараясь разобрать в полумраке выражение ее лица; сумасшедшая, слепая надежда проснулась в нем, ему нужно было кого-то найти, кто бы его не боялся, не шарахался от него в сторону. Маня вот и не испугалась. За ночь ни она, ни он не сомкнули глаз, и оба не хотели спать, на какое-то мгновение Мане стало его по-настоящему жалко, по-бабьи, нерассуждающе.

— Мальчишку, хочешь, с собой прихватим,— сказал Макашин с торопливой надеждой.— Илюшкой-то нарекли?

— Илюшкой,— отозвалась Маня словно из далекой темноты, Макашин скорее угадал, чем услышал ее голос.— Да ты в своем уме, Федор?— тут же спросила она, стараясь говорить спокойно и рассудительно, чтобы не дать почувствовать вновь заговорившей ненависти.— Куда бежать-то, в какое болото от своей земли? От себя никуда не уйдешь, Федор, беги не беги — неси свой крест, зачем невинные души за собой тянуть. Баба на кошку похожа, ей свой дом нужен, а без этого она ни человек, ни полчеловека.

— А вот я тебя могу убить, я тебя им не оставлю,— сказал Макашин, и она уловила в его голосе холодную беспощадность и подумала, что он и убьет, но не испугалась.

— Убей,— сказала она, понимая и чувствуя только то, что, как хочет он, она поступить не может.—

Убей, Федор, все свое хорошее в жизни я, считай, прожила. Подумаешь, нашел чем пугать.

В нетопленной горнице было холодно, и он только теперь это заметил, одеваясь; он как-то забыл о своем недавнем решении, о словах Мани, вообще забыл о ней; тупое успокоение пришло к нему, у него своя дорога, Маня права, и он должен пройти по ней до конца сам, без всяких костылей, костыли ему не нужны, он теперь видел неизбежность этой дороги; он пойдет, разгребая ночь, как это было и раньше, и нет у него ни одного шага в сторону, он бесновался оттого, что хотел куда-то свернуть, а все проще простого, нужно идти дальше, идти и идти, это плата за все, что ему выпало, но и другие (последнее слово «другие» он выделил с особой ненавистью и силой) хорошо заплатили ему; и еще заплатят, он не знает всяких премудростей и наук и никогда не узнает, да ведь брехня, что кто-нибудь знает. В этом мире только зверь и прав; вот он и будоражит других, привык к запаху крови, какой-то пьянящий сладостный ужас перед самим собою переполнял его, что ему эта Маня, испуганная корова, у него еще есть время, он всех здесь знает, даже на бесплодном поле два-три зерна прорастают, ему некогда ждать, нужно спешить, времени совсем мало...

В темноте Маня оцепенело сидела на кровати и думала, что должна бы пойти с Макашиным, раз сразу не смогла остановить его, повиснуть у него на шее пудовым камнем, не дать ему развороту, иначе много зла он еще сделает, натворит... только она ведь его не остановит, а себя и Илюшку погубит.

— Маня,— сказал Макашин, натянув сырые сапоги, захваченный своим, не слыша, не видя ее.— Ухожу, не буди никого.— Набросив на себя полушубок и по привычке туго затягиваясь, он остановился на пороге.— Прощай, Маня. Думай обо мне что хочешь, а я тебя не забуду. Прощай.

— Подожди, Федор,— попросила она,— послушай глупую бабу, бабье сердце — вещун. Ослобони, не тронь людей, не виноваты они перед тобой, Федор. Не виноваты, не греши зря, тебе и старую кровь не отмыть, наново ее не лей, не вода! Слепой ты от злобы, Федор, не думай, что один ты в правах, а больше на свете и правых нет, коль тебе их правда не к нутру. Не бывает так, Федор, вовек не будет.

— Мне, Маня, твои советы ни к чертовой матери,—сказал Макашин, сосредоточенно разглядывая что-то у нее над головой.— Я никак не хочу думать, мне ни в один конец, ни в другой думать нельзя. У меня своя стежка... Вот пройду по земле чертом, и прощевай, другой стежки мне не светит, во все концы обрублена начисто.

Он помедлил и вышел, нашел дверь на улицу, отодвинул засов; сырым мартовским холодом понесло ему в лицо, но и это не могло остудить его горячих глаз.

13

Перед самым светом Григорию Васильевичу полегчало. Пелагея Евстафьевна и сама вздремнула сидя, привалившись головой к спинке кровати, и все ворочалась, стараясь устроиться поудобнее, и даже во сне не переставала помнить, что, как только начнет рассветать, нужно будет сходить к Поливановым и выпросить курицу на бульон своему старику; Григорий Васильевич видел ее старое сморщенное лицо с закрытыми глазами и жалел ее. Вот останется одна на белом свете, а кому нужны такие старики? Будет мыкаться, страдать, доля у человека такая, в молодости хорошо и приятно, какая бы она ни была тяжелая жизнь, а к старости человек и сам на себя не похож. Нехорошо устроено на свете.

Что-то постороннее, непривычное отвлекло внимание Григория Васильевича; он осторожно поднял лицо к потолку, прислушался и закрыл глаза, от изнеможения сердце билось неровно и гулко. Пелагея Евстафьевна все спала, но и ее скоро разбудил вой и грохот вокруг, она испуганно вскочила; ревели самолеты, в окна избы хлестали огненно мятущиеся сполохи. «Ох, вышибет окна,— в испуге подумала Пелагея Евстафьевна,— чем их затыкать будешь, как мышь в закроме, во тьме завязнешь».

Отбомбившись, самолеты улетели, и тотчас, где-то рядом совсем, поднялась винтовочная и пулеметная трескотня; Григорий Васильевич, вслушиваясь в стрельбу, сразу сел, стараясь не двигать головою.

— Это фронт, фронт,— прошамкал он неразборчиво и возбужденно.— Пришло спасение наше, пришло, старуха, им, проклятым, конец,— теперь уже думал он

вслух, стараясь не двигать губами, чтобы не вызвать снова горячечной боли.

Пелагея Евстафьевна подошла к нему, послушала, и хотя не разобрала слов, но главное дошло до нее.

— Ох, погоди, погоди, Гриш,— сказала она, опасливо, сухо сплевывая через плечо,— не надо раньше времени радоваться, ни к чему нечистую силу гневить.

Григорий Васильевич опустил голову на подушку и застыл, глядя вверх; старуха что-то говорила ему еще, но он не слышал. «Нехорошо получилось с Федькой Макашиным,— думал он,— не выдержал, сорвался, норов свой захотел показать, можно было и не показывать, потерпеть, сдержаться, все бы и пронесло. Погордился, вот и прострелили рот, теперь ни куска проглотить, ни слова сказать, нехорошо, человек должен свой норов в узде держать, а так что же получается? Он-то сам знает, что не тронул бы его Федька, сумей он спрятать свою радость да и свое ехидство по поводу его бессилия, нехорошо выводить из себя человека, а теперь вот и думай, что делать, подобру-поздорову не отвяжется, вошел во вкус. Уходить тоже нельзя, совсем остервенится, детей да баб начнет мытарить».

Чем больше думал Григорий Васильевич, тем сильнее волновался, во всякую бабью чепуху насчет предвидений и примет он мало верил, но твердо знал и чувствовал, что на тесной стежке им с Федькой Макашиным уже не разминуться. И решение пришло к Григорию Васильевичу так же тихо и незаметно, как он и жил, и он сразу успокоился. Под половицей в переднем углу у него были припрятаны две гранаты, и теперь нужно было дождаться, чтобы старуха отвернулась на минутку, а там, как говорится, еще неизвестно, как все обернется и кто кого одолеет.

К утру Григорию Васильевичу захотелось есть; Пелагея Евстафьевна обвязалась в темноте платком, натащила на себя телогрейку и решилась идти к Поливановым, она пододвинула к мужу чайник с водой на табуретке и, приказав ему строгим голосом не подниматься и ждать ее, вышла во двор; сырой сильный ветер охватил ее, и она по осевшему сугробу, мелко и мягко ступая, вышла в огород. Снег к весне слежался и не проваливался, и идти было легко; Лукерья долго прислушивалась к голосу Пелагеи Евстафьевны из-за двери и только затем впустила в избу.

— Здравствуй, здравствуй, Пелагея,— торопливым полушепотом сказала она.— Ты говори быстрее, зачем пришла, да уходи, у нас сегодня Федька Макашин ночует.— Она кивнула на дверь в сени, подразумевая вторую половину избы, и в ответ на вопросительный взгляд Пелагеи Евстафьевны вздохнула.— Что ты с ним сделаешь, пришел, ночевать, говорит, буду, стелите мне в горнице. Я было сама хотела идти, остановил, кобель проклятый, ты, говорит на дочку, ты, Мария Акимовна, иди постели, а ты, бабка, сиди. Начальство, что ты ему скажешь. Да так и не выпускает больше оттуда девку,—пожаловалась Лукерья, называя дочь привычным словом, давно уже в применении к ее дочери неподходящим.— Срам один, у нее сын уже большой, понимает небось малый все,— Лукерья еще понизила голос, кивнула на печь, где вместе с дедом Макаром спал Илюша.

— Он вчера над моим дедом изгалялся,— сказала Пелагея Евстафьевна.— Рот ему прострелил, все допрашивал чего-то, а мой-то не знает, а не знаешь, как скажешь?

— Господи помилуй!— Лукерья боязливо повела глазами на дверь.— Смертоубийство кругом, озверели люди... Чего же теперь делать с ним, с простреленным-то?

— Лежит, что ж с ним делать. Я к тебе спросить, может, хоть кусочек мяса какой у тебя будет, навару бы ему чуток проглотить, нутро отогреть. Жевать нельзя, хоть бы мясной водицы испить. Я бы ему в самое-то горло пропускала, а так из прострелов-то выливается.

— Боже ты праведный, погоди, Пелагея, погоди,— зашептала Лукерья,— Федька-то Макашин, зверь этакий, вчера трех курей приволок, приказал к утру жарить, насмерть подавиться ему, живоглоту, костью. Я тебе сейчас отделю.

Пелагея Евстафьевна поздоровалась с дедом Макаром, слезшим с печи задом наперед, осторожно ощупывающим ногой опору; корна́ грязных холщовых портов болталась у него ниже колен, но сам он в свои девяносто лет был вполне бодр и сразу узнал Пелагею Евстафьевну, подошел к ней поговорить о новостях, но Лукерья, опасаясь Макашина, не дала; сунув в руки Пелагеи Евстафьевны тяжелый сверток, она заворотила свекра назад, на печь, приговаривая: «Иди, иди, батя, сейчас пора для разговоров-то не приспела...»

Вернувшись домой, Пелагея Евстафьевна застала мужа спящим, дыхание у него было ровным, жар от раны сошел с лица. Стараясь не шуметь, она почистила и вымыла куриные потроха, поставила их варить с луком, затем решила сделать отвар и достала с комеля мешочек с сушеными грушами; несколько раз промыла их в холодной воде и за хлопотами не заметила, как окончательно рассвело; в сенях раздался тяжелый топот, и в хату вошли трое, впереди сам Макашин в длинном, до колен, дубленом черном полушубке; у него на груди висел автомат, и был он против вчерашнего выбрит и чист с лица. Сердце Пелагеи Евстафьевны словно надтреснуло, и от этого боль ударила в голову, в глаза, она видела, что муж в этот момент проснулся и сел, застегивая ворот белой холщовой рубахи, обмазанной кровью.

— Ночь скоротал, старик?— шагнув вперед, спросил Макашин странным, чистым и высоким голосом. – Так и не знаешь, где семья Захара Дерюгина, твоего племянничка? Не вспомнил, поди, другое на уме-то.

— Не знаю,— отрицательно шевельнул тяжелой. обвязанной толсто головой Григорий Васильевич, и Пелагея Евстафьевна отметила про себя, что говорит он уже чище и понятней; и она кинулась вперед, загораживая собой кровать с мужем от Макашина.

— Остановись, Федор,— сказала она внезапно окрепшим голосом.— Тебе этого ни бог, ни люди никогда не простят. Ни тебе, ни твоим детям...

Макашин неотрывно глядел на старуху, и она видела, что у него начинают светиться глаза: они на мгновение как бы тронулись синеватым пламенем, похожим на тот огонь, когда горит крепкий самогон; пересиливая сковывающую тяжесть тела, Пелагея Евстафьевна шагнула к нему раз, другой, подняла одеревеневшую руку и медленно, словно творила заклятие, перекрестила его, потом себя.

— Дьявол! Дьявол! Будь ты проклят на этом и на том свете!— прошептала она с ненавистью, и Макашин опустил глаза; не упомяни она о детях, он бы, возможно, поярился и ушел, но теперь этого нельзя было сделать; он вторично и совершенно помимо своей воли у Козева; сейчас он подумал, что после случившегося здесь он не мог не прийти вторично — закончить все окончательно. Он стоял, белозубо улыбаясь, чувствуя холодный пот, пробивший спину под полушубком; он

думал, что он волен желать как заблагорассудится, но теперь он знал, что это не так; он не хотел больше быть в этой избе, и вот он здесь, и знает, что здесь свершится. «Скорее, скорее,— говорил он себе,— не тяни, ты ведь пришел ради этого, вот и делай свое дело».

— Ну, так я пришел тебя добить, старик, я тоже человек, у меня терпению конец приспел,— сказал Макашин с неестественно застывшей и оттого мертвой улыбкой на неподвижно отвердевшем лице, он сказал это как бы в продолжение первого вопроса к Григорию Васильевичу, и тот неожиданно ясно понял, что так, как он думал и решил раньше, так оно и должно быть, и другого выхода нет.

— Может, и человек, да не наш, не приняла твоя натура человечьего-то... воля твоя,— проговорил он с удивительной ясностью и не чувствуя боли ни в языке, ни в губах.— Только тебе от этого легче не станет, Федор.

— Выйди на минутку отсюда, старуха,— приказал Макашин, бледнея еще больше и не в силах согнать с лица намученную теперь усмешку.

— Выйди, Пелагея, выйди,— попросил и Григорий Васильевич, но Пелагея Евстафьевна закричала, кинулась к Макашину, выставив скрюченные пальцы, ее тут же перехватили, вытолкали за дверь; Григорий Васильевич простился с ней коротким взглядом и облегченно передохнул, удобнее вытянул ноги.

— Молись старик,— услышал он голос Макашина откуда-то сверху и даже не взглянул в его сторону; как бы соскальзывая под легкое одеяльце из белой дерюжки, он взялся обеими руками за его край, потянул на себя, закрывая лицо и голову; Макашин вздрогнул, отпрянул к порогу; граната-лимонка, неловко брошенная из-под дерюжки Григорием Васильевичем к ногам Макашина, откатилась к окну, к лавке. Макашин непроизвольно закричал, проворно ничком ткнулся в пол грудью на автомат, и в тот же момент оглушительно грохнуло, посыпались стекла, изба наполнилась гарью. Оторопело вскочив на ноги, Макашин рванулся к Григорию Васильевичу, тот, приподняв голову, смотрел навстречу; Макашин еще раз закричал от страха и ненависти; он всего лишь на мгновение опередил готового вскочить с кровати и броситься на него Григория Васильевича: автоматная очередь ударила наискось, густо, от левого плеча вниз, к паху Григория Васильевича,

и он умер; сладко запахло сгоревшим порохом, и, глядя, как проступает по дерюжке неровными пятнами кровь, Макашин вскинул автомат за спину; в сенях дурным голосом завыла Пелагея Евстафьевна, стала рваться к двери; Макашин, вздрагивая, с болезненным, непреодолимым интересом наблюдал, как под белой дерюгой вытягивается, строжает тело убитого, и зависть к такой легкой смерти, к тому, что Григорию Васильевичу Козеву уже нечего больше бояться, обожгла Макашина; выходя, он слепо скользнул по лицу старухи взглядом; и Пелагея Евстафьевна, выскочив вслед за ним на улицу, сразу же вернулась в развороченную взрывом гранаты избу, ничего вокруг не замечая, подбежала к кровати, где под окровавленной дерюжкой лежало что-то вытянувшееся, длинное; пересиливая страх, она подняла край дерюжки и поглядела мужу в занемевшее лицо; в печи догорал огонь, и она испугалась, что все теперь выкипело и бульон пропал; она подошла к печи, бульон кипел и компот кипел, она подтянула чугунки к устью, подальше от жара, а затем и совсем выставила на загнетку; запахло мясным наваром, и темная тень прошла перед нею наискось по избе. Она вторично выскочила на улицу; несколько запряженных саней уносились из глаз и были видны уже лишь в самом конце улицы; ей показалось, что это уезжал Федька Макашин со своими; Пелагея Евстафьевна прислонилась к столбику на крыльце, беззвучно заплакала, голоса у нее больше не было и сил не было, чтобы добраться до соседа и кого-нибудь позвать. И в тот момент, когда перед нею опрокидывался мир (она не знала, сколько прошло времени),— перед нею опять оказалось лицо Федьки Макашина с перекошенными губами, но она в следующее же мгновение подумала, что это не он, а кто-то другой, и она поняла, зачем он перед нею, хотела подойти, плюнуть в него. Близко, саженях в трех от нее, запыхал синеватыми взблесками огонь, и она ушла в темноту, не ощутив боли. Она не знала и не могла знать, что сразу же вслед за тем, как она упала, к ней, словно притянутый посторонней силой, медленно вышел из темноты Макашин. Он знал, что поступает неразумно, и однако он вышел и долго стоял над убитой старухой, с растущей пустотой в голове и груди; он убил эту несчастную старуху только затем, чтобы она никому ничего не могла рассказать, и теперь вот, скованный по ногам и рукам, стоял над ней, а серый, вяз-

кий рассвет уже угадывался в резко проступавшей верхушке изгороди перед избой Козевых, в надвигавшихся из темноты голых сучьях яблонь. Макашин повел ломившими от боли глазами кругом и попятился; сдерживая рвавшуюся ругань, согнувшись, не чувствуя холодного железа автомата, он быстро пошел прочь, и Пелагея Евстафьевна осталась лежать как лежала.

Первым ее увидел Илюша; Лукерья после состарившей ее ночи послала его наведаться к соседям, и он наткнулся на лежавшую ничком неподалеку от крыльца Пелагею Евстафьевну. Не поняв издали, что это такое, Илюша наклонился; увидел неловко подломленную руку, седые, в крови, примерзшие к снегу волосы.

Илюша попятился, оглянулся, почти парализованный внезапным чувством смертельной опасности, затем, одолев таявший в груди холод, опрометью бросился домой.

— Убили! Убили! Бабку Палагу застрелил кто-то! — кричал он с пугающим белым лицом, пока его не остановили руки матери; она схватила его, сильно прижимая головой к груди, и стала что-то говорить; высвободившись, Илюша взглянул матери в глаза, жалко заморгал, и тогда она с новой силой стиснула его; была страшная ночь, еще страшнее она закончилась, но ради сына она бы не отступила и перед бо́льшим, в этом вихрастом, жилистом мальчишке было все лучшее, все светлое, что жизнь ей дала, и только одна она знала, что иначе она бы не уберегла сына.

14

Через неделю сразу обильно хлынули весенние воды, но ровно за день до этого к Густищам докатился фронт и кое-как закрепился; вторая линия немецких окопов прошла по самому селу; грязные, измученные немцы рыли окопы день и ночь, мобилизовали на это дело и детей, и стариков, и баб, а затем, когда положение немного устоялось, все население из фронтовой зоны было выгнано за сто километров. Произошло это в одну из тихих майских ночей, в начале пряного цветения диких трав в полях. К тому времени в Густищах не осталось ни одной целой хаты, много их сгорело, остальные были разобраны на блиндажи; но еще до этого, на второй и третий день после смерти Григория Василь-

евича Козева, хорошо погулял Федор Макашин в Густищах, и те, кто останется жив, никогда не забудут, как со всего села таскали к нему жратву и самогон и гоняли на допрос жителей Густищ, перепуганных баб, девок, стариков и подростков. Человек тридцать прошло перед ним за двое суток; испуганных густищинцев приводили к нему под предлогом розысков сбежавшей Ефросиньи Дерюгиной с детьми. От Макашина словно разливались какие-то волны; с истончившимся лицом, легкий и стремительный, он некоторое время пристально разглядывал очередного человека сумасшедшими глазами, затем начинал расспрашивать, кто да с кем живет, и допрашиваемый, опомнившись от первого испуга, называл отца с матерью, братьев, а Макашин все кружился вокруг, не в силах решить свой самый необходимый и самый тяжелый вопрос. Он словно еще и еще раз проверял все ту же мысль, что между ним и всеми остальными без исключения людьми пролегла непреодолимая черта.

На второй день к вечеру один из пожилых полицейских, приводивший людей к Макашину, не выдержал, хмуро сказал своему напарнику:

— Послушай, Остап, что же это такое? Дела у нас окромя нет, а? Смерть на вороту виснет, а мы самогон жрем.

Они поглядели друг другу в глаза, и второй, заросший сильной рыжей щетиной по всему лицу, философски изрек:

— Никак перед концом, не к добру это, Матвей. Я что-то слышал, смертушку свою чует наш начальничек. Это он землю сырую нюхом чует. Матвей, а Матвей,— прибавил он немного погодя,— пора бы и нам того... подумать.

— Пропади он пропадом,— ругнулся вполголоса, опять поминая Макашина, второй, зло приподнимая верхнюю толстую губу.— Того и гляди, головы полетят, а он лясы точит, нашел время!

Дело клонилось к вечеру, в углах комнаты уже копились грязные тени. От Макашина вышла Настасья Плющихина с дерзким видом, заставив полицейских вздрогнуть, изо всей силы грохнула дверью, затем показался и сам Макашин, тщательно застегнутый, с синеватым от выступившей щетины лицом и с удивительно неподвижными покойными глазами; он ничего не открыл для себя, не нашел ни утешения, ни опоры; час пробил и кончился, и люди ему были больше не нужны,

он лишь напряженно прислушивался к самому себе; было пусто, совершенно пусто, он тихо, одними губами улыбнулся.

— Вот что, ребята,— сказал он медленно,— давайте быстро отсюда, на все четыре стороны, вы меня не видели, я — вас. Вы слышите?— спросил он, внимательнейшим образом прислушиваясь к почти непрерывному грохоту близившегося боя.— А то поздно будет. Живо!— добавил он, слегка откидывая голову назад.— Кровищи-то, кровищи кругом, все опаскудело.

Он вышел на крыльцо, и к нему тотчас метнулась странная неровная фигура в каком-то распахнутом одеянии; он отшатнулся, хватаясь немевшею рукою за кобуру, пытаясь ее отстегнуть и не в силах этого сделать от смертельного озноба в теле.

— Федька, Федька,— услышал он женский голос, поразивший его своей теплотой и мягкостью.— К тебе, Федька, пришла.

— Кто ты?— спросил он, дрожа и присматриваясь к ее сухому диковатому лицу, странно освещенному мягкими сияющими глазами; он только и вспомнил ее по этим глазам.— Феклуша,— сказал он, слабея от начавшего проходить приступа страха.— Дурочка Феклуша!

— Говорят, ты девок собираешь,— сказала Феклуша все так же ровно.— Вот пришла, тебе подарочек принесла... На, Федька, на, возьми,— она совала ему в руку небольшой грязный узелок.— На радость тебе, на радость возьми, не убивай больше людей, не убивай, Федька, божья мать тебя не простит.

Подчиняясь какой-то силе благодарности за ее слова, Макашин поймал грязные, тонкие руки Феклуши и сильно прижался к ним горячим лицом; он почувствовал, что плачет, и силился остановиться.

— Рукам больно, Федька,— сказала она все с тем же детским выражением ясности в голосе.— Возьми узелок, возьми... Страшóн ты, Федька, увидишь себя — жуть проймет. Ты, как что, не гляди на себя, не гляди, жуть, жуть...

Близко подвинувшись, почти не дыша, Феклушка перекрестила его, и он молча взял узелок, измученно улыбнулся в ответ на радость в ее глазах, но тотчас вся она неузнаваемо переменилась, отшатнулась от него и, слабо вскрикнув, понеслась прочь; Макашин со звенящими в ушах словами «жуть! жуть!» пошел, не оглядываясь, в другую сторону; он вышел за село по пустой

подмерзшей дороге, тонкий ледок свежо похрустывал под ногами, и он торопился, теперь ему казалось, что та самая непреодолимая черта, которую он так и не смог разрушить между собой и людьми, словно переместилась в него самого, и она мешала, жгла, и ему скоро начало казаться, что она скользит впереди него по дороге. Нужно было как можно скорее перейти за черту, она была где-то недалеко, перед ним, но ему казалось, что она все время отодвигается, он много раз видел ее перед собой, стремительную светящуюся нить, она всякий раз выскальзывала из-под ног, и он, время от времени вытирая вспотевший лоб, с неприятным холодком в душе, спешил; он знал, что догонит ее, и тогда можно будет что-то изменить, но она не давалась, и у него постепенно появилось и разрослось смятение; он должен был нагнать и перейти, а она серебристой, голубоватой щелью все время скользила впереди него на дороге. «Стоп,— сказал он себе хитро и остановился, и черта, задрожав, остановилась перед ним,— стоп, стоп,— сказал он, прищурившись, надеясь перехитрить, и стал, затаив дыхание, подкрадываться; черта стояла на месте; он приподнял ногу, замер, торжествуя; черта в тот же момент задрожала, скачком понеслась прочь от него; он закричал, бросился вслед и опять затаил дыхание, когда она была уже совсем рядом.— Не спеши, не спеши»,— приказал он себе и, весь подобравшись, опять рванулся вперед, торжествуя и задыхаясь, крича от радости, и опять остановился, озираясь, он потерял эту ускользающую нить, она исчезла во тьме, и он не знал теперь, куда идти. Что-то привиделось ему впереди, что-то серое шевельнулось, и он опять стал подкрадываться; он ясно видел, что на дороге лежит что-то длинное; было похоже на мертвеца под покровом. Макашин вспомнил белую дерюжку и вытягивающееся тело старика Козева, с холодным, непреодолимым любопытством, зная, что этого нельзя делать, он все же подошел и приподнял край покрывала; перед ним сидел живой ребенок, мальчик лет пяти, со свежим лицом, в расшитой цветами по подолу красивой холщовой рубашке. Макашин изумился, он видел где-то этого мальца, но дотронуться до него боялся. Непривычная нежность заполнила его, и горло задергалось; он присел на корточки, успокаиваясь; ему нужно было успокоиться, он это знал; он подумал, что убегающая перед ним черта была к счастью; он что-то спросил сразу ставшего

болезненно-родным, близким мальчика, но тот молчал и все глядел на него чистыми голубыми, мучительно знакомыми глазами, но в следующий миг мальчик на виду словно засветился, стал уменьшаться.

Макашин с радостным потрясением глядел на него, узнавая и не решаясь узнать; затем, изготовившись, подобрался, прыгнул, выбросив руки вперед, упал на дорогу грудью, и боль остро ударила по всему телу. Странный, пустой, мало похожий на человеческий, стон разнесся в ветреном поле.

В весну сорок третьего года, как никогда, активизировались законы обратного действия; на немереных и несчитанных дорогах указатели все чаще поворачивались на запад, в обратную сторону движения начального периода войны; дороги России, заполненные сотнями тысяч солдат, танками и машинами, являли собой картину ожесточенную и захватывающую, как огромное зеркало, они отражали наступивший перелом в ходе войны, и даже самая будничная деталь тех дней, когда какой-нибудь сибиряк, узбек или латыш в нетерпении подталкивал многотрудным своим солдатским плечом застрявшую в разбитых колеях пушку, машину или повозку со снарядами, уже намертво вписывалась в историю, любой мог не дойти до вершины победы, но каждый, в меру сил и даже сверх того, мостил дорогу к этим вершинам.

Замыслы Гитлера и воплощавшие их силы были безнравственными, глубоко противными человеческой природе. Социальная эволюция не прощает исторической слепоты не только отдельным деятелям, но и введенным ими в заблуждение целым народам и государствам. Наступает момент, срабатывает чуткий и точный механизм, и вот уже ни Гитлер, ни его доверенное и ближайшее окружение не могут понять истинных причин одного, второго, третьего своего поражения; вдруг оказывается, что у противника стойкое превосходство в авиации, в танках, в прочей технике. Роли меняются, и тогда, не в силах взглянуть на происходящее объективно и трезво, начинают придумываться (и в свое собственное оправдание!) одна за другой различные версии о пресловутой загадочной русской душе, вся-то загадка которой в ином социальном, данном революцией образе жизни, в ином руководстве,

выдвинутом народом из самых своих глубин и, следовательно, представляющем и защищающем истинно народные интересы, в иной морали и нравственности, в ином значении ценности человека, в ином взгляде на его предназначение.

Население из Густищ немцы эвакуировали ближе к рассвету; сначала всех собрали километра за два от передовой, в небольшой дубовый лесок, из него дорога шла по склонам глубокого лога, неровно затянутого по дну водой, так что от линии фронта людей можно было отвести незаметно. Пожилой, издерганный офицер-немец, распоряжавшийся эвакуацией, и суетившийся возле него староста Торобов обходили большую, тысячи в полторы, толпу; офицер по привычке хотел всех выстроить в ровную колонну, но бестолковые бабы ничего не понимали, метались вслед за детьми, и не помогали ни зуботычины, ни приклады; все были навьючены какими-то узлами, и все словно в один момент вздрагивали и пригибали головы, когда где-нибудь слишком близко падал шальной снаряд, а падали они довольно часто. Линия фронта тянулась близко и шла неровно, и с той, и с другой стороны время от времени постреливали; офицер в последний раз объяснил старосте, что нужно отвести население отсюда за сорок пять километров, на линию сел Нежить и Черное и там от местных властей получить дальнейшие распоряжения, и самое главное, объяснял он, нельзя допускать каких-нибудь нелояльных действий со стороны населения в отношении германских властей и германской армии; ответственность за это полностью возлагалась на него, на старосту господина Торобова; слушая ломаную речь офицера, вероятно думавшего, что он хорошо говорит по-русски, Торобов мало что понимал, ему лишь хотелось поскорее выступить, почти совсем рассвело, и дальше медлить было опасно. Немцу было безразлично, если в суматохе пострадает народ, бабы и ребятишки, и Торобов понимал, что немец для себя прав, но это не мешало Торобову злиться и молча передразнивать немца, называя его в душе всякими издевательскими именами; он шел вслед за офицером, разъезжаясь ногами в грязи, поглядывая по сторонам и удивляясь, до чего же человек жаден и даже в последний момент может навьючить на себя всяческую рухлядь, вон Володька Рыжий со своей Варечкой тащат зачем-то большое цинковое корыто, Володька приспособил его с по-

мощью лямок за спину, а вот Настасья Плющихина прихватила с собой чугун-ведерник. Рядом с ней Торобов увидел деда Макара с высокой тяжелой палкой и какой-то темной доской под мышкой (не сразу староста понял, что дед Макар прихватил с собой икону Ивана-воина), но не это заставило Торобова отстать от офицера. Рядом с дедом Макаром стояла с двумя сынами Ефросинья Дерюгина, низко повязанная платком, сыны глядели волчатами. Множество мыслей пронеслось в этот момент в голове Торобова; он хорошо помнил, как Ефросинью с детьми увозили в город, знал, что ее упорно разыскивал несколько дней назад Макашин. Первым движением старосты было поздороваться, но он сдержал себя; что бы там немцы ни говорили о временном отступлении, по доброй воле никто не отходил и никто не знал дальнейшего. Торобов встретился взглядом с дедом Макаром, решалась судьба Ефросиньи Дерюгиной и ее сынов, и оба они это понимали; Торобов отвел глаза и безразлично, но так, чтобы это приметили люди, прошел мимо, мало ли чего не бывает в такой толчее, всего не усмотришь, а душегубствует пусть тот же Федька Макашин, если ему не надоело. Уже издали староста оглянулся еще раз; в это время дед Макар, вытирая ладонью слезившиеся глаза, поморгал, глядя на Ефросинью, и, чувствуя ее беспокойство, приблизился к ее лицу, чтобы лучше видеть.

— Ништо, ништо,— сказал он,— этот теперя не станет, живот свой блюдет. За тебя с мальцами сполна-то заплачено. Одному мне только и доверился Григорий-покойник (дед Макар перекрестился неловко), где тебя с мальцами после бегов упрятал. Даже бабе своей, теперь тоже покойнице — Пелагее (дед Макар опять перекрестился), не сказал. Боюсь, говорит, дед Макар, хоть и верная душа, а все баба, и язык у нее с вожжу. А я что? Я уж под саваном хожу, на такого ни один немец сурьезно не глянет. Возьму-то себе хлебца, божьего дара, да картошечки, Илюшку-поганца отгоню от себя и отнесу вам-то к Соловьиному логу,— мало ли куда старый человек бредет. Можа, помирать. Надо ж, такая оказия, что брошенный погреб Фомки-то Кудели и тот пригодился. Чтой-то, а?— выставил дед Макар заросшее, словно мхом, хрящеватое ухо, прислушиваясь. Как раз в этот момент тяжело и долго где-то далеко, за несколько верст, застонала земля, и вскоре темное небо над логом прошили с глухим угрожающим ше-

лестом светлотуманные полосы; многим показалось, что это в небе трещит и рушится какая-то извечная стена. Шум в небе стоял непривычный, пугающий, многие пригнулись к земле и не успели еще опомниться, как новая волна гула и частый рвущийся рев возник в той стороне, куда были направлены неровные, уже таявшие полосы в небе; словно кто-то всколыхнул и рывками затряс землю.

— Наши, наши бьют из «катюш»!— взметнулся из толпы звонкий радостный голос.— У них теперь пушки такие новые! Видать, по Марьину хутору жахнули, там теперя немцев полна коробочка! Все говорят, палит эта «катюша», одни черепушки потом!

— Хватит молоть!— прикрикнул, останавливая зашумевших людей, Торобов, боязливо озираясь.— Двигаться пора, а у вас тут всякие прибаутки. Давай, давай, выходи!

Наконец толпа стала вытягиваться на дорогу, и дед Макар оказался в самой голове двинувшейся массы людей. Правда, у него ничего не было, кроме Ивана-воина на тяжелой кипарисовой доске, но шел он на удивление легко для своих лет, Лукерье послышалось, что он ей что-то сказал, и она, не выпуская руки Илюшки, хотя он и пытался не один раз освободиться от бабки, переспросила.

— Молитву я читаю,— отозвался дед сурово.—Стронули наши-то германца, одолели. А ты иди, иди себе, не мельтеши в очах.

— Свои не разбомбили бы по недогляду,— поопасалась Лукерья,— в темноте бы надо, а тут дня дождались, нехристи, солнышко, гляди, вот-вот выкатится.

— Не станут свои своих,— сказал дед Макар,— сверху-то виднее, кто чей.

Над глубоким логом небо высветило окончательно; люди, растягиваясь все больше, разговаривали мало, шепотом, и если где-нибудь плакал ребенок, оглядывались, начинали недовольно шикать; на выходе из лога дед Макар покрепче прижал икону к себе и сурово, с удивительной крепостью в голосе, так, что слышали идущие вокруг него люди, сказал:

— Вытерпели много, вытерпим и это. Веди нас, Иван-воин, из тьмы кромешной. Народ, сколько ни губи его, потаенное зерно в себе несет, он с этого зерна и зачинается опять потом. Благослови, Иван-воин, на дальшую муку!

— Неужто, дед, в эту доску веришь? — спросил его кто-то сбоку; он не узнал высокого голоса.

— Я тебя не пытаю, что твоей душе надобно, и ты меня не трожь, — сказал дед Макар больше самому себе и уже не проронил ни слова; в поле дул сырой ветер, и люди, выходя из лога, сразу чувствовали себя беззащитнее; пронзительная рассветная рань, наполненная скрытыми яростными и противоречивыми силами и действиями, охватывала их, как бы выталкивала из себя, и они были видны далеко округ; заставив многих в страхе пригнуться, небо над ними опять тревожно и мощно зашелестело, и опять в нем появились стремительные, словно неясные молнии, следы, и это движение в небе с короткими перерывами продолжалось минут двадцать, и всякий раз за ближайшим лесом, в самом средоточии немецких танковых частей и других воинских резервов, катился невиданный огненный вал, сжигая по пути все живое и мертвое, затем с востока, из-под солнца, уже вставшего над задымленным горизонтом, показалась большая группа самолетов, она прошла почти над густищинцами, и люди, не обращая внимания на окрики немцев и старосты, оборачивались, спотыкаясь, и долго провожали их глазами, в которых светилась надежда.

Песня березᅟ



1

У каждого человека, у каждого события есть особые рубежи в развитии и становлении; бывает так, что живет человек в душевном и физическом равновесии, молодо и полновесно себя чувствует, но вот случается даже мелочь порой, в сосуд падает последняя капля, и весь устойчивый, длившийся очень долго порядок нарушается; одни процессы, те, что до этого дремали и о которых вовсе не подозревали, активизируются, выходят на поверхность, и наоборот, то, что было явным до последнего момента, главным, затихает и скрывается, и скоро никто уже не помнит о бурных силах, привлекавших когда-то внимание и восхищение; вдруг все видят, что вот этот определенный человек уже немолод и что все восхождение у него уже позади. Такие же моменты перехода, только в лучшую сторону, бывают в молодости, когда еще вчера нестройная, зыбкая девочка-подросток словно в один момент озаряется таинственно влекущим светом, и отныне у нее иное наполнение и устремление и иная сила действия на других. Есть такие переломные этапы и в народных движениях, в войнах и революциях, с той только разницей, что, переступив еще и еще один рубеж тягчайших испытаний и свалив с плеч очередную беду, народ молодеет в новом, необходимом для полнокровного развития порыве, и в нем хотя еще и продолжается, до полной завершенности, начатое прежде движение, уже появляется зародыш нового, слегка начинает просвечивать очередной поворот исторической судьбы, и чем жизнеспособнее народ, тем решительнее и быстрее свершаются подобные смены.

В знойный июль и в еще более жаркий август 1943 года отгремело яростное ожесточение Курско-Орловской битвы, в ходе которой от невиданного по мас-

штабам количества танков, сходившихся в массовых таранных схватках, казалось, прогибалась земля и от воздушных сражений рушилось само небо. Изрядно поредевшее семейство Дерюгиных во главе с бабкой Авдотьей, ничуть, пожалуй, не изменившейся за войну, вернулось на старое, когда-то обжитое, а теперь разоренное подворье. Из всего села в триста с лишним дворов уцелело девять изб, да и те были без верха, но Дерюгиным повезло, на их усадьбе недалеко от искалеченного сада была оборудована немцами отличная просторная землянка в пять накатов; на эту землянку много было убито лесу; бабка Авдотья, пригнувшись, ахнула, разглядывая толстенные дубовые бревна, положенные в перекрытие, затем от какого-то радостного и горького волнения заплакала и стала ругать немцев.

Первые дни после возвращения прошли в радостной суете; минеры все проверяли вокруг и очищали от мин, а по вечерам словно сами собой собирались вечеринки; появилась и гармошка, девки пели под нее и плясали с минерами, а потом уходили шептаться в темноту; Егор с Николаем тоже ходили на вечеринки; Егор был не по возрасту крупным в кости, по-мужски степенен, и, встречаясь с ним, девки постарше порой оглядывали его совершенно иными взглядами, чем раньше, и в шутку называли «женишком», и он, смущаясь от этого, старался поскорее скрыться. Николай же был тонок и худ; бабка Авдотья заметила, что после возвращения на родимое пожарище он все чаще и чаще станет и задумается, да и книжки немецкие, что собрал в землянке, все рассматривал и шевелил губами; и глаза в такие моменты были у него недетскими, по определению бабки Авдотьи,— нездешними. Каждый клочок, на котором было написано по-русски, Николай подбирал и прочитывал и потом складывал в большой деревянный ящик из-под снарядов; иногда он начинал все это перебирать и раскладывать по разным стопкам и все не по-детски хмурил свои светлые брови. Бабка Авдотья в меру сил старалась не упускать надолго внуков из виду, вокруг было разбросано множество всякого военного снаряжения, оружия и снарядов; Егор нашел на лугу немецкий карабин, запасся пятью цинковыми коробками патронов к нему и все мечтал сходить поохотиться на уток.

Николая же ребята постарше научили колоть с помощью тола дрова, и бабка Авдотья всякий раз после этого гонялась за ним с палкой, но потом и она привык-

ла, хотя и не переставала ворчать и жаловаться; но по ночам ей становилось и в самом деле тяжело, давила темнота; она гнала от себя мысль, что сына нет в живых, и начинала молиться; думала она и о старших внуках, Иване да Аленке, и о невестке, оторванной от семьи совсем уже недавно, два месяца назад, когда немцы насильно забрали здоровых баб рыть окопы, погнали куда-то на реку Днепр. Хотя в прежней жизни бывало всякое, и бабке Авдотье случалось иногда отвернуться в угол и утереть слезы холщовым грязным передником, но с войной старые мелочные обиды и попреки забылись, и вот сейчас, когда она осталась с двумя ребятами, ей казалось, что лучше Ефросиньи и человека в мире нет, и домовитая, перечисляла старуха, волнуясь, и попусту свары не затеет, а уж насчет детей и говорить нечего, и ухожены они у ней всегда, и в пригляде, а работница — на все Густищи славилась, вон, мол, у Захара Дерюгина баба так баба, ломит, как хорошая лошадь...

Хоть и коротки были летние ночи, но еще короче старушечий сон, о чем только не передумает после полуночи бабка Авдотья. И собственную молодость вспомнит, куце отгоревшую в незапамятных временах, пятнадцать еле-еле сровнялось, как батюшка выдал замуж за соседского парня двадцати трех лет, а уже на другой год родила первенца, да затем и повалило, не успеет один умереть, а новый уже в зыбке пищит. Из одиннадцати лишь Захар и остался чудом каким-то, и по знахарям ходила советоваться, и к доктору в город ездила с мужиком, ничего не помогало.

Бабка Авдотья лежит в темной землянке и слышит неподалеку сонное, тихое дыхание внуков, и это ее несколько успокаивает. В землянке и дух тяжелый, давит, узкое окно, защищенное снаружи насыпью, еле угадывается; бабка Авдотья думает, что надо было бы срыть землю у окна, освободить его для света и воздуха, но решить что-либо окончательно не может, боится. Все бывает, и немцы, гляди, назад воротятся и бомбить зачнут, горе да нужда всех научили подальше глядеть. Впрочем, заглядывать совсем далеко, ну хоть бы в середину следующей зимы, бабка Авдотья страшится; чем кормить ребят, как зиму перебедовать? Она опять думает о невестке, и ей кажется, что за дверью в выходе беспокоятся куры, уж как бы хорь не подкрался, волнуется она и в одной рубашке идет посмотреть; петух

и курица на месте, в клетушке, и бабка Авдотья, нащупывая ступеньки босой ногой, совсем выходит из землянки, открыв вторую дверь, зябко ежится, в мире стоит туман; видать, дождя долго не будет, решает бабка Авдотья, ступив несколько шагов в сторону и чувствуя ногами прохладную росу.

В небе уже прорезывается рассвет, на востоке, над далекими Слепненскими лесами, заметно проступила серость; испугав бабку Авдотью, рядом закричал петух, да так красиво и протяжно, что в мире многое словно бы переменилось; не было слышно ни души, только голос птицы, от которого вся нечисть с лица земли уходит.

Перекрестившись, бабка Авдотья еще послушала, как тихонько шумят яблони, и вернулась в землянку, но уже больше не смогла уснуть и, едва стало светать, оделась и опять вышла. В ней словно проснулась старая крестьянская привычка вставать до свету и хлопотать по хозяйству, но сейчас не было ни коровы, ни овец, ни свиней, да и печь топить не надо, никакой печи просто не было, и бабка Авдотья неприкаянно ходила по саду, услышав со стороны усадьбы Володьки Рыжего какие-то металлические стуки, сходила посмотреть, что это он делает, поговорила с ним и, вернувшись, привычно обратилась мыслями ко внукам.

Братья, хотя и от разного семени, были удивительно схожи, и бабка Авдотья, иногда отдыхая от непрерывной хлопотни и заботы, засмотревшись на внуков, думала, что они как двояшки, до того у них иногда было одинаково серьезное выражение в лицах, а происходило оно от сведенных вместе и сросшихся на переносье, еще с рождения, у одного — пшеничных, у другого — темных бровей. Вот уж никак не думала бабка Авдотья, что притерпится к своей доле, к тому, что старшего внука Ивана угнали в Германию и он теперь не вернется, что надо доглядать за младшими, пока они вырастут, и руководить ими, и попробуй их накорми каждый день, дай им толк. И подумать-то некогда, парням отец нужен, мужик, тогда и пользу жди, а так хотя бы концы с концами свести. Время-то пролетит, не увидишь, туда-сюда, Егорушка, гляди, и женится, в службу возьмут, а вот Николай — не поймешь его.

День начался и покатился своим путем; внуки похлебали реденькой мучной болтушки и тотчас куда-то скрылись, бабка Авдотья и не заметила. Примостившись у выхода из землянки, подслеповато щурясь

и близко поднося шитье к глазам, она стала латать Егоровы штаны, с трудом протягивая через загрубевшую от грязи ткань толстую цыганскую иглу и прихватывая парусиновую латку через край. Да еще вот надо Егору сказать, сени над выходом из бунки-то сделать, думала она, Володька Рыжий вон уже кругом огородился, и от снегу хорошо, и теплу защита, меньше будет ветром выдувать. Это хорошо, хоть ребята дружные, все к себе, как кроты в нору, волокут. Надо вот еще топлива запасать, Егору сказать, Володька Рыжий коляску вон уже соорудил, вот бы обзавестись такой, и горя мало, хоть дров подвезти, хоть иное что. Вчера Володька Рыжий, видела, целых два бревна припер, вдвоем с Варечкой тянули — что твои кони. Надо Егору сказать, сходил бы поглядел, малый-то с головой, может, и сам бы что такое придумал.

Бабка Авдотья, как всякий живой человек, знала все на селе и помнила все с детского возраста, когда колхозов еще и в помине не было, а был барин Авдеев Федор Анисимович, она еще сама работала у него на поденке босоногой девчушкой, полола свеклу, и он приезжал с управляющим на поле в коляске. Она и Володьку Рыжего помнила еще мальцом, а затем и парнем, нахальным вырос, девкам проходу от него не было, а сам-то весь был рыжий, так и золотился. Почему-то она всегда недолюбливала его и теперь думала о нем нехорошо и с легкой завистью; говорили на селе, что он где-то наткнулся на немецкую сапожную мастерскую, брошенную в машине, набрал множество всякого сапожного товару — и головок, и подметок, и голенищ, и теперь ему век жить не прожить всего этого, а ведь на что ему столько, думала бабка Авдотья неодобрительно, ни детей, ни внуков, сам да Варечка, все только в свой рот. Вот еще ходят слухи, что власти скоро начнут отбирать все немецкое, так хоть бы и у него нашли да забрали, так разве у него отыщешь, небось в лесу где закопал.

Бабка Авдотья оторвала глаза от шитья, насторожилась, она уловила голос Николая и, не поднимаясь с места, стала вглядываться между яблонь, но Николай скоро сам выбежал из-за землянки, затеребил старуху за рукав кофты и возбужденно громко заговорил:

— Бабуш, бабуш, скорей! Меня послал Егорка, там картошечное поле нашли. Скорей мешок дай, народу набежало много! Скорей, бабуш, скорей!

— Да погоди ты,— сказала бабка Авдотья с досадой и в то же время торопливо поднимаясь и охая.— Где же я тебе сейчас мешок возьму? Всего и есть два мешка, и те в деле, в одном тряпки, другой тоже разной всячиной набит.

— Скорей, бабуш, скорей,— закричал Николай, перебирая от нетерпения грязными ногами, и бабка Авдотья сама заторопилась, как-то враз захотелось ей отварить чугунок картошки, даже промеж грудей заныло от желания втянуть в себя свежий картофельный душок, да еще бы в горячее сальце обмакнуть, да в рот, обмакнуть, да в рот.

Она спустилась в землянку, вытряхнула из мешка в угол консервные банки, что нашел Егор в лесу; Николай тут же выхватил у нее из рук мешок и умчался, перемахивая через две-три ступеньки, а бабка Авдотья пошла посмотреть свое хозяйство: курицу с петухом, пока единственных на все село, старуха не без причины опасалась за их безопасность и сохранность и то и дело принималась манить их пронзительным и резким голосом, хорошо слышным на другом краю села. В кармане у нее всегда была горсть какого-нибудь корма, и потому и курица и петух привыкли к ее голосу и, заслышав его, опрометью бежали к землянке, по-змеиному вытягивая головы меж густых стеблей бурьяна. Бабка Авдотья приучила их кормиться с рук, и притом старалась побольше дать курице, а петуха отталкивала, называя его «турком» и «живоглотом». И хотя старуха по привычке много шумела и много выговаривала своему птичьему хозяйству, она любила курицу с петухом и в душе гордилась, что одна она на селе имеет кур, и бабы-соседи уже сколько раз заговаривали, что на весну, коль у бабки Авдотьи случатся цыплятки, так чтобы как-нибудь обзавестись парочкой на семя. Бабка Авдотья никому не отказывала в надежде, благо, курица стала нести яйца, уже с десяток набралось, и бабка Авдотья все собиралась сходить в город, продать на соль да на мыло, коль повезет. Да вот надо бы еще кирпича где-нибудь накопать сотни две на печь, пора уже и печь ставить, а то не заметишь — и морозы прихватят, придется Володьку Рыжего просить, может, за шинель немецкую (ведь почти новое сукно) и возьмется. Бабка Авдотья уже несколько раз щупала и рассматривала эту предназначенную в уплату за печь шинель (жалко было) и думала, что, если бы не нужно класть

печь, из шинели можно бы сделать хорошую одежку Егору; Марьяна на том конце шьет, да и родня она им дальняя, по матери, дорого не стала бы ломить.

Убедившись в сохранности курицы с петухом, бабка Авдотья опять села чинить Егоркины штаны, затем тотчас принялась за другое дело: взяла старый, найденный на пепелище топор, кое-как насаженный Егоркой на топорище, и принялась рубить сохнущий бурьян в саду, связывать его в небольшие пучки, сносить их поближе к выходу из землянки и складывать в одну кучу, чтобы зимой удобнее было брать и жечь в печи. Какое-никакое — тоже топливо. Она связала более сотни пучков и с трудом распрямила ноющую спину, придерживаясь сзади за нее руками и чувствуя от этого облегчение; с тех пор как они вернулись в родные места, прошло уже больше двух недель, и привычная жизнь с ее заботами укрепила и ее самое, и внуков. Держась за поясницу, бабка Авдотья только на минуту подумала о себе и о старости, а там, зорко оглядывая сад и огород, стоявший в густом и ровном бурьяне, который к осени весь нужно будет обязательно повыдергивать, а землю вскопать, бабка Авдотья уже намечала, что где весной она посадит, где лук, где морковку и бурак, а где разместятся огурцы и помидоры. А то можно и меру жита посеять, если бы удалось достать зерна на семя. Трудное дело, но все говорят, что семена дадут в помощь откуда-то с Урала и из Сибири, да ведь если все будет хорошо и немец назад не вернется, то земля сама по себе семена произведет, растут же разные травы и деревья, хотя их никто не сажал и не сеял; так вот отчего-то и на базаре неизвестно откуда появятся лоточки с семенами, и будут их продавать ложечками и поштучно, а то и по селу какая старуха пройдет, обвешанная узелками, и можно будет купить семена у нее. Семя, оно неизвестно откуда по земле переносится и куда девается, когда в нем нет надобности. Успокоившись таким образом насчет семян, бабка Авдотья вспомнила, что припрятала в укромном месте пять немецких лопаток, острых да удобных, с выточенными на диво черенками. «Надо их непременно перепрятать,— сказала она себе,— а то ведь и уволокут, теперь лопата любому нужна, а по весне ей и цены не будет». Она стала подыскивать, куда бы ей засунуть лопаты, чтобы они не портились от сырости да не ржавели, но в это время как раз и показался Егорка, который, тяже-

ло перегнувшись, нес полмешка картошки на спине; Николай с раздувшейся от той же картошки пазухой, придерживая ее руками, неловко шел позади, и лицо у него было радостным и важным. Бабка Авдотья тотчас подумала, что обязательно надо отобрать с ведро мелочи на семя и зарыть ее поглубже, чтобы даже при нужде самой нельзя было достать. Она помогла Егорке опустить мешок на землю у входа в землянку и тотчас заглянула в него. Картошка была еще влажная, красноватая; Николай высыпал картошку из-за пазухи и из карманов на землю, и бабка Авдотья собрала ее в один мешок, затем подумала, высыпала на землю — посушить на солнышке. Егорушка и Николай прихватили опорожнившийся мешок и опять ушли, а бабка Авдотья принесла воды и решила немного сварить картошки, и когда Егор с Николаем вернулись, она стала кормить их. Картошка была недосоленная (соли у бабки Авдотьи оставалось всего с фунт, и она ее экономила), но братья ели дружно, жадно и весело. Бабка Авдотья выложила себе в миску из щербатого чугунка разварившиеся остатки и, вдыхая пахучий картофельный пар, тоже стала есть, она подобрала все до крошки и, вздохнув, сказала:

— Вы бы сходили-то к Володьке Рыжему, он себе там коляску какую наладил на двух колесах. Можно и дрова возить. Ты, Егорушка, может, и сумел бы такую, а Колька бы помог, а то как же без коляски-то? Без коляски никак нельзя, бревно какое приволочь и другое что. Картошка там еще есть на поле?

— Сегодня к вечеру уже не будет,— сказал Егор, поглядывая исподлобья и стараясь, чтобы бабка Авдотья поняла важность его слов.— Мы с Колькой сейчас опять пойдем.

— Я тоже с вами,— торопливо сказала бабка Ав дотья,— чего же я буду сидеть. Хоть с пуд наберу, и то на неделю...

Она заторопилась, не стала мыть посуду, и они до вечера рылись на картофельном поле, перекапывая землю и подбирая редкие клубни, и им всем вместе удалось набрать почти мешок картошки.

На другой день Егор с Николаем ходили смотреть, как Володька Рыжий сделал коляску, и затем Егор с помощью Николая стал сооружать такую коляску себе. Подходящие колеса они отыскали на разрушенной, заросшей бурьяном бывшей МТС, оттуда же прита щили ось, и на третий день коляска была готова, на ней

можно было возить и тяжелые бревна и груз полегче, и братья тут же ее опробовали: притащили с усадьбы МТС сотни три кирпичей на печь, выломав их из фундамента разрушенного дома, а вечером, несмотря на усталость, Николай опять долго шелестел газетами трехчетырехлетней давности, перелистывал пособия по животноводству и учебник физики, он сидел, шевеля губами и старчески морща лоб. «Вот блаженненький»,— молчаливо пожалела его бабка Авдотья; еще раньше Егор сделал из снарядной гильзы коптилку, а бензину братья достали два ведра из бака брошенного в лесу немецкого танка, и бабка Авдотья рассчитывала, что запаса этого горючего им на зиму хватит, потому, взглянув на чадящий каганец, в который для безопасности добавляли щепоть соли, она и на этот раз ничего не сказала, лишь по привычке подслеповато и недоуменно посмотрела на Николая и подумала, что надо бы ему побольше да посытнее еды.

Убравшись в своем немудреном хозяйстве, она остановилась посреди землянки, послушала, как ворочается и сопит, устраиваясь на ночь, Егор, опять жалеючи поглядела на взлохмаченную голову Николая, сосредоточенно впившегося в книжку, и вздохнула.

— Говорят, Володька Рыжий-то где-то на немецкую мастерскую наткнулся. Целую, говорят, машину сапожного товару захапал, перетащил на усадьбу, в разных местах и зарыл. Варечка, говорят, уже на базар в город бегает, по двести рублей за подметки дерет. Вроде Настька Плющихина видела.

Пока бабка Авдотья говорила, Егор затих, прислушиваясь и припоминая, что вчера вечером видел деда Рыжего, когда перепрятывал в другое место свой карабин; дед Рыжий пробирался куда-то с лопатой, и у Егора тотчас появилась мысль выследить его.

— Да еще кума Фетинья говорила надысь, будто скоро с обыском власти пойдут, военное добро искать. Приказ такой вроде есть, все трофейное власти сдать,— бабка Авдотья довольно уверенно выговорила непривычное слово «трофейное», хотя маленько замялась.— Да я ей говорю, у нас-то искать нечего, пусть у других холопов ищут. Вот бы Володьку Рыжего и потрясли, на кой ляд ему ворованного-то столько добра?

Так как ни один, ни второй внук не поддержали разговора, бабка Авдотья помолилась в угол, в котором она пристроила найденную полуобгорелую, с почти осы-

павшимся ликом икону Толгской божьей матери, считавшуюся чудотворной, и тоже стала устраиваться на ночь, тяжело вздыхая; вскоре она затихла, и Егор легко соскользнул с нар в одних заплатанных холщовых подштанниках чуть ниже колен.

— Колька, а Колька, ты слышал, что бабушка говорила?— зашептал он, подойдя к брату.— Про деда-то Рыжего? Давай-ка поглядим за ним.

— А ты про что?— уставился на него Николай, размазывая с пальцев копоть, отчего-то очутившуюся на них, по лицу.— Это про деда Рыжего-то, про подметки?

— Выследить бы, ты слышал, их двести рублей пара на базаре. Как раз бы на соль, да жита бы пудов шесть на зиму запасли.

— Чужое оно, Егорка,— возразил Николай, хмурясь,— я-то знаю, где у него один ящик закопан,— неожиданно добавил он,— у него на одной яблоньке яблоки еще висят с одного боку, так я как-то вечером залез...

— Ну, ну, да говори же,— затеребил его Егор, то и дело поддергивая от нетерпения подштанники, державшиеся на одной большой, когда-то белой, а теперь затертой до темного блеска пуговице, и Николай, покосившись в угол, где спала бабка Авдотья (ему в этот момент послышался оттуда шорох), понизил голос.

— Стал я шарить руками по веткам,— сказал Николай,— так ничего не видно. Слышу, кашляет кто-то, ну я затаился. А потом деда Рыжего вижу, что-то он неприметно закапывает под той яблоней. Я с час сидел, комарье чуть не загрызло, бабка спрашивала еще, отчего под глазами распухло.

— Да ладно, распухло, ты лучше скажи, место запомнил?

— Там же, чуть сбоку от яблони,— сказал Николай, поглядывая на книжку.

— Пойдем,— решительно сказал Егор и стал натягивать штаны, прыгая на одной ноге.— Тшш, бабушку не разбуди.

— Подожди, Егорка,— слабо запротестовал Николай и повторил торопливым шепотом, что подметки-то чужое добро, раз их нашел дед Рыжий, но Егор не стал его слушать; он быстро одевался, и вскоре они вышли на улицу, поеживаясь от осенней прохлады и поджимая босые ноги; было уже часов одиннадцать; и только на другом конце села слышались голоса.

— Это минеры с девками хороводятся,— по-взрослому сказал Егор и зевнул.— Они в Слепню за восемь верст к ним ходят третий день, у нас-то мины очистили. У них Анюта Малкина за коновода, Митька-то партизан еще до войны по ней вздыхал. Он, как вернулся третьего дня, узнал-то про Анюту, грозился за минеров ей все ноги повыдергать и башку задом наперед возвернуть. У него, говорят, четыре ребра нету, совсем его от войны отпустили.

Егор принес лопату, затем, подумав, воткнул ее в землю, приказал Николаю подождать и исчез в темноте; вскоре он вернулся с немецким карабином за спиной и, довольный собою, сказал Николаю идти следом. Они двинулись через улицу, к усадьбе Володьки Рыжего; по небу шли тучи, порою открывая звезды, со стороны глухой теперь усадьбы МТС доносилось утробное сычиное гуканье. Николая вскоре полностью захватило ночное дело, придуманное Егором, и когда они очутились в саду Володьки Рыжего, он провел Егора к крайней от горожи старой яблоне-лазовке и показал место; Егор снял с себя карабин, отдал его держать Николаю, а сам взялся за лопату и вскоре действительно наткнулся на что-то твердое.

— Есть!— приглушенным сипловатым от волнения шепотом сказал он.— Ящик, должно, тяжелый, черт... Ты смотри, смотри лучше, а то прихватит, он, знаешь, хитрый, дед-то Рыжий, хребет вмиг перешибет.

Николай, чтобы лучше видеть, отошел шагов на пять в сторону, поближе к землянке Володьки Рыжего, а для пущей безопасности присел. «Хорошо, что теперь собак ни у кого нет»,— подумал он, до боли в глазах всматриваясь в темноту; в одно время ему показалось, будто что-то большое и высокое движется к нему, и он с неприятным холодком отступил назад, выставив карабин перед собой, но высокая тень сразу исчезла, и он понял, что это ветка от дерева; он умел стрелять и даже как-то издалека попал в самую середину донышка консервной банки и, вспомнив об этом, сразу успокоился. Его позвал Егор; он наконец вывернул ящик из-под земли, и они сразу определили, что это ящик из-под немецких мин, с двумя ручками.

Они не заметили нависшей над ними бесшумно приблизившейся высокой тени и опомнились, только когда Володька Рыжий, сграбастав их обоих за шиворот, приподнял над землей, словно хотел стукнуть лба-

ми; он увидел их перекошенные в страхе лица и, рассмотрев, поставил на землю.

— Вот оно что,— сказал он, не выпуская их из рук.— Соседи, значится, сыны Захаровы...

Он ловко сдернул у Николая карабин с плеча.

— А ну садитесь,— приказал он сурово и сам опустился на корточки перед ними, поставив карабин между ног; Николай видел темный, влажный блеск его глаз, слышал у себя на лице его шумное, еще не устоявшееся дыхание и ежился все больше.

— Мы не хотели, дедуш,— сказал он, торопясь,— ненароком получилось...

— Пусти нас, дедуш,— поддержал брата Егор.— Мы не виноваты, есть нечего совсем...

Зорко следя за братьями, Володька Рыжий хотел закурить, но, поопасавшись, что его пленники в это время зададут деру, лишь шумно поворочался; попадись в его руки не сыновья Захара, а кто-то другой, он бы долго не раздумывал, тут бы стащил с них штаны и, отломив от яблони подходящую ветку, совершил подобающее правосудие.

— Чертенята,— буркнул он угрюмо.— Можно было по-хорошему, по-соседски, прийти да сказать, так и так, мол, разве я пожалел бы для Захаровых сынов? Как же так?

— Дедушка...

— Ладно,— оборвал Володька Рыжий, внезапно решившись.— А ну берите ящик, волочите, да чтоб ни одна живая душа не знала. На́ твою пушку, Колька, гляди сам не поранься... нехорошая это штука. Надо бы забрать ее у вас, да ладно, придет время, сами бросите. А ну живо! Живо!— прикрикнул Володька Рыжий на оторопевших ребят.— И чтоб никому ни звука, чертенята. Ну, катитесь отседова поскорее, а то передумаю.

Он постоял, прислушиваясь, как улепетывают братья с тяжелым ящиком, и, сам дивясь своей щедрости, наконец-то свернул толстую самокрутку, закурил; братья тем временем, затащив добычу подальше в поле, отдышались и, убедившись, что все тихо, освободили защелки до отказа набитого ящика, откинули крышку. Это были действительно отличные, гладкие на ощупь, как кость, подметки к солдатским сапогам, уложенные плотными рядами, и ребята, волнуясь, потащили ящик дальше, в обход, и только когда зарыли его позади своей

усадьбы в поле, да еще вдобавок натыкали на этом месте сухого бурьяну для приметы, успокоились.

— Теперь-то зима нам не страшна,— сказал Егор,— переживем. Тут их пар сто будет.

Он отнес и спрятал карабин, и они, далеко за полночь, прокрались в землянку; бабка Авдотья спала, тихонько, редко посапывая; Егор тут же заснул, а Николай еще долго ворочался, почему-то все время вспоминая холодную тяжесть карабина на спине, но в конце концов сон сморил и его, и он проснулся поздно, когда в землянке никого уже не было. Он еще полежал, блаженно щурясь и потягиваясь всем длинным и худым телом, но, услышав сквозь неплотно прикрытую дверь какие-то крики, вскочил, натянул на себя латаные-перелатаные и оттого неправдоподобно тяжелые штаны, набросил немецкий солдатский френч с укороченными и подшитыми рукавами и выскочил на улицу.

— Деда Рыжего кто-то обокрал, зараза,— весело ухмыляясь, сказал ему Егор, давно слушавший истошные крики на другой стороне улицы.— Там полсела собралось, Варечка орет. Наша бабка тоже пошла поглядеть. Ты послушай, вот орет, а, вот орет! И до чего же ей чужого добра жалко.

Николай ничего не сказал, взял ведро и пошел по воду, на этот раз ни Егор, ни бабка Авдотья не принесли воды, а Николаю хотелось пить.

2

Когда-то задолго до организации колхозов, когда и сам Володька Рыжий был дюжим двадцатипятилетним мужиком, по прозвищу «Рыжий», потому что и тогда его лицо покрывала могучая ярко-рыжая молодая щетина и он соскабливал ее лишь дважды в месяц, он водил знакомство с кочевыми таборами цыган; в селе поговаривали потихоньку, что он помогает цыганам укрывать краденых лошадей и имеет от них немалый барыш. Слухи эти держались упорно и вскоре распространились далеко по окрестным селам. Рыжий Володька тогда только-только женился, взял соседскую девку-красавицу Прасковью, и вот тогда-то на него рухнул первый удар судьбы. Из соседнего села Столбы увели двух лошадей, и следы показывали вроде бы в направлении Густищ; подхватился Володька Рыжий, лишь

когда огненные клубы уже ворвались в его избу; Параша завыла рядом дурным голосом, и пока Володька Рыжий соображал, что делать, метнулась в сени, в тот же момент ударил в открытую дверь огненный вихрь: рухнула в сенях крыша. И только жалкий, никогда не слыханный ранее вопль остался в памяти Володьки Рыжего, ударом ноги он проломил раму и метнулся в темноту, задыхаясь и ничего не видя, и тут бы был ему конец, не начни сбегаться к пожару люди; кто-то из поджигателей, карауливших в темноте, сбил его с ног ударом кола и бросился бежать; Володьку так и нашли в саду с проломленным черепом, но был он медвежьего здоровья и силы и через несколько месяцев уже в отстроенную с помощью советских властей избу привел вторую жену, ту самую Черную Варечку, которой так боялись в Густищах: поговаривали, будто она из ведьмовского журавлихиного рода, и эта недобрая слава передавалась всей женской половине семьи из потомства в потомство. Да и впрямь после свадьбы словно подменили Володьку, стал он молчалив и с утра до темной ночи копался по хозяйству, а черноголовая (что уже было в диковину в Густищах, в исконно русском селе, где люди все сплошь были белесы да светлоглазы), с сумеречными бездонными глазами Варечка на любом празднике выступала впереди мужа, и он, известный доселе бабник и балагур, глаз в сторону не мог скосить, глядел на свою Варечку, как на икону. И хоть оказалась она неродеха, любил он ее в молодые годы дико, что тоже было невиданным делом в Густищах, где жену в семью испокон веков брали прежде всего как работницу, и об этом тоже шептались бабы на селе, и мужики на сходках не упускали случая позубоскалить, хотя и не решались заходить слишком далеко. Володька Рыжий, кроме медвежьей силы, еще и тогда вспыхивал, как порох, хватался за что попало, топор так топор, подвернется нож — и нож пойдет в дело. На войну его не взяли, потому что после пролома черепа нападали на него время от времени какие-то столбняки; сам он говорил, что в это время застилает глаза чернота и во лбу начинается дикий вертеж, отчего нестерпимая боль доходит до самых пяток.

Не все на селе верили Володьке Рыжему и полагали, что это стараниями Варечки не попал он на службу, да и при немцах отсиделся в стороне из-за своей болячки, лишь на диво всему селу отпустил густую, окладистую,

как у доброго досоветского батюшки, бороду, сразу превратив себя этим в почтенного старика, хотя и было ему всего лишь под пятьдесят. Бабы, оставшиеся одни, откровенно завидовали Варечке, но она при этом всегда насмешливо покачивала головой и тихим голосом удивлялась, до чего же люди недобрые стали, и всякий раз укоризненно спрашивала, какой же теперь из ее Володьки мужик? «Был да весь вышел,— говорила она, поджимая красивые злые губы и надвигая ниже на глаза платок.— Где уж,— говорила она, словно в чем виноватая,— не до жиру теперь, быть бы живу, и то ладно, и то слава богу». И все понимали, что она изворачивается, боится за своего Володьку, сними с которого бороду, сошел бы он вполне не то какой-нибудь солдатке, но и девке, пересидевшей в напрасном ожидании все сроки. Боялась Варечка за своего Володьку, потому и звала его «дедом», рассказывая каждому встречному и поперечному о его болезнях да слабостях, но так как он был почти единственным стоящим мужиком на все село, да и мастером на все руки, то и пользовался беспрерывным спросом, особенно когда немцев отогнали и нужно было устраиваться на старых пепелищах, обзаводиться хоть каким-нибудь жильем на зиму, а плотницкий труд всегда был делом мужичьим, да так и осталось. Баба за войну наловчилась и косить, и пахать, и печь могла сложить, и крышу перекрыть под гребенку с глиной, а вот связать раму или дверь так и не осилила.

Растрепав черные с густым смоляным отливом волосы, в это утро кричала Варечка истошным безобразным криком, почти воем, металась по своему саду, собирая все больше и больше людей вокруг; Володька Рыжий то ходил за ней, уговаривая, затем плюнул и скрылся в землянке, но не выдержал и скоро вышел к людям.

— Владимир Парфеныч, а Владимир Парфеныч,— тут же протиснулась к нему Настасья Плющихина, у которой он обещал сегодня делать рамы и которая по этой причине была заинтересована в происходящем больше других.— Что за морока стряслась с твоей бабой? Чего она голосит-та, ай побил? — сверкнула она красивыми насмешливыми глазами, и Володька Рыжий, особенно отличавший Настасью, хмурясь, развел руками:

— Да, видать, хворь какая на нее нашла, видишь, носится как оглашенная. Кто вас, баб, поймет?

— Ой, брешешь, Парфеныч,— засмеялась Настасья,— что-то не то говоришь. Ты погляди, погляди на нее, ну точно стрекозел носится, прямо самолет, бабоньки.

Варечка, заметив, что муж вполне спокойно стоит в толпе насмешливых баб, да еще рядом с Настасьей, у которой он что-то подозрительно долго навешивает рамы, метнулась в землянку, тотчас выскочила оттуда с веревкой и, подбегая к мужу, сунула ему в руки; бабка Авдотья, стоявшая неподалеку, видела ее потемневшие огнем глаза.

— На, черт рыжий! — кричала Варечка.— На, иди удавись, чтоб тебя холера источила, чтоб тебе на том свете черт бороду выдрал. Иди, иди, удавись, раззява, моченьки у меня больше нету с тобой, неспособный!

Володька Рыжий с веселыми искорками в глазах шутя отталкивал ее от себя, а бабы вокруг весело и заразительно смеялись; и бабка Авдотья тоже залилась тоненьким смешком, придерживаясь за грудь; всеобщее веселье неудержимо охватывало собравшихся, и даже ничего не понимающие ребятишки хохотали со всеми. Но только вдруг Володька Рыжий неуловимым движением выхватил веревку из рук жены и тотчас полоснул, не жалея ее, по спине. Варечка взвизгнула, как-то боком подпрыгнула и бросилась прочь, подхватив спереди длинную юбку; в глазах у нее мелькнуло недоумение, а Володька Рыжий, догнав ее, теперь рубанул сложенной в крупные кольца веревкой уже пониже спины, Варечка от этого еще раз косо подпрыгнула.

— Я тебе дам, паскуда,— удавись,— кричал Володька Рыжий, опять настигая жену и прицеливаясь.— Я тебе удавлюсь, мать твою ведьму в три погибели!

— Ратуйте! — завизжала Варечка не своим голосом.— Убивают! Ох, мамоньки мои, ой, ратуйте!

Почему-то никому не было жалко Варечки, но веревка у Володьки Рыжего распустилась, он наступил на один конец и ткнулся с размаху бородой и руками в землю, снова вскочил на ноги и, наладив веревку, увидел, что Варечка бежит уже далеко в поле.

— Чтоб тебя миной разорвало там, живоглотину! — пробормотал он, отряхиваясь от земли и искоса поглядывая на улицу, где продолжали оживленно веселиться бабы; он еще раз обругал жену, потому что она его порядком разозлила, тем более ему и самому теперь было жалко подметок, хотя он и не подавал виду, да

и сказать открыто об этом было нельзя, добро-то военное, а все трофейное приказывалось властям сдавать в сельсовет. Он вспомнил, что сегодня надо бы доделать рамы у Настасьи Плющихиной, и мысли о работе окончательно его успокоили; не обращая больше внимания на баб, все никак не желавших расходиться, он, собрав нужный инструмент, подвострил топор, и потихоньку его охватило какое-то блаженное, тихое состояние.

Листья на яблонях кое-где уже тронула желтизна, сказывалась близость сентября, и длиннохвостые ласточки, за неимением построек высидевшие птенцов неизвестно где, густо мельтешили в небе; Володька Рыжий думал, что вместо Игната Свиридова, крестного Захара Дерюгина, вернувшегося из партизан, председателем колхоза вполне бы могли выбрать и его, Владимира Григорьева, но обществу да властям не укажешь. «Да оно так и лучше,— думал он,— в сторонке поспокойнее, тот же Игнат теперь не знает ни дня, ни ночи, вчера вон, говорят, план на посев прислали, а копать надо лопатами, на трудоспособного по пять соток в день определили. А там, говорят, скоро двадцать коней в колхоз пригонят откуда-то с Азии, конюшню надо строить да сено хоть по заморозкам запасать... Вот тебе и председательская масленица, хочешь — вой на луну, хочешь — вешайся. Но зато немец теперь уже далеко, слышно, под Киев его уже загнали, а живая кость мясом обрастает»,— с этой мыслью и со спокойным ощущением долгой и привычной работы Володька Рыжий пришел к землянке Настасьи Плющихиной и принялся за дело. Рамы и двери были почти готовы, нужно было лишь подогнать их окончательно да навесить, и пусть Настасья зимует на здоровье со своим мальцом; баба-то больно хороша и, несмотря на голодное время, ходит в теле; от таких мыслей Володька Рыжий отложил топор и решил перекурить. Одну раму он уже вставил в гнездо и теперь, сидя на толстом чурбаке, тщательно оглядывал ее, пытаясь отыскать какой-нибудь изъян, но все было хорошо, и Володька Рыжий вторично прощупал свою работу глазами. Он подумал о том, что теперь по всей земле, где недавно прошла война, стучат топоры и белеют новые рамы да двери; на тот год, гляди, и в Густищах начнут подыматься срубы; в газетах пишут о скором окончании войны, из госпиталей потихоньку возвращаются мужики, уволенные по чистой, гляди, и младенцы начнут появляться на свет

божий; Володька Рыжий от своих мыслей заволновался и стал думать о жене и Настасье Плющихиной, сравнивая их, и пожалел себя; загублена жизнь с этой ведьмой, ни сласти от нее, ни приплоду. А человек без детей как муха и комар, дохнул мороз — и не стало ни его, ни памяти о нем; Володька Рыжий нашел старое худое ведро, разжег в нем огонь и, дождавшись, пока образуются уголья, раскалил в нем железный шкворень и прожег в дверном косяке, в намеченных местах, глубокие отверстия; крючья для дверных навесов были чересчур толсты и могли попортить косяк, а сверла пока не было, хотя оно в плотницком деле совершенно необходимо. Еще раз все разметив и обмерив, Володька Рыжий легко поднял тяжелую дверь, приладился и повесил ее на крючья; она не закрывалась, но это была небольшая неточность, и Володька Рыжий не стал больше снимать дверь, а подтесал ее верхний угол рубанком, и после этого дверь плотно вошла в гнездо. Работая, Володька Рыжий невольно все время думал о Настасье Плющихиной, и с ним происходило нечто непонятное; он словно помолодел, и в теле росло приятное напряжение; подходило время обеда, и Володька Рыжий заторопился, собрал инструмент и поставил его в землянку за дверь, чтобы кто случаем не позаимствовал. Он пришел домой, жены еще не было, и он сам, пошарив в чугунах и на полках, поел; он торопился, и с женой не хотелось встречаться, и нужно было успеть сделать еще одно дело; он нашел осколок зеркала, достал овечьи ножницы и бритву и в каком-то совершенно веселом настроении сначала срезал бороду, затем, густо намыливая щеки, побрился. И свое лицо после этого показалось чужим и непривычным, он несколько минут растерянно разглядывал себя, тер подбородок; он сразу превратился в нестарого еще, приятного мужика с веселыми глазами и огненной головой; в жестких и густых волосах у него не было ни сединки, и он, держа осколок зеркала перед собой, прошелся туда и обратно по землянке, даже слегка пританцовывая, и, оставив на столе все как было, словно чувствуя томительное освобождение от всей своей прежней опостылевшей жизни, выскочил на улицу. На выходе он столкнулся носом к носу с женой, и она, увидев его, оторопело отпрянула в сторону, он, весело подмигнув ей, прошел мимо; с самого начала, как только он по настоянию жены завел бороду, она тяготила его, но теперь немцев-то не будет больше

и борода ни к чему, он еще успеет покрасоваться да повольничать, жизнь, она штука важная и назад ни к кому не вертается. Он ждал, что жена окликнет его, но она, потрясенная сверх всякой меры оголенным, молодым лицом мужа, молчала, и только когда он отошел далеко, спохватилась: «Сбесился совсем, старый черт!» — бросила она вдогонку и стала прибирать в землянке, иногда надолго останавливаясь и замирая столбом, пытаясь предугадать, какие еще несчастья и потрясения ждут ее впереди. Володька Рыжий тем временем, все в том же приятном возбуждении, принялся за дело. К двери над землянкой нужно было соорудить до зимы нечто вроде сеней, чтобы и снег не забивал выхода да чтобы и тепло напрасно не выдувалось ветром; Настасья договаривалась с ним об этом, и он обещал сделать чуть попозже, но теперь решил не откладывать, заготовил два столба, бревна для перекрытия, обтесал их, и когда спохватился, начало темнеть и Настасья вернулась с работы, ведя своего мальчонку за руку; Володька Рыжий повернулся к ней, она изумленно ахнула и засмеялась.

— Владимир Парфеныч! — сказала она, пытаясь деланным оживлением скрыть смущение.— Да тебя, как красну девку, хоть под венец станови! А бабы-то тоскуют, мужиков нету, да тебя за это самое под трибунал отдать!

Она подтолкнула сынишку к землянке, сказала: «Иди, иди, ложись, пострел»,— и опять повернулась к Володьке Рыжему.

— Рамы и двери сделал,— сказал он,— можешь, Настасья, принимать работу. На совесть, хоть сто лет держать будут.

— Да я тебе верю,— Настасья повела глазами в сторону, словно хотела что-то добавить, и осеклась.—Сейчас я деньги вынесу, как уговаривались.

— Погодь, Настасья,— остановил ее Володька Рыжий, подходя.— Не надо мне, вон дитенок, пригодятся.— Он притронулся к ее руке, засмеялся.— Баба ты хорошая, я тебе так помогу.

— А Варечка твоя что тебе скажет? — спросила Настасья, все так же играя глазами.— Рад не будешь, Владимир Парфеныч.

— А чего ей лезть в наши расчеты? — Володька Рыжий слегка коснулся пальцами Настасьиной груди.— Послушай, Настасья... ты уж того, я к тебе попозд-

нее заверну, разопьем бутылочку, я захвачу, а ты меня от тяжестей-то моих ослобони, я же еще мужик-то крепкий, а, слышишь? Слышишь, а? Меня вон все дедом величают, а ты погляди теперь, какой я дед? Мне и возрасту всего пять десятков. Это по мужичьему делу в самую спелость тело-то входит, а, Настасья?

— Да что ты, Владимир Парфеныч,— она отстранилась, смеясь.— Ты не прими в злобу, лучше уж деньгами. Я три года как нераспочатая хожу. Было там, правда, одно споткновение, так то не в счет, серьезно там не было. Мужик вернется, а я как в глаза ему гляну? Ты уж меня не тревожь, баба, она на это дело хилая, гляди, в коленках-то и подломится, ты уж пожалей меня, Владимир Парфеныч,— говорила она, смеясь глазами и будто невзначай придвигаясь к нему грудью, и у Володьки Рыжего пошла голова кругом, но он больше не стронулся с места и в ответ на ее смех деланно хохотнул, твердо решив про себя наведаться к ней попозже; небось душа-то человечья не каменная, греховная, думал он, и в этот же день поближе к полуночи опять пришел к землянке Настасьи Плющихиной с поллитровкой самогона в кармане. Но Настасья оказалась не одна, а с девкой-перестарком Анютой Малкиной; та до войны все перебирала женихов, да и осталась ни с чем, а была красоты редкостной и строгой. Настасья зазвала его в землянку, и хотя Володька Рыжий сразу понял что к чему и ругал про себя хитрую бабу самыми последними словами, он распил с ними самогонку, расслаб; сидел и слушал, как Анюта вполголоса, чтобы не разбудить мальца, играла песни, а затем разревелась, вздрагивая крутыми, спело налитыми, несмотря на нужду, плечами; утихомирившись, подняла голову, глянула мокрыми темными глазами.

— Дед, слышь, дед,— сказала она,— хочешь, выйдем с тобой, я согласная, а то удавлюсь, приду и повисну у тебя на яблоньке. Пойдем, старый черт, чего глядишь-то?

— Окстись! — испугался Володька Рыжий.— Ты что блекочешь по бабскому своему недоразумению? Тебе что, минеров мало? Вон Митька-партизан пришел, ты еще своего дождешься...

— Пойдем, дед, да я, хочешь, при ней,— кивнула она на хохочущую Настасью,— все сниму, ты погляди, какая я, ослепнешь! Что ж, всему этому и пропадать? Я ничего не хочу, ребенка мне надо, а то по ночам до

синей тоски изнываю, всю подушку зубами порвала. Пойдем, дед! Я знаю, зачем ты пришел, не дело это. У Настасьи, может, мужик живой, а у меня никого, мои в могилах теперь по всему свету лежат, голубчики. А с Митькой у нас жизнь не выйдет, отворот от него у меня сызмальства, я уж и сама себя ломала, не могу, и все тут! Пойдем!

Глаза у нее горели бесовской решимостью, и Володька Рыжий, нащупав фуражку, нахлобучил ее на глаза торопливо, плюнул и, пригнувшись в дверях, выскочил из землянки в смущении. Анюта заливисто хохотала ему вслед, и он минуты три еще потоптался нерешительно, прислушиваясь, не скрипнет ли дверь, и только услышав новый взрыв хохота, плюнул еще раз, выбрался, крадучись, на улицу и пошел своей дорогой, проклиная подлое бабье племя; дул теплый ветер, и в небе, затянутом тучами, громоздилась тьма, и только в одном месте он заметил далеко в поле низкий, словно из-под земли, блуждающий огонек; Володька Рыжий постоял, дивясь этому явлению, и, когда, наконец, огонек померк и уже ничего не осталось вокруг, вышел на самую середину улицы и заторопился домой, словно к привычному прибежищу и спасению.

От сотен и сотен городов, от тысяч сел и деревень по сути остались одни названия; откатывающийся все дальше на запад фронт сметал их с лица земли, превращая в искореженные груды камня и железа, в спрессованные дождями пласты пепла, и обгоревшими свечами торчали колодезные дубовые рассохи. Бурьяны жадно захватывали одичавшую землю, бурьяны поднимались стеной на месте бывших построек и усадеб, но уже сразу, как чуть-чуть отдалялся фронт, среди хаоса и разрушения земли возникало вначале тихое, незаметное движение, извечные, связующие людей центры, нарушенные, а то и начисто разбитые войной, начинали мало-помалу оживать, излучать и распространять вокруг свою крепнущую день ото дня силу, и опять вступали в права законы и страсти человеческой жизни, разрубленные, разорванные войной нити начинали сращиваться и действовать; не прошло и трех недель после возвращения уцелевших густищинцев в свои родные места, еще не успели минеры хоть немного очистить землю от мин, разбросанных повсюду снарядов и прочего оружия, не успели еще расползтись и слиться с землей многочисленные трупы в бурьянах и зарослях —

ветер то с одной, то с другой стороны наносил на село удушливые запахи гниения,— как девичьи песни по вечерам стали уже привычными и необходимыми. Два долгих года не слышно их было на селе, а теперь, едва скрывалось солнце, тотчас у полуразрушенной густищинской церкви собиралась молодежь, и Анюта Малкина, девичья заводила, начинала какую-нибудь песню про несчастную любовь; скоро появлялись и подросшие за войну ребята лет по шестнадцати-семнадцати, и среди них, бряцая орденами и медалями на гимнастерке, непременно и Митька-партизан, круглолицый, с толстыми губами парень, прославленный на всю Холмщину партизанский диверсант и разведчик; за его поимку гестаповцы сулили сначала пять, а потом и десять тысяч имперских марок, развешивали об этом листки по всей округе. Четыре майора, три полковника и генерал значились на Митькином счету, вот только до Федьки Макашина Митька так и не дотянулся, хотя дважды получал задание ликвидировать его; здесь уж нашла коса на камень, хитер оказался зверь, и Митька, вернувшись в Густищи из госпиталя по чистой после неудачной для себя последней диверсии, все поминал Макашина. До войны Митька был незаметным парнем, рос у бабки Илюты, не зная ни отца, ни матери, пропавших в одночасье во время налета на Густищи одной из лесных банд; вырос Митька и бесповоротно, насмерть прикипел сердцем к красавице Анюте Малкиной, девке гордой и недоступной, глядел на нее преданными собачьими глазами и сох; безответной оказалась его страсть, и даже два года партизанства ничего не изменили; Митька заматерел, когда-то робкий, стеснительный паренек стал почти живой легендой, о нем писали газеты, с ним вели смертельную игру несколько крупных разведчиков гестапо. Митька завоевал любовь и славу в народе, и часто в селах и деревнях его оглушали такими небылицами, рассказывали о такой его красоте, силе и бесстрашии, что он, переодетый в какие-нибудь лохмотья, и сам начинал верить, что и действительно существует какой-то другой Митька Волков, совершенно ему неизвестный, и даже начинал чувствовать невольную досаду и зависть к тому, второму своему «я», что жило в народе отдельно от него, настоящего, жило уже помимо его желания и воли и было обречено жить (Митька это смутно чувствовал), если бы даже его самого где-нибудь и прихватил насмерть немец. Все два

года грел в себе Митька-партизан потаенную мысль о победоносной встрече с Анютой Малкиной, из-за которой, в немалой степени, и лишился либо свободы, либо жизни не один важный немецкий чин, но вот пришла эта минута, и смятенно дрогнуло бесстрашное Митькино сердце; он сразу же понял, что ничего не изменилось, великой гордости была чертова девка, насмешливым взглядом скользнула по орденам на широкой Митькиной груди, да на том дело и кончилось. Любая бы невеста в Густищах зажмурившись пошла бы за Митькой хоть на край света, но Митьке нужна была лишь Анюта; на селе говорили, что присохла она к молодому сибиряку, командиру саперного взвода, перебравшегося недавно со своими саперами, после очистки густищинской земли от мин, в соседнее село Рогачи, и Анюта чуть ли не каждый день уводила густищинских девок туда на гулянки, а возвращались они под утро, с песнями и смехом.

Несколько дней Митька терпел и наконец не выдержал, решил раз и навсегда отвадить густищинских девок бегать по чужим, преподнести им боевой урок. В один момент у Митьки, привыкшего за годы партизанства хитроумно действовать в самых рискованных положениях, возник простой и вместе с тем удивительно точно рассчитанный на самый сильный психологический эффект план; он собрал восемь ребят по пятнадцати — шестнадцати лет, угостил их махоркой и в упор спросил, хотят ли они, чтобы чужие минеры попортили всех их невест. Уловив в молчании одобрение, он заявил, что открывать военные действия против собственной регулярной армии нельзя, и предложил предпринять карательную операцию против самих густищинских девок, и так как авторитет Митьки-партизана был беспрекословен, все его дальнейшие указания встречались с восторгом и потом выполнялись с безукоризненной военной точностью. Один из сыновей Микиты Бобка, товарищ угнанного в Германию Ивана Дерюгина, сбегал за Егором; цепкий глаз Митьки-партизана уже успел заметить в Егорке Дерюгине самостоятельность и решительность характера и в последний момент определил дело именно для него в своем плане; Егор, едва услышав, что его зовет Митька-партизан, тотчас, хотя уже собирался с Николаем ложиться спать, улизнул и от брата, и от бабки Авдотьи и вскоре сидел в кругу парней, выслушивая от Митьки-партизана подробные инструкции и горя желанием не осрамиться и доблестно

выполнить порученное ему дело, хотя сердце и заходилось от холодка, когда он, под дружный хохот возбужденных, развеселившихся ребят, представлял себе, как он это будет делать.

Тиха и густа выдалась теплая августовская ночь; ребята во главе с Митькой-партизаном тайком двинулись огородами к одичавшей, заросшей трехметровыми бурьянами усадьбе МТС, через которую шла дорога в Рогачи и по которой густищинские девки уходили гулять с минерами. Время уже близилось к полуночи, и вот-вот должна была выкатиться луна; над широкими темными полями с востока начинало неуловимо пробиваться легкое, призрачное свечение; чем дальше отходили ребята от села, тем оживленнее и шумливее становились, и Митька-партизан, привыкший передвигаться ночами в полнейшей тишине, время от времени начинал их одергивать, но вскоре и он поддался общему возбуждению, и затем, когда, выбрав место у дороги, где нужно было перехватить девок, все уселись в кружок, Митька-партизан стал рассказывать, как брал он во главе спецгруппы почти в самом Холмске немецкого генерала и как потом, в момент отправки генерала в Москву, тот захотел увидеть его, Митьку, и сказал, что такой отважный воин достоин самой высокой награды.

Рассказывая, Митька-партизан пытался изобразить генерала, изо всех сил надувал щеки и трудно пыхал, и Егор, примостившись рядом, звонко хохотал. Луна уже вышла, покой земли словно бы еще больше усилился от ее рассеянного свечения, затопившего поля, и только один раз где-то далеко стороной прошли волной самолеты, прошли на запад, туда, где еще продолжалась война. Все долго прислушивались к замирающему большому гулу и некоторое время сидели притихшие и молчаливые, но едва стала слышна вдалеке песня, ребят вновь охватило веселье и возбуждение.

— Ну, Егорка,— напомнил в последний раз Митька-партизан,— гляди. Давай дуй вперед по дороге метров за триста, притаись обочь в бурьяне. А как только они пройдут, ты на дорогу ложись. Да побольнее плетью-то хлещись, как только они назад побегут, нечего их, кобыл, жалеть. У них ноги-то голые, так ты по ногам ладься, по ляжкам, по ляжкам, а сам урчи по-медвежьи.

— Да я все понял, Мить, я им задам, не бойся,— заверял Егор, полный решимости послужить мужскому братству, к которому его безоговорочно приобщали

предстоящим делом, и вскоре отделился от остальных и двинулся вперед по дороге, волоча за собой длиннющую плеть.

А через полчаса перед толпой густищинских девок человек из двадцати, еще продолжавших петь про скакавшего через долины и другие луганские края казака и еще двигавшихся вперед, из густых бурьянов поднялся ряд смутно белевших, совершенно голых людей, с обмотанными травой и оттого огромными бесформенными головами и с раскинутыми в стороны руками, и в пронзительном лунном свете медленно двинулся вперед. Песня, неуверенно дрогнув, оборвалась, толпа девок невольно стала грудиться теснее. Во всем мире установилась тишина, и потерявшие способность шевельнуться девки ждали; теперь уже было хорошо заметно, что к ним приближались мужики во всей своей бесстыдной первозданной наготе, двигались они по-прежнему медленно, словно во сне, и лунный свет играл на их стройных, упругих телах, еще не приобретших зрелой мужской заматерелости, и только руки, раскинутые в стороны, и косматые головы с неразборчивыми, скрытыми под пучками травы лицами были страшны, и какое-то одно и то же чувство смертельного и сладкого ужаса еще раз поразило толпу. Анюта Малкина, стоявшая впереди и бывшая повыше других, никак не могла унять трясущихся губ и отчетливо слышала частый стук собственных зубов.

— Девоньки, да это же мертвяки,— смогла наконец трудно выдохнуть она из себя, и тотчас разнесся над серебрившимися густыми бурьянами, над искалеченными и по-прежнему живыми садами, над безмолвным пространством вокруг, залитым все тем же серебристым и мягким сиянием, пронзительный, рвущийся визг; и тотчас всю толпу словно разметала какая-то сила изнутри, в одно мгновение она рассыпалась во все стороны, ломая бурьян. Забыв обо всем на свете, девки бежали кто куда, ничего не видя перед собой, стараясь единственно не попасть в раскинутые руки, число которых словно неизмеримо возросло; некоторые рванулись по дороге назад, и через несколько минут в небо взлетел новый всплеск неимоверного визга и крика, свидетельствующий, что и Егорка Дерюгин внес в общую сумятицу свою, определенную ему долю, и вскоре все рассыпалось совершенно. Девки разбежались, ребята стали возвращаться к спрятанной в одной из канав одежде,

одевались, закуривали и, давясь приглушенным смехом, наперебой делились друг с другом впечатлениями, и только Митьки-партизана все не было. С самого начала наметив Анюту Малкину, он уже не выпускал ее из виду ни на минуту, и когда она кинулась бежать, бросился следом. Анюта неслась по бурьянам стрелой, и Митька видел одну ее мотавшуюся голову; в какой-то момент он еще помнил, что бежит голый, но вскоре забыл об этом совершенно, веселая ярость погони, прыгавшая в небе луна захватили его, и он решил во что бы то ни стало догнать Анюту. Он не знал, что он будет делать с нею, и когда она, выскочив из бурьяна на открытое место, запнулась и свалилась, он, не удержавшись, не успев перескочить через нее, шлепнулся рядом и тотчас, по привычке и боевому опыту многочисленных своих ночных партизанских вылазок и стычек с немцами, оказался, сам того не желая, сверху и крепко притиснул ее к земле; и уже только потом, почувствовав всем телом испуганную, жаркую дрожь тела под собой и увидев белое лицо Анюты с крепко зажмуренными глазами, сам испугался, хотел вскочить и нырнуть в бурьян, но слишком дорога была добыча, и он не смог, это было выше всей его храбрости и решительности, и он, прижавшись к Анюте еще теснее, молча и зло стал целовать ее в губы, и тогда она слегка приоткрыла глаза, и некоторое время они в немом изумлении смотрели друг на друга.

— Митька, это же ты, паразит,— смогла наконец прошептать Анюта.

— Угадала,— хрипло отозвался Митька.— Бегай не бегай, все одно моя будешь. Не могу я без тебя, что хочешь делай. Убить могу, мне теперь все одно, другому я тебя не отдам, так и знай. Довела ты меня до высшей точки, больше некуда.

В ответ на бессвязный и горячий Митькин шепоток, в жуткой и сладкой своей откровенности проникавший к самому сердцу, Анюта подняла обомлевшие руки, чтобы оттолкнуть его, но вместо этого руки сами собой обвились вокруг его литой шеи и потянули его голову к себе, и это новое потрясение едва не оборвало в самый неподходящий момент славную жизнь Митьки-партизана: Анюта почувствовала, как в мучительной судороге зашлось его тело, и сама, неловко отрывая голову от земли, стала целовать его.

— Ах ты паразит! — говорила она в полузабытьи.— Давно бы так... а то все издаля да издаля... думала, уж и подойти не насмелишься... мне вот такой-то черт и нужен... Да ты погоди, куда ж ты,— останавливала она, когда он хотел лечь рядом,— колючки кругом, ты же, паразит, голый весь, напорешься.

И опять в небе неровно плыла луна, и настороженно затаившиеся бурьяны подступали бездонными провалами, и опять тихий, заглушенный шепот.

— Ну, паразит, ну, паразит,— все изумлялась Анюта, покорная и тихая.— А свадьба как же, а, Мить?

— Завтра, и ни днем позже, уж я тебя, любушку, не оставлю без собственного глазу и на минуту...

На рассвете поднятая по тревоге рота минеров в соседнем селе Рогачи несколько раз прочесала бурьяны на усадьбе Густищинской МТС; подбирая кое-где потерянные в переполохе девичьи платки да туфли, солдаты сердито поругивались от бесполезной траты времени; правда, в самой сумеречности раздолий вымахавшего больше сажени репейника нашли несколько разложившихся трупов и тут же наскоро прикопали их. Молодой, недавно из училища, лейтенант с бодрыми песнями увел роту назад в Рогачи, доложил по начальству, что никаких бандитов не обнаружено и что, вероятно, местные девушки были перепуганы собственной разыгравшейся фантазией, но в Густищах и в селах вокруг уже точно знали, что произошло в эту августовскую ночь, и бабы, сходясь у полуразрушенных еще колодцев, с легкой завистью сообщали друг другу, что наконец-то Митька-партизан объездил ту самую Анюту Малкину, что еще и до войны воротила нос от парней, все сама на себя не могла налюбоваться. Народная молва была целиком на стороне Митьки-партизана, и даже бабка Авдотья, хотевшая отстегать Егора веником за участие в непотребном действе, услышав о Митьке, отступилась, лишь с неделю потом все ворчала на Егора, говорила, что он мал еще в такие дела встревать, на то каждому свой срок даден.

3

По воскресеньям Егор ходил в город и украдкой приторговывал подметками, брал с собой две-три пары и всякий раз возвращался с солью и спичками, прино-

сил несколько стаканов пшена или крахмалу, а как-то принес Николаю почти новенькую телогрейку. С первого октября и Николай и Егор должны были пойти в школу, в третий класс; все мало-мальски способные мужики в селе работали на строительстве школьного здания в два классных помещения; решили построить обыкновенную избу на две половины через коридор; занятия должны были вестись в две смены, и в устройстве школы принимало участие все село. Бабы на болотах нажали тростнику на крышу, повязали в маленькие снопы и на себе перенесли к школе; несколько стариков, знавших плотничье дело, сработали парты, столы, классные доски; ими руководил демобилизованный из армии учитель без ноги, Петр Еремеевич, присланный директором Густищинской школы из района; хотя его покалечило несколько месяцев назад, он все еще не привык к протезу и по ночам, во сне, стиснув зубы, часто мычал от боли в несуществующей ноге, у него болело в щиколотке, и пальцы сводило, особенно большой, и он часто от этой боли начинал во сне шевелить пальцами, которых не было вот уже полгода, и просыпался; пальцы продолжали болеть, и он невольно тянулся к ним и встречал пустоту; и это всякий раз его пугало.

Петр Еремеевич размечал со стариками плотниками, какой высоты должны быть парты, уговаривал женщин подружнее обмазывать стены, засыпать пол, знакомился со своими будущими учениками, добывал тетради и учебники, для чего ему пришлось несколько раз ездить не только в район, но и в область, но тетрадей он так и не достал и начал где попало собирать бумагу, на которой можно было писать, и ему удалось кое-что наскрести.

Учителя уважали в Густищах, с ним почтительно здоровались и стар и млад, бабы зазывали его позавтракать или поужинать чем бог послал.

В последнее воскресенье сентября Егор возвращался с базара ближе к вечеру; ему удалось на этот раз купить десять фунтов муки по заказу бабки Авдотьи, брусок тяжелого самодельного мыла, да еще у какого-то солдата за сто рублей немецкую зажигалку; это была излишняя, ненужная трата, но он не мог устоять перед блестящей безделицей в форме пистолета и теперь время от времени вынимал ее из кармана и любовался, поворачивая во все стороны.

Солнце низилось, на небо к вечеру начинало натягивать с запада тучи; несколько раз Егора обгоняли повозки, но все они были перегружены, и он даже не стал проситься подъехать, шел в стороне тропкой и думал, что его давно ждут, и эта мысль скрашивала дорогу. Поднявшись на холм перед самым селом, где до войны стоял ветряк, а теперь лежали лишь одни растрескавшиеся в огне жернова, он решил посидеть; ноги гудели, и он, положив мешок с покупками, лег на жернов и стал смотреть в небо, затем закрыл глаза фуражкой. Нагретый за день на солнце камень еще не остыл, и лежать на нем было приятно; Егор подумал, что бабка обрадуется муке и опять станет добиваться, откуда у него такие деньги; нужно было придумать что-нибудь заранее, а может, пора и рассказать все как есть, поахает и перестанет, дед Рыжий сам распорядился, а Варечка, что ж, подметки не ее, а немецкие, а раз немецкие, значит, и говорить нечего, не умирать же им теперь с голоду на своей земле. «Вот стемнеет немного, и можно идти»,— думал Егор, лучше от чужих глаз подальше, меньше разговоров будет на селе, а то на днях Варечка что-то подозрительно долго торчала у них в землянке и все по сторонам шныряла глазами; пришла вроде лопаты лишней спросить, а сама все про нужду плакалась, сокрушалась, чем это бабка Авдотья двух таких ребят кормит: от государства только и дадено было по пуду пшеницы на трудоспособного да по десять килограммов на детей и стариков, а на этом долго не продержишься без молока и мяса.

Затем Егор вспомнил про ночную потеху с девками, посмеялся, представив, как они визжали и прыгали от его плети, вздохнул и сел, глядя на раскинувшееся перед ним село. «Нужно бы начинать дрова запасать на зиму,— подумал он,— а то скоро дожди, пропадешь, с завтрашнего дня надо с Колькой на коляске хоть по разу в день за дровами ездить, возить понемногу сушняк; и там, где был в войну немецкий мост через речку, тоже можно много подобрать, когда мост взрывали, бревна, доски по всему берегу разлетались. В прошлый раз они притащили с Колькой пять добрых плах; правда, их на дрова жалко пускать, на избу пойдут»

Хотелось есть, и Егор решил идти домой, не ожидая захода солнца; кому какое дело, что он несет и откуда. Он вскинул мешочек на лямках за спину и зашагал вниз с холма; на улице ему встретилось всего два или

три человека, и он, стараясь не смотреть в сторону усадьбы деда Рыжего, подошел к своей землянке, устало скинул с себя груз, потер плечи и сел на чурбак; ни бабки Авдотьи, ни Кольки не было видно, и он решил покурить, достал из кармана остатки газеты, махорки, свернул цигарку и, наслаждаясь, щелкнул зажигалкой. От первой же затяжки во рту стало горько и яблони перед глазами пошли верхушками чуть вкось; он шевельнулся и остался сидеть, чувствуя легкую неосознанную обиду на бабку и брата; пришел, и никого нет, никто не встретил, не порадовался его удаче. Он сидел спиной к улице и, услышав чьи-то шаги сзади, не повернул головы; кто-то не дошел до него и остановился, и он не выдержал.

— Ты, Колька? — спросил он, быстро оглядываясь, и в следующую секунду вскочил, выронив цигарку, сразу сильно бледнея и еще никак не в силах согнать с лица жалкую, изумленную улыбку; он хотел броситься вперед и не смог, ноги прилипли к земле; перед ним стояла мать, худая, высокая, с острыми костлявыми плечами, бессильно уронив жилистые длинные руки; у ног ее лежал какой-то узел.

— Мамка,— прошептал Егор недоверчиво и, срываясь на крик, рванулся вперед и припал к ней, пряча лицо у нее на груди; он чувствовал ее руки у себя на голове и, не стыдясь слез, поднял голову и увидел сквозь какой-то движущийся туман ее счастливые глаза.

— Егорушка, господи, Егорушка,— сказала Ефросинья пересохшим, хриплым голосом,— ты знаешь, я уж и добраться не думала, из последних сил шла сегодня, во рту ни крошки не случилось... ты помоги мне куда-нибудь сесть,— попросила она, не отпуская его головы и жадно вороша его волосы.— Господи, вырос-то как, вытянулся, и яблоньки-то целые... и плетень...

— Целые, мам, целые,— поддерживая за руку, Егор подвел ее к выходу из землянки и помог сесть на чурбак, на котором только что сидел; она сморщилась, с трудом вытянула ноги; Егор метнулся в землянку, на ходу вытирая глаза, выскочил оттуда с куском хлеба и холодной вареной картошкой, которую, видно, оставили ему, и положил все это матери на колени. Она взяла хлеб, поднесла ближе к глазам, рассматривая и силясь отодвинуть ту темноту, что уже подступила к ее глазам мерцающим слабым кружением, и закрыла глаза; в ее

руках был хлеб, настоящий пахучий хлеб, полученный из рук сына, и она сидела на своей земле. «А где же Колька, свекровь»,— подумала она, но спросить не хватило сил. С трудом, вслепую отломив кусочек хлеба, она положила его в рот и стала жевать; Егор со смутным страхом, не отрываясь, смотрел на нее; она жевала без конца, с закрытыми глазами и все жалела проглотить; во рту был еще вкус хлеба, самого настоящего ржаного хлеба; до самого этого момента она не верила, что дойдет, что дошла, и даже сначала, увидев Егора, она не верила; и только этот вкус хлеба во рту что-то окончательно сдвинул в ней.

— Ешь, мам, ешь,— услышала она откуда-то издалека голос Егора.— У нас есть, теперь-то на своей земле не пропадем. Я вон в городе муки добыл немного...

— Принеси мне воды, сынок,— попросила она.— Ты не гляди на меня сейчас, я отойду, вот посижу немного и отойду.

Егор схватил ведро, вылил из него остатки степлившейся воды и бросился к колодцу; возвратившись бегом, подал матери, от волнения расплескивая чистую холодную воду из солдатской кружки, и Ефросинья осторожно стала пить сводящую зубы воду небольшими глотками, словно горячий чай, выпила половину, оторвалась и посмотрела на Егора. Она давно думала о Николае и свекрови, но спросить не решалась, удерживал застарелый, больной страх, и она, после бесконечной дороги, бессознательно стремилась продлить время блаженного отдыха; увидев перед собой Николая, затем узкое, истовое лицо свекрови, она уже окончательно не смогла подняться с места; ноги отекли и болели, и она осталась сидеть, протягивая руки к Николаю, и тот, медленно подойдя к ней, смущенно нагнулся, и когда она поцеловала его, ощупывая худые мальчишеские плечи задрожавшими пальцами, он неловко отодвинулся от нее и отвернулся, хмуро уставясь в землю. Бабка Авдотья подтолкнула его в плечо, ругнула беззлобно, говоря, что от родной матери нечего отворачиваться, нечего стыдиться, и тут же сама села рядом с Ефросиньей, поцеловала невестку трижды и решила от неожиданной радости как следует поголосить; у ребят нашлась мать, и не надо ей, старой, теперь бояться смерти, без глаза не останутся.

— Да ты поешь, поешь,— говорила она торопливо, то и дело меняясь от разноречивых чувств лицом.—

Сейчас я только отдышусь, сварю чего-нибудь... Егорка, а ну давай дров посуше разживись, мы сейчас на улице и запалим. Ты пока подюбай, подюбай хлебушка, помягче пожуй... Ох, господи, знать, дошла до тебя молитва моя сиротинская!

Подняв глаза к небу, бабка Авдотья перекрестилась, ловко ударилась на колени и так же ловко и привычно положила несколько земных поклонов, непрерывно шепча сухими губами благодарственную молитву; украдкой поглядывая на мать, молчаливо и медленно евшую хлеб, Николай боком отошел вслед за Егором, стал помогать ему искать сухие дрова; весть о том, что Ефросинья Дерюгина вернулась, уже каким-то образом распространилась по селу, и к землянке на усадьбе Дерюгиных сходились односельчане.

Первой пришла Варечка Володьки Рыжего, трижды крест-накрест расцеловалась с Ефросиньей, шумно, в голос всплакнула и не успела успокоиться, как показалась Нюрка Куделина и, поцеловавшись с Ефросиньей, тоже стала плакать; пришли бабы Юрки Левши да Микиты Бобка, соседка Лукерья, вслед за нею показался и дед Макар с высокой темной палкой; обутый в новые лапти, он подошел, раздвигая концом поднятой прямиком палки баб, и когда Ефросинья хотела встать ему навстречу, он остановил ее.

— Сиди, сиди, Фрося,— приказал он.— Ты небось находилась, теперь и посидеть не грех. Значит, вернулась, говоришь? — спросил он, останавливаясь и складывая руки на конце палки, и на них вдобавок водрузил лохматый подбородок.

— Вернулась, дедушка Макар,— сказала Ефросинья.

— Ну это хорошо, что вернулась.— Дед Макар неловко качнулся в сторону полуразбитой, зиявшей рваными пробоинами церкви и несколько раз перекрестился.— Сегодня, Ефросинья, воскресенье, день такой. Земля с рук человечьих родить начинает. Гляди, даст бог, остальные вернутся. Слышно, наши из солдат, что в годах, отпущены по домам.

Ефросинья молча кивнула, соглашаясь; ей было радостно, что пришло столько людей, но больше всего ей хотелось остаться одной или хотя бы в своей семье; она невпопад отвечала на вопросы, все следила за Николаем и Егором, разжигавшими в стороне от землянки огонь на привычном, уже выгоревшем месте; по ее

мнению, Николай перерос Егорку, хотя был Егор плотнее, коренастее и сильнее; с крепкими ровными плечами и сосредоточенным выражением лица, он напоминал небольшого мужичка, и Николай, видно, беспрекословно ему подчинялся. Ефросинья вспомнила, как шла из последних сил и, присаживаясь где-нибудь отдохнуть, не знала, сможет ли подняться, и вот теперь, после того как она напилась и съела немного хлеба, она чувствовала, что не удержится, так вот сидя и заснет; она уже несколько раз бессильно роняла голову, и все, заметив это, стали наперебой уговаривать ее идти спать. С трудом, при помощи бабки Авдотьи, она поднялась и, провожаемая взглядами, спустилась в землянку и, едва коснувшись подушки, заснула, и бабка Авдотья, укрыв ее немецкой шинелью, вернулась на улицу. Над огоньком в чугуне варилась картошка; начинало смеркаться, первый сумрак тронул пространства над яблонями с редевшей уже листвой. Никто не расходился, и дед Макар, сидя на бревнышке и прислушиваясь к оживленному разговору баб, обсуждавших происшедшее, слабо пытался бороться с дремой; обычно в это время он уже спал. Несколько поколений сменилось в Густищах у него на глазах, и он все хорошо помнил. Теперь, когда краски начинали сливаться в одно серое и голоса отдаляться, все перед ним смешалось, и он, с легким кружением в голове, словно плыл назад в мутном и широком потоке из сходок и свадеб, из тяжкой мужицкой вражды и работы; у него на глазах дети становились взрослыми и умирали. «Земля дала, земля и взяла»,— говаривал он в таких случаях, провожая покойного в широкие ворота церкви, к тусклым погребальным ризам батюшки Исидора, исчезнувшего из села еще лет десять назад; а то россыпь стремительных, облитых сиянием самолетов появлялась над ним, и он, как тогда, в сорок первом, твердо расставив ноги, вспоминая слова Священного писания о железных птицах, тянул им навстречу бороду.

В свои девяносто лет он давно уразумел главную мудрость в жизни: все, что появляется, обязательно так же и уходит в свое время; человек, зверь, трава, машина подчинялись этому непреложному праву земли, и пото му он больше ничего не боялся, для него словно уже не было своих и чужих, и он, неосознанно отыскивая подтверждение закону, по которому и обречен в свое время уйти с этого света, пытался толковать и с немецкими солдатами, весело хохотавшими над могучим по-

чти столетним дедом, и с Федькой Макашиным, когда тот остановился на ночь у них в избе; все помнил дед Макар, но память его была, как дремучее поле, на котором свежее семя, прорастая, оставляло свой стебель рядом с отцовским и дедовским, и все было равно, и все одинаково сохранялось.

— Вавилон, Вавилон,— пробормотал в ответ на свои мысли дед Макар,— Вавилоном земля взялась.

Он встал и прошел, высокий и костлявый, среди расступившихся баб, перебивая их разговор.

— Господи, господи,— с невольным уважением сказала ему вслед Варечка,— вот, бабоньки, живет-то! Как вышла замуж за своего рыжего черта, так и помню его с бородой.

— Пущай живет на здоровье,— с веской горделивостью в голосе сказала вслед свекру Лукерья.— Свое, без заима у тебя, доживет. Хоть кому такую старость, все сам за собой, никому не в тягость. Пора расходиться, бабы, что-то холодать зачало.

4

Открыв на другой день глаза еще до свету, Ефросинья сразу словно опустилась на дно старой, хорошо привычной жизни, и она захватила ее с головой. Присмотревшись к растущим сыновьям, прикинув, что можно выгадать из своего немудрящего хозяйства, она первым делом сшила из немецких шинелей по паре штанов Егору и Николаю к школе, а из суконного одеяла ухитрилась скроить две телогрейки; когда Егор рассказал ей о подметках, она промолчала, лишь слегка свела брови; это было под вечер, только что прошел холодный дождь и к ногам липла тяжелая грязь, на улицу лишний раз не хотелось выйти; впервые во всю силу заявила о себе осень, и хотя жизнь, казалось, стояла на одном месте, каждый день приносил что-нибудь новое. С первого октября ребята стали ходить в школу; бабы выходили копать землю, затем, повесив мешки с мерой жита на шею, тяжело шли по размякшей земле в косой ряд и горстями разбрасывали зерно (семена были присланы откуда-то из-за Волги); потихоньку и почта стала налаживаться, то в одну, то в другую семью приходило солдатское письмецо, и его в несколько дней зачитывали до дыр, потому что просили почи-

тать письмо снова и снова со всего села; бередила баб надежда: раз Микита Бобок или Юрка Левша живы оказались, отчего бы и моему не объявиться со временем?

Ефросинья, пока ноги не отошли и опухлость в них не пропала, на улицу показывалась редко; сидела и, все прикидывая и взвешивая, шила и перешивала, готовясь к зиме; ребята таскали дрова из лесу после школы, носили воду, бабка Авдотья распоряжалась, как и встарь, варевом. Несколько раз Ефросинья пыталась начать хлопотать по хозяйству, хотела взяться за бурьян на усадьбе, но, выдернув несколько тугих толстых стеблей репейника, едва разогнулась, чувствуя тяжесть и немощь в теле; голова у нее пошла кругом, и она испуганно присела. Бабка Авдотья увела ее в землянку, сердито приговаривая, что не ко времени спешить только нечистого смешить, и Ефросинья подчинилась ей с покорной благодарностью в душе. Вскоре пришло письмо от Аленки; шустрая густищинская почтариха, Аленкина подружка, Олька, старшая дочь Микиты Бобка, стала кричать об этом чуть ли не с полпути до усадьбы Дерюгиных, и к тому времени, когда Ефросинья взяла в руки тощий треугольник из тетрадного листка в линейку, почти все село знало о письме; Олька, переступая заляпанными грязью кирзовыми сапогами, возбужденно моргала круглыми глазами и, поддерживая за веревку холщовую сумку, из которой торчали края газет, издали шибко мотала поднятой рукой.

— Гляжу, теть Фрось, а это от Аленки,— частила она, с нетерпением дожидаясь, когда же Ефросинья развернет письмо.— Хотела сама глянуть, думаю, надо к тетке Фросе бежать, ей-то радость, ей-то радость! Гляжу, аж в виски стукнуло. От Аленки, гляжу.

Ефросинья, уже слышавшая о дочери от теперешнего председателя колхоза Игната Кузьмича, чувствовала саднившее сердце, словно кто неровный камушек подложил под него. За войну она сама убедилась, как просторен мир для доброго дела и как тесен он во зле, и теперь, хотя совсем не умела читать, боялась развернуть письмо с остренькими на три стороны уголками и бледной печаткой; все могло быть там, внутри, и нужно было отдышаться и приготовиться. Подошла бабка Авдотья с тряпкой в руке, села напротив, не сводя с письма темных глаз; Аленка была ее любимицей,

и старуха сразу вспомнила, как суматошно собирала ее ночью, когда в хату нежданно ввалились чужие полицаи, еще, помнится, украдкой сунула ей в карман полушубка свой нательный серебряный крестик.

— Ну, открывай, Ефросинья, открывай,— потребовала бабка Авдотья строго, и ее морщинистое лицо качнулось вперед.— Все от бога, чему бывать, того не миновать.

— Открывай же, теть Фрось,— сказала и Олька, от волнения отрясшая на пол всю грязь с сапог.— Что ж ты душу тянешь? Письмо от твоего страха не перепишется само, коль в нем нехорошее есть.

Вздохнув, Ефросинья протянула письмо Ольке, и та вмиг привычно развернула его, забегала глазами по строчкам и, чувствуя на себе жадные, нетерпеливые взгляды, припрыгивая, закричала:

— Жива-здорова Аленка! Воюет! Вот девка! Слышь, медаль с орденом ей вышли за партизанство, а сейчас, пишет, войне скоро конец, обо всех в семье просит прописать! Ай да подружка, слышь, теть Фрось, и про меня вспомянула! Жива ли, спрашивает!

— Да читай ты, Олька, читай с самого начала,— приказала Ефросинья.— Что ж ты козлом по капусте скачешь? Присядь, присядь...

— Да я так, теть Фрось, я так! Радость-то какая!

Пока Олька читала, затем еще дважды перечитывала письмо, бабка Авдотья, выронив тряпку, тихонько утиралась подолом юбки, а затем, боясь шевельнуться, сидела строго и торжественно. Еще один отскочивший осколок прилеплялся на свое место, но война-то, проклятая, не окончилась, еще вовсю полыхал по земле огонь. «Господи, спаси и помилуй внучку мою, Елену,— помолилась она.— От глаза дурного, от пули вражьей, от беды и напасти, от болезни и змеи подколодной, от травы дурной охрани ее, господи! Отдай ее беду мне, старухе, батюшка, коли это нужно тебе, не тронь внучку!»

На другой день Ефросинья с утра собралась и пришла в правление колхоза к крестному мужа, Игнату Кузьмичу Свиридову, подождала, пока разойдется народ, и, оставшись в тесной комнатенке за дощатой переборкой с ним вдвоем (по соседству все ожесточеннее щелкал на счетах тот же непременный счетовод Мартьянович, вернувшийся недавно из партизан), подняла на него глаза.

— Ну что, Ефросинья,— спросил Свиридов с неожиданной веселостью.— Видишь, вот война-то ушла, а мы тут все ее разгребаем. Еще вот пятьдесят десятин нам по плану надо засеять, хоть зубом грызи. Объявляется на завтра всесельский выход в поле, школу снимаем, сельсовет, сам с Мартьяновичем выхожу. Ты как, отдохнула?

— Время придет, отдохну,— сказала она,— завтра со всеми выйду, хватит.

— Ну что, вчера письмо от дочки получила?

— Получила. Да я к тебе, Игнат Кузьмич, рассказал бы ты мне получше, как она там, в партизанах-то? А то ничего я не поняла с прошлого нашего разговора,— Ефросинья кивнула на бумагу.— Ты уж меня не ругай, знаю, что ни дня, ни ночи не видишь. Да вот вернулась я и все сама себя никак в одно место не соберу. Про мужика никто ни слухом ни духом, и Ваню теперь не дождешь... Господи, Игнат Кузьмич, как же теперь дальше-то жить? Пока пора не приспеет, жить-то надо, хочешь или нет.

Свиридов встал из-за шаткого стола, с ножками, сбитыми крестом, и стол от его движения несколько раз скрипнул; Свиридов наклонил голову, прислушиваясь. Он уважал жену своего крестника, она никогда не закричит, не заголосит по-бабьи, вот хотя бы припомнить тот случай, когда Захар к Маньке Поливановой бегал. Другая бы на ее месте полсела возмутила, а эта, бывало, только станет где-нибудь неподвижно, задумается, и глаза побелеют. Так, чуть-чуть, невпрогляд. А в войну что с детьми вынесла, говорят, от этого Федьки Макашина, когда собственную хату вместе с немцами спалила? Свиридов ходил по тесному помещению, прислушивался к хлопанью на счетах за перегородкой и думал о словах Ефросиньи, что ж он мог сказать ей в утешение, если сам ничего не знал. «Самое главное, душа цела, не разлетелась в осколочье,— думал он,— все остальное и собрать можно и опять в одно спаять». Он не стал отвечать ей прямо, да, пожалуй, она и не спрашивала, сама с собой порассуждала вслух, а интересует ее, знамо дело, дочка.

— Что ж, Ефросинья,— сказал он, присаживаясь с нею рядом на дубовую лавку,— так ведь что тебе об Аленке сказать. Там разве она одна была, ну, как всем, так и ей, там особой разницы не было. Все идут, и ты иди, все едят, и ты ешь, сколь положено тебе. В госпи-

тале она сначала работала, за ранеными ухаживала. Там, по-моему, подружка у ней еще такая была, Настенькой звать, из другого району.— Свиридов замялся, поглядел на свои руки, потер их ладонь о ладонь.—Случай там с ней, Ефросинья, превосходительный был, с парнем одним сошлась она там. Да уж так, сам черт их не раздерет, не растащит, парень-то ничего был, смелый. Видать, жила она с ним, это я тебе как матери, чтоб знала.

Ефросинья сидела все так же, не меняясь в лице; при последних словах Свиридова она лишь коротко взглянула на него и опять отвела глаза.

— Покалечило его, умер. На руках у нее умер, вот оно какой бублик.— Свиридов замялся, прокашлялся, стал глядеть на Ефросинью потверже.— Так все думали, не отойдет Аленка-то, я уж с ней и так и эдак, а она молчит, в том и дело, что молчит. Камень, и только. Одни глаза нехорошо светятся. «Аленка, говорю, послушай, ты же мне не чужая, что уж ты так убиваешься в свои годы. Время придет, подвернется тебе человек». Молчит. А потом уж Брюханов Тихон Иванович как-то приезжал в наш отряд, так с собою забрал Аленку — куда-то в главный штаб. Узнал, что она Захару дочка, пожалел, больше я о ней и не слыхал. Ты, Ефросинья, помнишь Тихона-то Брюханова?

— Как же, хорошо помню,— сказала Ефросинья, хмурясь и стараясь изо всех сил не показать охватившего ее чувства неловкости и стыда за дочь; она скоро справилась с собой, и хотя ей хотелось узнать об Аленке побольше и поподробнее, но она ничего не спрашивала; Свиридова позвал из-за перегородки счетовод, он вышел, и они долго спорили о каких-то актах, затем говорили о списании пропавшей третьего дня лошади. Вернувшись, Свиридов увидел, что Ефросинья сидит все такая же хмурая.

— Ладно тебе, что нахохлилась,— сказал Свиридов.— Значит, доля ее такая приспела, тут уж виноватить некого.

Свиридов крикнул через перегородку счетоводу, чтобы тот не забыл поскорее написать какую-то бумагу в район; Мартьяныч что-то недовольно проворчал в ответ, пожаловался на глаза, на то, что очков подходящих не может достать и потому к вечеру в голове сплошной ералаш.

— Ну, значит, так,— согласился Свиридов и тут же повысил голос: — А ты пиши себе, только бы в брех впутаться. Пожалостливей пиши, рука не отсохнет.

— И без того в сочинители гожусь,— сказал Мартьяныч за перегородкой и затих; Ефросинья встала, набросила на голову платок, стала повязываться, выставив в сторону локти.

— Так ты мне и не сказал, дядя Игнат, как его звали, Аленкиного-то парня...

— Да Алешкой и звали, вишь, как сошлось, Аленка да Алешка,— сказал Свиридов, глядя на Ефросинью, и она впервые заметила, что он уже старый, совершенно седой.— Хороший мужик из него вышел бы, голенастый, запасу много было. И ученый, на инженера перед войной кончил. Не определила его судьба Аленке, так-то, войной все перешибло. А рассказывать,— что ж от рассказу толку, мертвого не подымешь. Ничего, Ефросинья,— закряхтел Свиридов.— Вытянем как-нибудь. Сам до смерти уморился, хоть бы кто помоложе вернулся, какой из меня председатель? Не умею. А надо. Вот раньше сумление меня насчет колхоза-то брало, а счас подумаю, так все оно как получилось, и с немцем бы нам куда труднее вышло, и счас что бы мы делали по одному? Может, Кулик отыщется, а я бы себе по-стариковски, топор в руки — и плотничать... Ну, ты иди, иди, ничего.

Холодная и тяжелая земля липла к лопатам. Поле, разбитое на участки, усеянное согнутыми, молчаливыми фигурами женщин и детей, шло с возвышением от реки к лесу; солнце не пробивалось сквозь сплошные низкие облака; дул холодный низовой ветер с северо-запада, и в густых, высоких зарослях ивняка на краю поля от реки держался тихий монотонный гул, иногда его перебивали своим надоедливым стрекотом сороки.

Прижимая локти к телу, помогая уставшим рукам всем своим телом, Ефросинья отваливала и отваливала густо проросшую кореньями землю; нажимала на лопату ногой, затем выворачивала вперед тяжелую груду земли. Червей уже не было, они с холоду, видать, ушли глубже, и Ефросинья думала об этом, равномерно повторяя одинаковые движения в течение часа, двух, до самого обеда, лишь изредка, с глубоким оханьем выпрямляя спину и держась за нее на уровне поясницы

руками, отдыхала минуту, другую, больше всего в это время чувствуя глухие перебои в сердце; все-таки война и страдания сказывались. Норма была установлена в две сотки, но многие догоняли по пяти, и она не хотела отставать от других; работа была тяжела и харчи скуднее некуда, но это была первая осень без немца, без страха, что тебя заберут и куда-то погонят, что у тебя возьмут и перебьют детей; и от этого, несмотря на скудный харч, держалась веселая злость в работе. Да уже и первую партию в десять лошадей пригнали в Густищи по распределению из Казахстана, уже и в Густищинской МТС, хотя еще не было трактористов, вокруг полуразбитых, разрозненных старых тракторов шло свое движение; через два месяца после отхода немцев откуда-то из сибирского госпиталя, из города Читы, вернулся первый тракторист, дальний родственник Володьки Рыжего — Иван Емельянов, окончивший курсы трактористов в Зежске еще в бытность Захара Дерюгина председателем, вернулся он без левой ноги ниже колена, но и баба его была рада, и дети, и все Густищи; а сам он, сберегший кое-что из своего солдатского довольствия для детей и жены, в первый же вечер хватив стаканчик из привезенной, а главное, сбереженной до нужного момента с великими душевными муками фляжки, затопал деревяшкой оземь, цапнул свою разрумянившуюся бабу за зад и закричал:

— Ничего, деревянная не застынет, теперь заживем,— траты на обувку вполовину меньше выйдет!

И Ефросинья ходила смотреть на него, постояла у порожка землянки вместе с другими бабами, вспоминая Захара, тихонько сморкалась и вытирала глаза; Иван Емельянов уже на второй день пошел на усадьбу МТС и долго лазил среди обгоревших каменных коробок домов, в железном, изъеденном ржой хламе, заросшем бурьянами; неподалеку на пригорке саперы из мин выложили чуть ли не целый городок. И хотя на усадьбе МТС стояли щиты с надписями, что местность проверена и мин здесь больше нет, и Емельянову рассказали о проделке густищинских парней во главе с Митькой-партизаном в этих самых зарослях, далеко в бурьян забираться не хотелось; нельзя было в такой короткий срок хорошо очистить землю от скрытой начинки, которой было густо нашпиговано все вокруг. Цепляясь деревяшкой за бурьян, битый кирпич и всякий другой мусор, Иван Емельянов матерился не стесняясь, но

продолжал стаскивать в одно место, к остову бывшего трактора «НАТИ», всякий железный хлам; на другой день ему уже помогали ребятишки, в том числе и двое Дерюгиных — Егор с Николаем, но в особо запущенные места Емельянов ребят не пускал, лез сам, говоря, что если ему еще ногу оторвет, то это даже хорошо, что ему это для уравновесия, а тем, кто еще только растет и потом жениться будет, ноги обе нужны, потому как девку иначе не догонишь и не уломаешь. Одним словом, за две недели поисков в бурьяне у Ивана Емельянова начал обозначаться вполне приличный трактор, а еще через две недели он выпросил у Свиридова лошадь, вместе с Митькой-партизаном съездил в штаб саперной части, бодро доложил командиру батальона о себе и своем деле (Митька при этом пошире распахнул полы шинели, показывая ордена) и вернулся на машине с тремя бочками солярки и канистрой масла, и, поколдовав еще два дня над своим железным чудом-юдом, как он сам его называл, вдвоем с Митькой-партизаном они завели наконец мотор, не единожды изойдя потом, затем Емельянов торжественно забрался в кабину и, замирая перед решающей минутой, дал газ; ребятня во главе с Митькой-партизаном, помогавшая ему, бежала с двух сторон, а Емельянов в упоении какой-то силой, с дурацкими слезами на глазах, остервенело давил гусеницами бурьян, затем, насладившись своей властью над железной грудой, отрегулировал заброшенный пятикорпусный плуг, подцепил его с помощью все того же Митьки, твердо наметившего себя в помощники трактористу, подъехал к председательской усадьбе.

Свиридов при всех расцеловал его и Митьку-партизана и наобещал им первым на селе поставить избы.

В тот же день о тракторе узнали в Зежске, и в Густищинскую МТС был срочно назначен директор, чтобы руководить трактором и одноногим Иваном Емельяновым с его добровольным помощником, но уже через два месяца директор оказался при деле. МТС получила четыре побитых, но при хорошем старании еще шустрых трактора от воинской части, да еще один был (с устрашающим перекосом) собран из старья, подобно первому. Нашли и трех баб-трактористок, посадили со всевозможными уговорами и обещаниями за руль, разослали по колхозам; наконец уже в конце сентября выделили семян: ржи и озимой пшеницы, и на взрыхленные поля выходили старики с севалками, разбрасы-

вали горстями зерно, примечали свои лехи, а недели через две шли взглянуть на всходы, у кого они удались ровнее, лучше. Но пока не в тракторах и не в лошадях была основная сила, а в сотнях бабьих рук, и Ефросинья вместе с другими ежедневно выходила в поле с лопатой и возвращалась домой в темноте; во время монотонной, отупляющей работы приходили какие-то мысли; то она думала о муже, то о старших детях, Иване и Аленке, но вспоминались они как-то отдаленно; она уже не могла представить их близко, потому что слишком много пришлось всего пережить за два с небольшим года под немцем, с каким-то особо острым чувством страха вспоминала она и Макашина, и свое счастливое от него избавление.

Во время коротких передышек на работе, когда бабы сходились отдохнуть, перекусить, особенно чувствовалось, как люди соскучились друг по другу, и хотя война продолжалась, все теперь понимали, а главное, верили, что она идет к концу.

В один из таких дней получила письмо Нюрка Куделина, прямо на поле принесла дочка, и Нюрка потом бежала, размахивая смятым листком, через все поле, еще с другого его конца окликая Ефросинью Дерюгину; и все в окружности, побросав свои лопатки, бежали вслед за нею и вскоре собрались в одно место; Нюрка стояла в кругу разрумяненная, с возбужденными глазами.

— Бабы! Бабы! — счастливо кричала она, размахивая письмом.— Мой-то Фома Лексеич нашелся! Связистом служит! Ох, бабы, горе ты мое, грудь заходится! Слышь, Фрось, о твоем тоже поминает, еще в сорок первом, под Смоленском, их растянуло в разные боки...

Нюрка, присев, разложила письмо на коленях и, водя пальцем по строчкам, медленно, с начала до конца, прочитала его; бабы все подходили с разных концов, и ей приходилось перечитывать письмо сначала; Ефросинья стояла рядом, заглядывая ей через плечо, стараясь разобрать, где это написано про Захара и про то, как за ними немец на танках гонялся. Подняв глаза, Ефросинья увидела неподалеку Маню Поливанову, глухо повязанную сереньκой шалькой; не смешиваясь с другими, Маня стояла и слушала, и в ее лице было оживление, хотя она изо всех сил хотела казаться равнодушной; Ефросинья каким-то внутренним чутьем поняла ее сейчас и пожалела, потому что в письме говорилось о Захаре лишь в сорок первом году; за два года много

воды утекло, и каждая из них знала, как густо покрылась земля с тех пор могилами, а то и просто выбеленными в дожди и ветра костями; Ефросинья вспомнила, что Маня на днях уходит на свой завод, там, говорят, уже полным-полно пленных немцев, все расчищают, будут заново завод поднимать.

Вздохнув, Ефросинья стала слушать дальше разговоры баб вокруг, опять возбужденных надеждой, в который уже раз за последнее время поманившей из далеких далей.

— Да ничего, ничего! — говорили самые задористые и языкастые.— Коли своих не дождемся, Фома вон придет, что уж, Нюрка — баба добрая, поделится, коль невмоготу припечет! Поделишься, а, Нюр?

— У-у, бесстыжие срамницы! — весело огрызнулась Нюрка.— Что вы считаетесь? Тьфу, тьфу! Окаянные! Сглазите, черти!

— Да вы послушайте, что он, дрючок безмозглый, пишет под конец-то! — никак не могла успокоиться Нюрка.— Ты, пишет, верность мне блюди, а не то по моему прибытию из нашей победоносной армии,— читала Нюрка, водя пальцами по строчкам,— слышите, бабы, нашей победоносной армии,— быть между нами рукопашной схватке! Тю, дурак! — хохотала она счастливо.— С кем же это мне полюбовничать, с медведем в лесах или с дедом Макаром?

Ефросинья видела, как Маня отошла потихоньку и, опустив голову, побрела назад; хотела Ефросинья позлорадствовать и не могла, опустело от войны сердце, и не было там ни злобы, ни горечи, ни тепла. Вот только когда она думала о Макашине, каким-то холодом тянуло на нее; видать, бог так ей судил, остаться с детьми на белом свете, и она, забираясь по вечерам на нары и прислушиваясь к сонному бормотанию сыновей (Колька что-то последнее время стал часто разговаривать во сне), думала о том молоденьком полицае из Слепни, которого она ни имени не знала, ни лица в ночи не запомнила, но от которого и вышло ей с детьми спасение. «Ну, тетка, лупи в этот проулок со своей ребятней, сразу в поле выскочишь. А там как тебе уж на роду выпадет. Останешься живой, помолись за меня»,— часто вспоминала она молодой хрипловатый голос; а ведь в Слепне у нее было немало родни, может, и попался на пути кто из дальних сородичей, и она каждый раз думала, что надо ей обязательно сходить в Слепню

и разузнать все о том парне, что освободил и спас ее с детьми от Макашина.

С каждым новым днем все больше отдалялась война, и многие, давно не слыша воя и грохота бомб и снарядов, начинали спать спокойнее; война оставила после себя иные дела и заботы в разоренных начисто селах и городах. Возвращаясь с работы поздно вечером, Ефросинья обязательно заворачивала в соседний лог, набирала охапку сушья и, туго обвязав его припасенной веревкой, взваливала на плечи и несла домой; зима была рядом, и нужно было запасти топливо. Кроме того, говорят, Володька Рыжий приловчился делать из автомобильного железа терки (ручные мельницы для размола зерна), и Ефросинья уже несколько раз просила и его и Варечку сделать терку и ей; Володька Рыжий обещал, вспоминал Захара и клялся, что для его детей все, что угодно, сделает, но все тянул, и Ефросинья чуяла, что надо было бы ему магарыч, а где взять, не знала.

Придя немного в себя, Ефросинья потихоньку забрала все в семье в свои руки, как это и было прежде; бабка Авдотья хоть и делала недовольный вид, но была рада-радешенька, теперь у ребят была мать, и все самое тяжелое бабка Авдотья сразу перекладывала с себя, а самой ей пора было подумать и о боге, недаром в последнее время нет-нет да и начинает сниться мужик, Тарас Еремеевич, умерший от холеры где-то под Астраханью в двадцать первом, куда подрядился вместе с пятью другими густищинцами ехать за солью для общества. Только один из них и вернулся, привел коней, а остальных так и закопали в известке; а вот теперь Тарас-покойник уже в который раз снился, как живой, и бабка Авдотья, рассказывая невестке, утверждала, что это *он ее зовет, что и ей пора собираться*, и, хотя Ефросинья не верила и свекрови об этом не говорила, бабка Авдотья крепко вбила это себе в голову и стала сумрачнее, замкнутее, ходит, ходит и задумается, вроде и вдоволь пожила, а уходить нелегко, знобко, хочется, коли тому суждено, и Захара дождаться и поглядеть, какие люди из внуков подымутся, да и оженить бы их, полюбоваться на молодую радость. «Охо-хо-хо,— говорит бабка Авдотья сокрушенно.— Вот горюшко-то, вот суета; вроде ничего хорошего в жизни и не было, а нá тебе, то одно, то другое проблеснет. Помнится, батюшка ботинки купил перед самой свадьбой, ни у кого таких

в селе не было, да и Тарас хорош и крепок был в парнях, да и мужиком смолоду...» Бывало, ни в великий пост, ни в страстную субботу от него никаким боем не отобьешься, мать-то, свекруха ее, в Густищи из хохлов была приведена отцом Тараса, ходил по каменному делу аж за Киев куда-то и вернулся однажды вдвоем, высокая, чистая баба была, ласковая, бога гневить нечего, невестку не обижала. А как внучата пошли, все, бывало, песни над ними пела, сердечно так, прямо слезы в груди закипают...

Слабые, полустертые ощущения начинают просыпаться и бродить в теле, и бабка Авдотья усердно кладет поклоны: грех, грех смертный на старости лет, оттого и дети не жили, а Захарка как зачат на страстной неделе, так непутевым и пошел по жизни, один грех от него и искушение людям. Бабка Авдотья понимает, что еще больший грех думать нехорошо о своем дите, не радоваться своей родной плоти и крови, но сейчас ее честность перед богом выше всего, и она сама страдает от своей честности, и иначе не может.

5

В эту трудную осень 1943 года на огромных пространствах, освобожденных от немцев, многим нужно было в самые короткие сроки обзавестись хоть какимнибудь жильем, подготовиться к зиме. Чаще стали перепадать мелкие, тусклые дожди, с каждой новой зарей ярче бушевало многоцветье лесов, осина и клен уже давно роняли лист, и дуб начинал густо багрянеть в предпоследней яри; густо и тяжело ссыпался с него крупный, полновесный желудь, и многие густищинцы с утра отправлялись с мешками и с колясками, у кого они были, в лес, желуди сушили и ссыпали на зиму в добротные немецкие ящики из-под снарядов. Запасла пудов десять желудей и Ефросинья с детьми, а в конце октября, к празднику, получила еще и пособие — два пуда пшеницы. Ефросинья тотчас хорошенько провеяла ее и, тщательно завязав, подвесила в углу землянки, чтобы мыши не точили; это был запас к весне, к самому голодному сроку, а пока можно было перебиваться разной всячиной, тем, что доставал Егор на свои подметки, что собиралось в полях и в лесу, каким-то чудом сохранившаяся в земле и превратившаяся в комья темного

крахмала картошка, орех, желудь в лесу, раки и рыба, размножившиеся в войну в ручьях и колдобинах.

Вернувшись как-то с работы и бросив растоптанные лапти, Ефросинья переобулась в немецкие сапоги, которые для нее стянул Егор с убитого немецкого солдата (сапоги Ефросинья жалела и на работу не носила), расчесалась; бабка Авдотья дала ей ее часть болтушки и кусочек темного, с толстой от закала коркой хлеба. Ефросинья быстро ела, нужно было додергать бурьян на усадьбе, чтобы весной свободно огород вскопать.

— Слышь, мам,— сказала Ефросинья, отрывая глаза от миски,— бабы-то наши, Нюрка Куделя да Варечка Черная, приглашали с собой в Глухов поехать. Два пуда, говорят, семечек возьмешь, а в Холмске вполовину выручишься. Да ведь как собрать на эти два пуда? Так-то хорошо бы сходить, хоть бы на мыло. Да пшена стаканов десять купить. Поди, рублей пятьсот — шестьсот надо на первый раз, а ребятам в школу... ничего справного нету.

— Куда уж Варечке-то,— недовольно, с осуждением сказала бабка Авдотья.— В два рта тянут, никак не нажрутся.

— Живой человек на живое и загадывает,— вздохнула Ефросинья, доедая похлебку.— Запас, кому он помеха?

— Живоглоты! — поругалась бабка Авдотья.— И Володька хорош, сколь раз терку обещал сделать? Когда Захар ходил в председателях, все они по-другому были...

— Вспомнила, мамань,— опять вздохнула Ефросинья,— прошлогодний снег, кому от него холодно?

— А ты вот что, Ефросинья.— Бабка Авдотья както незаметно и уже давно, еще перед войной, стала называть невестку вот так тяжеловесно — «Ефросинья».—Тут у ребят подметок энтих пары три попроси, продай. За них, Егорка говорит, по четыреста целковых дают. Вот тебе и будет на разживу.

— Ну а как кто увидит? — Ефросинья поглядела на свекровь, бабка Авдотья, мотая подолом широкой юбки, убирала в землянке.

— На то тебе глаза дадены,— сказала бабка Авдотья.— Увидела кого, раз — и за пазуху, что это, корова, сунуть некуда? А сама боишься, Егорке скажи, этот тебе на глазах хоть что сбудет, моргнуть не успеешь, ох,

работает голова, а всего двенадцатый год только.— Бабка Авдотья говорила о Егоре с большим одобрением, и даже лицо у нее переменилось и сделалось ласковым, глаза слегка заблестели.

— Нехорошо это,— тихо, больше самой себе сказала Ефросинья.— Испоганится с этих пор, а там пойдет, бог, он в детях и наказывает...

— Ну уж, ну уж,— недовольно оборвала ее бабка Авдотья.— Тоже, монашка святая, чего кудахчешь, чего кудахчешь? Бог, он тоже с разумением, знает, у кого отнять, а кому отдать, он тебе зазря ничего не станет делать. Кому нужнее, тебе с детьми или Володьке-то Рыжему со своей Варечкой? Вот то-то! — сказала бабка Авдотья с видимым торжеством, довольная, что так ловко успокоила и себя и невестку, и дальше разговор у них действительно пошел совершенно мирный, и, чтобы уравновесить свою похвалу Егору, бабка Авдотья сказала, что хоть Егорка и шибко по хозяйству соображает, зато с Колькой в грамоте прямо-таки ни в какую не годится и что ей учительница говорила сегодня об этом, если, мол, так и дальше будет, то она его сразу в четвертый класс посадит, в третьем делать ему нечего.

— В батьку пошел,— скупо признала Ефросинья, повязалась и, взяв лопату, пока еще не совсем стемнело, отправилась воевать с бурьяном на усадьбе, и пока работала, все думала о словах свекрови и привыкала к ним, и в конце концов то, о чем говорила бабка Авдотья, показалось ей вполне нормальным и даже нужным.

В одно из воскресений она послала Егора в Зежск на базар, и тот вечером принес ей за пазухой ком денег, почти тысячу пятьсот рублей, продал четыре пары подметок и истратил лишь сорок рублей, купил себе и Николаю четыре самодельных тетрадки из нелинованной бумаги и еще, не выдержав, купил четыре леденцовых петуха на палочках, по пять рублей за штуку. Ефросинья похвалила сына за недетскую бережливость, и по первому крепкому морозу, захватив с собой два порожних мешка, фунта два хлеба и немного топленого сала из банки немецких консервов на дорогу, Ефросинья с Нюркой Куделиной, Варечкой Черной и еще тремя бабами отправилась в поход за подсолнечными семечками на соседнюю украинскую землю, по слухам, не разоренную от войны; проскакивали такие места,— обойденные всеми фронтами стороной, и жили там хоть и с горем, но безбедно, и скот кое-какой сохранился,

и сеяли, и убирали; в такие места стекались совершенно разоренные люди, меняли на картошку и зерно последние вещи, платили за стакан пшена, за круг сала или масла немыслимые деньги, невесть как и где доставшиеся. В этот торговообменный путь, благодаря ящику подметок, добытых Егором с Николаем, и включилась Ефросинья с поздней осени, моталась туда-обратно, верст по двести, всю зиму, и если бы не это, неизвестно, как бы окончилась для ее семейства зима.

С середины января у Ефросиньи начали пухнуть от долгой, тяжелой ходьбы ноги, и по утрам каждый раз приходилось вставать чуть ли не с криком, но все равно она не пропускала ни одного похода, шла и в метель, и в крепкий мороз, зато как потом было приятно отдать с выручки сотню, а то и две свекрови, чтобы та запрятала их в одно ей известное место; бабка Авдотья, давно затаившая думку о корове, хотя бы сначала о годовалой телушке, сумела заразить этой своей смелой, богаческой мечтой и Ефросинью, и спустя месяц-полтора обе они, когда ребят не было дома, доставали деньги и начинали их считать снова и снова, хотя каждая знала всю наличность наизусть; мечта о корове сблизила их еще больше, и они часто шептались, представляя себе радость ребят, когда все сбудется и Ефросинья приведет корову, а на худой случай и телушку. И как-то, волоча вслед за Нюркой Куделиной тяжело нагруженные семечками и пшеном салазки по злой январской поземке, Ефросинья представила будто наяву, какую она приведет корову, обязательно пегую, с большими блестящими глазами, с хорошим выменем, на Ефросинью даже парным молоком пахнуло, и она облизала пересмякшие губы, опять налегла на лямку, пристроенную поверх грудей, и пошла, глядя на беспрерывный след от салазок Нюрки; чуть в сторону нельзя было ступить, ноги сразу обрывались в метровый снег. Следы от полозьев тут же затягивало поземкой, и как глазастая Нюрка, идущая впереди, угадывала дорогу, просто чудо; у самой Ефросиньи лицо было закутано шалью, и только оставлена небольшая щелочка для глаз. От непрерывной белизны — и позавчера, и вчера, и сегодня — с самого утра глаза болели, и Ефросинье казалось, что именно от этого кружится голова. Ефросинья приостанавливается всего на один момент, чтобы прийти в себя, передохнуть, и опять налегает на лямку всем телом, рывком сдвигает салазки с места, идет дальше — шаг,

другой, третий, десятый, и скоро шаги сливаются в привычную бесконечность, их уже нельзя различить в отдельности, и Ефросинье начинает казаться, что она шагает по упругому беленому холсту, нескончаемая полоса которого бешено несется у нее под ногами назад, и сколько она ни идет, она все стоит на месте, и ее даже относит назад. «А корова будет пегая-пегая,— с усилием думает она,— и молока будет хорошо давать, подойдешь доить, она повернет морду и дохнет теплом... А потом хорошо, если корова всю ночь жует себе и жует, вздыхает, и ничего с ней не страшно, хлебушко кончится, можно на молоке тянуть, и маслица можно собрать, сметанки, в Зежск на неделе разок сбегать, ребятам на какую одежонку; весной Колька с Егоркой будут ее стеречь; травы теперь много, косить ее некому и незачем — благодать. Да надо будет сказать ребятам, чтобы в непроверенные места опасались корову пускать, а то и миной недолго покалечить... А ввечеру какая радость встречать Пегулю (Ефросинья и не заметила, что придумала корове имя), идет, выменем тяжелая, разбухшая, и соски от молока в разные стороны растопырились, а бабы по деревне искоса с завистью оглядывают; тьфу! тьфу! тьфу!» — сплюнула неслышно Ефросинья трижды, отводя злой глаз, и теперь уж увидела свою Пегулю на широком солнечном лугу, травы по колено, от цветов аж в глазах рябь. Пегуля еще издали учуяла хозяйку и подняла голову, расставила уши и призывно негромко замычала. Подоткнув подол широкой юбки, Ефросинья шла к ней с подойником в руках, молодая и сильная, только что вырвалась из рук Захара уж на заре, и надо бежать доить корову; хорошо ей сейчас на свете, привольно и надежно, потому что в амбаре спит, вольготно раскинувшись, Захар, а на лугу, призывно мыча, ждет ее Пегуля. Ефросинья плещет водой из доенки на вымя Пегули, вытирает соски насухо полотенцем, выплескивает остатки воды в сторонку, дает Пегуле в мягкие слюнявые губы соленую корочку хлеба и опускается на корточки. Пегуля благодарно жует и вздыхает, о доенку звенят упругие струи молока. Черная тьма стремительно несется Ефросинье в глаза, навстречу, прямо в лицо, и она, изо всех сил цепляясь за какие-то проблески, падает лицом в снег, не успевая выставить перед собой руки, и салазки от рывка наезжают на нее сзади.

Открыв глаза, она видит вокруг себя знакомых баб, туго замотанных платками и шалями, толстых, неповоротливых; близится вечер, и поземка тихими, рваными потоками течет по всему полю. Ефросинья сидит на своих салазках, на мешке с семечками, и Нюрка Куделина, освободив ей лицо от шали, сует в рот горлышко немецкой трофейной фляжки в войлочном чехле.

— Разожми-то зубы, Фрось,— просит Нюрка.— Там у меня кипяток с молочком, на базаре захватила в дорогу. Да чтой-то с тобой, а?

Ефросинья делает несколько глотков; слабое тепло разливается по телу, и теперь она совсем приходит в себя.

— Сморило меня, бабоньки,— говорит она виновато, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах и пустоту в груди.

— Теперь до Сосновки версты три,— успокаивает Варечка Черная.— Ты уж скрепись, потерпи.

— Да я поднимусь, ноги чуточку отойдут...

Бабы стоят полукругом, загораживая Ефросинью своими широкими задами от палящей поземки; они все на последнем пределе; но двигаться надо, и ни одна из них не присаживается, пока можно; все знают, что потом будет трудно встать и, пока разойдешься, все на свете проклянешь.

— Моришь ты себя,— говорит Нюрка Куделина недовольно.— У меня тоже двое, да и у других, кроме Варечки, гляжу, у тебя хлеба всегда на раз курице клюнуть. Зря ты, Фрось, они там на печке дома не пропадут, а как ты падешь, вот тогда и для них беда. Окромя тебя их вытянуть некому. А ну, бабы, у кого что близко есть? Дай ей раза два укусить, дотянет, а то придется тут мучиться.

— Не надо, я и так,— слабо отказывается Ефросинья,— дотяну до ночлега, а там и у меня есть пожевать. Давай трогай, трогай, Нюр...

— Сиди, сиди,— останавливает ее Нюрка и требовательно оглядывает баб; Варечка Черная, не дожидаясь, пока до нее дойдет очередь, лезет за пазуху, достает замотанный в тряпицу кусочек хлеба с тонким, просвечивающим ломтиком сала наверху и протягивает Ефросинье.

— Господи, господи,— говорит она, чтобы остальные крепко запомнили ее поступок.— За что же человеку кара такая дадена...

— Не ропщи,— сурово обрывает ее Нюрка.— Бог терпел и нам велел. А уж вернется мой Фома, целый год буду ноги в потолок... Задеру и буду лежать, а он пусть управляется и дома и в поле... Что он там, мужик, воюет? Так, смех один. Паек ему готовый, ни о чем думать не надо. А уж написано ему на роду убитым быть, тут уж ничего не придумаешь. Так в недобрую минуту хочется лечь и не вставать... Закрыла бы глаза, и ничего тебе не надо, только бы не трогали.

Ефросинья жует, и ноги у нее потихоньку отходят, и в груди теплеет, и в голове проясняется; она встает, покачиваясь, и скоро опять начинают скрипеть полозья салазок, и движутся в предзакатной поземке согнутые женские фигуры; часов в семь, в полнейшей темноте, они останавливаются у знакомой хаты, где хозяйка пускает ночевать за стакан пшена с души, и скоро, затащив салазки с грузом в сени, бабы раздеваются, охают. Хозяйка, пожилая, лет пятидесяти, вдова, лезет на потолок, сбрасывает несколько кулей соломы постелить ночлежницам, затем растапливает плиту, сложенную впритык с большой печью, и ставит варить чугун нечищеной картошки; бабы переглядываются, веселеют: еще не перевелись на земле добрые люди. Хозяйка сидит перед плитой и подбрасывает в огонь кизяк, и мужичье, грубое лицо ее неровно освещается пламенем; у нее добрые, усталые глаза, и она сейчас думает о том, вернется ли домой хоть один из трех сыновей, пока что-то ничего не слышно. Картошка потихоньку доходит, начинает лопаться, хозяйка сливает ее и обсушивает, затем высыпает на стол в россыпь и говорит:

— Садитесь, бабы, чем богаты, тем и рады. Соли вот у меня нет, а так, что ж... садитесь, бульба пока есть, одной мне много ли надо.

— Господи, спасительница ты наша, Мироновна,— отзывается Варечка слезливым голосом, который был разработан у нее на все случаи жизни в богатом совершенстве.— Что бы мы без тебя делали, ума не приложу. Сольцы-то у нас по щепотке найдется...

Бабы не спеша садятся за стол, ссыпают свою соль из узелков в глиняное старое блюдце, начинают чистить картошку и жадно едят ее, макая по очереди в соль; Мироновна тем временем ставит на плиту вскипятить большой чугун воды, чтобы на ночь напиться горяченького; она давно знает все подробности из жизни своих ночлежниц и жалеет их. Нюрка Куделина все пододви-

гает картофелины покрупнее Ефросинье и говорит ей есть, не стесняться; от теплой еды, от сытости почти сразу начинают слипаться глаза, и Ефросинья чуть не засыпает тут же за столом; отказавшись от кипятка и едва добравшись до угла, где толсто настелена ровная желтая солома, она сразу проваливается в тяжелый, беспробудный сон до зари.

И все-таки, как ни старалась Ефросинья сделать запас на весну, когда дороги развезет и нельзя будет ни проехать, ни пройти, как бабка Авдотья ни скареднichала, ни выворачивалась и ни отрывала от себя кусок, чтобы досталось побольше растущим, несмотря ни на что, внукам, недоедание уже в первые мартовские дни начинало сказываться внезапной темнотой и мерцанием в глазах, кружением головы; лица у ребят стали зелеными и прозрачными, и Николай часто пропускал школу, от слабости он не мог высиживать на уроках, а дальше и совсем так пошло, что хуже и не придумаешь.

Бабка Авдотья не разрешала Ефросинье трогать отложенные на корову деньги, говорила, что скоро пойдет щавелек и крапива, можно будет собирать да варить щи; и куры вот-вот начнут по яичку нести, а там, гляди, и власть подкинет чуток, говорят же, к посевной дадут фунтов по десять муки на едока; Ефросинья слушала и верила, очень уж ей не хотелось трогать заветные деньги, хотя на бабку Авдотью жутко было взглянуть, жердиной высохла, и словно кора от нее давно отстала и осыпалась, даже в ходьбе ничего не было слышно, она как-то и по земле невесомо ступала, а лицом стала с небольшой кулачок.

В эту весну шло неимоверно много воды; с ревом заполняя лога и овраги, она рвалась широким валом в низины и все прибывала и прибывала. Проглянули верхушки холмов, дня на три пал густой молочный туман, и никто не заметил появления грачей, теперь непрестанно, с зари до зари, оравших, обживающих старые березы и дубы на одной из околиц Густищ. Туман в одно утро рассеялся, и ударило солнце, и все увидели черные поля с редкими, не стаявшими кое-где пятнами снега; чистейшей прозрачности воздух к полудню задрожал, нагретый, над полями, звон жаворонков затопил и землю и небо. Ослабевшие за зиму старики и дети выползали из землянок, часами блажен-

но жмурились на солнце, неосознанно вбирая в себя его живительную силу, а ребята постарше, примерно в возрасте Егора и Николая Дерюгиных, тотчас стали шнырять по тем местам, где в прошлом году пролегала немецкая передовая,— в надежде отыскать нечто нужное для хозяйства и жизни, и удержать от этого нельзя было никакой силой, хотя кругом только и говорили о несчастных случаях, об искалеченных неумелым обращением с боеприпасами, о разорванных минами, о том, что в Слепненских лесах скрывается какая-то банда из бывших местных полицаев и что по ночам они грабят, забирают у людей последнее.

Несмотря на канаву, которой Ефросинья еще с осени окопала землянку, вода стала подходить из-под пола, и ее приходилось по два, по три раза в день отливать; стоило чуть-чуть пропустить, вода проступала на доски. Мелкая картошка на семя, хранимая Ефросиньей пуще собственного глаза, начинала прорастать в тепле; бабка Авдотья охала и беспокоилась от этого; о себе она никому ничего не говорила, да о себе она вовек и не думала отдельно — сначала от отца с матерью, затем от мужа и детей, а теперь от внуков; она всегда была незаметным и важным центром большой семьи, совершенно об этом и не подозревая, как не подозревали об этом и другие; она обо всех заботилась, все видела и знала по хозяйству и почти из ничего умела что-то сделать, всех накормить. В прошлые далекие годы, еще при царе, когда приходилось очень туго, она запрягала в телегу коня, кидала в нее детей, крестилась и отправлялась по́ миру, ехали туда, где, по слухам, стояли богатые села, не тронутые недородом и голодом; и хотя много ей не доставалось, она умела поплакаться и разжалобить, и два-три весенних, самых тяжких, месяца всегда могла протянуть. Все на веку перепробовала бабка Авдотья — и нищету и достаток. Какие же хлебы, бывало, пекла она перед самой войной — пышные, золотистые, а пироги-то, пироги какие, и с вишней, и с рябиной, и с печенкой, а то и с рыбой... Даже не верится, что было все это. Теперь же все кругом были в одинаковом положении, в эту тяжелую зиму бабка Авдотья, и не ведая о том, опрокинула и посрамила все законы экономики, да и биологии заодно; тем количеством плохих продуктов, каким она кормила четырех человек, нельзя было накормить и ребенка, но бабка Авдотья кормила именно четырех, надо считать, взрослых людей, да еще у нее

обязательно хранился какой-нибудь кусочек на самый крайний случай; закачается, например, внук Колька от черноты в глазах, обопрется о стену, она тут как тут, сует ему в руки корочку, засохший огрызок сухаря. «Пососи, пососи, болезный, горюшко ты мое золотое!»

Никто никогда не видел, чтобы бабка Авдотья усаживалась за стол, на ходу поводит во рту языком, подержится за зубы и, сморщившись, хлопочет по дому, сухая, прямая, с маленьким лицом, но вот в эту зиму, ближе к весне, Ефросинья однажды глянула на нее и выпрямилась от какого-то нового, захватившего дух своей неясностью и силой чувства: глаза у бабки Авдотьи словно зацвели неистовым голубым полымем. Ефросинью до смерти испугали эти молодые, в странной трепетной красе глаза, и от тяжелого предчувствия тягуче заныло изработанное тело.

— Мам, а мам,— позвала она бабку Авдотью, и та, словно вернувшись, издали, с недоумением и даже злобой глянула на нее, ничего не сказала.

— Мам, давай от коровьих-то денег истратим чуток,— осмелилась напомнить Ефросинья, встревоженная непривычным видом бабки Авдотьи.— Не умирать же теперь... сразу не получится, как-нибудь потом осилим. Ох, ох, деньги,— сказала она фальшивым голосом,— тошно от них, корова-то еще когда будет, а от голоду, того и гляди, подохнем.

— Что удумала, что! — слабым и угрожающим голосом закричала на нее бабка Авдотья.— Эка голохлыстка, своего ума не припасла, займи у кого. Зиму пробедовали, а в теплынь криком кричать? Да кто тебя похвалит за это? Во-о, дуроломка, скажут, была голытьба и до веку останется! Ты на меня не пужайся, я — стяжливая, меня кормить нечего, не такое перебедую. Вчера вон видала, крапивка, щавелек проклюнулся, дня через три щипать можно. Ты, Фрось, не дури, у человека кишка бездонная, что ни заробишь, все наскрость проскочит. Ништо, потерпим.

После такой отповеди со стороны бабки Авдотьи Ефросинья, в душе обрадованная, не заикалась больше о коровьих деньгах; в самом деле, скоро пошла всякая зелень, по селу из края в край варили крапивные да щавельные борщи, которые для вкуса забалтывались щепотью отрубей, еще реже — яйцом; бабка Авдотья, отварив крапиву и дергая маленьким носом от скоро надоевшего пресного запаха, откидывала ее в решете,

подсушивала на огне, затем, обваляв в отрубях, пекла оладьи; от них и саму бабку Авдотью и Николая рвало зеленью, а Ефросинья с Егором — ничего, ели; пошел и дикий лук, баранчики; Егор, прихватив из своего тайника карабин и сотни две патронов, тайком уходил на лесные болота, километров за десять — пятнадцать, и там, в глуши, дрожа от возбуждения и нетерпения, подкрадывался к воде, к табункам уток, но он не умел стрелять, все его усилия добыть какую-нибудь живность пропадали даром. С неделю он уходил тайком от Николая, совершенно ослабевшего; и хотя по вечерам, когда Егор возвращался мокрый, злой, с зеленовато мерцающими от голода глазами, Николай всякий раз начинал ругаться с ним, Егор указывал, что карабин у них один и мучиться в болотах обоим им нечего, лучше уж один научится хорошо стрелять, может, когда и повезет на селезня или еще какую живность. Но как-то, когда Егор, с трудом удерживая от досады слезы, рассказал об очередной неудаче, о том, как прямо в десяти шагах от него плавало шесть здоровенных уток, а он все равно не попал, Николай, обомлело сидевший с ним рядом, уже не обращая внимания на привычную сосущую легкость в желудке, на слабость в ногах и руках, внезапно растянул толстые бледные губы в улыбку.

— Эх ты, эх ты, Егорка! — заговорил он быстро и возбужденно.— Эх ты! Давай патроны вместо пуль дробью набьем помельче! Пули вытащим, а дробь туда, тряпочкой заткнуть, да и туда! Вот тебе!

Егор недоверчиво покачал головой.

— А как винтовку рванет?

— Не рванет, мелко-мелко рубить будем! Хочешь, я сам первый ударю, и всегда могу стрелять, а? Не боюсь, ей-богу, не боюсь!

На следующий день они вынули из тридцати патронов пули, отсыпали понемногу пороху и набили их мелко рубленной проволокой; дробь, по настоянию Николая, примеривали, не велика ли, просыпая через ствол карабина. Приготовив все еще с вечера, они ушли к болотам на заре; Егор мог подсмеиваться беззлобно над хилостью и слабостью брата, но он давно уже знал и чувствовал, что Николай намного способнее его в ученье или в таких вот делах, как это,— с дробью. Ни бабка Авдотья, ни мать не знали о карабине, о запасе патронов к нему, хватившем бы лет на двадцать при самом интенсивном его использовании, да и о других

трофейных секретах братьев. У них был в саду устроен свой тайник, и они хотя и неосознанно, но всегда верно использовали инстинктивный страх матери и бабки Авдотьи перед всякими непонятными вещами, связанными с войной и смертью; ни Ефросинья, ни бабка Авдотья ни за что бы не решились взять в руки хотя бы отработанную патронную гильзу.

Из-за слабости Николая до Слепненских болот (так называли в окрестностях многочисленные лесные озера в Слепненских лесах, в разливе каждую весну затоплявшие огромные пространства) братья долго, часа три, шли полями, уже два года необрабатываемыми и еще не совсем просохшими. Егор нес карабин, Николай двигался следом и уже начинал жалеть, что пошел, ноги подламывались в коленках, в суставах иногда вспыхивала острая боль. Тяжелые немецкие сапоги обрастали пластами грязи, и ее то и дело приходилось очищать; Николай шел теперь из-за одного упрямства, хотя Егор несколько раз, приостанавливаясь, предлагал ему вернуться; они с трудом пробирались друг за другом по бурьянам и через овраги, по хорошо знакомой Егору дороге. Николаю было трудно, и хотя он знал, что Егорка, который что-то насвистывал на ходу, здесь ни при чем, часто глядел в затылок брату с тяжелой недетской обидой. «Что ж, я виноват, если есть нечего, силы потому и нету,— думал он, сосредоточенный только на своем желании не отстать от брата и не показать ему своей крайней слабости.— Хорошо бы сегодня добыть какую-нибудь утку, а то ведь не помнишь и запаха мясного, вот бы мать и бабка обрадовались. Где-то продолжается большая война с самолетами и танками, Аленка с Иваном где-то пропали и батя, а здесь война уже кончилась, даже не слышно, как гремит. Только всюду битые танки остались, мин, снарядов сколько хочешь, в Осиновых хуторах уже второй раз на минах подрываются, говорят, одни клочки остаются и хоронить нечего. А на том краю, говорят, большие ребята в лесу пулемет с противотанковой пушкой припрятали, ходят туда стрелять. Вот бы самолет целый где найти, научиться летать да куда-нибудь в богатое место и сесть. Нагрузить самолет колбасой, булками белыми (что такое колбаса и белые булки, Николай представлял довольно смутно, как нечто необычайно вкусное и дорогое), а затем и назад домой, сесть на огороде возле землянки. Вот бы все сбежались, и старые и малые!

в каждые бы руки по кругу колбасы и по булке. Вот это, говорили бы, Колька Дерюгин, мал, да удал, смотри-ка, и самолет нашел, и справился. Чудо! А бабка Авдотья больше бы всех радовалась, ее заботами и лаской все у них в семье и выросли, и держатся. И батя бы вернулся домой, похвалил; хотя за постоянным голодом он и вспоминается редко, а хочется его увидеть, вот так иногда оборвется, захолодеет от этого ожидания в груди».

Мысли у Николая путаные, ребяческое в них мешается с ясной, зрелой тоской, но они помогают ему идти, и ноги устают меньше, и в голове становится яснее. А поля все так же тянутся по сторонам, и солнце поднимается выше, пригревает уже по-настоящему. Каким-то иным, новым светом озаряются холмы и лощины, над провалами заполненных водой оврагов чувствуется какая-то сумрачность, но весну уже ничем не перешибить: изумрудная зелень рвется и светит сквозь прошлогоднюю бурую травку, на пути, иногда совсем из-под ног, взлетают и зависают в небе хохлатые, чистоголосые жаворонки; Николая в который раз поражает не песня жаворонка, а его способность подниматься отвесно вверх и висеть в одной точке над землею; Николай понемногу забывает об усталости и голоде и уже поспевает за Егором без особых усилий и только досадует на топкие места. Их то и дело приходится обходить, и их много. Николай подумал, что места с утками можно было найти и поближе, но говорить этого Егору не стал; все равно теперь нужно было идти; уже и лес надвигался все ближе; какие-то голубоватые цветки встречались под ногами; да и стрелять близ села нельзя, в сельсовете услышат, могут и поймать, и тогда карабина больше не увидишь.

В лесу кое-где еще не растаял грязный, ноздристый снег, похожий больше на крупную серую соль в больших кучах; в лесу сразу же по голым высоким вершинам почувствовался ветер, и легкий гул еще больше приободрил братьев. Они минут пять посидели на сухой опушке; Николай повернул лицо к солнцу; сквозь плотно сжатые веки рвался сияющий золотой поток с сизой блестящей рябью, и от него вскоре заломило в голове. Отвернувшись, Николай первое время ничего не видел, затем его внимание привлек старый большой пень, густо усеянный муравьями; очевидно, они выбрали его

для жилья и начали строительные работы; на пне, на самой середине, уже возвышалась остроконечной шапкой куча нанесенного муравьями лесного сора.

— Еще версты две,— сказал Егор, выдергивая из земли пробрызнувшие кое-где острыми зелеными иглами ростки дикого лука и отправляя их в рот.— Сегодня нам должно повезти, вот так сердце и гудёт, гудёт, гудёт, как барабан.

Николай ничего не сказал, серые глаза его диковато блеснули; он глубоко вздохнул.

— Чур, я первый стрельну! — потребовал он, и Егор не стал спорить; Николай хорошо стрелял, гильзы набить дробью придумал он, пусть первым и ударит.

Этот ветреный и солнечный день братьям запомнился надолго, и особенно Николаю; уже собираясь идти дальше, Егор вдруг заявил, что все-таки он уже не раз стрелял и знает здесь каждую кочку и ему скорее всего повезет. Егор рассуждал в соответствии со своим медлительным и спокойным характером, степенно и веско, и оттого, что в его рассуждениях чувствовалась сила и правота, Николай, впервые за всю свою недолгую жизнь, почувствовал к брату какую-то слепую, горячую ненависть, у него даже глазам от нее горячо стало. Он не знал, как это получилось, но он схватил лежавший на земле карабин и стал кричать что-то невразумительное. Из его крика Егор только и понял, что он сам хочет стрелять, что он не хуже его, Егора, и что никакой он не больной, а здоровее всех, и пусть лучше никто к нему не суется. Егор сначала хотел отнять у него карабин, он был сильнее и знал это, но чувство злобы, звучавшее в словах Николая, горело и в его сузившихся, резких глазах; оно словно оттолкнуло Егора назад, и он, растерянно и удивленно потоптавшись, повернулся и зашагал дальше.

— Сбесился,— бросил он Николаю на ходу; тот, судорожно сжимая карабин в потной ладони, только засопел, ему уже было стыдно, и когда потянулись, холодно сверкая, тихие озера, он и сам хотел предложить Егору стрелять первым, но не смог пересилить себя. Уже через несколько минут они оба забыли об этой мимолетной стычке; уток было действительно много, и, пользуясь прикрытием из густых кустов и прошлогоднего сухого камыша, к ним можно было подбираться совсем близко. До этого в Соловьином логу

Николай много и часто стрелял по разным бутылкам, банкам, а то и просто в кусок доски (братья Дерюгины, как и многие другие их сверстники из Густищ, да и ребята постарше, облюбовали Соловьиный лог и уходили туда по своим рискованным делам от вездесущих материнских глаз), но теперь, когда они, подобравшись к одному из озер, увидели сквозь густо разросшийся ивняк целую стайку, штук восемь, крупных красивых уток, и почти у самого берега, у Николая перехватило дух, и он судорожно дернул головой, мучительно краснея от усилия удержать внезапный кашель, и сильно побледнел. Рядом отчаянно, еле слышно зашипел Егор с умоляющими глазами, а затем показал кулак; Николай с красным возбужденным лицом нашел удобную старую ветку ивы, положил в ее изгиб ствол карабина и, стараясь не дышать, стал целиться. Он видел плавающих шагах в десяти уток, словно в тумане, и медлил, все водил вслед за ними стволом карабина, пережидая слабость и туман в голове.

— Стреляй! — не выдержав, прошипел сзади Егор, и Николай скорее угадал, чем услышал, его слова; от мысли, что он не попадет, а Егорка зло попотешится над ним, Николай совсем раскис и хотел отдать карабин брату, но в последний момент что-то жестокое и властное проступило в его резко побелевшем лице, брови, казалось, потемнели, рот судорожно сжался. Он задержал дыхание, решив скорее умереть, чем поддаться слабости, в груди остро кольнуло, и перед глазами прояснилось, и он опять увидел уток — маленькие, блестящие, как черные капли, глаза, загнутые, закрученные перья на хвосте у селезня, серенькие и с зеленью перья на шее — и, взяв в самую середку стайки, решился. Выстрел ударил неожиданно громко, у Егора зазвенело в ушах и пересохло в горле, но он ясно услышал отчаянное хлопанье поднимавшихся уток, крик Николая.

— Попал! Попал! Попал! — визжал Николай, бросив карабин и показывая на две неподвижных, торчавших из воды брюшками и красными лапками тушки; третья утка, подранок, боком, дергая головой, отплывала от берега, судорожно хлопая крылом по воде; стуча зубами от неожиданной радости, Егор рвал с себя одежду и бросал рядом: до уток было метров семь, и их никак нельзя было достать с берега.

— Третью, третью добивай! — кричал Егор, путаясь в тине.— Уйдет, черт, ай ты оглох? Бей!

Николай быстро передернул затвор и, увереннее прицеливаясь в беспорядочно удалявшуюся от берега птицу, выстрелил; он видел, как утка вскинулась вверх, словно стремясь улететь, и через несколько секунд неподвижно застыла на воде с поднятыми вверх лапками; это был большой матерый селезень. Обалдевший от такой удачи Николай не заметил, когда Егор разделся и вошел в воду; он увидел его уже плывущим, с застывшими от холода и напряжения глазами. Двух уток, убитых вначале, Егор доволок до берега сразу, кинул их с мелкого места в сухой камыш, к Николаю в ноги, и, синий от пронзительной весенней воды, поплыл за селезнем, изо всех сил работая руками и ногами; Николай криком подбадривал его. Через минуту выбравшись на берег, Егор, дрожа всем телом, стуча зубами, вытерся своей же рубахой, кое-как натянул на себя штаны и фуфайку, сунул ноги в сапоги и стал бегать, тяжело топая, от дерева к дереву, подпрыгивая, пытаясь ухватиться за нижние сучья. Николай бегал за ним и отчаянно вопил от восторга и счастья; нечто дикое и детское захватило их; так было не раз еще до войны, когда на братьев накатывала какая-то неудержимая, но тогда беспричинная веселость, и они носились друг за другом, ничего не видя и не замечая от томительной, могучей, неудержимой полноты жизни, бушевавшей в них и искавшей выхода. Николай не выдержал первым, свалился рядом с убитыми утками и задрыгал в воздухе ногами; деревья в вершинах стремительно рвались куда-то мимо, мимо, он даже услышал свист несущегося неба. Согревшись и обессилев от бега, подошел Егор, с жадно раздувшимися от запаха свежей крови ноздрями.

— Три! Сразу три! — закричал Николай, глядя на него снизу блестящими глазами.

— Ты и вправду везучий! — падая рядом с ним, задыхаясь, признался Егор и стал одеваться наново, теперь уже можно было не торопиться, навернуть портянки как следует, да и натянуть на себя подштанники.

— Холодная вода, Егорка?

— Страсть! — зажмурился Егор и завертел головой.— Так под жабры и стиснуло, дых захватило, думал, помру. А счас ништо, для сугреву самое первое — побегать до задышки. Молодец ты, Колька, как саданул! — похвалил он брата.— Давай, я утиц подберу,

пойдем, знаю я тут водицу в одном месте, неподалеку. Ладно, стреляй еще, там такая колдобина, если попадешь, и палкой подлиньше выловим.

Достав из кармана тонкую веревочку, Егор связал уток вместе за холодные лапки, приладил их за спину, и они отправились дальше, переходя от одного лесного озерка к другому; дичину в этих местах в годы войны никто не пугал, и теперь братьям везло; они подстрелили еще толстую усадистую крякву, двух вертких чирков, а затем Егор срезал дуплянку; она камнем свалилась в старый камыш, и ее долго пришлось искать. Когда Егор с Николаем выбрались на сухое место, солнце давно свернуло с полдня; Николай опустился на землю, толсто устланную прошлогодней листвой, первое возбуждение от удачи прошло, и он совершенно обессилел. Егор присел рядом с ним, любуясь добычей, он представил себе, как обрадуются мать и бабка Авдотья, и от этого слабый румянец проступил у него в лице, но, заметив вымученный белый лоб Николая (тот лежал навзничь, прикрыв глаза ладонью), Егор тяжело поднялся, взял карабин.

— Коль, ты вот что,— сказал он,— ты отдохни, собери сучьев посуше. С елок снизу наломай. А я тут схожу недалеко, гляну, уж такое утиное место, страсть! А вернусь — утку сжарим, съедим.

Николай отвел руку с лица; в глазах мутилось, и он с трудом видел какую-то неясную плывущую тень перед собою, Егора он не видел. Испугавшись, он не стал останавливать брата, такое с ним случалось и раньше, и не раз в последнее время.

— Иди,— сказал он,— полежу, сучьев наломаю. Голова плывет, глазам прямо больно.

— Это с голодухи,— уверенно сказал Егор и пошел; Николай понял это по шороху листьев под его ногами и тотчас стал думать о том, как Егорка еще убьет утку, а то и две, затем вернется, и они в самом деле поедят жареного мяса. Он боялся думать, что Егорка уходит, и он остается один, и что он почти не видит, даже дерева причудливо расползаются, кривятся в стволах; он не знал, как они смогут испечь утку, в таких делах главою всегда бывал Егорка, и Николай верил ему; он стиснул зубы и остался лежать. Скоро он услышал выстрел, затем второй и обрадовался; он твердо был уверен, что у Егорки новая удача, и, пересилив слабость, сел, бессильно мотая головой. Понемногу в глазах прояснялось,

и он, пошатываясь, пошел обламывать сухие сучья у елок; руки были словно тряпочные, и он удивился, как это полчаса подряд он мог удерживать карабин, да еще и стрелять из него. Чтобы отломить ветку чуть толще его высохшей руки, ему приходилось виснуть на ней всем телом; но он был рад, что с глазами у него прошло, и к возвращению Егора он запас дров достаточно. Он услышал Егора еще издали, тот выскочил из-за деревьев, заорал, тряся убитыми утками над головой.

— Еще три! — вопил он, подскакивая.— Три таких кряквы! Тяжеленные, как кирпичи. Там их видимо-невидимо, страсть! Да я больше не могу, ноги вихляются, один селезень так и остался в воде, чую, сил не хватит, утоп бы. Ох, жрать хочется, страсть!

Он бросил добытых уток в общую кучу, опустился на колени возле собранного братом топлива, сказал Николаю надрать бересты потоньше, а сам стал ладить огонек из сухой травы, из сосновой шуршащей прозрачной коры, затем из сухих тонких веточек. Николай принес бересты, Егорка и ее пристроил в приготовленный костерик, достал из кармана мешочек с кремнем и кресалом, трут, вываренный в порохе, и через минуту в его ловких руках тлел слабый огонек; щекоча ноздри, вкусно запахло дымом. Выпятив губы, Егор осторожно дул на огонек, затем поднес к нему белую полоску бересты, и почти тотчас на ней затлел крохотный, как искорка, огонек. Егор затаил дыхание, дождался, пока огонек прополз по бересте, набирая силу, и осторожно поднес его к заготовленному топливу. Скоро на небольшой полянке, на берегу лесного холодного озера, трещал веселый огонь. Егор, поручив следить за ним Николаю, взял одну из уток, приладил ее на длинную рогульку, стал опаливать над костром, и когда она вся осмолилась и словно бы покрылась темным расплавленным панцирем из растопившихся перьев, он поскреб ее карманным ножом и опять стал опаливать, затем побежал к озеру мыть. Пахло мясом, самым настоящим мясом, и от этого запаха у Николая что-то больно дергалось в желудке; чтобы забыться, он опять ушел ломать сухие сучья про запас, а когда вернулся, Егор уже выпотрошил утку и, разрезав на куски, нанизав их на длинную, гладко выструганную палку, держал над костром; потроха он сложил в стороне, на виду, чтобы потом не забыть забрать. Жир с мяса падал крупными каплями в костер и тотчас с шипением вспыхивал

и сгорал; Николай бросил сучья на землю у костра и отвернулся; ему не хотелось показывать своей слабости перед братом.

— Соли у нас маловато, всего щепоть,— с сожалением сказал Егор, блаженно щурясь от огня; тело только сейчас отходило от ледяной воды.

— У тебя есть соль? — удивленно и недоверчиво спросил Николай, собирая на большом выпуклом лбу складки.

— Я еще утром об этом подумал,— сказал Егор, движением лица указывая на костер, и, заражаясь от Николая голодным нетерпением, судорожно глотнул воздух.— Ну уж ладно, сегодня будет у нас велик день. Немного ждать, гляди, ткнешь ножиком, сукровица идет, еще не прожарилась. Вот я ее скоро на две половины разложу, уж нажремся! Ну ладно, кажется, и готово,— сказал он, отведя палку с куском мяса от огня.— А то ужарится, и есть будет нечего. Давай вот, Коль, собери дубовых листьев поболе, на них и делить будем.

Пока Егор складывал куски на две части, Николай старался не глядеть в его сторону и на мясо, и хотя гнал эти мысли от себя, все время думал, что Егор положит себе побольше. Егор рассыпал соль из тряпицы на два прошлогодних дубовых листа и осторожно положил их рядом с мясом.

— Ну, а теперь я отвернусь, а ты спрашивай, кому,— сказал Егор и, зажмурившись, сидя, крутанулся назад.

Николай, часто и беспомощно моргая от прежних своих нехороших мыслей о брате, положил руку рядом с порцией мяса.

— Кому? — спросил он хрипло, уже не в силах владеть собой.

— Тебе,— весело отозвался Егор, и они тотчас стали есть, Николай жадно пережевывая вместе с мясом и кости, а Егор с некоторой осторожностью, словно вначале пробуя и оценивая, вкусна ли получилась стряпня.

— Соль, соль забыл,— напомнил он Николаю,— гляди, от дичины без соли может живот схватить. По крупинке в рот бросай, ох, скусно, черт дери!

Николай не ответил, да и не мог ответить, но когда от утки ничего не осталось, чувство голода лишь усилилось; Николай поднял с земли чисто обглоданную косточку и стал ее сосать.

— Дураки мы с тобой,— огорчился Егор,— надо бы котелок захватить. Эх, я остолоп! Утку бы сварили, взвар бы мясной... Ладно, пошли, хоть с берега попьем.

Братья спустились к воде и напились, и оба скоро почувствовали, как начинают слипаться глаза, сытная, непривычная пища их совершенно обессилила, и они еще долго сидели у затухающего костра, огрузневшие, молчаливые, скованные теплой дремотой.

6

За постоянной немереной крестьянской работой с зари до зари, в заботе о куске хлеба для ребят Ефросинья не замечала, как летит время; Егор с Николаем росли на свободе, как растет дикое дерево. Бабка Авдотья тоже мало что могла дать внукам в это трудное время бесхлебья, хотя ее хлопотливая забота и ворчливая старушечья любовь к ним были великим, неоценимым благом; для бабки Авдотьи ее внуки были лучше всех на свете, и она никогда не задумывалась, почему это так; просто так должно было быть по порядку жизни, и так оно для нее и было. И утки, удачливо добытые братьями на Слепненских озерах, лишь явились подтверждением того, что ее внуки самые ловкие и удачливые из всех ей известных кругом детей (правда, она тайно, никому не показывая, испытывала большую симпатию и к поливановскому Илюше, но в этом опять-таки говорил голос крови).

Уже вечером, после возвращения братьев с охоты, совершенно ослабевшая от недоедания бабка Авдотья, охая и ахая, ощипала слабыми пальцами уток, бережно подбирая перо и пух в корзину и поминутно поднимая иссохшую руку для креста.

«Господи, святая матерь, заступница ты наша! Возрадуемся на щедрость и благодать твою! — неслышно бормотала бабка Авдотья про себя.— Теперь проживем... И травка разная пошла, крапивка, щавелек... Проживем. Слава тебе!»

Тут же распределив и слегка присолив мясо, бабка Авдотья сварила на мясном взваре борщ из той же крапивы, щавеля, для вкусу, не поскупившись, положила в него две картошины и, впервые не дожидаясь, пока поедят ребята и Ефросинья, налила себе в продолговатую крышку от немецкого котелка и, опять помолив-

шись, похлебала мясного взвару, жмурясь от забытого удовольствия, по-прежнему с благодарностью к богу за таких добычливых, домовитых внуков. Половинку утицы она завернула в какой-то помятый лист бумаги и украдкой от внуков и невестки отнесла Лукерье Поливановой, сказала ей подкормить Илюшку и, довольная собой, внуками и жизнью, впервые за много дней легла спать успокоенная и твердо убежденная, что в жизни непременно наступит поворот от бед и напастей, и это предчувствие хорошего не покидало ее и во сне. Она и во сне молилась за щедрость жизни, но открыла глаза где-то ближе к восходу от неясной боли; бабка Авдотья ойкнула и, окончательно проснувшись и нащупав ногами опорки, заторопилась из землянки. Она решила, что живот у нее разладился от мясной тяжелой похлебки, и утром никому ничего не сказала, она не привыкла обращать внимания на подобные мелочи; на другой день она мимоходом обронила Ефросинье, что у нее с животом худо, но тут же добавила, что это, видать, от утиного мяса на нее такое действие, к завтрему, гляди, и пройдет. Но ни завтра, ни через два дня это не прошло, и бабка Авдотья слегла по-настоящему; она послала Егора на луг надергать прошлогодних сухих головок конского щавеля, сказала Ефросинье густо натомить их и стала пить этот темный горький отвар три раза в день, но болезнь не затухала. Бабка Авдотья уже не могла сама выбираться из землянки, и Ефросинья для нужды подавала ей большое старое ведро; вдруг в какой-то час и Ефросинья и бабка Авдотья поняли, что это не болезнь, а *конец*, и Ефросинья побежала к родственникам, к председателю Кулику, вернувшемуся месяц тому назад из партизан откуда-то из Белоруссии с обмороженными ногами и сменившему Свиридова. Нужно было показать больную доктору, а доктора можно было найти лишь в Зежске.

— Ну что ж, Ефросинья,— сказал Куликов, потирая густо наросшую на щеках жесткую щетину.— Не знаю, найдешь ли ты кого в городе... время такое. Спросишь, укажут больницу-то. Вот опять сунули в председатели калеку и продохнуть не дали, а чего я могу? Душа кровью исходит, только одна надежда — на баб с детьми... А надо, какой поворот с немцем учинили,— слегка разгорелся он, но тотчас, вспомнив, зачем у него Ефросинья, оборвал себя.— Ладно, машины у меня нет, а лошадь иди запрягай, передашь конюху, верно, Во-

лодька Рыжий будет, я велел. Да уж лучше завтра с утра, а сейчас куда, на ночь глядя?

Ефросинья вернулась домой, сказала обо всем свекрови; та, совершенно уже ослабевшая, подняла на нее глубокие отрешенные глаза, не понимая, чего еще от нее хотят и почему не оставят в покое хоть сейчас, когда ей уже ничего больше не нужно.

— Беда какая, Фрось,— слабо шевельнула она серыми потухшими губами.— Не поеду я, господь простит, вот что придумали... Каки доктора, каки доктора? — спросила она в тягостном недоумении, и в голосе у нее, словно в защиту за незаслуженную насмешку, прозвучала обида, и она сурово, колюче глянула в глаза Ефросинье.— Отвяжитесь от меня, умру и здесь, неча по казенным углам таскать.

— Господи, мамань, да что ты говоришь? — Ефросинья придвинула стул, села рядом, сразу улавливая неприметный, какой-то затхлый запах и думая, что надо бы кого позвать на подсобу да искупать свекровь.—Поедем, Кулик лошадь дает, завтра, с богом, и поедем, доктора, гляди, найдем, пособит.

— Где ты его найдешь, доктора? — недовольно спросила бабка Авдотья и отвернулась; особые, важные мысли жили в ней отдельно от Ефросиньи, от всего остального мира, и они занимали ее больше, чем собственная болезнь.

— Истомилась я, обрыднело все.— Бабка Авдотья слабо шевельнула маленькой головой, вкладывая в это движение всю свою огромную усталость от долгой жизни.— Каки теперь доктора помогут? И без их, сердешных, отойду потихоньку, что уж ученых людей попусту дергать. Никуда я не поеду, Фрось, не тревожь меня перед смертью. Вот бы причаститься...

Ефросинья начала было протестовать и доказывать, что не по-христиански вот так-то родного человека бросать в беде, без присмотра, хитро повернула разговор на внуков, думая хоть этим расшевелить к жизни свекровь, но бабка Авдотья и на это не отозвалась; она теперь внешне и к внукам относилась отчужденно, издалека. Они уже были большие, и ей неловко было перед ними за свою слабость и за свою нечистую болезнь, и братья чувствовали это состояние бабки Авдотьи и близко к ней не подходили; завидев их еще на пороге, она поднимала бессильные руки, махала.

— Идите, идите, вам-то в духоте зря томиться негоже, идите на улицу, на солнышко... Господи, мне бы ваши ноженьки, я бы счас, кажись, весь мир облетела,— говорила она и украдкой смахивала скупую слезу.

Она так и не поехала в город, и Ефросинье пришлось отправиться туда самой, в тайной надежде отыскать доктора и хотя бы попросить совета, если не удастся привезти его к свекрови; Ефросинья захватила с собой и деньжат, сунула их в грязной тряпице за пазуху между грудями. Она и в самом деле нашла больницу в одном из полуразрушенных зданий на главной улице Зежска, располагавшуюся в подвалах, нашла и доктора, очкастого, усталого старичка с острой бороденкой, кончик которой он то и дело теребил во время разговора. Ефросинья еще раньше узнала, что его звать Иваном Карловичем, и сейчас, боясь забыть, то и дело твердила это чудное имя про себя. «Козел, прямо-таки козел»,— подумала она, сбивчиво и неясно разъясняя старичку суть дела, и тот, под конец поняв ее, поняв, что где-то в селе за двадцать верст умирает старуха и что вот эта баба с широким лицом хочет, чтобы он туда ехал, неопределенно пожевал вялыми губами.

— Что ты, что ты! — сказал он просто.— Как можно... Я один на весь район пока, а ты погляди поди в наши палаты-то, подвалы. Каждый день везут, ребятишек-то сколько, вон час назад двух привезли, с миной побаловались... У одного лицо, у другого грудь с животом посечена...

— Господи, доктор, Иван Карлович.— Ефросинья хотела заплакать, передумала, отвернулась от него и, достав из-за пазухи узелок с деньгами, стала торопливо его развязывать, а так как туго затянутый узелок не поддавался, она пустила в ход крупные сильные зубы.

Иван Карлович поправил очки, дернул несколько раз бородой, присматриваясь к ней, и когда она протянула к нему на широкой жесткой ладони аккуратно свернутый комочек денег, Иван Карлович густо начал багроветь и, приподнимаясь на носках, словно становясь выше, пронзительно тонко закричал:

— Что это такое? Что это такое, спрашиваю я вас, сударыня? Как вы смеете? Я в партизанах два года... как вы смеете?

Кто-то на его крик приоткрыл дверь, но он, словно в удушье, замахал на просунувшуюся в дверь голову руками; голова, несколько раз испуганно моргнув, то-

ропливо исчезла; Ефросинья скомкала в кулаке деньги и наконец заплакала. Опущенная, со сбившимся платком голова ее тряслась; старичок доктор продолжал рядом с нею топать и кричать на нее, а она вытерлась ладонью, завязала деньги обратно в тряпицу, сунула узелок за пазуху и, робко поглядывая на сердитого, расходившегося доктора, все никак не могла выбрать момента выйти.

— Ладно, ладно уж,— сказала она, дождавшись, пока доктор, уморившись, замолчал,— что ж такого, люди посоветовали... а я что ж, нельзя, значит нельзя.

— Люди присоветуют, свою голову надо иметь,— все еще сердито сказал ей Иван Карлович.— Что ж я поеду к твоей старухе? У нее, по всей видимости, дизентерия, а у меня лекарств нет. Ничего нет. Совершенно ничего. Если найдешь сушеной черемухи, ягод, сделай отвар, полстакана ягод на два стакана воды. Пусть пьет раза четыре по столовой ложке. Никакой грубой пищи, только протертую.— Доктор взглянул на жадно слушавшую Ефросинью, замялся.— Картошку вареную можно, только размять ее хорошенько, ты вот лучше на эти деньги что-нибудь и купи старухе. Хорошо бы кислое молоко... Постой-ка, кого-то лицо мне твое напоминает? — Иван Карлович, прищурившись, шагнул к Ефросинье.— Ты откуда?

— Из Густищ, доктор... Да уж ладно, ладно,—затропилась Ефросинья.— Спасибо и на добром слове.

— Да что со слова наскребешь? Погоди, я тебе четыре таблетки дам, пусть выпьет сегодня вечером одну и завтра три раза.— Иван Карлович, единственный пока врач на весь Зежский район, а значит, перегруженный сверх меры, отчего-то проникся симпатией к этой женщине с удивительно знакомыми глазами и хотел получше объяснить ей положение, почему он не может ничем помочь ее умирающей старухе, но тотчас понял, что ей нет до этого дела, ей нужна была просто помощь. Порывшись в настенном шкафчике, Иван Карлович бережно завернул в бумажку четыре таблетки сульфидина, отдал Ефросинье. Оставшись один, помедлил, собираясь с силами, предстояла труднейшая брюшная операция, и он, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза и сразу ясно понял, почему лицо этой женщины все время казалось ему знакомым, он тотчас вспомнил Аленку Дерюгину, вернее, ее глаза после того, когда застрелился Алеша Сокольцев. Иван Карло-

вич сделал слабое движение встать и вернуть женщину, но не смог и только сильнее стиснул худые сильные руки.

Ефросинья добралась домой лишь к вечеру, усталая и расстроенная; бабка Авдотья, узнавшая от внуков о ее поездке в город, встретила ее недовольством и ворчанием, и Ефросинья с трудом уговорила ее проглотить таблетку лекарства; час от часу больная все слабела и наконец попросила Ефросинью позвать к ней попрощаться ее старых подруг и родственников; и наутро в землянке у Дерюгиных перебывало чуть ли не полсела; бабка Авдотья, умытая и светлая лицом, лежала на топчане поближе к окну и всех, кто приходил, просила простить ее, коли есть за что; подруги ее тотчас начинали плакать и сами просили у бабки Авдотьи прощения, затем, помедлив минуты две и поцеловав умирающую в лоб, уходили, освобождая место другим; бабка Авдотья лежала все такая же неподвижная и торжественная, словно понимающая больше всех, и это в какой-то мере так и было. Она смотрела на суету вокруг уже отсутствующими, посторонними глазами, она уже не принадлежала им, живым, знала это и наблюдала, с каким испугом во взгляде люди прощались с нею, пересиливали себя, когда приходила пора прикоснуться к ее холодному и чистому лбу губами. Ей было все равно, но пришла пора показать себя людям в последний раз, и она терпела; так делали все на ее памяти, и ей не к чему отступать от обычая, нехорошо, люди за это осудить могут и возвести напраслину, так уж лучше все по порядку сделать. И бабка Авдотья, стараясь не выказывать чересчур уж своей слабости и беспомощности, все кивала и кивала приходящим, хотя ей хотелось остаться одной; нужно было привыкнуть к наступавшей перемене. Теперь она точно верила, что бог есть, хотя в войну, видя убитых, растерзанных, искалеченных, она сильно стала сомневаться, что существует где-то там, в небесах, всесильный и милостивый, кому известен каждый шаг и помысел человека. Она вспомнила, как незадолго до колхоза на селе разоряли церковь: иконы и всю церковную утварь свалили тогда в сторожку, окна замостили досками; от незабытой обиды на сына Захара старуха строго поджала губы, он этому делу был первый застрельщик. «Вот ему бог судьбы и не дал,— внезапно холодно, беспощадно, как о ком-то постороннем, подумала бабка Авдотья,— вот ведь ирод,— ду-

мала она все так же ожесточенно и безжалостно,— и детей обездолил своим безбожием, сказано ведь, будут прокляты и гонимы до седьмого колена».

Далеким и посторонним представился ей сейчас сын Захар, привиделся словно в редком, зыбком тумане, беспомощный и затравленный, и бабка Авдотья на миг почувствовала горячее забившееся сердце; волнение прошло, но мысли о Захаре никак не отвязывались от нее, и ей захотелось больше всего на свете увидеть именно его рядом и сказать ему в последний раз, что беспутный он вышел человек и пора ему остепениться, пока его собственные дети не взяли с него погляд и также не сбились с пути. «Ах ты, Захарка, Захарка»,—думала бабка Авдотья, с необычайной ясностью припоминая, как зачала его, носила и рожала; вскоре началась японская война, и многих мужиков забрали, а потом иные возвращались калеками, дружку Тарасову, Стеньке Кривопалову, глаз вышибло, а другой, сын Гешки Косого, на деревяшке домой заявился. А Тараса тогда не взяли, уже четверо детей было, четвертым как раз и родился Захарка, ох, надрывный был, как родился, так полсуток, не переставая, орал, пупок себе с хорошую дулю накричал. Ох, и помучилась она с ним, а потом ничего, обошлось, здоровым, в отца, рос, один он из остальных в отца и вышел, оттого и уцелел один, а там вишь, как отростки от него раскинулись.

Бабке Авдотье все сейчас казалось иначе, чем было, будто она еще крепкая, и кругом нее все молодые и сильные; мужик у нее хорош попался, всего-то два раза больно прибил, окаянный. Один раз уж точно она виновата, подразнить по молодости захотелось, все на гармониста, старостина сына, заглядывала; был, черт, белолицый, тряхнет кудрями да вжарит на гармони, ноги сами в перебор идут. Вот за то и поплатилась, на людях слова не сказал, а ночью в ярости дочерна вожжами пеньковыми иссек, потом бабы все допытывались, отчего это ты, мол, Дуня, плечами перебираешь? Да отчего же, отвечала со смехом, жить весело. С тех пор как случалось, бывало, в люди, в гости, мимо мужиков с опущенными очами проходила, глянуть и украдкой боялась.

Какая-то тихая усмешка словно издалека и случайно пробилась на лице у бабки Авдотьи и тотчас, задрожав, погасла, о мирском думать времени не оставалось.

Перед вечером ее пришел проведать дед Макар, простучал неразлучной палкой по порожкам на сходе вниз, прежде чем подойти к умирающей, оглядел землянку; у него был такой вид, словно он попал в незнакомое место и не знал, как выбраться. С усилием различив в сумеречности землянки бабку Авдотью, он приблизился к ней, опустился на стул, прежде попробовав его надежность рукою.

— Нехорошие дела наши, что ж ты, Авдотья,— сказал он, наклоняясь слегка туловищем в ее сторону.— Что же ты нехорошо задумала, дождалась бы замирения, мужиков с войны. Ась, ась? — приставил он ладонь к уху, не расслышав ответные слова бабки Авдотьи и стараясь склониться к ней ближе.— Ты мне в дочки годишься, а я, погляди вон, топаю, топаю, хоть и сам себе уже в тягость. Временами инда, как в лебяжий пух, в землицу улегся бы, да как люди осудят родню-то, люди, они ко всему догляд имеют.

Дед Макар сидел рядом с лицом умирающей и говорил, как обыкновенно говорят глубокие старики, сохранившие ясность и последовательность мысли, перешедшие тот особый рубеж, до которого еще нужно в своих словах оглядываться и изворачиваться, и вот от этого речь их и кажется другим бесстрашно мудрой, не оставляющей ничего скрытого, и оттого не нужной и даже вредной и опасной. Но сейчас в землянке никого не было, а умирающая понимала деда Макара; он опять говорил ей о том, что не в меру загостевался на белом свете, и молодым уже надоел, и что пора ему из гостей ворочаться в свой вечный дом, а то и нехорошо, и бабка Авдотья опять понимала его. Она помнила его еще совсем молодым и крепким мужиком; был он всегда веселым и добрым и перед большими праздниками подстригал овечьими ножницами свою рыжую широкую бороду перед осколком ржавого зеркальца; бабке Авдотье еще с детства запомнился этот осколок, очень уж ей хотелось тогда украсть его, да так и не решилась. А потом подросла, выдали замуж за Тараса Дерюгина, безлошадника и батрака, как раз дед Макар и помог тогда обзавестись скотиной, двадцать пять рублей взаймы дал, только наказывал от бабы своей таить. Бабка Авдотья с ясностью помнила сейчас и тогдашнюю, еще не старую, бабу Макара; она была ему под стать, веселая и голосистая, любила песни, заведет — стон по селу шел. А вот была покойница жадновата, все-таки вызна-

ла тогда про эти двадцать пять рублей... Потом, через год, повезло, урожай хороший выпал, вернули деньги деду Макару с великой благодарностью. И лошадью, и коровенкой обзавелись, правда, так и не выбивались из середины до самой смерти Тараса, а вот обезмужичела семья, да по лавкам четверо еще оставалось, мал мала меньше блекотали, а на сносях пятый стучался, пришлось повыть, помотаться с малыми детьми по людям. А потом вот за всех один Захар...

Дед Макар ушел, тяжело и неловко громыхая по порожкам палкою. И после него словно повеселело на душе; вот теперь бабка Авдотья и в самом деле начинала слышать, как понемногу уходит жизнь; как тоненький, тоненький сыпучий ручеек бежит из нее и все отбавляет, все отбавляет.

В этот день она уже не замечала ни внуков, испуганно заглядывавших в землянку по наказу матери, ни саму Ефросинью, вернувшуюся с работы под вечер и теперь то и дело вздыхавшую и спрашивавшую свекровь, чего бы она хотела съесть; бабка Авдотья слушала ее, но не понимала, она теперь и тело свое чувствовала как нечто постороннее и мешающее ей освободиться окончательно, и она думала об этом. Не было ни боли, ни страха, лишь досада, что она никак не может освободиться, и это чувство усиливалось, а перед самым заходом солнца бабке Авдотье стало особенно тяжко, ей казалось, что вот так она навсегда и останется не облегченная от всей тяжести жизни; она стала искать, что же это ее не отпускает, что она забыла.

— Фрось, Фрось,— позвала она тихо, сразу пугаясь,— Фрось, господи, да что ты, оглохла?

Ефросинья, хоть и не слышала ее из другого конца землянки, где она расчесывалась выпиленным из куска самолета алюминиевым гребнем, почувствовала, что она нужна, вопросительно оглянулась на бабку Авдотью и тотчас, подобрав наспех длинные волосы, подошла. Умирающая глазами указала ей сесть, и Ефросинья, подчиняясь, тихонько пристроилась рядом.

— Господи, грех-то какой, чуть не запамятовала,— прошептала бабка Авдотья сухими, бескровными губами.— Ты слышь, Фрось, ты корову или телку к осени непременно купи. Слышь, как ты деньги на расход давала... я понемногу, грех, ох, грех тяжкий, отбирала да припрятывала, все, думаю, как придет пора, все на

коровенку-то добавок... Так слышь, Фрось, они в моем ящике-то, под смертельным моим, в тряпочке, там, забери, гляди, как раз и сгодится впору. Ничего, само оно ничего не будет.

— Господи, мамань, зачем же ты...

— Ништо, ништо,— опять сказала бабка Авдотья, и Ефросинья тихо заплакала, затем наклонилась, поцеловала свекровь, в какой-то ясности понимая, что так, как оно есть, и должно быть.

— Корову-то, смотри, корову.— Бабка Авдотья с трудом отвернула от нее голову лицом к стене и больше не шевелилась; Ефросинья тихонько отошла от нее заняться своими делами, приготовить ребятам к вечеру поесть чего-нибудь, но, не сделав и двух шагов, остановилась вкопанно, как-то сразу словно подхваченная пронзительным и в то же время тихим до жуткости ветерком; сзади что-то случилось, и она уже знала — что; она словно опять увидела, как бабка Авдотья откинула от нее голову, и только теперь памятью отметила какую-то, ранее ускользнувшую, мертвую оборванность этого последнего движения; она тихо вернулась к бабке Авдотье, и, удерживая всегда близкие бабьи слезы, замедленно приблизилась к ней, и, нагнувшись, ровно, лицом кверху выладнала свекрови голову. Бабка Авдотья уже умерла, и Ефросинья отупело просидела возле нее до тех пор, пока прибежали Колька с Егором, и тогда она тихим, пугающим голосом перечислила им, кого надо позвать и что еще нужно сделать, а затем подняла на них глаза и, словно видя их впервые, долго, с каким-то холодным и враждебным чувством рассматривала; Колька с Егором неловко переминались перед ней, перебирая босыми грязными ногами.

— Вот мы и остались одни,— сказала наконец она, словно выталкивая из себя что-то непосильное,— без бабушки остались на белом свете. Померла. Надо бы дров сухих нарубить, воды нагреть... ночь скоро,— рассуждала она сама с собой, не обращая больше внимания на сыновей.— Идите, дядьке Игнату скажите, пришел бы, помог.

И вот тут-то, в первый раз испугавшее и Ефросинью и Егора, случилось с Николаем: словно задыхаясь, он привалился к стене и все пытался помочь себе руками стать прямо и не мог, лишь бледнел все больше и больше, до тихой синевы, затем, задавив неожиданный крик, рванулся из землянки; Егор бросился следом.

— Что такое с ним? — сказала Ефросинья, тотчас возвращаясь в мыслях к своим горестным заботам; в это время, забившись под старую, покалеченную войной яблоню, Николай, трясясь всем телом, плакал от какой-то невыразимой, разрывавшей его тоски, от непонимания и жестокости происшедшего; Егор беспомощно топтался рядом, пытаясь что-то говорить.

— Беда, беда! — утешал он брата, совершенно как взрослый.— Все умирают, ничего не сделаешь. Ты не плачь, может, и жила бы еще бабушка, от травы померла. Одну траву ела...

Николай обессилел, умолк, лишь время от времени вздрагивал от набегавшего озноба; он почти не слышал брата, слышал один его голос; он сейчас думал, что никто не любил бабушку Авдотью, кроме него, и новая обида кривила ему губы. «Вот так,—думал он,— и мать и Егор, все говорят о каких-то делах, и больше ни о чем; а бабушку потом заколотят в гроб, опустят в могилку и закидают землею». Он болезненно ярко представил себе, как она будет лежать под землей и как ей тяжело будет; от мучительной волны нового ужаса он весь сжался, замер, закрыл глаза. Он вспомнил, как в бреду, впервые убитую им утку и как он торжествующе схватил ее, и его пронизала тоскливая дрожь, и сердце остановилось, он словно почувствовал холодеющими пальцами замирающее под тугими скрипучими перьями тело. Сейчас ему хотелось кричать, но он все сильнее стискивал зубы; он боялся и не принимал того, что было в нем, и старался инстинктивно удержаться в одной точке.

— Егорка, Егорка, где ты? — спросил он с ужасом, совершенно не видя брата и стараясь найти его руками.— Где ты, Егорка? — почти закричал он, и Егор, отходивший по своему делу, торопливо поддернул штаны и подбежал к нему.

— Ты чего?

— Что, ты говорил, надо делать? — спросил Николай, все крепче прижимаясь к шершавому сырому стволу яблони.

— Дров надо, мать сказала. Есть вот сухая колода, не разобьешь ее. Здорова. Воды надо наносить.

— Разобьешь, разобьешь! — с неожиданной злостью заговорил Николай.— Мы под нее шашку толу положим... Пороху насыпем — и айда... Так и разлетит-

ся, только собирай... Давай, пока никто не пришел... Ты чего, боишься?

— Я? — Егор помялся; в такие вот моменты он всегда подпадал под влияние брата и подчинялся ему.— А чего бояться? Здорово ты придумал...

Уже совсем стемнело, когда на усадьбе Дерюгиных ахнул гулкий трескучий взрыв, и старая дубовая колода, лежавшая еще от новой избы и не подошедшая по своей толщине и суковатости в дело, была разорвана на несколько кусков, было и много щепок поменьше. Ефросинья опрометью выскочила из землянки; сыновья собирали щепки и сносили их в кучу; стали подходить люди, потому что на селе уже знали о смерти бабки Авдотьи.

7

К осени сорок третьего года Тихону Ивановичу Брюханову перевалило за четвертый десяток, высокий, с припухшими, тяжелыми веками, по своей привычке он по-прежнему смотрел прямо в лицо собеседнику, хотя и самому иногда хотелось глянуть мимо; едва он успевал соскоблить со щек и подбородка жесткую щетину, как она тут же бралась опять, и цвет лица у него от этого был сизоватым, с железинкой. Последние месяцы партизанской борьбы он уже и не помнил об Аленке, и, лишь случайно увидев ее на торжественном победном митинге в городе, куда сразу после бегства немцев вступили партизанские части, он приказал найти ее и пригласил к себе; она перед вечером в назначенное время вошла к нему в кабинет (обком уже начал функционировать, в том же, хотя и наполовину поврежденном здании, что и до войны), и он увидел перед собой хорошо сложенную, высокую девушку в военной форме, коротко, по-мальчишечьи, стриженную. И он, как и тогда, когда решил забрать ее из отряда Горбаня, почувствовал странное, приятное беспокойство и некоторое время пристально рассматривал ее. Что-то в ее безукоризненно правильном, даже слишком тонком лице указывало на душевную страстность и глубину натуры; и Брюхановым овладело давно не испытываемое чувство; его охватила не только молодая, томительная радость, но и неуверенность; нежданно-негаданно перед ним возник еще один предел; он тут же остановил себя,

с преувеличенным вниманием вслушиваясь в тяжкий шум и грохот за окнами: через город, не останавливаясь ни на минуту, двигались воинские части — пехота, обозы, шли танки, колонны машин и орудий, было такое ощущение, словно все стронулось в берегах, перехлестнуло все преграды и препоны, но это было организованное и естественное движение к своим истокам и в свои границы. Как и много раз прежде, Русь снова начиналась с пыльного пепелища, с одинокого обгоревшего столба и полуразрушенной печной трубы, с какой-нибудь чудом уцелевшей коровенки; уже в селах тут и там стучали топоры, уже бабы, собираясь артельно, расчищали обрушившиеся колодцы, а в городах начинали топорщиться леса, на улицах разбирались завалы. Будучи нераздельным со всем этим общим движением, Брюханов все-таки чувствовал в этот момент и нечто только свое, великое и простое; Аленка словно излучала теплый, волнующий свет, и он подумал, что не имеет права упустить ее, как по небрежности, занятости и усталости упускал раньше других, но, очевидно, и упускал потому, что в них не было того, что есть в ней, в этой стоящей перед ним девушке. «А что же в ней есть все-таки, что же в ней есть?» — ухватился он за спасительную мысль, которой невольно попытался оградить себя от вторжения чего-то неожиданного и неизвестного.

— Садитесь, Елена Захаровна,— пригласил он, еще больше переходя к мирным понятиям и мыслям; он уже не мог обратиться к ней на «ты» или назвать просто Аленкой, хотя это имя ему очень нравилось; он даже не мог ей сказать сейчас «товарищ Дерюгина»; и Аленка, услышав это непривычное «Елена Захаровна», растерялась и даже оглянулась на дверь, словно ожидала увидеть кого-то третьего, к кому относились слова Брюханова.

— Садитесь, садитесь,— засмеялся он,— нам теперь самое время на мирные рельсы становиться. У меня сегодня было столько событий... По обычным нормам и в год не уложишь. А завтра... завтра уже надо пускать заводы, фабрики, надо начинать строить и ремонтировать дома, думать о посевной, о том, куда придут ребята после двухлетнего перерыва. Ни одной школы пригодной в области не осталось. А я, признаюсь, стосковался по делу.

Аленка сидела, опустив глаза, и молча смотрела на свои изъеденные карболкой и спиртом пальцы, и Брюханов спохватился.

— А вы, Елена Захаровна,— спросил он,— как вы для себя дальше намечаете? Домой, в село?

Она неопределенно пожала плечами; после смерти Сокольцева она уже прошла тот путь к духовной зрелости, что не отмечается ни в каких табелях и дипломах, и если что спасло и вылечило ее, так это опять же партизанский госпиталь, где она работала сестрой за двоих, за троих, и первое время после того, как Брюханов взял ее с собою (тогда ей вообще было безразлично, куда идти и с кем), она работала бездумно, как машина, она была с мертвой душой, через ее руки сплошным потоком проходили изувеченные человеческие тела, в основном опять-таки сильные и грубые тела мужчин, но она всегда знала, что человек, предназначавшийся для нее, умер, исчез навсегда. У всех раненых были свои имена, их где-то ждали и любили, но для нее они были на одно лицо; это был общий поток страдания, гной и кровь, он нес ее с собой, потому что ее иногда появляющееся слабое движение наперекор было бессильным. И она временами начинала чувствовать болезненно тихое удовольствие от своего дела, и когда ловила себя на этом, невольно пугалась.

И совсем недавно, месяц назад, у нее на руках метался и бредил мальчик шестнадцати лет, партизанский разведчик Ваня Семипалов, и что-то темное надвинулось на нее. Он ненадолго пришел в себя, и его серые глаза показались ей нечеловечески большими, и когда он спокойно сказал, что ему худо и он умирает, в его глазах для нее сосредоточился весь тот мир, где она была и, самое главное, куда все время бессознательно стремилась; у нее закружилась голова, и она упала на колени и стала целовать прекрасное молодое лицо в сухом жару, и врач, бывший в палате, сначала удивленно и негодующе закричал на нее, затем быстро вышел и долго жег солдатскую махорку.

— Я не хочу, не хочу, не хочу, Ваня, родненький, не надо, родненький ты мой, не надо,— бессмысленно говорила Аленка, глядя в лицо раненого совершенно слепыми глазами, но он опять уже ничего не мог ей ответить, и она с враждебным, неосознанным страхом отодвинулась от него; она слишком много видела мертвых, чтобы

ошибиться, его серые глаза начинала затягивать холодная пелена, и теплота куда-то уходила, уходила.

«Куда?» — спросила она в тупом отчаянии от невозможности понять, и в этот момент на лице раненого стала проступать легкая испарина и в глазах что-то переменилось. И хотя Аленка тотчас почувствовала, что это перелом, потрясение было велико; губы Семипалова дрогнули, и Аленка скорее угадала, чем услышала его слова о том, что она добрая и красивая.

— Молчи, молчи,— попыталась она остановить его.

— А чего молчать? — опять еле слышно прошептал Семипалов.— Легче стало мне... в груди словно лопнуло что... прохлада... Спасибо, сестра, отпустило...

С неуверенной, слабой улыбкой на измученном лице Аленка трудно встала и вышла; и на нее словно упал неожиданный мягкий удар, и зазвенели тысячи разноцветных, острых, больных осколков; из темной, мертвой реки она шагнула в сторону, на шаткую, но твердую поверхность, и задохнулась, впервые за многие месяцы поняв, что это жизнь идет вокруг, именно жизнь, а не смерть; это было ее спасением, и в ней потом только оставался подспудный, необъяснимый страх.

Три дня она пролежала в горячке и только через неделю опять стала выходить на дежурства, но в ней, несмотря на благодарно и радостно встречавшие и провожавшие ее глаза Семипалова, продолжал жить страх перед завтрашним днем, перед следующим часом, и сейчас, когда Брюханов спросил ее, что она собирается делать дальше, она не ответила, она по-прежнему боялась об этом думать и говорить, хотя уже не могла не почувствовать, что в отношении к ней Брюханова есть нечто большее, чем простое участие к дочери старого друга. «Но это так смешно,— тут же сказала она себе,— он не может *этого* думать, да и я не смогу на это пойти. У него свой, большой путь, у меня — свой, да и вообще я уже никогда не смогу быть ни с кем так, как с Алешей; да о чем это я? Это же Брюханов!»

И хотя чувство женщины тотчас сказало ей, что так оно и есть и она не ошибается, Аленка еще раз посмеялась своим диким мыслям и, сделавшись от этого угловатее и резче, слегка двинулась на стуле; что-то истинно женское заставило ее переменить положение тела и сесть так, чтобы Брюханову было видно, насколько она хороша, и Брюханов тотчас уловил перемену в ее настроении и представил ее не в гимнастерке и солдат-

ских сапогах, а в тонком хорошем платье, облегающем тело свободно и мягко, и от этого ему все окончательно стало ясно в себе и немного стыдно, хотя он тут же подумал, что ничего стыдного в его мыслях нет, что это закон и что если верить мудрому Аристотелю, так и возраст у них друг для друга вполне хороший, да и в своей холостяцкой жизни после смерти Наташи он всегда тосковал о ребенке. Он поразился, из какой волны вынырнул к нему Аристотель со своими трезвыми рассуждениями о наилучших условиях для брака, очевидно сработала какая-то потаенная пружина, и он едва удержался от невольного приступа смеха и над собой и над Аристотелем, над этим его бесстрастным академическим подходом к запутанной области человеческих отношений. «Великие всегда рассчитывали на века,— подумал он,— на тысячелетия. Вечное заблуждение человеческого ума забывать о собственной природе!»

— Знаете, Тихон Иванович,— сказала Аленка, глядя мимо,— я боюсь к себе сейчас в село. Зачислилась в военный госпиталь, уже все сделано, вечером в десять часов у нас отправка. Правильно ли, нет, перерешать не к чему.

Это было полной неожиданностью для Брюханова, и он некоторое время молчал, обдумывая.

— Вы обещаете мне писать, Елена Захаровна? — спросил он, и она в его голосе почувствовала пугающую настойчивость.— У меня адрес прост: обком, Брюханову. Я бы должен всю эту вашу конструкцию поломать, но я понимаю, иначе нельзя. За суматохой почти забыл о вас после Горбаня, виноват сам. Но я теперь хочу восполнить. Пишите мне, редко, мало, как хотите, у всех у нас будет нелегкая жизнь, давайте, Елена Захаровна, просто помогать друг другу.

— Я понимаю,— сказала она и ушла от него с твердым намерением никогда не только не писать ему, но и вообще забыть поскорее неожиданный, пугающий разговор с ним, но уже через три месяца он получил от нее треугольничек и испытал при этом такое острое волнение, что сам опешил, а еще через три месяца он держал в руках второе ее письмо.

Она писала, что была ранена в бою за Минск и теперь находится в госпитале в Саратове, скоро выпишется, и просила у него совета, что делать дальше. По ее словам, она хотела окончить десятилетку и поступить в медицинский институт,— и он тут же, не мешкая ни

минуты, ответил ей, чтобы она немедленно приезжала, что все устроится, он добудет ей жилье.

Два ее коротких письма и два его ответа уже связывали их по-особому, и хотя Брюханов хорошо понимал, что Аленка, несмотря на все перенесенное, на душевную зрелость и чуткость, была совершенно неопытна в жизни и письма ее вызваны все тем же страхом перед неизвестностью и тем, что она за годы войны привыкла жить так, как ей приказывали старшие, и теперь просто растерялась, он был рад и в то же время нещадно ругал себя. «С ума сошел,— говорил он себе,— это же решительно невозможно, ни в какие сани не лезет. Старый кретин воспылал любовью к девчонке... похотью, точнее, именно похотью»,— мстительно радовался он; но другие мысли опрокидывали все его доводы «против», даже скорее не мысли, а чувство необходимости именно Аленки, а не какой другой женщины в его жизни; что в ней уж было такого необыкновенного, кроме молодости, он не знал и не хотел знать. Он оправдывал себя тем, что видел ее в будущем; без его помощи, думал он, ей будет трудно, а может, и невозможно выявить полностью все лучшее в себе; он где-то раньше слышал, что мужчина должен быть скульптором и что женщина тот благодарный материал, через который наиболее полно проявляется мужчина, и часто думал об этом накануне приезда Аленки, и когда увидел ее в вокзальной суете (он приехал встречать ее), ему пришлось подождать, пока сердце успокоится.

Он подхватил ее вещмешок и игрушечный чемоданчик (все, что она приобрела за войну), сунул в машину и повез показывать город; в самой высокой части, в Нагорном районе, где пленные немцы строили несколько зданий, целый квартал, они остановились и вышли. Вечерело, немцы как раз закончили работу и собирались в отряды, готовясь идти к себе; насколько глаз хватал, открывалась широкая панорама искалеченного и уже оживающего города; были видны далеко на окраинах несколько больших заводских домов, во многих местах свежим тесом белели крыши, ребрились леса, но все это были лишь пятна, терявшиеся среди массового, невиданного разрушения. И Брюханов и Аленка как-то сразу одинаково остро почувствовали, какая безжалостная война совсем недавно прошла по земле, у Аленки под правой лопаткой, там, где осколок мины пересек ей ребро, томительно заныло.

Назавтра Брюханова, как всегда, ждал трудный день, опять нужно было сеять, нужно было кормить людей; заводы и фабрики по жестким, не подлежащим никакому сомнению планам уже должны были давать продукцию (и давали ее), и если раньше Брюханов мог отойти за спину Петрова, то теперь, после его смерти, он сам был *первым* и сам отвечал за все в области, но сейчас он ни о чем не думал, кроме одного. Странно и непривычно получилось с Аленкой; рядом с ним, совершенно по-особому, появился новый человек, собственно говоря, совсем не известный ему; раньше женщина, если даже вспомнить и о Наташе, никогда не входила так близко в его жизнь, а теперь он уже чувствовал, что это случилось независимо от него. Он не знал лишь главного, хорошо это или плохо, она заранее вошла в его жизнь и он, сколько ни готовился, оказался перед неожиданностью. Но раз она написала ему и теперь приехала, думал он, то ведь и она что-то решила для себя определенно, она уже взрослый человек и все понимает.

Он очень боялся сказать ей, что у него в квартире есть для нее комната, что он будет очень рад помочь ей, но ее замечание, выразившее радость от встречи с ним, сказало, что она свое устройство в дальнейшей жизни давно связывает с ним, передоверяет ему, и Брюханов, стараясь не показать смущения, лишь подумал о переменах в ней, совершенно ему неведомых; ну что ж, тем лучше, решил он с облегченным вздохом, легким прищуром защищая глаза от низкого осеннего солнца, косо падавшего на город. Аленка улыбнулась и, словно стараясь помочь, осторожно тронула его за руку; он взял ее тонкие, сильные пальцы и поднес к губам, и она спокойно и даже изучающе смотрела ему в лицо, пока он целовал ее руку, слегка наклонив крупную, с редкой сединой голову, чувствуя у себя на руке его горячее взволнованное дыхание.

— У меня есть для вас комната, Елена Захаровна,— сказал он тихо,— надеюсь, вы не подумаете ничего плохого...

— Что ж, я сама так хотела,— ответила она, слегка хмурясь и привыкая к нему теперь уже непосредственно и не сразу освобождая свою руку.— Поедемте, Тихон Иванович. У вас, наверное, есть водка... Не пугайтесь, Тихон Иванович,— тут же добавила она, засмеявшись,— если водки нет, можно послабее, вина. Вы не

знаете, какой это для меня день. Самый, может быть, центральный день. Мне поэтому сегодня все время ваша помощь нужна. Не раздумывайте, Тихон Иванович, об этом.

— Елена Захаровна, очень хорошо, что вы есть, что остались живы, вернулись.— Чувствуя ее внутреннее смятение, Брюханов замолчал и долго глядел на нее.— Я могу вам одно сказать: вы всегда вольны поступать, как найдете нужным. А я вам обещаю, что вы не пожалеете...

— Не надо ничего обещать, Тихон Иванович,— Аленка необычно просто и с доверием опять притронулась к его руке.— Поедемте, поедемте, пусть в этот день не будет никаких остановок, пусть все идет, идет, так надо.

Брюханов молча кивнул, захваченный одним чувством тревожного праздника; и все думал, что это нереальность, стоит провести по глазам ладонью, и все исчезнет — и город, и Аленка, и низкое солнце, и он сам; дома Брюханов, не снимая пиджака, стал сразу накрывать на стол и все оглядывался на Аленку.

— Тихон Иванович, мне бы переодеться где,— сказала она с невольным смущением, охватившим ее в просторной, большой квартире наедине с мужчиной; его волнение передавалось ей, и она не раз готова была схватить свои вещи и выбежать, но за год, прошедший после их первой встречи, она тоже много думала о нем и успела привыкнуть к нему в мыслях; и теперь было страшно рушить привычное и начинать все сначала, да и она была уже не той Аленкой, простоватой и радостной девчонкой, как в канун войны; школа горьких военных лет, пугающая незащищенность людей перед смертью, их героизм и страдания оставили в ней свой неизгладимый след. У нее был живой природный ум, и на место безмятежной, никогда не унывающей девочки пришла молчаливая, много думающая женщина. Она видела, что Брюханову трудно, и потому спросила, где ей переодеться, и, оставшись одна в довольно просторной комнате, она села и некоторое время неподвижно глядела перед собой. Она хотела решить окончательно; откинувшись на спинку стула, она закрыла глаза и тотчас опять представила Брюханова; за то время, пока она его не видела, он, казалось, стал моложе и красивее; она подумала, что он пополнел. Еще она представила, как он сейчас мечется и старается, и пожалела

его; увидев рядом со шкафом в углу длинное зеркало, она торопливо подошла к нему и долго себя осматривала, поворачиваясь во все стороны, и в это время поняла, что останется здесь и все будет так, как он захочет. У нее пока просто не хватит сил что-либо предпринять самой, и главное, он не был ей противен, этот сильный сорокалетний мужчина. Она даже почувствовала волнение от неизбежных мыслей о нем, о том, как все-таки это будет.

Раскрыв чемоданчик, она достала простенькое ситцевое платьице в темную полоску, чулки и туфли на низком каблуке и, быстро переодевшись, некоторое время ходила по комнате, привыкая; ей все казалось, что теперь на ней ничего нет. И вдруг она окончательно поняла, что все прошлое кончено, и война для нее вот в этот момент кончена, а впереди нечто огромное и неизвестное; она поправила короткие волосы и вышла к Брюханову.

— Там направо по коридору ванная, можно умыться,— сказал Брюханов, сдергивая с плеча у себя полотенце и вытирая руки.— Стол для встречи фронтовика готов, я вас жду.

Они сели друг против друга; Брюханов тотчас положил ей в тарелку каких-то консервов, красных, нарезанных пополам помидоров.

— Что вы будете пить, Елена Захаровна?

— Водку, Тихон Иванович,— отозвалась Аленка и добавила: — Не бойтесь, это только сегодня. Я за всю войну только раза два ее и пила.

Брюханов молча налил в большие рюмки на длинных ножках; они подняли их, посмотрели друг на друга и, не говоря ни слова и не чокаясь, выпили; у каждого из них позади оставалось изрытое, еще дымящееся поле, усеянное погибшими близкими, знакомыми, просто людьми, и они, не сговариваясь, выпили за них, и был тихий час, когда они не знали, зачем встретились за одним столом и что будут делать дальше. И если Брюханов невольно подумал, что он уже далеко не первой молодости и погнался за девчонкой, и что все это нехорошо будет, и особенно со стороны, и есть еще время как-нибудь все повернуть и изменить, то Аленка, сидя прямо и глядя на Брюханова, видела не его, а что-то смутное и тихое, что-то уходило, уходило, дорогое и большое, и оставался один вот этот человек, отчего-то в последний момент посуровевший, как бы отгородив-

шийся от нее невидимой стеной; ну, а если серьезно, так и она не привязана, встанет, соберет свои немудрящие пожитки, поклонится и выйдет за дверь; кстати, теперь и до родной матери каких-нибудь сто семьдесят верст, и у каждого на этой земле свой путь и своя ноша. А ее дорога пропадала где-то в далекой мгле, в рваном тумане, да и не было нужды останавливаться, как говорила бабушка Авдотья, завей горе веревочкой, струится дымный, гаревый поток... Она одно знает, что ей счастья в жизни не найти, да и не надо ей его, хоть короткое, да оно было, а у других и вообще ничего. Ей теперь идти да идти одним следом и не думать, куда ведет тесная стежка.

Брюханов налил по второй и посмотрел на нее пристально, и она ответила ему ясным утвердительным взглядом, от которого у него сразу прошла вся смута.

— Это за вас,— сказал он, и она подумала, какие у него красивые, жадные губы,— за то, чтобы вы нашли себя, Елена Захаровна, я верю в это.

— Зря верите, Тихон Иванович,— ответила она несколько изменившимся после водки голосом.— Да и что мне искать? Я нашла, я все нашла.

— Вы еще слишком молоды,— сказал он сосредоточенно,— а в жизни все без исключения меняется, даже наши привычки. Вы ничего не съели, так нельзя.

— Я съем, Тихон Иванович,— ответила Аленка,— обязательно, сегодня весь день ничего не ела, все думала, думала. Как я приеду, как все будет.— Она заметила, что он держит рюмку и ждет и что ему, очевидно, хочется выпить, она поспешно взяла свою за тонкую ножку, осторожно стукнулась краешком о его рюмку.

— А я за вас выпью, Тихон Иванович,— сказала она.— Что было, прошло теперь, я с себя словно стряхиваю, стряхиваю...

Темный, смуглый румянец, выступивший у нее на щеках, неяркое освещение делали ее еще моложе и загадочнее; они опять выпили, и Аленка несмело посмотрела на Брюханова, взялась за голову, засмеялась.

— Ой, что я делаю, мне вас поцеловать хочется,— она стремительно встала, подошла к нему, и он почувствовал у себя на плечах ее руки; он сидел, напрягшись, не в силах удержаться от глупой, мальчишеской улыбки; слишком все хорошо получалось, и он испугался. Он почувствовал прикосновение ее губ у себя на щеке.

— Нет, нет, Елена Захаровна,— запротестовал он.—Вы ничем мне не обязаны, забудьте об этом. Сразу же забудьте об этом, Елена Захаровна... не надо... Наоборот... У вас такое имя — Аленка... Ничего, что я вас так назвал?

Не в силах справиться с собой, он встал, и у него закружилась голова от близости ее лица, глаз и губ, он целый год ждал ее, ждал такого вот момента, и теперь знал, что не справится с собой; он поцеловал ее по-мужски сильно, настойчиво, прямо в губы, и уже ни о чем больше не думая, подхватил на руки и понес, он нес ее и целовал, непрерывно повторяя только ее имя: «Аленка, Аленка, Аленка». У нее шла кругом голова, она видела качающийся потолок, какую-то картину, что-то белое и блестящее проплыло у самых ее глаз, и ей было приятно в этих сильных руках, окруживших ее со всех сторон, и она совсем закрыла глаза; он что-то делал с ее одеждой, и она лежала покорная и тихая, все так же крепко, до боли, до какого-то яркого мелькания, зажмурившись. Это лес, солнечный ветер в листьях, говорила она себе, вот этот мрак повторяется, и земля уходит, и сама она уходит, и никогда не будет возвращения из этой зеленой, пронзительной тьмы, ей все равно, странный, далекий стон, возникший неожиданно, словно пробудил ее, и она, холодея от ужаса, с отвращением к себе, к своей измене, оттолкнула от себя большие, настойчивые руки, к которым ее сейчас так тянуло, и, прикрываясь попавшимся под руку платьем, забилась в угол кровати, чувствуя, что близка к обмороку; вся дрожа, она умоляюще сказала:

— Нет, нет, не сегодня, ради бога, не сегодня, не сейчас...

Не глядя в ее сторону, Брюханов сел рядом и стиснул голову руками, не обращая внимания на то, что и сам полураздет; в висках, под пальцами тяжелыми, частыми толчками шла кровь, и он стал считать эти удары, чувствуя ноющую, свинцовую тяжесть во всем теле; Аленка торопливо набросила на себя платье, глядя в широкую спину Брюханова, на лопатки, сильно тронутые темным волосом.

— Прости меня,— сказала она, боясь прикоснуться к нему и страстно, мучительно желая этого,— прости, ты меня должен понять, это не потому, не из-за тебя, это пройдет...

— Я понимаю, Аленка,— сказал он, трудно отыскивая слова.— Отдыхай, я пойду к себе. Не надо нам быть вместе... Прости.

Он подобрал свою одежду, не стесняясь, тут же стал приводить себя в порядок; Аленка отвернулась, закрыла глаза. Происходило смещение; она подумала, что никак не может точно вспомнить лица Сокольцева, оно уходило, расплывалось, она вспоминала глаза, губы, брови, но никак не могла вспомнить всего лица, вместо этого перед ней все время стояло лицо Брюханова, и притом спокойное, ясное, она не заметила, как сам он ушел; она искала защиты от него там, где уже ничего не было, все смещалось и сдвигалось, перед ней по-прежнему был Брюханов, и ей хотелось к нему, в его большие, сильные, благостные руки, она почувствовала, что больше не может бороться с собой. Она встала и, решительно толкнув дверь, вышла в коридор; от выпитой водки в голове было легко. «Ну что ж, что ж,— говорила она себе, пытаясь справиться с волнением и невольным страхом,— вот я и люблю, вот я сама иду, я хочу этого, мне нужен он, и никто другой».

В коридоре было темно, и только из-под двери в соседнюю комнату слабо пробивалась светлая полоска, и Аленка облегченно перевела дыхание. Ей нужно было разорвать темноту, эти бесконечные, глухие ночи, ей нужен был этот свет, и она, не скрываясь, легко ступая босыми ногами по прохладному полу, распахнула еще одну дверь и увидела, что Брюханов сидит все так же полураздетый, сжав голову руками. Когда она вошла, он опустил руки, посмотрел на нее зло, не отрываясь, не отпуская ее глаз, молча ждал, пока она подходила; она села рядом. «Прости, прости,— сказали сияющие глаза,— я не хотела обидеть тебя, это не я...»

— А я тебя ждал,— сказал он с какой-то скрытой усмешкой,— я знал, что ты придешь.

Она видела, как шевелятся его крупные сухие губы, но не поняла ни одного слова.

8

Аленка проснулась, когда Брюханова уже не было, она лежала в незнакомой кровати, в большой, прохладной комнате с шишкинской картиной на противоположной стене; в полураскрытой двери, в той же стене,

отделяющей кабинет от спальни, виднелись полки с книгами и какая-то странная чугунная статуэтка, куб и женская фигура с костром вместо головы. Аленка стала подробно вспоминать прошедшую ночь, и это было непривычно и стыдно, она хотела остановиться и не могла, но вспоминала она, собственно, не то, что случилось, а пыталась воскресить какое-то свое настроение, свой неосознанный ужас перед тем, что должно было в эту ночь случиться, а теперь уже случилось; ей теперь было стыдно своего страха, так хорошо ей было с Брюхановым в эту ночь, и беспричинные слезы подступали к глазам, и хотя ей нечего и некого было стыдиться, она стыдилась. Все пришло к ней готовым, и ни за что не надо было бороться; после беспризорных лет войны она слишком боялась быть самостоятельной. Да и к чему об этом думать, сказала она с внезапным вызовом, как вышло, так и вышло, значит, судьба, он нужен ей, да, да, теперь она точно знает, что он нужен ей, а это уже хорошо. Вот так и становятся близкими, а иначе нельзя было бы жить, невозможно было бы жить, она бы не знала, куда себя деть дальше, если бы не он.

Аленке не хотелось вставать, это было непривычно и пугающе — полнейшая свобода над собой, но свобода ли? И зачем она ей?

Аленка не хотела думать о прошедшей ночи, потому что неосознанно, как всякая женщина, она не могла даже на короткое время позволить себе отдаться прошлому полностью и не оставить что-нибудь для настоящего; Аленка села на широкой измятой кровати, нашла свою сорочку, набросила на себя, и как раз в это время большие стенные часы, бой которых она, казалось, услышала в первый раз в этом доме, пробили пол-одиннадцатого, и сразу же зазвонил телефон. Шлепая босыми ногами, она подошла к нему и, помедлив, взяла трубку, сама чувствуя свое загоревшееся лицо.

— Здравствуй,— сказала она, услышав напористый голос Брюханова.— Спасибо, вот встала... прихожу в себя потихоньку.

— Ничего,— тотчас отозвался он.— У меня такая запарка, что я и сейчас... не могу быть дома, хотя очень хотел бы. Привыкай, ты ведь фронтовичка, Аленка...

— Ладно, буду привыкать,— отозвалась она, и в самом деле прислушиваясь и словно изучая его голос,

гудевший в телефонной трубке.— Ты обедать хоть приходишь?

— Обедать? — Аленка почувствовала в его голосе растерянность и поняла, что это слово для него нечто чуждое и непривычное.— Не знаю, Аленка, лучше я тебе позвоню. Сегодня у нас и без того пиршество — наконец-то водопровод пускаем, мне нужно быть...

— Понятно,— отозвалась она весело.— Я увижу тебя поздно вечером. Ну что ж... я подожду.

— Аленка!

Она засмеялась неожиданно и для себя горловым глубоким и дразнящим смехом.

— Аленка! Аленка! Что там с тобой? — прорвался к ней из какого-то далека голос Брюханова, и она опять некоторое время не могла ответить и неподвижными глазами глядела на трубку, и лицо у нее внизу подрагивало, что делало ее испуганной и особенно красивой.

— Война для меня кончилась, Брюханов,— сказала она с твердым дыханием и крепнущей опорой внутри себя.— Война кончилась... недолго и с ума сойти от этого...

Она положила трубку, хотя он что-то говорил ей, вроде того, что война теперь для всех скоро кончится; она положила трубку, освобождаясь от ее усиливающейся тяжести, и стала плакать, странный трепещущий полусвет хлынул ей в душу, пронизал ее всю насквозь, залил ее, и она словно стояла под прозрачным стеклянным колпаком, видимая всему миру. «Да, нате, нате, смотрите,— говорила она с отчаянной дерзостью,— это я, я, со своим грехом! Да, я никого не боюсь, не ваш суд здесь нужен, не ваш глаз. Только грешное и ухватите, а больше ничего вам не различить... да хоть и одно грешное, мне бояться нечего».

С истинно женской тщательностью, ничего не упуская, она обошла и осмотрела квартиру; две комнаты ей были уже знакомы, а в третьей она нашла различный хлам, пыль везде в два пальца, груды старых, растерзанных книг и какое-то продавленное кресло с торчащими наружу ржавыми пружинами. Лицом к стене стояло несколько картин в изломанных рамах, она отодвинула одну, присела, чтобы разглядеть. Это был портрет старика в треуголке, в кружевном воротнике, с водянистыми, светлыми глазами; близко они были неестественны, и Аленка почему-то припомнила Ивана Карловича и осторожно придвинула картину к стене;

она ничего не могла больше смотреть в захламленной комнате. Как-то очень ясно перед ней опять встала прошедшая ночь, и тело бесстыдно и сладко заныло; она испугалась, быстро оделась, оглядывая квартиру, которую, видно, редко убирали; зоркие глаза Аленки заметили грязь, пыль, паутину еще во многих местах, и она, чтобы не думать о Брюханове и о том, что у нее с ним получилось, но больше всего о том, что вечером она опять будет с ним вместе, занялась работой, стала мыть, чистить и прибирать, и вскоре в просторной квартире все преобразилось, сквозь вытертые до блеска сияющие стекла теперь проходило вдвое больше света, и он распространялся в самые дальние уголки комнат и коридоров. Аленка перед самой дверью нагребла огромную кучу ненужного мусора и хлама, чтобы потом выбросить, и все время думала, что ей нравится делать простую работу, и она забывалась порой, уходя от своих потаенных мыслей и того тревожного настроения, что не покидало ее с той минуты, как только она проснулась. Во все время работы она, не замечая того, непрестанно прислушивалась, не возвращается ли Брюханов, возьмет да и вернется, когда совсем не ждешь, думала она, и хотя твердо знала, что уж вечером он обязательно вернется, боялась, что ему вздумается вернуться именно сейчас.

Она захотела есть, но не стала трогать из того, что было у Брюханова, а взяла из своего сухого пайка хлеба и консервов и с удовольствием поела у маленького шаткого столика на кухне; остаток дня прошел у нее в каком-то беспорядке. Она нагрела воды и вымылась в ванне, прибрала волосы и, взглянув на себя в зеркало, увидела румянец во все лицо и испуганные глаза; больше она не могла оставаться в пустой квартире и ждать и, торопливо собравшись, по-прежнему чувствуя себя не слишком уверенно в ситцевом платье и в туфлях, вышла. Было солнечно и тревожно; Аленка приметила дом, в который так неожиданно занесла ее судьба, недовольно нахмурилась каким-то своим смутным мыслям и медленно пошла по улицам, и оттого, что все вокруг было разбито, а на лице у нее, она чувствовала, еще жил, хоть и тщательно скрываемый, но заметный отблеск счастья, она скоро почувствовала смущение. Вот прошел, прихрамывая, лейтенант-танкист в поношенной форме, вот прошлепала старуха в сборчатой черной юбке и в черном платке, вот промчались двое

мальчишек; она чувствовала, что все они смотрят ей вслед и осуждают ее, но вскоре она поняла, что ошибается. То, что наполняло ее, никого не могло и не должно было оскорблять, просто люди отвыкли от нормальной жизни и не могли сразу взять в толк, отчего это она счастлива, но они тотчас прощали ее, и Аленка особенно хорошо поняла и почувствовала это, почти столкнувшись с пожилой женщиной в черном платке; в своей жизненной наполненности и устремленности Аленка как бы соприкоснулась с чем-то резко враждебным, будто невзначай потревожила то, что нельзя, нехорошо было тревожить, и женщина в черном платке смотрела на Аленку с холодным недоумением, и самое страшное было то, что у нее в лице больше ничего не было, кроме этого холодного недоумения.

Аленка тихо пошла дальше; это обязательно пройдет, думала она, должно пройти, продолжала успокаивать она себя, уже вглядываясь в старую, покореженную вывеску; конечно, здесь была аптека, толстые старинные стены, и так их разорвало, а вот, кажется, какой-то магазин был, ничего, ничего, и это пройдет. А ведь *он* должен заботиться, неожиданно подумала Аленка, и новая волна смущения, радостной, тревожной теплоты охватила ее; *он*, именно *он*, тот самый Брюханов. И почему все-таки он? Как все непонятно, трудно и ничего нельзя сделать, да и сама она хочет ли какого-нибудь иного поворота?

Аленка уперлась в какой-то тупик, огляделась, пробралась через пролом в толстой каменной ограде и оказалась на старом монастырском дворе; длинный ряд полуразвалившихся, густо заселенных келий, дымящиеся прямо под открытым небом наспех сложенные очаги, молчаливые женщины, мальчишки, с криками гонявшие тряпичный мяч, церковь с разбитым куполом, угнездившиеся и выросшие на полуразрушенной ограде небольшие деревца,— все это Аленка увидела как-то по-своему, взволнованно; она шла вдоль длинного ряда времянок, с интересом заглядывая в проемы дверей и окон, часто занавешенных всего лишь куском парусины, по случаю теплой погоды сейчас приподнятой. Вся жизнь была на виду, никто не таился, не скрывал ни нужды, ни горя, и именно в этой открытости ощущалось спокойное упорство, единение перенесших военные беды людей; Аленка впервые подумала об этом. Ее несколько раз спрашивали, кого она ищет, выражали

готовность помочь; она благодарила, говоря: «Нет, нет, спасибо, я так»,— и шла дальше.

Она выбралась на пустынную улицу, затем на площадь, окруженную осыпавшимися почти до фундаментов зданиями, только в одном месте высилась изъеденная снарядами лицевая стена какого-то дома в три этажа с провалами выгоревших оконных проемов; рядом с этой стеной велась расчистка фундамента, женщины и подростки с лопатами и кирками разбирали завалы; растянувшись в несколько цепочек, женщины передавали кирпич из рук в руки, складывали его в штабеля на ровном месте, щебенку и всякий мусор относили на носилках в другую сторону. Аленка подошла ближе, ее неудержимо тянуло к людям.

— Девушка! — тотчас окликнули ее.— Давай к нам, давай на подмогу!

Она улыбнулась, взобралась на груду битого кирпича и скоро уже таскала носилки с пареньком лет пятнадцати. Никто не спросил ее имени, и она никого здесь не знала, но работа захватила ее; ей казалось, что всех этих людей она встречала раньше, была знакома с ними давно; потому-то ей так хорошо с ними было и радостно; напарник ее за день устал, шел с тяжело нагруженными носилками, покачиваясь, и по длинной мальчишеской шее у него грязными струйками сползал пот.

— Как звать-то тебя? — спросила Аленка, выбрав момент, когда они возвращались налегке.

— Кешка.

— Может, передохнем, Кеша?

— Быстро ты...

— Да не я, тебя вон раскачивает.

— Ну, за меня нечего переживать.— Кешка недовольно оглянулся, смахнул пот с лица и тут же, запнувшись за обломок кирпича, дернул на себя носилки; не удержавшись, Аленка растянулась рядом с ним.

Вот видишь,— сказал Кешка, не глядя на Аленку, но не выдержал, рассмеялся.— Ты вон платье на боку выдрала, здоровый клок.

Зашью, Кеша, недолго.— Аленка теперь совсем освоилась, ей захотелось поворошить пыльные, густые волосы паренька, но она быстро вскочила, отряхнулась, подняла носилки.

Неподалеку женщины, навалившись на ломы, выво-

рачивали из завала большой обломок стены; одна из них густым, охрипшим голосом командовала:

— Ну, бабоньки, взяли! Разом! Еще взяли! Разом!

Аленка вернулась поздно, с трудом отыскав в темноте улицу и дом, открыла дверь и облегченно вздохнула: Брюханова еще не было. Она смыла с себя кирпичную пыль, причесалась и поспешила на кухню, надо было сварить зеленые щи, но ей вдруг неудержимо захотелось схватить свой вещевой мешок и поскорее скрыться: было страшно и стыдно думать о подступавшей ночи, но едва Брюханов, улыбающийся и шумный, переступил порог, неловкость ее прошла, и когда он, сбросив шинель, обнял ее, притянул к себе, подхватил на руки и стал целовать, она почувствовала себя совсем уютно, закрыла глаза, затем, когда он отпустил ее, поправила волосы, засмеялась.

— Ты знаешь, ведь я полдня бродила по городу.

— Знаю.

— Откуда?

— Несколько раз домой звонил.

— Садись, Брюханов, буду тебя кормить,— сказала Аленка.— Вот сейчас соберу на стол и все тебе расскажу, я столько сегодня видела, столько видела, ты знаешь, кажется, я сегодня счастливая...

Она сидела против него, смотрела, как он ест, наклоняя крупную, красивую голову, рассказывала и, когда он смотрел на нее, смущалась; и прошедший день, и этот вечер, затем почти бессонная, какая-то невероятная в своей праздничности ночь, о которой Аленка боялась вспоминать и думать, и первая неделя вообще пролетела для нее в каком-то пьянящем, возбужденном угаре; она не только все больше привыкала и привязывалась к Брюханову как женщина, но ей начинало временами казаться, что до него, вот до этой встречи с ним, ничего и не было в мире, и для нее в жизни все в первый раз и началось лишь с Брюханова. И ей самой уже хотелось и нравилось обнимать его, и целовать, и чувствовать рядом; она жила словно в легком опьянении от ночи до ночи, и когда он начинал о чем-нибудь говорить, она, зажимая ему рот, целовала его; странный и зыбкий установился у нее душевный порядок, и она изо всех сил бессознательно поддерживала его, и Брюханов это чувствовал и после двух или трех неудачных

попыток хоть что-нибудь изменить отступился, решил положиться на время, у каждого свои демоны, подумал он, и лучше подождать. Теперь он точно знал, что любил эту молодую женщину, и ему было порой тягостно за себя. Женщина еще никогда так близко и глубоко не входила в его душу, и он безошибочно чувствовал, что Аленка пока еще не может отвечать ему тем же, он чутко улавливал ее душевное состояние и знал, что в него не следует вторгаться второпях; Аленка хотела жить только одной-единственной минутой, той, которая шла именно сейчас, и боялась малейшего шага назад или в будущее, и Брюханов старался поддерживать в ней это состояние. В этих их отношениях тоже была своеобразная прелесть и острота, тем более что физически они все больше привязывались друг к другу, и в горячности и нетерпении Аленки Брюханов чувствовал всю ту же самую боязнь прошлого или будущего; он в такие минуты и сам ни о чем не думал. Он звал ее Аленкой, а ей с первой минуты понравилось называть его «Брюханов», и оба скоро привыкли и к этому, хотя не могли привыкнуть к той взаимной жадности, с которой стремились как можно больше узнать друг друга в самом потаенном, интимном; в Аленке начинала просыпаться женщина, и, как всякая женщина, которую сильно любят и которая знает это, она как-то вся неуловимо менялась, словно наполняясь таинственным, счастливым и переменчивым светом; она словно плыла в теплой и бережной реке, обнявшей ее со всех сторон, и чем дольше в ней находилась, тем беззаботнее и беспечнее становилась. Она боялась о чем-либо думать, она ничего не хотела знать ни о Брюханове, ни о себе, но иногда по ночам, когда он, утомленный и горячий, засыпал рядом с нею, она тихонько освобождалась от его тяжелой головы или руки, чуть отодвигалась. В такие моменты она не могла справиться, разогнать неожиданные мысли. Брюханов мерно дышал рядом, и ей начинало казаться, что все это ей грезится и никакого Брюханова нет и никогда не было. И за какие заслуги ей должно было все это достаться? Пусть Брюханов вполовину ее старше, бьют не по годам — по ребрам, как, бывало, любила присказывать бабушка Авдотья, и не верится, что на такую высоту ее затянуло. И мужик Брюханов хорош, хоть и в годах, а ребячья стыдливость в нем есть, так иногда и кажется, что она намного его старше. «Ну, а дальше, дальше что?— спрашивала

она себя. — Не одним же днем живешь... И совестно, сколько времени мать, бабку, братьев не видела, а мужик встретился, вцепилась в него, и ни на шаг, даже не по себе от мысли, что еще надо куда-то двигаться, кого-то искать, разговаривать... но ей скрывать от себя нечего, все равно не скроешь». С каждым новым днем что-то меняется, все тверже становится опора в ней самой, окончательно отходит какая-то стылость в душе; порой уже хочется и самой беспричинно броситься навстречу Брюханову, засмеяться, обхватить его за шею... «А дальше-то, дальше как? — думала она, возвращаясь опять к началу. — Ну кто я для него, деревенская девка, помужичьи натешится да и отвернет нос, ведь и в разговор с ним вступать боюсь, серость свою показать».

Однажды в такой момент она разбудила его далеко за полночь, и он тотчас тревожно вскочил, потянулся зажечь свет.

— Не надо, Брюханов, — остановила Аленка, и он увидел ее небольшую фигурку, она сидела на кровати, забившись в самый уголок и натянув на колени рубашку. Брюханов, приходя в себя, лег навзничь, ожидая.

— Брюханов, — сказала она тихо, — у тебя кто-нибудь есть из родных?

— Мать в прошлом году умерла в эвакуации в Алма-Ате, — отозвался он не сразу, после паузы; он еще был полусонный, размягченный, его руки были рядом с Аленкой, и она все жалась и жалась в уголок. — Все думаю, выпадет потом свободная неделя, съезжу, постою у могилы. Слушай, Аленка, — он рывком сел, — что ты среди ночи?

— Ой, Брюханов, плохо мне, — пожаловалась она тихо, глядя мимо него и как бы раздумывая над своими словами. — Хотя нет, нет, не то я говорю. Знаешь, стыд меня одолел, я мать, братьев сколько не видела, только весной из госпиталя и написала, а тут мужика себе нашла и забыла. Может, еще там какие вести, мало ли... Нехорошо это, Брюханов. От них и того меньше, всего одно письмо получила, брат, Коля, нацарапал кое-как. Может, затерялись другие-то. Очень уж это все нехорошо. Утром к ним поеду.

— Правильно, поезжай, я тебе давно собираюсь сказать. — Брюханов откинулся на спину, положив руки под голову, стараясь не думать ни о каких сложностях, что могли появиться и обязательно появятся после ее поездки к себе домой, ему было сейчас стыдно за свое

непрерывное желание, за свою жадность...— Поедешь на машине, несколько часов — и на месте.

— Не надо, Брюханов.— Вздохнув, Аленка легла рядом с ним и тотчас слегка отодвинулась, так как сразу почувствовала его нетерпение.— Я в форму оденусь и вещмешок возьму. И доберусь сама, как бы без тебя добиралась. Где на попутной, где пешком. У меня даже зуд какой-то в коже, только подумаю, как подходить к селу буду, сердце обрывается и прямо в глазах ломит, плакать хочется.

— Надолго я тебя не отпущу,— сказал Брюханов то, о чем думал с самого начала разговора, притягивая ее голову себе на плечо; она вздохнула, поцеловала его в твердую складку возле губ.— Неделю побудешь, и хватит. Я без тебя долго не смогу, Аленка, да и зачем?

Она ничего не сказала, по-прежнему раздумывая, как она будет подходить к селу, увидит мать, бабку Авдотью, братьев, как они станут рассказывать ей новости, потом соберутся соседи и подруги, и сколько будет всяких охов; она закрыла глаза, неосознанно счастливая еще и тем, что рядом большой, сильный и умный человек, и что ей с ним хорошо, и что только через него она узнала, как хорошо быть просто бабой, вот и сейчас она уже опять сама не своя от его близости, от настойчивой его силы, которой она не может противостоять, да и не хочет; она опять лежала опустошенная захлестывающей полнотой счастья и наслаждения, и вдруг далекая, настойчивая мысль, даже какой-то тревожный неясный проблеск насторожили ее, она замерла и стала спрашивать себя, что это такое, и тотчас едва удержалась, чтобы не выдать себя и свою неожиданную мысль. «Вот что,— сказала она,— просто все с Брюхановым было у нее сейчас последний раз, и больше никогда у нее этого не будет, она больше не вернется к нему». Она молчаливо приподнялась, нашла в темноте легким движением пальцев большие губы Брюханова и стала легко и быстро целовать их, он лежал спокойно и радостно, а потом, когда она успокоилась, незаметно заснул все с тем же радостным ощущением счастья, и только когда Аленка садилась назавтра в обшарпанный, с грязными окнами вагон поезда на Зежск, который стал уходить туда два раза в неделю, во вторник и в субботу, что-то во взгляде Аленки встревожило его. Он было шагнул к ней, поднимая руку, но в это время маломощный паровозик жалобно и раздраженно засви-

стел, залязгали от него по всему протяжению поезда от головы к хвосту буфера, и Брюханов остался на месте, лишь сделал на своем лице улыбку и поднял руку вслед уплывающему в раскрытых дверях тоже расстроенному, как ему показалось, лицу Аленки, которое от пилотки и застегнутой плотно шинели было незнакомым и совершенно детским. Брюханов по своему состоянию мог бы броситься и побежать вслед, но второй, расчетливой и безжалостной, стороной своего сознания он все время помнил, что его ждут и за ним наблюдают, он пошел к машине и поехал по своим делам; перед другими ему было немного неловко, что он стал жить с такой молодой женщиной (он обычно говорил, что это вернулась с фронта его жена, с которой они сошлись в войну, в партизанах), но чувство неловкости не проходило, кроме того, он с самого начала решил не обращать внимания на мнение окружающих его людей в этом вопросе, он не намеревался больше обкрадывать себя ни ради других, ни ради работы. Какая-то тень, мелькнувшая в последний момент перед отходом поезда, скоро забылась; с вокзала он сразу поехал в обком, провел подряд два важных совещания, с директорами и активом учителей школ области и о мерах по быстрейшему расширению посевных площадей, занимаясь попутно решением и обсуждением множества необходимых дел, не связанных ни с образованием, ни с посевными площадями, сведенными за два года оккупации области практически к нулю; Брюханов второй, потаенной, стороной сознания все время помнил об Аленке и о том, что она уехала, и в ночь он опять будет один в пустой квартире, и не повторится то, о чем он думал с тайным, мучительным желанием непрерывно и что не зависело от него и было выше всех его доводов и рассуждений. Без Аленки он бы не смог больше жить, и хотя тот же рассудок язвительно подсказывал ему возможность и даже закономерность обратного, он знал, что Аленка просто необходима ему и с ее появлением перед ним словно все в жизни наново открылось и заиграло.

Брюханов обрывал себя, он не любил велеречивости и бессмысленности, он привык к конкретности, но Аленка и все связанное с нею тотчас представало перед ним ближе, в неотвратимой обнаженности. «Да что же это я,— говорил он себе,— думаю, словно посторонний, у меня ведь тоже масса возможностей влиять. В Зежске

моторный начинают восстанавливать, пятьсот пленных немцев уже приступили к расчистке, позавчера еще триста человек туда же направлено,— вот и причина. Мало ли отыщется причин поехать в Зежск, в любой день и час, а там Густищи в двадцати километрах...»

Освободившись от самых неотложных дел, Брюханов у себя в кабинете выпил чаю, сгрыз несколько солдатских сухарей, намазывая их маслом, окончательно настраиваясь на рабочий лад, его позвали к телефону, и он, вначале не поняв, о чем разговор, переспросил:

— Да, да...что? Кого задержали? Какого Анисимова? На меня ссылается? Ну дальше... дальше... Ах, вон оно что. Это действительно так, полковник. В начале войны я у него от облавы в тайнике сидел, в Зежске было дело. Затем он меня за город вывел ночью. Несколько раз потом он наши поручения выполнял. Так что Анисимова я знаю... Нет, нет, мы с вами коммунисты, обязаны и будем учитывать силу обстоятельств, но слепо подчиняться им не в наших правилах, вы это хорошо знаете. Вот, вот, без излишней поспешности. Если я вам еще буду нужен, пожалуйста... Всего доброго, полковник.

Брюханов положил трубку и некоторое время сидел, припоминая. Ощущения счастья и радости несколько отодвинулись вглубь, потускнели, и теперь он уже отчетливо и ясно понимал необходимость съездить в Зежск, постоять у развалин моторного; тихая и какая-то беспокойная тоска подступила к сердцу. Анисимов его мало интересовал, а вот тот день, когда он в последний раз встретил Кошева, уже не забыть, и самого Кошева не забыть; нет, необходимо туда самому съездить, поручить кому-нибудь выяснить подробности его гибели.

9

Добравшись к вечеру до Зежска поездом, Аленка решила идти дальше пешком, двадцать километров она надеялась одолеть к полуночи, часа за четыре, и пошла, перекусив за городом под старой ракитой и запив из солдатской фляжки холодным чаем. Она не боялась идти в ночь, дорога была ей знакома, и как только она выбралась из Зежска, непривычное волнение захватило

ее; она никак не верила, что еще несколько часов — и она окажется в родном селе, увидит мать, бабку и братьев; все было чудом в эту ветреную темную ночь: пропадавшая то и дело дорога, холодный северный ветер и колючие звезды сквозь рванину туч и то, что она не послушалась совета Брюханова и не осталась переночевать в Зежске. Где бы она там ночевала, ни одного целого дома не видела, все времянки из горелой жести и досок на развалинах, да и то, что у нее несколько дней был Брюханов, тоже великое чудо, но он-то по своему мужскому уму не знал, что она ему не пара и больше никогда не вернется к нему, не должна вернуться, коли она себя хоть каплю уважает, эта высота не для нее. Пусть он ей нравится и ей жалко его, да ведь все равно не пара, и лучше обрубить сразу, чем потом мучиться. Сейчас целый гудящий рой был в душе Аленки, и она точно не знала, чего ей хотелось и о чем думалось, ее тянуло в разные стороны, и она никак не могла сосредоточиться на чем-нибудь одном, хотя темная, шишковатая дорога, на которой то и дело приходилось спотыкаться, все больше привязывала к себе внимание.

Аленка шла, бодро постукивая сапогами, и хвалила себя за решение идти в ночь, за то, что отказалась от машины и что вернется к родному порогу сама, как все возвращаются. Если она в лесах, на передовой не боялась, так что ей ночь на родимой земле, вот только бы с дороги в темноте не сбиться. К полуночи должна показаться луна, и станет легче разобраться; Аленка опять подпала под какое-то особое настроение, и сладкая тоска обожгла ее; вот ей всего лишь двадцать лет, а чего только она не увидела и не узнала в жизни, и два мужика у нее уже были, Алеша Сокольцев, теперь вот Брюханов; да нет, нет, что бы она ни делала, Алешу ей не забыть, он словно в ней в середке отпечатался и жжет, стоит только забыться, чуть-чуть ослабить вожжи, и он тут как тут, словно и никакой смерти для него не было. А живому, оно хоть кому, жутко рядом с мертвым; он так и не дает ей к живому привыкнуть, вот и тогда, в первый раз с Брюхановым, думала, что конец пришел, как сердце зашлось.

Невольно ускоряя шаг, Аленка чувствовала начинавшее гореть от стыда тело, хотя ясно понимала, что стыд этот ложный и то, что было у нее с Брюхановым,

было нормально для здоровых, нравящихся друг другу людей и что ей нечего стыдиться.

Она остановилась, прислушалась к резкому холодному голосу ветра в старых ракитах; ей все время казалось, что она не одна в этой ночи и за нею все время следят пристальные, осуждающие глаза, ей вспомнилось, как она тогда положила пистолет в шалаше возле Сокольцева, увиделся его белый, бескровный лоб, и голова у нее закружилась; она постояла, затем, не сбрасывая вещмешка, села на дорогу, осторожно подогнув ноги.

Она сразу устала, хотелось скорее оказаться возле матери, и остальную часть пути она прошла со злым лицом, ничего не замечая вокруг; было уже далеко за полночь, когда она подошла к Густищам, и хотя она по-прежнему ничего не видела впереди, кроме неровной, слегка высветленной луной дороги, что-то изменилось и в ней самой и вокруг нее; сейчас, сейчас будут Густищи, сказала она и скорее сердцем пока различила родной, все близившийся мягкий шум. Первое время она не поняла, что это ее лишь взволновало ощущение чего-то привычного, необходимого, без чего нельзя было жить; сердце ее больно, робко и радостно сжалось, и она невольно почти побежала навстречу этому усиливающемуся шуму, навстречу высоким, раскачивающимся теням; она добежала и ахнула. Это был ряд наполненных стремительным гулом старых-старых берез, отделявших село от выгона; сколько Аленка себя помнила, они были все такими же высокими, со свисавшей почти до земли густой бахромой тонких ветвей, уходящими мощными стволами с толстой неровной корой в землю. «Живые, живые, целые, родные!» — Аленка пошла от одной березы к другой, обнимая их, говоря шепотом что-то бессвязное и глупое, что невозможно выразить словами и что понятно только сердцу; Аленка прижалась щекой к чистому, холодному стволу, закрыла глаза.

То необычное и тревожное ощущение счастья, что невольно владело ею еще до встречи с Брюхановым, еще только в ожидании этой встречи, хотя она никогда бы не призналась в этом, сейчас полностью затопило ее, и то, что раньше было скрыто от нее, то, что она не могла различить, понять и почувствовать, пришло к ней сейчас, но у самой Аленки было такое чувство, словно все *это* было с ней всегда и только таилось где-то и дремало, а теперь вот пробудилось.

Тесно прижавшись к наполненному звоном стволу, словно в красочном и беспорядочном детском сне, Аленка не могла ни плакать, ни думать; сколько раз под этими березами она играла с братьями и подружками, в знойный день как хорошо было укрыться под струящейся густой зеленью, полежать на земле. Эти березы были всегда пугающим и влекущим местом; сюда всегда уходили парами взрослые девки и парни; перед самой войной и Пашка Кулик звал ее к этим березам, а мать все, бывало, говорила: «Ты смотри, от девок не отбивайся. К березам не вздумай с кем, небось рано, дурочка ты еще!»

А сколько былей и небылиц ходило про эти березы в Густищах, они ведь, пожалуй, постарше дедушки Макара. Аленка тихонько засмеялась; все-таки однажды она была ночью у этих берез, пугливо, с замирающим сердцем походила, походила и, заслышав чей-то громкий, горячий шепот, опрометью бросилась домой, бежала так, что ветер посвистывал в ушах, все казалось, кто-то вот-вот догонит и схватит.

Аленка не знала, что с нею, но ей было хорошо, и сердце окутывала расслабляющая теплота, да и не осенняя это была ночь, а сияющая весенняя высота, и березы стояли, охваченные в синеве зеленым струящимся огнем; солнечные пятна, пробивающиеся сквозь листву, шевелились в короткой плотной траве; горьковатый запах березовой свежести тек по ветру, а вот и молодой боровик с тугой коричневой шляпкой...

Аленка оторвалась от березы, и радостный звон в ней угас; холодный ветер гудел поверху, темно клубящейся волной заворачивал в одну сторону гибкие космы голых ветвей.

Постояв на ветру и еще послушав гул ветра в березах, Аленка выбралась на дорогу, заторопилась, ее охватило почти судорожное нетерпение.

Из письма она знала, что село полностью сожжено, но то, что она увидела, поразило и испугало ее; только в трех местах белели какие-то мертвые, в отсветах луны, небольшие срубы, а все остальное было пусто, лишь угадывались с середины улицы голые, шумящие в ветре дерева́, яблони и вишни, и ни одного огонька, ни одного звука, указывающего на человека; Аленке по-настоящему стало не по себе, она даже приостанови-

лась, оглядываясь. Вначале она должна была пройти усадьбы Микиты Бобка, Юрки Левши, отцова дядьки Игната, затем Поливановых; хотя в небе сплошь шли тучи, луна несколько присветила, и Аленка, теперь медленно продвигаясь вперед, хорошо видела. Никаких хат не было в Густищах, ей показалось, что на этом месте вообще никогда не было села. Но она хорошо знала, что это именно то место, о котором она все время думала по ночам в самые тяжелые моменты после смерти друзей или опустошающих боев; вот и привычные очертания сада прорезались в зыбкой полутьме неба, различалось приземистое широкое возвышение на месте избы, но больше она ничего не могла разглядеть. Колька писал тогда, что живут они в немецкой землянке в саду, и Аленка, постояв на дороге и утихомирив сердце, пошла к усадьбе, угадывая пробитую тропинку. За все время в эту ночь ей не повстречалась ни одна живая душа, и она уже не верила, что встретит кого-то живого; тропинка провела ее через сад, и она сначала увидела ворох запасенного на зиму хвороста, затем какое-то приземистое сооружение в виде сарая и уже только потом метрах в десяти от себя различила землянку. Все было вновь, и, опять пережидая сердечную слабость, желание сесть на землю и выплакаться, Аленка, сбросив вещмешок и оставив его у входа в землянку, долго стояла, привалившись к старой дуплистой яблоне, и опять никак не могла перешагнуть в себе застывший накрепко рубеж, отделивший веселую, беззаботную девчонку от теперешней Аленки. Одно время ей казалось, что вот-вот сейчас прорвется плотина и в душу хлынет солнечный, бурливый потоп, захлестывая и скрывая все ее потери и горести, но время шло, и ничего в ней не менялось; вздохнув, она оторвалась от яблони, пробралась к окну в землянке и стала думать, что же ей делать дальше. У нее не хватало смелости подойти к двери и постучать; теперь она уже ругала себя, что не осталась в Зежске, как-нибудь бы переночевала. Почему-то ей в последний момент стало страшно разбудить своих, страшно увидеть их, услышать полузабытые голоса. С заколотившимся сердцем Аленка подошла к двери, попробовала толкнуть ее и стала стучать, и когда услышала хрипловатый спросонья, испуганный голос матери, не сразу смогла ответить, спазмой перехватило горло и в груди мучительно стиснуло.

— Мама,— сказала она шепотом,— это я, Аленка.

Сказала и замолчала, и так как Ефросинья опять окликнула откуда-то снизу, словно из-под земли, теперь уже с явным недоверием в голосе, Аленка наконец продохнула остановившийся, давящий комок в горле.

— Это я, Аленка,— опять сказала она, и потом была минута удивительной, почти убивающей тишины; Аленка чувствовала, как мать, задерживая дыхание, спешит вверх по ступенькам; она никогда не знала раньше, что может так волноваться, она сейчас могла умереть от любви и нетерпения. «Да скорее же, скорей»,— просила она. Наконец дрожащие руки матери нащупали и со стуком откинули крючок, затем заскрипел еще какой-то запор, дверь настежь распахнулась, и Аленка увидела в глухой темноте слабо светлевшую фигуру матери и услышала ее задавленный, больной вскрик.

— Доченька! Аленка! Господи, живая, а? Неповрежденная, а? Господи, да что же это за наваждение?

Ефросинья тяжело осилила последние две ступеньки, обхватила дочь за голову и притянула к себе, Аленка слышала, как у матери гулко стучит сердце...

— Простынешь, мама,— говорила она сквозь слезы, все так же прижимаясь к материнской груди,— ты ж без одежи, в одной рубахе, босая. Пойдем, пойдем в тепло. Иди, иди, я только мешок свой захвачу.

Ничего не видя из-за слез, нащупывая дорогу руками, Ефросинья спустилась вниз, за нею пошла Аленка, прикрыв за собою верхнюю дверь и от волнения не замечая густого, теплого воздуха, ползшего снизу из землянки.

— Господи, да у нас-то спичек нету,— плачущим голосом сказала Ефросинья, разгребая в печке золу и стараясь отыскать тлевший уголек.— Наверное, Егорку придется будить, пусть высечет огоньку кресалом-то...

— У меня зажигалка есть, мама,— вспомнила Аленка, похлопывая по карманам шинели.— Я ее с фронта берегу. Вот, вот, сейчас,— торопилась она, и когда неверный, тусклый свет разогнал тьму, Аленка как-то сразу охватила и стены землянки, и бревенчатый черный потолок, и застывшее в мучительной радости лицо матери, и босые длинные и узкие ступни ног кого-то из братьев, торчащие с топчана в углу; вздрагивающими руками Аленка зажгла в руках матери коптилку из гильзы противотанкового снаряда и обессиленно опус-

тилась на подвернувшийся стул. Ефросинья, перебирая босыми ногами, стала торопливо одеваться, сунула ноги в какие-то опорки, набросила на себя юбку.

— Господи, какая ты большая стала,— говорила она, разглядывая Аленку во все глаза и совершенно не понимая, что еще нужно делать по такому случаю.— Раздевайся,— сказала она с невольной обидой,— что ж ты сидишь, как у чужих.

Аленка стала раздеваться, оглянулась и, различив набитые у двери гвозди, зацепила за один из них шинель и осторожно прошлась по землянке, по неровному дощатому полу, постояла у широкого топчана, переделанного из нар, над спящими братьями и все никак не могла разобрать, кто из них кто, оба лежали головами в тени, но она все же разглядела Егора по косматой, отливающей чернью голове, и какая-то тихая, ослабляющая радость затопила ее. Чего-то не хватало в землянке, и она с нарастающей тревогой внимательно прошлась взглядом вокруг.

— Мам,— спросила она медленно, словно растягивая время,— а бабушка?

— Да еще в весну, сразу после пасхи, похоронили,— сказала Ефросинья тем ровным голосом, каким говорят о привычном.— Поносом ее высушило, стали обмывать в гроб-то положить, ну, одни мощи, весу в них никакого. Как пустоту в доски забили, да в яму.

Аленка сидела и никак не могла понять, о чем это говорит мать: значит, бабка Авдотья умерла еще весной, бабушки Авдотьи нет, и этого как-то нельзя и понять; они, бывало, на печке лежали, и бабушка всякие случаи рассказывала; о чем бы она ни говорила, все у нее было жизнью — и мертвецы оживали, и ведьмы тележными колесами катались, и под капустными листьями росли удалые молодцы да красны девицы, в лесных дуплах скрывались горькие сироты. Аленка почувствовала, какой огромный мир ушел из ее жизни, и она стала беднее и хуже; она плакала с открытыми глазами, недвижно, затем плечи ее стали вздрагивать. Ефросинья подошла и прижала ее голову к своему теплому большому животу.

— Она старая уже была,— спокойно сказала Ефросинья.— Вот на могилку потом к ней сходим, там и поплачешь. Господи, волоса-то у тебя окорочены, как у мужика. Ну что ж ты, ну, ну, домой добралась живая,—

теребила Ефросинья дочь.— Ты теперь гоголем должна ходить, на каждую былинку дивоваться да радоваться... а что бабка Авдотья, что ж теперь, вон сколько молодых сгинуло, жить бы да жить им. И отца не слышно, Иван так и пропал, утихомирится война, может, отыщется кто.

— Ой, мама, ой, мама, я сама боялась и спрашивать про них,— Аленка прижималась мокрой щекой к руке матери.— Почему же так плохо на свете? За что такое человеку?

Она подняла голову, и худое, большое лицо матери показалось ей необычно суровым и далеким, хотя она чувствовала на себе ее дыхание.

— А ты на всех не греши, человек, он разный бывает,—сказала с тихим убеждением Ефросинья.— Мир не без добрых людей, не будь их, и мои, и братьев твоих косточки давно бы воронье расклевало, дочка...

— Не надо, мам,— попросила Аленка.— Я уж столько видела боли да страха... мне всех так и хочется пожалеть. Разбудила я тебя среди ночи.— Отодвинув обшлаг гимнастерки, Аленка поглядела на наручные мужские часы.— Четвертый час... ночь тянется, тянется...

— Что ты, что ты,— сказала Ефросинья, которая никак не могла определить, в чем же это так изменилась Аленка и почему они прямо чужие, даже немножко не по себе с ней, словно не она и родила и выходила, вон при часах и на груди какие-то висюльки блескучие, поди тебе награды, да и лицом, речью совсем переменилась, чужая, чужая, думала Ефросинья, в то же время чувствуя огрубелыми руками, всем своим большим, уставшим от жизни телом, что рядом родная ее, богом данная кровь и плоть, ее дитя; что ж, выросла, как все роженое на свете возрастает и уходит по своим путям, уходит по закону страдать и радоваться, ну и Аленка выросла, ну и бог с нею, сама знает, что ей хорошо и что плохо.

Ефросинья села рядом, словно боясь, что дочь возьмет да исчезнет внезапно, как и появилась, и оглядывала ее, беспорядочно и неровно вспоминая всякие новости, затем, торопливо, на полуслове, вскочив на ноги, стала разжигать печь.

— Ты небось голодная,— сказала она.— Так я счас картошку варить поставлю, ноне, слава богу, лукошек пятьдесят накопали, зиму-то протянем как-никак. И те-

лушку по третьему году купили, видала закуток-то? Обгулялась, аж в Слепню с Егоркой водили. Одно боюсь, как бы не увели недобрые люди, тогда хоть в петлю.— Ефросинья теперь говорила не умолкая, ей было хорошо похвалиться перед дочкой и картошкой, и телушкой, немыслимую цену которой знала одна она, и Колькой, который от книжек весь лицом почах, только глаза нехорошо светятся; она говорила о семейных новостях и о том, что изменилось у соседей и родных, Аленка же думала и думала о бабке Авдотье и никак не могла привыкнуть, что ее нет и никогда больше не будет.

Лицо Егора, заспанное, широкое, с радостными и неверящими глазами, возникло перед нею из дальнего полумрака землянки. Аленка качнулась к нему, соскальзывая со стула с коротким изумленным смехом, обняла его, и Егорка, еще плохо соображавший со сна, уткнулся ей головой в плечо.

— Егорка, Егорка, да какой же ты вытянулся, надо же! — Вороша жесткие и густые Егоровы космы, Аленка поцеловала его в затылок.— Этак и мужиками скоро станете,— добавила она сквозь непрошеные слезы, чувствуя особую, какую-то животную привязанность и любовь к этим мальчишкам; уже и Николай подхватился, стоял чуть в стороне, угнув голову и исподлобья рассматривая Аленку, ему было неловко, приходилось одной рукой все время поддерживать сползавшие нижние штаны, сшитые, казалось, из одних латок.

Аленка, вскрикнув, налетела на него, закружила, стараясь повернуть его к свету и рассмотреть хмурое, резко очерченное лицо с огромными сильными бровями; какого цвета у него были глаза, сейчас нельзя было понять, но Аленка хорошо знала, что Николай, как и отец, и старший брат Иван, сероглазый этот подросток с длинными и тонкими руками и ногами, уже и сейчас обещал стать красавцем, он сопел и неодобрительно молчал, пока Аленка тискала его и восторгалась, и все не выпускал из рук штанов.

Ефросинья в стороне тихонько печалилась, вспоминая бабку Авдотью, не дотянула старая до радости, немного бы ей продержаться... Но нельзя было в такой день долго думать о мертвых; Ефросинья стала спрашивать, хочет ли Аленка есть, и сама, не обращая внимания на слова дочери, доставала из всяких тайников

припасы, Егорку посылала за сухими дровами, Николая — поглядеть, на месте ли телушка. Ефросинья осторожно внесла в землянку небольшой железный ящичек из-под мин, в котором у нее хранилось полтора десятка поздних яиц, и хотя Аленка уверяла, что не голодна и ничего не хочет, стала их жарить. Торопясь, Аленка развязала вещмешок, достала подарки: кулек с колотым сахаром и два немецких складных ножа, губную гармонику, инкрустированную разноцветным перламутром. Братья степенно взяли, стали рассматривать, Николай сонно дунул в гармонику, она взвизгнула.

— А, чтоб тебе!— подняла голову от плиты Ефросинья и тут же рассмеялась.— Так в спине и зашлось от этого писку.

Матери Аленка привезла большой цветастый платок, по краю кремового нежного поля крупные розы с листьями; еще в дороге Аленка выменяла его на одной из станций за свой паек, отдала почти два килограмма сухой колбасы и фляжку с водкой. Видя перед собой сморщившуюся от подступивших счастливых слез мать, она и сама едва не заплакала от тяжкой, новой радости.

— Аленка! Аленка!— теребили ее наперебой братья.—Ты чего? Скажи, ты хоть одного фрица кокнула, а?

— А ну отстаньте!— повысила голос Ефросинья, замахиваясь на ребят платком.— Пошли, эк, живоглоты, так и подавай им, чтобы убить... Это вам не мужик, девка.

— Медали-то у нее за что?— не отставали братья, не хотевшие больше спать, они любили сестру, и теперь, когда она была в военной форме, с наградами, она показалась им такой красивой, что они не переставали разглядывать ее, и когда она, чувствуя на себе их взгляды, с улыбкой поворачивалась к ним, они враз, словно по команде, опускали глаза, и Аленка вновь и вновь обнимала их, возбужденно и счастливо смеялась.

10

На другой день в саду и в землянке Дерюгиных перебывало чуть ли не все село, сразу по нескольку человек приходили бабы и девки, подробно рассматривали Аленку со всех сторон, словно приглянувшуюся

в продаже, но дороговатую, не по карману, вещь; все охали и ахали, перебивая друг друга, рассказывали всякие новости, а так как Аленка не была дома уже около двух лет, то новостей было много, они сыпались лавиной, и Аленка уставала от них, хотя так же ненасытно продолжала слушать. За один короткий день в ней словно перевернулись все последние годы, с их потерями и утратами: только человек пятьдесят ее сверстников угнали в Германию, да сколько от бомбежек, обстрелов погибло, сколько вон покалеченных на всю жизнь осталось, ни одного справного мужика на селе, как сказала Нюрка Куделя с голодной и привычной бабьей тоской в глазах. А работа? Все, что веками держали дюжие мужицкие плечи, рухнуло теперь на бабу, вдобавок к той тяжкой ноше, что всегда приходилась на ее долю; велика оказалась человечья стяжливость, но даже и в этой мере выделялась пугающая бабья сила — нельзя было подыскать ей подходящего определения и примера. И сама баба, словно впервые почувствовав и узнав свою силу, и шутить об этом стала как-то иначе, с грубоватой откровенностью, словно сама себе удивляясь; порой от этих мыслей у Аленки закипали слезы благодарности судьбе, тому, что ее всерьез не тронула ни пуля, ни осколок, и что суждено ей услышать и почувствовать в самом простом и обычном то великое и вечное, что она научилась видеть, слышать и чувствовать, и от этого она порой пугалась самое себя, с чего бы ей стать умнее всех? Ей хотелось что-то немедленно сделать, что-то нужное всем, большое; чувство радости возвращения, узнавания дорогого, привычного пьянило ее, у нее почти весь день держалось слезливо-восторженное состояние, и она ходила по селу из конца в конец, останавливаясь то у той, то у другой землянки, расспрашивала и сама рассказывала, ахала, удивлялась. «Вот ступит следующий шаг,— думала она,— откроет глаза, и все исчезнет, никакой тебе тишины, никаких Густищ, ни матери с братьями. А что же?» — спросила она себя в один из таких моментов и невольно закрыла глаза, прислушиваясь к глухому, в любой момент готовому прорваться наружу смятению, да ничего не будет, ничего не будет, голая, ободранная душа, сколько ни обматывай ее ватой и бинтами, крови не остановить, ничего не остановить... Они, жившие рядом, понятные, теплые, остались там, в снегах и лесах, в гнилых пучинах болот; она чувствует, как они окружают ее по но-

чам, сходятся к ней со всех сторон, со всех времен, нет, они уже ничего не требуют, но зачем они окружают ее бесплотным кольцом, и она задыхается от смутного страха перед ними, и от тяжкой любви к ним, мертвым, но живым для нее; она потому и вела себя так беспокойно, что никак не могла привыкнуть к родным, к живым, к каким-то прежним, довоенным мерам,— и мать была чужой и непривычной, и казалось, что и сама она осталась где-то там, далеко, среди тех, кого уже нет и никогда не будет, и потому она так испуганно открывала глаза по ночам и вскакивала, сколько их, прямо у нее на руках, умирало, уходя, и она не знала — куда, куда же они уходили? Наверное, чтобы потом возвращаться, вот так, сумеречными, молчаливыми тенями, как они часто приходят теперь к ней. Она теперь знала, почему кинулась прямо к Брюханову, с первой же их встречи после смерти Алеши она почувствовала в нем обыкновенную мужскую силу, к нему можно было прислониться, с ним было спокойнее; и в продолжение двух последующих лет потом, когда ей было особо тяжко и одиноко, она, спасаясь, начинала думать о Брюханове, какой он большой и прочный, как он громко и с удовольствием хохочет.

Аленка поймала себя на том, что в ней все время неосознанно живет тревожное раздумье, как ей быть дальше с Брюхановым, она еще не знала и все старалась отогнать мысли о нем подальше, она измучилась от этой второй своей жизни, и когда под вечер Настастья Плющихина кликнула ее от своей землянки и попросила зайти, она обрадовалась.

— Бабы-то трепали сегодня, Аленка Дерюгина, мол, вернулась,— сказала, приближаясь, Настасья.— А я глядь — кто-то такая, идет мимо, никак не угадаю! Боже ты, господи, когда ж это время пролетело!— изумилась она и с навернувшимися на глаза слезами обняла Аленку; они поцеловались, крест-накрест, трижды, как со всеми целовалась в Густищах Аленка в этот день.

— Надо ж тебе!— Настасья, понемногу успокаиваясь, поправила платок, туже затянула концы.— Вот тебе и девка, в наградах вся! Иному мужику не достать. А у нас тут, видишь, все разбито, все сначала пошло, с голого места. Ну да что ж ты молчишь, расскажи хоть что-нибудь,— потребовала она, теребя Аленку и в

то же время разыскивая ушмыгнувшего куда-то сынишку.

Аленка лишь недоуменно повела плечами, потому что действительно не знала, как можно вот так с ходу обо всем рассказать. Настастья хотела пошутить, что вот, мол, загордилась обвешанная наградами фронтовичка, но та тихая и смятенная скорбь, что жила в Аленке и которую Настасья почувствовала, остановила ее; она привела Аленку в землянку, показала свой прибыток, опять вывела на воздух; Аленка опустилась на скамеечку рядом с дверью.

— Хорошо-то, хорошо как,— сказала Аленка, вытягивая ноги и поднимая к солнцу лицо.— Тихо, ты слышишь, тихо... Сколько всего было, а рассказать нельзя, не получится.

В опускавшемся к горизонту солнце чувствовалась осенняя ласковость; зажмурив глаза, Аленка помедлила, наслаждаясь слабым теплом, и Настасья с затаенной бабьей грустью и ревнивостью рассматривала ее и думала, что вот для нее самой молодость прошла, раз подросли и распустились в полный цвет такие, как Аленка, слизнула война молодость, и с мужиком-то как следует не побыла.

— Видать, трудно-то было отбиваться, красивая ты,— вслух подумала Настасья, и Аленка опять ничего не ответила. Настасья построжала, вздохнула.—Слышь, Аленка,— сказала она не без потаенного смысла,— соседка-то ваша, Манька Поливанова, сошлась в прошлом году с кем-то на заводе. Второго мальчонку родила. Тебе мать ничего не говорила?

— Говорила,— безразлично подтвердила Аленка и пошла домой; и вечером, когда братья заснули, поддавшись какому-то неожиданному порыву тоски и растерянности, Аленка рассказала матери об Алеше Сокольцеве и о том, что у нее случилось с Брюхановым, услышав о котором Ефросинья лишь приподняла брови и приоткрыла рот, чего-чего, а вот этого она не ожидала, это было чересчур для нее, к этому нужно было привыкнуть.

— Эк, куда взметнулась, забей тебя лихоманка,— вырвалось у нее от изумления и явной озадаченности, где-то в ней и шевельнулась мысль, что дочка стала блудницей и что по-хорошему надо бы покричать и попытаться оттаскать ее за волосы, так бы и случилось (уж очень зудели у Ефросиньи руки), если бы не такая

неожиданность, ее Аленка спозналась с самим Тихоном Ивановичем Брюхановым, и это так ошеломило Ефросинью, что она не решилась даже кричать на Аленку, она решила лучше еще выждать и все выслушать, и скоро какое-то нехорошее чувство в сердце Ефросиньи ослабло, а затем исчезло совсем. «Чем же она виновата,— подумала Ефросинья,— если ей и впрямь не повезло с тем же Алешей, молодым да неженатым, а теперь и разбирай». Ефросинья увидела сейчас дочь именно сердцем и по-бабьи, по-матерински испугалась за нее, и Аленка почувствовала ее испуг.

— Не бойся, мамань,— сказала она сдержанным, рвущимся от избытка какого-то неведомого, нежданно прихлынувшего к сердцу счастья.— Не бойся, не бойся, мамань, у нас с ним все по-хорошему было,— говорила она быстро, стремясь убедить больше себя в истинности и необходимости того, о чем говорила.— Это так, глаза ночь застелила, а я вот и вынырнула из нее, из ночи-то, ослепла сразу. Хватила воздуху и ослепла, оглохла... Ох, мамань, худо мне и радостно! Он теперь не отступит от меня, неволить станет, не знаю, что и делать дальше...— Аленка, не сдержав слез, ткнулась Ефросинье в колени лицом.

— Что ты! Что ты!— еще больше испугалась Ефросинья; вначале она испугалась просто так, по привычке, чтобы выиграть время и одуматься, затем испугалась уже в самом деле. С таким высоким человеком, как Тихон Иванович Брюханов, нечего было понапрасну играть в жмурки, можно громыхнуть, костей не соберешь. «Все-таки непутевая девка вышла, видать, в отца уродилась»,— мысль Ефросиньи вильнула куда-то в сторону, заторопилась. Ее практический, хоть и медлительный несколько ум тотчас развернул перед ней всяческие блага и выгоды, если Аленка станет женой Брюханова, и уже половинная разница в летах, о которой она подумала сразу после признания Аленки, отошла в темень. «Подумаешь,— решила она, привлекая в утешение и оправдание старую истину, что бьют не по годам, а по ребрам,— и мало ли как на свете случается».

В одно время Ефросинье стало совестно своих корыстных мыслей, и она, все по той же хитрой крестьянской привычке подольше оттягивать с решением в трудном деле, про себя помолилась богу, попросила его не искушать понапрасну, но выгода в ее глазах была столь

велика и столь бесспорна, что она не нашла причин скрывать возникшие в ней мысли и от дочери и тотчас стала их высказывать, уже заранее в ожидании дочернего непокорства переходя на сердитый тон. Она полностью взяла сторону Брюханова, стала говорить о братьях, о том, что их надо учить, выводить в люди, у самой у нее после пережитого немного осталось сил, а отец вернется или нет с войны, никто не знает. С безошибочной чуткостью Ефросинья определила именно то место, которое было послабее, и уже не выпускала его из виду, закапываясь все глубже в одном направлении; вначале Аленка, слушавшая ее, посмеивалась, но, сразу поняв, что мать говорит серьезно и что в ее словах есть своя выстраданная правда, где-то в глубине души почувствовала смятение. «Нет, какие там выгоды,— тут же сказала она,— почему это я должна? Я теперь хочу вздохнуть свободно, для себя пожить, и не надо мне никакой тяжести. Братья вырастут, а у меня второй жизни уже не будет, у меня и эта в войне изломана, так зачем же ее самой доламывать?»

Аленка подошла, обняла мать за плечи и, от худобы родных плеч переполняясь жалостью, долго не могла выговорить слова.

— Не знаю, мамань, не знаю, боюсь, ой, боюсь,— сказала наконец она, и лицо у нее осветилось тихой, временами исчезающей усмешкой, словно она стремилась подбодрить себя в трудном решении.— Конечно... вернусь я к нему, куда мне без него, ну сама подумай, что я ему за жена? Простая колхозница, баба, а потом я сама не знаю... робко мне рядом с ним, точно я жучок какой или муха. Нет, не знаю!— убеждала она себя, и ее голос звенел от какого-то скрытого счастья, которое Ефросинья тотчас поняла и приняла.

— Что тут знать, дочка,— сказала она с мягкой грустью.— Такое дело без спросу приходит, вроде ясно, ясно, глядь, и громыхнет в чистом небе.

Она ничего не стала больше говорить, и Аленка, помолчав, вышла из землянки и долго слушала переполненным сердцем тихое засыпание земли. У нее все росло и росло чувство нежности к короткому покою наступившей ночи; высокое небо над нею рассекали рваные тучи, и Аленка все глядела и глядела со слезами восторга, радости и страдания, забыв о войне, о крови

и смертях, о себе и Брюханове, и понимала лишь одно: было хорошо стоять в ночном одиночестве под спокойным молчаливым небом, наполненным тихой и скрытой жизнью, хорошо быть на земле и слышать и понимать ее тихое движение, хорошо остаться живой и совсем не знать, что с тобой будет через год, через день или даже завтра.

Она вернулась в землянку; Ефросинья, взбудораженная разговором, слышала, как она повозилась на своем месте и затихла. «Слава богу, слава богу,—сказала себе Ефросинья, определяя, что дочка заснула.— Успокоилась, поди, сердешная... Откуда и свалилась на нее жуть-то такая, надо тебе...»

Какое-то непривычное беспокойство не давало Ефросинье сна, она ворочалась с боку на бок, ложилась на спину, пристраивая на груди тяжелые, нывшие, видать, к ненастью руки. В землянке держался теплый, сырой дух, кто-то из сыновей редко и коротко похрапывал. «Егорка неловко лег»,— определила Ефросинья, встала, повернула сына на другой бок. В накате и за стенами землянки слышались шорохи, возня и попискивание, это мыши прижились в тепле, их скрытая от человеческого глаза жизнь успокаивала Ефросинью; она оделась, сунула ноги в сапоги и пошла проведать телушку; в острых, веселых звездах небо и повисшая в его середине полная луна лишь усиливали тишину, вначале она оглушила Ефросинью. Притушенный, мягкий свет заливал землю из края в край, облетевшие яблони отбрасывали расплывчатые, причудливые тени, был виден каждый излом ветки, каждый ком земли; забыв о телушке, Ефросинья замерла, нечто неосознанное и могучее захватило ее и сделало дыхание трудным, она почувствовала, как разгораются, горячеют глаза и грудь немеет. «Что ж это я, старая дура»,— прошептала она в испуге, ей начинало казаться, что нет больше никакой Ефросиньи и весь мир захлестнул белый потоп; отгоняя от себя оцепенение, пугающее ощущение, что все вокруг это всего лишь сама она, Ефросинья подумала об Аленке, о сыновьях, о войне, об умершей свекрови, Ефросинье даже пригрезился ее голос из землянки, она ясно услышала, как бабка Авдотья настойчиво и сердито позвала ее. Ефросинья нашла в себе силы не оглянуться, оглядываться в такие моменты было нельзя, иначе все кончилось бы худо. «Фрось! Фрось!» — опять прозвучал, отдаляясь, глухой голос, прозвучал глубоко

в ней самой, но замер и затих где-то вовне, в земле вокруг, в лунном море, запутался в хрупких, причудливых ветвях яблонь. «Фрось! Фрось!» Глухими, высокими толчками билась кровь, но она не могла оглянуться, за спиной у нее притаилась вся тяжесть ее жизни; преодолевая оцепенение, Ефросинья подошла к двери хлевушка. Телушка спокойно и мирно пережевывала жвачку, и Ефросинья обрадовалась, потрогала тяжелый висячий замок. «Слава богу, слава богу»,— торопливо прошептала она, успокаиваясь; сегодня, несмотря на все страхи и раздумья, хороший был день, и телушка рядом, теплая, сонная. Ефросинья почти наяву представила, как покупала ее на базаре в Глухове у низенького, с маленькими умными глазами старичка и как торг чуть не перебила другая баба, накинув триста рублей лишку, спасибо старичку хозяину, видать, почувствовал ее тоску, не стал с другой покупательницей рядиться. А как она по Густищам-то телушку вела! И стар и млад на улицу высыпали, словно в праздник великий, и телушка-то, скотина безголосая, а свое понятие имеет. То тянулась на поводке, а тут словно по струночке копытами застукала, еще и хозяйку норовит опередить.

Ефросинья прошла садом на пепелище, остановилась у возвышения, густо усеянного сухими стеблями лебеды. Здесь раньше стояла печь. Ефросинья плотнее запахнула на себе перешитую из немецкой шинели телогрейку и надолго застыла в каком-то новом оцепенении; тяжелый свет тек ей в глаза, и постепенно ей начинало казаться, что в застывшем мире существует какое-то движение; в своей каменной неподвижности она почувствовала его вначале сердцем где-то, может быть, у самых истоков своей жизни, неистовый холодный свет струился вокруг, растворяя потихоньку и ее самое. Раньше, до этой ночи, она осторожно обходила пепелище стороной и даже днем старалась не подходить к нему лишний раз, а вот теперь какая-то сила подняла ее среди ночи и привела именно сюда, где зола и уголья перемешаны с костями; вот-вот сейчас шевельнется, приподнимется старый бурьян, и *они* потянутся к ней; вот уже пробиваются какие-то шепотки, и деревенеют губы, слова молитвы стынут. Скорее назад, к детям, под их спасительную защиту, она *тогда не людей, врагов спалила огнем*, и в этот год давно осыпалась в некошеных лугах бабья плакун-трава. Что ж ей бояться? Ниче-

го нет, пригрезилось, это ее Аленка своими россказнями растравила. Бурьян вырос, земля молчит, луна-то, луна разгорелась. Пусть себе, морозов, видать, ранних жди; да и чего уж ей на судьбу плакаться, трое детей под одной крышей сошлись, к весне Милка должна отелиться, хоть по первому году на молоко не надейся,— а помощь; бывает, и по первому году до десяти литров дают.

Ефросинья постепенно чувствовала прибывающую уверенность; сила словно шла в нее от тех же высохших к зиме бурьянов; луна передвинулась, и тень от высокой, прямой фигуры Ефросиньи еще увеличилась, стала расплывчатой, и уже нельзя было точно определить ее очертания на земле.

1972

СОДЕРЖАНИЕ

Проскурин П. Л.

П82 Судьба. Дилогия: Роман первый. Худож. В Смирнов.— М.: Худож. лит., 1988.— 815 с., ил.
ISBN 5 — 280 — 00428 — 6 (Т. 1)
ISBN 5 — 280 — 00427 — 8

Роман воссоздает широкую панораму жизни народа с начала 30-х годов до конца Великой Отечественной войны.

П $\frac{4702010200-279}{028(01)-88}$ без объявл. ББК 84Р7

Петр Лукич Проскурин

СУДЬБА

Дилогия

РОМАН ПЕРВЫЙ

Редактор *В. Лапочкина*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *М. Крюкова*

Корректор *Н. Яковлева*

ИБ № 5376

Сдано в набор 13.11.87. Подписано в печать 23.05.88. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 42,84. Усл. кр.-отт. 42,84. Уч.-изд. л. 46,87. Доп. тираж 15 000 экз. Изд. № III-3032. Заказ № 1710. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15